Пьер-Луи Рёдерер

Философские сочинения

Том II

Избранные работы и журнальные статьи

Перевод с французского

Echafaud - 2026

Главное, что нужно знать, открывая эту книгу – что это не какая-то серьезная литература, и не крупные философские статьи самостоятельного мыслителя. Скорее это набор статей, иногда крупных, а иногда совсем коротеньких журнальных заметок, на самые разные темы из жизни Франции 1790-1830х годов. В основном это комментарии, которые позволяют нам увидеть в их авторе если и не самобытного, то всё же философа из школы французских «идеологов». В этом издании мы попытались собрать все самые интересные, на наш взгляд, философские, экономические и политические статьи **Пьера-Луи Рёдерера** (1754-1835), взятые из полного собрания сочинений в 8-ми томах, подготовленного его сыном, А.-М. Рёдерером в 1850-е годы. Как говорится на титульной странице каждого из этих томов, материалы собраны *«как на основе неопубликованных рукописей автора, так и по фрагментарным изданиям тех его произведений, которые уже выходили в свет, с исправлениями и изменениями, внесенными им впоследствии»*. Проще говоря, некоторые из ранних статей Рёдерер мог изменять и дополнять, и здесь публикуются не всегда первоначальные версии.

Восемь томов сочинений с самого начала собраны несколько проблематично. Они не соблюдают ни строго хронологического, ни строго тематического принципа. Сын Рёдерера пытался двигаться по тематикам (например, первые два тома выделены под исторические сочинения, и т.д.), но часто что-то пропускал, и потом повторял уже затронутые тематики в последних томах, где объединял материалы по роду написанного материала (письма отдельно от статей, статьи отдельно от книг и т.д.). Поэтому каждый отдельный раздел внутри любого из томов может содержать статьи как 1790-х годов, так и 1830-х вперемешку.

Теперь несколько слов об авторе. Как уже было отмечено выше, Пьер-Луи Рёдерер - французский философ, экономист и политический деятель, принадлежавший к тому кругу позднего Просвещения, из которого после революции выросла школа «идеологов». Рёдерер родился в Меце, изучал право в Страсбурге, и в 1780 году стал советником местного парламента. Но гораздо больше юриспруденции его интересовали политическая экономия и общественные реформы. Ещё до революции он выступал за уничтожение внутренних таможенных барьеров, интересовался Адамом Смитом, и в работе *«В чём состоит процветание страны?»* (1787) рассматривал богатство как результат производства, труда, обмена и правильно устроенных общественных институтов. В Меце Рёдерер участвовал и в одном из характерных эпизодов французского Просвещения. По его инициативе местная Академия объявила конкурс на тему: какими средствами можно сделать евреев Франции «более счастливыми и полезными». Среди победителей оказался аббат Грегуар со знаменитым сочинением об эмансипации евреев. Сам Рёдерер последовательно защищал гражданское равноправие независимо от происхождения и вероисповедания.

После начала революции он был избран депутатом от третьего сословия. В Учредительном собрании Рёдерер занимался прежде всего финансами и налогами, выступал за уничтожение корпораций и цеховых ограничений, отмену дворянских титулов, реформу судебной системы, свободу печати и равенство гражданских прав. Позднее он стал генеральным прокурором-синдиком Парижского департамента и оказался непосредственным свидетелем падения монархии 10 августа 1792 года. Именно Рёдерер убедил Людовика XVI покинуть Тюильри и искать защиты в Законодательном собрании.

Однако Рёдерер был не только политиком. В 1793 году он читал *«Курс социальной организации»*, пытаясь построить общую науку об обществе, отдельные положения которого предвосхитили материалистические идеи **Кабаниса**. Именно здесь прозвучит эта цитата:

«Мы ищем принципы человеческих действий. Что мы прежде всего понимаем здесь под принципами? Человеческие действия определяются волей, а воля - привязанностями или страстями. Таким образом, привязанности или страсти являются мотивами, принципами человеческих действий. Но являются ли эти привязанности или страсти первопричинами сами по себе? Нет, они представляют собой изменения чувствительности. Чувствительность же может быть приведена в движение только ощущениями. Следовательно, ощущения являются первопричиной человеческих страстей, заложенной в самом человеке. Но эти ощущения сами

зависят от воздействия внешних тел на органы чувств, и это воздействие в свою очередь зависит от большей или меньшей степени совершенства самих чувств. С другой стороны, чувствительность - в том, что касается продолжительности, интенсивности и регулярности её воздействия на волю и на органы, исполняющие эту волю, - зависит от физической силы своих проводников в физиологии организма. Таким образом, устройство человеческого тела и его конституция являются не только источником страстей и их инструментом, но также одним из их регуляторов и движущих сил. Следовательно, общая система принципов человеческих действий была бы, по существу, результатом анатомических и физиологических знаний. Я без колебаний утверждаю, что под скальпелем анатома обнаруживается больше политических и моральных элементов, чем во всех исторических повествованиях и во всех размышлениях простых созерцателей человеческих поступков, называемых моралистами и политиками. До настоящего времени моральным наукам не хватало людей, которые умели бы объединить их с физическими науками, чтобы укрепить и обогатить первые за счет вторых. Естествоиспытатель, который видит в материи только материю, и моралист, который видит в страстях только духовность, одинаково далеки от истинных и полезных результатов.

***Локк, Кондильяк и Бонне** провели каждый свой анализ способностей души. Этот анализ представляет собой хорошую психологию; но перед этой наукой идет **физиология**, или анализ чувств; а перед физиологией должна идти **анатомия**, которую называют трансцендентной, поскольку она во многих отношениях носит предположительный характер, так как оптических приборов недостаточно, чтобы различить форму элементов, наличие которых предполагают наблюдаемые явления. **Химия**, которая является наукой о самих элементах по преимуществу, также должна была бы играть первостепенную роль в создании полного труда о человеке и его способностях. Подобное сочинение стало бы прекраснейшим даром человечеству. Оно стало бы вечным источником верных принципов для законов и правительств. Оно позволило бы свести политику и мораль к правилам столь же достоверным и очевидным, как правила геометрии».*

Поведение людей Рёдерер связывал с потребностями, интересами, страстями и ощущениями, а задачу законодательства видел в таком устройстве институтов, при котором частные стремления работали бы на общественное благополучие. Поэтому мораль для него была не набором религиозных предписаний, а вопросом о реальных мотивах человеческого поведения и условиях, способных их направлять. Правда, даже несмотря на такие высказывания, и явно комплиментарное отношение к Гельвецию, Дидро и т.д., Рёдерер уже тогда пытался сглаживать их радикализм при помощи идей Руссо, Вольтера и этики Адама Смита. И в религиозном отношении он считал себя скорее радикальным деистом, но не атеистом. Кроме того, он был весьма консервативен в этическом плане, а иногда его идеи граничат со стоицизмом и даже некоторыми элементами коммунизма, которые он сочетает с экономическим либерализмом на грани современного либертарианства. Рёдерер далеко не идеальный представитель французского материализма, но в целом очень даже хорош.

В 1795 году он был избран в класс нравственных и политических наук Национального института, в секцию политической экономии. Здесь он работал в одной интеллектуальной среде с **Гара**, **Вольнеем**, **Кабанисом**, **Дестютом де Траси**, **Дону** и другими будущими «идеологами». Он основал «Журнал общественной экономии, морали и политики», где пытался соединить экономическую науку, мораль и исследование общественных институтов. Особенно показательно его сочинение *«О современной философии и её участии во Французской революции»* (1799), написанное против Ривароля. Пока консервативные авторы обвиняли философов XVIII века в разрушении старого порядка, Рёдерер открыто защищал наследие Просвещения и право современной философии исследовать мораль, политику и общество средствами человеческого разума. В этот же период вышли его двухтомные «Мемуары по общественной экономии, морали и политике».

Поэтому в целом Рёдерера можно считать одним из представителей школы идеологов. Его интересовали не метафизические сущности, а человек со своими ощущениями, потребностями и интересами; не богословская мораль, а реальные механизмы поведения; не отвлечённое «идеальное государство», а институты, налоги, собственность, образование и условия общественного благополучия. Он оказался одним из тех, кто перенёс философию Просвещения из трактатов Локка, Гельвеция и экономистов XVIII века непосредственно в новую науку об обществе революционной Франции.

И именно поэтому, в рамках проекта по восстановлению философской традиции эпикурейского материализма, мы обращаем внимание на этого почти забытого автора и публикуем избранные философские, экономические и политические фрагменты из его работ. Однако, из-за масштабности этой работы, во второй том не входят два весьма важных текста – автобиография Рёдерера и его «Курс социальной организации» (1793). Оба этих сочинения опубликованы в первом томе.

Содержание

Содержание 1
Философы XVIII века и защита Просвещения 5
О Дидро 5
О новом издании сочинений Гельвеция, опубликованном Ларошем, душеприказчиком его рукописей 8
Биографический очерк о мадам Гельвеций 9
Обзор книг Вольнея 10
Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума; посмертное сочинение Кондорсе 12
О современной философии, сочинение Ривароля 14
Г-ну Р. по поводу его очерка о Ривароле 15
О современной философии и о той роли, которую она сыграла во Французской Революции, или Разбор брошюры, опубликованной Риваролем, О современной философии 16
Письмо брюмерийца к брюмерийцам касательно некоторых великих писателей девятнадцатого века 30
Нравственные и политические наблюдения, касательно изданий, порочащих XVIII век, философию и Революцию 41
Национальный институт, наука и образование 66
Труды Национального института за IV год: литература и изящные искусства 66
Публичное заседание Национального института 15 мессидора 7-го года. 68
Авторам газеты «Journal de Paris» о профессорах нормальной школы 69
Политехническая школа 70
О начальном образовании 71
Организация новой секции моральных и политических наук в 1833 году 73
Ощущение, идея, знак и мышление 83
Метафизика. Наука о разуме 83
Отрывок из мемуара о природе идеи, ... 84
Влияние знаков на идеи 87
Обзор книги Сикара 89
О знаках и искусстве мышления, рассматриваемых в их взаимосвязи, автора Ж.-М. Де Жерандо 90
О психологическом методе, предисловие к переводу «Очерков моральной философии» Стюарта, авторства господина Жуффруа. 92
Примечания к ретроградной теории обучения, которая принижает современное преподавание 94

Оптика 95
Вольтер. Философский словарь. - Видение. 99
О привычке 101
Об искусстве рассуждать 103
Выдержка или Краткое изложение «Логики» Кондильяка 108
Моральная философия: страсти, симпатия, самолюбие и полезность 122
О новом сочинении мадам де Сталь 122
Посмертные сочинения Адама Смита 126
Теория нравственных чувств, или Аналитический опыт о принципах суждений, которые естественным образом выносят люди сначала о поступках других, а затем и о своих собственных; 128
О письмах гражданки Кондорсе о сочувствии 131
Доклад Институту о «Всеобщем катехизисе» Сен-Ламбера 134
О составлении катехизиса нравственности 149
О важном средстве совершенствования народной нравственности 157
Замечания к вопросу, предложенному Национальным Институтом в качестве темы для первой премии класса моральных и политических наук, прочитанные на заседании 15 вандемьера VI года (6 октября 1797 г.) 158
Вопрос морали. Может ли существовать этика, независимая от идеи божества. 161
О симпатии (фрагменты) 166
Религиозность, самолюбие и сочувствие. 170
Отрывок из «Теории нравственных чувств» Адама Смита 192
Аналитическое изложение Теории нравственных чувств Смита. 193
Учение о христианском милосердии 219
О полезности 221
О полезности. Наблюдения по поводу системы Смита 223
Различные определения добродетели 224
Размышления Смита о различных мнениях касательно добродетели 225
Вопрос 227
Фрагменты. Философские размышления о притяжении, симпатии, самолюбии и привычке 231
Религия, деизм и светская мораль 240
Письмо к Дюпону (де Немуру) о его книге «Философия Вселенной» 240
«Мемуар в защиту Бога» Ж. Делиля де Саля 242
О споре между гражданами Марроном и Бомарше 245
Беседы или речи против врагов нашей святой религии, а именно: атеистов, деистов, сторонников веротерпимости, иудеев, язычников, магометан, схизматиков и противников духовенства 246
О евреях 249

К Сикару, о Катехизисе, или христианском наставлении для глухонемых ... 250
Фрагменты о «Гении христианства» господина де Шатобриана ... 250
О священниках ... 251
О некоторых людях, которые не являются ни философами, ни христианами ... 253
Война благочестивых против философов во времена Бонапарта ... 254
Общество, государство и общественное мнение ... 256
«Введение» к Journal d'Économie publique, de morale et de politique ... 256
О суверенитете ... 262
Возможно ли объединить людей в обществе настолько совершенно, чтобы они не нуждались ни в правителях, ни в принудительных законах для мирного сосуществования? ... 264
Беседа нескольких знаменитых философов о республиканском и монархическом правлении ... 267
Политические сочинения Дж. Гаррингтона, содержащее «Республику Океания», афоризмы и другие трактаты того же автора ... 278
О настроениях в обществе ... 279
О постепенных выборах ... 282
Теория общественного мнения ... 285
Об организации законодательных собраний ... 291
Примечания, которые следует добавить к моему мемуару об организации законодательных собраний ... 305
Аналитический очерк о различных способах, установленных для обмена мыслями между людьми в обществе. ... 305
О частных обществах, таких как клубы, собрания и т.д. *[Анонсировано в Journal de Paris, 1 фрюктидора VII года. - 18 августа 1799.]* ... 309
Свобода печати ... 317
И снова о свободе прессы, пока она не будет восстановлена ... 326
Ещё раз о свободе печати и о Шенье ... 327
Право, наказание, собственность и политическая экономия ... 329
Трактат о преступлениях и наказаниях, сочинение Беккариа ... 329
К дочери прославленного Беккариа ... 330
Размышления о смертной казни ... 331
О празднествах по случаю казней ... 336
О свободе работать, отдыхать и вступать в брак в любой желаемый день ... 337
О собственности, и некоторых философах, которые её атаковали, а также о людях, обвиняющих в этих атаках всех философов и философию в целом ... 340
О происхождении богатств ... 357
О процентной ставке на деньги ... 362
О финансовых ухищрениях ... 364

О заботе правительства в отношении орудий и инструментов, используемых в сельских работах ... 365
Французская революция и её деятели ... 367
Дух революции 1789 года ... 367
О терроре ... 422
Портрет Робеспьера ... 428
Дантон ... 432
Сравнение Дантона и Робеспьера ... 433
Баррер ... 433
Марат ... 434
Изнар ... 434
Дюмурье ... 435
Ларошфуко ... 436
История, нравы и сравнительное исследование обществ ... 437
Лекции по истории, прочитанные в Нормальной школе в III году, К.-Ф. Вольнеем, членом Института. ... 437
Очерк для новой истории правления Людовика XII, отца народа ... 443
Вопросы императора о Неаполитанском королевстве и ответы Рёдерера ... 487
Разрозненные заметки о Неаполитанском королевстве, его нравах, климате и т. д. ... 497
Очерк нравов: почему нормандцы так любят судиться? ... 516
Россия ... 517
Мемуары о правлении в Китае, о языке китайцев и, в частности, об их письменности 520
Литература, театр и воображение ... 555
Предисловие к комедии Церковный староста церкви Сент-Эсташ ... 555
Предисловие к пьесе Бич наших отцов, или Воспитание Людовика XII ... 565
Театры ... 575
Авторам газеты Парижский журнал о принципах драматического искусства ... 576
О драме ... 577
О принципе трагедии ... 579
Письмо об одном способе использования романов ... 588
О романных страданиях ... 590
Вымысел. - Панорама Алжира ... 591
О необходимости расширения французской литературы ... 592

Философы XVIII века и защита Просвещения

О Дидро

Нам кажется, что в нынешнее время было бы нелишним, и это занятие ничуть не скучнее прочих, поговорить о философах и великих писателях, которые составили славу нашего века. Революция словно прервала их известность, а страсти, которые сотрясали или подталкивали эту революцию, возможно, пошатнули их авторитет. Их авторитет и их слава - это национальное достояние, которое напрямую затрагивает величие республики и необходимо для её процветания. Образование молодёжи, составляющей надежду отечества, требует, чтобы великим именам вернули былое почтение. Поколение, которое готовится сменить нас в обществе, либо совершенно не знает имён **Гельвеция**, **д'Аламбера**, **Дидро**, Руссо, Монтескье и Вольтера, либо слышало их лишь в потоке клеветнических оскорблений от врагов свободы, или в ещё более порочащих похвалах от сторонников анархии. Давайте сосредоточим внимание на эпизодах их жизни, на метких высказываниях из их бесед, на суждениях, объектами которых они становились; и через знакомство с ними как с личностями подтолкнём, если это возможно, к изучению их трудов. Вы говорили о Руссо, сегодня же давайте поговорим о Дидро.

Прежде всего необходимо напомнить, что именно Дидро составил план «Энциклопедии» - план, который сам по себе является бессмертным творением; что он был главным редактором и одним из основных авторов этого грандиозного труда; что статьи его собственного сочинения, включённые им в это издание и касающиеся ремесла, грамматики, политики, морали и философии; собранные под общим заголовком «Разное» - они одни составили бы более трех томов форматом в четверку листа (in-4°), и едва ли нашлось бы чтение более разнообразное, приятное и поучительное. Следует добавить, что великолепное собрание его сочинений, недавно выпущенное гражданином **Нежоном**, состоит из 15 томов в восьмую долю листа (in-8°); оно содержит, помимо трех романов, один из которых («Монахиня») является шедевром, точное и краткое изложение всей древней философии; жизнеописание Сенеки, которое, несмотря на отступления, представляет собой прекрасный исторический и философский труд; том математических заметок; два тома о живописи, написанных по случаю Салонов 1765 и 1767 годов; два тома по моральной философии, исполненных глубоких мыслей и красноречия; наконец, драматические произведения и «Рассуждение о драматической поэзии», которые можно причислить к лучшим образцам французской литературы.

Жизнь Дидро, по словам госпожи Неккер, была лишь непрерывным сном. Но каким же мечтателем был создатель плана «Энциклопедии», человек, который на одной странице своего «Письма о глухих и немых» изложил весь «Трактат об ощущениях» **Кондильяка**; в двенадцатистраничном письме к мадам де Форбах - значительную часть «Эмиля»; в примечании на десять страниц - «Трактат о женщинах», столь же полный и, главное, более живой, чем у **Тома**, столь же правдивый и более тонкий, чем у **Сен-Ламбера**. Что за мечтатель этот человек, который знал всё и охватил всё: от ремесла по изготовлению булавок до искусства пробуждать страсти в театре; человек, который никогда не выражал чувства, не вдохнув в него жизнь, и не высказывал идеи, не нарисовав её!

Дидро, как замечала далее мадам Неккер, был рожден талантливым, но так и не смог заставить себя усердно трудиться над правкой своих сочинений, и потому они остались посредственными. Мадам Неккер могла бы сказать о некоторых из них, что они остались несовершенными, но ни об одном она не имела права сказать, что он посредственен. Однако вот что она писала самому Дидро в письме: *«Вы изобразили гений поэтов, черпая образы в самой природе; каждое ваше слово - это вспышка молнии, а каждая фраза - картина». «Я продолжаю,* - писала она ему в другой раз, - *получать бесконечное удовольствие от чтения вашего „Салона“: я люблю живопись лишь в поэтическом описании, и именно так вы сумели истолковать*

для нас все произведения, даже самые заурядные, наших современных художников». В другом месте она говорит: *«Я в восторге от его „Салонов“: до этого я видела на картинах лишь плоские и безжизненные краски; его воображение наполнило их для меня объемом и жизнью»*.

То, что сказал Девен по поводу «Монахини», может, впрочем, послужить ответом госпоже Неккер. *«Это произведение,* - пишет он, - *является еще одним доказательством красоты таланта Дидро. Оно обладает той чистотой, что свойственна творениям, над которыми автор не мудрствовал лукаво. Те, кому посчастливилось быть в числе его близких друзей, знают: когда издатель или время торопили его, он всегда писал превосходно. Когда он творил быстро и без помарок, ничто не нарушало ясности его мыслей и не портило очарования его слога. Недостатки же его проистекали из исправлений, и совершенство, которое порой само предвосхищало его желания, неизменно ускользало, стоило ему приложить к этому усилия»*.

Заметим, однако, что в словах госпожи Неккер и Девена речь идет лишь о сугубо литературных и художественных произведениях, вышедших из-под пера Дидро. Девен хотел говорить только о них; госпожа Неккер, похоже, и вовсе не берет в расчет всё остальное. Истина же заключается в том, что **философские сочинения** Дидро - те труды, в которых мысли всегда столь изобильны, столь насыщенны и зачастую столь новаторские, также отличаются превосходным порядком, структурой и стилем; и подобное достоинство в произведениях такого рода может быть лишь плодом и наградой глубоких раздумий перед началом работы и строжайшей правки после завершения текста.

«Репутация Дидро более не существует, - неизменно писала госпожа Неккер, - *люди, чьи идеи не находят распространения в обществе, обладают лишь видимостью гения; это своего рода довольно прекрасные монстры, которые, однако, не могут иметь потомства»*. *«С идеями дело обстоит так же, как и с искусствами,* - продолжает она. - *Все полезные открытия вскоре становятся известными и находят применение в обществе. Однако всякие причуды исчезают и предаются забвению, подобно воздушным шарам. Дидро был Гарриком от философии; его величайший талант заключался в пантомиме»*.

Трудно вообразить, что может исчезнуть репутация создателя, редактора и основного автора «Энциклопедии»; и госпоже Неккер было бы труднее, чем кому-либо другому, убедить в этом, ведь она сама выказывала - и это общеизвестно - глубочайшее почтение даже к самым незначительным сочинениям Дидро.

«Я сохраню ваши разрозненные листки, - писала она ему однажды, - *словно я сама и есть грядущее потомство»*. Госпоже Неккер было бы столь же непросто лишить Дидро его репутации гения. *«Я наконец устала, сударь,* - писала она ему в другой раз, - *от того, что не имею с вами никакой связи; ведь общество гениального человека расширяет наше существование и дает нам почувствовать наше собственное величие. Вам, в частности, присущ бесценный дар возвышать других до своего уровня, воодушевлять их, оживлять и наделять их смелостью и, быть может, даже силой, чтобы бороться с вами»*.

Не легче понять и то, что госпожа Неккер говорит об истинных признаках, по которым можно распознать гения. Во-первых, нет людей, которые в меньшей степени походили бы на гениев, чем те, чьи идеи совершенно не находят распространения в обществе. Далее, вполне очевидно, что многие люди, наделенные некоторым талантом, и даже шарлатаны, принимают на себя вид гениев, распространяя в обществе либо великие идеи, заимствованные у других, либо свои собственные мелкие мысли. Наконец, неверно, что все полезные открытия входят в употребление сразу же, как только увидят свет, или что открытия всегда падают, подобно воздушным шарам. К несчастью, существуют глупости, которые никогда не заканчиваются, и истины, которым требуется слишком много времени, чтобы пробить себе путь. Во Франции идеи **Бэкона** получили новое развитие *благодаря Дидро* еще до того, как труды английского мыслителя были здесь просто переведены. Сколько лет прошло между открытиями Ньютона и теми усовершенствованиями в мореходном искусстве, что стали их следствием? Открытия гения не попадают от него к широкой публике напрямую. Гений доверяет их таланту и зна-

нию, а задача последних - передать их обществу. В своем плане «Энциклопедии» Дидро высказал гениальные мысли о создании универсального языка. Время их триумфа еще не пришло, но оно приближается; это принесет философу новую славу.

Впрочем, что и думать об этом оскорбительном прозвище «мим от философии», которым госпожа Неккер наделяет Дидро в тиши своего кабинета, в то время как в разговорах и переписке она осыпает его похвалами? Едва ли есть нужда обсуждать это применительно к человеку такого масштаба, как Дидро, - особенно когда реестру тайных мыслей госпожи Неккер можно противопоставить реестр её же официальных поклонов.

Дидро говорил с необычайным пылом и заводился от самого звучания собственного голоса. Его беседа обычно превращалась в монолог. Я слышал от Сюара, что когда Дидро начинал говорить, он сначала выпрямлялся в кресле, затем придвигался к самому краю сиденья; чуть погодя он уже стоял на ногах, а еще через мгновение снимал с головы парик и держал его на вытянутой руке, в то время как другой активно жестикулировал. В конце концов он клал его на соседний стол или на каминную полку - и всё это совершенно не замечая своих действий и не прерывая речи.

«По возвращении из России, - говорила госпожа Неккер, - *господин Дидро восполнял долгое отсутствие общения с ним рассказами об этом периоде; ведь он множит время своими мыслями и делает его осязаемым благодаря живости своих повествований. Когда вспоминаешь их, кажется, будто за какую-то четверть часа ты прожил все шестнадцать месяцев отсутствия этого необыкновенного человека»*.

Желая написать труд, который мог бы пошатнуть его покой, Дидро доверил свою тайну другу. Тот, хорошо его зная, спросил: «Но сумеете ли вы сами сохранить этот секрет?». И действительно, именно Дидро сам же его и выдал. Дидро говаривал, что люди всегда играют фальшивыми костями; то есть, что всё, что им нравится или не нравится, всегда предстает в ложном свете и требует от разума постоянного и глубокого изучения.

Дора отдал одну из своих драм Дидро на просмотр. Дидро написал: *«Во втором акте не нужно ничего, ни единого слова; в третьем - мало речей и много действия; что же касается четвертого, о! именно здесь следует развернуть всю мощь красноречия. Когда эти четыре акта будут готовы, мне нет нужды говорить, каким должен быть пятый - он сложится сам собой»*. Господин де Пезэ принес эти столь полезные советы своему другу Дора: *«Друг мой*, - сказал он ему, пожимая руку, - *ваша пьеса готова, я принес её вам, читайте»*. Этот анекдот и два предыдущих переданы госпожой Неккер.

Вот еще несколько историй, собранных **Шамфором**.

Дидро был знаком с одним непутёвым человеком, который из-за какого-то недавнего скверного поступка лишился расположения своего дяди, богатого каноника, вознамерившегося лишить его наследства. Дидро отправляется к дяде, принимает серьезный и философский вид, держит речь в защиту племянника, старается воззвать к чувствам и заговорить патетическим тоном. Дядя берет слово и рассказывает ему о двух или трех низостях своего племянника.

— Он совершил нечто куда более ужасное, - возразил Дидро.

— Что же именно? - спросил дядя.

— Однажды он намеревался убить вас в ризнице, когда вы выходили после мессы; и только появление двух или трех человек помешало ему осуществить задуманное.

— Это ложь! - вскричал дядя, - Это гнусная клевета!

— Пусть так, - ответил Дидро, - но даже будь это правдой, вам все равно следовало бы простить его, видя его искреннее раскаяние, учитывая его положение и те беды, что обрушатся на него, если вы его бросите.

Когда Дидро спросили, что за человек господин д'Эпине, он ответил, что это человек, который растратил два миллиона, не проронив ни одного остроумного слова и не совершив ни одного доброго дела.

Я слышал от Дидро (говорит всё тот же Шамфор), что разумный литератор может быть любовником женщины, пишущей книги, но жениться ему следует лишь на той, что умеет

сшить рубашку. *«Есть вариант и получше,* - продолжает Шамфор, - *не быть ни любовником той, что пишет книги, ни мужем вообще какой бы то ни было женщины»*. Дидро в возрасте шестидесяти двух лет, будучи влюбленным во всех женщин на свете, говорил одному из своих друзей: — Я часто говорю самому себе: старый дурак, старый проходимец, когда же ты наконец перестанешь навлекать на себя оскорбительные отказы или выглядеть смешным?

Госпожа Неккер вспоминает, что он говорил одному скупому отцу, чтобы убедить его дать сыну достойное воспитание: *«Ваш сын - это ваш сейф; если вы не сделаете его прочным, все ваши деньги пропадут, ведь именно он станет хранителем того богатства, которое вы копите»*. Госпожа Неккер также рассказывает, что однажды он произнес: *«Я прожил в браке шестнадцать лет, прежде чем понял: гораздо проще изменить свой собственный характер, чем пытаться исправить чужой»*. Лебретон [прим. переводчика - не путать с идеологом], в типографии которого по прямому распоряжению министерства тайно печатались последние тома «Энциклопедии», искажал статьи Дидро после того, как философ возвращал ему корректурные листы. Дидро слишком поздно заметил это злоупотребление доверием. Он выразил Лебретону всё свое негодование; и позже он никогда не вспоминал об этом случае без содрогания, думая о том, до каких крайностей чувство обиды может довести даже самого честного и кроткого человека. Этот факт подтверждает гражданин Нежон.

Портрет Дидро, помещенный в начале прекрасного собрания его сочинений (выпущенного, как мы уже говорили, в этом году гражданином Нежоном в 15 томах формата ин-октаво), очень похож на Мармонтеля. В данном случае уместно будет вспомнить слова Мерсье о том, что живопись не дает кругового обзора предметов. Друзья литературы и философии горячо желали появления «Жизни Дидро»; гражданин Нежон пообещал её написать. Он работает над ней вот уже двадцать лет; таким образом, «Жизнь Дидро» станет одновременно и жизнеописанием самого гражданина Нежона. Честь и хвала великому человеку, чьи труды и достоинства способны занять все таланты, все чувства - словом, всё существование честного и просвещенного почитателя!

О новом издании сочинений Гельвеция, опубликованном Ларошем, душеприказчиком его рукописей

Друзья словесности и философии всегда испытывают чувство радости и признательности, когда им представляют новое издание полезной книги. Приятно видеть, как множатся и воспроизводятся в различных формах труды, ставшие предметом изучения. Кажется, что издатели отдают дань уважения не только любимому автору, но и тем, кто был к нему привязан, чьи мысли созвучны его идеям, а сердца согреты его чувствами. Мы испытали именно такие эмоции, увидев это новое издание сочинений Гельвеция, дополненное другом этого философа и напечатанное одним из лучших мастеров типографского искусства (Дидо). Гельвеций - не тот писатель этого века, который больше всех поразил просвещенные умы; но он, пожалуй, тот, кто просветил наибольшее их число, охватив самый широкий круг заурядных умов. Не он вызвал самое сильное потрясение в общественном мнении, но именно он, возможно, придал ему наибольший масштаб и обеспечил устойчивое движение. Он сделал меньше, чем Вольтер и Руссо, против конкретных заблуждений и злоупотреблений; но он сделал больше них для утверждения общих принципов и всех истин в целом. Он в меньшей степени обрушивался на врагов философии, но приобщил к её заповедям всю молодежь, и приобрел для неё больше друзей. Если он и не добавил ничего нового к открытиям Паскаля или Ларошфуко о человеческом сердце или к открытиям Локка о человеческом разуме, он обладал талантом доказывать их, распространять, придавать их изучению огромный интерес и заставлять их служить морали и политике. Распространять науку - это, несомненно, еще не значит двигать её вперед,

но это значит приводить как можно большее число умов в состояние, позволяющее им развивать её и находить ей новое применение. Основать новую науку - значит творить; и если это применение важно, то оно заслуживает двойного венца, предназначенного для гениев и благодетелей человечества. Приветствуем тебя, тень Гельвеция!

(Journal de Paris, от 3 нивоз V года. - 23 декабря 1796 г.)

Биографический очерк о мадам Гельвеций

Мадам Гельвеций родилась в 1719 году в замке Линьевиль, в Лотарингии. Она была дочерью графа де Линьевиля, состояла в родстве с Лотарингским домом и была родственницей королевы Марии-Антуанетты. Господин Гельвеций встретил её у мадам де Графиньи, столь известной благодаря своим «Перуанским письмам». Он был поражен её красотой и тем достоинством, с которым она переносила удары судьбы. Он предложил ей руку и сердце и женился на ней, предварительно оставив должность генерального откупщика. Мадам Гельвеций страстно любила его; она любила его всю свою жизнь. От этого брака у неё родились две дочери - мадам Дандело и мадам де Мён. Она долгое время жила в имениях мужа, а чаще всего в поместье Воре. В то время её обычным занятием было посещение бедных и больных в сопровождении хирурга и сестры милосердия.

Известно, что Гельвеций подвергся преследованиям за свою книгу «Об уме». Один влиятельный человек написал его жене, пытаясь убедить её добиться от философа позорного отречения. Как женщина мужественная, она отвергла это предложение, готовая скорее уехать из страны, если бы того потребовали обстоятельства, чем заставить мужа поступить вопреки своей совести. Одна светская дама говорила о мадам Гельвеций и её муже: *«Эти люди произносят слова „мой муж“, „моя жена“, „мои дети“ совсем не так, как все остальные»*.

Смерть мужа привела к тому, что земли, на которых она прежде столь щедро творила добрые дела, перешли в чужие руки. Она уединилась в Отёе, имея доход около 20 000 ливров. Тогда она приняла решение больше не выходить в свет и обустроить свой дом настолько приятно, насколько позволяла скромность её средств. Она была уже недостаточно богата, чтобы искать удовольствий в чужих домах; но она обнаружила, что её средств более чем достаточно, чтобы предлагать их у себя. Она отказалась от своих многочисленных знакомств и окружила себя друзьями. Из всех сокровищ, прежде необходимых для её благотворительности, у неё осталась лишь её доброта; её она и перенесла на животных. Сделать более счастливым любое чувствующее существо было для неё внутренней потребностью.

За последние десять лет её дом превратился в своего рода собрание маленьких «республик» животных, для которых она была истинным провидением. Глядя на то, как она беседует со своими собаками, кошками и птицами, можно было подумать, что между ними существует какое-то особое взаимопонимание; и действительно, это было понимание, основанное на доброте и признательности. Когда она рассказывала об их преданности, об их ласках и проявлениях любви к ней, порой казалось, будто слушаешь Лафонтена, но, возможно, с еще большим очарованием; ведь если он описывал повадки животных, то она описывала всё то доброе, что было в их душах.

Она судила обо всем и во всем поступала по велению сердца. Она полюбила революцию, потому что та возвышала, облагораживала и делала более счастливой самую многочисленную и самую честную часть народа. Но она возненавидела её окончательно и бесповоротно, как только увидела, что та несёт грабежи и кровавые расправы. В 1789 году она любила тех знаменитых людей, которые превратили Францию в нацию. Позже она любила лишь того, кто из этой нации создал великую нацию.

Эта женщина, которая умела так сильно любить, постоянно повторяла: *«Я не люблю женщин»*, - и это была правда. Дело в том, что она считала их тщеславными и малоспособными на любовь, если только речь не шла о той корыстной привязанности, которую обычно и называют любовью. Она высмеивала красавиц, которые превращали свою красоту в дело всей жизни, подобно некоему званию, которое нужно исполнять. Её красота не была для неё ни средством господства, ни бременем рабства. Она подшучивала над претенциозными умницами и в особенности над писательницами; сама она была совершенно необразованна и даже хвасталась этим, будучи убеждена, что ум женщины должен целиком заключаться в её душе, тогда как душа мужчины - в его уме.

Она высмеивала дворянское чванство. Маршал де Б***, её родственник, однажды упрекнул её в том, что она не знает своих предков и не надела траур по случаю смерти одного выдающегося сородича. *«Не знаю, принадлежала ли я к его семье,* - ответила она маршалу, - *но знал ли он, принадлежит ли он к моей?»*. То ли по причине избытка чувств, то ли из-за искренности, присущей людям с добрым сердцем, она говорила всё, что приходило ей на ум, и потому прославилась своей непосредственностью.

Хотя она не претендовала ни на какую роль и совершенно не раздумывала над своими словами, она всегда очаровывала, а порой и была поучительна. Её дом всегда был полон выдающихся людей. **Ларош**, **Кабанис** и **Галлуа** закрыли ей глаза. Господин **Франклин** навещал её ежедневно. Аббат **Морелле** в течение десяти лет проводил у неё по три дня в неделю. Господин **Тюрго** нежно её любил. **Шамфор**, один из остроумнейших людей последнего времени, чьи удачные изречения так часто цитируют, находил в общении с ней огромное удовольствие. Часто посреди глубокомысленных дискуссий, в которых она, казалось, вовсе не принимала участия, она вдруг вставляла восклицания или идущие от самого сердца слова; они опровергали множество софизмов, указывали на верные принципы и помогали правильно поставить вопрос. Будучи доброй и искренней - или, вернее, именно потому, что она была доброй и искренней, - госпожа Гельвеций порой говорила весьма колкие вещи. О ней, даже в большей степени, чем о Буало, можно было бы сказать, что она не совершала, но изрекала - без всякой злобы - довольно едкие колкости.

Она была счастливейшей из женщин, потому что любила сильнее всех; она чувствовала свое счастье, постоянно им хвалилась и даже за несколько дней до смерти повторяла: «Вот мои друзья». Ее последнее слово было обращено к Кабанису, который целовал и сжимал ее уже похолодевшие руки, называя ее своей доброй матерью. Она ответила: «Я ею остаюсь». Она скончалась на восьмидесятом году жизни в своем доме в Отёе, 25 термидора. Ее похоронили в ее же саду. «Вы и не знаете, - сказала она однажды, прогуливаясь там с Бонапартом - «вы и не представляете, сколько счастья можно найти на трёх арпанах земли». Те, кто унаследует этот сад, вспоминая ту, для кого он был истинной отрадой, и друзей, что так часто беседовали здесь с ней, и великих людей, навещавших её, смогут сказать: «Вы не знаете, сколькими нежными и меланхоличными воспоминаниями могут быть населены три арпана».

Обзор книг Вольнея

ПУТЕШЕСТВИЕ в Сирию и Египет в 1783, 1784 и 1785 годах. 3-е издание, 2 тома в формате октаво, с иллюстрациями. **РУИНЫ, или Размышления о гробницах**; за которыми следует **КАТЕХИЗИС французского гражданина**. 3-е издание. 1 том в формате октаво. Автор: ВОЛЬНЕЙ, член Национального института. В Париже, у книготорговцев Дюгура и Дюрана, улица и отель Серпант.

Наши новые отношения с Египтом и Сирией придали «Путешествию» Вольнея не только новый интерес, но и высокую достоверность. Французы, возвращающиеся из тех стран, и многочисленные письма, приходящие оттуда ежедневно, подтверждают сведения, изложенные автором. Вольней стал для наших ученых и военных надежным проводником по Египту; здесь, в Европе, они выступают безупречными поручителями его правдивости - это достойная награда за точность его наблюдений и верность его описаний. Долговечность его успеха, на фоне провала столь многих других сочинителей путевых заметок, служит им предупреждением: никакое шарлатанство не заменит двойного таланта - умения видеть и умения запечатлеть; если же в самой истине не удается найти ничего занимательного, то следует воздержаться от того, чтобы писать. Третье издание, о выходе которого мы объявляем, дополнено:

1. Переводом двух арабских рукописей, которые содержат новые статистические сведения о Египте и об упорядоченной организации голубиной почты.
2. Точным обзором левантийской торговли.
3. Рассуждениями о войне русских и турок в 1788 году.
4. Наконец, двумя новыми гравюрами, изображающими пирамиды, Сфинкса и прочее.

В последние два или три года книга «Руины» становилась мишенью для многочисленных нападок. Известно, что целью этого сочинения является извлечение из руин древности откровения о великих заблуждениях и пагубных страстях, которые погубили самые процветающие империи и до сих пор угрожают разрушением существующим государствам. С одной стороны деспотизм, с другой - религии; именно они выступают главными причинами крушения империй, и христианство входит в число тех вероучений, которые автор подвергает критическому разбору. Доктор Пристли, оставивший физику - науку, в которой ему посчастливилось снискать доброе имя, - ради того, чтобы в Америке примерить на себя подозрительную повсюду и презираемую там роль основателя секты, пятнадцать месяцев назад опубликовал в Филадельфии едкий и насквозь пропитанный клерикальным духом памфлет против «Руин». Некоторое время спустя ему довелось испытать огорчение, когда в искусстве оскорбления его превзошла святая инквизиция Мадрида. Она провозгласила, что «Руины» «в большей степени заражены злонамеренностью, нежели сочинения Гоббса, Спинозы, Руссо, Вольтера и прочих вольнодумцев всех времен, являясь по сути своей чистым атеизмом, фатализмом, натурализмом и материализмом». Обратите внимание, что «атеизм и натурализм» здесь выступают эквивалентами «атеизма и деизма», и судите по этому об остальном содержании данного постановления. Что касается нас, то ни разглагольствования доктора, ни тирады инквизиции не помешают нам находить «Руины» поучительными и красноречивыми.

«Катехизис французского гражданина» - это сжатый и общедоступный курс морали. Д'Аламбер завершил свои «Элементы философии» пожеланием, чтобы какой-нибудь философ-гражданин написал «Катехизис морали». Со времен д'Аламбера это уже третье сочинение, изданное под таким заголовком; два предыдущих принадлежат перу барона Гольбаха и Сен-Ламбера. Все три труда основываются на одних и тех же принципах, но различаются в исполнении: авторы выбирали разные предметы для особого внимания и использовали разный стиль. Вольней уделил обязанностям человека перед самим собой больше места, чем Сен-Ламбер, но при этом меньше, чем он - и даже слишком мало - коснулся семейных обязанностей. Он разобрал добродетели и общественные отношения, для которых Сен-Ламбер, судя по всему, предназначил иную работу. Стиль Вольнея более точен, стиль Сен-Ламбера - более трогателен. Первый лучше впечатывает свою мысль, второй - успешнее передает свои чувства. Оба они оставили далеко позади барона Гольбаха, который, впрочем, обладает той заслугой, что был их предшественником. Искусство составления катехизисов совершенствуется; прославленные в литературе и философии имена сделали для признания этого рода сочинений то, чего лучшие книги в данном жанре не смогли бы сделать для славы их авторов: настолько мы неблагодарны по отношению к самому таланту наставлять и убеждать, и настолько нам нужно быть пораженными, чтобы начать ценить. Еще одно усилие - и мы у цели.

Полиграфическое исполнение нового издания Вольнея очень качественное; гравюра в нем великолепна: она подготавливает к мыслям, содержащимся в книге, тех, кто ее еще не читал, и напоминает о них или воспроизводит их для тех, кто с ней уже знаком.

Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума; посмертное сочинение Кондорсе

Данный труд разделен на десять эпох. Первые девять можно соотнести с тремя большими периодами. Первый охватывает всё, что относится к происхождению обществ, вплоть до формирования членораздельной речи. Эта часть представляет собой ряд наблюдений за развитием наших способностей, подкрепленных рассказами путешественников, видевших варварские народы. Второй период включает в себя промежуток времени от формирования членораздельной речи до изобретения алфавитного письма. Здесь на помощь метафизическим наблюдениям приходят некоторые исторические памятники, давая философу дополнительную опору. Третий период вобрал в себя прогресс человеческого разума и его превратности с того времени, когда алфавитное письмо стало известно в Греции, и до наших дней.

В первых двух частях автор следует примерно тем же путем, что и Кондильяк в «Опыте о происхождении человеческих знаний»; однако он движется более размашисто и с большей быстротой. Он схватывает и вовлекает в свое повествование множество важных предметов, которые Кондильяк оставляет без внимания. Последний излагает лишь абстрактную историю начального развития рассудка; Кондорсе же пишет его реальную историю и показывает, как способности ума проникли в науки и нашли в них применение.

В рамках третьего периода все важные вехи истории наук собраны воедино вопреки огромным расстояниям во времени и пространстве; они изложены в порядке, наиболее подходящем для того, чтобы наглядно показать их взаимную связь, и представлены в самых впечатляющих ракурсах. Описывая историю Греции, автор отметил все пути заблуждений; он открыл и расширил все пути к истине. Он показывает, до какой степени могут сбить с толку принятые без проверки представления, причуды ложной диалектики и пагубное влияние дурной дидактики. Невозможно лучше предостеречь разум от его собственных заблуждений или злоупотреблений.

Эта часть, несомненно, чрезвычайно полезна. Тем не менее, позволим себе сказать, она не вполне достигает той цели, которую, по-видимому, ставил перед собой Кондорсе и которую он, как никто другой, был способен осуществить.

Намечая принципы, которые должны управлять развитием разума в науках, можно было бы также наметить и те, что должны определять направление воли в делах общественной жизни. Указывая на элементы и методы, присущие всем наукам в целом, можно было бы выделить и специфические составляющие нравственных и политических наук. Рассматривая все проявления интеллекта, можно было бы обратиться и к чувствам души. К истории идей было легко добавить историю нравов, и это дополнение было необходимо для завершения системы знаний, от которой зависит исправление или совершенствование наших общественных привычек. Именно Кондорсе предстояло охватить все эти элементы, и он, несомненно, осознал бы необходимость этого, если бы судьба позволила ему завершить тот великий труд, набросок которого является данное сочинение.

Десятая эпоха, которую рассматривает автор, - это будущее в его беспредельности. Эта часть произведения представляет картину прогресса, уготованного грядущим поколениям и, как кажется, гарантированного им неизменностью законов природы. Кондорсе предвидит исчезновение в ближайшем будущем неравенства между народами и сокращение разрыва между людьми внутри одного народа. Он также видит, как индивид совершенствуется день ото дня, постоянно обретая новые способности к наслаждению и новые средства для него. Он

не знает границ в росте человеческого счастья, будучи убежденным, что невозможно установить предел развитию разума и что наша физическая способность к совершенствованию также не имеет определенных и известных границ. Видно, что автор с удовольствием погрузился в созерцание будущего, где он находил столько щедрого возмещения за наши нынешние страдания. Однако он предавался этому не как слепой энтузиаст, а как просвещенный филантроп, как мудрец с выдающимся умом рассматривал он эту утешительную перспективу. Несомненно, именно тому человеку, который сумел так блестяще описать историю прошлого прогресса человеческого разума, надлежало предвидеть и предсказать те достижения, которые еще больше возвеличат его.

Стиль этого произведения прост, лаконичен и точен. Он может показаться сухим и суровым тем читателям, которые больше жаждут удовольствий, чем истины, и требуют от любого сочинения красочности и динамики. Философ, заботясь лишь о единственном воодушевляющем его интересе - интересе просвещения, не ищет и не допускает в своем слоге тех метафор, малейшая опасность которых заключается в том, что они отвлекают разум, воздействуя на воображение. Он не менее тщательно избегает и необычайных порывов чувств, которые всегда способны увести мысль с узких троп истины. Кондорсе, всегда благоразумный в своих взглядах и часто оригинальный в идеях, никогда не стремился ни к какому иному достоинству в письме, кроме ясности и точности.

Тем не менее, фрагмент, завершающий рассматриваемое произведение, носит самый благородный и трогательный характер. Составляя его, автор, сам того не замечая, совершал тайное обращение к самому себе, к своим врагам, к своим несчастьям; и его язык благодаря этим обстоятельствам обретает ту глубину, в которой он, казалось, хотел ему отказать. Этот отрывок, напоминающий о стольких бедах и, прежде всего, столь ярко выражающий ту скромность в несчастье, которая, возможно, труднее скромности в процветании, и которая была присуща Кондорсе не меньше, чем его таланты, заменяет собой многие красноречивые страницы о его печальной судьбе. И разве не обладает своим собственным красноречием это возвышенное молчание Кондорсе о самом себе, когда всё побуждало его говорить об этом?

Пусть другие блестяще оправдываются, сокрушают своих клеветников, живописуют несчастья, доселе неведомые людям, и делятся теми столь новыми впечатлениями, которые они от них получили; пусть они открывают в чувствительных душах новые источники слез; пусть дают друзьям отечества новые поводы для ненависти к его угнетателям, а философам - те глубокие наблюдения, которые позволяют узнать человека лучше, чем это делает история нескольких веков. Кондорсе, еще более великий и величественный, ничего не говорит вам о себе. Он поднялся выше всех своих страданий, всех своих обид, всей своей ненависти и, что было еще труднее для его доброй и нежной души, выше своих самых дорогих привязанностей. Он оставил себя, забыл о себе, чтобы полностью слиться с вечной судьбой человеческой природы. Архимед, чертивший геометрические фигуры под занесенным над ним роковым топором, которого он даже не успел заметить, - Архимед, с которым сравнивали Кондорсе, дает лишь слабое представление о нем. Не больше ли он похож на Сократа? На Сократа на смертном одре, рассуждающего о бессмертии души перед друзьями и плачущей семьей? Но нет! Нет примера тому, кто в течение восьми месяцев одной рукой держит чашу с цикутой, а другой - перо философа; кто пишет в могиле; кто пишет не о бессмертии души, а о куда более несомненном бессмертии человеческого разума. Он явил его силу тогда, когда всё свидетельствовало о его слабости; он предсказал его прогресс, когда всё вокруг, казалось, лежало в руинах; он показал, что разум станет залогом счастья будущих поколений, в то время как нынешнее поколение и он сам гибли среди бедствий, порожденных бесчисленными преступлениями.

О, сила раздумья и добродетели! До каких высот ты способна вознести человеческую душу! От каких бед ты умеешь её освободить! Какие утешения ты хранишь для неё! Какие источники славы и счастья ты умеешь открыть в её глубинах! О, последний памятник ума и характера великого человека! Священная книга, написанная в недрах несчастья и на самом пороге жизни; последнее прощание друга с друзьями, отца - с нежнейшим ребенком, мужа - с

почитаемой и любимой женой; последнее прощание добродетельного гражданина с отечеством. Чутким и благородным душам не нужно будет открывать тебя и перелистывать твои страницы, чтобы взирать на тебя с трепетом и уважением!

(Парижский журнал от 21 жерминаля III года - 10 апреля 1795 г.)

О современной философии, сочинение Риваролля

Перед нами произведение, которое всячески превозносят и широко прославляют, но которому, как мне кажется, невозможно дать разумную похвалу. Если автор и обладает талантом заставить себя читать, то ему определенно не хватает умения заставить себя слушать. Я бы хотел - ради самих его почитателей, - чтобы они были вынуждены представить суть этой книги или хотя бы изложить её основные тезисы в нескольких словах. Я утверждаю, что, если представить мнения Риваролля в чистом виде, без прикрас, они вызвали бы стыд своим уродством, несообразностью и противоречивостью. Зачастую даже сами читатели были бы крайне удивлены, обнаружив лишь пустоту под маской столь внушительных стилистических форм; они увидели бы, как возвышенная мысль автора улетучивается в тот самый миг, когда, пытаясь её уловить, они вскрывают оболочку.

Лишь одно в этом труде совершенно ясно: намерение нанести вред не только Революции, но и философии, человеческому разуму и здравому смыслу. Это страстное рвение не только к политической контрреволюции, но и к восстановлению любых форм угнетения через любые нелепости; это жажда реставрации режима, при котором Людовик XIV показался бы недостаточно деспотичным, Карл IX - недостаточно суеверным, а трон требовал бы не меньше чем Филиппа II и его великого инквизитора. Вот что обольщает и очаровывает «кроткие и добрые души», которые пребывают в восторге от сочинения Риваролля.

То, что он называет «современной философией», - это система грабежей и массовых убийств, имевшая место в период террора. Однако было бы трудно привести хотя бы одну цитату из Вольтера, Руссо или Монтескье, которая санкционировала бы подобные бесчинства.

Робеспьер, по мнению Риваролля, лишь воплотил современную философию в действии. Однако в действительности Робеспьер не уступал, а порой и превосходил Риваролля в своих нападках на эту самую современную философию. Для него Ривароль был таким же философом, каким для Риваролля был Робеспьер.

Ривароль утверждает, что, уничтожая всякую религию, философы как минимум подготовили почву для этой системы разрушения. Однако Руссо, Вольтер и Монтескье - все они исповедовали естественную религию и восхваляли христианство. Впрочем, именно именем Иисуса, названного неистовыми революционерами «первым из санкюлотов», они прикрывались, когда грабили и убивали католических священников. Наконец, Робеспьер, восстановив культ Всевышнего, который на мгновение был упразднен, отнюдь не перестал казнить людей меньше, чем прежде.

Правда, Бийо-Варенн, Колло д'Эрбуа и некоторые другие иногда взывали к имени философии, издавая свои кровожадные законы. Но разве вожди Варфоломеевской ночи не взывали к имени религии, приказывая совершать массовые убийства? Разве они не печатали кресты на своих знаменах и не благословляли кинжалы? Разве Бийо и Колло д'Эрбуа не взывали к имени добродетели так же часто, как и к имени философии? Станут ли из-за этого судить добродетель? Как можно запретить лицемерие - это преступление, которое невозможно предотвратить?

То, что автор называет «древней, почтенной философией», на самом деле является застарелым злоупотреблением властью, это перманентное преступление. Для него зло - это благо, если оно стабильно; благо же становится злом, если оно преходяще.

То, что автор называет религией, - это любая религия, какой бы она ни была: Моисея, Магомета или Иисуса; это рай и ад, тартар и элизиум, Бог и дьявол, ангелы, гурии, кобылица Магомета и прочее. Ему всё это безразлично. Во всём этом он видит лишь одинаково благотворные изобретения. И вы, конечно, понимаете, что именно по этой причине он сам ни во что из этого не верит. Но самое забавное - это то, как он об этом заявляет. По его словам, просвещение и вера - две вещи несовместимые. Для него не существует «плохой» религии, несмотря на всё разнообразие культов. Под «религией природы» он понимает ту, которую исповедуют порицаемые им философы; и он прямо заявляет об этом после того, как обрушился на них с яростной критикой.

Скажем несколько слов о стиле этого произведения. В нем нет порядка, потому что для ложных идей порядка не существует. В нем нет того прекрасного беспорядка, который сопровождает и описывает великие движения души, ибо великие движения возможны только для истинных чувств. В этой книге чувствуется нервозность, которая не дает тепла, и видятся образы, которые не проясняют сути и не оставляют в уме никакой мысли. Она полна блестящих оборотов, но при этом нет ни одной страницы, которая не была бы туманной. Если автор порой и возвышает воображение, то сразу же оскорбляет вкус, соединяя в нескольких строках самые несочетаемые вещи. Он начинает фразу как Боссюэ, а заканчивает как Скаррон. В целом, Бальзак и Вуатюр кажутся образцами простоты по сравнению с тем, насколько надуман стиль Ривароля. Словом, его слог везде свидетельствует о таланте, но это - дурной стиль.

Ограниченный объем этого листа не позволяет мне подтвердить это мнение цитатами. Я подробно разобрал всё произведение в журнале «Философская декада» (Décade philosophique); моя статья появится в следующем номере.

(«Парижский журнал» от 26 фрюктидора VII года. - 12 сентября 1799 г.)

Г-ну Р. по поводу его очерка о Ривароле

Нужно лишь немного чувствовать дух времени и места, чтобы понять: вы могли и должны были критиковать труд Ривароля о современной философии. Но как опасно или, по крайней мере, крайне невыгодно было бы опровергать вашу критику! Поэтому вы до сих пор не встретили противника, который вышел бы на бой, и, возможно, даже «Журналь де Пари» не с большой охотой предоставил бы место защитнику-антифилософу.

Позвольте, однако, человеку, прочитавшему и книгу Ривароля, и ваш очерк, указать на одну фактическую ошибку, которую вы допустили. В двух местах своего текста вы ставите имя Монтескье в один ряд с Руссо, Вольтером, Гельвецием и Дидро. Тем самым вы даете понять, будто Ривароль, называющий только последних виновниками Революции и её бедствий, приравнивает к ним и Монтескье. Между тем имя этого мудрого публициста и великого философа ни разу не упоминается в сочинении Ривароля.

Философские принципы, которые вы защищаете, и без того дают вам достаточно преимуществ перед Риваролем, чтобы не приписывать ему еще и ошибку включения Монтескье в число проклинаемых им предшественников Революции. Напротив, философия и политические взгляды Монтескье служат основой для всех тех, кто ненавидит Революцию и её последствия.

Если вы не напечатаете моё письмо, то поместите хотя бы исправление (errata) относительно имени Монтескье, упомянутого столь некстати. Именно такие досадные полемические уловки постоянно раздражают тех, кто хотел бы видеть в вас лишь идейного оппонента.

Ответ. Ривароль, обрушиваясь на современную философию и философов, не составил точного списка трудов и авторов, о которых шла речь, и в этом одна из его ошибок. Он лишь случайно и вскользь назвал четырех людей столетия, носивших звание философов, а именно: Вольтера, Руссо, Дидро и Мабли. Однако он не заявлял, что ограничивает список обвиняемых писателей только этими четырьмя именами. Я не вижу причин исключать Монтескье из этого перечня, как не вижу и того, как можно провести в сознании Риваролля черту, отделяющую одних современных философов от других. Монтескье способствовал Революции больше, чем Руссо, и уж тем более больше, чем Мабли. Мабли дал немало поводов тем, кто извратил его идеи, но именно Монтескье в гораздо большей степени направлял тех, кто её начал.

(«Парижский журнал», 3-й дополнительный день VII года. - 19 сентября 1799 г.)

О современной философии и о той роли, которую она сыграла во Французской Революции, или Разбор брошюры, опубликованной Риваролем, О современной философии

Или разбор брошюры, изданной Риваролем о «Современной философии».

Брошюра Риваролля под названием «О современной философии» представляет собой выдержку из рассуждения, которое должно служить предисловием к «Словарю французского языка», давно анонсированному автором. Это рассуждение, напечатанное в Гамбурге два года назад, до настоящего времени было запрещено во Франции именно из-за той его части, которую автор публикует сегодня. Давайте проверим, заслуживал ли этот фрагмент того внимания, которое уделило ему правительство, и не стоило ли этому сочинению опасаться публичности гораздо больше, чем запрета.

Автор начинает с определения того, что он понимает под современной философией. Этому определению посвящено одиннадцать страниц. Он мог бы быть и лаконичнее; сейчас мы увидим, насколько он рассудителен, ясен и красноречив. Но прежде нам хотелось бы, чтобы читатель собрался с собственными мыслями о современной философии и остановился на тех обстоятельствах, которые, по его мнению, характеризуют её и отличают от философии древней. Что касается меня, то вот как я примерно понимаю современную философию.

Во-первых, её роднит с древней философией то, что она есть любовь к мудрости и поиск истины. Далее, от последней её, на мой взгляд, отличает надежность методов, направляющих этот поиск, а также масштаб её открытий. Более глубокое знание человеческого разума и происхождения идей позволило обратиться к истинным способам их обретения и проверки. Таким образом, опыт и наблюдение во всех науках заменили произвол гипотез и страсть к созданию систем. Даже мораль и политика обрели под собой твердую почву: они вывели наши права из наших потребностей, а из наших прав вывели наши обязанности. Таким образом, надежность методов и масштабность результатов - именно в этом, как мне кажется, заключаются характерные черты современной философии. Найдет ли Ривароль в ней что-то иное, нечто более значительное и лучшее? Или же он обнаружит в ней лишь нечто мелкое и пагубное? Давайте ознакомимся с резюме его одиннадцатистраничного определения.

По его мнению, современная философия – это *«дерзкое невежество… Это дух независимости, соединенный с деспотизмом суждений. Это дух анализа, который повсюду применяет методы растворения и разложения… Который убивает и препарирует живых людей, чтобы лучше их познать… Это тот злонамеренный дух, который во всем видит лишь дурное и нимало не заботится о том, чтобы творить добро… Который ищет только власти вместо высшего блага… Который разрушает всё: политику, мораль, религию и, прежде всего, королей… И который, тем временем, сливаясь с модой, обольщает и собирает под свои знамена придворных и*

монархов… Который строит свои здания между могилами отцов и колыбелями детей, расточает любовь к будущему и неведомому, и обрекает на ненависть своих современников… Смеется над правами собственности… И в итоге не находит ничего, кроме лабиринта на дне бездны…».

Вот то, что автор называет бледной копией того, что каждый видит в современной философии. Если это и копия чего-либо, то, безусловно, смутный набросок весьма причудливого сочетания крайне разнородных вещей. Полагаю, никто не признает в этом философскую систему; это может быть лишь отражением фантазий автора. Однако совершенно верно то, что дух анализа проник в современную философию и даже стал её характерной чертой. Но кто и когда под этими словами понимал дух разрушения?

«Анализ, - утверждает автор, - *действует в направлении, противоположном Природе: он всегда разлагает, в то время как Природа всегда созидает»*. Что за мысль! Труд природы состоит как в разложении, так и в созидании: одна половина мира гибнет, пока другая растет. И анализ заключается не только в разложении на части; он также состоит в последующем синтезе. Ведь ни один анализ не может считаться полным без воссоздания, которое служит проверкой и позволяет понять взаимосвязи и пропорции разделенных элементов. Более того, единственная цель аналитического разложения - это созидание. Анализ разбирает целое лишь для того, чтобы овладеть секретом совершенного строения. Часовщик берет на себя труд разобрать часы только ради того, чтобы их починить или научиться делать их еще лучше; химик анализирует природные вещества лишь для того, чтобы научиться создавать лекарства, пищу, полезные и приятные искусственные субстанции, или чтобы не дать природным веществам при неправильном применении навредить нам или погубить нас. Анатом проводит вскрытие и анализ только ради того, чтобы постичь искусство исцеления и сохранения жизни. Что же разбирают на части политик, моралист или логик? Неужели, как утверждает Ривароль, это сами вещи, общества или живой человек? Они разбирают идеи и слова - вот и всё. И с какой целью? Чтобы формулировать суждения, которые они понимают, произносить речи, смысл которых им ясен, составлять планы, в которых они могут отдать себе отчет, и чтобы затем поступать правильно. Ведь для того, чтобы творить благо, нужно, по-видимому, сначала понимать, что делаешь, что говоришь и что думаешь.

Я мог бы спросить автора: как получается, что анализ разлагает на части, если не через сам анализ? И как Природа созидает, если не через анализ? И как он сам может поведать нам об этом, если не с помощью анализа? И почему он не заметил, что анализ тоже созидает и даже не имеет иной цели, кроме созидания, а Природа не перестает разлагать? Не от недостатка ли анализа это происходит? Говоря об определении современной философии, далее автор переходит к безумствам, глупостям и преступлениям, в которых он её обвиняет.

«Все её софизмы, - заявляет он, - *можно свести к одному-единственному: к чуду внезапного прозрения, осенившего каждого, и к повсеместному распространению просвещения среди всех народов»*. Никто никогда не верил в чудо мгновенного озарения всех умов без исключения. Что же касается распространения знаний среди всех народов, то кто дает право считать это невозможным? *«Просвещение,* - утверждает автор, - *растет ввысь, а не вширь; оно возвышает науки, но не просвещает народ»*. На самом же деле просвещение распространяется во всех направлениях. Оно не возвышает и не принижает науки, поскольку знание и наука это одно и то же. Чем совершеннее и проще становятся науки - или, что то же самое, чем ярче свет знаний, - тем больше умов он охватывает.

Еще один упрек, который автор адресует современным философам, заключается в том, что они якобы провозгласили *«безграничное равенство между людьми»* и *«постановили, что люди равны от природы без всяких ограничений»*. Однако конституции 1791 года и III года республики провозгласили равенство в правах, а вовсе не природное или безграничное равенство. Ни один философ не провозглашал естественное равенство, ведь тогда он пошел бы против самого очевидного природного факта. Сийес, напротив, в своем прекрасном и логичном изложении прав указал, что именно неравенство возможностей сделало необходимым обес-

печение равенства прав со стороны общественного устройства. «Общественный закон, - добавил он, - создан вовсе не для того, чтобы ослаблять слабого и укреплять сильного, но для того, чтобы защитить слабого от посягательств сильного, укрыть своей покровительственной властью всех граждан без исключения и гарантировать каждому полноту его прав».

Впрочем, автор приписывает заблуждение о равенстве всех людей (в которое философы на самом деле не впадали) смешению понятий сходства и равенства. *«Люди действительно рождаются подобными друг другу* - говорит он, - *но не равными»*. Странное различие! Сходство, несомненно, ближе к тождеству, чем равенство. Равенство является условием сходства, тогда как сходство не является условием равенства. Таким образом, автор объясняет ошибку, которой никто не совершал, незнанием другой ошибки, в которую он сам хотел бы нас втянуть.

Еще одно преступление философии, по мнению автора, это *«уничтожение всякой религии»*. На это можно ответить, что Философия присоединила к своей области некоторые сферы, которыми стремилась завладеть религия, такие как политика и мораль; однако это было сделано без осуждения всех религий и без уничтожения какой-либо из них. Она взяла на себя заботу обо всём, что касается человеческого счастья, не исключая при этом полностью участия тех или иных религиозных идей. Автор утверждает, что, несмотря на разнообразие культов, существует лишь одна религия, и эта религия естественная. Это значит зайти гораздо дальше, чем Вольтер и Руссо, которые часто выражали глубокое почтение к христианской религии.

«Даже если рассматривать религии лишь как некие застывшие суеверия, - говорит Ривароль, - *они всё равно оставались бы благодетельницами рода человеческого»*. Но можно ли в самом деле считать их застывшими суевериями? Разве все они не были крайне изменчивы, подобно любым другим человеческим убеждениям? *«Любые мнения,* - продолжает автор, - *хороши, когда они неизменны»*. Исходя из этого принципа, автору следовало бы невысоко ценить религиозные идеи; и вместо того чтобы бороться сегодня с антирелигиозными взглядами, ему следовало бы помогать их закреплению.

«Хорош не лучший закон, а самый стабильный». Таким образом, чтобы сделать нашу конституцию идеальной, достаточно лишь сохранять её неизменной. Значит, вы нападаете на неё не потому, что находите её дурной, а нападаете лишь для того, чтобы иметь право считать её таковой. *«Законно лишь то, что неизменно»*, а следовательно, всё неизменное законно. Иными словами, затянувшаяся несправедливость становится справедливостью, а прекращение несправедливости оказывается преступлением.

Впрочем, автор заявляет, что *«в возвышенном искусстве управления людьми священники ошибались точно так же, как и философы: первые полагали, что образованные сословия будут верить вечно, а вторые - что народы прозреют… Они не поняли самой сути вопроса. Религию не следовало ни доказывать, ни атаковать… Речь шла не о том, истинна ли она, а о том, насколько она необходима. Всё, что помогло вырвать человека из первобытного состояния, достойно восхищения: будь то ад или рай, ангел или дьявол - не имеет значения… Именно священники являются создателями народов»*. Но как утвердить религию среди народа, не доказав её истинность? Как заставить принять её как нечто необходимое, если не подтвердить её достоверность? Она может быть необходима лишь до тех пор, пока народ в нее верит; а верить он может лишь в той мере, в какой ему говорят, что она истинна. Следовательно, необходимо доказать ее истинность, чтобы обосновать ее необходимость. Если бы вы сказали народу: «Ты должен пребывать в заблуждении», он мог бы вам ответить: «Охотно верю; но в таком случае сделайте так, чтобы я в нем оказался, обманите же меня, докажите мне эту ложь».

И вот, когда религию однажды представили народу как истину - хотя в глубине души ее апостолы считали ее лишь необходимой - было вполне естественно, что те, кто заподозрил или обнаружил ее ложность, перестали считать ее необходимой в тот самый миг, когда она перестала казаться им истинной. Простого здравого смысла было достаточно, чтобы они пришли к такому выводу. Религию выдавали за необходимую, потому что она предполагалась истинной; раз уж доказано, что она ложна, значит, она вредна или, по крайней мере, не является необходимой. Этот аргумент не нуждался в философии восемнадцатого века, чтобы поразить умы многих людей.

В сущности, абсурдно утверждать, будто любая религия достойна восхищения только потому, что она вывела человека из дикого состояния. История полностью опровергает это последнее утверждение: религии появились лишь после того, как сформировались общества; и если бы они предшествовали им, из этого следовало бы, что религии могут уживаться с первобытным состоянием. Однако нелепо считать одинаково достойным восхищения любой способ вывода человека из состояния дикости. Несомненно, не все человеческие объединения основывались на одинаково удачных принципах; как же можно смешивать все причины и все средства объединения людей?

Но если нападки на религии - будь то истинные или ложные - являются преступлением со стороны современных философов, то почему же их критик, Риваролль, сам повинен в том же самом? Упрекая священников в уверенности, что образованный класс всегда будет сохранять веру, он достаточно ясно заявляет, что вера и просвещение несовместимы; следовательно, сам он не верит и признает религию ложной. Он говорит народу: «Священники вас обманывали, но они и должны были вас обманывать». Но говорить подобное это значит раскрывать глаза на обман. Таким образом, он делает именно то, в чем упрекает философию: он сеет соблазн, пытаясь с этим самым соблазном бороться. Откуда берется эта ошибка, на которую стоит указать Риваролю и которая, возможно, сделает его чуть более снисходительным к современным философам? Дело в том, что просвещенному человеку не хочется казаться легковерным; он боится поступиться уважением к самому себе, признавая у себя некую умственную немощь, когда человек полностью осознает силу своего разума; всё дело в благородной слабости - нежелании скрывать свой здравый смысл. Увы! Когда видишь, что критик Вольтера, Руссо и Монтескьё из тщеславия тоже хочет казаться вольнодумцем в книге, написанной против вольнодумства, не возникает ли сильного желания простить тех, кого он обвиняет?

Другая причина рвения автора в защиту религий (несмотря на его философское неверие и скандальную манеру его проявлять) состоит в том, что, по его словам, *«Бог всегда присутствует в физическом порядке и всегда отсутствует в порядке нравственном»* (Отсутствует в). Таким образом, согласно Риваролю, не существует ни естественных законов, ни естественной морали! Никогда еще теологи не заходили так далеко; но продолжим: *«В нравственном порядке Бог правит лишь через посредническую власть религий»*. Заметьте, что автор говорит только об официальных, установленных религиях: здесь он не допускает существования ни естественной религии, ни естественной морали, хотя ранее и заявлял, что, вопреки разнообразию культов, существует лишь одна религия - религия естественная.

«Бог движет Природой и управляет ею посредством видимых законов; только через религию Он предлагает нам порядок, правила, счастье, притягательность добродетели и отвращение к пороку». Таким образом, порядок, правила и добродетель вовсе не предписываются нам теми опасностями, бедами и жалкой жизнью, что неразрывно связаны с преступлением, пороком и беспорядком!

«Бог карает за проступки - то есть, по мнению автора, за нарушения физических законов - *но оставляет наказание за преступления на усмотрение человеческого правосудия и религии»*. Где же в этой системе та доля власти, которая в любом обществе неоспоримо принадлежит нравам, общественному мнению и совести частных лиц? Разве всё это не моральные силы, призванные вознаграждать добродетель, карать порок и преступление?

«Преступление порой бывает успешным на земле; это происходит потому, что оно было совершено без ошибок». Преступление, несомненно, иногда бывает успешным, но преступник - никогда, независимо от того, есть ли у него религия или нет.

«Эта теория, - говорит автор в завершение, - *дает непоколебимое основание правосудию и религии; я не знаю теории более истинной и величественной»*. Своеобразный способ утверждать правосудие и давать ему непоколебимое основание - лишить его опоры на естественные законы! Странный способ укреплять человечество в мудрости и добродетели - отрицать в нем принципы морали, внушенные самой Природой, и признавать их лишь как результат религиозного учения! Кто и когда мог не заметить связи между нашими интересами и интересами себе подобных? Кто не признавал в человеке способности просчитывать эти связи и выводить

из них правила мудрости и справедливости? Кто не замечал в этом живого и мгновенного чувства? Кто не наблюдал - или, по крайней мере, кто может отрицать - этот удивительный феномен воображения, называемый сочувствием или состраданием? Оно заставляет нас радоваться и страдать вместе с другими, приобщает нас к их страхам и надеждам, к их радостям и печалям. Это та самая жалость, которая, возникнув из чувства собственного интереса, кажется намного более возвышенной и часто даже противоречит ему; та жалость, что заставляет нас протягивать руки и спешить на помощь к тонущему или бросаться в огонь, чтобы спасти жертв, которых он пожирает. Можно ли отрицать это поразительное отождествление себя с себе подобными, которое пронзает нас самих тем самым ужасом, который мы внушаем другим, когда совершаем какой-либо проступок, способный вызвать у них возмущение; которая в награду дает нам разделить то удовольствие, которое они получают, одобряя наши добрые поступки или благородные чувства; которая вооружает нас против самих себя тем проницательным взглядом, какой мы замечаем у других, чтобы проникать в порочные уголки нашей души, или же дарует нам тот доброжелательный взор, который с симпатией взирает на нежные и чистые привязанности; которая заставляет нас испытывать либо отвращение к самим себе, либо сладостное упоение от того, что мы пребываем в согласии со всеми порядочными людьми - в этой гармонии, в этом молчаливом взаимопонимании, которое в тысячу раз приятнее шума похвал и блеска славы?

«Мораль без религии, - продолжает Ривароль, - *это правосудие без судов»*. Без совести - да; без религии - нет, так как сама религия нуждается в поддержке совести в сердцах людей.

«Религия отвечает за массы, философия отвечает лишь за отдельных личностей». Если философия отвечает лишь за индивидов, почему же вы возлагаете на неё вину за преступления масс? И если религия отвечает за массы, почему она так плохо за них ответила во время Варфоломеевской ночи и в период террора 1793 года?

«Философия разделяет людей через мнения; религия же объединяет их в одних и тех же догматах». Следовало бы сказать так: мнения разделяют людей в философии лишь тогда, когда она несовершенна; но то, что религия якобы объединяет одними и теми же догматами - это утверждение опровергается самим перечнем бесчисленных сект, бесчисленных культов и бесчисленных войн, вспыхивавших из-за каждого догмата любой религии. Вера по самой своей природе гораздо более склонна разделять людей, нежели знание; философия находит свои критерии проверки в природе, вера же имеет их лишь в доктринах корыстных священнослужителей.

Проведя параллель между религией и философией, автор подробно разбирает четыре метафизические ошибки, которые ему угодно приписывать современной философии. На самом же деле это те устаревшие глупости, с которыми современная философия покончила настолько решительно, что их опровержение теперь может казаться лишь нелепым. Эти мнимые ошибки заключаются в тезисах о том, что человек по своей природе свободен, справедлив, добр и склонен к одиночеству.

Со времен Локка всем известно, что естественная свобода состоит в возможности делать то, что хочешь, и выбирать, для принятия волевого решения, между тем или иным побуждением; да и задолго до Локка всеми признавалось, что естественная свобода это не цель существования, а средство самосохранения. Также было хорошо известно, что её пределом служит свобода наших ближних, которую необходимо уважать, чтобы и они, в свою очередь, уважали нашу.

Что касается справедливости и доброты, то никто, насколько мне известно, никогда не считал их качествами человека, живущего в изоляции или в диком природном состоянии. Никто не думал, что справедливость может существовать там, где нет повода быть справедливым; что доброта возможна там, где нет места для проявления благодеяния; что могут существовать относительные добродетели там, где нет отношений, или социальные добродетели там, где нет самого общества. Когда справедливость и доброту называли естественными качествами человека, имели в виду не свойства, присущие дикому состоянию, а качества, заложенные в самой человеческой природе в условиях общества.

Наконец, разве автор нашел где-либо написанным, что одинокий человек - это и есть истинный «человек Природы», или что человек не создан для жизни в обществе? Кто и когда сомневался в обратном? Кому пришла в голову безумная мысль заявить о какой-либо неопределенности в этом вопросе? Руссо, которого упрекали в том, что он якобы предпочел дикое состояние гражданской жизни, всегда говорил о первобытном состоянии лишь как о гипотезе, позволяющей лучше разъяснить его мысли о пороках общества. «Если я так долго останавливался, - говорит он, - на предположении об этом первобытном состоянии, то лишь потому, что, стремясь искоренить старые заблуждения и закоренелые предрассудки, я счел своим долгом докопаться до самого корня и так далее».

В предисловии к своему рассуждению он сетует на древних философов за то, что они верили в возможность реального существования естественного состояния, и добавляет:

«Большинству наших мыслителей даже не приходило в голову усомниться в том, что естественное состояние когда-либо существовало, хотя при чтении Священного Писания становится очевидным: первый человек, получив знания и заповеди непосредственно от Бога, сам в этом состоянии не находился. И если относиться к писаниям Моисея с тем доверием, которое обязан проявлять всякий христианский философ, придется признать, что даже до Потопа люди никогда не пребывали в чисто естественном состоянии, разве что они впали в него вследствие некоего чрезвычайного события. Это парадокс, который крайне трудно защитить **И СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ**».

Таким образом, если нападки Риваролля направлены против Руссо, то он выбрал не ту мишень. Если же против другого философа, то пусть он укажет имя, сочинение и слова этого философа, так как было бы трудно даже предположить, на какой именно труд восемнадцатого века падает подобное обвинение. Впрочем, даже если в многочисленных сочинениях современной литературы или философии и найдется какая-нибудь совершенно нелепая и никому не известная фраза, дающая повод для критики Риваролля, это мало что для нас значит. Чтобы он мог обвинить Философию в абсурдной доктрине, ему следовало бы обнаружить ее четко сформулированной и обоснованной в трудах наших главных мыслителей, не встретив при этом ее опровержения ни в одном из них. Но он никогда не получит такого удовлетворения; он идет против собственной совести, обвиняя современных философов в том, что они якобы боролись против тех тривиальных истин, которые он, по его собственному мнению, напомнил и представил в новом свете.

Это обвинение, презренное в своей нелепости, становится и вовсе отвратительным из-за всех тех нападок, которые автор добавляет к нему в качестве следствий, хотя между ними нет никакой связи.

«Я призываю новых философов к ответу, - говорит он, - *не за то, что они не знали этих истин, а за то, что они боролись против них; за то, что в самый день своего всевластия они составили свою декларацию прав человека - это преступное предисловие к невозможной книге…»*. Эти слова, казалось бы, относятся к членам Учредительного собрания; однако современная философия это одно, а политика Учредительного собрания совсем другое; современные философы это одно, а члены Собрания совсем другое. К тому же, какая связь между предполагаемым заблуждением о том, что человек в естественном состоянии свободен, справедлив, добр и одинок, и декларацией его прав в состоянии общественном? Разве провозглашать права не означает одновременно провозглашать и обязанности? Разве провозглашать обязанности не означает предполагать, что границы свободы одного человека определяются правами других, а справедливость и доброта являются общественными добродетелями? Разве утверждение прав и обязанностей в общественном состоянии не подразумевает, что человек создан именно для жизни в обществе? Как же в таком случае можно приписывать Декларации прав «преступное» игнорирование тех самых истин, на которых она сама и зиждется? Наконец, каким образом может быть преступным это предисловие, составленное из принципов, которые проповедовали самые прославленные моралисты и даже самые строгие и суровые религиозные мыслители? Как может это предисловие быть преступным и служить вступле-

нием к «невозможной книге», если оно уже двадцать лет предваряет самые мудрые конституции в мире - конституции Соединенных Штатов Америки? Но вернемся к обвинениям которые автор связал со своими нападками на метафизику.

Он обвиняет философов в том, что они *«пренебрегли законом пропорций в государстве»*. Что это за закон? Кто его определил? Разве он остается неизменным как для народа, который пользуется письменностью, книгопечатанием, дорогами, почтой и телеграфом, так и для нации полу-варварской, лишенной любого из этих преимуществ? Он обвиняет их в том, что они *«постоянно путали суверенитет с правом собственности»*. Напротив, Учредительное собрание заслуживало скорее упрека в том, что недостаточно тесно их связало. Но что общего у этих претензий с убеждениями относительно свободы, справедливости и социальной природы человека, из которых автор их выводит?

Он обвиняет их в том, что они *«верили или делали вид, будто верят, что в народе больше несчастных, чем невежественных, и больше нужды, чем порока»*. Кому вообще приходило в голову устанавливать подобные соотношения «большего» или «меньшего» между пороком и нуждой, невежеством и несчастьем? Учредительное собрание, не тратя времени на столь праздный вопрос, полагало, что эти явления порождают друг друга, и стремилось найти средство против обоих. Но даже если бы оно выполнило лишь половину своей задачи, разве можно вменять ей в вину заботу о несчастных на том основании, что те были невежественны, или внимание к нищете из-за того, что она была порочна? Впрочем, это вновь касается политики Учредительного собрания, а не современной философии.

Он обвиняет их в том, что, *«посеяв демократию в своей конституции, они развязали затяжной и кровавый поединок между населением и территорией»*. Пусть поймет этот упрек тот, кто сможет. Я подозреваю, что автор хочет в сотый раз заявить, будто Франция слишком обширна и густонаселена, чтобы стать демократической республикой. Но что для меня совершенно непостижимо, так это почему население и территория, которые в его системе так слаженно выступают против республики, при этом сражаются друг с другом на дуэли. Он обвиняет их в том, что они *«скрыли от самих себя истину: величайшее из преступлений - это ставить под угрозу само существование политических институтов»*. И снова: что общего это имеет с современной философией и кто даже среди наших политиков когда-либо отрицал этот принцип?

Однако не будем искать связи между идеями автора. Сосредоточимся на его цели. Он хочет приписать философии не только революцию 89-го года, но и революцию 92-го, что само по себе не обесчестило бы её, а также террор 93 года. В каждом члене Учредительного собрания, говорит он, таился якобинец; ему следовало бы добавить: а в каждом философе таился член Учредительного собрания. Это добавление было необходимо, чтобы полностью выразить его мысль и обосновать обвинение против Философии; и если он не использовал именно эти слова, таков их истинный смысл. Итак, сочтём дополнением к оскорблениям в адрес современной Философии те четыре длинные страницы, которые автор посвятил описанию режима террора, и посмотрим, что на это можно ответить.

Несмотря на мою уверенность в том, что Философия признала бы великие и прочные результаты революции, я полагаю, что можно легко доказать: не она непосредственно её совершила. Эпоха террора не была следствием ни принципов Учредительного собрания, ограничившего королевскую власть, ни принципов Законодательного собрания, которое её упразднило.

Философия подготовила и предвосхитила реформу финансовую, военную, гражданскую, нравственную и религиозную, но никак не политическую революцию. Революцию же породил общественный гнев, вызванный самым гнусным сопротивлением самым справедливым преобразованиям; её породил энтузиазм, вызванный первыми победами свободы над произволом власти. Философия сделала благоденствие народа необходимостью, но при этом не связывала его с обязательным переустройством государственной власти. Она даже в большей степени обращалась к монархам, чем к народам; она скорее наставляла первых на путь мудрости, нежели подстрекала вторых к восстанию. По крайней мере, она оставляла даже самым

деспотичным правительствам выбор: либо сделать народы счастливее, либо наблюдать, как люди сами берут в руки свою судьбу. Монтескье, и это правда, заставил всю Европу узнать, оценить и полюбить английскую конституцию; однако Вольтер и даже сам Руссо адресовали свои главные труды, продиктованные Философией, людям могущественным, и никогда - угнетенным. Именно на королевскую власть Вольтер возлагал обязанность распределять те блага, картину которых нарисовала Философия; он никогда не советовал народу захватывать их силой. Он желал, чтобы монархия была наделена всей полнотой власти, подобающей доброте и просвещенности; это означало стремление к укреплению, а вовсе не к краху монархического строя. В самом деле, почему Людовик XVI в конечном итоге увидел, как Философия ополчилась против престола? Причина в том, что он не пожелал принять её на службу самой монархии; и то, что бесспорно доказывает эту истину - это пример России и, прежде всего, пример Пруссии.

Фридрих, друг и панегирист Вольтера, самый ревностный приверженец современной философии, ни на мгновение не переставал быть монархом, чья власть была предельно прочна, поскольку он сам был первым философом своего государства. Что ответят на пример этого правителя, у которого никогда не было двора, те, кто требует присутствия могущественной знати вокруг престола? Что скажут о государе, который никогда не имел государственного совета, те, кто желает окружить королей множеством министров и чиновников? Что возразят против примера этого монарха, обходившегося без официального культа, те, кто хочет видеть у трона поддержку духовенства и клира? Фридрих, не веривший ни в рай, ни в ад, ни в бессмертие души, и открыто заявлявший об этом в прозе и стихах всему миру, никого не принуждал к вере. Однако он требовал, чтобы любое вероисповедание было как терпимым по отношению к другим, так и само пользовалось терпимостью; и каждый видел в нем защитника свободы мнений и совести.

В некоторых отношениях Фридрих был обязан проявлять почтение к дворянству своих земель, а всем известно, что представляет собой немецкое дворянство, но он отнюдь не считал знатность происхождения правом на занятие государственных должностей. В его глазах высокое рождение не служило ни доказательством таланта, ни оправданием его отсутствия; и он умел почитать и возвышать талантливых людей, не имевших знатного происхождения, равно как и оставлять в забвении знатность, лишенную таланта. Солдаты обращались к нему на «ты», называли его своим «старым товарищем», «стариной Фрицем», и при этом не чувствовали себя людьми низшего сорта по сравнению с графами и баронами. Порой он проявлял произвол в осуществлении своей власти, но направлял его лишь против людей влиятельных или против военных; правосудие же неукоснительно защищало слабого перед сильным и даже перед самим королем: примером тому служит мельник из Сан-Суси, который противопоставил монарху авторитет суда. Его суровость по отношению к вельможам, которую в низших сословиях воспринимали как своего рода возмещение за унижение слабых, была по-настоящему популярна. Он взимал налоги по своему усмотрению, но был бережлив и распоряжался деньгами с умом. Он собирал многочисленные войска, но заботливо их содержал, относился к ним с уважением, вел их мудро и талантливо; к тому же они были необходимы для защиты независимости его страны.

Одним словом, всё то, что философия предлагала ради общественного блага, он претворял в жизнь. Разумеется, при такой постоянной готовности следовать чаяниям философии, ему было легко использовать её для укрепления собственного могущества; и, будучи внимательным ко всем интересам, он без труда изгнал из умов мысли о свободе. Став «первым министром» философии, подобно тому как другие государи становились первосвященниками религии, он получил перед ними неоценимое преимущество: он давал людям возможность пользоваться благами в настоящем, в то время как другие лишь сулили надежду на жизнь иную. Если бы Людовик XVI последовал примеру Фридриха, и если бы он встал во главе философов и исполнил желание почтенного Мальзерба, который хотел вознести его к славе преобразователя Франции, он бы правил и по сей день.

Впрочем, меня бы превратно поняли, если бы решили, будто я приписываю современной философии больше симпатии к монархии, чем к республике, или к доброму королю, чем к хорошей конституции; это в корне противоречило бы моим убеждениям. Я лишь утверждаю один факт: довольствуясь заметным улучшением участи народов, философия до 1789 года не стремилась немедленно сделать её наилучшей из возможных. Если надежда на длинную череду добрых королей и была слепотой, то в стремлении избежать опасностей, вызванных их сопротивлением освобождению народа, заключалась благоразумная осторожность. Можно было простить предпочтение того блага, что достигалось путем мирных уступок, тому «лучшему», которое могло стать лишь ценой ожесточенной борьбы и роковых потрясений. Кроме того, для просвещения народа не было пути более короткого, чем уста самих монархов; им было куда легче распространять истину среди людей посредством указов, нежели философам с помощью своих сочинений.

Когда в 1789 году королевская власть, обреченная на то, чтобы быть справедливой и благой, пожелала уклониться от столь тягостной обязанности; когда она была наказана за это общественным негодованием; когда нация потребовала не просто возврата к справедливости, но и гарантий против новых злоупотреблений; когда она создала - опираясь не столько на философские дискуссии, сколько на английскую и американскую конституции, взятые за образец, - ту конституцию 1791 года, которая просуществовала столь недолго, даже тогда сохранение монархии всё еще зависело от нее самой. Ей нужно было лишь придерживаться конституции, и тогда она, по крайней мере, затормозила бы ту революцию, которую не сумела предотвратить. Но вместо того чтобы закрепиться на этой почве, монархия сама стала готовить её гибель; она атаковала её с одной стороны, в то время как анархия нападала с другой. Друзья свободы, вынужденные занять ту или иную сторону в этой борьбе, предпочли тот лагерь, который давал им надежду спасти эту самую свободу - предмет их привязанности и их жертв.

Таким образом, мне кажется довольно очевидным, что революция не родилась непосредственно из философии. Философия признает её и любит как путь к облагораживанию многочисленного народа, способного достичь любых вершин славы и счастья; однако не ей одной принадлежит вся честь этого свершения.

Исходя из этого, даже если бы режим террора был неизбежным следствием революции и делом рук членов Учредительного собрания, из этого вовсе не следовало бы, что он стал порождением философии. Но если революция не была обязательным продуктом философии, то террор тем более не был неизбежным следствием революции и уж подавно - плодом самой философии. Террор был настоящей контрреволюцией, а не продолжением или дополнением революции; это было проявление свирепой и кровавой тирании, а не злоупотребление свободой или её болезненный порыв. Партия жирондистов, сокрушившая монархию, сама погибла от террора, а вождем этого террора стал тот самый Робеспьер, который в первых числах августа 1792 года всё еще выдавал себя за защитника королевской власти. Таким образом, террор не был ни следствием, ни неизбежным результатом революции: он стал делом рук нескольких злодеев, появившихся в ходе событий или случайно в них оказавшихся, и захвативших власть пользуясь обстоятельствами. И стоит ли напоминать об этих обстоятельствах? Нужно ли вновь описывать страдания этого нетерпеливого и ослепленного народа в то время, когда военные неудачи следовали одна за другой, а продовольствие, за которым тщетно гнались обесценившиеся ассигнаты, ускользало от его нужд? В тот момент из-за своих страхов и ярости народ принадлежал не тем, кто мог лучше всего ему служить, а тем, кто умел искуснее всего ему льстить. Его судьбой стало отдаться в руки мелких негодяев, которым даже не требовалось быть отважными заговорщиками; именно так революция оказалась во власти тех, кто должен был её обесчестить. Секрет организации террора - секрет, неведомый даже тем, кто извлек из него наибольшую выгоду, - заключался лишь в трех вещах: создании дефицита продовольствия путем беспорядочного выпуска ассигнатов, озлоблении народа страхом перед голодом и его развращении этими самыми ассигнатами, и грабежом имущества изгнанников. Вот те обстоятельства, с помощью которых горстка злодеев, облеченных государственной властью, смогла решиться на любые преступления. Влиянию их гения приписывали ту власть, которой

они были обязаны лишь несчастью народа и его глубокому невежеству. Обстоятельства, благоприятствовавшие террору, возникли вовсе не непосредственно из революции; они были чужды её лидерам. Эти люди, которые не создавали республику, но погубили её основателей, не могут считаться её закономерными преемниками или верными последователями того духа и тех намерений, на которых она была основана. Повторюсь: их преступления это лишь ужасная случайность в этой великой истории, и они не входили в естественный ход событий.

Если преступления террора не являются следствием революции, так же как и сама революция не была прямым порождением философии, то они должны были бы диктоваться философией напрямую, чтобы у Риваролля были основания приписывать их ей. Призывала ли философия к террору? Вот вопрос, который нам осталось изучить.

Предписать террор означало бы предписать все возможные преступления. Следовательно, вопрос сводится к тому, чтобы выяснить: где, как, через какой орган, какими путями или пером какого современного мыслителя философия требовала конфискаций, грабежей, проскрипций, убийств и резни? В такой постановке труднее вообразить, как можно было выдвинуть подобное утверждение, нежели его опровергнуть. Кто же это был? Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро или Мабли; кого Риваролль пытается обвинить? Но все знакомы с их трудами так же хорошо, как и он сам, и никто не сможет процитировать в них ни единой строки, способной оправдать систему террора. Дидро упрекали в том, что он проповедовал отмену собственности. Однако, мало того что упразднение института собственности - это совсем не то же самое, что поощрение захвата чужого имущества и преследования людей, так еще и доподлинно известно: Дидро не является автором «Кодекса природы», написание которого ему вменяли в вину. Что касается Мабли, то он действительно резко высказывался против богатства и собственности, но делал это как политик-теоретик, а вовсе не как мятежный оратор. Его критика была направлена против доктрины, порождающей богачей, а не против самих богатых людей; против законодателей всех времен, а не против законов, на которых в его собственной стране зиждились собственность и безопасность граждан. Впрочем, труды Мабли - это еще не вся современная философия, и она не ограничивается лишь его взглядами. Мабли был скорее публицистом, нежели философом. Его никогда не ставили в один ряд с Монтескье, Вольтером или Руссо - ни по масштабу таланта, ни по жанру его сочинений. Всем известно и то, каким нескончаемым нападкам он подвергал Вольтера в обществе, и те два полных презрения стиха, которыми Вольтер отплатил ему за двадцать лет оскорблений.

Но какие еще есть доказательства того, что Мабли направлял главных деятелей террора? То, что многие цитировали некоторые из его фраз? Однако мотив преступления это одно, а прикрытие, которое злодей хочет ему придать перед совершением, или оправдание, которым он пользуется после совершения - совсем другое. То, что некоторые заговорщики на процессе Бабёфа или некоторые ораторы Комитета общественного спасения Конвента цитировали Мабли, обличает его труды не больше, чем Картуш обличил бы «О подражании Христу», если бы процитировал эту книгу для доказательства ничтожности и опасности богатства. Это ребяческое преувеличение - приписывать пустым суждениям, встреченным немногими людьми на страницах книги, не имеющей авторитета, силу вдохновлять на замыслы, осуществленные в эпоху террора, и организовывать его режим. Нелепо приписывать трем страницам Мабли власть, которой никогда не обладали ни Евангелие, ни Коран. Повторюсь: преступления террора породили народные страдания, доведенные до исступления злодеями, которые испытывали потребность в преступлении и обладали огромной политической властью. Появление таких личностей, как Бийо, Колло или Бабёф, было вызвано тем же стечением обстоятельств, которое во все времена порождало злодеев и возносило многих из них на высокие посты, позволяя им сеять бедствия в самых широких масштабах. Если они взывали к Философии, то лишь подобно тому, как придворные негодяи прошлого прикрывались религией ради религиозных преследований; если они окружали революционный топор философскими изречениями, то делали это точно так же, как монаршие убийцы в иные времена писали имя Бога на своих знаменах, а направлявшие их первосвященники благословляли их кинжалы. Они взывали бы к Евангелию как к самой почитаемой из книг, если бы в их планы не входило нанести

удар по его служителям; разве некоторые из них не пытались даже поставить Иисуса во главе своего движения? (Прим. Рёдерера: В ряде революционных сочинений Иисус действительно провозглашался первым из санкюлотов). Если и существовал писатель, которому можно было бы приписать ответственность за режим террора, то это Макиавелли; и я готов доказать, что листки Марата полны его идей и принципов. И что же? Цитировали ли они его хоть раз? Разве они хоть раз упоминали его имя? Напротив, они тщательно этого избегали, потому что это имя вызывало всеобщую ненависть. И действительно, как можно запретить лицемерие всесильному злодейству? Если бы можно было помешать ему надеть маску, разве нельзя было бы и вовсе не допустить его существования?

Лишь один-единственный аргумент подкрепляет обвинение Ривароля касательно террора: по его словам, *«Робеспьер, этот самый безвестный прихвостень современной философии»*, взошел на престол террора по тропе, которую философы проложили своими руками и вымостили своими головами. Безусловно, в этих немногих словах слишком много ложной логики (не говоря уже о дурном вкусе). Если бы автор сказал: «Доказательством того, что террор порожден философией, служит то, что Робеспьер, величайший из философов, взошел на престол по пути, который философы вымостили головами врагов философии», - такое рассуждение было бы понятно; ему не хватало бы только фактической правды. Но как можно без некоторого сострадания слушать обвинения в адрес величайших философов в преступлениях их самого гнусного приспешника, и обвинять их в этом прежде всего потому, что их собственные головы послужили ему мостовой? Как! Вы доказываете, что они были его сообщниками, на том основании, что они стали его жертвами? Но разве дворяне и священники не погибали точно так же от ударов террора? Почему в таком случае вы с тем же успехом не заявляете, что террор был добровольным делом рук аристократии и духовенства?

Доказательством того, что философия не порождала преступлений террора, служит то, что Робеспьер, санкционируя их, выступал хулителем философии, **врагом философов** и мстителем за Всевышнего, в точности как господин де Ривароль. Он не уступал господину де Риваролю в оскорблениях самых уважаемых людей; так же, как и тот, он обвинял их в атеизме, и так же приписывал атеизму все те беды, которые намеревался исправить. Для Робеспьера Ривароль был «философом», подобно тому как для Риваролля им является Робеспьер. *«Философы,* - говорил Робеспьер в докладе от 18 флореаля II года, - *в большинстве своем были честолюбивыми шарлатанами; порой они разглагольствовали против деспотизма, одновременно получая содержание от деспотов. Они то писали книги против двора, то сочиняли посвящения королям, речи для царедворцев и мадригалы для куртизанок. В своих трудах они выказывали гордость, но в приемных были подобострастны; они возвели эгоизм в систему, рассматривали человеческое общество как войну хитростей, успех как мерило справедливого и несправедливого, честность как вопрос вкуса или приличия, а мир как вотчину ловких плутов».*

«Все философы опозорили себя в этой революции, - продолжает Робеспьер, - *и к вечному стыду просвещенного ума, лишь народное здравомыслие в одиночку вынесло на себе всё её бремя. О люди, мелкие и тщеславные, краснейте! Чудеса, обессмертившие эту эпоху человеческой истории, были совершены без вас и вопреки вам: здравый смысл, чуждый интриг, и гений, не нуждающийся в обучении, вознесли Францию на ту ступень величия, которая пугает вашу низость и раздавливает ваше ничтожество».* Анафема, брошенная Робеспьером Философии, и то почтение, которое он выказывает революционному народу - тому самому народу, которого Ривароль называет людоедом и объявляет недоступным для Философии, - являются неоспоримыми доказательствами той слишком очевидной истины, что террор был порожден прежде всего народом, ожесточившимся из-за войны и голода.

Позвольте мне вернуться здесь к мысли, которую я высказал выше. Если Философия никогда не сможет достичь народа; если, как утверждает Ривароль, свет просвещения никогда не проникает в низы; если народ обречен вечно оставаться грубым, свирепым и склонным к людоедству; если, с другой стороны, по его мнению, только религия способна управлять массами так же, как философия - отдельными личностями; если одна лишь религия в силах сдер-

живать народ, овладевать его страстями и обуздывать их, тогда этот критик современной философии и ревностный поборник любой религии должен объяснить нам две вещи. Во-первых, каким образом он может приписывать философии, которая никогда не достигает простого народа, массовые преступления девяносто третьего года? Во-вторых, как вышло, что религия, которая, однажды овладев человеком, неизменно ведет его за собой, в ту же самую эпоху столь внезапно и повсеместно утратила над ним власть, сама став мишенью для народных надругательств, в то время как ее служители сделались жертвами самых жестоких преследований? Одним словом, он обязан ответить: как философия с ее полувековой историей, не имея доступа к народу, заставила его совершить столько злодеяний, и почему религия с ее восемнадцативековым прошлым - религия, проникающая в самые глубины души и столь крепко удерживающая человека, - почти не смогла им воспрепятствовать? После того как она послужила предлогом для убийства ста тысяч французов в Варфоломеевскую ночь и не послужила преградой для убийства еще ста тысяч французов в годы Террора, мы вправе несколько поумерить те представления о её всемогуществе в деле обеспечения человеческого счастья, которые нам пытаются навязать. Робеспьер, даже восстановив культ Верховного Существа, продолжал совершать убийства на протяжении четырех месяцев кряду.

Но закончим этот долгий спор; свидетельств всех разумных и просвещенных людей достаточно, чтобы опровергнуть доводы Ривароля. Любой здравомыслящий человек бесконечно далек от того, чтобы обвинять современную философию в крайностях Французской революции. Напротив, я слышал от множества людей, даже весьма набожных, что они считают обвинение, выдвинутое против философии за зверства, совершенные под её именем в 1793 году, столь же гнусным и абсурдным, как и то, что выдвигается против христианской религии за резню протестантов. Я часто слышал мнение, что наша политическая революция дошла до своих крайностей лишь из-за недостатка философии - точно так же, как религиозные революции происходили лишь из-за недостатка истинной веры. Я слышал, как винят в недальновидности Учредительное собрание и осуждают его ошибки; однако философия - это не Учредительное собрание, а недальновидность - вовсе не то же самое, что злодейство. Таков язык честных и благоразумных людей. И то, что Билло и Сен-Жюсту было угодно заявить: *«наши преступления оправданы философией»*, вовсе не дает Риваролю права утверждать, что философия виновна в злодеяниях Билло и Сен-Жюста. Повторять речи этих чудовищ, чтобы обвинять людей, чьи имена они осквернили, - это безумие. Обвинять философию в преступлениях 93-го года, значит оправдывать совершивших их злодеев; это значит выгораживать подлость, чтобы раздавить добродетель, маской которой эта подлость прикрылась. Если бы убийца посмел в кругу сообщников или перед судом приписать свои злодеяния добродетели, разве на этом основании суд был бы вправе заявить: «преследуйте добродетель и наказывайте людей, которые ей обучали»?

На что же надеются хулители философии в этот критический момент, когда только она одна может послужить точкой единения для умов, столь яростно разобщенных революцией; когда только она способна умерить роковые страсти и рассеять новые предрассудки, уже занявшие место прежних заблуждений? Неужели они хотят вернуть нас к варварству? Тщетное и гнусное притязание. Ни Риваролю, ни тем немногим риторам, что вступили на тот же путь, что и он, **не дано стереть память о великих людях, прославивших восемнадцатый век**. Они навязывают нам борьбу с уверенностью настолько же нелепой, насколько и дерзкой. Им предстоит состязаться вовсе не с нами, и не с последователями современной философии, а с теми, кто её создал и ей обучал: эти великие люди в полной мере живут в своих трудах. Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро и Д'Аламбер всегда будут занимать в общественном мнении гораздо больше места, чем два или три писателя-полемиста. Даже если бы мыслящие люди не встали на сторону философов как на сторону наиболее мудрую, они бы примкнули к ней как к самой значительной и могущественной силе. Более того, для безопасности философии уже не требуется даже эта прославленная плеяда: философия больше не заперта в книгах мудрецов. Она покинула их, подобно тому, как свет исходит от солнца; подобно свету, она ныне разлита по

всей земле. Она сияет высоко над головами людей; она отражается в большинстве общественных институтов и смешана с воздухом, которым мы дышим. Она может на мгновение исказиться из-за какой-нибудь нечистой примеси или затумaниться облаками, но её предназначение - всегда являть себя миру и неизменно возвращаться во всём своем блеске.

Мне остается сказать о стиле автора. Его сочинению совершенно недостает метода, потому что не существует метода, способного упорядочить абсурдную систему. Логика не отводит места ни ложным идеям, ни даже идеям истинным, если из них пытаются вывести ложные следствия. Софизм нуждается в тени. Метод убил бы заблуждение или ложь, выставив их на свет. Таким образом, в принципах Ривароля нет ни связи, ни согласия; отсутствует всякая последовательность между его исходными положениями и их выводами. Он начинает, как мы уже видели, с того, что сводит ошибки Философии к единственному софизму: к *«чуду внезапного озарения умов»* и к *«всеобщему распространению просвещения среди всех народов»* (выражения неудачные, так как чудо не является софизмом, а слово «всеобщее» уже избавляет от необходимости добавлять «среди всех народов»); и сразу же после этого, когда ожидаешь разбора этой идеи, которая должна была бы заключать в себе все остальные, он обвиняет философию в сотне преступлений, не имеющих между собой ничего общего. Таково мнимое преступление в провозглашении безграничного равенства; затем в провозглашении атеизма; далее в утверждении, что человек по своей природе свободен, справедлив, добр и одинок; затем в совершении революции; затем в том, что она поплатилась жизнями философов за тот путь, который вожди террора проложили себе к престолу. Какая связь существует между всеми этими вещами? Какое искусство могло бы связать столь разрозненные идеи и объединить столько различных рассуждений в одно целое?

Автор не сумел восполнить отсутствие метода тем «прекрасным беспорядком», который сопутствует великим порывам души и отражает их - беспорядком лишь кажущимся, представляющим собой лишь отказ от дидактики и следующим путем, который продиктован глубоким чувством истины. Подобные высокие порывы есть удел писателей искренних и убежденных.

Если рассматривать это сочинение в деталях, в нем можно обнаружить определенные красоты, однако ни одна из них не предстает в чистом виде. Описание террора наполнено движением и предлагает яркие образы, но этот порыв плохо выдержан, а прекрасные образы зачастую помещены в неудачное окружение. В тексте нет ни градации идей, ни развития чувств; повторы, затянутость и холодные рассуждения вклиниваются в самые трогательные моменты. В композиции этой картины видишь лишь бессильные усилия ремесла и не находишь ничего от той счастливой самозабвенности, что присуща глубоко затронутой душе. Автор порой изумляет, но никогда не увлекает за собой.

Больше всего в стиле автора хвалят его колорит. И действительно, он прибегает к нему повсеместно, и зачастую этот колорит весьма блистателен; однако мало того, что используемые им образы редко бывают точными и верными - они скорее служат для того, чтобы ввести в заблуждение относительно истины, которой автор неизменно избегает, нежели для закрепления той ложной мысли, которую он желает внушить, - так они еще и почти всегда бессвязны и разнородны. Мы отметили довольно много выражений, которые, несомненно, оскорбляют вкус; стоит также заметить, что они неизменно соседствуют с каким-нибудь блестящим оборотом, словно призваны ослабить его и искупить его неверное употребление. Кажется, будто эти пятна множатся либо из страха сослужить слишком хорошую службу дурному делу, либо из стыда за то, что он слишком усердно ему служил. В своем предисловии автор, говоря о философах, заявляет, что *из-за их неведения о ядовитости семян, которые они сеяли, на их могилах тяготеет «пугающее соучастие», а их эпитафия смешивается с эпитафией великой империи*. «Не знать яда», «соучастие, тяготеющее над могилой», «эпитафия, смешивающаяся с эпитафией» - всё это сущая бессмыслица.

Автор цитирует как памятное изречение эти мнимые слова одного современного философа, умирающего от собственных рук: *«Увы! На дне бездны мы нашли лишь лабиринт»*. Можно представить себе бездну в конце лабиринта, но нелепо помещать лабиринт на дно бездны. На

дне бездны - небытие, а не блуждания. На странице 15 он говорит: *«Поскольку философия является плодом долгих раздумий и итогом всей жизни, её не следует и невозможно представлять народу, который всегда находится лишь в начале жизненного пути»*. Это сказано хорошо, если не считать софизма. Но когда автор добавляет: *«Крестьяне, к примеру, отвечают за первичное пищеварение политического организма»*, - он прибегает к грубому образу.

«Ум это лишь частная сторона сердца, сердце же - это всё». Что такое «частная сторона»? Тот, кто говорит «сторона», подразумевает часть поверхности. *«Политика,* - пишет он на странице 36, - *ищет уроков у морали и черпает силы в религии; она заимствует свет даже у самой Философии»*. До этого момента фраза звучит возвышенно. *«Наконец,* - продолжает автор, - *она хватает поводья из любых рук»*. Это, как минимум, стилистически разнородно.

Говоря о животных на странице 56, он выражается следующим образом: *«Мы питаемся их плотью, мы пьем их кровь. Что я говорю? Мы протягиваем им вероломную руку покровительства; мы щедро осыпаем их кормом; и, то содействуя их соитиям, то лишая их и самих истоков, и радостей продолжения рода, мы множим и совершенствуем наши жертвы. Голод и любовь - два великих дара природы - в наших руках превращаются лишь в ловушки, вечно расставленные для этих несчастных спутников нашего пребывания на земле»*.

На странице 61 автор обрушивается на философов, упрекая их, помимо прочего, в том, что, посеяв семена демократии в своей конституции, они спровоцировали *«долгий и кровавый поединок между населением и территорией Империи»*. Поединок между населением и территорией, вызванный «посеянной демократией», являет собой образ причудливый и бессвязный; по сути же автор говорит прямо противоположное тому, что хочет сказать: ведь население и территория, по его собственным словам, единодушны в своем протесте против республиканской конституции.

На странице 62 он называет политические общества огромными телами, две половины которых составляют люди и земля. Можно сказать, что природа и человек состоят в союзе и действуют сообща ради плодоношения земли; однако земля не может находиться в *политическом* союзе с человеком или составлять с ним единое тело.

На странице 63, после слов о том, что в общественном состоянии в распоряжении человека находится Полярная звезда - что звучит возвышенно, - автор добавляет: *«и время в его кармане»*; а это уже нелепо.

На странице 64: *«нашим философам суждено не уметь читать ни в архивах времени, ни в патентах природы»*. Еще одна несообразность того же рода.

На странице 73 автор замирает при виде обширной Империи, которая всем своим обликом взывает к монархии, и так далее.

Основываясь на этих примерах, я считаю себя вправе повторить здесь то, что я писал в *Journal de Paris* о стиле сочинения Риваролля. В нем чувствуется некое возбуждение, которое не передает тепла, и видны образы, не оставляющие никакой ясной мысли. Текст изобилует блестящими штрихами, но при этом нет ни одной страницы, которая не была бы туманной. Если автору порой удается возвысить воображение, он тут же оскорбляет вкус. В нескольких строках он объединяет самые несочетаемые выражения. Он начинает фразу как Боссюэ, а заканчивает её как Скаррон. Его стиль повсюду обнаруживает талант, и всё же это дурной стиль.

Один из моих друзей, выдающийся поэт-трагик, сказал мне, что книга Риваролля написана в стиле Бальзака [прим. пер. это не тот Оноре Бальзак, которого мы все знаем]. Я снова перечитал Бальзака, прочитав Риваролля, и нашел его слог простым по сравнению с последним. Чтобы читатель мог сам во всем убедиться, я выпишу здесь фразы Бальзака, на которые наткнулся, открыв его книгу. Они взяты из отрывка под названием «Римлянин» и адресованы маркизе де Рамбуйе. Мне показалось, что процитировать их будет полезно как самому Риваролю, так и его читателям:

«Республика, - говорит он, рассуждая об истинном римском гражданине, - не может потерять его, как бы небрежно она ни заботилась о его сохранении. Он сносит её пренебрежение и несправедливость не только с терпением, но даже с радостью. Ему никогда и в голову не приходило мстить ей гражданской войной, и он считает куда более благородным имя невинного

изгнанника, чем имя виновного победителя. С самого детства его убеждали - и с тех пор он в этом не сомневался, - что сын никогда не сможет полностью расплатиться со своей матерью, даже с дурной матерью, ставшей ему мачехой; и что гражданин всегда остается в долгу перед своим отечеством, даже перед своим неблагодарным отечеством, которое обошлось с ним как с врагом».

Можно смело бросить вызов Риваролю: вряд ли он найдет в своем сочинении отрывок, столь же безупречный во всех отношениях, как этот.

Закончу одним размышлением: если истине не всегда дано быть красноречивой и сильной, то точно так же не дано страсти, дурному расположению духа или безрассудным предубеждениям обрести истинную силу, если они направлены против справедливости и истины. Несправедливая или низменная страсть вынуждена скрывать слишком многие из своих помыслов и слишком нуждается в ухищрениях, чтобы позволить себе искренний порыв. Неистовая страсть порождает ярость, но отнюдь не воодушевление. Дурному нраву не хватает глубины оправданной ненависти, а его нападкам - высоты истинного презрения. Предубеждения не согревают так, как убежденность; им никогда не достичь в дерзости того, чем обладает чувство истины в своем мужестве. Одним словом, секрет успеха заключается не в одном лишь таланте, а в союзе таланта с честностью.

(Малые сочинения, том II, страница 1, VIII год республики, конец 1799 года.)

Письмо брюмерийца к брюмерийцам касательно некоторых великих писателей девятнадцатого века

Париж, 18 брюмера XI года. - (9 ноября 1802 г.)

Друзья мои, поскольку сегодня 18 брюмера, годовщина дня бессмертной славы для Франции, дня триумфа восемнадцатого столетия, венцом которого он стал, и торжественного начала девятнадцатого; поскольку сегодня - день радости и единения для всех преданных и мужественных граждан, которые находились в Сен-Клу в ту же самую пору VIII года, давайте поговорим немного о тех людях, которых там не было, но которые гордятся этим едва ли не больше всех. Будучи «великими людьми» и «детьми» девятнадцатого века, они, кажется, твердо решили вычеркнуть восемнадцатое столетие из череды веков, а нашу эпоху - из общего течения времени, объявив нас несуществующими, и как бы никогда не бывшими.

Я не знаю в точности, друзья мои, чего хотят люди, сделавшие своим ремеслом уничижение восемнадцатого века; я тщательно воздерживаюсь от того, чтобы судить об их намерениях; но я знаю, что это те же самые писатели, которых мы видели на всем протяжении Революции, в равной степени враждебные всему, что не принадлежало к старому режиму; что сегодня они следуют той же системе, что и при Директории - в ту эпоху, когда они открыто желали уничтожения правительства; и что они точно так же составляют радость и отраду для того же самого класса читателей.

Я также знаю, что если бы мне пришла безумная мысль порочить Францию, её высших должностных лиц, её правительство, её основные законы, её нравы и те таланты, которыми она гордится, то я бы не нашел иного способа, кроме того, что используют эти господа. Если бы я хотел оспорить одобрение, столь торжественно данное французским народом французской Конституции, и наделение верховной властью её первого должностного лица, я бы ежедневно оскорблял память Ж.-Ж. Руссо. В особенности я обвинял бы в абсурдности его книгу «Общественный договор»; я бы представлял как верх безумия саму идею народного суверенитета. Постоянно сваливая на этот суверенитет ответственность за все крайности Революции, я бы притворялся, что не вижу, как именно он послужил её завершению. Склонив колени перед

священным елеем, я бы бросал презрительные взгляды на четыре миллиона французов, поднявших на щит того вождя, под началом которого они желают находиться. Именно так и поступают эти господа.

Если бы я хотел безнаказанно обесценить всех тех людей, чьи таланты, знания и опыт служат сегодня общественному делу - будь то в словесности, в управлении или в самом правительстве, - я бы постарался запятнать всех писателей, на чьих трудах воспитывалось их юношество. Я бы нападал на идеи Вольтера, Руссо и Фонтенеля, прекрасно зная, что это и их идеи тоже. Таким образом, я бы вел смертельную войну с живыми, беспощадно атакуя славу прославленных покойников. Именно так и поступают эти господа.

И чтобы обезопасить себя в том деле, где, как я знаю, презрение порядочных людей - не единственный риск, которому я подвергаюсь, я бы маскировал свою политику пышными рассуждениями против любых политических систем. Своё безразличие или ненависть к родине я бы скрывал под напускной национальной гордостью и дерзкими обвинениями в равнодушии или презрении к стране в адрес тех людей, которые более всех известны тем, что прославили её своими трудами и снискали ей всеобщее уважение, стремясь подчеркнуть всё великое и прекрасное, что она произвела.

Так, я бы обвинял Вольтера и Руссо в том, что они задались целью опорочить Францию в глазах иностранцев, тем самым спровоцировав те грандиозные планы завоевания и раздела, которые европейские державы строили в отношении французских территорий. И если бы я имел несчастье в течение пяти или шести лет подряд призывать во Францию иностранцев - по причине ли продажности, слабости или невежества, будучи не в силах разглядеть в самой Революции того выдающегося человека, который её остановит, - я бы счел необходимым, дабы отвести от себя заслуженные упреки, без всякой меры осыпать оскорблениями людей, наиболее достойных благодарности. Я бы совершал в отношении них столь явную несправедливость, которую можно было бы объяснить лишь избытком гражданского энтузиазма. Именно так снова и снова поступают эти господа.

Если поведение писателей, блистающих сегодня на газетной сцене, не продиктовано теми низкими расчетами, на которые я только что указал, то остается лишь искренне оплакивать своего рода душевную немощь, которая помешала им увидеть последствия собственных сочинений и речей, и заставляет их действовать вопреки своим же интересам.

Газеты имеют перед книгами то преимущество, что они каждое утро предстают перед читателем, в то время как книги остаются на своих местах и ждут его. Отсюда следует, что величайшие глупости, как и самая черная клевета с самой откровенной ложью, в итоге становятся тем, во что люди начинают верить, потому что она повторяется каждое утро. Так встречаются люди здравомыслящие и благонамеренные, которые, постоянно читая о том, что Вольтер был хулителем своего отечества, отказываются признавать какие-либо достоинства его трудов. И даже тот, в чьем сознании было бы невозможно низвергнуть Вольтера как поэта или как философа, готов клеймить его как плохого француза.

Когда честному человеку выпадает удача опубликовать в газете несколько замечаний в защиту истины, мне кажется, он обязан сделать это ради общественного блага. Тем самым он восполняет отсутствие цензуры, от которой судебная власть либо намеренно отказывается, либо которой пренебрегает.

Я скажу здесь лишь немногое о Ж.-Ж. Руссо и принципе народного суверенитета. Политические дискуссии устарели; речь больше не идет ни об «Общественном договоре», ни о принципе суверенитета. Остались лишь тщеславные и ворчливые недоучки, спешащие учить тому, чего сами не знают, людей, которые знали это слишком хорошо. Не имея возможности участвовать в реальных делах, они жаждут ввязаться в какую-нибудь ссору и пытаются возобновить споры, столь же забытые, как распри Кеснеля и Янсения. Все образованные и здравомыслящие люди, которые не отстранились от политических дискуссий из-за усталости или скептицизма, избегают их из чувства порядочности. Они прекрасно знают, как опасно возобновлять подобные споры, пока гражданские раздоры, ими порожденные, еще свежи в памяти, и когда реальная политика - единственная, что ныне признана во Франции - решает все вопросы своими

действиями, решает их к общему удовлетворению, и вверяет свои решения суду времени и опыта. Зачем беспокоить спорами и тех, кто создает наши новые институты, и тех, кто ими пользуется? И какая польза, прежде всего, в том, чтобы разглагольствовать против этого народного суверенитета в тот момент, когда им только что было утверждено благотворное правительство, и когда его высшая мудрость сама бы его утвердила, если бы оно нуждалось в утверждении? Какое значение имеют злоупотребления, допущенные анархией в 1793 году, если взглянуть на то, как политика воспользовалась этим принципом сейчас? Кто не должен уважать доктрину, служащую фундаментом нашего нынешнего счастья, и которую можно упрекнуть лишь в том, что она послужила предлогом для уже забытого неистовства? Наконец, кто не чувствует, по крайней мере, что есть нечто деструктивное в этой войне, объявленной писателю, о котором никто не говорит, но плодами трудов которого пользуются все?

Перейдем к тому, что касается Вольтера. Его упрекают в том, что он старался дать Европе весьма жалкое представление о Франции, что он выставил свою родину на посмешище и презрение. Низостью и бесчестием называют письмо, в котором он пишет королю Пруссии, что Людовик XIV делал орфографические ошибки, и другое письмо - императрице России, где он из вежливости противопоставил ее великим свершениям того времени, легкомыслие и пустословие парижан, а также политическое бездействие французского правительства. *«У нас уже некоторое время,* - пишет он, - *есть прекрасная танцовщица в Парижской опере; говорят, у нее очень красивые руки... Наш флот готовится к плаванию из Парижа в Сен-Клу. У нас есть полк, которому проводят смотр; политики предвещают в связи с этим великое событие»*. После этой цитаты хулитель Вольтера торжествующе восклицает: *«Разве я был неправ, когда говорил, что лесть философов... подталкивала иностранные державы к тому, чтобы в своем воображении разделить страну народа, у которого не осталось ничего, кроме танцовщиц, флота на Сене и нарядного полка, проходящего смотр?»*. Возможно, здесь нашелся бы повод для веселья, если бы мы рассматривали только сами эти упреки и если бы эффект, который они производят, был столь же ничтожен, сколь они нелепы.

Прежде всего, можно было бы спросить, почему «мститель за французов» сам не говорит по-французски? Ведь слово «idéalement» (в значении «мысленно» или «в воображении») - это варваризм его собственного изобретения. И что значит «быть готовым разделить в воображении» или, иными словами, быть готовым к разделу, который останется лишь идеей раздела? Если эта бессмыслица означает, что Вольтер побудил иностранцев замышлять раздел Франции или грезить о нем, то можно спросить автора: в чем же великий вред от того, что иностранцы предаются мечтам, которые не будут иметь никаких последствий, и не оставят ни малейшего следа после пробуждения?

Но чтобы поверить в то, что иностранцы могли быть предрасположенным под влиянием таких сочинений, как письма Вольтера, к воображаемому разделу Франции - не значит ли это поддаться более чем глупому предположению, на котором автор основывает триумф своего гражданского чувства? А именно, что иностранные державы были настолько отрезаны от Франции, настолько лишены всякого общения с её жителями и правительством в годы правления Людовика XV и Людовика XVI - в это гнусное время, когда философия, несомненно, перепутала и разделила все государства, - что они не имели никаких иных сведений о мощи нации, о её флоте и армиях, кроме писем Вольтера и иных мемуаров, кроме его эпиграмм?

Но излишне глупые шутки не у всех вызывают желание смеяться. Оказываешь большую милость определённым людям, когда говоришь их читателям: *Risum teneatis* (удержитесь от смеха); скорее следовало бы сказать *nauseam* (это вызывает тошноту). Впрочем, друзья мои, когда приходится просить для Вольтера убежища на страницах газет, тут уже не до шуток; давайте смиренно признаем это и займёмся его оправданием.

Достаточно лишь непредвзято прочитать письмо, адресованное Екатерине II, чтобы увидеть, что оно относится к мании парижских хроникеров, которые за неимением пищи для ума во время бездействия, в котором мирный договор держал французское правительство, раздували великие последствия из малейших пустяков. И прежде всего это касается привычного

легкомыслия парижан, или, вернее, богатых бездельников Парижа, которые не придают значения ничему, кроме Оперы. В целом, когда Вольтер высмеивает французское легкомыслие или когда он называет французов «вельшами», он имеет в виду не всю нацию, и даже не весь Париж целиком. Он говорит лишь о людях праздных или занятых всякой ерундой, коих предостаточно в столице, о глупых авторах, бездарных критиках и невежественных педантах. Вольтер не хуже великих мужей современности знал, насколько нация мелких хлыщей, ничтожных педантов, авторов дешевых романов и любителей Оперы отличается от французской нации. Он никогда не путал людей столь низкого пошиба с той огромной массой полезных граждан, которые служат обществу: с пахарем, идущим за плугом; с промышленником, превращающим плоды наших земель в предметы потребления; с купцом и мореплавателем, которые вывозят наши излишки товаров и превращают их в средство укрепления национальной мощи; с адвокатом, защищающим наше дело; с врачом, заботящимся о нашем здоровье; с ученым, дающим нам знания; с солдатом, сражающимся ради нашей обороны; с судьей, вершащим правосудие; с тем, кто управляет общественными делами; с тем, кто руководит страной; - словом, с французской нацией. Если в своих шутках он называл Париж, желая сказать лишь о некоторых парижанах, или Францию, имея в виду лишь Париж, то это был художественный прием, несомненно, менее натянутый, чем у тех людей, что сегодня выдают преступления 1793 года за полную историю Революции, систему Робеспьера - за идеи всех философов за последние сто лет, а всю философию XVIII века (и даже то, что она сохранила от века XVII) - за сплошную ложь и абсурд в вопросах морали и политики. И, наконец, те, что выдают газеты «Меркурий», «Журнал дебатов» и «Малые письма об Англии» за мудрость XIX века.

Но когда Вольтера обвиняют в преступлении из-за нескольких шутливых строк, адресованных королю Пруссии или императрице России в письмах, которые вовсе не предназначались для публикации, создается впечатление, будто все творчество Вольтера ограничивается этими строками. Или будто все остальные его произведения, где он говорит о Франции, остались неопубликованными. Или же, наконец, будто он хотел отречься и опровергнуть все свои изданные труды, в которых отдавал дань уважения французской нации. Однако ни одно из этих предположений не кажется разумным.

И прежде всего, сочинения Вольтера есть у каждого; они составляют почти сто томов прозы и стихов. Как можно допустить мысль, что прославленный писатель, так много творивший на французском языке, проживший девяносто два года в лучах славы во Франции и умерший в славе в Париже, под конец жизни захотел бы сделать презренной в глазах иностранцев ту нацию, для которой он столько сделал, от которой он столько получил и в которой его честолюбие видело основу его репутации и бессмертия?

Пусть только в памяти воскреснет огромное множество трудов, где Вольтер прославлял Францию, и сразу чувствуется такое изобилие, что при попытке цитирования сталкиваешься лишь с трудностью выбора. Действительно, он восхвалял её и в прозе, и в стихах; он ставил ей в заслугу историю, философские рассуждения, эпопею, трагедию и лирическую поэзию. В этом деле он задействовал все жанры и все интонации. Он воспевает Францию с глубоким знанием дела и любовью; он ищет в её анналах и в её нынешнем существовании всё великое и прекрасное. Ни великие деяния, ни выдающиеся произведения, ни великие люди - ничто не ускользает от его внимания. Он превозносит всех её великих художников, всех великих писателей, всех великих министров, всех великих королей, все великие века и все качества, благодаря которым она сама проявила себя великой. И среди великих королей, среди великих людей он с наибольшим блеском чествует самых великих; среди её прекрасных качеств он воспевает самые прекрасные; среди почетных эпох её истории он прославляет самые блестящие и самые памятные.

Говорит ли он о нравах, уме, характере французов: *«Основа французского характера сегодня такова же, какой Цезарь изобразил галльскую: скоры на решения, жаждут битвы, стремительны в атаке, но легко отступают. Цезарь, Агафий и другие говорят, что из всех варваров галл - самый вежливый. Он и по сей день, в самые цивилизованные времена, остается образцом вежливости для своих соседей»* (Философский словарь, статья «ФРАНК»).

Представляется ли ему случай охарактеризовать французскую храбрость, он говорит: *«Французам нет равных в рукопашных схватках и в тех стремительных предприятиях, где порывистость, ловкость и пыл в один миг сокрушают любые препятствия»* (Век Людовика XIV).

«Французы, вы умеете побеждать и воспевать свои победы.

Нет лавров, что не венчали бы ваши главы», - вот два стиха из «Генриады», которые часто повторяли на протяжении десяти лет. *«Таков характер французских рыцарей»* - это строка, которая слетает с любых уст, когда речь заходит о каком-либо благородном поступке.

Известно, что Вольтер был первым поэтом, который вывел французов на трагическую сцену; «Заира», «Аделаида Дюгеклен» имели целью почтить всё то благородное и доброе, что было в духе французского рыцарства. Он подчеркивает не только храбрость, ум и благородство французского характера; он также отмечает его доброту и мягкость.

«Как только кто-то из наших врагов ранен и попадает в наши руки, мы заботимся о нём, словно он наш брат; мы часто уступали собственную постель нашим раненым пленникам и спали рядом с ними на разостланных по земле шкурах; мы сами прислуживали им» (Философские беседы).

Он считает одной из черт национального характера уважение к таланту, добродетели и заслугам. Безусловно, его хулители получили бы достойный отпор, будь они сами олицетворением нации.

...Когда в Париже нежная Мельпомена
Украшает сцену каким-нибудь удачным творением,
Вопреки шиканью сотни злобных авторов,
Чувствительный зритель аплодирует обеими руками.
Так, несмотря на Бюсси, его песни и его ненависть,
Наши предки восхищались Люксембургом и Тюренном.
Француз иногда легкомыслен и насмешлив,
Но заслуга всегда находит отклик в его сердце;
Его проницательный и справедливый взор спешит её признать:
Он любит её в равном себе и обожает в своем повелителе.
(На события 1744 года)

В другом месте он замечает, что национальный характер свободен от шарлатанства и не отказывает в восхищении заслугам других народов. *«Каждая нация,* - говорит он, - *стремится заявить о себе; французы же заявляют о достоинствах других наций во всех областях»*. В этом, по правде говоря, заключается одна из претензий наших нынешних «великих мужей» к писателям, которые разделяют с нацией вину за то, что хорошо отзываются о других. Но если для других народов считается смешным выпячивать себя и принижать другие нации, то разве не является предметом похвалы для нас быть одновременно скромными и справедливыми? И если это предмет похвалы для нации, то почему это должно быть поводом для порицания писателей?

Он не только хвалит Францию всякий раз, когда говорит о ней, но если и сравнивает её, то лишь для того, чтобы отдать ей предпочтение.

Посмотрите, как он характеризует в поэме «Фонтенуа», где все народы объединились против Франции:

Бельгиец...
Осмотрительный батав...
Стойкий ганноверец...
Австриец, преисполненный былой славы,
Чьи думы заняты последними Цезарями;
И прежде всего этот гордый народ...
...который, напрасно завидуя величию Франции,

Мнит, что держит в своих руках молнии и весы,
Все они идут войной на нас...
Неукротимый гений французской державы
Рядом со своим королем бросает вызов этой сплоченной толпе.
Судьба...
...рассекает воздушные равнины.
Она наблюдает за Людовиком и с гневом видит,
Что сегодня доблесть всё совершит без её помощи.

Битва начинается. Судьбы Франции на мгновение колеблются... Поэт призывает королевскую гвардию...

Королевская гвардия, в бой!..
Явитесь, старые солдаты, чьи закаленные руки
Несут смерть издалека, которую вы презираете вблизи.
Придите, доблестная элита, честь наших армий.

Битва выиграна.

Французы, счастливые воины, победители кроткие и грозные,
Возвращайтесь...

«Я работал меньше как поэт, чем как добрый гражданин», - говорит Вольтер, рассуждая о себе и о поэме «Фонтенуа». Все сошлись во мнении, что Вольтер, возвышая французскую сцену, был до несправедливости принижающим по отношению к английскому театру, и каждому известно, что всю свою жизнь он противился вторжению шекспировской системы, которая смешивает все жанры и все тональности.

Когда Вольтер говорит о правительстве, он находит в нем некоторые злоупотребления, но всегда поддерживает и уважает его. Он не раз мстил за него после оскорблений со стороны англичан, хотя критики его патриотизма утверждают, что Вольтером всегда «тыкали в лицо» тем, кто хотел хвалить прежнее французское правительство; ведь они всегда хвалят именно прежнее. Вот отрывок из Вольтера, адресованный непосредственно англичанам:

«Некоторые провинциальные англичане, путешествовавшие разве что до Лондона, воображают, что король Франции на досуге посылает за судьей и ради забавы отдает свое имущество камердинеру гардероба. В мире едва ли найдется страна, где частные состояния были бы защищены лучше, чем во Франции. Граф Мориц Нассауский, отправляясь из Гааги, чтобы принять командование голландской пехотой, спросил меня, не конфискуют ли у него ренты, которые он получал от парижской ратуши. "Вам будут выплачивать их, - ответил я ему, - в тот же самый день, что и графу Морицу Саксонскому, который командует французской армией". И это было правдой до последнего слова» («Политика и законодательство»).

Именно к величию века Людовика XIV (того короля, которого Вольтер, как говорят, хотел выставить смешным в глазах великого Фридриха) он привлекает всеобщее восхищение. Сначала он создал его великолепное описание в «Генриаде»:

«*Счастливый век Людовика, век, который природа*
Без меры осыпала своими прекраснейшими дарами».

Затем он написал его историю. Если кто-то хочет рассудить, не ослабил ли Вольтер впечатление от этой истории в сознании короля Пруссии тем письмом, где он так недостойно писал ему, будто Людовик XIV делал орфографические ошибки, - послушаем самого короля Пруссии.

«Испытав свои силы на Карле XII (мы цитируем великого Фридриха), он взялся за историю века Людовика XIV. Там он предстает как французский автор, который с энтузиазмом отме-

чает знаменитые события этого прекрасного века, в самом блестящем свете выставляет преимущества, давшие тогда его нации превосходство над другими народами; великие гении, во множестве оказавшиеся под рукой Людовика XIV; расцвет искусств и наук под покровительством утонченного двора; успехи промышленности во всех областях и ту внутреннюю мощь Франции, которая в некотором роде делала её короля арбитром Европы. Этот уникальный труд заслужил господину де Вольтеру привязанность и признательность всей французской нации, которую он возвысил лучше, чем любой другой из её писателей» («Похвала Вольтеру», Фридрих II, король Пруссии, т. XXIII собрания его полных сочинений, с. 135.).

Нужно ли напоминать, что именно Вольтер заставил колеблющееся общественное мнение почтить память Кольбера, чья репутация оспаривалась в начале века?[1] Стоит ли упоминать о том почтении, которое он неизменно выказывал Буало и Расину? Разве он не опроверг мнение Дидро, который утверждал, что Буало был всего лишь простым стихоплетом?

«Если бы он был только стихоплетом, - говорит Вольтер, - *он был бы едва известен; он не входил бы в то малое число великих людей, благодаря которым век Людовика XIV сохранится в памяти потомков. Его последние сатиры, его прекрасные послания и, прежде всего, его "Поэтическое искусство" являются шедеврами разума в той же степени, что и поэзии. Разум - вот начало и источник... (Sapere est principium et fons...)»*.

«Если исключить трагедии Расина, обладающие высшим достоинством в изображении страстей и преодолении всех сценических трудностей, то "Поэтическое искусство" Депрео [Буало], несомненно, является произведением, приносящим наибольшую честь французскому языку».

«Было бы прискорбно, если бы философы оказались врагами поэзии. Литература должна быть подобна дому Мецената... Там каждому найдется свое место (Est locus unicuique suus)» (Философский словарь).

Что касается Расина, то если кто-то желает научиться чувствовать его гений, предпочитать его античным авторам или самому Вольтеру, то слушать нужно именно Вольтера. Посмотрите на его сравнение «Зюлимы» с «Баязетом», на то, что он говорит об Акомате у Расина, на то место, куда он сам отступает, сравнивая себя с этим великим поэтом, - и вы поймете лучше, чем из статей «Журнал дебатов», сколь глубоким уважением вы обязаны Расину.

«Наши лучшие пьесы, - говорит он, рассуждая о французской трагедии, - *или, по крайней мере, те, которые, не будучи совершенными во всем, содержат превосходные сцены, насчитывают от силы два десятка; но я смею утверждать, что это малое число замечательных творений стоит выше всего, что когда-либо создавалось в этом жанре, не исключая Софокла и Эврипида...».*

«Роль Федры от начала до конца - это самое трогательное и самое проработанное из всего, что когда-либо было написано...».

«Я бы воздал хвалу "Аталии", этому шедевру человеческого духа, если бы все люди со вкусом в Европе не сходились во мнении почти по всем остальным пьесам...».

«Это произведение - самое безукоризненно выстроенное, самое простое и самое возвышенное из тех, что у нас есть...» (Философский словарь).

Вольтер в своем «Очерке века Людовика XIV» воспел этот прекраснейший из веков; но чтобы восславить лучшего из королей, он написал «Генриаду». *«Вы заметили,* - пишет он, - *что в этой истории (истории века Людовика XIV) моим героем является скорее сам век, чем лично Людовик XIV, несмотря на все то уважение и благодарность, которыми мы обязаны его памяти»* (Литературные смеси).

Однако его герой в «Генриаде» - это тот,

Кто долгими бедами научен был править,
Унял мятежи, смог побеждать и прощать,

[1] История Франции, т. XII, с. 329.

и о ком можно сказать, как о Людовике XII, единственном короле, что достоин сравнения с Генрихом Великим по своей доброте и любви к народу:

Он часто прощал; он правил сердцами,
И осушал слезы на глазах своего народа.

Именно так Вольтер воздает дань своего таланта; именно с такой проницательностью и справедливостью он распределяет её между несколько помпезным величием и величием, достигнутым благодаря совершенной доброте. Самое тщательное, самое благородное и самое возвышенное из его произведений было написано для лучшего из государей и посвящено тому триумфу на равнине Иври, который революционная анархия осмелилась очернить и который великий человек - единственный со времен Генриха IV, явленный Провидением французам, чтобы начать всё заново, - только что восстановил.

Вы, кто в ходе Революции не переставали описывать людей и события без оговорок и различий, и кто считали себя оправданными угрозами, которым подвергались в какой-то момент сами, - вы знаете, о Вольтер, что этот «плохой француз» написал «Генриаду», находясь в Бастилии.

Хотя Вольтер всегда ставил французскую нацию выше всех остальных, он не отказывал англичанам в некоторых преимуществах, оспаривать которые было бы абсурдно и которыми нам самим было бы крайне желательно обладать. Но разве это делало его плохим гражданином? Вот отрывок, где он ставит Англию в пример Франции. Эта цитата очень уместна в настоящий момент. Она взята из письма авторам «Литературной газеты» (*Gazette littéraire*):

«Вы говорите: то, что англичане знают лучше всего - это история Англии; а я добавлю: то, что французы знают хуже всего - это история Франции».

«...Изучение истории было бы, однако, так же необходимо в Париже, как и в Лондоне. Если бы мы узнали, каковы истоки и достоинства нашего правительства, в нас возродился бы патриотизм; времена спокойствия и повиновения, по сравнению с временами смут и потрясений, стали бы прекрасным уроком мягкости и покорности; правильно понятые факты заставили бы исчезнуть эту ярость к спорам, острота которых растет пропорционально неясности и бесполезности обсуждаемых предметов; они бы возродили тот дух искренности и верности, который стоит гораздо больше, чем "дух интриг и заговоров"».

Разве это недостаток любви к родине или неуважение к правительству - рекомендовать чтение, которое оживило бы любовь к отечеству и уважение к власти, побуждая к ним на примере другой нации?

Неизвестно, какой антисоциальный и особенно антифранцузский дух веет сегодня над французским народом, одной из самых почетных черт которого всегда было уважение к другим. Неужели теперь нельзя ничего хвалить у иностранцев и ничего критиковать у себя?

Как! Разве не подобает доброму французу постоянно заботиться об улучшении своей страны? Неужели француз будет обречен видеть пользу хороших примеров лишь за пределами своей родины и смотреть на них лишь с глупым презрением к прекрасным образцам? Неужели он должен отказываться от любого совершенствования из страха признать себя несовершенным и оставаться в подчиненном положении, лишь бы не признавать ни в чем чужого превосходства? Конечно, римляне поступали иначе: они перенимали оружие у побежденных народов, если находили его лучше своего; они заимствовали у Греции науки, искусства, вежливость и элегантность.

Что бы с нами стало, если бы принцип наших авторов распространился на все народы и все правительства, и если бы все европейские монархи поверили, что они предают свою страну и самих себя, когда следуют нашей моде, покупают наши книги, разделяют наши мнения или говорят на нашем языке? Боже правый! Какими гениями кажутся те люди, что объявляют девятнадцатый век своей собственностью, и какие великие судьбы они ему пророчат!

Даже если бы Вольтер позволил себе критику всей нации, её нравов и законов, вместо того чтобы ограничиваться высмеиванием некоторых странностей и причуд отдельных лиц или

критикой двора, - разве можно было бы всерьез его в этом упрекнуть? Разве его критика была бы более преступной, чем сатиры Буало, комедии Мольера, «Характеры» Лабрюйера, проповеди Массийона, Бурдалу и других проповедников, которые громили пороки своего времени и своей страны? Неужели кто-то станет утверждать, что мы должны находить пороки только у иностранцев, а у нас самих из меньше чем добродетели? Разве не было бы крайней степенью упадка для нации отвергать любое порицание и желать вечного упоения похвалами? Не было бы высшей степенью безрассудства полагать, будто дифирамбы, которые нация заставляет петь своих ораторов и поэтов, служат мерой почтения и уважения со стороны иностранцев? И будто её будут ценить тем больше, чем чаще и нелепее её писатели будут твердить, что она достойна уважения?

Писатели вообще самонадеянно верят, будто они создают репутацию народов так же, как создают репутацию частных лиц. Какое странное заблуждение! Оскорбления Диогена и его школы не обесчестили Грецию; восхваления Робеспьера и ста тысяч клубных ораторов не заставили уважать Францию в 1793 году. Характерные черты нации слишком очевидны, все события, в которых она проявляет себя, слишком ярки, а связи, подвергающие её испытаниям, слишком многочисленны. Одним словом, её слава складывается из такого огромного множества свидетельств, что несколько писателей не могут быть судьями её авторитета и определять его масштаб. Они могут приумножить славу своей страны тем, что они для неё делают, но они не могут установить её репутацию тем, что они о ней говорят.

Если бы это было правдой, и о народах судили бы по похвалам или критике их писателей, то возник бы деликатный вопрос: до какой степени талантливому человеку должно быть позволено критиковать нравы, обычаи и законы своей родины ради их улучшения, и в какой момент он должен остановиться, чтобы не лишить её уважения в глазах иностранцев. Но это предположение ложно. Даже если бы его можно было принять, критику всё равно следовало бы разрешить, и можно было бы без опасений наделить правом говорить всё что угодно два типа людей: тех, кто, по примеру Вольтера, служит своей родине и любит её. Граждане, которые чтят свою страну своими добродетелями, гением и заслугами, не могут унизить её своими упрёками; а те, кто любит её искренне, гораздо вернее передают читателям свою привязанность, чем своё недовольство. Границы следовало бы устанавливать с осторожностью лишь для тех людей, которые, не сделав ничего полезного для своего отечества и ничего не добавив к его чести, пытались бы вычеркнуть из его летописи век величия и просвещения. Такие люди претендовали бы на то, чтобы искупить низость своего поведения и расквитаться с нацией, просто записывая формулу: «Нация достойна уважения».

Из предыдущего стало ясно, что все великие труды Вольтера свидетельствуют о его привязанности к своей стране и о его заботе о славе Франции. Мог ли он иметь намерение отказаться от своих публичных проявлений почтения и опровергнуть их в своей переписке? На этот вопрос, ставший последним убежищем для недобросовестных критиков, отвечает один единственный факт: он не предназначал свои письма для публикации; они стали достоянием общественности лишь в результате коммерческой затеи книгоиздателей, предпринятой после его смерти. Как можно утверждать, что Вольтер замышлял подорвать авторитет Франции в Европе, когда, с одной стороны, небольшая доля критики в адрес нации встречается лишь в письмах, не предназначавшихся для Европы, а с другой - все его произведения, разошедшиеся по Европе, служат лишь прославлению нации?

То, что наши гении девятнадцатого века затаили в душе против Вольтера и философов, они не осмеливаются высказать прямо; им нужно в этом помочь. То, что их гложет, - это вовсе не то, что философы сделали, сказали или написали против французской нации. На самом деле их задевает то, что те могли сказать, или на что могли намекнуть по поводу французского двора - двора, который в конце прошлого века с каждым днем становился более развращающим и развращенным; по поводу состояния армии, пришедшей в жалкий упадок; и, наконец, по поводу выродившейся династии. Их злят почести, которые философы воздавали великому

Фридриху, покровительствовавшему им вопреки двору Людовика XV, который их преследовал.

Эти господа утверждают, что в течение восемнадцатого века Франция утратила свое былое величие; они приписывают этот упадок философам и *бросают им вызов* (в оригинале «leur défient» - именно так выражаются великие писатели девятнадцатого века!) найти иную причину этого, кроме как в их собственных сочинениях. Разумеется, если бы Франция действительно утратила свой блеск в восемнадцатом веке, то спрашивать за это следовало бы вовсе не с трудов философов. Им нельзя вменять ни военные неудачи Людовика XV, ни развал государственного управления в годы его правления; не на них следует возлагать вину за распущенность нравов, вновь воцарившуюся среди придворных к концу его царствования, ни за их продажность, дерзость и бесстыдство, ни за расточительность фавориток и прочие беспорядки, ставшие слишком явными признаками действительного упадка.

Но действительно ли верно, что Франция утратила свое величие в восемнадцатом столетии? И стоит ли нам спешить, полагаясь на мнение газетчиков, и соглашаться с презрением иностранцев? Нет, деградация двора вовсе не была деградацией нации. В то время как двор обременял Францию скандалами и налогами, её поэты, ученые и философы озаряли её светом знаний; литература покоряла все умы; драматические шедевры привлекали в страну всю молодежь Европы, внушая ей страстную любовь к Франции; научный прогресс предоставил новые средства всем искусствам и новые ресурсы для удовлетворения любых потребностей. Академии были самыми внушительными собраниями, когда-либо созданными для воспитания разума и вкуса, и Вольтер сиял там с особым блеском. Да, если честь Франции и могла быть тогда подорвана слабостью её воинов и низостью двора, то именно литераторы и философы спасли бы её. Однако наши оракулы девятнадцатого века называют падение старого французского двора деградацией всей Франции, а славу Просвещения считают, по их мнению, национальным бедствием.

То, что некоторые люди возмущаются похвалами, которые Вольтер расточал Фридриху, и находят их столь неумеренными, что считают себя вправе называть их низостью - в этой несправедливости нет ничего удивительного. Не каждому дано разделить чувства, которыми эти похвалы были продиктованы. Не все удостоились чести быть принятыми великим человеком, облеченным властью совершать великие дела, применяющим эту власть и проявляющим себя либо как основатель или преобразователь государства, либо как покровитель всяческих талантов, либо как избавитель от бесчисленных несчастий. Еще меньшему числу людей выпало счастье приковать к себе внимание такого человека, вызвать его привязанность, быть посвященным в его замыслы. И даже среди них не у каждого душа достаточно возвышенна, чтобы осознать всё его величие, восхититься им, воспринять его влияние и проникнуться к нему страстной благодарностью и восторгом.

Но эти похвалы, которые Вольтер адресовал королю Пруссии, будут хорошо понятны тому немногочисленному кругу выдающихся людей, которым удалось проникнуть в душу великого человека, оказывающего прямое и мощное влияние на судьбы человечества; тем, кто смог заложить в его сознание свои идеи, перенять его масштабные взгляды и высокие чувства и на мгновения, благодаря доверительному общению, ощутить своего рода родство душ с ним. Эти люди знают, до какой степени может дойти воодушевление в тех, кто видит, как их собственные мысли - и многие другие, еще более великие, до которых они сами не дошли - воплощаются в масштабные деяния. Особенно когда автор стольких общественных благ проявляет к ним еще и личную доброту и соизволяет озарить их жизнь лучами своей славы. Удивительно ли, что это счастье - величайшее, на которое может претендовать гражданин, счастье, более ощутимое для добродетели, совести и чести, нежели для гордыни - вызывает своего рода опьянение у тех, кому оно даровано? Удивительно ли, что восхищение и благодарность сквозят в каждом их слове, обращенном к тому, кому они обязаны этим чувством? Что они хвалят его невольно, сами того не осознавая, просто потому, что говорят о нем или с ним, и оказываются в плену идолопоклонства перед талантом, не замечая, что со стороны это может казаться рабством перед властью?

Великий Расин, который умер от горя, узнав, что лишился расположения Людовика XIV - разве удивился бы он той цене, которую Вольтер придавал расположению великого Фридриха? Но разве Фридрих не признавал над собой ту же власть великих людей, которую Вольтер признавал в нем? Кто из них двоих больше хвалил и воспевал другого? И кто из них получил от другого больше почестей и признания, которые в еще большей степени отразились на славе нации, к которой он принадлежал? Вольтер ли говорил на языке Фридриха и обогащал его своими трудами, или же Фридрих воздал должное языку Вольтера, языку французов; этот блестящий жест признания - пользоваться только французским языком в частной жизни, в переговорах, в трактатах, в двадцати трех томах философских и литературных трудов, - разве всё это не свидетельствует о его восхищении Вольтером и дружбе с ним?

Разве французский писатель перенял у короля Пруссии свои взгляды и вдохновение? Или же, наоборот, прусский король воспринял, усвоил и всячески прославлял уроки французского философа и поэта? Прибавил ли Вольтер что-либо к могуществу прусского короля? Напротив, не приложил ли прусский король все свои силы к тому, чтобы сделать Вольтера - простого французского подданного, подчиняющегося законам, магистратам, нравам и вкусам Франции - главой того интеллектуального сообщества, которое распространилось по всем остальным республикам и империям Европы? Разве Фридрих не был первым, кто признал Вольтера основателем и главой этого великого философского ордена, чьи учебные центры открыты везде, где есть люди, умеющие читать, и чьи наставники встречаются повсюду, где есть люди, способные писать или говорить? Разве не благодаря привязанности и восхищению Фридриха перед Вольтером Франция стала столицей Просвещения, а французский язык - универсальным языком, языком литературных, торговых и дипломатических отношений во всем мире? Одним словом, разве не Вольтеру мы обязаны тем, что герой восемнадцатого века стал данником французской нации и способствовал росту ее влияния?

Если гений Вольтера имел столь поразительное влияние на великого Фридриха, стоит ли удивляться тому, что этот монарх, самый выдающийся в своем столетии, в свою очередь внушил Вольтеру восхищение и заслужил от него некоторую признательность? Наконец, если предположить, что Вольтер имел несчастье быть одновременно неблагодарным и слепым, следовало бы отдать должное его политическому чутью и гражданской позиции: ведь несколькими лестными словами он сумел добиться для Франции самых почетных и полезных уступок.

Но пора заканчивать; излишне беспокоиться о славе Вольтера - она в безопасности. Сто тысяч экземпляров его сочинений разошлись по Европе. За последний год цена на них удвоилась. Чем яростнее враждебный Франции союз нападает на его память, тем больше ищут его труды. Соперничество покупателей за столь распространенную книгу - это неопровержимое свидетельство мнения мыслящих людей, которое и составляет подлинное общественное мнение. Положимся же на эти слова великого Фридриха, которые вполне применимы к большинству тех, кто объявил себя врагами Вольтера: *«Какова бы ни была ненависть этих фанатиков и подлость их мести, столь яростно обрушившейся на мертвецов, ни крики зависти, ни их дикие вопли не очернят память господина де Вольтера. Самая мягкая участь, которая их ждет - это навеки остаться погребенными вместе со своими жалкими уловками во тьме забвения, в то время как слава господина де Вольтера будет расти из века в век и донесет его имя до бессмертия»* («Похвальное слово Вольтеру»).

В завершение повторю: если бы я сегодня захотел лишить всё доверия, чтобы разрушить всё во Франции, я бы действовал именно так, как действуют хулители восемнадцатого столетия. Когда они жалуются, что оно опозорило Францию, уверены ли они, что не желают опозорить ее сами? Ведь, в конце концов, опозорить целый век своего существования - разве это не покушение на собственную славу? Опозорить только что прошедшее столетие - разве не значит опозорить то, которое начинается? Опозорить век, который дал нам две трети ныне живущих людей, всех зрелых мужчин, всех общественных деятелей, всех государственных мужей, всех почтенных и авторитетных личностей - разве это не значит опозорить Францию самым

явным, действенным и вредным для общественных интересов образом? Разве честь нынешнего времени важна для нас меньше, чем честь времен минувших? Разве Франция не нуждается в стократ больше в добром имени восемнадцатого века, наследие которого до сих пор питает век нынешний, чем в чести века семнадцатого?

Нужно сказать об этом прямо и без прикрас: восемнадцатое столетие хотят опозорить для того, чтобы опозорить Революцию и всех людей, которых она задействовала, и полностью разрушить ее плоды... Тщетные усилия! Какими бы ни были разрушительные последствия этой Революции, у Франции навсегда останутся два повода для гордости: конец дряхлой династии и возвышение великого человека до вершин верховной власти.

(«Парижский журнал» от 19, 21, 24 и 27 брюмера XI года. - 10, 12, 15 и 18 ноября 1802 года; перепечатано с исправлениями в III томе «Мелких сочинений».)

Нравственные и политические наблюдения, касательно изданий, порочащих XVIII век, философию и Революцию[2]

1.

Газеты, о которых здесь идет речь, - это «Journal des Débats», «Gazette de France» и «Mercure». Но именно на «Journal des Débats» сосредоточена наша критика, поскольку это наиболее распространенное издание, которое активнее прочих распространяет ложные принципы и дурные настроения. У «Gazette de France» мало подписчиков; у «Mercure» их почти совсем нет. Долгое время патриоты при чтении «Journal des Débats» испытывали смутное беспокойство, которое было трудно четко определить и в котором даже не хотелось себе признаваться. Мастерство редакторов позволяло им сочетать постоянное принижение идеалов, людей и достижений революции с настолько помпезным восхвалением религии и главы государства, что никто не осмеливался подвергнуть сомнению подлинные намерения, которые ими двигали, и не могли опасаться последствий, к которым те должны были привести. Общественное мнение с каждым днем искажалось, и никто не осмеливался раскрыть причину этой перемены.

Но в конечном счете дерзость редакторов возросла; их бесстыдство не знало границ; они яростно нападали на всех выдающихся деятелей науки и литературы; они начали настоящую осаду театров и учреждений народного просвещения. В качестве правила критики они установили, что литературные труды должны оцениваться по личностям их авторов, и что никакое оскорбление не может быть слишком резким в отношении тех, кто принимал участие в революции. Они распространяли в обществе мнение, будто правительство одобряет их тон и манеру речи, и благодаря своей наглости им удалось убедить некоторых простаков, что их беспардонное поведение находит поддержку. В злонамеренных кругах зародились гнусные надежды; нелепые страхи встревожили доверчивые умы; слабые духом пали в уныние, а некоторые трусы решили, что настало время сменить сторону. Однако большинство, неизменно состоящее из людей, которые уважают приличия, ценят талант и дорожат правительством, возмутилось; общественное терпение истощилось, и всеобщее негодование, которое слишком долго сдерживали, вырвалось наружу.

Обстоятельства, способствовавшие дерзости *Journal des Débats*, лишь подтверждали необходимость её пресечения. Приближался момент, назначенный для Английской экспедиции; глава государства должен был покинуть столицу, чтобы лично возглавить этот поход или руководить им. В Париж со всех сторон стекалось английское золото; здесь собирались наемные

[2] Кузен дофина, младший брат Шарля, герцога Орлеанского, с. 331.

убийцы из Лондона, Эдинбурга и Варшавы; повсюду циркулировали планы всеобщего переворота - всё угрожало единственному человеку, на котором держатся наши судьбы. Без сомнения, настало время сплотить униженных патриотов, вернуть конституции то уважение, которого её лишили газеты, и выступить против ужасающей системы, которая, нанося удары по всему окружению ПЕРВОГО КОНСУЛА - по самой опоре его власти, - изолировала его в глазах врагов отечества и словно указывала им ту самую точку, по которой достаточно нанести один удар, чтобы разрушить всё. Пора было вновь поставить между его грудью и кинжалами тех людей и те институты, которые могли бы ясно дать понять злоумышленникам: любое преступление окажется для них бесполезным.

В подобных обстоятельствах мы убедились, что эта задача, входящая в круг наших обязанностей, нам вполне по силам и что любовь к отечеству позволит нам с помощью печатного издания стереть те дурные впечатления, которые успела оставить другая газета. Мы полагали, что для гражданина нет лучшего способа заслужить признание родины, чем пролить свет на саму систему тех листков, что развращали общественное мнение. Мы намерены последовательно и в хронологическом порядке опубликовать различные статьи, напечатанные с этой целью в «Парижском журнале» (*Journal de Paris*). Наши первые враждебные действия имели целью защитить честь литераторов. Наше объявление войны помещено в конце длинного отрывка из нового сочинения господина Вольнея о Соединенных Штатах Америки. Вот строки, которыми оно завершалось:

2.

Конец отрывка из «Путешествия в Америку» господина Вольнея.

Номер от 29 нивоза XII года - 20 января 1804 года.

«…Мы были искренне рады воспользоваться столь благоприятным случаем, чтобы представить пример критики, одновременно строгой и благожелательной, в то время когда некоторые, не краснея, возводят в принцип правило, согласно которому о произведениях следует судить по личности авторов, и где вошло в обыкновение заранее клеветать на людей, чтобы не оставалось никаких сомнений в оценке их трудов. Наконец, мы сочли, что время, которое мы могли бы уделить труду знаменитого писателя господина де Вольнея, не будет востребовано ни одним другим заслуживающим внимания произведением. Ведь нужно признать: литература в настоящий момент поражена бесплодием, всякая творческая работа приостановлена, все перья замерли, а в умах царит своего рода террор. И стоит ли этому удивляться? Разнузданность некоторых сеющих смуту газет, пользующихся поддержкой той партийности, которую они же и подпитывают, установила над прессой гнусную тиранию. Любые начинания отвергаются, всякий успех оспаривается, репутации подвергаются нападкам, а учреждения общественного образования находятся в осаде. Просвещение и слава великого века, в который мы родились, ныне очерняются. Непонятно, на кого равняться и где искать судей. Люди не могут и не хотят забывать то полезное и прекрасное, чему их научило целое столетие, но в то же время чувствуют, что выставлять напоказ эти благородные богатства было бы опасно. Своего рода революционный трибунал душит разум и губит таланты на стыке ушедшего и наступающего веков, внушая двоякий страх: разделить упреки, которыми осыпают прошлый век, и навлечь на себя преследования, которыми грозит век будущий. Таково нынешнее положение литературы и наук.

Говорят, что среди врагов разума и национальной славы встречаются люди, посвятившие себя самому почтенному служению. Разумеется, если у клеветы, оскорблений и бесстыдства в нашей стране есть свои алтари, то вполне вероятно, что этот союз объединяет их верховных жрецов. Но если речь идет о людях, преданных той религии, чья мораль дышит лишь снисхождением, добротой и любовью к ближнему, то это могут быть лишь недостойные вероотступники».[3]

[3] История Франции, т. XII, с. 331.

Редактор «Журнала дебатов» взял на себя обязанность ответить на этот первый выпад от лица своей газеты и других изданий, за своих сотрудников и за самого себя. В номере от 30 нивоза он заявил, что *«ЕГО ЦЕНЗУРА наводит страх на врагов спокойствия и порядка лишь потому, что ОНА ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ ВСЕХ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ граждан, всех ДРУЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, нравов и законов»*. Самое публичное обвинение из всех, что когда-либо выдвигались, он назвал «доносом» - и это при том, что речь шла об обвинении в самом явном, торжественном и постоянном преступлении, которое когда-либо совершалось. Впрочем, он уверяет, что этот донос исходит из «нечистого источника» и тому подобного, и лишь удваивает поток оскорблений в адрес литераторов. Через день в «Парижском журнале» появилась вторая статья, содержание которой приводится ниже:

3.

Об угнетении литературы газетами.

Выдержка из «Парижского журнала» от 2 плювиоза XII года. - 23 января 1804 года.

Нужно быть лишенным рассудка, чтобы не признавать слабость, а порой и нелепость новых произведений, которые ежедневно рождаются и умирают на наших театральных подмостках; нужно быть врагом литературной славы, составляющей столь блестящую часть славы национальной, чтобы утверждать, будто публика и журналисты должны терпеливо сносить дерзость бесталанных людей, а также ошибки и небрежность всех прочих. Но в равной степени нужно быть и слепым врагом любых талантов, способных делать честь новым судьбам Франции, чтобы не заметить, что из ненависти к этим самым судьбам все они сегодня обречены на оскорбления, унижения и забвение по воле журналистов, которые поклялись (одному Богу известно, перед кем) принести их в эту великую жертву; и что стало невозможным сохранить хоть какую-то литературную славу; нелепо претендовать на нее даже после самых долгих трудов, а питать подобные амбиции - опасно и губительно. Одним словом, поприще закрыто, всякое стремление к соревнованию угасло, и лишь безрассудные новички еще осмеливаются рисковать. Таким образом, те, кто притворно сокрушается о нынешнем зле, сами и являются его истинными виновниками.

Есть люди, которые скажут вам, что истинный талант преодолевает любые преграды и что полезно воздвигать высокие и непреодолимые барьеры перед посредственностью. Это правда, что большинство наших великих поэтов преодолели препятствия, которые им создавали семья или их сословие - но подобные преграды мешают лишь выйти из дома, а не вступить на выбранный путь. Их легко перешагнуть, когда само поприще блестяще, когда на нем видишь прославленных соперников, когда за каждым твоим шагом следят благожелательные взгляды, когда твой пыл пробуждают или поддерживают аплодисменты и когда, наконец, слава ждет победителей на финише и венчает их. Но какое влечение может сулить это поприще, когда ежедневно десятки тысяч газетных листков провоцируют против состязающихся на нем авторов оскорбления сотен тысяч читателей и всё негодование, порожденное ужасной революцией?

Нам также говорят, что критика и даже сатира эпохи Людовика XIV не помешали появлению тех прекрасных творений, которые обеспечили этому веку самое славное бессмертие. Мы ответим, что даже самые едкие литературные критические разборы или сатиры не могут иметь влияния, сравнимого с влиянием посредственной газеты в определенных обстоятельствах. Критику или литературную сатиру читают лишь люди светские да литераторы; они не мешают публике - верховному судье творений разума - сохранять полную независимость и естественную беспристрастность в споре между авторами и профессиональными критиками. Публика, предоставленная собственной независимости, требует от художественного творчества лишь того, чтобы оно её развлекало или увлекало; её суждения диктуются лишь полученным удовольствием или скукой. Таким образом, у авторов, чьи труды подвергаются нападкам в памфлетах невежественных или завистливых критиков, остается открытой возможность за-

щититься от этого невежества и зависти. Какое же средство остается им, когда ежедневные газеты - явление совершенно новое, неведомое веку Людовика XIV - каждое утро завладевают вниманием каждого, кто умеет читать? Застигая человека, едва он встал с постели, они навязывают ему самые первые впечатления дня. И когда вслед за революцией они призывают политические предубеждения на помощь литературным вердиктам, обращая страсти стороны, побежденной в едва утихшей гражданской войне, против талантов, составляющих славу стороны победившей. В такие времена, и в этом нет сомнений, беспристрастность публики оказывается развращена; естественное основание её суждений более не существует. Она начинает противиться собственным чувствам огорчения или удовольствия, которые должны были диктовать ей оценку и которые, по сути, и должны были стать самим этим суждением. Тогда суда больше не существует; верховный судья позорно порабощен, а публика оказывается в зависимости от тирана низшего толка, чьи приговоры ей остается лишь оглашать. Вот что порождает в послереволюционные времена газета, движимая партийным духом. Но вернемся к теме.

Кто же поверит, что чувствует в себе тайное влияние небес, когда сосчитает и узнает всех жертв, принесенных в жертву нашими газетами за последние три года? Кто осмелится счесть, что Аполлон благоволит ему больше, чем Вольтеру? Кто осмелится рассчитывать на успех, когда даже его достижения ставятся под сомнение? Кто решится сказать себе: «Я получу хотя бы поддержку», когда господа Дюси, Шенье, Арно, Лемерсье, Легуве, Андриё, Коллен-Арлевиль - выдающиеся люди, которых искусство может упрекнуть в ошибках, но которым невозможно отказать в таланте, - когда такие люди, признанные недостойными даже уважительной критики и дельных советов, подвергаются позорным нападкам? Какой человек, рожденный в восемнадцатом столетии, столь бесчестно оклеветанном; какой человек, прошедший через революцию, где события и принципы всех времен так недостойно смешиваются в одно целое, не побоится оскорблений и издевательств со стороны людей, которые, возведя в закон привычку безудержно поносить любого, кто разделял хотя бы некоторые идеи восемнадцатого века и революции, осмелились провозгласить принципом необходимость судить о произведениях по личности их авторов?[4] Какой человек захочет даже заявить о своем таланте во славу правительства, если он заметил то двойное коварство, из-за которого недавно одному из наших поэтов, ставшему излюбленной мишенью для системы оскорблений, приписали гражданскую песнь, сочиненную другим автором, которого по определенным причинам решили пощадить?[5]

Не стоит закрывать глаза на очевидное: судьба всего наступающего столетия зависит от строгого разбора системы, которая ныне господствует в литературе. Судьба революции и правительства зависит от этого, пожалуй, не меньше; ведь те же самые люди, что сокрушили словесность, стремятся разрушить все органы государственной власти, подорвать общественное уважение ко всем гражданам, которые их возглавляют, внести раздор между народом и армией. Это невозможно отрицать, поскольку, в конечном счете, все наши государственные мужи, все наши воины - это люди XVIII века, люди, воспитанные на принципах, которые начали и завершили революцию. Невозможно каждое утро внушать сотне тысяч читателей ненависть к революции и её идеалам, не заставляя эту ненависть в итоге обрушиться на людей, которые на протяжении двенадцати лет самым достойным образом служили родине.

4.

О СМУТЬЯНСКОМ ДУХЕ журналистов

Выдержка из «Journal de Paris» от 4 плювиоза XII года. - 25 февраля 1804 года.

То, что происходит сегодня в «Комеди Франсез», - это верное отражение того, что назревает в самом государстве. Эта невежественная и порывистая молодежь, не знающая правил

[4] Там же, с. 332.

[5] История Франции, т. XII, с. 385.

вкуса и презирающая как приличия, так и всякий здравый смысл, ежедневно идет на штурм авторов и актеров; и даже присутствие главы государства не может ни умерить их пыл, ни внушить им почтения. Откуда берется эта наглость? От кого они получают сигнал? Очевидно, что от тех печатных листков, которые своими грубыми нападками и оскорбительными тирадами еще накануне подготавливают скандалы дня, а назавтра всегда находят им оправдание. Так вот, эти беспорядочные выступления, которые изо дня в день повторяются в театре против того или иного актера или поэта, втайне готовятся по всей Франции, чтобы потом направиться против должностных лиц. Приписывая принципам революции все те бедствия, что на самом деле были вызваны забвением этих самых принципов, а также всё то, что пока оказалось невозможно исправить или прекратить, авторы этих листков навлекают недоброжелательство и ненависть на государственных служащих, облеченных властью самой революцией. Они вызывают отвращение к государственным обязанностям - а добиться этого нетрудно, особенно когда речь идет о тех функциях, которые вынуждают представителя власти требовать от гражданина взносов в государственную казну, а от отца семейства - отдавать одного из сыновей в армию.

Семена мятежа сеются не только среди граждан, но и в молодежной среде, в самих школах, в сохранении которых правительство заинтересовано более всего, - в тех заведениях, где преподаватели назначаются главой государства и которые содержатся за счет государства. То учащиеся наших высших школ - математических, физических, медицинских - читают в газетах, будто науки, которые преподаются с величайшим усердием ради нужд наших госпиталей, нашей артиллерии и нашего флота, **иссушают души и служат лишь тому, чтобы плодить атеистов**; то ученики национального коллежа, специально посвященного изучению словесности, узнают из тех же изданий, что профессору, назначенному правительством, стоило бы скорее самому сидеть на школьной скамье, чем занимать преподавательскую кафедру. В другой раз ученикам знаменитой национальной школы, дарящей слух глухим и речь немым, внушают обвинения в абсурдности и непроглядном невежестве их собственного наставника.

Никакие средства не считаются слишком низкими ради дезорганизации общества. Но что делает подготовку этого процесса более эффективной, а опасность ещё более более грозной, так это то, что создатели этой ужасающей системы увлекают за собой множество непросвещенных умов. Они клевещут на одну часть нации перед другой, заставляя верить, к огромному вреду для самой религии, будто она постоянно подвергается нападкам, а они являются её защитниками и мстителями. И это в то время, когда сегодня против неё не слышно ни единого голоса, ни малейшего ропота; когда разум и философия, встретив её по возвращении с распростертыми объятиями, склонились перед ней. Наконец, благодаря чуду, уготованному, несомненно, к славе мудреца, вернувшего её из изгнания, религия ныне внушает и встречает всеобщее почтение. Они также обманывают людей с ограниченным кругозором, выдвигая иную клевету, еще более коварную, чем первая: якобы высшая власть находится в опасности в руках тех людей, которые связаны с ней самыми кровными интересами, которые с величайшим рвением содействовали её восстановлению и первыми признали её, взывая к ней ещё до того, как она обрела существование. В те времена те, кто сегодня выдает себя за её опору, были известны нашим согражданам лишь своей продажностью, привязавшей их к английскому правительству, а нашим защитникам - лишь безумным упрямством, с которым они отрицали триумфы французских армий, даже когда о них гремела вся Европа. Сегодня они не скупятся на похвалы главе правительства. Однако эти похвалы, зачастую произносимые тоном людей, глубоко посвященных в кабинетные тайны, якобы одобряющих или даже направляющих его действия, - эти похвалы, к которым часто подмешиваются тревожные намеки для множества граждан и вероломное подстрекательство для других, порой возмущают людей, искренне преданных власти. Если же рассмотреть поведение тех, кто расточает эти похвалы, в целом, то можно подумать, что они упражнялись в искусстве лести лишь для того, чтобы под его прикрытием безопаснее практиковаться в искусстве вредительства.

Пока правительство находится в твердых руках, любые попытки спровоцировать фракции будут тщетны; враги порядка это знают. Но надежда извлечь выгоду из общественного

потрясения для совершения переворота - сама по себе весьма заманчивая для них перспектива. Достаточно легко представить, какая участь в действительности постигла бы всех людей, преданных Республике и её главе, если бы тот роковой миг, который журналисты уже имели непристойность воспевать, наступил в то время, когда нация была бы до предела отравлена их ядом, а все второстепенные органы власти заранее оказались бы обречены на опалу и уничтожение. Гибель самых верных граждан стала бы неизбежной; чаяния врагов революции исполнились бы беспрепятственно.

…. Но что, если эта катастрофа - не единственное бедствие, которому нас подвергают нагромождаемые день за днем нападки на революцию? Что, если представители власти будут увлечены примером несправедливости или запуганы той грозной силой, которую газеты, по всей видимости, имеют над общественным мнением; если некий злой гений пожелает, чтобы они переняли дух, царящий в этих изданиях, и чтобы они - по слабости, столь свойственной людям, меняющим убеждения, - сочли себя обязанными доводить до крайности принципы той партии, на сторону которой они перешли; если столь великое несчастье, которое уже знала история, сможет повториться вновь, - к чему это приведет? Что станет с Францией, Боже правый! Если бы вершители судеб, чести и жизней людей вздумали внушить себе, будто сегодня стало постыдным и опасным не судить граждан по их религиозным и политическим убеждениям? Что произошло бы, если бы служители религии, сравнивая себя с журналистами, стали бояться показаться менее ревностными, чем эти люди без миссии и без сана, защищающие веру, когда считают её атакованной? И если бы в порыве соперничества, которое они сочли бы похвальным, они также стали применять на практике отвратительное правило, что сегодня начертано на знамёнах партии: *Dicere de personis* [Говорить о личностях], нападать на людей… Я спрашиваю всех честных людей: каков был бы результат такой системы? Будут ли это гражданские смуты… будет ли это… Но давайте не будем останавливаться на гипотезе, столь далёкой от возможности. Нет, мы вовсе не допустим, чтобы система клеймения любых мнений, гарантирующих верность судей, могла ввергнуть их в забвение самих себя; и без того достаточно, что она отдаёт их во власть самых пагубных предубеждений и страстей; мы хотим верить - из уважения к священнослужению религии и к служению закону, - что в этой среде легко найти жертв, но невозможно найти трусов.

Закончим размышлением, о котором мы не вправе умолчать.

Когда сообщество литераторов, среди которых армия не видит ни единого солдата, а граждане - ни единого патриота, заявляет о себе в самом сердце нации, долгое время пребывавшей в раздорах, чьи части лишь недавно были вновь объединены твердой рукой и чьих граждан дух примирения пытается сплотить; когда они пробуждают болезненные воспоминания и жестокие обиды; когда они разжигают яростные страсти, направленные против основополагающих принципов государственного устройства, и когда итогом их системы стало бы явное восстановление того порядка вещей, саму память о котором необходимо изгладить, - всё дает право видеть в таком объединении не литературное общество, а политическую клику.

Когда эта клика в течение некоторого времени отравляла государство своими пагубными принципами, когда она прикрывалась священным покровом религии, когда она дерзнула примешивать к своим неистовствам лицемерную хвалу в адрес августейшего главы государства и когда, наконец, она укрепила свои позиции, пользуясь свободой прессы, - тогда попытка остановить распространение этого яда силой власти лишь способствовала бы усилению заразы от тех сочинений, что уже разошлись в народе. Поэтому следует предоставить самой прессе возможность предложить противоядие; необходимо разоблачить врагов общественного блага перед глазами каждого и утопить их в позоре. Мы не знаем задачи, более достойной порядочного человека, более почетной для истинного гражданина, для француза. Именно в этом качестве она возложена на нас - нашим почтением к религии, нравственности и правительству.

5.

То, что могли бы сделать добрые граждане; и то, что сделали партийные журналисты.

Выдержка из «Парижской газеты» от 7 плювиоза XII года - 28 января 1804.

То, что порядочные люди, искренние друзья религии, отечества и правительства, могли бы сделать без опасности и даже с пользой вслед за революцией, - это оспорить определенные заблуждения и мнения современной философии, которые могут противоречить общественным интересам. Подобные нападки, направляемые добросовестно, мудро и энергично, отделили бы полезные истины от любых примесей лжи; они были бы поддержаны всеми разумными людьми и встречены с одинаковым интересом всеми добрыми гражданами. Просвещенные люди даже с удовольствием увидели бы некий класс религиозных писателей, всегда готовый уравновешивать тех, кто мог бы поддаться искушению создать философские секты и господствовать над общественным мнением.

Но огульно нападать на все философские идеи целого столетия; называть «философией» презрение к религии, ненависть к власти, анархию, разбой, резню и террор; выставлять философию мишенью для всеобщего негодования, объявляя её причиной всех бед и всех преступлений революции; нападать в её лице на человеческий разум - этот прекраснейший дар небес - как на врага религии; отрицать все права человека, считая их несовместимыми с его обязанностями; клеветать на весь век, в который мы родились, и на всех людей, которых он произвел на свет - тех, кто вершит у нас правосудие, занимается управлением, защищает нас своим мечом, а вместе с ними и на все принципы, служащие фундаментом новой политической системы; наконец, без разбора травить любого, кому было дано имя философа, превращая это слово в боевой клич и сигнал к преследованиям - такое поведение может быть свойственно только врагам религии, общественного спокойствия, правительства, отечества и человечества.

И какой разумный мотив против философии могли бы иметь люди самого грубого невежества в вопросах политики и морали, не смыслящих ничего даже в литературе (за одним-единственным исключением) - люди, у которых нет ни одной идеи, ни одного мнения, в которых они могли бы отдать себе отчет? Они оказались бы в крайне затруднительном положении, если бы им пришлось излагать суть учения хотя бы одного из тех писателей, которых они так яростно порочат. Я не стану спрашивать, как они могли бы тягаться даже с самым слабым из этих авторов. Но я спрошу: как потребность нападать на них могла на самом деле возникнуть в их разуме и совести, если их ум лишен способности понимать - а возможно, и просто читать - те сочинения, авторов которых они столь легко и огульно клевещут? Но оставим в стороне личности этих авторов; отринем прежде всего мысль о том, чтобы применить к ним их же правило - *dicere de personis* (переходить на личности), хотя в отношении них это не слишком бы отличалось от принципа, освященного разумом: *dicere de vitiis* (говорить о пороках). Вернемся к их системе.

Довольно простой способ составить о ней верное представление - это взглянуть на список людей, которых они оскорбляли, и тех, кого они восхваляли в течение последнего года или около того. В поэзии их нападки обрушились главным образом на господ Лемерсье, Парни, Андриё, Колен-Арлевиля, Арно, Франсуа де Нёшато, Каррион-Низаса, Шенье, Лебрена, Дюси и даже самого господина Фонтана; ведь когда они приписали господину Шенье «Гражданскую песнь», которую господин Фонтан недавно прочел в Институте, они намеревались заклеймить это произведение теми самыми оскорблениями, которыми уже давно и столь щедро осыпают господина Шенье.

Сенаторы **Вольней**, **Кабанис** и **Гара** были представлены ими как философы, придерживающиеся пагубных учений. Господа Сюар и Морелле, и даже господин **Сикар**, которого, несомненно, нельзя обвинить в так называемом «философском нечестии», стали мишенями для самых грубых оскорблений с тех пор, как Институт - национальное учреждение, созданное в годы Революции, - воссоединил их с другими членами прежней Французской академии. Господина де Буффлера они засыпали самой гнусной клеветой; и что еще более возмутительно,

он тщетно требовал, чтобы его ответ был напечатан в том же издании, которое опубликовало нападки.

Не имея ни предлога, ни возможности напасть на наших Лапласа, Лагранжа, Бертолле, Ласепеда, Монжа, Фуркруа - ученых, дорогих Франции, уважаемых во всей Европе, и занимающих столь же высокие посты в государстве, как и в науке, - они нападают на них сообща, осыпая нападками сами знания, которыми те отличаются, и неизменно выставляя преподавание естественных наук как некие публичные кафедры атеизма.

Руссо и Вольтера в своих листках они буквально разносят в клочья. Дидро они попирают ногами; они могли бы судить о нем, лишь будь он автором одних только «Нескромных сокровищ», но они не способны признать в нем достойного преемника Бэкона, ибо план «Энциклопедии» - труд, масштаб которого выше их понимания. До сих пор они уважали в Монтескье автора «О духе законов», но с каким презрением они отзывались об авторе «Персидских писем»! Наконец (и это уже граничит с безумием), их предубеждение против целого столетия столь сильно, что в Массийоне они разделяют проповедника эпохи Людовика XIV и проповедника эпохи Людовика XV; последнего они считают деградировавшим и зараженным порочностью века - порочностью настолько заразительной, что она обладала, так сказать, даже обратной силой!

Каким же людям, каким сочинениям, напротив, прибережены их похвалы? Кого же, напротив, удостаивают похвал те журналисты, о которых мы говорим? Достаточно назвать лишь одно произведение, которое даст верное представление о духе, продиктовавшем их статьи: это «Дух истории» - книга, в которой Монк, этот прискорбный Монк, предлагается в качестве образца победителю Европы,[6] завоевателю многочисленных и богатых провинций, мудрецу и герою, под властью которого французская нация объявила, что желает находиться.

6.
Главное обвинение против газет этой фракции.

Даже если бы они не отваживались ни на опасные намеки, ни на предосудительные мнения относительно политического устройства государства, мы всё равно имели бы полное право упрекнуть их в духе ненависти и мести по отношению к революции, который прорывается во всём, что они пишут. Их можно было бы обвинить в том, что они постоянно разжигают скрытую войну, когда правительство делает всё ради мира, и пробуждают всяческую вражду, когда правительство делает всё ради согласия. Их можно было бы упрекнуть и в том недоверии к представителям власти, которое они внушают гражданам, и в той альтернативе, которую они навязывают представителю власти: либо подражать их пристрастности при осуществлении полномочий и обратить их против тех принципов, результатом которых она является, либо видеть, как сбитое с толку общественное мнение яростно оборачивается против него. Им можно было бы поставить в упрек их враждебность к победителям, столь заразительную среди побежденных после гражданской войны, а также тот дух реакции, который они неустанно превозносят и ожесточают.

Именно враждебность стала одним из средств, с помощью которых им удалось увеличить число своих читателей. Осыпать оскорблениями всех, кто принимал хоть какое-то участие в этой революции, на которую жаловались решительно все - даже те, на кого самого жаловались еще больше и кто сегодня так часто забывает о поводах для недовольства, поданных ими самими, чтобы помнить лишь об обидах, нанесенных им другими; извергать эти оскорбления с такой грубостью, чтобы они были понятны толпе - вот две уловки, благодаря которым можно быть уверенным, что люди будут буквально рвать друг у друга предлагаемые им листки. Ненависть к революционным неистовствам сегодня стала самым всеобщим чувством. Любой, кто отзывается о них дурно, может быть уверен, что удовлетворяет чью-то личную ненависть или

[6] Эпитафия Изабелле Баварской, автор Лаплас.

частную обиду. Каждый читатель, встречая выдвигаемые против революции обвинения, испытывает удовлетворение, словно читает обличение своего родственника или соседа, который, со своей стороны, думает то же самое о ком-то другом. Таким образом, каждый наслаждается местью, полагая, что сохраняет при этом достоинство и умеренность, и привязывается к изданию, которое берет на себя труд распространять оскорбления вместо него.

Однако какая ловушка скрыта под этой услужливой враждебностью! Настраивая умы толпы против эксцессов революции, людей вскоре подталкивают к ненависти к самой революции; граждан заставляют собственными руками разрывать узы, что объединяли их на всем её протяжении; заставляют игнорировать интересы, ставшие для них общими; и тем самым разобщать победившую сторону, ставя каждого из её участников в унизительное положение перед лицом партии побежденных. И именно это вот-вот случится, если граждане не будут осмотрительны.

Разве не слишком очевидно, что партийные газеты, атакуя сегодня революцию целиком, без всяких исключений и различий, нападая на её принципы, обрушиваясь даже на литературу и философию XVIII века, признают толику чести и разума лишь за теми французами, что покинули Францию, лишь за теми французами, кто с оружием в руках выступил против своей страны? В тех же, кто её защищал, они видят лишь врагов отечества или презренных глупцов. Разве не слишком очевидно, что в их антигражданской системе мятежники это истинные граждане, а сами граждане были лишь преступными смутьянами? Разве не слишком очевидно, что, согласно их принципам, люди, которым правительство соизволило даровать амнистию и которых оно же поставило под надзор властей, теперь призваны занять места в трибунале, чтобы вершить суд над гражданами и судьями? Кто не видит, что газеты уже начали этот процесс, что они уже выдвинули обвинение и ведут его; что ежедневно государственные курьеры на всех дорогах и государственные почтовые отделения, учрежденные во всех городах, разносят под печатью государства десять тысяч листков, которые несут амнистированным восторженное одобрение их взглядов, а добропорядочным гражданам - осуждение их собственных убеждений?

Разве не стало слишком общеизвестным, что честный гражданин ныне вынужден краснеть и уходить прочь, завидев в руках эмигранта номер *Journal des Débats*, едва лишь несколько позорных строк коснутся патриотов? Какое имя дать изданию, которое превращает мятежника в добропорядочного гражданина, добропорядочного гражданина в труса, амнистированного поднадзорного в судью, призванного за всем следить, а представителя власти, назначенного победившей стороной, - в подсудимого? Если это не контрреволюционная газета, то само это определение ни к чему нельзя будет применить; ведь подобное издание делает нечто большее, чем просто проповедует контрреволюцию, - оно её осуществляет.

До сегодняшнего дня никто не оценил в полной мере то разрушительное воздействие, которое ежедневные газеты могут оказать на общественное устройство после долгих потрясений, особенно среди народов легкомысленных и страстных, для которых такие издания естественным образом становятся единственным чтивом. История не может дать нам никаких уроков на этот счет, поскольку само это явление совершенно ново. Ежедневные газеты приумножили мощь книгопечатания в той же степени, в какой само книгопечатание усилило все прочие средства общения, существовавшие между людьми ранее. Правительства проявляют недостаточное недоверие к этой новой силе.

Если бы в годы правления Генриха Великого, после войн Лиги, каждое утро выходили газеты, разжигавшие ненависть католиков к протестантам - подобно тому, как сегодня многие журналы разжигают ненависть католиков к философам, то есть эмигрантов к деятелям революции, - то совершенно очевидно, что все XVII и XVIII столетия целиком стали бы жертвой гражданской войны. Если бы даже в самой Англии сразу после гражданских войн времен революции ежедневные газеты получили такое же широкое распространение и если бы они поддались всему неистовству партийного духа, эти войны продолжались бы до сих пор.

Статья, опубликованная в «Парижском журнале» (Journal de Paris) от 4 плювиоза, заставила редактора «Журнала дебатов» (Journal des Débats) окончательно потерять всякое чувство

меры. Снова обвинив «Парижский журнал» в доносительстве - обвинение на этот раз столь же «справедливое», как и в прошлый раз, - он решил пойти на открытое столкновение с принципами конституции, объявить себя её врагом, сам выставил напоказ ту подрывную доктрину, в которой его упрекали, и во всеуслышание вооружился факелами контрреволюции. Эта удвоившаяся дерзость потребовала соразмерного отпора, и автор статей, ранее опубликованных в «Парижском журнале», подготовил в ответ общее обвинение против газет, на которые он нападал.

Когда он уже был готов отдать этот текст в печать, стало известно о раскрытии заговора, направленного против Первого консула. Это обстоятельство стало еще одним веским доводом в пользу того, чтобы опубликовать защиту конституции и апологию республики против их дерзких хулителе; и тем не менее, оно заставило смягчить выражения, направленные непосредственно против этой фракции. Автор был готов допустить, что издания, которые он критиковал, могли быть лишь результатом случайного совпадения необдуманных мнений неосторожных писателей.

7.

О ГАЗЕТАХ, которые, стремясь совершить контрреволюцию, воображают её уже свершившейся.

Выдержка из «Парижского журнала» (Journal de Paris) от 26 плювиоза XII года. - 16 февраля 1804 года.

Когда появились наши первые замечания о нападках, которыми осыпали философию и восемнадцатый век, некоторые люди могли задаться вопросом: какая причина могла побудить гражданина стать защитником философии восемнадцатого столетия? Ведь это название относится не к какому-то единому учению, которое преподают в школах или которое признано всеми, а лишь к беспорядочному набору абстрактных идей, родившихся в разных головах, к смеси разнообразных, зачастую несовместимых мнений, в которую по собственному желанию добавляют или из которой выбрасывают всё, что угодно. Также можно было бы спросить, как он может выдавать себя за мстителя, отстаивающего честь философов, когда нигде не видно ни корпорации философов, ни философских школ, и что это звание можно принимать или отвергать по своему желанию; как, наконец, он мог выдавать себя за защитника века, чья слава и чьё порицание на первый взгляд кажутся совершенно чуждыми тому веку, в котором мы живем.

Именно для таких людей мы и сказали: нападки на восемнадцатый век и на философию обрушиваются на революцию, на людей, которых она привела к власти, на её принципы и, наконец, на правительство, которое является её великим и важным следствием; когда нападают на философию века - нападают на правительство; когда мы защищаем философов - мы защищаем само правительство.

Столь серьезное обвинение могло показаться следствием раздражения, вызванного спором; многие люди, поглощенные своими делами, разнеженные удовольствиями, предающиеся рассеянной жизни и наслаждающиеся, в забвении всякого общественного интереса - благополучием, которого они долго не знали, могут быть склонны считать пустыми и назойливыми опасения, которые, тем не менее, основаны на самых зловещих симптомах. Другие, возможно, не смогли уловить связи, объединяющие столь разные предметы, как нынешняя власть и философия или литература XVIII века; и не понимают, каким образом низвержение последних может привести к краху первой. Наконец, естественное отвращение, свойственное благородным сердцам, и врожденная подозрительность, с которой люди с чистой совестью относятся к любым тяжким обвинениям, могли помешать некоторым принять те доводы, что мы представили на суд общественного мнения.

Хотя число тех, кто всё еще пребывает в неуверенности, невелико, если судить по многочисленным свидетельствам уважения и почетному одобрению, ставшим наградой за нашу

преданность делу, нам кажется, что мы обязаны и им, и самим себе дать исчерпывающие объяснения. Мы бы не простили себе, если бы позволили этой фракции и дальше водить за нос достойных людей. Мы убеждены, что для укрепления общественного духа необходимо доказать со всей очевидностью существование подрывной системы, которая угрожает установленному строю.

И неважно, порождена ли эта система духом конкретной газеты или же союзом работающих в ней журналистов; является ли она скорее невольным следствием совпадения интересов нескольких врагов революции, или же результатом заранее обдуманного сговора, четко зафиксированного в сознании каждого участника; не важно, что среди пособников этой системы, их вдохновителей и советников встречаются люди скорее безобидные, нежели злонамеренные по отношению к правительству - возможно, даже благожелательные, но привязанные к устаревшим взглядам, люди невежественные, пристрастные и самонадеянные;[7] что единственным движущим мотивом для большинства авторов, руководителей, издателей и прочих является лишь низменный интерес, инстинкт наживы, не позволивший упустить из виду истину, позже подтвержденную опытом: секрет огромных прибылей, особенно после насильственной революции, заключается в умении потакать страстям недовольных - мы не беремся судить об этом, по крайней мере сейчас, да и выяснять это не слишком важно. Если существуют крамольные газеты, то и выпускающих их журналистов следует называть политической группировкой, до тех пор, пока не будет доказано, что они либо лишились рассудка, либо являются простыми наемниками или жалкими марионетками, не ведающими, что творят.

Перейдем же к нашей основной мысли.

Прежде всего, анализ всех статей, публиковавшихся на протяжении нескольких лет в упомянутых изданиях, неоспоримо доказывает следующее: в представлении их авторов философия XVIII века и сам «философский дух» - это не что иное, как анархия, независимость и эгоизм, возведенные в ранг принципов. Подобный вывод приводится непосредственно в одной из этих газет (*Journal des Débats* от 4 плювиоза XII года). Отсюда также следует, что именно эти принципы независимости и эгоизма породили революцию, и что анархия и революция суть одно и то же. Наконец, из этих же публикаций ясно, что авторы неустанно стремились посеять в сердцах людей ненависть к революции и её идеалам, о чем они и сами открыто заявляют в одном из своих номеров (Уже упомянутое издание от 4 плювиоза XII года). Таким образом, совершенно очевидно и во всеуслышание признано, что целью было очернить философию, чтобы вызвать ненависть к революции и её принципам.

Теперь не требуется долгих рассуждений, чтобы доказать: стремясь внушить ненависть к принципам революции, авторы тем самым работали над тем, чтобы внушить ненависть и к её последствиям. Не нужно много раздумывать, чтобы увидеть: нынешнее правительство является следствием революции и торжественным воплощением её принципов. Под словом «правительство» мы подразумеваем здесь органы государственной власти и тех, на кого возложено их осуществление. Всем известно, что наши государственные институты, созданные на принципах революции, в большинстве своем возглавляются людьми революции. И выбраны они были не из числа тех, кто запятнал её дурными поступками или отравил разрушительными идеями, а из тех, кто исповедовал её исконные принципы и их разумные следствия. Известно, что армии республики сражались под знаменами, которые были благословлены одной лишь победой. Известно, что герои, ведшие их к славе, черпали свою отвагу не в сословной гордости, а в любви к отечеству и в воодушевлении равенством, этих великих и главных движущих силах революции. Безусловно, не забыто и то, что сама консульская власть и облечение этой властью Бонапарта, дважды подтвержденное народным волеизъявлением при двукратном обращении к суверенитету нации, являются прямыми следствиями принципов революции. Наконец, общеизвестно, что в то время, когда учреждались и распределялись государственные должности всех уровней, люди, претендующие сегодня на управление Францией,

[7] Вилларе, т. XII, с. 259.

находились в Англии, в Германии, в Вандее или же перебрались из политических клубов, где в 1793 году они щеголяли в красных колпаках, прямиком в трактиры и курильни.

На этом мы могли бы остановиться и сделать вывод: по признанию самой фракции - или, по крайней мере, её главного рупора - она враждебна правительству. Однако она не желает, чтобы это признание звучало столь явно. Возможно, видя в этом определенное неудобство и опасность, она преследует двойную цель: служить источником радости, надежды и точкой сбора для тайных врагов правительства, оставаясь при этом незамеченной для сторонников нынешнего порядка до наступления более благоприятного момента. Либо же ей просто не хватает способности проследить логику собственных принципов и осознать, что признание, которого она так избегает, уже фактически содержится в тех заявлениях, которые она сделала ранее.

Как бы то ни было, она прибегает к весьма странным уловкам, чтобы либо ввести в заблуждение сторонников правительства, либо обмануть саму себя. Первая из них состоит в том, чтобы притворяться, будто, нападая на революцию, она тем самым рассчитывает содействовать самому правительству. *«Разве вы не видите,* - заявляют её газеты, - *что величайшая слава правительства заключается в том, что оно* ***УНИЧТОЖИЛО ЭТУ РЕВОЛЮЦИЮ И ОПОРОЧИЛО ЕЁ ПРИНЦИПЫ****?»*. Что означают эти слова о том, что слава правительства, в уничтожении революции? Не значит ли это, что оно совершило контрреволюцию? Но выдвигать подобное утверждение - не значит ли прямо противоречить тому, что заявляло само правительство в момент своего основания? Не равносильно ли это обвинению в клятвопреступлении? Не означает ли это отречение от всего содеянного им: от его законов и институтов? Не есть ли это отрицание его прав, самого его существования?

Вот что прежде всего сказал нам глава государства 14 фримера VIII года в прокламации - искренней, краткой и энергичной, как и всё, что выходит из-под его пера: «Конституция основана на истинных принципах представительного правления, на священных правах собственности, равенства и свободы. Власти, которые она устанавливает, будут сильными и стабильными. Революция утвердилась на принципах, с которых она началась: она окончена. *Подпись: БОНАПАРТ*».

Когда глава нации столь торжественно заявляет, что Революция утвердилась на принципах, с которых она началась, и что она окончена, кто может позволить газетам твердить на всю Европу, будто слава правительства заключается в её уничтожении и попрании её принципов? Эти принципы, провозглашенные в воззвании от 14 фримера 8-го года, были вновь закреплены в конце 10-го года законом об учреждении Почётного легиона. Присяга, которую ежедневно приносят граждане, принятые в этот легион, представляет собой особое обязательство по их защите. Вот текст этой присяги (тот, кто записывает его здесь, владеет подлинником, продиктованным главой правительства и исправленным его собственной рукой, как и остальная часть закона):

«Клянусь своей честью посвятить себя служению Республике, сохранению целостности её территории, защите её правительства, её законов и утверждённой ими собственности, бороться всеми средствами, которые дозволяют правосудие, разум и законы, против любых начинаний, направленных на восстановление феодального строя и возрождение титулов и сословных отличий, являвшихся его атрибутами; и, наконец, всеми силами содействовать поддержанию свободы и равенства».

Неужели в тот самый момент, когда правительство приобщает цвет граждан к принципам революции посредством подобной клятвы и объединяет их в прочный союз, можно заявлять, будто слава правительства заключается в очернении революционных принципов? Не является ли верхом безумия или разнузданности попытка приписать дискредитацию новой системы создателю и основателю Почетного легиона, не предвидя, каких мстителей найдут в лице его членов равенство и свобода?

В сущности, неужели вы станете отрицать, что конституция заложила, а сенат-консульт от 16 термидора 10-го года укрепил подлинные основы представительного правления, утвердив собственность - любые её виды - в качестве фундамента законодательной власти? Неужели

вы станете отрицать, что она обеспечила свободу через этот представительный орган и упрочила её, придав больше достоинства и величия посту главы, который должен его возглавлять? Смеете ли вы отрицать, что она придала собственности больше прочности, не только вновь утвердив её неприкосновенность после тех посягательств, которым та подверглась в период кратковременных революционных потрясений, но и продолжая оберегать её от феодализма? Как недавно отметил государственный советник Порталис в своей речи о собственности, обращенной к Законодательному корпусу, феодализм был для неё формой угнетения. И, прежде всего, она обеспечила собственности защиту со стороны того самого Законодательного корпуса, основой которого она сама и является.

Неужели вы станете утверждать, будто она не сделала ничего, и правительство не сохранило ничего из её достижений в деле установления равенства? Ведь теперь всем гражданам открыт доступ ко всем государственным должностям, ко всем воинским званиям и ко всем почестям. Таким образом, сословная честь и честолюбие немногих сменились честью и стремлением к отличию каждого; великим людям стали отдавать предпочтение перед сыновьями великих людей, а самим героям - перед их потомками. Тем самым заслуженная слава была поставлена выше славы унаследованной.

Неужели вы полагаете, что правительство, восстановив религиозный культ и обеспечив священнослужителям то уважение, в котором им слишком долго отказывали, тем самым восстановило и духовенство в качестве политической корпорации, и что Конкордат вновь превратил его в первое из двух привилегированных сословий?

Неужели вы утверждаете, что создание Почетного легиона - это восстановление прежнего патрициата и возвращение привилегий старинным патрицианским семьям? Существуют ли сегодня классовые интересы, или же интерес общий? Частное дело привилегированных особ, или дело общественное - *Res publica*? У нас предводитель дворянства или глава государства? Феодальный монарх или верховный магистрат, назначенный нацией? Наконец, чтобы увенчать эту систему и гарантировать ее незыблемость, разве суверенная воля нации не пожелала, чтобы преемник главы государства и последующие за ним правители навсегда заменили собой третью династию, которая к тому времени существовала уже лишь номинально?

В конце концов, можно ли всерьез полагать, что правительство совершило контрреволюцию или могло желать ее совершения - в делах, в принципах или в людях - если нельзя даже заподозрить его в желании уничтожить самого себя? Разве оно не понимало бы, что разрушение всего, что его окружает и поддерживает, лишь изолирует его и укажет врагу, куда именно следует нанести удар? И могло ли оно сомневаться в опасностях такой системы частичного разрушения, наблюдая в течение двух лет, как в то самое время, когда в Париже попирали власть, в лондонских газетах неустанно указывали на его голову потенциальным убийцам?

Нет, всё существующее ныне не принадлежало к прежнему государственному устройству; ничто из того, что соответствует принципам революции, не было упразднено в установленной ею системе. И ничего подобного не может быть упразднено, ибо власть никогда не переходит из рук в руки путем революции без того, чтобы не изменилась и сама её природа. В разные эпохи нельзя управлять одними и теми же средствами. Титулы одного времени не тождественны титулам другого. Карл Великий допустил, чтобы папа возложил ему на голову не королевскую, а императорскую корону. Но когда он укрепил империю, то пожелал, чтобы его сын, Людовик Благочестивый, вместо того чтобы принимать корону от папы, сам взял её с алтаря.

Если бы Карл Великий жил во времена Хлодвига, он получил бы корону не в церкви, а на Майских полях; не у подножия алтаря, а будучи поднятым на щите. Если бы Карл Великий и Хлодвиг жили в наши дни, они пожелали бы получить верховную власть от суверенного народа, обрести её через общенациональное избрание, прежде чем освящать её религиозным помазанием. Народами можно управлять лишь сообразуясь с их убеждениями, потому что в конечном счете народы, когда они того желают, оказываются сильнее правительств. Впрочем, зачем мы говорим о народе! Во все времена существовали империи, государства и народы; сегодня же существуют Нации. Эта революция, долгое время подготавливаемая христианской

религией, которая первой проповедовала людям свободу и равенство, но осуществленная благодаря приумножению капиталов и разделению профессий - следствиям частной собственности, которая, в свою очередь, является плодом цивилизации, - такая революция относится к числу тех, что никогда не поворачивают вспять, так как их первооснова заложена в самой природе вещей.

Любой народ Европы, еще не ставший нацией, стремится ею стать. Мудрые правители предвосхищают этот порыв, чтобы умерить его и направить. Повсеместно принципы правления становятся мягче, положение народа улучшается, а его достоинство признается: сегодня право управлять людьми может основываться исключительно на правах самих граждан.

Как же тогда понимать то, что революция кажется вам уничтоженной? Эту иллюзию невозможно объяснить иначе, как ссылкой на несколько весьма поразительных строк из книги господина Феррана, апологетами которой вы выступали. *«Главная задача,* - говорит он, рассуждая о контрреволюции в Англии, - *заключалась прежде всего в том, чтобы вернуться к естественному порядку вещей, который в вопросах государственного управления заключается в единстве. Второй - в возвращении к законному правовому положению лиц. Монку это удалось, поскольку он, не проявляя поспешности, следовал естественным склонностям человеческого сердца; он позволил событиям идти своим чередом, и этого было достаточно»* (*Дух истории*, т. III, стр. 488). Именно вслед за этим отрывком господин Ферран призывает к появлению «второго Монка». Так он называет великого человека, который должен будет способствовать раскаянию народа, спешащего исправить ошибки одной роковой ночи. Когда журналисты, на которых мы нападаем, утверждают, что революция уничтожена - не происходит ли это оттого, что они, вообразив, будто естественный порядок вещей восстановлен, убеждают себя по примеру господина Феррана, что за этим неизбежно последует и восстановление законного правового положения лиц? Будто остается лишь без лишней спешки следовать за склонностями человеческого сердца и позволить всему идти своим чередом!

Если это странное утверждение о том, что революция уничтожена, не имеет именно такого смысла, то оно вообще лишено всякого значения; и тогда их повод для нападок на революцию исчезает. Как бы то ни было, этот предлог лишь подкрепляет наше обвинение, ведь это верный способ не только дать волю самым ярым демагогам, но и унизить, лишить мужества тех людей, которые, посвятив себя революции, и принося жертвы, которых она потребовала, верили, что принимают как минимум полезную реформу и принципы, дружественные человечеству. Это способ сделать презрение к ней модным и распространить это чувство на общий тон всего общества; ведь ничто во Франции не вызывает большего пренебрежения, чем вещь, объявленная устаревшей. Это способ либо настроить общественное мнение против должностных лиц, которые хотели бы и дальше сохранять верность её принципам, либо заставить их стыдиться этого и побудить к торжественному отречению от них. Одним словом, говорить, что контрреволюция уже свершилась, - это один из самых эффективных способов её осуществить.

8.
ГАЗЕТЫ, именующие себя мстителями и защитниками ВЛАСТИ.

Выдержка из Journal de Paris от 27 плювиоза XII года - 17 февраля 1804 года.

Ещё одна уловка газет этой фракции заключается в том, чтобы выдавать себя за друзей, мстителей, защитников и хранителей власти, а деятелей революции представлять сторонниками анархии. Прежде всего, кто вы такие, когда говорите «мы любим правительство»; кто мы - мы, кому вы говорите, что вы их враги? Говорите ли вы о себе как о журналистах, или же представляете свое сообщество как некую силу, выступающую от имени религии? Хотите ли вы сказать: «Мы, такие-то и такие-то журналисты, - друзья правительства»? Мы ответим: в этом и заключается вопрос, это еще нужно доказать, и именно это мы сейчас и увидим.

Или же вы хотите сказать: «Мы - рупоры религии и в этом качестве являемся сторонниками власти»? В таком случае наш ответ прост и ясен: вы вовсе не представители религии, вы - подстрекатели, разжигающие страсти, которые глубоко враждебны её принципам и более

всего препятствуют её возрождению. Вы выказываете презрение к Конкордату и его основам. Ваше ожесточенное преследование принципов и деятелей революции, те воспоминания, которые вы без конца воскрешаете и направляете против них, - это не только вопиющее и скандальное нарушение акта о восстановлении католического культа во Франции, но и препятствие для возвращения того духа мира, согласия и милосердия, что отличает христианскую религию. Это, более того, преграда для исполнения обязанностей, которые религия налагает, так как вы отвращаете людей от кафедры истины и от таинства покаяния. И множество граждан, которые боятся встретить там те самые страсти, пример которых вы подаете, не желают подставлять себя под удар, чтобы с ними обращались как с поверженными мятежниками и уличенными преступниками. Причем делают это люди, по отношению к которым они считали делом чести быть великодушными победителями, после того как сами на поле боя проявили себя преданными и мужественными гражданами.

Хотите ли вы, наконец, сказать проще: религия дружественна власти? Мы ответим: да, она дружественна власти, и в этом кроется одна из причин, почему философия дружественна религии и вернула её из изгнания. Да, религия - союзница власти, но ей не нужны вы, не перестающие трудиться над её очернением, чтобы получить от философии то признание, которое и так повсеместно ей высказывается. Так что не она ведет войну против философии! Это вы враждуете с религией, философией и всем, что есть доброго и полезного для общества; и именно между вами и ею надлежит рассудить. Кто те люди революции, которых вы упрекаете во враждебности к власти? Частные ли это лица, отдельные люди или целые сообщества? Назовите этих лиц, эти организации. Нападаете ли вы на них как на философов? Но ведь все люди, принимавшие участие в революции, не являются философами; и где же то сообщество философов, о котором вы говорите?

Или, наконец, вы объявляете врагом власти саму философию? В таком случае сначала скажите нам, что именно вы понимаете под «философией». Если спросить у газет этой клики, в чем заключается современная философия - философия нынешнего столетия, подготовившая революцию, - одна из них уверенно ответит: *«Я называю философией XVIII века всё ложное в морали, политике и законодательстве»*. Что это должно значить? Вы хотите сказать, что один только наш век породил всё ложное, что когда-либо утверждалось с момента сотворения мира и до настоящего времени, а прочие века рождали лишь одни истины? Подобное мнение было бы весьма странным. Или же вы полагаете, что наш век, приняв, провозгласив и освятив все заблуждения предшествующих эпох, взял их на свой счет и теперь несет за них ответственность? Это было бы не менее странно, ведь история человеческих убеждений демонстрирует нам гораздо больше ошибок, чем истин, которые в итоге были преданы презрению и забвению. К счастью, не существовало еще таких времен и таких стран, которые объединили бы в себе ошибки всех эпох и всех народов; и даже сама Франция, ставшая ныне самой виновной из стран, в этом самом предосудительном из всех веков, не удостоилась столь печальной привилегии. Если под вашим изящным определением философии восемнадцатого века вы подразумевали всё ложное, что было написано в трудах этого столетия о морали, политике, морали и законодательстве, то в таком случае вас можно прежде всего спросить: как же вы назовете ту часть этих сочинений, которая справедлива и истинна? И почему вы не закрепили название «философия» именно за этой частью? Почему вы даете почетное имя тому, что его не заслуживает, и отказываете в нем тому, что его достойно? Затем вас можно спросить, что именно ложного и ошибочного вы нашли в сочинениях этого века и с какими именно тезисами вы намерены бороться. Ведь провозглашая себя врагом двух абстракций, называемых «заблуждением» и «ложью», но не уточняя, о какой именно ошибке и какой неправде идет речь, вы лишь повторяете то, что делают все остальные. У вас нет оппонента, поскольку никто никогда не говорил: «Я хочу быть адвокатом заблуждения и лжи». И никто никогда не брался защищать какую-либо ошибку или ложь, не убедив себя - или, по крайней мере, не заявив, - что выступает в защиту истины.

Локк, Монтескье, Смит, Дидро, Руссо, Вольтер и Фридрих Великий опубликовали труды по философии. Неужели все эти столь разные, а порой и совершенно противоположные друг

другу сочинения целиком и полностью ошибочны? Если вы не осмеливаетесь ответить «да», то скажите прямо, что именно вы в них осуждаете; выделите тезисы, которые считаете ложными, обозначьте их, атакуйте их - тогда станет ясно, что именно вы хотите сказать, против кого и против чего вы ополчились. Возможно, во многом с вами согласятся, а возможно - вам докажут, что в этих вопросах вас уже опередили куда более сильные противники, чьи доводы вы, сами того не ведая, повторяете, причем, скорее всего, лишь ослабляя их аргументацию. Но когда, объявив войну философии и бросив вызов любым поборникам, готовым выступить в её защиту, вы заявляете: «Я называю философией всё ложное», - становится очевидно, что вы жалким образом уклоняетесь от сражения, на деле демонстрируя те же взгляды, что и ваши противники.

Если мы поищем в архивах этой фракции ответ на вопрос, что же такое современная философия, мы найдем книгу Ривароля, который ответит нам так: современная философия – это *«дерзкое невежество… Это дух независимости, соединенный с деспотизмом суждений. Это дух анализа, который повсюду применяет методы растворения и разложения… Который убивает и препарирует живых людей, чтобы лучше их познать… Это тот злонамеренный дух, который во всем видит лишь дурное и нимало не заботится о том, чтобы творить добро… Который ищет только власти вместо высшего блага… Который разрушает всё: политику, мораль, религию и, прежде всего, королей… И который, тем временем, сливаясь с модой, обольщает и собирает под свои знамена придворных и монархов… Который строит свои здания между могилами отцов и колыбелями детей, расточает любовь к будущему и неведомому, и обрекает на ненависть своих современников… Смеется над правами собственности… И в итоге не находит ничего, кроме лабиринта на дне бездны…»*.

Вот, по словам автора, лишь бледная копия того, что каждый видит в современной философии. Если это и копия чего-либо, то, несомненно, путаное изображение крайне странного нагромождения самых несовместимых предметов; никто, безусловно, не узнает в этом философской системы - это может быть лишь отражением сновидений самого автора. Тем не менее, это чистая правда (и мы сами признали это в ответе, который опубликовали в свое время против этого автора), это чистая правда, что дух анализа проник в современную философию и даже стал её отличительной чертой. Но кто когда-либо понимал под этим словом дух разрушения? *«Анализ,* - утверждает автор, - *действует вопреки природе: он всегда разлагает, тогда как природа всегда созидает»*. Замечательное наблюдение! Деятельность природы состоит как в разложении, так и в созидании, поскольку одна часть мира гибнет, в то время как другая растёт. К тому же анализ заключается не только в разложении на части; он также состоит и в воссоединении, ведь никакой анализ не может считаться полным без последующего синтеза, который проверяет его результаты и позволяет познать связи и пропорции разделенных частей. Более того, единственной целью разложения или анализа является созидание. Анализ разделяет целое лишь для того, чтобы постичь секрет верного устройства вещей. Часовщик берет на себя труд разобрать часы только для того, чтобы их починить или научиться делать их еще лучше; химик анализирует природные вещества лишь для того, чтобы научиться создавать лекарства, пищу или полезные и приятные искусственные материалы, либо для того, чтобы не дать природным веществам при их неправильном использовании навредить нам или погубить нас. Анатом не вскрывает тела, и проводит анализ лишь для того, чтобы постичь искусство исцеления и сохранения жизни. Что же касается политика, моралиста или логика - что именно они подвергают разбору? Неужели, как утверждает Ривароль, они расчленяют сами вещи, общество или живого человека? Они разбирают идеи и слова - вот и всё. И с какой целью? Чтобы формулировать суждения, которые им понятны, произносить речи, смысл которых они осознают, и составлять планы, в которых могут дать себе отчет, а затем делать или говорить то, что несет благо. Ведь для того, чтобы поступать правильно и говорить верные вещи, кажется, необходимо сначала понимать, что именно ты хочешь сделать и что именно ты хочешь сказать. Я мог бы спросить автора: откуда он знает, что анализ разлагает на части, если не из самого анализа? И что природа созидает - если не благодаря анализу? И как он мо-

жет сообщать нам об этом, если не посредством анализа? И почему он не заметил, что у анализа нет иной цели, кроме созидания, и что природа не перестает разрушать - уж не по причине ли недостатка анализа?

Как же легко бросать наугад в адрес людей или их трудов туманные обвинения и напыщенные фразы, которые не опираются ни на какие принципы, не ведут ни к какому результату и служат лишь для разжигания пагубных страстей! Но открыто подойти к нерешенному или плохо разобранному вопросу, четко его сформулировать, беспристрастно и точно изучить доводы противоположных мнений, уловить ошибку, разложить ее на составляющие и сделать очевидной для каждого; извлечь истину из дискуссии и представить ее оппонентам - яркую и неоспоримую: вот что под силу лишь таланту и глубоким знаниям. Авторы партийных газет являют нам совершенно иное зрелище. Как мы уже говорили, они не только не способны тягаться с писателями, которых поносят, но даже не в состоянии их понять - и, вероятно, им никогда и в голову не приходило их прочесть. Недостойные звания литераторов, они сделались партийными писаками; будучи не в силах служить разуму, они превратились в подлых льстецов, потакающих самым низменным страстям.

Глядя на путаные, противоречивые и нелепые представления о философии - этом смертельном враге власти, - которые сложились у ее хулителей, понимаешь, с какой самоуверенностью они выдвигают свои обвинения! Если обратиться к истории века, можно составить на этот счет гораздо более верное мнение, чем в ходе дискуссии, меньшим из недостатков которой была бы ее бесконечность. История учит, что те, кого называли философами, скорее заслужили упрека в том, что они были сторонниками деспотизма, нежели в том, что они спровоцировали анархию. Если они и заблуждались в политике, то их ошибка была прямо противоположна той, которую им вменяют в вину. Вольтер в споре монархии с магистратурой - единственным посредническим институтом, существовавшим тогда во Франции, - встал на сторону господина де Мопу против судов. Экономисты были создателями системы «законного деспотизма», о которой один из правительственных ораторов на нынешней сессии Законодательного корпуса отозвался как о посягательстве на свободу. В эпоху революции самые выдающиеся деятели литературы и философии, в частности Мармонтель, выступили в поддержку королевской власти, даже наперекор Генеральным штатам. Господин де Лагарп был единственным заметным человеком из этой среды, кто примкнул к якобинству; по правде говоря, он стал одним из первых его сторонников, а затем - одним из самых яростных. Однако господин де Лагарп своей искренней верой в течение последних шести лет жизни убедительно доказал: хотя он и выставлял свою приверженность философии напоказ в течение сорока лет, он ни в малейшей степени не был ею развращен.

Несомненно, во всех странах мира найдутся люди, чей ум обращен к государственным делам, которые, в сущности, преследуют лишь частные интересы. Одни занимаются ими по склонности, видя в этом благородное и увлекательное поприще; другие ради славы и веса в обществе; третьи используют это как средство для достойного продвижения по службе; четвертые - как способ заработать деньги; иные же - в силу привычки или партийного духа. И последних становится больше всего после революции, которая внушила толпе самонадеянную мысль о праве вмешиваться в управление государственными делами.

Когда народы просвещены, такие люди появляются в избытке и усваивают тон и язык, подобающий времени: тон и язык разума, человеколюбия и патриотизма - одним словом, язык философии. Его принимают все: от бескорыстного гения, открывшего на столетие вперед пути к процветанию и не требующего за это никакой благодарности от современников, до самого мелкого финансового реформатора, который выпрашивает место в таможне, или долю в доходах откупного ведомства.

Какой из этого следует вывод? Что философия считает себя вправе, и уже взяла на себя смелость, реформировать государства, тревожить правительства? Подобный вывод был бы совершенно неразумным. Пусть мечтатель, честолюбец, интриган или смутьян сколько угодно прикрываются философскими фразами - философия не имеет никакого отношения к их грандиозным проектам преобразований. Ничто не может помешать философии, как и религии,

служить плащом для лицемера и шарлатана. Ничто не может помешать убийце времен Варфоломеевской ночи заявить: «Я убиваю во имя религии», точно так же, как и убийце времен Террора: «Я убиваю во имя разума». Разве станут разум и религия от этого менее почтенными? Разве перестанут они быть двумя великими авторитетами, ведущими к одной и той же цели одними и теми же путями: одна черпает свою силу в священном источнике, воздействуя одновременно на воображение и сердце, другой же ищет свое оружие в здраво понятом интересе и взывает к размышлению?

Способ пресекать любые посягательства, идущие во вред общественному благу и способные рядиться в религиозные или философские одежды, крайне прост: нужно искать смутьяна, интригана и нарушителя порядка под плащом христианина или философа. Судить всегда следует преступника, а не плащ, которым он прикрылся; ведь единственная причина, по которой он надел этот плащ, заключается в том, что под ним обычно скрываются порядочные люди, чьим существованием не стоит рисковать ради того, чтобы избавиться от опасных личностей.

Очистив дискуссию от всей той галиматьи, которую нагромоздили вокруг философии, вернемся к самой сути вопроса. Она носит чисто фактический характер: нужно выяснить, являются ли журналисты, порочащие революцию, сторонниками нынешнего правительства, и стали ли его врагами честные люди, поддержавшие революцию.

Во времена Карла Великого существовали великие приверженцы власти… Хильперика.

Во времена Гуго Капета находились великие приверженцы власти… Каролингов.

И все эти «друзья» называли власть Гуго или Карла узурпацией. Господин Ферран, кумир наших журналистов (подобно тому как Монк является кумиром для самого господина Феррана), несомненно, принадлежал бы к числу таких «друзей». В его глазах Пипин и Карл Великий - всего лишь узурпаторы, и он не скупится на этот титул в их адрес. Не относятся ли и наши журналисты к числу подобных сторонников, так же как и армия Конде, состоявшая из ярых приверженцев власти Людовика XVI?

С другой стороны, мы признаем это без малейших колебаний: среди соратников Карла Великого и Гуго Капета были отважные люди, которым наскучило безвестно служить «ленивым королям». Они были врагами той власти, которая, удерживая граждан в унижении, в конце концов деградировала и сама. Среди магистратов и членов советов находились люди, которые, видя власть тираническую, грабительскую, а порой и кровожадную, желали, чтобы сама ее природа изменилась, и именно поэтому хотели, чтобы она перешла в другие руки - ведь это последнее условие было необходимо для осуществления первого. Разве эти люди не очень похожи на наших философов?

Но оставим метафоры и объяснимся без обиняков. О какой власти идет речь? Кто вы такие? Какая власть вам дорога? Кто такие философы? С какой властью связана судьба тех, кого вы так называете - то есть честных и разумных людей революции? И прежде всего: о какой власти идет речь? Вы ответите: о власти законной. Но что же такое законная власть? Эта власть - существующая ли это власть? Власть ли это упраздненная? Та ли это власть, что создана французским народом? Или же это власть, передававшаяся некогда по наследству, подобно феодальной собственности?

Судя по вашим поступкам, вы преданы власти старого порядка, поскольку являетесь - и сами хвалитесь этим - неизменными и безупречными врагами революции; поскольку вам не в чем себя упрекнуть: вы не принесли ей ни единой жертвы, не оказали ни тени почтения и можете бросить вызов любому, кто попытается указать хоть на одно ваше действие, совершенное ради ее чести.

Судя по вашим убеждениям, вы поглощены лишь упраздненной властью, так как верите и смеете утверждать, будто революция уничтожена, а власть, которую мы считали упраздненной, ныне восстановлена и пребывает в полной силе.

Наконец, судя по тому, с каким пристрастием вы неустанно выставляете перед нашими глазами картину правления Людовика XIV; как вы прожужжали нам уши великими свершениями, великими именами, великими личностями и «великим веком», которому он дал свое

имя; как вы представляете людей из его окружения образцами всех возможных талантов, знаний и добродетелей; образцами для всех должностей, всех судейских постов и всех званий; когда вы стремитесь представить нам обычаи его двора и даже моды, в которых он был законодателем, как образцы великолепия, учтивости и вкуса, а в его подданных видите примеры покорности и повиновения - судя по этому избытку безмерных похвал, которые вы беспрестанно расточаете «Великому веку», можно подумать, что ваше тайное намерение состоит скорее в том, чтобы заставить нас стыдиться настоящего, нежели просветить нас о прошлом, и скорее отомстить за власть Людовика XIV, чем служить власти существующей. Впрочем, в этом вопросе мы не хотим делать слишком общих выводов. Многие из тех, кто превозносит «Великий век», - это люди неопытные, увлеченные своим воображением, которое чувствительно к поэтическим красотам той эпохи. Они убеждают себя, что, заставляя уважать власть через величие Людовика XIV и славу его правления, они тем самым заставляют уважать и верховного правителя, который стоит во главе нашего государства. Они полагают, что возвращение былого престижа субординации и принципам семнадцатого века - это способ укрепить власть, которой надлежит управлять веком девятнадцатым.

Такое мнение могло бы быть справедливым лет через пятьдесят, когда поколение, удерживающее в памяти прежнюю монархию, и которые жили по старым обычаям монархического строя, полностью вымрет; когда имена героев революции будут обречены на бессмертие, а их титулы больше не смогут ни оспариваться завистью, ни принижаться дерзким тщеславием; одним словом, когда достижения революции станут окончательно незыблемыми. Но сейчас, сразу после этой революции, которая еще почти стоит перед глазами, когда вся старая знать Франции и Бурбоны находятся здесь, с сердцами, полными горьких сожалений, и головами, разгоряченными своими притязаниями, - подобное мнение абсурдно. В таком положении дел невозможно призывать к прежней покорности, не взывая при этом к прежнему господству, и нельзя вновь выводить на сцену старых господ, не возрождая привычки бывших подданных. Скажем больше: невозможно вернуть одни привычки, не вернув все остальные, так как они тесно связаны между собой, и сама эта связь, эта взаимная зависимость, сама по себе является привычкой.

Нужно открыть глаза на правду: начать путь Людовика XIV заново мог бы только один из его потомков;[8] его двор и его век не могли бы быть воссозданы лишь его знатью и его духовенством. Кажущееся или подлинное величие этого человека, как и величие самого века, стали результатом сочетания обстоятельств, людей и мнений, существовавших в ту пору. Когда вы вызываете тень Людовика XIV, разве вы не видите, кого она защищает? Когда вы вызываете тень великого Конде, разве вы не видите, кого она возвращает в этот дворец, где сегодня представители народа вершат наши судьбы? Когда вы вызываете тень Боссюэ, разве вы не видите, как она ищет те скамьи, на которых французское духовенство уравновешивало права государя и оберегало себя от повинностей, ложившихся на народ? В самом деле, к чему нам теперь авторитет эпохи Людовика XIV? Повторим еще раз: духовенство больше не является государством в государстве или империей в империи; теперь это простое религиозное сообщество. Она [знать] более не представляет собой отдельное сословие внутри страны и не является группой привилегированных лиц, окружающих власть - та знать, которой приходилось доказывать Бурбонам ценность как своих услуг, так и услуг своих отцов, оказанных предкам правящего монарха. Почётный легион не является продолжением старого дворянства.[9] Верховный консулат - или, если угодно, республиканская монархия - не является преемником феодальной королевской власти. Верховный консулат, будучи творением всех французов и защитником каждого из них, не имеет ничего общего с монархией, оберегавшей наследственные привилегии. Он управляет гражданами, в то время как она правила вассалами и подданными. Власть, дарованная по воле народа через выборы, ни в коей мере не является продолжением власти,

[8] «Народ называл королеву не иначе как "большая Гор" (la grande Gaure), позорное прозвище, приличия не позволяют привести его толкование» (Вилларе, т. XII, с. 427).

[9] Жювеналь дез Урсен.

удерживаемой по праву феодального наследования. Прерогатива назначать преемника, который, в свою очередь, назначает собственного, - этот вид несовершенной наследственности, которая была учреждена для того, чтобы навсегда оградить Францию от возвращения Бурбонов и послужить нам оплотом против опасностей контрреволюции, вовсе не является продолжением прав Бурбонов.

Революция превратила Францию в нацию; события 18 брюмера превратили её в *Великую нацию*. Великая нация - это совсем не то же самое, что народ семнадцатого столетия. Девятнадцатый век не ограничивается лишь наследием семнадцатого. Он несет в себе нечто гораздо большее, исходящее от него самого. Но к чему мы говорим о девятнадцатом веке? Нет никакого девятнадцатого века! Век Людовика XIV - это финал эпохи Карла Великого; век же, в котором мы живем - первый в эпохе Бонапарта. Нация, провозгласив его своим пожизненным главой и заранее доверив свои судьбы преемнику, которого он выберет, отдала в его власть этот век и череду грядущих столетий, чтобы он наполнил их своим именем, своими делами и своим мощным влиянием. Он не призван завершать судьбу Людовика XIV, он должен начать свою собственную. Нет, наступающий век не будет воздвигать новых памятников во славу того монарха; он принесет дань восхищения и признательности лишь тому, от кого он должен получить счастье и величие. Так почему же в самом далеком будущем мы видим лишь тени прошлого? Разве вы не видите в этом ничего еще более великого и важного? Разве события, свидетелями которых вы стали, не предвещают того, чего следует ожидать в будущем? И неужели вы не можете заранее обратить свой взор к тем временам, которые будут приковывать взгляды потомков?

Ах! Если бы ваши мысли были подобны мыслям многих достойных граждан, то вместо того чтобы с таким необычайным рвением задаваться вопросом о том, кто вернет нам Людовика XIV, вы бы спрашивали, кто продолжит дело Бонапарта, кто станет хранителем его трудов, какой человек или какая преемственность людей, одушевленных его духом, лично заинтересованных в славе его имени и обязанных, как и он сам, поддерживать преданных ему патриотов, обеспечат грядущим поколениям, донесут до потомства и обессмертят благодеяния его правления. Вместо того чтобы подавлять и душить настоящее грузом прошлого, вы бы задумались о том, как обеспечить ему долгое будущее; вы бы призывали к установлению законного порядка для людей, принятых революцией, взамен тех, кого она отвергла; и в порыве усердия - быть может, нескромного, но чистого и искреннего - вы бы обратились к принципам наследственности не для того, чтобы противопоставить их нынешнему правительству, как это сделал господин Ферран, но, напротив, чтобы противопоставить их старым притязаниям; не для того, чтобы вооружить ими убийц, которых Лондон и Варшава изрыгают в Париж, а чтобы защитить главу государства и, насколько это возможно, предотвратить новые покушения, сделав их бесполезными. Однако мы отклонились от нашей цели: мы увидели, в чем заключается партийное рвение в борьбе за власть. Посмотрим же теперь, что собой представляет мнимая враждебность философов.

Доказав, что революция продолжает существовать, что её принципы утвердились и почитаются, и что те, кого вы называете философами, - это люди, преданные этим принципам, мы в достаточной мере доказали, что эти философы любят нынешнее правительство и власть, учрежденную революцией. Они любят её как своё собственное творение. Если они и не наделили её полномочиями в одиночку, то лишь потому, что они не составляют собой всю нацию. Но именно они научили народ и дали нации принцип суверенитета, из которого и возникла представляющая её власть; именно они инициировали применение этого принципа ради этой великой миссии. Они любят правительство и служат отечеству из личного интереса, поскольку обязаны ему своей безопасностью, поскольку черпают в нем общественное признание и благополучие, и поскольку обязаны ему честью; они любят его, поскольку само правительство сочло, что пользуется их любовью… Но кому они дают эти заверения? Неужели тем людям, которые, представив выдающиеся доказательства своего усердия и любви к власти, получили право судить об искренности других?

В номере от 28 плювиоза редактор газеты «Journal des Débats» отвечает на статью, опубликованную в «Journal de Paris» 27-го числа. Он заявляет, что когда он писал: «Слава правительства заключается в уничтожении революции и в посрамлении её принципов», он на самом деле хотел сказать следующее: «Слава правительства состоит в том, чтобы уничтожить всё, что противоречило революции, и посрамить принципы, которые ей противостояли». Он уверяет, что когда он сказал: «В интересах правительства, чтобы ненависть к революции и её принципам была запечатлена во всех сердцах», он подразумевал: «Ненависть ко всему, что исказило суть революции, и к препятствиям, мешавшим осуществлению её начал».

Эти толкования были восприняты скорее как обещание исправиться в будущем, нежели как оправдание за прошлое; и на этом основании они были приняты без возражений. Однако оставалось оградить правительство от того оскорбления, которое нанесла ему газета *Journal des Débats*, беспрестанно смешивая хвалу главе государства с нападками на граждан, и избавить некоторых легковерных людей от мысли, будто правительство одобряло тон и язык редакторов. Именно с этой целью газета *Journal de Paris* опубликовала статью, которую вы прочтете ниже.

9.

О похвалах главе государства, расточаемых газетами, которые чернят граждан.

Выдержка из Journal de Paris от 4 вантоза XII года. - 24 февраля 1804 г.

Третья уловка этой фракции, призванная доказать, что она не желает гибели правительства, состоит в том, чтобы часто выражать почтение главе государства. Но за что они хвалят главу государства? Каким образом и в каком тоне они это делают? Они хвалят его за всё, что кажется им движением к прежней системе правления, к тем нравам и обычаям, которые царили во Франции пятнадцать лет назад, а также за всё, что представляется им устранением препятствий, способных помешать этому возврату. Они хвалят его, постоянно искажая суть вещей, которыми восхищаются, видя в них лишь то, что сами хотят найти, и видят в нем лишь то, что хотят видеть. Они выискивают в вещах, которые должны быть приятны каждому, зачатки грядущих перемен, ненавистных большинству. Они восхваляют его, одновременно нападая на всю систему идей, взглядов и нравов, на которых зиждется судьба республики. Они принижают как самих деятелей, так и достижения революции; они закрывают путь в литературу любым талантам, огорчают и оскорбляют тех, кто посвятил себя науке. Они косвенно, но весьма ощутимо наносят обиду нашим воинам и судьям, осыпая оскорблениями тот век, который наделил одних духом равенства - источником силы и славы наших армий, а другим дал просвещение, которое сегодня служит восстановлению нашего благополучия и столь мощно поддерживает славного восстановителя Франции! Одним словом, они хвалят его как мудрое и великодушное «междуцарствие»; они хвалят его так же, как это делал господин Ферран, и так, как хвалил бы его сам Людовик XVIII, если бы издавал в Париже газету.

Оскорбительнее всего то, что они изъясняются как люди, посвященные в государственные тайны и пользующиеся одобрением власти: они подобны тем жрецам, которые толковали оракулы. В каждую свою похвалу они вкладывают скрытый подтекст. Коварные инсинуации неизменно либо предшествуют их изъявлениям почтения, либо следуют за ними.

Порой, слушая их, кажется, будто правительство действует лишь в угоду их страстям и каждый его шаг приносит им победу или обещает триумф. Поэтому они часто хвалят власть так, словно вознаграждают её за потакание их злобе и указывают, что ей надлежит делать далее. В своих похвалах они больше руководствуются надеждами на будущее, чем благодарностью за уже полученное, прекрасно понимая: то, на что они надеются, для добропорядочных граждан является лишь угрозой всего того, чего те боятся. Связывая - в некоем принужденном и почти святотатственном союзе - похвалу главе республики с оскорблениями в адрес граждан, они создают видимость, будто нашли в помыслах того, кого превозносят, осуждение тех, о ком они говорят; и гражданин страдает, не осмеливаясь жаловаться. Наконец, само упорство

и ярость их нападок, столь странно контрастирующие с умеренностью правительства, помогают им - именно благодаря этому противоречию - внушать веру в то, что их речи санкционированы властью.

Шесть недель назад множество достойных граждан пребывали в тревоге и тайно делились друг с другом своими опасениями и глубокой тревогой. Позор! Статья в самой гнусной из газет посеяла в их душах смятение, смешав угрозы в адрес граждан с похвалами ПЕРВОМУ КОНСУЛУ. Это был отчет о театральной постановке «Британника». Процитировав эти стихи:

Какое счастье - думать и говорить про себя:

«В этот миг повсюду меня благословляют, меня любят»,

автор добавляет: *«То, как публика соотнесла эти слова с главой Французской республики, является достойнейшей наградой за всё, что он сделал для нас в течение четырех лет, и самым мощным СТИМУЛОМ к НОВЫМ БЛАГОДЕЯНИЯМ, которые он нам готовит и час которых приближается. Мы ждем их с нетерпением, но без тревоги. Рука, которая должна их совершить, БЬЕТ БЕЗ ПРОМАХА»*.

Люди задавались вопросом: о чем же идет речь? Что это за событие, которое должно стать благодеянием для авторов «Газеты дебатов» и которое должно исходить от руки, «уверенной в своих ударах»? То есть от руки, которая должна нанести удар с одной стороны, одновременно осыпая благами с другой? Какие удары будут нанесены? Какое событие, столь радостное для тех, кто презирает республику должен нанести удар по её друзьям? Может ли событие, ожидание которого так глубоко радует врага всех граждан, быть чем-то иным, кроме как несчастьем для самих граждан? Просвещенные умы вскоре успокоились, увидев в этих словах наглое повторение дерзких речей господина Феррана (из его книги, столь дорогой сердцу этой фракции), в которой он описывает смертного, которому выпала удача стать «вторым Монком», оставив лишь за собой право знать тайну и выбрать момент, чтобы заложить «замковый камень» и тем самым увенчать свое предприятие. В итоге и пророчество газеты, и сами её авторы были преданы одинаковому презрению.

Но если оставить в стороне смысл их фразы, по какому праву эти люди без чести и совести возвещают французской нации о планах и намерениях правительства? По какому праву они угрожают одним и тешат надежды других? По какому праву они выдают себя за доверенных лиц, посвященных в его мысли, и делают себя проводниками страхов и надежд? Какому высокопоставленному государственному сановнику было бы позволено так будоражить общественное мнение, волновать умы, вселять тревогу и печаль в души? Как до сих пор не поднялось ни одного голоса против этих наглых шарлатанов, которые так долго компрометировали правительство и ввергали часть Франции в постыдное заблуждение! Почему мы оказались первыми на этой арене, куда общественный интерес призывал столь многих других еще до нас? Не потому ли, что борьба с этой ничтожной фракцией не была сопряжена с личным риском, а приносить пользу обществу мало кто хочет, если при этом нельзя претендовать на лавры храбреца?

Нужно ли об этом говорить? Похвалы этих людей губительны для правительства, против которого они обращают всё то влияние и авторитет, которыми обладают в глазах общества любые слова и мнения, приписываемые ПЕРВОМУ КОНСУЛУ. Они губительны и для самого ПЕРВОГО КОНСУЛА, поскольку, предвещая и подготавливая возвращение к старому порядку, они заставляют желать ускорения хода событий и скорого конца этого переходного периода, который, каким бы мягким он ни был, всегда несет в себе мучительную неопределенность. Они губительны для первого консула еще и тем, что, принижая и обесценивая всё его окружение, они указывают врагам государства - о чем мы уже не раз говорили - на ту самую точку, удара по которой достаточно, чтобы разрушить всё; они вредны даже тогда, когда, смешиваясь со смиренными покаяниями, принимают вид мольбы о покровительстве перед лицом общественного негодования. Ведь когда дерзкие рабы, спасаясь от карающего бича, припадают к статуям богов, истинные почитатели вовсе не проникаются от этого большим почтением и любовью, толпясь у подножия кумира.

Какими прекрасными чертами и благотворными плодами отличается похвала, рожденная искренней, просвещенной и добродетельной привязанностью, от тех славословий, что продиктованы пагубными страстями! Последние никогда не льстят власти, не угрожая при этом слабости; они выставляют добродетели главы государства лишь как инструмент для достижения собственных целей, поздравляют одну партию лишь для того, чтобы заставить трепетать другую, говорят о его доброте лишь как о милости, предназначенной для узкого круга избранных, и видят в его правосудии лишь суровость, внушающую ужас большинству. Насколько же отличаются похвалы человека просвещенного, честного и преданного! Их цель - не столько угодить, сколько сослужить службу; они стремятся не столько удовлетворить того, к кому обращены, сколько сделать его еще дороже тем, кто его любит, представить его еще более великим в глазах тех, кто им восхищается, расположить к нему неблагодарных, которые его недооценивают, победить предубеждения его врагов, внушить больше почтения его недоброжелателям и показать его еще более достойным глубокого уважения всех; они стремятся приумножить его силы, позволяя ему в полной мере пользоваться своим правом на любовь народа - единственную прочную основу власти, - и расширять эти права через обладание той мощью, которую он черпает в любви народа. Такая похвала, в которую не может проникнуть лесть, и эти восхваления, не допускающие ничего, что могло бы оскорбить граждан, не могут содержать в себе и ничего развращающего власть. Их предметом всегда остаются деяния, благословляемые всеми, стремления, в которых заинтересован каждый, и качества, любимые каждым. В периоды, следующие сразу за общественными раздорами, искренне преданный человек превозносит не то, что глава государства делает в интересах одной партии, а то, что он совершает ради объединения всех; он славит его умеренность, беспристрастность и благоразумие. Его похвалы - это лишь дань уважения добродетелям и поступкам, приносящим всеобщее счастье, а также напоминания, обращенные к общественной признательности, которая составляет счастье добродетельных правителей. Не ограничиваясь лишь тем, чтобы избегать всего, что могло бы напугать или оттолкнуть чьи-либо умы, преданный человек стремится ко всему, что способно расположить каждого заметить и глубоко прочувствовать его слова. Он создает труд, в который намерен вложить эти похвалы, с еще бóльшим достоинством, мягкостью, убедительностью и проникновенностью, чем он, возможно, проявил бы, не имей он подобного повода. Он желает доверить этот плод своих трудов лишь благосклонным и полным почтения взорам. Он сам проявляет уважение, чтобы внушить его окружающим; он полон сердечности, чтобы расположить к ней других. Видно, как он заботится о том, чтобы нравиться самому - лишь для того, чтобы ничто не лишало читателя удовольствия созерцать своего героя. Заметно, как он дорожит общественным признанием, стремясь не умалить те почести, которыми хочет окружить героя. Ему необходимо самому чувствовать себя достойным одобрения, чтобы не казаться себе недостойным возносить хвалу.

Насколько гражданам приятно соединять свои голоса с этим дружеским голосом, прославляющим главу государства, и сливать воедино свои похвалы с теми, что воздаются его добродетелям и деяниям, настолько же сильно они негодуют из-за тех славословий, что несут в себе угрозу и оскорбление. Подобные речи не менее унизительны для того, кто является их предметом, чем для тех, кто их читает.

Всё, что враждебно **ПЕРВОМУ КОНСУЛУ**, враждебно и отечеству. Именно по этой причине похвалы со стороны политической клики стали для меня одним из поводов для выступления против них. Безусловно, это следовало сделать незамедлительно еще шесть недель назад, когда я за это взялся; пришло время успокоить его друзей в их отечество в преддверии момента, когда главе государства предстояло вновь подвергнуть себя опасности ради республики; когда Лондон, Эдинбург и Варшава готовы были изрыгнуть в Париж наемных убийц. Именно тогда пришло время положить конец посеянным вами сомнениям и опровергнуть суждения, которым вы придали вес. Пришло время доказать, что революция вовсе не уничтожена; что то, что вы понимаете под «законным порядком вещей», отнюдь не восстановлено - вопреки вашим совместным с господином Ферраном утверждениям; и что, следовательно, «законный порядок в отношении лиц» вовсе не готов вернуться, как многие могли бы поверить, опираясь на

ваши и его слова. Пришло время нанести удар по мнениям, которые, призывая «второго Монка», должны были породить еще многих ему подобных.

Пришло время, и я воспользовался им из чувства чести, долга и - добавлю без тени смущения - из личного интереса, поскольку всё, чем я являюсь, всё, что мне принадлежит, всё, что я люблю и чту, неразрывно связано с революцией. Я ухватился за этот момент, предварительно, впрочем, удостоверившись, что само мое выступление против вас защитит само ваше существование от вашего же затянувшегося упорства в причинении вреда; после того как я обосновал, что опровергать и изобличать ваши речи и инсинуации полезно, и заверил главу государства, что ваше устранение было бы опасным; после того как письменно попросив директора полиции в самый день его назначения не вмешиваться в процесс, целью которого было просвещение публики, и не доводить меня до того, чтобы я краснел за свою преданность из-за суровых мер, которые могли бы показаться спровоцированными моими трудами… Я воспользовался этим моментом и уже пожинаю добрые плоды своего начинания: Революция отомщена за ваши оскорбления, а правительство - за вашу похвалу. Достойные граждане рукоплещут мне и вновь обрели мужество; патриотические слова зазвучали из многих уст, привыкших прежде лишь проклинать республику. Вы сами отреклись от своих речей; вы стали восхвалять людей, которых прежде оскорбляли тем сильнее, чем больше они заслуживали вашего почтения. Ваша критика стала пристойнее и осторожнее, а многие из вас и вовсе замолчали. Чего еще мог желать гражданин, стремившийся посрамить вашу наглость и заставить честных людей устыдиться своей доверчивости?

ПОСТСКРИПТУМ.

Редактор «Журнала дебатов» в номере от 4 вантоза яростно выступил против того сопоставления, которое мы провели между анонсом **Благодеяния**, которого он ожидал от **ПЕРВОГО КОНСУЛА** и час которого, как утверждала газета, уже близок, - и отрывком из книги господина Феррана, где этот писатель предвещает появление «второго Монка», приберегающего знание подходящего момента для того, чтобы водрузить «замковый камень». Никто не сомневался, - говорит редактор «Журнал дебатов», - что под благодеянием, о котором мы упоминали, подразумевалась экспедиция в Англию, приготовления к которой ведутся с величайшей быстротой. Прежде всего, военные экспедиции, победы и завоевания никогда не называли «благодеяниями», какими бы славными и полезными они ни были. Благодеяния - это акты милосердия; военные же экспедиции - это акты политики, военного гения и доблести. Было бы столь же нелепо сказать «Вильгельм Благодетель», как и «Станислав Завоеватель». Поэтому совершенно естественно, что читатели «Журнала дебатов» не связывали слово «благодеяние» с идеей завоевания. Вряд ли стоило ожидать подобной бессмыслицы в статье по литературной критике, автор которой, этот беспощадный наставник, каждое утро держит розгу занесенной над всеми литераторами.

Во-вторых, фактом остается то, что множество читателей с тревогой пытались разгадать смысл этой статьи, и они встревожились от мыслей, возникших в их умах, когда они увидели, какое удовольствие испытывал автор этой публикации - настолько он «внушает доверие» добропорядочным гражданам.

В-третьих, было вполне естественно, что люди, у которых слово «благодеяние» не вызывало ассоциаций с экспедицией в Англию, искали смысл этого слова среди идей, которые можно считать наиболее привычными и приятными для авторов газеты. Это те самые идеи, к которым вела их общая система: порочить принципы революции и восстанавливать *законный порядок в отношении лиц через законный порядок в отношении вещей*, как это задумал господин Ферран, столь обожаемый и восхваляемый в «Меркурии» и в «Журнале дебатов». Именно в идеях подобного рода и следовало искать объяснение слова «благодеяние»; ведь весьма разумно толковать неясные слова, опираясь на известные взгляды тех, кто их произносит, - точно так же, как мы судим о чувствах людей по их обычной манере выражаться и по всему их поведению в целом.

Да и какой бы ни была наша интерпретация - верной или ошибочной, - кто захочет слушать жалобы людей, чьи сочинения беспрестанно на протяжении двух лет не переставали

развращать общественное сознание, провоцировали пагубную реакцию побежденной стороны против стороны победившей, подрывали авторитет власти и унижали всех сторонников республики. Эти люди закрыли доступ к литературе - единственной области, где им удалось закрепиться, - для всех талантов, преданных делу революции; они присвоили себе право распоряжаться жизнью и смертью любого писателя, дерзнувшего преодолеть возведенные ими границы. В наш век они пожелали задушить таланты, унаследованные от века, в котором мы жили прежде; они вознамерились стать хозяевами этого зарождающегося столетия. Они хотели наложить на него своего рода запрет, держать его в состоянии некоего отлучения от прошлого и будущего до того момента, который они, без сомнения, соизволят назначить для его восстановления.

Национальный институт, наука и образование

Труды Национального института за IV год: литература и изящные искусства

Когда мы представляли отчет о томе, посвященном математическим и физическим наукам, нас спрашивали, почему в заглавии значится: «Мемуары *для* IV года». В самом деле, можно подумать, будто эти «Мемуары» создавались специально для четвертого года и до его наступления. Однако многие из них были написаны в течение этого самого года; другие - значительно раньше, но предназначались для этого времени не более, чем для любого другого. Наконец, многие из них адресованы потомкам, и лишь немногие действительно пришлись на IV год. Таким образом, предлог «для», в каком бы смысле его ни употребляли, кажется здесь неуместным. Безусловно, это не более чем придирки. Но кто же еще должен подавать пример точности языка, если не Институт? И как иначе публика сможет донести свои грамматические замечания Институту, если не через газеты?

Просматривая оглавление тома, посвященного литературе, мы встречаем «Послание против безбрачия» Дюси; оду Лебрена «К восторгу» и его же «Парнасское бдение»; «Суд над сенатом Капуи», «Больницу для сумасшедших» и «Мельника из Сан-Суси» Андриё; басни Монвеля и другие басни Лемонье. Безусловно, прекрасные стихи Дюси, великолепные строфы Лебрена и прелестные рассказы Андрие составляют самую приятную часть этого тома. Но как поэтические произведения оказались под заголовком «Мемуары»? Вот еще одна неточность. Либо заглавие неполное, либо стихи не должны были входить в сборник, носящий такое название.

Я склоняюсь к последнему мнению. Очень короткие стихотворения, некоторые из которых весьма шутливы, плохо смотрятся в издании формата ин-кварто между длинными и серьезными рассуждениями. К тому же хорошим стихам не нужно заимствовать авторитет Института, чтобы обрести известность. Научные общества решили печатать свои «Мемуары» прежде всего потому, что обычно эти труды составляют единое целое с наукой, к которой они относятся; а также потому, что они слишком коротки, чтобы издавать каждое из них отдельной книгой, и при этом слишком серьезны или слишком глубоки, чтобы привлечь значительное число читателей, они взаимно подпитывают интерес друг к другу и благодаря этому проникают в книжную торговлю и библиотеки.

Ни один из этих доводов не применим к поэзии: различные стихотворения вовсе не образуют единого целого с теорией поэтики; любое достойное произведение и так находит тысячи читателей. К тому же стихи не читают в библиотеках: томик Лебрена хочется держать на столе для минут воодушевления, а книжку Андриё - в кармане для тех случаев, когда хочется повеселиться. Академия наук и Академия надписей публиковали свои мемуары, но сочинения Делиля никогда не печатались по распоряжению Французской академии. Поэты сами даруют славу и получают её только от самих себя.

Мемуары, включенные в рассматриваемый том, почти все заслуживают внимания. Битобе представил в нем здравые размышления об изучении древних авторов, а также еще одну работу о диалоге Платона под названием «Евтифрон». **П. Ш. Левек** включил в сборник свои соображения о трех греческих трагиках, мемуар об Аристофане и еще один - о развитии живописи у греков. Там же содержатся новые исследования о кораблях древних и о том, как их можно было бы использовать в нашем флоте, за авторством Давида Леруа. Здесь также представлены и другие труды, исполненные полезной эрудиции: такие как «Мемуар об общественных работах римлян» Монже; исследования Амейона, посвященные краскам древних и связанным с ними искусствам. Наконец, в сборнике содержатся любопытные статьи, в том числе диссертация о подлинном портрете Александра Великого; заметки о магии авторства Ле

Блона; комментарий Швайгхойзера-младшего к одному из пассажей Симпликия. Пейре представил мемуар о завершении строительства Лувра и расширении Музеума, а Камю - свои наблюдения о распределении и классификации книг в библиотеке.

Раздел грамматических дискуссий является не менее значимой частью этого сборника. Он включает в себя замечания Девайи по нескольким статьям о грамматике из «Новой Энциклопедии», в частности, об эллипсисах, дополнениях, управлении, супине и причастии; наблюдения Лемонье, члена Института, о местоимении *soi* («себя»); а также доклад Сикара о «Гермесе» Харриса и о речи Тюро, переводчика Харриса.

Еще один значительный труд **Сикара** обогащает этот том. Это первая часть мемуара о необходимости *обучения глухонемых от рождения* и о первых способах общения с этими несчастными людьми. Обучение глухонемых от рождения представляет собой **важнейший научный опыт**, позволяющий точно определить, какая роль в способности человека к совершенствованию принадлежит именно речи. Если раньше речи вообще не придавали значения, то теперь некоторые склонные к крайностям метафизики возводят её в абсолют. Столь же значимым достижением является и успех примененного Сикаром метода анализа, позволяющего обучать через зрение тому, чему природа обычно учит через слух. Сикар демонстрирует одновременно и то, как идеи порождаются знаками, и то, как знаки рождаются из идей; он продвигает вперед и делает более достоверной историю человеческого духа, а также развивает искусство использования знаков, которое составляет основу аналитического метода.

Нам хотелось бы воздать должное и Урбену Домергу за его труд о грамматическом предложении - это единственное сочинение в данном томе, о котором нам еще осталось упомянуть. Однако мы вынуждены признать, что его теория показалась нам ошибочной, а терминология - варварской. **Кондильяк** разделял предложение на три части: подлежащее, сказуемое и глагол; он делил предложения на простые и сложные, различая последние по множеству подлежащих и сказуемых, по множеству связей глагола, через различные изменения имени, атрибута и глагола; затем он разделил эти изменения: одни из них являются существительными, другие - прилагательными, третьи - вводными фразами, подчиненными основному предложению или добавленными к нему. В этой системе всё было предельно просто и ясно; прочесть её значило понять её. Вместо этого Урбен Домерг уверяет нас, что любое выражение ощущения, как и любое высказывание суждения, есть предложение; что предложение состоит из *юдиканта*, *юдикатора* и *юдиката*. Между тем то, что он называет *юдикантом*, почти никогда не является чем-то определенным, а его *юдикат*, как и его *юдикатор*, ничего не судят; он выносит за пределы суждения дополнения к подлежащим и атрибутам и находит дополнения ближайшие, отдаленные, прямые, косвенные, полные и неполные (неполные дополнения!), дополнения незаконные и законные; и далее, он находит предложения неявные и явные: «о!» и «ах!» - это два неявных предложения, которые содержат в себе *юдикант*, *юдикатор* и *юдикат*; он находит предложения изначальные, предложения дополнительные ближайшие, дополнительные отдаленные и так далее. Вот что Домерг предлагает ввести взамен общепринятых выражений.

Как член Института, я счел своим долгом выступить против этих новшеств, которые нахожу вредными для народного просвещения. Я подверг их всесторонней критике в докладе, прочитанном в моем отделении. Как журналист, я также обязан поделиться своим мнением с публикой, ведь Домерг опубликовал свой труд под заглавием «Общая аналитическая грамматика», а иностранцы и жители провинций покупают книги, полагаясь именно на отзывы в газетах. Я не претендую на роль окончательного судьи системы Домерга; я лишь прошу, чтобы государственные школы не отказывались на основании его суждений от трудов Дюмарсе и Кондильяка. Более того, я не столько нападаю на своего коллегу, сколько защищаю его и моих учителей. Я искренне сожалею, что вместо того, чтобы изнурять себя поиском новшеств, он не посвятил себя преподаванию их работ. Если бы он ограничился этой полезной деятельностью, возможно, из его школы уже вышла бы сотня выдающихся грамматиков, и я сам с искренним воодушевлением стал бы его учеником.

Публичное заседание Национального института 15 мессидора 7-го года.

В начале заседания секретари классов представили отчет о работах, которыми они были заняты в течение предшествующего триместра. После этих докладов Ван Свинден, гражданин Батавской республики и один из иностранных ученых, собравшихся в Париже для определения основ новой метрической системы, зачитал отчет об этой работе, которая потребовала семи лет трудов и только что была окончательно завершена. Ван Свинден, напомнив о преимуществах единообразия мер и весов, представил обзор операций, которые потребовалось провести, чтобы извлечь из самой природы неизменный эталон фундаментальной единицы всех измерений. Известно, что основой всей метрической системы является четверть земного меридиана, заключенная между экватором и Северным полюсом; что десятимиллионная часть этой дуги была принята в качестве единицы измерения под названием «метр»; что квадрат десяти метров был взят за единицу измерения площади, а куб десятой части метра - за единицу измерения объема; известно, наконец, что в качестве единицы веса было выбрано количество дистиллированной воды, которое вмещает в себя этот самый куб. Таким образом, возникла необходимость в точном измерении меридиана, что и было поручено Мешену и Деламбру. Также потребовалось экспериментально определить единицу веса, и эта задача была возложена на Лефевра-Жино.

Ученые не ограничились лишь созданием фиксированных эталонов для различных видов мер. Они стремились к тому, чтобы в случае утраты, порчи или уничтожения этих эталонов ударом молнии, их можно было восстановить с помощью простейших операций. Этого удалось достичь благодаря опытам Борда, Мешена и Кассини с секундным маятником в Париже: было установлено, что длина этого маятника составляет 0,993977 часть метра.

Именно все те действия, которые были предприняты для подобного обоснования метрической системы, и изложил Ван Свинден в своем докладе. Он сделал это с подобающим достоинством, увлекательно и в то же время предельно точно, демонстрируя и возникшие трудности, и проницательность, позволившую их преодолеть. Он не упускал ничего, что могло бы внушить публике доверие к полученным результатам, а также вызвать восхищение и благодарность к участникам этого великого труда; он также отвел долю славы мастерам (Фортену и Ленуару), которые изготовили инструменты, необходимые для опытов, и эталоны новых мер.

Этот доклад завершился благородным и трогательным выражением уважения и привязанности, которые иностранные учёные, приглашённые в комиссию мер и весов, проявили к Институту и к Франции. В нём прозвучали добрые пожелания и настойчивые рекомендации французам как можно скорее принять единообразную систему мер и весов, а также слова искренней благодарности за дух тесного братства, который доказал иностранным коллегам: в самом сердце Французской республики все члены «республики учёных» могут чувствовать себя как дома.

Публика часто прерывала эту речь аплодисментами, а когда оратор сошёл с трибуны, его провожали новые рукоплескания и полные волнения взгляды, которые ещё долго оставались прикованы к нему.

Виллар зачитал исторический очерк о жизни и трудах архитектора Луи-Этьена Булле. Это произведение, прекрасно составленное, вызвало большой интерес. Семья Булле присутствовала в зале. Гюйтон прочитал доклад о сгорании алмаза; в этом труде изложены результаты новых экспериментов, проведённых с той проницательностью, которой славится этот учёный-химик. Камю прочитал заметку об открытии, касающемся истории книгопечатания - истории, которой он занимается с тем неутомимым рвением, какое вкладывает во все полезные труды, за которые берется. На этом заседании должны были прозвучать еще четыре произведения:

отрывок о Катоне Утическом авторства Мерсье; доклад о сукне, изготовленном из шерсти из Круасси, представленный Шанорье; проект новой гидрографической номенклатуры Флёрьё; и, наконец, ода Лебрена. Однако из всего этого публика услышала лишь фрагмент из фрагмента Мерсье; и вот почему.

Мерсье начал свое чтение так, что его слышали лишь немногие, и большая часть аудитории принялась болтать - как всегда и случается, когда оратор не может добиться того, чтобы его услышали, или не умеет заставить себя слушать. Внезапно Мерсье разгорячился и начал декламировать свою речь, словно самый неистовый проповедник. Его громкие выкрики в сочетании со словами, которые из-за плохой дикции были понятны лишь наполовину, вызвали в зале смешки. Вскоре эта странная декламация стала прерываться и запинаться из-за забытых или неразборчиво написанных слов, которые приходилось мямлить, из-за перепутанных листов, которые оказывались не в нужном порядке, и из-за того, что чтец постоянно прибегал к стакану воды, стоявшему перед ним. При каждой паузе раздаются аплодисменты, перемежающиеся ехидным смехом. Тем временем время идет. Мерсье находится на трибуне уже более получаса, хотя обещал занять не более десяти или двенадцати минут. Председатель дважды велит передать ему на ухо, чтобы тот сократил речь и закруглялся, поскольку он значительно превысил отведенное время. Мерсье не обращает на эти предупреждения никакого внимания. Публика утомлена; аплодисменты превращаются в откровенную насмешку, а смех - в издевательский хохот. Председатель считает своим долгом прекратить эту сцену, которая становится прискорбной для Института. Он призывает к тишине, чтобы выслушать оду Лебрена. Мерсье заявляет, что не сойдет с трибуны, пока не закончит читать о Катоне. Слышится ропот, смех... Председатель закрывает заседание.

Гражданин Мерсье, без сомнения, имеет все основания сетовать на публику; однако он проявит снисхождение, когда узнает, что его не понимали; что способ заставить себя слушать заключался не в патетичной декламации, а в четкой артикуляции; и что аудитория разделилась на две части: одна досадовала на то, что не может извлечь пользу из сказанного им в честь Катона, а другая - помня, что он пишет почти исключительно ради того, чтобы нападать на общепринятые мнения и принижать величайшие имена, что для него Цицерон - нелепый оратор, Расин - пресный поэт, Вольтер - ничтожный стихотворец, Локк - холодный грамматик, Кондильяк - жалкая марионетка; любой живописец для него - маляр, любой геометр - шарлатан и так далее. Слушатели не могли поверить, что он рассуждает о Катоне лишь для того, чтобы похвалить в нем те качества, которые и так всем в нем нравятся, чтобы сказать о нем то, что и так всем известно, и повторить то, что и так говорят все.

Авторам газеты «Journal de Paris» о профессорах нормальной школы

Граждане,

Мне кажется, что ни один из профессоров Нормальной школы не исполняет свои обязанности в соответствии с природой и целью этого заведения. В самом деле, все они преподают науку, а не способ её преподавания. Лагранж развивает теорию уравнений; Лагарп читает курс риторики; ***Гара излагает и приукрашивает идеи Бэкона, Локка, Кондильяка***. Однако цель Нормальной школы вовсе не в этом. Профессора этой Школы - это наставники, которые должны намечать методику обучения для образованных людей, готовящихся стать учителями. Разве тот, кто пришел изучать литературу, не мог бы сказать гражданину Лагарпу: «Я знаю риторику; научите меня, как я должен ей обучать!»? Тот, кто готовится преподавать метафизику, имеет право сказать гражданину Гара: ***«Я всю жизнь изучал Локка, Бэкона, Кондильяка и других; я пришел сюда только для того, чтобы узнать, с помощью какого метода я должен передавать свои знания другим; если бы я не был уже образован, мне не следовало бы быть учеником Нормальной школы!»***. Если профессора ответят: «Все ученики

должны знать, что анализ - это единственный верный метод обучения», я спрошу: к чему тогда школы, чтобы учить тому, что и так все знают? Если же они скажут, что являют образец своего метода в том, как они сами преподают, то это значит, что их ученики должны будут учить школьников так же, как они, профессора Нормальной школы, учат учителей? Я не стану говорить о некоторых новшествах, которые пытались внедрить в этой Школе, где должен господствовать самый чистый и здравый вкус к человеческим знаниям. Я выношу эти беглые размышления на суд просвещенной публики.

Ж.-Ж. ДЮССО.

Ответ (Рёдерера) авторов журнала на предыдущее письмо

Целью Нормальной школы, несомненно, должно быть преподавание лучшего метода обучения всем наукам. Этот метод, безусловно, заключается в анализе, а не в синтезе. Кондильяк доказывает это в своей логике. Но анализ применяет различные подходы в разных науках; он всегда разлагает целое на части и вновь соединяет их - в этом заключается его суть. Однако он начинает это разложение тем или иным способом, в зависимости от объектов, которые он стремится подчинить своему влиянию. В истории он разбирает материал по предметному признаку, а затем систематизирует и изучает его в хронологическом порядке. В политэкономии, как и в химии, анализу требуется только предметный порядок, и так далее. Порядок, в котором следует разделять и расставлять элементы, сам по себе вытекает из различий, обусловленных природой рассматриваемых предметов. Следовательно, единственной целью Нормальной школы должно быть обучение тому, как анализ успешно применяется к различным областям человеческого знания.

Но, прежде чем показывать, как действует анализ, нужно продемонстрировать, что он собой представляет. Необходимо познакомить с этим великим инструментом науки, прежде чем учить им пользоваться. Ведь только анализ рассудка может дать это знание, поскольку именно над рассудком должен работать анализ, и в нем же он в конечном итоге должен найти свои средства. Из этого следует, во-первых, что курс Гара должен был быть подготовительным для всех остальных; что все преподаватели должны были в некотором роде получить этот инструмент из его рук, прежде чем учиться применять его каждый в своей области; и, наконец, что Гара действует весьма последовательно, и в полном соответствии с принципами, вытекающими из его работы, начиная свои лекции с анализа рассудка. Мы представляем наши размышления на суд просвещенной публики, как и автор письма.

(Journ. de Paris, от 17 вантоза III года - 7 марта 1795 г.)

Политехническая школа

Политехническая школа с самого момента своего основания подвергалась различным нападкам. Сначала оспаривали её полезность. Имена прославленных профессоров, которым поручено обучение - Лагранж, Гюитон, Фуркруа, Прони и другие, - успехи их преподавания, множество обученных и преданных республике граждан, которых школа подготовила за четыре года для различных государственных служб, заставили стихнуть эти выкрики невежества. Но сегодня, когда полезность этого заведения признана, начал распространяться слух, что возможность поступить туда в качестве ученика - это привилегия, предназначенная лишь для богатых людей или обеспеченных парижан. Безусловно, равенство имело бы право на жалобу, будь этот слух обоснован, ибо это было бы великой привилегией - приобретать, исключая других, право быть крайне полезным своей стране. Но нет ничего более ложного. Учеников принимают по результатам публичных экзаменов, проводимых сторонними экзаменаторами

школы, выдающимися гражданами и именитыми учеными. И на этих экзаменах устанавливается лишь уровень подготовки кандидатов, без учета состояния их родителей. Такова воля закона, и такова воля разума. Если достаток не должен давать права служить обществу, он также не должен и лишать этого права; в то же время бедность без знаний и способностей не должна служить титулом для притязаний на это. Политехническая школа создана не для учеников; школа и ученики созданы для общественной пользы. К бедности относятся внимательно, когда речь идет о предоставлении незначительного места; но талант принимают во внимание, когда речь идет о поручении сложной службы. Таким образом, в Политехнической школе может оказаться очень большое число обеспеченных молодых людей, при этом без всяких привилегий для богатства, а исключительно потому, что за ними признали права трудолюбивого таланта.

На самом деле - и это является окончательным ответом - богатые ученики составляют ничтожное большинство в Политехнической школе: из двухсот семидесяти четырех учеников только сто шестьдесят абсолютно не имеют состояния, семьдесят пять считаются обеспеченными, и тридцать девять считаются богатыми. Следовательно, нет ни малейшего повода утверждать, что в Политехническую школу попадают только богачи.

Попутно я сделаю одно наблюдение, для которого эта таблица дает мне повод; оно не является прямым ответом на обвинения, с которыми я борюсь, но помогает показать несправедливость завистливого и придирчивого духа, который эти обвинения порождает. Следует рассматривать как прекрасное доказательство полезности центральных школ, и, в частности, службы, которую они несут на благо республиканского равенства - то множество молодых людей без состояния, которые поступили в Политехническую школу, несмотря на постоянно растущее число конкурентов. Раньше, чтобы изучать математику, требовалось богатство, так как этой науке обучали только за большие деньги частные учителя. Сегодня же таланта и трудолюбия достаточно, чтобы начать карьеру, и мы видим, что благодаря им успеха добивается больше учеников, чем благодаря помощи гувернеров, репетиторов и учителей, которыми окружены дети богачей.

(Journal de Paris от 6 фруктидора VII года. - 23 августа 1799 г.)

О начальном образовании

Меня преследует одно опасение, которое настолько занимает мои мысли, что иногда я говорю себе - хотя и не могу в этом полностью убедиться, - не является ли оно лишь болезненным состоянием моего ума. Дело в том, что этот прекрасный закон о начальном образовании, который нам предлагают принять, составлен скорее с намерением дать нам как можно больше школьных учителей, нежели с целью обучить как можно больше учеников. Я считаю общей истиной то, что прогресс просвещения по всему миру всегда происходил вслед за ростом богатства. История подтверждает это. Рассуждение и наблюдение очень точно объясняют исторический процесс: самое ценное, что богатство дает людям - это время. Оно удлиняет жизнь на всё то время, которое оно экономит на удовлетворении жизненных потребностей; оно расширяет возможности человека, освобождая его от необходимости тратить все силы на заботу о физическом существовании.

У богатого человека в десять, в сто раз больше времени для жизни, то есть для того, чтобы наслаждаться упражнением и развитием своих способностей, чем у бедняка, вынужденного работать ради пропитания. И вот человек, освобожденный от забот, которых требует его материальное благополучие, естественным образом тянется к наслаждениям духовным и интеллектуальным. Вот почему просвещение приходит к народам вслед за богатством.

Я пойду еще дальше и скажу: богатство не только способно принести с собой просвещение, но и само просвещение без богатства малополезно, а самое лучшее обучение плохо оправдывает возложенные на него надежды. Один из наших лучших преподавателей промышленных школ, господин Клеман Дезорм, недавно сказал мне: *«Я испытываю странное разочарование: я вижу, что мои лучшие ученики, самые умные, те, кто больше всех извлек пользы из моего преподавания, кто лучше всех повторяет мои демонстрации и наиболее способен передать их другим ученикам, совершенно забывают о них, как только возвращаются в мастерскую. Им и в голову не приходит применить на практике хотя бы одно из понятий, теорию которых они так хорошо усвоили; они придерживаются рутинных методов, порочность или отсталость которых им известна по сравнению с другими способами. Отчего это происходит? Я ничего не понимаю»*.

Я-то полагаю, что понимаю это очень хорошо. Причина в том, что рабочий беден, и его мастер тоже беден; они не могут позволить себе рискнуть и провести эксперимент. Их время на счету, нельзя терять ни минуты: никто не хочет ставить под угрозу дневной заработок.

Почему так много французских изобретений перекочевало в Англию, прежде чем вернуться к нам? Почему газовое освещение, изобретенное инженером Лебоном; железные дороги, деревянные прототипы которых использовались в Бретани более сорока лет назад; каналы, первым образцом которых стал Лангедокский канал, и так далее, - прижились во Франции только после того, как получили распространение в Англии? Дело в том, что в Англии есть не только капиталы, но и конкуренция капиталистов, необходимая для того, чтобы обеспечить успех начинаниям и наглядно его продемонстрировать!

Но здесь речь идет о начальном образовании, а не об образовании вообще. Речь идет об обучении самом массовом и самом простом. Могут спросить: какое отношение имеет к этому состояние национального богатства? Оно имеет определяющее значение. От достатка или бедности сельских жителей, а вовсе не от количества, профессионализма или иерархии учителей, зависит - и зависит исключительно - уровень образования в деревне.

Вы собираетесь принять меры, чтобы обеспечить даже самые бедные общины хорошими учителями. Вы собираетесь открыть прекрасную и достойную школу под руководством наставника, официально прикрепленного к Университету, который прошел через педагогические институты и сдал все необходимые экзамены... Что ж! Вы не создали ничего, кроме должности для хорошо оплачиваемого учителя и верного сторонника системы. Вы не создали школу. Для того, чтобы создать школу, нужны ученики. Но когда родители бедны, они едва ли помышляют о том, чтобы отправить своих детей в школу; они находят им другое применение: нужно стеречь стаи птиц или другой домашний скот, пасти козу или корову. Скажу ли я прямо? Нужно просить милостыню, да, именно побираться! В коммунах Нормандии вошло в привычку посылать детей «добывать хлеб» - именно так это и называют. Скажете ли вы, что причина в нехватке учителей? Я отвечу примером многих благотворительных священников, которые ведут бесплатное обучение в своих приходах и с трудом собирают лишь нескольких детей из наименее нуждающихся семей.

Если бы государство вместо огромных расходов выплачивало премии бедным родителям, которые ежегодно представляли бы мэру своей коммуны ребенка, умеющего читать, вы бы увидели, как благодетели с радостью берутся обучать бедного ребенка, ведь это стало бы двойным актом милосердия по отношению к родителям. Вы бы увидели, как бедные родители сами ищут учителей для своих детей и платят им вознаграждение, чтобы получить эту премию. Вы бы увидели, как меценаты оплачивают школьные расходы бедным детям, чтобы помочь родителям заработать премию. Вы бы увидели, как родители следят за процессом, заботятся о нем, поощряют учителей и детей ради того, чтобы знания усваивались. Вы бы увидели, как родители заставляют детей усердно учиться, вместо того чтобы отвлекать их от занятий. Таким способом к концу года вы получили бы множество детей, умеющих читать и даже писать.

Аббат Флёри, священнослужитель, столь знаменитый своими евангельскими добродетелями, глубокими знаниями и воспитанием герцогов Бургундского, Анжуйского и Беррийского, которых Людовик XIV доверил его попечению и попечению Фенелона; известный своими превосходными рассуждениями о «Церковной истории» и самим этим трудом; духовник Людовика XV, назначенный регентом; автор «Исторического катехизиса» с предварительным рассуждением, не уступающим тем, что в «Церковной истории», - этот аббат Флёри говорил: *«Лучшими учителями веры были бы отцы семейств. Если бы каждый был хорошо образован и заботился о наставлении своих детей и слуг, они принесли бы гораздо больше пользы, чем могут принести священники и пасторы»*.

В этих немногих словах заключен план обучения, который стоит гораздо больше, чем система наших начальных школ. Господин Симеон сказал о законе о начальных школах: *«Мы проголосовали за то, чтобы учителей было больше, чем учеников»*. Другой говорил: *«Почему за системой образования нужно ехать в Пруссию? Там она была создана исключительно в интересах власти. Если это то, чего хотели для Франции, то не стоило останавливаться в Пруссии, нужно было ехать прямиком в Россию»*.

Другой заметил, что Пруссия заставила своих студентов выступить против Наполеона, но теперь они стали бичом самой Германии, и вскоре Пруссия сама ощутит на себе их противодействие. Еще один добавил, что король Пруссии является также главой протестантской церкви, в то время как король Франции не является главой католической. Другой, господин..., описывая иерархию высшего образования и цепь, связывающую начальное обучение с верховной властью великого магистра, показывает нам новое общество иезуитов с генералом во главе.

Еще один высказался так: *«Это несправедливо; генерал иезуитов находится в Риме, а руководитель образования - во Франции. Создается королевство профессоров и учеников под скипетром великого магистра, который вместе со своими преподавателями и учащимися сможет, с одной стороны, сокрушить французскую монархию, а с другой - задушить республику словесности»*.

Наши доктринеры очень стараются изменить общий дух нации - вещь, от которой следует тщательно предостерегаться, если верить книге «О духе законов», том XIX, глава 5. Они всячески восхваляют серьезность молодежи. Мадам де Сталь ввела в моду серьезные умы.

«Если привить дух педантизма нации, веселой по своей природе, - говорит Монтескье, *- государство ничего не выиграет от этого ни внутри, ни вовне. Позвольте ей делать пустяки серьезно, а серьезные дела - весело* (т. XIX, гл. 5)».

(Указано, что это заметка 1834 года)

Организация новой секции моральных и политических наук в 1833 году

Речь г-на Рёдерера на первом заседании секции после первых выборов, проведенных по вышеуказанной форме.

Господа,

как только до меня дошел королевский указ, утверждающий результаты наших выборов, я счел своим долгом созвать это собрание. Это стало ответом на искреннее желание каждого из нас установить те братские отношения, к которым нас призвали взаимное уважение и признание. Кроме того, мы обязаны ускорить процесс организации Академии, определить дни и часы заседаний, на которых Академия сможет заслушать доклады своих членов по множеству важных вопросов. Публика ожидает, что обсуждение здесь будет проходить беспристрастно,

без предубеждений и самолюбования, без страха и недоверия - словом, без иных интересов, кроме служения науке и истине.

Считаю необходимым напомнить вам о ряде дополнительных процедур, предусмотренных указом о воссоздании Академии. Во-первых, это выборы членов, которых еще предстоит назначить.

Во-вторых - предложение о распределении членов Академии по пяти входящим в нее секциям. В-третьих - избрание бессменного секретаря в соответствии с уставом Института. В-четвертых - пересмотр старых правил и представление министру народного просвещения проекта нового устава. Среди этих задач есть по крайней мере одна, касающаяся непосредственно нас, нынешних членов Академии: это выборы участников, необходимых для пополнения состава до тридцати человек. Данная процедура требует предварительного обсуждения, которое определит дату ее проведения. Распределение членов Академии по пяти секциям предполагает наличие полного состава, а следовательно, не может быть осуществлено до проведения предстоящих назначений. Пересмотр старых правил и разработка проекта нового устава, согласно указу, возложены на секцию в ее полном составе, поэтому эти действия также должны следовать за выборами То же самое относится и к назначению бессменного секретаря.

В указе ничего не говорится о председателе; его назначение подразумевается как следствие применения старого устава и соответствует обычаям других академий. Здесь я должен просить вас обратить внимание на то, что, согласно указу, Академия считается официально сформированной с момента объединения бывших членов секции моральных и политических наук и четырех новых членов, которых им было поручено избрать внутри самого Института на основании второго положения статьи 5.

Сформированная таким образом Академия должна иметь избранного ею председателя. Он должен был возглавлять последние выборы и обязан руководить третьими. Поэтому мне представляется, что выборы председателя - это первое, чем Академия должна заняться на текущем заседании; а вслед за этим ей предстоит рассмотреть, в какой срок будет целесообразно провести дополнительные выборы своих членов.

Вам предстоит решить, не стоит ли раздать всем членам Академии за некоторое время до выборов список выдвинутых кандидатов с указанием названий трудов, которые они представляют в поддержку своей заявки. Вам нужно будет установить день и час ваших регулярных заседаний, на которых вы сможете заслушивать доклады.

Таковы, господа, четыре вопроса, которые, по моему мнению, должны занять это заседание. Программа, которую я имею честь вам представить, выносится на ваше решение.

Речь по вопросу о том, каким образом следует избирать дополнительных членов отделения нравственных и политических наук, 1833 год.

Господа,

Дискуссия, разгоревшаяся на нашем последнем собрании по вопросу о том, уместно ли избирать оставшихся членов путем отдельного голосования и направлять наш выбор при каждом голосовании на конкретную задачу одной из пяти наших секций, заставила меня еще раз внимательно обдумать преимущества и недостатки обоих предложенных мнений. Она утвердила меня в том мнении, которое в итоге возобладало. Полагаю, будет полезно представить вам в совокупности те мотивы, которые, вероятно, определили позицию большинства - как вместе, так и по отдельности.

Прежде всего, я замечу, что при основании Института именно Институт в полном составе - то есть все отделения вместе - назначал кандидатов на вакантные места в одном из них. Это происходило по представлению того отделения, где открылась вакансия, без разделения на секции.[10]

[10] Вилларе, т. XV, с. 196 и 197.

Эта система предполагала две вещи: во-первых, что все отделение в целом компетентно судить о способностях, необходимых для каждой из секций; во-вторых, что все отделения Института компетентны судить о любых способностях, необходимых каждому из отделений. Возможно, в этих предположениях зашли слишком далеко, но тогда стремились подчеркнуть братство наук и установить более тесную связь между учеными. Через несколько месяцев после принятия первоначального регламента новое постановление изменило упомянутый порядок. Было установлено, что отделение, имеющее вакантное место, представляет кандидатов на общее собрание Института только на основании предложения, сделанного самому отделению той секцией, в которой открылась вакансия.[11]

Этот регламент сохранялся и соблюдался до плювиоза XI года - времени, когда правительство республики разделило Институт на четыре отделения вместо трех и упразднило наше. Статья VIII гласит, что «назначения на вакантные места производятся каждым из отделений, в которых эти места освобождаются».

Таким образом, Институт начал с принципа энциклопедического единства, но уже через семь лет наметился возврат к прежнему делению, причем единственным мотивом для предпочтения стала его давность. Так, отделение интеллектуальных, нравственных и политических наук было упразднено. Его шестую секцию воссоздали в составе отделения надписей и изящной словесности, а из отделения литературы и изящных искусств создали Французскую академию и собственно отделение изящных искусств. Таков был результат преобразования от 3 плювиоза XI года.

Я вовсе не хочу выяснять, выиграли ли наука, литература, изящные искусства и, прежде всего, сами ученые, литераторы и художники от этого разделения. Моя цель здесь - рассмотреть, не пойдет ли нам на пользу защита от узкосекционного духа в Академии нравственных и политических наук, и рассматривать разделение на секции лишь как границы, установленные для определения сферы деятельности нашей Академии по отношению к другим академиям, а не как разделения, внутри которых мы должны замыкаться - будь то при выборе новых членов или в нашей собственной писательской и научной деятельности.

Ограничивая себя поиском «светил» исключительно для каждой отдельной секции, мы рискуем набрать людей, ставших узкими специалистами лишь потому, что они посвятили всю жизнь единственному предмету. Они стеснили свой кругозор и прослыли авторитетами лишь на фоне тех, кто заперт в тех же рамках. Ведь в каждой науке бывают времена упадка и скудости, когда посредственный человек может казаться лучшим в своем роде. В академии, состоящей из людей, мыслящих исключительно категориями своих секций, представители разных направлений просто перестали бы понимать друг друга.

Я полагаю, что наш выбор должен падать не на самого сильного специалиста из тех, кто претендует на место в конкретной секции, а на человека выдающегося, признанного таковым, чья широкая известность подтверждает не только общественное мнение о его личности, но и значимость той науки, которая принесла ему славу. Если человек превосходит других в одной из наших пяти секций, я убежден, что он не окажется слабее ни в одной из остальных.

Я предлагаю вам, господа, применить описанный мною метод к нескольким конкретным именам, и вы увидите, как точность результатов подтвердит верность самого подхода. Я не говорю сейчас об универсальных личностях, таких как Паскаль, Декарт или Бэкон, которые возвысились над всей совокупностью наук - их мало. Однако за пределами этого узкого круга величайших гениев я нахожу множество людей, объединивших в себе те знания, которые являются предметом изучения нашей Академии.

Вольтер, благодаря своим философским рассуждениям, в которых он проявил себя одновременно как истинный философ и великий поэт, сделал бы честь секции интеллектуальных способностей и секции морали. Он подошел бы секции законодательства благодаря множеству трудов, к ней относящихся; также и секции политической экономии - благодаря ряду дискуссий и, в частности, своей повести «Человек с сорока экю»; и, наконец, секции философской

[11] Там же, т. XIII, с. 303.

истории - благодаря своей «Всеобщей истории». **Монтескье**, благодаря труду «Размышления о причинах величия и падения римлян» и работе «О духе законов», принадлежит к секции истории. Тот же «Дух законов» относит его к секции законодательства и политической экономии. А благодаря «Персидским письмам» и всё тому же монументальному труду «О духе законов» он принадлежит к секции морали.

Д'Агессо, занимающий столь значимое место среди правоведов благодаря своим многочисленным судебным речам, мемуарам, законам и ордонансам, не только украсил бы нашу секцию законодательства, но и занял бы ведущее положение в секции политической экономии за свои труды против системы Ло. Он также первенствовал бы в секции морали благодаря речам, произнесенным им в должности генерального адвоката, выполнявшего функции цензора нравов. Ему нашлось бы почетное место в классе философии за его первое наставление сыну о принципах и происхождении законов. Наконец, он мог бы войти в секцию истории за свое «Наставление по изучению истории» и ту важность, которую он придавал этому предмету - вопреки мнению Мальбранша, который, по его собственным словам, мгновенно утратил о нем доброе мнение, увидев в руках молодого магистра томик Фукидида, что вызвало у философа некое подобие философского скандала.

Смит, профессор логики и метафизики в Глазго, автор «Истории логики и метафизики древних», «Трактата о внешних чувствах», автор «Теории нравственных чувств», «Рассуждения о происхождении языков» и «Исследования о богатстве народов» - труда, содержащего глубокую и новаторскую историческую часть, - стал бы предметом спора между всеми секциями нашей Академии. **Локк**, автор «Опыта о человеческом разумении», труда «О воспитании детей», «Разумности христианства», «Трактата о гражданском правлении» (работы, часто цитируемой в Англии), а также различных сочинений о вексельном курсе и монетах, принадлежит ко всем нашим секциям. Главный ученик его школы, **Кондильяк**, составил «Полный курс» всех знаний, которые являются целью нашего общества; и, кроме того, «Трактат о связях торговли с правительством», который считается одним из наших лучших трудов по политической экономии.

Говоря о Кондильяке, я замечу здесь, что люди, наиболее сведущие в политической экономии, также посвящали себя философскому изучению языка и, следовательно, интеллектуальных способностей. **Тюрго** - автор статьи «Этимология» в старой «Энциклопедии»; **Рубо** - автор четырех томов синонимов; Смит описал происхождение и характер языков. Точно так же среди правоведов я мог бы добавить к имени Д'Агессо имена **Сервана** и **Эли де Бомона** - выдающихся юристов, бывших великими моралистами, потому что они досконально знали историю, знали природу человека, интересы и права человечества. Для них вечный разум и вечная справедливость всегда проглядывали сквозь мрак самых запутанных текстов, и дух закона сиял перед ними, в то время как для обычного законника, комментатора или составителя смысл закона постоянно ускользал в мучительных сопоставлениях и бесплодных дискуссиях.

Не будем сомневаться, господа, что тайное родство объединяет науки о разуме, морали, законодательстве, общественной экономике и истории. Наука о разуме раскрывает способности и потребности человека - первооснову общественных интересов; мораль раскрывает вытекающие из них права и обязанности; законодательство их закрепляет; общественная экономика показывает их естественное и спонтанное взаимодействие и развивает их плодотворность; история, наконец, подтверждает или исправляет все представления, полученные в каждой из этих областей.

Нельзя ли пойти дальше и утверждать, что все науки соприкасаются, поддерживают друг друга и связаны в определенных точках, и что физико-математические науки отделяет от наук моральных и политических лишь разница в методах исследования истины в тех и других? Один из наших коллег в своем «Трактате о знаках» доказал - я бы сказал, строго доказал - это различие. Паскаль это чувствовал. Именно это чувство он выражает в своих «Мыслях» (кн. I, гл. x), когда отличает ясные и очевидные принципы геометрии - принципы, которые, по его выражению, «легко видеть и которыми удобно оперировать» - от вещей тонких, где принципы не поддаются такому обращению, где их едва видно, где их скорее чувствуют, чем видят, не

имея в большинстве случаев возможности доказать их последовательно, как в геометрии; где, наконец, попытка предпринять такое доказательство была бы делом бесконечным.

То, что Паскаль считал бесконечной трудностью, Кондильяк - ум менее высокого порядка, но ум методичный и проницательный - надеялся облегчить с помощью «хорошо составленного языка»; это означало предложить нечто невозможное в качестве гарантии той легкости, которой он бахвалился. Многие члены того отделения, которое сегодня представляет Академию, посвятили себя поиску метода, необходимого для того, чтобы привести истины морали и политики к уровню доказательства. Анализ элементов языка вычислений и языка моральных наук, проведенный господином **де Жерандо**, наметил путь к открытию этого метода, который, вероятно, сведется к искусству фиксировать смысл, в котором каждое слово используется в дискуссии. А пока я извлеку из своего замечания вывод, который здесь важно закрепить; вот он:

Если исключительно разница в методах между моральными науками, с одной стороны, и физико-математическими - с другой, делает привычку к одним менее пригодной для применения к другим, то из этого следует, что общность метода между всеми моральными и политическими науками способствует переходу от одной к другой, даже побуждает к нему, и что взаимосвязь вещей обязывает к взаимосвязи исследований. То, что обычно называют глубоким умом, правильнее было бы называть умом широким, ибо именно благодаря удачному сочетанию идей и наблюдений науки, скорее различающиеся названиями, чем своей природой, обогащают друг друга, утверждаются и распространяются. С науками дело обстоит так же, как с нашими семьями: их нужно скрещивать, чтобы они развивались, не вырождаясь.

Мы заметили, что наше отделение, которое кажется наименее связанным с остальными, поскольку лишь его предмет является полностью абстрактным, тем не менее представляет огромный интерес для умов, поглощённых изучением политической экономии, объектом которой является богатство народов. Эти недавние исследования, хотя они и отличаются по своему предмету от изучения человеческого разума, требуют в определённой степени почти равной силы рассуждения и проницательности в наблюдениях. Они естественным образом привели к изучению самого инструмента этих наблюдений и рассуждений - я имею в виду рассудок. Вполне понятно, что вдумчивый экономист желает познать этот инструмент и становится метафизиком, подобно тому как натуралист и астроном стремятся изучить телескоп, с помощью которого они ведут наблюдения, и углубляются в науку оптику. В нашей Академии, господа, нами движет не простое любопытство, заставляющее нас действовать подобным образом. Мы заинтересованы в том, чтобы познать орган мысли, дабы направлять его, подталкивать, вовремя останавливать, а главное - оберегать его и выводить из-под власти предрассудков и бурных страстей.

Из этих наблюдений следует, господа, что вместо того чтобы голосовать за конкретных кандидатов для каждой секции - а этот процесс иллюзорен, так как итоговое распределение может полностью отличаться от ваших первоначальных намерений, - можно без каких-либо неудобств предоставить рождающейся Академии право отдавать предпочтение и приглашать в свои ряды выдающихся знаменитостей, к какой бы из наших секций они ни относились. Добавлю, что в интересах этой благородной области знаний, развитием которой мы занимаемся, всегда следует заботиться о тех ветвях, которые приносят плоды, и пренебрегать теми, которые сама природа, по-видимому, обрекла на временный покой или бесплодие.

Не стоит скрывать, господа, что не все области науки всегда одинаково успешны и процветают; они переживают чередование периодов сна и активности: одни пребывают в застое, в то время как другие делают колоссальные успехи. Эти перерывы и смены циклов часто определяются состоянием общества, которое обеспечивает большую популярность то одной, то другой науке. Но гораздо чаще они обусловлены появлением гениального человека, который благодаря счастливому открытию или плодотворному наблюдению, приносящему новые результаты, придает предмету своих исследований неожиданный блеск. Тогда общественное внимание переключается на эту прославленную науку; соревновательный дух молодежи, по-

святившей себя тем же исследованиям, удваивается благодаря славе самой науки и славе ученого. Когда время кладет конец изумлению, которое является главным элементом восхищения, подобная революция назревает и происходит в другой области, которая, в свою очередь, притянет к себе взоры общества и представит на суд общественности новое прославленное имя.

Ошибусь ли я, господа, утверждая, что высший интерес наук, вверенных нашему рвению, состоит в том, чтобы всегда привлекать к себе самое славное имя текущего момента, даже с риском оставить на время в спящем состоянии те секции, для которых не нашлось бы столь блестящих деятелей? Разве не в эти периоды расцвета наука расширяется и растет с наибольшей быстротой? И разве не важно поддерживать и возвышать пыл претендентов путем почетного предпочтения? И не было бы тогда оскорблением для гения пренебречь им ради малоизвестного ученого, занимающегося застойной наукой?

Я видел, господа, зарождение современной химии и первые наброски номенклатуры Лавуазье; я посещал в то же время курсы Фуркруа, изучал «Химическую философию» Бертолле, а вскоре после этого - и открытия Берцелиуса, которые другие исследователи во Франции затем оставили без внимания. Я слышал, как Император спрашивал у Бертолле, как обстоят дела в химии и не произошло ли каких-либо новых открытий, на что Бертолле ответил ему: «*Сир, я едва успеваю следить за тем, что делает этот швед*».

Перед вашими глазами развернулась слава, которую Кювье принес естественной истории - не только благодаря своим глубоким познаниям, но и самой своей известности, а также тем талантливым людям, которых он привлек в эту науку и которых она воспитала для него. Вот что порождает пыл конкуренции в эпохи расцвета какой-либо науки. Мне было бы нетрудно напомнить вам факты, доказывающие, что у каждой из них наступает свой черед славных и застойных периодов; и отсюда следовал бы вывод, что академии, удостаивая своим выбором самых выдающихся деятелей самого блестящего периода той или иной науки, не только способствуют её развитию, но и обеспечивают себе преимущество обладания самыми замечательными гениями своего времени.

Приветственная речь к новым членам Академии, 4 января 1833 года

Академия с живым и глубоким удовлетворением принимает новых членов, чьё появление знаменует собой полноту её существования. Нам было бы трудно решить, господа, что почётнее: принадлежать ли к тому кругу, который предшествовал вам здесь и участвовал в вашем избрании, или же к тому, который был избран им. Однако, видя то огромное число просвещённых людей, которых вы оставили позади, мы утешаемся в невозможности удовлетворить стольких справедливых надежд мыслью о том, что и они, в свою очередь, будут иметь удовольствие видеть всех вас, господа, среди своих судей и смогут льстить себя надеждой получить из ваших рук ту награду, за которую они с вами состязались. Преграда на входе в эти стены установлена ненадолго. Привилегия долголетия с каждым днем всё быстрее уступает место общему праву.

Это, господа, богатый повод для взаимных поздравлений на нашем первом собрании - то, что в Академию стремилось попасть столь много прославленных мужей, представивших свои труды, плоды своих бессонных ночей; среди этих работ нет ни одной без достоинств, а многие обладают выдающимися качествами. Интеллектуальные, моральные и политические науки не могли бы получить более яркого признания. Сама Франция этим почтена. Список кандидатов, из которого вы вышли, господа, вновь являет ей и выставляет перед глазами иностранцев те богатства и таланты, чью истинную ценность, возможно, не удавалось заметить в полной мере, пока они были разрознены.

Это должно прежде всего принести удовлетворение автору нашего восстановления - государю, которым двигало неизменное рвение к истине и принципам вечной справедливости и

вечного разума, коим он посвятил своё правление. Моральные и политические науки достойно выплатят ему долг благодарности.

Какие мотивы для состязания, господа, открываются перед молодыми гражданами, которые прочат себя на государственную службу и желают достичь успеха достойным путём - через образование, а не через потрясения революций! Какие ресурсы для нации в этом новом способе распространения знаний, которые должны просвещать её интересы и потребности! Какие основания для уверенности в её будущем!

Поспешим же, господа, открыть поприще наших трудов, завершив наше организационное устройство.

Вам предстоит:

1. Избрать председателя;
2. Избрать бессрочного секретаря согласно уставу Института;
3. Подготовить проект распределения тридцати членов, составляющих Академию, по пяти секциям, указанным в указе о восстановлении, чтобы представить его министру народного просвещения;
4. Решить, назначите ли вы, как предлагалось на одном из наших предыдущих заседаний, комиссию для пересмотра старых правил и представления проекта нового регламента, или же вы немедленно приступите к обсуждению прежних правил;
5. И, если вы одобрите создание комиссии, определить её состав;
6. Наконец, назначить её членов.

Таковы, господа, действия, которые нам осталось предпринять для полного исполнения указа от 26 октября, являющегося документом о нашем восстановлении. Таков и порядок, в котором указ представляет эти действия, однако он не устанавливает, что именно в такой последовательности они должны быть выполнены. Я имею в виду, что ничто не обязывает нас совершать их строго по порядку статей указа, и я вынужден заметить вам: хотя статья 6 предписывает назначение бессрочного секретаря до распределения членов по секциям, что является предметом статьи 7, и прежде чем предписать пересмотр регламентов, являющийся предметом статьи 8, это же самое постановление откладывает избрание бессменного секретаря на время, следующее за пересмотром и распределением.

Оно помещает это избрание, как я уже говорил, после указанных действий согласно положению статьи 6; вот текст этой статьи: *«Члены Академии назначат бессменного секретаря путем голосования, в соответствии с регламентами Института»*. Чего же требуют регламенты, которыми мы должны руководствоваться при этих выборах? Регламент от 27 вантоза XI года для класса древней истории и литературы, частью которого является и наш класс, в статьях 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29 требует, чтобы секретарь избирался на собрании, созванном специально для этой цели путем подачи бюллетеней. Следовательно, выборам секретаря должен предшествовать особый созыв.

Таким образом, они не могут состояться сегодня, тогда как сегодня вы можете провести распределение и сформировать бюро по пересмотру. Я бы добавил, если это необходимо, что, поскольку регламент должен определять функции секретаря, кажется естественным узнать, в чем они будут заключаться, прежде чем остановить наш выбор на том, кто будет обязан их выполнять. Повестка дня, если не возникнет споров, должна, на мой взгляд, заключаться в следующем: (1) Назначение председателя; (2) распределение членов по секциям; (3) пересмотр регламента или назначение комиссии для этой цели.

Господа, Академия с радостью принимает вас в свои ряды. Ей приятно после долгого забвения видеть себя столь славно возрожденной. Да будет мне позволено в общем порыве выразить и свои личные чувства - я счастлив открыть первое заседание нашего восстановления. Я счастлив даже тем, что по прошествии стольких лет мне выпала честь объявить о вашем вступлении на этот путь и о грядущей славе наук, которые самым тесным образом затрагивают интересы отечества и человечества.

Королю

Нравственные и политические науки должны выразить Вашему Величеству тот блестящий знак почтения, который они только что получили благодаря многочисленному участию уважаемых людей. Опираясь на свои полезные труды, плоды своих бдений, они явились, чтобы вступить в Академию, восстановленную Вашей мудростью.

Это состязание свидетельствует о той цене и признательности, которую общественное мнение придает этому благодеянию.

Оно также предвещает те счастливые плоды, которые общество сможет собрать благодаря поощрению, данному Вами этой отрасли человеческих знаний.

Открыв, Сир, еще одно поприще для обсуждения общественных интересов, Вы представили новое доказательство Вашей любви к истине, Вашей священной верности принципам вечной справедливости и вечного разума, которые отмечают Ваше правление; это будет оценено и нацией, и иностранными государствами.

Благоволите, Сир, не сомневаться в том, что нравственные и политические науки, оплодотворенные признанием тех, кто ими занимается, выразят свою живую дань признательности монарху, в котором живет отечество и которого отечество чтит и любит.

Что такое секция нравственности в Академии нравственных и политических наук

Публика, а возможно, и другие классы Института, и даже многие из нас, похоже, не имеют точного и ясного представления о той цели, которую ставили перед собой основатели Института, учреждая секцию нравственности в том классе, который сегодня воссоздает наша Академия. Я считаю полезным, господа, сосредоточить наше внимание на предназначении этой секции. И прежде всего, я замечу, что само ее название *«секция нравственности»* является эллиптическим и подразумевает слово *«наука»*; следовательно, оно обозначает секцию науки о нравственности. Однако одного этого слова «наука» достаточно, чтобы указать на знание доктрин, относящихся к морали.

Таким образом, это не наука о предписаниях или максимах морали, не наука об обязанностях, которая является специальным предметом этой секции, потому что она является предметом школьного или домашнего обучения, а не темой для академических дискуссий. Наука о практических обязанностях (*de officiis*), как говорил Цицерон, предлагает мало вопросов для обсуждения. Эти редкие вопросы значат для морали то же, что случаи из практики совести - для религии. Здесь нет ничего такого, что могло бы занять целую Академию.

Усилия этого класса также не должны быть направлены на совершенствование искусства проповеди. Искусство или талант бичевать порок и призывать к добродетели относится к мастерству слова и письма - это особая сфера деятельности Французской академии. Скажу больше: поскольку я иногда замечал улыбки при упоминании некоторых имен - возможно, слишком светских для списка членов секции морали, - я считаю нужным подчеркнуть, что эта секция не призвана быть своего рода маленьким монашеским капитулом или религиозной семинарией, члены которой обязаны не только проповедовать мораль, но и служить её образцами.

Несомненно, «моралистами» иногда называют проповедников нравственности, писателей или ораторов, которые профессионально занимаются обличением порока и призывами к добродетели. К числу моралистов относят и наблюдателей, которые - подобно Лабрюйеру, Монтескье в его «Персидских письмах», Дюкло или Вовенаргу - ограничились описанием характеров светских людей, хотя и не исповедовали никакого учения относительно морали; они являются её историками. Однако звание моралиста чаще дают философам, которые провозгласили доктрины по какому-либо спорному вопросу практической морали, либо касательно природы, происхождения или основ нравственности, либо относительно влияния различных социальных институтов на моральный облик народов.

Таким образом, теми, кого в академическом смысле можно назвать истинными моралистами, являются лидеры мнений, основавшие или развившие умозрительную школу или систему, объясняющую природу, истоки и цель морали. Древние и современные моралисты свели предмет своего исследования нравственности к двум общим вопросам: в чём заключается добродетель, и каков принцип того уважения, которое мы проявляем к добродетели? По первому вопросу одни (как Хатчесон) полагают, что добродетель состоит в благодеянии или в чувствах, целью которых является бескорыстное счастье другого; другие - в осмотрительном и мудром поиске собственного счастья, но счастья самого реального и прочного. Третьи (такие как Кларк) считают, что она заключается в действиях по добродетельным правилам и в надлежащей мере.

По второму вопросу, который касается наших мотивов одобрения или неприятия поступков и людей в зависимости от их хороших или плохих качеств, выдвигаются три чувства: Первое признаёт судьёй личный интерес; второе - особую силу восприятия, называемую *нравственным чувством*; третье - органическую способность, именуемую *симпатией*. Среди античных философов *Платон*, *Аристотель*, *Зенон* с одной стороны и **Эпикур** с другой, а также эклектики, платоники и современные пифагорейцы, числились бы в секции морали нашей Академии. Среди современных - англичане: Хатчесон («Рассуждения о добродетели»), **Мандевиль** («Басня о пчёлах»), **Гоббс**, Смит («Теория нравственных чувств»). И среди французов: **Монтень**, **Ларошфуко**, **Гельвеций** - они также входили бы в секцию морали, потому что у каждого из них была своя система принципов человеческих поступков и суждений, которые мы выносим о действиях других людей.

Существует и другой порядок вопросов, относящихся к секции морали: это вопросы о взаимосвязи законов и общественных институтов с нравами. Прежний класс, который мы представляем, даёт нам пример такого рода вопросов, которые он призван рассматривать наиболее детально. Он предложил в качестве темы для премии этот важный и обширный вопрос: *Какие институты наиболее пригодны для того, чтобы заложить основы нравственности народа?* Конкурсы, отчет о которых мне было поручено подготовить, продемонстрировали поразительное расхождение мнений относительно того, как следует рассматривать этот вопрос. Это разногласие послужило материалом для мемуаров, которые я зачитал отделению; в них я установил, что существует сто восемнадцать способов трактовки данного вопроса, которые могли казаться в равной степени обоснованными с точки зрения грамматического анализа самой формулировки.

Чтобы дать вам представление об этом, скажу, что первое же слово вопроса открывало путь для двух типов работ совершенно разного характера, а именно: слово *какие* (*quelles*), которое на латынь переводится двумя разными словами – *quales* и *quænam*. Конкурсанты, интерпретировавшие слово *quelles* как *quales*, должны были рассматривать вопрос теоретически, а именно: какова должна быть природа этих институтов, каким условиям они должны соответствовать, чтобы быть наиболее подходящими, и так далее. Те же, кому более уместной казалась интерпретация *quelles* как *quænam*, должны были обсуждать лишь исторический вопрос: какие именно институты из тех, что история или авторитетные авторы предлагают для сравнения, являются наиболее подходящими и так далее.

Слово *институты* допускало множество различных толкований; слово *нравственность* - еще больше. Результатом моей работы могло бы стать создание большого количества программ для того, чтобы распутать элементы вопроса и свести их к выражению, допускающему решение.

Определение значения слов, характерных для дискуссий о нравственности, упорядочивание языка, указание на ошибки или неясности, возникающие из-за неправильного употребления слов, поиск и указание аналитических методов для точного изложения вопросов - всё это необходимые предварительные условия для решения фундаментальных проблем, и все эти операции являются предметом многочисленных исследований. Они заслуживали бы трудов, требующих долгого и кропотливого времени, и были бы достойны моралиста высочайшего уровня.

В благотворительных учреждениях наша задача состоит не в том, чтобы рекомендовать проветривать помещения, давать хорошие лекарства или готовить наваристые бульоны: речь идет о том, чтобы знать, при каком поле нравы становятся мягче и более соответствующими нуждам больных; какие религиозные и монастырские практики более всего соответствуют уходу, должному больным; какие виды помощи должны предлагать богадельни. В связи с этим я вспомню слова знаменитого господина д'Азенса (герцога Санта-Фе), когда мы вместе посещали великолепную богадельню в Толедо, где содержалось пять или шесть тысяч бедняков. Я был поражен этим числом; он же ответил мне: *«Эта прекрасная богадельня создает за год больше бедняков, чем сможет вместить за десять лет»*.

Даже в отношении тюрем нравственность не ставит своей целью выяснение того, являются ли они гигиеничными. Я читал в «Паноптикуме» **Джереми Бентама** бесконечное количество трудных вопросов, которые входят в компетенцию самых глубоких моралистов. Что можно выиграть для исправления заключенных от того, что они всегда находятся на виду друг у друга и под присмотром надзирателей, не будучи при этом перемешаны и лишены индивидуальности? Какой эффект производит абсолютная изоляция индивидов? В каком количестве целесообразно их объединять и размещать, чтобы уменьшить шансы на развращение менее порочных более порочными или способствовать исправлению последних первыми? Должно ли это число быть десять, пять или три?

Секция нравственности может подвергнуть своим исследованиям все остальные секции - более того, весь Институт целиком. Она представляет бесконечное число вопросов, которые относятся непосредственно к ней; она соприкасается с большинством тех вопросов, которые характерны для других секций. Она может спросить историков, не путают ли они нравы и национальные характеры с модой, нравы с преходящими страстями; умеют ли они хорошо различать нравственность разных народов или одного и того же народа в разные времена. Она может спросить политиков, хорошо ли они взвесили то, как та или иная избирательная система влияет на нравственность народов, на социальное единство; дает ли она больше повода для здорового соперничества без вражды или же для вражды без соперничества.

В сферу гражданского законодательства она вмешивается во многих вопросах, например, в вопросе об отцовской власти в сравнении с властью патриархальной, вопрос развода в сравнении с нерасторжимостью брака, многоженство в сравнении с единобрачием. В политике невозможно сделать и шага, не натолкнувшись на какой-либо вопрос морали. На прошлой неделе я завершил свою речь в Палате пэров цитатой из этого стиха Горация: *«...Польза - мать справедливости и добра»*.

Когда я вернулся на свое место, один из моих самых выдающихся и знаменитых коллег остановил меня и сказал: *«Мы не разделяем вашего мнения. Далеко не всё полезное справедливо, а то, что справедливо, не всегда достойно»*. Спор был начат; и если бы этот вопрос вынесли на обсуждение, я бы стал защищать стих Горация.

В политической экономии мораль может спросить, позаботилась ли эта наука о том, чтобы в интересах справедливости здраво различать и оценивать права на все виды собственности. У самой Академии, как у единого целого, секция морали может потребовать объяснений или указать на причины того вакуума, в котором она оказалась и в котором оставалась бы и поныне, если бы не нашлось нескольких добровольных призваний, проявивших к ней благосклонность.

Еще раз повторю, господа: мораль повсюду находит темы для дискуссий; она может вносить свою долю участия во все вопросы, которые может рассматривать Академия в целом.

Ощущение, идея, знак и мышление

Метафизика. Наука о разуме

У меня есть ощущения.

У меня есть идеи - это остатки ощущений или отпечатки, оставленные ими.

Мои идеи дремлют, они находятся в покое.

Мои идеи пробуждаются - по одной или по нескольку сразу.

Мои идеи вызывают друг друга в памяти.

Мои идеи отталкиваются или сближаются.

Мои идеи соединяются, сочетаются, разделяются.

Мои идеи оплодотворяют друг друга, зачинают и производят на свет новое.

Мои идеи приобретают привычки.

Мои идеи соединяются с идеями других людей и обогащаются благодаря им.

Мои идеи пробуждаются под влиянием идей других людей.

Мои идеи уступают место идеям других.

Мои идеи стираются и забываются, освобождая место другим.

Мои идеи, чтобы стать доступными для передачи, приняли форму знаков через использование речи, что в дальнейшем привело к использованию письма.

Мои идеи, благодаря использованию знаков, могут обобщаться: это то, что называют абстракцией.

Мои нравственные и политические идеи формируются путем абстракции, подобно идеям о числах.

Мои абстрактные идеи в области морали и политики создаются так же, как арифметические идеи.

Мои нравственные идеи фиксируются в моем уме только с помощью знаков, подобных числам.

Мои абстрактные идеи любого рода не могли бы сформироваться без знаков.

Мои сложные идеи закрепляются в моем сознании только посредством знаков.

Идеи, закрепленные знаками, приобретаются так же, как и остальные - через ощущение, через восприятие самого знака.

Сложные идеи чисел всегда строятся по одной и той же модели и следуют десятичному порядку. Кроме того, они состоят из единиц одной и той же природы.

Абстрактные и сложные идеи морали и политики всегда строятся на разных моделях и состоят из единиц различной природы, которые сами часто являются сложными и имеют разную степень сложности.

Любым проявлениям, любым спонтанным сочетаниям наших идей были даны названия. Были введены понятия: *память, воспоминание, сравнение, наблюдение, суждение, мнение, вера, знание, наука*. Были определены *рассуждение, индукция* и так далее. Было определено понятие *воли* и так далее. Наш разум - это целый мир; это правительство, где функции разделены и каждый знает, что ему надлежит делать. Или, если угодно, другой образ: это система четких и определенных операций, которые связываются, следуют друг за другом и переплетаются, определяя все наши мысли, слова и поступки, составляя нашу моральную и интеллектуальную жизнь.

Всё это - плод воображения; и вот что придало этим продуктам воображения видимость реальности: мы создали искусство выражать вовне наши идеи и чувства и передавать их другим. Мы составили системы грамматического, логического и риторического изложения.

Формы речи, которые мы сочли наиболее подходящими для передачи наших идей окружающим, в итоге стали казаться нам выражением тех процессов, которые использует наш дух, чтобы эти идеи зачать: отсюда и возникает иллюзия.

К чему это привело? Вот ответ. Поскольку слова не могли быть столь же точными и определенными для моральных идей, как для чисел, на словах было выстроено столько же систем, сколько различных значений предлагали метафизики. Они копались в словах вместо того, чтобы изучать вещи. Вместо того чтобы изучать факты, они наблюдали за случайными признаками, выраженными в словах. Отсюда берет начало **вся эта немецкая философия**, которая меняется так же часто, как диалекты этой страны; отсюда же происходят все те сменяющие друг друга философские учения, что свергают одно другое...

Часто спрашивают, в чем польза метафизики. Это всё равно что спрашивать, зачем нам знание наших сил, средств, опасностей и злоупотреблений; зачем нужно искусство развивать одни способности и направлять, возбуждать или сдерживать другие, а также избавляться от наших заблуждений. Знать феномены мышления - значит знать его ресурсы; это значит знать его подводные камни; это значит постичь секрет гения и искусство мудрости; это значит овладеть методами более надежными, чем гений, и более постоянными, чем мудрость, которые дополняют их и позволяют обходиться без того и другого.

Это значит наблюдать за процессами мышления в самых важных открытиях, в самых блестящих трудах. Мы внимательно изучили ход их *речей*, чтобы изложить их; почему бы не изучить куда более полезный ход их мыслей?

Отрывок из мемуара о природе идеи,

... или о том, что можно понимать под словом «Идея»; прочитано 15 нивоза на публичном заседании Национального института гражданином Ларомигьером.[12]

1. Определение слова «идея».

Когда ребенок, внимательно и неоднократно изучив буквы алфавита, сумел четко запечатлеть их образ в своем мозгу и научился отличать их друг от друга, у него появляется об этом *идея*. Прежде он, несомненно, видел все знаки, поскольку они воздействовали на его органы чувств, только он не различал ни одного из них. Лишь останавливая взгляд сначала на одной букве, затем на другой; лишь задерживаясь более внимательно и долго на тех, что имеют сходство и легко путаются, он наконец преодолевает трудность, которая кажется нам незначительной только потому, что давние привычки нашего ума не позволяют нам вернуться в тот возраст, когда у нас еще не было ни одной привычки.

Тот, кто хочет научиться музыке, получит *идею* о различных используемых в ней знаках тогда, когда перестанет путать целые ноты, половинные и четвертные; когда научится узнавать различные положения нот на стане, которые дают им разные названия; когда, замечая различное начертание ключей, он не примет тонику за секунду, терцию или любую другую интонацию. Ботаник имеет *идею* о всех растениях края, если с первого взгляда умеет уловить их отличительный характер.

Метафизик будет иметь *идею* о различных операциях разума, когда посредством анализа, поначалу медленного, проводимого для того, чтобы он был более надежным, но который

[12] Вилларе, т. XIII, с. 303.

вскоре станет легким и быстрым, он научится улавливать ту часто неуловимую разницу, которая их разделяет. Я и сам получу представление о том, что такое идея, если мне удастся охарактеризовать её таким образом, чтобы её больше нельзя было спутать ни с мышлением, ни с ощущением, ни с любой другой деятельностью разума.

Тот человек высказал удачную идею, кто в движении небесных тел - движении, кажущемся простым - сумел различить два типа движения: инерционное и центростремительное. Эта идея стала зародышем теории центральных сил. Но еще более удачную идею высказал тот - поскольку она оказалась полезнее для людей, - кто в абсолютной власти, до того считавшейся неделимой, сумел разграничить власть законодательную и власть исполнительную. В этой идее заключен залог счастья людей в обществе - залог, который, увы, до настоящего момента развит слишком слабо.

Следовательно, возможностью иметь идей мы обязаны именно способности отличать наши ощущения друг от друга и от объектов, их порождающих; или, точнее говоря, эти две способности суть одно и то же. Человек переходит из состояния существа чувствующего в состояние существа разумного, он переходит от ощущений к идеям, когда начинает различать свои ощущения. Чувство превращается в идею, когда оно выделяется среди множества других чувств, с которыми оно ранее сливалось. ***Идея - это различенное чувство, или проясненное ощущение***.

Философы потерялись в бесконечных рассуждениях о природе идеи. Они путали её: (1) с мышлением, то есть со всеми операциями разума вообще; (2) с первичной операцией разума, то есть с ощущением; (3) с образом объектов, то есть с осязательными и зрительными ощущениями; (4) с познанием определенных объектов, которые невозможно себе представить, то есть с некими частными идеями; (5) некоторые превратили идею в реальное существо: они наделили плотью абстракцию; (6) другие рассматривали её как нечто среднее между вещами и их качествами: эти люди сами не вполне понимали, о чем говорят. (7) Наконец, Мальбранш дошел до утверждения, что идеи - это сама сущность Божества, являющая себя людям, и поскольку мы видим всё с помощью наших идей или в наших идеях, он, не колеблясь, провозгласил, что мы видим всё в Боге.

Я не стану дольше опровергать мнения, которые несостоятельны сами по себе, и уже заранее опровергнуты тем, как я определил понятие идеи. Сделаю лишь одно замечание по поводу **Бюффона**. Этот знаменитый автор, определяя идеи как сопоставленные ощущения, не кажется ли попавшим в самую точку? Разве он не видел, что идея берет свое начало в различении, которое мы проводим между нашими ощущениями? Но чтобы сравнить два ощущения, нужно иметь два ощущения; а чтобы иметь два ощущения, нужно уже уметь отличать одно от другого; нужно иметь о них представление (идею): сопоставленные ощущения уже предполагают наличие идей.

Таким образом, кажется, что характерная черта идеи заключается в различении, которое мы проводим между объектами и их различными качествами. И поскольку только через ощущения мы узнаем о существовании объектов, именно в различении самих ощущений следует искать первоисточник идеи. Существо, которое не могло бы выделить ничего в своих чувствах, никогда бы не узрело свет разума; ему бы не хватало того живительного начала, в котором заключено всё благородство и достоинство человека, и которое возвышает его над всеми творениями природы. Но если ощущения начинают проясняться и отделяться друг от друга, если чувствующее существо начинает анализировать само себя, тогда мы видим, как пробуждается интеллект - сначала через слабые проявления, но вскоре он начинает стремительно расти, укрепляться, расширяться и охватывать всю природу.

Смутные и плохо различимые при первом анализе идеи будут разлагаться и дальше, порождая новые идеи, которые путем последующих уточнений будут непрестанно увеличивать объем знаний, дадут жизнь чудесам науки и искусства и, в некотором роде, откроют перед нами целую новую вселенную. Именно так, путем некоего искусного разложения (почему воспоминания, связанные с ужасными событиями, должны вторгаться даже в метафизические построения), гений сумел обогатить химию двумя веществами, которые природа, казалось,

скрывала с такой тщательностью. Великий человек, которому главным образом принадлежит эта поразительная идея, был другом и соратником многих из вас; вы помогали ему в его трудах, вы разделяли его воодушевление, когда искусство этого покорителя природы сумело выделить два элемента в одном-единственном веществе.

Признательность людей, несомненно, воздвигла статуи тому, кто, раздвинув границы наук, прославил имя человека... Но набросим вуаль на те несчастные времена, когда само общество казалось великой ошибкой природы.

II. Решение некоторых вопросов

Недостаточно просто заметить природу идеи или, выражаясь проще, уловить истинный смысл слова *«идея»* и точно его определить. Нужно ещё показать, что это определение разрешает различные вопросы, которые могут возникнуть по поводу идей. Когда слова четко определены, вопросы ставится правильно, а правильно поставленные вопросы находят свое решение, ведь ***решение вопроса или его правильная постановка* - это одно и то же**. В самом деле, вопрос поставлен верно, когда вместо первоначальной формулировки, часто неясной, туманной и трудной для понимания, предлагается формулировка более точная, позволяющая легче представить решаемую проблему. Вопрос ставится еще лучше, если вместо этой второй формулировки, более ясной, чем первая, предлагается третья, еще более точная и понятная. В конечном счете получается настолько четкая формулировка, что сразу становится видно, идентичны термины или нет. С другой стороны, решение вопроса достигается тогда, когда после последовательного перевода из одной формулировки в другую мы приходим к утверждению, термины которого идентичны.

Таким образом, *правильно поставить вопрос или решить его* - это два разных выражения, представляющих одну и ту же идею, и любое решение обязательно содержится в самом вопросе, как любой ответ содержится в самом требовании; без этого он невозможен.

Со словами языка дело обстоит так же, как с различными видами монет. Подобно тому как одну монету можно обменять на другие, отличные от нее, но имеющие ту же ценность, так и каждое слово может быть обменено, если можно так выразиться, на другие слова без малейшего искажения смысла. Начиная с самых крупных «номиналов», мы переходим от обмена к обмену, от разложения к разложению, к первоначальным ценностям, которые более не разложимы. Точно так же и самые абстрактные слова - те, что заключают в себе идеи, наиболее далекие от чистых ощущений, - проходя путь от перевода к переводу, от обмена к обмену, в конечном итоге представляются первоначальными словами. Под ними обнаруживаются лишь простые ощущения, за пределами которых никакое дальнейшее преобразование невозможно.

Попробуем теперь сформулировать несколько вопросов, причем сформулировать их правильно.

Первый вопрос. - Являются ли идеи независимыми от ощущений?

Ответ. - Это равносильно вопросу о том, является ли различение ощущений независимым от самих ощущений?

Второй вопрос. - Имеется ли у нас идея обо всех наших ощущениях?

Ответ. - Это вопрос о том, превращаются ли все ощущения в идеи. Это вопрос о том, отличаем ли мы все наши ощущения друг от друга. Это вопрос о том, выделяем ли мы всё, что заключено в наших ощущениях. Нет, иначе у всех людей было бы примерно одинаковое количество идей.

Третий вопрос. - Предшествуют ли идеи ощущениям?

Ответ. - Это вопрос о том, различаем ли мы ощущения до того, как испытали их.

Четвертый вопрос. - Существуют ли врожденные идеи?

Ответ. - Это вопрос о том, независимы ли идеи от ощущений и предшествуют ли они им.

Пятый вопрос. - Являются ли идеи образами?

Ответ. - Когда ощущения являются таковыми; но не все ощущения таковы: например, слуховые и зрительные образы таковы, но не обязательно сами по себе; они стали такими на основе опыта осязания и так далее.

Вопрос шестой. - Являются ли идеи восприятиями?

Ответ. - Иметь идею, или чувствовать отношение различия, или воспринимать - это одно и то же; любая идея есть восприятие.

Вопрос седьмой. - Создает ли человек свои идеи сам?

Ответ. - Осмелюсь сказать, что этот вопрос, наделавший столько шума среди философов, не представляет никакой трудности. Он сводится к тому, чтобы выяснить, сам ли человек различает свои чувства, свои способности, цвета, звуки, формы, движения и т. д. - словом, все объекты природы, - или же все эти разграничения производятся неким существом, отличным от него. Но разве не очевидно, что мы приходим к различению этого множества предметов лишь путем абстрагирования, разложения на составляющие, часто благодаря самому пристальному вниманию, глубочайшим размышлениям и так далее? Следовательно, именно через свои собственные действия человек обретает идеи; он сам является причиной своих идей.

Я не буду добавлять другие вопросы. Тот простой и легкий способ, которым были решены предложенные нами задачи, доказывает, как мне кажется, что мы уловили истинную природу первого луча человеческого интеллекта. Это также доказывает, насколько важно правильно формировать язык наук.

Подобно тем отголоскам, где стоит отозваться одному, как он тут же вызывает соседнее эхо, которое, в свою очередь, пробуждает все остальные, спавшие до того, слова хорошо выстроенного языка взаимно призывают друг друга и отвечают друг другу. Они выступают не как слабые и рабские подражатели, подобно эху, а как верные толкователи друг друга, до тех пор пока тот, кто больше не нуждается в толкователе - тот, что напрямую связан с ощущением, - не заставит услышать свой голос.

(Из 5-го тома собрания сочинений. «Журнал общественной экономики» от 30 нивоза V года - 19 января 1797 г.)

Влияние знаков на идеи

Спрашивают, каково влияние знаков на идеи. И вот что я думаю по этому поводу. Я высказываюсь лишь на основании первого впечатления. Но предварительно замечу, что я не смешиваю идею ни с ощущением, ни с мыслью. Ощущение получает впечатление, идея сохраняет и фиксирует его, это образ. Мысль же взвешивает и комбинирует идеи. Не бывает идей без ощущения, и любое ощущение оставляет после себя идею. Взвешенные и сопоставленные мысли образуют суждения. Закрепленные суждения порождают новые идеи. Исходя из этого, я утверждаю:

1. Слова необходимы, чтобы оставить в уме образ или идею впечатлений, произведенных на нас связями абстрактных идей;
2. Они нужны, чтобы дать нам представление о числах.
3. Также слова необходимы, чтобы напоминать об идеях и комбинировать их, даже те идеи, которые воспринимаются чувствами.
4. Слова, если они подобраны верно, являются точными и живыми образами; если же они подобраны плохо, то становятся образами слабыми и туманными.
5. Если они подобраны верно, они представляют собой образы, которые способствуют сравнению и облегчают его, а через это - и формирование новых идей.

Существуют физические науки, состоящие исключительно из знаков нескольких других наук; такова физическая география. *Смотри по этому предмету Локка и Траси в «Мемуарах Института»*.

Говорят нелепость, когда к изречению: *Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* (Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах), добавляют: *excepto intellectu* (за исключением самого разума). Сказать, что в интеллекте нет ничего, чего прежде не было бы в ощущении, - значит сказать, что ощущение есть первоначало интеллекта, что оно составляет всё в интеллекте, за исключением самого интеллекта, или же что это объяснение интеллекта без участия самого интеллекта.

Д'Аламбер полагал, что расточает величайшую похвалу, когда говорил о человеке: *«Это достойный человек, который всегда точно знает, что говорит»*. Когда Буало сказал: *«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает»*, он принял причину за следствие. Можно утверждать, что мы хорошо понимаем лишь то, что способны ясно сформулировать, и что у нас нет отчетливых идей ни о чем, кроме вещей, закрепленных в мысли определенными знаками. Все, что истинно в метафизике, может быть передано ясно, вплоть до того, что станет привычным; однако лишь то, что истинно, может быть передано ясно. Ложное же неизбежно туманно, и это в определенной степени дает право полагать, что неясное - несмотря на все усилия писателя быть понятным - является ложным.

Матиньон, 27 апреля 1833 года.

Утверждают, будто только человек наделен привилегией «чувствовать, что он чувствует», «знать, что он знает», «думать, что он думает» и чего он хочет; будто только человек осознает действия своего ума, или обладает внутренним ощущением своих чувств; будто только он вправе говорить «Я»; будто он один осознает свое существование, свою индивидуальность и свою личность. Признают изречение: *Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* (Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах); но добавляют: *excepto intellectu* (за исключением самого разума). Много было сказано, написано и преподано о природе этого двойного существования - **внутреннего** и **внешнего** чувства. Являются ли они оба одной природы, являются ли результатом нашего физического устройства, субстанции нашего мозга или какого-либо другого органа? Или же это таинственная душа, которую нельзя объяснить материей, и которая обладает способностью наблюдать и познавать растительную или животную душу, общую у нас со всеми животными?

Я решил больше не возвращаться к этим вопросам, занимавшим мою юность, пока мне не докажут, что это действительно вопросы - то есть, пока не докажут, что слова, считающиеся вопросами, не основывается на ложных предположениях, на недомолвках, которые сами по себе непонятны; пока мне не докажут, что мнимые факты, для которых ищут объяснение, и теории которых проповедуют, - это действительно факты, а не бессмысленные утверждения.

Что значит «чувствовать, что чувствуешь», и чувствовать, чего хочешь? Я страдаю: это чувство. Что такое осознание этого чувства? Разве чувствовать, что я испытываю болезненное ощущение, - это нечто иное, чем само чувство боли? **Ощущение ощущения - это нелепость**, всё равно что сказать: «Я вижу, что я вижу». Что такое боль, которую вы бы не чувствовали? Что такое ощущение этого чувства, если не пустой набор слов?

Я хочу. Но что такое моя воля? Это чувство, которое определяет действие. Что такое воля, которую не чувствуешь? Слово, лишенное смысла. Что такое осознание этого чувства? Еще одно пустое слово.

Со мной соглашаются в том, что собака страдает, то есть испытывает болезненное чувство. Со мной соглашаются в том, что я могу с помощью своих органов чувств воспринять идею страдания собаки. Почему же с помощью своих органов чувств я не мог бы воспринять идею собственных страданий, если бы идея моего страдания не была самим чувством или воспоминанием - то есть воспроизведенным чувством?

Я вдыхаю аромат флёрдоранжа; мое обоняние доносит до меня ощущение флёрдоранжа, и это ощущение оставляет во мне идею. Это я понимаю. Но когда вы говорите мне: *«У вас есть нечто иное: у вас есть идея этой идеи!»*, я спрашиваю: каким запахом наделена идея идеи флёрдоранжа? Если вы скажете мне: *«Запахом флёрдоранжа»*, то значит, это та же самая идея, а не какая-то другая. Если же вы скажете: *«Это общая идея запаха флёрдоранжа, любого цветка апельсина, а не того конкретного, ощущение от которого вы получили»*, я отвечу: «То, что вы здесь описываете, - это абстрактная или общая идея; но для создания общих идей не требуется иных органов, кроме тех, с помощью которых мы создаем идеи единичных предметов». Это мы еще увидим.

Если бы вы могли сказать мне: *«Когда я говорю об идее идеи, я говорю об идее впечатления, произведенного на тот или иной орган ощущением и идеей; я говорю об идее, о том, как она закрепляется в этом органе, о функции, которую она выполняет, об обстоятельствах, определяющих характер ее работы; я говорю о впечатлении, которое я получил от того, как совершалось наблюдаемое впечатление...»* - тогда я бы сказал: «У вас есть четкое представление о том, что называют тайной мысли, о воздействии мысли на мышцы, исполняющие волю. В таком случае вопрос о том, что такое разум, больше не стоит; вы владеете его секретом. Но вы говорите совсем не об этом, и у вас нет права изрекать на сей счет ничего, кроме бессмыслицы».

Я много трудился в своей жизни: чрезмерно - в начале моей деятельности в Парламенте, где хотел отличиться; чрезмерно - как член Учредительного собрания; чрезмерно - в качестве генерального прокурора-синдика департамента Парижа; но больше всего - при императоре. И что же! Был один весьма скромный человек, который заставил меня работать больше, чем Учредительное собрание и чем сам император. У этого человека была привычка, а возможно, даже и тик, отвечать почти на всё, что он слышал: *«Это неясно!»*. У него было мало остроумия, но зато много здравого смысла. Я с уверенностью излагал ему свои взгляды, а он неизменно говорил мне: *«Это неясно!»*. Поставив себе целью перерабатывать свои мысли до тех пор, пока он не скажет: *«Понимаю»*, я не раз замечал, как мои идеи, казавшиеся мне новыми и глубоко обоснованными, исчезали вместе с туманностью моих выражений. Тогда я на собственном опыте познал истинность максимы Вовенарга: *«Немногие ошибки устояли бы, будь они изложены ясно»*. После этого случая я ввел в привычку - и в общении с другими, и с самим собой - говорить: *«Это неясно»*, когда суть дела не очевидна. Лично мне это пошло на пользу; осталось лишь выяснить, буду ли я столь же успешен в общении с окружающими.

(Из 5-го тома собрания сочинений, видимо около 1833 года).

Обзор книги Сикара

Основы общей грамматики в применении к французскому языку; автор Р. А. Сикар. *(2 тома, формат в 8-ю долю листа). Париж, издательство Бурлоттона.*

Этот труд разделен на две части, каждая из которых составляет отдельный том. Первая часть рассматривает различные виды изменяемых слов; вторая - слова неизменяемые, и содержит принципы синтаксиса и построения предложений. Книга начинается с теории алфавита и заканчивается теорией пунктуации. Каждая часть разделена на главы, и за каждой главой следует соответствующий урок. В главах, согласно аналитическому методу, изложены все

идеи, подразумеваемые их названиями. В соответствующих уроках автор в синтетическом порядке и в весьма доступном стиле представляет краткий итог содержания предыдущей главы в форме вопросов и ответов. Таким образом, этот труд в равной степени предназначен как для тех, кто хочет учиться, так и для тех, кто желает преподавать.

Грамматика в этой работе сведена к простоте, зачастую поразительной. Автор ввел в неё совершенно новые формулы, заимствованные из методики обучения глухонемых, чтобы наглядно продемонстрировать то, что разум лишь с трудом может воспринять через долгие рассуждения. Например, он самым впечатляющим образом показывает, как человеческий ум отделяет, вычленяет и абстрагирует от представления о любом предмете даже самое незаметное его качество; словом, то, как разум формирует абстрактные и общие идеи.

Это приводит к тому, что многие всё еще **верят во врожденные идеи**, в существование двух отдельных начал - мысли и чувства - лишь потому, что не понимают, каким образом наш разум обретает абстрактные понятия, и в особенности - самые отвлеченные и сложные из наших моральных идей. Сикар, наглядно изобразив, если можно так выразиться, сам процесс абстрагирования, сделал для искоренения этих заблуждений *больше, чем Локк* своими блестящими рассуждениями. Эти ошибки отнюдь не безобидны, так как они препятствуют любому совершенствованию логики и человеческого разума. Кроме того, его метод указывает путь всем писателям, желающим в полной мере осознать истинное значение используемых ими слов; он показывает им, как именно следует возвращаться к элементарным понятиям, заключенным в сложных идеях, которые выражаются этими словами.

Предисловие, помещенное в начале книги, сообщает о скором выходе в свет масштабного труда об искусстве обучения глухонемых от рождения, над которым автор работал тридцать лет. Эта работа принесет огромную пользу не только глухонемым, но и всему человечеству. Новая система знаков, которую она предполагает, станет аналитическим методом, дополняющим те, которыми мы уже располагаем в наших звуковым языках; она сможет служить для них средством проверки и дополнением. В ней, вероятно, обнаружится новый принцип совершенной пазиграфии и, возможно, даже основы философского и всеобщего языка.

Какими бы ни были ошибки или промахи Сикара на политическом поприще - на котором оступились столь многие и где сама истина подвергала опасности не меньше, чем заблуждение, - Сикар искупил их этим столь полезным трудом. Если можно верить предвестникам мудрости и доброты, которые с недавних пор, кажется, внушают надежду и благодарность добрым гражданам, то недалек тот час, когда возвысятся голоса в защиту того, кто наделил немых речью, и когда откроются уши ради того, кто даровал глухим слух.

Человек, в котором даже чудовища 2 сентября пощадили исправителя несовершенств природы, не будет вечно считаться в глазах государственной власти врагом общества. Конфискация имущества не может быть окончательной мерой против того, чьим единственным достоянием всегда были лишь обездоленные дети, для которых он стал отцом; равно как и смертная казнь не может вечно угрожать этой голове, с которой неразрывно связана частица национальной славы.

О знаках и искусстве мышления, рассматриваемых в их взаимосвязи, автора Ж.-М. Де Жерандо

В истории литературы есть не один пример того, как вопрос, предложенный научным сообществом, пробуждал молодой талант и вдохновлял на создание трудов, которым суждено остаться в веках. Именно таким обязательством мы обязаны Институту за появление превосходного «Трактата о метафизике». Институт призвал вдумчивые умы определить влияние знаков на формирование идей. Тема была колоссальной. Гражданин де Жерандо, работая над

ней, не смог уложиться в обычные рамки конкурсных мемуаров. Получив премию, он пожелал пересмотреть свой труд; по сути, он создал новое произведение, более полное и обширное, которое только что представил публике.

Автор стремился прежде всего придать метафизике ту ясность, простоту и доступность, которых ей почти всегда не хватает, а также общественную пользу, в которой ей отказывают из-за множества предрассудков.

Он делит свой труд на две части: первая посвящена сбору данных, полученных на опыте, вторая - их применению; одна содержит историю того, чем были знаки для нашего разума, другая - исследование того, чем они могут стать.

Первая часть, единственная на данный момент опубликованная, подразделяется на два раздела: первый излагает формирование наших идей и установление наших знаков; второй объясняет операции, которые мы совершаем над нашими идеями, и то использование, которое мы находим для наших знаков.

Чтобы судить о влиянии знаков на идеи, автор начинает с разграничения различных видов идей и соответствующих им различных видов знаков. Чтобы сделать это различие более наглядным, он показывает процесс порождения и тех, и других.

Он ведет параллельно историю идей и историю знаков, которые, по сути, составляют единую историю. Он показывает, как наши первые отчетливые восприятия обязательно предшествовали любому виду знаков; как первые знаки - знаки естественные - вызвали к жизни и закрепили первые идеи, идеи чувственных объектов; и как эти идеи дали жизнь первым установленным знакам, знакам языка. Затем он показывает, как эти установленные знаки породили идеи второго и третьего класса - абстрактные и общие идеи; как, наконец, эти идеи, в свою очередь, произвели новые знаки, с помощью которых мы сформировали всё то множество сложных идей различных порядков и различной природы, которые составляют великое богатство и исключительное превосходство человеческого разума.

Именно так автор приходит к классификации идей, более точной, чем любая из ныне известных, и к четкому указанию функций, которые каждый вид знаков выполняет по отношению к каждому виду идей.

Он особо подчеркивает две ветви наших идей и две соответствующие им цепочки знаков. С одной стороны, это сложные идеи, состоящие из абстрактных идей различной природы и различной степени сложности: таковы этические (моральные) идеи. С другой стороны - сложные идеи, состоящие из абстрактных идей одной и той же природы: таковы сложные идеи чисел.

Он со скрупулезной точностью демонстрирует, почему вторые могут быть выражены системой простых знаков, аналогичных самой идее и друг другу, точных и удобных для запоминания, в то время как первым, по-видимому, в этих преимуществах отказано.

Именно идентичность элементов и аналогия, которую она позволяет использовать в качестве ориентира при комбинировании, делают сложные идеи чисел пригодными для простого и точного выражения.

Другие же сложные идеи состоят из столь разнообразных элементов, что они почти не проясняют друг друга; они так же непривычны нашему уму и находятся на такой степени абстракции, что крайне трудно провести точный подсчет составляющих их элементов, уделить каждому достаточное внимание и, следовательно, выразить их с точностью при помощи знака.

Второй раздел первой части, составляющий второй том, содержит интересные подробности о различных операциях, которые мы совершаем над нашими идеями: одни из них служат для сравнения идей между собой, другие же позволяют нам соотносить их с внешними фактами как с их первообразом. Первые служат основанием для абстрактных истин, вторые - для положительных знаний.

Автор последовательно анализирует эти два типа операций, указывает на их взаимосвязи и отношения, исследует условия их протекания, недостатки, которыми они могут быть поражены, и ту роль, которую в отношении них выполняют знаки.

Изучая природу и достоверность наших абстрактных суждений, он доказывает, что каждая наука обязательно обладает своей частной метафизикой, которой она обязана частью своих успехов. Он объясняет истоки тех злоупотреблений, которые допускали схоласты в отношении метафизики, и спорит с современными мыслителями, которые слишком часто объявляли её бесполезной - как если бы изучение деятельности разума не вело к искусству управления собой во всех делах, имеющих значение для нашего существования! Наконец, автор изучает природу и правила численных и алгебраических вычислений и демонстрирует, что их преимущества и эффективность никогда не смогут быть перенесены на абстрактные рассуждения, касающиеся идей иного рода, вопреки тому, в чем нас так долго пытался убедить Кондильяк.

Затем автор исследует влияние, которое различные виды знаков оказывают на развитие способностей человеческого разума. Он применяет полученные выводы к различным системам речи и к разным языкам; при этом он рассуждает о воздействии изящных искусств, в частности живописи и музыки. Он показывает, что письменные знаки более всего способствуют прогрессу философского мышления.

Объяснив воздействие языка на интеллектуальные способности, он рассматривает обратную реакцию, которую эти способности, в свою очередь, оказывают на язык. Здесь он стремится показать, как изменения в языке во все времена и во всех странах были связаны с состоянием человеческого духа. Восходя к первопричинам, он изучает влияние климата, нравов, общественных институтов, местных обстоятельств, писателей и так далее.

Он завершает свой труд совершенно новым анализом тех суждений, которые мы выносим о событиях, далеких от нас. Он разделяет их на три класса: суждения о вероятности, суждения по аналогии и гипотезы. Он доказывает, что эти три вида суждений на самом деле сводятся к одному; он исследует степень достоверности, которой они могут обладать, недостатки, которые им могут быть свойственны, их потенциальную плодотворность и, наконец, роль, которую в них играют языковые знаки.

Эта первая часть, где собраны основные феномены мышления, доказывает, что данная наука, столь неудачно названная метафизикой, или сверхъестественной наукой, на самом деле является разделом естественной истории человека - самой прекрасной и важной частью истории природы.

Эта первая часть заставляет с живым нетерпением ожидать появления второй, которая станет продолжением и практическим применением принципов, изложенных в первой. Она представит разуму полный свод полезных уроков, подкрепленных удачными примерами.

Развивая основы элементарной метафизики, гражданин Дежерандо находит возможность выразить чувства своей души. Везде, где он хотя бы издалека видит возможность послужить человечеству, идею полезной реформы законов, нравов или мнений (а изучение метафизики ведет ко всем этим целям), его стиль обретает движение и краски; его душа трудится вместе с разумом, поддерживает его, согревает и наполняет силой. Читая его, осознаешь, что талант анализировать тайные операции рассудка тесно связан с тем удовольствием, которое добродетельный человек всегда находит в познании самого себя.

(Journal de Paris от 13 флореаля VIII года. - 3 мая 1800 г.)

О психологическом методе, предисловие к переводу «Очерков моральной философии» Стюарта, авторства господина Жуффруа.

В предисловии господина Жуффруа к его переводу Стюарта я читаю следующее положение: *«...Наш разум обладает двумя различными направлениями взгляда: один обращен вовне через посредство чувств, другой - на самого себя и на факты, происходящие во внутреннем мире,*

без какого-либо посредника. Первый из этих двух взглядов - это ***чувственное наблюдение****; второй -* ***внутреннее наблюдение****, которое также называют* ***сознанием*** *или внутренним чувством. Таким образом, существуют два четко разграниченных наблюдения, в равной степени реальных и обладающих одинаковым авторитетом. То, что мы здесь утверждаем, - не философская система; это факты настолько же достоверные и осязаемые, насколько они вообще могут быть таковыми»*. Невозможно выразиться более утвердительно, лучше приспособить формы уверенности к метафизике, точнее уловить тон убежденности и показать себя более пораженным очевидностью! Что ж! Здесь меня одолевает моя привычка, на которую весь этот пафос не производит впечатления, и я говорю: *«Это неясно»*.

Я прекрасно понимаю, что человек, у которого из квартиры через окна открывается вид на сельскую местность или на улицу, также видит интерьер своей квартиры и может досуге рассматривать его при закрытом окне. Понятно, что он может одинаково хорошо наблюдать и знать как внутреннее пространство своего дома, так и внешнее; как мебель внутри, так и всё, что находится по соседству - деревья, растущие по одну сторону в его саду, людей и кареты, проезжающие по улице, и детей, играющих в его комнате.

Я также прекрасно понимаю, что автор уподобляет человеческий разум тому человеку, которого я только что представил; что он рассматривает разум как способность, отличную от любой другой, и что глаза, созерцающие внешние объекты, для него - лишь окна, через которые он познает окружающий мир, в то время как сам он изучает и рассматривает ощущения и идеи, передаваемые ему этими же глазами, и работает над этими идеями, классифицирует их, делит, разделяет и так далее. Мне кажется, автор верно передал бы свою мысль, сказав следующее: *«Внутреннее чувство подобно владельцу лавки, куда постоянно поступают и откуда уходят новые товары. Этот владелец, находясь в задней комнате лавки, ведет учет этих приходов и расходов, знает, что есть в наличии, а чего не хватает на складе, а также понимает, какие смешивания или перестановки товаров он мог бы произвести для своей наибольшей выгоды»* и так далее.

Я бы очень хорошо понял подобное сравнение автора. Он бы предельно ясно объяснил, как он намерен представлять внутреннее чувство. Однако я не понимаю, как он может понимать сам себя. Я понимаю, **что** он хочет сказать, при этом ничуть не продвигаясь в понимании смысла того, **что** он говорит. Я прекрасно понимаю, что автор хочет сказать именно это; но я не понимаю, что это означает.

Я признаю лишь одну-единственную способность: способность чувствовать, сохранять впечатление от почувствованного предмета; иными словами, способность испытывать ощущения и удерживать их образы или идеи. И я думаю, и мне кажется, что я отчетливо чувствую, что все операции моего разума - это естественный результат и спонтанная игра, сочетание, произвольное притяжение или отталкивание моих идей разных возрастов, разных родов, разных степеней абстракции, а также новых ощущений, которые непрестанно примешиваются к ним, добавляют новые идеи или создают новые комбинации идей...

Вот моя система, верна она или ложна. Г-н Жуффруа принял - или, по-моему, из-за обманчивости слов полагает, что принял - другую. Достаточно ли просто изложить её, чтобы доказать? Я утверждаю, что его формулировка туманна; я могу даже сказать, не желая быть резким, что для меня она невразумительна. Для меня не существует интеллекта, отдельного от другого интеллекта; интеллекта, судящего другой интеллект; **интеллекта самого интеллекта**. Мой разум един, когда он судит обо всем, о чем я сужу: как о явлениях, которые вы называете внешними, так и о явлениях внутренних.

Понимаете ли вы сами себя? Сейчас мы это увидим.

Вы ведь не своим внутренним чувством судите о том, что собака рассуждает, а другой человек мыслит разумно. Следовательно, вам не нужно внутреннее чувство, чтобы признать, что вы судите сами. Вы не признаете наличия двух интеллектов у животных. Между тем собака судит; более того, она даже судит о том, что судит другая собака, и это доказывается теми комбинациями действий, которые совершают собаки, когда они вместе охотятся. Почему же собака не заходит в своих суждениях так же далеко, как человек? Потому что ей недостает

великого инструмента речи, великого средства выражения через знаки; отнимите этот инструмент у людей, и вы больше не найдете, к чему применить ваше внутреннее чувство или самоощущение.

Я утверждаю, что автор сам себя не понимает, и нахожу тому доказательство, видя, как он терпит неудачу в определении, которое должно было пролить свет на его систему: он разделяет *чувственное наблюдение* и *внутреннее наблюдение*. Но я спрашиваю, какая аналогия существует между словами «наблюдение» и «чувственное»? Имеет ли смысл такое сочетание? Логично ли оно? Правильно ли это с точки зрения французского языка?

Я объясню, почему автор не допустил более точного выражения, то есть более соответствующего истинам, которые он сам вовсе не оспаривает. Дело в том, что он подходил как раз к тому великому подводному камню, коим является ясно изложенная ошибка, которая рушится сама собой. Автор очень хотел бы сказать: *«Наблюдения, сделанные над объектами, которые воздействуют или воздействовали на органы чувств»*; но тогда он увидел бы, что никаких других наблюдений не существует и не может быть, и что «внутреннее наблюдение», которое ждало своего укромного места, чтобы встать в пару к «чувственному наблюдению», попросту бы испарилось. Добавьте к этому, что любое наблюдение, кроме наблюдения по факту, может быть только внутренним, каковы бы ни были объекты или идеи, к которым оно применяется.

(Из 5-го тома собрания сочинений; Матиньон, 29 апреля 1833 года)

Примечания к ретроградной теории обучения, которая принижает современное преподавание.

Ощущение - это не просто воздействие на орган чувств; это воздействие, которое переносится, продлевается, проводится - я не говорю в мозг, но в мою голову. Именно в моей голове ощущение становится идеей. Что мешает нам уже здесь различать внешнее чувство и внутреннее чувство? Или, скорее, внешнее ощущение и внутреннее ощущение? Мешает этому то, что не существует ощущения без связи внешнего органа с внутренним; ощущение едино, и орган един.

Представьте зеркало, в котором отражаются предметы: оно не чувствует этого впечатления. Предположите, что оно обладает настолько мягкой и эластичной природой, что присутствие предметов изменяет его и отпечатывается на нем. Но если это воздействие не идет дальше, то это лишь *впечатление*, а не ощущение.

Теперь предположите наличие *сенсориума* за этим стеклом, и что впечатление передается туда и также изменяет его; вот это уже *ощущение*. Таков наш способ существования; по крайней мере, это то, что нам о нем известно.

Однако утверждают, будто у нас есть некий *вторичный сенсориум*, который наблюдает за первым и даже воздействует на него. Я далек от того, чтобы признавать этот второй орган или эту вторую способность, и считаю, что все феномены разума объяснимы тем, что я называю ощущением.

Должен заметить тем, кто не хочет признавать это свойство ощущения, что серьезная ошибка, по-видимому, была вызвана в одной из ветвей физиологии непризнанием этого свойства; и, если я не ошибаюсь на этот счет, отсюда следует, что если физиология ошиблась относительно природы ощущения, то абстрактная наука о рассудке - или неодушевленная сила, которую называют физиологией - тем более могла ошибиться и сама. Я имею в виду давно установившееся в оптике мнение, согласно которому *мы видим предметы перевернутыми, и именно суждение, подкрепленное осязанием, исправляет ошибку ощущения.*

Это мнение основано на неоспоримом факте. В силу закона преломления объекты запечатлеваются на сетчатке в перевернутом виде. Вывод, который сделали из этого факта, был бы верен лишь при одном из двух предположений: (1) либо ощущение заключается исключительно в эффекте, производимом на сетчатку присутствием перевернутого объекта, (2) либо же эффект, производимый на сетчатку, в точности передается чувствительному центру (сенсориуму) через саму сетчатку. Однако:

1. Эффект, производимый на сетчатку, - это чисто световой эффект, подобный тому, который отображает объект, находящийся перед зеркалом. Ощущение находится не в глазу, так же как запах не в носу, а чувство ожога - не в самом обожженном пальце.

2. Поскольку было признано, что ни идея, ни само ощущение, вызванное видом тел, которые рисуются на сетчатке перевернутыми, не представляют их нам перевернутыми; что мы видим их прямыми, какими они и являются на самом деле; и что считать их выпрямленными с помощью суждения - это иллюзия, - то справедливо будет заключить, что это заблуждение возникло из-за того, что мы, если можно так выразиться, урезали само понятие ощущения. Мы восприняли его лишь в момент первого контакта, при первом соприкосновении с нашими органами, вместо того чтобы дождаться его внутреннего расширения, которое и составляет суть ощущения.

Оптика

Глаз - это зеркало, но зеркало прозрачное; это означает, что оно отражает свет и пропускает его сквозь свою толщу. Как зеркало, он рисует объекты перевернутыми, и это наблюдение не ново. Однако глаз производит и другой эффект, свойственный всем зеркалам: он помещает справа то, что в изображаемом объекте находится слева, и наоборот.

Из первого явления сделали вывод, что мы видим объекты перевернутыми, и что в нашем мозгу они выпрямляются лишь благодаря суждению ума. В таком случае следовало бы также признать, что мы видим объекты поменявшимися сторонами (справа налево). Однако этого не говорят. Не для того ли, чтобы не громоздить одну ошибку на другую?

Но если бы мы встали за зеркалом, которое предположим прозрачным, словно оно не покрыто амальгамой, увидели бы мы те же объекты поменявшимися сторонами? Нет, мы бы видели правое справа, а левое слева. Видели бы мы их перевернутыми? Тоже нет. Изображение объектов в моем глазу - это лишь результат действия отраженного или преломленного света; образ или идея объекта в моем мозгу - это результат восприятия, происходящего через оболочку моего глаза, которая служит зеркалом.

ВОПРОС ОПТИКИ.
Видим ли мы объекты прямыми или перевернутыми, и именно ли опыт осязания приучил нас их выпрямлять?[13]

Это вопрос, вызывающий споры среди физиков, физиологов, математиков и метафизиков: видим ли мы объекты перевернутыми или же в их истинном положении. **Бюффон**, **Кондильяк**, Лекат, а также, полагаю, Галлер и **Локк** утверждают, что мы видим их перевернутыми, но наше суждение, исправленное органом осязания и ставшее привычным, возвращает их на свои места. Ньютон, Вольтер, д'Аламбер, Рошон, Кондорсе, Шарль утверждают, что мы видим их прямыми, и что для этого нашим глазам не нужны уроки осязания, равно как и нашей душе не требуется выносить какое-либо суждение.

[13] Там же, с. 381.

Довод, который Бюффон, Кондильяк и другие приводят в пользу своего мнения, заключается в том, что объекты рисуются на сетчатке перевернутыми. Сетчатка - это продолжение зрительного нерва; именно через впечатление, которое она получает от объектов, мозг оповещается об их присутствии, цвете и положении. Представление, которое формирует мозг, следовательно, должно соответствовать полученному им впечатлению. Такова, вкратце, их система.

Ньютон, Вольтер и другие согласны с тем, что объекты запечатлеваются на сетчатке в перевернутом виде, и Ленге - единственный из всех авторов, писавших об оптике, кто отрицал эту истину, признанную всем миром. Однако они говорят нам: *«нижняя часть глаза, принимающая лучи, идущие от верхней части объекта, мгновенно соотносит свое ощущение с верхней частью объекта, а верхняя часть сетчатки также естественным образом соотносит ощущение с нижней частью; таким образом, объект видится в его истинном положении»*. (Вольтер, «Элементы философии Ньютона», глава «О зеркалах», с. 132, издание Келя, формат в 12-ю долю листа). Кондорсе в примечании, которое он добавил к этим словам, выражается так: *«Аббат Рошон строго доказал опытным путем, что, согласно остроумному предположению господина д'Аламбера, мы видим объекты в направлении перпендикуляра, проведенного от объекта к глазному дну; из этого следует, что мы должны относить вверх тот объект, чье изображение начертано в нижней части глаза, и вниз тот, чье изображение начертано в верхней части глаза. Таким образом, суждение души не является необходимым для выпрямления изображений предметов, хотя оно может потребоваться для того, чтобы научить нас соотносить их в целом с определенным местом в пространстве». В развитие того же принципа Шарль говорит: «Именно потому, что предметы запечатлеваются в глазу в перевернутом виде, глаз видит их прямыми»*.

В этих двух противоположных объяснениях содержатся, как мне кажется, одинаково неразрешимые трудности. Даже не видя опытов Рошона, я прекрасно понимаю, что луч, полученный нижней частью сетчатки, идет по прямой линии от верхней части объекта, а тот, что падает на верхнюю часть сетчатки, идет от нижней части объекта. Но это не является основанием для того, чтобы я видел объект в его истинном положении. Что значит «видеть»? Это, несомненно, не просто пассивное восприятие контакта со светом, отраженным телами: парализованный глаз воспринимает это впечатление от светящихся тел, он получает изображение и отражает его так же ярко, как и самый здоровый глаз; но из-за отсутствия связи с мозгом он не передает туда никакого ощущения, не оставляет там никакой идеи. Он выполняет функцию зеркала, и только. Следовательно, видеть - это не просто получать отпечатков предметов на сетчатке, это еще и воспринимать его в мозгу. Видеть - значит чувствовать изображение, запечатленное в глазу. Собственно говоря, **видит именно мозг**, а глаз служит лишь посредником для передачи.

Исходя из этого, как глаз, воспринимая объект только в перевернутом виде, может показывать его прямым? Глаз рисует предметы, а разум, который один только их видит, наблюдает их лишь в этом рисунке: как же он может видеть их иначе, чем они нарисованы? В «Теории света» из «Трактата об оптике» (1-й том, формат в 4-ю долю листа, напечатан в 1752 году с одобрения Академии наук) сказано, *«что в зависимости от того, совершенны или несовершенны рисунки (переданные на глазное дно), предметы видятся отчетливо или неотчетливо. Если глаз подвержен влиянию какого-либо цвета настолько сильно, что он окрашивает рисунки, возникающие на сетчатке, то все предметы будут казаться окрашенными в тот же цвет»*. Как же тогда, будучи нарисованными перевернутыми, они видятся прямыми? Вот что совершенно не объясняет рассматриваемая система.

Кондорсе действительно говорит, что мы должны относить вверх тот объект, чье изображение начертано в нижней части глаза. Но кто это - «мы»? Наш глаз? Наш разум? Если это наш разум, значит, он выносит суждение. И что вообще значит «относить вверх»? Относить - значит высказываться о существующем отношении или изменять мысленно отношение, воспринятое зрением; следовательно, это в любом случае деятельность разума. С другой стороны, мне кажется очевидным: во-первых, что мы действительно видели бы предметы перевернутыми,

если бы не научились знать их такими, какие они есть, еще до того, как увидели их, но это обучение происходит не под влиянием уроков и опыта осязания; во-вторых, что нам не нужны уроки осязания, чтобы распознать истинное положение предметов, и что их было бы недостаточно, чтобы указать нам на него; и наконец, что само это суждение не исправляет ошибку зрения, а предваряет и предотвращает ее.

Прежде всего я утверждаю, что мы видим предметы перевернутыми, потому что они именно так изображены в нашем глазу. Далее я утверждаю, что мы выпрямляем их посредством суждения, и это необходимо, поскольку у нас всегда есть точное представление об их положении; добавлю, что это происходит благодаря привычному суждению, так как оно не могло бы всегда быть верным и быстрым без соответствующей привычки. Я утверждаю, что нам *не нужны уроки осязания*, чтобы распознать истинное расположение объектов, так как на самом деле легко убедиться, что *зрения достаточно*, чтобы дать нам знание - я не говорю о расстоянии до объектов, но об их положении: вверху или внизу, с одной стороны или с другой.

Вот наблюдения, которые я привожу для доказательства этого: предположим сначала, что на стене в двадцати футах от меня проведена вертикальная линия длиной в десять футов. Занавес полностью скрывает её от моего взора; но внезапно этот занавес опускается на одну десятую дюйма и, следовательно, открывает мне точку в верхней части линии. Я предполагаю, что эта вершина линии очень ярко освещена и сияет. Свет, который она отражает, достигает моего глаза и попадает на сетчатку. Что происходит в этот момент? Одно из трёх: (1) либо мой глаз находится в естественном, то есть горизонтальном положении, так что зрительная ось направлена на середину линии, то есть на пять футов ниже открытой, видимой и светящейся точки этой линии; (2) либо он опущен, и зрительная ось направлена на нижнюю часть линии, то есть к подножию стены; (3) либо, наконец, глаз поднят так, что зрительная ось направлена точно на светящуюся точку линии.

Если мой глаз опущен и обращен к подножию стены, тогда свет, отражённый линией, проведенной наверху, может попасть на мою сетчатку только в её нижней части, так как верхняя часть ресничного продолжения моего глаза перехватывает все лучи, которые могли бы попасть в верхнюю и даже в среднюю часть сетчатки. Если мой глаз расположен горизонтально, то светящаяся точка линии всё равно попадает в нижнюю часть моей сетчатки, но не так низко, как в предыдущем случае, потому что в этом положении ресничное продолжение перехватывает меньше верхних лучей. Наконец, если мой глаз поднят к светящейся точке, то она полностью отображается в центре моей сетчатки. Каким бы ни было положение моего глаза в момент, когда на него падает свет от светящейся точки, очевидно, что ощущение и изображение, получаемое сетчаткой, будут менять своё место при каждом движении, которое совершит мой глаз; например: если в момент получения первого луча он был опущен и постепенно поднимается к светящейся точке, то изображение на сетчатке точно так же будет подниматься, пока не окажется точно в центре. То же самое будет и при горизонтальных перемещениях справа налево или слева направо.

Исходя из этого, мне кажется, что если мой разум получил от осязания только идеи тела и пространства, то мне достаточно моего глаза, чтобы составить представление о положении точки, на которую он смотрит. В самом деле, поскольку каждое движение, которое я заставляю совершать свой глаз, смещает изображение светящейся точки, от которой он получает свет, и всегда помещает его в точку на сетчатке, определяемую разницей угла, образуемого зрительной осью с перпендикуляром к светящейся точке, то ощущения, которое я испытываю от этих изменений, достаточно, чтобы дать мне понять соотношение положений, и тем более для того, чтобы дать мне само представление о положениях. Таким образом, мне нужен только тот орган, с помощью которого я испытываю это ощущение, то есть зрение, и мне совершенно не нужно осязание, чтобы судить о положении светящейся точки. Вот первое наблюдение, на котором мне показалось необходимым заострить внимание. Пойду дальше.

Если я закрою верхнюю светящуюся точку, чтобы открыть такую же внизу, процесс зрения пойдёт в обратном порядке, и разум получит новое наставление, подтверждающее его суждение. В первом опыте он узнал, что для того, чтобы светящаяся точка попала непосредственно

в центр сетчатки, нужно поднять глаз; во втором опыте он узнает, что для получения того же эффекта глаз нужно опустить; следовательно, первая точка находится вверху, а вторая - внизу. Это очень простой и верный вывод.

В том, что я только что сказал, речь идёт лишь о светящихся точках, которые, следовательно, не имеют ни верха, ни низа и не могут быть отображены ни в прямом, ни в перевёрнутом виде. Теперь откроем эти две точки одновременно. Вернёмся для этого к линии, которую мы провели на стене; опустим и поднимем занавес на одну точку так, чтобы была открыта одна светящаяся точка внизу линии и одна вверху. Что происходит в этот момент? Если мой глаз поднят к верхней светящейся точке, свет от нижней точки не попадёт в мой глаз, попадая лишь на верхнюю часть сетчатки, в то время как свет от верхней точки будет проецироваться точно в центр. Таким образом, лучи будут пересекаться. Если мой взгляд будет постепенно опускаться от верхней части линии к её середине, изображение верхней светящейся точки будет опускаться в моем глазу точно так же, как и изображение нижней точки. Когда я достигну точки, соответствующей середине линии - так что ось моего зрения станет горизонтальной, то есть будет направлена на середину линии (которую мы всё еще считаем закрытой), - два перпендикуляра, исходящие из крайних точек и по-прежнему пересекающиеся, окажутся на равном расстоянии от центра сетчатки. При этом свет, исходящий из верхней части линии, запечатлеется внизу, а свет из противоположной точки - вверху. Если же мой глаз обратится к нижней светящейся точке линии, то перпендикуляр, опускающийся от верхней точки, окажется еще ниже, чем прежде, а луч от нижней точки попадет точно в центр сетчатки. Мы видим, что при любом положении глаза лучи, исходящие сверху и снизу, всегда пересекаются, но образуют углы разной величины, и вершины этих углов оказываются то в верхней, то в нижней части глаза.

Мне кажется, что глаз, на практике проверив всё это в ходе опытов по обеим предыдущим гипотезам, усваивает следующее: если раздражение падает на нижнюю часть сетчатки, значит, луч идет сверху, и наоборот. Поэтому глазу не сложнее соотносить изображения с их истинным местоположением, когда они воздействуют на него одновременно (одно сверху, другое снизу), чем когда он рассматривал их по отдельности. Когда я вынужден поднять глаза, чтобы поймать световой луч на ось своего зрения, объект находится наверху; когда же происходит обратное - он внизу. Без сомнения, в этот момент происходит определенное суждение разума, которое предотвращает ошибку органа чувств; однако это суждение явно выносится на основании **зрительного опыта, а не опыта осязания**.

Более того, поскольку ощущение светящейся точки является самым первым ощущением, которое мы получаем через зрение, именно с этого ощущения, а не с рассмотрения целых объектов, начинается обучение этого чувства в детстве, когда мы только пробуем наши органы в деле. Таким образом, ощущения светящейся точки являются теми базовыми элементами, с которыми мы сравниваем все остальные. Одним словом, наши первые представления о свете возникают при рассмотрении одиночной светящейся точки, а не протяженного объекта. Следовательно, наши первичные идеи о свете соотносят вызывающие их ощущения именно с тем местом, где в действительности находятся порождающие их светящиеся точки. Когда мы вынуждены поднять взгляд, чтобы увидеть их прямо перед собой, мы судим об объекте как о высоком, и считаем его низким, когда глаз приходится опускать. Поскольку эти первичные суждения верны, они служат для предотвращения ошибок, которые могли бы возникнуть из-за пересечения световых лучей в дальнейшем, когда глаз начинает рассматривать протяженные объекты. А раз они предотвращают эти ошибки, то и не возникает нужды их исправлять. Таким образом, будет даже не совсем точным сказать, что практика зрения исправляет свои ошибки; скорее, первые упражнения зрения предотвращают ошибки последующих. Мы учимся видеть объекты через видение светящихся точек, и как только это обучение завершено, заблуждений более не возникает.

Если в качестве четвертого эксперимента полностью убрать завесу, скрывающую упомянутую световую линию, то для меня очевидно, что в представлении о положении двух её край-

них точек ничего не изменится, и мы будем видеть каждую из них на своем месте. Мое последнее утверждение заключается в том, что если бы зрение само не «выпрямляло» объекты (то есть не соотносило представление о них с их истинным положением), то, вопреки привычкам осязания, в природе для нас возникло бы странное противоречие между положением близких предметов и предметов такого же размера, находящихся на большом расстоянии. В самом деле, какое-нибудь дерево вблизи отражалось бы в нашем глазу в перевернутом виде, в то время как другое дерево того же размера, но видимое издалека (настолько, чтобы казаться не больше зрачка), запечатлелось бы в глазу в прямом положении. Таким образом, одна часть природы фактически была бы перевернутой, тогда как остальная стояла бы прямо. Опыт, приобретенный через осязание, не смог бы избавить нас от восприятия подобного противоречия. Осязание не могло бы выправить положение объектов, находящихся непосредственно перед нами, не оставив нас в замешательстве перед далекими объектами, которые запечатлелись бы на сетчатке правильно.

Из вышесказанного я делаю следующий вывод против Бюффона: 1) неверно, что осязание необходимо для исправления представлений, которые мы получаем через зрение; 2) неверно, что представления о положении объектов, приходящие к нам через зрение, нуждаются в каком-либо исправлении.

Я делаю вывод против Ньютона: неверно, что без всякого участия разума мы видим объекты в их истинном положении; и я утверждаю: 1) что без суждений разума мы видели бы объекты перевернутыми; 2) но суждения разума не исправляют, а предотвращают ошибки зрения; и 3) что эти суждения основываются на первичном зрительном опыте, а вовсе не на опыте осязания.

И приложил особые старания к прояснению этого вопроса по нескольким причинам. Во-первых, я считаю любое заблуждение опасным - либо из-за последствий, которые из него могут вытекать, либо потому, что оно занимает место истины и тем самым, возможно, закрывает путь ко многим другим открытиям. Я верю, что любая истина полезна сама по себе либо благодаря тем связям, которые она образует, и тем истинам, которые она влечет за собой или подкрепляет. Во-вторых, я полагаю, что точный анализ работы наших чувств необходим для совершенного познания рассудка, а это последнее познание еще более необходимо для руководства в вопросах морали и политики. В-третьих, мне показалось, что физика была не прочь переложить на науку о рассудке, которую она называет метафизикой и к которой относится с некоторым пренебрежением, трудности невыполнимого доказательства. И я с удовольствием попытался избавить ее, насколько это было в моих силах, от нелепой обязанности заставлять учеников верить в утверждение, против которого восстает само свидетельство зрения, выдавая это свидетельство за привычку разума, приобретенную под влиянием и уроками осязания.

Физики провозгласили, что метафизика - это наука, в которой даже сами учителя не понимают друг друга. Первое, что нужно сделать, чтобы доказать им возможность взаимопонимания в этой науке, как и в любой другой, - это ничего не принимать из физики без проверки и подтверждения, и именно это я и пытался сделать в вопросе оптики, которым только что занимался.

(Из 5-го тома собрания сочинений. Мемуар, прочитанный в Институте, в классе моральных и политических наук, 12 мессидора VI года (30 июня 1798 г.).

Вольтер. Философский словарь. - Видение.

«Нет ничего необычного в том, что человек, находясь в состоянии сильного волнения, видит то, чего не существует...». «Фантастические видения очень часто случаются при сильной

лихорадке. Это не просто воображаемое зрение, это видение на самом деле. Призрак существует для того, кто его воспринимает. Если бы дар разума, данный человеческому механизму, не приходил на помощь, чтобы исправить эти иллюзии, любое разгоряченное воображение находилось бы в почти непрерывном исступлении, и вылечить его было бы невозможно». «Именно в этом промежуточном состоянии, между бодрствованием и сном, возбужденный мозг видит воображаемые объекты и слышит звуки, которые никто не произносит. Страх, любовь, боль, раскаяние - вот художники, рисующие картины в потрясенном воображении. Глаз, который ночью получает толчок в области внутреннего угла (canthus), дает лишь очень слабое представление о воспалительных процессах в нашем мозгу».

«...Возможно, что со временем (в те времена, когда Провидение соблаговолило использовать эти явления, эти видения, во благо еврейского народа) некоторые души, истинно благочестивые, но обманутые собственным энтузиазмом, поверили, будто получают тайные откровения от Бога, в то время как это было лишь плодом их разгоряченного воображения. Именно тогда необходим совет честного человека и, прежде всего, хорошего врача...». «...Нужно быть очень просвещенным, чтобы отличить в этом огромном количестве видений те, что исходят от самого Бога, от тех, что порождены лишь воображением...». «...Люди, занятые расчетами или сложными делами, обычно обладают скудным воображением».

«Когда оно слишком пылкое, слишком бурное, оно может перерасти в безумие; но было замечено, что эта болезнь органов мозга гораздо чаще становится уделом пассивного воображения, ограниченного воспринимать глубокое впечатление от предметов, чем те активные и трудолюбивые умы, которые собирают и комбинируют идеи; ведь такому активному воображению всегда требуется суждение, в то время как другое от него не зависит».

Но нельзя ли выразиться проще: рассеянное и мечтательное воображение больше склонно к заблуждениям, чем то, которое занято каким-либо трудом, так как работа над сочинением опирается на суждение, дает ему практику, и в результате суждение направляет воображение. Праздность неизбежно становится матерью множества безумств, если не множества пороков. Поэтому нужно стараться занять каким-либо делом умы неупорядоченные или склонные к этому. В творчестве обычно стремятся угодить публике или друзьям, словом, какому-то читателю; именно это заставляет следовать принятым идеям, соглашаться с чужим разумом и использовать его как компас.

Гельвеций: Интерес - единственный мотив человеческих поступков.

Смит: Сочувствие - единственный мотив человеческих поступков.

Гельвеций: Под интересом я понимаю чувство потребности, соединенное с желанием или отвращением к предмету, который, как нам кажется, должен удовлетворить эту потребность или помешать ей.

Смит: Под сочувствием я понимаю природную склонность разделять удовольствия и страдания себе подобных и видеть, что они разделяют наши.

Гельвеций: Мой принцип выводит все действия каждого человека из любви к собственному благополучию.

Смит: Мой принцип выводит все действия каждого человека из необходимости, в которую его поставила природа - находить свое благополучие в благополучии себе подобных.

Гельвеций: Любовь каждого человека к своему благополучию - это чувство, в существовании которого невозможно сомневаться.

Смит: Аналогичное замечание.

Гельвеций: Благополучие людей может быть лишь результатом того добра, которое они делают себе подобным.

Смит: Аналогичное замечание.

Гельвеций: Следовательно, любовь к благополучию - это принцип благодеяния.

Кондильяк уверяет нас, я бы даже сказал, учит нас тому, что для правильного рассуждения в морали и политике достаточно хорошо говорить на хорошо составленном языке. Поскольку у нас нет хорошо составленного языка, то следует сказать, что для правильного рассуждения в этих двух видах дискуссий нужно делать все возможное - не создавать новый язык, который был бы произвольным выражением более или менее случайной системы, а вырабатывать свой язык внутри общепринятого и привычного языка. То есть точно определять смысл, в котором употребляется слово, имеющее несколько значений.

Если бы эту работу проделали несколько уважаемых авторов, вдумчивые читатели пришли бы к пониманию того, что такое хорошо составленный язык или как правильно развивать язык.

Химия стала точной наукой благодаря своей новой номенклатуре. Реформирующая науку номенклатура - это плод наблюдательного ума, который, подбирая подходящие слова для вещей и не всегда их находя, пришел к созданию номенклатуры, соответствующей самим вещам.

Когда в морали и политике у нас появится свой Лавуазье, мы сделаем огромный шаг навстречу науке. Но не стоит ждать ничего, кроме разочарования, от использования слов, которые заранее предрешают вопросы, предполагают определенное мнение или выдают за доказанное то, что еще только обсуждается.

Таково слово «совесть».

.... В анализе причин наших ошибок, и в поиске средств, которые можно им противопоставить, автор действительно создал превосходную логику;[14] она просвещает, она убеждает, и из неё можно вынести две вещи, которые обычно не знают и которые почти никогда не объединяют: быть строгим к себе и снисходительным к другим. Здесь человека учат управлять своим умом и, прежде всего, оберегать его от любого чужого господства.

Логика в данном случае - это не бесполезное искусство подгонять рассуждения под формы, гарантирующие их правильность, а умение сохранять свободу внимания и размышления, которые ценнее любых методов, избавляющих от необходимости мыслить самостоятельно.

В секретах этой логики заключена и мораль. Говорят, что в дискуссиях, касающихся нравственности, порядочному человеку не нужно никакое искусство; под этим, несомненно, подразумевают хитрость - то есть искусство, направленное против других. Однако ему необходимо искусство, направленное на самого себя: чтобы закрыть доступ необузданным страстям и слепым привычкам; чтобы вынести их на свет; чтобы приостановить преждевременные решения и удерживать свой ум в состоянии сомнения до тех пор, пока истина не придет освободить его. Таково искусство добродетельных людей и мудрых умов.

О привычке

Какая же это счастливая способность - приобретать привычки! Как она смягчает нравственные невзгоды! Как она сокращает и рассеивает их! Раньше говорили «добрый час» (*bonne heure*) или «дурной час» (*mal heure*), подразумевая счастье или несчастье. Знание этимологии

[14] Там же, с. 381.

часто является наукой о подлинных нравственных понятиях. Данный пример, как мне кажется, указывает на бесспорную истину, что в любой моральной ситуации есть лишь «добрый час» и «дурной час». Несчастье заключается не в том, чтобы лишиться огромного состояния, а в самом процессе его утраты. Огорчительно не само падение, а момент, когда ты падаешь. Я предполагаю, однако, что при переходе от богатства человек не впадает в нужду и нищету - что было бы уже *физическим несчастьем* и не относится к моей нынешней теме, - а лишь оказывается в бедности, то есть в простом лишении излишеств.

Когда человек теряет большое состояние, он собирает в своей памяти и оплакивает разом все те удовольствия, которые выпадали ему лишь изредка среди затяжной скуки. Он связывает в один узел тысячи бед, которые в бедности случаются еще реже, чем в богатстве, причем чередуясь с радостями, и ужасается их виду. Он сокрушается из-за лишения тысячи вещей, которыми пользовался без всякого удовольствия, но лишь потому, что подозревает: страдание неизбежно начинается в той точке, где заканчивается наслаждение. Он полагает, будто вещи, цену которых он перестал чувствовать из-за пресыщения, необходимы его природе... Что ж! Во всем этом реально лишь одно - мука от разрыва привычек своего благополучия, от необходимости менять направление мыслей, переворачивать систему своих желаний и надежд, отступать на несколько шагов назад, приближаться к тому, чего не знал, и знакомиться с тем, чего боялся; словом - заводить новые привычки.

Бывают такие потери состояния, которые приближают вас к счастью больше, чем вы были к нему прежде. Предположим, что существует сто различных степеней всевозможных благ, которыми можно пользоваться в мире благодаря богатству. Поскольку привычка быстро делает человека безразличным к тому, чем он уже владеет, и освобождает место для желания подняться на ступень выше, человек, стоящий на последней или на девяносто девятой ступени, находится на грани истощения радостей, если уже не достиг её. В то же время тот, кто находится на середине лестницы, на сороковой или пятидесятой ступени, оставляет между собой и нищетой (которая находится ниже первой ступени) достаточно места, чтобы не бояться её, и видит над собой достаточно ступеней, чтобы не опасаться пресыщения всеми удовольствиями. Следовательно, лучше находиться в «золотой середине» достатка, чем на вершине или подле неё.

Я всегда поражаюсь тому, как мало я сожалел, расставаясь со множеством удовольствий, которые стоили мне стольких желаний; вернее, меня поражает та пылкость и упрямство, с которыми я желал тысячи вещей, а затем терял их без всякого сожаления. Маленьким мальчиком я только и мечтал о том, чтобы у меня был слуга, которому я мог бы приказывать; в двадцать лет он у меня появился; в двадцать четыре я считал невозможным без него обходиться; в тридцать он мне наскучил; в сорок я счел за счастье вовсе не иметь слуг. Тогда я заметил, что хозяин и слуга - это два раба, привязанных друг к другу, и что более зависимым из них остается именно хозяин. Я осознал, что свободен лишь тот, кто не нуждается ни в слуге, ни в услугах. В двадцать лет пределом моих желаний были карета и множество лошадей; в двадцать пять я тратил огромные суммы и силы на приобретение упряжи и экипажей; в тридцать я счел более удобными наемные кареты с помесячной оплатой, так называемые ремизы; в тридцать шесть я отдал предпочтение фиакрам; в сорок я предпочитаю собственные ноги. Я заметил, что, постоянно разъезжая на лошадях, я теряю способность ходить самостоятельно; что я приношу свои ноги в жертву лошадям, хотя думал, что жертвую лошадьми ради удобства своих ног. Мои лошади были привязаны ко мне меньше, чем мои собственные ноги. Я понял, что совершил ошибку, обрекая на бездействие ноги, которые никогда меня не покинут, ради лошадей, которые, возможно, оставят меня уже завтра.

Повторюсь: бояться следует не столько лишения предметов удовольствия, сколько потери ориентиров или истощения самой способности наслаждаться. Когда я не голоден, я едва могу заставить себя съесть даже ортоланов! Но когда есть аппетит, я с удовольствием ем простой хлеб. Ведь способность наслаждаться неразрывно связана со способностью желать, а способность желать подпитывается привычным отсутствием большинства предметов удовольствия.

Журнал «Меркурий» упрекает «Всеобщий катехизис» Сен-Ламбера в том, что тот основывает мораль на разумно понятом интересе, вместо того чтобы опираться на религиозные идеи. Однако и сами религиозные идеи служат фундаментом морали лишь благодаря чувству личного интереса. Когда религия обещает рай праведникам и ад грешникам, она взывает к личному интересу. И когда она говорит: «*Предпочтите вечное блаженство минутным удовольствиям*», она взывает уже к интересу разумному. Философская мораль дает иные обещания, но обращается она к тому же самому чувству. Она отличается в следующем:

1. Она не ограничивается указанием на связь между будущим счастьем и нынешним поведением; она демонстрирует тесную взаимозависимость между образом жизни и ощущением счастья в самой этой жизни.
2. В качестве будущего она обещает славу и бессмертие достойных имен в памяти сограждан, друзей и родных.

Сравнивая роль философии с ролью религии, можно сказать: если религия действует более убедительно, рисуя картины загробной жизни, то философия сильнее в **описании интересов жизни настоящей**.

Впрочем, нет нужды взвешивать преимущества этих двух наставников. Ничто не мешает им действовать сообща, того требуют интересы морали; их следует рассматривать как помощников друг другу. Религия обещает добродетели вечное блаженство; философия в дополнение к этому предлагает счастье в настоящем и бессмертную славу. И та, и другая способствуют воплощению замыслов природы и правящего ею Творца; обе они предписывают соблюдать его законы и распределяют его благодеяния.

Об искусстве рассуждать.

Примечание. Нижеследующий текст представляет собой частично выдержку, а частично переработку «Искусства рассуждать», входящего в «Курс обучения» Кондильяка. Я изменил те моменты, которые не понял или счел неверно изложенными. Моей целью было закрепить ту систему идей, которую я сформировал либо на основе его мыслей, либо отталкиваясь от них.

Предмет искусства рассуждать.

Собственно говоря, существует лишь одна наука - история природы; эта наука слишком обширна для нас, и мы можем постичь лишь некоторые ее отрасли. Существует лишь один способ овладеть наукой - учиться. Учиться - значит внимательно смотреть, и для этого нужно зафиксировать перед собой объект, который хочешь познать, - одним словом, наблюдать (*observare*).

Мы наблюдаем либо вещи, либо факты, либо и то, и другое вместе; либо внутри себя, либо вне нас. Мы наблюдаем либо отдельные обстоятельства, отвлеченные от вещей и фактов; либо существующие связи между вещами и фактами, либо абстракции тех и других, где мы наблюдаем знаки вещей, факты и их абстрактные обстоятельства, то есть слова, чтобы составить верные представления о вещах, фактах или обстоятельствах, которых мы не видим: это и называется рассуждением. Искусство рассуждать по своей сути - это лишь искусство правильно наблюдать и правильно судить. (*Вступление к «Курсу занятий»*). В искусстве рассуждать, как и в искусстве вычислять, всё сводится к сложению и разложению, и не следует думать, что это

два разных искусства (*Логика*, вторая часть, гл. VII, с. 163.).[15] Строго говоря, объектом искусства рассуждения является *наблюдение за речью*.

Таким образом, существуют всего два направления исследований: **изучение вещей** и **изучение слов**. Изучение вещей требует *внимания*, а изучение слов требует лишь *рассуждения*. Локк говорит в параграфе 3, главы XXI, книги II «Опыта о человеческом разумении», что: *«Способность воспринимать - это то, что мы называем разумением; а восприятие, которое мы рассматриваем как действие разумения, можно разделить на три вида: 1) восприятие идей в нашем уме; 2) восприятие значения знаков; 3) восприятие связи или противоречия между некоторыми из наших идей»*. Наука заключается в достижении очевидности или ***высочайшего правдоподобия***. Следовательно, у обучения есть две цели: очевидность или правдоподобие.

Но что такое очевидность? Это состояние объекта или отношения, которое поражает взгляд; само это слово должно происходить от *e* или *ex videndus*, то есть то, что должно быть увидено из или через. Мы прекрасно понимаем, что такое очевидность вещей, фактов, отвлеченных от них обстоятельств и существующих между всеми ними связей. Но что представляет собой та очевидность, которую ищут при наблюдении или изучении знаков? Строго говоря, знаков не существует без очевидности, и очевидность составляет саму суть знака, т.е. знак является знаком только благодаря очевидности.

Следовательно, здесь нечего изучать - достаточно просто смотреть, чтобы увидеть очевидность знаков. Связь каждого знака с определенными звуками и артикуляциями, которые представляют буквы алфавита и их различные сочетания, становится столь же очевидной, как только выясняется, что по общему соглашению те или иные артикуляции или звуки были закреплены за определенными символами или их комбинациями. Обладать этой очевидностью - значит уметь читать. Очевидность также позволяет узнать, какие идеи представляют слова согласно правилам, установившим язык. Достаточно лишь слушать речь и листать словарь; становится ясно и очевидно, что такое-то слово является выражением такой-то вещи. Достичь этой очевидности - значит уметь говорить; но уметь говорить - это не что иное, как уметь выражать идеи о фактах, вещах, абстракциях, о связях между вещами или абстракциями, чтобы либо зафиксировать их в своем уме, либо изложить другим. Таким образом, очевидность, которую ищут, изучая слова, - это лишь очевидность или уверенность в том, что идеи направлены на вещи. Это лишь очевидность или уверенность в том, что используется средство, соответствующее поставленной цели, инструмент, пригодный для работы ума.

Следовательно, нужно различать очевидность объектов и их связей, и очевидность связи представляющих эти объекты знаков с самими объектами, а также их соответствие друг другу. Постичь и то, и другое - значит обладать человеческим знанием во всей его полноте.

Рассуждение бесполезно для познания субстанций; оно служит для познания связей между объектами и связей между знаками и идеями. Это не операция рассудка; это форма речи; это, скорее, фигура мысли, чем продукт мышления. Формы аргументации, используемые логиками, должны быть частью риторики. Те, что используют геометры, являются лишь переложениями. То, что называют выводом одного суждения из одного или нескольких других, есть лишь демонстрация того, что одно уже содержалось в другом. Операции рассудка ограничиваются ощущением вещей, то есть приобретением идей и ощущением связей, что и является актом суждения.

Рассуждение логиков - это всего лишь способ представления терминов суждения и выражение ощущения той связи, которая существует между этими терминами. Не существует такого суждения, которое нельзя было бы представить без использования аргументативной формы, даже самой простой. Силлогизм, например, чтобы показать тождественность двух идей, сравнивает их с третьей. Достаточно проанализировать их и сравнить между собой:[16] разложение и развитие идей делают их тождественность наглядной гораздо лучше, чем это может сделать их сравнение с неким третьим термином.

[15] Вилларе, т. XIII, с. 303.

[16] Там же, с. 384.

В суждении есть только два термина; пытаться найти третий - значит лишь усложнять его изложение. В математических рассуждениях нет ничего, кроме разложения и развития идей, которые необходимо сравнить.

Мысль никогда не бывает выражена столь удачно, а суждение не передается столь точно, как в тех случаях, когда слово обращено к разуму слушателей таким образом, что оно вызывает у них именно то впечатление, которое возникло у говорящего. Однако, поскольку разум распознал тождество не через сравнение двух терминов с третьим, а путем их непосредственного сравнения друг с другом, он не сможет передать свою идею лучше, чем следуя тем же путем, по которому она пришла к нему самому.

Серьезный изъян формальных рассуждений заключается в том, что ум тех, кто их строит, как и тех, кто за ними следует, привыкает приписывать этим формам достоинство, которым они не обладают, - а именно способность открывать истины, которые не были бы открыты без них. Повторю еще раз: рассуждение само по себе ничего не открывает. У него есть лишь два преимущества: 1) облегчать суждению поиск искомых соотношений; 2) излагать то, что суждение уже открыло (см. примечание, которое я сделал к главе о «Рассуждении» в «Вводных лекциях» к «Курсу обучения» Кондильяка).[17]

Все утверждения, которые были лишь результатом рассуждений или изучения слов без учета самих вещей, всегда оказывались ошибочными; исключением следует считать математику, поскольку её знаки точны, а идеи чисел просты. В философии же большинство таких утверждений, полученных механическим путем рассуждения, либо преграждали путь к полезным истинам, либо занимали их место, что нанесло огромный вред человеческому разуму.

Именно те, кто считал способность к рассуждению главной силой ума для открытия истины, породили множество странных логических систем и изобрели ту схоластику, на которую было впустую потрачено столько остроумия и которую невозможно слушать без такого же бесполезного умственного напряжения.

Искусство рассуждения в математике заключается в методе наблюдения за количественными отношениями и в выражении результатов последовательных наблюдений.

Я не могу понять разделение видов очевидности, которое Кондильяк устанавливает в разделе «Искусство рассуждения» своего «Курса обучения». Он различает три вида очевидности: очевидность факта, очевидность чувства и очевидность разума.

1. Мы постигаем очевидность факта только через чувство. Чем же тогда первая очевидность отличается от второй?
2. У нас не бывает чувства иначе как по отношению к какому-либо факту. Как же тогда можно отделить вторую очевидность от первой?
3. Разум - это не какой-то особый орган, которому соответствует специфическая очевидность, не являющаяся очевидностью факта или чувства; такого третьего вида очевидности просто не существует.

Следовательно, эти три понятия - факт, чувство и разум - не могут служить для обозначения различных типов очевидности.

---

[17] Вот что говорится в тринадцатом томе Вилларе на странице 205 по поводу договора от мая 1412 года: «Этот позорный акт оправдывает различные обвинения, высказанные в этой истории против принцев, столь мало достойных своего высокого положения и крови, от которой они произошли. Они обязуются приложить все усилия, чтобы вернуть англичанам владение всеми пунктами в Гиени, которые были у них отобраны со времени договора в Бретиньи; принести оммаж английскому королю за все укрепленные места, которыми они владели в этой провинции, число которых оценивается в 1500 крепостей. Герцог Беррийский признавал себя вассалом английского короля за графство Пуатье, которое после его смерти должно было отойти Генриху или его преемникам. Герцог Орлеанский объявлял, что на тех же условиях владеет графством Ангулем, и одновременно приносил оммаж за графство Перигор. В этом позорном соглашении герцоги Беррийский и Орлеанский прямо названы вассалами и подданными английского короля, тогда как граф д'Арманьяк, хотя и находился в том же положении и приносил такой же оммаж за четыре полагающихся ему кастелянства, титулуется просто своим сеньориальным титулом. Это различие, несомненно, проистекало из показной независимости графа, который имел гордость не признавать над собой верховного сюзерена в этих владениях, и именовал себя ГРАФОМ МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ».

Но давайте посмотрим, что автор подразумевает под этими тремя словами.

1

«Очевидность факта, - говорит он, - *мы имеем всякий раз, когда убеждаемся в фактах путем собственного наблюдения. Когда мы не наблюдали их сами, мы судим о них по свидетельству других, и это свидетельство в большей или меньшей степени заменяет очевидность»* (Искусство рассуждения, с. 4).

Заметим, что автор рассматривает здесь очевидность как свойство вещей, которые способны ее проявлять, что делает их доступными для наблюдения и пригодными для подтверждения свидетельствами.

2

«Вы способны на ощущения, - добавляет Кондильяк, - *и в этом вы уверены благодаря очевидности чувства».*

Здесь автор больше не рассматривает очевидность в вещах, которые ей подвластны, а в способностях, на которые она воздействует. Это означает отказ от первого деления в пользу совершенно иного.

3

«Но, - продолжает он, - *как можно удостовериться в наличии очевидности разума? В тождестве»* («Искусство рассуждать»); иными словами: *«когда в утверждении видно, что одна и та же идея подтверждается ею самой»* («Логика», часть 2, гл. IX); или, выражаясь яснее, когда разные слова являются лишь выражением одной и той же идеи.

К этому доводу применима та же критика, что и к очевидности чувства; ни то, ни другое не согласуется с первым направлением классификации. Чтобы деление было точным, необходимо, чтобы оно разделяло предмет на соответствующие части, которые при воссоединении образуют единое целое. Здесь же различные ветви накладываются друг на друга. Во-первых, не существует ничего очевидного для чувства, что не было бы фактической очевидностью; следовательно, вторая ветвь включает в себя идеи, содержащиеся в первой. Во-вторых, не существует никакой очевидной истины, которая не была бы таковой для способности чувствования; следовательно, первая ветвь включает в себя идеи, содержащиеся во второй. В-третьих, нет ничего очевидного для чувства, что не было бы очевидным и для разума; следовательно, первые две ветви включены в третью. А поскольку прийти к очевидности через рассуждение - значит прийти к ощущению факта или отношения, то есть опять же к факту, становится ясно, что третья ветвь деления включена в две предыдущие.

Как только мы понимаем, что каждый из трех видов очевидности, выделенных автором, включает в себя остальные и каждый из них представляет собой единое целое, становится ясно, что это не части деления, а разные абстракции одной и той же вещи, которые порождают путаницу вместо того, чтобы служить целям анализа.

Следовало рассматривать очевидность либо в различных объектах, которые ей подвластны, либо применительно к способностям ума, к которым она может относиться в зависимости от случая; или же заставить оба этих деления развиваться параллельно, но не брать одно, чтобы перейти к другому, не завершив первое.

Таким образом, следовало сказать: существует: (1) очевидность существования, действия или отношений - словом, фактов, происходящих вне нас; (2) очевидность состояний, действий или отношений - словом, фактов, происходящих внутри нас; (3) очевидность тождества идей, заключенных в различных словах; иначе говоря, тождества отношений между различными выражениями и одним и тем же фактом или одной и той же идеей.

Первый вид очевидности открывается нашим чувствам или нашему наблюдению, второй - нашему внутреннему чувству, третий - нашему рассуждению. Автор сам признал в своей «Логике» (часть 2, гл. IX), что два первых вида очевидности, которые он разделял в «Искусстве рассуждать», на самом деле составляют один. *«Я познаю,* - говорит он, - *явления (тел) лишь после того, как понаблюдаю за ними; и я называю фактической очевидностью ту уверенность, которую я в них имею. Я мог бы равным образом назвать фактической очевидностью достоверное знание о явлениях, которые я наблюдаю в себе; но я называю это очевидностью чувства, потому что именно через чувство мне становятся известны такого рода факты»*. Этот довод неудачен, так как внешние факты известны нам так же, как и те, что происходят внутри нас, - только через чувство. К тому же, называть очевидность уверенностью - выражение крайне неточное. Очевидность - это состояние вещи, явленной взору; достоверность (уверенность) - это состояние ума, рассматривающего эту вещь. Если очевидность заключена в объекте, а достоверность - в уме, если одно является причиной, а другое - следствием, то как они могут быть одним и тем же?

Слова, которые, впрочем, столь необходимы не только для изложения, но и для формирования, сочетания и ассоциации идей, тем не менее, склонны вносить в них путаницу. В процессе работы человеческого разума они выполняют так много функций - столь многочисленных, быстрых, сложных и при этом подчиненных столь строгим правилам, - что они всегда балансируют на грани ошибки или злоупотребления, и ни одна из их погрешностей не остается без последствий. Они могут вносить путаницу в идеи двумя способами.

1. Существует огромное количество слов, которые являются общими для нескольких различных вещей; например, слова «институт», «мораль» и так далее. По этой причине, если с самого начала четко не разграничить предмет, о котором идет речь, и тот, о котором говорить не планируется (используя его название), есть риск, что разум часто будет приписывать одному то, что относится к другому. Или, по крайней мере, разум запутается в идеях, которые связаны с этим словом и которые оно вызывает в памяти.

2. Существует огромное количество слов, составные элементы которых не вполне ясны, их первоначальный смысл совершенно забыт, а сменяющие друг друга значения трудно различить и даже просто осознать. В итоге те, кто их использует, не понимают четко ни главную идею, которую эти слова представляют, ни по какой аналогии они перешли от прямого смысла к переносному. Большинство слов, выражающих общие понятия и не основанных на каком-либо конкретном объекте, относятся именно к этой категории; таковы все слова, используемые в этике, политике и метафизике - например, слова «мудрость», «полезность» и так далее.

Вследствие этого разум редко видит со всей ясностью те абстракции, которые он подвергает исследованию, поэтому его суждения лишены уверенности и точности, и ему трудно соединить длинную цепь суждений, чтобы сформировать из них стройную и прочную систему.

Как замечает Локк (книга 2, глава 11, § 7 «Опыта о человеческом разумении»), усвоив большинство слов в раннем детстве, не зная их смысла и не получая иного толкования, кроме того, которое они смутно обретают от других известных слов, с которыми они ассоциируются в речи, мы произносим их не в свою очередь, подобно попугаям, а по привычке. Но Локк не заметил - и это еще хуже - того, что мы всегда склонны использовать их в том значении, которое они имели в устах тех, от кого мы их услышали, и мы всегда продолжаем понимать их в том же смысле, что и в самый первый раз.

3. Есть слова, такие как «два», «три», «четыре», которые лишь дают имя и краткое обозначение сочетаниям «один и один», «один и два», «два и два», «один и три» и так далее.

Любое суждение о соотношении этих слов между собой - например, что «два и два составляют четыре» - ограничивается выражением лишь одного из этих соотношений, поскольку каждое слово выражает лишь некую абстракцию. К тому же суждение провозглашает не бесконечно всё, что принадлежит субъекту, а лишь намерение разума выразить то видение духа, который выносит суждение; слова, выражающие субъект и атрибут, представляют эти объекты друг другу лишь с той единственной стороны, которая является предметом их сравнения.

В этом примере «2 + 2 = 4» я выражаю лишь отношение двух абстракций «2» с третьей, которая равна «4». Но каждая из этих абстракций состоит из элементарных идей, а именно: «один» и «один» для первых двух, и «1 + 1 + 1 + 1 = 4».

Я могу утверждать о различных комбинациях этих же элементов то же самое, что я утверждал об абстракциях, которые они представляют, и сформировать третью абстракцию между абстракцией «2» и абстракцией «4». Это будет число «3». Следовательно, я могу перевести выражение «2 + 2 = 4» следующим образом: «1 + 1 + 1 + 1 = 4»; или же «1 + 3 = 4»; или же перевернуть эти положения и сказать «1 + 2 = 4 - 1», «1 + 1 = 4 - 2» и так далее. Можно было бы найти еще двадцать подобных положений, которые можно вывести из элементов выражения «2 + 2 = 4».

В любом предмете дискуссии необходимо провести два анализа: **анализ вопроса** и **анализ темы**. Анализ вопроса заключается в определении того значения, в котором следует понимать слова, содержащиеся в его формулировке. Анализ темы заключается в определении различных вещей, включенных в смысл каждого слова.

(Из пятого тома собрания сочинений. Стекольный завод Сен-Кирен, нивоз VI года - январь-февраль 1798).

Выдержка или Краткое изложение «Логики» Кондильяка

Природе мы обязаны нашими первыми знаниями; именно она, следовательно, определяет первое применение способностей нашего разума, точно так же как она определяет первое применение наших органов чувств. Поэтому, если мы хотим расширить наши познания, нам остается лишь наблюдать за тем путем, которым шла природа, и продолжать его.

Без чувств мы не обладали бы никаким знанием. Чувства даны всем, однако не все обладают одинаковыми знаниями. Это происходит потому, что не все используют их одинаково. Таким образом, научившись управлять ими, человек становится способным приобрести больше знаний, чем другой. Следовательно, существует искусство управлять способностями разума и искусство учиться.

Чувствует именно душа; чувства - это лишь повод для возникновения впечатлений, которые предметы производят на нас. Способность чувствовать, таким образом, является первой способностью души, и очевидно, что мы научимся по правилам управлять способностью нашей души чувствовать, если научимся по правилам направлять наши органы на предметы, которые хотим изучить.

Как научиться правильно управлять своими чувствами? Делая то, что мы делали, когда управляли ими успешно. Все люди управляли ими хорошо хотя бы несколько раз. Дети приобретают знания без нашей помощи, вопреки нам; следовательно, они обладают, сами того не зная, искусством их приобретения; именно это искусство и нужно обнаружить.

Наше обучение начинается с наших способностей, определяемых нашими потребностями. Именно интерес к самосохранению делает нас внимательными ко всему, что нас касается, и закрепляет наши первые знания. Ребенок заинтересован в том, чтобы знать свою кормилицу, и вскоре он узнает ее; он выделяет ее среди множества людей; он обладает этим знанием только потому, что правильно направлял свои чувства.

Насущная потребность может заставить его вынести ложное суждение, потому что оно будет поспешным; но потребность вскоре заставит его вынести другое суждение и исправить свою ошибку. Первый взгляд его обманул, второй - вывел из заблуждения. Ему показалось, что он видит свою кормилицу, он ошибся; он ищет ее снова и узнает. Таким образом, чувства часто сами исправляют ошибки, в которые они заставили нас впасть, когда их предупреждают об этих ошибках; и они всегда получают такое предупреждение, когда вещи, в которых допущена

ошибка, существенны для жизни; ибо за ложным суждением следует боль, так же как за истинным суждением следует удовольствие.

Искусство рассуждать было бы для нас бесполезным, если бы наши суждения всегда относились только к нашим потребностям. Но в суждениях, к которым нас побуждает одно лишь любопытство, интерес к самосохранению не предупреждает нас ни удовольствием, ни болью о заблуждениях, в которые мы можем впасть; и когда ошибки укореняются, даже самого опыта становится недостаточно, чтобы вывести нас из заблуждения. Именно против такого рода ошибок необходимо искусство рассуждения; именно для их предотвращения было бы полезно заимствовать у инстинкта самосохранения его методы.

Но так как было бы трудно наблюдать за первыми этапами развития детей, ограничимся исследованием того, как мы сами ведем себя сегодня, когда приобретаем знания. Первый взгляд не дает никакого представления о видимых вещах; чтобы сформировать о них идеи, нужно наблюдать их одну за другой, и, чтобы воспринимать их такими, какие они есть, необходимо собрать ту последовательность, в которой их наблюдают, в тот одновременный порядок, который существует между ними. Нужно разложить, чтобы собрать заново: это и называется анализом. Если я на мгновение увижу в окно замка прекрасную сельскую местность, я увижу всё сразу, но не получу знания ни о чем. Чтобы суметь отдать себе отчет в том, что я видел, я буду детально рассматривать объекты, которые поразили меня своей массой. Для начала, я смотрю на них по отдельности и затем я изучаю их соотношение в пространстве и форме. Я совершаю все эти операции почти механически и не подозревая об этом. Анализ, следовательно, знаком каждому.

Каков же порядок, который природа указывает соблюдать при наблюдении предмета, который мы хотим познать? Во-первых, нужно выделить части этого предмета; во-вторых, нужно изучить каждую из них в отдельности; в-третьих, нужно изучить их соотношение по форме и положению. Но каков порядок, которому следует следовать, чтобы выделить части? Это тот порядок, в котором природа предлагает нам объекты: среди них есть главные, есть подчиненные; есть более поразительные, которые, кажется, доминируют над другими и вокруг которых остальные располагаются как зависимые элементы. Именно эти главные элементы нужно рассмотреть в первую очередь: (1) сами по себе, (2) в их взаимных отношениях, или, иными словами, отдельно и в их совокупности. Затем переходим к тем частям, что заполняют промежутки. (1) Их рассматривают последовательно, и (2) их сравнивают с главным объектом, к которому они относятся. Тогда то, что охватывает взгляд, охватывает и разум; он познает это по-настоящему и точно, сохраняя образ в памяти, чтобы вспомнить и сравнить его при необходимости.

С умственным взором дело обстоит так же, как и с телесным; чтобы отчетливо видеть идеи, которые одновременно предстают перед моим разумом и вызывают в нем некоторую путаницу, я должен разложить целое, я должен проанализировать свою мысль.

«Этот анализ совершается точно так же, как анализ внешних объектов; мы точно так же разлагаем целое; мы восстанавливаем части своей мысли в последовательном порядке, чтобы затем воссоздать их в одновременном порядке; это разложение производится в соответствии с отношениями между вещами, рассматриваемыми как основные и подчиненные; и поскольку невозможно было бы проанализировать сельскую местность, если бы взгляд не охватывал ее целиком, невозможно было бы проанализировать и мысль, если бы разум точно так же не охватывал ее целиком. В обоих случаях необходимо видеть все сразу; иначе нельзя было бы быть уверенным в том, что видел одну за другой все части».

Наши идеи - это либо текущие ощущения, либо воспоминания об ощущениях, которые мы уже испытали. Когда мы обретаем их аналитическим методом, они упорядоченно располагаются в разуме; они остаются там в порядке и восстанавливаются в памяти в порядке. Мы хорошо понимаем себя и позволяем другим хорошо понимать нас.

Предположим, я хочу изучить какую-либо машину: я разберу ее, чтобы рассмотреть каждую деталь в отдельности; затем я соберу ее снова или сконструирую заново, и тогда получу о

ней полное представление; в моем мозгу возникнет точный образ ее частей и их расположения - или, иными словами, сложная мысль, состоящая из стольких же идей, сколько в машине деталей, идей, подобных каждой из них и представляющих их взаимное расположение. Портниха, у которой я заказываю необычное платье и которой даю образец, начнет с того, что распорет его; затем она сошьет его снова и после этого сможет выполнить мой заказ.

Существуют люди с очень здравым умом, которые, кажется, ничему не учились, но при этом прекрасно разбираются во многих вещах; это объясняется тем, что они познали их через анализ. Инстинкт, этот столь надежный проводник, и вкус, судящий столь мгновенно, - это плоды анализа, который природа совершает, несомненно, сама собой; именно анализ является матерью гения и т. д.; это единственный метод открытия; это самый простой и легкий путь для самообучения и обучения других; он же и самый краткий.

Будучи еще детьми, мы приобрели знания путем ряда последовательных наблюдений и анализов. Эти знания представляют собой собрание идей, и это собрание является хорошо упорядоченной системой, то есть последовательностью точных идей, где анализ установил тот же порядок, что существует между самими вещами. Нет человека, который не обладал бы какой-то системой упорядоченных точных идей, по крайней мере, в вещах привычных, относящихся к нашим потребностям. Если на основе этих идей мы хотим прийти к другим, нужно показать тем, кого мы хотим обучить, происхождение и порождение этих идей, то есть проанализировать их; ибо порядок анализа - это и есть порядок порождения самих идей.

Наши первые идеи - это всего лишь образы единичных предметов, изображения того или иного объекта; но если бы каждому предмету дали отдельное имя, обилие названий утомило бы память и привело бы к полной путанице. Поэтому на основе некоторых общих сходств были сформированы *роды*, а затем эти роды были разделены на *виды* согласно более частным сходствам. К такому распределению нас подтолкнула необходимость. Ребенок сначала называет «деревом» всё то, что мы называем «растением», поскольку, назвав «деревом» первое встреченное дерево, он находит более удобным называть затем тем же знакомым именем всё похожее, чем учить новое название. Так идея отдельного предмета становится максимально общей; но она становится слишком широкой, поскольку смешивает различия, которые нам может быть важно выделять. Ребенок, поев в саду разных плодов, вскоре выучит названия «персиковое дерево», «вишневое дерево», «грушевое дерево» и так далее - вот так и возникает различение видов. Следовательно, именно потребность заставляет нас осознавать и создавать системы деления и классификации. Эти системы - единственный способ внести порядок в наши мысли. В самой природе нет ни родов, ни видов; существуют лишь различия и сходства, которые мы обозначаем этими словами, когда наши потребности заставляют нас фиксировать их. Ибо именно наша потребность, а не природа вещей, побуждает нас отмечать определенные различия и не слишком усердствовать в обозначении других. Мы не знаем природы вещей, сущности тел; анализ дает нам точные представления лишь о том, что он позволяет нам увидеть в вещах и что мы воспринимаем в них на самом деле.

Анализ служит для изучения любых чувственно воспринимаемых объектов. Изучать каждый предмет нужно так же, как вид загородной местности из окна замка: то есть рассматривать главные элементы, с которыми должны соотноситься все остальные. Например, явления природы предполагают протяженность и движение; следовательно, для изучения какого-либо явления мы будем рассматривать протяженность и движение как основные качества тел. Изучение различных наук - это не смена метода, а лишь применение одного и того же метода к разным объектам.

Последствия, которые воспринимаются нашими чувствами, заставляют нас предполагать существование вещей, которые чувствам недоступны. Я вижу движение и предполагаю наличие силы; я не вижу саму эту силу, но вынужден признать ее существование и даже измеряю ее, измеряя производимое ею движение. Движение совершается в пространстве и времени. Я осознаю пространство, видя занимающие его чувственные объекты, и осознаю длительность в последовательности моих идей или ощущений; но это не дает мне лучшего познания пространства и длительности самих по себе. Чувства не могут открыть нам, чем являются

вещи сами по себе; они показывают лишь некоторые их отношения между собой и некоторые отношения вещей ко мне. Что касается силы, то у меня нет о ней никакого представления: это доказывает, что вещи может быть дано имя без того, чтобы у нас было о ней понятие, а единственно потому, что мы уверены в её существовании.

Движение, которое я рассматривал как следствие, в моих глазах становится причиной, как только я замечаю, что оно повсеместно и что оно порождает или способствует порождению всех явлений природы. При внимательном наблюдении обнаруживается множество таких явлений; мы видим, как они в виде цепочки причин и следствий образуют различные системы, и получаем точные представления о некоторых частях великого целого. Именно так совершаются открытия и могут совершаться впредь. Именно так, рассудив, что у движения есть причина, потому что оно является следствием, мы решим, что у вселенной также есть причина, потому что она сама является следствием, и эту причину мы назовем Богом.

Действия неодушевленных предметов доступны чувствам; достаточно понаблюдать за ними, чтобы составить о них представление. Не менее трудно заметить, как тело приобретает или утрачивает привычки. Каждый на собственном опыте знает, что действие, которое часто повторялось, совершается само собой, без необходимости о нем думать; и наоборот, действие уже не совершается с прежней легкостью, если его перестали выполнять в течение какого-то времени. Таким образом, чтобы приобрести привычку, достаточно что-то делать и повторять, а чтобы утратить ее - перестать делать.

Именно действия души определяют действия тела, и по последним, которые видимы, судят о первых, которые невидимы. Было замечено, что мы делаем, когда чего-то желаем или боимся, и в движениях других людей узнают их желания или страхи. Эти движения - самый естественный, самый правдивый и выразительный язык, являющийся первоосновой любого другого.

Понятия добродетели и порока основаны на соответствии поступков общему интересу или на их противоречии ему. Сами же поступки видимы, как и их последствия.

Мы увидели, как природа учит нас анализировать чувственные объекты и дает нам таким путем представления любого рода; теперь необходимо расширить сферу наших знаний. Но для этого расширения нам нужно уметь направлять свой разум, а чтобы научиться им управлять, необходимо его познать. Следовательно, нужно разобраться во всех способностях, которые заключены в способности мыслить.[18]

Только душа познает, потому что только душа чувствует. Способность чувствовать охватывает всё то, что может стать нам известным. Если мы познаем внешние объекты лишь потому, что душа их чувствует, то разве можем мы узнать о том, что происходит в самой душе, иначе как через её чувства? Давайте же попробуем проанализировать способность чувствовать.[19]

Чтобы разложить способность чувствовать на составляющие, достаточно последовательно наблюдать за всем, что в ней происходит в процессе приобретения любого знания.[20] Когда, желая рассмотреть различные объекты в пейзаже, открывающемся моему взору, я останавливаю взгляд на одном из них, только этот объект присутствует в моем уме. Мой глаз словно устремлен к нему, а моя душа ограничена одним-единственным ощущением. Это исключительное ощущение называется ***вниманием***.[21]

---

[18] Вилларе, т. XIII, с. 187.

[19] Там же.

[20] «"Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу", - сказал Иисус Христос. Произнося это суждение, не спрашивая о том, как и на каком основании собирались налоги, Иисус Христос смотрит лишь на изображение имени кесаря, выбитое на государственной монете». БОССЮЭ, *«Политика, извлеченная из собственных слов Священного Писания»*, т. II, стр. 234.

Класс граждан, о которых я говорю, очень хорошо представлен самым рассудительным персонажем из семьи Глине.

[21] Гульфик.

Мы можем направлять внимание на два объекта одновременно. Тогда вместо одного ощущения у нас возникают два, которыми мы полностью поглощены. В этом случае мы наблюдаем их рядом друг с другом. Это называется ***сравнением***. Таким образом, сравнение - это не что иное, как двойное внимание. Мы не можем сравнивать или наблюдать два ощущения, не замечая немедленно их сходства или различия. Это и есть ***суждение***. Следовательно, суждение - это тоже лишь разновидность чувствования.[22] Мы можем собирать воедино, удерживать вниманием и сравнивать ощущения от присутствующих объектов (актуальные ощущения) и ощущения от объектов отсутствующих, или воспоминания о прошлых ощущениях. Это функция ***памяти***.

Если в первом суждении я обнаруживаю одну связь, то для обнаружения другой мне требуется второе суждение. Если я хочу, например, узнать, чем различаются два дерева, я буду последовательно рассматривать их форму, ствол, ветви, листья и так далее. Я буду поочередно сравнивать все эти детали и выносить ряд суждений. И поскольку в этот момент мое внимание как бы переходит (отражается) от одного объекта к другому, я называю это ***размышлением*** (рефлексией). Таким образом, размышление - это лишь последовательность суждений, основанных на ряде сравнений. А поскольку в сравнениях и суждениях нет ничего, кроме ощущений, то и в размышлении нет ничего, кроме ощущений.

Когда с помощью размышления мы подмечаем качества, которыми различаются объекты, мы можем тем же размышлением соединить в одном образе качества, которые в реальности принадлежат разным вещам. Именно так, к примеру, поэт создает образ героя, которого никогда не существовало. В этом случае идеи, которые мы формируем, - это образы, существующие только в уме, а размышление, создающее эти образы, называется ***воображением***.

Суждение, которое я высказываю прямо, может содержать в себе другое, невысказанное суждение. Когда я говорю: «это тело тяжелое», я подразумеваю, что, *если его не поддерживать, оно упадет*. Когда второе суждение заключено в первом, его можно вывести как следствие, результат. В таком случае мы совершаем то, что называется ***умозаключением***. Следовательно, умозаключение - это лишь высказывание двух суждений, одно из которых содержится в другом. Таким образом, в наших умозаключениях, как и в суждениях, нет ничего, кроме ощущений.

Не все следствия так очевидно содержатся в исходных суждениях, как в приведенном примере. Иногда их приходится искать - то есть переходить от известного к неизвестному через ряд промежуточных суждений, от первого до последнего, видя, как они последовательно включены друг в друга.[23] Если рассматривать ощущения как некие образы, то можно увидеть, как из них рождаются все наши идеи и все операции разума. Если же рассматривать их как приятные или неприятные, то мы увидим, что из них берут начало все действия, которые принято относить к воле. Принцип приятных или неприятных ощущений заключается в наших потребностях. Потребностью называют страдание, которое человек испытывает при лишении вещей, которыми он привык пользоваться.[24] Страдание от потребности в самой слабой своей степени - это недомогание. Следствием недомогания является беспокойство.

Потребность заставляет способности тела и души концентрироваться на объектах, лишение которых заставляет нас страдать; память воспроизводит удовольствие, которое они когда-то доставили; размышление позволяет судить о том, что еще можно сделать; воображение преувеличивает это удовольствие. Все наши способности направлены на эти объекты: такое направление называется желанием.

---

[22] Вилларе, т. XIV, с. 265.

[23] Первое издание этой комедии вышло в 1818 году. (*Примечание издателя*).

[24] *Mornacii opera nova, editio locupletior; Lutetiae Parisiorum, sumptibus Montalent, 1721, 4 vol. in-fol. Observationes in codicis librum II, tit. 3; De Pactis, col. 294.* («Новые сочинения Морнака, дополненное издание; Париж, издано на средства Монталана, 1721 год, 4 тома в фолианте. Заметки к книге II Кодекса, титул 3; О договорах, столбец 294».)

Желания, ставшие привычкой, называются страстями. Желание, соединенное с суждением о том, что мы можем получить желаемое, рождает надежду. Это же желание, соединенное с убеждением, что мы обязательно его получим, рождает волю. Слово «я хочу» означает: *«я желаю, и ничто не может воспротивиться моему желанию, всё должно ему способствовать»*. Таково истинное значение слова «**воля**».

В обычном употреблении это понятие распространяется на все привычки, возникающие из потребностей, желаний, страстей, на надежду, отчаяние, страх, уверенность, самонадеянность и так далее. Слово «**мышление**» в широком смысле включает в себя все способности разума и все способности воли. Мыслить - значит чувствовать, концентрировать внимание, сравнивать, судить, размышлять, воображать, рассуждать, желать, испытывать страсти, надеяться, бояться и тому подобное. Невозможно детально объяснить все физические причины чувствительности и памяти. Вот всё, что нам об этом известно из опыта и аналогий.[25]

В нас происходят два вида движений: растительное движение и животное движение. Благодаря первому мы питаемся, наши силы поддерживаются и так далее. Благодаря последнему мы становимся чувствительными; это движение является лишь модификацией первого. Последнее обусловлено воздействием объектов на органы чувств; первое - кровообращением, секрецией и прочим.

Центр чувствительности находится не только в органах, сообщающихся с внешними объектами; он одновременно находится **и в органах, и в мозге**. (1) Если сдавить мозг, животное теряет чувствительность. (2) Закупорка сосудов или тугая перевязка руки уменьшает или прерывает связь мозга с кистью; чувствительность руки в таком случае ослабевает или полностью прекращается. Таким образом, мы чувствуем лишь постольку, поскольку наши органы соприкасаются с чем-либо или подвергаются воздействию. Обоняние, слух, зрение и вкус - это лишь расширенные формы осязания. Но каким образом контакт определенных частиц вызывает ощущения звука, света, цвета? Этого мы не знаем; опыт нам здесь ничего не объясняет. Нам не известен ни механизм глаза, ни механизм уха, ни механизм мозга, ни природа души и так далее.

Воздействие органов чувств на мозг делает животное чувствительным, однако этого недостаточно, чтобы сообщить телу все движения, на которые оно способно. Необходимо также, чтобы мозг воздействовал на все мышцы, и на все внутренние органы, предназначенные для приведения в движение каждой из частей тела. Наблюдения подтверждают это действие мозга. Когда этот главный механизм получает определенные импульсы со стороны чувств, он передает их некоторым частям тела, и животное начинает двигаться.

Животное, побуждаемое болью или удовольствием избегать или совершать определенные движения, приучается к этому. Оно сравнивает испытываемые ощущения, замечает те, что им предшествуют, и те, что их сопровождают; короче говоря, оно действует на ощупь и после долгих проб и ошибок наконец обретает привычку двигаться по своей воле. Тогда его движения становятся упорядоченными; в этом заключается принцип всех телесных привычек.

Пример того, как формируются привычки: когда я впервые кладу пальцы на клавиши клавесина, их движения неуверенны. Но по мере того как я упражняюсь, они становятся более легкими и, наконец, начинают двигаться по моей воле. Вскоре они даже предвосхищают ее и исполняют музыкальное произведение в то время, как мои мысли заняты чем-то совершенно иным. Точно так же и органы чувств, приобретя различные привычки, начинают действовать сами собой, и сознанию больше не нужно постоянно следить за ними, чтобы управлять их движениями.

Привычки - это упорядоченные движения, которые совершаются в нас без нашего видимого руководства, потому что благодаря многократному повторению мы выполняем их, не испытывая нужды о них задумываться. Именно эти привычки называют естественными движениями, механическим действием или инстинктом и **ошибочно полагают, что они даны**

[25] Гарнье, «История Карла VIII», т. XIX, стр. 139.

нам от рождения. Однако *мозг является главным органом*; это общий центр, где всё сходится и откуда, кажется, всё берет начало. Судя о мозге по аналогии с другими органами чувств, мы имеем право заключить, что все телесные привычки передаются ему и что, следовательно, составляющие его волокна, благодаря своей гибкости приспособленные к любого рода движениям, приобретают, подобно пальцам, привычку подчиняться определенным последовательностям заданных движений.

При таком условии способность моего мозга напоминать мне о каком-либо предмете есть не что иное, как приобретенная им легкость самостоятельно двигаться так же, как он двигался, когда этот предмет воздействовал на мои чувства. Физическая и сопутствующая причина, которая сохраняет или вызывает идеи, заключается, таким образом, в тех импульсах, к которым мозг - этот главный орган чувств - привык и которые сохраняются или воспроизводятся даже тогда, когда чувства перестают в этом участвовать.

Возникает вопрос: что происходит с идеями, когда мы перестаем ими заниматься, где они сохраняются и так далее? Это все равно что спросить, что происходит с округлостью тела, когда оно принимает другую форму. Идеи подобны ощущениям, это способы существования души, так что они существуют до тех пор, пока воздействуют на нее, и перестают существовать, когда воздействие прекращается. Воспроизведение идей происходит благодаря движениям, предназначенным для их воссоздания. Хотя механизм работы мозга неизвестен, можно судить о том, что различные его части приобрели способность двигаться самостоятельно так же, как они двигались под воздействием чувств; что привычки этого органа сохраняются и что каждый раз, когда он им следует, он воспроизводит те же идеи, потому что в нем возобновляются те же движения.

Все явления памяти объясняются привычками мозга. Память, подобно руке, работает медленно, если мозг, как и пальцы, привык к слишком медленным движениям. Точно так же она будет путаной, если привычки мозга нарушены из-за слишком большого количества разнообразных занятий и прочего. Подобно тому как пальцы сохраняют привычку к последовательности движений и могут при малейшем поводе начать двигаться так же, как двигались прежде, мозг равным образом сохраняет свои привычки. Будучи однажды возбужден воздействием чувств, он сам переходит к привычным для него движениям и вызывает идеи. Более того, он активно воздействует на чувства, возвращая им те ощущения, которые они ранее передали ему, и убеждает нас в том, что мы видим то, чего на самом деле не видим.

Память локализуется не только в мозге, но и во всех органах наших чувств, ибо она должна находиться везде, где кроется сопутствующая причина идей, которые мы вспоминаем. И если для того, чтобы впервые дать нам какую-то идею, чувствам пришлось воздействовать на мозг, то, по-видимому, осознание этой идеи никогда не будет более четким, чем в тот момент, когда мозг, в свою очередь, начнет воздействовать на органы чувств. Такое взаимодействие необходимо для воспроизведения идеи прошлого ощущения, так же как оно необходимо для возникновения текущего ощущения. Например, *мы никогда не представляем себе фигуру лучше, чем тогда, когда наши руки принимают ту же форму, которую им придало осязание; в подобных случаях память говорит с нами своего рода языком действия*.[26]

---

[26] Порка оставалась наказанием для детей Франции еще долгое время после Людовика XI. Мария Медичи велела высечь Людовика XIII, когда тому было девять лет и он уже был королем; а Людовик XIV, если верить Бюсси-Рабютену, приказал применить то же наказание к своим племянникам; однако сам он никогда ему не подвергался и не заставлял проходить через это своих детей или внуков. Вот что можно прочесть о Людовике XIII в «Дневнике» Л'Эстуаля от 29 мая 1610 года:
«Наш новый король (Людовик XIII) был в этот день высечен по приказу королевы-регентши, его матери, за то, что не пожелал молиться Богу. Господин де Сувре не хотел прикладывать к этому руку, пока, понуждаемый Ее Величеством, не был вынужден исполнить приказание. Король, видя, что его поймали, сказал: „Я вижу, что мне придется через это пройти, раз королева того желает. Но смотрите, по крайней мере, не бейте меня слишком сильно". Вскоре после этого, придя к королеве, когда Ее Величество встала и он поклонился ей, как обычно, принц вдруг резко бросил: „Я бы предпочел, чтобы мне не кланялись так низко, но зато и не пороли"». (Т. IV, с. 99).

Память о мелодии, исполняемой на инструменте, сосредоточена в пальцах, в слухе и в мозгу: в пальцах, которые привыкают к определенной последовательности движений; в слухе, который не судит о действиях пальцев, но при необходимости направляет их, поскольку сам привык к иной последовательности звуков; и в мозгу, который привык воспроизводить формы, соответствующие привычкам пальцев и слуха.

Разве можно было бы знать язык, если бы мозг не приобрел привычек, соответствующих привычкам ушей, чтобы его слышать, рта, чтобы на нем говорить, и глаз, чтобы его читать? Таким образом, воспоминание о языке не ограничивается одними лишь привычками мозга; оно также живет в привычках органов слуха, зрения и речи.

Посмотрим теперь, как утрачиваются привычки, составляющие память.

1. Они исчезают из-за отсутствия практики или обновления, когда чувства перестают давать для них повод.

Людовику XIII было тогда девять лет. Он был королем. Людовик XIV в том же возрасте был осыпан почестями нации и уважением всей Европы. Герцог Энгиенский предварял победами ту славу, которой он позже пользовался под именем Великого Конде; каждое утро приносило Людовику XIV известия о военных успехах. Различия этих первых шагов достаточно, чтобы объяснить разницу характеров, отличавшую этих двух государей и их правления. Робость Людовика XIII, его зависимость от фаворитов, власть кардинала Ришелье, неприязнь монарха к своей матери - вся его жизнь берет начало в той порке 29 мая 1610 года.

Величие Людовика XIV, его самоуважение - основа его сдержанности и почтения к приличиям - стали плодами тех первых преимуществ, которыми судьба оделила его под присмотром мудрой и просвещенной матери. После него французские принцы стояли выше тех унижений, которым подвергались Людовик XII и Людовик XIII.

В «Любовной истории галлов» Бюсси-Рабютена (том V, «Франция, ставшая итальянской», стр. 18, 19 и 20) мы читаем: «Когда несколько принцев королевского дома были приняты в орден, учрежденный Граммоном, де Тилладе, Бироном и другими из ненависти к женщинам, и когда на собрании этого ордена произошло несколько беспорядочных сцен, король, будучи информирован об этом, велел высечь одного из принцев в своем присутствии, другого отправил в Шантийи и, наконец, выразил такое сильное отвращение ко всем замешанным в этом деле, что никто не осмелился за них заступиться».

Мадам Дюнуайе в своих письмах сообщает о следующей проделке герцога Беррийского, внука Людовика XIV, младшего сына герцога Бургундского и брата Людовика XV и короля Испании, умершего 4 мая 1710 года: «Когда он был еще ребенком, он часто совершал мелкие шалости, и король приказывал ему оставаться под арестом в своей комнате. Однажды его младший воспитатель велел закрыть окна, сказав, что узники не должны видеть дневного света.

— Вы доставляете мне большое удовольствие, - ответил ему юный принц, - ведь тем самым вы избавляете меня от такого же неприятного зрелища, как и вы сами.

После этого он принялся шутить и барабанить пальцами по столу. Воспитатель и это счел предосудительным и попросил принца не трогать стол, так как тот ему не принадлежит, а вся мебель собственность короля. (Разумеется, этот довод был из самых нелепых).

— О! Ну уж на этот раз вы не станете спорить, что это принадлежит мне!

С этими словами он принялся хлопать себя по ягодицам. Воспитатель изо всех сил старался сохранить серьезный вид, а король долго смеялся, когда ему доложили об этой сцене».

«12 января 1669 года монсеньор герцог Бургундский и его братья отправились стрелять кроликов; и так как монсеньор герцог Беррийский стрелял несколько неосторожно и даже ранил одного из загонщиков, господин де Расийи, его младший воспитатель, сделал ему выговор, на который тот не обратил никакого внимания. Он продолжал стрелять, не проявляя осторожности. Господин де Расийи отобрал у него ружье. Принц сильно вспылил и даже сказал господину де Расийи, что если бы король судил по справедливости, то велел бы его повесить. Господин де Расийи доложил об этом королю, который отнесся к делу серьезно, несмотря на то что герцог Беррийский был еще очень юн; и Его Величество приказал ему оставаться восемь дней в своей комнате, никого не принимая».

«18-го числа утром король в своем кабинете велел позвать монсеньора герцога Беррийского. Срок его наказания истек; но король говорил с ним с такой силой и убедительностью, что принц казался тронутым и раскаявшимся в той вспышке гнева, которую он допустил восемь дней назад» («Мемуары маркиза де Данжо», т. II, с. 135 и далее).

2. Из-за их многочисленности, что заставляет пренебрегать многими из них; таким образом, знания ускользают от нас по мере того, как мы их приобретаем.[27]
3. Из-за болезней, которые ослабляют или расстраивают работу мозга.
4. Из-за паралича этого органа.
5. Из-за старости, лишающей мозг его гибкости.

Именно аналогия позволяет нам предполагать в мозгу ту же способность, которую я нахожу в кистях рук и пальцах. Я ничего не знаю о физических причинах этих способностей и полагаю, что не стоит пытаться их познать, так как они не могут быть подвергнуты наблюдению и опыту.

Исследование анализа в его средствах и результатах

Знания, которыми мы обязаны природе, образуют систему, где всё идеально взаимосвязано. Потребности и желания - вот движущая сила всех наших поисков. Наши потребности и средства их удовлетворения обоснованы строением наших органов и отношением вещей к этому строению. Удовольствие и боль учат меня тому, какие вещи мне необходимы. Поскольку природа наделила меня потребностями и желаниями, чтобы искать подходящие для их удовлетворения объекты, и дала мне способность познавать их, то в сфере моих знаний существует система, соответствующая системе моего собственного существования; система, столь же связанная, упорядоченная и полная, как и само существование.

Наша природа - то есть наши потребности и желания - не требует от нас знания сущности вещей: эти сущности нам недоступны. Она хочет лишь, чтобы мы судили об отношениях вещей к нам и о тех отношениях, которые они имеют между собой, когда знание последних может быть нам полезно. Наш единственный способ судить об этих отношениях это наблюдать ощущения, которые предметы вызывают в нас. Наши знания не могут распространяться за пределы наших ощущений.

Порядок, который природа устанавливает между нашими потребностями и вещами, указывает нам на тот порядок, в котором нам существенно важно их познавать. Она дала нам неотложные потребности, а другие - менее значимые; следовательно, она предписывает нам не только анализ соответствующих вещей, но и порядок, в котором их следует изучать.

Верны ли наши первые наблюдения? То, как мы используем вещи, сразу же подтверждает это. Ошибочны ли они? Опыт их исправляет. Удовольствие и боль присутствуют в нас как стражи, которые бодрствуют, защищая от ошибок. Таким образом, наблюдать за связями, подтверждать или исправлять их - вот что природа заставляет нас делать и повторять при получении каждого нового знания, которое она принуждает нас приобретать. В этом и заключается искусство рассуждения. Так, с самого детства мы предрасположены быть наблюдателями и аналитиками; в наших зарождающихся способностях есть всё необходимое для того и другого, и мы остаемся такими до тех пор, пока образование - в ожидании возраста разумности, который наступил бы и без него, но который оно задерживает, - не обрекает нас судить лишь на основании принятых мнений, предрассудков и усвоенных ошибок.

Как же мы испортили это искусство, дарованное нам природой? Вместо того чтобы наблюдать за вещами, мы предпочли их воображать. Мы злоупотребляли словами; мы привыкли пользоваться ими, не определив их значения, и их произвольное, легкомысленное и абсурдное употребление вобрало в себя все пороки неупорядоченного воображения. Мы верим, что обретаем знания, заучивая слова, которые остаются лишь словами. Поскольку в детстве мы мыслим только вслед за другими, мы перенимаем все их предрассудки, а когда достигаем возраста, в котором, как нам кажется, мы мыслим самостоятельно, мы всё равно продолжаем мыслить по указке других. Это происходит потому, что мы опираемся на предрассудки, которые они нам внушили и которые мы приняли за принципы. В результате, чем

[27] Сочинения Людовика XIV, т. II, с. 336.

дальше продвигается разум, тем сильнее он заблуждается; ошибки накапливаются из поколения в поколение, и человек больше не умеет рассуждать иначе, как следуя усвоенным дурным привычкам.

Чтобы научиться рассуждать, необходимо исправить эти дурные привычки ума. Но избавиться от привычек труднее, чем приобрести их. Когда мы хотим завести привычку, мы сначала думаем, а потом действуем; когда же мы хотим от неё избавиться, мы действуем прежде, чем успеваем подумать. Кроме того, дурные привычки души почти невозможно заметить. Они подчинены капризам обычая, который, кажется, не допускает ни сомнений, ни проверки: человеку было бы стыдно думать не так, как все. Ум слишком ленив, чтобы размышлять о самом себе; самостоятельное мышление кажется слишком утомительным. Ум испытывает отвращение к признанию своих недостатков, подобно тому, как наши глаза не желают видеть наши физические несовершенства.

Если вы хотите узнать о дурных привычках человеческого разума, понаблюдайте за различными мнениями народов. Посмотрите на ложные, противоречивые и абсурдные идеи, которые суеверие распространило повсюду, и судите о силе привычек по той страсти, которая заставляет уважать заблуждение гораздо больше, чем истину. Какие законы! Какие институты! Греки, римляне и мы сами, пришедшие после стольких гениев, - какое зрелище мы представляем для философа-наблюдателя! Какие мнения передавались от одних к другим! Какие мнения циркулируют между нами и перейдут к нашим преемникам!

Все они были установлены либо порочными правительствами, либо плохой философией, либо сектами, жаждущими господства, стремящимися скорее выделиться, чем открыть истину, скорее вытеснить соперников, чем служить человеческой природе, и всегда готовыми льстить принятым заблуждениям, чтобы придать вес тем, в распространении которых они заинтересованы. И как же эти заблуждения связаны друг с другом! Как они защищают друг друга! Какими неистребимыми они кажутся, возрождаясь одно из другого, если только всеобщий переворот не сокрушит их все разом!

Мы мыслим только с помощью слов; они абсолютно необходимы нам для формирования идей любого рода (§ 14). Все наши идеи, это правда, содержатся в наших ощущениях, но только анализ способен их там обнаружить; ну а самому анализу, чтобы находить и наблюдать их, требуются знаки, предотвращающие путаницу. Абстрактные и общие идеи - это, как мы скоро увидим, всего лишь наименования. Без таких знаков, как слова, нам было бы невозможно анализировать наши мысли, то есть видеть их отчетливо. Искусство рассуждения, следовательно, началось вместе с языками; оно зависит от их прогресса. Значит, необходимо изучать языки.

Языки берут свое начало в языке действий. Элементы языка действий родились вместе с человеком: это наши органы. Наше внешнее строение отражает всё, что происходит в душе; оно является выражением наших чувств и суждений, и когда оно говорит, ничто не может быть скрыто. Свойство действия не заключается в анализе. Поскольку действие выражает чувства лишь потому, что является их следствием, оно одновременно представляет все те чувства, которые мы испытываем в один и тот же момент; и идеи, возникающие в нашем мышлении одновременно, естественным образом оказываются одновременными и в этом языке. Однако множество одновременных идей не могут стать отчетливыми до тех пор, пока мы не выработаем привычку рассматривать их одну за другой. Следовательно, в языке действий всё представляется спутанным, когда люди только начинают на нем говорить.

Люди начинают изъясняться на языке действий сразу же, как только начинают чувствовать, и поначалу они делают это, не имея намерения передать свои мысли. Но вскоре потребность в помощи себе подобных заставляет их использовать этот язык для такой цели; тогда начинается анализ, и знаки становятся отчетливыми. Человек выражает всё, что чувствует, одновременно; тот же, кто «слушает» его глазами, не поймет его, если не разложит это действие на составляющие, чтобы рассмотреть одно за другим каждое движение. Любопытство заставляет его совершать это разложение; он делает это неосознанно. Он видит сразу множество движений, но некоторые основные из них бросаются ему в глаза с первого взгляда; при

втором он замечает другие, при третьем - еще какие-то. Таким образом, он наблюдает их последовательно, и анализ совершается. Так каждый человек рано или поздно заметит, что понимает других лучше всего тогда, когда разложил их действия на части, и, следовательно, для того чтобы поняли его самого, ему необходимо разложить на части свои собственные действия. Тогда он постепенно привыкнет повторять одно за другим те движения, которые природа заставила его совершать одновременно, и язык действий естественным образом превратится для него в аналитический метод.

Поскольку действие является следствием потребностей и обстоятельств, оно будет разлагаться в том порядке, который продиктован этими потребностями и обстоятельствами; и хотя этот порядок может меняться и меняется, он никогда не может быть произвольным.

Чтобы разложить свое действие и сделать его понятным, человек разлагает свою мысль; его понимают лишь потому, что он понимает самого себя; он анализирует и для себя, и для того, кто его слушает или на него смотрит. И поскольку общее действие является картиной всей мысли, то отдельные действия представляют собой такие же картины составляющих ее идей. Следовательно, если он и дальше будет разлагать эти частичные действия, он также разложит и частичные идеи, знаками которых они являются, и будет постоянно вырабатывать новые отчетливые идеи. Этот способ - единственный, которым он располагает для анализа своей мысли, - позволит развить ее до мельчайших деталей; ведь когда первые знаки языка уже даны, остается лишь обратиться к аналогии: она подскажет все остальные. Нет таких идей, которые не мог бы передать язык действий, при условии, однако, что знаки создаются по аналогии; в противном случае значение известного знака не могло бы привести к пониманию знака неизвестного. Именно аналогия является принципом языков, который делает их простыми, ясными и точными.

Язык действий был самым первым языком; он был даже необходим для формирования другого [т.е. звукового] языка. Каким образом слово могло бы стать знаком идеи, если бы эту идею нельзя было показать с помощью языка действий? И как этот язык мог бы ее показать, если бы не заставил рассматривать ее отдельно от всех остальных?

Подобно тому как люди задумались об использовании языка действий для того, чтобы их поняли, лишь после того как заметили, что их уже поняли, точно так же они задумали говорить с помощью членораздельных звуков лишь после того как заметили, что они уже произносили подобные звуки. Языки зародились еще до того, как возник замысел их создать. То же самое касается любых знаний и способностей: всё начала природа.

Языки были точными методами до тех пор, пока на них говорили лишь о вещах, относящихся к самым насущным потребностям. Ведь если в то время при анализе допускалось нечто лишнее, опыт неизбежно заставлял это заметить: тогда ошибки исправляли и начинали выражаться точнее. По правде говоря, языки тогда были весьма ограниченными, но от этого они не становились хуже. Языки точны не тогда, когда на них говорят о многом, но путано, а тогда, когда на них изъясняются ясно, пусть даже и о немногих вещах.

Чтобы совершенствовать и расширять языки, следовало бы продолжать так же, как было начато: ждать создания новых слов до тех пор, пока тщательный анализ не даст новых идей, а затем искать эти слова, опираясь на аналогию.

Но, во-первых, поскольку люди анализировали неосознанно, они не замечали, что точностью своих идей они обязаны исключительно анализу. Во-вторых, как только люди обеспечили себе удовлетворение самых насущных потребностей, они постепенно перешли к потребностям менее необходимым; от них - к нуждам, вызванным чистым любопытством или общественным мнением; и наконец, к потребностям бесполезным, каждая из которых была легкомысленнее предыдущей. Тогда потребность в анализе стала ощущаться с каждым днем всё меньше. Вскоре осталось лишь желание говорить, и люди начали говорить прежде, чем у них появлялись четкие идеи о том, что они хотят сказать. Пропал интерес к тому, чтобы проверять свои суждения опытом; люди верили всему без проверки, и суждение, ставшее привычным, превращалось в мнение, в котором больше не сомневались. Тогда одно ложное суждение порождало второе, а вскоре их стало бесчисленное множество. Аналогия вела от ошибки к

ошибке, потому что люди были последовательны в своих заблуждениях - именно это произошло даже с философами. В-третьих, наконец, торговля сблизила народы; они обменивались своими мнениями и предрассудками так же, как и богатствами. Языки смешались и превратились в груду чуждых друг другу слов, в которых аналогия совершенно отсутствовала[28] и больше не могла направлять разум в понимании значений слов, за исключением самой обыденной части языка.

Искусство рассуждать стало, таким образом, почти невозможным; искусство понимать друг друга и быть понятым на самом деле существовало только для предметов первой необходимости. Отсюда возникли тщетные усилия диалектиков создать некое искусство рассуждения, которое они надеялись найти в механизме самой речи. Они полагали, что недостатки языков не имеют значения, что языки произвольны и не имеют иных правил, кроме обычая и его капризов.

Общие идеи являются частью целостного представления о каждом из индивидуумов, к которым они применимы, и по этой причине рассматриваются как совокупность частных идей. Идея *человека*, например, входит в целостные представления о Петре и Павле, поскольку мы находим её и в Петре, и в Павле. Не существует «человека вообще», то есть без того или иного облика, который отличал бы его от любого другого индивидуума. Следовательно, общие идеи - это идеи качеств, общих для индивидуумов одного вида и отделенных от индивидуальных и отличительных признаков. *А «отделенные» - это синоним «абстрактных», и общие идеи - не что иное, как идеи абстрактные.*

Но какова на самом деле реальность абстрактной и общей идеи в нашем уме? ***Это всего лишь имя**, или же, если она представляет собой что-то иное, она неизбежно перестает быть абстрактной и общей. Когда, например, я думаю о ЧЕЛОВЕКЕ, я могу видеть в этом слове лишь общее обозначение; в таком случае совершенно очевидно, что моя идея в некотором роде ограничена этим именем, не распространяется ни на что за его пределами и, следовательно, является лишь самим этим именем.*[29]

Если же, напротив, думая о *человеке*, я вижу в этом слове нечто большее, чем просто обозначение, это означает, что я на самом деле представляю себе конкретного человека. А человек - как в моем уме, так и в природе - не может быть абстрактным и общим. Художник выглядел бы крайне нелепо, пожелай он нарисовать «человека вообще»; он всегда будет рисовать только конкретных людей.[30] Если бы у нас не было названий, у нас не было бы и абстрактных идей; если бы у нас не было абстрактных идей, у нас не было бы ни родов, ни видов; а если бы у нас не было ни родов, ни видов, мы не могли бы ни о чем рассуждать.[31] Следовательно, если язык плохо устроен, если слова плохо классифицируют или вовсе не классифицируют роды и виды, то очень трудно рассуждать правильно; в таком случае язык необходимо переделать для удобства использования.

Значит, если бы язык был устроен хорошо, то умение правильно говорить на этом языке означало бы умение правильно рассуждать. Следовательно, создание совершенного языка сделало бы излишним любое искусство рассуждения; таким образом, всё искусство рассуждения сводится к хорошо устроенному языку.

Если мы заметим, что все эти классы, разделенные на роды и виды, нужны нам лишь для того, чтобы разлагать на составляющие объекты, о которых мы хотим иметь четкие представления, то вместо того, чтобы искать в словах, обозначающих эти классы, некие непостижимые сущности, мы будем искать в них только отношения вещей к нам и между собой. Мы будем искать их изначальный смысл в их первом употреблении, а все остальные смыслы - в аналогии.

---

[28] Политика, извлеченная из Священного Писания, кн. III, ст. 2.

[29] Политика, извлеченная из Священного Писания, кн. III, ст. 1.

[30] Там же, кн. VI, ст. 6, положение 1-е.

[31] Там же, кн. VI, ст. 1, положение 2-е.

Определения не заменяют анализ, и не исправляют злоупотребления языком; они лишь ограничиваются указанием на вещи, которые наши чувства часто и так позволяют нам видеть. Но то, что мы видим вещь, не освобождает нас от необходимости её анализировать. По сути, хорошие определения - это не что иное, как краткие результаты анализа; следовательно, начинать всегда нужно именно с анализа. Впрочем, простые идеи не подлежат определению: анализ может лишь показать нам, как мы их приобрели; а сложные идеи можно зафиксировать только путем разложения их на все составляющие их частные идеи.

Именно синтез породил манию определений - этот туманный метод, который всегда начинает там, где следовало бы закончить; который сначала составляет, чтобы затем разлагать, вместо того чтобы сначала разложить, а потом составить заново. Последняя операция сама несет в себе доказательство своей правильности и следует естественному ходу ума, тогда как первая, после произвольного составления, находит при разложении лишь то, что ум сам хочет в нем увидеть. Клеро, Эйлер и Лагранж писали о математике, следуя методам анализа, и их труды благодаря этому стали более ясными и краткими.

В искусстве рассуждения всё сводится к сложению и разложению. Именно от ясности анализа зависит правильность рассуждения. Анализ тем более ясен, чем он проще и точнее; а его простота и точность зависят от простоты и точности языка. Только потому, что язык математики является самым простым и точным из всех языков, эту науку сочли исключительно способной - или более способной, чем другие - к доказательствам и назвали её точной наукой. Это мнимое преимущество, предположение о котором лишь доказывает, что анализ не применяли к другим наукам; ведь существует только один вид анализа, и он общий для всех наук. В каждой из них он ведет от известного к неизвестному через рассуждение, то есть через последовательность суждений, заключенных одно в другом. Все науки были бы точными, если бы мы умели говорить на языке каждой из них. Чем короче речь, тем ближе друг к другу становятся идеи, и чем они ближе, тем легче их охватить во всех их взаимосвязях. Нужно уметь переводить данные задач в самое простое выражение. По решению алгебраической задачи видно, насколько простота выражений облегчает рассуждение. Алгебраический язык позволяет наглядно увидеть, как суждения связаны друг с другом в рассуждении; как последнее заключено в предпоследнем, предпоследнее - в предшествующем ему, и так далее, восходя к началу. Подобно тому как в математике вопрос формулируется путем его перевода на язык алгебры, в других науках он формулируется путем перевода в самое простое выражение. И когда он сформулирован, само рассуждение, решающее его, представляет собой лишь последовательность переводов, где одно суждение, которое переводит предыдущее, само переводится последующим.

Очевидность рассуждения заключается исключительно в тождестве, которое обнаруживается между последним суждением и тем, что ему предшествовало, между этим последним и третьим с конца и так далее, вплоть до самого первого. Таким образом, эта очевидность вместе с тождеством переходит от формулировки вопроса к заключению рассуждения.

Невозможно открыть неизвестную истину иначе как в той мере, в какой она содержится в уже известных истинах. Следовательно, любая задача, требующая решения, предполагает наличие данных, в которых смешаны известное и неизвестное. Если данные не содержат всех необходимых известных величин, задача неразрешима; когда же они их содержат, остается лишь изложить эти данные достаточно простым способом, чтобы с максимальной легкостью выделить неизвестные. Таким образом, в любом вопросе следует рассматривать две вещи: изложение данных и выделение неизвестных. Изложение данных - это, по сути, то, что понимают под постановкой вопроса, а выделение неизвестных - это само рассуждение, которое его решает.

Необходимые данные часто содержатся в вопросе лишь косвенно, и их не всегда легко распознать. Чтобы обнаружить их, нужно перевести предложенное выражение в другое, где они предстанут в явном и отчетливом виде.

Пример: требуется выяснить, каково происхождение и порождение способностей человеческого разума. Данными здесь являются способности человеческого разума; но здесь они

охвачены в совокупности, и в них не видно ничего конкретного. Переведите это таким образом, чтобы обнаружить данные, и скажите: каково происхождение и порождение способностей, посредством которых человек, способный к ощущениям, познает вещи, формируя из них идеи, то есть способностей внимания, сравнения, суждения, размышления, воображения и рассуждения. Теперь известные величины обнаружены. Происхождение и порождение являются неизвестными.

Как выделить эти неизвестные? Нет ничего проще. Под происхождением мы понимаем ту из известных величин, которая является принципом или началом всех остальных, а под порождением мы понимаем то, каким образом все известные способности происходят от этой первой. Эта первая способность, которая известна мне как способность вообще, не известна мне в качестве первоначальной; она, собственно, и является тем неизвестным, которое смешано со всеми известными и которое необходимо выделить. Между тем, даже самое поверхностное наблюдение позволяет мне заметить, что способность чувствовать примешана ко всем остальным; следовательно, ощущение и есть то неизвестное, которое нам нужно выделить, чтобы обнаружить, как оно последовательно становится вниманием, сравнением, суждением и так далее.

Очевидность, о которой мы только что говорили и которую можно назвать ***очевидностью разума***, заключается исключительно в тождестве. Это то, что мы доказали.[32] Однако, когда истина открывается путем наблюдения за объектом, а не путем перевода одного предложения в составляющие его элементарные предложения, такая очевидность является ***фактической очевидностью***. Можно назвать *очевидностью чувства* ту очевидность явлений, которые мы наблюдаем в самих себе; ее также можно было бы назвать фактической очевидностью.

Редко удается прийти к очевидности внезапно. Во всех науках и во всех искусствах начинали с некоего подобия метода проб и ошибок. Наблюдениям и экспериментам часто помогают догадки, которые, рождаясь из предположений, часто выводят нас на путь открытий, указывая на то, что именно нам следует наблюдать.

Догадки занимают промежуточное положение между очевидностью и аналогией, которая сама по себе часто является лишь слабой догадкой. В аналогии следует различать разные степени: одни основаны на отношениях сходства, другие - на отношениях соответствия цели, третьи - на отношениях причин и следствий или следствий и причин. Самая слабая из аналогий - это та, что основана на сходстве; аналогия между средствами и целью обладает большей силой; та же, что основана на связи следствий с причиной или причины со следствиями, является наиболее убедительной; она становится даже доказательством, когда подтверждается совпадением всех обстоятельств.

Чтобы освоиться с понятиями этой логики, автор отсылает к вводным лекциям своего «Курса обучения», к первой части грамматики и к «Искусству рассуждения».

(Из 5-го тома собрания сочинений. В Ле-Пек, близ Сен-Жермен. С 15 по 28 флореаля III года (с 4 по 17 мая 1795 года).

[32] «Политика, извлеченная из Священного Писания», кн. VI, ст. 11, пол. 2-е.

Моральная философия: страсти, симпатия, самолюбие и полезность

О новом сочинении мадам де Сталь

Вышло в свет новое сочинение мадам де Сталь под заглавием: *«О влиянии страстей на счастье отдельных лиц и народов»* с таким эпиграфом: *Quaesivit caelo lucem, ingemuitque reperta* [Искала света в небесах и, обретя его, застонала]. Почему «застонала»? Очевидно, потому, что автор встретила лишь прискорбные истины: возможно, иных и не существует. Но давайте рассмотрим те, о которых она нам сообщила.

Сочинение разделено на три части. В первой автор говорит о любви к славе, об амбициях, тщеславии, пристрастии к игре, о скупости, пьянстве, зависти, мести, партийном духе и склонности к преступлениям. Во второй автор рассматривает чувства, которые являются промежуточными между страстями и ресурсами, которые человек находит в самом себе: о дружбе, о сыновней, отцовской и супружеской нежности, о религии. В третьей части речь идет о ресурсах, которые человек находит в самом себе, а именно: о философии, об учении и благодеянии.

Автор называет страстями любые привязанности, которые, воцаряя внутри нас тирана, делают нас зависимыми от внешних обстоятельств и подчиняют нас власти других людей. Её цель - доказать, что счастье несовместимо со страстями; что их природа такова, что они накладывают свой отпечаток на всю жизнь, тогда как наслаждения от них длятся лишь мгновения; что если их отсутствие и не гарантирует счастья, то, по крайней мере, избавляет от великих бед; что, впрочем, они вовсе не необходимы для того, чтобы давать душе импульс, так как любого окружающего нас обстоятельства достаточно, чтобы склонить душу к какому-либо предпочтению; и, наконец, что добродетель так же способна побуждать к великим поступкам, как и самые благородные из страстей. Автор делает исключение лишь для жалости к той войне, которую она им объявила.

Вот некоторые идеи, почерпнутые в этом столь богатом труде; большинство из них взято из главы о любви к славе.

«В народных республиках свобода прессы и обилие газет делают славу невозможной. Там народ судит; он не поддается восторгу. Заслуги получают уважение, но они не получают славы».

«Успехи просвещения уменьшают личную власть человека. Человечество наследует гениальность, и великие люди делают себе подобных менее необходимыми для следующих поколений».

«Пока длится первый блеск громкой славы, друзья неустанно действуют в пользу тех, кто её добился; но когда враги приходят с совершенно новым оружием, друзья затупляют своё, лишь бесполезно бряцая им вокруг триумфальной колесницы».

«Лишь благодаря обстоятельствам, и никогда - одному только таланту, немногим людям удавалось избежать непостоянства общественного признания».

«Восхищение - это своего рода фанатизм, жаждущий чудес; человек не согласен признать превосходство другого, не отказавшись от собственного разума, чтобы верить ему и повиноваться, приписывая ему нечто сверхъестественное. Как только у него возникает необходимость рассуждать о своих поражениях, объяснять их препятствиями, оправдывать их неудачами - с энтузиазмом покончено. Пышный наряд гения - это успех».

«Если к превратностям судьбы примешиваются ошибки, какой простор открывается для открытий посредственных умов! Стоит проиграть битву, как они уже думают, что выиграли её».

«В глазах толпы одна насмешка уничтожает блеск добродетели».

«Поскольку в радостях славы никогда нет ничего достаточного, душа может наполниться лишь их ожиданием; те же радости, которыми она уже обладает, лишь приближают её к тем, которых она желает».

«Какое противопоставление может быть более ужасным, чем обладание славой или её утрата! У любовника найдутся слёзы, чтобы пролить их на следы того, что он любит; но нет людей, которые бы шли по стопам того, кто некогда занимал всю вселенную, - лишь неблагодарность и забвение».

«Любовь больше не является счастьем, доступным тому, в ком долгое время господствовала страсть к славе; его душа слишком обширна, чтобы её мог заполнить один-единственный предмет».

Вот несколько размышлений, взятых из главы о честолюбии:

«Получить и сохранить власть - вот и весь план честолюбца».

«Огонь этой страсти иссушает; он резок и мрачен, как и все чувства, которые, будучи обречены нашим суждением об их природе на тайну, переживаются тем сильнее, чем меньше они когда-либо выражаются».

«Одно размышление призывает к некоторому снисхождению к честолюбию: дело в том, что власть - это наименее несчастная из всех форм отношений, которые можно поддерживать с большим числом людей».

«Честолюбец вынужден подавлять все свои чувства. Он поддерживает мнение или совершает поступок, который его человечность осуждает, а его гордость отвергает, оставляя за собой право объяснить своё поведение, когда достигнет цели; он не видит, что сами действия всегда заметнее, чем комментарии к ним, и что сказанное или сделанное на сцене никогда не стирается тем, что пишут в уединении».

«Честолюбие - это страсть, которая в несчастьях более всего испытывает потребность в мести; это верное доказательство того, что именно она оставляет после себя меньше всего утешения».

«Падший честолюбец живёт теперь только в собственных глазах. Он сыграл и проиграл: такова история всей его жизни».

В главе о любви мы читаем следующее:

«Только вне нас самих находятся единственные бесконечные наслаждения. Если хочешь почувствовать цену славы, нужно видеть, как то, что ты любишь, почитается в её блеске; если хочешь узнать, чего стоит состояние, нужно отдать его любимому человеку; наконец, если хочешь благословить неведомый дар жизни, нужно, чтобы он был необходим для вашего существования...

Любовь - единственная страсть женщин. Честолюбие, даже любовь к славе, даются им так плохо, что лишь немногие ими занимаются, и то обоснованно. На одну женщину, которая возвышается, приходятся тысячи тех, кто опускается ниже достоинства своего пола, покидая это поприще.

Но непостоянство, неверность, смерть...».

Однако рамки этого журнала не позволяют нам далее расширять этот отрывок. Видно, с какой проницательностью и талантом мадам де Сталь анализирует все описываемые ею страсти и с каким оружием она их преследует; она милостива лишь к состраданию: это единственное чувство, которому она позволяет отдаваться без остатка; поэтому она говорит о нём так, что внушает его другим. В весьма обширном введении она излагает свои идеи о связи страстей с общественным благом; но автор оставляет за собой право расширить эти размышления во второй работе, которую обещает выпустить. - Является ли описанная автором система страстей полной? Все ли понятия в ней точны и выверены, а их последовательность - естественна и строга? Было бы трудно утверждать это наверняка, не обдумав книгу еще более глубоко; она слишком богата новыми и важными идеями, чтобы одно лишь прочтение давало право судить о ней.

Но прежде всего поражает тот удивительный факт, что женщина обратилась к подобной теме и всерьез посвятила ей себя, обладая при этом всеми качествами, которые обычно побуждают предаваться легкомыслию - то есть будучи молодой, богатой и француженкой. И что еще более поразительно - она сумела удержаться на высоте выбранного предмета. Многие женщины во Франции прославились в литературе, но все они ограничивались либо фривольными темами, либо вопросами домашней морали; ни одна из них не осмелилась претендовать на успех в области морали политической.

Даже в Англии едва ли можно назвать кого-то, кроме госпожи Маколей, кто отважился бы на такую карьеру. Но та писала историю своей страны, она описывала мужчин; госпожа же де Сталь, будучи более смелой, предприняла попытку описать историю человеческого сердца и изобразила страсти. Для создания подобного труда требовалось не только обладать незаурядным умом, но и находиться в совершенно новых обстоятельствах. Нужно было стать очевидцем великой революции, которая придала всем страстям на протяжении всей жизни тот размах и движение, на которые они способны; нужно было прочувствовать это всеми узами сердца, всеми склонностями ума; следить с долгим и живым беспокойством за событиями, от которых должна была зависеть судьба добродетельных граждан, почтенных друзей, прославленного отца; наконец, судьба самой нравственности, свободы и отечества.

Нам остается поговорить о стиле. Писательский талант в этом произведении блистает со всех сторон, но повсюду встречается и некоторая небрежность. Композиция и первое издание такого труда не могли быть выполнены лучше, чем в Швейцарии. Именно в Париже вкус и тяга к философии побуждают автора работать над вторым изданием.

(Journal de Paris, 2 фримера V года - 22 ноября 1796 г.)

(Примечание издателя). Именно к последним строкам вышеприведенной статьи господин Сент-Бёв отсылает в своем «Очерке о моем отце», когда говорит: *«Работы Бенжамена Констана, господина и госпожи Неккер, госпожи де Сталь часто фигурируют в аналитических разборах Рёдерера»*. Это было то время, когда госпожа де Сталь опубликовала свою книгу «О влиянии страстей на счастье». Она тогда находилась в Швейцарии, страстно желая иметь возможность вернуться в Париж; она хотела, чтобы там говорили о ней и о ее книге с похвалой и, прежде всего, с благосклонностью, чтобы таким образом вновь открыть ей путь к возвращению. Господа Девейн и Рёдерер сообщили ей в письмах, что у них есть некоторые возражения против ее манеры письма. Она отвечала, немного поддразнивая себя, но вполне убедительно оправдываясь: *«Друг мой, дорогой Рёдерер, и господин Девейн, вы, значит, считаете, что я не умею писать. Из этих двух писем, единственных, что я получила в таком духе, я отвечаю только на ваше; ибо, если вы будете настаивать, я вам поверю. Что подразумевается под стилем? Не краски ли это и движение идей? Где вы находите, что мне не хватает красноречия, чувствительности или воображения? Было бы крайне смешно говорить вам, что я в это не верю»*. И она также оправдывается по поводу туманных мест, в которых ее упрекали, а затем переходит к главному пункту, который ее задевает: *«Но я считаю, что в работе не хватает стиля, то есть жизни и цвета, и что в ней есть то, что можно назвать избытком выражений... Поистине, - добавляет она, словно извиняясь за самопохвалу, - я почти уверена, что автор и мы - это два разных человека; женщина, молодая и чувствительная, - это еще не всё в самолюбии, которым живут. Настанет время, когда, увы, слишком скоро, моя книга станет главным событием в моей жизни»*. Она желает серьезного отзыва в «Журнале общественной экономики»; но для «Парижского журнала» она желает большего и просит совершенно искренне, чтобы ее похвалили; ей это необходимо из-за ее положения во Франции. *«В "Парижском журнале" мне было бы крайне важно, чтобы воспользовались этим случаем и сказали обо мне что-нибудь хорошее. В красном журнале сделайте анализ,[33] если сочтете меня достойной; но, если можно, на*

[33] Раз уж я позволил себе это отступление, позволю себе заметить в примечании, что в тот момент, когда Людовик XIV закрыл глаза, принцы его крови провозгласили доктрину, прямо противоположную той, что предполагает божественное право королевской власти. Они признали за нацией - в официальном акте,

скрепленном их личными подписями - право, которое, несомненно, имеет весьма предосудительное сходство с суверенитетом, поскольку оно заключается, по их мнению, в возможности делегировать власть семье, избранной нацией, на определенных условиях наследования. Должен также сказать, что торжественный эдикт подтвердил эту доктрину, которая сегодня считается еретической и наказуемой среди сторонников ультрамонтанства. Вот факты и акты, подтверждающие мои слова.

В июле 1714 года Людовик XIV своим эдиктом повелел, чтобы в случае пресечения законных ветвей дома Бурбонов корона Франции перешла к герцогу Мэнскому и графу Тулузскому, его внебрачным сыновьям, которых он узаконил вопреки законам, запрещавшим легитимацию детей такого происхождения. Мотивом, указанным в этом законе, были беды и смуты, которые могли бы когда-нибудь постигнуть королевство, если бы все принцы королевского дома исчезли.

Тот же эдикт предписывал, чтобы герцог Мэнский и граф Тулузский имели право входа и заседания в парламенте в том же возрасте и с теми же почестями, что и принцы крови, и чтобы они пользовались теми же прерогативами во всех церемониях, где будут присутствовать король и принцы. Этот эдикт был зарегистрирован в парламенте 2 августа того же 1714 года.

Спустя некоторое время, когда палаты парламента отказались признать за узаконенными принцами статус принцев крови, Людовик XIV декларацией от 23 мая 1715 года запретил делать какое-либо различие между законными и узаконенными принцами. Он приказал, чтобы последние приняли титул принцев крови и чтобы этот титул присваивался им во всех судебных и прочих актах.

Спустя три месяца после этой декларации Людовик XIV умирает.

Тогда три принца крови - герцог Бурбонский, граф де Шароле и принц де Конти - представляют королю в его совете прошение и различные докладные записки с требованием отмены эдикта от июля 1714 года и декларации от 23 мая 1715 года. Одной из претензий, изложенных в их прошениях, было то, что в случае пресечения законной мужской линии в доме Бурбонов именно нация должна была избрать правящую династию, и что Людовик XIV не имел права распоряжаться короной.

Следует заметить, что в то время Людовик XV был несовершеннолетним, а герцог Орлеанский - регентом. Прошение было передано узаконенным принцам, которые умоляли короля отложить решение до его совершеннолетия или вынести на обсуждение законно созванных Штатов королевства вопрос о том, насколько интересам нации соответствуют положения июльского эдикта и полезно или опасно для неё требовать его отмены. Вскоре после этого те же принцы подали официальный протест с аналогичными целями через нотариуса и потребовали его передачи на хранение в канцелярию парламента. Парламент доложил об этом прошении королю и ожидал его распоряжений для принятия решения.

В июле 1717 года король положил конец спору своим эдиктом, который отменил и аннулировал эдикт июля 1714 года и декларацию от 23 мая 1715 года.

Этот эдикт, подписанный Людовиком, также скреплен подписью присутствовавшего герцога Орлеанского, регента.

В преамбуле закона изложены принципы, которые мы приведем дословно, опасаясь исказить их суть:

«Мы надеемся (говорит король), что Бог, хранящий дом Франции на протяжении стольких веков и во все времена являвший столь яркие знаки своего покровительства, не лишит его своей милости и в будущем. Мы верим, что, сохраняя наш дом столь же долго, сколько просуществует монархия, Он по своей благости отведет ту беду, которую стремился предвидеть покойный король. Но если бы французская нация когда-либо столкнулась с этим несчастьем, то именно самой нации надлежало бы исправить его ПОСРЕДСТВОМ МУДРОСТИ СВОЕГО ВЫБОРА. И поскольку основные законы нашего королевства ставят нас в счастливую невозможность отчуждать владения нашей короны, мы считаем за честь признать, что мы еще менее свободны распоряжаться самой короной. Мы знаем, что она принадлежит нам лишь ради блага и спасения Государства, и что, следовательно, только само Государство имело бы право распорядиться ею в том печальном случае, который наш народ предвидит лишь с болью и сама мысль о котором огорчает. Мы считаем своим долгом перед нацией, столь верно и незыблемо преданной дому своих королей, из уважения к справедливости не предрешать выбор, который ей пришлось бы сделать; именно поэтому нам показалось излишним советоваться с ней в данном случае, когда мы действуем исключительно ради неё, отменяя постановление, по которому с ней не консультировались; наше намерение состоит в том, чтобы сохранить её во всех её правах, предвосхищая даже её желания, как мы всегда считали бы себя обязанными делать для поддержания общественного порядка, независимо от представлений, полученных нами от принцев нашей крови».

Таковы мотивы, буквально изложенные в эдикте 1717 года, который отменяет эдикт 1714 года и декларацию 1715 года.

Окончание только что процитированной преамбулы указывает на то, что изложенные принципы были приведены принцами крови в поданном ими прошении в регентский совет. Таким образом, добавляя к почтению, которое они выразили принцам-просителям, почтение к герцогу Орлеанскому, председателю

следующий день после того, как получите это письмо, просто-напросто похвалите меня в журнале, который обладает настоящей диктатурой над общественным мнением;[34] *похвалите книгу так, чтобы перестали преследовать автора. Посмотрите, с каким доверием я полагаюсь на вашу дружбу...».* В тот же день, когда она писала это письмо (22 ноября 1796 года) Рёдерер пошел навстречу своему желанию и опубликовал в «Парижском журнале» благожелательный разбор, который заканчивался такими словами: *«Талант писать ярко проявляется во всех частях этого труда, но повсюду встречается и некоторая небрежность. Композиция и первое издание подобного труда не могли быть выполнены лучше, чем в Швейцарии; именно в Париже друзья вкуса и философии просят автора подготовить второе издание»*. Она была тронута и ответила ему: *«Поверьте, я полна признательности, высокого мнения о вас и симпатии»*.

Эти отношения между Рёдерером и мадам де Сталь были довольно живыми, по крайней мере со стороны последней, но вскоре прервались и более не возобновлялись. Рёдерер писал слишком часто и со слишком большой свободой, чтобы не задевать постоянно своим пером мадам де Сталь, а особенно её семью и друзей; она же была более требовательна к ним, чем к самой себе. Еще до того, как 18 брюмера внесло между ними существенные политические разногласия, охлаждение уже стало заметным. Мадам де Сталь, хотя какая-то фраза её и ранила, жаловалась на него по-женски, с добрым изяществом, и говорила ему одну из тех фраз, которые, впрочем, изобличают лишь независимость критического и рассудительного ума: *«Я не первый человек из тех, кто вас любил и кто жаловался на невозможность закрепить в вашем сердце устойчивое суждение»*. На что он ответил: «Дело в том, что суждение, достойное названия устойчивого, закрепляется не в сердце, а в уме; и более того, стоит лишь начать искать истину, как чаши весов всегда снова приходят в движение».

(Прим.: Дальше следует детальный пересказ книги мадам де Сталь, но ценность его невелика, на фоне этой краткой версии концептуально там ничего нового).

Посмертные сочинения Адама Смита

Агасс, книгопечатник-издатель, только что выпустил посмертные сочинения Адама Смита, предваряемые кратким очерком его жизни и трудов, написанным Дугалдом Стюартом; перевод с английского П. Прево, профессора философии в Женеве.

Не является ли дерзостью со стороны переводчика и издателя этого труда осмелиться сегодня воспроизвести во Франции имя Смита и представить новые сочинения, вышедшие из-под его пера? Смит был философом; он был одним из светочей этого века, и, возможно, самым полезным из них. Как будет выглядеть прославленный автор «Теории нравственных чувств» среди великих теологов и знаменитых ультрамонтанов наших дней, между нашими Патуйе и нашими Шомексами, которые пришли на смену Робеспьерам и Шометтам? Как сможет прославленный автор «Исследования о богатстве народов», почитатель энциклопедистов и даже соперник величайших ученых-экономистов, занять место среди нынешних государственных

регентского совета, подписав эдикт и направив его в парламент, можно сказать, что все принцы дома Бурбонов тогда индивидуально выразили свою веру в права нации; добавьте к этому единодушное одобрение членов королевского совета, среди которых мы видим прославленного Дагессо, и единодушное согласие парламента, который без малейшего промедления зарегистрировал эдикт об отмене 1717 года, и станет, я полагаю, очевидным, что королевская власть по божественному праву, королевская власть в том виде, в каком она существовала в Израиле, в каком её представлял себе Боссюэ и какой её считал Людовик XIV, была отвергнута семьёй этого принца сразу после его смерти.

Эдикт июля 1717 года, содержащий всё то, что мы только что прочли, напечатан во всех сборниках того времени.

[34] Сейссель, «История Людовика XII», с. 39 и 45.

деятелей? Тех самых, что учат нас сегодня презирать Тюрго и Мальзерба, пытаясь под вывеской «косвенных налогов» заменить анархический революционный грабеж грабежом организованным. Они стремятся вычеркнуть из памяти разбой якобинцев, подменяя его поборами табачных стражников и акцизных чиновников, и утешить нас после мимолетных оргий санкюлотов блеском новых Бурвале, которые вновь и вновь возрождаются и плодятся в огромном количестве.

Шепнем, однако, на ухо друзьям словесности и философии, в чем именно заключается это собрание посмертных сочинений Смита.

Значительная часть первого тома посвящена жизни автора и содержит весьма точный обзор его главных трудов: «Исследования о богатстве» - самой полезной из когда-либо написанных книг - и его «Теории нравственных чувств». Последняя стала первым сочинением, где были собраны истинные основы морали и где анализ проникает сквозь все явления человеческого сердца, чтобы постичь управляющие им принципы. Этот труд полон восхитительных подробностей, поражающих своей новизной, удивительной точностью и красотой стиля.

Вторую часть первого тома занимает «История астрономии» - труд, относящийся не только к науке, указанной в заглавии, но в гораздо большей степени к изучению человеческого разума. Автор раскрывает в нем истинный принцип, определяющий движение мысли в любых философских изысканиях. Именно так выдающийся человек может одним своим сочинением служить одновременно нескольким наукам.

Второй том содержит изложение «Принципов, лежащих в основе и руководящих философскими исследованиями, поясненных и наглядно представленных через историю древней физики»; рассуждение о «природе подражания в так называемых подражательных искусствах»; статью о «некоторых английских и итальянских стихах»; еще одну - о «внешних чувствах»; и, наконец, письма к издателям «Эдинбургского журнала», в которых Смит дает обзор трудов нескольких прославленных философов и экономистов, которых их мелкие прислужники сегодня бесстыдно и безосновательно оскорбляют.

Том завершается размышлениями переводчика, господина Прево, о посмертных трудах Адама Смита. Это глубокие рассуждения, в которых автор ставит своей главной целью обозначить различия между тремя школами моральной философии: шотландской, французской и немецкой. Основателем первой он признает Хатчесона, а ее самым прославленным учителем - Адама Смита. Истоки французской школы он связывает с Кондильяком, хотя тот и обязан своей системой Бэкону, Локку и Декарту, чего господин Прево не отрицает. Немецкую же школу он возводит к Лейбницу; её нынешним великим магистром является Кант. Прево с большой ясностью излагает основные идеи, отличающие доктрину этого знаменитого человека, который, возможно, принес в науку, о которой он уже столько написал, больше путаницы, чем подлинной новизны.

Объявлено о выходе нового перевода «Теории нравственных чувств», снабженного тонкими и интересными примечаниями. Это труд женщины, знаменитой своей красотой и достойной быть известной своим умом. Она заслужила признательность отечества, перенося на нашу почву, умножая и распространяя труды, к которым англичане относятся с меньшей ревностью, чем к своим лошадям или шерсти. В любом случае, экспорт таких идей легче, а их усвоение приносит еще более богатые плоды.

(Journal de Paris, 20 термидора V года. - 7 августа 1797 г.)

Теория нравственных чувств, или Аналитический опыт о принципах суждений, которые естественным образом выносят люди сначала о поступках других, а затем и о своих собственных;

Сопровождаемая
Рассуждением о происхождении языков, автор Адам СМИТ; перевод с английского по 7-му и последнему изданию, выполненный Софи ГРУШИ, вдовой КОНДОРСЕ, которая добавила к нему восемь писем о Сочувствии.

В истории некоторых книг, как и в жизни некоторых людей, встречаются странности, которые кажутся необъяснимыми. Большинство книг никто не читает и не покупает. В этом нет ничего удивительного - это совершенно естественно. И если бы авторы были честны с собой, они бы сами признали причины такого положения дел. Однако существует немало книг, которые находят своего покупателя. Их переплетают должным образом, богато украшают позолотой и выставляют на полку в библиотеке лишь для того, чтобы в дальнейшем они контактировали исключительно с метелкой для смахивания пыли. Это посредственные издания, некогда расхваленные достойными людьми, и теперь обладание ими считается признаком хорошего вкуса. Владельцу не столько хочется их перечитывать, сколько демонстрировать их гостям.

Но самым странным в коммерческой истории книг кажется то, что существуют труды, которые продаются и читаются, которые выдерживают несколько изданий, но при этом на них нельзя найти ни рецензии, ни похвалы, ни цитаты, ни опровержения ни в одном другом сочинении. Их нет даже в тех книгах (столь многочисленных, как говорил Шамфор), которые сами целиком составляются из других книг. Такова до настоящего времени судьба «Теории нравственных чувств» Адама Смита, переведенной с английского языка. Сейчас во Франции выходит уже третье издание, однако многие наши специалисты по этике до сих пор не знают, что это - прекраснейшее собрание наблюдений, которым когда-либо обогащалась наука о морали.

В 1770 году издатель Бриассон напечатал первый перевод в двух томах форматом в 1/8 долю листа. Однако он пошел на нелепую и шарлатанскую уловку, добавив к названию Смита подзаголовок «Метафизика души». В результате книгу раскупили любители пневматологии, или схоластической психологии, которые были недостойны её читать, в то время как философы, для которых она и предназначалась, проигнорировали её.

В 1773 году аббат Блаве, библиотекарь принца Конти и первый переводчик «Исследований о природе и причинах богатства народов», не зная о существовании уже имеющегося перевода «Теории нравственных чувств», предпринял второй, который опубликовал в следующем году. Несмотря на недовольство Адама Смита тем, что версия Бриассона была искажена, это второе издание долгое время оставалось невостребованным и в итоге было распродано по бросовой цене.

Но, в конце концов, тот резонанс, который дискуссии в Собрании нотаблей придали «Богатству народов», отразился и на «Теории нравственных чувств». То, что сама книга не смогла сделать для репутации автора во Франции, репутация автора сделала для книги. Её стали покупать из уважения и признательности к его таланту, а также из любопытства к интеллекту Смита: людям хотелось увидеть его в иной сфере деятельности, нежели политическая экономия. Однако люди, занимающиеся экономическими дискуссиями, были мало склонны ценить труд по чистой морали или же были слишком заняты государственными делами. И так как первое издание попало в руки схоластов и там затерялось, второе погибло в руках экономистов и финансистов.

Те немногие экземпляры, что оказались в руках светского общества, разделили участь всех серьезных вещей, которые люди чувствуют себя обязанными уважать: о них стараются не говорить и в итоге забывают.

Даже сами философы и моралисты, казалось, не заметили существования этой книги. С момента её публикации во Франции вышло несколько трактатов о морали; в них цитируются

или, по крайней мере, упоминаются более ранние авторы, но имя Смита не встречается ни разу. Его нет ни в «Всеобщей морали» барона Гольбаха, ни даже в той прекрасной галерее древних и современных моралистов, которую Сен-Ламбер поместил в начале своих «Принципов нравов, или Всеобщего катехизиса». Это сочинение Сен-Ламбера важно своими чистыми наставлениями, полезными истинами и той смелой философией, которую оно содержит. Изданное в определенный момент, оно, благодаря имени автора, его почтенному возрасту, уважению к его талантам, личным качествам и всей его жизни, становится торжественным и внушительным протестом в защиту философии XVIII века против тех негодяев, что запятнали её имя своими преступлениями, и против отречения тех людей, которые, побывав прежде её лицемерными приверженцами, превратились затем в её жестоких врагов. Как же Смит мог остаться незамеченным или неизвестным Сен-Ламберу? Почему глубокий аналитик нравственных чувств не был поставлен им в один ряд с Локком, великим аналитиком мысли?

Причина этого, без сомнения, в том, что Смит объединил все свои наблюдения в ложную систему. Дело в том, что он искал способность, порождающую все феномены наших нравственных привязанностей, вне системы разума, вместо того чтобы показать, каким образом она является её частью. Он предположил, что эта первичная, оригинальная и, по сути, чуждая всем прочим способность - наличие которой мы признаем и относительно которой он сам соглашается, что человеческий дух сложен, - переносит нас в других людей, заставляя нас сопереживать их радостям и страданиям. Он утверждал, что мы приходим к понятиям долга и моральным принципам лишь при помощи этой таинственной симпатии. В зависимости от того, разделяет ли она чувства наших ближних в различных жизненных ситуациях или же отстраняется и противится им, мы судим о том, насколько уместны или неуместны, достойны уважения или порицания сами эти чувства, а также действия и мнения, которые их вдохновляют. Таким образом, только после того, как мы понаблюдаем за впечатлениями, которые производят на нас другие, мы обретаем правила для суждения о самих себе и для управления своим поведением: такова система Смита.

Очевидно, насколько она ошибочна; более того, видно, что она сама себя разрушает. Ведь если согласиться со Смитом в том, что чувство долга рождается из наших симпатий и антипатий, можно задаться вопросом: откуда же берутся сами эти симпатии и антипатии? Вы говорите, что мы любим добродетель из симпатии к добродетельным людям; но откуда берется эта симпатия к ним? Если я отличаю добродетельного человека от того, кто таковым не является, значит, у меня уже есть чувство добродетели. Следовательно, это чувство проявляется и действует в самой моей симпатии. Моё различение порока и добродетели предшествует симпатии; следовательно, мне не нужна эта симпатия, чтобы обладать таким различением.

Без сомнения, эта систематическая часть «Теории нравственных чувств» нанесла вред Смиту в глазах наших просвещенных моралистов, и их предубеждение, вызванное обстоятельствами Революции, до сих пор не удалось преодолеть или рассеять. Впрочем, такова судьба заблуждений: они не только всегда подозрительны, но и распространяют вокруг себя мрак. Такова участь ложных систем, порожденных остроумными людьми: они излагаются путано, и на самом деле не существует таких заблуждений, как говорил Вовенарг, которые, будучи изложены ясно, не рухнули бы сами по себе. Наконец, по несчастью, общему для всех переводов и в особенности для абстрактных трудов, посвященных преимущественно ошибочным системам, смысл Смита часто ускользал от двух его первых переводчиков. Множество слов оригинала, не имеющих эквивалента в нашем языке, были вынужденно переведены неудачными терминами, которым наше употребление придает значения, весьма далекие от всякого философского смысла: таковы слова «симпатия» (*sympathie*) и «сообразность действий» (*propriété des actions*). Все эти обстоятельства, вероятно, способствовали прохладному отношению образованных людей к теории нравственных чувств.

Тем не менее, какие сокровища фактов, наблюдений и анализа предлагает этот труд науке о морали - не только для составления её правил, но и для внедрения этих самых правил в волю и для руководства привычками! Какая проницательность восприятия, какая тонкость

взгляда, какая точность анализа, какое изящество стиля во всех частях, где автор рассматривает природу и меру привязанностей, которые мы испытываем при виде различных чувств наших ближних!

Миссия утвердить это важное произведение во всех его правах и во всей его полноте выпала на долю гражданки Кондорсе. Новый перевод, который она публикует, обогащенный значительными дополнениями, сделанными автором в последних английских изданиях, свободен не только от смысловых искажений предыдущих версий, но и от той расплывчатости, от той неопределенности выражений, которые искажают абстрактную систему еще сильнее, чем прямые ошибки. Что касается недостатков самой основы труда, то письма гражданки Кондорсе являются их подлинным исправлением. Они очень удачно объясняют происхождение симпатии, которую Смит считал первоосновой всего, не зависящей ни от чего другого. Она приписывает её, и небезосновательно, памяти и воображению и с точностью возвращает её к общему принципу физической чувствительности. Таким образом, эти письма связывают все феномены, собранные Смитом, с теми, что собрала она сама, и с наукой о разуме. Наконец, они возвращают великое семейство нравственных чувств в лоно великого семейства идей. Возможно, сама того не осознавая или, по крайней мере, на то не претендуя, гражданка Кондорсе выступает просвещенной посредницей между Смитом и Локком, а также между ними обоими и нашими учеными-моралистами.

Прежде чем представить обзор писем гражданки Кондорсе, укажем на несколько примеров превосходных подробностей, описанных Смитом.

Следует полагать, что тайны, раскрытие которых доставляет нам наибольшее удовольствие, - это тайны наших собственных чувств и причин, их порождающих. Ведь Смит, не прибегая к пафосу, метафорам, пылкости, поэзии или ораторским уловкам, одной лишь ясностью своих объяснений и легкостью изложения порой дарит невыразимое наслаждение.

Например, читатель приходит в восторг, читая в IV и V главах первого раздела первой части о происхождении любезных и почтенных добродетелей. Под первыми подразумеваются качества, относящиеся к человечности, доброте, мягкости и вежливости; под вторыми - те, что связаны с силой, мужеством и властью над собой как в радости, так и в горе.

С каким удовольствием мы наблюдаем за усилиями, которые прилагает чуткий и добрый человек, чтобы проявить к страдальцу сочувствие, равное его боли! И наоборот - за усилиями, которые прилагает страдающий человек, чтобы смягчить вид своего страдания в глазах того, кто сопереживает ему. Как приятно видеть, что самообладание одного усиливает растроганность другого, а эта растроганность, в свою очередь, укрепляет мужество несчастного. Как последний находит утешение в величии своей души, и как в первом растет интерес к нему из-за невольного восхищения. Одним словом, как благодаря взаимному влиянию друг на друга несчастный становится сильнее, а равнодушный - чувствительнее!

И если анализ принципов честолюбия и сословных различий вызывает меньше интереса, то в нем встречаются столь удачные сопоставления, столь неожиданные и удивительные выводы, поражающие своей истинностью, что они доставляют иного рода удовольствие - удовольствие от сильно возбужденного и полностью удовлетворенного любопытства.

В третьей части, где автор исследует природу совести и угрызений сорока, он с истиной более пугающей, чем любые поэтические вымыслы, объясняет, как преступник, отождествляя себя с честным человеком, которого ужасает и возмущает мысль о тяжком злодеянии, разделяет этот ужас, изнывает от собственного отвращения и покрывает себя позором.

Уверенность в том, что тайна не будет раскрыта, не избавляет его от мучений. Его пораженное воображение, запечатлевшее в себе суд всех добропорядочных людей над его поступком, превратило его самого в собственного судью и палача. Ужас его положения таков, что невозможность быть узнанным как автор преступления становится для него невыносимой. Он сам идет обвинять себя, он идет раскрыть судье то, что человеческая проницательность никогда не смогла бы обнаружить. Он идет предать себя каре закона и мести сограждан, обречь себя на самое мучительное искупление в единственной надежде получить от них хоть каплю

жалости в своих страданиях. Он испытывает потребность в том, чтобы чувство добропорядочных людей, взывающих к мести, сменилось в их сердцах чувством сострадательных людей, взывающих к милосердию.

Вся книга Смита полна таких глубоких картин, которые открывают нам все то, что заложено в человеческой природе в пользу морали и добродетели.

(Journal de Paris от 21 мессидора VI года. - 9 июля 1798 года.)

О письмах гражданки Кондорсе о сочувствии

В своем первом письме гражданка Кондорсе исследует причины нашего сочувствия физическим страданиям, проявления которых мы замечаем у других. С помощью ряда последовательно изложенных наблюдений она показывает, что это сочувствие заключается исключительно в работе воображения. При виде страдающего существа оно воспроизводит в нас не саму боль, которую тот испытывает, а общее недомогание, сопровождающее и следующее за всякой болью, достаточно сильной, чтобы затронуть весь организм. Это состояние знакомо любому чувствительному существу, которое прожило хоть немного, ибо никто не прожил и дня без страданий. Таким образом, физическая чувствительность и воображение - это две способности, с которыми гражданка Кондорсе связывает наше сочувствие физической боли. Из этого первого понятия вытекает истина, подтвержденная опытом, согласно которой школа страданий и невзгод делает людей более сострадательными и человечными. Из этого, по-видимому, вытекает важный вывод: вовсе не обязательно, как утверждает гражданка Кондорсе, чтобы отцы, матери и воспитатели специально демонстрировали молодым людям *чужие страдания*. Скорее, воспитание должно в разумной мере примешивать некоторые огорчения и, по крайней мере, определенные житейские трудности к радостям юности. Отцовской нежности и, в особенности, материнской любви всегда будет трудно это принять, однако подобный подход мог бы мягко осуществляться в общественных учебных заведениях. Там молодые люди могли бы проходить умеренную закалку социальной жизнью и начинать обретать опыт преодоления трудностей, который в зрелом обществе часто привносится слишком поздно, чтобы успеть победить страсти и привычки.

Цель второго письма - показать, как нравственное сочувствие рождается из физического сопереживания. *«Самое абстрактное представление о физической боли... более или менее сильно возобновляя общее впечатление боли в наших органах, вызывает тот же эффект, что и идея нравственного страдания»*. Причина проста: нравственная боль - это не что иное, как совокупность опасений или воспоминаний о нескольких видах физической боли. Автор полагает, что мы обретаем способность разделять нравственные страдания, общие для всех существ нашего вида, только благодаря привязанности, которая сначала связывает нас с кормилицей, а затем с родителями и друзьями. Следовательно, именно в частной жизни мы проходим обучение чувствам, охватывающим всё человечество, - и это весомый повод уделять пристальное внимание домашним нравам.

Гражданка Кондорсе высказала новые, верные и интересные мысли о мотивах, которые заставляют нас искать зрелища великих страданий - будь то в театре или в обществе. До сих пор моралисты сильно заблуждались относительно причин, влекущих народ к местам казней, а риторы - относительно того, что приводит образованные умы на трагедии. Стремление увидеть несчастных сначала сливается с тем возвышенным чувством, которое заставляет спешить к ним на помощь и протягивать им руки даже тогда, когда у нас меньше всего сил и надежды быть им полезными. Кроме того, *«в нас живет, как говорит автор, тайный порыв, побуждающий узнавать о чужих бедах, едва мы начинаем подозревать об их существовании, и*

в целом - глубже вникать в любое сочетание идей или в любой факт, о котором у нас имеется лишь неполное представление».

Этот порыв - любопытство, которое естественным образом побуждает наблюдать и за бедами, которые могут постичь нас самих, и за ресурсами нашей природы, позволяющими их вынести. Толпу также влекут к казням страх скуки и потребность в эмоциях, возникающие из-за нехватки идей, впечатлений и чувств. Наконец, тайный интерес подсказывает каждому, что для развития чувствительности - источника всех наших радостей - ей необходимо время от времени давать сильные встряски.

В связи с этим мы заметим, что несправедливо называть варварами простых людей, которые обычно окружают эшафоты. По правде говоря, во времена гражданских смут и внутренних раздоров народ иногда проявляет жестокость на подобных зрелищах, но это касается лишь тех, кого он считает своими врагами; ведь он тем сильнее сокрушается от ударов, которые могут обрушиться на его собственных сторонников. В такие моменты фанатизм, страх, ненависть и месть ослепляют его и уводят прочь от всех естественных чувств. В мирные же времена, когда только закон и правосудие отправляют людей на эшафот, чувство, заставляющее большую часть зрителей бежать к месту казни, отнюдь не является негодованием из-за преступления или жаждой мести. Напротив, это сострадание к виновному. На площадь идут так же, как бегут к берегу моря, когда вдали замечают кораблекрушение, или как протягивают руки к несчастным, находящимся в паре миль от нас. Туда идут не из странного желания УВИДЕТЬ страдающих, а из потребности сопереживать им, растрогаться их участью и, возможно, явить им утешительное проявление жалости. И если спросить всех виновных, приговоренных к высшей мере за преступления, против которых народ не ополчен каким-либо фанатизмом или мимолетной страстью, - если спросить их, что они предпочтут: лишиться жизни в тишине и мраке своей тюрьмы или же потерять её на общественной площади в присутствии народа: мы убеждены, что люди потребуют [собраться на] общественной площади, что они найдут некое облегчение в том, чтобы дать волю жалости, запечатлеть в памяти воспоминание о великом множестве людей, смирившихся со своей участью и казнью. Мы осмелимся сказать, что, вопреки укоренившемуся предубеждению, народ, который в мирное время по велению правосудия становится свидетелем смертной казни, мог бы покинуть это место, и опустевшая площадь, где должна была состояться казнь, возможно, свидетельствовала бы о большей жестокости, чем тот народ, который в моменты внутреннего неистовства плясал бы вокруг трупов побежденной стороны. Последние могли быть лишь заблудшими, в то время как первые оказались бы холодными, ледяными и неспособными на доброе чувство.

Риторы до сих пор уверяли нас, будто именно потребность в сильных эмоциях и желание ощутить собственное существование влекут нас к трагедии. Можно было бы подумать, что нас привлекает прежде всего катастрофа, но на самом деле всё ровно наоборот. Мы идем туда, чтобы насладиться картинами счастья и удовольствия, тогда как страх или предчувствие неминуемой катастрофы подчеркивают эти образы, делая их более яркими и глубокими. То, что говорит по этому поводу гражданка Кондорсе, полностью совпадает с мнением, которое мы здесь излагаем, и, кажется, именно к нему и ведет.

Третье письмо касается симпатий, которые гражданка Кондорсе называет индивидуальными, таких как дружба и любовь.

Мы намерены вернуться к главной теме этого третьего письма в отдельной статье, где сопоставим идеи автора о любви с идеями трех других женщин-моралисток, которые писали об этом в совершенно ином ключе, а именно: мадам дю Шатле, мадам Неккер и мадам де Сталь.

Четвертое письмо оспаривает различные мнения Смита. Гражданка Кондорсе полагает, что он не указал истинную причину, по которой нам жаль свергнутых королей. Она оспаривает утверждение, что мы якобы мало сочувствуем радостям любви. Она ищет принцип симпатии, который заставляет нас смеяться, когда мы видим, как смеются другие; она находит его в удовольствии, связанном с движением самих органов смеха, и открывает первопричину смеха при виде нелепых предметов в легкой конвульсии, вызываемой присутствием чего-то

забавного и неожиданного. Она объясняет симпатическое воздействие, которое оказывают ораторы на слушателей и слушатели друг на друга в больших собраниях. Наконец, она проникает в тайну великих писателей, которые умеют передавать свои взгляды в умы читателей, что приводит её к параллели между Руссо и Вольтером - фрагменту новому и выразительному.

Два последующих письма ясно и с большой точностью изложения показывают развитие моральных идей, понятий о добре и зле, справедливом и несправедливом, о правах и обязанностях. Автор доказывает, вопреки мнению Смита, что все эти идеи напрямую происходят от физической чувствительности. С другой стороны, она утверждает, вопреки претензиям и нетерпимости религиозных воззрений, что мораль находит в самой нашей организации одновременно и свое происхождение, и свои движущие силы, и свою гарантию! Именно в совершенствовании интеллекта, в мудром использовании воображения, одним словом, в полезных привычках разума и чувствительности, а не в подчинении всех способностей невидимой силе, истолкователем которой объявляет себя каждый самозванец, она видит искусство совершенствования человеческого рода и приумножения его счастья - истины, которые, встречая до сих пор сопротивление, нуждаются в том, чтобы их повторяли снова и снова.

Седьмое письмо ставит целью доказать, что источником всех пороков были наши дурные законы и деспотические институты. Автор устанавливает, что все преступления рождаются среди нас из любви, жадности, амбиций и тщеславия; что преступления, вызванные жадностью, порождены законами, поощрявшими неравенство состояний; преступления амбиций и тщеславия - законами, которые давали всё лишь по праву рождения; преступления любви - законами, которые сковывали людей нерасторжимыми союзами, заключаемыми как самые позорные сделки из-за тщеславия или корысти.

Это письмо до настоящего момента является весьма удачной критикой нашей прежней политической организации. Но затем автор утверждает, что *в любви ошибки женщин - это дело рук мужчин, подобно тому как пороки народов - это преступления их тиранов*. Мы далеки от мысли, что во Франции ошибки женщин до сих пор были следствием их рабства и мужской тирании; нам кажется, напротив, что их проступки, и даже большая часть наших собственных, проистекают из их господства и нашей покорности. С большей справедливостью можно было бы сказать: пороки женщин - это творение мужчин, подобно тому как пороки тиранов - это преступления народов; и республика должна поспешить исправить это положение.

Восьмое и последнее письмо рисует отрадную картину жизни народа, у которого отсутствуют все ранее упомянутые причины беспорядков; оно завершается ярким и интересным описанием счастья, обретенного в семейном кругу, защищенного благодатным неведением или полным забвением всех тщеславных интересов, которые тревожат душу или отдаляют от нее это счастье.

При всей справедливости, которую мы находим в критике наших старых институтов, и при всей пользе, которую принесет их упразднение, гражданка Кондорсе, на наш взгляд, слишком полагается на одно лишь уничтожение прежних порядков для возрождения народной морали. Конечно, первые два года республики должны были убедить ее в том, что в стране с разрушенными устоями недостаточно просто уметь разрушать; нужно также уметь созидать и иметь возможность делать это незамедлительно, если не хочешь открыть дверь самой разрушительной анархии и порокам, которые неизбежно за ней следуют.

Мы представили предмет работы гражданки Кондорсе; очевидно, что он важен. Мы обозначили основные идеи; заметно, что в большинстве своем они верны и оригинальны. Ограниченный объем нашего издания не позволяет нам сказать больше. Мы сообщили достаточно, чтобы возбудить любопытство читателя; утолить его должна сама книга.

Впрочем, мы должны признать, что книга стала объектом некоторых литературных критических замечаний. Посчитали странным, что автор использовала эпистолярную форму, хотя по сути это не были письма ни по содержанию, ни по форме; что она выбрала тон наставника, который поучает, преподает и исправляет, хотя обращалась к Кондорсе, который и так знал почти всё то, о чем сообщали ему письма. Признаемся, этот упрек кажется нам заслуженным, и во втором издании его можно было бы избежать.

Стиль сочинения также упрекали в отсутствии той грации, которая обычно присуща женскому перу, и в недостатке точности, требуемой от мужчин. Эта критика кажется нам совершенно беспочвенной. Гражданка Кондорсе должна была придерживаться стиля, соответствующего теме, а не стиля, приписываемого ее полу, ведя философскую дискуссию, где речь не идет ни о легкомысленных мнениях, ни о выражении страстных чувств. Горе тем трудам по морали и метафизике, автор которых хотел завладеть вниманием читателя одновременно с тем, как просвещать его разум! То, что сделано ради того, чтобы понравиться, почти всегда вредит тому, что сделано ради того, чтобы научить. В сложных дискуссиях эмоциональные порывы всегда мешают ходу рассуждений, а образность - точности идей.

Мадам дю Шатле писала о физике вовсе не в манере мадам де Севинье; и стиль писем самой мадам де Севинье был бы иным, если бы она писала о науке понимания и о принципах моральных чувств. Стиль гражданки Кондорсе, хоть и не является безупречно чистым, обычно правилен; он ясен, прост и лишен претенциозности. В нем часто чувствуется увлеченность и всегда - благородство. Можно было бы лишь сказать, что он мог бы быть чуть более непринужденным, не опускаясь при этом ниже уровня обсуждаемой темы.

Девять лет назад мы видели рукопись гражданки Кондорсе в руках Эмманюэля Сийеса, прекрасного знатока метафизики. «Это удивительный труд», - сказал он нам тогда. И действительно, он был таковым по многим причинам; в 1789 году гражданке Кондорсе не было и двадцати лет, и можно полагать, что тогда её красота была не менее блистательной и очаровательной, чем сегодня. Это явление, аналогов которому найдется немного: женщина, сочетающая в себе столь естественное преимущество наслаждаться жизнью и даже немного заниматься собой, с решительной склонностью к полезным занятиям, способностью к самым сложным исследованиям и силой воли для глубокого погружения в самые утомительные науки.

(Journal de Paris от 26 мессидора VI года. - 14 июля 1798 года.)

Доклад Институту о «Всеобщем катехизисе» Сен-Ламбера

Комиссия, которой вы поручили представить обзор лучших элементарных трудов по морали, опубликованных за год, сосредоточила свое внимание на трех произведениях. **Первое** - это «Письма о симпатии», написанные Софи де Груши, вдовой Кондорсе, и опубликованные в качестве дополнения к выполненному ею переводу «Теории нравственных чувств» Смита. Эти письма составляют половину второго тома. **Второе** сочинение - это «Этюды о человеке физическом и моральном, рассматриваемом в разные периоды его возраста», автор Ж.-А. Перро; 1 том формата ин-октаво. **Третье**, наконец, озаглавлено «Принципы нравов, или Всеобщий катехизис», автор Сен-Ламбер; один небольшой том формата ин-12. Это исправленное извлечение из труда «Принципы нравов у всех народов, или Всеобщий катехизис», опубликованного в этом году тем же автором в 3 томах формата ин-октаво.

Языковая неопределенность такова, что комиссия на мгновение оказалась в затруднении, пытаясь определить, что именно следует понимать под «элементарным трудом» и можно ли называть этим именем три вышеупомянутых произведения. В философском языке любое сочинение, содержащее большое количество наблюдений, способствующих познанию основ, считается элементарным, так как оно заключает в себе подлинные элементы науки и, если можно так выразиться, сырье для ее построения. Именно приняв такое понимание термина «элементарные труды», мы сначала сочли возможным допустить к конкурсу «Письма о симпатии» и «Этюды о человеке». Действительно, эти две работы содержат множество полезных наблюдений, благодаря которым мораль сможет обрести большую уверенность, развитие и легкость в распространении.

Ж.-А. Перро, определив представления об интересах каждого возраста и пола, побудил людей более тесно следовать частным обязанностям, которые являются залогом их благополучия. Госпожа де Кондорсе, обратившись к самым истокам морали - то есть к познанию интеллектуальных способностей человека и движущих им мотивов; показав через новые замечания связь, существующую между всеми феноменами мысли, столь мудро изложенными Локком, и феноменами чувства, столь интересную картину которых представил Адам Смит; госпожа де Кондорсе, повторимся, благодаря своему просвещенному посредничеству дополнила и **расширила философию Локка** всей полнотой философии Адама Смита и, так сказать, объединила две ветви познания о человеке, которые могут приносить обильные плоды лишь при сближении их ветвей.

Однако в наиболее общепринятом смысле слова «элементарные книги» обозначают труды, содержащие не просто ряд элементарных фактов или принципов науки, а основные элементы и первые установленные начала этой науки. В этом понимании - которое мы должны рассматривать как соответствующее постановлению правительства, вызвавшему наше исследование, поскольку оно является наиболее употребительным, - термин «элементарные труды» может быть применен только к одному лишь «Всеобщему катехизису» Сен-Ламбера.

Мы уже были знакомы с более обширным трудом, в который включен этот катехизис; и мы сожалели, видя, что эта ценная работа, где собрано больше полезных истин, чем в любом другом произведении подобного рода, и где они выражены с большим интересом, где, к тому же, благородная философская сила развернута не только против суеверий, но и против деспотизма; в общем, мы сожалели, что эта работа, опубликованная восьмидесятилетним старцем, может считаться новым памятником философии восемнадцатого века, которую в последнее время так часто клеветали, и своего рода протестом в ее защиту. Мы сожалели, что она не была полностью лишена недостатков, и что автор позволил проявиться сквозь самые человеколюбивые чувства и либеральные принципы мнению о том, что *наследственные отличия могут быть полезны в обществе*.

Это мнение настолько противоречит самой сути произведения, что его можно рассматривать как доказательство той силы, которую со временем приобретают все привычки ума в связи его идей, и необходимости - столь блестяще доказанной автором во всей книге - тесно связывать в сознании детей все идеи справедливости между собой, а также все идеи справедливости со всеми идеями счастья. Наше сожаление, несомненно, только возросло бы в связи с запросом правительства, когда мы увидели бы, что эта ошибка, с которой республика не должна мириться, препятствует тому, чтобы Институт и Директория скрепили своей печатью одобрения труду, который, к тому же, мог принести столько пользы.

К счастью, сокращение, которое Сен-Ламбер только что сделал из элементарной части этого труда - то есть из того, что, собственно, и составляет катехизис; сокращения и исправления, на которые его натолкнул новый пересмотр или, скорее, желание быть полезным; а также новое издание, только что представленное публике издателем Агассом, избавили нас от необходимости той жертвы, к которой мы сначала считали себя обязанными. Всё, что могло оскорбить республиканские умы, исчезло из «Всеобщего катехизиса», и ничто не мешает нам теперь представить его анализ и предложить его на ваше суждение.

Прежде чем рассматривать его подробно, мы задались вопросом: каким должен быть нравственный катехизис? Это нужно для того, чтобы не искать в труде Сен-Ламбера те виды достоинств, которые ему не подходят, и не упустить из виду те, которые автору, возможно, удалось соединить.

Что же такое, прежде всего, катехизис в широком смысле? Согласно этимологии слова, это сочинение, предназначенное для устного и доступного обучения начаткам какой-либо науки. Следовательно, нравственный катехизис - это текст для устного и простого изложения первых принципов, согласно которым должны регулироваться и направляться наши привычки, чтобы обеспечить, насколько это возможно, общее и частное благополучие. Таким образом, прежде всего необходимо, чтобы нравственный катехизис представлял собой полный свод

этих первых принципов: ничто так не требует целостности, как обучение честности и добродетели. Следовательно, его объектом является совокупность принципов.

Доступность обучения должна быть его первым средством. Поскольку мораль затрагивает самые постоянные и всеобщие интересы людей, она должна быть изложена языком, понятным для любого ума. Очевидно, что понятия ясности и простоты объединяются в понятии доступности; она является их средоточием и совершенным воплощением.

Та же причина, которая делает доступность необходимой, требует также и краткости. Для простых или еще неокрепших умов необходима краткость всего изложения, чтобы мысль могла при необходимости сопоставить части, которые взаимно поясняют друг друга; краткость в деталях, чтобы память могла легко удерживать каждое наставление и представлять его целиком в любой момент, среди любых занятий и всевозможных развлечений, так чтобы ничто не могло прервать течение мысли и чтобы сама мысль, казалось, ничему не мешала. У автора нет здесь десяти страниц на одну идею; нужно, чтобы десять идей уместились на одной странице.

Однако доступности и краткости еще недостаточно: это лишь удобства, предлагаемые уму; ему нужно предложить нечто привлекательное. Следовательно, нравственный катехизис должен обладать занимательностью. Ему также необходимы достоинство стиля и точность выражений, которые требуются для того, чтобы связать элементарные основы с самой наукой, служить для неё введением и посвящением. Наконец, ему нужен авторитет, чтобы внушать уважение и удерживать то внимание, которое не смогла бы достаточно прочно приковать одна лишь заинтересованность.

Таким образом, из катехизиса следует прежде всего исключить всё, что указывает на мучительный поиск истины или опасную борьбу с заблуждением. Прочь и тот энтузиазм, который внушает открытие истин, далеких от повседневности, и тот ужас, что вызывают губительные и могущественные заблуждения. Никаких образов, которые поражают и в итоге утомляют; никаких порывов, которые увлекают за собой, а затем оставляют ум без опоры и защиты; которые навязывают ощущения, не оставляя идеи, и вызывают потрясения, не оставляя чувства. Никаких диссертаций, никаких речей, никакой пышности, никакой страсти. В катехизисе речь не идет о том, чтобы изумлять, увлекать, сражаться или побеждать.

Чтобы проникнуть в невинные и чистые умы, куда еще не закралось заблуждение, где нужно лишь занять место, которым заблуждение могло бы завладеть, истина не должна являться вооруженной, разгоряченной недавними битвами или готовой отражать новые нападения: она ослабила бы свой авторитет, показав, что знает о существовании врагов. Она должна предстать с тем простодушием, которое сопутствует уверенности в своей привлекательности и так часто становится средством очарования; с той уверенностью и доверием, которые возвещают, что у неё есть единомышленники там, куда она направляется, и что она не знает противников, или, по крайней мере, не опасается ни одного из них.

Но как совместить все те достоинства, необходимость которых мы обозначили? Как собрать воедино все принципы столь обширной науки, как мораль, не становясь при этом чрезмерно многословным? Как пробудить интерес, избегая излишней страстности, и тронуть сердце, не впадая в велеречивость? Как добиться точности без сухости, поучительности без холодности, простоты без тривиальности, непринужденности без вульгарности и силы без грубости? Таковы трудности, которые необходимо уметь избегать или преодолевать. К ним следует добавить и обманчивую легкость создания в этом жанре посредственного произведения. Поверхностным умам не дано почувствовать всю сложность подобного предприятия, и уж тем более - обладать всеми качествами, необходимыми для того, чтобы довести его до совершенства.

Автор катехизиса должен не только владеть наукой во всей ее полноте и чистоте, но и обладать возвышенным умом, исключительной ясностью мышления. Это необходимо, чтобы охватить все части целого, уловить все взаимосвязи, отделить основополагающие принципы от истин второстепенного порядка, и закрепить эти принципы. Он должен достаточно хорошо

понимать механизмы работы человеческого разума при усвоении знаний, чтобы расположить свои идеи в порядке, наиболее способствующем ясности и интересу. Наконец, он должен владеть языком нравственных идей настолько хорошо, чтобы свести эти принципы к кратчайшему выражению; а языком воображения и души - настолько искусно, чтобы облечь их в привлекательные цвета, окружить подходящими образами и придать им мягкое движение.

И действительно, в катехизисе принципы должны представать настолько чистыми и настолько согласующимися со всеми интересами человека, чтобы они могли овладеть его умом, не вызывая ни протеста, ни недоверия. Они должны быть настолько осязаемыми, чтобы не давать повода для лени; изложены в таком строгом порядке, чтобы следовать друг за другом без резких переходов и становиться понятными без долгих рассуждений. Наконец, они должны быть настолько богаты выводами и так расположены для их извлечения, чтобы избавить от утомительных излияний. Достаточно было бы, если можно так выразиться, лишь слегка сжать их мыслью, чтобы получить ту пищу, в которой каждый момент жизни может испытывать потребность. Эти принципы должны быть заключены в малом количестве простых, но глубоких по смыслу и сильных слов, которые занимают мало места в памяти, но при любом случае возникают в уме, каждый раз отдавая ему часть своего содержания и никогда не истощаясь.

Таким должен быть катехизис морали; такими были и лучшие религиозные катехизисы. Известно высказывание Массийона, доказывающее, какую мощь он приписывал подобным трудам. Когда он посещал один монастырь, настоятельница представила ему юную воспитанницу, которая своими сомнениями в вере смущала весь дом (этим ребенком была будущая мадам дю Деффан). Прелат сделал ей выговор, после чего настоятельница попросила его указать книги, которые можно было бы дать в руки юной неверующей. *«Катехизис за пять су»*, - ответил прелат. И больше от него ничего не смогли добиться - настолько он верил в убедительную силу этого скромного сочинения.

Такого же мнения о важности и трудности создания катехизиса морали, несомненно, придерживался и **Д'Аламбер**, когда в конце своих «Основ морали» он выразил желание, чтобы какой-нибудь «философ-гражданин» счел достойным себя исполнение подобного труда. Этим же убеждением, очевидно, руководствовался и Сен-Ламбер, когда решил исполнить пожелание Д'Аламбера и начал свой «Всеобщий катехизис»; по крайней мере, именно это просматривается в исполнении его труда.

«Всеобщий катехизис» разделен на четыре части: введение, предварительные понятия, наставления и самопознание (испытание себя). Особая цель введения - указать наставникам тот момент, когда следует начинать преподавание последующих частей их ученикам. Цель предварительных понятий - дать детям своего рода систематический словарь необходимых нравственных идей, чтобы они могли почувствовать важность наставлений и знали, как направить свой ум на соблюдение этих правил. Цель наставлений заключается в том, чтобы наметить правила, с которыми молодой человек должен соотносить свои привычки и поступки.

Наконец, цель раздела, посвященного самопознанию, состоит в том, чтобы научить молодых людей быть судьями самим себе, признавать, соответствует ли их поведение правилам или противоречит им; распознавать и преодолевать то, что может помешать им исполнять свои обязанности, и с помощью этой привычки к внутреннему самоанализу связать воедино все прочие привычки, составляющие добрые нравы.

Этот план, как мы видим, является наиболее полным из всех, что были реализованы до настоящего времени. Но давайте сначала рассмотрим само исполнение и детали. Повторим еще раз: введение предназначено для воспитателей; эта часть носит исключительно методический характер.

Автор с точностью определяет момент, когда можно начинать обучение детей катехизису. Он разумно разграничивает во введении ту часть, которая относится к чувственному опыту (то есть к воспитанию через вещи), и ту, что относится к деятельности учителей. Он не хочет, чтобы учитель делал вид, будто показывает то, что можно осознать лишь на жизненном

опыте; он не хочет, чтобы учителя в спешке и стремлении обучить мучили детей, еще не способных к познанию, вкладывая в их головы знаки, которым не соответствует никакое представление, лишь бы убедить их в том, что они всё понимают, и тем самым прививая им на всю оставшуюся жизнь смутный и ложный образ мышления. Автор разъясняет воспитателю то, что обычные учения о морали всегда позволяли ему игнорировать: он учит его ждать подходящего момента для обучения, но приближать этот момент, предваряя упражнения для памяти операциями суждения и размышления.

Нам нет необходимости проверять, не были ли уже высказаны здесь многие общие положения, содержащиеся в этой части, и почему они были приведены именно здесь: здесь они представлены для практического применения; и, без сомнения, именно ради этого применения они могли быть изложены ранее, и именно поэтому философия предпочла сохранить их в запасе.

Мы переходим к разделу понятий; как мы уже говорили, его цель - дать почувствовать важность нравственных предписаний и тех средств, которые заложены в нас самих, чтобы сделать их соблюдение приятным и легким.

Понятия разделены на шесть диалогов. В **первом** автор дает определения человеку, самолюбию, разуму и счастью. Он показывает, что существуют два вида самолюбия: одно ведет к счастью, другое от него уводит. Тот вид, что ведет к счастью, побуждает человека делать то, чем он обязан самому себе и другим. Быть умеренным, развивать свой разум и чувствительность - вот в чем заключается долг перед самим собой. Долг перед другими состоит в том, чтобы способствовать их счастью. Это делает счастливыми и нас самих, так как природа устроила так, что мы зависим от других людей так же, как и от самих себя. Добродетель - это привычка приносить пользу себе и другим; порок - привычка вредить себе и окружающим. Хорошо знать свои потребности и средства их удовлетворения, хорошо знать возможности и потребности других - иными словами, уметь любить себя разумной любовью - вот что в конечном счете определяет путь к добродетели. Незнание себя и других или же дурная, неправильная любовь к себе являются причиной порока.

Второй диалог содержит исследование страстей в целом и порочных страстей в частности: гордости, гнева, ненависти, мести, зависти, малодушия, лени. Автор показывает, что все они сами по себе делают человека несчастным - во-первых, потому что это печальные чувства, а во-вторых, из-за их последствий, которые обычно плачевны. **Третий** диалог посвящен порокам и недостаткам, которые порочные страсти влекут за собой: злобе, жестокости, злословию, суевериям и так далее. В **четвертом** говорится о страстях, цель которых - добавить к нашим природным силам силы внешних обстоятельств. Таковы любовь к власти, к богатству, к славе. Они становятся пороками или добродетелями в зависимости от используемых ими средств и целей, которые они перед собой ставят. **Пятый** касается добродетельных страстей: сострадания, любви сыновней, отцовской, супружеской и так далее; любви к труду, к порядку, к чести, дружбы, доброты, щедрости, всеобщего благоволения, соревновательности, восхищения, признательности, мужества. Автор показывает, как каждая из них сама по себе или через свои плоды влияет на счастье. **Шестой** и последний диалог указывает средства, которыми мы можем воспользоваться, чтобы победить порочные страсти, предупредить их появление, предотвратить их превращение в привычки. Эти средства заложены в разуме, который показывает нам краткость беспорядочных удовольствий и долгие страдания, следующие за ними; который учит нас не жертвовать жизнью ради сиюминутного момента, а счастьем - ради наслаждения; рассеивать иллюзии, сопровождающие опасные страсти, и уметь противопоставлять им страсти добродетельные.

Мы должны заметить, что в этих понятиях автор основывает наши обязанности на наших потребностях, наши удовольствия - на исполнении наших обязанностей, а также основывает мораль на интересе счастья, а счастье - на уважении к морали. Личный интерес, если его правильно понимать, и сострадание или жалость (которая является лишь осознанным личным интересом к нам подобным, вызванным внезапным и непроизвольным порывом) - вот при-

чины, которые он приписывает счастью, чтобы гарантировать мораль, и морали, чтобы гарантировать счастье. Таким образом, он находит истоки того и другого в просвещенном себялюбии и, поднимаясь выше, в нашей физической организации - самом возвышенном творении природы. Этот принцип не нов; он встречается у всех моралистов, древних и современных: именно по этой причине школы Зенона и **Эпикура**, Шефтсбери и Хатчесон, **Ларошфуко** и **Гельвеций** - все они провозгласили стремление к счастью первоначалом, а счастье - целью морали; и все они свели мораль к одним и тем же обязанностям. Между ними не было споров, кроме как о роде чувств или способностей, которым соответствовало это счастье, - то есть споров абсолютно теоретических и пустых.

Этот принцип встречается не только во всех системах морали, но и во всех религиозных системах; ибо во всех признаются эти две максимы: *Не делай другому того, чего не желаешь себе*, и *делай другим то, чего желаешь от других для самого себя*. Эти два принципа, порождающие все обязанности и все права, очевидно, черпают свое начало в самом **личном интересе**. Но этот столь общепризнанный принцип, неизменно соблюдаемый, несмотря на заблуждения и страсти, которые часто его окружали, никогда не мог быть ясно доказан до тех пор, пока успехи философии не объединились в познании человека; и труд Сен-Ламбера - это первое элементарное сочинение, в котором философия изложила свои определения языком, доступным для любого ума. Этот принцип, к тому же, является самой сильной гарантией, которую можно дать морали. Можно желать видеть цепь обязанностей прикрепленной выше, но нельзя видеть ее прикрепленной более прочно. Она находится внутри человека, в его сердце, а не над его головой; она в самых сокровенных глубинах его натуры, в средоточии его мысли, в центре его идей, его потребностей, его страхов и его надежд; именно туда, а не к крыльям воображения, философия должна прикрепить первое звено; именно там мораль будет защищена всеми силами человека от нечестивости злодейства и от дерзости безумия; именно там невозможно не чувствовать ее постоянно или, по крайней мере, не ощущать ее толчков, как бы сильно она ни была взволнована. Скажем больше: именно там, в самой сути нашего существования, высшая сила природы сама запечатлела ее, когда даровала нам чувство и мысль. Поэтому мы приветствуем моралиста, который, ограничиваясь рассмотрением человека в обществе, прочно ухватился за интересы, которые могут им там руководить, и оставил миссионеру заботу о том, чтобы вести его к подножию алтарей.

Поскольку речь вовсе не идет о том, чтобы исследовать, обладает ли Катехизис Сен-Ламбера всем совершенством, необходимым для того, чтобы быть введенным в государственные школы в руки детей, а лишь о том, чтобы узнать, может ли он считаться хорошим элементарным трудом по морали, было бы, кажется, неуместно разбирать отдельно все разделы, понятия и обороты речи, которые там встречаются. Не имея возможности сказать, что хоть одно из них показалось нам ложным, мы можем заявить, что некоторые из них показались нам недостаточно точными; но если бы нам пришлось выбирать между ними и другими, более точными, мы могли бы оказаться в большом затруднении; не всегда легко определить, в чем автор катехизиса должен уступить простоте в ущерб точности или точности в ущерб простоте. Мы нашли бы пример этой трудности в определении слова ***добродетель***. Автор определяет ее как *«привычную склонность способствовать счастью других».* Безусловно, основная идея, связанная со словом «добродетель», заключена в этом определении. Однако в нем недостает упоминания второстепенной мысли - о силе, необходимой для того, чтобы содействовать счастью окружающих, несмотря на возможные трудности. Автор намеренно исключил эту последнюю идею из своего определения. Почему? Как он сам объясняет в комментариях к своему основному труду, это было сделано для того, чтобы не усложнять предмет. И действительно, желая сильнее запечатлеть в сознании молодых людей связь между этими двумя понятиями - добродетелью и счастьем, - он хотел, чтобы у них вошло в привычку всегда приравнивать счастье к добродетели, а добродетель к счастью. Он опасался ослабить эффект, которого стремился достичь, если бы с самого начала книги представил эту третью идею о трудностях, которые нужно преодолеть, и о страданиях, которые порой приходится терпеть, чтобы всегда

оставаться добродетельным. Эту концепцию он приберег для дальнейшего развития темы. Разумеется, трудно судить о подобных тонкостях изложения, которые, впрочем, дают представление о сложностях, возникающих в любой момент при составлении катехизиса.

Что касается формы этой части, мы замечаем, что автор через диалог (чего он не сделал в разделе наставлений) указывает на необходимость учителя для разъяснения содержащихся в ней понятий, а также на важность беседы - либо для их развития, либо для того, чтобы убедиться, что дети правильно поняли их смысл.

Раздел наставлений в одиннадцати главах содержит обязанности человека перед самим собой, перед другими людьми и перед отечеством; обязанности детей перед родителями; взаимные обязанности супругов; обязанности родителей перед детьми; обязанности родственников друг к другу и перед дальними родственниками; обязанности друзей, обязанности господ перед слугами и, наконец, обязанности слуг перед господами.

Это разделение морали является полным. По сути, это индивидуальная мораль, но только ее и можно преподать ребенку и широким массам граждан. Если часть, посвященная понятиям, требовала ясности, то эта часть требует ясности и увлекательности. Эти понятия служат лишь введением к наставлениям. Сами наставления и есть предмет труда; они составляют ту суть, которую необходимо внедрить одновременно в сердце и в разум. Именно здесь мысль философа требует того, что называют талантом писателя. Все предписания показались нам здравыми и полезными; в совокупности они образуют завершенную систему.

Черта, которая характеризует их в целом, - это совершенное беспристрастие и полная справедливость по отношению ко всем людям, к которым они обращены. Они направлены на благо каждого через благо всех. Они не накладывают на вас ничего, что не было бы наложено на других по отношению к вам. Автор не предписывает сыну ничего, что не было бы в равной степени предписано отцу; слуге - ничего, что не было бы скромной платой за то, что требуется от главы дома. Обязанности, которые он намечает, - это не повинности, по-разному возложенные на одних и на других; это уроки равноправных отношений, выгодных для всех. Это беспристрастие кажется нам истинным признаком добрых наставлений в морали, а в моралисте - печатью его призвания. Оно заслуживает внимания в «Универсальном катехизисе» Сен-Ламбера и, возможно, именно сейчас более чем когда-либо, потому что в данный момент речь не идет об общей добродетели. Мы приведем лишь один пример из одиннадцатой главы, где автор рассматривает обязанности слуг; вот он:

«Если ваш господин дает вам поручения, которые трудно выполнить, - изложите ему свои возражения. Если это его не тронуло - сделайте то, что в ваших силах, и спите спокойно». «Если он требует от вас несправедливости - откажитесь подчиниться и уходите».

Какая точная мера в первом же наставлении!

«Дает ли вам ваш господин поручения, которые трудно выполнить?». Автор задает этот вопрос в интересах слуги. *«Изложите ему свои возражения»* - эти слова сказаны уже в интересах господина. *«Если это его не тронуло - сделайте то, что в ваших силах»* - это касается и господина, и слуги. *«Спите спокойно»* - то есть не сердитесь, не жалуйтесь, не обижайтесь на того, кто обременяет вас работой, но и не беспокойтесь более из-за его несправедливости; не делайте себе никаких упреков. Сделав всё, что могли, вы сделали всё, что были должны. Если он требует от вас несправедливости - откажитесь повиноваться. Эти слова предназначены для честного слуги против порочного или безрассудного господина; а наставление «уходите» адресовано одновременно и слуге, который хочет остаться безупречным, и господину, униженному отказом, который заменяет ему упрек. Чем меньше для изложения наставлений подходили неистовые порывы, обилие образов и мощь рассуждений, тем более необходимыми становились удачный выбор деталей и разнообразие оборотов; поэтому достоинства автора в полной мере проявились в этой части труда.

Иногда автор формулирует свое правило как чувство восхищения предметом, о котором идет речь, и ограничивается тем, что окружает его оправдывающими это чувство обстоятельствами. Именно так он начинает главу об обязанностях перед отечеством; он не говорит хо-

лодно: *любите свою родину*, он произносит: *«Насколько же должны быть вам дороги люди, рядом с которыми вы увидели свет, которые живут с вами под сенью одних и тех же законов, пользуются теми же благами и кому вы обязаны спокойствием своей жизни!»*.

Он переходит к тону прямого наставления лишь после того, как передал одушевляющее его чувство, и излагает это правило, лишь подсвечивая его мягким отблеском двух идей, облагораживающих добродетельного человека. *«Любите,* - говорит он, - *страну, в которой вам следует бояться лишь законов, и где законы не страшны для человека праведного. Любите и уважайте судей, которые поддерживают среди вас честность, согласие и добродетель»*. Автор иногда примешивает к наставлению угрозу: *«То бремя, которое несет ваш отец и от которого вы можете его избавить, будет тяготеть над всей вашей оставшейся жизнью»*. Чаще же он облекает его в призыв к признательности: *«В старости ваших родителей*, - говорит он, - *вспоминайте о своем детстве; предугадывайте их нужды. Разве они не предугадывали ваши?»*.

Иногда он представляет взаимные обязанности как следствие прекрасной гармонии природы; так, начиная говорить об обязанностях супругов, он произносит: *«Юноша, вы подошли к моменту, когда ваше сердце познает во всей полноте потребность любить. На земле есть женщина, предназначенная для того, чтобы восполнить эту потребность; ее нужно искать. Девушка, природа предназначила вам приумножать счастье добродетельного человека»*.

В другой раз он привлекает и удерживает внимание, сопоставляя важные, но отдаленные последствия. *«Отцы и матери,* - говорит он, начиная шестую главу, - *именно ваше поведение определит, станет ли жизнь, которой дети обязаны вам, счастливым даром или пагубным»*. В иной раз он подкрепляет наставление, заставляя говорить дорогих и почтенных людей, которые заинтересованы в его исполнении. *«Пусть сердца ваши будут едины,* - говорит он детям, - *дабы ваши отцы и матери могли сказать в свои последние мгновения:* ***никто из них не останется без поддержки****»*.

Вот одно из наставлений, касающихся обязанностей господ по отношению к своим слугам: *«Пусть между удобствами их жизни и* ***удобствами вашей жизни*** *будет как можно меньше различий»*. Нам кажется, что в этом повторении - *и удобствами вашей жизни* - заключено равновесие слов, создающее удачный образ того, что само наставление рекомендует по существу.

В обучении морали всегда считалось верхом искусства предлагать пример после наставления. Нам же кажется, что совершенство состоит в том, чтобы сначала придать самим правилам все необходимое, дабы они могли обходиться без примеров, и приводить пример лишь впоследствии, если он уместен. Силу нужно вкладывать по существу в само правило, а не рядом с ним. Сен-Ламбер не говорит: «Делайте так, как делал такой-то человек»; он говорит: *«Делайте это, ибо это важно для вас»*, и оставляет наставнику заботу доказывать это в беседе с помощью примеров. Мы только что видели, как благодаря разнообразию своих оборотов он обычно находит то слово, которое взывает к чувствам, и тот расчет, который захватывает интерес, и то сопоставление, которое удовлетворяет разум и склоняет его к решению. Читая эту часть, видишь в философе почерк поэта, подобно тому как в авторе поэмы «Времена года» чувствовался оттенок философа. Сен-Ламбер сумел заставить обе эти грани послужить талантам, которые он объединяет в той верной пропорции, которая одна способна придать катехизису подобающий ему характер.

От моралиста требуют умения убеждать, и риторика тут же предлагает обучить его этому искусству; но мораль справляется лучше, ведь она сама дает ему этот талант и черпает его из той беспристрастности, которую мы заметили у Сен-Ламбера, из той искренней справедливости, которая порождает непринужденность и счастливую легкость, позволяющую стилю принимать самые разные формы и ритмы. Этот стиль одинаково тяготеет и к силе, и к мягкости, сочетает изящество со строгостью и поочередно служит то убеждению, то авторитету.

Мы отдадим морали эту дань уважения, все еще новую для нее: признаем, что именно беспристрастности и искренности Сен-Ламбера мы обязаны значительной частью того легкого таланта, который в его книге, кажется, не столько формулирует наставления, сколько позволяет им естественным образом ускользать. Они вытекают из-под его пера уже доказанными,

неоспоримыми и изложенными в том порядке и таким образом, который наиболее способствует как их очевидности, так и их воздействию.

Третья и последняя часть книги посвящена самопознанию. Приступая к этой части, автор предвидит несколько причин, по которым ученики могут забыть его наставления. Именно поэтому он рекомендует с самого раннего возраста приучать их к ежедневному изучению самих себя, к каждодневному обзору своих чувств и поступков, к их сопоставлению с законами разума. Он предписывает приобщать детей к такому самоанализу с того момента, как они начинают понимать, что некоторые их непослушания огорчают родителей, а затем и их самих. С этого времени их можно приучать размышлять о последствиях своих проступков и о тех ошибках, к которым они наиболее склонны, а также о том, довольны они собой или нет.

Когда ребенок достигает возраста, позволяющего изучать диалоги и правила, содержащиеся в них понятия послужат основой для его самопроверки. Когда из первого диалога он узнает, что такое счастье, его собственные представления на этот счет будут рассматриваться, исправляться и расширяться. Когда из второго диалога он поймет, что такое порочные страсти, ему помогут обнаружить, какой именно из этих страстей он более всего подвержен. Когда же из последующего урока он узнает, что такое добродетельные страсти, его побудят задуматься, каких из них ему не хватает, и так далее.

Когда успехи юноши приведут его к изучению конкретных правил поведения, самопроверка будет проводиться по той главе, которую он выучил последней. Наставник направит внимание ученика на те положения, которые больше всего соответствуют его характеру и жизненной ситуации. Сен-Ламбер сам пробует применить свой метод к одному или двум правилам из каждой главы. Например, когда дело дойдет до разбора главы об обязанностях супругов: *«Юноша,* - пишет автор, - *постарается выяснить, нет ли у него недостатков, которые делают крайнюю близость невыносимой; способен ли он на глубокую любовь; будет ли его любовь великодушной и сможет ли он наслаждаться радостями и счастьем того, кого любит; не будет ли он слишком требовательным, беспокойным или ревнивым; вспыльчив ли он, и бывает ли его гнев грубым, ироничным или оскорбительным; не слишком ли быстро его душа пресыщается очарованием близких отношений и так далее. Вот в чем,* - говорит Сен-Ламбер, - *юноша может проверить себя, прежде чем выбрать жену; и если он станет мужем, то почувствует, насколько полезен был ему этот самоанализ»*.

Этот пример дает точное представление о методе и предметах, указанных автором для познания самого себя. Автор замечает, что повторение таких проверок в течение нескольких лет не только сделает их в дальнейшем очень легкими, но и привьет такую привычку, что человеку будет невозможно не продолжать их всю оставшуюся жизнь. Это станет упражнением, к которому он будет возвращаться каждый день с радостью, по той причине, говорит автор, что моменты, когда человек говорит со своей совестью, - это лучшие моменты в жизни порядочного человека.

Труд завершается философским пожеланием, которое было бы достойно исполнения в республике. *«Законы республики,* - говорит автор, - *весьма мудро отводят декады для отдыха, а не для праздности. Труды приостанавливаются, но есть обязанности, которые не прекращаются; и если человек не занят физическим трудом, он должен использовать свой разум, чтобы просвещаться и становиться лучше. Вместо множества религиозных церемоний, долгих и бесполезных молитв, речей, которые прежде читали или слушали, ничего в этом не понимая и тратили на это значительную часть дня, предназначенного для отдыха; я же хочу, чтобы утром этого дня повторяли два диалога»*. Стиль этой части обладает единственным достоинством, которое ему доступно: ясностью и точностью. Однако нельзя не похвалить сверх меры само содержание - двойную идею метода, предназначенного для самоанализа, и включение этого метода в «Катехизис нравственности» как необходимого дополнения к его структуре.

До Сен-Ламбера авторы нравственных и религиозных катехизисов ограничивались лишь изложением некоторых понятий и правил. Когда эти понятия были здравыми, они превращались в умах детей в *благие идеи*. Когда правила были чистыми, они закладывали в их души *добрые чувства*. Но достигнута ли цель морали, когда она передала уму добрые идеи, а душе

- добрые чувства? Нет, и почему же? Потому что добрые идеи легко стираются в суете общественной жизни, под влиянием её предрассудков и недостатков; потому что добрые чувства легко заглушаются страстями, которые она порождает, и неверными расчетами, к которым ведет дурной пример. Об этом заурядные моралисты никогда не задумывались. Что же в таком случае может полностью реализовать цель морали? Это ***добрые привычки***. Добрые привычки, будь то в связях мыслей или в поступках, являются единственной гарантией того, что стремления морали осуществятся, а её правила будут соблюдаться. Буквальный смысл самого слова «нравственность» (morale) достаточно ясно указывает на то, что её задача - не только начертать людям правила, которым они должны следовать в своих поступках, чтобы быть счастливыми, но и совершенно необходимо привить им нравы, способные внушать все те добрые дела, которые следует совершать, и закрывать доступ к мыслям о дурных поступках, которые могут быть продиктованы обстоятельствами. Таким образом, нравы и привычки - это те гаранты, которые мораль должна поместить между своими предписаниями и действиями, к которым они применяются, чтобы обеспечить их выполнение и, если можно так выразиться, быть её посредниками в человеческом мышлении и определять волю. Следовательно, именно формирование добрых привычек является прямым и специальным объектом морали.

Это именно то, что увидел Сен-Ламбер, над чем он работал в своем разделе о самоанализе и что он обеспечил единственным эффективным средством, находящимся в руках простого наставника по частной морали. Ведь все крупные институты, способные содействовать и поддерживать нравственность, находятся в ведении законодателя. Он же, повторим, обеспечил это, научив тому, как можно привить молодежи привычку, гарантирующую все остальные добрые привычки - единственную из привычек, от которой, возможно, невозможно избавиться, однажды её приобретя; ибо эта привычка и есть то, что называют **совестью**. Природа, несомненно, заложила в нас её зародыш, но это один из тех плодов, процветание которых более всего зависит от их возделывания. Мы в полной мере оценим этот взгляд Сен-Ламбера одной фразой, если скажем, что он изобрел воспитание совести.

Исходя из деталей, в которые мы только что углубились, наш вывод не может вызывать сомнений. Катехизис Сен-Ламбера, возможно, не идеален во всех своих деталях, но это лучшее произведение в данном жанре благодаря сочетанию и согласию взглядов, глубине принципов и особенностям стиля. Оно обладает двойной заслугой: отныне делает невозможным появление посредственного сочинения в этом жанре и облегчает создание шедевра. Автор внес вклад в совершенствование нравственного катехизиса не только благодаря всему тому хорошему, что он в него вложил, но и благодаря примеру бескорыстного отношения к литературной славе, который он подал всем, кто вступает на это поприще, и что было бы справедливо поставить ему в заслугу. В книге нет ни единого слова, напоминающего об авторе, и ни единого слова, упущенного для того, чтобы напомнить читателю о нем самом. «Нравиться, чтобы быть полезным» - таков предлог многочисленных сочинений, в которых крупицы маловажных истин тонут среди тысячи пустых или опасных страниц. Быть полезным и нравиться через пользу, нравиться ради интереса своих читателей, а не ради собственной славы - такова, повидимому, была цель Сен-Ламбера. Для выдающегося писателя в этом есть определенная самоотверженность - избрать жанр, где запрещено всё, что может поразить воображение, особенно в те времена, когда само удивление кажется единственным способом привлечь рассеянное и отвлеченное внимание. Уважение, оказываемое самой благородной простоте и самой мягкой непринужденности, всегда несоразмерно трудности сочетания этих двух достоинств. Кроме того, лишь немногие люди способны на восхищение, а не просто на почтение; кажется, никто не спешит расточать похвалы, если не уверен, что извлечет из этого хотя бы честь за то, что прочувствовал красоты, которые не всем дано заметить. Подобно тому как автор хочет, чтобы его хвалили за его труды, читатель хочет, чтобы его хвалили за его одобрение. Сен-Ламбер оставил писателям, желающим довести катехизис морали до последнего совершенства, ценный пример того духа, который следует привносить в его улучшение.

Поскольку его «Катехизис», как мы уже говорили, является единственным элементарным трудом по морали, появившимся в VI году республики, мы не можем представить его Директории как лучший из возможных; но мы полагаем, что он заслуживает того, чтобы быть представленным как хороший и полезный.

О новом сочинении Сен-Ламбера под названием: «Принципы нравственности у всех народов, или всеобщий катехизис»

Читатели, не читайте то, что следует далее: мы собираемся говорить о труде, посвященном морали, и даже рассуждать о самой морали по случаю выхода этой книги. Мораль - самая унылая тема на свете для того общества, в котором мы живем сегодня. Она может не вызывать неприязни лишь у стариков, которым, за неимением других дел, уже не грозит научиться поступать хорошо, зато они заинтересованы в том, чтобы учить этому других; она может даже заинтересовать некоторых благородных и еще не слишком испорченных юношей, которые, не имея пока никаких занятий, вовсе не прочь составить себе представление об их важности в будущем. Обилие обязанностей, подразумевающих множество социальных связей, обещает им широкое поле для самореализации и пока еще не тяготит их волю. Но вы, люди нынешнего дня, вы, на ком держится великое дело удовольствий и высшее удовольствие от успешных дел; вы, кто составляет основу всего, кто создает и разрушает всё в том кругу, который принято называть «высшим обществом», - у вас на уме совсем не мораль. Какой наглец осмелился бы вас поучать, какой безумец не побоялся бы нагнать на вас скуку? Мы лишь просим вас простить нам страницы этого выпуска, которые мы собираемся посвятить нескольким отцам семейств, поглощенным заботой о своих детях, нескольким молодым людям, желающим стать достойными главами будущих семейств, а также трем или четырем мудрым отшельникам, сосредоточенным и склонным к размышлениям, которые по привычке мечтают о благе человечества - всем тем людям из другого времени и другого мира. Просим принять во внимание, что мы по многим причинам обязаны уделить внимание и посвятить своё перо сочинению, которое представляем. Это последний памятник той философии XVIII века, которую столько раз очерняли в своих нападках религиозные лицемеры и - в ещё большей степени - дискредитировали своими гнусными похвалами творцы террора. Перед нами последний плод таланта, отмеченного блестящими трудами и подтверждённого пятьюдесятью годами славы; это последний дар человечеству от единственного мудреца, оставшегося нам от века Вольтера, Дидро и Руссо.

Сочинение Сен-Ламбера вышло полгода назад, и вот какая судьба постигла его к настоящему моменту: его похвалили в двух философских журналах, *La Décade* («Декада») и *Le Mercure* («Меркурий»), едва упомянули в нескольких других изданиях, превратно истолковали многие литераторы, а светская публика встретила его с пренебрежением, в то время как острословы - и вовсе с дерзостью. Всё это было вполне ожидаемо, ведь просвещённые журналисты искали в этой книге то, что обещало её заглавие - рассуждения о морали; и нашли их, причём в превосходном изложении. Напротив, светские люди, многие литераторы и острословы искали в ней нечто совершенно иное, и ждали от неё совсем иных достоинств, нежели того, что должно было там находиться по самой природе вещей; и за собственное заблуждение они отомстили очернительством.

Светские люди приступали к чтению «Всеобщего катехизиса», храня в памяти поэму «Времена года», повести «Сара Т..» и «Зимео», совершенно не ожидая встретить здесь философский труд. Они рассчитывали найти достоинства поэта в произведении философа, и увидеть прежнюю славу автора в его новом амплуа. Таким образом, они обнаружили лишь сухие понятия там, где ждали живых картин, встретив рассуждения - там, где ждали игры воображения, и серьезность с важностью - там, где надеялись найти изящество и игривость. Словом, поскольку в катехизисе не было ничего от поэмы или повести, они сочли его совершенно неинтересным.

Светские острословы, эти второразрядные литераторы, что служат оракулами в своих кружках и являются истинным бичом для настоящих писателей, привнесли в свои суждения

иное искажение. Привыкнув оценивать книги не по их глубокому содержанию и методу построения, а по броским фразам, которые можно выхватить при поверхностном чтении и процитировать в легкомысленном обществе, они оказались слишком невежественны, чтобы не перепутать тонкое и глубокое наблюдение с тривиальной и бесполезной истиной, которая находилась по соседству; перепутать точную истину - с туманным предположением, доказанную истину - с сомнительными догадками, а основополагающие истины - с побочными идеями. Они слишком самонадеянны, чтобы когда-либо признать пользу уже известных истин даже в качестве средства, ведущего к истинам неведомым; слишком легкомысленны, чтобы заметить, насколько две обыденные и неинтересные по отдельности мысли обретают свет и силу благодаря их сближению. Они слишком ограниченны, чтобы охватить масштабную систему и оценить достоинства безупречного порядка, который, расставляя каждую идею на своё место, надежно их закрепляя и, так сказать, приводя в действие, извлекает из их союза те великие принципы, от которых зависит судьба народов. Именно такие люди объявили труд Сен-Ламбера посредственным и заурядным.

Что касается литераторов, то среди них есть и такие, кто связывает со словом «мораль» лишь представление о наставлениях - это понятие неполное, как мы увидим ниже. Вследствие этого они ценят в морали лишь проповеди, в которых она преподносится с воодушевлением, либо повести и драмы, где она показана в действии - словом, только те произведения, что вверяют мораль попечению воображения. Эти люди не понимают, что моралист стремится обнаружить природу долга в природе человека, которую он изучает, анализирует и осмысляет. Вместо того чтобы побуждать человека заглянуть внутрь себя, они требуют, чтобы он устремил взор к небесам; они хотят, чтобы вместо осознания собственных нужд и истинных интересов он созерцал звезды и вычитывал в их расположении волю верховного двигателя.

«Рисуйте, а не дискутируйте; взывайте к чувствам, а не к разуму» - таково их постоянное требование к моралистам, словно право волновать и увлекать берется откуда-то еще, кроме как из истины; словно разумное обоснование долга не является способом обрести это чувство или навсегда его закрепить. Подобного рода судьи объявили труд Сен-Ламбера холодным и бесплодным.

Мы оспариваем эти суждения и считаем делом чести выступить против них. Сначала мы бросим взгляд на всё произведение в целом, на совокупность содержащихся в нем предметов, на разделение и взаимосвязь его частей - словом, на общую систему идей, из которых оно состоит. В двух последующих статьях мы отдельно рассмотрим основные части этого труда.

«Всеобщий катехизис» можно разделить на три большие части, а именно: предварительные понятия, вводные положения, наставления, а также разъяснения и комментарии к этим положениям и наставлениям. Вводные положения охватывают два основных предмета: анализ человеческой природы и искусство управления волей. Каждый из этих предметов, в свою очередь, подразделяется на несколько других. Анализ человеческой природы включает в себя исследование физического индивида, состоящего из внутренних и внешних чувств, и индивида морального, в котором различаются чувства и мысли. Автор показывает происхождение наших потребностей и интеллектуальных способностей; он раскрывает процесс зарождения наших идей и привязанностей.

В человеке мыслящем он рассматривает идею, внимание, память, воображение, суждение, рефлексию, способность к абстрагированию, обобщению и умение составлять сложные идеи из других, более простых.

В человеке чувствующем он выделяет два различных состояния души: склонности и страсти. Он различает и дает определения различным склонностям, а именно: доверчивости, суеверию, подражанию, тяге к обществу, состраданию, стремлению к независимости и равенству, любви к порядку, склонности к смеху (или чувству комичного), склонности к движениям и ритмичным звукам. За описанием склонностей следует обзор страстей, в основе которых, по мнению автора, лежат любовь и отвращение. Из отвращения, как он утверждает, рождаются ненависть, гнев, месть и тому подобное. Из них, в свою очередь, возникают злобность, порочность, жестокость и вероломство. Из любви же, напротив, происходят доброта, великодушие,

благожелательность, собственно любовь, признательность, восхищение, любовь к отечеству, к порядку и добродетели, а также любовь супружеская, сыновняя и отцовская.

За анализом страстей следуют рассуждения о характере, привычке, инстинкте, мнении, совести, счастье и разуме. Автор прослеживает возникновение потребностей, способностей, идей и чувств: во-первых, у обоих полов, между которыми в этом отношении существуют огромные различия, какие бы усилия ни прилагали тщеславие иных женщин и галантность некоторых знаменитых мужчин, пытаясь убедить всех в их тождественности; во-вторых, в разном возрасте; в-третьих, в различных климатических условиях; и в-четвертых, на разных ступенях цивилизации. Это всё те обстоятельства, в которых необходимо последовательно рассматривать человека, если мы хотим составить верное представление о его природе.

Искусство управлять волей включает в себя: во-первых, умение подготавливать её через поддержание в должном состоянии физической организации; во-вторых, искусство просвещать её с помощью здравых понятий и верных умозаключений; в-третьих, искусство склонять её к определённым решениям через мыслительные привычки, направленные на связывание и представление как идей, так и чувств. Первым двум частям искусства управлять волей предшествуют сведения о том, каким образом мы приобретаем знания и каких степеней достоверности можем достичь; вместе с этими сведениями они образуют краткую логику, которую автор называет «Понтиамас» - по имени народа, у которого, по его предположению, она была в ходу.

В третью часть мы включаем главы под заглавием «Понятия». Их цель - дать почувствовать важность нравственных правил, их связь с нашими правами и интересами, тесную близость добродетели и счастья и, наконец, те заложенные в нас средства, что позволяют сделать исполнение долга одновременно приятным и легким. Сюда же мы относим и самопознание; эта заключительная часть призвана привить юношеству привычку, которая служит залогом всех добрых навыков и способна уберечь от любых дурных.

Раздел наставлений содержит в одиннадцати главах изложение обязанностей человека перед самим собой, перед другими людьми и перед отечеством; обязанностей детей перед родителями, взаимные обязательства супругов, долг родителей перед детьми, а также отношения родственников между собой и с дальним кругом родни; обязанности друзей, отношение хозяев к слугам и слуг к своим хозяевам. Как можно заметить, автор ограничивается правилами, касающимися частной жизни, хотя название труда и вводная часть обещали описание обязанностей человека во всех сферах общественных отношений. Сам автор признает, что в этом отношении его работа не завершена и должна была бы продолжиться анализом устройства общества. В таком продолжении он, без сомнения, разобрал бы обязанности судьи, законодателя, дипломата и так далее.

Цель «Комментария» - подробнее раскрыть основные понятия и обосновать изложенные правила. Доказательства этих правил чаще всего представлены в виде поучительных историй или рассказов, перемежающихся описаниями характеров, в которых порой, как кажется, можно узнать реальных прототипов.

Таково довольно точное описание вопросов, затронутых в труде Сен-Ламбера. Прежде чем переходить к детальному разбору, мы сделаем два замечания касательно первой части - той, что содержит предварительные понятия. Во-первых, в ней собрано и объединено больше наблюдений, чем в любом другом известном труде. Автор часто высказывает оригинальные мысли, что мы еще будем иметь случай показать в дальнейшем, но почти всегда он проявляет новаторство в том, как сопоставляет уже известные идеи, а также в тех выводах, которые он из них извлекает или намечает. Во-вторых, собранные им наблюдения составляют подлинную основу и завершенную систему истинных начал морали.

Локк и **Кондильяк** верно разграничивали в человеке мышление и чувство; однако, сосредоточившись исключительно на первом, они написали лишь абстрактную историю разума. Сен-Ламбер же, рассматривая явления того и другого в неразрывной связи, создал живую историю страстей - а ведь только она и способна придать практическую пользу первой. **Адам**

Смит действительно собрал воедино множество тонких наблюдений о нравственных чувствах; однако из-за того, что он не знал или плохо понимал человеческий разум, он, по-видимому, не догадывался ни об их происхождении, ни об их движущей силе, а следовательно, и о возможности существования искусства, которое служило бы для того, чтобы ими управлять, чтобы регулировать и упорядочивать их. Этот упрёк никак нельзя адресовать Сен-Ламберу, хотя он и не предлагает столь же занимательного собрания нравственных явлений. **Жан-Жак Руссо** справедливо счёл необходимым отметить некоторые установленные природой различия между обоими полами, из которых вытекают их взаимные обязанности в семейном кругу; однако Сен-Ламбер заметил и выделил куда более важные различия, которые определяют положение и место женщин в гражданском обществе; к этому вопросу мы ещё вернёмся.

Кондильяк свёл искусство строить рассуждения к немногим здравым и точным правилам, но он пренебрёг искусством управления самим разумом или, вернее, обеспечения его свободного функционирования. Сен-Ламбер же приложил усилия к тому, чтобы вывести разум из-под власти страстей, уберечь его от слабости и вооружить против заблуждений; именно благодаря этой заботе он смог включить логику в состав морали, где и находится её истинное место. Многие моралисты, в особенности барон **Гольбах** и анонимный автор «Трактата о морали и счастье», убедительно доказали, что нравственность - это искусство обеспечения счастья; что потребности служат основой прав и обязанностей, а само счастье является результатом осуществления и тех, и других. Однако никто из них не поставил рядом с этим принципом анализ человеческой природы. Они не смогли четко определить понятия о потребностях, свойственных человеку, и о самой сути счастья; в итоге правила долга оставались лишенными опоры. **Ларошфуко** и **Гельвеций** вполне убедительно показали, что самолюбие выступает первоосновой человеческих поступков. Однако в отношениях между самолюбием и добродетелью они усматривали лишь расчетливый, обдуманный и просвещенный личный интерес. В то же время самолюбие нередко определяется иным чувством - безотчетным и мгновенным личным порывом, который отождествляет нас с подобными нам существами, побуждает к величайшим жертвам и именуется жалостью или состраданием. Кроме того, они не упоминали ни о силе привычки, ни о склонности к подражанию. Сен-Ламбер, напротив, соединил изучение этих склонностей с исследованием самолюбия. Он не оставил места для возражений, которые вызывали теории Ларошфуко и Гельвеция и которые те не могли опровергнуть, поскольку их учения были неполными.

Наконец, сотни других моралистов говорили о том, что совесть нужно просвещать. Сен-Ламбер же стал первым, кто научил её *формировать*, делать её тонкой, чуткой, сильной и стойкой. Священнослужители предписывали самоанализ, но исходили при этом из ложных и фантастических правил, и только они знали суть этих правил и владели их тайной; только себя они назначали их глашатаями, и в конечном счете всё сводилось к их собственной власти. Это искусство заключалось не в том, чтобы развивать и укреплять совесть, а в том, чтобы искажать её и вводить в заблуждение. Сен-Ламбер же, предписывая самопознание на основе правил, выведенных из разумного личного интереса, и превращая этот самоанализ в сокровенный диалог человека с самим собой, по-настоящему изобрел метод воспитания совести.

Но к заслугам первооткрывателя и, прежде всего, к таланту находить новые связи и делать свежие выводы, Сен-Ламбер добавляет еще одну: в его трудах нет ничего лишнего и не упущено ничего важного, что могло бы послужить полноте нравственной науки. Он рассмотрел свой предмет во всех его аспектах и охватил его во всей полноте. Пусть любой аналитический ум попытается распутать и классифицировать все элементарные вопросы, заключенные в задаче, которую автор поставил перед собой - очертить основы нравственности; мы беремся утверждать, что такой исследователь обнаружит все темы для дискуссий, которые собрал Сен-Ламбер, и не найдет ни одной по-настоящему важной проблемы, которую этот «Катехизис» обошел бы вниманием. Как мы уже говорили, есть множество людей, которые считают себя призванными занять место в рядах моралистов, будучи при этом совершенно не достойны подобной чести, рассматривают мораль лишь как науку о предписаниях, долженствующих управлять поступками людей. Отсюда и те общие места, столь утомительно повторяемые в их

трудах: дескать, мораль нужно внушать и никогда не обсуждать; добродетель следует живописать, но никак не рассуждать о ней.

Однако цель морали состоит не в том, чтобы - по крайней мере, напрямую - управлять действиями; её цель - направлять нравы, и именно нравам надлежит управлять поступками. Мораль подобна властителям, вынужденным управлять слишком обширными государствами: им необходимы министры, и министрами морали являются нравы. Если бы перед моралью не стояло никакой иной задачи, кроме установления правил для каждого отдельного действия, она представляла бы собой лишь громоздкий и бесполезный сборник казусов совести, лишенный всяких гарантий и опоры.

Но, доверяя нравам управление поступками и надзор за предшествующими им внутренними раздумьями, мораль тем самым выставляет внутри человека неусыпных часовых. Так она обеспечивает исполнение своих законов, не будучи обязанной прописывать каждый их пункт. Однако, чтобы утвердить нравы, способные верно соблюдать предписания морали, необходимо прежде всего знать, как формируются нравы и какова природа привычки; затем необходимо понять, в чем заключается суть верных нравственных правил. Чтобы обрести это последнее знание, нужно исследовать происхождение этих правил и обнаружить их цель; иными словами, нужно изучить потребности человека, его возможности и узнать, в чем состоит счастье, к которому он предрасположен. Одним словом, нужно познать человека. Таким образом, мораль по самой своей сути включает в себя науку о человеческой природе; из этого ясно, что далеко не каждый может претендовать на звание моралиста или мнить себя судьей тех, кто этого звания достоин.

Человек, который лишь пишет рассуждения об обязанностях, - не более чем казуист. Тот, кто только призывает исполнять долг, - всего лишь проповедник. Тот, кто лишь внушает правила, показывая их в действии на сцене, в баснях, сказках, романах или поэмах, является лишь поэтом или певцом морали; он не моралист. Лишь тот вправе называться этим именем, кто, зная исток, из которого проистекает мораль, и цель, к которой она должна стремиться, умеет использовать их, чтобы дать почувствовать ее предписания и обеспечить их исполнение, используя все жизненные обстоятельства, которые имеют власть над человеческим сердцем и определяют его привычки.

Моралист - это законодатель в высшем смысле слова и государственный деятель первого ранга. Именно это чувствовал Сен-Ламбер, когда в своем введении утверждал, что под понятием «мораль» подразумеваются два вида науки: та, что дает знание о человеке, и та, что предлагает средства для управления его нравами. Он неизменно помнил об этом, когда проводил анализ природы мужчины и женщины; когда искал способ защитить человеческий разум от бурь страстей в окружающем нас море заблуждений; когда учил привязывать разум к добру через привычку соединять любые представления о добродетели с представлениями о счастье; и когда в качестве гарантии этой умственной привычки он предложил благотворную привычку совести.

Несомненно, многие наблюдения, собранные во «Всеобщем катехизисе», не обладают достоинством новизны; однако новизна в высшей степени присуща их совокупности, да и некоторые из них в отдельности также оригинальны. К тому же, как можно составить трактат в науке, о которой уже столько написано, отвергая всё, что было написано прежде? Как подступиться к неведомому, не пройдя через уже известное? Неужели в области морали было сделано столько открытий лишь для того, чтобы выбросить их за ненадобностью в тот самый момент, когда появилась возможность расставить их по своим местам? Легкомысленные судьи, вы цените вещи лишь за то изумление, которое они вызывают своей новизной, а не за пользу, которую они способны принести благодаря самой своей древности. Обратите же внимание на истинные интересы нравственности, и вы станете более справедливы к почтенному писателю, который только что сослужил ей добрую службу. Вы были богаты материалами, подходящими для науки о нравах, но они были неполными и разрозненными; вам недоставало великих принципов и масштабных выводов. У вас было много здравых идей, но не было системы; вы обладали познаниями в области морали, но не имели самого учения о ней.

Когда Сен-Ламбер собрал во всех трудах философов те важные истины, которые до него оставались бесплодными и словно томились в заточении в своих областях; когда он объединил их между собой, добавил к ним собственные открытия, заставил их обогащать друг друга и извлек из их союза ряд новых истин, подготовив их к тому, чтобы они порождали новые знания, как только представится случай применить их на практике, - он, безусловно, заслужил признание литературы и философии в той же мере, что и авторы разрозненных наблюдений, какой бы талант ни был вложен в их изложение и каким бы очарованием ни обладали сопутствующие им детали.

(Journal de Paris, 20 брюмера VII года - 22 ноября 1798 года.)

О составлении катехизиса нравственности

Прочитано в классе моральных и политических наук 2 флореаля VII года.

Слово «катехизис» обозначает две разные вещи, а именно: книгу, которая служит материалом или текстом для наставников, и саму беседу или действие, посредством которого наставники разъясняют эту книгу. Говорят: «проводить» или «слушать» катехизис, а также «составлять» или «читать» катехизис. До наших дней предметом письменных или устных катехизисов была исключительно религия; лишь несколько лет назад возникла мысль составлять катехизисы нравственности. Изначально религиозный катехизис представлял собой чисто устное и домашнее поучение, которое главы семей давали своим детям и слугам; это был факт, действие, а не книга. У этого обучения было три цели: исторические предания, доктрина и принципы нравственности.

Доктрина была основным предметом, нравственность - дополнением, а история - средством. С помощью любопытства удерживали внимание на мотивах, которыми хотели направить волю. Один из Отцов Церкви, который во многих отношениях заслуживал бы звания **отца философии**, святой Августин, написал трактат о религиозном катехизисе. Он неизменно исходит из того, что обучение должно строиться на повествовании, и образец катехизиса, который он приводит в конце своего труда, по сути, является кратким изложением истории религии, перемежающимся различными размышлениями. *«Это,* - говорит Флёри, - *самый надежный способ обучения, наиболее соразмерный способностям ума, самый легкий и приятный; воображение и любопытство придают историям особую ценность... Многие составители катехизисов ввели в правило своего метода заканчивать каждый урок какой-нибудь историей»*.

На протяжении многих веков у религии не было иного способа сохранения, кроме устных катехизисов, и этого средства было достаточно. Оно опиралось на три различные силы, которые полезно отметить: силу истории - чтобы заставить слушать заповеди; силу слова - чтобы заставить слушать историю; и силу семейной власти - чтобы заставить слушать слово и сохранять традиции. Флёри рассуждает как мудрый человек и бескорыстный священнослужитель, когда говорит: *«Лучшими наставниками были бы отцы семейств, если бы каждый был хорошо образован и прилежен в обучении своих детей и слуг; они принесли бы гораздо больше пользы, чем могут принести священники и пастыри»*. Это размышление, полностью применимое к морали, заслуживает того, чтобы его обдумали философы и законодатели, занимающиеся вопросами нравственных институтов: оно возвращает нас к семейным устоям - единственному фундаменту нравов. То, что они сделают для укрепления отцовской или патриархальной власти, решит судьбу нравственности во Франции. Пример Китая должен был бы открыть глаза на силу семейных институтов.

С тех пор как у нас появилось книгопечатание, катехизисы стали одновременно и устным, и письменным обучением. Именно с того времени слово «катехизис» приобрело два значения:

оно подразумевает и действие наставления, и книгу, которая служит текстом для наставника. Эти две вещи, разделившись, не перестали быть необходимыми друг другу: слову нужна книга для упорядоченности, книге нужно слово для разъяснения и убедительности. *«Катехизис,* - добавляет Флёри, - *это не столько книга, предназначенная для чтения или даже заучивания наизусть, сколько модель обучения, которой учитель может пользоваться сообразно своему таланту, не придерживаясь её скрупулезно, меняя и разнообразя содержание в зависимости от людей и случаев. Обучение детей должно строиться иначе, нежели обучение людей рассудительных... С людьми, чей ум развит не более, чем у ремесленников или сельских жителей, нужно говорить по-другому... Катехизатор должен знать гораздо больше того, что написано в самом катехизисе»*.

Мало того что письменное наставление отделили от устного, так еще и вероучение разграничили с исторической частью: устное наставление оставили только для истории. Догматы и религиозная мораль стали восприниматься как некие абстрактные знания. Как только абстракции получили поддержку в виде текстов и слов, их связали воедино и отделили от физических представлений. С тех пор как догматы и мораль стали записывать, их отделили от истории религии. Отделив мораль от догматов, первой придали больше широты и общности, что было вполне естественно. Это было сделано для того, чтобы сформировать общие идеи и отделить абстрактные понятия от чувственных образов. Подобный метод крайне полезен для ума, так как способствует формированию общих представлений; это способ изложить множество элементарных идей в малом объеме, освободив память от необходимости удерживать их все целиком, а разум - от неуверенности при необходимости их вспомнить.

Однако Флёри упорно верил, что евангельскую мораль следует и впредь преподавать вместе со священной историей. Он пошел еще дальше. *«Катехизис,* - говорил он, - *должен быть не только историческим, но и сопровождаться изображениями: картинки - это грамота для неграмотных»*. Таким образом, по мнению Флёри, использование книг вместо живого слова при катехизации лишь добавило бы два вспомогательных средства: наглядное обучение и письменное наставление, придав обоим больше глубины. Но мнение Флёри не возобладало. В каждой епархии старой Франции был свой катехизис или книга по догматике и морали без примеси истории, а также свой устный катехизис, где история перемежалась с объяснениями, заповедями и наставлениями.

Из множества епархий родилось и многообразие письменных катехизисов, а также сильное соперничество в деле их совершенствования. Им удалось придать всю возможную ясность, на которую они были способны, и книги этого жанра действительно приобрели огромное влияние на распространение религиозных идей.

Всем известен ответ Массийона настоятельнице монастыря, который он посетил с епископским визитом. Настоятельница представила ему юную воспитанницу, которая своими сомнениями в религии наводила ужас на всё заведение. Эта девочка позже стала весьма знаменита под именем мадам дю Деффан. После того как прелат отчитал её, настоятельница попросила его указать книги, которые можно было бы дать в руки юной неверующей, чтобы обратить её. «Катехизис за пять су», - ответил он; и больше от него ничего не смогли добиться. Этот анекдот показывает, какое значение Массийон придавал подобного рода трудам, и его мнение имеет определенный вес в этом вопросе.

В последнее время философия, заметив силу религиозного катехизиса в пользу религии, задумала использовать этот формат для распространения морали. **Д'Аламбер** завершил свои «Элементы морали» пожеланием, чтобы какой-нибудь гражданин-философ, достойный этой задачи, взялся за создание подобного труда. Вскоре после этого барон **Гольбах** написал достойный уважения опыт в этом жанре. Его труд называется «Основы всеобщей морали». Он был написан в 1765 году и напечатан в 1780 году. В 1793 году **Вольней** опубликовал «Катехизис французского гражданина», который, по его словам, вполне мог бы называться «Катехизисом здравого смысла и порядочных людей». Наконец, **Сен-Ламбер** составил свои «Принципы нравов» - обширный труд, в который вошел «Катехизис домашних обязанностей» объемом около двухсот страниц форматом в восьмую долю листа.

В течение прошлого месяца я сделал доклад в Институте по поводу этого катехизиса, достоинства которого сильно оспариваются многими людьми из разных лагерей: прежде всего острословами, которые хотели бы видеть его более приятным, а также священниками и их сторонниками, которые хотели бы видеть его менее философским. Слушая дискуссии, для которых это произведение послужило поводом, мне пришла мысль попытаться обосновать литературную теорию катехизиса. Я хотел установить для себя правила, чтобы судить об этом труде: для того, чтобы иметь возможность сделать лучше, если он несовершенен; сделать иначе, если он плох; и, наконец, чтобы воздать ему должное, если он хорош, и побудить к его завершению.

Несомненно, история религиозных катехизисов содержит немало элементов, применимых к преподаванию нравственности. Во-первых, у нравственности, как и у религии, должен быть свой письменный катехизис и свой устный катехизис, а следовательно, и свои наставники. Во-вторых, было бы желательно, чтобы главами семейств были наставники в своих собственных семьях.

Устный катехизис имел бы свои правила и даже требовал бы отдельного трактата. Но сейчас нас занимает не это. Катехизисы, о которых мы хотим говорить, - это книги, а не беседы, к которым применяют это название. Настанет время подумать об искусстве наставления, когда у нас появятся домашние или общественные институты, подходящие для такого рода обучения. На сегодня же давайте поговорим об искусстве составления и написания катехизисов. Это достаточно важный предмет.

Когда мы выразили желание увидеть систему народного литературного образования, мы сказали, что теории катехизиса не существует ни в одном из тех объемистых и многочисленных трудов по литературе, которыми мы располагаем. Мы говорили о катехизисе нравственности; ведь работы святого Августина и Флёри касаются исключительно религиозных катехизисов, и главным образом катехизисов устных. Тем не менее многие их размышления могут быть применены к письменным катехизисам нравственности и заслуживают по меньшей мере изучения.

Нельзя сомневаться, например, в том, что чрезвычайно полезно направлять внимание на правила через любопытство, внушаемое фактами, поражать воображение и приобщать к ним разум через размышление, к которому нас подталкивает сопереживание чужому опыту. Нельзя также сомневаться в том, что после того, как в уме был запечатлен образ пользы принципов через исторические повествования, было бы полезно затем представить эти рассказы глазам с помощью изображений. Но возникает вопрос: возможно ли и стоит ли смешивать в катехизисе нравственности историю и наставления так, как это делается в катехизисах богооткровенной религии.

Прежде всего, это было бы не так легко осуществить. Каждое правило богооткровенной религии считается исходящим из уст Бога, или же оно является результатом урока, преподанного Им через иные акты Его могущества; в обоих случаях это факт, который следует изложить. Наставления же чистой нравственности, несомненно, тоже имеют свою историю; но написать эту историю было бы трудно, она была бы долгой и всегда более или менее абстрактной. Это была бы история человеческой мысли у всех народов вместе взятых на протяжении долгой череды веков. Религиозная нравственность - порождение оракулов; нравственность как таковая - порождение времени и опыта. Вот почему первую можно изучить через историю одного человека или нескольких людей; вторую же можно изучить только через всемирную историю.

Существовал бы способ заменить историю при преподавании нравственности: он заключался бы в сочинении небольших исторических романов или вымышленных происшествий, которые перемешивались бы с исторической правдой, чтобы на этой основе вывести некий нравственный принцип. Эти происшествия не были бы чистым вымыслом; им потребовалось бы правдоподобие, чтобы соединиться с историческими фактами. Но что такое правдоподобие? Это выражение общей истины, опыт которой есть у каждого, и где предполагается лишь,

что место и время действия, а также имена актеров - вымышлены. Хорошо написанные романы - не что иное, как наша история, более или менее развитая, изложенная в порядке, более или менее соответствующем тому, что с нами произошло, и рассказанная под другими именами, нежели наши собственные.

Но польза этого приема весьма ограничена. Во-первых, он требует целых томов для изложения лишь небольшого числа истин. Во-вторых, он стремится привить любовь к добродетели скорее через то, что в ней есть прекрасного и великого, нежели через то, что в ней есть доброго и полезного, и скорее возбуждает в душе порывы, нежели закрепляет в уме привычки. В-третьих, если исторические или вымышленные картины закрепляют абстрактные правила в уме, они также обладают недостатком, в некотором роде ограничивающего их масштаб рамками определенной гипотезы или конкретного случая; он заключается в том, что наставление по самой своей природе обладает некой универсальностью, которая соответствует всем законам, расширяет сферу их полезного применения и подтверждает их величие.

Можно также сказать, что мораль способна обойтись без внешней опоры, когда она чиста и кротка; ведь, в конечном счете, именно о нас она говорит, именно о нашем счастье она печется и напоминает нам. До сих пор она была скучной лишь потому, что её связывали с религиозными догмами и преподавали под страхом ужасных наказаний - либо фанатики, либо глупцы. Она неизменно служила интересам сильного против слабого, была льстивой к могущественным, сокрушительной для несчастных, угрожающей для слуги и никогда для господина, пугающей для неблагодарного сына и никогда для дурного отца.

Мы бы хотели, чтобы наставления и исторические иносказания были отделены друг от друга; чтобы письменные катехизисы состояли исключительно из самих наставлений, а истории или иносказания относились только к катехизисам устным. Действительно, важно, с одной стороны, чтобы правила были единообразны, чтобы все наставники преподавали одни и те же нормы всем обучаемым, а этого невозможно добиться иначе как путем их печати и публикации. С другой стороны, необходимо, чтобы развитие и доказательства заповедей соответствовали уровню умов, к которым обращено обучение; а это требует, чтобы у наставника была возможность выбирать примеры из круга вещей, наиболее близких его слушателям.

Таким образом, сводя письменные катехизисы к обучению обязанностям, необходимо наметить несколько литературных правил для изложения самих заповедей - то есть определить объем собственно катехизисов, выбор вспомогательных идей, которые должны войти в их состав, их порядок и распределение, и, наконец, стиль, подходящий для их выражения.

Поскольку моральный катехизис - это труд, предназначенный для устного и доверительного обучения принципам нравственности и текст для бесед, на основе которых должны регулироваться и направляться наши привычки ради обеспечения, насколько это возможно, общего и частного блага, то первым условием, которое он должен выполнить, является представление полного набора этих принципов.

Но что понимать под полнотой? Здесь нет места произволу. Обязанности человека делятся так же, как и его общественные связи. Таким образом, таблица его текущих отношений представляет собой полный перечень разделов его обязанностей. Отметить каждый раздел и дать в каждом из них наиболее общие правила поведения, применимые к случаям, которые в них содержатся, - вот что я называю составлением полного катехизиса. Не включая в себя, подобно словарю по вопросам совести, миллионы гипотез, которые лишь перегружают ум и путают мысли, он будет полным, если соберет общие принципы, следуя которым каждый сможет вести себя сообразно обстоятельствам, если запечатлеть эти принципы в сознании и заставить сердце полюбить их.

Я замечу здесь, что названия работ, содержащих основы какой-либо науки, выбраны совершенно вопреки здравому смыслу. Их называют *элементарными книгами*, в то время как чем они лаконичнее, тем более общими являются содержащиеся в них принципы, и тем сложнее, по этой же причине, их понятия. Это как раз противоположно тому, что подразумевают, называя такие труды элементарными. Общие правила очень верно называют *сокращенным изложением всех возможных случаев*. Таким образом, элементами общих правил являются

частные случаи, и элементарная книга должна была бы представлять собой их упорядоченное собрание; однако такой труд был бы чрезмерно длинным.

Второе условие, которое должен выполнить составитель катехизиса, - сделать его кратким. Краткость всего труда необходима для того, чтобы мысль могла при необходимости сопоставлять части, которые взаимно проясняют друг друга. Краткость нужна и в формулировках заповедей, чтобы память легко удерживала их и чтобы, когда обстоятельства потребуют вспомнить какую-то из них, это можно было сделать мгновенно и в полном объеме, среди всех отвлекающих факторов и повседневных дел. Так, чтобы ничто не разрывало ту связку идей, из которых состоит катехизис. При создании подобного труда нужно всегда помнить, что масса людей, для которых он предназначен, делится на три класса: те, у кого мало свободного времени, те, кто мало применяет изложенные идеи, и те, кто не обладает достаточным усердием или хорошей памятью.

Чтобы катехизис был одновременно кратким и полным, необходимо, чтобы составляющие его элементарные идеи были сведены к самым общим принципам и чтобы эти принципы были облечены в предельно точные формулировки. Далеко не каждый ум способен выполнить эти два условия.

Я понимаю то, о чем так часто твердят: нет более сложного труда и более редкой хорошей книги, чем религиозный катехизис. Можно было бы даже сказать, что это книга, которую невозможно написать хорошо. Обязательство быть общим, точным, ясным и даже доступным (ведь мы скоро увидим, что доступность - еще одно необходимое условие для подобного труда) становится еще более затруднительным, когда речь идет об установлении ложной доктрины. Это следствие истины, столь удачно выраженной Вовенаргом: *«Нет таких заблуждений, которые не рассыпались бы сами собой, будь они изложены ясно»*. Создание катехизиса морали также было почти невыполнимой задачей до тех пор, пока мораль, смешанная с чудовищными или нелепыми ошибками, выводилась из иного источника, нежели те потребности, которые заложены в нашей природе. Когда моралист оказывался во власти привычек, расчетов своего ума и принятых предрассудков, то попытка свести учение к его кратчайшему и самому общему выражению означала риск на целых три четверти довести его до абсурда. Нет ничего более банального, чем наборы слов, которые лишь создают видимость облачения принципа, а на самом деле окутывают лишь тень, которую он отбрасывает. Стоит вскрыть или сжать эту оболочку - и вы ничего не найдете.

Подобная неудача не постигнет автора катехизиса, который возьмет за правило отделять идеи, связанные с нашими истинными интересами, от тех, что им чужды. Ему будет очень легко свести общие идеи к частным, если последние будут почерпнуты из самой природы человека; ведь тогда они подойдут всем людям, и повсеместно найдут подтверждение своей точности. Он не побоится самого краткого выражения, и без труда его найдет, ведь оно само предложит себя.

Недостаточно просто соединить краткость и полноту - необходим еще и метод; он нужен для классификации обязанностей и запечатления в уме схемы их разделения. Помимо того, что ум не сможет при необходимости вспомнить наставления, полученные в беспорядке, если он не сможет легко составить из них общую картину, он не сумеет осознать взаимосвязь и соподчинение своих обязанностей, а также не сможет быть уверен в том, что, выполняя одну из них, он не нарушает другую, еще более важную.

Единственный по-настоящему точный и наглядный способ разделения обязанностей - распределить их согласно порядку наших домашних и гражданских отношений. Разделения обязанностей по их природе (в силу их масштаба), подобные тому, что сделал Цицерон в своем трактате «Об обязанностях» (*De Officiis*), неполны и часто избыточны, всегда слишком абстрактны и крайне неудобны на практике. Необходимо, чтобы привычная жизнь напоминала о правилах долга, если мы хотим, чтобы эти правила служили привычной жизни. Поэтому следует связывать каждое наставление с определенным проявлением и отношением нашего существования - всегда четким, всегда ощутимым, всегда присутствующим, как само чувство нашего бытия.

Классифицированные таким образом наставления, естественным образом выстраиваются в четкую шкалу, определяющую степень их важности, и каждый может узнать порядок, в котором он должен им следовать, руководствуясь лишь тем порядком, который диктует ему правильно понятый личный интерес. Кроме того, метод способствует краткости. Ставя каждую идею на свое место, он избавляет от переходов и длинных рассуждений. Идеи, расположенные в их естественном порядке, связываются и разделяются с одинаковой легкостью; они достаточно проясняются, чтобы открыть уму те стороны, которыми они соприкасаются или вступают в новые сочетания.

Многое сделано для ясности, если следовать хорошему методу распределения наставлений; но это еще не всё: нужно также, чтобы выбор оборотов и выражений делал обучение доступным даже для самых ограниченных умов. Для достижения этой цели недостаточно даже ясности; необходимы простота и популярность изложения; ведь Эйлер и Лагранж очень ясны, однако широкая публика понимает их не лучшим образом.

Если принципы достаточно обобщены, если они чисты и сами собой овладевают умом; если выражения точны, а метод изложения представляет их в таком порядке, где они связываются наиболее естественным образом и взаимно проясняют друг друга, то остается лишь просить у стиля ту долю интереса и привлекательности, которая необходима, чтобы катехизис победил леность ума, произвел на него живое впечатление и оставил глубокие следы. Будучи таким образом выбранными, упорядоченными и облеченными в форму, общие максимы не будут нуждаться в том, чтобы за ними следовали все их выводы. Они будут готовы раскрыться сами собой при малейшем усилии мысли. И это гораздо лучше для того, кто ими владеет, чем иметь перед собой их обременительное нагромождение. Катехизис должен доверять свои предписания разуму в той же мере, что и памяти; он не должен освобождать ум от всякой работы, а, напротив, облегчать ее выполнение и обеспечивать его регулярность.

Но к какому роду интереса восприимчив катехизис? Здесь следует остерегаться опасного заблуждения и не требовать от подобного сочинения той привлекательности, которую надеются найти в любой другой книге о морали.

Первое, чего обычно требуют от труда по морали, - это чтобы он был читабельным, то есть чтобы он удерживал внимание от страницы к странице, от первой до последней; чтобы он вызывал похвалу у тех, кто его прочел, и чтобы этой похвалой он возбуждал любопытство тех, кому еще только предстоит его прочесть.[35] Но нельзя требовать того же от катехизиса; нет никакого смысла этого требовать, и, возможно, было бы даже опасно на это претендовать.

Чтобы вызвать ту увлеченность, о которой мы только что говорили, необходимы либо драматические формы, либо ораторская пышность - то есть множество вспомогательных средств для малого количества идей. Можно написать двадцать томов нравоучительных сказок, морализаторских романов, проповедей или судебных речей, чтобы заставить полюбить три или четыре добродетели. Это исключало бы либо краткость, либо полное собрание правил долга.

И, кроме того, было бы неразумно претендовать на то, чтобы освободить юношество от некоторого принуждения при изучении морали. Желать преподавать с помощью одного лишь удовольствия науку, которая ставит в ряд обязанностей частую жертву удовольствием ради счастья, - это противоречие. Желать научить подчинению долгу, не подчиняясь обязанности изучить его происхождение, природу и цель, - это противоречие. Следовательно, если небольшое и легкое принуждение побуждает молодежь читать свой катехизис и слушать тех, кто его объясняет, тогда та доля искусственности, которая в иных случаях служит писателю средством заставить читать свой труд, здесь заменяется авторитетом наставника, а также той приятностью или интересом, которые он может вложить в свое устное поучение.

Интерес к катехизису будет достаточным, если он обращается к сути вещей; если, исходя из наших потребностей, он возвращает нас к нашим радостям; если он беспристрастен; если он не требует от нас по отношению к другим ничего, что не было бы эквивалентом того, чего

[35] «Хронологический очерк», под 1481 годом.

он требует от других по отношению к нам; если он, к тому же, наделен определенным очарованием языка, которое, не поражая, не увлекая и не утомляя душу, поочередно запечатлевает в ней те нежные эмоции, которые нам нравится вспоминать и часто ощущать, и тот приятный покой, что рождается при виде порядка; одним словом, если он располагает к любви к другим в себе и к себе в других.

Любой иной интерес мог бы быть пагубным. Помимо того, что из катехизиса следует тщательно удалять всё, что могло бы сделать добродетель скорее восхитительной, чем дорогой сердцу, и скорее поразительной, чем легкой в исполнении, мы полагаем, что нужно также избегать всего, что предвещало бы тягостный поиск принципов или опасную борьбу против предрассудков или страстей. Пусть будут чужды ему рассуждения, а особенно - тот энтузиазм, который внушает открытие истин, далеких от самого человека, и ужас, вызываемый пагубными и укоренившимися заблуждениями. Никаких образов, которые перестают удерживать внимание, как только они однажды утомили его изумлением. Никаких порывов, которые увлекают на мгновение, а затем оставляют ум без равновесия и поддержки, запечатлевая ощущения, от которых не остается ни ясного представления, ни потрясений, от которых не остается даже следа чувства. Одним словом, никакой адвокатской защиты, никаких проповедей, никаких вымыслов. Чтобы проникнуть в чистые, незапятнанные души, где нет заблуждений, требующих искоренения, истина не должна являться ни вооруженной, ни разгоряченной недавними битвами или готовой в них вступить: она вызвала бы страхи и недоверие, она ослабила бы свой авторитет, показывая, что знает о существовании врагов. Ей важно предстать с той искренностью, которая напоминает уверенность в том, что она понравится, и которая так часто становится средством очарования; с той уверенностью, которая заявляет, что она находит понимание там, куда стремится, и нигде не встречает противника. В её языке будет чувствительность, но не страсть.

Святой Августин хотел, чтобы в катехизисе все сводилось к любви к Богу; но моралист должен сводить все к любви к порядку, и в этом смысле составитель катехизиса будет следовать этому прекрасному наставлению Отца Церкви: *«Рассказывайте так, чтобы слушатель, внимая, верил; чтобы, веря, надеялся; и чтобы, надеясь, любил»*.

Последнее условие для катехизиса заключается в том, чтобы стиль произведения такого рода обладал достоинством, иногда силой, а чаще всего - авторитетностью; он должен внушать уважение к правилам, при этом заставляя принимать их с любовью. *«Чтобы быть понятым детьми,* - говорит Флёри, - *нет необходимости говорить, подобно их кормилицам, или лепетать вместе с ними. Чтобы подстроиться под простых людей, не обязательно совершать грамматические ошибки, использовать их каламбуры и пословицы. Нужно всегда сохранять величие религии и внушать уважение к слову Божьему. Будем подражать, насколько позволяют наш язык и нравы, стилю Иисуса Христа, апостолов и пророков. Они говорили на языке, обычном для людей. Их выражения были простыми, ясными, основательными, часто благородными и величественными. Они давали отчетливые и живые идеи и сильно воздействовали на воображение, потому что мало кто способен мыслить без его помощи»*.

Эта цитата дополняет литературные правила, которым, по нашему мнению, должен следовать составитель катехизиса. Но как соединить те различные достоинства, которые предполагает их соблюдение? Как добиться методичности без педантизма, точности без сухости, простоты без пошлости, непринужденности без низости, достоинства без холодности, силы без грубости, заинтересованности без восторженности или страсти? Этому не сможет научить всё искусство мира. Здесь заканчивается власть учителя красноречия; он может определить эти качества, предложить их образцы, но не может прописать правила, результатом которых стали бы эти преимущества. Искусство вполне способно помочь заметить то, что уже сделано, но оно бессильно, когда нужно дать наставления, выполнимые для любого ума. Стиль во многом перенимает характер писателя, его знания, его привязанности. Манера быть ясным, энергичным, трогательным, присущая одному, не может принадлежать другому. Вот чего учителя красноречия не заметили или не захотели признать. Они не подумали или не сочли нужным сказать, что их искусство не может заключаться в том, чтобы направлять разум или заменять

его; что на разумном наблюдении за прекрасным их власть заканчивается, и что затем начинается область другой науки, еще не имеющей названия, которая состоит в изучении природы собственного ума и своего таланта, в понимании их масштаба и естественного направления, в заботе о них как в физическом, так и в моральном плане, и, наконец, в ведении их к цели теми средствами, которые могут послужить им лучше всего.

Тем не менее, мы сделаем несколько замечаний, способных просветить талант. И прежде всего: сочетание литературных качеств, которых требует составление катехизиса, настоятельно предполагает истинность принципов, их чистоту и совершенную беспристрастность.

Необходимо, чтобы, **всегда исходя из личного интереса**, они неизменно к нему возвращались. Чтобы в каждой обязанности они показывали права, а в каждом праве - обязанности. Чтобы они не налагали никаких обязательств, которые не были бы либо ответственностью, либо возмещением за те обязанности, что наложены на других по отношению к тем, к кому они обращаются. Беспристрастность и искренняя любовь к справедливости - вот отличительные черты добрых наставлений; это качество, которое должно всегда им принадлежать и является самым мощным из всех, на которые они способны.

Только истина способна на сильное или глубокое выражение; только она поддается системному подходу. Заблуждение ищет маскировку, которая скрывает, а не одежду, которая облекает; оно ищет опору там, где чувствует себя наиболее защищенным, а не там, где его можно было бы рассмотреть со всех сторон.

Однако одной лишь чистоты принципов еще недостаточно. Автор катехизиса должен хорошо понимать, как именно человеческий разум усваивает знания, и владеть языком моральных идей, чтобы свести свои понятия к максимально общим выражениям и представить их в порядке, наиболее способствующем ясности. Он должен владеть языком воображения и души в достаточной степени, чтобы облечь эти идеи в удачные цвета, окружить их подходящими образами и придать им мягкое движение. Таким образом, составить хороший катехизис может лишь человек со справедливым и беспристрастным сердцем, просвещенным умом, точным талантом, сочетающимся с долей поэтического воображения, имеющий опыт общения с молодежью, любящий наставничество, преданный общественному благу и, прежде всего, способный на полное бескорыстие в вопросах литературной славы.

Не стоит скрывать: хороший катехизис нравов - это одно из тех литературных произведений, которые оцениваются наиболее несправедливо; это область, где успех автора меньше всего соответствует талантам, которых она требует. Умение поражать, не принося пользы, вызывает почтение и благодарность; приносить же пользу, не поражая воображения, - значит плодить лишь неблагодарных. Это подтвердили и многочисленные недавние ложные и пренебрежительные суждения о катехизисе Сен-Ламбера.

Этот труд, несмотря на всё пренебрежение со стороны эстетов, отвечает почти всем условиям, которые мы указали для составления катехизиса; более того, именно его исполнение натолкнуло нас на эти мысли. Говоря о том, каким должно быть подобное произведение, мы лишь описывали то, чем является труд Сен-Ламбера. Пусть он не идеален, но, как я уже отмечал в отчете для Института, он обладает двойной заслугой: отныне он делает невозможным успех (а возможно, и само появление) посредственного сочинения в этом жанре, и значительно облегчает создание шедевра. Скажем больше: он и сам легко может стать шедевром. Если он кажется неполным, если в нем не хватает глав, касающихся основных общественных отношений, то план их написания, суть принципов, характер вспомогательных идей, образов и приемов, подходящих для дополнения, - всё это уже намечено в части, посвященной семейным отношениям. Таким образом, эта часть является лучшим руководством и лучшим образцом, к которому можно обратиться как для совершенствования отдельных деталей, так и для полного завершения труда.

Мы должны признать: выводя из размышлений над катехизисом Сен-Ламбера и вызванных им дискуссий ту теорию, которую мы только что представили, мы стремились не столько спровоцировать новые попытки в этом жанре, сколько показать, какого глубокого уважения

заслуживает именно этот труд. Важно понимать, что любые попытки его улучшения или дополнения должны предприниматься только в соответствии с замыслом самого автора, с присущим ему мастерством, знанием и талантом.

(«Журнал общественной экономики», том VI, страница 361)

О важном средстве совершенствования народной нравственности

Это средство заключается в том, чтобы просвещать разум народа; а путь к просвещению разума лежит через совершенствование языка моральных и политических идей. Народ не может ничему научиться из трактатов, теорий или систем, и он не способен создать себе теоретическую базу. У него нет времени на ее приобретение, и он быстро забыл бы ее из-за повседневных забот. Следовательно, когда говорят о необходимости просвещать разум народа, имеют в виду лишь то, что нужно обеспечить его чистым и ярким светом для насущных нужд.

Искусство рассуждать могло бы стать этим светом, если бы оно существовало; но само это искусство было бы забыто. Таким образом, задача состоит в том, чтобы наделить инструмент рассуждения такой легкостью и настолько подчинить его необходимости действовать верно, чтобы он просто не мог ошибаться.

Рассуждение будет легким и неизбежно правильным, если язык хорошо устроен. Кондильяк доказал в своей логике, что искусство рассуждать сводится к умению правильно говорить на хорошо проработанном языке. Д'Аламбер, желая похвалить достойного человека, говорил: *«Он всегда точно знает, что говорит».*

Правильно устроенный язык - это тот, в котором каждый всегда понимает, что он произносит, и на котором невозможно даже говорить, не понимая смысла; так что человек вынужден остановиться в своей речи в тот самый момент, когда перестает ясно и отчетливо осознавать сказанное.

В нас самих, как отмечает Гоббс в своем «Трактате о человеческой природе», протекают рассуждения, являющиеся результатом наших сочетанных представлений - то есть наших ощущений, сохраненных памятью и воспроизведенных воображением. Однако, помимо этих рассуждений, которые Гоббс называет *внутренней речью* или *мысленной речью*, у нас есть внешняя речь - речь произносимая, речь слов; и зачастую последняя вовсе не соответствует первой или обходится без нее.

В самом деле, словесная речь физически представляет собой лишь движения языка. Между тем природе почти всех тел, которые часто совершают одни и те же движения, свойственно приобретать всё большую легкость или способность к этому самому движению; благодаря этому движение становится для них настолько привычным, что для его запуска достаточно малейшего импульса. Поскольку мысленная речь с помощью языка перешла в речь словесную, последняя в силу привычки стала обходиться без мыслей, отделилась и сделалась независимой от мысленной речи. Разум (*ratio*) превратился в речеизвержение (*oratio*); и для большинства людей он ничем иным не является. Люди рассуждают одними лишь губами. Ум лишь подсказывает первое слово, а благодаря привычке языка (точнее было бы сказать - памяти) связывать определенные слова и фразы друг с другом, всё остальное следует механически, без участия разума. Это напоминает молитву «Отче наш» в устах нищих: они читают ее до последнего слова, не связывая ни единой идеи с произносимыми словами. Если принять во внимание то ничтожное постоянство и отсутствие четкости, которые вкладывались в слова, и то, до какой степени они подвержены двусмысленностям; то, насколько страсти и корыстные интересы искажают смысл, и, наконец, то, скольким заблуждениям подвержен человеческий разум, то неизбежно придешь к выводу, что невозможно исправить общие и частные ошибки, не пересмотрев до основания, и не начав заново изучать первоосновы человеческих знаний.

Вместо того чтобы читать книги, нужно учиться читать собственные представления, и именно в этом смысле знаменитое NOSCE TE IPSUM [Познай самого себя] может быть достойно своей славы.

Только после повторного осмысления внутри самого рассудка всех его понятий из области морали и политики, станет возможным подготовить своего рода новое издание слов, которые их разграничивают, и знаков, которые их выражают. Необходимо последовательно пересмотреть все объекты, классифицировать их, привести в порядок, чтобы заново составить общую картину. Словарь должен быть не чем иным, как таблицей объектов, выделенных анализом. Если слово не соответствует вещам, если оно не закреплено за каждой из них в отдельности, если оно смешивает несколько понятий, если оно не помогает анализу, если оно не фиксирует открытия, и если оно не придает форму и облик идеям, которые анализ разграничил, - одним словом, если язык не является инструментом самого анализа, то каждый ум, жаждущий истины, будет вынужден заново начинать исследования, проделанные другими, тратя свое время на изучение того, что могло бы сэкономить одно-единственное слово.

Поскольку люди, способные столь мучительно искать истину, встречаются редко, то невежество, ошибки и предрассудки останутся вечным уделом толпы. И напротив, если каждая идея обретет собственное слово (или, что то же самое, если каждое слово будет выражать отдельную идею), если их нельзя будет трактовать в разных смыслах, то любой человек, желающий высказаться, будет вынужден либо молчать, либо знать, что именно он говорит. Народ, изучая свой язык, познает всё; не зная же его, он будет огражден от ошибок. В то время как сегодня, плохо зная язык или не зная его вовсе, чтобы компенсировать его несовершенство, народ совершает столько же промахов, сколько и рассуждений.

Вопрос о том, как заставить народ рассуждать правильно, всегда ставился неверно. Способность здраво мыслить у него есть. Всё сводится к тому, чтобы он хорошо понимал, что говорит, и не произносил того, чего не знает. Именно через слово человек заблуждается; именно через слово он должен научиться находить верный путь.

(Journal d'Économie publique, от 10 термидора V года - 28 июля 1797 г.)

Замечания к вопросу, предложенному Национальным Институтом в качестве темы для первой премии класса моральных и политических наук, прочитанные на заседании 15 вандемьера VI года (6 октября 1797 г.)

Национальный институт на своем последнем публичном заседании объявил, что темой первой премии, которая будет присуждена в этом году Классом моральных и политических наук, стал следующий вопрос: ***«Каковы наиболее подходящие средства для обоснования морали народа?»***. Формулировка этого вопроса была выбрана ошибочно. Намерение Класса состояло в том, чтобы спросить не о том, каковы *средства*, а о том, каковы наиболее подходящие **институты** для обоснования морали народа. Класс уже распорядился опубликовать в официальных газетах исправление этой ошибки, однако посчитал необходимым официально довести это до сведения на текущем заседании, и даже обратить на это внимание авторов, которые могут принять участие в конкурсе. Цель, которую поставил перед собой Класс, заключается в том, чтобы получить не только общие принципы, но и конкретные практические взгляды, реализация которых позволила бы в некотором роде привести эти принципы в действие. Чтобы получить точные и определенные ответы, необходимо, чтобы и сами вопросы были таковыми, ведь естественно, что отвечающий не считает себя обязанным проявлять больше проницательности, чем спрашивающий. Именно по этой причине важно восстановить в программе Института вместо слова «средства», которое является расплывчатым и может привести лишь

к абстрактным дискуссиям, слово «институты», которое фокусирует мысль на вещах конкретных и осязаемых.

Хотя значение слова «институты» весьма точно, Класс мог бы опасаться, что оно охватывает слишком много объектов, если бы несколько очевидных обстоятельств четко не ограничивали его рамками программы. Все общественные институты, все без исключения влияют на мораль народов: правила, касающиеся отношений граждан между собой и называемые *гражданскими институтами*; правила, касающиеся отношений как граждан с государством, так и государства с гражданами и называемые *политическими институтами*; правила, касающиеся отношений граждан с Высшим Существом или Природой и называемые *религиозными институтами*, - все они в большей или меньшей степени напрямую способствуют формированию общественной морали. Именно от этих институтов она зависит коренным образом. Начиная с устройства правительства, которое следит за исполнением всех обязанностей, и вплоть до публичных часов, которые делят время и отмечают мгновения в выполнении этих обязанностей, ничто не является безразличным для нравственности народа.

Но, помимо этих учреждений, существуют собственно **моральные институты**, которые являются подразделением всех остальных; они отличаются от них лишь тем, что гражданские, политические и религиозные институты могут иметь своей целью, помимо нравственности, безопасность, процветание, всеобщее и частное благополучие, тогда как собственно моральные институты имеют своей специальной, а зачастую и единственной целью нравственность граждан. Достаточно лишь небольшого внимания, чтобы признать: Национальный институт, задаваясь вопросом о том, какие учреждения лучше всего подходят для упрочения нравственности народа, имеет в виду именно моральные институты.

Вопрос, ограниченный таким образом, всё еще открывает огромное поле для размышлений; будучи распространенным на все общественные институты, он был бы явно несоразмерен времени, отведенному на его рассмотрение, краткости, требуемой от работ, представляемых на литературные конкурсы, и, возможно, силам одного человека. Впрочем, этот вопрос уже решен применительно к гражданским, политическим и религиозным институтам; он был решен в 1789 году, когда свобода и собственность были провозглашены целью всех обязанностей, равно как и всех прав; он был решен в 1792 году, когда свобода и собственность были переданы под охрану равенства и под гарантию республиканского строя. Это не Национальный институт Франции - объединение, состоящее из членов, издавна принадлежащих к республике более древней, чем Французская, и имевшей бессмертную честь дать ей рождение (я говорю о республике словесности), - это не Институт, скажем мы, когда-либо поставит под сомнение, существуют ли институты, более подходящие для утверждения нравственности народа, чем собственность, свобода, равенство и республиканское правительство, которые служат взаимной гарантией друг для друга.

Система моральных институтов, наиболее подходящих для обоснования нравственности народа - единственного предмета предлагаемых исследований, - по-видимому, должна охватывать три особых вида учреждений: (1) те, что просвещают разум, такие как общественное образование; (2) те, что согревают душу, такие как памятники и национальные торжества; (3) и те, что управляют всеми способностями человека через обычай, такие как домашние институты. В самом деле, нравственность по-настоящему укореняется в нас лишь в той мере, в какой она опирается на наши знания, отвечает нашим потребностям и становится частью наших привычек.

Общественное образование включает в себя школы, просветительские общества, книжную торговлю и периодику, публичные библиотеки, зрелища. Памятники включают в себя не только здания, посвященные добродетели и таланту, но и все виды дани, которую могут им принести изящные искусства, такие как гробницы, обелиски, статуи и т. д. Национальные торжества включают в себя не только общественные празднества по случаю какого-либо счастливого и почетного события, но и общественные трауры по случаю всеобщего бедствия; такова

была похоронная церемония в честь прославленного воина, умиротворителя еще более знаменитой Вандеи; таким же мог бы стать ежегодный траур по случаю какой-либо великой ошибки, от которой нация хотела бы предостеречь себя в будущем.

Домашние институты занимали важное место в деятельности древних законодателей; долгое существование китайского народа, народа иудейского, возможно, доказывает, что нация сохраняется в той же степени благодаря своим домашним обычаям, как и благодаря своим законам и должностным лицам. Ликург, Моисей, Конфуций подчинили законам все детали частной жизни: жилище, обстановку, одежду, пищу, время пробуждения и отхода ко сну, речь, отношения полов и возрастов, визиты, встречи - одним словом, нравы и манеры; они всё регламентировали, всё упорядочили. Представляет немалую трудность точно определить, до каких пределов государственная власть может распространять свои законы на детали домашней жизни, чтобы привести нравы в соответствие с общественными интересами, и в какой точке она должна остановиться, чтобы не нарушать естественную свободу, не стеснять полет духа и не останавливать развитие человеческого совершенствования.

Возможно, при анализе этой темы обнаружится, что великим регулятором домашних нравов, великим наставником частной морали - это полноценное и всестороннее установление труда через разделение профессий между всеми классами общества; установление, которому для своего утверждения во Франции не требуется ничего, кроме глубокого общественного уважения к свободе и собственности.

«При монархии мы почти не видели иного труда, кроме того, необходимость которого диктовалась нищетой. Однако в любой стране, где обеспеченный человек ничего не делает, никто не заслуживает почетного звания трудолюбивого человека. Там, где обеспеченный человек празден, даже бедняк не делает всего того, что мог бы делать. Чтобы труд нации был энергичным, нужно, чтобы он вошел в привычку как у богатого, так и у неимущего; нужно, чтобы первый был привязан к нему скорее надеждой на благополучие, нежели унизительным страхом крайней нужды; а второй - опасением или стыдом праздности, а не жаждой постоянно растущего излишества. Отмена привилегий, титулов и отличий во Франции уже позволила умам сделать большой шаг вперед в этом отношении.

Именно это полноценное и всестороннее установление труда, развивая все таланты, умножая все богатства, увеличивая общее достояние, способно одно облагородить и укрепить отношения между людьми. Только оно может сделать ощутимым и дать возможность мягко вкусить равенство прав при фактическом неравенстве, наделяя богатого скромностью и бережливостью, а бедняка - достоинством и радостями; сопоставляя все таланты и обязывая их, через чувство взаимной зависимости, к взаимному уважению и почтению. Оно формирует самую мощную гарантию собственности, потому что учит всех, что благо приобретается лишь трудом, и потому что труд предлагает каждому благо, которое можно приобрести. Оно формирует самую мощную гарантию свободы, потому что удваивает для богатого потребность в бедняке и освобождает последнего от всего, что было унизительного в его зависимости. Именно оно связывает отца с детьми, детей с отцами, а супругов - друг с другом. Наконец, именно оно, обеспечивая личное и прочное счастье, вселяя в бедняка надежду рядом с нуждой, оживляя в богатом желание рядом с пресыщением, поддерживая в каждом необходимый импульс к способности наслаждаться, оберегает душу от тех тревожных, придирчивых и вредоносных страстей, которые порождает скука - скажу ли я, для облегчения или для наказания праздных душ?».

Впрочем, этот очерк о всемогуществе труда для утверждения морали нуждается в проверке, и я лишь хочу представить его писателям, которые займутся этим вопросом, как идею, которая мне кажется совершенно особенной. Что касается Класса, органом которого я являюсь, то его задача - исправление своей программы, ограничение смысла, который он придает слову *установление* (institution); я же добавлю: гражданское желание видеть число соискателей соответствующим важности темы.

(Journal d'Économie publique, от 20 вандемьера VI года. - 11 октября 1797 г.)

Вопрос морали. Может ли существовать этика, независимая от идеи божества.[36]

«Все принципы морали, - говорит д'Аламбер в труде "Элементы философии" (с. 78 и далее), *- сводятся к одному общему положению, в отношении которого трудно обмануть самого себя: они направлены на то, чтобы обеспечить нам самый верный способ стать счастливыми, демонстрируя тесную связь наших подлинных интересов с исполнением наших обязанностей».*

«Мораль - это необходимое следствие возникновения обществ, так как её предметом является то, чем мы обязаны другим людям. Разумеется, установление обществ соответствует предначертаниям Творца, который сделал людей необходимыми друг другу; таким образом, моральные принципы входят в число вечных законов. Однако из этого не следует делать вывод, как поступают некоторые философы, будто знание этих принципов обязательно предполагает знание Бога. Из этого следовало бы, вопреки мнению даже самих богословов, что язычники не имели никакого представления о добродетели. Религия, несомненно, очищает и освящает те мотивы, которые побуждают нас следовать моральным добродетелям; но Бог, даже не открывая Себя людям напрямую, мог дать им почувствовать - и действительно дал почувствовать - необходимость следовать этим добродетелям ради их собственной выгоды. Более того, по воле того самого Провидения, которое следит за сохранением общества, мы видели философские школы, которые ставили под сомнение существование Первосущества, но при этом со всей строгостью соблюдали человеческие добродетели. Зенон, глава стоиков, не признавал иного Бога, кроме Вселенной, и его мораль была самой чистой из всех, что естественный свет разума мог внушить людям».

«Следовательно, именно чисто человеческим мотивам общества обязаны своим рождением. Религия не принимала никакого участия в их первоначальном формировании, и хотя она предназначена для того, чтобы укреплять общественные связи, всё же можно сказать, что она создана главным образом для человека, рассматриваемого самого по себе. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на те правила, которые она нам внушает, на цели, которые она нам предлагает, на награды и наказания, которые она нам обещает. Философ лишь берет на себя задачу поместить человека в общество и направлять его там; дело же проповедника - затем привлечь его к подножию алтарей».

Теперь ставится вопрос: ***может ли существовать мораль, независимая от всякой идеи Божества***? Но, прежде чем ответить, я сам спрошу: что именно понимается под моралью? Это слово имеет, помимо прочих, следующее значение: учение или совокупность предписаний, которые должны управлять нравами, либо сами нравы как таковые, взятые в отрыве от любого учения. При самостоятельном употреблении это слово является синонимом учения о нравах, и всегда подразумевает под собой благое учение. При использовании с уточнениями - например, «мораль века» или «мораль народа» - оно становится синонимом нравов, и может относиться без разбора как к хорошим, так и к дурным обычаям.

Теперь я перехожу к самому вопросу, и сделаю первое замечание: речь идет не о том, может ли существовать моральное учение или нравы, соответствующие морали, независимо от Бога, а о том, возможны ли они независимо от *самой идеи* Божества. Это первое замечание способно в большей степени, чем кажется, исключить из обсуждения множество бесполезных и неприятных споров. В самом деле, теизм и атеизм очевидно затрагиваются первым вопросом, но могут не иметь отношения ко второму.

[36] «История Франции», т. XXI, с. 17.

Если удастся продемонстрировать, что в нас самих, в нашей природе, заложено всё необходимое, чтобы дать моральным взглядам или привычкам достаточное основание и все необходимые гарантии независимо от метафизической идеи существа, стоящего выше природы; и если также удастся установить, что, не содержи наша природа этого основания и этой гарантии, абстрактной идеи Бога было бы недостаточно, чтобы удерживать людей на пути добра, то этим будет доказано, что эта метафизическая идея бесполезна для морали. При этом не утверждается, что Бога не существует, или что Бог был бесполезен для человеческой мудрости. Теисту не составит труда превратить это в веский аргумент против атеиста. Он сможет сказать ему: *«Эти принципы нравственности, которые вы вынуждены признать в человеческой природе; эти принципы, побуждающие человека к великому самоотречению вопреки протестам или призывам личного интереса; эти принципы, приносящие утешение его душе среди самых жестоких жизненных невзгод и укрепляющие его в добродетели среди всех нападок боли и несмотря на всеобщее покинутость, - эти принципы могут быть лишь творением разума, превосходящего все остальные. Именно в естественной благости человека, даже в большей степени, чем в его интеллекте; именно в этом преобладании разума и инстинкта над его капризами; именно в этом непроизвольном стремлении к добру, которое делает для человека излишним даже знание о своем Творце, - именно в этом сияет возвышенная мудрость Божества. Оно вложило в человека луч своего собственного света, чтобы направлять его, а не для того, чтобы этот свет отражал само Божество. Возвышенное в своей щедрости, оно наделило его всеми этими дарами, не требуя благодарности и даже не желая привлекать к себе его взоры»*.

Следовательно, мы утверждаем, что вопрос заключается не в том, существует ли Бог как первоначало и первый автор морали, а в том, требует ли доктрина или практика морали наличия у человека идеи Бога. Четко определив то, что не входит в круг данного вопроса, я сделаю еще одно замечание о том, что он в себя включает. Итак, когда нам перестают говорить о деизме, то нам должны говорить о христианстве - католическом, апостольском и римском, - или о магометанстве. Иными словами, если мораль не внушена сердцу каждого человека, она должна быть открыта разуму немногих, которые обучат ей всех остальных. Пусть же выбирают между моралью, запечатленной в чувствах, и моралью, которой обучают через изощренность ума; между моралью, внушенной природой, и моралью, переданной людям другими людьми, чья миссия ничем не обоснована…

Единственный аспект, в котором можно сказать, что религия необходима для морали, - это аспект ее преподавания народу. Безусловно, рассуждения значительно сокращаются, когда говорят: «Бог так хочет», вместо того чтобы сказать: *«Этого требует ваша выгода; этого требует общий порядок, в который включен и ваш частный интерес»*. Рассуждение сильно упрощается, когда вместо слов: *«Вы сделаете несчастным себя и своих детей; вы оставите о себе ненавистную память, если будете вести себя столь бесчестно»*, - говорят: «Вы будете наказаны рукой Божьей и в этом мире, и в ином». Конечно, такое сокращение сильнее воздействует на воображение, чем логические выводы; и поскольку по сути всё, что предписывается от имени Бога, в совершенстве соответствует всему, что предписывает нам внутреннее чувство нашего интереса, идея наказания и награды очень хорошо воспринимается нашим разумом.

Нам говорят о поэзии, которая содержится в религии. **Вся религия целиком - это поэзия морали**; это высокая фикция, которая олицетворяет все законы нашей природы.

Если идея Божества и сопутствующие ей идеи кажутся необходимыми не в качестве первоначала морали, то не выступают ли они гарантией соответствия поступков предписаниям этой морали? Вот что нам остается рассмотреть. Гарантия здесь должна состоять из двух вещей, а именно: мотива для добрых дел и препятствия для дурных. Следовательно, вопрос в том, необходима ли идея Бога как мотив для добрых поступков и как препятствие для дурных.

Прежде всего, я полагаю, что эта идея вовсе не обязательна в качестве мотива, и основываюсь в первую очередь на той общепризнанной истине, что в целом - то есть в большинстве случаев и обстоятельств - наш интерес состоит в том, чтобы быть дорогими и приятными для других, и чувства этого интереса достаточно, чтобы заставить нас совершать добрые поступки.

Следовательно, уже в естественном ходе вещей **личный интерес** является достаточным мотивом для добрых дел. Но, возразят мне, бывают случаи, когда человек не всегда верно понимает свою выгоду. Кто же в таких случаях будет путеводителем для человека?

Я отвечаю, во-первых, для того чтобы верно ее понимать, не всегда нужно уметь хорошо рассчитывать, достаточно лишь хорошо чувствовать. Тот, кто плохо рассчитывает, может очень хорошо чувствовать. Вопрос не в том, чтобы уметь распутывать свои чувства, прибрести искомое понимание можно через внимание к самому себе. Во-вторых, сам расчет выгоды усваивается очень успешно. Он заключается в анализе потребностей и сравнении их значимости и продолжительности, так чтобы в результате всегда выбирался путь, наиболее соответствующий интересам.

Но, снова возразят мне, существуют поступки, диаметрально противоположные личным интересам, и именно их предписывает мораль. Как же личный интерес заставит их совершать?

Я отвечаю, что, помимо личного интереса, в нас присутствуют: (1) великий принцип ***сочувствия*** (симпатии), который был столь прекрасно описан прославленным Смитом в его замечательном труде «Теория нравственных чувств»; и (2) привычка к добру, которая становится нашей второй натурой или, скорее, сама по себе составляет нашу нравственную природу, как говорил Паскаль.

Не разбирая здесь вопрос о том, зависит ли это сочувствие от чувства личного интереса - вопрос, который обсуждали такие выдающиеся люди, как Ларошфуко и Гельвеций, с одной стороны, и Давид Юм и Адам Смит - с другой; вопрос, предложенный в прошлом году Тейлеровским обществом Харлема (*Journal d'Économie*, т. III, с. 227); вопрос, по поводу которого немного стыдно не обнаружить ни малейшего следа во всем написанном по программе Института, - я ограничусь лишь замечанием о некоторых великих проявлениях сочувствия.

Именно оно заставляет нас **жить в других людях**, отождествляет нас с ними, заставляет разделять их суждения о нас, делает нас чувствительными к ним, помещает их взгляды внутрь нас и подчиняет нас их мнению. Именно оно заставляет нас **рисковать жизнью** ради спасения жизни возлюбленной, супруги, ребенка и даже постороннего человека; оно, будучи более быстрым, чем любое раздумье, и более сильным, чем любые личные соображения, бросает нас в самые неминуемые опасности, даже обрекает на верную смерть ради предотвращения несчастья, угрожающего другому. Именно оно подчиняет все наши **привязанности** любимому объекту, связывает наше существование с обладанием им; именно оно является первоначалом всех видов любви и всех видов воодушевления.

Именно оно, объединяя нас с суждениями окружающих о наших поступках, словно воздвигает внутри нас судилище, и в этом случае становится тем, что называют **совестью**. Именно оно, перенося нас в будущее, заставляет предчувствовать суждения потомков, опьяняет нас их одобрением и заставляет страшиться их порицания. Именно оно дает нам правила приличия или меры, а также направляет нас к пользе.

Привычка связывать воедино все идеи долга, чести и счастья - привычка, которую приобретают все порядочные и честные умы в своем кругу, в процессе чтения, в своих ежедневных размышлениях, - формирует столь мощную связь между этими идеями, что их становится невозможно ни разделить, ни защититься, так сказать, от их требований, натиска и мести всякий раз, когда человек чувствует в себе склонность пренебречь первой из них. Независимо от этой привычки к идеям и чувствам, нами управляет привычка совершать добрые поступки без раздумий и суждений. Самые честные люди в мире - это те, кто являются таковыми, не задумываясь об этом и не чувствуя, что можно быть иными.

Вот краткий и легкий очерк побуждений, которые ведут нас к великим деяниям. Смею сказать, что им не хватало лишь украшений красноречия, чтобы поразить все умы идеей их могущества. Первый же писатель, наделенный талантом, который пожелает изобразить их, затратит лишь малую долю усилий, прилагаемых всеми священнослужителями для описания власти религий любого рода над сердцами людей, и его описание будет, по меньшей мере, не менее трогательным и впечатляющим, чем их.

Мне кажется очевидным, что это влечет за собой и другие вопросы; ведь нельзя утверждать, что идея Бога может быть необходима людям иначе как при условии, что этот Бог представляется вознаграждающим и мстящим, устанавливающим божественные кары и награды за пределами тех, которые люди распределяют между собой на земле; что предполагаются вечные муки и награды и, одним словом, рай и ад. При этом нельзя предполагать наказания и вознаграждения за пределами земной жизни, лишь предполагая у людей существование после человеческого бытия ради получения того или другого, то есть бессмертие души. Эти три вещи неразрывны. И я мог бы пойти еще дальше, если бы захотел сказать вслед за Паскалем, что существование Бога невозможно доказать одним лишь светом разума; я бы сказал: идея Бога предполагает идею откровения, а идея откровения предполагает не что иное, как католическую, апостольскую и римскую религию в ее совершенной целостности. Именно это и утверждает Инквизиция, сжигающая деистов так же, как и атеистов; но **я придерживаюсь чистого деизма**. Таким образом, когда спрашивают, необходимо ли людям иметь представление о Боге, чтобы обладать моралью, одновременно спрашивают и о том, необходимо ли им иметь представление о бессмертии души, о рае и аде. И я утверждаю, что невозможно убрать ни одно звено из этой цепочки, не признав бесполезность всего остального. Вот истинное положение дел в этом вопросе.

Теперь я спрошу что подразумевается под словом НЕОБХОДИМОЕ для морали? Имеется ли в виду, что три идеи - бессмертие души, рай и ад, а также Бог, вознаграждающий и мстящий - необходимы для обоснования самого морального учения, или для формирования нравов, соответствующих морали, или же только для того, чтобы гарантировать и сохранять и то, и другое?

Если принципы морального учения, по единодушному признанию всех народов, просвещенных хотя бы в некоторой степени разумом, заключены в этих двух максимах: *«Не делай другому того, чего не желаешь себе»* и *«Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой»*, то очевидно, что единодушное согласие людей - будь то философы, верующие или просто разумные люди - полагает в основу правил и в руководство к действию для морали правильно понятый **личный интерес**. Ведь высший интерес каждого заключается в том, чтобы эти два правила соблюдались всеми. Был бы один шанс из ста миллионов, что человеку придется пожертвовать собой ради других; но было бы сто миллионов случаев, когда он воспользовался бы помощью всех остальных. Он наслаждался бы ежедневно и во всем плодами принципов, соблюдаемых другими, и лишь изредка испытывал бы слабый страх перед возможным страданием. В этом и заключается принцип морали, повсеместно основанный на разумном самолюбии; вот права других по отношению к каждому из нас, вытекающие из наших прав по отношению к другим; вот интересы всех, защищенные интересом каждого из нас. Следовательно, происхождение моральных принципов коренится во всех наших потребностях, во всех наших интересах, во всей нашей природе. Таким образом, они не зависят от абстракций нашего ума, от его метафизических идей, от его восхождения от следствий к причинам и от причин к единой первопричине - от всех тех операций, на которые способны немногие умы и которых они достигают лишь путем долгого обучения. Ставить правила морали в зависимость от этих идей это значит оставить чувство справедливого и несправедливого только **метафизикам** и **теологам**; это значит объявить неспособным к морали простой народ, и даже ученика метафизики и теологии. Ведь в такой системе он был бы по-настоящему приобщен к морали лишь в тот день, когда получил бы ученую степень и защитил бы или смог защитить с помощью формальных аргументов три догмата, связь между которыми мы показали. Если основание морали не заложено в нашей природе, если ее предписания и мотивы не заложены в наших потребностях, то она должна находить их в законах, исходящих непосредственно от Божества; следовательно, у нее должно быть откровение и его толкователи.

Если этих мотивов достаточно для того, чтобы побуждать к добрым поступкам, которые не согласуются с личным интересом, то их достаточно и для того, чтобы предотвращать дурные поступки, к которым этот интерес мог бы подталкивать. Достаточно посмотреть у Смита,

что такое угрызения совести, чтобы в этом убедиться. Вот теория, которую он предлагает - теория, подтвержденная недавним фактом, о котором нам сообщил гражданин Каде-Дево и который мы включили в первый том «Журнала общественной экономии».[37]

«Тот, кто попирает самые священные законы правосудия, не может размышлять о чувствах, которые люди должны питать к нему, не испытывая при этом всех мук стыда, ужаса и смятения. Когда страсть утихает и человек начинает трезво оценивать свое поведение, он больше не может разделять те мотивы, которые им двигали; они кажутся ему такими же отвратительными, какими всегда казались окружающим. Разделяя ту ненависть и тот ужас, которые он должен внушать, он в некотором роде сам становится объектом собственного отвращения. Состояние того, кто пострадал от его несправедливости, взывает к его состраданию; эта мысль мучит его; он сожалеет о печальных последствиях своего насилия; в то же время он чувствует, что стал объектом негодования и возмущения, естественным следствием которых являются месть и наказание. Эта мысль не покидает его, наполняя ужасом и смятением; он больше не смеет смотреть людям в глаза и считает себя отверженным, лишенным расположения всего человеческого рода. В этом крайнем положении, которое является самым великим и ужасным из всех бедствий, ему больше не на что надеяться, кроме сострадания себе подобных. Воспоминание об одном из своих преступлений закрывает ему всякий доступ к сочувствию окружающих, и именно их чувства пугают его больше всего. В каждом предмете, который предстает перед ним, он видит врага; кажется, всё замышляет заговор против него; и лучшее, что он может сделать, - это бежать в какую-нибудь необитаемую пустыню, где ему больше не придется страдать от вида людей или читать на их лицах осуждение своего преступления. Но одиночество для него еще страшнее, чем общество; его собственные мысли, которые всегда сопровождают и преследуют его, не сулят ему ничего, кроме мрачных, пагубных и катастрофических предчувствий, ничего, кроме зловещих знаков непостижимого горя и гибели.

«Ужас одиночества возвращает его к людям, и он снова появляется перед ними, пораженный тем, что снова находится в их присутствии, обремененный стыдом и вне себя от страха, который его тревожит; он возвращается как проситель, чтобы проверить, не найдет ли он хоть какого-то облегчения в выражении лиц тех самых судей, которыми, как он знает, он уже единогласно осужден. Такова природа этого чувства, которое по праву называется угрызениями совести, самого ужасного из всех, что могут проникнуть в сердце. Оно состоит из стыда, вызванного ощущением неподобающего характера своего прошлого поведения, из огорчения от последствий этого поведения, из жалости к тому, кто пострадал, из страха и ужаса перед наказанием, основанных на внутреннем убеждении, что человек по праву навлек на себя негодование всех разумных существ» (Теория нравственных чувств, т. I, раздел второй, с. 190).

Говорят, что только мысль о Боге и аде может поразить воображение преступников. На самом деле злодеям не хватает именно воображения; ими управляет лишь сиюминутный интерес. Они не видят ни старости, которая лишит их необходимости в уважении или дружбе людей, ни наступающего года, ни приближающегося месяца. Как им увидеть жизнь вечную? Они не видят ни своего старого отца, ни своей беременной жены, ни своих добрых родителей, ни родной деревни, ни своего мудрого священника; они не видят ни жандармерии, которая их выслеживает, ни судьи, который их осудит, ни казни, которая их ожидает. Они не видят ни рая, ни ада.

[37] Согласно «Истории Людовика XII» авторства Гарнье (т. XXI, с. 48), в ходе судебного процесса о разводе Людовика XII и Жанны Французской свидетели показали, что Людовик XI обещал Морнаку пенсию, чтобы тот склонил своего подопечного к браку с Жанной. Заподозрив Монтенака и Брессия в том, что они препятствуют этому, он искал повод их погубить; Брессий, закованный в кандалы, был подвергнут пыткам, а Монтенак избежал смерти лишь тем, что укрылся в Родезе.

Убить сегодня ради завтрашнего разгула - вот и вся их система мыслей. Преступление ночью, кабак днем; такова их жизнь. Говорят, что злодеи - это безумцы; можно также сказать, что это животные.

Будь они животными или безумцами, не рассчитывайте на их воображение.

В недрах старых обществ, где накоплено много богатств и знаний, существует класс граждан, который единственный имеет досуг для размышлений, хотя все обладают свободой; класс, который, распоряжаясь собой, может распоряжаться и другими; который, будучи единственным наследником собственности, позволяющей оставаться покупателем, является также единственным наследником опыта и знаний, приобретенных предыдущими поколениями; который, будучи рожден выше физических потребностей, может с самого рождения посвятить себя развитию своих нравственных способностей, в то время как большинство обречено на заботы о собственном пропитании; который, наследуя состояние, достаточное для своих нужд, кажется, унаследовал и время, которое пришлось бы потратить на приобретение этих ценностей, и прибавил часть жизни своих отцов к своей собственной жизни; который, рождаясь для жизни, может родиться и для мысли, в то время как большинство рождается лишь для удовлетворения нужд. Те же, кто находит всё уже подготовленным их отцами - например, состояние, - в то время как другим приходится добиваться всего самим, словно наследуют более долгую жизнь.

Природа не наделила бóльшим умом одни сословия по сравнению с другими, но общество дало одним больше средств для развития. Природа не подарила ни одного лишнего дня жизни богачу по сравнению с тем, кто родился в нищете; однако общество удвоило жизнь души для тех, кого оно освободило от забот о животном выживании. Позволив им унаследовать плоды, добытые трудом их отцов, оно дало им больше времени для жизни, не прибавляя при этом самих лет жизни.

Природа дает гений, а общество дает крылья.

О симпатии (фрагменты)

1

Симпатия - соответствие привязанностей и склонностей. В физическом смысле это способность, которой обладают определенные тела, чтобы соединяться и сливаться вследствие некоторого сходства или соответствия их форм. Это противоположность антипатии, которая означает свойство, мешающее им соединиться (Жан-Шарль Лаво). В моральном смысле это соответствие привязанностей и склонностей; живое взаимопонимание сердец, передающееся, распространяющееся и ощущаемое с необъяснимой живостью; соответствие природных качеств, идей, настроений и темпераментов, благодаря которому две родственные души ищут друг друга, любят, привязываются друг к другу и сливаются воедино (Лаво).

«Под симпатией я понимаю тот быстрый, внезапный, безотчетный порыв, который с первого взгляда, при первой встрече притягивает и сближает двух существ» (Дидро, цитируется по Лаво).

В анатомической физике это соответствие между определенными частями тела, из-за которого один орган не может страдать без того, чтобы это не затронуло одновременно другие органы; симпатия чувствительности, раздражительности, тонуса (Лаво). Симпатия это соответствие, которое древние воображали между свойствами некоторых тел. Пример: *«Кажется, существует симпатия между определенными растениями и определенными животными»*

(Академия). Также говорится в моральном смысле о соответствии настроений и склонностей: *«Большая симпатия, сильная симпатия. Между ними существует большая симпатия»* (Академия).

Словари не признают за словом «симпатия» иного значения, и всё же практика допускает множество других. Согласно их определению, это слово было бы почти синонимом «взаимного влечения»; именно в этом смысле говорят: «Между таким-то человеком и мной есть симпатия» или «нет симпатии». Но когда говорят: «Я не симпатизирую подобному виду горя или удовольствия», слово «симпатия» означает «сопереживание», т.е. что я не разделяю этого чувства. Таким образом, это слово относится как к согласию в конкретном чувстве, так и к согласию между двумя людьми в целом.

Смит в своей «Теории нравственных чувств» понимает симпатию не иначе как сопереживание или передачу моральных или физических привязанностей, длительных чувств или мимолетных ощущений. Смит говорит (часть I, раздел 3, глава 1 «Теории нравственных чувств»): *«Слово „симпатия“ в его исконном и первоначальном значении обозначает соучастие в наших страданиях, а не в радостях других»*.

Мне кажется, что во Франции это слово чаще применяется к настроениям и характерам: «Между этим человеком и мной нет симпатии, почти нет симпатии» или «Между нами много симпатии».

Смит упоминает, не называя его по имени, одного современного философа, который рассматривает поздравление, или симпатию к радости, как принцип человеческой природы, и добавляет: *«Никто еще не додумался до того, что нужно доказывать то же самое в отношении сострадания»*.

2

Симпатия это взаимное соответствие между двумя вещами, между двумя людьми, между вещью и человеком. Симпатия человека к вещам, цветам, запахам, музыкальным созвучиям. Внутренние феномены и явления между личностями; от индивидов к массам; от масс к индивидам. Одни из них физические, другие - моральные. Симпатии проявляются в серьезных или важных обстоятельствах, а также в особых играх.

Танец - это упражнение, в котором задействованы моральные и физические симпатии: танец одного мужчины или одной женщины, двух женщин вместе, двух мужчин, мужчины и женщины, нескольких мужчин, нескольких женщин. Бывает игра симпатий между людьми, пробуждаемая и направляемая общим созвучием с гармоничными, размеренными и ритмичными звуками; есть симпатии прямые, осознанные, простые, усиленные...

3

Употребительные выражения, в которых слово «Симпатия» используется в различных значениях

«Желудок и голова страдают по симпатии». В этой фразе «симпатия» означает связь между двумя органами, которые восприимчивы к одному и тому же воздействию.

В курсах акустики проводят опыт, демонстрирующий соответствие терций и квинт, существующее между струнами фортепиано; заставляют резонировать скрипку, подвешенную на панели, играя рядом на другой, настроенной в тон скрипке. Это и есть примеры истинной симпатии.

4

Симпатия (от греческого Sumpatheia).

Это великое явление, великая привилегия человеческой природы и основа моральных чувств. Узы общественных привязанностей, источник добродетельных привычек. В человеческом роде симпатия усиливается не только благодаря упражнению способностей мыслить и чувствовать, но также и благодаря способности выражать наши чувства и мысли словами, и, более того, благодаря движению крови под прозрачной кожей - это преимущество следует добавить к игре глаз и губ - словом, к мимике. Прозрачность человеческой кожи была отмечена, кажется, Бурламаки как социальный принцип. Симпатия это принцип, который Смит противопоставляет как платоническим доктринам, так и системе Гоббса о справедливом и несправедливом...

Повторю свое наблюдение в более ясных выражениях: симпатия достигает высшего проявления в человеческом роде, поскольку каждый индивид обладает способностью лучше показывать, выражать более ощутимым образом свои привязанности, а также способностью лучше их подмечать и чувствовать: речь, прозрачность кожи, мимика, пантомима, гибкость наших рук, многочисленные суставы наших пальцев, превращающие наши руки в настоящий орган общения и беседы (аббат де л'Эпе и Сикар выражали руками все те мысли, что передаются речью; Кондильяк обучает арифметике с помощью движений рук) - всё это средства внешнего выражения чувств, которых **лишены животные**. Слышать, различать, живо представлять свои собственные ощущения при виде ощущений других - всё это атрибуты человеческого разума. Иными словами, симпатия основана на способности лучше показывать то, что мы чувствуем, и лучше подмечать то, что чувствуют подобные нам, чем это доступно другим животным.

5

Потребность, называемая симпатией, берет свое начало в **устройстве мозга**. Если чувства, мнения и идеи людей, с которыми мы общаемся, согласуются с нашими, то мы испытываем заметное благополучие; именно это благополучие, доведенное до высокой степени созвучием чувств, составляет прелесть дружбы, а доведенное до высшей степени - очарование любви. Чувства и мнения, противоположные нашим, словно задевают нас в обратном направлении и, если можно так выразиться, наперекор нашему естеству. Люди с очень раздражительными нервами, чья нервная система ослаблена возрастом или болезнью, отчетливо ощущают головную боль при малейшем противоречии: я могу судить об этом по собственному опыту. Эта боль мгновенно переходит из мозга в желудок и вызывает его спазм.

6

Смит оставил без внимания физические симпатии, которые проявляются как среди животных, так и в человеческом роде. Он также обошел стороной моральные симпатии отцовской и материнской любви, а также любовь в собственном смысле слова.

Но есть симпатия животных между собой и к людям. Молодые лошади пережевывают овес для старых; пес остается спокойным рядом с собакой, но влюбляется, как только она в охоте. То же самое и с конем; кобыла по отношению к жеребенку и все животные по отношению к своим детенышам: чувство тождественности.

Застольная симпатия.

Симпатия в танце.

Любовная симпатия.

7

Знаменитый автор «Теории нравственных чувств» замечает, что физические удовольствия и страдания с трудом поддаются сопереживанию; в этом они сильно отличаются от душевных страданий или наслаждений, которые автор называет **плодами воображения**. Наше воображение легко подстраивается под воображение тех, с кем мы общаемся, но наше физическое состояние лишь крайне слабо меняется под влиянием физического состояния других людей. По этой причине впечатление от телесных недугов нам неприятно. (Смит, как мне кажется, не указал истинных причин этих явлений: мы мало сочувствуем физическим болям, которых сами не ожидаем испытать. Мы сопереживаем мукам преступника, которого ведут на казнь, потому что это заставляет нас задуматься о печальной необходимости умирать. Мы мало сочувствуем рассказам о физических удовольствиях людей нашего пола, потому что это удовольствия, при которых невозможно вернуться к самим себе в моменты усталости и пресыщения, и потому что эти удовольствия не являются, подобно еде и питью, постоянными, а когда образ этих удовольствий сталкивается с нашим пресыщением, мы видим в них лишь грязную сторону, вызывающую отвращение.) Когда сопереживание переходит определенную меру живости, все сильные выражения чувств становятся неприятными и отталкивающими. (Смит применяет это наблюдение в особенности к плотской любви.) Наши физические способности не могут меняться так же, как у другого человека; когда наши собственные удовольствия удовлетворены, мы тщетно ищем прелесть в объекте, который их возбудил; когда мы пообедали, мы велим убрать со стола.

Удовольствия другого не могут дать нам ничего большего, чем воспоминания о нашем собственном удовольствии, если наши способности не предрасположены к тому, чтобы желать их. Мы можем утешать, помогать советами при душевных страданиях, умножать наслаждения того же рода уже тем, что разделяем их; разделяя же их, мы сами получаем удовольствие или удовлетворение от того, что пробуждаем благодарность, привязанность и уважение.

Иначе обстоит дело с физическими страданиями и радостями; мы ничего не можем добавить одним и ничего не можем отнять у других. Мы не надеемся на взаимный интерес, который могли бы проявить, так как его справедливо сочли бы притворным, если только он не является следствием давней и проверенной дружбы.

Мы все немного **стыдимся наших животных функций**. За исключением сна, питья и еды, нет ни одной нашей потребности, для удовлетворения которой мы не искали бы тени и уединения. Мы выставляем напоказ нашу мораль и наши физические формы; но мы скрываем наше опьянение, наши физические нужды, наши немощи, наши нечистоты - всё то, что внушает отвращение и брезгливость. Легко понять почему. Окружающие внушили нам отвращение к этим состояниям, и мы боимся произвести на них такое же впечатление. Цинизм возвращает нам перед глаза то, что неприятно нам и другим, давая лишний повод для неприязни или на один повод меньше для любезности. В акте любви есть желание, а за ним следует отвращение, когда желание удовлетворено. Сладострастник, который говорит о своих желаниях, страхах, надеждах и предварительных ласках, нравится нам; если же он заговорит о самом моменте наслаждения, он вызовет у нас отвращение. Питье и еда - это телесные удовольствия, которые не боятся вкушать в компании и которые, напротив, прекрасно сочетаются с радостями общества. Почему? Потому что они позволяют, помогают и оживляют беседу, которая является самым благородным из удовольствий. Что касается чисто физических наслаждений, для них ищут тень, потому что они полностью животны, грубы, глубоко личны и, я бы сказал, грязны. Человеку в такие моменты нечем похвастаться перед собакой или лошадью; он не хочет, чтобы его видели в таком состоянии, и потому, что не хочет быть увиденным, он не хочет, чтобы ему об этом напоминали.

Смит замечает в противовес этому мнению, что мы не гнушаемся разделять с животными иные страсти, кроме любви - например, негодование, привязанность, благодарность. Несомненно, мы охотно разделяем с животными то, что в них есть благородного; но мы отвергаем то, что в них чисто телесное, скотское, животное.

Религиозность, самолюбие и сочувствие.[38]

Господам из Академии моральных и политических наук.

Господа,

До сих пор из-за нехватки времени я откладывал создание отчета о наблюдении, которое может заинтересовать ваше рвение к моральным наукам. Только что Вы почтили меня председательством в Академии; ранее я был прикреплен к секции морали. Однажды утром, находясь в одиночестве, я размышлял в своем кабинете над исследованиями или трудами, к которым меня призывало мое тройное качество: (1) члена Академии моральных и политических наук, (2) президента этой Академии и (3) академика, специально назначенного для изучения морали. Как вдруг, внезапно и без предупреждения, передо мной предстали три величественные фигуры. Я тотчас встал с некоторым удивлением и волнением.

— Сударыни и государь, - сказал я им немедленно, - чем могу быть вам полезен?

— Сударь, мы трое детей одного отца, мы - близнецы. У нас есть огромное владение, которым мы управляем сообща. Некоторое время мы намеревались доверить главное управление старшему из нас троих, но нам не удалось выяснить, кто из нас родился первым; наше рождение не имело свидетелей; нас смешали без различия. Теперь мы решили довериться тому из нас, кто, по суждению людей мудрых и почтенных, а также на основании правдивого заявления о наших характерах, которое сделаем мы сами, будет иметь наибольшую способность управлять нашим общим владением; и это именно то, что привело нас к господину президенту Академии моральных и политических наук, который, если бы только захотел выступить посредником, мог бы получить от Академии соответствующее поручение.

Я скромно и с благодарностью поклонился и спросил их затем, в чем заключается их владение. И мне ответили:

— Это весь обитаемый мир, это человеческий род.

— А как зовут каждого из вас?

— Я - **Религиозность**.

— А вы?

— Я - **Самолюбие**.

— А вы?

— **Сочувствие** (sympathie).

— Присядем. Я готов вас выслушать.

Самолюбие (l'amour propre): Я прошу слова первым, потому что прежде всего мне нужно защитить себя от неприязни к моему имени. В представлении многих людей самолюбие - это если не ненависть к другим, то, по крайней мере, безразличие ко всему, что не является собой, или предпочтение себя всему миру. Многие люди называют меня эгоизмом. В самом деле, меня очень часто изображают в обществе в виде злобных карикатур и ложных подобий. Но вот кто я на самом деле: я, как и две мои сестры, - законный сын одного и того же отца, творение Создателя. Я не знаю, является ли величайшим творением Создателя само созидание, но я точно знаю, что созидание - это не большее чудо, чем сохранение и воспроизводство одушевленных существ. Так кто же я? Я - агент сохранения; я результат организации, созданной Творцом для осуществления сохранения своего творения и, путем необходимого развития, для улучшения человеческого существования, для его физического, интеллектуального и морального совершенствования. Поэтому я не считаю себя недостойным своего происхождения. Я не

[38] «Краткая хроника» (Abrégé chronologique), в конце раздела о царствовании Людовика XI.

позорю моих сестер - Религиозность и Сочувствие. Вот, сударь, что я хотел сказать вам перед вступлением в дискуссию, чтобы не опасаться предубеждения, которое, кажется, всегда вызывает мое имя.

На это я ответил ему: Смит, великий друг вашей сестры Сочувствия, не отрицает этого родства, и Николя, один из оракулов Пор-Рояля отдал вам должное, несмотря на свою приверженность к религиозным чувствам, которые он называет милосердием, и которые можно назвать религиозностью. Вот имена и качества выслушанных сторон. Перейдем же к самому делу или, вернее, к вопросу; ведь я ясно вижу, что, вопреки злым духам, желающим вас поссорить, вы никогда не переставали понимать друг друга. Вопрос заключается в том, кто из вас троих легче всего приведет людей, подчиненных вашей власти, к цели, которую вы указываете по общему согласию. Эта цель - истинное и прочное счастье для всех или, если оно недоступно для каждого, то для большинства. Ошибаюсь ли я, ставя вопрос таким образом? Трое собеседников отвечают вместе: «Нет».

Религиозность. — Хотя мое привычное чувство заставляет меня относить все мои мысли к Творцу и верховному Владыке всего сущего, руководствоваться во всем тем, что я считаю Его волей, приписывать Ему заслугу того, что я считаю добром, и относить совершаемое мною зло на счет забвения того, что я признаю Его высшими законами, я не отрицаю, что «самолюбие, которое сводит всё к себе, но умеет распознавать свои истинные интересы, и в конечном итоге стремится к разумной цели, словом, просвещенное самолюбие, действует точно так же, как и я; и нельзя было бы лучше описать его пути, чем раскрывая дороги, по которым оно идет.[39] Но...».

Здесь я невольно прервал её и попросил Религиозность обосновать своё утверждение на нескольких примерах, которые в её устах имели бы большой вес.

— Примеры! - сказала она, - в них нет недостатка. И прежде всего, я утверждаю, что просвещенное самолюбие ненавидит и заставляет ненавидеть то слепое самолюбие, которое сводит всё к себе, или эгоизм, потому что этот эгоизм противоположен всем желаниям нашего собственного самолюбия. Другой пример: самолюбие ненавидит господство, потому что, если оно удобно для того, кто его осуществляет, оно невыносимо для того, на ком оно осуществляется; и страх перед тем, что тобой будут помыкать, пересиливает удовольствие от власти. Этот страх перед чужим господством заставляет любить законы, ограничивающие произвол отдельных лиц. Более того, просвещенное самолюбие делает даже больше. Оно побуждает людей добиваться расположения окружающих через услуги и полезные качества. Мы отдаем, чтобы получить. Мы хотим не просто обезопасить себя от чужой недоброжелательности, нам нужны их благосклонность и добрые услуги. Таким образом, мы приносим пользу другим и получаем выгоду для себя, причем все радости жизни обретаются без всякого участия милосердия. Желание быть любимым, почитаемым, уважаемым - это самая общая из страстей, рождающихся из самолюбия (Николя, с. 142).

Я с удовольствием воздаю должное моему брату, потому что он того заслуживает. Я даже не колеблюсь признать, что крайне трудно отличить мои действия, совершаемые по мотиву, который гораздо выше простого человеческого страха, от того, что делает самолюбие, просвещенное разумом (Николя, с. 144), чтобы заслужить любовь и уважение людей. Пойду еще дальше: я не стану отрицать, что самолюбие готово имитировать даже смирение и облекаться во все его внешние проявления, потому что на опыте оно убеждается, что нельзя выставлять себя напоказ, не вызывая против себя самолюбия других; оно больше боится чужого самолюбия, чем стремится проявлять свое собственное. Самолюбие, как и я, удаляет от всякой аффектации или претензий на ум и ученость, и прежде всего от всех тех качеств или манер, которые не подобают нашему положению (Николя, с. 153). Оно также дает нам добрый совет - признавать свои недостатки и исправлять их; благосклонно принимать советы, которые нам дают; отвечать доброжелательностью врагам, которые нас порочат, и унижать их лишь контрастом нашего поведения с их собственным. Также совершенно верно, что просвещенное самолюбие

[39] Этот труд был напечатан в Базеле в 1517 году, 1 том в формате 4°.

делает человека таким же снисходительным к недостаткам других, каким делает милосердие, несмотря на склонность к злобе, зависти и ревности. Наконец, я признаю, что самолюбие избавляет от гордости и самонадеянности (Николя, с. 169); что оно склоняет к благодеяниям, даже тайным; что оно распространяет свои милости на врагов, на равнодушных и на тех, от кого ничего не ждет, и что оно обязывает нас к справедливости (Николя, там же).

Вот, сударь, достаточно подробностей, чтобы вы могли понять все то доброе, что я думаю о просвещенном самолюбии. Теперь я могу перейти к изложению преимуществ, о которых я считаю, что обладаю ими, чтобы единолично управлять нашим общим владением. Я рассматриваю себя с двух сторон: просвещенности и склонностей. И я сравниваю себя с самолюбием без гордыни, основываясь лишь на свидетельстве моей совести.

Чтобы обрести ясность и вести себя достойно, самолюбию необходимы изучение, наблюдение, опыт, рассуждения и способность правильно мыслить. Одним словом, ему нужно учиться и обладать знаниями. Мне же, чтобы уверенно идти по праведному пути, достаточно лишь верить и уметь читать. Мои обязанности начертаны божественной рукой. Вера не требует ни великих усилий, ни малейшего превосходства ума. Нас приучают верить с детства, этому учатся еще у кормилицы. Каждый может верить и читать, но не каждый может обладать знанием. Знание требует зрелости, мощных и развитых способностей. Можно знать, и знать много, но знать превратно, что гораздо пагубнее, чем не знать вовсе.

Вера это привычка, которая не утрачивается, да и чтение это способность, доступная в любой момент; знание же - это изменчивое состояние ума. О нем забывают, его переосмысливают, ему учатся и его утрачивают. Всё, что я читаю, заранее обретает в моем уме твердость и получает неоспоримое подтверждение через веру, которая открывает мне в каждом слове отпечаток божественной воли; и эта высшая воля постоянно напоминает о себе во всем, что меня окружает и что доступно моим чувствам.

Таковы мои преимущества в том, что касается наставления; а вот те, что дарованы мне природой и силой моих склонностей. Я возвышаю и облагораживаю души. Моральная честность лишь оберегает их от упадка. Когда самолюбие побуждает к суровым и унизительным добродетелям - к смирению, терпению, страданию, - это выглядит как непоследовательность, причуда или расстройство. Я же склоняю к ним, как к естественному следствию моей покорности высшей воле, которой ничто не должно противиться.

Самые мягкие добродетели даются мне легче, чем самолюбию; ведь не питая никакой любви к самому себе, когда вся моя способность любить поглощена Владыкой всего сущего, мне достаточно лишь следовать своим порывам, чтобы поступать с совершенной честностью и всегда действовать правильно. В то время как честность, исходящая от самолюбия, обычно не столь постоянна. Если она сдерживает его в одном месте, оно порой проявляется в другом, вызывая тем самым некоторое отвращение у тех, кто внимательно за ним наблюдает (Николя, с. 154).

Видно, как люди оглушают всех рассказами о своих поступках, совершенных ради того, чтобы отличиться в каком-нибудь важном случае: это доказывает, что им пришлось принуждать свою душу великими усилиями (Николя, с. 130). Истинное величие состоит в том, чтобы не раздумывать над своими величайшими деяниями, так чтобы они казались непроизвольными и рождались из настроя нашей души столь естественно, что она сама этого не замечает. Такова, говорю я без тщеславия, заслуга, которую я черпаю в своей вере.

После этих слов **Самолюбие** сочло своим долгом защититься.

— Я начну с самых общих утверждений. Ты говоришь, что возвышаешь души, а я лишь оберегаю их от деградации. Но под твоими словами я понимаю то, что все твои мысли и привязанности обращены к Богу, а мои - к людям; что ты помышляешь о блаженстве в иной жизни, я же стремлюсь лишь к тому счастью, которым можно наслаждаться среди людей. Я отвечу, что речь здесь идет о счастье, которым можно пользоваться среди людей, и которое можно дарить людям, и исключительно о нашей способности исполнить это предназначение. Вы согласитесь, что труд ради блага людей никогда не лишает божественной благосклонности, и не мешает ее заслуживать. Я же утверждаю, что исключительная преданность обрядам,

которые считаются наиболее подходящими для снискания божественной милости, может заставить пренебречь многими заботами, которых требует счастье наших ближних, и даже ослабить представление о том, что мы им должны. Откровение, являющееся твоим маяком, ведет вас к небу, к вечному блаженству; разум же, который служит мне проводником, не лишая меня счастья, к которому ты стремишься исключительно или предпочтительно, заставляет меня стремиться к земному счастью и побуждает содействовать другим. Осмелюсь заявить, что мой путеводитель не менее почтенен, чем твой. Мой разум - это такой же дар Творца, как и откровение является одним из Его благодеяний. Откровение - это свершившийся факт, от которого остались незыблемые правила; разум же - это творение, которое вновь и вновь воспроизводит законы и правила Создателя в любой момент, для каждого человека, и в любых обстоятельствах. Поскольку источник обеих сил один и тот же, их авторитеты не могут противоречить друг другу. Одна из них ведет дальше, но в том странствии, которое они совершают вместе в этом мире, она ведет не лучше другой; а возможно, ведет и менее успешно.

Теперь я хотел бы избежать упреков в гордыне и самонадеянности, выражая то, что считаю истиной, и что признаю убеждением своей совести, а именно: я стремлюсь к нравственному совершенству так же искренне, и могу достичь его с таким же успехом, как и религиозность. И для начала я скажу, что не только избегаю, подобно ей, задевать кого-либо своей гордостью и самонадеянностью (что могло бы быть лишь благоразумием, лицемерием или расчетом), но и стремлюсь, как и она, полностью освободиться от этих пороков. Мне достаточно заметить, насколько эти пороки отвратительны окружающим, чтобы самому проникнуться к ним отвращением; мне достаточно увидеть, как они неприятны мне в других людях, чтобы почувствовать, насколько неприятными другие находят их во мне. Это истины чувства и опыта; это истины, признанные не только моралистами, но и глубокими, вдумчивыми теологами. Среди последних я упомяну Николя - ученика, соратника и достойного преемника великого Арно, одного из прославленных писателей Пор-Рояля. Он прямо утверждает, что просвещенное самолюбие отвергает гордыню, поскольку испытывает к ней отвращение. По его словам, самолюбие побуждает не только подражать смирению (Николя, с. 145), но даже вводить его в привычку и проникаться этим чувством. *«Нет никакой разницы,* - говорит он, - *между святостью и нравственной порядочностью, кроме того, что святость поражена несправедливостью тщеславия перед Богом, а порядочность уязвлена его низостью в глазах людей»*.

Тот же Николя в своем трактате под названием «О милосердии и самолюбии» (заголовок которого можно перевести как: «О любви к Богу и любви к людям») сообщает нам, что самолюбие не ограничивается лишь маскировкой амбиций в погоне за благами и почестями, но заходит так далеко, что вызывает *«фактическое отторжение от больших состояний и высоких должностей»* (с. 171), хотя и не исключает возможности «возвыситься над ними». Мудрое и просвещенное самолюбие предпочитает всем земным величинам тихую и спокойную жизнь в окружении прославленных друзей, имея возможность помогать многим достойным людям, и обладая репутацией человека воспитанного, услужливого, бескорыстного и преданного друга (там же). Порядочность препятствует порабощению плотскими удовольствиями, в которых всегда есть нечто низменное и презренное.

Николя говорит не только о том, что самолюбия достаточно, чтобы, подобно божественной любви, удерживать человека от любого позерства или притязаний на исключительный ум, знания или манеры, но и признает, что иногда оно дает сбой. Он добавляет важное уточнение (с. 154): *«Но поскольку это происходит вопреки его намерениям, ему становится стыдно, когда он это замечает, или, вернее, когда чувствует, что это заметили другие»*. Этот стыд и есть первый шаг к исправлению.

Религиозность полагает, что обладает исключительным правом быть заранее предрасположенной к добру, когда представляется случай его совершить; у нее есть заранее сформированные принципы и укоренившиеся привычки: никакой неуверенности, никаких колебаний, никакого страха ошибиться, когда приходит время действовать. Но человеческая порядочность, обретенная благодаря просвещенному самолюбию, обладает теми же преимуществами, а возможно, и некоторыми дополнительными. Воспитание самолюбия начинается так

же рано, как и воспитание веры; оно начинается в тот день, когда кормилица выражением своего лица дает понять упрямому младенцу, что он портит ей настроение. В тот день, когда она ставит зеркало перед разгневанным ребенком, и с презрением говорит ему: «Посмотри, как ты уродлив, когда ведешь себя плохо».

Николя говорит нам, что в конкретных обстоятельствах человеческая порядочность действует через непроизвольные порывы. *«Человеческая порядочность*, - пишет он, - *не всегда сопровождается формальными и явными размышлениями; она часто определяется простым мимолетным взглядом на то, что о нас подумают, и некими скрытыми склонностями, которые мягко склоняют сердце на сторону добра. Привычка рассматривать определенные поступки как подобающие, чтобы расположить к нам сердца достойных людей, заставляет наш разум представлять их нам в таком свете, сами не понимая почему»*.

Николя в своей оценке порядочности заходит довольно далеко. *«Почти один только Бог,* - говорит он, - *способен распознать мотивы, которые побуждают нас к определенным действиям или удерживают от них»*. Далее он добавляет, что часто случается так, что мы действуем, руководствуясь обоими мотивами сразу. *«Мы ищем Бога и мирское одновременно; и сердце охотно старается угодить и тому, и другому»*.

Самолюбие проявляется грубее в одних людях, чем в других; но оно живет и действует во всех в той или иной степени (Николя, гл. XIII, с. 181 и след.). Такова была воля Божья.

Если бы верующие составляли отдельный народ, они совершали бы непрекращающиеся и явные чудеса, само существование которых лишало бы грешников надежды. Необходимо, чтобы совершались чисто человеческие поступки, которые настолько похожи на действия сверхъестественные и божественные, что различие между ними было бы незаметно. Нужно, чтобы сокровища благодати, которые Бог вкладывает в праведников, были скрыты от глаз нечестивцев. Такова была воля Божьего правосудия.

Благодеяние Бога по отношению к самим праведникам заключается и в том, что Он лишает их осознания собственной праведности: знать свои добродетели опаснее, чем знать свои недостатки. Осознание своего смирения делает человека гордым, а осознание своей гордыни делает его смиренным. Человек силен, когда признает себя слабым, и слаб, когда мнит себя сильным (с. 183-184). Неясность, мешающая ему четко различать, действует ли он из милосердия или из самолюбия, вовсе не вредит ему, а идет на пользу.

Еще одна заслуга самолюбия состоит в том, чтобы уравновешивать в душах, где милосердие слабо, а искушения могут возобладать, напор этих искушений определенными человеческими мотивами. Это дает душе возможность следовать за инстинктом благодати. Одного страха перед человеческим судом недостаточно, чтобы по-настоящему преодолеть искушения по-христиански, но он сдерживает их натиск, и если в душе есть хоть искра истинного милосердия, то это позволяет ей последовать за ним. Именно поэтому святые основатели монашеских орденов установили за определенные проступки покаяния, вызывающие стыд перед людьми, чтобы это человеческое смущение сделало монахов более внимательными к тому, как избегать ошибок. Они хотели, чтобы человеческий страх служил защитой и инструментом милосердия, помогая лучше противостоять склонностям природы (Николя, с. 185). Порядочность необходима, чтобы поддерживать дух в моменты упадка милосердия. *Когда речь идет о том, чтобы доверять людям, полезно учитывать, есть ли у них, помимо совести, удерживающей их от зла, еще и определенное чувство собственного достоинства, которое заставляло бы их опасаться совершать поступки, осуждаемые мудрыми и здравомыслящими людьми; ПОСКОЛЬКУ ВРЯД ЛИ НАЙДУТСЯ ЛЮДИ БОЛЕЕ ОПАСНЫЕ, ЧЕМ ТЕ, КТО СПОСОБЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ БЕЗРАССУДНОГО И СТРАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОПРЕКИ ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ, И БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО СТАВИТЬ СЕБЯ ВЫШЕ СУЖДЕНИЙ ВСЕХ, КТО ИХ ЗНАЕТ.*

Подобно тому как порядочность охотно выдает себя за милосердие, и даже заимствует его черты, милосердие охотно позволяет принимать себя за порядочность. Люди, движимые исключительно милосердием, были бы вынуждены отделиться от общества, если бы их совершенство было замечено и вызывало заслуженную похвалу. Они не смогли бы устоять перед опасностью и навязчивостью этого восхваления.

«Наконец, разве не стоит восславить Бога за то, что Он пожелал, чтобы большинство беспорядков, которые Он нам запрещает, противоречили благу людей уже в этой жизни, и чтобы их избегали лишь из человеческих интересов?» (с. 188).

Или вот дословная цитата: *«Просвещенное самолюбие могло бы исправить все внешние недостатки мира и сформировать общество, живущее по строгим правилам. Как было бы прекрасно иметь это в виду при воспитании великих мира сего!*

...Чтобы полностью реформировать мир, то есть изгнать из него все пороки и грубые беспорядки и сделать людей счастливыми уже в этой жизни, достаточно было бы, при отсутствии милосердия, наделить их всех просвещенным самолюбием. Оно умело бы распознавать свои истинные интересы и идти по путям, которые открыл бы ему здравый смысл. Каким бы испорченным ни было это общество внутри и в глазах Бога, внешне оно было бы идеально упорядоченным, вежливым, более гражданским, более справедливым, более мирным, более честным и благородным; и что самое удивительное - будучи движимым и направляемым исключительно самолюбием, само это самолюбие ни в чем бы не проявлялось. И хотя сердце было бы совершенно лишено истинного милосердия, повсюду виделись бы лишь формы и черты, присущие этой добродетели.

Возможно, было бы нелишним, чтобы те, кто отвечает за воспитание великих мира сего, твердо запечатлели это в своей памяти. Так, если бы они не смогли внушить своим подопечным те чувства искреннего милосердия, которые хотели бы, то попытались бы хотя бы правильно сформировать их самолюбие. Им следовало бы научить их тому, насколько ошибочны, превратно поняты и противоположны их истинным интересам те пути, которые они обычно выбирают для удовлетворения собственного эго. Им нужно показать, как легко было бы избрать иные пути, которые без труда привели бы их к почету и славе, снискав им расположение, уважение и восхищение всего мира. Если бы воспитателям и не удалось таким способом сделать их полезными для самих себя, они бы по крайней мере сделали их полезными для окружающих. Они бы наставили их на путь, который всегда был бы ближе к небесному, чем тот, по которому они идут сейчас - ведь им достаточно было бы лишь сменить цель и намерение, чтобы стать столь же угодными Богу благодаря подлинно христианской добродетели, какими они стали бы в глазах людей благодаря блеску той человеческой порядочности, к которой их приучили бы» (Николя, «Трактат о милосердии и самолюбии», гл. XI, с. 176 и след).

Затем **Симпатия** (сочувствие) высказалась следующим образом: «Зная, какое удовольствие доставляет скромность и какое доверие она внушает, я начну сочувственно, в весьма скромном тоне. Если после краткого обзора моих заслуг я позволю себе немного воодушевления, то по крайней мере вложу в свою гордость ту искренность, которая сопутствует убежденности, безобидной для моих противников и даже уважительной по отношению к моим судьям.

Я не слишком хорошо понимаю, что я такое, на что я способна ради счастья человечества, и какое благо я обычно ему приношу, если вообще приношу. Я искренне скажу о том, что чувствую внутри себя: если я поступаю хорошо, то сомневаюсь, что в этом есть моя большая заслуга, так как многие мои привязанности возникают внезапно, а действия совершаются порывисто. Мне кажется, что они совершенно необдуманны, непреднамеренны, и носят чисто физиологический характер. Однако мои привычные чувства спокойны, а действия обычно не бывают поспешными; в такие моменты они могут напоминать рассудочное самолюбие, чьи суждения, облегченные привычкой, свободны от громоздкого аппарата размышлений.

Меня окрестил один грек, составивший мое имя из двух слов: *sum* (вместе) и *pathos* (чувство, страсть). Таким образом, по-французски меня можно назвать: разделенное чувство. Впрочем, вы знаете, сударь, что я не являюсь личностью, индивидом, внесенным в списки населения или фигурирующим в статистических таблицах. Точно также мои брат и сестра не могут претендовать на честь называться индивидуальностями. Мы все трое - абстракции, олицетворенные с помощью языковых уловок. Слово, которое нас обозначает, составляет нашу единственную субстанцию, или субстрат; мы - имена существительные без сущности, сформированные из различных по степени абстракций, отличающихся также идеями, от которых они отделены, отвлечены, изъяты или абстрагированы - называйте как угодно - и все они в той или

иной степени неопределенны. На протяжении веков нас заставляют чувствовать, желать, действовать. Поэтому с нашей стороны не будет большой дерзостью взять сегодня слово перед вами, чтобы объясниться. Но все же, в качестве абстракций мы во многих отношениях неопределимы, и велик риск, что нас не поймут, когда мы захотим рассказать о нашей природе и изначальном характере.

Почему с нами всё не так, как с человеческим телом? Анатомия и вся ее свита - остеология, неврология, миология, спланхнология и френология - являются со скальпелем в одной руке, и с микроскопической лупой в другой; они демонстрируют вам все детали человеческой машины, одну за другой, со всех сторон, во всех их связях и функциях. Мне очень нравится слушать их, потому что я их понимаю; мне также очень приятно находиться с теми, кто их слушает, потому что мы понимаем друг друга, нас много и мы широко рассеяны по миру. И всё же мы - существительные без сущности... Тут я остановлюсь, из уважения к высшим умам и трансцендентной философии, которая, как уже было метко сказано, есть последнее слово наук, понятное лишь узкому кругу посвященных.

Тем не менее, чтобы вам было легче следить за ходом моих рассуждений, я обязана обратить ваше внимание на один прием самолюбия. Оно смешало в своей вымышленной индивидуальности другую личность, все титулы которой оно выставило как свои собственные, чьими услугами оно хвалилось так, будто оказало их само, и чьи права оно противопоставило мне так, словно я не имела на них такого же законного права. Эта вымышленная личность - *разум*. Речь в защиту самолюбия была апологией разума. Апология разума и была всей защитительной речью самолюбия.

Я не хочу принижать самолюбие. Некоторые полагали, что его лучше называть *любовью к себе*, другие - *личным интересом*. Эти названия не имеют значения. Суть в том, что оно, как и я, является инстинктом, рожденным физической чувствительностью, которая состоит из двух способностей: способности наслаждаться и способности страдать. Этот инстинкт направлен на самосохранение и поиск физического и морального благополучия. Заявляю прямо: я не вижу в нем ничего из того, что называют эгоизмом, никакого специфического интереса к величию или богатству, ничего узкого, одиозного или презренного. В моих глазах личный интерес, если понимать его правильно, независим, свободен в выборе средств и предшествует любым частным склонностям, будь они хорошими или плохими. Это интерес, существующий прежде всяких обязательств, тогда как в обыденном смысле это обычно частный интерес, направленный против интереса истинного, который всегда совпадает с интересом общим.

Не менее верно и то, что разум, в отличие от самолюбия или интереса, не является продуктом одной лишь способности чувствовать боль или удовольствие. Своим существованием он обязан союзу этой способности с рассудком, интеллектом или духом.

Кто же я такая во всем этом? Я, как и самолюбие, - дочь физической чувствительности, то есть чувства боли и удовольствия. ***Боли***, которую можно разделить на положительную боль и страдание или на потребности, аппетиты, беспокойство, любопытство; и ***Удовольствия***, которое обычно заключается в прекращении боли или нужды, в окончании беспокойства, в удовлетворенном любопытстве.

Я - первая и единственная из человеческих способностей, которая получает уведомление, известие, сообщение о страданиях и радостях других; мое свойство - различать их, разделять это наслаждение или это страдание. Чувствовать горести и радости человеческого рода, разделять их, дополнять одни и смягчать другие - в этом заключается мой инстинкт, то есть то *побуждение*, тот внутренний импульс к бесконечному множеству действий, подражаний, принципов и волеизъявлений, в которых рассуждение не принимает участия. Если бы у меня не было, возможно, детского отвращения к доктринальным оборотам, которые вытесняют простейшие идеи из разговора, я бы попросила у канцелярии лингвистики разрешения называть себя, вслед за Тацитом, «инстинктором» (*instincteur*), чтобы отличить себя как человеческую способность от инстинкта, общего с животными. Если я чем-то и обязана одной из способностей, составляющих интеллект, то это *воображению* и *подражанию*, то есть *пробужденной*

и возвышенной памяти.[40] Я соединяюсь с интеллектом, как только вступаю в действие. Я соединяюсь с ним быстрее, чем самолюбие, и более интимно. Я овладеваю им более полно; я сама помогаю ему заявить о себе; я способствую этому союзу и его развитию.

Чтобы в вашем представлении обо мне не осталось ничего туманного, и чтобы вы никогда не сомневались, узнавая во мне автора трудов, которые я представлю вам как свои, прошу вас помнить: я не та частная симпатия, которая является лишь связью двух или нескольких людей друг с другом - симпатия влюбленных, соотечественников, современников, людей одних нравов, одной одежды или одних партий. Я - симпатия каждого ко всем и всех к каждому, всеобщая симпатия между всеми людьми в обществе. Я - это способность к сочувствию, которую проявляют все по отношению ко всем. Поэтому прошу вас иметь в виду: когда я говорю «я делаю то-то» или «я так поступаю» и так далее, я претендую на то, чтобы говорить от имени каждого.

Вы наверняка хоть раз или два в жизни, размышляя о грамматике, задумывались о частице *On*, о которой покойный аббат Морелле даже написал небольшой академический труд. О ком обычно говорят, используя обороты: «видят», «знают», «говорят» (*On voit, on sait, on dit*)? О человеке? Об одном-единственном человеке? Происходит ли это слово от *un, unus, uno* (один)? Или же речь идет о человеке вообще, и *on* - это сокращение от *homo* (человек)? Наконец, не происходит ли *on* от *omnes* (все)? И не означает ли *on*: «Все говорят»? Именно этот последний смысл, надеюсь, и покажется вам истинным. Уповая на это, я прошу вас запомнить: когда я буду говорить о себе - о сочувствии (симпатии), - в моем языке это будет синонимом слова *on*. Таким образом, когда я скажу: «Я разделяю добрую радость», это будет означать то же самое, что и: «Обычно люди разделяют, все разделяют добрую радость» и так далее. Именно на этой синонимичности основывается моя уверенность в средствах, которые я собираюсь представить.

Поверхностные умы находят во мне некий налет таинственности, от которого я хочу защититься. Одни чудесным образом используют это для оправдания множества причуд; другие же обижаются и вообще доходят до отрицания моего существования. Но моя мнимая таинственность исчезнет на ваших глазах, если вы заметите, сколькими различными способами человек сообщает ближнему о самом сокровенном состоянии своей души, с какой живостью он запечатлевает этот образ перед глазами каждого, и даже перед глазами животных! Вы больше не сочтете чудесной проницательность, которая позволяет проникать в глубины и передает нам впечатление от предметов, скрытых там.

Использование речи прекрасно объясняет передачу тайных чувств; но в отсутствие слов, в добровольном и намеренном молчании, как много языков заменяют голос, подтверждают его или опровергают! Разве нет своего языка у рта, глаз, рук? Разве искусство не довело язык рук до такой степени, что он способен заменить все остальные? Сколько выражений - физических, моральных, числовых - таится в человеческой руке:[41] от *сжатого кулака боксера, согнутых пальцев, острых когтей разъяренного, сжатой и вытянутой руки при клятве, полуоткрытой руки, манящей к себе, поднятой ладони, которая останавливает и отталкивает, до мягко округленной руки, которая ласкает, искусной руки, которая считает, и еще более искусной руки, которая живописует мысль, изображает само слово, когда мысль ускользает от зрительных или слуховых знаков!*

Но какие выражения могут быть более живыми, более искренними, чем те, что дает кровь? Исходя из сердца, она выносит чувства на человеческое лицо, и проявляет их через прозрачность кожи - еще одно свойство физической природы человека. Именно через прозрачность кожи игра крови указывает на состояние страдания или удовольствия, здоровья или болезни; она разоблачает уловки макияжа, выдает всякую ложь слов, взглядов, губ, рук и же-

[40] Это собрание было напечатано во Франкфурте в 1600 году, 2 тома в формате in-fol.

[41] Признаюсь, здесь я не согласен с Брантомом. «Этот добрый государь, - пишет он, - очень любил острословие и тонкий ум». (Знаменитые мужи, т. I, с. 29). По поводу выражения «добрый государь» замечу, что Филипп де Коммин также называет его «своим добрым господином».

стов, или же добавляет им красноречия и делает неоспоримой и неотразимой ту истину, выразителями которой они являются. Какое сочувствие сравнится с тем, что внушает бледность убитой горем матери? Какую ложную храбрость не выдаст бледность в минуту опасности? Какая напускная радость не обнаружит себя в притворных поздравлениях этого лица, лишенного красок и движения? Какая несдержанность, какая невоздержанность сможет избежать пылающего румянца, который выставляет их напоказ под личиной сдержанности и скромности? Есть ли очарование более трогательное, чем очарование спокойной невинности, или легкий оттенок невинности взволнованной? Когда сокровенное в сердцах открывается через столько несомненных признаков, стоит ли удивляться, что проницательный взор способен это распознать?

Я только что обозначила различие между моими соперниками, чтобы разграничить мою защиту и сделать её более ясной. Мои противники - это выгода и разум. Я попыталась показать, чем мы втроем отличаемся друг от друга по своей природе; теперь давайте рассмотрим плоды моих трудов.

Я смею взяться доказать, что учу и побуждаю делать всё, что может способствовать счастью, благополучию и радости общества; что я учу и направляю к действию без поучений и доктрин: через внушение, вдохновение, подражание и привычку. Я делю свои труды на прямые и косвенные и разделяю первые на три части. (1) Я внушаю и упорядочиваю право собственности, приличие, благопристойность, такт, благородство, утонченность общественных чувств, поступков и поведения, которых требуют отношения в частной и повседневной жизни. (2) Я внушаю и предписываю добродетели и поступки, необходимые в важных отношениях и в трудных обстоятельствах: добродетели благодетельные и мягкие; добродетели почтенные и возвышенные. (3) Я вдохновляю на героические поступки; я определяю их без колебаний, без долгих раздумий, без промедления, презирая самолюбие и выходя далеко за рамки того, чего требуют обычный разум и заурядная добродетель.

Мои косвенные средства таковы: (1) Побуждать к подражанию образцам, которые я выбрала и предложила; (2) Внушать уму через обучение общие правила, которые опираются на авторитет; (3) Прививать привычку следовать примеру выбранных образцов и авторитету полученных наставлений.

Я возвращаюсь к своим положениям и прежде всего говорю о себе: верный наставник, чувство, такт во всём подобающем, во всех тех тонкостях, что характеризуют привязанности и поведение во всех отношениях частной жизни. Я одновременно являюсь их судьей и регулятором, я же - их выражение и мерило.

Я обращаюсь к качествам приятным, мягким, благожелательным, к человечности, доброте, снисходительности, терпимости, кротости, вежливости; я следую за вами с удовлетворением и довольством везде, где вас вижу; более того: я проникаю во все души, в которые ваши действия и речи заронили чувство счастья или удовольствия; я разделяю его с ними. Таким образом, я внушаю, с одной стороны, благодеяние или добрую волю, а с другой - благодарность, которая удваивает удовольствие от добрых дел и благородных чувств; это удовольствие, которое я заставляю воздействовать на саму благодарность, тем самым её приумножая.

Я обращаюсь к качествам почтенным, сильным и суровым, к бескорыстию, к власти над собой, к сдержанности в обидах и в горе, к умеренности, к мужеству: моё почтение признает вас и приветствует в ряду тех добродетелей, что отличаются высочайшей пользой, ибо вы являетесь завершенным развитием привлекательных качеств, гарантией энергии и прочности полезных добродетелей; двигателем самых героических и славных поступков. Именно вам в любом случае принадлежит заслуга преодоления трудностей - заслуга, которая всегда столь необходима среди превратностей и противодействий самой совершенной общественной жизни, а также при обычной слабости нашей природы.

Я не ограничиваюсь тем, чтобы распределять привязанность, признательность, восхищение и уважение с рассудительностью и мерой, согласно достоинству принципов и действий; я подготавливаю, провоцирую, санкционирую, укрепляю и утверждаю официальные законы и

законы общественного мнения, которые клеймят и наказывают предосудительные, заслуживающие порицания и караемые принципы и поступки. Я сажусь на скамью законодателя и поднимаюсь на его трибуну; я занимаю место рядом со светскими людьми в суде общественного мнения; я заседаю в судебном трибунале рядом с судьями, которые чувствуют мое присутствие, не видя меня, которые слышат и слушают меня, не зная, что это говорю я, и никогда не презирают меня безнаказанно.

Я не ограничиваюсь тем, что взываю к разуму в момент принятия решения или к добродетели и пороку в момент совершения поступка; я заранее готовлю свое влияние и обеспечиваю его еще до того, как применить. Я обеспечиваю его, во-первых, отделяя от своей области физические интересы, связанные со страданием и удовольствием, и принимая в них лишь незначительное участие, при этом проявляя большой интерес к воздержанности, которая умеряет удовольствия, и к мужеству, которое сдерживает проявление страданий. Во-вторых, я отказываюсь от всех резких чувств, от гнева, обиды, ненависти - заслуженных или нет.

Я оставляю физические удовольствия инстинкту, которого достаточно для их нужд; я оставляю все физические боли заботам науки и искусства врачевания. Я могу лишь призвать на помощь средства, которых они требуют, но не предоставлять их сам. Интерес, который я к ним проявляю, соразмерен ничтожности той единственной услуги, которую я могу оказать. Ограничивая таким образом свою сферу нравственными привязанностями, я концентрирую в ней свои средства влияния, укрепляю их и использую с большим вниманием и проницательностью.

И чтобы привести вам пример этой проницательности, я прошу вас заметить, что, несмотря на мое стремление разделять все доброжелательные чувства, я крайне слабо разделяю самое доброжелательное из них - то, которое естественнее всего сочетается со всеми нежными чувствами, то есть любовь. И почему сделано это исключение? Дело в том, что в любви, которая заявляет о себе как о чувстве максимально нравственном, то есть самом бескорыстном, всегда скрыта та инстинктивная любовь, которая относится к животной природе. Кроме того, эта страсть, обладающая достоинством слияния двух жизней в одну (что противоположно эгоизму), тем не менее является самым совершенным эгоизмом - удвоенным эгоизмом, эгоизмом двоих по отношению ко всему остальному человечеству. Но моя душа, моя жизнь едина с душой и жизнью всего человеческого рода; и повторюсь: я считаю, что любое исключительное чувство, хотя оно и необходимо, должно, однако, сдерживаться перед лицом общих интересов, и больше нуждается в надзоре со стороны общественного мнения, чем в моем согласии и содействии.

Я спешу заранее отвергнуть упрек в том, что я якобы отрицаю свою причастность к этому «эгоизму на двоих», который называют любовью. Вы уже готовы сказать мне, что сюжеты и успех всех наших романов, всех наших театральных пьес свидетельствуют о том участии, которое я принимаю в любви. Я отвечу вам: эти произведения свидетельствуют об интересе, который я проявляю к ее превратностям, к ее катастрофам, к различным страстям, которые она приводит в действие, но не к ее успехам, не к обладанию, не к ее счастью. Попробуйте представить на сцене или описать в романе двух влюбленных, наслаждающихся непрерывным, чистым счастьем, и вы увидите, можно ли вынести созерцание этого чудесного блаженства.

Добавлю, что мое отвращение ко всему исключительному превратило в правило приличия не говорить слишком много в обществе о своем городе, своих руках, своей семье, даже о своей профессии и своих занятиях. Простите, что я скажу это снова: моя душа и моя жизнь - это душа и жизнь всего человеческого общества.

Я не только исключила из своих привязанностей недоброжелательные и вредные страсти и действия, но и отказываюсь разделять чувство обиды и дух мщения, если только и то, и другое не основано на справедливости и, более того, если они не удерживаются в весьма тесных границах и не обладают достоинством умеренности или даже долготерпения.

Конечно, это не означает, что я солидарна с малодушными сердцами или с теми душами, которые остаются бесчувственными к оскорблениям, либо позволяют им подавлять и унижать себя. Я разделяю негодование по поводу обид и дурного обращения; я сопереживаю этому как

личному чувству и страданию затронутых людей. Я также разделяю это как болезненное для общества в целом чувство: общественный порядок заинтересован в том, чтобы частные лица были чувствительны к обидам - тогда само желание оскорбить станет опасным; он заинтересован в том, чтобы существовали интересы и, возможно, даже страсти, которые по своей природе мстят за несправедливость. Но инстинкт наделил оскорбленного способностью к ответной реакции против обидчика, наделив его ею без всякой узды и меры. Именно я накладываю и то, и другое - не только отстраняясь от даже самой оправданной реакции, когда она выходит за рамки меры, но и перенося свое сочувствие на виновного, которому угрожают крайности и насилие. Природа, несомненно, пожелала, чтобы суровые и злобные страсти передавались с трудом, и я сам служу тому доказательством.

Заметьте, прошу вас, что, полностью отказываясь от агрессивных порывов и оставляя за собой право не поддерживать мстительные чувства, когда они переходят определенные границы (и даже переходить на сторону обидчика, которому грозит чрезмерная месть), я, напротив, всецело отдаюсь чувствам нежным и добрым. Я помогаю наслаждаться ими; более того, я удваиваю их, разделяя благодарность тех, кто стал их объектом, и увеличиваю саму эту благодарность за счет роста благожелательности, которую она пробуждает в благодетеле. Словом, я разделяю радость от добрых дел, и радость признательности; я приумножаю удовольствие благодетеля через радость и благодарность получателя, а радость получателя - через рост удовлетворения благодетеля. Можете ли вы назвать мне более надежные и мягкие способы привить душам и поддерживать в них те чувства, что составляют очарование общества?

Я только что изложила свои привычки в отношении страстей, которые можно назвать социальными, и тех, что можно назвать антисоциальными. Теперь я прошу вас на мгновение сосредоточить внимание на том, как я отношусь к привязанностям, которые назову *личными*, то есть направленными на людей как таковых.

Во-первых, я безоговорочно разделяю веселость, потому что она является свидетельством чистой совести, а также потому, что она обычно легковесна и мимолетна, не имеет серьезной причины и последствий. Я люблю ее прежде всего в юности, так как в этом возрасте она невинна и естественна, рождаясь из склонности радоваться тысяче пустяков. Я позволяю даже старикам разделять это удовольствие, чтобы при виде него они отвлекались от тягостного ощущения своих недугов и вспоминали свою молодость.

К радостям я отношусь не так легко, как к веселости. Презумпция невиновности, сопутствующая веселости, сопутствует далеко не всякой радости: значительная их часть вызывает подозрение. Я вовсе не предаюсь тем радостям, что рождаются из больших успехов в частных делах или из огромных состояний, нажитых внезапно. Я знаю, что как в погоне за честолюбием, так и в предприятиях, движимых алчностью, путь к богатству и путь к добродетели зачастую противоположны; по крайней мере, случай часто играет в процветании большую роль, чем заслуги.

Тем не менее, я отказываюсь разделять те критиканские чувства, которые выдают простые подозрения за факты и видят преступление везде, где есть успех. Подобные чувства обычно болезненны, а порой завистливы и достойны осуждения.

Я слишком мало соприкасаюсь с таким процветанием, чтобы связывать себя с алчностью и интригами, но достаточно для того, чтобы не ослаблять стремление талантов к должностям и трудолюбие, необходимое для повседневного служения обществу.

И посмотрите, прошу вас, на мою справедливость: если я проявляю сдержанность по отношению к внезапным богатствам и вызываемой ими радости, то я безоговорочно, без всяких проверок и исключений, сопереживаю внезапным несчастьям и крушению судеб. Это безусловные причины для страдания. Я не стану рисковать тем, чтобы лишить утешения безупречного в своем несчастье человека из страха способствовать расточителю, который не сумел сохранить состояние, нажитое грабежом.

Вы также заметите мою проницательность в одной особенности: насколько я не доверяю состояниям, нажитым внезапно, настолько же я разделяю благополучие старинных капиталов

и уважаю их. Я полагаю изначально честно приобретенными все те владения, которые в настоящее время передаются по наследству, и те, что были приобретены давно. Я не только не стремлюсь подавлять столь необходимое обществу соперничество, объявляя плодами преступной деятельности то, что может быть результатом самого упорного труда, высочайшего интеллекта и самых полезных услуг; напротив, я уважаю всё, что, не нанося ущерба равенству прав всех членов общества, способствует проявлению и поддержанию различий и процветания, основанного на заслугах. Я всегда стараюсь подчеркивать превосходство, которое дают эти заслуги, и заставляю их служить общему делу. Горделивые доктрины и сумасбродство партий ропщут напрасно: я уважаю и всегда буду уважать плоды заслуг в тех постоянных градациях, которые они устанавливают, хотя бы ради того, чтобы в обществе сохранялись привычки уважения, чтобы само уважение не было чуждым чувством и чтобы этот рычаг не был утрачен для поддержания порядка.

Перехожу к главному вопросу: а именно, что я делаю для того, чтобы обеспечить торжество правосудия среди людей. Возможно, я несколько произвольно покровительствую благожелательным чувствам: состраданию, щедрости, дружбе, признательности; но я выступаю решительно за правосудие - строгое, точное, пунктуальное в своем служении, и не допускаю никаких компромиссов в отношении нанесенных ему обид. Я всегда безоговорочно и полностью на стороне пострадавшей или ущемленной стороны; я действую, я неустанно тружусь против виновного обидчика. Я заставляю правосудие следовать за ним на каждом шагу, я пробуждаю в каждом встречном интерес к жертве, знак осуждения и ужаса по отношению к преступнику; я осаждаю его так тесно, с таким упорным постоянством, столь живым представлением причиненного им зла и, наконец, столь общим и сильным неприятием, что полностью овладеваю его душой. Он начинает ненавидеть самого себя из-за привычки видеть, что его ненавидят; он разделяет сострадание, проявляемое к его жертве; для него становится необходимым добиться сострадания своих судей для самого себя; он отдается общественному возмездию из потребности примириться с человечеством, для которого он стал предметом проклятия. Именно в этом, как мне кажется, заключается мое главное право, мое исключительное право на управление людьми.

Мои критики считают меня слепым инстинктом, когда сравнивают мои движения - порой резкие и порывистые, хотя в основе своей глубоко упорядоченные и взвешенные - с симметрией уголовных законов. Они воображают себя намного выше меня благодаря своему скрупулезному вниманию к обоснованию всех своих решений общими и абстрактными интересами общества, в то время как я всегда проявляю интерес только к отдельным личностям.

Что ж, позвольте мне, наконец, установить две истины. Первая заключается в том, что я опередила всех законодателей; что, возможно, именно я просветила их всех относительно того, что они называют интересом общества в целом. Вторая - в том, что именно я пролила свет на ту великую границу, которая отделяет право наказывать в общественном состоянии от права мстить в естественном состоянии, и что я обозначила эту границу таким образом, чтобы ее не мог переступить ни закон, ни судья. Я заимствую у Смита доказательство своего первого утверждения:

«Вовсе не просвещенный разум, осознающий вред, который преступление наносит обществу, заставляет нас ненавидеть преступление, как это принято считать; и не общий интерес общества заставляет нас желать наказания для виновных. Тот интерес, который мы проявляем к благам и бедам отдельных личностей, обычно не проистекает из нашего интереса к процветанию общественного организма. Когда у нас украли небольшую сумму, мы стремимся к наказанию за эту несправедливость меньше ради сохранения всего нашего состояния, чем ради самой этой небольшой суммы. Точно так же, когда отдельный человек подвергся оскорблению или разорению, мы требуем возмещения за то, что он претерпел, гораздо меньше ради поддержания порядка в обществе, чем из-за интереса к этому конкретному человеку, даже если нас не связывает с ним никакая личная привязанность и даже если сам он нам неприятен. Единственный мотив наших поступков в таком случае - общее сочувствие, которое мы испытываем к себе подобным именно в силу их человеческой природы».

Мое второе положение заключается в том, что практически любая правовая система обязана мне принципом, согласно которому не следует наказывать за вредоносные действия, совершенные непреднамеренно. В то же время намерения, какими бы порочными они ни были, должны оставаться безнаказанными, если за ними не последовало реальное действие, пусть даже случайное.

Ежедневные наблюдения подтверждают: я проявляю лишь слабый интерес к участи человека, против которого замышлялось преступление, оставшееся неисполненным. С другой стороны, какую бы обиду ни нанесли человеку, я не разделю его негодования, если станет очевидно, что этот проступок был совершен без злого умысла. Скорее, я сопереживу горю того, кто стал невольным виновником этого несчастья.

На этом я завершаю рассуждения о моем прямом и непосредственном воздействии, которое проистекает напрямую из физической чувствительности, предшествуя пробуждению самолюбия и происходя без участия разума.

Теперь я намерена показать вам нечто такое, что на первый взгляд покажется менее простым и ясным, но при ближайшем рассмотрении станет и тем, и другим. Дело в том, что к достоинствам верных и внезапных импульсов, свободных от ошибок и колебаний, я добавляю менее блестящее, но, возможно, более полезное достоинство: давать людям постоянные правила и принципы поведения. Они должны всегда присутствовать в их размышлениях и поступках. Повторюсь: всегда присутствовать - и добавлю: всегда быть настоятельными и мощными, даже при отсутствии всякого прямого действия с моей стороны, даже во сне или в моменты рассеянности. Их непрерывное присутствие и, если можно так выразиться, их неразрывная связь со всеми интеллектуальными и нравственными способностями необходимы для того, чтобы противостоять софизмам страстей и развеивать заблуждения, которым люди могли бы поддаться в отсутствие - или даже в присутствии - внутренней модели, если та вдруг окажется несовершенной.

Смит утверждал, что в общественной жизни каждый человек сосредотачивает внимание на впечатлениях, которые он получает от характера и поведения окружающих. Что каждый человек вскоре начинает замечать, какое впечатление он сам производит на других. Что, поскольку впечатления, производимые на него другими, бывают двух противоположных видов - одни приятные, внушающие доброжелательность, а другие неприятные, вызывающие отвращение, - он вскоре начинает беспокоиться о том, как к нему относятся окружающие. Что в этом беспокойстве он анализирует свои чувства и поведение, пытаясь понять, как бы он сам их оценил, окажись он на их месте. Что для достижения этой цели он словно разделяется на две личности, одна из которых становится судьей, а другая - подсудимым. Он ставит подсудимую часть себя перед судьей, как перед зеркалом, чтобы увидеть, уместно его поведение или нет. Это верное зеркало выполняет функцию внутреннего судьи, которого Смит на протяжении всего своего труда называет *беспристрастным наблюдателем*: это образ, наложенный на образ, вымысел поверх вымысла.

В итоге Смит делает вывод, что суждение каждого человека о самом себе (или суд его совести) формируется через сочувствие к одобрению или порицанию этого незаинтересованного судьи, этого *беспристрастного наблюдателя*. Таким образом, это суждение всегда имеет тайную связь с тем, *что есть*, или с тем, *что должно быть*, или, наконец, с тем, *что, по нашему мнению, могут подумать* другие. Все это до такой степени верно, что разумно предположить: сам Бог поставил человека судьей над самим собой.

Признавая *суть* мысли Смита, я все же должна признать, что это внутреннее разделение нашего «я» на две ипостаси, которые поочередно выступают то судьей, то подсудимым, кажется мне скорее поэтическим вымыслом, нежели философским. На мой взгляд, оно мало подходит на роль объяснения, то есть не дает верного представления о том, как я устанавливаю и закрепляю в умах средства побуждения, сдерживания и руководства. Я объясняю свою работу иначе, и, чтобы изложить свою мысль яснее, я предполагаю, что человек, живший в изоляции, внезапно вступает в общение с обществом. Там он встречает симпатичные характеры, которые ему нравятся, и тем более, чем сильнее они нравятся всем остальным. Там же он встречает

и людей желчных, которые ему неприятны, и тем более, чем более неприятное ощущение они вызывают у всех окружающих. Он размышляет и замечает разницу между этими двумя типами характеров.

Я заставляю его разделить то теплое чувство, которое все питают к первым, и то отчуждение, которое внушают вторые даже тем людям, которые на них похожи; их черты запечатлеваются в его сознании. Он замечает эти впечатления, испытываемые другими. Общение с ними дополняет его собственные впечатления; ненависть к одним и доброжелательность к другим, воспринятые им через прямое впечатление, усиливаются благодаря сопричастности или симпатии. В глубине его сердца запечатлевается отталкивающий образ первых и радостный образ вторых. Вскоре инстинкт, не позволяющий человеку забыть о себе, побуждает его обратиться к самому себе.

Он рассматривает себя и сравнивает с теми людьми, которых он наблюдал и классифицировал в своем уме. Если он признает, что принадлежит к числу тех, к кому почувствовал неприязнь, он видит себя в своих мыслях среди тех порочных существ, чей отпечаток производит на него тягостное впечатление; его собственный образ пугает его так же, как и их. Если же он признает, что принадлежит к числу тех, кто ему приятен, он доволен собой. Одним словом, он видит себя таким, каким видит себе подобных, и каким видят его и подобные ему, и достойные люди, которые не могут не относиться к нему и ему подобным с доброжелательностью и уважением.

Здесь я прошу вас заметить пять вещей: (1) прямой мотив отвращения к моральному уродству; (2) усиление эффекта, вызванного симпатией к людям, которые также движимы прямым мотивом; (3) живой и глубокий отпечаток этого уродства; (4) сравнение себя с этим отпечатком; (5) отвращение к этому отпечатку, перенесенное на самого себя.

Здесь я уже расхожусь с теорией Смита; здесь я показываю два образа, запечатленных мною в уме: один - привлекательный и уважаемый, другой - ненавистный и презренный. Мне нет нужды предполагать разделение нас самих на двух персонажей, один из которых - судья, а другой - подсудимый; мне достаточно тех отпечатков, которые я выгравировала в уме, чтобы объяснить постоянство и действие моих средств руководства, сдерживания и подражания. Этих отпечатков было бы, пожалуй, достаточно, чтобы склонить к чувствам и поступкам, приносящим уважение и любовь ближних, и отвратить от тех, что навлекают их ненависть и презрение.

Однако я должна заявить: я вовсе не полагаюсь на впечатления, которые могли бы со временем стереться или, по крайней мере, сильно ослабнуть. Я призвала на помощь два других инстинкта или движущих силы, о которых не упоминали философские доктрины, но которые играют важную роль среди причин, определяющих нравы. Первая - это *подражание*; вторая - *привычка*. Они помогают поддерживать созданные мною прямые впечатления, делают их воздействие на волю всегда легким, верным и быстрым. Эдинбургский философ [Адам Смит], который первым воспел меня, слишком польстил мне; он наделил меня даром спонтанного возрождения, который он, возможно, и не рассчитывал бы увидеть во мне, если бы память о моих прямых впечатлениях не сохранялась благодаря подражанию и привычке.

В двух словах я расскажу вам всю свою историю: я - это чутье нравственного существования, чутье весьма утонченное в своих восприятиях. Интерес, возникающий из этих восприятий, исполнен доброжелательности; мое отвращение, которое иногда называют антипатией, - это лишь мои встревоженные, расстроенные, раненые и возмущенные чувства. Мои чувства - это сплошное излияние, немедленное расширение; они заставляют души перетекать одна в другую.

В своих порывах я - мужество, смелость, безрассудство, самоотверженность. Я устраняю чувство и память о собственном существовании, чтобы привязать, посвятить, пожертвовать собой ради существования других. Вот мои непосредственные труды. А вот как я увековечиваю, оживляю и возбуждаю свои прямые впечатления:

Слегка взволнованная, я вступаю в игру; проявляя эмоции - я люблю; привязанность - я подражаю; подражая - я приучаю; через привычку я властвую, и это на всю жизнь.

Прошу вас на мгновение сосредоточить внимание на этом инстинкте подражания и на инстинкте привычки, который мне столь полезен и столь тесно связан с первым. Я уже говорила, что философские доктрины уделяли им мало внимания. Монтень, философ без доктрины, представил важные наблюдения о привычке; они собраны в небольшом труде «О подражании и привычке» (Journal d'Économie publique, т. II). Бюффон ограничился тем, что говорил о подражании исключительно как об атрибуте человеческого вида; он отказывает в нем животным, даже обезьянам: это мнение ложное, каким бы убедительным оно ни казалось,[42] но оно не имеет значения для нашего вопроса.

Три философа совсем недавно сделали этот инстинкт объектом наблюдения в то время, когда мнимое открытие животного магнетизма начало входить в моду. Это были Байи, Лавуазье и Франклин, все трое - комиссары Академии наук, назначенные для изучения явлений, приписываемых магнетизму. Они увидели, что в опытах, представленных на их рассмотрение, огромную роль играет инстинкт подражания. Таким образом, я говорю вам здесь не о чем-то неизвестном. Простите мне, что я рассказываю вам то, что знаю о нем благодаря своим обычным наблюдениям за его участием в моей деятельности.

Подражание понимается как само действие. Любое действие определяется волей; воля определяется каким-либо изменением органа мысли; орган мысли определяется или изменяется каким-либо образом под воздействием ощущения или размышления. Таким образом, определенное ощущение или определенное размышление порождает определенное действие. Раз этот принцип действия известен, мы постигаем и принцип подражания. Любой акт, свидетелями которого мы являемся, дает нам ощущение этого акта; это ощущение приводит орган нашей мысли, являющийся источником нашей воли, в то же состояние, в котором находился человек, чей поступок вызвал это ощущение, когда он его совершал. Та же причина, воздействуя на подобную организацию, должна произвести тот же эффект. Ощущение от увиденного действия идентично мысли о том, чтобы совершить то же самое.

Мы подражаем по необходимости, из-за беспокойства, предчувствия или памяти о нужде, из любопытства к новому удовольствию. Мы подражаем благодаря легкости подражания и ради удовольствия упражнять свою способность к нему. Это способность, которая помогает нам стать вровень с другими.[43]

Подобно тому как мы подражаем действию, которое воспринимаем в настоящий момент, мы подражаем и тем поступкам, что запечатлены в нашей памяти или воспоминаниях.

Так же как мы подражаем одному или нескольким действиям, мы подражаем и человеку, чей образ воскрешает в памяти поступки, которые, как нам известно, характерны именно для него.

Точно так же, как мы подражаем конкретному человеку, мы подражаем и тому общему, что есть у многих людей, из чего мы путем абстракции создаем некий собирательный образ - коллективную личность. Ее разум воспринимает интуитивно, подобно любой простой идее о субстанции или индивиде.

Подражая людям, мы повторяем их принципы и взгляды; мы копируем их ход мыслей, чтобы на основе их выводов сформировать собственные мнения и правила жизни.

Если физическое подражание вызвано нуждой, беспокойством, предчувствием или памятью о нехватке чего-либо, а также любопытством к новым удовольствиям, то подражание нравственное обусловлено огромным множеством наших чувств, их потребностей, желаний, надежд и опасений. Оно также движимо удовольствием от того, что мы ставим себя в один ряд или, лучше сказать, отождествляем себя с тем привлекательным образцом, чей образ стоит у нас перед глазами.

---

[42] История Людовика XI, кн. VI, с. 277.

[43] Вилларе, История Франции, т. XVI, с. 14.

Мы подражаем образцам, выбранным среди членов семьи, своего круга или среди героев исторических и поэтических произведений; точно так же воображение создает для нас идеалы, состоящие из абстракций и общих идей. Однако большинство примеров, определяющих нравы, черпаются из искренней симпатии к реальным людям.

Обратите внимание: в семейных наставлениях, в общественном обучении - будь то гражданское или религиозное - я всегда направляю внимание и уважение к конкретным именам, к историческим примерам. Заметьте, что в домашних беседах - источнике нравственного воспитания куда более плодотворном, чем то, что дается официально и методично, - именно частое повторение родителями похвал в адрес знакомых людей, определенных профессий, поступков или привычек нравственной жизни определяет призвание детей, их первые наклонности, их начальное стремление к добру или злу.

Точно так же разговоры постоянно указывают детям на пороки, страсти, привычки и даже профессии, пагубных примеров которых следует избегать.

Именно этим образам, запечатленным в сердцах детей, следует приписывать их хорошие или дурные качества. Они хотят быть в ладу с этим привлекательным образцом из симпатии к оригиналу, которому им было бы лестно угодить; они сверяются с его образом в своих решениях, подражают ему даже в безразличных вещах, стремятся походить на него и жаждут для себя тех же похвал, которые слышат или слышали в его адрес.

Именно эти образы избранных идеалов формируют совесть у большинства людей; они живут в них, хвалят или бранят их, убеждают или удерживают. Их речи в той же мере, что и поступки, служат правилом. Именно из их уст память восприняла общие заповеди вечного разума и вечной справедливости; именно уважение к ним заранее освятило все их слова; именно их благородство делает достойным уважения всё в их поведении, ибо именно их поступки и принципы заложили основу этого уважения и подготовили их славу. Счастливы те семьи, в которых или рядом с которыми судьба поместила прекрасные примеры для подражания. Я отождествляю родителей с ними; я отождествляю этих родителей и эти примеры с молодежью; я обеспечиваю их счастье через честность и душевный подъем, в зависимости от обстоятельств и положения.

Вот примерно так я представляю себе воздействие на то, что можно назвать совестью.

Мне кажется, это согласуется с другими фактами, которые невозможно оспорить, как бы ни был стар противоположный предрассудок: я гораздо сильнее внушаю желание быть достойным похвалы, чем само желание, чтобы тебя хвалили; желание быть почтенным, чем просто почитаемым; желание быть достойным любви, чем просто любимым. Жажда похвалы ради самой похвалы - это суетная страсть, которую я вовсе не разделяю; обычно люди стремятся к похвале как к свидетельству заслуг. Незаслуженная похвала - это мимолетное удовольствие, за которым часто следует глубокое презрение; заслуженная же похвала дает право на многократное одобрение. Даже тот достойный человек, который не получает похвалы в данный момент, вознаграждается надеждой на будущее и сознанием своих прав, которых никогда не лишены ни надежда, ни сила, ни достоинство. Он вознаграждается сочувствием к людям, на которых он похож и которые больше него пользуются блеском всеобщего одобрения; он вознаграждается сочувствием к тем, кто одобряет этих людей, обласканных общественным мнением и славой.

Я уже говорила, что люди стремятся к похвале, как к подтверждению своих заслуг, и потому они тем более жадны до нее, чем более спорными являются эти заслуги. Посмотрите на разницу между великим математиком и даже выдающимся поэтом: один спокоен за свою славу, другой же всегда беспокоится о своей и не может убедиться в ней без избытка аплодисментов, восторженных возгласов и дифирамбов.

Подтверждением этой истины служит и то малое удовлетворение, которое я испытываю по отношению к тем, кто получает лишь незаслуженные похвалы. Тщетно их тщеславие выставляется напоказ; они чувствуют, что похвалы, которыми их осыпают за чувства, которых у них нет, и за прекрасные поступки, которых они не совершали, на самом деле адресованы

другим, а не им. Они не могут поставить себя, самозванцев, в один ряд радости с тем внутренним идеалом, который живет в них самих.

Пустое желание похвалы ради самой похвалы не могло бы принести обществу никакой иной пользы, кроме как заставить порочного скрывать свои пороки. Желание привести свое поведение и свои чувства в соответствие с тем образцом, отпечаток которого мы носим в сердце, внушает истинную любовь к добродетели; именно поэтому я с воодушевлением и охотой взращиваю любовь к истинной славе, которую считаю достойной мудреца.

Омерзительный образ порока и преступления, который я запечатлела в сердцах людей рядом с привлекательными и достойными уважения образцами, служит мне не только для того, чтобы определить предпочтение последним, но и для выполнения страшной функции наказания преступлений через ужас и угрызения совести. Именно через образ преступления, через ужас, который оно внушает, и через несчастья, которые оно влечет за собой, я произвожу на злодея то действие, которое описал, говоря о своем рвении к правосудию; именно оживляя этот образ, я преследую виновного после совершения тяжкого преступления.

Смит подтверждает это: *«Видели людей самого отвратительного характера,* - пишет он, - *которые при совершении самых черных преступлений принимали меры с достаточным хладнокровием, чтобы отвести от себя даже малейшие подозрения, и которые, вынужденные, так сказать, ужасом своего положения, сами раскрывали то, что ускользнуло бы от всей проницательности человеческих поисков. Признавая свое преступление, подчиняясь негодованию своих оскорбленных сограждан и удовлетворяя таким образом месть, от которой они не могли скрыться, будучи сами для себя объектами ненависти, они льстили себе, что смерть примирит их, по крайней мере, в их собственном воображении, с естественными чувствами человеческого рода; что шаг, который они предприняли, добровольно обвинив себя, позволит им считать себя менее достойными ненависти и негодования; что они каким-то образом искупят свои злодеяния и умрут в мире и с прощением себе подобных»* (Теория нравственных чувств, часть 3, единственная секция, глава 1).

Сила этого внутреннего образа дает о себе знать даже самым мудрым и добродетельным людям. Вы увидите, как они, презирая и отвергая похвалы, на которые не имеют права, тем не менее глубоко огорчаются несправедливыми обвинениями и ничего не упускают, чтобы посрамить обвинителей. Образ приписываемого им преступления возбуждает в них тот ужас, который оно внушает другим. Они страдают вместе с ними, они страдают даже тогда, когда те ошибаются; им больно видеть образ, который они вынуждены представлять взорам других, из-за отвращения, которое они сами питают к этому самому образу.

Я сказала, что, запечатлевая в душах образ моделей, достойных подражания, я одновременно ввожу их наставления и метод вывода последствий и их применения. В самом деле, правила, которые соблюдают достойные люди, - это не что иное, как выражение их чувств. Перевод их мотивов действия в слова, их правила поведения могут также быть названы кратким очерком самого их поведения. Таким образом, они составляют сущностную часть их примера.

Мне мало что нужно сказать, чтобы доказать, что общие правила, которые я утверждаю одновременно с образцами и с помощью их авторитета, соответствуют суждениям, вынесенным разумом после долгих исследований; они являются выражением всеобщих чувств человеческого рода в обществе - чувств, воспринятых, переданных и, я бы почти сказал, сформулированных мною.

Существует сотня различных определений добродетели; у каждой школы оно свое. Добродетель - это то, что я чувствую как благо и заставляю чувствовать и одобрять как таковое. Первичные понятия о справедливом и несправедливом, об уместном и неуместном основаны на моем непосредственном чувстве. Разум лишь собрал их и расширил путем индукции.

Множество споров возникло по поводу ценности пользы, рассматриваемой как элемент добродетели. Все философские системы, как древние, так и современные, признают, что польза входит в цели, которые ставит перед собой добродетель, и в черты, по которым ее

узнают; но, пользуясь различными значениями слов, многие утверждают, что польза не является единственным объектом добродетели и что она не всегда включена в те цели, которые та себе намечает. Вам говорят:

«Не все, что полезно, справедливо; не все, что справедливо, честно». Они могли бы добавить: «И не все, что честно, великодушно».

Не проходит и дня, чтобы я не высказывалась в этом споре, ни дня, чтобы я не отвергала мнимую пользу, не имеющую в своем основании правосудия, справедливости, честности и даже самого приличия; да, приличия, которое есть *самый малый из законов*, как говорил Ларошфуко, и *самый соблюдаемый* - преимущество, которым оно обязано мне. Нет дня, когда бы я не проявляла своего безразличия к тому, что пышно провозглашается справедливостью, честностью или приличием, если я не вижу рядом с ними пользы.[44]

Единство и неделимость этих качеств являются принципом всего благого. Я чувствую малейший разрыв между ними; я различаю малейшее ослабление их тесной связи, и мой интерес меняется в зависимости от тончайших различий в силе их союза.

Кто обвинит меня, кто обвинит симпатию в том, что она ценит, одобряет и разделяет чувство частной пользы, установленной в противовес пользе общей? В том, что она считает общей пользой нарушение частных прав? В том, что она сомневается, не является ли правосудие первой из потребностей и интересов общества? Или в том, что нарушение права одного человека под предлогом общей выгоды является самым грубым нарушением прав всех остальных, поскольку оно сопровождается обманом и дерзостью?

Кто обвинит симпатию в том, что она ограничила принципы правосудия и признала его соблюдение лишь соблюдением писаных законов, проигнорировав обязательства, налагаемые естественной справедливостью и даже приличием - тем дополнением, которое я придала справедливости, подобно тому как справедливость я придала правосудию?

Кто обвинит меня в том, что я спровоцировала или одобрила ненужную жестокость под именем правосудия или неоправданное насилие под именем права войны? Кто обвинит меня в том, что я когда-либо была безразлична к определенной мере, к определенному соответствию, одним словом, к приличию, без которого справедливое, доброе и полезное могут пострадать от некоего неприятного впечатления?

Своим уважением к пользе я обязана защите от мнений, считающихся философскими, которые, по моему убеждению, отвергаются самой природой, и которые я ежедневно имею сотни поводов опровергать. С одной стороны, утверждают, будто мы должны проявлять такой же интерес к страданиям, максимально удаленным от наших глаз, как и к тем, что происходят перед нами; что всякая радость нечестива, пока на земле остается хоть один несчастный. С другой стороны, говорят, будто мы должны быть одинаково безразличны к несчастьям, случающимся с другими, и к нашим собственным. Природа не желала ни всеобщего безразличия, ни одинаковой привязанности ко всему на свете.

Я ежедневно нахожу подтверждение этой истины. Прежде всего, я не принимаю никакого участия в банальных чувствах - в них есть нечто абсурдное. На одного страдающего и несчастного человека приходятся тридцать вполне здоровых и счастливых. Я гораздо острее сопереживаю беде рабочего, который только что потерял палец, необходимый для труда, кормящего его семью, чем жалобам философа, стенающего в Париже о гибели миллиона человек в жерле вулкана где-то в Китае. Я всегда утру слезы отцу, оплакивающему смерть сына, но я, как и все остальные, отнеслась бы с жалостью к человеку, который вообразил бы себя на месте всех отцов мира и горевал бы об их утратах так же сильно, как о своей собственной. Я бы разделила всеобщее отвращение к тому, кто был бы тронут потерей сына не больше, чем смертью незнакомца. Природа мудро наделила отцовскую и материнскую нежность большей силой, чем сыновнюю почтительность, поскольку сохранение человеческого рода связано с первым из этих чувств, а не со вторым.

---

[44] «Эта комиссия, - говорит Вилларе, - отказала обвиняемому в адвокате и совете; комиссары во что бы то ни стало хотели признать его виновным».

И почему же я так по-разному распределяю свои чувства, если все они кажутся достойными одобрения? Это происходит потому, что я, как и все, чувствую: вместо огромной пользы возникла бы большая опасность, если бы каждый отец любил всех детей мира, и если бы этот общий интерес отвлекал его от забот, которых требует благополучие его собственной семьи. Точно так же и созерцательный интерес, который философ проявляет к бедам или нуждам, когда он не в силах помочь, мог бы принести вред, будь он повсеместным, мешая деятельному проявлению доброты, ограниченному теми рамками, в которых она действительно может принести пользу.

Здесь я чувствую неловкость от того, что говорю так долго, да еще и о самой себе. Я так часто разделяла скуку слушателей, вынужденных или добровольно внимающих длинным речам, что постараюсь закончить, если это возможно. Чтобы прийти к какому-то выводу, я резюмирую три мнения, которые мы здесь обсуждаем.

Начну с апологии религиозности.

«Многие полагали, что религиозные принципы - это единственные достойные мотивы для наших поступков. Они утверждают, что ни благодарность не должна быть наградой, ни негодование - наказанием. Мы не должны защищать слабость наших детей или помогать близким в их немощах лишь в силу естественной привязанности. Все чувства в нашем сердце должны угаснуть, уступив место другому, которое поглотит их все - любви к Богу, или желанию угодить Ему и во всем привести свое поведение в соответствие с Его волей. Мы не должны быть признательными из благодарности, милосердными из человеколюбия, патриотами из любви к отечеству, или щедрыми и справедливыми из любви к людям; нашим единственным принципом и мотивом при исполнении всех этих обязанностей должно быть осознание того, что так велел нам Бог».

Самолюбие уже ответило, что подобная система диктует условия, при которых люди могут надеяться на вхождение в число избранных в вечной жизни, но она выходит за рамки условий, необходимых для сохранения человеческого общества и даже для собственного спасения. Оно также установило, что рвение в достижении высшего совершенства ведет к заброшенности земных дел. Вероятно, именно поэтому христианство не пожелало, чтобы религиозное чувство было единственным принципом нашего поведения, а лишь одним из них. Поэтому я тоже говорю религиозности: Ваше царство не от мира сего. Этот же мир - наша забота.

Теперь мне нужно ответить Самолюбию. Самолюбие только что говорило религиозности: *«Откровение - это свершившийся факт, после которого остались неизменные правила; но разум, который служит мне проводником, - это творение, неустанно повторяющее человеку законы и правила Творца; он повторяет их ежесекундно, каждому и по любому поводу»*.

Оно добавило: *«Я не только избегаю оскорблять себе подобных видом или соприкосновением с моими пороками, но и следую совету разума, который велит мне от них освободиться. Мне достаточно заметить, насколько мне отвратительны пороки других, чтобы почувствовать, какое омерзение должны вызывать у окружающих мои собственные. Чувства и опыта достаточно чтобы просветить мой разум относительно уродства порока»*.

Цитируется Николя, который говорит: *«Человеческая порядочность не всегда сопровождается формальными и явными доводами; она часто пробуждается от одного лишь мимолетного взгляда на то, как нас судят другие, и под влиянием неких скрытых склонностей, которые мягко склоняют сердце к добру. Привычка смотреть на определенные поступки как на способные привлечь к нам расположение достойных людей приводит к тому, что ум представляет их нам именно в таком свете, сами не зная почему»*.

Но разум не является способностью, неотделимой от самолюбия. Разум не есть непогрешимый проводник. Он не является внимательным, бдительным и чутким стражем, преграждающим путь страстям или сражающимся с ними. Разум нуждается в том, чтобы его информировали, наставляли и снабжали знаниями, которыми он должен обладать. Это я наставляю его, я предупреждаю его, что нужно учиться. Это я велю ему действовать. С моей помощью он действует и работает. Я предшествую ему, я нахожусь там, куда он направляется, я заменяю его там, куда он не может добраться.

Одним словом, самолюбие присваивает себе разум как одну из своих зависимых частей; разум же, напротив, нуждается в том, чтобы принадлежать самолюбию и находиться под его властью. Но это я привожу его в порядок и примиряю с собой. Это я просвещаю разум, совершенствую его, обогащаю его, страхую и укрепляю его авторитет.

Я и есть то самое «почему», на которое указывает Николя как на неведомую причину, заставляющую наш ум вовремя представлять нам определенные поступки как способные привлечь к нам расположение достойных людей и склонять нас к ним. Я и есть тот мимолетный взгляд на суждения о нас. Я и есть та скрытая склонность, которая мягко склоняет сердце к добру.

Если разум делает вывод - и совершенно справедливо - из отвращения, которое я питаю к чужим порокам, что окружающие должны испытывать то же самое к моим, то именно я чувствую эту истину; именно моё чувство дает его суждению основания, основывает его логику на своих предпосылках и выводах. Эта истина живет во мне раньше, чем в нем: она получает эту истину только от меня. Это я распознаю через чувство и первой замечаю отвратительность чужого порока из сострадания к его жертвам. Это я через чувство узнаю об отвратительности моих собственных пороков по их воздействию на страдающих людей; именно через меня в уме соединяются эти две идеи: порок и страдание, добродетель и счастье. Союз самолюбия и разума был бы бесплодным, если бы они не сближались через боль и удовольствие: через боль, которая требует облегчения, и через удовольствие, которое есть не что иное, как окончание боли. Эти ощущения боли и удовольствия принимаю я, и я же передаю их и рекомендую разуму, который советует самолюбию прислушаться к урокам, которые оно извлечет из них, и которому я сама часто сообщаю новые и незамедлительные сведения (Издание Блаве, т. II, с. 179).

«Удовольствие и боль - величайшие объекты желания и отвращения. Но их различает вовсе не разум, а чувство и непосредственное ощущение. Следовательно, если добродетель желанна сама по себе или ради нее самой, а порок точно так же является объектом отвращения, то причиной тому может быть не разум, а именно чувство и непосредственное ощущение, которые изначально различают эти разные качества... Доктор Хатчесон с точностью определил (в своих разъяснениях о „нравственном чувстве“), каким образом моральные различия проистекают не из разума, а основываются на чувстве и непосредственном ощущении».

Самолюбие или личный интерес, столь решительно поддерживаемые Гоббсом, Пуфендорфом и Мандевилем, не могут объяснить моральное одобрение или неодобрение лучше, чем чистый разум. Мы восхищаемся Катоном, мы ненавидим Катилину, ничего не надеясь от одного и не боясь другого, не принадлежа ни к тому времени, ни к той стране, где они были полезны или вредны. Человек сочувствует женщине, страдающей от родовых мук; он сопереживает горю отца, потерявшего сына, хотя у него самого может не быть детей. Этот интерес не имеет ничего общего с ним самим; этот интерес - сопереживание чувству другого человека: это симпатия (сочувствие), это я.

Тут **самолюбие** дало услышать некоторый ропот. Симпатия в удивлении вздрогнула и на мгновение замерла. Она повернулась к Самолюбию и тихим, взволнованным голосом произнесла следующие слова: «Прошу вас, объяснитесь без стеснения; у меня не было ни малейшего намерения вас обидеть; я искренне искала истину, чувствуя, что в этом поиске полностью согласна с господином председателем Академии моральных и политических наук, которого мы выбрали судьей. Говорите, прошу вас. Если я признаю свою ошибку, я не заставлю вас ждать признания. Если же я останусь при своем мнении, я также буду упорствовать в своих выводах».

Самолюбие берет слово и выражается так: *«Я не вижу, что мешает мне называть сочувственными те суждения, которые я выношу. Я с удовольствием или с болью вспоминаю о Катоне. Память о добродетели, столь чтимой в Риме, заставляет меня чувствовать интерес, который моя страна имела бы в обладании такими людьми, как Катон. Я сопереживаю мукам родов, потому что мысль о конкретном страдании напоминает мне общую идею страдания, и интерес к самосохранению извлекает пользу из всего, что предупреждает о страхе боли»*.

Симпатия ответила так. Откровенно говоря, способность, которую вы только что описали, - это способность радоваться или страдать в самом себе по поводу удовольствия или боли другого человека. Та же способность, которую я называю своей собственной, заключается в том, чтобы радоваться или страдать в других; так что если между нами и есть что-то общее, так это то, что самолюбие - это симпатия наоборот. Мое отличие покажется вам тонким на первый взгляд, но я сейчас сделаю его очевидным. Когда я вижу страдание, моим первым порывом будет прийти на помощь; когда же Самолюбие видит страдание, его первым порывом будет подумать о себе.

Крики рожающей женщины заставляют Самолюбие сказать, что несчастна та, кому довелось быть женщиной, и на этом оно останавливается. Хотите ли вы увидеть сочувствие? Добавьте к Самолюбию чувство привязанности к страдающей женщине; пусть ее крики доходят до сердца отца, матери или мужа, которые ее обожают, и тогда уже не одно Самолюбие будет встревожено, тогда это будет сочувствие. Оно последует за кризисом, будет метаться и успокаиваться вместе с больной, разделять ее тревоги, облегчение от избавления и то благополучие, которое обычно за ним следует.

Когда мадам де Севинье писала своей дочери: «Этот северный ветер причиняет мне большую боль в вашей груди», она выражала мое чувство, она выражала сочувствие.[45] Если бы она сказала: «Мысль о том зле, которое этот ветер причиняет вашей груди, причиняет много зла моей», она бы выразила сочувствие Самолюбия «наоборот».

Это перевернутое сочувствие, без сомнения, не является ни злонамеренным, ни оскорбительным; это всегда достойная и ценная способность, которой требуется время, необходимое для того, чтобы прийти к согласию с разумом. Моя же способность, я полагаю, может без этого обойтись.

Смит не совсем так понимает значение наших имен собственных, и не имеет точно такого же представления о наших характерах; но я полагаю, что он нашел бы мое объяснение более ясным, чем свое собственное. Как бы то ни было, он признает сочувствие только как эмоцию воображения, которая заставляет человека страдать или радоваться за другого. (Часть 7, раздел 3, глава 1, издание мадам де Кондорсе). *«Если я печалюсь,* - говорит он, - *или если я радуюсь вместе с вами, это происходит не потому, что я предполагаю некую причину горя или радости, относящуюся к моей собственной персоне; это происходит потому, что я вижу то, что случается с вами. Это не потому, что я представляю себе, что я чувствовал бы, если бы эти причины воздействовали на меня; а потому, что я представляю себе то, что я чувствовал бы, будь я на вашем месте. Я страдаю или радуюсь за вас, а не за себя»*.

Мне кажется более верным сказать, что самолюбие осознает страдания и радости других, но лишь я разделяю их; что для него они служат предупреждением о том, что нужно подумать о себе, для меня же это чувство, которое распространяется на других; что они могут служить ему вескими доводами для его поведения, для меня же они являются чувствами, побуждениями; что они могут быть для него удачными случаями сделать добро, для меня же они - потребность.

Разум, говорит самолюбие, - это порождение, которое неустанно повторяет человеку законы Творца: я этого не отрицаю; он повторяет их, развивает, излагает, но делает это по моему велению; он вводит их в действие, но лишь как мой подчиненный помощник; он дает мне поддержку и передышку, но я принимаю их как залог безопасности, а не как необходимость; он часто засыпает, им часто овладевают страсти или он борется с ними; я же всегда бодрствую, всегда начеку, всегда в движении; он часто сбивается с пути из-за местных предрассудков, омрачается предвзятостью времени; я же всегда и везде остаюсь неизменной; времена и страны для меня не имеют значения; я подобна человеческому роду - вечна и универсальна.

Смит причислил меня к первичным инстинктам, которые природа дала людям для сохранения и воспроизводства человеческого рода и его благополучия; он приравнивает меня к голоду, жажде, любви, стремлению к удовольствию и страху боли (с. 164, т. I, мадам Кондорсе);

[45] Вилларе, «История Франции», т. XVII, с. 368.

он называет меня непосредственным и инстинктивным чувством (с. 137 и далее); он заявляет, что я предшествую любому размышлению; что я - естественный мотив одобрения или порицания добра или зла (с. 160); естественный мотив и всегда актуальный, действующий без раздумий и обсуждений. Именно через меня Творец поставил человека судьей над самим же человеком (с. 273). Именно через меня Он наделил человека правом представлять Его на земле и следить за поведением себе подобных. *«Природа,* - добавляет философ-англичанин, - *учит нас признавать эту юрисдикцию, поскольку в силу самих законов нашей организации мы более или менее задеты и унижены порицанием, более или менее удовлетворены и горды одобрением»*.

Локк вовсе не говорил обо мне. Похоже, он причислил мои проявления к приятным или неприятным идеям, которые мы обретаем через ощущения или размышления, которые мы храним в памяти, как и все остальные, и которые воображение воспроизводит при случае с живостью, которой не было бы у памяти. Что касается моих действий, он, по-видимому, относит их к числу тех внезапных и непреднамеренных следствий внезапных проявлений воли, которые порождаются ощущением боли или удовольствия без какой-либо иной операции ума.

Моя привычная функция заключается в следующем: (1) Заставлять чувствовать сходства или различия между каждой личностью и остальными; (2) побуждать каждого из них умирать [ради других] через подражание тем, кто приятен, или из отвращения к тем, кто им противоположен; (3) фиксировать чувства, увековечивать движения, повторять действия - короче говоря, поддерживать волю через привычку. Во всех этих проявлениях я не завишу ни от размышления, ни от разума, ни от дедукции, ни от доктрины.

Я только что рассуждала больше, чем мне положено; я возвращаюсь, чтобы закончить, к своей привычке чувствовать и проявлять свои чувства. Если я имела несчастье проявить недостаток такта по отношению к моим противникам, возможно, я заслужу прощение тем признанием, которое собираюсь им сделать.

Дело в том, что, даже сопротивляясь их влиянию из списка авторитетов, управляющих миром, и при этом поддерживая свое существование, я разделяю уважение мира к ним. Все общие мнения, присущие многим людям, имеют надо мной власть. Отношение уважения, свойственное множеству людей, навязывает уважение и мне; любое почтение, этот трепет в моих глазах - чувство совести, которое может быть направлено лишь на те качества, что дороги и полезны человечеству. Когда я вижу коленопреклоненные толпы или людей, склонивших тела, мои колени подгибаются, мой лоб склоняется... и, вновь выпрямляясь с чувством собственного достоинства, я благословляю и боготворю созидательное начало человеческого рода, которое наделило его столь разнообразными способами подчинять умы ради их собственного счастья.

На этом рассуждение о сочувствии заканчивается; обсуждение было закрыто без каких-либо возражений. Мне потребовалось три дня, чтобы вынести свое третейское решение. Когда стороны снова явились ко мне на слушание, я сказал им:

— У всех вас троих одна и та же цель - человеческое счастье; все вы трое проповедуете одну и ту же мораль. Вы различаетесь лишь средствами, которые используете для того, чтобы заставить людей следовать этим наставлениям. Одна опирается на веру, другой - на разум или мысль, а третья - на чувство. Принимая во внимание, что: Есть умы, рожденные верить; другие чтобы размышлять; а третьи чтобы чувствовать; и, наконец, есть те, кто сочетает в себе все три этих преимущества. Я полагаю, что разнообразие человеческих умов требует и разнообразия подходов к обучению людей. Идите же с миром и пусть каждый следует своей судьбе. Я упомяну о вас в Академии моральных и политических наук и представлю ваши доводы и мое решение на ее просвещенный суд.

(Из 5-го тома собрания сочинений, написано в июне 1834 года)

Отрывок из «Теории нравственных чувств» Адама Смита

(Примечание издателя). Мой отец придавал огромное значение этому труду; он посвятил ему много времени, о чем свидетельствует множество статей, включенных в данное собрание. Тем не менее, заметив, в каком пренебрежении находилось это сочинение, он изложил причины подобного холодного отношения в своем «Уведомлении о новом переводе, выпущенном госпожой де Кондорсе». *«Причина этого,* - писал он, - *несомненно, заключается в том, что Смит выстроил все свои наблюдения на ложной системе. Он пытался найти ту способность, из которой проистекают все явления нашей нравственной привязанности, вне системы человеческого разума, вместо того чтобы показать, каким образом она является его частью... Ошибочность этой системы вполне ощутима... ведь если признать за Смитом, что чувство долга рождается в нас из симпатий и антипатий, то логично спросить: а откуда же берутся сами эти симпатии и антипатии?..».*

«Однако, - добавляет далее мой отец, - *какие сокровища фактов, наблюдений и анализа предлагает этот труд науке о морали! И не только благодаря самому составу наставлений, но и благодаря тому, как эти наставления проникают в волю и направляют наши привычки. Какая прозорливость восприятия, какая тонкость взгляда, какая точность анализа и изящество стиля во всех тех частях, где автор рассматривает природу и меру чувств, которые мы испытываем, наблюдая за различными переживаниями себе подобных!»*.

В «Предуведомлении», предваряющем перевод труда Смита, выполненный госпожой де Кондорсе в 1798 году, можно прочесть следующее: *«Незадолго до своей смерти Смит пересмотрел "Теорию нравственных чувств"... труд, в который он внес весьма значительные дополнения и существенные изменения. Новый перевод, предлагаемый публике, выполнен по последнему изданию, и в нем была насущная необходимость»*.

Мой отец уже давно составил «Аналитическое краткое изложение» этого труда на основе издания в переводе Блаве. Часть этого извлечения со временем стала бесполезной из-за многочисленных и важных изменений, внесенных в работу самим Смитом. Отец возобновил свои изыскания, придав им иную форму, уже на основе перевода госпожи де Кондорсе. Рукопись этой новой работы начинается лишь с пятой главы указанного перевода - либо потому, что несколько страниц были утеряны, либо потому (и у меня есть веские основания так полагать), что отец планировал завершить труд, адаптировав к нему все то, что он ранее написал о «сочувствии» (симпатии).

Эта тема является основным предметом тех четырех глав, которые он здесь не затрагивает. С другой стороны, «Аналитическое краткое изложение», о котором я только что говорил, хоть и было, несомненно, полным, не сохранилось целиком, так как несколько тетрадей затерялись. Тем не менее, желая опубликовать здесь этот важный труд, я постарался сделать его законченным. Для этого я взял из «Аналитического изложения», составленного ранее по переводу Блаве, те фрагменты, которых не хватало в экстракте по переводу госпожи де Кондорсе. Это оказалось весьма удобным, поскольку лакуны в одном тексте и лакуны в другом, к счастью, не всегда относятся к одним и тем же местам. Об этом полезно предупредить, чтобы не удивляться резким переменам в стиле и форме изложения.
Я разбросал там и тут в примечаниях отдельные фрагменты, которые явно относились к соответствующим местам этого труда, так что его можно считать полным; я могу лишь сожалеть об улучшениях, которые он неизбежно претерпел бы, если бы был пересмотрен самим автором.

Аналитическое изложение Теории нравственных чувств Смита.

ЧАСТЬ I. - РАЗДЕЛ I. - О чувстве приличия.

ГЛАВА I. - О сочувствии.

Какую бы силу ни приписывали личному интересу, в человеческой природе, несомненно, заложены иные принципы, которые заставляют человека интересоваться судьбой других, и делают чужое счастье необходимым для него самого, даже если он не извлекает из этого ничего, кроме удовольствия видеть их счастливыми. К этому роду чувств относится жалость. То, что чужое несчастье нас огорчает - неоспоримая истина. Даже самый закоренелый преступник не лишен полностью чувства жалости.

Воображение - это та способность, в которой берет свое начало жалость. Воображение не может представить нам иных чувств, кроме тех, что мы уже когда-то испытывали. Оно пробуждает их; оно ставит нас на место страдающего человека, поскольку напоминает нам о наших собственных страданиях в прошлом. Оно, так сказать, вводит нас в самое его существование; оно отождествляет нас с ним, и мы действительно испытываем часть того, что чувствует он сам. Мы содрогаемся за него и разделяем его муку в той или иной степени, в зависимости от живости и силы нашего воображения. Когда мы видим, как кому-то наносят удар по руке или ноге, мы непроизвольным органическим движением отдергиваем собственную руку или ногу; мы сами оказываемся поражены и чувствуем этот удар. Если смотреть на упражнения канатоходцев, люди совершают те же движения, что и они, просто чтобы сохранить равновесие. Многие люди, глядя на раны, испытывают болезненное ощущение в соответствующей части собственного тела. У людей начинают болеть глаза, когда они смотрят на больных глазами.

Все эти наблюдения доказывают то участие, которое мы принимаем в горестях наших ближних. Но мы проявляем интерес не только к их горестям; мы сопереживаем также их радостям, их благодарности верным друзьям, их негодованию против неблагодарных и коварных людей. Чтобы доказать это, достаточно вспомнить то впечатление, которое производят на нас романы и театральные пьесы.

Слово «сочувствие» (*sympathie*) может быть использовано для обозначения нашего участия в любых чувствах другого человека, какими бы они ни были - приятными или тягостными; его также можно понимать как чувства, выражаемые словами «сострадание», «жалость», «интерес». (Это последнее слово можно было бы заменить на «любезность» или «разделенное удовольствие», если бы оно не было искажено повседневным употреблением и не утратило свой первоначальный смысл).

Сочувствие часто возникает при одном только виде эмоций, которые мы замечаем у другого, даже если не знаем их причины. Мы разделяем радость или печаль, просто увидев смеющееся или грустное лицо. Такое сопереживание на самом деле слабее, чем когда мы знаем и одобряем его причину.

Поскольку мы сочувствуем страданиям, мы испытываем отвращение или антипатию при виде страстей, грозящих насилием; это зрелище заставляет нас симпатизировать людям, находящимся под угрозой, хотя они нам и неизвестны.

Вид человека, кипящего от гнева, настраивает нас против него, и сочувствие тут же выступает в пользу его врагов, кому бы ни угрожала его ярость. Природа сделала нас более склонными разделять мягкие чувства, чем гнев или негодование. Мы разделяем гнев только тогда, когда знаем его причины и находим их справедливыми.

Наше сочувствие радости или печали, причин которых мы не знаем, весьма несовершенно; это скорее предрасположенность к сочувствию, чем полное сочувствие. Следовательно, в этом случае сочувствие проистекает не столько из зрелища самой страсти, сколько из вида обстоятельств, которые её вызывают. (Нельзя ли рассматривать это как проявление другого принципа - склонности к подражанию?)

Иногда мы чувствуем за другого страсть, на которую он не способен; например, мы краснеем за бесстыдство и грубость человека, который не имеет ни малейшего представления о приличиях или вежливости.

Другой пример: мы испытываем чувство грусти, видя безумца, который только смеется и поет, совершенно не осознавая своего падения.

Еще пример: мы сочувствуем мертвым; нам больно за них из-за того, что они исключены из общества, лишены света, стали пищей для червей и в скором времени будут стерты из сердец самых близких родственников и друзей; мы переносим свою душу в их бездыханные тела.

ГЛАВА II. - *Об удовольствии, которое доставляет нам сочувствие окружающих, и о нашем сочувствии им.*

Ничто не радует нас больше, чем вид других людей, разделяющих эмоции нашего сердца, и ничто не шокирует сильнее, чем обратное.

Обычно это явление приписывают самолюбию, которое радуется всему, что обещает нам поддержку других, и огорчается всему, что предвещает их противодействие.

Но как объяснить личным интересом унижение человека, который обнаруживает, что только он один смеется над собственной шуткой, или восторг того, кого слушают с весельем?

Другой случай: мы находим удовольствие в том, чтобы перечитывать вместе с кем-то книгу, которой уже пресытились из-за многократного чтения. Мы забавляемся, сопереживая чужому интересу. Нам было бы больно, если бы это чтение показалось собеседнику скучным: оживление компании подпитывает наше собственное, а его молчание заставляет нас терять самообладание.

Сочувствие увеличивает радость и, напротив, уменьшает боль. Поэтому мы больше стремимся делиться с друзьями своими мучительными чувствами, нежели приятными ощущениями; нас больше льстит их сочувствие первым и сильнее шокирует его отсутствие.

Рассказ о своих бедах сострадательным друзьям облегчает участь несчастных, хотя он и напоминает о мельчайших подробностях и заставляет их слезы литься в изобилии. Сочувствие, которое они вызывают, вновь пробуждая их горесть, в то же время смягчает ее горечь.

Мы больше жаждем, чтобы друзья разделяли наше негодование, нежели нашу любовь. Нас оскорбляет их безразличие к первому, но мы не обижаемся, если они не разделяют нашу благодарность. Они могут позволить себе не быть друзьями наших друзей, но им трудно не быть врагами наших врагов. Нам достаточно любви и её радостей, чтобы наполнить душу; но мы нуждаемся в утешении сочувствием в печалях и в тягостных чувствах ненависти и негодования.

Мы находим удовольствие в сочувствии страждущим, и это удовольствие вознаграждает нас за страдания, которые мы разделяем. Нам больно чувствовать себя бесчувственными к их горю, и именно по этой причине мы называем слабостью и малодушием проявление их страданий. Мы отказываемся разделять безмерную радость и клеймим её легкомыслием и безумием.

Замечания к этой главе. - Может ли автор всерьез считать удовольствием сочувствия то, что заставляет нас ощущать симпатию других к нам? Чтобы наслаждаться удовольствием, которое другой находит в нашей радости, достаточно лишь любви к самим себе. И как объяснить с помощью сочувствия то удовольствие, которое мы испытываем, видя, что другие разделяют наши страдания? Иными словами, каким образом сочувствие заставило бы нас находить удовольствие в той боли, которую мы передаем другому? Лишь личный интерес может объяснить это удовольствие. - Гельвеций прав в споре с автором в этой главе, если даже он неправ в первой.

ГЛАВА III. - *О том, как мы судим о соразмерности или несоразмерности чувств других людей по их противоречию или соответствию нашим собственным.*

Зритель моего негодования, моего горя, моего восхищения картиной или моего удовольствия от шутки одобряет все эти чувства, если испытывает их в той же степени, что и я.

— Если же, напротив, я проявляю свое негодование сильнее, чем простирается его возмущение; если моя скорбь превосходит ту, которую внушает ему самое нежное сострадание; если моё восхищение выходит за пределы его собственного; если я хохочу во всё горло, когда он лишь улыбается, или если я ограничиваюсь лишь улыбкой, когда он заливается смехом, - он не одобряет мои чувства, считая их несоразмерными их объекту. Таким образом, именно симпатия является той мерой, по которой мы судим, одобряя или осуждая; вернее, она и есть само наше суждение. Одобрять чувства другого - значит разделять их; разделять их - значит одобрять.

Чувство или сердечную привязанность, из которых исходит любое действие и которые в конечном счёте определяют его как порок или добродетель, можно рассматривать с двух сторон: во-первых, относительно их причины или мотива; во-вторых, относительно цели, которую они преследуют.

Необходимо различать заслугу действий и их уместность (или приличия), то есть отличать действия достойные от действий приличных или подобающих. Точно так же следует разделять действия неуместные и действия предосудительные, наказуемые, лишающие заслуг.

Приличие, уместность или мера заключаются в пропорциональности чувств вызвавшим их причинам. Всё, что выходит за эти рамки, является неуместным, неподобающим, несоразмерным.

Заслуга же заключается в направленности действий на благодеяние или общую пользу. Напротив, действия, направленные во вред, составляют вину, порок или преступление.

Современная философия занималась исключительно целями действий, а не связью чувств с их причинами. Однако повседневный жизненный опыт учит нас, что мы постоянно судим людей и их поступки по мере, уместности и приличию их действий или слов, равно как и по их направленности и цели, к которой они стремятся. Каждый день можно услышать: «У его друга недостаточно достоинств, его несчастье не так уж серьёзно, а обида, на которую он жалуется, не настолько тяжела, чтобы оправдать столь бурную страсть» и так далее.

Чтобы судить о чувствах по их соразмерности или несоразмерности причине, нам едва ли доступно иное правило, кроме наших собственных соответствующих чувств. Мы одобряем в других лишь те чувства, которые соразмерны нашим собственным.

«Каждая способность в человеке является мерой, по которой он судит о такой же способности в другом. Мои глаза - судьи вашим глазам, моё ухо - вашему уху, мой разум - вашему разуму, моя ненависть - вашей ненависти, моя любовь - вашей любви; у меня нет и не может быть иного способа судить о вас» (Смит, с. 29).

Отсюда следует вывод, что только симпатия является судьёй во всём, что касается уместности, приличия и меры.

ГЛАВА IV. - Продолжение той же темы. - О нашем согласии с мнениями или вкусами окружающих.

В вещах, не затрагивающих личных интересов, мы одобряем суждение другого не потому, что оно *полезно*, а потому, что оно верно, точно, соответствует истине и реальности. Очевидно, что мы приписываем ему эти качества только потому, что оно совпадает с нашим собственным суждением. - Точно так же наше первое побуждение одобрить вкус другого человека вызвано не тем, что этот вкус полезен, а тем, что он правилен, тонок и соответствует своему предмету. Мысль о полезности приходит лишь в результате размышления, задним числом.

Обыденный вкус - верный, но лишённый изящества и тонкости - встречает одобрение, однако такое одобрение не заслуживает названия симпатии. Но вкус утончённый и деликатный, просвещённый и развитый, который обогащает наш собственный вкус, вызывает наше восхищение. Он заставляет нас замечать невидимые ранее красоты в предмете, который мы и так считали прекрасным; такой вкус внушает нам восхищение благодаря чувству удивления, которое он добавляет к нашему одобрению.

В делах, затрагивающих личные интересы, сохранить гармонию и согласие между нами и людьми, вовлечёнными в эти дела, гораздо труднее и важнее.

Я не стану ссориться с другом из-за разногласий по поводу достоинств какой-нибудь картины. Но если он не проявляет чувствительности к моим несчастьям, если он не чувствует негодования по поводу нанесённых мне обид, мы становимся невыносимы друг для друга.

Впрочем, чужое горе никогда не затрагивает в той же степени, что и личные страдания, которые затрагивают нас лишь на время. Пострадавший прекрасно это понимает, и всё же он жаждет более полного и продолжительного сочувствия, видя в нем облегчение. Потребность в том, чтобы сердца других откликались на его собственные эмоции в тяжелые минуты, заставляет его сдерживать свою страсть до того уровня, который, по его мнению, может вызвать сострадание, - ведь он знает, что оно не может быть столь же сильным, как первоначальная боль. Таким образом, два различных чувства могут в достаточной мере соответствовать друг другу для поддержания гармонии в обществе; они согласуются, не сливаясь в унисон, и большего не требуется.

«Природа, которая побуждает зрителей проникаться обстоятельствами, в которых находится главный герой, также в некотором роде показывает последнему, как проникаться обстоятельствами зрителей» (Смит, страница 38). *«Именно поэтому разум редко бывает настолько встревожен, чтобы общество друга не вернуло ему определенную степень спокойствия и хладнокровия»* (с. 39). Этот друг делает для несчастного всё, что в его силах. Со своей стороны, несчастный старается как можно меньше беспокоить друга, который в глубине души чужд его горю; он пытается смотреть на вещи глазами этого друга, чтобы события казались менее прискорбными; он понимает, как трудно сопереживать событиям, последствия которых никак не меняют положения его друга, и старается сосредоточить свои мысли на общих чертах своей ситуации, которые тот способен постичь.

Перед незнакомцами мы сдерживаемся еще сильнее и стараемся подчинить нашу страсть тому уровню, на котором можем ожидать сочувствия с их стороны. Отсюда следует, что общество является мощным лекарством против тягостных душевных переживаний.[46]

Отрывок из «Теории нравственных чувств» Смита.

Об усилии наблюдателя войти в чувства заинтересованного лица, а также из усилия последнего подняться до уровня наблюдателя, рождаются два различных рода добродетелей:

(1) **Добродетели любезные, мягкие, благожелательные**, естественная снисходительность и милосердное человеколюбие;

(2) **Добродетели почтенные и строгие**, бескорыстие, умеренность, самообладание, уважение к собственному достоинству и чести.

Мы разделяем ту признательность, которую внушает сочувствие столь нежного друга. Легко утомляясь от вспышек безрассудного горя, мы сохраняем всё наше почтение и уважение к той безмолвной и благородной печали, которая, несмотря на сдержанность выражения, проявляется в изменении черт лица и в унынии во взгляде. Она вызывает в нас благоговейное и внимательное преклонение, заставляющее избегать всего, что могло бы нарушить эту видимость спокойствия, которая является как минимум передышкой от боли.

[46] Гарнье, «История Франции», т. XIX, с. 213 и 214.

Точно так же, если вид дерзкого и грубого гнева оскорбляет нас, то гордость, мужество и умеренность, которые проявляет обиженный человек по отношению к своему обидчику, заставляют нас сопереживать его обиде и желанию восстановить справедливость (с. 39, 40, 41).

Любезные добродетели рождаются из чувствительности выше обычного уровня, из нежности и изысканной утонченности. Героические и почтенные добродетели рождаются из превосходства характера над самыми необузданными страстями.

Существует большая разница между добродетелью и простым приличием: первая достойна восхищения, второе - только одобрения. Первая требует необычайной силы, а второе - лишь обычной умеренности.[47]

Существуют страсти, к которым трудно проявить сочувствие, и другие, вызывающие у нас живой отклик. Страсти, берущие начало в определенном состоянии тела, относятся к первому типу. Мы мало сочувствуем голоду, хотя прекрасно понимаем, как мучительна потребность в пище. Живое выражение радостей любви, даже в браке, уязвляет нас, хотя сопереживание этому удовольствию вполне естественно. Это происходит не потому, как полагали некоторые древние философы, что физические потребности общие у людей и животных (ведь многие моральные качества также им присущи); причина в том, что, когда наши аппетиты удовлетворены, их объект перестает быть нам приятен. Когда мы поели, мы велим убирать со стола. Власть, которую мы обретаем над этими потребностями, зовется умеренностью. Крики, вызванные физической болью, трогают нас слабо, потому что они не рождают страдания в нашем собственном теле. Его устройство лишь незначительно подвержено изменениям, происходящим в чужом организме.

Со страстями, рожденными воображением, всё обстоит иначе, нежели с телесными. *«Воображение более гибко и не так легко подстраивается под форму и расположение воображения тех, кто имеет со мной какое-то отношение»*. Превратности любви и амбиций вызывают у нас более живое сочувствие, чем самые великие телесные страдания. *«Наше воображение в некотором роде само формируется по подобию воображения другого человека, в то время как наше тело не подстраивается под его тело»*.[48] Потеря возлюбленной может стать темой для трагедии; потеря ноги стала бы в ней лишь нелепостью. Ничто не забывается так легко, как физическая боль; но неосторожное слово друга может ранить нас на долгие годы. Физическая боль, сопряженная с опасностью, трогает нас сильнее, чем боль острая, но не опасная. Страх рождается в воображении; он играет на надежде и всех её превращениях. Рана, перелом, разрыв с кровотечением трогают меня больше, чем внутренние боли при подагре или ревматизме. Наконец, человек привыкает к анатомическим вскрытиям и ампутациям, тогда как трагедия волнует вас на двадцатом представлении так же, как и на первом.

В правила приличия и благопристойности вошло не выражать свои физические страсти или фантазии более живо, чем того требует сочувствие окружающих. Именно дефицит сочувствия к физическим недугам породил мужество и терпение. Не имея возможности получить сострадание за само зло, человек захотел добиться его через способ, которым он это зло переносит: через восхищение и симпатию, которые являются обычной наградой за эти добродетели, проявленные в жестоких страданиях (с. 56).

Нам всегда кажутся немного нелепыми нежности влюбленных; хотя любовь - страсть всеобщая, мы не желаем разделять ту исключительность, которую влюбленный переносит на другого. Мы не склонны сопереживать страсти, которая не допускает участия. Влюбленный кажется милым лишь своей избраннице; поэтому влюбленные с легкостью говорят о своих

---

[47] Дюкло точно указывает дату помолвки и брачного контракта Людовика XII с Жанной Французской. Контракт о помолвке датирован 19 мая 1464 года; брачный контракт был заключен девятью годами позже. (*«История Людовика XI», т. II, с. 414.*)

[48] Вольтер писал госпоже дю Деффан 30 июля 1768 года: «Я совсем не люблю Тацита как историка. Я считаю Тацита фанатиком, блещущим остроумием... Но мне любопытно, я хотел бы знать права сената, силы империи, нравы, обычаи... Ничего этого я у Тацита не нахожу... Кроме того, у Тацита нет ни порядка, ни дат... Тацит меня забавляет, а Тит Ливий поучает и т. д.».

чувствах и о предмете своей любви. Мы быстро устаем от Петрарки; но веселость Овидия и галантность Горация нравятся всегда.

Любопытный факт: страхи, надежды и печали любви, которая нас совершенно не касается, трогают нас очень живо. Удовольствия, которые следует скрывать и чей образ или детали могли бы нас оскорбить, при удалении теряют в силу противоречия то, что в них было не слишком деликатным, и возбуждают большой интерес, будучи обращены в будущее.

Успех театральных пьес и романов служит подтверждением этой истины: всем известно, какое отвращение вызвали бы двое влюбленных, которые на сцене рассуждали бы только о своем блаженстве.

Те же самые наблюдения объясняют, почему женщины всегда являются персонажами самых интересных театральных пьес или романов. Страсть любви таит в себе тысячи опасностей, которые вовсе не касаются мужчин. Вспомните Федру: все побочные страсти, рождающиеся из ситуаций, в которых оказывается её преступная любовь, становятся от этого ещё более яростными и неистовыми.

Впрочем, какой бы нелепой ни казалась любовная страсть, в ней нет ничего возмутительного или отвратительного; она даже обычно сопровождается добрыми и приятными чувствами. *«В любви всегда присутствует постоянная примесь человечности, доброты, дружбы и уважения - привязанностей, к которым мы весьма склонны сопереживать»* (с. 62). Тем не менее, говорить о своих любовных чувствах следует лишь с осторожностью. Разумно поступать так же, когда речь заходит о наших друзьях, занятиях или профессии (с. 63). Именно забвение этой сдержанности разделяет общество на кружки, чуждые друг другу, из-за чего одна половина человечества так мало подходит другой.

Ненависть и негодование, хотя это страсти, порожденные воображением, как и их разновидности или аналоги, трогают нас с трудом по двум причинам:

1. Потому что сочувствие к обиженному человеку всегда слабее, чем само чувство обиды;
2. Потому что мы также испытываем своего рода сочувствие к обидчику.

Следовательно, эти чувства, которые Смит называет антисоциальными, должны быть крайне умеренными, чтобы окружающие могли их разделить; обиженный должен заслужить восхищение своей мудростью и долготерпением.

Это не значит, что обществу нужны трусливые сердца, нечувствительные к оскорблениям: таких людей презирают. *«Даже простые люди не могут выносить, когда кто-то терпеливо сносит надругательства и дурное обращение»* (с. 66).

Чувствительность к обидам полезна и даже необходима для общественного порядка. Оскорбление должно быть сопряжено с опасностью, и должны существовать интересы, стоящие на страже правосудия.

И все же человеку не прощают ни гнева, ни внезапной вспышки ярости. Их считают противоречащими уважению к зрителям. Люди хотят видеть отмщение лишь в отдаленном будущем: спокойствие сегодня, месть - позже. Только на таких условиях её принимают и желают. Это удовольствие, которое можно вкушать лишь издалека.

К карательным или мстительным учреждениям не относятся с тем же сочувствием, что к пострадавшим. Вид тюрьмы всегда вызывает лишь тягость, и мы не находим утешения в мысли о будущем и постоянном благе, которое она призвана принести.

Тюрьма в этом отношении отличается от дворца: дворец радует глаз в тот момент, когда я на него смотрю, хотя я и знаю, что должен сожалеть о его пагубном влиянии на нравы страны из-за роста роскоши.

Воображение редко ищет печальные, пусть и отдаленные, последствия предметов, которые внушают радостные мысли, и приятные последствия тех, что пробуждают мысли печальные. Трофеи, состоящие из скальпелей и трепанов, были бы нелепыми и неприятными украшениями, хотя их цель - проводить полезные и важные операции. Оружейные же трофеи, хотя они и состоят из инструментов разрушения и боли, нравятся нам, потому что первые ассоциации, которые они вызывают, - это славные идеи силы, храбрости, доблести и победы.

У стоиков было учение, призванное уменьшить ужас перед пороком: они рассматривали пороки и безрассудства людей как необходимую часть мирового плана. Они не считались с текущим злом - единственным, что нас задевает, - ради будущего блага, расположенного на слишком большом расстоянии, чтобы воздействовать на наше воображение.

Это наблюдение применимо ко всем антисоциальным страстям. Жалобный голос нужды или веселое выражение лица привлекают нас, тогда как диссонирующие и яростные звуки гнева внушают страх и отвращение. Похоже, намерение природы заключалось в том, чтобы эти резкие и неприятные чувства передавались редко и с трудом.

Впрочем, они не менее мучительны для того, кто их испытывает, чем для наблюдателя. В них есть нечто судорожное, что потрясает душу. Разумно избегать их. Незначительные обиды следует презирать.

«Не сила нашего негодования должна служить мерилом нашего возмущения, но ощущение того, чего другие требуют и ожидают от нас. Нет такой страсти, в которой мы должны были бы сомневаться больше, которой мы должны были бы предаваться с большей осмотрительностью и которая должна была бы заставлять нас с большим вниманием обдумывать, каким будет чувство спокойного и беспристрастного наблюдателя» (А. Смит, «Теория нравственных чувств», перевод мадам де Кондорсе, издание в 8-ю долю листа, 1798 г, с. 74 и 75).

Подобно тому как симпатия ослабевает, разделяясь между неистовыми страстями и людьми, которые являются их объектом, она удваивается в пользу приятных чувств. Это происходит потому, что она проявляется в полной мере и по отношению к тому, кто их испытывает, и по отношению к тому, на кого они направлены; а также потому, что эти чувства возрастают в обоих благодаря взаимности. Мы наслаждаемся сразу двумя удовольствиями, и оба они удваиваются.

Мягкие страсти никогда не вызывают неприязни, даже в своих крайностях. Слишком нежная мать, чересчур снисходительный отец, излишне преданные друзья могут иногда вызывать сочувствие, но никогда - осуждение или ненависть. *«У крайней доброты есть лишь один недостаток: она бесполезна для мира, потому что мир её недостоин»* (с. 80).

Между социальными и антисоциальными страстями стоят страсти личные, такие как радость или горе от удачи или неудачи. Мы более склонны сопереживать скромным радостям такого рода и очень большим горестям. Внезапное богатство вызывает неприязнь, поэтому здравомыслящий выскочка скрывает или сдерживает свою радость. Несмотря на его сдержанность, ему трудно понравиться: он возбуждает зависть тех, над кем возвышается, и презрительную гордость тех, с кем сравнялся.

«Если большая часть счастья, к которому способен человек, заключается в глубокой уверенности в том, что его любят, то внезапное возвышение редко способствует нашему благополучию. Гораздо счастливее тот, кто продвигается постепенно, кого общественное мнение сопровождает на каждой ступени успеха, кто избавлен от всякого упоения при достижении цели и защищен от ревности тех, к кому он приблизился, и от зависти тех, кого он оставил позади».

С порывами веселья и обычными жизненными развлечениями дело обстоит иначе, чем с великим и внезапным процветанием. Мы весьма охотно сопереживаем легкомысленным удовольствиям. Юношеское веселье, его готовность радоваться тысяче пустяков заставляют даже стариков забывать о том, что они приближаются к концу жизни, отвлекают их от недугов и напоминают им об их собственной юности.

Наше сочувствие горю противоположно тому, что мы испытываем к великим радостям и веселью повседневной жизни. Мы разделяем большие беды, а над мелкими горестями смеемся. Когда мужчиной помыкает жена, когда человека обманывает друг или предает возлюбленная - всё это лишь поводы для насмешек. Досада из-за оплошности слуги, чья-то невежливость в обществе, невнимательность друга, плохая погода, разбитые сельские дороги, опоздание на встречу - всё это становится предметом шуток и смеха. Всеобщая язвительность находит в этом забаву. Потому и светские люди первыми смеются над мелкими неприятностями,

которые с ними случаются; они ведут себя так, как вели бы себя по отношению к ним другие, если бы они приняли эти пустяки близко к сердцу.

«Наше сочувствие великим горестям других, напротив, очень сильно и искренне; мы плачем на трагедии... Живое сочувствие заставляет ваших друзей спешить к вам на помощь, если какое-то непредвиденное событие ввергает вас в нищету, какая-то потеря - в горе, какая-то немилость - в одиночество» (с. 87).

Тем не менее, не стоит убеждать себя в том, что мы сочувствуем горю настолько сильно, чтобы ощущать его так же, как сама пострадавшая сторона. Наше сочувствие горю, хотя оно и более универсально, чем сочувствие радости,[49] далеко от той полной симпатии, из которой рождается одобрение. Наше сочувствие радости также не равно исходной радости, но оно ближе к ней, чем сопереживаемое горе - к горю настоящему.

Почему сочувствие горю более живое и ощутимое, чем сочувствие радости или удовольствию, хотя последнее ближе к первоначальной эмоции? Дело в том, что страдание по своей природе ощущается острее, чем удовольствие. Благополучие - это естественное состояние человечества, и удача мало что добавляет к нему по сравнению с тем, как много отнимает несчастье от обычного положения дел.

Почему зритель больше отдаляется от состояния человека, пребывающего в страдании, чем от состояния того, кто радуется? Потому что первое гораздо сильнее отклоняется от естественного положения дел, чем второе. Нам больше неловко плакать, чем смеяться на людях. Нет ничего более живого и искреннего, чем народные ликования при победе. *«Но наша скорбь спокойна и умеренна при виде казни»* (с. 96). Радость на свадьбе бьет ключом; на похоронах же мы лишь серьезны. *«Кажется, природа обнаружила, что каждый из нас и так обременен собственной долей страданий, и повелевает нам разделять муки других лишь в той мере, в какой это необходимо, чтобы побудить нас облегчить их»*. Именно это заставляет нас находить мужество героическим только в несчастье.

«Именно потому, что люди более склонны полностью сопереживать нашей радости, нежели нашим печалям, мы выставляем напоказ наше богатство и скрываем нашу бедность» (с. 102). Никто не представляет себе в полной мере, какие страдания приносит нужда; отсюда и страсть к улучшению своего положения, общая для всех человеческих жизней. Каждый хочет быть замеченным, уважаемым, рассматриваемым с одобрением, похвалой и симпатией. Бедность и безвестность лишают нас возможности быть почтенными или встреченными аплодисментами. Достаточно того, чтобы поведение знатного человека не было абсолютно неподобающим, и он в любой момент находит повод заинтересовать людей и стать объектом их симпатии.

Величие рождает идею совершенного блаженства; эта мысль настолько приятна, что все наши чувства и желания объединяются, чтобы поддерживать её неизменной.

Несчастья королей и влюбленных кажутся единственно достойными трагедии, потому что наше воображение видит в королях и влюбленных самых счастливых людей. Нет преступления, которое казалось бы более тяжким, чем заговор против государя; нет убийства, сопоставимого с убийством короля.

«На этой нашей склонности сопереживать страстям богатых и великих мира сего основано различие сословий и общественный порядок. Наша почтительность к вышестоящему рождается чаще из нашего восхищения преимуществами его положения, чем из какого-либо тайного ожидания пользы, которую нам может принести его благосклонность» (с. 108). Не природа учит народы тому, что короли зависят от них, что им можно сопротивляться, низлагать и наказывать их; это дело разума и политики. Поэтому народы с такой же яростью стремятся восстановить свергнутую власть, с какой они ей сопротивлялись. Смерть Карла I привела к восстановлению королевской семьи, а Яков II, бежав на корабле, замедлил ход революции.

[49] Выражение Генриха IV (Эдикт 1600 года).

Знатным людям нужно лишь следить за собой и соблюдать приличия, чтобы приковывать к себе взгляды. Людовик XIV, чьи моральные качества и таланты не поднимались выше посредственности, был самым уважаемым из королей исключительно потому, что был самым могущественным.

Люди света, стоящие ниже знати, нуждаются в подлинных заслугах. Вежливость - это в такой степени добродетель великих, что её ценят только у них. Напускные манеры предполагают чувство собственной значимости, которое другие далеко не всегда разделяют. Такие люди не могут позволить себе быть слишком скромными или простыми; если они стремятся к отличиям, им нужны поразительные или выдающиеся добродетели. Они должны заводить друзей и сторонников благодаря активности своего ума и правильному использованию своих личных качеств; они должны быть искушенными в профессии, которой занимаются; должны проявлять прозорливость в выборе своих начинаний и неутомимость в их осуществлении. Необходимы честность, благоразумие, щедрость и искренность в обычном течении жизни; наконец, нужно уметь *«в важных жизненных случаях отдавать предпочтение ситуациям, требующим великих талантов и великих добродетелей, а не тем, где успех приносит лишь пустые аплодисменты»* (с. 115).

Для этих людей скромного звания, но высоких амбиций, гражданские смуты и внешние войны представляют большую ценность; они с радостью видят приближение этих бедствий, несмотря на кровь, которую те прольют, и беспорядки, которые станут их следствием. Эти войны прикуют к ним внимание и восхищение людей; таким образом, они смогут уравновесить преимущества человека, возвышенного своим рангом и происхождением, чей величайший триумф - блистать на балу, который содрогается при одной мысли о гражданской войне, который охотно выставит себя напоказ во время военной кампании, пока служба в моде, но который никогда не подчинится долгому и непрерывному упражнению в терпении, ловкости, твердости и усердии, - такому, какое делает необходимым гражданская война.

Но людям обычного звания не нужны эти насильственные и экстраординарные средства, чтобы заставить себя заметить. Неспособность знатных людей занимать высокие должности заставляет доверять их людям, рожденным в средних классах. Там они, в свою очередь, умудряются стать великими и принимают знаки расположения от самых высокопоставленных лиц.

«Легкая власть, которую сила дает нам над чувствами других людей, делает потерю этой власти невыносимой». Для тех, кто привык наслаждаться общественным восхищением или даже просто надеяться на него, любое другое удовольствие оказывается испорченным или разрушенным. Конец опального министра обычно плачевен. В целом, *«нет ничего более важного в воображении людей, чем сохранение положения, которое привлекает больше всего их внимания и симпатии... Подобно тому, как самое яркое в величии - это быть объектом поздравлений и сочувственного внимания других людей, самое тягостное в несчастье - это оказаться объектом не их сострадания, а их презрения и отчуждения»*. Большое несчастье легче перенести, чем позор, и эшафот - легче, чем позорный столб. Мужественный человек надеется на сочувствие зрителей, а человеку у позорного столба не на что надеяться.

«Хотя наша склонность восхищаться и почти боготворить богатых и знатных, и при этом презирать людей безвестных, служит для поддержания различия рангов и общественного порядка, она также является главной причиной порчи наших моральных чувств» (с. 125).

«...Не только мудрость и добродетель заслуживают уважения; не только порок и безрассудство вызывают презрение». Внимание и уважение направлены на сильных и богатых. Их пороки и безрассудства презираются меньше, чем бедность и безвестность честных людей. *«У мудрости и добродетели нет иных истинных поклонников, кроме избранного и слишком ограниченного круга мудрецов. Более того, при равной степени заслуг у богатого и бедного, лишь немногие люди способны не ценить первого больше, чем второго... Высокое положение, несомненно, может быть полностью унижено пороком и безумием; но для этого эффекта они должны быть доведены до крайности»*.

Что касается средних классов общества, успех людей, входящих в них, почти всегда зависит от благосклонности их равных, и они редко добиваются его без некоторой мудрости в своем поведении. Старая пословица гласит, что *честность - лучшая политика*, и это почти всегда верно в отношении них. Именно среди них можно найти больше всего добродетели. К счастью для общественной морали, они являются самыми многочисленными в обществе.

«Именно наша склонность восхищаться богатыми и знатными и, следовательно, подражать им, позволяет им создавать и направлять то, что называют модой; их одежда - это модная одежда; их разговор - модный язык; их манеры, их привычки - модные привычки. Вплоть до их пороков и безрассудств, которые входят в моду, и почти все гордятся тем, что подражают им даже в тех качествах, которые их позорят» (Страница 131).

«Путь к богатству и путь к добродетели часто противоположны друг другу» (с. 113). Амбициозные люди заставляют служить своим целям не только интриги, хитрость и уловки, но и чудовищные преступления, такие как убийство, восстание, гражданская война. Но блеск их успеха как для них самих, так и для других, омрачен и запятнан средствами, которые его обеспечили; позор и угрызения совести преследуют их. Цезарь мог распустить свою гвардию, но не мог изгнать свои подозрения; он мог простить Марцелла, но при этом заявил, что отказывается беречь свою жизнь. Он чувствовал себя мишенью для смертельной враждебности, которую не в силах был превозмочь.

Все предыдущее касалось соответствия или несоответствия, уместности или неуместности поведения и поступков. Теперь мы перейдем к обсуждению их заслуг или проступков.[50]

Первые качества вызывают лишь одобрение или порицание; вторые же, более значимые и действенные, влекут за собой наказание или награду. Благодарность - это первое чувство, которое побуждает нас к вознаграждению; негодование же - это чувство, которое ведет к наказанию.

Привязанность и уважение также побуждают нас радоваться благу, которое случается с людьми, которых мы любим и ценим; однако благодарность, в отличие от них, не была бы удовлетворена, если бы сама не принимала участия в их счастье. Антипатия и отвращение заставляют нас с жестоким удовольствием наблюдать за несчастьями людей, внушивших нам эти чувства; тем не менее, если эти чувства сопряжены с неким чувством справедливости, они не заставят нас способствовать их страданию или усугублять его. Негодование же не способно на такую умеренность: ему бы не только доставило удовольствие усугубление страданий, но оно само пожелало бы принять в этом участие.

Наши благодарность и негодование кажутся нам справедливыми лишь тогда, когда их разделяет беспристрастный и бескорыстный наблюдатель. Любой поступок, вознаграждению которого каждый был бы рад, кажется нам достойным благодарности; точно так же мы считаем наказуемым любой поступок, который каждый хотел бы видеть наказанным.

Мы с радостью сопереживаем сердцу друга, испытывающего благодарность к другому другу, оказавшему ему услугу; мы сочувствуем его радости и его привязанности к своему благодетелю.

Мы также сочувствуем негодованию из-за причиненного вреда и несчастья, которое он повлек; мы готовы содействовать отмщению за обиду и восполнить его, если пострадавший человек погиб. Иллюзорное сочувствие заставляет нас испытывать к этой безжизненной жертве эмоцию, которую она сама уже не может ощутить. Нам кажется, что ее кровь взывает к мщению. Именно наше сочувствие воображаемому негодованию мертвых породило идею о духах, которые, по мнению суеверных людей, блуждают вокруг могил и взывают к мести против убийц. Это *«сама природа, которая прежде всяких размышлений о полезности наказания, запечатлела в человеческом сердце неизгладимыми знаками некое инстинктивное одобрение необходимого и священного закона талиона»*.[51]

[50] История Людовика XII, т. I, стр. 2.

[51] Эссе о похвальных словах.

Тем не менее, необходимо, чтобы благодеяние было уместным и обоснованным, дабы мы могли разделить благодарность признательного лица; а для того, чтобы разделить негодование, мы требуем, чтобы оно было справедливым, а нанесенный ущерб - незаслуженным.

Безрассудная щедрость, беспричинные и безмерные милости, расточительность не достойны никакой благодарности. Кажется, Яков I прожил и умер, не имея друзей.

Какое бы сострадание ни внушал нам убийца, ведомый на эшафот, мы не испытываем никакого сочувствия к его негодованию против своих обвинителей и судей.

«Подобно тому, как наше чувство соответствия поведения человека рождается из прямого сочувствия к привязанностям и мотивам, которые побудили его действовать, точно так же чувство заслуженности его поступка рождается из того, что я называю косвенным сочувствием к благодарности лица, на которое этот поступок влияет» (с. 135).

Косвенное сочувствие всегда сопровождается прямым сочувствием к благодетелю; оно состоит из двух элементов: радости облагодетельствованного и его благодарности.

Когда мы рассматриваем Сципиона или Камилла, Тимолеонта или Аристида, мы вступаем в прямое сочувствие к ним и в косвенное сочувствие к нации, которой они служили и которую прославили. Мы полагаем, что общественная признательность не могла предложить им достаточно почестей и достаточно блестящих наград.

Точно так же мы испытываем прямую антипатию к злонамеренному человеку; из нашего чувства предосудительности его поведения рождается косвенное сочувствие к негодованию оскорбленной стороны. Нерон или Борджиа возбуждают в нас возмущение своими отвратительными чувствами, и мы отвергаем с ужасом любую симпатию к тем отвратительным мотивам, которые побуждали их действовать. Таким образом, мы находимся в прямой антипатии к ним и в косвенной симпатии к их жертвам; мы разделяем их планы мести. Наше сочувствие к этим жертвам заставляет в нашей душе закипать сочувственное негодование.

«Благодарность и негодование противоположны друг другу. Если наше чувство заслуженности поступка рождается из нашей симпатии к первому из этих чувств, то как же наше чувство предосудительности поступка может не рождаться из нашей симпатии ко второму?» (с. 160).

Тем не менее многие, кажется, опасаются, что, приписывая наше отвращение к предосудительности поступков нашей симпатии к негодованию - этой ненавистной страсти, - мы тем самым принижаем это честное и благородное отвращение. Во-первых, мы говорим не о крайнем негодовании или неистовой мести; мы говорим об умеренном чувстве, которое испытывает беспристрастный наблюдатель - чувстве, позволяющем обиженному сохранить достоинство человека, преодолевшего свой гнев, и оберегающем его от упрека в малодушном бесчувствии. Во-вторых, речь здесь идет не о вопросе права, а о свершившемся факте.

«Мы исследуем не то, на основании какого принципа абсолютно совершенное существо одобряло бы наказание за дурные поступки, а то, по каким мотивам столь слабое и несовершенное существо, как человек, одобряет его естественным образом и в действительности. Поддержание общества требует, чтобы необоснованная враждебность и недоброжелательность сдерживались заслуженными наказаниями, и, следовательно, чтобы применение этих наказаний рассматривалось как справедливое и похвальное. И вот, Автор природы вовсе не доверил РАЗУМУ человека заботу о том, чтобы выяснять, является ли определенное применение наказаний наиболее подходящим средством для обеспечения этого сохранения; Он наделил его НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ И ИНСТИНКТИВНЫМ ЧУВСТВОМ, которое побуждает его одобрять применение наказаний как лучшее средство для достижения этой цели».

В этом природа верна самой себе. Она наделила людей первичными инстинктами голода, жажды, любви, стремления к удовольствию и страха перед болью, чтобы направить нас к двум великим целям творения - самосохранению и размножению, без всяких размышлений или обсуждений.

«Только те действия, цель которых благотворна, а мотив надлежащ, кажутся требующими вознаграждения, ибо только они признаются достойными благодарности и способны возбудить сочувственную признательность в душе наблюдателя» (с. 166).

То же наблюдение относится и к действиям, целью которых является причинение вреда: они кажутся заслуживающими наказания и возбуждают сочувственное негодование в душе наблюдателя.

Простого отсутствия благодарности недостаточно для того, чтобы заслужить наказание; это лишь отсутствие блага, а не причина реального зла; оно не дает повода защищаться от какого-либо ущерба; оно может вызвать отвращение и порицание, но не негодование.

Иначе обстоит дело с нарушением справедливости: это уже посягательство. Дружба, сострадание, щедрость оставлены на нашу свободную волю; долг же обязывает нас к справедливости. Все чувствуют, что сила будет законно применена для предотвращения или наказания несправедливости; она и является подлинным объектом негодования.

Простое отсутствие доброжелательности между равными людьми не заслуживает никакого наказания, и в то же время необычайная доброжелательность заслуживает награды. Напротив, соблюдение правил справедливости не дает права на какую-либо награду, а их нарушение заслуживает кары. Чистая справедливость - это почти всегда лишь негативная добродетель, которая заключается исключительно в том, чтобы не вредить. Часто достаточно простого бездействия, чтобы не нанести ущерба и даже чтобы удовлетворить требованиям справедливости.

Природа вверила каждого человека прежде всего его собственным заботам. По этой самой причине каждый предпочитает себя всем остальным; и если для самих себя мы - целая вселенная, а другие - лишь малая ее часть, то и для других мы являемся лишь крошечной частью мира. Именно это мы и видим, когда смотрим на других и на самих себя глазами беспристрастных наблюдателей. Этот непредвзятый взгляд также учит нас тому, что если мы хотим, чтобы мотивы нашего поведения получили одобрение окружающих, мы должны умерить свои амбиции до того уровня, который они могут одобрить. Ничто не заденет других в наших усилиях по приумножению своего состояния, даже если мы преследовали свои интересы; но это не должно происходить в ущерб другим. Если мы сокрушаем окружающих на их жизненном пути, общественное снисхождение покидает нас. Никто не станет сочувствовать нашим мотивам причинить вред; и, напротив, если мы наносим ущерб кому-либо, зритель будет сопереживать пострадавшему, а мы станем для него объектом ненависти.

Чем чувствительнее обиды, тем сильнее мы разделяем негодование. Если они доходят до нарушения законов, охраняющих жизнь и собственность, это негодование порождает месть. Что же происходит в таком случае? Виновный не может размышлять о чувствах, которые он внушает, и о законах, которые ему угрожают, не испытывая мук ужаса, стыда и отчаяния. *«Он сам становится для себя объектом страха из-за своего рода «сочувствия к ужасу, который он внушает всему миру», при мысли о мести и наказаниц, на которые его обрекает общественное негодование. Он повсюду видит врагов. Он хотел бы скрыться в пустыне, но одиночество для него еще более пугающе, чем общество. Ужас одиночества снова выталкивает его в мир»*.

Как же отличается участь человека справедливого и великодушного! Думая о том, кто стал объектом его благородного поступка, он чувствует, что заслужил его любовь и благодарность, и что *«сочувствие к его чувствам обеспечивает ему всеобщее уважение»*. Видя себя таким, каким его видит беспристрастный наблюдатель, *«он сам одобряет себя из сочувствия к одобрению тех, кто был бы его бескорыстным судьей»*. Его душа полна твердости, радости и покоя. Он обладает *«сознанием заслуженности своего поступка и правом на вознаграждение за него»*.

Взаимная привязанность, признательность, дружба и уважение заставляют общество процветать. Правосудие, даже при отсутствии этих факторов, может по крайней мере поддерживать его существование. Общество может сохраняться благодаря правосудию, подобно союзу торговцев, движимому чувством взаимной выгоды без какой-либо эмоциональной привязанности. Оно может существовать за счет обмена взаимными услугами, ценность которых общепризнана. Но если в обществе, не связанном узами привязанности, пренебрегают правосудием, оно неизбежно погибнет.

Сочувствие соизмеряется с этими различными интересами общества. Мы ошибочно приписываем разуму и мудрости человека прямую функцию сопереживания интересам правосудия. Сочувствие, как и разум, является даром Творца для сохранения человеческого вида.

Вопреки распространенному мнению, вовсе не просвещенный разум, осознающий вред, который преступление наносит обществу, заставляет нас ненавидеть это преступление; *«не общий интерес общества заставляет нас желать наказания для лиц, виновных в злодеянии. Та доля участия, которую мы принимаем в благах и бедах, выпадающих на долю отдельных людей, обычно не проистекает из нашего интереса к процветанию общественного организма. Когда у нас крадут небольшую сумму, мы добиваемся наказания за эту несправедливость не столько ради сохранности всего нашего состояния, сколько из-за этой конкретной суммы самой по себе; точно так же, когда одного человека оскорбили или разорили, мы требуем возмещения того, что он выстрадал, гораздо меньше из интереса к общественному порядку, чем из сострадания к этому конкретному человеку»*, даже если нас не связывает с ним личная привязанность и даже если он сам нам неприятен. *«Наш единственный мотив действовать таким образом - это всеобщее сочувствие, которое мы питаем к себе подобным как к таковым»*.

Именно по этой причине мы одобряем определенные суровые законы, хотя сочувствие к пострадавшим сторонам не всегда диктует нам это одобрение. Нам больно видеть дезертира, приговоренного к смерти; мы бы укрыли его от военного трибунала, если бы могли, или приветствовали бы того, кто дал ему убежище; однако мы не без возмущения восприняли бы побег подлого убийцы.

Случай оказывает огромное влияние на наше восприятие заслуги или вины того или иного поступка. Строго говоря, именно намерение должно определять ценность действий: одобрение или неодобрение, похвалу или порицание, благодарность или негодование.

И тем не менее, фактом остается то, что удовольствие или боль, добро или зло, которые мы получаем в результате действия, немедленно пробуждают в нас либо признательность, либо негодование. Ребенок бьет камень, который его поранил, собака кусает его, вспыльчивый человек проклинает; мы ломаем или сжигаем мебель, о которую ушиблись. Точно так же матрос привязывается к доске, на которой он спасся при кораблекрушении. Человек привязывается к своей табакерке, к перочинному ножу, к трости, к креслу, к своему дому, к тени своего сада.

Эти привычные привязанности иногда заставляют воображение приписывать любимым предметам некую взаимность. Древние выдумали ларов и дриад, чтобы появилось еще одно основание для подобной привязанности к домам и лесам.

Эти вымыслы приводят к следующему наблюдению: наша благодарность и наше негодование требуют для своего проявления не только действий, которые действительно принесли нам удовольствие или боль, но и того, чтобы авторы этих действий были способны чувствовать и благодарность, и негодование, и, наконец, чтобы они совершили добро или зло намеренно - с добрым умыслом, который мы одобряем, или со злым, который мы осуждаем. *«Главное, чего требует благодарность, - это не просто отплатить благодетелю тем же добром, которое он сделал, но дать ему почувствовать, что он вознагражден, дать ему возможность порадоваться своему поступку и ощутить счастье от осознания того, что его благодеяние не досталось кому-то недостойному. Больше всего нас удовлетворяет именно такое согласие, когда действия нашей благодарности вызывают у благодетеля чувства, созвучные достоинству нашего характера и той оценке, которую мы считаем заслуженной»*.

В противоположном, но похожем смысле, главная цель негодования заключается не столько в том, чтобы причинить врагу ответное зло за то зло, что он совершил, сколько в том, чтобы пробудить в нем осознание этого зла из-за страданий, которые он сам заставил нас испытать; заставить его раскаяться и признать свою несправедливость по отношению к нам.

Желание навредить нам, которое не увенчалось успехом, вызывает у нас меньше негодования, чем если бы оно достигло цели. Желание услужить нам, которое не принесло пользы, вызывает меньше благодарности, чем если бы оно было полезным.

Зло, причиненное нам без злого умысла, и добро, сделанное нам без благого намерения, вызывают мало негодования и мало благодарности. Мы находим некую тень заслуги в невольной причине добра и некую тень вины в невольной причине зла; и поскольку последствия наших действий почти полностью находятся во власти случая, можно сказать, что сам случай оказывает большое влияние на наше чувство заслуги или вины за тот или иной поступок (с. 209).

Эта непоследовательность наших суждений общеизвестна. Человек, который просит место для своего друга и не получает его, имеет право на его привязанность; тот же, кто, попросив о нем, добивается успеха, кажется, приобрел больше прав на его благодарность. Обычно говорят, что мы в равной степени обязаны обоим: это дежурные фразы мудрецов, которым не стоит верить и наполовину.

Таланты, не принесшие того результата, на который, по нашему мнению, они способны, кажутся нам обладающими неполной ценностью. Так, генерал, у которого зависть министра отнимает возможность одержать победу над врагами своей страны, сожалеет не только об одобрении сограждан, но и о своем собственном. Ему недостаточно того, что он составил план, по которому битва была бы выиграна; он был лишен возможности его исполнить, и слава за памятное сражение приписывается другому. Ни добродетели, ни выдающиеся таланты не производят впечатления великих деяний даже на тех, кто умеет оценить сам принцип.

Отсутствие успеха уменьшает также и вину за попытку совершения зла. Исключение составляют лишь преступления, связанные с государственной изменой, когда законы многих стран карают за один лишь умысел. Гуманность цивилизованных народов заставляет их смягчать наказания или вовсе освобождать от них, когда их негодование против преступления не подогревается остротой его последствий (с. 218).

Другой эффект влияния случая на наши суждения заключается в том, что мы распространяем чувство заслуги или вины за поступок за пределы того, что обусловлено побудившими его мотивами, когда они дают повод для какого-то необычайного страдания или удовольствия. Мы с восторгом и нежностью обнимаем вестника, приносящего нам добрую весть, о которой он, возможно, и сам не знал; мы оказали бы ему неоценимую услугу, если бы такая возможность представилась в первый же момент нашей радости. Существует обычай поощрять офицера, приносящего весть о победе, и так далее; точно так же тот, кто сообщает нам дурную новость, становится объектом своего рода негодования.

Грубые люди часто вымещают на таком гонце свое плохое настроение или даже гнев; однако люди справедливые и мягкие, которые с удовольствием вознаграждают вестника добрых перемен, считают варварством дурно обращаться с тем, кто принес плохие известия. *«Малейшего повода достаточно, чтобы побудить нас к проявлению доброжелательных и общественных чувств; но требуются причины весьма веские и убедительные, чтобы заставить нас сочувствовать чувствам антиобщественным и злонамеренным»*.

Тем не менее, мы разделяем негодование по поводу халатности, последствия которой оказались пагубными, хотя не испытываем его по отношению к тем случаям, когда халатность не причинила никому вреда, даже если она перешла определенные границы. Полиция наказывает человека, который выбрасывает большой камень из своего окна на улицу, не предупредив прохожих. Она рассматривает грубую неосторожность как преступный умысел. Суровость наказания становится предельной, когда результатом халатности стало несчастье, например, смерть человека. Негодование возрастает из-за поступка, заслуживающего порицания, но не являющегося преступным по своей природе, вследствие тех бедственных последствий, которые он вызвал. Это очевидный эффект сочувствия к пострадавшему лицу. Вот другие примеры. Человек причиняет ущерб по неосторожности, за которую он сам же наказывается первым; или, что еще более ощутимо, он совершает проступок, не проявив должной осмотрительности. Человека сбивает лошадь, и при падении он ранит другого. Сочувствие к последнему заставляет даже самого пострадавшего всадника возместить ущерб. Мы считаем справедливым, что человек не должен страдать из-за небрежности или безрассудства другого. Всадник, который из-за самой невольной случайности ранил кого-то, поспешит к нему, чтобы

выразить свое сожаление; он сам предложит каким-либо образом компенсировать причиненный вред и сделает всё, «чтобы умилостивить это своего рода животное негодование, которое, как он чувствует, он должен был пробудить против себя в сердце того, кому причинил страдание» (с. 227).

Сочувствие в данном вопросе мудрее рассудочной мудрости, а инстинкт справедливее разума. Если бы злой умысел и недоброжелательность чувств были единственными причинами, возбуждающими наше негодование, мы бы не опасались чьих-либо советов; одного лишь подозрения было бы достаточно, чтобы вызвать ярость. Самое невинное поведение и величайшая осмотрительность не обеспечили бы никому безопасности. Желания, взгляды, замыслы подвергали бы человека такому же негодованию и такому же наказанию, как и самые преступные действия и поведение. Действия, причиняющие реальный вред, перестали бы быть единственными объектами, признанными достойными наказания и человеческого возмущения. Таким образом, исчезло бы правило, согласно которому люди могут быть наказаны в этом мире только за свои *действия*, а не за свои замыслы и намерения (не подкрепленные делом), хотя в глазах нашего разума все наши поступки черпают свою заслугу или виновность именно в намерении. «Каждая часть природы может служить доказательством заботы Того, кто её создал; и благость Бога вызывает восхищение даже в слабостях и ошибках человека» (с. 231).

Непостоянство наших чувств в отношении добрых дел, не принесших результата, и добрых намерений, оставшихся без последствий, также не лишено пользы. Природа не без причины вложила в наши сердца зерно непоследовательности в этом отношении. Человек предназначен для деятельности; он должен содействовать - через использование своих способностей - поддержанию общего порядка и употреблять все силы своего тела и души для достижения цели своего существования, если хочет удовлетворить других и самого себя и получить одобрение своего поведения. Хорошо, когда самые благородные и справедливые чувства, не имеющие иных гарантий, кроме слов и безобидного образа жизни, не обладают тем, что можно назвать правом на вознаграждение; и когда человеку могут в этом праве отказать, спросив его: «Что вы сделали?».

Что касается зла, причиненного без умысла, то важно, чтобы оно рассматривалось как несчастье как для того, кто его причинил, так и для того, кто от него пострадал. Этот обычай или инстинкт приучает уважать счастье своих ближних, бояться нарушить его; и таков плод этого почти механического негодования, вызванного страданиями других.

Природа устроила так, что человек не может причинить вред - даже по легкомыслию или незнанию - не подвергшись при этом искуплению или возмещению, соразмерному нанесенному ущербу. Человек человеколюбивый всю свою жизнь считает гибель другого, причиненную им невольно, великим несчастьем, в котором есть нечто, требующее искупления. Если он обладает неким состоянием, то считает себя обязанным помочь семье погибшего, если та нуждается. Древние авторы выводили на театральную сцену роковую предопределенность таких невинных поступков, которые пробуждают ложное чувство вины и за которые, кажется, приходится нести тяжелейшее искупление.

Человеку, который непреднамеренно стал причиной большого несчастья, остается лишь уповать на время и на уважение со стороны честных и просвещенных людей. Последние стараются подавлять в себе ту «неправильность чувств, которая является следствием нашей природы», и смотреть на «добродетель, обманутую в своих усилиях, так же, как на добродетель, действующую успешно и славно» (с. 236).

О суждениях, которые мы выносим о собственном поведении и собственных чувствах, и о чувстве долга.

Мы судим о своем поведении так же, как о поведении других. Мы одобряем или порицаем его в зависимости от того, как - оценивая ситуацию, в которой находятся другие, и глядя на нее их глазами - мы одобряем или нет те побуждения, которые его определили. Каким бы ни

было наше суждение о самих себе, оно всегда тайно связано с тем, каково на самом деле, или каким должно быть, или, наконец, каким, по нашему мнению, может быть суждение окружающих. Мы оцениваем себя так, как это сделал бы беспристрастный наблюдатель; мы одобряем или порицаем себя, разделяя одобрение или неодобрение этого судьи, которого считаем справедливым или бескорыстным.

Человек, одинокий от рождения, не имел бы ни малейшего представления об уместности или неуместности своего поведения, о совершенстве или несовершенстве своих поступков, равно как и о красоте или уродстве своего лица. Обычное зеркало показывает ему, как выглядит его лицо; общество же является зеркалом моральным, которое с помощью мимики и манер других людей научит его понимать, сочувствуют ли они его чувствам или осуждают их, соответствуют ли его привязанности понятию о пристойности или нет, достигла ли его душа совершенства или полна недостатков. Одинокий от рождения человек обращал бы внимание только на внешние предметы; он никогда не задумывался бы о себе самом, о своих идеях или о чувствах, полученных от этих внешних объектов.

«Мысль о собственной радости или собственной печали не пробуждала бы в нем ни новой радости, ни новой печали, хотя размышление о причине этих впечатлений может вызвать подобный эффект. Поместите его в общество, и все его страсти немедленно станут источником новых чувств. Он заметит, что одни из них люди одобряют, а другие - отвергают. В первом случае его душа будет воодушевлена, во втором - подавлена. Его желания и антипатии, его радости и горести порождают новые идеи, новые антипатии, новые желания, новые горести и новые радости».

Подобно тому как наше уродство или красота были бы нам безразличны, живи мы в полном одиночестве, наше поведение и чувства также были бы нам безразличны в такой ситуации. Но в обществе характер и поведение других людей приковывают наше внимание. Вскоре мы начинаем замечать и то впечатление, которое мы сами производим на них; и так как одни из них производят на нас приятное впечатление, а другие - противоположное, и мы чувствуем доброжелательность к первым и неприязнь ко вторым, мы вскоре начинаем беспокоиться о том, как они смотрят на нас и как они к нам настроены.

В этом беспокойстве *«мы исследуем свои чувства и свое поведение; и, чтобы понять, какими они должны им казаться, мы стараемся выяснить, какими они показались бы нам самим, будь мы на их месте»*. Мы словно разделяемся на двух лиц: на **Я** оценивающее и судящее и на **Я** оцениваемое и судимое. Рассматривая себя со стороны, мы ставим перед собой, так сказать, единственное зеркало, с помощью которого можем оценить уместность или неуместность своего собственного поведения. Но это всегда происходит через призму беспристрастного наблюдателя, с которым мы себя отождествляем, когда формируем суждение о самих себе. Быть достойным любви и награды - это главное качество добродетели; но именно суждение окружающих определяет этот характер.

«Добродетель не считается привлекательной потому, что она является объектом любви или признательности к самой себе, а потому, что она вызывает эти чувства в других людях. Глубокое внутреннее ощущение того, что ты являешься объектом их благосклонных взглядов, служит источником того внутреннего удовлетворения, которое естественным образом сопутствует ей» (с. 245).

Человек хочет не только быть любимым, он хочет быть достойным любви; не только быть восхваляемым, но и заслуживающим похвалы. Он боится не только осуждения, но и быть достойным порицания, даже если на самом деле его не должны были бы порицать.

Желание быть достойным похвалы отличается от желания просто быть похваленным. Любовь к *заслуженной* похвале настолько далека от того, чтобы рождаться из простого стремления к похвалам, что, напротив, само стремление к похвалам, кажется, почти полностью происходит от любви к похвале заслуженной.

И откуда же берется эта любовь к заслуженной похвале? Из нашей любви и восхищения теми, чей характер и поведение мы одобряем; эта любовь и восхищение побуждают нас же-

лать быть одобряемыми так же, как и они. Это желание и есть стремление к достойному подражанию. Наше удовлетворение не является полным от одной лишь мысли, что нами восхищаются; *«нам нужно верить, что нами восхищаются лишь потому, что мы достойны восхищения. Но чтобы прийти к этому удовольствию, мы хотим стать беспристрастными зрителями нашего собственного поведения. Когда мы рассматриваем его и видим, что оно соответствует нашим желаниям, мы счастливы и довольны; но это счастье достигает полноты лишь тогда, когда мы обнаруживаем, что другие судят о нас так же, как мы сами стремились судить себя, ставя себя силой воображения на их место».* Их одобрение подтверждает то одобрение, которое мы давали себе сами; их похвала придает новую силу чувству, что мы достойны того, чтобы нас хвалили.

Самая искренняя похвала мало льстит нам, если мы не чувствуем, что имеем на нее право. Мы не придаем значения уважению, оказанному по ошибке или по незнанию, особенно когда мы твердо уверены, что не заслуживаем его.[52] Тот, кто аплодирует нам за поступки, которых мы не совершали, за чувства, которых у нас нет, аплодирует кому-то другому, а не нам. Только тщеславие, обладающее необходимой легкомысленностью и слабостью, способно находить удовольствие в незаслуженной похвале. Хвастун и фат - единственные, кто не способен заглянуть в глубину своего сердца и увидеть себя столь же презренным, каким он предстал бы в глазах окружающих, если бы его знали по-настоящему.

Мы находим удовлетворение в мысли о том, что являемся естественными объектами одобрения, даже если в данный момент оно нам фактически не выражено. Человек со спокойной совестью относительно правильности своего поведения, который судит о нем так, как это сделал бы беспристрастный наблюдатель, снова проникается чувствами, которые им руководили; хотя его поступки могут оставаться неизвестными, он наслаждается теми аплодисментами, которые он получил бы, если бы они стали известны, и он сопереживает этим предполагаемым чувствам публики. *«Люди часто жертвовали своей жизнью, чтобы обрести после смерти славу, свидетелями которой они не могли быть. Их воображение устремлялось в будущее ради славы, которая должна была воссиять лишь в глазах потомков. Гул этих рукоплесканий, которых им не суждено было услышать, раздавался вокруг них... Мало разницы между одобрением, которое мы даем себе только тогда, когда больше не можем наслаждаться чужим, и тем, которое нам никогда не будет дано... Жажда обрести результат иногда порождает столь удивительные последствия, что мы не должны удивляться той важности, которую обычно придают одному в связи с другим».*

Чтобы сделать человека пригодным для общества, природа не ограничилась тем, что наделила его желанием быть одобряемым; она также наделила его желанием быть тем, кто заслуживает одобрения. Первое побуждало бы его лишь скрывать свои пороки; второе внушает ему искреннюю любовь к добродетели. Любовь к истинной славе не является недостойной мудрого человека, независимо от выгод, которые могут этому сопутствовать.

Отвращение, которое вызывают у нас дурные характеры, заставляет нас страшиться даже самой мысли о том, чтобы стать на них похожими. Мысль о том, что нас будут ненавидеть и презирать, пугает нас меньше, чем мысль о том, что мы сами можем стать достойными ненависти и презрения. Все, что может вызвать к нам отвращение и презрение, пугает нас, даже если бы мы были уверены, что защищены от них. Злодей напрасно убежден, что скрыл свои поступки от взглядов людей: он боится собственного взгляда. Ставя себя на место беспристрастного наблюдателя и чувствуя неодобрение своего поведения, он в воображении представляет себе презрение или отвращение, от которого избавлен только потому, что его не раскрыли. Муки ужаса и угрызений совести овладевают им. Он представляет, как смотрели бы на него другие люди, если бы им стало известно его истинное лицо.

---

[52] «Законные наследники Неаполитанского королевства все еще владели бы им, если бы Людовик XII обладал искусностью Людовика XI». (История Людовика XI, т. III, стр. 411.)

«Эти естественные страхи встревоженной совести и есть те самые демоны и, так сказать, мстящие Фурии, которые преследуют преступника в этой жизни и не могут быть изгнаны никакой человеческой силой... Злодеи, принявшие самые хладнокровные и верные меры, чтобы скрыть свое преступление даже от малейших подозрений, иногда под влиянием ужаса от своего внутреннего состояния сами раскрывали то, что человеческая проницательность никогда не смогла бы обнаружить. Они надеются, добровольно отдавая себя под удар негодования своих обиженных сограждан и удовлетворяя месть, справедливость которой они ощущают, примириться с себе подобными - по крайней мере, в собственном воображении». Они льстят себе надеждой превратить внушаемый ими ужас в сострадание; и эта надежда для них - благо по сравнению с теми мучениями, которые они терпели, пока их считали невиновными. Их пример доказывает, что страх порицания менее властен над ними, чем ужас от совершенного проступка, достойного порицания. Этот проступок должен оставаться тайным, ведь они могли бы избежать публичного осуждения и наказаний, но не ужаса тайных угрызений совести.

Хотя только тщеславные люди наслаждаются незаслуженной похвалой, даже самые мудрые болезненно воспринимают клеветнические обвинения. Человек, обвиненный в преступлении, унижен самой мыслью о том, что его могут считать способным на такое. Настоящий преступник страдает меньше, чем обвиненный невиновный. Последний, ко всему прочему, испытывает раздражение от негодования, которое вызывает несправедливость; у злодея же к этому добавляется лишь страх позора и страх уничтожения. Эшафот считается преступниками одним из рисков их профессии. Позор - ничто для людей позорных; но порядочный человек дорожит родителями, друзьями, уважаемыми знакомыми, которые будут стыдиться его и испытывать ужас перед его предполагаемым преступлением. Это тот случай, когда только религия способна дать утешение.

Возможно, будет интересно объяснить, почему самые мудрые люди столь чувствительны к незаслуженным упрекам и так мало - к похвалам, на которые они не имеют права.

Причина этого видимого противоречия заключается, прежде всего, в том, что «боль отнимает у нашего естественного состояния счастья гораздо больше, чем удовольствие может к нему прибавить».

Во-вторых, это происходит потому, что в обоих случаях есть некая ложность в том, чтобы позволять себе возвышаться или унижаться выше или ниже того, что заслуживаешь; но в первом случае (с похвалой) человек становится сообщником лишь глупца, тогда как во втором (с обвинением) - сообщником злодея.

В-третьих, и это главное: ставя себя на место тех, кто считает его виновным, человек с ужасом смотрит на себя их глазами и чувствует, что они испытывают к нему отвращение. В то время как льстецы и доверчивые люди не приносят ни большой пользы, ни большого вреда ни другим, ни самим себе.

Наконец, причина в том, что человеку, которого хвалят без повода, не составляет труда разуверить слишком доверчивых доброжелателей. Напротив, обвиняемый остро нуждается в доказательствах, которых может не хватать; он может не добиться доверия к тем фактам, что приводит. Это великое горе - когда тебе не верят, когда ты оправдываешься от обвинения в поступке, само подозрение в котором уже было унижением.

Несогласие других с нашим мнением о самих себе задевает нас сильнее или слабее в зависимости от того, насколько мы уверены в чистоте наших чувств и правильности наших суждений.

Человек, полностью удовлетворенный своим поведением, придает меньше значения суждениям, которые выносят другие.

В изящных искусствах суждение о произведениях - это вопрос вкуса, и оно имеет нечто неопределенное. В точных науках стремление завладеть вниманием публики проявляется с меньшим беспокойством и рвением, чем в других областях.

Молодой поэт глубоко огорчается или, напротив, приходит в восторг от суждений публики, поскольку эти оценки избавляют его от неуверенности в достоинствах собственных произведений. *«Расин был настолько разочарован скромным успехом „Федры“ - величайшей трагедии из когда-либо написанных для театра, - что, несмотря на молодость и расцвет своего таланта, решил больше не писать для сцены. Этот великий поэт часто признавался сыну, что самые нелепые критические замечания причиняли ему больше боли, чем могли принести удовольствия самые обоснованные и лестные похвалы. Известна крайняя чувствительность Вольтера к малейшим упрекам. Грей был так оскорблен жалкой пародией на две свои прекрасные оды, что с тех пор не предпринимал никакой серьезной работы»*.

Математики, напротив, крайне малочувствительны к приему со стороны публики. «Математические начала натуральной философии» Ньютона оставались в забвении в течение нескольких лет, и при этом спокойствие этого великого человека ни на миг не было нарушено.

«Большая разница в положении этих различных классов литераторов по отношению к публике может, пожалуй, соответствовать и различию в их нравственном облике».

У людей, посвятивших себя точным или позитивным наукам, мало судей по сравнению с остальными; оценки выносятся без лишнего шума, в тишине кабинетов. Судьями же литераторов выступает всё общество, представители всех сословий, всех возрастов и обоих полов.

Отзывы об их трудах чаще всего громогласны и публикуются перед многочисленным собранием. Отсюда возникают фракции, интриги и заговоры одних с целью навредить другим или помешать им из-за нетерпимости к конкуренции. Расин и Депрео объединились против Кино и Перро; Аддисон строил козни против Поупа.

В нравственной жизни, как и в литературной, *«немногие люди обладают абсолютной уверенностью в наличии у себя определенных качеств или в правильности своего поведения, которыми они восхищаются в других, если только эти качества и это поведение... не удостоились похвал, которые, по их мнению, они заслужили за то и за другое. Однако в этом отношении люди сильно отличаются друг от друга. Некоторые совершенно равнодушны к похвалам, когда они обрели внутреннюю уверенность в своих заслугах; другие кажутся менее озабоченными тем, чтобы заслужить похвалу, нежели тем, чтобы ее получить...»*.

«Всегда меньше мудрости и больше слабости характера в том, чтобы беспокоиться о получении похвалы; но в старании избежать тени упрека можно увидеть лишь осторожность, достойную похвалы... Тот, кто создал нас, научил нас придавать значение чувствам и суждениям других, быть более или менее удовлетворенными или уязвленными, когда они одобряют или осуждают наше поведение. Он поставил человека, если можно так выразиться, судьей над самим собой; он в некотором роде избрал его своим представителем на земле, чтобы тот наблюдал за поведением своих ближних. ***Природа учит нас признавать эту юрисдикцию, которую мы осуществляем друг над другом, поскольку в силу самих законов нашего организма мы более или менее задеты и унижены порицанием окружающих, и более или менее довольны и горды их одобрением***».

«Но хотя человек и был поставлен непосредственным судьей над человеком, он был назначен судьей лишь в первой инстанции. Он призывает приговор своего ближнего в вышестоящий трибунал - к своей совести; к суду того воображаемого беспристрастного и просвещенного зрителя, которого каждый человек находит в глубине своего сердца, который является арбитром и высшим судьей всех его поступков... Если суждение других одобряет нас и аплодирует нам за то, чего мы не совершали, или за чувства, которые не побуждали нас к действию, совесть тотчас смиряет эту гордость, пробужденную в нас аплодисментами, и говорит нам, что, поскольку мы знаем, чего заслуживаем, мы становимся достойными презрения, принимая незаслуженное» (с. 275). Если внешнее суждение порицает нас за ошибки, которых мы не совершали, внутренний судья оправдывает и утешает нас; впрочем, случается что крик несправедливости колеблет наше спокойствие. Кажется, что наш внутренний свидетель сомневается в тех благоприятных показаниях, которые он нам должен, и позволяет несправедливости сбить себя с толку.

В таком случае нам не остается иного средства, кроме как обратиться к Небесам.

Это обращение могло бы принести удовлетворение, если бы священники не делали себя вершителями небесных решений, толкуя их на свой лад: пример Массильона, вызывающего отвращение у солдат благословением знамен (с. 281).

«Хотя одобрение совести, хотя свидетельство очевидца, которого мы считаем беспристрастным, не всегда достаточны для нашей слабости, нуждающейся в поддержке более общего признания, тем не менее эти чувства обычно имеют над нами большое влияние и огромный авторитет. Только советуясь с внутренним судьей, мы можем видеть вещи, имеющие к нам отношение, ТАКИМИ, КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, и по-настоящему сравнивать наши интересы с интересами других».

Самая маленькая потеря или самая незначительная прибыль имеют для нас больше значения, чем то, что происходит с другими людьми, даже если это нечто весьма значительное. Мы должны поставить себя на их место, чтобы составить верное представление об их интересах; и, когда возникает противоречие между их интересами и нашими, мы должны поставить себя на место беспристрастной и незаинтересованной третьей стороны. *«Опыт и привычка научили нас делать это с такой легкостью и быстротой, что мы этого даже не замечаем; и в такие моменты необходимы определенное раздумье и некая философия, чтобы убедить нас, насколько слабым был бы интерес, который мы проявляем к другим, если бы чувство справедливости и равенства не исправляло естественное неравенство наших чувств»*.

Предположим, что Китай поглощен стихией; самый гуманный европеец вскрикнет от боли, затем предастся меланхоличным размышлениям, возможно, сделает несколько замечаний о том, как торговля Европы может пострадать от этого события; а после он займется своими делами и удовольствиями. Малейшая случайность, произошедшая с ним самим, занимала бы его гораздо дольше; тем не менее, если бы ему пришлось пожертвовать пальцем на своей руке, чтобы спасти сто миллионов человек, он бы, по крайней мере, подумал о том, чтобы принести его в жертву.

Как совместить эту мысль с его безразличием к Китаю? С таким слабым сочувствием к чужим бедам и столь благородным и чистым принципом действия? Каким образом сила, более могущественная, чем человечность, влечет нас гораздо дальше, чем сама человечность, независимо от нашей воли? Что это за сила?

«Эта сила - разум, совесть, это ЗНАНИЕ, это своего рода божество, которое мы носим в себе, которое является высшим судьей и арбитром нашего поведения. Именно она учит нас или напоминает нам в те моменты, когда мы готовы нарушить счастье других, что мы - лишь один человек в толпе и что, предпочитая себя другим с такой дерзостью и слепотой, мы становимся достойными объектами негодования, отвращения и ненависти.[53] Только это наше знание учит нас соответствию великодушия и чудовищности несправедливости, заставляя нас осознавать причины, по которым мы должны уступать наши самые большие интересы самым большим интересам других... Любовь к окружающим, даже сама любовь к человечеству не всегда побуждают нас к этим благородным актам добродетели.[54] Для нас должно существовать и постоянно определять нас более мощное и сильное чувство: необходима любовь к тому, что почетно и величественно, и ко всему, что это чувство может внушить нам для достоинства и возвышения нашего характера.

---

[53] «Людовик сделал бы свой народ счастливым, он сравнялся бы или даже превзошел бы величайших королей, если бы, всегда сосредоточившись на своих славных обязанностях и довольствуясь теми обширными владениями, которыми Провидение доверило ему управлять, он никогда не помышлял об их расширении». (История Франции, т. XXI, стр. 96.)

[54] «Если он и не обладал всеми качествами великого государя, то, по крайней мере, проявил по отношению к своему народу все качества доброго отца». (Новая история, т. III, стр. 344.) Кондильяк говорит в другом месте принцу Пармскому, своему ученику: «Вы должны были заметить в истории нескольких королей, честность которых восхваляют; правители вроде Людовика XII были удостоены титула "Отец народа": эти государи искренне желали счастья своему королевству, но из-за отсутствия просвещенности так и не смогли совершить ничего полезного для общества». (Об изучении истории, стр. 15.)

Когда счастье или несчастье других во многом зависит от того, как мы себя ведем, мы не осмеливаемся следовать внушениям самолюбия и предпочитать свой интерес их интересу. Совесть тут же говорит нам, что это значило бы слишком высоко ценить себя и слишком низко ценить других, и что тем самым мы навлечем на себя ненависть и презрение наших ближних.[55] *Она заставляет даже самого безвестного солдата чувствовать, что товарищи станут презирать его, если он уклонится от опасности или побоится рискнуть своей жизнью - и даже пожертвовать ею, - когда того требует благо его страны».*

Высшая степень нравственности заключается, как уже было сказано выше, в том, чтобы исправлять естественную непоследовательность наших сочувственных порывов. Для того чтобы подняться до этого уровня, необходимо как безупречное и тщательное воспитание, так и строгая, глубоко укоренившаяся философия.

Философы двух направлений пытались помочь нам достичь этой высокой степени морали. Одни стремились сделать нас более чувствительными к интересам окружающих; другие же - менее чувствительными к нашим собственным.

Первые - мрачные и меланхоличные моралисты - хотят, чтобы мы были постоянно поглощены несчастьями, о которых знаем меньше всего, и судьбами людей, наиболее от нас далеких. Они считают радость от процветания нечестивой до тех пор, пока в мире существуют страдания. В этом преувеличенном сочувствии есть нечто абсурдное и безрассудное. Посмотрите на всю вселенную: на одного страждущего и несчастного человека вы найдете тридцать тех, кто полон здоровья и счастья или, по крайней мере, находится в сносном положении. Такое сочувствие не только нелепо, оно ложно и притворно; оно попросту невозможно. А если бы оно и было возможным и искренним, оно оказалось бы бесполезным и лишь сделало бы несчастными тех, кто им одержим. *«Все люди, на каком бы расстоянии от нас они ни находились, имеют право на наши пожелания им счастья. Но если, вопреки нашим желаниям, они несчастны и это нас глубоко задевает, мы выходим за рамки долга»*.

«...Среди философов, которые ради исправления естественной непоследовательности наших чувств сопереживания хотели ослабить личный интерес, можно перечислить все школы древних мыслителей, и в особенности стоиков». По их мнению, человек не должен заботиться о себе больше, чем о ком-либо другом; каждый является лишь частью общего мироустройства, и эта часть не важнее любой другой. Беды, которые обрушиваются на нас, не должны трогать нас сильнее, чем беды наших соседей, и мы не должны воспринимать их иначе, чем восприняли бы их наши соседи. Природа отвергает такую систему; она не установила равенства в наших привязанностях. Тот, кто не казался бы более огорченным смертью своего отца или ребенка, чем смертью чужого родителя или чужого дитя, не выглядел бы в наших глазах ни хорошим сыном, ни хорошим отцом.

«Некоторые из этих личных привязанностей задевают нас своей чрезмерностью, другие - своим недостатком. Природа мудро наделила отцовскую и материнскую нежность большей силой, чем сыновью почтительность. Продолжительность и сохранение человеческого рода зависели от одного из этих чувств, а не от другого...».

«Избыток добрых чувств никогда не бывает отвратительным, даже когда он может ранить или казаться предосудительным». В чрезмерной чувствительности к несчастьям тех, кто нам дорог, всегда больше уместности, чем в безразличии к ним. Стоическая апатия никогда не сможет нравиться. *«Поэты и романисты, которые лучше всех описали любовь, дружбу, частные и домашние привязанности - такие как Расин, Вольтер, Ричардсон, Мариво и Риккобони, - приносят больше пользы при чтении на эту тему, чем Зенон, Хрисипп и Эпиктет»*.

Мы находим некую сладость в нежных и меланхоличных воспоминаниях о друге; это чувство сопричастно благородному характеру добродетели и, как и она, сопровождается нашим собственным одобрением. Мы слабо сопереживаем страстям, которые берут свое начало в телесных потребностях. Рана или перелом производят на нас слабое впечатление в сравнении с

---

[55] «Опыт не сделает великим человека, рожденного с посредственными талантами; а его переговоры, которые всегда велись мелочно, делали бесполезными его силы и даже успех его оружия». (Принципы ведения переговоров, гл. II, т. V собрания сочинений, стр. 12.)

тем, что испытывает сам пострадавший. Вид нищего внушает нам лишь слабое сострадание. Богач, теряющий свое состояние, почти всегда вызывает живое сочувствие; и всё же человек, который стойко переносит свое разорение и сохраняет благородное достоинство в обществе, внушает нам уважение, почтение и восхищение.

Никогда не считается неуместной чрезмерная чувствительность к потере репутации; мы находим нечто привлекательное и чистое в горе молодой женщины, чья невинность подверглась нападкам клеветы. Люди пожилые и серьезные, имеющие прочно установившуюся репутацию, мало ценят похвалы и не всегда удостаивают своих клеветников серьезным негодованием. Это равнодушие не подошло бы точно так же молодым людям, у которых в прошлом нет тех же оснований для уверенности; оно было бы - или могло бы считаться - недостатком чувствительности к вопросам чести и бесчестия.

«Если мы изучим различные проявления слабости и власти над собой, которые встречаются в обычной жизни, мы скоро признаем, что эта власть над собой не может быть результатом лишь утомительных рассуждений тонкой логики. Она является следствием нашего послушания одному из самых общих законов природы, который также служит средством приобретения всех добродетелей - закону сочувствия реальному или воображаемому зрителю нашего поведения».

Ребенок совершенно не обладает властью над собой; он старается привлечь внимание неистовыми криками. Став достаточно взрослым, чтобы ходить в школу и жить среди равных, он сразу замечает, что они не питают к нему того же пристрастия, что и родители. Тогда он хочет завоевать дружбу товарищей, избежать их ненависти или презрения. Именно так он начинает усваивать великий урок власти над собой, учится становиться все более и более хозяином себе и в конечном итоге подчиняет свою чувствительность правилам, для полного принятия которых может не хватить и долгой жизни.

Слабый человек, охваченный горем, на мгновение сдерживается перед посторонними; его страдание словно машинально приостанавливается. Но вскоре, подобно ребенку, еще не покинувшему родителей, он настойчиво взывает к состраданию зрителя.

Менее слабый человек дольше сдерживает свою боль, но в конце концов она берет верх. Друзья докучают ему; он поддается горю в одиночестве и готов поддаться ему и в их присутствии.

«Мудрец, человек твердого и постоянного характера, который с юности работал над тем, чтобы стать хозяином самому себе, остается выше своих страстей посреди общества и повседневных дел, среди волнений и несправедливости партий, в гуще опасностей войны, на людях или в одиночестве. Он НИКОГДА не забывает о суждении, которое беспристрастный зритель вынесет о его чувствах и поведении; он НИКОГДА не позволяет своей совести ни на мгновение перестать следить за ними. Он ПРИВЫК судить о том, что касается его самого, глазами этого внутреннего свидетеля. ПРИВЫЧКА сделала для него неизбежным стремление моделировать как свое внешнее поведение, так и свои чувства по образцу этого беспристрастного и грозного судьи. В КОНЦЕ КОНЦОВ ОН НАСТОЛЬКО ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ СЕБЯ С НИМ, что принимает все его чувства и уже не может испытывать иных, кроме тех, к которым тот его направляет».

Чем сильнее беды, над которыми мы проявляем власть над собой, тем больше удовлетворение, которое мы от этого испытываем, утешает нас и вознаграждает. Чем значительнее наша победа, тем больше она внушает нам гордости и радости. Нельзя сказать, вслед за стоиками, что мудрец одинаково счастлив на вершине несчастья и в процветании; но можно утверждать, что свидетельство его совести смягчает горечь этого несчастья. И это всё, что можно сказать, так как мудрецу в определенных ситуациях не так легко смотреть на свои несчастья так, как на них смотрит беспристрастный зритель. Этому усилию мешают две страсти: первая - чувство чести, если она задета; вторая - негодование. Внутреннее удовлетворение, призванное вознаградить его добродетель, не всегда компенсирует то, что он страдает.

И для общих интересов даже хорошо, что эта компенсация не является полной: *«Ибо если бы добродетель находила в осознании самой себя подлинное возмещение несчастий, у человека*

не было бы достаточно сильных мотивов, чтобы избегать того, что может навредить ему или обществу».

Впрочем, законы нашего организма не допускают, чтобы крайняя боль длилась долго. Привычка приучает нас к неудобствам, которые за ней следуют. Это признанная истина: люди рано или поздно привыкают к тому, что стало для них постоянным состоянием. Фиксированная и неизменная ситуация погружает душу в спокойствие, находит ли она себя в удовольствии или в страдании.

Было даже замечено, что при неизлечимых несчастьях большинство людей легче обретают свое естественное спокойствие, чем при временах, оставлявших им некоторую надежду.

«Наша чувствительность к страданиям других не только не исключает власти над собой, но и проистекает из того же самого принципа. В самом деле, именно этот принцип заставляет нас сочувствовать чужим бедам и в то же время ослаблять и сдерживать естественное выражение нашей собственной боли. Тот же принцип позволяет нам разделять успехи и счастье других и одновременно укрощать порывы нашего личного восторга. В обоих случаях уместность наших чувств по отношению к самим себе находится, так сказать, в прямой пропорции с живостью и силой чувств, которые мы испытываем к другим».

Самый добродетельный человек - это тот, кто сочетает в себе широчайшую власть над собой с изысканной чуткостью к другим, кто соединяет мягкие и добрые качества с суровыми и почтенными добродетелями.

Тот, кого природа наделила наибольшей склонностью к мягким добродетелям, также лучше всего подготовлен к тому, чтобы стать хозяином собственных страстей. Однако изнеженная жизнь, лишенная опасностей, тревог и страданий, заставляет его терять эти преимущества. Только уроки несчастья могут принести свои плоды. *«Мягкие и благодетельные добродетели процветают в философском досуге спокойной и благополучной жизни»*. Но не такая жизнь делает необходимой власть над собой. С другой стороны, голос человечности умолкает или слабеет в жестоких обстоятельствах. Солдат становится жестоким, постоянно подвергаясь жестокости врага; он отводит взгляд от зла, которое вынужден совершать, чтобы сосредоточиться на своей цели, и тогда власть над собой может доходить до героизма.

Одиночество вовсе не способствует власти над собой; в нем человек слишком близок к самому себе, слишком занят либо добром, которое совершает, либо злом, от которого страдает, и слишком склонен к экзальтации в счастье или к унынию в несчастье. Общение с друзьями для нас лучше, чем одиночество, а разговор с незнакомцем - лучше, чем беседа с другом. *«Абстрактная идея беспристрастного свидетеля нашего поведения - совесть - нуждается в том, чтобы её пробудило присутствие реального наблюдателя»*. Именно от такого наблюдателя мы можем получить лучшие уроки власти над собой. *«Наши моральные чувства никогда не бывают так близки к развращению, как тогда, когда рядом с нами находится пристрастный и снисходительный зритель, в то время как беспристрастный и безразличный наблюдатель от нас далёк»* (с. 324).

Нейтральные нации - единственные бескорыстные судьи для независимых и враждующих народов; они слишком далеки от воюющих сторон, чтобы те могли на них повлиять. Отсюда насилие войн и бесконечная вражда.

Часто ещё больше розни возникает между фракциями внутри одного и того же государства. Там мало найдется людей, чей дух не был бы отравлен партийными интересами. Те, кто сохраняет нейтралитет, презираемы и отвергаемы остальными. Самый мудрый оказывается самым бесполезным. Беспристрастный наблюдатель находится на слишком большом расстоянии от тех, кого увлекает насилие и ярость враждующих группировок. «*Фракции и фанатизм являются, таким образом, сильнейшими причинами искажения наших моральных чувств»*.

Даже когда присутствует бескорыстный наблюдатель, насилие и несправедливость наших страстей порой заставляют нас видеть вещи в ложном свете.

Когда мы готовы действовать, подталкивающие нас страсти не позволяют видеть ничего, кроме своей цели; тогда страсти, как говорит Мальбранш, сами себя оправдывают.

Когда действие совершено, мы можем более хладнокровно прислушаться к чувствам беспристрастного наблюдателя. Цель достигнута, и иногда она нас больше не волнует: сегодняшний человек - это уже не вчерашний человек. Но к чему тогда более справедливые чувства? Чтобы приносить нам сожаления и раскаяние, которые почти всегда бесполезны для будущего. Впрочем, само это раскаяние не является обычным плодом наших размышлений над совершенной ошибкой; часто мы упорствуем в несправедливости только потому, что уже однажды поступили несправедливо и нам стыдно или страшно это признать.

«Если бы люди судили о своем поведении с помощью некой собственной способности, такой как предполагаемое "моральное чувство", если бы они действительно были наделены особой силой восприятия, позволяющей им различать совершенство или своеобразие их наклонностей и чувств, очевидно, что, будучи ближе к своим собственным страстям, чем к страстям других людей, они судили бы о них лучше».

Однако природа не оставила нас во власти слепого самолюбия. Наши постоянные наблюдения за окружающими побуждают нас признавать определенные общие правила.

«Существуют определенные действия, которые неизменно оскорбляют наши естественные чувства; мы слышим, как все вокруг выражают ужас и отвращение, которые они вызывают, и это всеобщее мнение подтверждает и усиливает нашу внутреннюю уверенность в их непристойности».

«Другие действия, напротив, вызывают наше одобрение; каждый спешит почтить и вознаградить их. Они пробуждают все те чувства, которых мы естественным образом желаем достичь: любовь, признательность, восхищение... Именно так были сформированы ОБЩИЕ ПРАВИЛА. Они основаны на том, что наши интеллектуальные способности и наше природное чувство добра и зла заставляли нас ПОСТОЯННО одобрять или осуждать в череде частных обстоятельств. Изначально мы не одобряем и не осуждаем какое-либо действие только потому, что оно соответствует или противоречит определенным общим правилам; напротив, общие правила были установлены на основе опыта, который позволил признать, что действия определенного рода и совершенные при определенных обстоятельствах обычно одобряются или порицаются» (с. 337).

«Человеку, который впервые становится свидетелем убийства, нет нужды размышлять о том, что одно из самых священных правил морали - уважать жизнь себе подобного...». Он мгновенно охвачен ужасом, еще до осознания какого-либо общего правила, принятого им. Общие правила, которые он формирует впоследствии, являются, напротив, результатом его естественного отвращения к подобному преступлению.

«Когда эти общие правила установлены, признаны и приняты благодаря чувствам, общим для всех людей, мы обращаемся к ним в моменты неуверенности в природе тех или иных поступков; мы ссылаемся на эти правила как на основу того, что справедливо или несправедливо».

«Эти общие правила, будучи однажды запечатлены в нашем сознании посредством ПРИВЫЧНЫХ размышлений, служат нам для исправления неверных отчетов нашего самолюбия о том, что мы должны делать в нашей конкретной ситуации... » Если только воспитание человека не было заброшено, он будет считать своим долгом воздерживаться от действий, порицаемых общими правилами. *«Этот долг сохраняет над ним мощную власть... он сдерживает порывистость его чувств. Общее правило заставляет его колебаться в тот самый момент, когда страсть уже побудила его к действию, и заставляет его испытывать тревоги сомнения и неуверенности»*.

«Наше уважение к этим общим правилам поведения - это то, что по праву называется ЧУВСТВОМ ДОЛГА; это крайне важный принцип в человеческой жизни и единственный, с помощью которого можно направлять действия большинства людей». Многие люди всю жизнь поступали достойно, руководствуясь исключительно правилами, которые они застали установленными при своем рождении. Человек, холодный по натуре, тем не менее научится долгу

признательности благодаря воспитанию и будет исполнять его без иного мотива, кроме уважения к этому долгу. Женщина, которая не любит своего мужа, тем не менее остается ему верна из чувства долга.

«Нет человека, который не был бы способен благодаря ПРИВЫЧКЕ, ВОСПИТАНИЮ И ПРИМЕРУ развить в себе уважение к общим правилам, достаточно сильное, чтобы направлять его к почти всегда достойному поведению и позволять ему на протяжении всей жизни избегать заслуженного порицания».

Без принципов или общих правил, привитых воспитанием, обучением или привычкой, поведение оказывается во власти случайных обстоятельств, которые возбуждают дурное настроение, страсти или корыстный интерес.

«Уважение к общим правилам возрастает благодаря убеждению (которое сначала внушает природа, а затем подтверждают разум и философия), что важнейшие правила морали - это заповеди и законы, исходящие от самого Божества, которое в один прекрасный день должно вознаградить за их соблюдение или наказать за их нарушение».[56]

Я утверждаю, что это мнение, по-видимому, изначально было подсказано самой природой. Во все времена и во всех странах люди приписывали свои чувства и страсти неким таинственным существам. В язычестве оскорбленный человек взывал к Юпитеру против своего врага. Богов обычно считали вознаградителями человечества и милосердия, а также мстителями за несправедливость и коварство. *«Именно так религия, даже в своей самой грубой форме, дала свою санкцию правилам морали задолго до тех веков, когда стали известны искусство рассуждения и философия. Для счастья людей было важно, чтобы ужасы религии укрепляли чувство долга, дабы природа не оставила этот вопрос на волю медлительности и неопределенности философских изысканий»* (Блаве, т. II, с. 58).

«Однако эти исследования впоследствии подтвердили те естественные предрасположенности, о которых я только что упомянул. Каким бы ни было основание наших нравственных способностей - будь то некая модификация разума, изначальный инстинкт, называемый нравственным чувством, или любой другой принцип нашей природы, - несомненно, что они даны нам для руководства нашим поведением в этой жизни. Они несут в себе признаки той власти, которая со всей очевидностью доказывает, что они установлены в нас как верховные судьи всех наших поступков, чтобы надзирать за всеми нашими чувствами и судить о том, в какой степени каждое из них должно быть ограничено или удовлетворено. В этом отношении не следует путать, как это делали некоторые, наши нравственные способности с другими нашими способностями и влечениями, и не стоит полагать, что последние имеют не меньше прав над первыми, чем первые над последними. Не существует такой способности или принципа действия, который судил бы о другом: любовь не судит обиду, а чувство - любовь. Эти две страсти могут быть противоположны друг другу, но нельзя с уверенностью сказать, что они одобряют или осуждают друг друга. Именно нравственным способностям, которые мы сейчас рассматриваем, надлежит судить, одобрять или порицать все остальные принципы нашей природы.

В этом заключается их особая функция. Их можно рассматривать как своего рода чувства, объектами которых являются эти принципы. Каждое чувство суверенно в своей области. Глаз не призывают судить о красоте звуков, а ухо - о красоте цветов, равно как и вкус не судит об ароматах. Все, что ласкает слух, гармонично; все, что приятно на вкус, хорошо. Сама сущность этих качеств заключается в их способности нравиться тем чувствам, к которым они обращены. Точно так же нашим нравственным способностям надлежит определять, когда глаз должен радоваться, ухо - наслаждаться, вкус - удовлетворяться, и когда и до какого предела любой другой принцип нашей природы должен быть сдержан или предоставлен самому себе. Все, что нравится нашим нравственным способностям, является добрым, справедливым и подобающим; все, что им не нравится, является дурным, несправедливым и неподобающим. Чувства, которые они одобряют, приятны и достойны; те, что они осуждают, неприятны и

[56] Всеобщая история, изд. Келя, в 8-ю долю листа, т. XVIII, стр. 32. - Эно, Хронологический очерк, 1515 г., стр. 445, изд. в 12-ю долю листа.

непристойны. Сами эти слова - "хороший", "плохой", "справедливый", "несправедливый", "достойный", "непристойный", "подобающий", "неподобающий" и так далее - означают не что иное, как то, что нравится или не нравится этим способностям.

Поскольку они, таким образом, явно предназначены для управления другими принципами нашей природы, правила, которые они предписывают, должны рассматриваться как законы и веления Божества, провозглашенные этими наместниками, которых Оно поставило над нами».

Именно исходя из этого мнения, всем общим правилам было дано название «законы». «Они были вложены Богом в глубину наших сердец как Его посланники, чтобы неизбежно наказывать за их нарушение стыдом и угрызениями совести и вознаграждать за их верное исполнение внутренним миром и удовлетворением».

Многие другие принципы и другие доводы стремятся доказать то, что мы называем здесь божественным происхождением этих законов.

Они способствуют счастью наших ближних; ведь всё говорит нам о том, что целью творения было счастье существ, и что, содействуя осуществлению целей Творца, мы можем надеяться на Его благоволение и вознаграждение, а противодействуя Его взглядам, нам следует опасаться его негодования.

Вот еще одна причина: несмотря на видимый беспорядок, который мы замечаем в распределении благ и зол, каждая добродетель, тем не менее, находит здесь свою награду, причем именно ту, которая лучше всего подходит для ее поощрения. Практика справедливости, человечности и честности - это безошибочное средство достижения цели, к которой стремятся эти добродетели; я имею в виду доверие и привязанность тех, с кем человек живет. Можно приписать преступление невинному, но это случается редко. Мошенник иногда избегает презрения; однако по-настоящему бесчестному человеку редко удается не прослыть таковым.

Но труд и усердие - реальные заслуги, которые, впрочем, не всегда сопровождаются бескорыстием и щедростью - обретают удачу и богатство, в то время как человечность и щедрость, если они праздны, ленивы и безучастны, погружаются в нищету. Такова природа вещей, и это соответствует общественному порядку. Однако наши естественные чувства не вполне согласуются с таким распределением благ; мы хотели бы для праздной щедрости тех выгод, что дает усердие, не обремененное деликатностью; мы желали бы для корыстного усердия тех лишений, что выпадают на долю ленивой порядочности.

«Человеческие законы, созданные на основе человеческих чувств, приговаривают к смерти и конфискуют имущество трудолюбивого и расчетливого предателя, тогда как высшими наградами они отмечают верность и патриотическое рвение доброго гражданина, лишенного заботливости и предусмотрительности. Таким образом, природа заставляет человека в некотором роде исправлять это распределение вещей, которое она сама склонна осуществлять иначе. Общие правила, которым она заставляет его следовать ради этого, отличаются от тех, которым следует она сама. Природа связывает награду или наказание с каждой конкретной добродетелью и с каждым конкретным пороком именно так, чтобы эффективнее всего поощрять одно и пресекать другое. Она руководствуется лишь этим соображением и нисколько не беспокоится о той степени уважения или презрения, которые люди могут питать к ним в своих чувствах и страстях. Человек же, напротив, обращает внимание только на это и хотел бы сделать положение каждой добродетели и каждого порока точно соразмерным степени любви или ненависти, уважения или презрения, которые он к ним испытывает. Правила, которым следует природа, хороши для нее, а те, которым следует человек, хороши для него; но и те, и другие рассчитаны на ту великую цель, которую она себе наметила: мировой порядок и совершенствование человеческой природы».[57]

[57] «Раз он не был ни героем, ни великим политиком, значит, он обрел более ценную славу - быть добрым королем, и память о нем всегда будет благословенна в потомстве». (Всеобщая история, т. XVIII собрания сочинений, стр. 32.)

Тем не менее, когда благосклонность природы к усердию и активности, столь необходимым обществу, приводит к тому, что *«насилие и хитрость торжествуют над справедливостью и честностью, так что мы оказываемся бессильны их сдержать»*, мы естественным образом взываем к Небесам и надеемся, что Творец природы осуществит в ином мире те принципы, которые он сам нам внушил, что он завершит начатое нами и воздаст однажды каждому по делам его.

«*Именно так мы приходим к вере в загробную жизнь не только из-за слабостей, надежд и опасений человеческой природы, но и благодаря принципам, составляющим ее лучшую и благороднейшую часть: любви к добродетели и ужасу перед несправедливостью и пороком»*.[58]

«Когда общие правила, определяющие достоинство или недостойность наших поступков, рассматриваются как законы, исходящие от Всемогущего Существа, которое вознаградит за их соблюдение и накажет за пренебрежение ими в будущей жизни, они кажутся нам более почтенными и священными. Только те, кто не верит в существование Бога, сомневаются в необходимости сделать Его волю правилом своего поведения».[59]

Таким образом, религия укрепляет естественное чувство долга; именно это внушает в целом больше доверия к порядочности глубоко религиозных людей. Предполагается, что они связаны со своим долгом еще одной дополнительной связью. Они действуют всегда в присутствии Верховного Судьи, который должен однажды вознаградить их по их поступкам.

Учение о христианском милосердии

«Многие полагали, что религиозные принципы являются единственными достойными похвалы мотивами наших поступков. По их мнению, ни благодарность не должна вознаграждать, ни негодование - карать. Мы не должны руководствоваться никакой естественной привязанностью, когда защищаем слабость наших детей или помогаем близким в их недугах. Все привязанности должны угаснуть в нашем сердце и уступить место другой, которая поглотит их все: ЛЮБВИ К БОГУ или стремлению угодить Ему, а также желанию во всём сообразовать наше поведение с Его волей. Мы не должны быть признательными из благодарности, милосердными из человеколюбия, патриотами из любви к родине, или великодушными и справедливыми из любви к людям. НАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИНЦИПОМ, нашим единственным мотивом при исполнении всех этих обязанностей должно быть осознание того, что так велит нам Бог.

Я не буду здесь останавливаться на подробном разборе этого мнения. Замечу лишь, что нам не следовало ожидать, что его поддержит какая-либо секта, исповедующая религию, где первой заповедью является любовь к Богу всем сердцем, всей душой и всеми силами, а второй - любовь к ближнему, как к самому себе. Ведь мы, несомненно, любим самих себя ради нас самих, а не просто потому, что существует заповедь, предписывающая нам это. Христианство никогда не требовало, чтобы чувство долга было единственным принципом нашего поведения; оно лишь хочет, чтобы оно было одним из них, как учат нас философия и здравый смысл. В связи с этим можно спросить: в каких случаях наши действия должны проистекать преимущественно или целиком из чувства долга или уважения к общим правилам, а в каких случаях другие

[58] И то, и другое значение принято в физике. Говорят о «революциях (переворотах) земного шара», имея в виду катаклизмы; говорят также о «революции (обращении) веков, лет, дней», о «революциях Земли, Луны, светил», подразумевая регулярное и периодическое возвращение дней и лет.

[59] Этот расчет легко проверить. Ежегодный продукт Франции оценивается Лавуазье в 3 миллиарда 600 миллионов. Две трети остаются фермерам на оплату их аренды, прибыли, зарплаты и расходы на обработку. Из оставшихся 1 200 000 000, которые кажутся долей собственника, налог забирает шестую часть - 200 000 000. Остается 1 000 000 000. Из этой суммы кредиторы, по ипотеке или без нее, забирают 400 000 000. Остаток составляет 600 000 000, или шестую часть дохода от фондов, что эквивалентно владению шестой частью территории страны по стоимости и при полной обработке.

чувства и привязанности должны содействовать им и иметь решающее влияние?» (Блаве, т. II, с. 78).

Возможно, на этот вопрос нельзя ответить абсолютно точно, но можно приблизиться к истине с помощью некоторых разграничений. Наших добрых чувств достаточно, чтобы направлять действия, которые к ним относятся, без помощи общих правил; самих же этих правил без участия чувств было бы недостаточно для того, чтобы привести нас к самому совершенному поведению. Благодетель счел бы, что его заслуги признаны плохо, если бы ими двигало простое и холодное чувство долга без какой-либо сердечной привязанности. Муж, жена, отец или сын сочли бы себя обделенными теми чувствами, на которые они имеют право, если бы каждый из них получал от другого лишь то внимание и ту заботу, в которых нельзя отказать просто ради того, чтобы нельзя было сказать, что в чем-то была допущена оплошность. Чувство долга здесь не только бесполезно и было бы недостаточно, но, напротив, оно уместно лишь для сдерживания крайностей естественной привязанности.

Если же, напротив, речь идет о страстях или привязанностях необщительных и недоброжелательных - например, о негодовании - то в этом случае чувство приличия должно господствовать над любым диким стремлением к мести. Оно должно приближаться к беспристрастному характеру судьи, сопоставлять перенесенные страдания с тем, что виновный претерпит при суровом наказании, и стремиться к максимально мягкому толкованию закона.

Если речь идет о страстях, рожденных из личной выгоды, любви к деньгам или жажды наживы, то в этом случае следует отличать мелкие интересы повседневной жизни. Купец должен действовать и вести себя с определенным достоинством, выказывая некоторое отвращение к наживе или постыдной скупости; именно чувство долга должно поддерживать его в противостоянии инстинкту, влекущему его к избранной цели.

Напротив, когда дело касается больших интересов, тот, кто не заботится о них с определенным воодушевлением, считается человеком никчемным. Все интересы, способные занять то, что называют честолюбием - крупное дело для коммерсанта, высокая должность для придворного, завоевание для государя - придают честолюбию некий ореол величия, который ослепляет воображение. Пренебрежение великими интересами приписывается вялости и посредственности; оно становится объектом презрения.

Подобно тому, как среди страстей нужно различать те, что нуждаются в общих правилах в качестве ориентиров или помощников, и те, что их отвергают, следует также проводить различие между общими правилами: среди них есть ясные и точные, а есть неопределенные и туманные.

Было бы проявлением педантизма пытаться во всем следовать пословицам о благоразумии. Законы благодарности вызывают множество сомнений и требуют множества исключений. Правила дружбы, человечности, гостеприимства и щедрости еще более расплывчаты и неопределенны.[60]

---

[60] Ганза зародилась в Бремене в конце XII века. Она процветала главным образом в XIII и XIV веках. По мнению одних, в нее входило семьдесят два города, по мнению других - восемьдесят. Самыми могущественными из них были Антверпен, Роттердам, Брюгге, Остенде и Дюнкерк - в Нидерландах; Кале, Руан, Сен-Мало, Бордо, Байонна и Марсель - во Франции; Барселона, Севилья и Кадис - в Испании; Лиссабон - в Португалии; Ливорно, Неаполь, Мессина - в Италии; Лондон, Гамбург, Бремен, Любек, Данциг. Ее торговля распространялась на всю Италию и северные моря. «Сеньоры, - говорит Ансийон, - редко осмеливались нападать на собственность ганзейских городов; они заставляли уважать себя даже суверенов. В 1348 году король Дании Вальдемар III, а в 1428 году Эрик IX были вынуждены смириться перед этим сообществом купцов» (*Rev. de l'Eur.*, t. 1, p. 198). Де Ту (книга LI) приводит другой пример, относящийся к эпохе воцарения Людовика XII: «В 1488 году Брюгге, один из четырех главных городов Ганзейской лиги, заключил в позорную тюрьму Максимилиана, римского короля, после того как на его глазах были казнены некоторые из его главных министров. Фридрих, его отец, отомстил за него, разорив порт Брюгге, но торговля из этого порта переместилась в Антверпен». Лига существовала до тех пор, пока торговля нуждалась в том, чтобы самой обеспечивать свою безопасность. Она прекратила существование, подобно вооруженным эскортам (*geleit*) или караванам, когда государственная полиция взяла на себя обеспечение безопасности дорог.

Только правила правосудия точны, строги и определенны; они заслуживают самого священного уважения и глубочайшего почтения. В практике других добродетелей нам следует руководствоваться скорее неким «представлением о приличии», неким вкусом к определенной системе поведения, чем «каким-либо вниманием к максимам и правилам; и нужно меньше учитывать само правило, чем цель и основание этого правила»; в то время как правосудие не допускает ни малейших изменений или исключений, никаких поблажек при его исполнении. Оно не принимает даже того оправдания, что его нарушение не нанесло вреда или что оно могло остаться незамеченным заинтересованными лицами. Кража у богача, который этого даже не заметит, - это всё равно кража; прелюбодеяние, о котором не знает муж, - это всё равно преступление против него.

Справедливость относится к поступкам так же, как грамматика к речи: любое нарушение их законов является ошибкой. Приятные качества относятся к действиям так же, как искусство письма к стилю; отходя от них, человек рискует стать менее привлекательным. Не существует правил, которые наделили бы нас элегантностью или возвышенностью стиля; точно так же нет правил, «знание которых безошибочно вело бы нас к тому, чтобы во всем поступать благоразумно, делать добро или проявлять величие души в нужный момент».

Заметим, что можно ошибиться в правилах поведения даже при самом искреннем желании соблюдать все приличия и что *«мы можем сбиться с пути из-за того самого принципа, который должен служить нам компасом…»*. *«Ложные религиозные представления - едва ли не единственная причина, способная вызвать подобное искажение наших естественных чувств… Все согласны, что первое правило долга - повиноваться Богу; но существует огромная разница во мнениях относительно того, какие именно заповеди исходят от Его воли… Тем не менее, в заблуждениях искренне ошибающейся совести есть нечто, заслуживающее уважения»*. Нужно проявлять снисходительность и величайшую терпимость к тем, кто добросовестно заблуждается по религиозным мотивам, при условии, что религия не служит лишь предлогом для какой-либо из самых отвратительных человеческих страстей.

О полезности

Полезность определяет ценность почти всех вещей. Удобство дома радует так же сильно, как и его правильные пропорции. Полезность механизма делает его приятным как для взора, так и для ума. Почему? Юм объяснил это.

Полезность предмета очаровывает владельца, который извлекает из него выгоду, а сторонний наблюдатель получает удовольствие из сочувствия к владельцу. Глядя на дворец вельможи, мы воображаем то удовольствие, которое доставило бы нам обладание им. Если я наслаждаюсь этим дворцом, обращаясь к самому себе и представляя удовольствие, которое я получил бы, живя в нем, значит, я наслаждаюсь им не из сочувствия к владельцу.

Изобретение полезных вещей часто очаровывает нас больше, чем их фактическая польза. Обстановка комнаты нравится нам больше, чем она приносит реальной пользы; я так же удобно сижу на стуле, стоящем не на месте, как если бы он был там, где положено. Превосходные часы, которые за восемь дней не отклоняются ни на минуту, будут иметь для меня огромную ценность по сравнению с теми, что отстают на две минуты.

Некоторые люди набивают карманы мелкими вещицами, которые их обременяют и которыми они никогда не воспользуются, лишь потому, что в случае необходимости эти предметы могли бы оказаться весьма удобными.

Другие примеры: предприятия, текущие жертвы, приносимые ради видимости возможной и часто иллюзорной пользы. Труды, на которые человек идет ради наживы. Жертвы ради строительства.

Мы наслаждаемся видом дворцов, садов, экипажей и слуг, сопереживая их владельцам. Мы не всегда считаем их счастливее других, но верим, что у них больше средств для достижения счастья.

Лишь в старости человек по-настоящему осознает, что такое огромное состояние. Тогда он видит, что это не более чем громоздкий механизм, предназначенный для получения ничтожных удовольствий, сопряженный с множеством хлопот, подверженный опасностям, вызывающий глубокую тревогу и нередко становящийся причиной многих бед.

Однако молодость и здоровье судят иначе. В ту пору человек восхищается мастерством, с которым при большом богатстве всё устроено так, чтобы предвосхищать нужды, умножать радости, пробуждать фантазии и удовлетворять их.

Разумный человек, смотрящий на мир без угрюмости и иллюзий, с удовлетворением наблюдает за этой машиной упорядоченных и многообразных наслаждений; он находит в ней нечто великое, благородное и прекрасное.

Сочувствие к владельцам - не единственная причина нашей любви к порядку, искусству и изобретательности. Чиновник-филантроп заботится о строительстве больших дорог не из личного интереса к путешественникам; законодатель занимается устройством фабрик и их развитием не столько ради потребителей, сколько ради рабочих и промышленников, и даже не столько ради них самих, сколько ради общей системы государственного управления - чтобы способствовать гармонии, которая должна царить в политическом механизме, этом огромном и прекрасном устройстве. Политики занимаются различными формами правления скорее из любви к самому искусству управления и страсти к созиданию, чем из симпатии к тем, кто будет пожинать плоды политических улучшений.

Известно, что люди глубоко гуманные порой бывают лишены чувства общественного долга, равно как и люди, преданные общественному благу, могут обладать бесчеловечным характером. Петр Первый - пример последних; Яков I - пример первых. И подобно тому как существуют амбициозные люди, которых совершенно не трогают удобства богатства и которые видят в нем лишь величие, точно так же существуют политики, которых невозможно растрогать картиной человеческого счастья в хорошо управляемом государстве, но которые не могут слушать без волнения и гражданского подъема, когда им представляют стройную систему управления или новые комбинации, обещающие славные и легкие результаты. Именно через эту категорию людей книги и политические издания привносят в общество теоретические рассуждения о политике.

Посмотрим, в какой степени полезность вещей, поступков и людей определяет мнение об их ценности и может ли она считаться одной из причин нашей самооценки. (Гл. 11, с. 404.) Благоразумного, деятельного, справедливого, твердого и умеренного человека можно рассматривать как механизм, наилучшим образом приспособленный для целей, которым он предназначен. Дерзкий, наглый, ленивый, изнеженный или порочный человек - это грубый и бесформенный механизм.

Какое правительство может быть полезнее нравственного и какое губительнее того, что ему противоположно? Если рассматривать таких людей и такие противоположные правительства отвлеченно и философски, о них складываются лишь смутные представления.

Лишь при определенных обстоятельствах мы ощущаем достоинства или недостатки, уместность или неуместность того или иного поступка, и лишь тогда человек внушает нам негодование или симпатию. В частных случаях благотворные последствия добродетели или пагубные плоды порока поражают нас мгновенно, как бы отделяясь от прочих их свойств.

Юм полагает, что природа устроила так, чтобы полезность людей определяла наши суждения о них. Смит же считает, что вид полезности вполне может усиливать и возвышать наши чувства, но не является их главным или первоначальным источником.

Во-первых, представляется невозможным иметь общую меру для оценки человека и машины. Во-вторых, в чувстве одобрения всегда присутствуют идеи соответствия и уместности, совершенно чуждые понятию полезности, даже когда речь идет об одобрении вещей, ценимых именно за их полезность.

Мы ценим превосходство разума не только из-за его преимуществ, но и по причине точности и правильности, которые составляют его суть. Мы мало ощущаем пользу высшей математики, и тем не менее она вызывает всеобщее восхищение. Власть над собой ценится столько же из-за её уместности, сколько из-за её полезности. Чувства, которые побуждают нас уважать это качество, совпадают с чувствами наблюдателя. Человек, который отказывается от соблазнов сиюминутного удовольствия, чтобы обеспечить себе благополучие в будущем, действует в полном согласии с тем, как мы судим о его интересах. Мы не просто одобряем его поведение - мы восхищаемся им; и требуется не меньше, чем уверенность в восхищении зрителя и уверенность в одобрении всего мира, чтобы поддержать человека в его мужественном предпочтении будущего настоящему.

Гуманность требует мало власти над собой и мало бескорыстия; это простое следствие сочувствия. Щедрость же - это предпочтение других самому себе. Тот, кто уступает должность, к которой стремился, человеку более способному её исполнять; тот, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти жизнь человека, которого он считает более нужным обществу, - оба они действуют не просто из гуманности, а потому что глубже чувствуют то, что затрагивает интересы других, чем то, что касается их самих. Они ставят себя на место наблюдателя, который больше сопереживает тем людям, ради которых они жертвуют собой, чем им самим. Солдат, не щадящий жизни ради защиты своего офицера, жаждет аплодисментов беспристрастного наблюдателя, который не станет сравнивать жизнь солдата с жизнью военачальника. Молодой военный, рискующий собой ради завоевания провинции, предпочитает собственной жизни это расширение территории не само по себе; он отождествляет себя с нацией, которая ценит приращение земель выше жизни одного человека. Таким образом, он подавляет мощнейший природный инстинкт чувством уместности и долга, что и составляет героизм его поступка. Брут, приговаривая сына к смерти, судил его не как отец, а как гражданин. Наше восхищение этими великими деяниями основано гораздо меньше на их полезности, чем на их ярком и неожиданном героизме.[61]

Полезность придает им блеска, но это не то, что делает их ценными в глазах обычных людей. Такая польза зачастую находится за пределами их понимания.

Заметим, что когда одобрение рождается из осознания полезности, оно не зависит от чувств окружающих. Человек, всегда живший в изоляции, мог бы ценить достоинства полезности; но восприятие уместности или неуместности поступков осталось бы ему чуждым - это, если можно так выразиться, вопрос вкуса. Он не испытывал бы ни стыда за преступный поступок, ни гордой радости от героического деяния. *«Эти чувства предполагают идею существа, подобного нам, которое является естественным судьей этих самых чувств; и только через сочувствие к решениям этого судьи нашего поведения мы испытываем радость внутреннего одобрения и стыд от самоосуждения»*.

О полезности. Наблюдения по поводу системы Смита

Он полагает, что мы наслаждаемся полезными вещами благодаря сопереживанию (симпатии) тем, кто ими владеет. Это можно сказать лишь о тех вещах, которыми мы сами не владеем; но когда мы ими владеем! И разве те, кто ими владеет, не радуются им независимо от всякого сочувствия? Мы наслаждаемся видом полезной вещи потому, что идея её службы связывается в нашем сознании с идеей наслаждения. Смит замечает, что заслуга изобретения какой-либо машины зачастую интересует нас больше, чем её фактическая польза. Дело в том, что создание одного механизма сулит или дает надежду на появление двадцати других, особенно если оно ценно преодолением технических трудностей; но в этом кроется лишь личный

[61] Я беру эту цитату у Вилларе (1444), который не указывает историю, из которой он её заимствовал.

интерес. Смит замечает, что нам нравится порядок в расстановке мебели, хотя беспорядок и не мешает ею пользоваться; однако важно, чтобы при необходимости вещи были под рукой, в хорошем состоянии и без лишних хлопот. Опять же - личный интерес!

Смит отмечает, что администратор занимается общественными дорогами без личного интереса к путешественникам. Законодатель заботится о мануфактурах, не беспокоясь ни о потребителях, ни о рабочих, а исключительно ради блага государства. Политики разрабатывают новые формы правления из чистого духа изобретательства и комбинаторики. Между человеческим сердцем и чувством общественного долга существует огромная разница: тому свидетелем Яков I, столь добрый как человек, но столь лишенный общественного духа, и Петр Великий, обладавший величайшим общественным духом, но сердцем столь свирепым.

Смит полагает, что объяснить эти явления можно только через симпатию, поскольку в этих великих делах, помимо пользы, заключена иная ценность, и именно с чувствами, на которых основана эта ценность, и вступает в резонанс симпатия. Поясним это. Смит предполагает, что администратор, законодатель, государственный деятель - и добавьте к ним ученого, владеющего высшей математикой, чья польза недоступна простому обывателю, и даже героя в политике или морали - обладают, помимо заслуги полезности, достоинствами уместности и правильности. У этих уместности и правильности есть свои особые судьи, которые выделяются из общей массы людей в обществе. И именно с этими людьми, которых Смит ставит перед ученым, законодателем или героем как беспристрастных зрителей их поведения и мнений, последние и вступают в симпатию.

Разве нельзя возразить Смиту, что эти судьи уместности и правильности поступков являются лишь судьями особого рода полезности - более обширной, возвышенной, долговечной и глубокой, чем та, что присуща большинству вещей немедленного, осязаемого и обыденного применения? Разве сами уместность и правильность не являются лишь условиями полезности или, по крайней мере, удобства, которого ищут во всем? Героический военный, жертвующий собой ради завоевания, солдат, подставляющий себя под удар, предназначавшийся генералу, находятся в симпатии с начальниками или государственными деятелями, которые обладают глубоким чувством высокой пользы. Тому, кто жертвует собой ради спасения отца или жены, достаточно лишь своей привязанности или чувства собственного интереса; в крайнем случае можно сказать, что он находится в симпатии с тем или иным из этих людей, которые ему дороги и чья опасность его тревожит. Но когда человек жертвует собой ради славы своей страны или ради спасения генерала, необходимого его армии, он действует из прямой симпатии с просвещенными людьми, которые, в свою очередь, симпатизируют общим интересам, о которых им известно. Таким образом, он лишь косвенно симпатизирует пользе самопожертвования; его определяет симпатия к всеобщему уважению и доверию - эта чисто нравственная симпатия. Представим себе Курция на краю пропасти, которую надлежит закрыть, посреди рыдающих римлян. Он бросается туда не из симпатии к тому удовлетворению, которое испытает народ после того, как пропасть закроется; он делает это из симпатии к нынешнему горю собравшегося народа, а также к тому восхищению и благодарности, которые внезапно вызовет у них самопожертвование согражданина.

Здесь я узнаю нечто иное, нежели личный интерес и даже нежели немедленная и прямая симпатия к серьезному интересу. Я вижу, я чувствую порывистое, властное, непреодолимое движение нравственной симпатии - благородной, возвышенной, проявляющейся в момент кризиса, вместе с благодарностью, причина и объект которой совершенно утеряны из виду.

Различные определения добродетели

Смит резюмировал определения многих моралистов во введении ко второму разделу седьмой части «Теории нравственных чувств». Прежде всего я замечу, что, по мнению одних,

это *состояние души, которое* и т. д.; по мнению других - это *практика*; по мнению третьих - *привязанность* или *привязанности*. Вот первичные различия, *in limine* [с самого начала]; это первая причина неясности.

Согласно первым, она [добродетель] заключается в расположении души, которое: (1) направляет к поступкам, добродетельным по своей цели; (2) соразмеряет их порывистость или умеренность в зависимости от значимости целей. Согласно вторым, она заключается в благоразумии, которое изучает наши интересы и ведет к ним наиболее надежными путями. Согласно третьим, добродетель заключается не в тех привязанностях, целью которых является наше собственное счастье, а в тех, что направлены на счастье других - то есть в бескорыстном доброжелательстве.

Примечание. Чтобы правильно различать эти системы, следовало бы убедиться, что они не смешиваются во многих отношениях и не приводят лишь к перестановке одних и тех же идей; сначала следовало бы отделить тех, кто полагает добродетель в направлении или стремлении души к определенной цели, к определенным действиям, признанным добродетельными, за исключением их меры, от тех, кто полагает её в определенной мере, соответствующей действиям в зависимости от их цели, за исключением направления. (Ясно ли это?)

В первой системе, которая относится к стремлению, следовало бы отличать стремление по велению разума от стремления по чувству или привязанности... Существует и несколько других различий, которые необходимо провести, и т. д.

Размышления Смита о различных мнениях касательно добродетели

Согласно Платону, Аристотелю и Зенону, добродетель заключается в уместности страсти, которая заставляет нас действовать сообразно предмету этой страсти (Т. II, с. 129). Платон признает в способности суждения, или разуме, умение отличать истину от лжи, соответствие или несоответствие наших желаний и страстей. Разум является регулирующим принципом страстей.

Страсти рождаются из яростной или вожделеющей части души: первые - недоброжелательны, вторые - сладострастны; одни толкают нас причинять вред, другие заставляют забывать о том, чем мы обязаны другим и самим себе.

Мы редко изменяем разуму, если нас не подталкивают к этому страсти. Дело не в том, что страсти первого порядка не нужны нам для защиты от обид со стороны окружающих; а страсти второго - для поиска того, что необходимо для самосохранения; в этом отношении они достойны одобрения. Они ведут к величию души, если слушаются разума; они сдерживают аппетиты вожделеющей части.

Сила, проницательность и совершенство разума составляют *благоразумие*, то есть верное и глубокое распознавание обширных и ясных идей о целях и средствах, которым следует следовать. Когда наши страсти находятся в гармонии с нашим разумом, эта гармония называлась греками *умеренностью*, а у нас - воздержанностью, трезвостью, самообладанием, счастливым нравом.

Платон, вслед за некоторыми пифагорейцами, называет *справедливостью* ту совершенную правильность поведения, которая возникает, когда разум повелевает, а каждая страсть выполняет свои обязанности с энергией, соразмерной их важности. Справедливость имеет несколько значений. Она воздерживается от того, чтобы вредить кому-либо, от того, чтобы незаслуженно презирать; в данном случае это *коммутативная* [уравнивающая] справедливость Аристотеля, *восполняющая* (*explétrice*) справедливость Гроция. Она благодетельна, щедра; она приветствует и ищет заслуги; она ценит их; тогда это *дистрибутивная* [распределительная] или *атрибутивная* справедливость.

«Справедливость в этом последнем смысле, - говорит Смит, - *есть то же самое, что и точная правильность и "совершенная уместность поведения". Она включает в себя тогда не только распределительную и уравнивающую справедливость, но и другие добродетели, такие как благоразумие, сила, умеренность. Именно поэтому Платон рассматривает эту добродетель как совершенство всех остальных* (с. 136) *и как собственный объект похвалы и одобрения»*. Смит замечает, что это представление о добродетели соответствует его собственному.

Согласно Аристотелю, *«добродетель заключается в привычке к умеренности, предписанной разумом... мужество - в некоей середине между трусостью и безрассудством; умеренность - в некоей середине между скупостью и расточительностью; великодушие - точно так же между высокомерием и малодушием»*.

Смит замечает, что это также согласуется с тем, что он сказал об уместности и неуместности нашего поведения. Аристотель признает добродетель только в привычке к этой умеренности. Он отличает добродетель личности от добродетели поступка. Добродетельный поступок может быть совершен случайно человеком, не обладающим добродетелью. Аристотель и Платон расходятся в этом вопросе. Первый признает добродетель только в практической привычке поступать правильно; Платон же, по-видимому, считает, что верных чувств и разумных суждений о том, что нам следует делать или чего избегать, достаточно для формирования совершенной добродетели. *«Платон рассматривает добродетель как своего рода науку»*, но как науку всеобъемлющую и властную, которая не позволяет отклоняться от того, что она признала истинным, и не дает совершать то, что она отвергает. Аристотель не верил, что разум способен противостоять страстям, и полагал, что добродетель является не столько результатом наших знаний, сколько следствием наших действий, превратившихся в привычку.

Зенон, основатель школы стоиков, *«считает, что природа доверила каждое животное его собственным заботам и наделила его принципом самолюбия, который побуждает его не только сохранять свое существование, но и поддерживать все части своего существа в максимально совершенном состоянии»*.

... «Добродетель и сообразность нашего поведения заключаются в том, чтобы выбирать и отвергать различные предметы и обстоятельства в зависимости от того, сделала ли их природа более или менее достойными нашего выбора или нашей неприязни. Выбирая и отвергая таким образом с рассудительностью, уделяя каждому предмету ту степень внимания, которой он заслуживает... мы достигаем той совершенной правильности поведения, которая составляет сущность добродетели. Это и есть жизнь согласно природе». Это мнение почти совпадает с мнением Аристотеля и древних перипатетиков.

Но вот учение, свойственное именно **стоикам**. Мы - часть великого целого. Именно к этому целому мы должны быть привязаны. Мы должны предпочитать свою семью - себе, свою родину - семье, а вселенную - своей родине. Поскольку всеми событиями этого мира управляет добрый, мудрый и всемогущий Бог, мы можем быть уверены, что все происходящее ведет к процветанию и совершенству целого. Когда с нами случается что-то несчастное, мы должны спокойно подчиниться ситуации, которую делают необходимой порядок и совершенство вселенной. Мы должны убедить себя, что эта ситуация - наш собственный выбор, если мы хотим сохранить в себе это чувство и ту правильность поведения, в которой заключается всё совершенство нашей природы.

Точно так же, если бы наша родина или наши семьи постигли непоправимые несчастья, мы должны были бы рассматривать их как радостные события, будучи уверенными, что они способствуют благу и общему порядку, который должен быть первым предметом наших желаний, если мы люди справедливые и разумные.

Эпиктет говорит: *«Если вы рассматриваете себя как человека, как часть некоего целого, почему бы вам жаловаться, если бы этому целому было угодно, чтобы вы заболели, или чтобы вы погибли в расцвете лет? Жалуясь, вы перестаете быть человеком, подобно тому как нога перестает быть членом тела, когда отказывается идти»*.

Мудрый человек считает себя атомом в безбрежности системы, которая должна быть устроена ради общего удобства. *«Когда я хочу отправиться в плавание*, - говорит Эпиктет, - *я*

выбираю лучший корабль и лучшего капитана и жду хорошей погоды, если мои дела позволяют мне это. Благоразумие и сообразность, которые даровали мне боги для руководства моим поведением, велят мне поступать именно так. Но если поднимается буря, я не беспокоюсь о последствиях. Мне не было велено беспокоиться, страшиться. Утону ли я или вернусь в порт - это дело Юпитера, а не моё».

Мудрец стоиков почти абсолютно безразличен к событиям человеческой жизни; его счастье заключается прежде всего в созерцании вселенского порядка, а во вторую очередь - в сообразности или несообразности его поведения, что может быть крайне важно для него самого, но нисколько не зависит от успеха или неудачи. Если он предпочел богатство невзгодам, сделав такой выбор, то лишь потому, что того требовала сообразность - правило его действий.

Как только мы обрели глубокое познание того, что следует выбирать или отвергать среди тех или иных предметов, порядка, изящества и красоты, которые мы находим в привычке к такому выбору, мы становимся более важными, чем сами объекты. Соблюдение или нарушение принципа уместности - это источник счастья и славы либо несчастья и унижения. Тот, кто властвует над всеми своими страстями, стоит выше любых обстоятельств. В наслаждении он проявляет умеренность, в страдании - стойкость, а перед лицом опасности и смерти - мужество и великодушие. Он никогда не испытывает затруднений в сохранении той уместности чувств и поведения, которая составляет его славу и счастье.

Стоики рассматривали человеческую жизнь как сложную игру, полную случайностей. Они придавали мало значения тому, чем в ней рискуют; всё их внимание было сосредоточено на качестве самой игры. Они пренебрегали ставками, но высоко ценили мастерски сыгранную партию. По их мнению, плохой игрок не получает удовольствия ни от процесса игры, ни даже от выигрыша; у него нет ни ощущения собственного мастерства, ни уверенности в победе. Согласно их учению, результаты наших действий, находясь вне нашей власти, в равной степени должны быть и вне сферы наших интересов. Наше счастье заключено в том, что передано в нашу власть природой, воспитанием и нашими привычками.

Многие современные системы полагают, что добродетель заключается в соответствии чувств тем объектам, на которые они направлены, и Кларк принадлежит к их числу. Уолластон настаивает на том, чтобы природа объектов была признанной и реальной. Шефтсбери требует определенного равновесия между всеми страстями. *«Все эти разнообразные системы являются более или менее точным выражением фундаментальных идей добродетели; но ни одна из них не дает и не претендует на то, чтобы дать надежное и точное правило, согласно которому можно было бы судить об уместности или неуместности чувства, побуждающего нас к действию. Такое правило может быть найдено только в сочувственных переживаниях наблюдателя, которого мы предполагаем беспристрастным и просвещенным»* (с. 186).

Впрочем, все согласны признать, *«что не существует добродетели без правильности или уместности, и нет уместности, за которой не следовало бы некое одобрение»*. Однако их определениям недостает полноты, поскольку система уместности, отделенная от одобрения, не соизмеряет степень уважения с заслугой или порочностью поступков.

Вопрос

«Какова та сила или способность души, которая заставляет нас находить определенные характеры приятными или неприятными, которая заставляет нас предпочитать то или иное поведение, считать одно предметом одобрения, уважения и награды, а другое - предметом порицания, осуждения и негодования?». Самолюбие, разум и чувство - вот три различные причины, которые выдвигались в качестве принципа нашего одобрения.

Знание принципа нашего одобрения менее важно, чем понимание того, какова природа добродетели. *«Изучение внутреннего механизма, из которого рождается одобрение, может быть лишь предметом любопытства для философов»*.

Именно так Смит ставит вопрос и так он оценивает его важность. Несомненно, это лишь предмет философского любопытства, если наше уважение или порицание не оказывают прямого влияния на нашу волю, на наши действия и на наше поведение. Но если это принципы наших повседневных решений в привычной жизни, то для практической морали не может быть безразлично тщательное изучение происхождения наших мотивов, чтобы установить предпочтение между ними согласно той степени силы, которая будет признана за каждым из них.

Согласно «Теории нравственных чувств» Смита, самолюбие или личный интерес не могут объяснить наше моральное одобрение или осуждение лучше, чем чистый разум. **Гоббс**, **Пуфендорф** и **Мандевиль** полагают, что польза или вред, приносимые действиями или заложенные в принципах, сами по себе определяют наши суждения о них. Когда они описывают преимущества общества по сравнению с дикой жизнью, и показывают влияние добродетели и порока на социум, они действительно открывают новую красоту добродетели и новое уродство порока. Но прежде чем заметить эту красоту и это уродство, они сами (как и их читатели) уже одобряли добродетель и осуждали порок. Следовательно, вовсе не принцип полезности определил их суждение.

Мы восхищаемся Катоном и питаем отвращение к Катилине, не обращаясь при этом к собственным интересам, которым они не могут угрожать, и не имея причин бояться или надеяться на счастье или несчастье от нации, которая не имеет никакого отношения к нашей судьбе. Следовательно, ощущение нашей пользы никак не участвует в наших чувствах по отношению к ним. Мужчина может сочувствовать женщине во время родов, и это происходит без малейшего опасения подобного испытания для него самого. Я сокрушаюсь вместе с вами о потере вашего сына, хотя у меня самого сыновей нет. В чем же причина этих явлений? Если это не чувство моего личного интереса, значит, это сопереживание, которое я разделяю с заинтересованным лицом в его горе или радости: следовательно, это ***симпатия***.

И дело вовсе не в том, что я предполагаю некий повод для горя или радости, случившийся с *моей личностью*; дело в том, что я вижу, как это происходит с другим человеком, которому я сочувствую. Не потому я сопереживаю, что размышляю о том, что почувствовал бы сам, если бы эти причины воздействовали на меня; а потому, что я представляю, что я испытывал бы, будь я *вами*. Я страдаю или радуюсь за вас, а не за себя.

По правде говоря, эмоция, которую я испытываю, основана на личном интересе, так как эта эмоция возникает тогда, когда я воображением ставлю себя на ваше место, и благодаря этому осознаю то, что должны чувствовать вы сами. Однако эта воображаемая перемена мест не предполагает, что она происходит с моей собственной личностью, она происходит в вашей личности. Система, которая выводит все наши страсти из любви к себе, является лишь системой симпатии, понятой в смысле, противоположном истинному. Она заставляет меня возвращаться к себе, когда я вижу ваши страдания. Симпатия же заставляет меня устремляться к вам.

Согласно Хатчесону,[62] принцип одобрения - это особая способность, сила восприятия, которую он называет ***нравственным чувством***, чувством рефлексии и следствия, в противоположность чувству прямому и предшествующему. Он называет прямыми чувствами не только те, через которые мы получаем такие восприятия, как звуки и цвета, но и прямое внутреннее чувство, которое Локк называет ***рефлексией***, и из которого мы извлекаем простые идеи различных страстей и эмоций человеческого сердца. Он называет непрямым внутренним чув-

[62] Граф д'Арманьяк, по словам Вилларе, приписывал поражение при Азенкуре трусости дворянства. («История Франции», т. XIII, стр. 427.)

ством, или чувством рефлексии и следствия, ту способность, с помощью которой мы воспринимаем красоту или безобразие, порок или добродетель наших различных страстей или эмоций.

Хатчесон не хочет приравнивать это внутреннее чувство к чувству внешнему, которое изменяется в зависимости от объектов, от которых оно получает впечатление. Кажется, что чувство морального добра и зла в его глазах - как и чувство обиды, называемое негодованием, или чувство благодеяний, называемое признательностью, - является способностью испытывать эмоции при виде определенных действий или определенных характеров.

Но этой системе можно противопоставить несколько замечаний. Во-первых, чувство абстрактного добра и зла было бы абсолютным и лишенным нюансов в отношении фактов или характеров, обстоятельства которых были бы различными, в то время как негодование или благодарность следуют всем градациям их заслуг или провинностей. Во-вторых, чувство абстрактного и абсолютного добра и зла было бы одинаковым во всех случаях, заслуживающих одобрения, и одинаковым во всех случаях, вызывающих неодобрение. Однако *«одобрение, которое мы проявляем в одних данных обстоятельствах, совершенно отличается от того, которое мы проявляем в других; ни одна общая или общая черта не указывает на идентичность этих чувств. Одобрение, которое мы дарим нежному, гуманному, тонкому чувству, ни в чем не похоже на то, которое мы дарим чувству возвышенному, мужественному и героическому. И то, и другое могут быть полными, но одно нас смягчает, а другое - возвышает. Между ними нет никакого сходства...*

То же самое верно и в отношении неодобрения: ужас, который мы испытываем перед жестокостью, нисколько не похож на презрение, которое внушает нам трусость; мы не испытываем отчуждения одного и того же рода к тому и другому пороку».

К тому же, мы не только одобряем или не одобряем других, но мы также выносим суждения о наших собственных одобрениях или неодобрениях. На чем же будут основываться эти суждения о нас даже в системе Хатчесона? Они могут основываться только на своем согласии или несогласии с суждениями других. *«Если это так в данном случае, почему бы этому не быть так же и во всех остальных, и зачем воображать новую способность восприятия для объяснения этих чувств?»* (с. 261).

Это *мнимое* нравственное чувство Хатчесона до сих пор было настолько малоизвестно, что оно еще не получило названия ни в одном языке. Само выражение «нравственное чувство» является совершенно новым для английского языка. *«В то время как любовь, ненависть, радость, удовольствие, признательность, негодование и все другие страсти, которые считаются подчиненными этому принципу, казались достаточно примечательными, чтобы каждая из них заслужила отдельное название, почему никто до сих пор, за исключением очень небольшого числа философов, не счел сам этот принцип достойным того, чтобы дать ему имя?»*.

Наконец, согласно самому Хатчесону, наше одобрение человека или поступка рождается из нашего сочувствия к его мотивам, из нашего сочувствия к той благодарности, которую этот поступок вызовет, из соответствия этого поступка общим правилам, определяющим оба этих вида сочувствия, и из представления о его полезности. Если какое-либо одобрение нельзя объяснить одной из этих причин, тогда обращаются к нравственному чувству. Но если всё объясняется и без него, то в чем его польза? Какую причину можно привести в оправдание его изобретения?

Наконец, если нравственное чувство существует, почему мы его не ощущаем, почему мы не различаем его в себе отчетливо, как ощущаем радость, горе, надежду, страх? *«Я никогда не слышал, чтобы приводились какие-либо обстоятельства, в которых утверждалось бы, что нравственное чувство действовало само по себе, не смешиваясь с сочувствием или антипатией, с благодарностью или негодованием, либо с восприятием соответствия или противоречия поступка установленным правилам, или, наконец, с тем общим вкусом к красоте и порядку - чувством, которое в равной степени внушается нам при созерцании как неодушевленных, так и одушевленных предметов»* (с. 264). Суть системы Смита, как мне кажется, заключается в следующем отрывке:

«Поскольку наши самые твердые и верные суждения относительно добра и зла регулируются общими идеями и правилами, являющимися результатом выводов, сделанных разумом, можно с уверенностью сказать, что добродетель заключается в соответствии наших поступков разуму, и что эту способность следует рассматривать как принцип одобрения или неодобрения.

Но хотя разум, несомненно, является источником всех общих правил морали и всех суждений, которые мы выносим на основе этих правил, АБСУРДНО И НЕПОСТИЖИМО предполагать, что даже в тех частных случаях, на опыте которых строятся общие правила, наши первичные понятия о справедливом и несправедливом происходят от разума. Эти первичные наблюдения, как и все те, на которых основаны общие правила, НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ РАЗУМА, НО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ЧУВСТВА; именно обнаруживая в бесконечном множестве случаев, что определенное поведение неизменно нравится, а другое - всегда вызывает недовольство, мы формируем общие правила морали. Разум сам по себе не может сделать какой-либо объект приятным или неприятным для ума. Он вполне может показать нам, что та или иная вещь является средством для достижения другой, которая естественным образом нам нравится или не нравится, и сделать первую приятной ради второй; но он не делает никакой объект приятным или неприятным сам по себе, если непосредственное чувство не высказывается за или против него. Таким образом, когда добродетель в каком-либо конкретном случае сама по себе нравится нашему сердцу, а порок вызывает в нем неприязнь, это делает не разум, а непосредственное чувство, которое привязывает нас к одной и отталкивает от другого. Удовольствие и страдание являются главными объектами нашего желания и отвращения, и именно чувство, а вовсе не разум, различает их». (Мадам де Кондорсе, т. II, с. 247.)

Смит опирается на мнение доктора Хатчесона в своих «Рассуждениях о нравственном чувстве», и похоже, что Хатчесон показывает, как чувство, будучи истолковано, изложено и прокомментировано разумом, в силу привычки стало бездумно приписываться разуму, хотя на самом деле оно принадлежит чувству.

(От редактора). *Я добавляю здесь несколько размышлений о пользе, которые, как мне кажется, предназначались для включения в только что прочитанный текст. Автор вкладывает эти слова в уста симпатии (сочувствия).*

Я приверженица пользы; это моя страсть, или, если угодно, моё безумство. Меня заботит не только та польза, которая касается лично меня, и даже не та, что полезна моей семье. Мои интересы не ограничиваются пользой для моей деревни или даже моего отечества. Я посвятила себя тому, что полезно всему миру.

Именно так понимали это Зенон и его последователи-стоики.

Вы скажете мне, что не всё полезное справедливо, и не всё справедливое порядочно; вы можете добавить, что не всё порядочное великодушно. Я отвечу: то, что полезно лично мне, моей семье или моей деревне, может быть несправедливым, потому что эта польза, ограниченная лишь частями человеческого общества, может наносить вред обществу в целом. Однако невозможно заставить меня признать, что то, что одинаково полезно всему миру, может быть несправедливым.

Вы скажете мне, что общее благо общества может потребовать нанесения мне ущерба, и что этот ущерб не будет несправедливостью, если он заслужен.

Я отвечаю: справедливость ко всем без исключения - это высшее общее благо общества. Права ни одного человека не могут быть в безопасности там, где существует угроза правам хотя бы некоторых. Никогда не будет подлинной безопасности там, где она не обеспечена всегда, для каждого и в любой момент.

Когда говорят, что справедливое не всегда порядочно, - это злоупотребление словом «справедливое». В данном случае его понимают в узком, а не в самом широком смысле. Всё

то, что справедливо согласно позитивному праву, всё, что закреплено законом (*jus*), всё, на чем закон останавливается (*jus stat*), не охватывает всей полноты справедливости. Существуют также вещи, которые остаются в области естественной справедливости, в сфере добродетели, отличной от простой честности; именно они включают в себя всё порядочное. Древние различали законную справедливость и справедливость по совести (эквити): то, что предписано законом, и то, что регулируется естественным чувством правды. *«Польза - почти мать справедливости и правды»*, - говорит Гораций.

Английская конституция содержит писаные законы, которые применяются обычными судами, но у неё есть и свои неписаные законы справедливости, которые применяются специальными судами. Во Франции «суд чести» был именно таким судом справедливости. Недавно предоставленное нашим уголовным судам право оценивать смягчающие обстоятельства при совершении преступления, караемого законом, также относится к области справедливости по совести.

Королевская прерогатива, заключающаяся в праве помилования после законного осуждения, по сути своей является актом высшей справедливости. Понятия «справедливое» и «должное» включают в себя и порядочное, и законное.

Все философские системы - как древние, так и современные - признают, что польза входит в число целей добродетели и является одним из признаков, по которым её узнают. Однако они видят нечто и за этими пределами. Я же не придаю большого значения этому «излишку». Они утверждают, что видят нечто большее. Где же и как они это видят? Какое правило, какое мерило используют они для определения того, что является добродетелью за рамками полезности - что, по сути, означает «без пользы»?

Они видят уместность и пристойность; и в качестве арбитров уместности и пристойности поступков и характеров они используют одобрение, которое я даю, в котором отказываю или которое соразмеряю. Именно я единственная чувствую это, и только я даю об этом знать. Но каково же моё правило? Чтобы я могла им пользоваться, оно должно у меня быть.

Моё правило, моё мерило - это всё та же польза. Если я отвергаю преувеличенные жалобы, то лишь потому, что обязана выслушать все обоснованные претензии. Я не хочу быть полностью поглощена кем-то одним; я не хочу, чтобы мной распоряжались сверх моих возможностей, и чтобы жалоба требовала больше, чем я могу дать для облегчения страданий. Наконец, я не хочу сама подвергаться страданиям напрасно, ради самого страдания.

Замечают, что не всё порядочное и уместное является величественным, щедрым или героическим. Я отвечаю, что этих определений заслуживают те действия и характеры, целью которых является труднодостижимая польза, которую приходится обретать высокой ценой: через твердые решения и великие жертвы. Добавим также: это то, что по своей значимости достойно великого самоотвержения.

Полезность - это то, что справедливо, честно и героично. Будь она обыденной, утонченной или возвышенной, это всегда полезность. Смит замечает, что выдающиеся люди, помимо заслуги быть полезными, обладают достоинствами уместности и соответствия.

Фрагменты. Философские размышления о притяжении, симпатии, самолюбии и привычке

I

Притяжение - это основа, из которой исходит вся система **Кабаниса**, касающаяся интеллекта и человеческих чувств. Инстинктивные влечения развиваются у плода еще до всякого контакта с внешними объектами. Действие нервной системы, как органа чувствительности и

источника жизненных движений, заключается в том, что впечатления, полученные чувствительными окончаниями, собираются в центральной точке. Оттуда путем подлинной реакции[63] исходят аналогичные и последующие волевые импульсы, которые должны привести в действие все части тела, удерживаемые этой же центральной точкой в сфере своей активности.

Инстинкт самосохранения, заставляющий избегать падений, столкновений, ударов, огня, воды и так далее; инстинкт питания и движения, который сливается с двумя предыдущими, рождается вместе с системой органов, к которой каждое инстинктивное стремление относится наиболее тесным образом.

Все потребности связаны с животными склонностями. В этих фактах кроется объяснение живого, чувствующего и волевого существа. Первые склонности и начальные инстинктивные привычки являются следствием формирования и развития органов. Они относятся в особенности к внутренним впечатлениям.

Внешние чувства позволяют нам связываться с внешними объектами. Их впечатления, передаваемые в общий центр, называются ***ощущениями***. Внутренние чувства не возбуждаются внезапными, мгновенными, отчетливыми и определенными впечатлениями. Их ощущения поначалу притуплены и смутны. Это чувства нужды, аппетита; это неопределенные и неясные ощущения. Впечатления внешних и внутренних чувств - это инстинкты или побудители в той или иной степени и в различных формах.

Аромат розы меня притягивает; зловонный запах заставляет бежать. Моя рука с удовольствием касается бархата или атласа, но отдергивается от рашпиля. Мое ухо устремляется туда, откуда доносятся гармоничные звуки, но избегает какофонии. Мой вкус жаждет определенных вкусовых ощущений и испытывает сильное отвращение к другим и так далее. Ощущение холода или тепла, относящееся к осязанию, также является весьма определяющим и отчетливым инстинктом.

Ощущение, или, скорее, дискомфорт от голода, жажды, любовных влечений - это инстинкты, вызывающие движения менее внезапные, менее точные и менее насущные, но более длительные, более сложные, более тесно переплетенные с функциями интеллекта и более ими подкрепляемые.

Человек благодаря разделению и подвижности своих рук, модуляциям голоса и артикуляции издаваемых звуков, а также благодаря акценту, который он добавляет к этим модуляциям и артикуляциям, обрел способность фиксировать и выражать свои мысли с помощью знаков.

Из формирования знаков и способности их множить возникла способность ***интуиции*** самого человека по отношению к самому себе, способность различения и сравнения собственных способностей, наблюдения за их действием и так далее. Из этой интуиции родился общий инстинкт, охватывающий интересы всех остальных. Это то, что называют ***самолюбием***. Самолюбие - это слово, обозначающее совокупность всех интересов, направленных на сохранение и улучшение существования.

Идеи - это целый народ, населяющий мозг; у одних этот народ пребывает в диком состоянии, у других он цивилизован в разной степени. У самого просвещенного народа идей есть своя знать, свое среднее сословие и свое простонародье. Одна часть этого народа бодрствует, пока другая спит. Та часть, что бодрствует, порой бывает самой многочисленной, а порой - лишь горсткой. Иногда бодрствующая часть наиболее здорова, а иногда она самая болезненная. Народ идей сохраняет себя, воспроизводится, множится через союзы-браки и сокращается через разводы. Идеи группируются, располагаются лагерем согласно своим аналогиям. Пробуждение одной-единственной идеи в таком лагере поднимает на ноги все остальные. У групп идей есть свой вождь, своя общая идея; она является главной во всех смыслах, так как повелевает остальными и служит их воплощением или представителем.

[63] Ответ герцога Бургундского парламенту Парижа в 1418 году.

Именно общие идеи трудятся, движутся и действуют за остальных, составляющих народ. В трудах и играх идей всё происходит так же, как в передвижениях армий: военачальник делает всё, а солдат - лишь атом в массе, которую приводит в движение генерал. Мозг - это территория, более или менее заселенная идеями в зависимости от уровня развития человека.

Воспоминание, припоминание множества идей за один раз в обыденной речи обозначается метафорой, предполагающей, что эти идеи находятся в состоянии сна, из которого их внезапно извлекают, подобно тому как спящий отряд пробуждается от резкого шума. Мы постоянно говорим: *«Это пробудило во мне все мысли такого рода; это воспоминание разбудило сотню других»*. Использование этой метафоры доказывает лишь то, что наш инстинкт при отсутствии точных понятий ищет опору в аналогиях. Посмотрим, не дадут ли другие средства более подходящих аналогий.

Две скрипки настроены в унисон. Одна висит на стене; на другой играют вблизи первой: и вот вторая спонтанно повторяет мелодию, исполняемую на первой. Вы кладете обрывки бумаги верхом на струны фортепиано; вы ударяете по одной клавише: все бумажки, соответствующие терции или квинте к этой ноте, начинают дрожать, в то время как промежуточные струны остаются неподвижными. Нет ли подобных связей между нашими идеями?

Другой образ: два вражеских отряда расположились в одной местности и отдыхают ночью; бой барабана внезапно будит оба лагеря и поднимает всех на ноги. Не то же ли самое происходит, когда некое событие, способное иметь последствия и результаты которого могут быть полезны или вредны для наших интересов, пробуждает и внезапно возбуждает все наши разнообразные интересы, наши предубеждения, наши страсти, каждая из которых заявляет о себе в противовес другим?

Еще одна аналогия. Постоянно говорят о человеке: «Складка уже заложилась», он всегда будет возвращаться к своим первым идеям. Предполагается, следовательно, что идеи воздействуют на мозг так же, как складка на ткань; ее расправляют, прижимают прессом, и все же, если ее отпустить, она снова принимает прежний сгиб. Так ли обстоит дело с идеями в мозгу? Сравним ли мозг с тканью? А идеи, что запечатлеваются в нем, сравнимы ли со складкой на материи?

Еще одна. Каждый день слышишь и даже читаешь: «Эти идеи были почти стерты из моей памяти, но они вновь возникли там». Сравним ли мозг с теми старыми пергаментами или древними бумагами, письмо на которых, будучи почти стертым и нечитаемым, оживляется с помощью специального состава?

И еще одна. Нервы и мышцы руки музыканта привыкают к определенной мелодии, насыщенной нотами, которую рука исполняет на пианино с большой беглостью. Мозг больше не принимает участия в этом чисто механическом исполнении. Нет ли у мозга своей механической игры для определенных идей, подобно тому как она есть у руки музыканта для определенных мелодий?

Говорят ежедневно: «Это вылетело у меня из памяти; это ко мне вернулось». Не предполагает ли этот оборот, что память - это некое подобие склада или шкафа, куда входят и откуда выходят идеи? Говорят также, что память теряет с одной стороны столько же, сколько приобретает с другой: это все та же идея склада или жилища, где невозможно разместить нового жильца, не выставив сначала определенное количество вещей или людей.

Идеи теснятся в моем уме, быстро сменяя одна другую. Говорят: «пучок идей», «масса идей». Как эти ощущения - каждое в отдельности, внутреннее или внешнее, или же совокупное ощущение самолюбия - возбуждают волю к действию, активную решимость? Как они порождают движения или замыслы движений? Как они приводят в действие мышечную систему?

Как, в свою очередь, действие, вызванное мыслью, воздействует затем на саму мысль, чтобы подтвердить ее, исправить, дополнить или сократить? Каким образом оно становится новым источником идей? Это мы исследуем после некоторых предварительных наблюдений.

Впрочем, замечу мимоходом: когда я узнаю, почему **магнитный флюид** или видоизмененное **электричество** заставляют двигаться обезглавленных лягушек, или заставляют ужасно гримасничать человеческое лицо, отделенное от тела, заставляют двигаться тело без

головы, заставляют руки и кисти совершать движения, хватать и сжимать внешние предметы - тогда, возможно, я смогу сказать, почему одна часть мозга заставляет двигаться другую. Когда будет доказано и объяснено, что через магнетизм воля одного человека воздействует на волю другого, то станет более вероятным и постижимым, что тот же самый принцип заставляет одну часть нашего мозга воздействовать на другую, а ту - на всю систему нашей организации. Но пока я не знаю принципа магнитных явлений, я не буду претендовать на знание того, что такое принцип человеческого движения. Поэтому я ограничусь признанием аналогий, подтвержденных наблюдением, и буду остерегаться поспешных выводов; я ограничусь признанием возможности идентичности – и этого достаточно, чтобы уберечь меня от безумной самонадеянности утверждать: «Двигатель - это нечто иное». Я отвергну это воображаемое «нечто иное» и сохраню свой здравый смысл.

Мне достаточно аналогий, которые предоставляет природа, чтобы иметь право - скажу больше, чтобы мой разум и здравый смысл были вынуждены, в ожидании истины, избегать и отвергать пагубные заблуждения, защищаться от доктрин, порожденных наглым высокомерием, - доктрин необоснованных, лишенных даже тени аналогии. Когда я опираюсь на возможности и даже на вероятности, я стою выше чудесных, сверхъестественных учений, противоречащих всем законам природы, постижение которых недоступно моему уму. Они для меня столь же нелепы, как нечто совершенно бессмысленное, и сами являются воплощением абсурда…

2

Но вернемся к теме. Когда мы узнаем, какой силой часть мозга, приводимая в движение внутренним или внешним ощущением, может воздействовать на другую часть, которая желает и приводит в движение все нервные и мышечные системы, останется объяснить: (1) что определяет силу этого импульса, впечатления или возбуждения, а также его движение; (2) что направляет его, то есть определяет в ту или иную сторону, подчиняет его нашим интеллектуальным способностям в соответствии с теми изменениями, которые они претерпели под влиянием нашего воспитания, обучения, наших страстей, обстоятельств и нашего положения...

3

Как идеи закрепляются в мозгу? Обособляются ли они в нем? Располагаются ли они друг над другом слоями? Или же они находятся там вперемешку? Если они упорядочены, то упорядочены ли они по своему происхождению, в зависимости от того, исходят ли они от того или иного чувства, или от нескольких сразу? От того или иного внешнего чувства, от инстинкта или внутреннего чувства? В зависимости от того, являются ли они конкретными или абстрактными, простыми или сложными, согласно элементам их состава или степени их абстракции и сложности?

Как все идеи ученого или глубоко мыслящего человека умудряются разместиться в малом пространстве мозга? Как при их изобилии не возникает нехватки места? Как они ищут друг друга, распутываются, пробуждают друг друга, соединяются, порождают новые идеи? Бесконечно ли порождение идей? Имеет ли оно пределы?

Сколько последовательных и одновременных музыкальных нот содержится в партитуре Мейербера? И сколько отдельных элементов в этом миллиарде можно было бы пропустить или исказить так, чтобы дирижер этого не заметил? Чтобы согласовать такое множество одновременных и последовательных нот, необходимо охватывать их все разом; их нужно удерживать в сознании и во время исполнения, когда среди сотни верных созвучий удается различить одну ложную ноту в промежуток времени, который может составлять менее одной шестидесятой секунды.

Способность к абстрагированию и формированию общих понятий при помощи знаков - привилегия человеческой природы - достаточно ясно объясняет чрезвычайное многообразие

и упорядоченность наших мыслей. Если бы в счете мы ограничивались лишь единицами, нам было бы трудно сосчитать больше десяти - по числу наших пальцев; но благодаря абстракции и обобщению мы обрели понятия о десятках, сотнях тысяч и миллионах.

Когда мы видим группу людей числом всего лишь двадцать или тридцать человек, мы не можем, не считая, сказать, тридцать их, тридцать один или двадцать девять. Однако благодаря абстрактным числам стомиллионный индивид в нашем сознании так же четко отделен от ста миллионов первого, как две единицы друг от друга; и мы проводим вычисления с миллиардами столь же точно и уверенно, как и с единицами.

Император Китая управляет тремястами миллионами подданных так же легко, как король Франции - двадцатью пятью миллионами, потому что...

4

Две руки, положенные на клавиши фортепиано, могут за одну минуту извлечь..... нот, или..... за одну секунду, вместе или последовательно.

Каждой исполненной ноте соответствует движение руки, каждое из которых является отдельным актом двигательной способности, актом воли, направленным на эту способность, и решением воли.

И все эти тысячи действий упорядочены, связаны, сцеплены друг с другом, подчинены единому принципу и ведут к общей цели. Ни одному из них не предшествует обдумывание, размышление или какой-либо акт разума, который можно было бы выразить общепринятым словом. Скорость их следования друг за другом неизмерима; по крайней мере, ее невозможно выразить ни одним из делений нашей меры времени...

5

Я представляю себе, что любая совокупность идей - независимо от того, считаем ли мы их сосредоточенными в определенных участках мозга или смешанными, но находящимися в тесном согласии или связи, - любая такая совокупность, образующая систему идей, является или становится инстинктом. Это подобно системе идей, возникающей непосредственно от одного или нескольких внутренних чувств (голода, жажды, любви), или системе, происходящей от одного или нескольких внешних чувств.

У этого инстинкта есть свое беспокойство, свое любопытство, свои потребности. В состоянии покоя или сна прямых инстинктов, он спонтанно проявляет свои собственные; чаще же всего они пробуждаются вслед за пробуждением прямых инстинктов.

Самое умозрительное любопытство есть движение подобного рода инстинкта, или, вернее, его действие; само слово является выражением этого инстинкта...

6

Попробуем разобраться, как действует инстинкт, побуждающий к подражанию; и, чтобы перейти от простого к сложному, рассмотрим сначала этот инстинкт в действии у физического человека. Представим себе человека с безобразным лицом, который никогда не видел себя в зеркале и жил в одиночестве. Внезапно его положение меняется, и он оказывается в обществе. Он смотрит, он наблюдает за лицами: одни ему нравятся, другие производят неприятное впечатление. Он различает их между собой: от одних он отводит взгляд, на других останавливает его с удовольствием. Он замечает, что и другие люди проводят то же различие, что и он, и испытывают те же впечатления; его собственные чувства от этого разделенного опыта лишь углубляются. Главные лица, будь они приятными или отталкивающими, запечатлеваются в его памяти, где он видит и пересматривает их непрестанно. Если же у неприятных лиц сорвутся с языка какие-то дурные слова, то вызванное ими недовольство перерастает в неприязнь и ужас. Остановимся на этом. Предположим теперь, что зеркало оказывается внезапно

перед глазами нашего персонажа, чтобы он увидел себя, и чтобы он себя рассмотрел. Что же происходит тогда? Его взгляд, обращенный на самого себя, открывает ему, кто он такой и к какому разряду лиц он должен себя отнести; он понимает, что принадлежит к числу тех, кто произвел на него неприятное впечатление и к кому он почувствовал неприязнь; неизбежно он начинает испытывать такое же чувство и к самому себе. Он приходит к печальному осознанию своего уродства; он осознает, что должен внушать его всем тем, с кем живет, даже тем, кто на него похож, поскольку последние нравятся ему не больше прежнего с тех пор, как он познал самого себя. Таков, я полагаю, неоспоримый результат двух операций его ума: ощущения и размышления, или, проще говоря, осмысленных ощущений, а выражаясь еще точнее - *прямых взглядов на других и ответных взглядов на самого себя*. Здесь речь идет почти исключительно о физических фактах, и слова «прямые взгляды» и «ответные взгляды» употреблены в самом прямом смысле, без всяких абстракций и иносказаний.

Итак, перед нами человек, осознающий свое уродство, которое является неисцелимым недугом. Но не сможет ли он искупить свои страдания, обратив взор на свой нравственный облик? Чтобы узнать это, пронаблюдаем за тем, как он смотрит на нравы других и как этот взгляд отражается на его собственной морали.

К несчастью, наш герой всегда жил в обществе изолированно - из-за недоверчивости, дурного расположения духа или естественного отвращения к общению с людьми; он привык к злобным мечтаниям, к недобрым желаниям, к замыслам и проектам, отвратительным и преступным.

Обстоятельства вынуждают его к частому общению с этим обществом. Там он видит приятных людей, которые нравятся всем, и желчных субъектов, которых никто не терпит. Он замечает.....

7

Тем не менее, если в нем и живет тот отвратительный образ, с которым, как он чувствует, он имеет сходство, точно так же существует и образ приятный, который нравится всем вообще и ему самому в частности.

Пока он сравнивал только свою внешность, огорчение от собственного уродства могло казаться ему непоправимым, так как он не мог превратить уродливые черты в правильные; но когда речь идет о нравственном уродстве, привлекательность милого образа и легкость подражания ему действительно побуждают его к имитации. Именно здесь он может найти компенсацию за свое физическое уродство; именно так он может искупить неприятные впечатления; именно так он может научиться придавать даже своему лицу выражение, которое скрасит часть деформации его черт. Образ привлекательных качеств, запечатленный в его сознании, заставит его претворить их в действие; он захочет стать, он захочет действительно *быть* тем, что этот образ собой представляет; он захочет БЫТЬ, повторяю я, а не просто *казаться* таким. Именно в самом себе ему необходимо обрести уверенность в том, что он достоин своих ближних. Внешние проявления их одобрения ничуть не успокоили бы его перед страхом порицания и презрения, которыми пронизывает его тот гнусный образ, на который, как у него есть основания полагать, он похож; они не дали бы ему внутренней убежденности в победе, одержанной над самим собой: ему нужно чувствовать свое согласие с образцом.

8

Инстинкт роста, расширения нашего «я», побуждает нас не только расширять свое существование за счет развития собственных средств, но и стремиться к присвоению существования одного или нескольких других людей. Этот инстинкт, когда он попадает под действие взаимного влечения, действует путем проникновения, ассимиляции, идентификации; он производит тем или иным способом приращение или увеличение силы и бытия: это, если угодно,

поиск полноты существования. Изолированный индивид не осознает себя совершенным единством: это лишь половина целого. Как в интеллекте и нравственных чувствах, так и в нашем физическом состоянии, в нас заложен инстинкт коллективный, объединяющий, экспансивный.

Прививка сближением в растительном мире - это феномен, имеющий определенную аналогию с нашим естественным стремлением к удвоению существования. Через прививку нашего существования на ствол другого дерева мы живем его жизнью, не теряя своих отличительных черт; его сок питает нас, не изменяя нашей собственной природы, а, напротив, укрепляя ее.

Такое отождествление путём чистого, ничем не разбавленного дополнения и есть то, что называют *симпатией*...

9

На самом деле мы испытываем физическое чувство благополучия, когда обнаруживаем в другом человеке идеальное сходство идей или чувств. В мозгу устанавливается ощущение покоя, наслаждение безопасностью, уверенностью и устойчивостью, подобное тому, что мы чувствуем, когда садимся отдохнуть после долгой усталости, избавляемся от беспокойства или забот, или когда ощущаем опору и поддержку после сильной качки...

10

Влечение к объекту, независимое от какой-либо взаимности, - это лишь начало симпатии. Симпатия возникает тогда, когда к чувству влечения присоединяется чувство ответного влечения; в этом случае тождество, или симпатия, становится полной. Идея симпатии подразумевает идею двух людей, которых взаимный инстинкт тянет друг к другу и которые разделяют это чувство взаимности.

Слово «**притяжение**» выражает нравственную идею: это метафора физического притяжения, образцом которого является магнит. «Склонность» (в нравственном смысле) - это образ, заимствованный из повадок животных, которых жажда склоняет к воде, где они должны утолить её. Симпатия (в нравственном смысле), или сочувствие, сопереживание, общее чувство двух или нескольких разумных существ, - это вовсе не фигуральное выражение. То, что представляет её в природе, - это сращивание растений путём прививки сближением. Общий сок питает их обоих.

Слово «симпатия» в обычном употреблении применяется к влечению или склонности одного человека к другому; оно применяется к общему чувству двух людей по отношению к третьему объекту или к нескольким общим чувствам по отношению к разным объектам. Чаще всего под этим понимают взаимное чувство; наконец, под этим понимают чувство одного человека к другому, достаточно сильное, чтобы отождествить себя с ним, вне зависимости от того, есть ли взаимность или нет, или, по крайней мере, без равенства в этой взаимности. Приведём обороты, в которых встречаются эти различия.

Первый пример. «Вчера на спектакле мы с вами очень симпатизировали друг другу. Я видел, как вы смотрели на основные черты пьесы или на игру актёров; я видел на вашем лице выражение тех же чувств, что испытывал сам». Вот пример симпатии или общих чувств между двумя людьми по отношению к одному или нескольким объектам.

Второй пример: симпатия нескольких людей с несколькими людьми по отношению к нескольким объектам. Зрители в театре, на учебных боях, на состязаниях по ловле кольца, на скачках - всё это примеры такой симпатии; она безмерно добавляет интереса любому зрелищу. Зрители холодны на тех зрелищах, где их мало. Легенда или история о Курции, который, движимый симпатией к общему горю, бросился в пучину, которая должна была поглотить его, - это пример того же рода.

Третий пример. Привязанность мадам де Севинье к своей дочери - это пример третьего рода симпатии. Нет ни одного человека, который не мог бы сказать первому встречному: «Ваш кашель раздирает мне грудь». Это фраза рассудочного и осознанного самолюбия. Лишь таким душам, как у мадам де Севинье, дано написать дочери: «Этот холодный ветер причиняет мне боль в вашей груди». Это выражение живой симпатии.

Симпатии в игре, за столом и в постели, если наблюдать за ними внимательно, хорошо показывают те различия в идеях, которые обычай связывает с этим словом, и которые я только что отметил.

Четверо любителей виста встречаются; их общий вкус к этой игре - это симпатия. Они договариваются о партии; увидеть, как накрывают стол, - это общее удовольствие: это удовлетворённая симпатия. Четверо игроков делятся на партнеров; тогда симпатия двух партнеров с каждой стороны возрастает, а симпатия всех четверых игроков уменьшается. Симпатия двух партнёров с каждой стороны противопоставляется симпатии двух других. Если из четырёх игроков двое являются друзьями, супругами или любовниками, и если жребий, который формирует две стороны, разделяет их и ставит одного из двоих в противоположную команду, то симпатия двух ставших разобщенными партнеров от этого страдает. Другу менее приятно выигрывать у своего друга, чем у безразличного ему человека. Если же, напротив, два сердечных друга оказываются еще и партнерами в игре, каждый из них наслаждается не только удовольствием от совместной победы благодаря общим усилиям, но, кроме того, радуется за своего напарника, независимо от собственного успеха. Прежде всего он получает удовольствие от того, что смог угодить другу, вовремя вступив в игру, помогая ему - словом, своей хорошей игрой. Он также испытывает особое удовлетворение от признательности, которую он вызвал у друга своим вниманием, старанием услужить и тем, что сделал это вовремя. Здесь я вижу симпатию, отличную от той, что доставляет удовольствие четырем любителям, не связанным какими-либо особыми отношениями, которые случайно встречаются и садятся вместе за стол для игры в вист.

Перейдем к симпатиям за столом.

Симпатии за трапезой так же разнообразны, как и в игре. Вкус к еде присущ всем людям, хотя и в разной степени, подобно потребности в пище, из которой этот вкус проистекает; следовательно, вкус к еде - это тоже своего рода симпатия. Но вкус и привычка к определенной пище, когда они разделяются несколькими людьми, создают между ними особую симпатию внутри общей симпатии. Наконец, когда люди симпатизируют друг другу благодаря одинаковому вкусу к еде, и вдобавок благодаря любви к столу, накрытому определенным образом и с определенными блюдами, эта застольная симпатия становится еще более выраженной. Наконец, если люди, разделяющие общую симпатию к трапезе и к одному и тому же столу, обладают к тому же нравственной симпатией друг к другу - и особенно если она взаимна, - тогда застольная симпатия достигает своей высшей степени. В этом случае сотрапезники не только вместе наслаждаются удовольствием, свойственным каждому из них (удовольствием, которое возрастает от того, что оно общее), но каждый радуется удовольствию других и говорит себе: *«Вот счастливый момент для такого-то друга; вот то, что он страстно любит; вот его самое изысканное угощение»*. В Париже англичане, итальянцы, русские ищут друг друга, чтобы вместе пообедать и отведать рагу своей страны. Хороший итальянский повар наверняка соберет у себя всех любителей макарон.

Моисей, желая, чтобы евреи образовали отдельный народ, дал им особую пищу и правила поведения за столом, которые и сегодня, пожалуй, остаются самым сильным обстоятельством, помогающим отличать их от других наций, среди которых они рассеяны.

Симпатия, самое масштабное и полное развитие которой происходит в общей постели, - это любовь...

11

Вера говорит: *Я верю*. Разумное самолюбие говорит: *Я знаю*. Симпатия говорит: *Я чувствую*. Симпатия - это чувство соответствия с одним или несколькими другими людьми. Антипатия - это не что иное, как возмущенная симпатия. Я люблю человека - я ненавижу его врага. Моя антипатия к врагу есть лишь проявление симпатии к обиженному или находящемуся под угрозой другу.

Религия, деизм и светская мораль

Письмо к Дюпону (де Немуру) о его книге «Философия Вселенной»

Как бы я ни старался, мой дорогой коллега, мой разум не может смириться с вашей теологией, принять вашу новую религию или того нового бога, которого вы измыслили для управления природой, но которого вы при этом заставляете рождаться от неё и зависеть от неё же. Это бог, без которого природа вполне могла бы обойтись, поскольку, по вашему мнению, он действует лишь согласно её законам и в тех пределах, которые она установила для его власти. Этого всеведущего бога вы считаете необходимым для упорядочивания материи, хотя сама материя, как вы утверждаете, обладает вечными свойствами, которые он обязан уважать.

Я не принимаю ни вашу идеальную палингенезию, ни ваших посредников между человеком и богом, подобных тем, что стоят между необработанным камнем и человеком. Не принимаю я и ваш метемпсихоз, который, вознаградив нас человеческим существованием за достойное поведение в иной, менее значимой жизни (например, в облике преданного пса или послушной лошади), вновь вознаградит нас за добродетельную жизнь в человеческом облике новыми формами, крыльями, ангельскими душами и соответствующим блаженством.

Всё это, хотя и окружено всем самым привлекательным и внушительным, трогательным и возвышенным, что только может собрать воображение; хотя и подкреплено вашим именем, дорогим всем друзьям добродетели, ума и знаний; хотя и прочитано в обстоятельствах, настраивающих душу в высшей степени благосклонно к вашей системе; наконец, хотя и заключено в книге, в начале которой мне, как другу, приятно видеть свидетельство вашей дружбы, - всё это, повторюсь, пронеслось в моей голове лишь как сон, не оставив следа. Я даже не был бы в состоянии составить критический отзыв, настолько эти идеи кажутся мне лишенными опоры и, так сказать, летучими. Их нужно было бы зажать в тиски, чтобы рассмотреть с должным вниманием, а это представляется мне невозможным. Если бы я осмелился, мой дорогой друг, я бы сказал, что ваша система «Философии Вселенной» кажется мне собранием ваших мимолетных стихотворений в прозе, и судить о ней стоит лишь по тому удовольствию, которое доставляет чтение.

Но этот труд мог бы стать предметом исследования более полезного, нежели простая критика: стоило бы выяснить, как такой человек, как вы, мог позволить своему воображению, при всей его живости, до такой степени возобладать над разумом - разумом просвещенным, сильным и опытным? Метод талантливых людей всегда заслуживает изучения, заблуждаются ли они или следуют путями строгой логики. Если их движение было последовательно, то нам полезно его знать; но если они сбились с верного пути, тогда стоит отметить ту точку, где они его покинули, ведь именно там дорога, несомненно, становится обманчивой, и разум легко допускает ошибку.

Ваш ум, дорогой мой коллега, как мне кажется, любит рисковать и мало заботится о том, чтобы выверить свой шаг. Вы не идете, вы несетесь порывами; вы уже примеряете крылья, которые, как вам кажется благодаря учению о переселении душ, выросли у вас за спиной.

Кондильяк очень убедительно объясняет, как человеческий разум, восходя от следствий к причинам, приходит к идее первопричины, то есть к Богу. Его ход мысли понятен: он движется от простейших представлений к сложным, используя методы анализа и индукции.

Но вы, мой дорогой Дюпон, скажите мне, каким образом вы приходите к мысли о боге, который является лишь вторичной причиной и подчинен природе? Сама природа при этом предстает как чистая материя. Получается, что, признав необходимость такого бога для управления материей, вы затем обнаруживаете в самой материи законы, по которым она управляет собой и даже этим богом. А это, вопреки вашему желанию, и есть самый настоящий материализм.

Отчего же ваша диалектика так зло подшутила над вашей природной логикой? Полагаю, это произошло потому, что вместо того чтобы рассуждать, ваше воображение создало целую галерею фантастических образов. Вы распределили их в том порядке, в каком они вам представлялись, и захотели их описать красками, а не оценить критически. Друг мой, во всем этом вы проявили себя как поэт, а не как философ.

Впрочем, пока я говорил лишь о теологической части вашего труда, но в нем есть и весьма обширный этический раздел, который может вознаградить нашу дружбу за ту критику, которую мне пришлось высказать в адрес первой части.

Ваши наблюдения о морали - глубокие и порой представленные в восхитительной форме - чрезвычайно ценны как для законодателя, так и для частного лица. Вы подметили истины исключительной важности. В то время как ваша теологическая система со временем исчезнет, этические наблюдения, которые служат к ней лишь дополнением, займут достойное место и сохранятся в общей системе моральных и политических наук.

Весьма ценным является ваше замечание о том, что именно в способности любить, а не в личном интересе, заключается не только первооснова общества, но и причина различных степеней общительности, присущих всем живым существам. Очень полезно было указать на то, как общественное состояние, зависящее от этой способности, может развивать её и далее. Ваше наблюдение поможет совершенствовать это качество в людях любого возраста: развивать его в юности, обеспечивать его добрые плоды в зрелости и, наконец, объединять два чувства, через которые оно проявляется - любовь и дружбу - так, чтобы они укрепляли друг друга, а не вступали в конфликт. Я полагаю, что одно это наблюдение может принести этике больше пользы, чем целые тома сочинений.

Ваше перо красноречиво и вдохновенно, когда вы описываете всё, что поразило вас в этом прекрасном природном явлении. Я был очарован тем фрагментом, где вы рассматриваете шкалу различных проявлений любви и привязанности, которыми природа наделила разных животных: от тех, чьи чувства ограничены лишь своей семьей, до самых любящих сердец человеческого рода, чья привязанность способна охватить почти весь мир. Какое богатство образов, какой избыток чувств в той части, где вы показываете, что сила любви объединяет не только членов одной семьи, но даже представителей разных видов, которых природа сделала врагами! С каким интересом читаешь в вашей книге о собаке, жаждущей добычи, но преследующей её лишь для того, чтобы принести хозяину; о собаке, природном враге стад, которая охраняет их за кусок черствого хлеба и ласку пастуха; о лошади, привязывающейся к человеку, который о ней заботился, и сражающейся за него с величайшим мужеством; о собаке и лошади, связанных взаимной дружбой; о козе и лани, выкармливающих своим молоком ребенка и всю жизнь сохраняющих нежность к своему питомцу; о слоне, умирающем от горя из-за потери своего погонщика и проявляющем покорность ребенку, которого он любит!

Кажется, именно Аристотель в своей «Политике» первым отделил общественное животное от необщительного. Общительными он называет тех, кто живет стаями или группами, подобно пчелам, муравьям и бобрам; необщительными же - тех, кто в естественном состоянии живет обособленно. Это различие, которое часто служило политическим писателям источником ошибочных примеров и опасных выводов, абсолютно ложно: ваши наблюдения доказывают это. По-настоящему общительные животные - это те, которые, хотя и способны жить в одиночку, все же живут со своими сородичами и даже с представителями других видов. Те, кого объединяет инстинкт одной и той же потребности и кто, обладая равными талантами и средствами, всегда делают одно и то же, потому что у них один общий и неизменный интерес, находятся в состоянии скученности, а не в обществе. Они трудятся все вместе ради выживания, но каждый сам по себе, без взаимности в оказании услуг. Напротив, те, кого объединяет способность любить - служить их взаимной поддержке, их общим удовольствиям, - пользуются разнообразными дарами, полученными ими от природы. Скученные животные (само это слово означает «образующие стадо») находят в своем сходстве даже то, что создает препят-

ствие для взаимных привязанностей, потому что каждый сам себе достаточен. Напротив, общительные животные объединяются скорее из-за своих различий, потому что каждый находит в других дополнение к самому себе.

Это наблюдение будет нелишним для тех, кто хотел бы принять монашеские или монастырские системы из отвращения к монархическим взглядам и заменить устройство общества устройством улья.

Также можно извлечь пользу для повседневной жизни - для выбора слуги, друга, любовницы или жены - из этого вывода, который так приятно читать в вашей книге:

> «Именно эта потребность быть любимым, - говорите вы, - быть ценимым, гораздо более сильная, более развитая и более нежная у человека, чем у других животных, в силу его более высокого интеллекта, возвышает нашу нравственность намного выше их уровня».
>
> «Это настолько верно, что среди самих людей не все одинаково нравственны, и те, чья мораль наиболее чиста, - это всегда те, кто умеет любить лучше всех и кто сильнее всего тронут, когда любят их самих».
>
> «Будучи более чувствительными, чем другие, они лучше понимают, сколькими способами можно быть уязвленным или стать счастливым; и, судя по своему сердцу о том, что должно происходить в душе другого, они уделяют больше внимания и заботы применению того правила справедливости, которое диктует природа и которое содержит в себе все общественные добродетели и все законы, обязательные для человечества: *Не делай другим того зла, которого не желал бы себе; делай им то благо, которое желал бы получить от них*».

Всякий, кто прочтет ваш труд, мой дорогой Дюпон, не удивится, как бы мало он ни был с вами знаком, тому, что вы поместили счастье в дружбу и чистую совесть. Вам остается только выиграть от того, что на вас будут смотреть вблизи - и другие, и вы сами. Именно ради вас самих вы вправе сказать, что если бы признательность людей обошла стороной добродетельного человека, если бы уважение к нему было подорвано, если бы дружба могла ускользнуть от него и исчезнуть, то совесть - чистая и безупречная совесть - все равно смогла бы защитить его от отчаяния и предложить ему приют, где мир, за отсутствием счастья, мог бы по крайней мере смягчить его существование.

И читатель поверит вам тем охотнее, когда, обращаясь к своим друзьям, к Лавуазье и его достойной супруге, вы добавляете: «Я говорю вам об этом не больше, чем могу сделать сам. Сама совесть не позволила бы мне пережить утрату дружбы. Но есть люди, которые стоят больше, чем я, и чтобы пощадить свои самые дорогие слабости, я не стану клеветать на совесть».

Прощайте, мой дорогой коллега и дорогой друг; я нежно благодарю вас за то, что вы написали на первой странице этой книги, полной прекрасных мыслей и многих других очаровательных вещей, эти слова, которыми я горжусь и которые тронули моё сердце: *А. Рёдереру от его друга и коллеги.*

Journal d'Économie publique, том 1-й, страница 23. - 10 фруктидора IV года. - 27 августа 1796 года.

«Мемуар в защиту Бога» Ж. Делиля де Саля

МЕМУАР В ЗАЩИТУ БОГА, автор Ж. ДЕЛИЛЬ ДЕ САЛЬ, член Национального института Франции и Лионского Атенея. *(1 том в 8-ю долю листа, 428 стр.). Париж, у книготорговца Фукса, ул. Матюрен. - X год.*

Мемуар в защиту Бога! *«Это дерзкое, я бы сказал, почти кощунственное заглавие - плод безумия или глупости? Является ли книга, которую оно возвещает, очередной насмешкой над религиозными верованиями, новым оскорблением самого предмета всех религий, или же это просто жалкая декламация?»*. Таковы первые вопросы, которыми задается здравомыслящий человек при чтении этих слов, которые так мало подходят друг другу: «Мемуар в защиту Бога». Но имя автора, к счастью, быстро рассеивает опасения, вызванные этим заголовком. Всем известны благие намерения гражданина Делиля де Саля. Восемьдесят четыре тома его сочинений формата in-8°, разошедшиеся по всему свету, наглядно их подтверждают. Его труды признаны самыми безобидными на свете, и если в них и встречаются некие скандальные обороты - вроде тех, что мы видим в заглавии его новой книги, - то лишь потому, что в нынешние проклятые времена даже невинным сочинениям нужно немного эпатажа, чтобы обеспечить себе хоть какой-то сбыт, и толика гонений в качестве защиты, чтобы уберечься от общественного равнодушия.

По сути, этот заголовок - лишь ирония, направленная против атеистов, и замысел автора перестает быть секретом, стоит лишь пробежать глазами предисловие. Там он заявляет, что берется за защиту Бога, поскольку адвокат Кошен выиграл множество дурных дел и проиграл немало правых (с. 1). Эту иронию, столь тонкую и уместную, он повторяет и далее. Дело Бога, по его словам (с. 2), представляется ему делом подозрительным. Никогда еще умы не были более враждебно настроены к его почтенному клиенту. Он больше боится краха, чем надеется на триумф (с. 4); трепеща, он вверяет Бога защите былого французского благородства. Он не ждет ничего от мемуара, цель которого - вернуть Богу право на существование. И всё же он смеет считать себя хранителем Его высоких предначертаний.

Видно, что писатель отлично выдерживает образ, принятый им в самом начале. Предуведомление, предваряющее предисловие, сообщает нам причину этого: характер его труда требовал даже В МЕНЬШЕЙ степени глубокой мудрости Платона, чем СОКРАТОВСКОЙ ИРОНИИ. И тем, и другим он распоряжается с одинаковой легкостью.

«Впрочем, - говорит автор, - *если мой мемуар не возымеет успеха на родине, я велю перевести его на большинство языков мира как некое многоязычное уложение, чтобы создать ему имя; и если это сочинение будет забыто у нас, я утешусь надеждой на то, что его будут цитировать теологи Австралазии, китайские книжники и ученые мужи алгонкинов»*. В любом случае, автор найдет вознаграждение в самом сердце своего отечества благодаря успеху своей книги «Философия природы». Он заявляет нам, что в эта книга ОДИН ИЗ САМЫХ МОЩНЫХ ТРАКТАТОВ, КОГДА-ЛИБО ВЫХОДИВШИХ ИЗ-ПОД ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПЕРА в защиту существования Высшего Существа. Будь он первооткрывателем этих доказательств, то он имел бы дерзость на мгновение возомнить себя выше Аддисона, Кларка и Аббади и ПОЧТИ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПАСКАЛЕМ, ПЛАТОНОМ, Эпиктетом и Марком Аврелием.

Но перейдем к самому произведению.

Автор начинает с утверждения, что в истории никогда не существовало иных атеистических народов, кроме египтян при Хеопсе и Хефрене, и французов во времена Робеспьера. Его первая глава содержит историю Хеопса и Хефрена; она заимствована из «Истории людей», и очевидно, что автор стремится встретить всех своих противников лицом к лицу.

Далее следует история французского атеизма. Сначала мы читаем о том, что на протяжении 1400 лет Франция находила в Боге утешение от преступлений своего дворянства и тирании своих королей. Но именно короли привели страну к атеизму, пожелав установить господствующую и нетерпимую религию. *«Общественная мораль*, - говорит автор, - *требует связи между Богом и человеком. Но последний вправе сам устанавливать условия этой связи, исходя не из прихоти господина, а из собственного разума»*. И это отнюдь не ирония. Но проследуем за автором далее. Поскольку короли пренебрегли этой мудрой теорией, Франции неизбежно предстояло либо стать атеистической, либо принять чистый теизм Сократа, Конфуция и Марка Аврелия. Вывод очевиден.

Оттолкнувшись от этого, автор переходит к истории Конвента и ниспровержения культов - истории совершенно новой и, как всем известно, знакомой очень немногим. Вслед за этим

историческим экскурсом идут 15 страниц под заголовком: *«Принципы религиозных культов»*. Автор сводит их к трём пунктам: **(1)** запретить атеизм, но не преследовать его (какая тонкая грань между «запретить» и «не преследовать»!); **(2)** установить государственную религию ради безопасности страны; **(3)** признать веротерпимость ради мира во всей Вселенной.

От принципов автор вновь возвращается к истории и рассказывает о некоем мелком Салмонее, который пытался противопоставить свои успехи ударам молнии. Этот рассказ изложен в форме диалога - весьма удобного способа повествования, как известно. В диалоге участвуют «первый атеист» и «второй атеист». Далее следует краткая защитительная речь в пользу Бога против этих «народных Салмонеев». Эта речь занимает 10 страниц. Следом за ней беглый взгляд на атеизм Директории. Посмотрите только, как всё это взаимосвязано. Затем следуют замечания к нескольким статьям «Словаря атеистов» **Сильвена Марешаля**. Ничто так органично не вплетается в защитительную речь, где факты и аргументы должны быть перемешаны и слиты воедино для большей убедительности и ясности. Посвящение Сильвену Марешалю написано в насмешливом тоне. Сразу чувствуется, насколько оно уместно в «Мемуарах в защиту Бога».

Наконец, представлены «Словарь теистов», и еще один - «атеистов», составленные гр. Делилем де Салем. И после всех этих прекрасных фрагментов, столь удачно подобранных, последовательно сменяющих друг друга и тесно связанных с темой, следует последняя глава, которую меньше всего ожидаешь увидеть под заголовком «Перорация». Тем не менее, это именно перорация - самая пышная и возвышенная изо всех заключительных речей, достойная того, чтобы увенчать этот труд.

Стиль этого сочинения весьма примечателен; он выдержан от первой до последней строки. Можно ли выразить презрение к подлому противнику и глубокое чувство собственного достоинства лучше, чем этой фразой: *«Я ОПУЩУСЬ ДО ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТИТУИРОВАТЬ, ВСТУПАЯ В БОРЬБУ с подобным фигляром, о ВЫСШИЙ РАЗУМ Сократов, Фенелонов и Марков Аврелиев?»* - то есть собственный разум автора. И вот еще один пример прекрасного слога. Автор говорит об обвинении, которое было выдвинуто некоторыми вполне благоразумными, но не лишенными известных предрассудков умами **против философии**, что к середине царствования Людовика XV, сама того не ведая, вызвала эпидемию абсолютного безверия. Разве можно облечь это обвинение в более яркий образ, чем тот, которым воспользовался автор для его описания? *«Эта философия, не удержанная в своих границах, вышла из берегов. Она могла бы быть живительными водами Нила, но превратилась в пенящийся вал, который в море штормов сливается с небесами!»*.

Что касается метода автора, его плана, разделения на части и хода мысли, которые, выходя за рамки обычных правил, ежесекундно изумляют как логика, так и ритора, - они находят блестящее оправдание в предисловии. *«Нужно понимать*, - говорит автор, - *что судебный мемуар, целью которого является защита Бога, не имеет никаких точек соприкосновения с адвокатскими трудами или даже с речами на ораторских трибунах. Имя моего клиента, при всем Его нынешнем угнетении, подавляет даже рвение Его защитника; и, если бы при составлении сочинений по судебным канонам Кошена, Жербье и Патрю, пустота атеизма, с которым я борюсь, дотянулась бы ДАЖЕ ДО МОЕГО МЕМУАРА»*.

«Даже до моего мемуара!». Автор слишком далеко распространяет власть пустоты. Это заблуждение, продиктованное его скромностью. Но в остальном, разве его слог не примечателен своей ясностью и изяществом? Эту мысль нельзя было выразить лучше: *«Нелегко спасти Бога от небытия, но мой талант обеспечит сохранность МОЕГО МЕМУАРА»*.

О споре между гражданами Марроном и Бомарше

Раз гражданину Маррону угодно было превратить в ссору то, что должно было оставаться лишь дискуссией или, в крайнем случае, спором, я позволяю себе вмешаться, тем более что речь здесь идет вовсе не о семейной размолвке. Я прочитал, как и гражданин Маррон, цитируемое им **письмо Вольтера**. Благодаря любезности гражданина Бургуэна, которому мы обязаны изданием «Переписки Вольтера и кардинала де Берни», у меня сейчас перед глазами оригинал этого письма. Оно датировано 14-м, а не 11-м августа, имеет формат в восьмую долю листа (in-8°), а не в четвертую (in-4°). Оно действительно написано рукой Вольтера, это его прекрасный почерк и старинная орфография, хорошо мне знакомые, так как я видел множество его писем. На этот счет нет никаких сомнений. В нем действительно можно прочесть такие слова: *«Я с горечью вижу, что существует целая библиотека против христианской религии, которую следовало бы уважать; вы знаете, что я никогда не нападал на нее и что считаю ее,* ***как и вы****, полезной для Европы»*.

Но чего добивается гражданин Маррон, приводя эти строки вслед за несколькими оскорбительными для гражданина Бомарше словами и замечая, что письмо, из которого они взяты, не опубликовано и неизвестно, кому оно адресовано? Хочет ли он внушить, что Вольтер верил в христианскую религию, и что Бомарше оклеветал его, обвинив в безверии и исключив из издания его сочинений это письмо, которое могло бы свидетельствовать в пользу веры Вольтера? Если письмо гражданина Маррона не означает именно этого, то оно лишено всякого смысла.

Бомарше в своем ответе, по-видимому, сомневается в подлинности письма. *«Я допускаю вместе с вами,* - пишет он Маррону, - *что письмо принадлежит Вольтеру и что вы не знаете, кому оно адресовано... Но какой вывод вы из этого делаете? Если бы оно было написано Дидро или д'Аламберу, это было бы лишь письмо "для вида"... к тому же на нем стоит печать Вольтера со следующими словами: "Я считаю ее,* ***как и вы****, полезной для Европы"; то есть: "Как и вы, считающий ее пагубной" и т. д. Впрочем, известно, что Вольтер считал христианскую религию очень полезной* ***для священников****; известно также, что означала концовка его писем: "Раздавите гадину"»*.

Таково состояние спора; прежде всего мы заметим, что часть аргументов нападения и часть аргументов защиты бьют мимо цели. Письмо адресовано господину Дамилавилю; оно вовсе не является неопубликованным, и именно Бомарше - тот самый, кто сомневается в подлинности письма, - напечатал его в своем издании под правильной датой, и по правильному адресу. Таким образом, сразу рушатся инсинуации Маррона против Бомарше, и так же исчезают инсинуации Бомарше против Маррона.

Но остается один момент, требующий рассмотрения. Гражданин Бомарше в своем первом письме утверждал, что Вольтер был неверующим, но не нечестивцем; именно за это гражданин Маррон на него нападает. Маррон, следовательно, полагал, что Вольтер вполне мог быть истинно верующим. Однако, на чем же Маррон основывает свое мнение? На письме, где Вольтер говорит о полезности христианской религии. Но полезность - это одно, а истинность - совсем другое. Можно не обладать христианской верой, но придерживаться политического и морального мнения, что христианская вера полезна для Европы. Эти вещи были четко разграничены в сознании Вольтера; в этом можно убедиться по множеству отрывков из его философских сочинений и переписки.

В самом деле, неужели гражданин Маррон забыл «Комментарий к Библии», статьи «Христианство» и «Церковь» из «Философского словаря» и сотни других фрагментов, как в прозе, так и в стихах, где Вольтер высмеивал Ветхий и Новый Завет? Но не заходит ли гражданин Бомарше слишком далеко, намекая на то, что Вольтер никогда не считал христианскую религию полезной ни для кого, кроме священников, и что именно о ней он всегда говорил: «Раздавите гадину»?

Я не раз хотел точно узнать, что именно думал Вольтер о христианской религии, рассматриваемой как средство социальной организации и управления, и признаюсь, что он всегда

казался мне склонным к мнению, выраженному в процитированном письме. Говоря о лорде **Болингброке**, он пишет: *«Печально, что столь возвышенный гений захотел срубить под корень дерево, которое он мог бы сделать весьма полезным, подрезав его ветви и очистив его от мха»* (Письмо об английских авторах, писавших против религии). Говоря чуть далее о кюре **Мелье**, который, по его словам, хотел избавить своих прихожан от ига религии, проповедуемой им самим в течение двадцати лет, он добавляет: *«Зачем лишать их необходимого страха, который один только может предотвратить тайные преступления? Вера в наказания и награды после смерти - это узда, в которой нуждается народ. Очищенная религия стала бы первым благом для общества»*.

Исходя из этого, не была ли та «гадина», о которой он говорил, суеверием, фанатизмом или, возможно, католической, апостольской и римской церковью? Я бы не осмелился утверждать это наверняка.

Конечно, я искренне желал бы, чтобы великого Вольтера можно было цитировать по любому поводу в поддержку самой высокой философии. Но не значит ли это компрометировать лучшее дело - прибегать к авторитету, на который противная сторона также может претендовать? Не приведет ли это к бесконечному спору? Я полагаю, что имя Вольтера не может постоянно принадлежать ни к противникам философии, ни к нетерпимым людям, ни к гонителям, ни к злодеям. Он сделал против них всё, что только в человеческих силах, и всегда будет мощным союзником против тех из них, кто может возродиться. Это разделение достаточно прекрасно, и польза от него велика. Впрочем, просвещенные умы должны радоваться дискуссии, которая, возможно, заставит перечитать его произведения. Революция заставила слишком сильно ими пренебречь, раз ни служитель религии, желающий присвоить себе Вольтера, ни сам издатель Вольтера не вспомнили, что письмо, ставшее предметом их споров, уже было опубликовано.

(Journal de Paris, от 3 флореаля VII года - 22 апреля 1799 г.)

Беседы или речи против врагов нашей святой религии, а именно: атеистов, деистов, сторонников веротерпимости, иудеев, язычников, магометан, схизматиков и противников духовенства

Полезное сочинение, предназначенное прежде всего господам кюре, которые пожелают в своих проповедях наставлять прихожан в вере. - Составил господин Бёрье (Beurrier), священник-эвдист. - Париж, IX год (1801). В этом сборнике примечательны две речи, а именно: та, что направлена против сторонников веротерпимости, и та, что касается противников духовенства.

Если бы сторонник философии захотел взять реванш над ложными друзьями религии, которые с некоторых пор пытаются сделать слово «философ» синонимом слова «злодей» или, по крайней мере, «опасный безумец», он, безусловно, имел бы для этого отличную возможность, сделав выписки из книги Бёрье. Ему достаточно было бы буквально переписать несколько фраз, а затем воскликнуть, что религия и фанатизм - это одно и то же, а священник и преследователь - одна и та же профессия. Но подобная клевета в равной степени недостойна как философа, так и христианина; и более того, она одинаково бесполезна для их дела. Религия и философия, будучи различными, вовсе не являются противоположными. Религия и философия это сестры: обе они ведут к добродетели; обе отвращают от порока, одна - из интереса к вечному будущему, другая - из интереса к настоящему; обе они способствуют совершенствованию человеческих судеб. Истинные христиане и истинные философы понимают и уважают друг друга. Вольтер, Руссо, Монтескье неизменно были апологетами христианской религии;

Паскаль и Фенелон не написали ничего, что не уважало бы философию. Среди всех мудрецов царят мир и согласие; раздоры случаются лишь среди черни, которая следует за ними и претендует на то, чтобы быть частью их свиты.

Мы представим точное описание двух речей господина Беррье. *«Христианскую религию упрекали,* - говорит автор в самом начале, - *в её нетерпимости». «Это правда,* - отвечает он, - *что христианская религия нетерпима, но она и должна быть таковой; и если бы, вопреки невозможному, она ею не была, то перестала бы быть религией истинного Бога... потому что Бог есть сама истина, а истина едина...». «.....Иисус Христос был нетерпим; апостолы были нетерпимы; святые Отцы были нетерпимы; Вселенские соборы были нетерпимы»*. Автор выступает против философов, которые проповедуют мягкость и единение. *«Нет ничего проще,* - говорит он, - *чем показать этим сторонникам терпимости, столь мягким, человечным и миролюбивым, что их мягкость, человечность и любовь к миру - лишь мнимые добродетели, как только они начинают опираться на ложь; именно этому учит нас пророк, который не хочет, чтобы мы отделяли мир от истины»*.

Мы могли бы ограничиться этим текстом, и он послужил бы вполне достаточным пояснением. Идея, которую он несет, такова: *Берегитесь терпеть в государстве любого человека, который не разделяет вашего верования.* Разумеется, нет более разрушительной идеи, особенно когда она изложена в книге, рекомендованной всем священникам для наставления их прихожан. Однако справедливость обязывает отметить, что под нетерпимостью эвдист подразумевает исключительно нетерпимость церковную, и при этом рекомендует терпимость гражданскую. *«Нет ни одного доброго христианина,* - говорит он, - *который не мог бы и не должен был бы сказать, что он жил бы в мире с иудеем, с турком, с любым человеком, какой бы религии тот ни был... Различие в религии не должно ни в коей мере ущемлять права человечества»*. То, что господин Беррье называет церковной нетерпимостью, заключается в том, чтобы *«не ходить с иудеями в их синагогу, с турками в их мечеть, с протестантами на их проповеди...»*. Это значит не верить и не признавать, что вне Церкви возможно спасение; это значит не верить в то, что Тит, Траян или Антонин могут попасть в рай. Вот в чем заключается суть рассуждений эвдиста.

Как мы видим, до этого момента его слова не содержат ничего предосудительного, они не дают никаких указаний, которые противоречили бы общественному порядку или всеобщему спокойствию. Автор ограничивает свою нетерпимость тем, что не участвует в обрядах других религий и заявляет о несчастной участи, которая ожидает иноверцев. Безусловно, от этого далеко до разрушительной доктрины, которую само слово «нетерпимость» естественным образом вызывает в воображении; и государственная полиция не может смотреть одинаково на служителя культа, который говорит последователям другого учения: «Вам нет места на небесах», и на смутьяна, заявляющего: «Вам не должно быть приюта в обществе».

Проклятие, которое эвдист Беррье считает уготованным всем религиям, кроме католической, апостольской и римской, все священнослужители всех религий точно так же считают участью любого иного верования, кроме их собственного. Иудей проклинает мусульманина, тот проклинает христианина, который, в свою очередь, проклинает их обоих. Католик и лютеранин, янсенист и молинист взаимно проклинают друг друга. В мире нет ни одного человека, который мог бы попасть в рай при единодушном согласии остальных людей.

Кальвин и его приспешники, преследуемые правосудием,
В Париже, на картинах, отправились на казнь.
Сервет же был лично принесен в жертву Кальвином.
Если бы Сервет был правителем в Женеве,
Он бы в качестве аргумента против своих противников
Приказал затянуть петлю на шее тринитариев.
***ВОЛЬТЕР**, «Естественный закон».*

Эвдист Беррье и все католические священники, разделяющие то же исповедание веры, что и он, в этом отношении не более виновны и не более опасны, чем служители любого другого культа. Было бы даже неточным или, по крайней мере, лишь метафорическим называть

словом «нетерпимость» убеждение, согласно которому врата рая закрыты для людей иной религии. Истинный смысл слова «нетерпимость» - это отказ терпеть рядом с собой людей, чьи верования отличаются от собственных. То, что называют религиозной нетерпимостью, ни в чем не отказывает и ничего не оспаривает; она лишь ограничивается верой в то, что Бог отказывается терпеть рядом с собой неверующих и заблудших.

Тем не менее, это мнение, не будучи разрушительным по своей природе, может стать таковым. Если оно преподается ярко, страстно и с конкретными примерами. Если проповедники, излагая ее, настраивают людей против последователей другой религии, внушая к ним ненависть и презрение как к виновным, вместо того чтобы пробуждать сострадание как к заблудшим и несчастным; если они говорят о Божьем осуждении так, что это разжигает вражду между людьми, то такая проповедь разрушает общественные связи и становится источником беспорядков. В подобных случаях правительство обязано решительно пресекать такие речи.

Посмотрим, как это проповедовал эвдист Бёррье. Хотя он формально ограничивается призывами к религиозной нетерпимости, он вполне мог сформулировать свои мысли так, чтобы спровоцировать и гражданскую нетерпимость. Чтобы доказать, что истинный христианин не должен ни участвовать в культах других религий, ни верить в спасение еретиков, он приводит примеры подлинной социальной нетерпимости. Он цитирует святого Иоанна Богослова, который запрещал даже здороваться с еретиком. *«Этот святой апостол,* - говорит он, - *войдя в общественную баню и заметив там ересиарха Керинфа, тут же вышел оттуда и велел своим ученикам немедленно последовать за ним»*. «*Святой Поликарп, епископ Смирны, встретив в Риме Маркиона, которого он знал лично, особенно в своей стране, но который с тех пор, как они не виделись, стал ересиархом, едва заметив его, бросился прочь. Святой сделал вид, что не узнает его. "Как! - сказал ему Маркион. - Разве вы меня не узнаете?" — "Да, - ответил ему святой, - я узнаю в тебе первенца Сатаны"»*.

Эти примеры не относятся к числу тех, что стоит представлять народу в пастырских наставлениях: невозможно одновременно поселить в одних и тех же душах презрение и уважение, ненависть и доброжелательность к одним и тем же людям. Невозможно одновременно разжигать в них злобные страсти и поддерживать неизменное милосердие. Ставить принципы человека в противоречие с его чувствами, заставлять каждого воевать с самим собой - это не способ поддерживать союз между людьми. Законодатель христиан хотел сделать милосердие самой прекрасной, самой любезной, самой кроткой из добродетелей - добродетелью доступной и всеобщей, а не героической и редкой.

И что стало бы с обществом, если бы оно состояло из людей, полных взаимного презрения к убеждениям друг друга? Что стало бы с правительствами, если бы они не находили разногласий в умах? Что стало бы со всеми государственными службами, если бы служащие или чиновники, стоящие в одном ряду, боялись, ненавидели и проклинали друг друга?

Обстоятельства, в которых сегодня находится Французская республика, делают преувеличенное апостольское рвение опаснее, чем когда-либо. Никогда еще умеренность не была столь необходима. Именно ради всеобщего умиротворения, ради смягчения всех душ и успокоения страстей сегодня во Франции возносятся молитвы в пользу религии. Те, кто представляет ее мстительной, жестокой и исключительной, плохо служат ее делу. Они - ее враги, угрожающие ей подобно удару молнии, в то время как она должна быть подобна нежной и благодатной росе.

Речь господина Бёррье против противников священства содержит множество вещей, которые сегодня кажутся весьма странными. Там много говорится о преданности истинных христиан своим королям; *«у королей нет более верных подданных. Трон и алтарь стоят слишком близко друг к другу, чтобы можно было свергнуть один, не пошатнув при этом другой: это печальный опыт, который мы наблюдали во все времена. Наша Франция, к несчастью, была свидетелем этого в прошлом веке»* (читатель не должен забывать, что книга гражданина Бёррье датирована IX годом [1801]); *«и разве не пришлось ей стать жертвой этого целиком? Разве те, кто приложил столько усилий, чтобы низвергнуть тиару, не нанесли ужасающие удары по короне?»*. Я спрашиваю: если какой-нибудь бедный приходской священник из Гаскони, которому

будет адресована книга господина Бёррье, прочтет эти слова, не поверит ли он, что королевская власть во Франции восстановлена и что он должен проповедовать соответственно? Да, несомненно; и в этом отношении книга все еще небезопасна.

Но какой вывод из этого можно сделать против господина Бёррье? Считается ли он мятежным священником? Истина заключается в том, что его книга была написана двенадцать или пятнадцать лет назад и напечатана еще до Революции. Следовательно, это не было сделано с мятежными намерениями. Но стоило ли печатать это под датой 1801 года без уведомления о том, что это либо новое издание старой книги, либо обновление старого тиража, который, по всей вероятности, остался нераспроданным? Виновен ли господин Беррье в этой маленькой хитрости? Или книготорговец Онфруа? Об этом мне ничего не известно, да это и не столь важно. Важно лишь, чтобы публика знала об этом факте и чтобы господа священники не были введены в заблуждение.

(Journal de Paris от 2 прериаля IX года. - 22 мая 1801 г.)

О евреях

Гражданин, подписавшийся как Родригес-сын, прислал мне весьма горькие упреки по поводу фразы из номера от 23-го числа, где я говорю, что *«только синедриону еврейских ростовщиков пристало бы колебаться в вопросе о том, следует ли сокращать сумму долгов, возникших до 1791 года»*. *«Эта фраза,* - говорит гражданин Родригес, - *достойна четырнадцатого века... Ужасно обвинять людей целым скопом... Неужели ростовщичеством занимаются только евреи?»*.

Спешу ответить на эти упреки. Моя фраза не обвиняет всех евреев в ростовщичестве; она лишь предполагает, что я считаю еврейского ростовщика ростовщиком по преимуществу, и я вовсе не отказываюсь от этого мнения, в котором нет ничего оскорбительного для еврейского народа. Ведь совершенно естественно и даже неизбежно, что народ, который в результате повсеместных, упорных и изощренных преследований был вынужден искать средства к существованию в торговле деньгами, породил более искусных или более привычных к этому делу ростовщиков, чем те народы, которым всегда были дозволены любые виды собственности и деятельности и обеспечены все виды защиты.

Я с удовольствием даю это объяснение человеку, вставшему на защиту евреев. Я всегда чтил этот несчастный народ; у него есть свои добродетели, а его пороки были делом наших рук. Он перенял те из них, к которым его принудили наши законы, уберегшись от тех, в которых мы подавали лишь пример собственного поведения. Он остался трезвым, терпеливым, трудолюбивым, экономным, скромным, гостеприимным среди самых невоздержанных, самых тщеславных, самых легкомысленных и самых холодных людей в мире - среди нас. Одного лишь факта его выживания после стольких веков преследований и рассеяния по всему свету уже достаточно для глубокого уважения. В этом народе заложено неистребимое жизненное начало, которое должно стать предметом изучения для всех законодателей. В 1789 году по этому вопросу были проделаны большие труды, другие находились в процессе подготовки; я не знаю, что с ними стало. Я воспользуюсь этим случаем, чтобы напомнить о них авторам и указать на них публике. В 1788 году академия Меца предложила вопрос: *«Каковы способы сделать евреев более полезными и счастливыми?»*. Эта идея исходила от меня; программу составил Лакюэ, ныне член Совета Старейшин; а Грегуар, член Совета Пятисот, получил премию. Его труд полон философии, человеколюбия и таланта; почему же он до сих пор не напечатан?

В 1789 году, в день, когда совет наделил протестантов гражданскими правами, которых их всё еще лишали законы Людовика XIV, король Людовик XVI сказал господину де Мальзербу, принявшему их сторону: *«Господин де Мальзерб, вы сделались протестантом; теперь я делаю*

вас евреем: займитесь ими». По этому приказу господин де Мальзерб собрал у себя несколько человек, среди которых были, помимо прочих, Тарже, Лакретель-старший и я; именно нам троим он передал это королевское распоряжение, о котором я только что упомянул.

В ходе долгой беседы он представил нам превосходный анализ иудейского законодательства; он составлял суть прекрасных мемуаров, которые он подготовил. Из него следовало, что ни одно законодательство не содержало в себе в большей степени, чем иудейское, тех установлений, которые определяют, фиксируют и согласовывают нравы народа и заставляют его, так сказать, жить благополучно и вечно без законов. Что стало с этими мемуарами? Если сейчас уже ничего нельзя сделать для улучшения участи евреев, то неужели из их законов и их истории нельзя извлечь ничего полезного для устройства нашего собственного общества?

(Journal de Paris, 5 нивоза V года - 25 декабря 1796 г.)

К Сикару, о Катехизисе, или христианском наставлении для глухонемых

Мой дорогой коллега, знатоки всегда сходились во мнении, что катехизис для детей - даже для тех, кто наделен всеми пятью чувствами, - это самая трудная в написании книга. Что же они должны сказать сегодня, видя ваш *«Катехизис для детей, рожденных глухонемыми»*, то есть лишенных тех самых чувств, которые более всего служат для передачи идей? Но кто не восхитится тем искусством, с которым вы передаете их уму самые абстрактные понятия? Глядя на то, как ясно вы излагаете высочайшие порождения разума, почти начинаешь опасаться, что вы возьметесь и за объяснение тайн веры.

Не подумайте, что я судил о вашей книге лишь по заглавию: я прочел ее целиком. И в доказательство того, что я ее действительно прочел, я, будучи мирянином, позволю себе указать на две неточности, предлагая вам исправить их во втором издании, которое вы обещали. Одна касается Иродиады, которая была любовницей, а не дочерью Ирода; другая касается святого Матфея, который был не только евангелистом, но и одним из двенадцати апостолов.

В остальном же я благодарю вас, мой дорогой коллега, за присланную книжку, и еще больше - за сопровождавшее ее письмо. В нем я нашел выражение дружбы, которой горжусь, и на которую отвечаю самым нежным почтением. Мне приятно публично заявить об этом, чтобы разуверить тех, кто считает любое согласие невозможным между служителем алтаря и последователем философии. Все добродетельные люди - братья, каковы бы ни были их мнения.

Примите мое почтение и преданность.

(Journal de Paris, 24 фруктидора IV года. - 10 сентября 1796 г.)

Фрагменты о «Гении христианства» господина де Шатобриана

..... Боссюэ представляет религию серьезной, могущественной, сильной, подчас грозной; а господин де Шатобриан - мягкой, вкрадчивая, живописной, романтической.

Боссюэ говорит: «Смирите свой разум, обуздайте воображение; покорность, вера - вот что налагает на вас религия!». А Шатобриан: «Раскройте вашу душу, ваше воображение, ваш разум».

Боссюэ хочет, чтобы религия была всесильной. А господин де Шатобриан хочет, чтобы она была обольстительной и даже отвечающей хорошему вкусу.

Тридцать лет назад французское духовенство не позволило бы ставить «Саула» в опере или выставлять там священный ковчег. При этом опера была великолепнее и волшебнее, чем любая церковь. Вчера, 17 жерминаля X года (8 апреля 1806), в опере сыграли «Саула». Опера захватила территорию религии, а не религия возобладала над оперой. «Моления» Шатобриана и Делиля - это просто оперная процессия. Когда религиозный культ заимствует мирские украшения, он предает религию.

Какая нелепость - стремиться сделать очаровательной для разума ту власть, которая держит разум в подчинении, и покорять разум с помощью воображения! Я видел господина де Сиссе и господина де Буажелена, возмущенных книгой господина де Шатобриана. «Моления» Шатобриана и Делиля - это картины Тенирса или Верне; это не религиозная живопись. Они пишут для будуара, а не для святилища... Эти поэтические описания католических обрядов, которые мы читаем в труде господина де Шатобриана и в последней песне поэмы «Жалость» господина Делиля; эти описания, столь драматичные, живые, живописные, порой трогательные, порой даже веселые и почти сладострастные, - я с упоением предаюсь удовольствию от их чтения и рукоплещу им со всем искренним философским рвением.

Эти описания переносят на *культ весь интерес религии*; они отбрасывают догматы, споры, которые те влекут за собой, и страхи, которые они внушают. Стремясь сделать культ привлекательным, эти описания отвергают всё, что кажется печальным, суровым, невыносимым. Давая каждой церемонии разумное обоснование, они отвергают те из них, которые не могут быть объяснены разумом. Показывая каждую церемонию с привлекательной стороны, они отвергают те, в которых нет ничего приятного. Это значит обосновывать культ разумом, брать из него лишь то, что разум одобряет, и то, что заставляет любить очарование доброты. Это и есть философский культ. Вот чего не заметили наши мнимые философы.....

Господин де Шатобриан, возможно, сам удивится такому взгляду на его труд; но пусть он поразмыслит, и тогда он увидит, что проповедует отнюдь не религию Боссюэ и не религию Отцов Церкви. Он ставит религию то на опору разума, то на опору воображения; он вверяет её защиту «сумасбродке в доме».[64]

Христианская религия наложила ярмо на воображение и даже на сам разум; она требует смирения, покорности, веры. Покорность - вот отличительная черта христианина; чувствительность, иллюзии, радости сердца и разума - вот черты культа, описанного господином де Шатобрианом. Согласно этой системе, культ олицетворяет блага природы, разум и чувствительность; тогда как он должен был бы лишь внушать почтение, покорность и преклонение перед верой. Культ должен давать почувствовать религию, её мощь и величие.

Религия сурова и величественна; превращать её в нечто забавное и грациозное - значит искажать её суть. Культ господина де Шатобриана больше подошел бы естественной религии, чем христианской. Он всему дает объяснение, во всем находит природное очарование; но нет нужды в откровении, нет нужды в *покорности*. Религия закрывает человеку глаза и не позволяет ему видеть ничего, кроме откровения. Но господин де Шатобриан заставляет его открыть их, словно на театральном представлении. Религия навязывает и повелевает. Но по мнению господина де Шатобриана, она очаровывает и пленяет.

О священниках

Множество людей, уважаемых за свои добродетели и познания, начинают беспокоиться из-за того влияния, которое священники старого режима, по всей видимости, обретают над общественным мнением, и из-за того пагубного направления, которое они, судя по всему, хотят ему придать. В самом деле, теперь они ополчились не на пороки и не на преступления,

[64] Вилларе, «История Франции», за 1418 год.

совершаемые фанатиками; **они воюют против философии**. Они сражаются больше не с анархистами, террористами или палачами, чьи руки в крови; их враги - писатели, друзья разума, ученики философии; это и сами философы, которые открыли им путь, и чей прах в могилах они теперь собираются тревожить. Они больше не говорят ни о Шометтах, ни о Маратах, ни о Робеспьерах - этих ничтожных чудовищах, сегодня недостойных даже упоминания; свой гнев они обрушивают на Руссо, Вольтера и Монтескье; именно по их статуям они учатся наносить сокрушительные удары.

И между тем ни один внушительный и сильный голос не заявляет протеста! Кажется, что защита философии оставлена лишь в руках подлых людей, которые ежедневно позорят её своим гнусным почтением. Только они одни говорят сегодня за неё - те, чьи преступления или безумства больше всего против неё и сработали! Кажется, что все порядочные люди, обладающие какой-либо добродетелью и талантом, боятся признать её, потому что злодейство злоупотребляет её почтенным именем. Неблагодарные и лишенные уважения дети, им кажется, что им остается только отвергнуть её, как неверную любовницу или вероломную супругу - её, величественную мать всех выдающихся мужей, благодетельницу всех счастливых людей и высшего вершителя человеческих судеб.

Разве не стоит опасаться, что тайное влияние множества безвестных священников, имеющих доступ к ушам огромного количества людей, совпадет с громкими и непрерывными нападками, которым подвергают философию её открытые противники, в то время как её слабые друзья лишь молча на это взирают?

Таковы тревоги, которые охватывают просвещенные умы. И вот размышления, которые, на наш взгляд, должны их уравновесить.

Во-первых, фактом является то, что исповедь вовсе не восстановилась повсеместно во Франции, даже в тех частях, где католический культ отправляется с наибольшей торжественностью. Следовательно, тайное влияние не может представлять всеобщей опасности.

Во-вторых, нельзя сомневаться в том, что угнетение, под которым стонут многие священники, их заточение, их страдания, вызывают к себе живой интерес, в силу их звания; и именно на этом интересе противники философии основывают свои нападки на нее и свои надежды на успех. Они извлекают выгоду из гонений, которых сами сумели избежать, и пожинают плоды мученичества, честь которого они оставляют другим. Пусть же философия, наконец, восторжествует над жестокой политикой и освободит стольких несчастных из их ужасной темницы; словом, пусть она прекратит мученичество, и вскоре фиглярство потеряет свою силу, а фанатизм своё заразительное влияние. Ближайшее собрание обещает нам эту счастливую перемену.

В-третьих, как только прекратятся преследования, которые власти упорно направляют против священников старого режима, весьма вероятно, что писатели-философы возвысят свой голос против разрушителей философии. То, что останавливает их сегодня - это общее зрелище страданий, которым подвергаются священники. Как можно замечать ошибки людей, чье положение предвещает лишь беды, и искать недостатки у тех, кто подавлен скорбью?

В-четвертых, священников старого режима сейчас осталось очень мало; их ряды вряд ли пополнятся, так как семинарий больше нет. Священники, которые придут на смену нынешним, не пройдя суровых испытаний прежних семинарий, и не получив своего предназначения с той же подлинностью, будут обладать меньшим авторитетом. Кроме того, отмена привычного облачения, внешних обрядов культа и того великолепия, которое всегда их сопровождало - все это неизбежные причины гибели, по крайней мере, для злоупотреблений священства.

В-пятых, точно так же, как из-за постоянных оскорблений религии и притеснений священников во имя философии (которую тысячи раз оскверняли подобным образом), религия вновь подняла голову, - так и высокомерные или фанатичные священники, постоянно оскорбляя философию и угрожая философам от имени религии, которая их самих не признает, поспособствуют возрождению философии. Сегодня с ней обходятся так же, как с религией три года назад; следовательно, через три года с ней будут считаться так же, как сегодня считаются

с религией. До настоящего времени взаимное существование религии и философии было лишь игрой в качели, поскольку крайние умы, завладевшие той или другой стороной, расположились на противоположных концах рычага. Эти колебания прекратятся, когда обе стороны сойдутся посередине - либо для того, чтобы примириться, если это возможно, либо чтобы сразиться в открытую и утвердить единоличную власть.

В-шестых, так ли уж сокрушительно для философии то, что каждый день пять или шесть тысяч анти-философских листков распространяются по республике площадью в двадцать семь тысяч квадратных льё и направляются людям, которых они не могут сделать набожными, поскольку те покупают их, лишь будучи уже таковыми? Кроме того, эти листки уравновешиваются восемьюдесятью тысячами других, в которых никогда не заходит речь о культе, и чей язык или, по крайней мере, философский тон вам хорошо знаком. Знаете ли вы, что во Франции насчитывается два миллиона экземпляров трудов Гельвеция, Вольтера, Руссо, Монтескье и что ежедневно во Франции прочитывается не менее ста тысяч страниц по философии? Не думаете ли вы, что было бы крайне трудно полностью уничтожить власть этих людей? Разве их произведения не обладают хотя бы тем преимуществом, что они являются частью домашнего имущества множества людей? Никто не хочет, чтобы вещь, которой он пользуется или которая украшает его комнату, пришла в негодность. Поверьте, велень, сафьян и позолота на переплетах нашего Монтескье и нашего Вольтера имеют свой вес на наших чашах весов. Спросите бывших адвокатов, которые с таким сожалением наблюдали падение даже самых плохих законов: не дорожили ли они ими отчасти из-за своих библиотек?

В-седьмых, наконец, даже если бы Франция обрушила на философию все оскорбления, до которых могут додуматься суеверие и фанатизм, то философия не погибла бы навсегда. Ее империя не ограничивается пределами республики; она простирается на всю Европу и на Новый Свет. Попранная во Франции на мгновение, она наверняка вернулась бы туда с триумфом. Она правит выше, чем короли; ее трон не более хрупок, чем их, а ее блеск не так тускл, как их нимбы. Подобно солнцу, если какие-то тела и могут преградить путь ее свету, пока она лишь поднимается над горизонтом, то всё должно уступить ее сиянию, когда она светит с высоты небес.

Священники, будьте свободны; пользуйтесь, как и все граждане, благами законов; мы не требуем ничего больше, чтобы стоять выше ваших криков и угроз.

(*«Журнал общественной экономии» от 20 плювиоза V года - 8 февраля 1797 г.*)

О некоторых людях, которые не являются ни философами, ни христианами

Те, кто на протяжении тридцати лет высмеивал культ, *который они в глубине души не презирали и которого даже не знали*, не были философами. Они были лишь рабски покорными прислужниками нескольких влиятельных философов, или низкими льстецами, угождавшими общественному мнению того времени. Те, кто, в течение целого года грабя алтари и обчищая ризницы, нацеплял на себя церковные облачения, не были философами. Это были бандиты под покровительством других бандитов, достаточно уверенные в своей безнаказанности, чтобы позволять себе веселость даже в совершении преступлений. Те, кто во все времена преследовал сторонников и служителей любого культа, не были философами, а были фанатиками или злобными лицемерами. Те, кто пишет чиновникам низшего звена: «*Изводите священников, пока у них не кончится терпение; пусть ваша слежка беспокоит их днем и тревожит ночью*», - не философы, а агенты тирании и мастера утонченной жестокости.

Те, кто после убийства нескольких тысяч священников (2 сентября) прославлял *бессмертную Коммуну 10 августа*, которая была той же самой коммуной, что и 2 сентября, не были

философами. Это были трусливые прихлебатели преступления, более виновные, чем те злодеи, которым преступление принесло хотя бы выгоду в виде подобных прихлебателей. Те, кто постоянно путает фанатизм с религией, чтобы приписать одной все преступления другого, не являются философами. Это либо невежды, либо негодяи, либо безумцы.

С другой стороны те, кто постоянно путает философию с безудержным произволом, чтобы приписать первой преступления второго, не являются христианами. Это либо злые люди, либо фанатики. Те, кто обвиняет философов во всех бедах Революции, не являются христианами. Это вероломные неблагодарные люди или глупцы, которые лишь ждут момента, когда обретут власть, чтобы ударить по тем, кто является их единственной опорой. Те, кто вечно злится на прошлое вместо того, чтобы работать над улучшением настоящего и будущего; те, кто не забывает никакого зла и ничего не прощает, не являются христианами. Это люди с больной душой, суровым нравом или полные ненависти и мстительности сердца, совершенно неспособные к тому кроткому благочестию, которое внушает христианство.

Те, кто ополчается на философов в тщетной надежде быть избранными на должности, которых они если и не недостойны, то, по крайней мере, неспособны исполнять, не являются христианами. Это мелкие честолюбцы, полные глупого и нелепого тщеславия, которое будет обмануто уже потому, что они выставляют себя смутьянами перед людьми, жаждущими исключительно мира. Те, кто, будучи священником, вступил в брак, а теперь нападает на философов (которые были к ним весьма снисходительны), питая безумную надежду примириться с католическими священниками, питающими к ним отвращение, не являются ни христианами, ни хорошими католиками, ни, вдобавок ко всему, хорошими логиками. Те, кто говорит, что Евангелие породило Варфоломеевскую ночь, и те, кто говорит, что Декларация прав человека породила события 2 сентября, - в равной степени безумцы или порочные люди.

Между евангельской моралью и философией существует такое сходство, что любой, кто отзывается об одной или другой без должного такта - я бы даже сказал, без уважения, - безусловно, является фанатиком, отвратительным для обеих сторон.

(*«Парижская газета» от 12 вантоза V года - 2 марта 1797 г.*)

Война благочестивых против философов во времена Бонапарта

Верх бесстыдства - выдавать себя за опору власти, а философов представлять её врагами. Если естественно любить то, чему служил, то религиозное лицемерие должно быть крепко привязано к Бурбонам, а разум - предан Бонапарту. Верхом безумия было бы полагать, что консульская власть, рожденная из всех разумных основ Революции, находилась бы в большей безопасности среди принципов и мнений, составлявших суть старой королевской власти.

Разве это священники, дворяне или армии крестоносцев подготовили, создали, провозгласили и признали консульскую власть? Разве под освященными знаменами победа шествовала в течение двенадцати лет? Разве из глубин семинарии вышла эта слава наук, которая, соединившись со славой оружия, озарила своими лучами колыбель Консулата? Разве из теологических книг почерпнуты те знания, что просветили французскую нацию относительно ее прав и интересов; и человека, способного спасти и сохранить и то, и другое? Разве таинственный елей запечатлел на его челе славное клеймо верховной власти? Была ли это теология или же признание заслуг перед новой политической системой, что восстановило религию? Где были враги разума, когда Бонапарт рисковал жизнью ради отечества? За кого они молились, когда он преодолевал все опасности в Лоди, Арколе, Маренго? Где они были, когда здесь обсуждали его возвращение? Не разум ли один говорил, действовал и работал ради них? Разве то, что сегодня является их собственным восстановлением, - это их заслуга? Вернулись ли они

победителями благодаря силе своего оружия и своих добродетелей, или же их призвали побежденными и покорными?

Любовь к свободе, ужас перед анархией, суверенная воля просвещенного народа, умудренного двойным опытом рабства и хаоса, - вот те источники, из которых возникла консульская власть. Слава французского оружия и величие наук объединились, чтобы вручить бразды правления Бонапарту... Понятно, почему имперское правительство в 1806, 1807 и 1808 годах находило пользу в этой борьбе между философией и ханжами: это избавляло его от притязаний и тех, и других на руководство всем подряд...

Вместо того чтобы пытаться препятствовать правительству или свергнуть его, философы стремились единолично направлять и поддерживать его. Вольтер, Тюрго и экономисты выступали против парламентов из преданности государю; они желали абсолютной власти, смягченной лишь их трудами. Именно они провозгласили общественное мнение силой, дали ему скипетр, трон и алтарь; именно они сделали его королевой и божеством. Но они создали эту королеву, чтобы быть при ней министрами и советниками; они сотворили это божество, чтобы быть его жрецами, возвещать и истолковывать его прорицания. На философов напали совершенно неоправданно. Нападающие - не более чем жалкие недоучки, и их невежество и промахи чувствуются гораздо сильнее, чем их мелкие колкости...

Послушать этих господ, так философия разрушила всё. Предположим, что именно она привела к Революции; по крайней мере, она не отступила перед её ужасами и довела её до завершения. Если Франция сегодня восстановила свое положение среди народов, если она пребывает в полном процветании, если у неё есть правительство и если во главе государства стоит выдающийся правитель, разве она обязана этим священникам? Разве священники призвали Бонапарта к первому консульству? Разве они вверили свою судьбу в его руки, когда она всё еще подвергалась величайшим опасностям? Какой первосвященник благословил оружие Сен-Клу 19 брюмера VII года? Кто протянул руку самой религии? Не философия ли это была?

Общество, государство и общественное мнение

«Введение» к Journal d'Économie publique, de morale et de politique

Франция под своими знаменами и за своими пределами насчитывает десять победоносных армий. Силой побед она положила конец войне. Не имея множества друзей за границей, она вскоре не будет иметь и врагов, с которыми нужно сражаться. Она разоружила если не всю ненависть, то, по крайней мере, всех противников, и на данный момент этого для неё достаточно. Ею управляет торжественно и свободно принятая Конституция; правительство, обладающее как минимум достоинством твердости в борьбе против фракций и своих врагов, защищает и поддерживает её.

Все обещает стабильность в новой системе, и всё позволяет надеяться на спокойствие внутри этой стабильности. Республика сияет славой своего оружия, и мир сходит с небес на территорию, которую защитила свобода. О чем еще нам стоит просить, имея мудрую Конституцию, энергичное правительство, славу и мир?

ПОРЯДОК.

Под порядком я понимаю объединение двух различных вещей: правильное устройство всех предметов и всех лиц, что является лишь фактом, и регулярную последовательность всех движений предметов и лиц во всех местах и во все времена, что составляет постоянное состояние.

Революция всё подчинила силой; отныне Конституция должна всем управлять посредством силы порядка. Огромные рычаги были необходимы, чтобы сокрушить и даже чтобы заново отстроить массы; но теперь, когда мягкая и регулярная пружина возвращает всё на свои места, необходимо, чтобы она поддерживала всё, что там находится, если вдруг что-то ещё осталось или уже восстановилось. Революция для большинства - это долгая череда жертв; Конституция же - это договор о сохранении и даже залог возмещения ущерба. В революции весь народ, который делает всё, или, по крайней мере, верит и кажется, что делает всё, считая себя хозяином возможности остановиться, когда захочет, решительно и без осторожности распоряжается своими правами и часто жертвует ими без необходимости; в конституционном государстве общественная служба рассматривает должностных лиц, которым народ делегировал осуществление своих полномочий, лишь при условии полного сохранения всех его прав и для их полной гарантии. Во время революции народ, так сказать, лично распоряжается своим достоянием как хозяин, по своему усмотрению; при Конституции же всё находится в руках управляющего, назначенного хозяином, чтобы привести всё в безопасность и содержать всё в порядке, невзирая на прихоти самого хозяина. В революции общий энтузиазм, а затем частные страсти ведут или, скорее, увлекают все воли, часто в ущерб всем интересам; при Конституции различные воли подчинены комбинированному руководству, которое ведет их к общему интересу.

Конституция - это не что иное, как величественный и долговечный инструмент, созданный для установления и поддержания порядка в великом обществе; она должна быть для движения государства тем же, чем для ремесел являются машины - творения человека, которые кажутся превосходящими его самого; эти машины, которые кажутся наделенными непогрешимым разумом и силой, иногда в сто крат превышающей ту, в которой природа отказала человеку при труде, и обладающие продолжительностью жизни большей, чем его собственная; эти машины, которые, оставаясь неизменными на протяжении всего срока своей службы, заменяются другими, такими же как они, свободными от возрастных и силовых различий; эти машины, наконец, которым человек доверяет заботу о своем благополучии и успех своих предприятий, довольствуясь лишь ролью наблюдателя.

Но недостаточно того, чтобы машина просто существовала; необходимо, чтобы она была введена в действие, чтобы было задано первоначальное устройство, чтобы был дан импульс. Но и этого недостаточно: столь великий интерес, как общественное благополучие, не должен зависеть исключительно от механической силы, какой бы прочной она ни была и как бы она ни черпала свою мощь в самих людях, на которых воздействует; необходимо также, чтобы после того, как всё однажды подчинится её влиянию, национальные привычки заменили её и поддерживали её действие; чтобы их было достаточно для того, чтобы поставить или восстановить каждую вещь и каждого человека на своё место, чтобы своевременно совершать или останавливать каждое действие. Словом, необходимо, чтобы чувство порядка и любовь к нему стали религией во всех душах и запечатлели волю, выраженную во всех законах.

Порядок, порядок! Вот цель любой конституции, задача любого правительства, принцип всякого общественного процветания. Порядок - это мудрость природы; он - плод самых разных элементов, которые она охватывает в своей безграничности; но он же обеспечивает её силу, её величие, её долговечность и саму её необъятность. Именно благодаря ему она восстанавливает, сохраняет, создает и, постоянно действуя, созидает и разрушает без потрясений. Будучи хранителем вселенной, порядок является также хранителем самого себя; он совершенствуется, а не ослабевает от своих действий, и всегда стремится к восстановлению, даже когда кажется разрушенным. Точно так же и в политическом обществе порядок, будучи однажды установлен, управляет всем лишь своей собственной силой; он распространяется на всё, охватывает всё и, распространяя повсюду своё благотворное влияние, нигде не давая почувствовать своё прямое воздействие, приводит всех людей к согласию со всей природой. Он черпает в ней и в них силу, необходимую для управления ими и для того, чтобы увековечивать самого себя.

Способ установления порядка во Франции прост: нужно устранить всё, что может помешать его возрождению; он восстановится сам по себе, даже если ничто не будет ему препятствовать. В то время как революции переворачивают массы людей, кажется, что сама природа порядка трудится в каждом из них, чтобы расположить их к возвращению на свои места, к своим занятиям и мнениям, которые им подходят. Всеобщее стремление направлено к порядку, потому что порядок обеспечивает безопасность каждого.

Среди нас всё готово для его возрождения. Любая воля, освободившаяся благодаря печальному опыту от всех новых веяний, а благодаря забвению или горьким воспоминаниям - от старых обычаев, сегодня свободна; то есть она возвращена в интересах порядка. Никогда французским народом не было легче управлять мудро; он как никогда восприимчив к справедливым и разумным идеям. Пройдя через все страдания ко всем крайностям, ввергнутый затем всеми преступлениями и безумствами во всевозможные бедствия, он претерпел при старом режиме все тяготы рабства, а при новом - все наказания распущенности. И в том, и в другом случае он пережил все унижения, которые верховная власть разума, правосудия и поруганной человечности может наложить в искупление долгих и многочисленных посягательств, совершенных против них. Едва ли ему сегодня нужны законы и чиновники, чтобы быть мудрым; ему нужны лишь проводники. Нужно ли много властных людей, чтобы вести людей, ставших добрыми по совести, возвращенных к доброте их врожденным инстинктом? И не станут ли даже слишком многочисленные законы и слишком многие чиновники опасностью для народа? Согласие живет во всех душах; власть разума установилась через опыт во всех устремлениях. Уверены ли мы, что слишком многочисленные политические власти были бы столь же чисты, как эта внутренняя, сокровенная власть, и что они способствовали бы её благотворному влиянию? Если любая необходимая власть является для гражданина предметом амбиций, то любая бесполезная власть, напротив, всегда захватывается приверженцами партий. Несомненно, если бы пришлось выбирать между двумя крайностями, анархия доброй совести была бы предпочтительнее тирании партий.

Во всех отраслях социальной экономики моральная идея и разумная идея сегодня являются первостепенными; вернее сказать, это единственные идеи, в которых народ осмелива-

ется признаться. Во всех сферах управления, финансового, гражданского и политического законодательства, во всех частях частной морали вечные истины восстанавливаются после их запрета и готовы вновь вступить во все свои права.

Во всех отраслях управления ощущается потребность в людях, способных управлять. К просвещенности и опыту вновь стали относиться с уважением. Теперь востребованы люди дела, а не те, чье единственное достоинство - самонадеянность или дерзость желать. Речь уже не идет в такой степени об энергии характера, но гораздо больше - о широте знаний. Теперь считается бесполезным выяснять, является ли человек сторонником того или иного события Революции; важно лишь, привержен ли он порядку и знает ли он его законы. Некомпетентность на высоких постах начинает становиться скандалом - это очевидное доказательство того, что общественное мнение вовсе не безразлично к судьбе Республики (как утверждают те бездарности, что дрожат на своих пьедесталах, выставляющих их на посмешище). Напротив, именно вера в непобедимость Республики заставляет нацию предлагать или желать ей в помощь все таланты и все знания, которые она еще способна найти в себе.

Ложные идеи в финансах исчезли вместе с фальшивыми деньгами, и исчезли безвозвратно. Ценой бесполезного или гибельного опыта мы пришли к тому, что больше так продолжаться не может. После всех совершенных нелепостей предел возможного достигнут, если только не предположить, что некомпетентность стала столь же изобретательной, как и сам гений; ибо очередная глупость в финансах сегодня могла бы быть только плодом гениальности. Все идеи сходятся к тому, чтобы искать ресурсы государства в налогах, а налоги - в администрациях, дружественных собственности и осведомленных о ее истинных интересах.

В области гражданского законодательства, после стольких опытов, проведенных за пять лет над отношениями людей между собой и людей с вещами; над отношениями собственности и свободы, владельцев и фермеров, кредиторов и должников, продавцов и покупателей, хозяев и слуг, родителей и детей, мужа и жены, - нет, пожалуй, ни одного здравомыслящего человека, который не мог бы внести в составление гражданского кодекса идеи, которые в другие времена остались бы невысказанными, а возможно, даже скрытыми от выдающихся умов. Нет ни одного просвещенного человека, который бы сегодня хотя бы смутно не осознавал то, что едва подозревалось шесть лет назад: источник нравов заложен в гражданских законах; источник семейного счастья, являющегося основой общественного благополучия, - в гражданских законах; непосредственные принципы порядка - в гражданских законах. Создание этих законов, которое заурядные политики считают работой простого юриста, а не законодателя, на самом деле является великой и истинной задачей выдающегося законодателя. Политический закон - это лишь гарантия закона гражданского, и он заимствует у последнего силу, необходимую для своего поддержания. При наличии превосходных гражданских законов наступает время, когда конституционный закон больше не имеет значения для общественного порядка и всеобщего счастья; без них же даже лучшая Конституция не принесет ничего хорошего и прочного, не сможет устоять перед малейшим потрясением или избежать коррупции. Все это чувствуется сегодня. Какое подходящее время для создания Гражданского кодекса, которым законодательный корпус будет неустанно заниматься и проект которого, судя по всему, заслуживает самого пристального внимания!

Что касается общей полиции - той, что охватывает всю Республику во всем ее объеме и которую называют полицией безопасности, той, что должна следить за всеобщим порядком, который однажды должен родиться из нравов, подобно тому как нравы рождаются из гражданских законов, а гражданские законы - из Конституции, - то сегодня легко признать, что такая полиция может установиться быстрым, прочным и всеобщим образом только через *восстановление труда*. Глядя на все те преступления, которые безделье порождало среди нас в течение двух лет, и на глубокую нищету, последовавшую за ним, найдется мало разумных людей, которые не научились бы отдавать дань уважения труду - не только как великому творцу любого производства, но и как великому регулятору морали и главному распорядителю порядка. Сегодня к нему взывают как к могущественному возродителю и того, и другого.

Я сказал «восстановление труда», но мне следовало бы потребовать его *учреждения*, ибо труд никогда не имел во Франции необходимой энергии, и это должно стать благодеянием Республики - превратить его в полноценный и завершенный институт. При монархии почти не существовало иного труда, кроме того, который навязывала нужда. Но любая страна, где обеспеченный человек ничего не делает, не заслуживает почетного звания трудолюбивой страны. Там, где обеспеченный человек по своей природе празден, и сам бедняк зачастую не делает всего, что в его силах. Чтобы труд целой нации был деятельным, необходимо, чтобы он стал удовольствием или, по крайней мере, привычкой для каждого - как для богача, так и для неимущего. Первый должен стремиться к нему в надежде на благополучие, а не только из унизительного страха перед крайней нуждой; второй - из страха или стыда перед праздностью, а не из жажды вечно растущих излишеств. Нужно, чтобы богатый человек, соединяя со своими интересами и капиталами навыки ума, прилежно направлял их на преумножение богатства, увеличивая свой капитал через труд и расширяя сферу деятельности с помощью своих средств. Таким образом он окажется тесно связан с интересами бедняка и будет обязан выплачивать ему достойное вознаграждение за содействие и сотрудничество. Необходимо, чтобы труд, полезный для всех, стал предметом всеобщего стремления; чтобы идеи достатка и уважения в общественном мнении были неразрывно связаны с идеей труда. И тогда во всем обществе окажется не больше бездельников, чем преступников, и нельзя будет встретить ни одного праздного человека, не назвав его при этом несчастным.

Именно такая полноценная и всеобъемлющая организация труда - и только она одна - развивая все таланты и приумножая богатства, увеличивая общее достояние, обладает к тому же преимуществом укреплять и облагораживать все человеческие взаимоотношения. Только она способна сделать ощутимым и приятным равенство в правах при фактическом неравенстве положений, наделяя богатого скромностью и бережливостью, а бедного - достоинством и радостью жизни. Сопоставляя все таланты и обязывая их к взаимной зависимости, она ведет к обоюдному уважению и признанию. Именно труд является самой надежной гарантией собственности, потому что приучает каждого к мысли, что благо не приобретается без усилий; и гарантией свободы, потому что удваивает для богатого потребность в бедняке и освобождает последнего от всего унизительного в его зависимости. Труд обеспечивает каждому надежное и прочное счастье: он дает бедняку надежду в нужде и усмиряет в богатом жажду пресыщения. Поддерживая во всех необходимый стимул к способности наслаждаться жизнью, он предохраняет душу от мелких, беспокойных, навязчивых и вредных страстей, которые порождает скука - это, я бы сказал, наказание для праздных душ или способ их облегчения.

Именно благодаря такому масштабному основанию системы труда во Франции - труда свободного, сельскохозяйственного, торгового и промышленного, направляемого частным интересом; благодаря восстановлению всех искусств, а не через создание общественных мастерских (которые в смутные времена являются лишь очагами мятежей), государство сможет гарантировать всем защитникам отечества вознаграждение за их страдания и возмещение за их жертвы за счет распределения территориальных фондов. Открывая для них мастерские промышленности и привлекая их заработной платой, которую поднимет конкуренция предприятий - а не путем раздачи земель, обработка которых будет непосильна для бедняков и которые со временем превратятся в феодальные владения немногих - правительство сможет одновременно обеспечить им покой и достойное поведение. Это с большей выгодой заменит в их жизни физические средства существования в лагерях и вытеснит привычки неспокойной военной жизни мирными занятиями и интересами гражданского быта.

Нынешние обстоятельства всячески благоприятствуют общему установлению такой системы труда во Франции. У нас больше нет ни предрассудков, ни законов, ни обычаев, которые заставляли бы стыдиться мудрого трудолюбия. Напротив, поскольку преступления Революции сделали бедность почетной, труд в условиях великих бедствий стал славным. Множество рук, с детства оцепенелых в праздности, обрели силы, чтобы откликнуться на волю характеров, ставших мужественными. В целом сейчас мало наследственных и законных состояний, которые обеспечивали бы сегодняшний прожиточный минимум; и если промышленность

возродится, нехватка рабочих рук будет столь велика, что труд принесет честный достаток. Как много обстоятельств благоприятствует установлению системы труда во Франции!

Даже наименее просвещенный человек может видеть, от чего сегодня зависит это установление. Оно зависит от одного простого и вполне законного условия: необходимо обеспечить собственности защиту и уважение - как со стороны государственной власти, так и со стороны частных лиц, какова бы ни была её природа, земельная или движимая; это значит гарантировать свободное обращение последней и честность сделок для обеих; это значит исключить из финансовых законов и административных принципов любые грабительские или обременительные проекты. Одним словом, необходимо заново утвердить и укрепить право собственности в его основах и заставить забыть - путем строгого подчинения правилам правосудия - о всех тех посягательствах, которые в течение четырех лет совершались против него почти непрерывно.

Если верно, в чем нельзя сомневаться, что мораль должна подкрепляться наставлениями, примерами, призывами, и в то же время навязываться мягким давлением всех жизненных обстоятельств, передаваться через логику, красноречие и личный пример, и при этом внушаться правильно понятым личным интересом; если она должна преподаваться столь же ненавязчиво, сколь и вдохновенно, и быть смешанной со всеми идеями, как и со всеми чувствами, - то нынешний момент, безусловно, весьма благоприятствует такому обучению. Ужасная борьба, которая велась в течение двух вечных лет между всеми пороками и всеми добродетелями, развернула и те, и другие во всей их полноте; порок и добродетель в эти кризисные времена достигли своих крайних пределов. Узкая тропа долга была пройдена на всем ее протяжении; путь преступления был протоптан, перекопан и залит кровью во всех точках. Здесь перед нами - прекраснейшие образцы, там - величайшие чудовища. Повсюду несчастные рассказывают вам о чудовищных злодеяниях; повсюду жертвы, спасшиеся от преступления, повествуют вам о чудесах добродетели. Семьи, города, вся Республика представляют собой огромную сцену, где мораль все еще находится в действии, где каждая добродетель и каждый порок под именами, ставшими знаменитыми или печально известными, играют - если можно так выразиться - великую драму, в которой каждый человек верно следует своему характеру. Каждый индивид присутствует здесь попеременно то как зритель, то как актер; он дает и получает в свою очередь уроки, оживленные и подкрепленные разумом, справедливостью и человечностью.

Таково во Франции состояние тех великих школ, которые опыт держит открытыми для всех граждан; таково состояние умов, усвоивших их уроки; таковы, наконец, те правила, к которым этот опыт нас вернул. Это зрелище, несомненно, внушает удовлетворение. Тем не менее, не следует безрассудно предаваться надежде; нужно проявлять бдительность и дальше. Всё стремится к порядку, но порядок еще не установился. Во всех умах распространено больше или меньше здравых идей, но они еще окончательно не утвердились. Всё готово для добра, но ничего еще не сделано. Страсти, предрассудки и преступные интересы лишь ждут случая, чтобы вновь встать между ясными истинами и общественным мнением и скрыть их друг от друга.

С одной стороны, люди ловкие, упрямые или влиятельные, привязанные к старому режиму или неспособные восполнить ресурсы в новом, всё еще могут попытаться навязать нам новые ошибки взамен старых, бедствия распущенности взамен бедствий рабства, и утвердить в самом сердце Республики самые одиозные институты монархии. Им всё еще под силу зациклить воображение народа на злоупотреблениях Революции, объединяя в умах представление о всех вызванных ею несчастьях с представлением о тех принципах, которыми преступление воспользовалось лишь для прикрытия; приписывая, наконец, философии и свободе все покушения, совершенные от их имени против них самих. Им под силу, говорю я, вновь склонить толпу к тем злоупотреблениям, которые породили Революцию, заставить её возненавидеть самые мудрые реформы из страха перед переворотами, заставить её отвергнуть преиму-

щества нового режима именно потому, что они были куплены слишком дорогой ценой, и заставить нацию отступить назад, за пределы цели, только потому, что она эту цель перешагнула.

Признаюсь, не без изумления и боли я увидел, как само правительство предложило Законодательному корпусу под расплывчатым и приукрашенным названием «косвенных налогов» те самые подати, которые погубили монархию.

Не без боли я замечаю и то, что большая часть тех молодых людей, которые не видели в действии ни королевскую власть, ни суеверия и не привязаны ни к тому, ни к другому никакими иллюзиями, привычками или предрассудками, и которые в глубине души не должны были бы быть ни роялистами, ни республиканцами, ни фанатиками, ни атеистами, должны были бы стать самой заветной надеждой свободы, философии и Республики; не без боли гражданин может видеть их воспроизводящими устаревшие речи давних приверженцев рутины, на том жалком жаргоне, в котором они упражняются, и - то ли из почтения к моде, то ли заразившись примером женщин - лепетать и мямлить против философии те самые оскорбления, которые уже сорок лет считаются лишь самым прискорбным старческим маразмом!

Эти молодые люди, вне всяких сомнений, сами того не подозревая, выступают защитниками чуждых интересов, которые скрыты даже от их собственных глаз; и у этих интересов есть и другие, скрытые защитники. Несомненно, существуют люди, которые хотели бы не «реакции» преступлений, как полагают неутомимые смутьяны, а «реакции» принципов и убеждений; те, кто хотел бы, чтобы суеверие свергло философию так же, как философия когда-то свергла суеверие, и чтобы самые вопиющие налоги заменили бумажные деньги, столь же мошеннические, какими эти деньги были, когда сами заменяли налоги.

С другой стороны, неужели установление порядка не должно опасаться никакого противодействия со стороны этих гнусных и вредоносных фигляров, которых набат анархии призвал в ряды порядочных людей? Тех, кого только преступление и безумие вознесли на сцену, где они одновременно позорят и звание патриота, и звание законодателя; тех, кого всеобщее молчание предупреждает о завершении их роли; тех, кому общественное внимание, обращенное теперь к людям разумным, велит замолчать; тех, кому для того, чтобы их отвратительные вопли хоть кто-то терпел, требовался шум ими же поднятого мятежа; тех, кому больше нет смысла говорить, раз их больше никто не обязан слушать? Неужели такие люди не станут защищаться от установления порядка, видя в нем угрозу своему существованию?

Именно для того, чтобы отвратить или побороть любое пагубное влияние, я основываю журнал, где друзья свободы и разума смогут объединить свои таланты и знания в пользу того и другого. Я полагал, что многие охотно согласятся направлять общественное мнение по линии, проведенной между злоупотреблениями Революции и злоупотреблениями, которые ее породили, - к той цели, которую наметили не только все лучшие умы, проявившие себя в ходе событий, но и те, чьи чаяния предвосхитили ее и кто ее предсказал. Нужно стремиться к цели Революции, поскольку она уже совершена, поскольку она была необходима, поскольку было бы постыдно отступать назад и поскольку она стоила шести лет счастья и миллиона человеческих жизней.

Между рабством и анархией мы найдем свободу. Между ассигнатами и соляным налогом, между банкротством и поборами мы найдем умеренное и пропорциональное налогообложение. Между сословными различиями по праву рождения и всеобщим хаосом мы найдем зависимость, основанную на возрасте, родстве и должностях. Между безнадежной неразрывностью принудительных, необдуманных и несчастных союзов и полным распадом даже самых разумных уз мы найдем возможность развода в трудных случаях. Еще раз: пойдем к цели и будем в равной степени отводить взор и от крайностей, и от отправной точки.

Эта цель - свобода; республика дает ее нам; порядок должен ее обеспечить. День порядка настал; нация требует его; пусть же он царит в Республике, и у Республики больше не будет врагов внутри нее. Пусть все граждане способствуют его установлению, и тогда всё покорится ее верховной власти.\

(1-й номер «Журнала общественной экономики, морали и политики» от 10 фрюктидора IV года. - 27 августа 1796 г.)

О суверенитете

Можно установить несколько принципов касательно права суверенитета. Суверенитет - это право обладать и пользоваться волей, превосходящей любую другую волю; следовательно, это право, подкрепленное средствами для сопротивления любым атакам и преодоления любого противодействия. Это второе условие неотделимо от первого: ведь способность желать, не имея на то власти, была бы суверенитетом не в большей степени, чем свободная воля при параличе была бы независимостью. Таким образом, суверенитет состоит из права и факта, из воли и действия, из желания и возможности. Власть, в строгом смысле слова, - это физическая способность; это либо естественная сила, присущая суверену, либо сила совокупная, созданная общественными институтами.

Право суверенитета является общественным институтом; оно может возникнуть лишь из соглашения каждого со всеми и всех с каждым. Чтобы миллион или сто миллионов человек имели права над одним индивидом, необходимо, чтобы они составляли общество и чтобы этот индивид был его частью. В противном случае по отношению к этому множеству людей он находился бы в естественном состоянии, где никто не имеет прав (*jura*) распоряжаться другим, а существует лишь естественное право, добровольная справедливость, к которой можно взывать: *quid æquum, quid rectum* (что справедливо, что правильно).

Таким образом, суверенитет - это право, изначально приобретенное обществом как единым целым в силу самого факта ассоциации, распространяющееся на каждого из его членов в отдельности. Суверенитет неотчуждаем по праву и на деле. По праву - потому что общество не может лишить себя, не противореча целям своего создания, тех прав, гарантировать которые оно и призвано; и потому что эти права неотделимы от человеческого достоинства. На деле - потому что целое по необходимости всегда сильнее части, когда оно того пожелает.

Принцип неотчуждаемости не препятствует тому, чтобы общество делегировало осуществление и использование части суверенной власти - например, право обеспечивать исполнение законов, - и чтобы за этим делегированием закрепилось название «суверенная власть», что является обычным речевым расширением смысла. Делегирование может быть осуществлено в пользу одного лица, либо ряда лиц из одной семьи, либо определенного числа людей одновременно и коллективно. Однако во всех случаях должны соблюдаться меры предосторожности, достаточные для того, чтобы не ставить под угрозу само право и даже чтобы избежать злоупотреблений, не мешая при этом правильному использованию той части суверенитета, осуществление которой делегировано. Например, нация может делегировать исполнительную власть со следующими оговорками: 1) она будет осуществлять её сама или через представителей; 2) применение уголовных законов, затрагивающих свободу, и гражданских законов, затрагивающих собственность, будет доверено независимым судьям; 3) деньги, необходимые для оплаты услуг по делегированию, будут не только вотироваться нацией или её представителями, но и делаться это будет периодически и ежегодно; 4) наконец, делегированная власть вернется к нации, когда наступит смерть лица, или последовательная кончина лиц, или исчезновение группы людей, которым делегирование было предоставлено. Каждая из этих мер предосторожности сама по себе будет служить очевидным свидетельством национального суверенитета. Собранные вместе, они смогут противостоять злоупотреблениям делегированной власти.

Чтобы осуществлять делегированную власть, государю необходимы помощники и сила. Его сила может быть лишь производной от общей силы общества; однако она возрастает за

счет искусственных средств вооружения, владения оружием, передвижения масс, объединенных или разделенных. Помощники и армия сами нуждаются в средствах к существованию, которые должны постоянно возобновляться по мере необходимости. Эти средства представлены деньгами. Деньги - это продукт частной собственности, который гарантируется обществом и в отношении которого частные лица не уступили ничего из своих прав. Налог - это добровольный акт, право вотировать который общество зарезервировало за собой для периодического исполнения. Если оно отказывает в нем, значит, оно не одобряет то использование, которое было сделано властью: оно приостанавливает или уничтожает его. Если государь вместо добровольного взноса вводит налог, устанавливая его размер и взимая его в силу своей воли, нация отказывает. Если государь, чтобы сломить отказ, пытается применить силу, он рискует одним из двух: либо встретить отпор самой силы, либо спровоцировать против себя общую и суверенную силу, из которой она была извлечена и которой нет равных. Именно это восстание общей силы называют восстанием; оно кладет конец полномочиям государя, особенно если созданная сила отказалась действовать, чтобы подавить сопротивление нации налогу. Можно сказать тогда, что делегированная власть вернулась в суверенную власть, от которой она была отделена; так как право повелевать без средств принуждения к повиновению - это призрачное право; не сохранять эти средства, когда ими наделили, - всё равно что не получать их вовсе.

Право вотировать налог является не только резервом национального суверенитета, но и, кроме того, осуществление этого права служит доказательством верховной власти, так как оно является её собственным актом и служит регулятором доли делегированной власти.

Достаточно было бы возможности возврата короны к нации, чтобы национальный суверенитет не вызывал сомнений. Сказать, что она возвращается к нации в каком-либо случае, - значит признать, что она исходит от неё и что нация выше того, кто её получает. Сказать, что нация могла бы одна распоряжаться троном, если бы занимающая его семья пресеклась, - значит сказать, что именно она возвела на престол правящую династию и что именно она создала сам трон.

Право платить только те налоги, на которые дано согласие, право быть судимым независимыми судьями всегда были частью публичного права во Франции и закреплены в хартии. Возможность возврата короны в отсутствие наследников мужского пола в королевской семье всегда считалась неоспоримой. Более того, это было торжественно признано в 1717 году всеми членами дома Бурбонов индивидуально и закреплено законом, облеченным в законные формы того времени. Недавно это было подтверждено при коронации Карла X в послании архиепископа Реймского, который возводит правящую династию на трон не по божественному праву и не по святому помазанию, а на основании государственного закона, определившего порядок престолонаследия во Франции.

В продолжение этого примечания я приведу закон 1717 года и часть послания, опубликованного к коронации Карла X.

Люди, которые пожелают поразмыслить над этими текстами, а также над правом вотировать налоги, убедятся, что если преступно утверждать, что суверенитет принадлежит народу, то первыми виновными, над которыми должен состояться суд, являются: архиепископ Реймский, Людовик XV, регент герцог Орлеанский, герцог Бурбонский, принцы Конти, граф Шароле и парламент, зарегистрировавший эдикт 1717 года.

Причиной непризнания неотчуждаемости суверенной власти стали опасения, что она допускает или, по крайней мере, поощряет мнение, будто народ может по своему усмотрению сместить своего короля, судить его, осудить и даже казнить, заменив монархию иной формой правления. Я говорил об этом в тексте, который вы только что прочли, и заявлял еще более решительно, когда начался процесс над Людовиком XVI: когда нация делегировала часть своего суверенитета, оговорив безотзывность и неприкосновенность тех, кто будет ее осуществлять, их личность, титул, наследственное право и власть становятся столь же священными, как если бы они были суверенами Божьей милостью, и даже в большей степени, чем если бы они

правили по праву меча. Пренебрежение этим принципом стало одним из бедствий революции.

Возможно ли объединить людей в обществе настолько совершенно, чтобы они не нуждались ни в правителях, ни в принудительных законах для мирного сосуществования?

Этот вопрос не праздный; он ведет к исследованию природы социального принципа и, следовательно, к поиску не только точной меры правительственной власти, которую необходимо установить, но и того направления, которое ей следует придать в хорошо организованном обществе. Вот диалог, в котором, как нам кажется, эта тема раскрыта. Поскольку автор составил его после беседы с покойным Вандермондом из Академии наук, он выбрал его своим собеседником.

Вандермонд. Посмотрите на пчел, которые живут в одном улье, собирают общую добычу и строят свои соты по единому плану. Они не обкрадывают и не пожирают друг друга. Среди них не видно ни волнений, ни мятежей, ни грабежей, ни разрушения жилищ. Посмотрите на муравьев, которые сообща запасают провизию на зиму, приносят её на общий склад, трудятся с одинаковым рвением и так же живут вместе, не вредя друг другу.

Почему же люди, наделенные преимуществом разума, не живут в таком же согласии? Почему им нужны искусственные политические конституции, чтобы удерживать их в рамках долга? Почему, наконец, необходима общественная сила, чтобы подавлять или сдерживать их?

Рёдерер. Дело в том, что у пчел и муравьев - лишь одна и та же потребность, одна и та же воля и равные возможности, тогда как у людей у каждого свои потребности и разные цели при различных средствах. Давайте разберем это подробнее. (1) У пчелы и муравья меньше потребностей, чем у нас; они не знают ни нужды в одежде, ни нужды в любви. (2) У них всю жизнь одна и та же потребность; мы же меняемся в зависимости от возраста. (3) Их предусмотрительность направлена лишь на одну нужду - голод; у нас же она касается всех наших нужд. (4) Их забота о будущем ограничивается одним сезоном; наша же охватывает всю жизнь и жизнь наших детей. (5) Их предусмотрительность не бывает тревожной, беспокойной или возбужденной воображением; эта способность имеет безграничную власть над людьми. (6) Они живут друг на друге, и их собственность едина; люди же разобщены, скрываются друг от друга, когда пожелают, а их владения раскинуты на огромных пространствах. (7) Они ограничены своим интеллектом в искусстве управлять собой и обеспечивать себя; у них нет амбиций заставлять других служить своему благополучию, и они довольствуются тем, что им не препятствуют. Напротив, человеческий разум заставляет каждого всегда стремиться использовать других в своих интересах; отсюда жажда отличий, отсюда и моральные страсти, которые до бесконечности множат резкость отношений и противостояния. (8) Они делают лишь одно дело, делают его только для себя, и делают его в одиночку; они делают всё всегда одинаково и теми же средствами, в то время как люди делают тысячи разных вещей, одни ради других, одни с помощью других и разными способами.

Легко увидеть последствия, которые из этого вытекают. Из-за разнообразия потребностей, которые проявляются у разных людей, и даже у одних и тех же в разном возрасте, один человек может трудиться ради одной из этих потребностей, пока другой занят другой, и на этой почве их пути могут пересекаться. Из-за разной степени предусмотрительности один заботится о себе, другой - о своих детях; один преследует сиюминутный интерес, другой - будущий; один - ближайшее будущее, другой - отдаленное. Как еще одно следствие того же принципа, один желает лишь необходимого, другой - избыточной роскоши.

Разнообразие талантов и личных возможностей приводит к тому, что один выбирает один путь для достижения своих целей, а другой - иной; один жаждет славы, другой - богатства, третий - власти; а ещё кто-то стремится к наслаждению напрямую, не утруждая себя поиском средств для его обретения и закрепления.

Слава, богатство, власть - всё это привилегии или, по крайней мере, преимущества; всё это имеет целью либо дать что-то одному исключительно за счет другого, либо одному больше, чем остальным, либо заставить других служить удовольствию одного или немногих. Таким образом, на одних и тех же путях разнообразие силы или ума заставляют людей стремиться свергнуть друг друга или расставлять ловушки, чтобы достичь цели в одиночку или опередить остальных. Отсюда рождается ненависть, и зависть - мать ненависти. Идя теми же путями и обладая равными средствами, заблуждающееся или просто разгоряченное воображение заставляет людей двигаться быстрее или медленнее, сокрушать или щадить всё, что встречается на пути. Энтузиазм или фанатизм придают действиям более яростный характер, чем разум и расчет.

Впрочем, если муравьи не дерутся внутри муравейника, а пчелы - в улье, то они сражаются снаружи, когда встречаются на одном цветке или на одном камне. Точно так же в человеческом обществе: люди дерутся на рынке из-за яйца, у булочника - из-за хлеба, а на лугу - из-за девушки.

В. Но я вижу людей, собравшихся на представлении или в церкви, и ни там, ни здесь не замечаю беспорядка. В церкви одна набожная женщина одним шиканьем заставляет замолчать и встать на колени двадцать сорванцов. В театре любитель из глубины партера заставляет умолкнуть двадцать болтушек в их ложах. Для всего этого не нужно вмешательство силы; так почему же в огромной массе людей, составляющей политическое общество, такой же порядок не устанавливается подобными средствами?

Р. Представление или месса - это всего лишь событие, событие кратковременное и общеизвестное, в котором каждый намерен участвовать, как только становится зрителем, к чему его никто не принуждает. Это событие собирает лишь небольшие группы людей, обладающих примерно одинаковым настроем и так далее. Таким образом, всем, кто встречается в церкви или в театре, очень легко договориться о том, как себя вести в этих местах, ведь каждый пришел туда с одними и теми же намерениями. Но в обществе всё иначе: там жизнь - это череда самых разных событий, которые еще больше различаются в зависимости от отношений между конкретными личностями. В церкви или в театре каждый находится на виду у всех; в обществе же каждый волен действовать в одиночку и избегать чужих взглядов.

Впрочем, если на представлении все обычно согласны в том, чтобы слушать, то далеко не все единодушны, когда дело доходит до оценки услышанного. Каждый день одни освистывают то, чему другие рукоплещут, а если в дело вмешивается партийная приверженность, то доходит и до драк.

В. Но посмотрите на эти огромные армии, состоящие из самой пылкой части нации; кажется, будто ими движет единая воля на протяжении двух, трех, четырех кампаний подряд. Это не маленькие собрания флегматичных людей и не мимолетные встречи.

Р. Нет, но это люди, охваченные великой страстью или, скорее, великим энтузиазмом, возникающим из множества страстей, слитых воедино, подогретых и подпитываемых друг другом. Свойство энтузиазма в том и заключается, чтобы передаваться другим, или, вернее, существовать только через общение. Таким образом, это чувство делает всех людей, так сказать, однородными и даже отождествляет их друг с другом. К тому же, речь здесь идет лишь об одной конкретной задаче: победить врага или противостоять ему.

Впрочем, пример выбран неудачно, ведь у войск есть командиры и законы - законы даже более суровые, чем обычные правила; по крайней мере, так бывает чаще всего. Наш же вопрос состоит в том, как люди без начальников и без принудительной силы могут жить вместе, не вступая в распри, лишь договорившись о своих поступках и правилах.

В. Разве мы не видели американцев, которые в течение семи лет без законов, без чиновников и без конституции справедливо и мудро управляли собой, противостояли английскому правительству и добились независимости?

Р. Да, но тогда все интересы слились в один интерес политической свободы; все страсти разгорелись в одну - ненависть к жестоким угнетателям; все силы и все стремления были направлены на одно дело - восстание и войну.

Впрочем, если там и не было гражданского правительства, то лишь потому, что Америка представляла собой лагерь, живущий по военному уставу; если у них не было гражданских магистратов, то были генералы.

В. Что ж, пусть тогда политика сведет все интересы к одному, все страсти - к одной страсти, все стремления и все начинания - к единой воле, к одному единственному предприятию; оно сделает постоянным это однородное существование, которое было уделом целого народа на протяжении семи лет.

Р. Я уже говорил, что то, что возможно во время всеобщего кризиса, невозможно в естественном состоянии вещей. Единение, которое возможно перед лицом общего врага, исчезает, когда все находятся в безопасности. Человек охватывает прошлое, настоящее и будущее: настоящее - чувствами, прошлое - памятью, будущее - воображением. Настоящее и будущее постоянно оспаривают власть над каждым из нас; они управляют нами попеременно. То мы делаем всё ради одного в ущерб другому, то всё ради другого в ущерб первому. Ни у одного человека нет неизменного правила на этот счёт. Да и как оно могло бы быть? Будущее каждый день предлагает ему иную перспективу; оно то приближается, то отдаляется. Болен ли человек - оно омрачается; стареет ли он или находится в опасной ситуации - оно становится ближе; возвращается ли здоровье, бодрость, безопасность - будущее расширяется. Если одно чувство притупляется, а другое совершенствуется - в будущем всё меняется. Иные времена рождают иные потребности; иные страхи рождают иные надежды. Так что, естественное состояние человека - это смена взглядов, планов и страстей. Природа, меняя его потребности в зависимости от возраста и других обстоятельств, пожелала, чтобы он был изменчив в своих вкусах. Если один и тот же человек не может оставаться одинаковым два дня подряд, если каждый день он получает иные советы от своих страстей, своего разума и своих инстинктов, то как же прийти к согласию великому множеству людей? Свести всё к одной-единственной страсти, скажете вы? Но повторюсь, это возможно лишь в несчастье или в опасности. В беде или при угрозе общая страсть всех людей - это спасение, но в безопасности же каждый возвращается к своим вкусам и нуждам.

Посмотрите на заключенных в каторжной тюрьме. У всех них одна мысль, это побег. Один предлагает сделать подкоп - и все тут же принимаются за работу; или же раздается голос, предлагающий перебить надзирателей, смотрителей и стражу – и заговор тут же принимается единогласно. Каждый участвует в плане, что-то добавляет, что-то убирает, берет на себя свою долю. На корабле каждый участвует в маневрах, когда того требует общая опасность. Но как только план заключенных выполнен, ворота каторги открыты, а корабль пришел в порт - каждый идет своей дорогой: один направо, другой налево; они даже не прощаются друг с другом. Такова история народов в несчастье или в радости, в безопасности или в кризисе. Таким образом, чтобы объединить людей одной страстью, пришлось бы ввергнуть их в несчастье или в опасность. Следовательно, единство страсти - это плохой рецепт для установления общественного союза.

Впрочем, я намерен доказать, что даже если бы такое сведение всех страстей к одной было возможно, его нельзя было бы допустить, так как оно в иных отношениях нарушает естественные права и на самом деле противоречит целям общества.

В. Но у людей перед глазами всегда есть если не общий враг, которого нужно победить, то, по крайней мере, необходимый союзник, с которым нужно считаться: это природа, которая отказывает им в пропитании, если они не объединятся, чтобы посвятить ей свой труд. Таким образом, люди могут быть объединены интересом к труду. Трудиться - значит вести войну с

голодом, с мором, с самой войной, так как чума, война и голод - это три сестры, которые почти неразлучны, когда голод идет первым.

Р. Именно здесь я вас и поджидал. Вы сами пришли к истине, которой, казалось, избегали. Труд, да, именно труд - вот великий регулятор обществ. Но заметьте, прошу вас, одну вещь: труд не может быть предметом страсти, он может быть лишь привычкой. Труд сам по себе не является наслаждением, но он средство к наслаждению; привычка к нему приобретается как следствие страсти к наслаждению, но никогда - как страсть к нему самому, даже в силу привычки. Но для того чтобы труд стал привычкой под воздействием страсти к наслаждению, нужно быть уверенным в том, что ты сможешь насладиться его плодами; то есть, нужна собственность. Никогда вкус к труду не пробуждался в народе без частной собственности. Без неё существуют лишь принудительные повинности. Ну а собственность порождает неравенство, в свою очередь неравенство порождает страсти, которые нуждаются в узде. А узда для страстей - это законы. Следовательно, эти законы необходимы.

В. Разве мы не видели у всех свободных народов энтузиазм свободы, а у порабощенных народов - религиозный фанатизм, которые производили поразительные результаты и делали излишними любые другие социальные рычаги или заменяли их собой?

О. Давайте разграничим эти понятия. Фанатизм - это чувство, враждебное в высшей степени. Он повсюду находит врагов, которых нужно не просто победить, но уничтожить. Он бьет и терзает не только противников, но и прохладно относящихся или подозрительных друзей. В его руке всегда кинжал и топор. Следовательно, если фанатики и приходят к согласию между собой, то лишь потому, что это необходимо для ведения беспощадной войны, для сокрушения доведенных до отчаяния врагов или для сопротивления им.

Что же касается энтузиазма, то он может быть лишь временным и даже очень кратким состоянием. Энтузиазм - это состояние души, когда она кажется наполненной божественным дыханием. Однако состояние души, не соответствующее её коренным принципам, не может быть постоянным. Можно вызвать энтузиазм ради одного поступка, но нельзя поддерживать его в течение долгой череды последовательных действий; он подходит для громкого подвига, но не для долгой череды просто полезных дел. С помощью энтузиазма можно отправить тысячи людей на войну, на смерть, на костер; но с его помощью никого не удастся привязать к плугу. Энтузиазм даст нациям хороших воинов, но он не даст ни справедливого правосудия, ни эффективного управления, ни хорошего законодательства, ни даже армии. Он не приучит их ни к труду, ни к терпению. Он бросит им остатки добычи побежденных и разграбленных народов, но не даст им ни хлеба в изобилии, ни уж тем более «курицы в каждом горшке».

(«Журнал общественной экономии», от 30 мессидора V года - 18 июля 1797 г.)

Беседа нескольких знаменитых философов о республиканском и монархическом правлении

Этот текст был прислан нам из Швейцарии; он датирован 1793 годом.[65]

Предисловие. Сравнивать республиканское и монархическое правление в общих чертах - это весьма ошибочный и, пожалуй, малоубедительный подход к поиску наилучшей системы управления. Пока мы точно не определим, каковы обязательные условия хорошего правительства и каковы отличительные черты любого республиканского или монархического строя,

[65] Согласно «Всеобщей английской истории», именно Жак Кёр убедил короля войти в Нормандию, предложив ему суммы, необходимые для её завоевания. Без его кошелька этот поход не состоялся бы. (Т. XXX, стр. 530.)

нам будет не хватать необходимых предпосылок для рассуждений на эту тему. *Кондильяк* совершенно справедливо замечал, что искусство решать вопросы сводится к умению правильно их ставить.

Попробуем обобщить здесь всё, что было сказано нашими наиболее рассудительными политиками о превосходстве того или иного государственного строя, и мы увидим, что это не дает никакого результата. Чтобы лучше сопоставить их идеи, представим, что они беседуют друг с другом. Мы выведем на сцену Гоббса, Локка, Бейля, Вольтера, Гельвеция, Монтескье, Руссо и Сийеса.

Вольтер. Весьма вероятно, что республиканское правление является наиболее естественным. Всё в Америке, что не было порабощено, до сих пор остается республикой. Когда испанцы завоевывали эти земли, они обнаружили там процветающую республику Тласкала, и на всём этом континенте тогда было лишь два королевства.

В Африке готтентоты, кафры и многие негритянские племена живут при демократии. Триполи, Тунис и Алжир - это республики солдат и пиратов. Подобные им встречаются сегодня и в Индии: у маратхов, у многих орд патанов и у сикхов нет королей; они избирают вождей лишь тогда, когда отправляются на грабеж. Таковы и многие общества татар.

Гоббс. Мне кажется, милостивый государь, что вы называете республиками те орды, которые не заслуживают даже звания общества и в которых вообще не может существовать никакого правительства. Кроме того, то, что вы именуете республиканским строем, с тем же успехом можно назвать монархией. Вы говорите, что маратхи, патаны и сикхи выбирают вождей для грабительских походов; но что мешает называть этих вождей королями? Наконец, чтобы обычаи некоторых народов могли служить указанием на волю самой природы, они должны были бы быть почти повсеместными. Однако разве в Европе, Италии и Греции всем республикам не предшествовали монархии? Вы утверждаете, что в Америке при её завоевании нашли два королевства, но ведь во всей Центральной и Восточной Азии нет ни одной республики. Известно о Тирской республике, но она просуществовала лишь мгновение. В Африке, наряду с упомянутыми вами демократиями, существуют и монархии, и короли...

Вольтер (резко перебивая): Да, и те страны, где есть короли, - это как раз те места, где продают больше всего рабов.

Гоббс. Мы рассмотрим это обвинение вместе с теми, которые вы, без сомнения, выдвинете против королевской власти. Еще одно слово по поводу вашего первого утверждения. Если вы хотите постичь замысел природы, посмотрите на семейный уклад; он-то уж точно является её творением, в то время как всё остальное может быть лишь плодом обстоятельств, заблуждений, варварства и так далее. Разве в семье природа не поставила во главе отца - своего рода короля?

Локк. Я остановлю вас, мой соотечественник. Природа наделила отцов любовью и состраданием к своим детям; наделила ли она ими королей по отношению к своим народам? Ответьте.

Гоббс. А Богом избранный народ, иудеи, какое же правительство дал им Бог? Монархическое; он дал им царей.

Вольтер. Да; Бог сам был их владыкой; и посмотрите, что из этого вышло! Их почти всегда разбивали и обращали в рабство; а разве сегодня вы не находите, что они представляют собой жалкое зрелище? Но не будем говорить об Иудейском царстве, где всё совершалось благодаря чудесам и где ничто не соответствовало законам природы и здравого смысла... Вы, без сомнения, согласитесь, что нужно быть очень искушенным и пройти через множество испытаний, прежде чем подчиниться власти одного человека?

Гоббс. Нет, ведь естественное состояние - это состояние войны, а состояние общества в республике мало чем отличается от естественного. Вы сами где-то сказали: *На земле можно найти лишь очень мало республик: люди редко достойны того, чтобы управлять сами собой (Философский словарь, статьи «Государства», «Правление»)*. Для людей нет ничего более естественного, чем передать свою власть самому мудрому и самому сильному.

Сийес. Господа, мне кажется, вы говорите, не слыша друг друга. Простите, но нам остается рассмотреть еще так много вопросов, что важно беречь ваше время и силы. Я не знаю, что именно вы понимаете здесь под республикой, под монархией, под естественным или противоестественным правлением. Нужно начать с анализа смысла каждого из этих слов. И прежде всего, что вы понимаете под естественным правлением?

(Вольтер пристально и с некоторым удивлением смотрит на Сийеса.)

Сийес. Вы хотите сказать, что та или иная форма правления соответствует законам природы или вдохновлена первыми природными порывами; что она обычно является творением человека, только что вышедшего из рук природы, или отвечает потребностям, присущим человеческой природе? Хотите ли вы поддерживать оба этих утверждения сразу: первое как факт, а второе как следствие? Похоже, что последняя мысль - ваша. Если это так, ваша дискуссия должна строиться на двух пунктах: первый - это вопрос факта; его нужно прояснить с помощью истории и узнать, были ли первые правительства, возникшие у людей, монархическими или республиканскими. Второй - это вопрос теории, который нужно разрешить путем рассуждения; его цель - выяснить, есть ли больше оснований считать первые правительства соответствующими законам природы, чем последующие; более ли склонны варварские народы к разумным поступкам, чем народы просвещенные...

(Вольтер, склоняясь к Бейлю и шепча ему на ухо): Вы знаете этого господина?

Бейль. Нет; если только это не Декарт или Кондильяк. Я сейчас разузнаю. *(Он спрашивает у Локка, у Монтескье, у Руссо. Все делают знак, что не знают Сийеса. Вольтер вопрошает всех взглядом; ему отвечают тем же жестом. Тогда он говорит про себя:)* Ладно! Никто не знает этого человека, а ведь он аббат! *(Вслух.)* О, конечно, господин аббат прав; но, к сожалению, его план завел бы нас слишком далеко. Были написаны тысячи трактатов о *естественном праве (Философский словарь, статья «Естественное публичное право» и т. д.)*; компилировались, компилировались и перекомпилировались тысячи прекрасных комментариев к каждому из этих трактатов; ничто так не способствует формированию ложного, путаного, темного и неопределенного ума, как чтение всех этих трудов.

Перейдем к делу. Если бы на земле было всего два человека, как бы они жили вместе? Они бы помогали друг другу, вредили бы друг другу, ласкали бы друг друга, осыпали бы друг друга оскорблениями, сражались бы, мирились бы, не могли бы жить ни друг без друга, ни друг с другом. Они делали бы то же самое, что делают все люди сегодня. У них есть дар рассуждения, это верно, но у них также есть дар инстинкта; и они будут чувствовать, и они будут рассуждать, и они всегда будут действовать так, как им предназначено природой.

Природа подчинила всех людей силе, вот факт; и все принятые принципы выстроились поверх этого. Убивать запрещено, но убийство, совершенное большой группой или под звуки труб, празднуется с блеском. В стороне Адриатического залива, от Задара до Полезине, или у болот Рейна и Мааса, или у горы Юра, или даже на острове Альбион, или у сарматов, или у скандинавов, если бы кто-нибудь вздумал захотеть сделать одного человека деспотичным или сам претендовал на эту роль, ему бы максимально быстро отрубили голову, и никто об этом даже не помышляет. Если же у кого-то хватит дерзости и безумия пожелать основать или восстановить великое собрание свободных людей на берегах Мансанареса или Пропонтиды, его либо посадят на кол, либо четвертуют. Поэтому об этом рассуждают лишь сумасшедшие. Универсальных законов не существует. (*Там же, стр. 321.*)

Законы в разных странах полностью противоречат друг другу, и тем не менее во всех странах они исполняются. Все прекрасные комментарии, написанные о естественном праве, никогда не вернули ни одного экю тем, кто был разорен войной, эдиктами или чиновниками налогового откупа.

Руссо (тихо Сийесу): Сколько пустой траты времени, чтобы уйти от необходимой дискуссии!

Сийес (тихо Руссо): Он не знает, что сокращать - значит углублять.

Руссо: И вечно он пускается в уловки, когда нужно остановиться на вопросе, который ставит его в тупик!

Вольтер: Но чтобы удовлетворить господина аббата по другим пунктам, поставим вопрос так: *предпочтительнее ли республиканское правление власти короля?* Мы избежим двусмысленности слова «монархия» и распространим значение слова «республиканец» на любое правительство, где нет короля.

Гоббс: Охотно.

Бейль: С удовольствием.

Гельвеций: Мне кажется, на этот вопрос очень легко ответить. Лучшее из правительств - то, при котором народ наиболее счастлив. (*«Об уме»*)

Вольтер: Разве это не то правительство, где подчиняются только законам? (*«Философский словарь», статьи «Государство», «Правление»*)

Монтескье: На этот вопрос нет абсолютного ответа. В большом государстве больше подходит монархия, в малом - республика.

Руссо: Я того же мнения.

Монтескье: Жаркий климат менее пригоден для республиканской свободы, умеренный климат - менее пригоден для рабства.

Руссо: И это мнение я разделяю.

Локк: Следовательно, сначала нужно выяснить, обладают ли правительства лишь относительными достоинствами или же существуют абсолютные условия, без которых власть нелегитимна, не является правительством, а представляет собой состояние анархии или угнетения.

Гоббс, Бейль, Сийес (вместе): Нет сомнений, что любое правительство, каким бы ни было число граждан, ситуация и размер территории, должно гарантировать свободу и собственность.

Локк: Вопрос, следовательно, в том, какая форма правления лучше всего гарантирует свободу и собственность. Когда господин Гельвеций сказал, что лучшая система правления - та, что делает народ самым счастливым, он, несомненно, не пытался решить вопрос о первенстве, а лишь предложил чуть более точную формулировку; ведь у него спросят: а какое именно правительство делает народ самым счастливым? Впрочем, эта формулировка очень расплывчата, так как для категоричного ответа пришлось бы разъяснить, в чем заключается счастье народа. Ответ господина Вольтера, который является лишь новой редакцией проблемы, неточен в том смысле, что недостаточно быть счастливым, подчиняясь только законам; нужно еще, чтобы законы были мягкими и соответствовали разуму.

Бейль: Я принимаю формулировку мудрого Локка, и, раз уж мне позволено высказаться первым по существу вопроса, я начну с обращения к опыту всех времен и народов. Я утверждаю, что короли проявляли меньше тирании, чем народные правительства; и, например, я утверждаю, что тщетно было бы искать в истории Македонии столько примеров тирании, сколько дает нам история Афин. (*Бейль, статья «Перикл»*)

Вольтер: Подозреваю, что Бейль все еще грезит о правительстве Голландии...

Гоббс: А Вольтер, возможно, о правительстве Берлина...

Бейль: Я вижу два столетия Афинской республики, отягощенные преступлениями ее правительства. Кимон, Аристид, Фемистокл, Алкивиад изгнаны из отечества; Фокион и Сократ приговорены к смерти; шесть полководцев-победителей также осуждены на гибель лишь за то, что у них не было времени похоронить своих мертвецов после победы из-за бури.

Вольтер. Эти преступления афинский народ искупил своим покаянием; афинский народ искупил их своими добродетелями. А македонский двор, который превзошел афинян в злодеяниях, не раскаялся в своих грехах и не искупил их.

Разве афинский народ не принес публичную повинную Сократу и Фокиону? Разве он не воздвиг первому храм, а второму - статую? Разве он не просил прощения у тех шести военачальников, столь несправедливо осужденных и казненных? Разве он не заковал в кандалы их главного обвинителя, который лишь чудом избежал народной мести? Афинский народ был настолько же добр, насколько и легкомыслен. В каком деспотическом государстве когда-либо так оплакивали несправедливость поспешных приговоров?

Я утверждаю, что афинский народ искупил свои ошибки; и действительно, афиняне были такими же воинами, как швейцарцы, и такими же учтивыми, какими были парижане в эпоху Людовика XIV. Они преуспели во всех искусствах, требующих таланта и мастерства, подобно флорентийцам времен Медичи. Они были учителями римлян в науках и красноречии, даже во времена самого Цицерона.

Взгляните же, напротив, на ту Македонию, чью добродетель вы противопоставляете афинской: за тот же промежуток времени вы увидите там лишь череду чудовищных преступлений.

Это Птолемей, дядя Александра Великого, убивает своего брата Александра, чтобы захватить трон. Это его брат Филипп проводит жизнь в обмане и грабежах и в итоге гибнет от кинжала Павсания. Олимпиада велит бросить царицу Клеопатру и ее сына в раскаленный медный чан; она убивает Арридея. Антигон убивает Эвмена. Его сын, Антигон Гонат, отравляет коменданта коринфской крепости, женится на его вдове, затем изгоняет ее и сам захватывает цитадель. Филипп, его внук, отравляет Деметрия и оскверняет всю Македонию убийствами. Персей собственноручно убивает жену и отравляет брата. Таким образом, на протяжении двух столетий ярость деспотизма превращает Македонию в арену всевозможных злодеяний, и за весь этот долгий срок там не видно ни талантов, ни добродетелей.

Гоббс. Все факты, которые вы только что привели - это преступления или несчастья отдельных правителей или некоторых честолюбивых вельмож. Это не народные преступления и не народные беды. Нет сомнения, что одним из недостатков абсолютного правления является власть монарха распоряжаться жизнями людей. Читая историю всяких Калигул и Неронов, мы содрогаемся от их жестокости; нам кажется, что мы разделяем с целым римским народом тот ужасный страх, в котором, как мы предполагаем, пребывал каждый гражданин, опасаясь за свою жизнь. Однако и в Македонии, и в Риме - какие именно граждане подвергались жестокости правителя? Знатные люди, честолюбцы, богачи, люди, занимавшие высокие посты; словом, те, кто его окружал. А безвестный плебей, скромный гражданин находились в покое и безопасности за их спинами. И более того, даже из этих заметных людей опасности подвергались лишь те, чья дерзость или нескромность навлекли на них гнев государя. Да и какое дело нации до опалы нескольких придворных, даже до их незаслуженной казни? Народ, вместо того чтобы печалиться об этом, должен лишь аплодировать - как возмездию за те обиды, которые он обычно терпит от высшего сословия, коим наводнен двор тирана.

Посмотрите, напротив, на народное правление. Там может оказаться столько же Неронов, сколько есть ораторов, преданных лести народу. (*«Может быть столько Неронов, сколько есть ораторов, льстящих народу»*). И заметьте, что таких ораторов великое множество, и каждый день появляются всё новые (*«и ежедневно рождаются новые»*), чья власть равна власти всего народа. У каждого из них - своя ненависть, своя жажда мести, которую нужно удовлетворить, соперник, которого нужно унизить, враг, которого нужно уничтожить, и так далее. И, наконец, все они, взаимно поддерживая друг друга в своих преступлениях, объединяются и в сопротивлении карающей силе законов, как если бы они договорились между собой: «Защити меня, если на меня нападут сегодня, иначе завтра нападут на тебя».

Бейль. Я противопоставлю господину Вольтеру все преступления, совершенные в Риме вождями фракций во времена республики. Сколько людей погибло в заговорах Кориолана, Гракхов, Катилины, Цинны, Мария, Суллы, Помпея, Цезаря и триумвиров!

Вольтер. Я вижу, как все эти преступления меркнут перед злодеяниями императоров - Тиберия, Калигул, Неронов и даже императоров, наиболее прославленных историей, таких как Феодосий, прозванный Великим, и Константин. Можно ли сравнить проскрипции Суллы и убийство пяти тысяч пленных, чьи предсмертные стоны доносились до Сената, когда они гибли под ударами диктатора, с участью тех пятнадцати тысяч жителей Фессалоник, которых Феодосий собрал в цирке якобы для присутствия на общественных играх и велел своим солдатам перерезать всех до единого из-за мятежа, который он же сам ранее простил? К тому же Сулла был диктатором, когда осмелился подвергнуть опале стольких римлян. Его преступления следует относить на счет единоличной власти, а не на счет народа.

Руссо (обращаясь к Гоббсу): Какое заблуждение с вашей стороны, сударь, полагать, будто деспотизм тяготеет лишь над высшими чинами государства! Чем был для римского народа произвол преторианской гвардии? Что представляла собой в Египте власть мамлюков, а в Константинополе - власть янычар? Чем для французов и англичан прошлых веков, как и для всех подданных нынешней Германской империи, является власть сеньоров? Чем для современных французов являются губернаторы провинций, интенданты, субделегаты?..

Вольтер (держащий в руках брошюру, которую он открыл, когда Руссо начал говорить, и которого он всё же слушал против воли, прерывает его): Назовите тогда и служащих Генерального откупа. (Он возвращается к чтению).

Руссо: Служащих Откупа. Но не стоит искать деспотизм лишь в должностях - вы видите его повсюду вокруг себя. Посмотрите на богача: кажется, что все законы созданы специально для него (примечание из «Рассуждения о происхождении неравенства между людьми»); посмотрите на человека знатного происхождения: все обычаи унижают перед ним остальных людей... О философ, достойный любить свободу, раз уж вы умеете ненавидеть угнетение, поверьте: деспотизм спускается с вершин государственной власти до самых низов. Он становится тем тяжелее, чем с большей высоты падает. Он проникает вниз через органы власти, которые он ожесточает; он проникает вниз через нравы, которые он развращает. Он одновременно поражает и отравляет всё на своем пути. Когда он воздвигает рядом с собой эшафоты, чтобы срубить несколько гордых голов, он в то же время роет у своих ног рвы, чтобы сбрасывать туда тех безвестных жертв, число которых слишком велико, чтобы их можно было сосчитать.

Вольтер: Я держу в руках памфлет против королевской власти; он наделал много шума в Англии и вызвал дурное расположение духа у господина Питта; автор - Томас Пейн. У этого человека всего одна идея, но он делает её плодотворной. Он не владеет искусством изящного письма, но у него определенно есть к этому талант, причем талант в самых разных стилях. Он подвергает монархию всевозможным пыткам, предает её казням; он обрекает её то на презрение с помощью самой горькой иронии, то на ненависть - либо силой аргументации против её систем, либо поразительными картинами её обыденных проявлений; и, наконец, взывает к негодованию и мести, рисуя ужасающие образы её преступлений и жертв... В этом небольшом сочинении я прочитал... пока говорил сударь (глядя на Руссо), одну великую истину, которая служит победным ответом господину Гоббсу: она состоит в том, что почти все войны, которыми полна история, имели своей причиной лишь страсти королей или их прихоти. Именно ради них опустошались целые страны, вырезались миллионы людей, угнетались народы даже в периоды долгого мира. Разве не короли отдавали приказы о Варфоломеевской ночи, об ирландской резне, о Сицилийской вечерне? Разве не они учредили инквизицию, не они ссылали на галеры за то, что человек набрал морской воды, не заплатив за неё? В любой республике, несомненно, будет совершено множество ошибок, потому что она состоит из людей; в ней будет царить раздор, как в каком-нибудь монастыре; но там никогда не увидят ничего подобного тем мерзостям, о которых я только что напомнил - разве что вообразить республику, состоящую из демонов в каком-нибудь уголке ада.

Бейль: Господин Вольтер и Руссо, как мне кажется, опровергли первое положение господина Гоббса; они вернули королевской власти все те основания для ненависти, которые ей по праву принадлежат. Но они не доказали, что при народном правлении общественные бедствия не будут еще более тяжкими и постоянными. Господин Вольтер признает, что там будет царить раздор, но видит в нем лишь споры, подобные тем, что случаются в монашеских обителях; он полагает, что удары там наносятся лишь по главам правителей, он рассматривал в Афинах лишь бедствия Кимона, Аристида, Сократа и других. Во-первых, изгнание или смерть подобных людей представляют собой совсем иной интерес, нежели дрязги, затеянные главой ордена бернардинцев против господина приора. Во-вторых, господин де Вольтер заблуждается относительно народного правления так же, как господин Гоббс - относительно правления королевского. И если неверно утверждение, будто при королях трепетать должны одни лишь вельможи, то столь же неверно и то, что при власти народа в страхе живут только знатные

люди. Греческие республики находились в состоянии непрерывной войны друг с другом. То Пелопоннес воевал против материковой части, то Пелопоннес и материк - против колоний в Малой Азии или Великой Греции; то эти колонии враждовали между собой, а государства Пелопоннеса - друг с другом. В иное время вы видите, как все греческие государства объединяются против Лакедемона и Афин, а затем Афины и Лакедемон начинают истреблять друг друга. В этих войнах участвовали все граждане без исключения.

В Лакедемоне вы видите двух правителей под титулом царей, которые вечно враждуют друг с другом, а народ принимает сторону то одного, то другого. В Афинах раздоры случались не только между Мильтиадом и Фемистоклом, Фемистоклом и Аристидом, Кимоном и Периклом, Периклом и Фукидидом, Клеоном и Критием, Критием и Тераменом, Тераменом и Сократом, Алкивиадом и Никием, Демосфеном и Фокионом и так далее; все Афины были разделены между этими людьми, и граждане пребывали в состоянии настоящей гражданской войны. Эта война не всегда была кровопролитной, но случалось это часто. Каково было состояние Рима при республике? По правде говоря, с момента упразднения царской власти и до времен Гракхов мы видим лишь войны да ораторские поединки на трибунах; но от Гракхов до Мария площади не раз окроплялись кровью граждан; а от Мария до Августа вся Италия - что я говорю? - весь мир был окрашен римской кровью, пролитой самими же римлянами.

Насколько же это сравнение говорит в пользу монархического правления! По крайней мере, в войнах, которые тираны ведут против своих народов, многие граждане могут уклониться от тирании, налагая на себя определенную сдержанность и принимая некоторые лишения, благодаря которым человек становится, так сказать, невидимым. Но в республиканском государстве никто не может остаться в стороне от ярости партий; нейтралитет там сопряжен с бóльшими опасностями, чем даже выбор самой слабой стороны.

Гоббс. Даже если бы я признал преимущество демократии в вопросах личной безопасности, то есть свободы, у меня остался бы веский аргумент при рассмотрении вопроса со стороны собственности. Я полагаю, что она находится в большей безопасности под властью одного человека, нежели под властью всех. Я готов признать: одним из неудобств, присущих верховной власти одного лица, является его право не только взимать налоги, необходимые для государственных нужд - то есть для оплаты труда чиновников, возведения и содержания крепостей, ведения войны и достойного содержания своего двора, - но и собирать средства по прихоти, чтобы обогащать своих детей, родственников, фаворитов и льстецов. Нужно признать, что это большое зло, но оно относится к числу тех, что встречаются при любом виде правления и которые, впрочем, более терпимы в монархии, нежели в демократии. Действительно, ставленников, которых монарху угодно обогатить, немного, ибо это люди одного-единственного человека. Но в демократии, сколько насчитывается демагогов - то есть ораторов, пользующихся доверием народа (а их всегда несколько одновременно, и каждый день появляются новые), - столько же находится и людей, которым нужно обогащать детей, родственников, друзей и льстецов. Каждый из них желает не только наделить свою семью властью и весом через обогащение, но и привлечь на свою сторону чужеземцев щедрыми дарами, чтобы создать себе партию. Монарх может, не залезая в карман граждан, в значительной степени удовлетворить амбиции своих друзей и министров, коих немного: ему достаточно наделить их гражданскими и военными должностями, которыми он распоряжается. Но в демократии неизбежно приходится притеснять граждан, чтобы утолить жадность стольких людей, требующих всего одновременно, и многих других, сменяющих друг друга без перерыва. Монарх не часто пользуется властью возвышать людей, которые этого не достойны; ораторы в условиях демократии, как считается, всегда поступают наоборот, поскольку таков их интерес. Щепетильность немногих настолько пошла бы на пользу власти тех, у кого её нет, что она стала бы грозной не только для первых, но и для всего общества. (Гл. X книги «О гражданине»). Впрочем, господин Вольтер забыл, что конфискации были введены в Риме Суллой и отменены Августом; и всё же он сам отмечал это в одном из своих сочинений.

Руссо. Не знаю, если составить точный отчет о королевских грабежах и грабежах народных, не окажется ли, что вторые уступают первым. Господин Гоббс видит злоупотребления

господствующей власти только вокруг престола и на вершине правящей верхушки. Если бы при абсолютной власти речь шла лишь о том, чтобы обогащать фаворитов государя, как он полагает, зло не было бы столь пугающим, особенно для богатой и обширной империи. Но, как я уже замечал, всё, что государь делает ради знати или против неё, знать делает по отношению к своим подчиненным, а те - по отношению к тем, кого судьба поставила еще ниже. Точно так же, как в развращенной демократии каждый влиятельный человек думает о том, чтобы обогатить себя и своих друзей, так и при деспотизме каждый стремится обогатить себя и своих нижестоящих. В развращенной демократии сильные мира сего берут справа, чтобы дать слева; при деспотизме каждый берет у тех, кто ниже него, чтобы передать тем, кто выше, а затем берет у тех, кто выше, чтобы отдать тем, кто ниже. Вот и вся разница.

Что касается последствий, то они, возможно, более печальны при «всасывающем насосе» деспотизма, чем при шумных ударах демагогии. Заметьте, что король распределяет свои милости двумя способами: сначала он раздает деньги, которые украл или вымогал, а затем - и это самое страшное - он дает разрешение грабить самостоятельно. Он эксплуатирует одну часть состояния граждан и отдает другую часть на растерзание остальным. Если он хочет наделить вельможу доходом в 100 000 ливров, он назначает ему половину из государственной казны, а вторую половину - в виде прав на поборы под разными названиями. Это избавляет государя от ненавистной необходимости самому воровать всё то, что он хочет подарить. Знать, в свою очередь, по той же причине грабит простых людей своими руками как можно меньше; они передают право на грабёж другим, которые платят за аренду этого ужасного «откупа», а те пересдают его третьим. В итоге именно низшие агенты несут на себе основной груз беззаконий. И здесь проявлена такая ловкость, что самих бедняков заставляют сталкиваться друг с другом исключительно ради выгоды богачей. Посмотрите на систему старых французских налогов: она была полностью основана на этой прекрасной теории. Знать объединялась с откупщиками на правах пайщиков; таким образом, притеснения последних находились под защитой первых. Знать предоставляла огромные жалованья длинной череде подчиненных, и эти жалованья были пропорциональны их сборам. Наконец, прямой сбор налогов и надзор за ним осуществляли люди из простонародья, которых выделяли среди прочих привилегиями, словно они и так не были достаточно отделены от остальных своими гнусными обязанностями. Этот сбор, почти всегда сопряженный с произволом, всегда разорительный для тех, кто пытался от него уклониться, всегда обременительный и лишающий мужества, наносил еще больший ущерб препятствиями, которые он создавал для воспроизводства богатств, чем той жадностью, с которой он захватывал часть уже нажитого имущества.

Бейль. Не знаю, были ли злоупотребления прежней французской системы налогообложения - те злоупотребления, которые имели по крайней мере то преимущество, что распределялись по всей собственности или по большому числу владельцев с некоторой долей пропорциональности, и которые отнимали лишь часть ежегодных доходов граждан - столь же катастрофичными и оскорбительными для собственности, как народные злоупотребления. Последние, насильственно вырывая целые владения и оставляя другие нетронутыми, заставляют каждого гражданина дрожать за свое достояние, делают его, так сказать, чужим в собственном наследии и заставляют почти отказаться от него.

Руссо. То есть в первом случае мы имеем дело с гарантированной мелкой кражей, повторяющейся изо дня в день, а во втором - рискуем быть ограбленными на всё состояние, что, впрочем, вполне может и не случиться. Мне кажется что зло было бы одинаковым, если бы оно уравновешивалось таким образом. Но добавьте к первому случаю то, что часто, помимо ежедневного грабежа части дохода, человек терпит полную потерю своего состояния в несправедливом судебном процессе, и что рядом с откупщиком он рискует тем же, чем и рядом с демагогом.

Впрочем, когда я приводил монархические налоги или поборы в качестве примера посягательств, которые принцы позволяют себе в отношении собственности, я не имел в виду, что их посягательства ограничиваются только этим средством.

Посмотрите на права, связанные с управлением провинциями, на интендантства, на субделегации, на палаты фискального правосудия.

Взгляните на права, привязанные к определенным титулам, посмотрите на феодализм во всей его полноте.

Посмотрите, наконец, на покровительство, оказываемое состоятельному человеку перед бедняком, богачу перед состоятельным, влиятельному лицу перед богачом; это покровительство проявляется везде и во всем: в суде, в администрации; в вопросах собственности и личных выгод; в тяжбах между частными лицами, в борьбе за прибыль, в оправданиях, законных неявках, освобождениях от повинностей; это покровительство, которое так дорого обходится бедняку, независимо от того, ощущает ли он на себе всю его несправедливость или же откупается от него жертвами!

Добавьте все эти беды к тем, что порождаются системой угнетающих налогов, и сравните их сумму с теми, что возникают из-за некоторых народных заблуждений; и вопрос для вас будет решен.

Бейль. Господин Вольтер утверждает, что народ Афин искупил свои ошибки блеском своих добродетелей и талантов; он сравнивает его с монархическими народами в их лучшие времена и находит, что он с ними сравнялся. Я замечу, что из этого сближения нельзя сделать никаких выводов. Я могу, по сути, обратить все его фразы против него самого и использовать их для монархии так же, как он использовал их для демократии. Я скажу: солдаты короля Пруссии были так же храбры, как и афинские. Парижане при Людовике XIV были не менее вежливы, чем афиняне времен Перикла. Флорентийцы времен Медичи преуспели так же, как и они, во всех искусствах, требующих таланта и мастерства, а век Цицерона был не менее прославлен науками и красноречием, чем век Демосфена.

Руссо. Свободе и собственности угрожают не только внутренние беспорядки в государстве; им также приходится опасаться внешних врагов. При этом несомненно, что республики обладают большей силой соразмерно своей площади, чем правление одного человека; следовательно, они более способны к сопротивлению. В республике сражаются все, и каждый, сражаясь за свои личные интересы, делает это с крайним рвением; в то время как в монархии, где речь всегда идет об интересах государя, лишь часть народа берется за оружие против внешних врагов, и их рвение не столь постоянно и не столь пылко.

Гоббс. Я признаю эту истину. Но республики могут быть лишь очень небольшого размера, в то время как монархические государства могут охватывать огромные страны, богатые ресурсами любого рода.

И, как сказал господин Вольтер, счастье управлять самим собой должно принадлежать только малым народам, которые прячутся на островах или среди гор, подобно кроликам, скрывающимся от хищников; но в конце концов их обнаруживают и съедают. (*Философский словарь, статьи «Государство», «Правление».*)

Руссо. Малые республики могут объединяться в союзы и собирать воедино все средства, необходимые для противостояния великим державам. Малые государства, великие федерации - вот истинная система свободы.

Гоббс. Но для того чтобы малые республики могли объединиться в конфедерацию, они должны быть расположены рядом друг с другом, и их должно быть много. Таким образом, эта теория бесполезна для всех малых свободных государств, окруженных деспотическими империями. Кроме того, достаточно ли федерации, чтобы объединить несколько народов и дать им большую силу сопротивления? Разве федерация швейцарцев или голландцев не скреплена особым образом физическими условиями их территории? И можно ли заменить эту естественную связь каким-либо искусственным федеративным механизмом? Ведь если вы установите для конфедерации центральную власть, обладающую огромной силой и правом принуждения, берегитесь, как бы не была бы по сути королевской властью, называйся она хоть статхаудератом, президентством, протекторатом и так далее. Президентство в американском Конгрессе - это настоящая монархия.

Вольтер. Настоящий изъян цивилизованной республики описан в турецкой басне о Драконе со множеством голов и Драконе со множеством хвостов. Множество голов мешают друг другу, а множество хвостов подчиняется одной-единственной голове, которая хочет сожрать всё вокруг.

Здесь в споре возникает некоторое замешательство.

Гоббс. Правитель всегда готов и желать, и действовать. Народу же нужно собраться, обсудить, принять решение - отсюда и медлительность.

Руссо. Правитель не может ни желать, ни действовать в одиночку; он всегда нуждается в совете.

Гоббс. Единство действий и воли делает исполнительную власть в монархии более энергичной.

Руссо. Мудрость обсуждения делает исполнение в республике более легким.

Гоббс. Совещания монарха тайные, совещания народа - публичные.

Руссо. Совещания народа именно поэтому более убедительны и справедливы.

Гоббс. Народные ораторы могут склонить людей к ложным решениям.

Руссо. Ораторы королей приносят народам лишь беды.

Монтескье. Господа, прежде чем продолжать, скажите мне, надеетесь ли вы прийти к какому-либо результату тем путем, который выбрали?

В этом вопросе совершенно необходимо проводить различия. Вы всё путаете. Одни приписывают монархии дела деспотизма, другие приписывают королевской власти преступления тирании и угнетения. В монархии правит один человек, это верно, но он следует фундаментальным законам, которые являются творением народа и не могут быть ему враждебны. При деспотизме же один человек, без правил и преград, распоряжается всем согласно своим капризам и желаниям. С другой стороны, те, кто нападает на правление многих, путают аристократию и демократию; они также путают демократию, основанную на нравственности, с демократией развращенной, смешивая злоупотребления с самой сутью вещей. Как можно делать выводы из сравнения, где под двумя названиями смешиваются столь разные, столь отличные и столь многочисленные понятия?

Вольтер. Господа, вопрос, которым мы занимаемся, обсуждается ежедневно; приводятся все различия, предложенные автором «О духе законов» или «Духа законов» и многими другими; и спор всегда заканчивается признанием того, что управлять людьми крайне сложно. Несмотря на три или четыре тысячи томов о правлении, которые у нас есть; несмотря на «Государя» Макиавелли и «Политику, извлеченную из слов Священного Писания» Боссюэ; несмотря на «Гражданина-финансиста», «Руководство по финансам», «Способ обогащения государства» и прочее, мы всё еще не знаем искусства управления людьми. Существуют очень правильные и совершенные в своем роде геометрические фигуры; арифметика совершенна; многие ремесла выполняются неизменно и хорошо; но может ли управление людьми когда-либо быть хорошим, если все системы основаны на борющихся страстях? Цинна говорит Августу у Корнеля:

«Худшее из государств - это власть народная»;

но Максим утверждает, что

«Худшее из государств - это власть монархическая».

Один швейцарец, один голландец, венецианский дворянин, английский пэр, кардинал и граф Империи однажды во время путешествия спорили о преимуществах своих правительств; никто ни с кем не согласился, каждый остался при своем мнении, не имея в нем полной уверенности, и они разошлись по домам, восхваляя свою родину из тщеславия и жалуясь на нее по привычке.

Находясь в уединении, я последовательно видел людей всех наций; я конфиденциально спрашивал их, под чьим правлением они хотели бы жить. Их ответы сводятся к одному:

«Где угодно, только не у себя».

Господа, я очень боюсь, что ваша беседа также сведется к этим немногим словам, в которых мало смысла. Я призываю вас закончить спор, который невозможно прояснить.

Сийес. Нет, господа, нет, невозможно не найти точного решения вопроса, который вас занимал; и просвещенным людям, друзьям истины, не подобает так быстро сомневаться в силе своей логики в деле, которое охватывает все интересы человечества. Давайте проанализируем наш вопрос, и он перестанет казаться нам таким туманным.

Господин Монтескье очень верно заметил, что необходимо проводить различие между монархией и деспотизмом, между демократией и аристократией; однако предстоит сделать еще множество других подразделений. Томас Пейн однажды написал мне, что он отвергает «ад монархий». Я ответил ему: *«Я тоже; но ад республик мне нравится ничуть не больше».*

Я не принимаю деление, которое Монтескье проводит между испорченной демократией и демократией здоровой; ведь мы увидим, что один из элементарных вопросов заключается в том, не заложен ли в самой демократии принцип неизбежного разложения и не является ли это одним из ее бедствий. Зато я принимаю разделение на демократию и охлократию, на демократию в большом государстве и в малом. Я провожу различие между наследственной монархией и монархией временной, между аристократией наследственной и представительной. Разница между ветвями каждого из этих подразделений столь же велика, как и между ветвями основных делений.

Но начинать анализ темы нужно вовсе не с этого. Давайте сначала определим, что именно мы хотим выяснить, и сформулируем главный вопрос. Мы хотим знать, *какая форма правления способна сделать людей наиболее счастливыми.* Здесь необходимо отдельно рассмотреть две вещи, каждая из которых может стать предметом сомнений и неопределенности: цель и средства.

Предполагаемая цель - это счастье людей; но в чем именно заключается счастье, которое общественное состояние может обеспечить человеку? В полном обладании естественными правами. В чем заключаются эти права? В свободе и собственности. Таким образом, наша первоочередная задача - выяснить, *какая форма правления лучше всего сохраняет и гарантирует свободу и собственность.*

Перейдем к средствам. Что имеется в виду, когда обсуждается вопрос о том, *какая форма правления лучше всего сохраняет эти преимущества?*

1. Говорим ли мы только об известных формах правления? Или же мы допускаем предложение новых? Если речь идет только об уже существующих правительствах и если в результате исследований выяснится, что ни одно из них не способно сделать людей счастливыми, то какой вывод можно сделать из дискуссии, кроме того, что среди известных форм правления есть *одна, которая менее плоха, чем остальные?* Но разве это полезный результат? Нет, потому что разумно мириться с плохим правительством можно лишь до тех пор, пока признано невозможным создать хорошее; и нет никакой уверенности в том, что хорошее создать нельзя, пока мы не изучили новые комбинации, которые может подсказать логика, а ограничились лишь сравнением тех примеров, которые сохранили свидетельства древности или которые современная история представляет нашим глазам.

Таким образом, *средства*, поиск которых подразумевает данный вопрос, не ограничиваются лишь теми, что применяются на практике, но распространяются на все те, которые только можно вообразить.

2. Изучение известных и применяемых средств требует их точного анализа: необходимо, чтобы все формы правления, о которых пойдет речь, различались по четким признакам. Ни одна из них не похожа на другую. Обстоятельство, совершенно незначительное для невнимательного или малосведущего взгляда, приводит к важнейшим последствиям в результатах. Недостаточно, как я уже говорил, сравнивать *правление одного человека с правлением многих*; нужно сравнить между собой все виды правления одного человека; все виды правления многих; а затем каждое из первых с каждым из вторых.

3. Необходимо изучить условия гарантии, чтобы понять, какой из известных или воображаемых способов правления наиболее близок к совершенству. Сохранение и обеспечение свободы и собственности - это слова, смысл которых также нуждается в анализе. Существует гарантия непосредственная и гарантия отдаленная. Нужно также выделить все обстоятельства, необходимые для обеспечения гарантии, такие как стабильность, сила, нравственность и так далее.

Словом, необходимо иметь возможность свести вопрос к следующей программе:

Являются ли свобода и собственность целью правительств или нет. Должно ли создание правительства служить гарантией или нет. Если оно должно быть гарантией, то не обязано ли оно соответствовать определенным условиям.

Каковы различные формы известных существующих или лишь намеченных правительств.

Выполняют ли существующие формы условия, признанные необходимыми.

Если они их не выполняют, то каким образом предложенные формы могли бы в этом преуспеть.

Если в этой области не осмеливаются пробовать ничего нового, то какое из известных правительств меньше всего отклоняется от этих условий.

Вот, я полагаю, как нужно действовать, чтобы прийти к согласию.

Вольтер: «Господин прав. Судя по его платью, я боялся излишней тонкости, а увидел глубокий анализ. В другой день мы сможем встретиться снова и окончательно разрешить наш спор».

(Журнал общественной экономики, 20 прериаля V года - 8 июня 1797 г.)

Политические сочинения Дж. Гаррингтона, содержащее «Республику Океания», афоризмы и другие трактаты того же автора

с предпосланным жизнеописанием, написанным Джоном Толандом.

«Океания», самое важное произведение в этом сборнике, представляет собой проект республики, который Гаррингтон составил по просьбе нескольких лиц, чтобы заставить Кромвеля дать Англии то правительство, которое тот давно обещал. *«Автор,* - говорит Монтескье, - *исследовал в этом труде, какой была высшая точка свободы, которой могла бы достичь конституция государства»*. Это была довольно сложная проблема, и для её решения требовался высокий полет таланта; сто лет назад, я не скажу, что её могли решить, но хотя бы могли поставить.

Г-н Адамс, этот друг свободы, мудрый защитник американских конституций, часто цитирует Гаррингтона как авторитетный источник, заслуживающий уважения; и действительно, многие из этих политических идей, подтвержденные рассуждениями, получили также одобрение опытом. Именно у Гаррингтона Соединенные Штаты Америки вывели этот принцип, который, впрочем, не является самым справедливым из тех, коим они следовали, а именно: степень власти должна быть пропорциональна степени богатства.

Переводчик, чей ум кажется столь же знакомым с высшими идеями политики, сколь его перо искусно в искусстве письма, замечает, что система «Океании» для законотворчества - это почти то же самое, что предложил Конвенту наш самый глубокий законодатель. Чтобы установить ее, отмечает этот переводчик, обсуждение и создание законов должно происходить в одном из двух мест: либо в святилище храма, либо на подмостках театра. Ораторы, политические актеры и шарлатаны неизменно предпочитают театр...

Досадно, что перевод Гаррингтона не появился тремя месяцами ранее; возможно, истины, высказанные покойным иностранцем, были бы приняты охотнее, чем те, что было бы слишком тягостно слышать от живого гражданина.

Но оставим эти удручающие мысли. Сохраним для изучения и уединенного раздумья предлагаемые нам наставления; и, как граждане, объединимся вокруг предложенной нам Конституции, примем ее с пылом, восполним то, чего ей, возможно, не хватает в силе, нашим рвением к общественному благу; преодолеем трудности первых времен, будем шагать и двигаться вперед сообща; привычка - эта сила, слишком мало замечаемая политиками, - привычка сделает все остальное.

(Journal de Paris, 15 фруктидора III года. - 1 сентября 1795 г.)

О настроениях в обществе

Чтобы дать верное представление о состоянии умов в Париже, необходимо, по-видимому, различать три вещи: общее чувство, общественное мнение и народный дух.[66] Без этого разграничения мы рискуем путано рассуждать о совершенно разных вещах; чтобы понимать друг друга, не стоит пренебрегать хотя бы кратким анализом.

На мой взгляд, преобладающим настроением сейчас является интерес к личным делам, а также усталость, отвращение и презрение к делам государственным. Мне кажется, что общественное мнение как таковое полностью отсутствует.

Народный дух мертв.

Я сужу об общем настроении: 1) по наличию причин, которые должны его определять; 2) по занятиям народа; 3) по его разговорам; 4) по его развлечениям.

Вот обстоятельства, которые, как мне кажется, определяют нынешнее состояние умов. 1. Наблюдается изобилие продовольствия, а значит, у народа нет причин пристально следить за действиями правительства. 2. Народные общества упразднены, и больше нет ничего, что вовлекало бы воображение людей в государственные дела. 3. Народ больше не страдает от долгов: государственное банкротство по ассигнатам фактически привело к аннулированию задолженностей; следовательно, у людей нет причин желать свержения законов. 4. С одной стороны, возникла повсеместная потребность в рабочих руках для ремонта и поддержания в порядке мебели и домов, заброшенных в течение последних пяти лет; с другой стороны, существует общая и абсолютная нужда в работе, чтобы заработать на хлеб насущный. Я говорю «общая и абсолютная», потому что кредитов больше нет, а рента исчезла для доброй половины тех, кто ею жил. Поскольку сегодня нет иного надежного средства к существованию, кроме заработка, все поголовно принялись за труд. 5. Рабочих рук для выполнения всех задач по-прежнему не хватает, поэтому труд оплачивается высоко, что делает его еще более привлекательным. 6. Никто больше не стыдится работать, ибо нищета теперь в почете, а богатство, напротив, вызывает как минимум подозрительное отношение; отсюда и рвение в труде. 7. Заработная плата выплачивается в твердой и фиксированной валюте, и это благо, которое особенно приятно ощутить после шести лет неопределенности в стоимости всего, что получали за свой труд и усердие. Это также служит стимулом для отца семейства, который отныне может копить, не опасаясь, что плоды его пота обесценятся в кармане, и который, наконец, получает возможность восстановить утраченное состояние.

Вот, как мне кажется, достаточно действенные и очевидные причины возврата к личным интересам, делающие весьма вероятным тот факт, что каждый к ним действительно вернулся.

---

[66] Не могли бы учёные, имеющие доступ к архивам наших исторических памятников, проверить, не был ли наш баснописец, которого также звали Жан де Лафонтен, потомком того, кто так почётно упоминается в событиях 1436 года?

Но обратимся к фактам. Расспросите строительных подрядчиков, промышленников, мастеров; они скажут вам, что рабочие сейчас редки и дороги, но исполнительны. Никогда еще их не видели столь усердными в мастерских. Никогда прежде не было такого множества людей, занятых новыми предприятиями. Тот, на кого раньше работали тысячи людей, теперь трудится сам; тот, кто раньше постоянно покупал, теперь продает; тот, кого раньше снабжало государство, теперь сам снабжает государство или даже простых граждан.

Понаблюдайте за людьми, которые по воскресеньям заполняют кафе, кабачки, театры и бульвары; это рабочие, которые отдыхают на заработанные деньги, а не бедолаги, пытающиеся забыться в своей нищете, и не преступники, проматывающие награбленное.

Наконец, прислушайтесь к их разговорам - будь то во время отдыха или работы; вы не услышите ни слова о государственных делах. С тех пор как ораторы перестали обещать одним грабежи, а другим - власть и почести, государственные дела для этих невежественных и грубых умов стали не более чем «метафизикой» или, вернее, пустыми звуками без смысла и цели.

Мы не игнорируем и не забываем о том, что в Париже живет слишком много немощных рантье, кредиторов, жен эмигрантов и детей осужденных, доведенных до самой прискорбной нищеты. Но наша цель здесь - говорить о том, что заметно глазу, а не обо всём, что существует; отмечать то, что проявляется в общем облике общества, а не то, что скрыто в уединении и поглощено тайным горем. Ах! Безусловно, долг писателей, чьи труды находят общественное признание и вознаграждаются им, состоит в том, чтобы неустанно указывать власти на беды, которые необходимо исправить, на страдания, которым нужно положить конец, и заступаться за всех жертв Революции. Об этом дорогом и священном долге мы помним всегда и работаем, более или менее прямо, над его исполнением. Но когда мы берем на себя роль наблюдателя и пишем для историка, мы обязаны говорить правду. И разве не является ярчайшей чертой нынешнего времени это безразличие, отречение и глубокое забвение участи несчастных посреди бурной деятельности всех частных интересов? Они похоронили себя в своей нищете, устав от того, что их слышат, но не слушают; если кто-то из них и позволяет себя увидеть, то не осмеливается говорить о своем положении.

Большинство умирает от истощения, голода и боли, и об этом ничего не говорят; другие кончают с собой, и об этом тоже молчат. Такое равнодушие к чужому горю в народе, который сам так много страдал, служит доказательством того, что несчастья ожесточают заурядные души, и что кровавая тирания разрушает моральный облик угнетенных наций не меньше, чем все остальные их интересы.

Мы уже упоминали об отсутствии общественного мнения; и в самом деле, кто мог бы сказать нам, какой предмет занимает общее внимание, к чему оно приковано уже долгое время? Мы судим об этом отсутствии по нескольким признакам: 1) книги совершенно не продаются; 2) нет ни одной влиятельной газеты; 3) нет театральных постановок, выражающих взгляды какой-либо партии; 4) нет объединений, формирующих партию; 5) нет разговоров - ни в общественных местах, ни в частных кругах, - у которых была бы общая цель. Одной этой последней детали достаточно, чтобы заменить все остальные. Нет ни темы для общих разговоров, ни книг, которыми люди занимались бы в уединении. Нам кажется, что эти два факта наглядно подтверждают инертность умов и отсутствие общественного мнения.

Мы беремся утверждать: если в обществе - то есть в кругу людей обеспеченных, имеющих досуг и образование - и заходит речь о государственных делах, то можно быть уверенным, что там присутствует иностранец или провинциал. Мода исключила политические вопросы из разговоров как нечто неприличное. Можно подумать, что в Париже французами остались одни лишь иностранцы. В сущности же, поскольку главной и важной новостью нынешнего момента является возвращение экю, которые перекочевывают из одного кармана в другой, мысли всех людей сосредоточены на каких-то грязных и корыстных планах, а речи, звучащие повсюду, - это слова, лишенные идей, или новости, которые слушают и пересказывают без малейшего интереса.

Чтобы разговоры парижан стали самыми ничтожными среди всех стран и эпох, им не хватает лишь того, чтобы они вращались вокруг мыслей, на самом деле занимающих их умы.

Если бы речь каждого была верным отражением его помыслов, мы слышали бы только об одном: о том, каким способом человек вчера добыл себе экю, необходимый для сегодняшнего обеда.

Что касается пренебрежения к книгам, об этом вам могут поведать книготорговцы; впрочем, даже если они промолчат, их отчаяние станет лучшим свидетельством. Возможно, мы ошибаемся, но нам кажется, что упадок книготорговли - верный признак упадка умов. Когда народ, владеющий искусством печати на протяжении четырех столетий и накопивший огромные богатства во всех областях знаний, перестает читать - это значит, что он перестает мыслить. И правда, кто не видит, что умы закрылись для любых общих идей и испытывают отвращение к любым принципам морали и политики? Столько преступлений было совершено во имя философии вслед за теми, что совершались во имя религии, столько страданий сопровождало провозглашение их принципов, что, возможно, инстинкт, заставляющий избегать мучительных воспоминаний, отторгает и идеи, способные их вызвать. Ужас перед прошлыми событиями влечет за собой забвение идей, которые были с ними связаны. Возможно также, что даже самые незыблемые истины, будучи дискредитированы невежеством или злодеяниями, стали подозрительными; а умы, столько раз обманутые, вооружились всеобщим скептицизмом. Быть может, люди больше не желают заниматься принципами потому, что они были открыты или проповедовались кем-то, и после того, как стали игрушкой в руках стольких шарлатанов и стольких лицемеров, что больше не хочется никому доверять. Да, после определенных разочарований вполне возможно, что человек откажется от всякой философии, ведь для этого пришлось бы поверить философу; откажется от любых доказательств, ведь пришлось бы поверить тому, кто их приводит. Возможно, в конце концов, люди начинают избегать книг, видя в них опасные источники, из которых можно почерпнуть законные надежды, оборачивающиеся лишь обманом. О, как понятен этот последний мотив! Я давно убежден, что правительство, обладающее большой физической и политической силой, способно уничтожить прессу без всяких запретов, без угнетения и даже без противодействия. Ему достаточно лишь четко продемонстрировать писателям своими речами и, прежде всего, делами следующую волю: *«Будьте уверены, что всё доброе, мудрое и великое, что уже написано или будет написано, мы делать не станем»*. При таком правительстве писать было бы больше чем безумием - это было бы преступлением, а думать - больше чем бесполезной тратой сил, это стало бы опасным злодеянием.

Исходя из вышесказанного, нам нет нужды доказывать, что в Париже полностью отсутствует общественный дух. Общественный дух - это мнение, подогретое и готовое к действию. Там, где чувства каждого сосредоточены лишь на личных интересах, где общественное мнение не опирается ни на какое общее благо, не может быть и готовности к каким-либо действиям ради общественной пользы. Известия о триумфах Бонапарта принимались без восторга; о поражении Журдана и отступлении Моро узнавали без содрогания.

Возможно, даже хорошо, что Париж лишь слабо одушевлен единым порывом, каков бы ни был его характер. Столь огромная масса людей никогда не может отдаваться страстям без опасности. В таком городе собрано слишком много горючего материала; пожар здесь вспыхивает слишком быстро и распространяется слишком губительно, чтобы этот жар не стал роковым. Теплохладность и даже полное безразличие кажутся состоянием, которое более всего подходит правительству для поддержания здесь порядка. Если это так, то нынешний настрой Парижа следует тщательно сохранять - не как самый достойный из тех, что могли бы вдохновлять этот город, но как наиболее соответствующий его печальной участи. Как бы то ни было, его жители представляют собой лишь выродившийся, опустившийся народ, лишенный прежнего изящества и неспособный к новым добродетелям. Они стали алчными, не сделавшись при этом ни бережливее, ни добродетельнее; они действуют, не становясь трудолюбивее; они печальны, но в них нет глубины; серьезны, но в них нет достоинства. Они всегда остаются жалкой игрушкой моды, они всегда недостойны нравственных уз. Они постоянно говорят, не имея идей, вечно повторяют слова без убеждений и принципов. Они всегда выглядят смешными в глазах человека разумного и презренными в глазах человека порядочного.

(Journal d'Économie publique, 30 вандемьера V года - 21 октября 1796 г.)

О постепенных выборах

В нашем предыдущем номере мы представили постепенные выборы как средство обеспечения республиканского строя во Франции и как способ общественного спасения, в котором нынешние обстоятельства создали особую необходимость. Читателю, возможно, будет приятно найти здесь то, что говорил по этому поводу Мирабо в Учредительном собрании. Мы приводим этот **отрывок из книги «Дух Мирабо»** - систематического собрания основных мнений этого оратора в двух томах. Это система его идей. Книга вышла в издательстве Бюиссона.

«Если бы мы не установили равенство как фундаментальный закон, можно было бы сказать, что начинать карьеру общественных дел с низших комиссий противоречит предрассудкам некоторых лиц. Но поскольку мы сделали это равенство законом, нам важно, чтобы оно прослеживалось во всей Конституции, чтобы оно стало ее незыблемым принципом и чтобы вследствие наших политических институтов нравы, привычки и чувства соответствовали законам так же, как законы соответствуют образцу разума и природе вещей. Если мы пренебрежем секретами этого соответствия, если мы не приведем человека в гармонию с законами, мы создадим не Конституцию, а лишь прекрасный философский сон. Основные правила хорошего правления познать легко; но связать эти правила с их исполнением так тесно, чтобы послушание закону вытекало из самого закона, чтобы граждане были прикованы всеми своими привычками к игу закона - это значит выйти за пределы философа - значит достичь цели законодателя.

Разве сама природа не указывает нам на путь постепенного развития во всех своих действиях, человеческий разум - во всех своих процессах, а опыт - во всех своих результатах? Разве не к такому пути хотел приучить нас вечный Творец всего сущего? Политика - это наука, управление - это и наука, и искусство; правительство охватывает всё великое, что есть в человечестве; наука, определяющая судьбу государств, является второй религией по своей значимости и глубине.

Неужели самое сложное из искусств должно стать единственным, которое вовсе не нужно изучать? Неужели мы будем смотреть на него как на азартную игру, которой нельзя научиться, потому что она зависит от сочетаний, выходящих за рамки нашего понимания? Стали бы мы рассуждать о политике иначе, чем о любом другом предмете в жизни?

Если опыт формируется лишь постепенно, если он расширяет свою сферу мало-помалу, если естественный путь развития состоит в постепенном переходе от простого к сложному, то природа и разум требуют, чтобы человек сначала проходил через простейшие административные функции, прежде чем приступать к самым сложным; чтобы он изучал законы в их действии и последствиях, прежде чем получить право реформировать их и диктовать новые; чтобы он, наконец, прошел своего рода испытание, отсеивающее неспособность или коррупцию, прежде чем попасть в Национальное собрание.

В поддержку этой системы я представлю несколько более частных наблюдений и разрешу одно сомнительное возражение.

Если бы вы постановили, что для избрания в Национальное собрание необходимо дважды получить поддержку народа в качестве члена административного собрания или какого-либо трибунала, вы бы придали всем выборам двойную ценность. Вы бы поставили тех, кто готовит себя к государственной службе, перед счастливой необходимостью зависеть от уважения сограждан с первых же шагов своей карьеры.

Осмелюсь сказать, что вы совершили бы переворот в привычках молодежи, которая переходит от легкомыслия к испорченности, а от испорченности - к ничтожности. Речь пойдет уже не о том, чтобы захватывать места на национальных выборах с помощью интриг, влияния семей или предрассудков, которые всегда находят поддержку даже в самых свободных конституциях. Вы словно скажете этим указом, который я предлагаю: "Кем бы вы ни были, не льстите себе надеждой получить всё, не купив почестей трудом и заслугами; вы продвинетесь вперед, лишь оправдывая на каждом шагу доверие общества; вас будут взвешивать на весах опыта и постоянно сравнивать с вашими соперниками. Протекция может раньше открыть вам путь, но пока люди, равные вам по достоинству, медленно проходят все ступени этой поучительной лестницы, вредное снисхождение к вашим собственным талантам не вознесет вас на вершину, пока вы не дадите нации гарантий".

Повторюсь, этот закон стал бы благородным средством предотвращения деградации класса, который во всех странах мира (за редким исключением, делающим его лишь достойнее) словно опускается в моральном плане по мере того, как поднимается в социальном.

Второй мотив, который, признаюсь, непреодолимо влечет меня к системе постепенного продвижения, - это необходимость сделать общественные функции интересными и почетными; распространить соревнование в добродетели и чести в муниципалитетах, повысить значимость народного голосования, даже когда оно дает лишь второстепенную должность в администрации.

Тогда вам больше не придется бояться, что одни будут презирать муниципалитеты как низшие должности, а другие - опасаться их как изнурительной и скучной работы, оставленной небольшой группе соискателей, которые, будучи лишены всяких заслуг, способностей и личного веса, вскоре принизили бы эти посты. Ведь в глазах людей должности часто ценятся лишь в зависимости от репутации тех, кто их добивается и занимает.

Вы знаете, господа, в обществе нет настолько мелкой должности, которая не могла бы придать блеска тому, кто его не имеет, или не представляла бы ресурса для того, кто его лишен; но мы должны возвысить муниципалитеты над амбициями и интересами подобного рода.

Если бы римляне не сконцентрировали всё в Риме; если бы они придали больше блеска муниципальным администрациям, и если бы они сделали их первой ступенью на лестнице почестей, то им не пришлось бы прибегать к суровым и принудительным законам, чтобы заставить граждан брать на себя эти обременительные обязанности. Эти законы сохранились; они свидетельствуют об ошибках властелинов мира. Будем же их избегать; станем развивать наши провинции; придадим блеск всем должностям, которыми наделяет отечество; уничтожим то пагубное предубеждение, которое на руинах старых сословий неизбежно воздвигло бы отличия нового рода и которое на обломках классов и чинов порождает новые классы и новые чины, выходящие из самих выборов, из неизбежной разницы между муниципалитетами, администрациями департаментов и Национальным собранием.

Мы бы лишь наполовину исполнили свой долг, если бы не лишили гордыню этого опасного прибежища. Но мы установим братство между всеми общественными функциями, если самая скромная из них станет необходимым этапом для продвижения вверх; если высшая должность будет неразрывно связана через неизбежные переходы с низшими чинами; если все государственные деятели будут подобны чистому потоку, распределенному по разным каналам, но перетекающему из одного в другой, оставаясь всегда прозрачным и, прежде всего, неизменным.

Такая преемственность должностей принесет и другой, не менее выгодный результат: на самых малозаметных местах честолюбие людей станет залогом их рвения в исполнении обязанностей. О, как могуществен законодатель, когда он умеет придать страстям это нравственное направление, когда он умеет показать гражданам, что их выгода - в их честности, когда он обладает счастливым умением использовать их господствующие склонности в качестве рычагов закона! Какую бы функцию ни исполнял человек, если она является лишь временным испытательным сроком, по которому оценивают его таланты и неподкупность для продвижения

на более высокие посты, - с этого момента можно рассчитывать на его постоянное стремление оставаться безупречным и заслуживать уважение своих сограждан.

«Вы приняли мудрые декреты, чтобы обеспечить ответственность всех государственных чиновников; но наказывать, подавлять и сдерживать страхом - этого мало. Вместо того чтобы заставлять людей оттачивать против законов свою хитрость и пагубную изобретательность в их обходе, необходимо основывать соблюдение законов на мотивах, которые, проникая в глубину сердец, делают это соблюдение приятным и легким. Репрессивные законы никогда не добиваются ничего, кроме притворного и унизительного повиновения. Но честь, вверенная народному голосованию; надежда, умело распределенная от места к месту, от должности к должности; честолюбие, призванное не захватывать всё подряд, а всего заслуживать, - вот те движущие силы, мощь которых соразмерна препятствиям, кои необходимо преодолеть; это силы, обладающие несокрушимой закалкой свободы.

Я с уверенностью опираюсь на авторитет, уважаемый всеми друзьями общественного блага. Бессмертный автор "Общественного договора" при каждом удобном случае расточал величайшие похвалы той постепенной системе, которую я имею честь вам представить. В лучшие времена Рима, говорит он, нужно было пройти через претуру, чтобы достичь консулата. Он также замечает, что не было никого более честного, чем квесторы римских армий, потому что квестура была первым шагом к достижению курульных должностей.

Нелишним будет заметить, что в постепенной системе даже неприметные должности облагораживались перспективой тех, что стоят выше. Люди естественным образом поднимаются до уровня своих надежд. Хотите ли вы оживить все части империи, хотите ли облагородить даже самые малые должности - сделайте так, чтобы заслуги были единственным путем продвижения и чтобы любое государственное состояние служило испытанием для перехода в другое.

Но нам скажут: "Мы же посягнем на свободу выборов! Мы установили принцип, согласно которому выборы должны зависеть только от доверия, а теперь собираемся предписывать доверию границы!". Я не считаю это возражение обоснованным.

Установить определенный уровень состояния или определенное происхождение и сделать их условием права быть избранным - значит нанести удар по всем, кто не попадает под эти критерии; это значит объявить им исключение, лишить их естественного права. Но установить для процесса продвижения правила, одинаковые для всех, оставляющие всем те же права и те же надежды, правила, направленные против привилегий в пользу равенства, - это вовсе не нарушить принцип - значит защитить и гарантировать его.

Безграничный принцип свободы выбора привел бы, следовательно, к осуждению и тех законов свободных народов, которые мы приняли для обеспечения сменяемости должностей и обязательного их обновления через определенное количество лет! Этот принцип привел бы к осуждению законов, устанавливающих возраст гражданского и политического совершеннолетия! Но если закон пожелал удостовериться в опыте и разумности тех, кто претендует на должности, так же как разум и опыт зависят не столько от прожитого времени, сколько от того, как им распорядились, - то требовать прохождения своего рода "послушничества" для получения права быть избранным в Законодательный корпус означает вникнуть в самый дух этого закона.

Прошу вас, господа, обратить внимание на вопрос доверия, характерный для представительного правительства, подобного нашему. Мы избираемся одним департаментом, но становимся представителями всей империи. Нас выбирает даже не все население департамента, а лишь довольно малочисленная делегация из его среды. Из этого, как мне кажется, вытекает неоспоримая истина: доверие, которым пользуется Законодательный корпус, было бы шатким, если бы не нашелся способ его, так сказать, удвоить.

Посмотрите, насколько более прочный фундамент вы создаете для доверия, опираясь на систему многоступенчатых выборов! Не нужно будет опасаться первых результатов выбора избирателей - обольщенных, обманутых, а может быть, и подкупленных; их последующий вы-

бор будет заранее оправдан доказательствами талантов и добродетелей кандидата. Этот выбор будет пользоваться тем большей поддержкой народа, чем большее число граждан приняло непосредственное участие в назначении членов Национального собрания.

Избиратели смогут сказать своим согражданам: "Наш выбор был продиктован вашим; мы не предлагаем вам неизвестного человека; его заслуги говорят сами за себя, и на него нам указал голос общественности". Что же касается провинций, то таким образом они дадут друг другу взаимные гарантии; интриги, протекция, угодливость, продажность, народный каприз или внезапная прихоть не отдадут судьбы империи в руки коррумпированных или некомпетентных представителей. Провинции станут спокойнее и увереннее, полагаясь на общественный разум; верховные декреты будут пользоваться большим уважением, а моральное мнение станет их главной силой.

Дать доверию более прочные основания не означает покушаться на него; следовательно, нельзя выдвигать в качестве возражения против многоступенчатой системы то, что является одним из ее величайших преимуществ.

Если представленные мной моральные и политические условия убедят вас закрепить этот экспериментальный и постепенный путь, следует определить срок, когда он начнет неукоснительно соблюдаться. Требовать этого прямо сейчас значило бы желать невозможного; однако через восемь или десять лет число граждан, прошедших через муниципалитеты, суды, департаменты или Национальное собрание, сформирует достаточный кадровый резерв, чтобы предоставить избирателям обширный выбор...

Как уже отмечалось, создавать Конституцию - значит работать на перспективу; это значит предвидеть, заранее определять нравы, мнения и привычки. Если предлагаемый мной закон подобен замковому камню общественного свода, если он объединяет все части общими узами, вы не должны медлить с его принятием, хотя его исполнение неизбежно будет отложено. Не думайте даже, что это лишь "камень ожидания" (временная мера): он уже сейчас повлияет на тех, кто посвящает себя государственным делам и кто не станет пренебрегать муниципальными должностями; а также на избирателей, которые будут более тщательно выбирать кандидатов на наиболее востребованные места; и на сами органы власти, которые будут рассматриваться как своего рода испытательный срок».

(Мемуары по общественной экономике, морали и политике от 20 вандемьера VI года. - 11 октября 1797 года.)

Теория общественного мнения

Примечание. Этот фрагмент был включен в работу Адриена Лезе под названием: *«О слабости начинающего правительства и о необходимости для него заручиться поддержкой общественного мнения»*. Я написал его по итогам нескольких бесед с ним на тему общественного мнения, определение которого всегда было крайне расплывчатым. Сегодня я публикую его вновь в качестве вступления к рассуждениям о новой Конституции, первой целью которых будет стремление показать, что три разряда именитых граждан, установленные Конституцией, и три ступени конституционных выборов, а также сенат, составляют организованное общественное мнение и будут иметь двойной эффект: очищать его в процессе формирования и придавать ему силу, когда оно высказывается.

Под словами «национальное большинство» мы не подразумеваем численное большинство голосующих нации, которые по призыву государственной власти и в определенных случаях выражают ясно выраженную волю и осуществляют политическое право. Это можно назвать *законным большинством*.

Мы говорим о том *естественном большинстве*, которое стихийно формируется во всех случаях, когда вся масса народа переживает изменение своего существования, будь то к лучшему или к худшему, и когда некое движение выводит умы и души из их привычного состояния, в котором они кажутся одинаково усыпленными. Мы говорим о том большинстве, которое определяется в уединении и тишине, которое касается всего, что представляет интерес для жизни; в нем участвует множество людей, не вносящих вклад в законное большинство - таких как женщины, подростки, домашняя прислуга, - и в него не входят все те, кто вносит вклад в последнее, например, люди с ограниченным кругозором, легкомысленные и апатичные. Это то большинство, которое часто восстает против дела законного большинства после того, как помогло ему; это большинство, чьи голоса не подсчитываются и не собираются, и которое, будучи лишено официального признания, единства и организационной структуры, неуловимое повсюду, тем не менее давит всем своим весом, воздействует, заставляет чувствовать себя повсеместно и, не подталкивая и не сталкиваясь с Правительством посредством насилия, неустанно поддерживает или противодействует ему.

Естественное большинство пробуждается и утверждается либо через *чувство*, либо через *мнение*. Когда существование народа дает о себе знать, народ страдает или наслаждается; то, что он испытывает в этот момент, является чувством: это *всеобщее чувство*. Когда большинство находит какое-то лекарство от зла или какое-то улучшение во благо, его мысль становится мнением: это *общественное мнение*. Таким образом, всеобщее чувство и общественное мнение являются двумя и единственными выражениями естественного большинства; но их не следует путать.

Это естественное большинство и есть большинство реальное, истинное национальное большинство; другое же часто является лишь видимостью. Это естественное большинство всегда является большинством действующим; другое же часто оказывается устаревшим. Вот почему мы оставляем за первым титул *национального большинства*.

Впрочем, наделяя его титулом национального большинства, мы не претендуем на отрицание того, что права, связанные с этим титулом, принадлежат не только законному большинству, и что естественное большинство не должно подчиняться позитивным решениям политического большинства.

Причина этого проста. С одной стороны, политическое объединение заключается не между всеми входящими в него индивидами, которых оно защищает и которые имеют косвенный интерес в его сохранении; оно состоит из тех, кто внес равный вклад прав в общество ради своей собственной безопасности и безопасности своей семьи; из тех, кто принял прямое участие, совершил *действие* в социальном предприятии. Остальные являются лишь членами домашнего общества и находятся под защитой глав семей. С другой стороны, общество не может ни устанавливать, ни признавать среди своих участников различия, которые заставляли бы одних весить больше других в социальных договоренностях. Поэтому необходимо, чтобы государство ограничивалось численным установлением и обязалось признавать волю большинства тех, кто имеет непосредственный интерес в обществе.

Но если необходимо, чтобы законное большинство всегда уважалось и ему повиновались, важно также, чтобы другое большинство всегда замечали, слушали и с ним консультировались. Если реальное большинство должно всегда подчиняться воле политического большинства, то это потому, что политическое большинство должно считаться с волей реального большинства.

Чтобы знать, как формируется воля реального большинства, нужно наблюдать, как передаются впечатления и мысли между различными классами граждан, какая сила толкает их и направляет в их движении.

Наблюдение учит, что просвещение и богатство всегда пропорциональны друг другу не у отдельных лиц, а в массах. Просвещение и богатство - это две силы, которые обеспечивают циркуляцию чувств и мыслей в массах. Общественное чувство всегда зарождается в низших слоях народа, то есть среди самых бедных и ограниченных людей, и постепенно поднимается

вверх, к талантам и состояниям высшего порядка. Напротив, общественное мнение берет свое начало на вершине пирамиды и неизменно опускается вниз, к низшим классам.

Таким образом, богатство и таланты, если можно так выразиться, впитывают в себя общее чувство и изливают общественное мнение.

Обратимся к анализу, чтобы развить эти наблюдения. Рассмотрим сначала различия в просвещении и богатстве, которые разделяют разные классы общества, и начнем с самой низкой точки. На нижней линии (линии, к сожалению, слишком длинной) находятся люди, лишенные средств, необходимых для общения и развития своих интеллектуальных способностей, или же не имеющие досуга для их упражнения. Мы говорим о том грубом уме, лишенном всякого образования, незнакомом с тем двойным искусством, с помощью которого люди разных времен и мест переписываются друг с другом, соприкасаются с законом, мнением и знаниями - искусством читать и писать, этим чудесным дополнением к слуху и голосу, благодаря которому мы собираем слова, затерянные в безднах прошлого, и заставляем слышать себя в самом далеком будущем. Мы говорим и о другом уме, менее первобытном, но чья властная привычка сосредоточила весь интеллект исключительно на чисто механических занятиях. Эти люди обладают способностью чувствовать, но почти не имеют способности размышлять. Они учитываются в общем чувстве; мы увидим, когда они смогут учитываться в общественном мнении. Социальное положение этих столь ограниченных людей - это не нищета, поскольку они трудятся, но это бедность.

На более высокой линии стоят люди, получившие начальное детское образование и имеющие связи с высшими классами. Они уделяют несколько дней в месяц чтению, несколько мгновений в день - беседе, другие моменты - размышлению; они составляют класс *людей здравого смысла*. Эти люди - мелкие рантье, ограниченные лишь самым необходимым, а также мелкие собственники, которые занимаются прибыльным делом, используя свою землю или капитал, слишком скромный, чтобы прокормить их одними процентами; таковы фермеры, мастера-ремесленники, мелкие торговцы.

Выше находятся умы не вполне просвещенные, но образованные; не совсем богатые знаниями, но культурные; не способные на высокий полет, но привыкшие к определенной деятельности. Это класс *людей рассудительных*; и этот класс рассудительных людей состоит из обеспеченных собственников.

Еще выше располагаются умы просвещенные; не потому, что они все образованнее других, но потому, что их образование качественнее; не потому, что они больше учились, а потому, что их наставники сделали для них больше, чем самые лучшие занятия; потому, что они услышали из уст авторов то лучшее, что те вложили в свои книги, и почерпнули здравые и легкие познания либо из своих путешествий, либо из самих своих владений. В общении с талантливыми людьми во всех областях они приобрели такт, умение отличать великое и прекрасное, что восполняет недостаток их знаний. Их воображение, свободное для того, чтобы прилепляться к самым высоким предметам и охватывать самые обширные из них, не удерживается и не отвлекается на второстепенные заботы никаким чувством или предчувствием нужды. Привычка и определенное благородство манер всегда поддерживают их на большой высоте; эти люди составляют класс, рожденный в богатстве и роскоши.

Выше всех этих умов находится небольшое число тех, кого особая милость природы призвала из всех сословий, отмеченных фортуной, или кого извлекли оттуда счастливые случайности. Казалось бы, эти головы, возвышающиеся над всеми остальными, должны быть объединены в отдельную группу, чтобы свысока распоряжаться богатством или презирать его с общим пренебрежением; однако большинство этих людей рассеяно в богатых кругах общества, и не без скандала не раз замечали этот странный союз гения и таланта с богатством - то ли талант и гений платят дань роскоши, то ли роскошь - гению и таланту.

Осмелимся же сказать это прямо: за тем самым исключением, которое мы только что отметили, просвещение и образование распределяются между членами общества согласно шкале их достатка и в целом пропорциональны собственности. И к чему бояться признавать

эту истину? В ней нет ничего унизительного ни для одного сословия. И почему бы не распространять её? Она может быть полезна.

Человеческие знания, как и прочие социальные богатства, представляют собой капитал, накопленный в течение нескольких веков. Они не наследуются так, как материальные блага; их приобретают. Но приобретаются они благодаря времени и учению; а время - то самое время, что дает досуг для занятий, - наследуется. Оно наследуется так же, как богатство, и вместе с богатством; ибо человек, рожденный богатым, наследует то время, которое ему пришлось бы потратить на приобретение ценностей, составляющих его наследство. Отец завещал ему не более долгую жизнь, чем у других, но больше времени для жизни; не больше знаний, но больше времени для их получения; не больше способностей, но больше средств для расширения и совершенствования того ума, что он получил от природы.

Таким образом, оценка человеческого интеллекта в массе своей, исходя из размера состояния, сводится, по сути, к его оценке по количеству времени, затраченного на его развитие. И в этом нет ничего более естественного, поскольку любое великое достояние ума, как и всё прочее, является даром времени и наградой за труд.

Проведенный анализ только что показал нам, как в обществе распределяются богатство и просвещение. Посмотрим теперь, как в условиях такого распределения их носителей формируются *всеобщее чувство* и *общественное мнение*.

Общественное мнение в вопросах политики всегда следует лишь за *всеобщим чувством*, и вот как последнее формируется. Человек, находящийся ближе всего к нужде, самый изолированный и беззащитный - это тот, по кому беда наносит удар в первую очередь; он первым её ощущает и первым издает крик о помощи. Мелкий рантье в этом отношении находится в том же положении, что и собственник-ремесленник или простой рабочий. Последние, благодаря необходимому профессиональному братству при разделении труда, служат друг другу опорой против угнетения и через повышение заработка восполняют, как могут, убытки от поборов.

В классе, стоящем непосредственно выше, слуги и дети сообщают женщинам - матерям и женам - обо всем тревожном, что предвещается. Женщины передают это главам семейств; тогда те начинают волноваться, искать встреч и обсуждать это между собой. Вскоре, повинуясь тому инстинкту, который в моменты беспокойства заставляет искать защиты у более благополучных, эти обеспеченные собственники несут тревогу к богатым, а те - к обладателям огромных состояний, которых они справедливо считают могущественными или влиятельными людьми, способными воздействовать на общую судьбу. Эти последние тотчас разделяются в зависимости от своих склонностей и привычек: одни обращаются непосредственно к власти - они спешат к магистратам, предупреждают их, просвещают, призывают к действию и умоляют. Другие же, более гордые и независимые, идут к людям просвещенным, к мыслителям и государственным мужам; они обращаются к высшему суду талантов и гения и доносят до них всеобщее чувство.

Общественное чувство, как мы видим, зарождается в низах и распространяется путем своего рода постепенного восхождения. Оно поднимается со всех сторон, из самых глубин страны, чтобы достичь единой и высшей точки, откуда, как мы увидим далее, оно возвращается к своему источнику.

По мере того как всеобщее чувство поднимается от простонародья к людям талантливым, по мере того как оно проходит через всё большее число этих рубежей и, если можно так выразиться, через слои разнообразных, но неизменно культурных умов, составляющих обеспеченные или богатые классы общества, оно очищается, концентрируется и освобождается от всего чужеродного. И когда оно достигает определенной высоты, оно облекается в идеи, подкрепляется наблюдениями и полезными выводами, так что, доходя до человека таланта, оно уже способно привлечь его внимание к средствам исцеления зла и к улучшениям, которых требует общее благо.

Что же происходит тогда? Человек таланта наблюдает, размышляет, воодушевляется, и его мнение формируется. Он берется за перо; он энергично выражает *всеобщее чувство*, предлагает свои взгляды на улучшение дел. Его труд выходит в свет; он подтверждает, обосновывает, углубляет *всеобщее чувство* и тем самым дает начало общественному мнению.

Мы видим, что это мнение, как мы уже говорили, движется в направлении, обратном общему настроению: оно распространяется сверху вниз, подобно тому как первое [мнение] поднимается снизу вверх. Человек гениальный доверяет свой труд человеку талантливому, который рекомендует его человеку рассудительному. Тот, в свою очередь, передает основные идеи человеку простого здравого смысла, через которого они доходят до людей с неискушенным умом, чьи сердца из-за жизненных тягот открыты потребности в утешении или надежде. В этом процессе передачи авторитет таланта ощущается на каждой ступени; он дает, но не навязывает; он дает именно то, чего люди желали, не оставляя при этом возможности для отказа.

К авторитету знаний на каждом шагу добавляется вес богатства. Роскошь рекомендует автора и его труд людям состоятельным, те рекомендуют его людям среднего достатка, которые в беседах передают основные идеи беднякам. Инстинкт, который в тревогах и тяготах низшего сословия побуждал людей соотносить свои чувства с чувствами более удачливых слоев, заставляет их принимать передаваемые мнения с почтением, а возможно, с доверием и благодарностью. Состоятельному человеку легко добиться такого отношения от тех, кто связывает с ним надежды в трудную минуту или находит в его доме источник постоянных удовольствий. Мелкий собственник, в свою очередь, без труда заставляет прислушиваться к себе рабочего, которому он дает работу; он получает от него не только уважение, основанное на почтении, но и преданность, продиктованную личным интересом.

Заметим, впрочем, что почтение не означает повиновения. Это двойное влияние знаний и богатства не заставляет принимать отвратительные идеи; оно лишь облегчает и обеспечивает успех идей благоприятных. Более того, когда такие идеи проходят через слои людей простого достатка или скромного состояния, они подвергаются очищению. Именно в среде среднего достатка встречается внимательная, скрупулезная и рассудительная критика. Там не хватает воображения, чтобы изобретать, но достаточно здравого смысла, чтобы верно судить. Там нет излишков, которые заставляли бы пренебрегать выгодой, и нет нужды, которая лишала бы досуга для ее изучения.

Как только мнение закрепляется в каком-либо сословии, оно распространяется по всем составляющим его семьям. Главы семейств обсуждают его при женах и детях; молодежь подхватывает его и изучает. Им нравится приобщаться к делам через новые идеи, потому что вскоре они оказываются в них так же сведущи, как и их отцы. Мнение становится темой домашних размышлений и семейных разговоров.

Когда мнение, пройдя через этот фильтр средних классов, достигает самых низов, когда оно охватывает всю территорию государства, когда оно проникает внутрь каждой семьи и повсеместно сливается с *общим настроением*, объединяясь и смешиваясь с ним... тогда возникает почтенная власть ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ.

Рассмотрите на мгновение его природу, увидев его происхождение. Посмотрите, насколько оно здраво, сильно, деятельно и долговечно. Оно здраво, потому что прошло через фильтр собственности и свободы. Оно сильно, потому что опирается на поддержку и одобрение и того, и другого; потому что богатство использует всё свое влияние в его пользу, а талант окружает его непрерывным сиянием знаний; потому что ничто не может ускользнуть от него, когда оно атакует, и оно видит всё, когда нападают на него самого. Оно деятельно, потому что, проникая в умы женщин и молодых граждан, оно находит там своего рода упругую почву, которая постоянно возвращает его к источнику и поддерживает в движении. Оно долговечно, потому что оно повсюду, потому что оно постоянно возрождается само по себе, потому что оно вплетено во все привычки ума и служит пищей для любых надежд.

Стоит обстоятельствам слегка подогреть умы, в которых оно заключено, и оно становится ОБЩЕСТВЕННЫМ ДУХОМ; поскольку общественный дух - это не что иное, как мнение, готовое к действию. Таков путь формирования общего настроения и общественного мнения. Природа

предлагает нам великий прообраз этого социального процесса. Народные чувства поднимаются к талантам через всё общество, подобно тому как земные испарения, пробиваясь сквозь высокие леса, поднимаются к солнцу; и точно так же, как эти пары сгущаются в верхних слоях атмосферы и формируются в виде облаков, точно так же и всеобщее чувство находит пристанище в высших умах, порождая в них мнение. И эти облака, которые вскоре рассеиваются и тают над лесами, орошают вершины больших деревьев, а затем спускаются капля за каплей, с листка на листок, с ветки на ветку, от вековых лесов к кустарникам и травинкам, пока не пропитают саму почву. Эти облака олицетворяют мнение, которое спускается от высших умов к умам второго и третьего порядка, доходит до народных масс и, соединяясь с вызвавшим его чувством, получая от него импульс и энергию, оживляет всё общество целиком - подобно тому, как благодатная вода, возвращенная земле, питает и укрепляет покрывающую её растительность.

Прежде чем закончить обсуждение этой темы, мы заметим, что любое мнение, сформированное иными путями, нежели те, о которых мы говорили, не заслуживает названия общественного мнения. Оно не обладает никакой устойчивостью и, прежде всего, неспособно противостоять мнению, установившемуся описанным выше образом. Любая идея, брошенная непосредственно в народные массы вместо того, чтобы внедряться туда, так сказать, по капле, либо сразу же погибает, будучи задавленной двойным гнетом просвещения и богатства, либо, в лучшем случае, служит пищей для какой-нибудь мимолетной страсти, которой она на мгновение дает ложный выход и которая тут же её поглощает и уничтожает. Самые чистые истины должны падать с высоты, чтобы проникнуть в низшие слои государства. Посмотрите, как недолго продержались у нас мнения, представленные непосредственно на суд народа: он отверг их так же быстро, как и принял! Посмотрите, во что превратилась ненависть к суевериям в народе из-за того, что её навязывали приказом, а не убеждением! Посмотрите, какова была в течение года судьба Республики из-за того, что она была установлена без предварительного обсуждения! Даже те мнения, которые больше всего льстили порокам, естественным для людей нуждающихся - я имею в виду алчность, - мнения, весьма приспособленные к народным страстям и направленные на расхищение собственности, оказались лишены прочности и долговечности именно потому, что против них выступили собственность и просвещение, всегда сопровождающее собственность.

Только те мнения сохранялись среди людей, которые, будучи надежно закреплены длительной чередой дискуссий между различными интересами и различными умами, составляющими общество, внедрялись в сознание масс путем медленного и незаметного убеждения.

Правительства должны уделять серьезное и постоянное внимание этим истинам; им следует избегать принятия народных страстей за всеобщее чувство, а народных мнений и даже всеобщего чувства - за общественное мнение. Всеобщее чувство, несомненно, заслуживает большого интереса, но только общественное мнение при общественных бедствиях проливает свет на способы лечения и необходимые лекарства.

И поскольку выражение всеобщего чувства и инициатива в формировании мнения принадлежат собственникам, поскольку они являются его проводниками и глашатаями, правительство должно направить всё своё внимание именно на их интересы, на их речи, на их круг чтения, на книги и газеты, имеющие среди них хождение. Власть могла бы сколько угодно притеснять, угнетать и оскорблять тот класс граждан, который называют *достойными людьми*; подлые политические комедианты могли бы сколько угодно пытаться выставить это название на смех - им никогда не сделать его настолько низким, чтобы самим его удостоиться или внушить отвращение тем, кто считает его честью для себя. *Достойные люди* всегда будут связующим звеном национального большинства; именно к ним оно всегда будет стремиться примкнуть, если окажется в разлуке; именно к ним оно будет привязано тем сильнее, чем теснее будет их союз.

(*Мемуары по общественной экономике*, т. I, стр. 75. Написано ок. 1797 года)

Об организации законодательных собраний

Введение

Законодательный корпус учрежден для того, чтобы выполнять в политическом организме ту же функцию, которую мозг выполняет в человеческом теле. Законодательный корпус должен быть национальным разумом, общественным сознанием.

Подобно тому как мозг в отдельном человеке является центром, где закрепляются знания, полученные через чувства и размышления, и где они оживают и соединяются для создания результатов, называемых волеизъявлениями, точно так же и национальный мозг должен быть центром, где объединяются знания каждого отдельного ума. Там формируется общая комбинация из всех частных идей, где они взаимно освещают, дополняют и исправляют друг друга.

В этом национальном разуме каждое частное суждение - это лишь идея, представленная на суд большинства. И точно так же, как каждая идея отдельного человека была взвешена и сопоставлена им самим перед тем, как превратиться в окончательное решение в его голове, так и личные мнения, поступившие в национальный мозг, должны быть в нем взвешены и переданы на общий суд. Но какая огромная разница между индивидуальным единством, созданным природой, и коллективным единством, сотворенным человеческим искусством!

Когда человек сам обдумывает дело, которое его касается, он неосознанно и инстинктивно принимает множество мелких мер предосторожности, чтобы убедиться в мудрости своего решения. Сначала он пытается понять, находится ли он в таком физическом и моральном состоянии, которое позволяет ему судить непредвзято. Затем он анализирует и вспоминает все обстоятельства дела, затрагивающие его интересы, которые должны быть учтены при обдумывании. После он анализирует и сопоставляет все свои интересы между собой. Он сверяет каждое обстоятельство с каждой выгодой, которой оно касается, и повторяет эти действия несколько раз, чтобы быть уверенным в полноте анализа и точности сопоставлений. Если он чувствует усталость, он останавливается и переносит решение на другое время. Если он чувствует сильный уклон в одну сторону, он оставляет за собой право посмотреть на дело на следующий день, чтобы убедиться, не обманут ли он какой-то иллюзией... Именно так, и с помощью еще многих других мер предосторожности, всякий мудрый, осмотрительный и разумный человек всегда выстраивает свое поведение в важных случаях.

Но этот инстинкт обдумывания, который в нас является продуктом личного интереса, опыта и тесного единства всех частей нашего «я», не существует для национального разума, который полностью искусственен.

В этом разуме, куда столько разных интересов приносят свои чаяния и идеи, который меняется под влиянием множества обстоятельств, который столь по-разному освещен в каждой своей точке, который состоит из множества характеров, мнений, привычек и способностей, где столько случайных причин могут возбуждать или подавлять, где столько препятствий могут преградить путь истине - словом, этот коллективный разум, состоящий из столь разнородных умов, не обладает ни сплоченностью, ни опытом, присущими индивидам. Поэтому ему труднее достичь хороших результатов, несмотря на большее количество полезных средств в его распоряжении.

Но и это еще не все: существует большая разница между собранием, обсуждающим государственные дела, и частным лицом, обдумывающим свои личные дела, заключается в том, что внимание последнего всегда сосредоточено на предмете в силу постоянного давления личного интереса, который служит ему путеводителем. В то же время у собрания часто есть лишь смутное чувство общественного интереса; каждый из его членов обычно обладает лишь малой, отдаленной его частью, а у многих могут быть и противоположные интересы. Следовательно, коллективному разуму, за неимением постоянных мотивов для применения сил и внутреннего руководства, требуется своего рода юридическое принуждение и искусственное управление. Ему одновременно необходимы как твердая обязанность обсуждать вопросы, так

и само искусство ведения дискуссии; ему нужны методы, меры предосторожности, которые заменяли бы интерес и благоразумие. Одним словом, ему необходима организованная логика, которая заставляла бы его принимать верные и необходимые решения точно так же, как часовой механизм и пружины заставляют стрелки указывать часы и минуты.

Не стоит скрывать недостатки, присущие большим законодательным собраниям; они таковы, что ставят под угрозу представительное правление. Поэтому важнейшая задача республиканского строя - искать способы оградить коллективные организации от свойственных им изъянов и даже, если возможно, от тех, что характерны для отдельных личностей. Это нужно для того, чтобы они сочетали в себе все преимущества огромного объединения способностей и разнообразных знаний, не допуская при этом роковых ошибок и неверных решений.

ГЛАВА I. - Разделение предмета.

Давайте прежде всего проанализируем обстоятельства, которые могут возникнуть при обсуждениях в больших собраниях; именно из знания этих причин и вытекает понимание способов обеспечения их правильной работы.

1. Одни причины проистекают из воздействия вещей;
2. другие рождаются из действий людей. Последние подразделяются на два класса: 1) те, что происходят из-за беспорядочности форм обсуждения; 2) те, что возникают в результате воздействия людей друг на друга.

Действие людей бывает четырех видов:

1. Воздействие слушателей на оратора;
2. Воздействие оратора на слушателей;
3. Воздействие слушателей друг на друга;
4. Воздействие оратора на самого себя.

Иногда эти действия происходят одновременно и согласованно, иногда они разобщены, различны или противоположны.

ГЛАВА II. - О воздействии вещей.

Форма зала и его размер влияют на ход обсуждений. В длинном зале невозможно поддерживать порядок; в слишком просторном зале голос не слышен, и ухо не может воспринимать речь.

Предоставление участникам возможности занимать места по своему усмотрению, группироваться или разделяться по своей прихоти или склонности - вместо того, чтобы закрепить за каждым место по жребию или иным способом - способствует отвлечению внимания на кулуарные группы или разжиганию фракционной вражды.

Слишком частое проведение заседаний лишает членов собрания возможности поразмыслить; зачастую не хватает времени, необходимого для того, чтобы успокоить мысли или унять страсти. Это дает фракциям возможность извлекать выгоду из неизбежного отсутствия лидеров противоборствующих партий и прочего - вот еще одна причина принятия плохих решений.

Чрезмерная продолжительность заседаний утомляет внимание или разжигает страсти; она также на руку тактике решительных или хитрых людей против слабых, которые не могут выносить усталости, голода, жажды или не умеют вовремя позаботиться об этих последних потребностях.

Время открытия и закрытия заседаний также имеет значение. Если заседания открываются слишком рано - то есть раньше, чем позволяют привычки и нравы того времени, регулирующие часы сна и пробуждения, - залы будут пустовать. Если они закрываются позже обычного времени приема пищи, это приводит к пропускам или к недомоганию, которое сказывается на душевном состоянии.

Физическая вместимость или объем трибун для зрителей - обстоятельство существенное. Огромные трибуны одним своим видом могут оказывать давление на небольшое собрание.

Расположение трибун - еще одно важное обстоятельство. Нависая над головой голосующих, они обладают большей силой, чем если бы располагались сзади или по бокам. Зал, который более или менее проветривается, где температура непостоянна, где может становиться то очень жарко, то внезапно холодно, и наоборот, способен вызывать весьма удивительные психологические эффекты. Физик, имеющий в своем распоряжении заслонки для регулирования тепла, мог бы по своему желанию заставить аудиторию голосовать так, словно она находится в жарком поясе или на северном полюсе.

Вот несколько примеров физических и чисто материальных причин, которые могут влиять на законодательные собрания. Добавьте к этому особенности государственного языка - языка, который, в зависимости от своей звучности, может быть услышан большей или меньшей аудиторией; добавьте также характер климата, который позволяет проводить собрания под открытым небом или же требует закрытых помещений для встреч.

ГЛАВА III. - О формах обсуждения.

Я говорю здесь только о тех правилах, которые определяют использование прав голосующих на выступление. Вот весьма распространенные недостатки в больших собраниях:

1. Робких ораторов легко оттеснить или заставить замолчать.
2. Ораторы со слабыми легкими, с глухим или тихим голосом оказываются в таком же положении.
3. То же самое происходит с людьми, не пользующимися расположением публики.
4. Это случается и с медлительными людьми, которые всегда выступают слишком поздно и перед которыми оказывается толпа других желающих.
5. С людьми, чья логика слишком слаба или слишком сильна, чья цепь идей разрывается слишком легко или, напротив, слишком тесно связана, чтобы они могли спокойно остановиться на одном из звеньев или вернуться к нему после перерыва.
6. С людьми слабохарактерными, которых подавляет любое противодействие; они отличаются от робких тем, что последние даже не осмеливаются вступать на путь, где опасаются встретить сопротивление.
7. Мало того, что здравый смысл множества людей, составляющих большинство собрания, пропадает для него впустую, ему приходится еще при принятых системах обсуждения терпеть бесчинства тех грубых умов, которые разделяют предрассудки толпы, умеют льстить ее страстям, говорить на ее языке и которые, будучи наделены сильным голосом, при этом также исполнительны, цепки, упрямы и высокомерны.

Что же будет, если добавить к препятствиям, из-за которых депутаты лишаются возможности в равной мере пользоваться своим правом выступать с трибуны - препятствиям, лишающим собрание значительной части его самых ценных богатств в виде талантов и добродетелей и придающим огромное значение людям, которые при сравнении превратились бы в ничто почти сразу после своего появления; людям, которые открывают все возможности для безумия или глупости; что будет, если добавить к этому бесплодность открытых дискуссий, независимо от того, какие ораторы их ведут, по расплывчатым вопросам, по плохо поставленным вопросам, по слишком обширным вопросам, часто по предложениям, в которых каждый видит свои темы для рассмотрения; где половина ораторов повторяет часто бесполезные вещи; где никто никому не отвечает; где истинная суть вопроса часто решается еще до того, как заподозрят, в чем она заключается, а иногда вопрос не решается, не проясняется и даже не ставится должным образом и т. д.?

ГЛАВА IV. - Влияние слушателей на оратора.

Слушатели влияют на ораторов своим молчанием, вниманием, безразличием, ропотом, знаками одобрения, аплодисментами, шумом, криками восторга или неодобрения. Это влияние подтверждается множеством наблюдений; оно является одной из главных причин неверных решений и неудачных дискуссий. Ведь так как большинство людей предпочитает зрелище поучению, новости - наблюдениям, раздоры - обсуждениям, сражения - дебатам, а столкновения личностей - столкновениям мнений, то, когда дискуссии касаются общих интересов и не выводят никого лично на сцену и к действию, какими бы важными они ни были, трибуны пустеют, и даже сами члены собрания их покидают. Движение - вот чего жаждет большинство. Чтобы просто наслаждаться зрелищем, достаточно иметь глаза; но чтобы полюбить законодательные споры, требуется образование и привычка к интеллектуальному противоборству. Из этого вытекают два последствия: во-первых, законодательные дискуссии всегда кажутся чем-то далеким и ограниченным, тогда как дискуссии драматические считаются первостепенными и затягиваются; во-вторых, ораторы драматизируют даже сугубо абстрактные по своей природе споры, превращая их в межпартийные распри. Они приписывают любой критике и любому сопротивлению своих оппонентов злой умысел или дурные намерения; оппоненты же, в свою очередь, мстят тем же, и в результате тучи над обсуждаемыми вопросами лишь сгущаются, вместо того чтобы рассеяться.

Перед лицом стольких людей, собравшихся, чтобы нас выслушать, наша первая потребность и естественное желание - понравиться им. Именно в таких собраниях принцип общественности проявляется с наибольшей силой. Кроме того, оратор всегда рискует вызвать недовольство множества собравшихся, поэтому ему выгодно быть им приятным. Даже если слушатели не приносят вам прямой пользы и не вредят, они влияют на ваше положение через общественное мнение. Часто люди стремятся понравиться лишь ради того, чтобы получить от аудитории преимущества, о желании которых нельзя было бы признаться, не вызвав при этом неприязни. Но нередко бывает и так, что, однажды вкусив радость от того, что ты нравишься публике, человек ради этого чувства отказывается от тех самых целей, к которым стремился в своем честолюбии.

Таким образом, первейший, самый насущный и всеобщий интерес оратора - нравиться своим слушателям.

Возможно, есть беда и похуже, чем когда посредственность занимает место гения благодаря благосклонности аудитории. Она заключается в том, что зачастую сам гений, а порой и добродетель, сбиваются с пути в тот самый момент, когда уже почти достигли цели, - стоит лишь вниманию и аплодисментам воодушевить оратора. Мы видели ораторов, которые так дорожили аплодисментами за удачно сказанное слово, что совершали резкий поворот в сторону тех самых предрассудков, с которыми собирались бороться. Казалось, ими руководила благодарность или страх потерять то бесценное одобрение, вкус которого они только что ощутили. Сколько ораторов поднимались на трибуну ради одного предложения, а заканчивали свою речь призывом к совершенно другому!

Поскольку способность к концентрации внимания у всех людей разная (она меняется даже у одного и того же человека ото дня ко дню) и поскольку в сложных дискуссиях она крайне утомительна - особенно для тех, кто к этому не привык, но даже и для привычных людей, когда речь идет об абстрактных и далеких интересах, - ораторы вынуждены прилагать огромные усилия, чтобы просто завоевать внимание.

В большом собрании люди ждут внимания к себе, ждут доброжелательности и уважения. Всё это либо ведет к поставленной цели, либо позволяет изменить её без сожалений, либо служит компенсацией в случае неудачи. Всё это само по себе становится целью. Всего этого желают так же, как желают свидетельств покровительства со стороны великой державы. Сначала оратор думает о собственном успехе, и лишь затем - об успехе своего дела.

Поэтому ораторы придерживаются правила: лучше ударить сильно, чем ударить точно. Они согласны просвещать, если просвещение служит способом понравиться, но не тогда, когда

они рискуют утомить публику, еще не успев донести свет истины до нужного места, или когда знают, что истина окажется для всех неприятной и болезненной. Я видел труды Демосфена и Цицерона на столах у многих ораторов, но не видел там Монтескье. Они изучали искусство говорить, а не секрет того, как действовать; они искали образцы формы, а не суть дела.[67]

Я видел ораторов, громящих плохое предложение и срывающих аплодисменты; тех которые страстно выступают за отличную от своей инициативу, и тоже срывают аплодисменты. Я видел, как принимали вредные предложения, отвергали здравые, а ораторы лишь посмеивались над этим. И почему? Да потому, что им аплодировали; всё остальное их мало заботило.

Обсуждается важный вопрос; каждый принимает ту или иную сторону. Вы предлагаете оратору решающий аргумент в пользу того мнения, которое он сам же и объявил своим; вы думаете, он им воспользуется? Ничуть. *«Этот аргумент превосходен,* - ответит он вам, - *он истинный, это единственный веский довод, который можно привести в защиту моей точки зрения; но он не произведет ЭФФЕКТА или помешает эффекту другого довода; я его не выскажу»*. Этот оратор поднимается на трибуну; он добивается успеха для своего мнения с помощью сотни глупостей, которыми брезгует его здравый смысл, и сотни обманов, от которых отказывается его совесть. Декрет оказывается скомпрометированным в тот же момент, когда он принят, так как ничто так не подрывает закон, как его обоснование дурными мотивами. Но неважно, оратор достиг своей цели: он хотел добиться принятия указа, возможно, чтобы принести пользу, но также и чтобы понравиться, и он довольствуется тем, что понравился, даже если не добился цели.

«Мы вынуждены, - говорит Гоббс (глава X, § 11), - *быть красноречивыми, когда говорим перед большим собранием; мы вынуждены нравиться. А чтобы нравиться, исходят не из принципов, признанных истинными, а из общепринятых мнений. Ориентируются не на то, что соответствует природе вещей, а на то, что подходит настроению умов. Отсюда следует, что решения принимаются не разумом, а душевными порывами»*.

Впрочем, внимание и тишина, которые подбадривают талантливого человека, обладают и другим преимуществом: порой они пугают глупцов (я не говорю «дураков»); это словно заставляет их говорить вещи, достойные того сдержанного внимания, которое проявляет каждый слушатель. Я видел людей, которые могли говорить только в шуме, которые начинали фразу лишь в надежде на то, что гул освободит их от необходимости её заканчивать, и которые действительно умолкали, когда все начинали их слушать. Этот страх сморозить глупость в общей тишине - страх, подобный боязни выставить фальшивый галун на яркий свет - является доказательством власти слушателей над ораторами. Бездарность, боящаяся тишины, дурак и талантливый человек, стремящиеся к ней, различаются лишь тем, что первый боится, как бы она не навлекла на него презрение, второй тешит себя надеждой, что она принесет ему восхищение, а третий чувствует, что она принесет ему уважение. И те, и другие отдают дань власти собрания.

Если оно внушает трепет или придает смелости своим молчанием, то какие же последствия вызывают его крики, ропот, аплодисменты, взрывы гнева или нежное дуновение его благосклонности?

Желание нравиться, интересовать, удивлять - вот в чем нуждается оратор, и это естественным образом ведет его к тому, чтобы говорить то, что может иметь успех, а не то, что подсказывает совесть. И именно черпая, как говорит Гоббс, из общепринятых мнений, текущих предрассудков и господствующих страстей, легче всего добиваются успеха люди с заурядным талантом и добродетелью - посредственность, которая является уделом большинства.

Оратор, впавший в немилость, запинается, даже будучи правым; оратор, находящийся в фаворе, вдохновляется, будучи неправым. Первый, поддерживаемый своей совестью, всё же чувствует беспокойство и скованность; второй, хоть совесть его и сдерживает, и укоряет, тем не менее полон непринужденности и пыла. Первый, вооруженный талантом и твердым характером, тем не менее кажется слабым, он действительно неловок и неясен в своих речах,

[67] Вилларе, «История Франции», 1436 г.

тогда как второй, посредственный и часто малодушный, с некоторой силой бросается в бой и выступает с неким блеском. Один - это доброе судно, идущее против ветра; другой - жалкий кораблик, идущий на всех парусах по ветру. Мы видели, как Мирабо в период своей опалы в Учредительном собрании из кожи вон лез и говорил лишь посредственные вещи, и как Барéр, поддерживаемый позже благосклонностью могущественной партии, в своей уверенной поступи находил порой удачные выражения и порой блестящие обороты.

Когда собрание делится на две большие части, одна из которых обсуждает, а другая наблюдает - то есть когда оно состоит из голосующих и присутствующих, из законодательного органа и публики на трибунах, - воздействие на оратора удваивается. Когда обе части согласны между собой, оратор оказывается во власти всей массы. Когда они вступают в противоречие, самое мощное воздействие исходит от наиболее многочисленной, шумной и авторитетной группы в окружении, которая способна сильнее всего влиять на мнение оратора. Таким образом, может возникнуть чисто физическая причина, определяющая противостояние публики на трибунах и собрания, собрания и трибун, а также трибун и совести самого оратора.

Случаи, когда трибуны и собрание находятся в разладе, должны быть редки, поскольку они оказывают взаимное влияние друг на друга, а ораторы всегда усиливают влияние более сильной стороны на более слабую. Этого требует не только инстинкт ораторов, но и их прямая выгода: им необходимо согласие и собрания, и трибун.

Ораторы стремятся угодить трибунам, чтобы заручиться поддержкой народа на предстоящих выборах и избежать опасностей, которых стоит опасаться во времена разгула политических группировок. Но по тем же самым причинам они хотят нравиться и собранию: чтобы получить возможность выступить, когда они того пожелают; чтобы пользоваться поддержкой зала во время своей речи; чтобы их назначали в комитеты, работа в которых дает повод часто появляться на трибуне; чтобы занимать посты секретаря или председателя - эти привилегии дают дополнительные возможности стать популярным и всегда быть в центре внимания. Трудно представить, сколько раз одно лишь стремление стать председателем заставляло людей поступать вопреки своей совести.

Желание показаться в выгодном свете не только порождает множество серьезных ошибок, но и ведет к возникновению еще более опасного и губительного начала - отвратительной страсти, способной в одиночку погубить целую империю. Это ревность, это зависть, которые, в свою очередь, порождают партийный дух, хотя к его появлению ведут и многие другие причины. Вполне естественно, что два таланта, обладающие примерно равными способностями, вместо того чтобы идти в одном направлении, вступают в противоборство и вредят друг другу. Казалес мог бы примкнуть к правому делу, если бы там уже не было Барнава.

Одной лишь ревности ораторов достаточно, чтобы разделить их и сформировать партии, которые впоследствии превращаются в противоборствующие фракции. Ссоры глюкистов и пиччинистов могут дать представление о последствиях, к которым приводит столкновение амбициозных талантов. Литературные споры, примеров которых существует великое множество, наглядно показывают, на что способно «раздражительное племя поэтов» (*genus irritabile vatum*); добавим к ним, пожалуй, и ораторов.

Утверждение о том, что в больших народных собраниях неизбежно пробуждается зависть, не подлежит сомнению. Если два проповедника, два драматурга, два писателя, два военачальника или два судебных адвоката завидуют друг другу, каждый в своем деле, то представляется очевидным, что и два политических оратора будут испытывать ту же зависть. Однако два проповедника выступают в разных церквях; пьесы двух драматургов ставятся в разных театрах; у двух писателей - разные читатели; у двух генералов - разные армии; у двух адвокатов - разные дела в разных судах. У каждого из них есть своя отдельная территория, где они могут блистать сами по себе, в то время как их соперники блистают в другом месте. Таким образом, они могут делить между собой симпатии публики, зрителей и слушателей. Каждый может игнорировать или, по крайней мере, замалчивать славу своего соперника и преувеличивать свою собственную.

Если они завидуют друг другу даже при таких условиях, то что же говорить об ораторах, которые всегда находятся на одной арене, где один неизменно подавляет другого, где проигравший всегда видит успех победителя и сам оказывается свидетелем собственного поражения? Писатели даже не видят впечатления, которое они производят: их читают в кабинетах, в уединении. Они не видят воочию ни успеха своих соперников, ни своего собственного. К тому же удовольствие, доставляемое одним автором, не всегда мешает удовольствию от чтения другого; наконец, у них разные читатели, и зачастую темы их произведений не совпадают. Тем не менее писатели завистливы. Что же тогда должно происходить между двумя людьми, которые на одной и той же трибуне защищают одни и те же интересы, где их постоянно сравнивают друг с другом, где их слушают одни и те же люди и где их судят мгновенно?

Когда два любовника добиваются расположения одной и той же женщины, когда они находятся в ее присутствии и изо всех сил стараются превзойти друг друга, чтобы ей понравиться, и когда она отдает явное предпочтение одному из них на глазах у обоих, отвергнутый любовник испытывает ярость и ревность гораздо более сильную, чем если бы это решение было произнесено с глазу на глаз. Такова ситуация соперничающих ораторов перед лицом публики.

Когда партийный дух окончательно сформирован, он становится новым принципом народного подхалимства; ведь интерес к борьбе соединяется с интересом к самому делу, ради которого она ведется. Люди делают многое для своей партии, чтобы укрепить и поддержать ее, часто даже в ущерб тем самым интересам, ради которых она была создана.

Когда в законодательном собрании царит партийный дух, оно три четверти времени превращается в собрание безумствующее. Все дела рассматриваются лишь сквозь призму интересов занимающейся ими партии. С обеих сторон выдвигаются пагубные предложения с единственной целью - навредить противнику; полезные инициативы взаимно отвергаются либо из-за подозрительности, либо из-за предвзятости, либо для того, чтобы не дать оппоненту возможности стяжать славу, которой тот мог бы воспользоваться. Обе стороны извращают суть высказанных предложений, приписывая им преступные намерения; в конечном итоге прийти к согласию становится невозможно.

ГЛАВА V. - Влияние ораторов на слушателей.

Огромная беда заключается в том, что ораторский талант распределен между людьми столь неравномерно. Часто красноречивыми оказываются мошенники, а порой и безумцы. В то же время люди мудрые и просвещенные нередко бывают скучными и невразумительными. Даже среди людей, одушевленных одинаковыми помыслами и обладающих равными знаниями, различие в ораторском таланте создает колоссальную разницу в их влиянии. Наконец, у одних и тех же людей способность к речи меняется изо дня в день, от мгновения к мгновению. Не раз случалось видеть, как оратор вяло защищал от слабых возражений предложение, которое сам же решительно выдвинул против могущественных интересов. Говорят, что оружие изменчиво - и это в высшей степени справедливо для красноречия, которое подвержено великим превратностям.

Размышляя о силе воздействия оратора на слушателей, невозможно не испытывать глубокой тревоги из-за того неравенства в распределении этой силы, которое мы только что отметили. *«Если хочешь, чтобы я заплакал, ты сам должен страдать»,* - говорит Гораций. Разве труднее добиться принятия указа, чем заставить рыдать с помощью жалоб и слез? И если оратор плачет от избытка чувств, защищая глупость или преступление, мы рискуем, глядя на него, стать его жертвой или соучастником. Часто приводят великие примеры могущества красноречия; я же приведу примеры повседневные.

Не случалось ли вам встретить шарлатана на бульваре? Он созывает слушателей. Вы приближаетесь, желая лишь взглянуть мимоходом. Вы говорите себе: «Это шарлатан»; вы намереваетесь пройти мимо, но не проходите, а останавливаетесь послушать. Поведение оратора,

разнообразие его оборотов речи, ловкость его ораторских ухищрений, то, как он сам себе выдвигает возражения и тут же на них отвечает - одним словом, его красноречие удерживает вас. Вот пример силы слова.

Красноречие и поэзия, чья мощь не раз проявлялась в том, что они побуждали самых суровых людей на мучительные жертвы ради отечества, тем более способны склонить к самым живым наслаждениям в ущерб общественным интересам.

Кто не испытывал на себе тех иллюзий, которые театр и трибуна могут создать даже для глаз? Сколько крайне некрасивых лиц очаровывали своим выражением, когда они оживлялись и звучал голос! Разве Мирабо, а до него Лекен, не пробуждали страсть во многих женщинах? Разве трудно тем, кто обманывает зрение, обмануть и разум?

Скольким актерам удавалось спасти плохие роли в сносных пьесах или даже вытянуть целые посредственные постановки!

Сколько раз доводилось видеть, как оратор с зычным голосом заставлял выслушивать и принимать пагубный совет, в то время как оратор с глухим и резким голосом дискредитировал самый мудрый совет лишь тем, что сам его произносил? Попробуем объяснить эту почти физическую власть, которую один человек осуществляет над другим.

То, что заставляет нас сопереживать чужому горю, и даже то, что склоняет нас к добродетели социальных чувств; это отпечаток страданий или радостей наших ближних, который проявляется во всех их чертах. Это сила, которую проявляют действия тела, игра мимики, интонации голоса, само очарование языка - всё то, что может восполнить или усилить любые другие способы выражения. Именно эта сила делает нас чувствительными к несчастьям, о которых, как мы знаем, нам лишь рассказывают, и к радостям, которые, как нам известно, лишь имитируются на сцене. Внешнее проявление трогает нас, даже если мы говорим себе: *«В этом нет реальности»*.

В нас заложены два принципа принятия решений: наши суждения и наши впечатления. Это различие сводится к следующему: наш разум и наш инстинкт. По сути, это почти одно и то же. Судить - значит чувствовать; чувствовать - значит судить. Вот единственная разница: суждение состоит из более или менее длинной последовательности сопоставляемых ощущений или, если угодно, из более или менее протяженной цепочки рассуждений, тогда как впечатление - это сокращенное рассуждение. В процессе вынесения суждения в наших делах мы ищем то, что отвечает нашим интересам; в наших впечатлениях мы верим, что уже нашли это. Когда мы судим, мы постоянно заботимся о своей выгоде; в своих впечатлениях мы поражены насущной потребностью, потребностью чувства, взволнованного и встревоженного. Таким образом, чтобы суждение было здравым, необходимо, чтобы память о впечатлениях, которые предстают перед способностью судить, была одинакова для всех, и чтобы разум защищался от эгоизма и исключительности какой-то одной страсти. В разумном суждении все страсти сражаются на равных, все потребности присутствуют, все интересы защищают свои права; напротив, в решениях, принятых под влиянием впечатления, одна потребность, один интерес доминирует над всеми остальными, и текущий момент распоряжается всем будущим.

Поскольку проявление страсти у одного из наших ближних напоминает нам о ней в нас самих или передает её нам и заставляет её преобладать в момент передачи, любое обсуждение у подножия трибуны ставит голосующих под власть внешних проявлений, под иго индивидуальной страсти и подчиняет все интересы, в том числе долгосрочные, одному сиюминутному интересу.

ГЛАВА VI. - Взаимное влияние зрителей или слушателей друг на друга.

Сен-Ламбер в примечании к поэме «Времена года» замечает, что впечатления, производимые речью, спектаклем, пантомимой или музыкальным произведением, гораздо сильнее в большом собрании людей, чем у отдельных зрителей. Мы постараемся объяснить это явление. Сначала послушаем Сен-Ламбера. Вот его слова:

«Сильные и энергичные знаки страстей - будь то жесты, слова, крики и так далее - деспотично воздействуют на наши органы чувств. Они вовлекают в действие своего рода пассивное воображение, которое часто подчиняет себе чувства и покоряет сам разум.

Отвращение, любовь, радость, боль, смелость, страх, чувство смешного и прочее легко передаются от одного человека к другому. Мы почти никогда не видим взволнованного человека, не разделяя его эмоций. В этом кроется одна из причин силы поэзии.

Поэт - это человек страстный, и если он выражает себя правдиво и энергично, если он находит точное слово или образы, пробуждающие массу сопутствующих идей и чувств, если в его теме есть гармония, он неизбежно заставит вас разделить его волнение, если только его сюжет не слишком чужд вашему характеру, вашим занятиям, вашим вкусам и так далее.

Если мы таким образом разделяем эмоцию, страсть одного человека, то еще быстрее и сильнее мы воспринимаем впечатления целого множества людей.

Когда люди собираются вместе, часто возникает стремительный порыв, который передается от одного человека к другому; все сердца становятся чувствительными к эмоциям окружающих. Эмоция возрастает пропорционально количеству тех, кто её разделяет, и силе знаков, которыми собрание выражает это чувство.

Посмотрите, как играют "Заиру" или "Меропу" в Версале, где уважение к монарху не позволяет зрителям проявлять получаемые впечатления; вы будете тронуты меньше, чем в парижском театре, где публика свободно выражает то, что заставляют её чувствовать автор и актер. Прочтите в одиночестве прекрасные сцены Корнеля - вы почувствуете в них меньше возвышенного, чем если бы читали их с немногими людьми со вкусом, или если бы вы слышали их в театре.

В собрании одно и то же чувство передается людям, чье положение, характеры и мнения неодинаковы. Тогда даже самый стойкий философ становится в большей или меньшей степени похож на того здравомыслящего человека, который краснел от того, что проливал слезы вместе с аудиторией, доведенной до плача плохим проповедником; он часто повторял: *Он сам не понимает, что говорит, он сам не понимает, что говорит*, - и тем не менее плакал не меньше остальных.

У него сохранялось по крайней мере достаточно здравого смысла, чтобы чувствовать бездарность оратора; но эти общие впечатления часто смущают суждение даже тех людей, которые обладают им в высшей степени.

Убежденность наших собратьев пробуждает в нас чувство убежденности. Вера - чувство заразительное, и страсти передаются чаще, чем разум.

Поэтому древние, осознававшие эти истины, стремясь говорить с народом, старались скорее разжечь страсти, чем нести просвещение; в их демократиях ораторы первого ранга - Цицероны, Демосфены, Эсхины - использовали силу воображения гораздо больше, чем силу рассуждения. Именно через великие порывы, через патетику и возвышенные образы они подчиняли себе огромное собрание. В них было больше обаяния, чем логики. Они умели внушать, но пренебрегали необходимостью убеждать.

Однако с момента изобретения книгопечатания, когда стало редкостью обращаться к собравшемуся народу, красноречие должно было измениться. Когда пришлось ограничиться тем, чтобы быть прочитанным, возникла необходимость дискутировать и рассуждать больше, чем взывать к чувствам. Поэтому даже наши самые посредственные писатели превосходят в методе и логике величайших ораторов древности. Правда, они значительно уступают им в том роде красноречия, который способен разжигать страсти.

Пятьсот человек, которые прочтут речь по отдельности, будут читать ее хладнокровно. Чувство убежденности, имеющее свои степени силы и слабости, как и все остальные, не превратится в них в безумный энтузиазм или безудержную любовь к собственному мнению. Невозможно разжечь разобщенную публику так, как публику собравшуюся. Книги обсуждают, одобряют или опровергают холодно; именно с восторгом или негодованием принимают или осуждают мнение оратора. Наши мыслители, чьи труды читают, не могут, следовательно,

быть опасными; тогда как у самых просвещенных народов оратор всё еще мог бы внушить толпе свои мнения, страсти и заблуждения».

Каковы причины этих явлений? Мы их уже указывали; теперь мы представим их подробное развитие. Все они сводятся к тем немногим словам того же философа, которого мы только что цитировали, а именно: «Мы устроены так, чтобы жить в обществе, подобно куропаткам, которые живут стаями».

Причина того, что наши впечатления сильнее в большом собрании, чем когда мы находимся в одиночестве, заключается в том, что в собрании мы видим на множестве лиц выражение того чувства, которое нам пытаются передать. Мы никогда не погружаемся в себя столь глубоко, как в тот момент, когда видим знак наших радостей или страданий на лицах других. Их взгляды, движения, даже само дыхание - всё это красноречивые, хоть и бессловесные выражения, которые поддерживают оратора, поэта, музыканта; они повторяют глазам или, скорее, сердцу то, что те говорят глазам и ушам. Они подтверждают это всеми чувствами, внушают это самому разуму; это тысячи ораторов, немых актеров, которые воздействуют на вас одновременно, так же как актер или оратор на трибуне или сцене. Всё это результат строения человеческого лица, которое мы объясняли ранее, и видимости душевных состояний через прозрачность кожи, через мускулы смеха и слез и так далее. Оратор, который появляется на трибуне с печальным видом, огорчает вас еще до того, как заговорит; следовательно, его лицо само по себе обладает властью передать вам грустное впечатление. Тысяча человек, окружающих вас с печальными лицами, должны, следовательно, оказывать еще более сильное воздействие.

ГЛАВА VII. - О воздействии ораторов на самих себя.

Помимо тройного воздействия, которое оратор производит на других, он оказывает его и на самого себя. Мы постоянно видим, как люди проникаются собственными чувствами и идеями через их вокальное выражение; люди плачут, слыша рассказы о вещах, одна лишь мысль о которых была бы недостаточна, чтобы заставить их проливать слезы.

Видели ораторов, рыдающих на трибуне при чтении речей, которые они написали и составили без малейшего подобного волнения; проповедников, плачущих на кафедре во время чтения холодно написанных проповедей; музыкантов, растроганных собственным пением или игрой на инструментах. Сила, которая их волновала, заключалась в интонациях: её невозможно не признать.

Вот анекдот, рассказанный Вольтером и подтверждающий наш тезис (*Философский словарь, статьи «Диодор» и «Геродот»*).

«Герцог де Ла Ферте, желая польстить вкусу аббата Сервьена, однажды сказал ему: „Ах! Если бы вы видели моего сына, который умер в возрасте пятнадцати лет! Какие глаза! Какая свежесть лица! Какой великолепный стан! Бельведерский Антиной был рядом с ним просто китайским уродцем. А какая мягкость нрава! Неужели то, что было самым прекрасным на свете, должно было быть у меня отнято!“ Аббат Сервьен растрогался; герцог де Ла Ферте, распаляясь от собственных слов, тоже расчувствовался; в конце концов оба они начали плакать. После чего герцог признался, что у него никогда не было сына».

ГЛАВА VIII. - Общие выводы из наблюдений, собранных в предыдущих главах.

Из приведенных выше наблюдений следует, что в больших собраниях существуют физические и моральные влияния, абсолютно не зависящие от разума голосующих. Более того, влияния, независимые от разума, могут ему противоречить. Таким образом, в больших собраниях разум подвергается опасности.

Тем не менее, не стоит скрывать эту опасность, но не следует и преувеличивать её; она во многом зависит от времени и обстоятельств. И если, например, верно утверждение Гоббса о

том, что ораторы по своей природе склонны черпать свои средства не в принципах, а в общепринятых мнениях и особенно в господствующих взглядах, то не менее верно и то, что естественное состояние народа - это не страсть, и что в периоды спокойствия и свободы мнений красноречию выгоднее бороться с предрассудками, чем служить им. Оно черпает больше силы и пыла в истине и разуме, чем в заблуждении и глупости. Истина и разум плодовиты; заблуждение и глупость бесплодны. Истина и разум утверждаются в глубине совести, и именно там находится очаг красноречия; заблуждение и глупость - это лишь вынужденные изменения искаженного ума, все движения которого неизбежно неловки и стеснены. Следовательно, в спокойные времена ораторы предпочтут бороться с предрассудками, нежели сражаться против истины; они предпочтут красноречивую энергию мужественной правдивости пустословию постыдной лести, а удачные и смелые порывы добродетельной страсти, возмущенной недостойными препятствиями - конвульсиям притворного или беспорядочного аффекта. Таким образом, вопрос не в том, чтобы предотвратить опасность, исходящую от ораторов, а в том, чтобы, напротив, извлечь из неё выгоду и обеспечить свободу красноречия.

ГЛАВА IX. - О преимуществах больших совещательных собраний.

Если до сих пор большие собрания были мало способны прояснять сложные вопросы, то, с другой стороны, они обладали удивительной силой для претворения в практику общепринятых мнений. Если они не смогли умножить знания, то, по крайней мере, сумели извлечь пользу из приобретенных знаний.

Только большое собрание способно на великие дела. С идеей большого собрания соединяется некое представление о физической силе, которая не может не внушать уважения; я не знаю, какое представление о мудрости заставляет себя почитать, какое представление о доброжелательности привлекает доверие. Что могут сделать частные лица для совершения самых желанных революций, даже если бы эти лица были королями? Смог ли Людовик XV упразднить парламенты, поддерживая ненавистного министра? Смог ли Людовик XVI поддержать свое полное судебное присутствие (*cour plénière*)? Малые корпорации имеют не больше шансов на успех в великих реформах: они недостаточно смелы, если их члены временны, и они рутинны, если те постоянны.

ГЛАВА X. - Способы предотвращения злоупотреблений и извлечения пользы из больших собраний.

Чтобы предотвратить недостатки больших собраний, сохранив при этом их преимущества, необходимо установить такой порядок обсуждения, который: (1) позволял бы всем членам пользоваться своим правом голоса, что, по сути, то же самое, что позволять слушателям пользоваться своим правом на получение информации, а всем гражданам - правом на использование всех способностей своих представителей; (2) предотвращал бы любые злоупотребления словом; (3) предотвращал бы также бессилие частного слова в его средствах воздействия, чтобы сосредоточить внимание голосующих на мотивах их решений. Вот краткий обзор, который я фиксирую на бумаге не как законченный план, а как ряд идей, показавшихся мне достойными рассмотрения и вытекающих, как мне кажется, из самих принципов. Секции анализа ощущений и идей второго класса Института было бы достойно организовать логику Законодательного корпуса.

Любое предложение или ходатайство имеет своей целью либо создание закона, либо отмену закона. Любое ходатайство является предметом вопроса, по которому собрание высказывается «да» или «нет». Если речь идет о создании закона, вопрос сводится к тому, будет ли этот закон полезен. Во втором случае вопрос заключается в том, является ли существующий закон вредным.

Но эти слова «полезный» и «вредный» - понятия расплывчатые. Полезный или вредный в чем и для чего? Если мы хотим прийти к согласию, вынося решение по общему вопросу, необходимо иметь возможность точно объяснить элементы, которые он в себе заключает. Следовательно, именно анализ необходимо внедрить в обсуждения.

Таким образом, первое действие, которое необходимо совершить, - это различить, разделить и классифицировать интересы, которых касается данное предложение. Второе действие должно состоять в том, чтобы разграничить и донести до сведения те преимущества или тот ущерб, который предложение принесет каждому конкретному интересу. Наконец, целью третьего действия будет решение о том, что перевешивает: преимущества или ущерб.

Если интересы, которых касается предложение, вступают в конфликт друг с другом так, что один согласен с предложением, а другой ему противоречит, то четвертая операция, к которой необходимо приступить, заключается в проведении поданализа этих двух противоположных интересов, чтобы выявить в каждом из них все обстоятельства, придающие им наибольший вес, дабы признать, какой из двух должен возобладать над другим.

Я должен объясниться по поводу того, что я понимаю под интересами и каким образом их следует рассматривать. Существуют интересы первоначальные, сущностные, исконные: это те, что проистекают из наших потребностей и составляют наши природные права. Далее существуют интересы производные, которые являются лишь применением первых к какому-либо объекту и осуществлением прав. Последние представляют собой лишь привязанность ума к определенным средствам, привязанность привычек или чувств к определенным вещам, которые считаются способными удовлетворить первоначальные интересы. Эти интересы изменчивы, другие же - неизменны. Эти интересы различны в одном и том же человеке, различны у разных людей, иногда противоположны как в одном и том же человеке, так и у многих; сущностные же интересы, напротив, согласуются в одном и том же человеке и единообразны у разных людей. Эти второстепенные интересы могут даже противоречить природе человека; другие же, напротив, являются результатами его природы и есть сама его природа.

Следовательно, при анализе второстепенных интересов нельзя упускать из виду интересы первоначальные; нужно всегда возвращаться к ним, всегда представлять их как конечный предел, к которому должны приходить все социальные комбинации.

«Сохранение естественных и священных прав человека - вот первый и основополагающий закон. Законы справедливы лишь в той мере, в какой они являются необходимыми и непосредственными следствиями этих прав, так же как действия граждан являются моральными или аморальными лишь в зависимости от их соответствия или противоречия этому принципу. Не существует иного точного мерила добра и зла, достойного и постыдного, справедливого и несправедливого, порока и добродетели ...»[68]

Все эти выражения - «общественная польза», «счастье», «благо народа», «общий интерес» - для того, кто анализирует их точно, означают лишь одно: сохранение прав. Но так как подобный анализ доступен не каждому уму, а сами эти слова туманны, и злоупотребление ими приучило людей слышать их, не связывая с ними четких понятий, то самые деспотичные министры - как в Версале, так и в Константинополе - и самые абсолютные тираны, от Нерона до наших мелких «уличных Неронов», ежедневно использовали их, совершая при этом самые чудовищные злодеяния. Если же заменить эти слова понятиями законов, предложений или актов, соответствующих или противоречащих естественным правам человека, и составить четкую декларацию этих прав, то любое злоупотребление властью, любое искажение истины станет почти невозможным или, по крайней мере, безрезультатным. Таким образом, классифицируя интересы, необходимо всегда ориентироваться на права, которые и являются подлинными интересами - теми самыми, из которых прямо или косвенно вытекают все остальные и к которым их всегда следует сводить.

[68] Он приказал арестовать Жоржа де Ла Тремуйя в замке Шинон, где находился Карл VII, и велел отправить его в цепях в укреплённый замок.

Результатом этих действий, как мне кажется, должно стать решение настолько здравое, насколько человеческое благоразумие вообще позволяет на это надеяться.

Но как гарантировать, что в большом собрании они будут выполняться точно? Вот как: необходимо, чтобы для каждого случая законом были определены три последовательных доклада. Более того, нужно, чтобы существовали три различных комитета, каждый из которых отвечал бы за одну из трех операций и соответствующий доклад. Таким образом, по каждому предложению готовились бы: во-первых, аналитический доклад об интересах, составленный комитетом по анализу интересов; во-вторых, аналитический доклад о последствиях, которые предложение должно вызвать применительно к каждому из этих интересов - это был бы анализ последствий, и такой доклад готовился бы вторым комитетом, который назывался бы комитетом по анализу последствий; и, наконец, третий доклад, который представлял бы собой одновременно сопоставление, проверку и вывод из двух предыдущих, взвешивал бы преимущества и недостатки и предлагал бы окончательное решение. Этот третий доклад был бы результатом работы комитета по принятию решений.

Это еще не всё. Было бы необходимо, чтобы закон обязал собрание принимать декреты по каждому из этих докладов по мере их готовности и до того, как начнется работа над следующим. В противном случае эти труды, выслушанные без должного внимания, оказались бы бесполезными. Декреты, о которых идет речь, назывались бы элементарными декретами.

Что касается первого доклада, потребовался бы первоначальный декрет, заявляющий, что анализ представленных интересов является полным (после того, как он был бы изучен и, при необходимости, дополнен). По второму докладу потребовался бы декрет, заявляющий, что анализ связи предложения с проанализированными интересами завершен (также после его проверки и дополнения), и подтверждающий, соответствует ли данное предложение каждому интересу или противоречит ему. Наконец, по третьему докладу собрание объявляло бы, перевешивают ли выгоды недостатки, или наоборот. Сразу же после этого декрета, без обсуждения, следовал бы финальный декрет, который выносился бы на голосование по принципу «да» или «нет». Само собой разумеется, что по каждому вопросу открывались бы дебаты и заслушивались бы приглашенные ораторы.

ГЛАВА XI. - Последствия предлагаемого метода.

Заметьте, насколько этот метод устранил бы трудности, которые возникают в настоящее время постоянно. Поскольку вопросы четко ограничены, ораторы, которым нечего сказать, кроме туманных фраз, громких деклараций или повторов, просто не выходили бы на трибуну. А ведь людей такого рода - большинство. Устраните их, и достойные люди займут их место.

Обсуждение в каждый момент времени продвигалось бы на шаг вперед; когда один вопрос решен, он больше не путался бы с другими. Путаница стала бы невозможной. Умы, мало привычные к методичности, больше не рисковали бы в конце массовой дискуссии потерять нить рассуждения, перестать понимать суть вопроса, забыть то, что было сказано для его решения, или отбросить здравый смысл, прозвучавший в начале дебатов, поддавшись на ложные, но громко выкрикнутые аргументы в конце.

Красноречие, не теряя своих прав, лишилось бы возможности ими злоупотреблять. Будучи всегда направленным на четко очерченный вопрос, оно не смогло бы ни вводить в заблуждение, ни само обманываться, ни избегать слабых сторон своего дела, ни преувеличивать его преимущества.

Некоторые умы, которым не хватает лишь методичности для изложения полезных взглядов и которые боятся продвигаться вперед только из-за трудности выбора пути, обнаружив, что этот путь, так сказать, уже размечен вехами, находясь в исходной точке и видя перед собой цель, к которой нужно прийти, а также наблюдая обозначенные линии на всем протяжении маршрута, тоже включились бы в работу и привнесли бы в нее ясность.

Обсуждение нельзя было бы закрыть до тех пор, пока оно не было бы действительно исчерпано; при этом оно завершилось бы без мучительной и бесполезной путаницы. Все было

бы рассмотрено, и ничто лишнее не осталось бы без внимания. Всё было бы изучено в свое время и на своем месте. У каждого сложились бы четкие представления обо всех элементах вопроса. И не случалось бы так, как сегодня, когда каждый высказывает мнение по общему вопросу без предварительного анализа, и большинство принимает решение, исходя из доводов, которые они держат при себе (*in petto*). Эти доводы не выносятся на обсуждение и не подвергаются опровержению; это причины, которые они сами бы отвергли, если бы противник смог их оспорить, или те, что заставили бы другого голосующего отказаться от своих аргументов (которые он тоже не озвучил), если бы первые были последовательно изложены.

Можно было бы доказать, что существует множество указов, принятых подавляющим большинством, которые на самом деле не отражают мнения ни одного человека.

Согласно предлагаемому мной плану, невнимательность стала бы невозможной. Каждый, будучи обязан высказаться по базовым вопросам, вынужден был бы ими заниматься. В то время как сейчас, когда в дискуссии всё смешано в кучу, первых выступающих ораторов никто не слушает. Начало дебатов считают потерей времени; зал пустеет, как только они выходят на трибуну; они остаются проповедовать в пустыне. Поэтому в Учредительном собрании никогда не видели знаменитых ораторов на трибуне до тех пор, пока дискуссия не достигала, как говорили, своей *зрелости*, то есть когда всем уже надоедало или становилось стыдно бесконечно слушать рассуждения о предмете, не имея о нем ни малейшего представления.

Мне могут возразить, что при следовании предлагаемому методу обсуждения станут очень долгими. Я отвечу, что, напротив, они значительно сократятся. Секрет краткости, как было сказано сотни раз, заключается в глубоком изучении сути. К тому же указы, принятые поспешно или врасплох, никогда не бывают стабильными. Они всегда дают повод для критики; постоянно возникают препятствия для их исполнения, сомнения в их смысле или протесты против их законности. Я никогда не видел указов, на которые тратилось бы больше дней, недель и месяцев, чем на те, что были приняты в одно мгновение по серьезным вопросам.

Если к этой *организованной логике*, создание которой я предлагаю, добавить материальные условия, которые могут быть необходимы - будь то для того, чтобы ораторов было лучше слышно, для поддержания порядка на заседаниях, обеспечения гигиены в помещении или для предотвращения фракционных сборищ и влияния узких кружков, - тогда мы соберем воедино все возможные средства, чтобы обеспечить развитие национального самосознания, извлечь пользу из его преимуществ и хотя бы ослабить причины его заблуждений.

Мне остается сказать, каким образом после принятия стольких мер предосторожности и соблюдения стольких формальностей при создании законов можно гарантировать их точное соблюдение; и это не самая простая задача. Мы видели, как все регламенты, принятые известными нам национальными собраниями, через некоторое время нарушались и игнорировались. И в самом деле, что сказать большинству, создавшему закон, когда оно хочет от него освободиться? Как заставить его удерживать самого себя теми удилами, которые оно само на себя наложило, если оно больше не желает их терпеть? И что такое удила, которые человек надевает на себя сам и сам же держит поводья? Разве с помощью этих удил, вставленных в рот, поводья от которых находятся в собственных руках, голова подчиняет рот руке? Подчиняется ли она при этом сама себе? Подчиняет ли она всё тело? Конечно, нет, и всё это лишено смысла. Поэтому, когда председатель, являющийся «рукой» собрания, хотел дать почувствовать удила регламента во рту ораторов или крикунов, собрание, являющееся «телом», или, если угодно, большинство, являющееся «головой», говорило: «Я ломаю удила или парализую руку, которая их держит»; и порядок поддерживался лишь благодаря усталости страстей, чувству стыда у заседающих или их свободной мудрости.

Если вы хотите обуздать собрание народных делегатов, то не само это собрание и не один из его членов должны держать бразды правления; это должна делать нация.

Следовательно, необходимо установить, что в законах должно упоминаться соблюдение форм, предписанных для их создания; что в отсутствие такого упоминания любой чиновник и любой гражданин обязаны не признавать акт, представленный как закон; и что если это упо-

минание ложно вставлено в преамбулу закона и десять членов собрания заявят протест против его включения, их претензия будет считаться признанной, если только новым декретом собрание не объявит их протест ложным или необоснованным.

(*«Журнал общественной экономики» от 10 мессидора V года - 28 июня 1797 г.*)

Примечания, которые следует добавить к моему мемуару об организации законодательных собраний

Гражданин Лаплас (из Национального института), с которым я недавно беседовал о пазиграфии и в связи с этим о применении математических методов к моральным и политическим наукам, объяснил мне, как можно свести все вопросы законодательства к задачам на вычисление. Например, если речь идет о законе, затрагивающем интересы сельского хозяйства и торговли, но который не может принести пользу одному, не нанеся ущерба другому (здесь речь может идти только о временном благе, так как долгосрочные интересы этих двух видов деятельности не могут противоречить друг другу), необходимо провести несколько расчетов, чтобы решить, принимать закон или отклонить его.

1. Нужно оценить выгоды с одной стороны и ущерб с другой, чтобы увидеть, равны они или различны. Если бы выгода для сельского хозяйства составляла *единицу*, а ущерб для торговли - *десять*, при прочих равных условиях закон следовало бы отвергнуть. Но равны ли условия в остальном - это другой вопрос.
2. Являются ли интересы сельского хозяйства более значимыми, чем интересы торговли? Другими словами: больше ли людей заинтересовано в торговле, чем в сельском хозяйстве, и наоборот? Каковы их соотношения? Вполне возможно, что земледельцев или лиц, заинтересованных в сельском хозяйстве, в двадцать раз больше, чем купцов и лиц, заинтересованных в торговле. Тогда, в-третьих, следовало бы решить, не следует ли предпочесть выгоду, оцениваемую в *единицу*, но общую для двадцати человек, выгоде, оцениваемой в *десять*, но принадлежащей одному человеку; и, возможно, этого было бы всё еще недостаточно и так далее.

Вчера, 8 нивоза VII года, я беседовал с гражданином Лекультё-Кантелё о законе о конскрипции (призыве), который, осмелюсь сказать, был предложен мной еще до его появления. Поскольку с нами были матери семейств, которые ничего не смыслят в политических соображениях, Кантелё ограничился очень простым утверждением: *«Я утверждаю, что если бы математик определил, как конскрипция меняет шансы на смертность среди молодежи, подлежащей призыву, он обнаружил бы, что она даже уменьшает их, а не увеличивает»*.

Аналитический очерк о различных способах, установленных для обмена мыслями между людьми в обществе.

(Примечание издателя). Следующий фрагмент написан моим отцом. Опубликованный в «Журнале общественной экономики» 30 брюмера V года (20 ноября 1795 г.) как перевод немецкого труда, я не включил его в это собрание. Однако на отдельном экземпляре, который поздно попал мне в руки, я нашел слова, написанные моим отцом: «Вставлено в „Журнал общественной экономики“. Этот труд принадлежит мне». Кроме того, там есть добавление, сделанное его рукой, которое я ввожу в это воспроизведение. Я оставляю два примечания, которые были там с самого начала и которые явно предназначались для поддержки легенды о переводе

немецкого сочинения, так же, как и следующие слова, помещенные в конце: «Продолжение в первом номере», хотя продолжения не последовало; это указание, безусловно, не имело иной цели, кроме как подкрепить вымысел о переводе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. - Общий анализ предмета.

Сам предмет, рассматриваемый в совокупности, предлагает вниманию следующие объекты:

1° Разграничение различных способов коммуникации, используемых в обществе;

2° Значимость каждого из них для членов общества, рассматриваемых как индивидуально, так и коллективно;

3° Злоупотребления, которым они могут быть подвержены;

4° Виды тирании, объектом которых они могут стать;

5° Способы предотвращения злоупотреблений без ущерба для их полезного действия.

ГЛАВА II. - Подробный анализ различных способов коммуникации.

Способы коммуникации, применяемые в цивилизованных обществах, делятся на два типа: основные и вспомогательные.

Основными являются письмо и речь.

Вспомогательные средства включают: почту, общественные экипажи и сигналы для передачи письменных сообщений; собрания - для передачи устной речи.

ГЛАВА III. - Более детальный анализ первого способа коммуникации: ПИСЬМА.

Письмо бывает либо рукописным, либо печатным.

Печатное письмо представлено в четырех различных формах: книги, брошюры, газеты и плакаты.

Рукописное письмо включает три вида текстов: конфиденциальные (например, письма), открытые (такие как мемуары) и публичные (например, объявления).

§ I. Анализ книги.

Книга - это товар, который продается;

Товар роскоши;

Дорогостоящий товар, так как даже самый скромный том стоит столько же, сколько два рабочих дня;

Товар, требующий рекламы в торговле, чтобы на него возник спрос, поскольку появление новой книги нельзя предугадать и она не может быть представлена повсеместно;

Товар, нуждающийся в похвале потребителя, чтобы вызвать интерес, так как его достоинства невозможно оценить заранее;

Товар, чья полезность или удовольствие от которого обычно длятся дольше одного дня или недели;

Товар, потребление которого требует, помимо цены покупки, сосредоточенного внимания и довольно длительных затрат времени, поскольку книгами называют лишь те сочинения, чтение которых занимает более четырех часов;

Товар, который можно одалживать без вреда для него, так как его потребление не уменьшает его основной сути, и одна и та же книга может служить неограниченному числу читателей;

Товар, представляющий интерес для определенного круга лиц;

Товар неоднородный, где одна часть часто нейтрализует эффект другой или, по крайней мере, производит иное впечатление;

Наконец, товар редкий, так как тираж новой книги никогда не превышал 1500 экземпляров.

§ II. Анализ брошюры.

Это тоже товар, но недорогой.
Ее разносят вразнос и выкрикивают на улицах, она распространяется по всем лавкам.
Ее прочитывают быстро.
Обычно она касается актуальных и узких интересов.
Чаще всего она написана простым, разговорным стилем.

§ III. Анализ газеты.

Газета - это также товар, который продается.
Но это товар, в который автор старается включить вещи первой необходимости.
Считается, что она всегда есть в продаже, и о ее существовании напоминают ежедневно.
Она предлагает себя сама.
Она доставляется туда, где в ней нуждаются.
Ее перевозят на самые дальние расстояния и она доставляются самым быстрым способом - через государственную почту.
Она поступает туда небольшими частями и всегда вызывает новый интерес.
Она поступает периодически и регулярно.
Обычно её можно найти во всех общественных местах.
Каждый день каждый пользуется ею, как только она появляется.

§ IV. Анализ плаката.

Плакат вовсе не является товаром; он ничего не стоит читателю.
Он предлагается сразу многим.
Он последовательно предлагается всем гражданам.
Обычно он касается весьма общих и крайне насущных интересов.
Он краток.
Он ясен.

ГЛАВА IV. - § I. Сравнительный анализ книги, газеты и плаката.

Книги - из-за того, что они дороги, их репутация складывается медленно, и они не всегда находятся под рукой; из-за того, что они требуют слишком много времени и внимания, чтобы их читали подряд или в группе собравшихся людей; и поскольку на их чтение всегда есть время, и их дают взаймы и так далее - никогда не читаются одновременно большим количеством людей. Таким образом, когда книга производит впечатление на одного, в сознании другого оно уже стерлось. И поскольку книги длинны, а их тема никогда не представляет собой сиюминутный интерес, и поскольку умы людей не всегда настроены одинаково, а уединение способствует критике или, по крайней мере, возможности размышления, книги не производят на всех читателей одинакового впечатления; они воздействуют лишь на тот круг читателей, которого касаются наиболее непосредственно.

Брошюры, будучи избавлены от большинства недостатков книг, благодаря этому легче проникают в умы и могут по этой причине воздействовать на более широкие массы одновременно.

Газеты, обладая несомненными преимуществами, состоя главным образом из вещей необходимых и новых, имея число читателей неизмеримо большее, чем книжные издания; по-

падая к ним всем ежедневно, в один и тот же час; проникая во все слои общества и во все общественные места; будучи почти необходимой пищей для ежедневных разговоров - они не только воздействуют на огромную массу людей, но и влияют на них сильнее, чем любой другой вид печатного слова.

Успех плакатов зависит от обстоятельств. В периоды волнений и борьбы фракций, а также среди простого народа они являются самым мощным видом печатного слова, так как их природа - собирать вокруг себя толпу; они превращаются в публичную речь в устах какого-нибудь чтеца, который берется декламировать их с нужной интонацией. Вне таких времен и среди культурного народа, ценящего книги, обилие плакатов делает их предметом презрения.

§ II. Сравнительный анализ печатного и рукописного текста.

Печатное издание по своей природе публично; рукопись по своей природе предназначена для частных лиц. Рукопись становится публичной, а печатный текст - секретным лишь по чистой случайности.

ГЛАВА V. - § I. Более подробный анализ второго средства коммуникации: СЛОВО.

Примечание. Мы откладываем публикацию этой главы, так как она слишком велика для того места, которым мы располагаем, и представляет менее насущный интерес, чем то, что касается непосредственно прессы. Эта глава содержит подробнейший анализ различных способов общения с помощью слова, а именно: ПУБЛИЧНЫХ РЕЧЕЙ, ЧТЕНИЙ ВСЛУХ, ДИСКУССИЙ И БЕСЕД; всё это в различных формах собраний, которые автор также анализирует с большой точностью. Он различает СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ и ЗАРАНЕЕ ОГОВОРЕННЫЕ СОБРАНИЯ; последние он подразделяет на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОБРАНИЯ ИЛИ СОБРАНИЯ НЕЗНАКОМЦЕВ (такие как в кафе) и СОБРАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ ИЛИ ОБЩЕСТВА. Он также выделяет среди них те, что имеют ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЦЕЛЬ И ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ (например, религиозные службы или академические собрания), и те, что не имеют иной цели, кроме связи между членами, и не имеют общих мест встреч и фиксированного времени (как, например, клубы без права совещательного голоса и т. д.). Эта глава разъясняет без лишних споров самые сложные политические вопросы, касающиеся народных обществ и домашних кружков; две вещи совершенно разные, но до такой степени плохо различаемые до сих пор, что мы постоянно оказываемся перед выбором: либо наблюдать, как под прикрытием обществ друзей рождаются мятежные союзы, либо видеть запрет дружеских объединений из ненависти к мятежным союзам.

ГЛАВА VI. - Сравнительный анализ УСТНОЙ РЕЧИ и СОЧИНЕНИЙ.

Недавно в одной французской газете напечатали,[69] что издавать - значит говорить публично. Это выражение - не более чем метафора. Печатать - это, несомненно, говорить, но говорить без интонации, без четкого произношения, беззвучно, без жестов, без пантомимы, без действия и без движения.

Это значит говорить для глаз с помощью знаков, лишенных собственного красноречия, знаков неподвижных и немых. Это значит заимствовать чувство, которое не является естественным органом восприятия мыслей ближнего, вместо слуха, чья функция в этом и заключается. Это значит поместить, вклинить между звуками речи и душой, которая должна была бы улавливать их мгновенно, посредника в виде письменного знака - холодного и чисто искусственного. Это значит говорить, не предупреждая слушателей, к которым хочешь обратиться; это значит говорить тем, кто пожелает прийти и послушать.

[69] Эно, 1426, 1427, 1431.

Напечатать книгу вовсе не означает выступать публично, поскольку книгу может читать одновременно только один человек, тогда как речь могут слышать сразу сто тысяч. Издавать газету - это тоже не публичное выступление, так как газеты, хотя их и читает определенное количество людей в одно и то же время, читаются людьми по отдельности.

Только плакат имеет некоторое сходство с речью, произнесенной на публике, так как его могут читать сразу несколько собравшихся вместе людей. Но, по сути, какая огромная разница! Когда оратор выступает публично, между ним и публикой устанавливаются четыре совершенно различных физических воздействия, которые сочетаются и усиливают друг друга: 1-е - воздействие оратора на слушателей; 2-е - воздействие слушателей на оратора; 3-е - воздействие слушателей друг на друга; 4-е - воздействие оратора на самого себя. И когда эти четыре действия совершены, эффекты, которых может достичь оратор, становятся неисчислимыми.

Что же такое теперь афиша? Это, несомненно, нечто большее, чем просто мысль, но, конечно, меньшее, чем живое слово. Это мысль в красках, но не в действии; это мысль высказанная, но не посеянная. Было бы слишком большим преувеличением со стороны тех, кто сравнивает печатное слово с речью, утверждать, будто афиша похожа на механическую фигуру, которая, будучи лишена голоса, могла бы выражаться лишь движением губ. Но мы никогда не согласимся с тем, что афиша и оратор - это одно и то же. В главе, посвященной злоупотреблениям в печатных трудах и в речи, мы увидим, что все эти различия отнюдь не бесполезны и не праздны. И когда речь пойдет о способах пресечения этих злоупотреблений, мы поймем еще яснее, насколько эти различия необходимы для создания мудрых установлений, свободных от недостатков худших, чем сами злоупотребления.

(Продолжение в первом номере.)

О частных обществах, таких как клубы, собрания и т.д. *[Анонсировано в Journal de Paris, 1 фрюктидора VII года. - 18 августа 1799.]*[70]

Нынешние обстоятельства, в которых мы, по всей вероятности, вскоре окажемся, делают крайне важной дискуссию, которая часто начиналась, но так и не была ни углублена, ни завершена - о признаках, по которым можно определить, являются ли частные общества полезными или вредными для общественных интересов, соответствуют ли они Конституции или противоречат ей. Из-за отсутствия этой дискуссии мы постоянно стоим перед выбором: либо наблюдать появление мятежных союзов под прикрытием свободы частных и дружеских кружков, либо видеть запрет частных и дружеских кружков из-за ненависти к мятежным союзам.

Уже в IV году [Республики] Директория в послании к Законодательному корпусу указала на необходимость **определить характер политических обществ или собраний граждан, разрешенных Конституцией; установить число членов, из которых они могут состоять; предписать определенные правила относительно мест и времени их заседаний; установить наказания для тех, кто нарушает или обходит распоряжения властей, на основании которых был произведен роспуск обществ.** Это послание было передано в комиссию; комиссия не подготовила доклад; клубы были закрыты, и, поскольку абсолютный запрет был мерой крайне суровой, они восстановились и стали еще более опасными, чем когда-либо.

Сегодня другое послание требует регламента, способного оградить эти общества от иностранного влияния. Постараемся показать принципы, которыми следует руководствоваться в этом вопросе, и избежим необходимости снова запрещать все виды клубов или терпеть их все без исключения.

Конституция содержит мало положений на этот счет. Статья 360 прежде всего отвергает **любые корпорации или ассоциации, противоречащие общественному порядку.**

---

[70] Буленвилье, «История древнего правительства Франции», т. III, стр. 93 и далее.

Статья 361 запрещает любой ассоциации использовать название «народное общество».

Статья 362 запрещает любому обществу, занимающемуся политическими вопросами, вступать в переписку с каким-либо другим обществом, объединяться с ним, проводить публичные заседания с разделением на членов общества и приглашенных лиц, устанавливать условия приема и участия в выборах, присваивать себе право исключения и, наконец, обязывать своих членов носить какие-либо внешние знаки принадлежности к ассоциации.

Вот и всё, что содержится в Конституции относительно **обществ политических дискуссий**, которые в послании IV года неточно назывались **политическими обществами**. Этих статей, несомненно, было бы достаточно, чтобы санкционировать закрытие любого собрания, которое проводило бы публичные заседания и допускало бы присутствие лиц, отличных от членов общества, и так далее. В самом деле, раз статья 360 устанавливает, как мы только что видели, что не может **быть создано** ни корпораций, ни ассоциаций, противоречащих общественному порядку, а две последующие статьи имеют целью лишь перечислить некоторые основные обстоятельства, по которым можно признать корпорацию или ассоциацию противоречащей общественному порядку, то смысл статьи 361 явно заключается в том, что **не может быть создано общество для политических дискуссий, проводящее публичные заседания.** Как необходимое следствие из этих двух статей, понятых таким образом, любое общество, совершившее подобное нарушение, должно быть не исправлено, изменено или реформировано, а **распущено**; ибо закон, гласящий, что подобное учреждение **не может быть создано**, косвенно утверждает, что оно не должно существовать, и, следовательно, должно быть ликвидировано, если, вопреки закону, оно все же возникло.

Однако от этих статей далеко до создания эффективной системы надзора; они оставляют широкое поле деятельности для законодательных актов; они нуждаются в развитии, пояснениях и дополнениях, чтобы сформировать регулярную и полную систему пресечения злоупотреблений со стороны частных обществ.

1. Перечень обстоятельств, делающих эти общества вредными для общественного порядка, является неполным;
2. Среди тех, что указаны в законе, есть крайне неясные;
3. Закону не хватает гарантий из-за отсутствия наказания за любое сопротивление законному роспуску запрещенных обществ или за любую открытую или скрытую попытку их восстановления после роспуска.

Прежде чем переходить к деталям, попробуем установить некоторые принципы, касающиеся природы частных обществ для политических дискуссий.

Непосредственным и необходимым следствием свободы является право граждан объединяться в **общества, основанные на доверии и дружбе, чтобы беседовать и вместе просвещаться по любым темам,** и особенно на их социальных и политических интересах.

В целом можно утверждать, что право создавать тесные союзы в неопределенном пространстве общего общества проистекает из потребности в наставнике и опоре для нашей интеллектуальной деятельности, служа своего рода защитой и гарантией безопасности наших внешних действий. Это право развивать дружбу в себе и в других; право объединяться с объектами нашей привязанности; право обучаться самыми мягкими и надежными способами; право совершенствовать наши способности к наслаждению, а также средства приобретения или сохранения предметов, приносящих нам удовольствие; право оплодотворять наш разум и чувства друг через друга; короче говоря, право черпать знания в лоне дружбы, а дружбу - в лоне знаний. Эта двойная потребность в дружбе и просвещении и является той связью, которая объединяет тесные сообщества. Эти сообщества, которые в естественном порядке следуют сразу за супружескими и семейными союзами, являются в некотором роде браками разных умов или, скорее, сближением людей, уже объединенных родством духа и характера, еще до того, как они узнали друг друга. Вот что представляют собой в целом и по своей сути тесные сообщества, которые Конституция и законы не только разрешают и защищают, но также должны уважать и поддерживать.

Политические дискуссионные клубы - это лишь часть таких сообществ, всего лишь один из их видов. Если закон отличает их от обществ, ведущих моральные или литературные дискуссии, то не столько из-за важности обсуждаемых ими предметов, сколько потому, что эти политические дискуссионные клубы в некотором роде примыкают к политическим корпорациям через мысль, а мысль естественным образом ведет к действию. Поскольку действие может принадлежать только общественным институтам, представляется необходимым установить между мыслью частных обществ и действием барьер, который делает последнее невозможным для первого.

Прежде чем делать выводы из этого принципа и говорить о частных особенностях, по которым закон может признать тесные сообщества, давайте отбросим ложные идеи, распространившиеся о целях политических дискуссионных клубов.

Мы сказали о том, чем они являются по своей сути; теперь, прежде чем идти дальше, давайте посмотрим, чем они не являются.

Долгое время утверждалось, что их цель - наблюдать, инспектировать, подвергать цензуре, обличать, просвещать законные власти, защищать перед ними или против них граждан, у которых есть повод для жалоб, быть органами народа при его представителях и правительстве, а также представителями или органами правительства при народе.

Во всем этом столько же нелепостей, сколько и слов. Всё, что приписывается этими фразами частным обществам, является либо общественными функциями, либо актами правосудия, либо осуществлением индивидуальных прав.

Цензура, обличение, просвещение государственных чиновников - это задачи прессы, устного слова, петиций; но использование слова и петиций - это индивидуальные права, которые могут осуществляться только под личную ответственность. Инспекция и надзор - это акты высшей и установленной власти. Наблюдать - значит бодрствовать, что является правом личности; но осуществлять надзор (*surveiller*) означает наблюдать свысока, с позиции более высокой, чем та, за которой наблюдают; инспектировать же означает смотреть столь же высоко и проникать в самую суть государственных дел, а это уже разделение власти. Защищать граждан от власти - это задача вышестоящих органов; или же, если необходимо защитить их от самой высшей власти, то именно к обществу в целом, к нации, и только к ней, открыто обращение угнетенного.

Если бы вам понадобились многочисленные сообщества для предотвращения посягательств правительства, чьи главы назначены народом и подчиняются законам народа во всех своих действиях, я спрашиваю: как бы вы потом предотвратили посягательства самого этого сообщества, которое, не имея иных правил, кроме своих собственных, не имея иных голосов, кроме голосов своих членов, не имея иного тормоза, кроме того, который оно само себе установит, и иного направления, кроме своих прихотей, могло бы в любой момент использовать силу, данную ему для защиты личности от власти (или власти от личностей), и которое, будучи выше и тех, и других, вскоре могло бы подавить их всех.

Самое тяжкое оскорбление, которое можно нанести свободному правительству, - это предположить в нем необходимость существования частных обществ для защиты личности. *«В защите со стороны частных обществ нуждаются лишь там, где общество в целом не обеспечивает защиту; не требуется поддержки собратьев для безопасности там, где есть сограждане. Нет нужды объединяться для отражения государственной силы, кроме тех случаев, когда применение этой силы обычно является лишь узаконенным насилием; подобное случается лишь в странах, где большие дороги настолько небезопасны, что путешественникам приходится собираться в караваны»*. - Шамфор.

Вернемся же к самой сути принципа, пробившись сквозь туман, в который он так долго был окутан, и повторим:

В рамках общества в целом частные объединения могут существовать лишь ради двух неразрывно связанных преимуществ: возможности получать знания в атмосфере дружбы и возможности наслаждаться дружбой в процессе получения знаний.

В этих немногих словах заключены все условия, характеризующие закрытые дискуссионные клубы, которым закон должен гарантировать безопасность и защиту и которые он отличает от тех, что заслуживают его осуждения. Именно из этого принципа вытекают положения конституционного закона и те, что были в нем опущены.

Прежде всего, из этого следует осуждение самого названия «Народное общество». Ведь это название либо подразумевает «Общество самого народа», и тогда оно применимо только к самому народу, то есть к нации; либо же оно означает «Общество друзей народа», но народ уже создал для своих нужд те институты, которые он сам учредил, и это единственные объединения, которые он готов признать защитниками своих прав. Наконец, под этим определением может пониматься группа людей определенного класса, претендующая на то, что они являются «в большей степени народом», чем остальные, и связывающая особое право с определенным происхождением. В таком случае «народные общества» - это лишь возрождение и освящение нового патрициата: патрициата, ставшего хищническим по нужде, как прежний был таковым по привычке, и жестоким по невежеству, как прежний - по испорченности. Следовательно, ни в одном из этих смыслов народные общества нельзя рассматривать как закрытые объединения для дружбы и просвещения.

На этом же принципе основан запрет закона для обществ политических дискуссий вступать в переписку с какими-либо другими обществами, объединяться с ними или обязывать своих членов носить внешние знаки отличия. Все это - физические действия, внешние проявления. Но право на действие принадлежит не союзам, основанным на дружбе и обучении; такие общества могут приносить лишь интеллектуальную и моральную пользу, они объединяют только умы и сердца. У них нет, если можно так выразиться, ни рук, ни ног. Право на действие закреплено за политическими объединениями; только они управляют делами, распоряжаются общественным имуществом и имеют право приводить что-либо в исполнение. Ведь первоначальный смысл, заключенный в слове «администрация» (управление), - это руки (*manus*), задействованные в общественных делах. Переписка, установление связей - это действия не только внешние, несовместимые с существованием, которое по своей сути должно быть лишено внешней активности, но и действия, чуждые дружбе и просвещению. Дружба не может существовать между корпорациями или обществами; ее и так достаточно сложно встретить между отдельными людьми.

На этом же принципе основан и законодательный запрет для дискуссионных обществ проводить публичные заседания, состоящие из членов общества и слушателей, отделенных друг от друга. Помимо опасности, которую подобное учреждение представляет для общественного спокойствия, и того неудобства, что оно дает бунтовщикам и интриганам возможность создавать фракции, предлагать тщеславным ораторам аудиторию, льстить им в ущерб истине и справедливости, внушать слабым или робким ораторам страх перед презрением или несправедливостью за их здравые суждения, закон счел, что присутствие посторонних на дружеских и доверительных беседах неизбежно разрушает и то, и другое. Обществам, созданным для обучения и дружбы, необходимы сосредоточенность и интимность для достижения своих целей. И действительно, человек не выставляет себя напоказ, когда хочет насладиться общением с самим собой и своими друзьями; ради таких радостей разум и сердце всегда велят одинаково тщательно избегать суеты тщеславия, стеснения, вызванного скромностью, и скованности, порожденной робостью.

Именно в силу тех же принципов закон запрещает обществам устанавливать условия приема и участия в выборах, а также присваивать себе право на исключение членов. Однако это положение нуждается в пояснении: его смысл не вполне ясен.

При изолированном прочтении этой нормы могло бы показаться, что дискуссионные общества должны быть открыты для всех и что никого нельзя из них исключить, если человек уже был однажды принят.

Тем не менее очевидно, что намерения законодателя были совсем иными, иначе закон противоречил бы самому себе. В самом деле, что это было бы за общество, членом которого мог бы стать любой гражданин? Это было бы народное общество, это был бы весь народ, весь

социальный организм. И где бы могло заседать такое общество? Разумеется, на городской площади, но и там это было бы невозможно. Однако закон запрещает народные собрания, называемые сборищами, и даже сами «народные общества»; следовательно, смысл рассматриваемого положения, если брать его в отрыве от остальной части закона, не является его истинным смыслом.

Заметим также, что сам принцип дискуссионных обществ был бы напрямую нарушен законом, который обязывал бы их принимать неограниченное число участников. В собрании, сформированном таким образом, нельзя было бы увидеть «общество» - лишь скопление чужих друг другу, безразличных или незнакомых людей. Было бы большой удачей, если бы такое место не превратилось со временем в постоянную арену для встреч врагов, вступающих в кровопролитные и упорные схватки или, по меньшей мере, в скандальные потасовки.

Нам представляется необходимым, чтобы в обществе, основанном на дружбе и просвещении, каждый участник находился там с согласия всех остальных. Требуется взаимное доверие, ничем не ограниченное общение в рамках частного объединения, чтобы оно приносило какую-то пользу помимо той связи, которую граждане поддерживают друг с другом через прессу и другие средства, предоставляемые обществом в целом. Сущность любого общества заключается в согласии всех его членов; я имею в виду любое общество, от великого национального союза до самых малых торговых товариществ. Социальный контракт, по словам Руссо, требует согласия всех участников.

К тому же, это принцип вечной юридической очевидности: никого нельзя обязать вступать в общество или оставаться в нем, если он того не желает. То, что является основополагающим для политических или деловых союзов, возможно, еще более справедливо для обществ, основанных на дружбе и доверии.

Кроме того, существовала бы серьезная опасность, если бы частное общество могло состоять из людей, для приема которых достаточно лишь воли большинства членов. В любом обществе, где не требуется единогласного одобрения, честолюбие и тщеславие находят прекрасную почву для скорого раскола на две партии. Как только возникают две партии, прием новых членов происходит лишь в угоду наиболее многочисленной из них. Это уже батальон, который заботится лишь о собственном усилении, а не круг друзей, принимающих других друзей в свой мирный союз. Меньшинство вскоре вынуждено отступить; и едва большинство становится полновластным хозяином положения, как честолюбие, тщеславие и интриги порождают новые фракции, которые возобновляют ту же войну, где одна группировка вытесняет другую. Разве вы хотите, чтобы смутьяны могли спекулировать на делах частных обществ? Сделайте так, чтобы они не могли найти, если можно так выразиться, ни одной лазейки для проникновения туда.

Какой же смысл следует вкладывать в текст закона? Разумеется, следующий: «Ни одно общество не может требовать соблюдения определенных политических или гражданских условий для приема членов в свои ряды и не может объявлять об исключении под предлогами, основанными на определенном статусе, политическом или гражданском положении». Это означает, что для членства в клубе нельзя требовать наличия определенного статуса или титула, и никого нельзя исключить на подобном основании.

Нет ничего более мудрого, чем закон в таком толковании. Из этого, среди прочих полезных последствий, вытекает, что народные общества не должны превращаться в корпорации, равно как и создаваться внутри существующих организаций. Ведь что представляли бы собой общества внутри корпораций или частные общества, объединяющие отдельных лиц, назначенных законом для совместного исполнения публичных функций? Это было бы не что иное, чем просто фракция внутри корпорации; ведь закон, объединив всех членов этой корпорации равными узами ради равного общения в рамках общей и равной службы, не оставляет для некоторых из них никакой необходимости объединяться в частное общество, кроме как для преследования личных целей и привлечения к ним своих коллег. Поскольку они объединены по назначению, при котором их взаимные симпатии не учитывались, они не могут основы-

вать частное общество внутри корпорации, членами которой являются, на почве тесной привязанности. Скажем же так: подобно тому как в недрах большого общества не могут образовываться стихийные корпорации, так и внутри уже созданной корпорации не могут возникать малые общества.

Следовательно, необходимо, чтобы та часть закона, о которой мы говорим, была сформулирована более точно для лучшего обозначения её цели. Было бы уместно добавить в неё положение, которое среди условий признания законом частного общества достойным общественной защиты указывало бы на следующее важнейшее требование: для вступления в такое общество каждому участнику необходимо согласие всех остальных его членов.

Мы только что увидели, как этот принцип обосновывает положения конституционного закона; посмотрим теперь, не требует ли он и других мер.

Очевидно, что закон сделал недостаточно ни для общественной безопасности, ни для соблюдения самого принципа, запретив лишь аффилиации, переписку и внешние знаки отличия. Эти разрозненные меры иллюзорны. Какой смысл запрещать почтовую переписку между обществами, если они могут договориться через признанную ими газету, где будут публиковать свои решения? Какой смысл запрещать им внешние знаки, если они могут образовать настолько огромную массу людей, что у них хватит сил растоптать и запрет, и самого представителя власти?

Необходимо, чтобы закон, согласуясь с этим принципом и, в некотором роде, под его диктовку:

1. Ограничил число участников;
2. Запретил им принимать любые резолюции и проводить любые обсуждения, за исключением внутренних дел самого общества.

Когда не будет ни резолюций, ни обсуждений, ни коллективного волеизъявления, не возникнет повода для переписки, не будет и предмета для аффилиации; следовательно, не будет ни того, ни другого.

Когда число участников будет ограничено тем пределом, который предполагает дружеский интерес и позволяет непринуждённость беседы - то есть сорока или пятьюдесятью членами, - не нужно будет опасаться ни влияния этих обществ на политическую власть, ни нарушения общественного порядка.

Прошу вас оценить важность этих двух мер, и прежде всего - ограничения численности.

Очевидно, что общество, основанное на дружбе и обучении, не должно быть настолько многочисленным, чтобы его члены не могли знать друг друга и близко общаться между собой. Говорить об обществе из двух или трех тысяч, или даже из двух или трех сотен друзей - это насмешка над дружбой. Что подумали бы об этом греки, у которых были столь прекрасные союзы для совершенствования своего разума и души? Что сказал бы об этом Сократ, который считал дом, казавшийся равнодушным людям слишком тесным, огромным для настоящей дружбы? Кроме того, собираться в толпу - это странный способ вести беседу или дискуссию, особенно в такой стране, как Франция, где умение слушать встречается не реже, чем умение хорошо говорить; где легкомыслие всегда побуждает отказывать другим во внимании, а тщеславие - требовать его для себя; где пустословие вечно портит разговор, а порывистость и бесцеремонность частых перебиваний служат единственным ответом на это пустое многословие!

Заметьте также, что в обществе из сорока человек тратится меньше времени на беспорядочные движения и полицейский надзор, чем в более многочисленном. Кроме того, множество разумных и просвещенных людей, которым робость или слабый голос мешают выступать перед огромной толпой, смогут высказаться в небольшом кругу. Те, кто захочет слушать, будут меньше отвлекаться и станут менее восприимчивы к пагубному влиянию толпы. Наконец, мнения будут более свободными, будучи избавлены от той, зачастую рабской, угодливости, которой ораторы предаются перед многочисленной аудиторией, влияющей на них ничуть не меньше, чем они сами влияют на неё.

Ограничение числа участников сорока членами стало бы мерой более популярной, нежели разрешение создавать неограниченные сообщества, поскольку это способствовало бы

росту числа малых объединений; а ведь ничто так не содействует формированию общественного сознания и распространению полезных знаний, как *великое множество малых обществ*.

Ограничение численности участников препятствует зарождению кастовости, духа сектантства, корпоративности или узких интересов частного кружка внутри общества в целом, а также мешает преобладанию семейных интересов над общественными. В многочисленном объединении ум легко привыкает доверять лишь своим, искать в своей среде исключительную опору и защиту, обходясь без благосклонности общества в целом, отгораживаясь от него и даже проявляя дерзкое противостояние.

Таковы наблюдения, на основании которых мы считаем себя вправе заключить: закон должен признавать в качестве обществ для политических дискуссий лишь те, в которых число участников не превышает сорока или пятидесяти человек. Теперь я обосную полезность своего предложения запретить обществам любые совместные постановления, обсуждения или коллективные волеизъявления. Прежде всего, сама суть союзов, созданных для дружбы и обучения, несовместима с принятием коллективных решений по политическим вопросам, особенно в смутные времена.

В самом деле, формирование коллективного мнения стало бы фактически запретом на личное мнение участников. Если существует мнение большинства, четко зафиксированное и скрепленное печатью, то мнение меньшинства уже одним этим обрекается на своего рода порицание. Те, кто разделяет последнее, всегда будут испытывать определенное унижение и, возможно, подвергаться еще более серьезной опасности за то, что не разделили общую точку зрения. Более того, каждый внутренне противится смене убеждений, несмотря на новые доводы, как только его позиция уже была официально учтена. Возникают опасения в изменчивости и непоследовательности; таким образом, свобода страдает в самом лоне того собрания, которое должно было стать ее святилищем.

Формирование коллективного мнения в патриотических обществах - это не только тирания над убеждениями их членов, но и попытка диктовать волю общественному мнению в целом. Последнее же должно состоять лишь из совокупности индивидуальных мнений граждан и может рождаться только бесшумно и спонтанно, в атмосфере просвещения и свободы. Группы сторонников, сект или партий без труда сумеют подавить его и не дадут ему проявиться, если обществам будет позволено громогласно и авторитетно излагать свою волю.

Однако в этом отношении одно-единственное замечание снимает любые возражения: запретить обществам совместные обсуждения - значит предотвратить любые коалиции между ними, любые связи, переписку, любые посягательства на установленную власть, любую оппозицию правительству, любые фракционные или мятежные маневры. Одним словом, это позволяет достичь того, чего не смогли бы добиться и сто других статей декрета.

В Англии, в Швейцарии, в свободных городах Германии существуют кружки, собрания или сообщества того же рода, о которых идет речь. По правде говоря, их численность иногда превышает пятьдесят человек, но места их сборов открыты в течение всего дня, каждый приходит туда в удобное ему время, и все участники никогда не собираются там одновременно. Дискуссии там никогда не носят общего характера и не привязаны к определенному дню. В мире не существует примера того, чтобы существовали частные, неофициальные общества для политических дискуссий, проводящие собрания в строго установленные часы и насчитывающие более пятидесяти членов.

Руссо в своем письме к д'Аламберу о Женеве подробно излагает все преимущества, которые республика извлекает из созданных там клубов или кружков, и дает ясное представление об их природе.

«Эти достойные и безобидные установления, - говорит он, - *объединяют в себе все, что может способствовать воспитанию в людях друзей, граждан и воинов, и, следовательно, лучше всего подходят свободному народу. Внимательно вчитайтесь в эти слова и поищите затем в его труде, проводят ли в этих кружках обсуждения и принимают ли постановления, которые дают столь благие результаты, и состоят ли они из нескольких тысяч граждан. Читайте, и вы увидите, что там ограничиваются игрой, выпивкой, курением, беседами, чтением, любят*

предаваться серьезным и глубоким раздумьям, основными темами которых являются родина и добродетель... и что эти общества состояли из ДВЕНАДЦАТИ ИЛИ ПЯТНАДЦАТИ ЧЕЛОВЕК».

К советам вечного разума здесь добавляются требования обстоятельств, или, вернее, их властные угрозы. Нам надлежит рассмотреть частные общества не только сами по себе или в их отношениях с любыми правительствами, но и в их отношениях с республикой, причем с республикой, находящейся еще в колыбели.

Фракции - это болезнь республик, не обязательная, но обычная. При тираническом правлении народное общество - это лишь союз, объединившийся ради общественного спасения, и участие в нем почетно для его членов; но в условиях республики такое общество - не что иное, как организованная фракция, и иным оно быть не может. То, что по своей природе является мощным инструментом революции, именно поэтому становится препятствием для любого конституционного устройства. То, что по своей сути стремится разрушать и низвергать, представляет огромную опасность там, где нужно лишь сохранять и созидать.

Несомненно, никто не станет отрицать, что свойство народных обществ - именно разрушать. *«Ассоциация, с одной стороны политическая, а с другой - лишенная власти, в силу потребности в деятельности, неотделимой от всего живого и сильного, стремится обрести эту власть. Не находя возможности применить свои силы ни к чему вне себя, так как государственное устройство не оставляет ей никакой работы, она может проявить активность лишь через дезорганизацию»*. Опасность фракций особенно велика при рождении республики. Для нее уже само по себе является серьезной угрозой недовольство, охватившее множество испорченных душ после полезных перемен. Стоит ли поощрять их объединение, их брожение, их союзы? Нужно ли собирать в армию то, что случайности общественной жизни держат разрозненным? Нужно ли объединять в массу убийственные силы, которые, к счастью, инертны из-за своей разобщенности? Какая политика может заключаться в том, чтобы по собственному желанию создавать средства для своего же уничтожения?

И речь сейчас идет не только о спокойствии Республики, но и о спасении свободы. Разве вы не знаете, что этот мощный рычаг революций сотрясает и переворачивает политический организм не по воле самого народа, а по прихоти первого же честолюбца, сумевшего им завладеть? Именно великий клуб, возглавляемый поначалу Кромвелем и рыцарем Вейном, пошатнул и низверг наследственную монархию в Лондоне; но этот же самый клуб затем основал тиранию Кромвеля. Точно так же и якобинцы свергли монархию во Франции, а затем восстановили ее для Робеспьера и его достойных приспешников.

Законодатели, высшие должностные лица Республики, положите конец тревогам, которые бесконечно порождают эти ужасные воспоминания. Дайте нации то единственное благо, которое вы сейчас в силах ей обеспечить: надежду на скорое счастье и уверенность в завтрашнем дне.

Закройте любое общество, нарушившее Конституцию; четко разъясните статью Конституции, устанавливающую условия приема и основания для исключения. Добавьте к конституционным положениям следующее: закон признает частным обществом для политических дискуссий только то, где каждый участник выбирается всеми остальными, число членов которого не превышает пятидесяти, а дискуссии, всегда оставаясь свободными, не приводят ни к каким коллективным решениям, голосованиям или общим мнениям. Объявите о роспуске любого общества, которое выйдет за эти рамки; и, наконец, пусть любое собрание, которое вновь сформируется после законного роспуска, преследуется как мятежное.

Свобода печати

1
БОДЕН, НАРОДНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, - ГРАЖДАНИНУ РЕДЕРЕРУ.
Париж, дуоди, 12 флореаля III года (1 мая 1795 г.).

Понимание того, в каком направлении движется общественный дух, гражданин, - насущная необходимость для законодателя, поскольку это облегчает исполнение его обязанностей. Эта потребность заставляет его дорожить любыми способами её удовлетворения, и тем сильнее, чем реже они встречаются и чем труднее становится выбор. Поскольку сам он лишен возможности наблюдать за всем лично, он крайне нуждается в сторонних наблюдениях, на которые мог бы положиться. Не бойтесь, что я, будучи щедрым на академические похвалы, хочу продемонстрировать или пообещать вам слепое доверие к вашим статьям об общественном духе. Напротив, именно из-за убедительности вашей логики я оставляю за собой все права своего разума, признавая лишь те ваши выводы, в которых вам удалось меня убедить. Однако само это здравомыслие крайне полезно для меня, и я огорчен тем, что ваши статьи становятся редкими и, если говорить прямо, даже ниже ваших собственных возможностей.

В тот самый момент, когда я задаюсь вопросом, что же могло так парализовать вашу энергию и талант, я узнаю, что двенадцать революционных комитетов Парижа одновременно подписались на вашу газету. Если этот слух ложен, его нужно публично опровергнуть, так как он быстро распространяется, а свидетелей слишком много, чтобы его замолчать. Если же это правда, то ситуацию необходимо прояснить. Неужели кто-то захотел предоставить этим комитетам средство для просвещения? Поддержите столь похвальное намерение, пишите смелее! Эти коллективные подписки станут для вас лишь дополнительной гарантией свободы.

Неужели кто-то посмел бы утверждать, что за теми, кто специально уполномочен поддерживать общественное спокойствие, установлен надзор? Неужели свобода печати перестанет быть безграничной? При одной этой мысли во мне вспыхивает негодование, и я бы воззвал ко всем свободным людям. Свобода печати породила Марата и Руайю; но порабощение прессы породило Робеспьера и Барера, и малейшее посягательство на неограниченное право свободно писать - это шаг в сторону тирании. И, в конце концов, разве Марат, проповедник анархии, или Руайю, панегирист деспотизма, установили власть того или другого? Своей безнаказанностью оба они обязаны лишь слабоволию судов и преступному покровительству фракций. Ведь закон настиг бы их, наказал бы их бесчинства, - а когда люди боятся повторения подобных злоупотреблений, они, очевидно, забывают, что существуют законы.

Неужели мы окажемся ниже кардинала Мазарини, который, будучи священнослужителем, итальянцем и абсолютным министром, обладал достаточным здравым смыслом, чтобы произнести известную фразу: *«Пусть говорят, лишь бы давали нам делать своё дело»*? Неужели мы окажемся ниже Старого порядка, который устами Фигаро на театральных подмостках провозгласил истину: *«Только мелкие людишки боятся мелких статеек!»*? Я видел, как 10 августа 1792 года разбивали в щепки типографские станки «Всеобщей газеты» (*Gazette universelle*), в которой, честью клянусь, не прочел ни строчки. Драгоценные литеры подбирали прямо в сточных канавах при свете фонарей - их уносили, как говорили тогда, словно трофеи в память о победе патриотизма над аристократическим изданием. Недоумки! Разве те семь или восемь тысяч экземпляров, что тогда печатались, помешали событиям 10 августа?

И эта «славная» расправа над газетами (среди которых, кажется, и ваша удостоилась чести быть разграбленной) - не была ли она прелюдией к сентябрьским казням, к гнусному господству Робеспьера, к избирательному собранию и к тем бесчинствам, которые творил децемвират? Ведь подавив всех тех, кто мог писать, они закончили тем, что перерезали горло народным представителям, в которых мужество сочеталось с великим талантом говорить.

Люди, позволяющие гасить свет, будут принесены в жертву во тьме!

Я видел также 10 марта 1793 года, когда готовился заговор против национального представительства, как отряд бандитов направился к дому несчастного Горса, чтобы разгромить его типографию. Средство вполне соответствовало как самой цели, так и её исполнителям. Я видел и Дюко - этого молодого человека, вызывающего интерес как своими ранними познаниями, так и патриотизмом и благородством характера. Он пал жертвой мести, вызванной «Хроникой», которую так ненавидел Робеспьер! Кондорсе и Рабо были объявлены вне закона за сотрудничество в этом издании, а участие в нём Делоне из Анжера стало в глазах тирана решающим поводом для его гибели. (См. бумаги, найденные у Робеспьера и напечатанные после его смерти). А несчастный Камиль [Демулен] - разве он не был признан федералистом за то, что обнаружил сходство между мрачной и подозрительной недоверчивостью Тиберия и угнетающей плодовитостью категории «подозреваемых» - сходство столь едкое и столь верное?

А вы сами, Гражданин, разве не были вы вынуждены после 31 мая полностью оставить газету, в которой во время борьбы, предшествовавшей этому рождению тирании, вы так и не смогли развернуться в полную силу? Именно потому, что мы были свидетелями всех этих ужасов, мы должны осмелиться на всё, испробовать всё и сделать всё, чтобы не допустить их повторения. Я требовал свободы вероисповедания, я призываю к свободе прессы; я буду требовать свободы мнений, свободы - всегда и во всём. Пусть действиям правительства придадут всю необходимую интенсивность, всю энергию, которой требует трудность обстоятельств - я этого желаю и я сторонник этого: оно не может обладать чрезмерной силой против фракций. Но пусть никто не заблуждается, полагая, что фракции опасны, когда они пишут: повторю ещё раз, суды созданы для того, чтобы вершить над ними правосудие. Их следует бояться, когда они плетут заговоры в тени. Я питаю ко всем им непримиримую ненависть: к роялисту - потому что он стремится подчинить меня произволу одного человека; к анархисту - потому что он хочет сделать меня рабом прихоти многих. Я решил подчиняться только воле всех, то есть закону, который гарантирует мне - даже при революционном и временном правительстве - свободу писать и повторять вслед за нашим добрым Лафонтеном то, что он когда-то напечатал с официального одобрения и дозволения: «Наш враг - это наш господин».

Привет и братство. **П.-К.-Л. БОДЕН.**

P. S. Моё письмо уже было написано, когда я получил ваш сегодняшний лист. Вы приподнимаете в нём завесу, которая, кажется, грозит вновь скрыть свободу прессы. Этого недостаточно: её нужно разорвать и уничтожить. Если бы она обрела плотность, вам вправе были бы сказать: «Ты спишь, Брут!».

(Journal de Paris от 14 флореаля III года - 3 мая 1795 г.)

2
ДРУГОЕ ПИСЬМО ГРАЖДАНИНА БОДЕНА, ПОЛУЧЕННОЕ МНОЮ ЧЕРЕЗ ТРИ ЧАСА ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО.

Дуоди, 12-е, вечер.

Утреннее обсуждение свободы прессы было очень бурным, и разговоры между депутатами не могли не быть весьма оживленными. Я анализировал в кругу своих соседей письмо, которое написал вам сегодня утром, и возмущался по поводу двенадцати одновременных подписок, когда один из членов правительственных комитетов сказал мне самым честным тоном:

— Я признаю этот факт, он касается лично меня; это я спровоцировал его, и именно по моему совету эта мера была принята. К каким размышлениям это даёт повод?

Я предложил свою дилемму: опровергнуть меня, если меня обманули; объяснить, если мне сказали правду; поддержать мою благоприятную интерпретацию, к которой я склоняюсь, или же ожидать с моей стороны протестов, которые ничто не остановит - разве что меня лишат возможности их продолжать. Ибо я скорее расклею письмо на стенах как афишу, чем промолчу о подобной обиде.

— Ну что ж! - ответил он. - Вот объяснение: поскольку революционные комитеты Парижа на сегодняшний день составлены превосходно, а полиция обязана им очень многим, и их мнение решительно высказалось против деспотизма и анархии, я решил помочь им и укрепить их, подписав их на газету, с автором которой я не поддерживаю личных отношений, но который исповедует чистые принципы, проявляет твердость и талант. Я хотел выразить ему особый знак уважения.

Гражданин, я не только получил разрешение, но и был приглашен передать вам это разъяснение. Оно должно доказать вам, что правительство, отнюдь не препятствуя свободе печати, умеет отличать писателей, столь же мужественных в ее защите, сколь и неспособных злоупотреблять ею.

Примечание редактора газеты.

Я отвечу на эти письма, как только смогу раздобыть точную копию декрета, изданного вчера на основании доклада Шенье, а также краткое содержание его речи.

(Journal de Paris от 14 флореаля III года. - 3 мая 1795 года.)

3

ВЫДЕРЖКА ИЗ ОТВЕТА РЁДЕРЕРА БОДЕНУ О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ.

(Примечание. Этот ответ слишком объемен, чтобы целиком поместиться в газете; он представляет собой небольшую брошюру, которая сейчас находится в печати.)[71]

[71] Чтобы составить представление о разбое тех времен и о дворянстве, которое им занималось, следует прочитать эдикт или прагматику Карла VII, изданную 2 октября 1439 года с целью предотвращения грабежей и притеснений со стороны воинов. Он содержится в тринадцатом томе «Ордонансов Лувра» под заглавием «Письма Карла VII», хотя сам государь в преамбуле называет его эдиктом или прагматикой. Этот закон был принят по представлению трех сословий, собравшихся в то время в Орлеане. Он примечателен всеми приводимыми в нем фактами даже более, чем содержащимися в нем запретами.

Во-первых, первая статья сообщает, что «множество капитанов самовольно захватили власть и собрали большое количество вооруженных людей без позволения и лицензии короля...» Король, кроме того, запрещает им впредь именоваться капитанами; он оставляет за собой право назначать лишь определенное их число.

Король запрещает, «чтобы кто-либо был настолько дерзок или смел, чтобы набирать и вести отряд без королевской грамоты, и запрещает кому бы то ни было вступать в отряды иных капитанов, кроме тех, кто будет избран королем».

К кому обращены эти запреты? К иностранным наемникам, к французским искателям приключений? Возможно; но, безусловно, также к французским сеньорам и дворянам. В самом деле, наказанием, объявленным нарушителям, является пожизненное лишение их самих и их потомства всех прав и прерогатив дворянства.

Статьи 6 и 16 сообщают нам, что эти капитаны и воины грабили, обворовывали, раздевали - и заставляли других грабить, обворовывать и раздевать - служителей церкви, дворян, купцов и пахарей на больших дорогах и в их жилищах; что они бросали их в темницы, чтобы затем требовать выкуп; что они рыскали по дорогам в поисках возможности для совершения этих набегов. Статья запрещает им продолжать подобное под страхом обвинения в оскорблении величества, что подразумевает лишение и изгнание их самих и их потомства от всех общественных почестей и всех прав, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ДВОРЯНСТВА.

Статьи 7 и 8 показывают, что те же самые капитаны выпрягали волов и лошадей из плугов и повозок; что они угоняли скот с полей и требовали с пахарей и возчиков выкуп за его возвращение.

Статьи 9, 10, 11 и 12 свидетельствуют, что те же капитаны и воины разбивали бочки и чаны с вином и другими напитками; что они бросали зерно и другое имущество в колодцы, чтобы уничтожить их; что они скашивали недозревшее зерно, скармливали его своим лошадям, молотили его или заставляли обмолачивать в колосьях; что они вырубали виноградники и плодовые деревья; в других случаях они принуждали выкупать за огромные деньги это зерно, эти виноградники и плодовые деревья. И чтобы пресечь все эти бесчинства, король неизменно грозит лишением дворянства, поскольку именно дворяне были теми людьми, кто совершал эти преступления.

Статьи 13 и 14 сообщают нам, что поджоги были не менее привычны для этого благородного дворянства, чем воровство и грабеж. Король запрещает им, также под страхом лишения звания, «поджигать снопы,

...В чем же тогда смысл этой IV статьи? За какие правонарушения закон нависает над нашими головами угрозой депортации? За любое крамольное сочинение или речь, призывающие к унижению народного представительства или к возвращению монархии. Мы не будем исследовать, четко ли определен смысл слова «крамольный»; существует ли грань, отделяющая живую, эмоциональную речь от речи крамольной; не называет ли страсть, не терпящая никаких возражений, крамольным всё, что не совпадает с её мнением. Мы даже не станем напоминать о том, что бездарный труд Делакруа был назван крамольным.

Но мы остановимся на следующих словах: *провоцировать унижение народного представительства*. Мы спрашиваем: что они значат? Унижение означает крайний упадок или ухудшение качества. Ухудшение может произойти само по себе, а может быть вызвано внешней причиной; но унижение всегда предполагает ухудшение свойств вещи или личности того, кто унижен. Следовательно, ничто не может быть унижено иначе как став ничтожным или будучи доведенным до ничтожного состояния. Оскорбить честного человека, чернить его - еще не значит унизить его. Но если он сам оскорбляет другого добропорядочного человека, он унижает себя; или если лживые друзья подталкивают его к мести, он оказывается униженным. Клевета вовсе не унизила Шенье, когда его обвиняли в смерти брата; однако Шенье мог бы унизить себя сам, преследуя своих клеветников, или оказаться униженным из-за дурных советов, которые подтолкнули бы его к этому.

Точно так же и народное представительство может быть оскорблено, поругано, очернено, не будучи при этом униженным; оно не будет унижено до тех пор, пока не унизит себя само или пока не будет доведено до ничтожества другими. Таким образом, слова «провоцировать унижение народного представительства» могут иметь только такие значения: либо подстрекать представительство к самоунижению, либо подстрекать к тому, чтобы сделать представительство ничтожным, добиться того, чтобы оно стало ничтожным.

Но как представительство может унизить само себя? Принимая недостойные указы, совершая унизительные поступки. Как оно может быть доведено до ничтожества, склонено к самоунижению? Это может произойти через обман, через введение в заблуждение, через террор. Таким образом, подстрекать представительство к самоунижению - значит подстрекать его к принятию дурных декретов; а подстрекать к тому, чтобы сделать Конвент ничтожным - значит подстрекать к тому, чтобы его обманывали, застигали врасплох или запугивали.

Теперь я спрашиваю, во-первых: кому принадлежит право предлагать декреты в национальном собрании? Разумеется, депутатам и, в крайнем случае, подателям петиций. Таким образом, в первом смысле статья IV декрета, запрещающая провоцировать унижение, относится только к депутатам на трибуне и к просителям у барьера.

Я спрашиваю, во-вторых: кому принадлежит возможность использовать в отношении представительства фактор внезапности, обман или власть страха? Это право принадлежит исключительно членам представительства. Таким образом, с этой второй точки зрения статья IV запрещает писателям подстрекать депутатов к тому, чтобы застигать представительство врасплох или обманывать его, то есть подстрекать их к совершению подлости.

В первом понимании этой статьи противоречит здравому смыслу запрещать писателям совершать действия, которые физически могут быть совершены только депутатами, и это противоречит свободе разрушать неприкосновенность депутатов за их взгляды и посягать на право подачи петиций.

дома, сено или солома, постели, белье, одежда, утварь и домашнее хозяйство, трубы, прессы и сосуды - ничто не остается в сохранности, чтобы не быть сожженным каким-либо образом; а также разрушают кровли домов, балки которых эти благородные грабители забирали, чтобы согреться...». Славное дворянство! Оно не всё было таким, это нужно признать, и не всё было героическим, раз в штатах Орлеана дворянам пришлось жаловаться на него и требовать, чтобы его сдерживали: но это была самая высокопоставленная и значительная часть, которая предавалась этим излишествам. Закон, пресекающий эти посягательства, отмечает одну из самых важных эпох нашей истории.

Во втором случае есть, по меньшей мере, некая нелепость в том, чтобы под страхом смертной казни запрещать склонять депутатов к подлости; кажется, что из всех видов подстрекательства наименее опасным должно быть то, которое обращено к элите нации. Почему за подобное подстрекательство должно полагаться более суровое наказание, чем за то, что направлено против людей порочных? В любом смысле это оскорбление Конвента - предполагать, что его падение настолько неизбежно, что требуются особые кары, чтобы удержать как депутатов, так и писателей от содействия этому процессу.

Таковы размышления, возникающие при буквальном прочтении декрета, предложенного Шенье.

Таким образом, депутат, который спровоцировал бы принятие угнетающего декрета, стал бы осквернителем Конвента. Таким образом, депутат, который вверг бы Конвент в смятение и страх, чтобы поспешно подтолкнуть его к пагубному решению, стал бы осквернителем Конвента. Таким образом, те, кто склонил бы или подстрекнул к подобной мере, стали бы осквернителями Конвента. Таким образом, депутат, который без всякого умысла, а единственно благодаря красноречию своего неразумного рвения довел бы народное представительство до того, что оно признало бы себя достойным унижения, стал бы осквернителем.

4

Таковы были бы последствия декрета, если понимать его буквально; но понимать его буквально не следует...

Не так его понимал докладчик... К тому же у нас остался ужасающий комментарий к словам «подстрекательство к унижению достоинства Конвента»: это бесчисленные казни, поводом для которых они послужили при режиме децемвиров, для которых и которыми эти слова были изобретены. В течение пятнадцати месяцев они означали не только презрительные высказывания в адрес Конвента, но и неуважительные слова о плохом декрете, о депутате, о действии или сочинении какого-либо влиятельного депутата. Кто может обещать нам, что закон, предмет которого не определен подлинным значением его слов (и который даже явно имеет иное значение), не будет завтра истолкован так же, как вчера? Всегда ли Шенье будет рядом, чтобы сказать: «Я понимал закон в этом смысле, а не в другом»? И будут ли его всегда слушать? Закон, который не ясен, всегда объясняется лишь практикой применения; и посмотрите же, какая практика послужит толкователем закона Шенье!.. Этот закон - полное уничтожение свободы прессы. Кто захочет подвергаться опасностям, которым она снова его подставит, если закон сохранится? Закон, повторением которого она является, настолько уничтожил свободу письма, что даже после 9 термидора, когда Собрание восстановило ее, писатели в течение нескольких декад не решались к ней вернуться...

Шенье сообщает нам, что *естественным пределом права писать является вред другим и вред всему обществу*. (См. газету *«Французский республиканец»*).

Это утверждение справедливо, но оно не решает вопроса; ибо речь идет о том, чтобы понять не то, имеет ли человек право вредить через прессу, а может ли сочинение *само по себе* быть чем-то вредным для прав других, и может ли закон карать автора *сочинения*, каким бы оно ни было, и *за его сочинение*, не нарушая коренным образом естественное право писать и мыслить. Здесь я прошу некоторого внимания не у вас, Гражданин, а у Шенье, которого я хочу допросить перед вами.

Разве не правда, прежде всего, что сочинение *само по себе* - это лишь бумага, испачканная чернилами? Это ни камень, ни палка, ни факел, ни сабля; оно не может физически ни ударить, ни ранить, ни поджечь. Следовательно, материально это вещь безобидная.

В моральном плане оно может быть опасным; оно может угрожать общественным или частным интересам. Поговорим сначала о первом случае.

Вот мятежное сочинение: ну и что же! Разве это мятеж? Вот подстрекательство к убийству, к грабежу: ну и что же! Разве это само убийство или грабеж?

«Нет, - ответите вы мне, - но оно может привести к таким последствиям!»

«Что ж! - возражу я, - если мятеж является непосредственным следствием мятежного сочинения, если убийство и разбой являются прямыми результатами подстрекательства к преступлению, то сочинение становится частью этих преступлений; и нужно наказывать его автора не как создателя сочинения, а как автора преступления; и тогда правосудие свершилось.

Но я возвращаю вам ваш вопрос и, в свою очередь, спрашиваю: что вы намерены делать, что вы имеете право делать, если сочинение не произвело никакого эффекта, если оно осталось бесполезной, жалкой и пустой бумажкой? Какое наказание вы вправе наложить на автора, если он усыпил тех, кого хотел взволновать; если он вызвал отвращение у тех, кого хотел подстрекнуть; если он был побит палками теми, чьими руками хотел совершить убийство, - словом, если он остался невиновен лишь потому, что при всем своем злом умысле оказался бессилен? Что вы с ним сделаете? За что вы его накажете? За намерение? Но намерение само по себе ничего не значит. Книга, которая не приносит вреда, - это лишь доказательство намерения навредить. Закон не карает за намерение, если оно не сопровождается действием.

Заметьте, с другой стороны, что если бы вы попытались отделить суждение о сочинении от вызванных им последствий, вы бы не только наказали невиновное сочинение, но и оправдали бы множество преступных текстов. Ведь бывают моменты и обстоятельства, когда текст, написанный мирным, добродушным, но лицемерным и коварным тоном, может спровоцировать грабежи и убийства. Достаточно ли будет автору облечь свои провокации в благопристойную форму, чтобы в ваших глазах он стал безупречен?

Теперь я перехожу к клеветническим сочинениям или к тем, что в целом ущемляют частные интересы. Прежде всего, я применяю к ним те же замечания, что были сделаны ранее. Вот, скажите вы мне, клеветническое сочинение. Что ж, нанесло ли оно удар по чести того, кто является его объектом? Далеко не все клеветники обладают властью вредить. Разве у всех оклеветанных есть честь, которую нужно защищать? Неужели нет таких людей, у которых её слишком много, чтобы клевета могла их задеть? До тех пор пока вы не покажете мне реальный ущерб, нанесенный гражданину, я не увижу здесь состава преступления.

Но и в этом случае наличия ущерба было бы недостаточно для признания правонарушения. Уголовный закон может применяться только к материальным фактам; вред же, наносимый клеветой, носит чисто моральный характер. Кроме того, уголовный закон должен гарантировать только то, что представляет собой постоянный и общий интерес для всех граждан; репутация же не относится к этой категории: есть люди, по отношению к которым закону часто пришлось бы делать больше, чем против их врагов. В-третьих, закон не должен гарантировать гражданину то, что он может обеспечить себе сам или с помощью гражданского права; у каждого есть в самом себе, в своём распоряжении или в гражданском праве средства защиты своей чести при нападении. У него одного они и есть, ибо только он один может прожить свою жизнь целиком, и только мнение людей, которым он знаком, является свидетельством против его клеветников. Наконец, уголовный закон должен карать только тогда, когда это необходимо для отмщения за попранное право; но гражданин не может доказать, что его чести нанесен ущерб клеветой, не отомстив при этом чести клеветника.

Таким образом, государственная власть не имеет отношения к преследованию клеветников; уголовному закону нечего против них устанавливать. Клевета может давать повод лишь к частным искам между гражданами: к требованиям опровержения, к гражданскому возмещению ущерба, к денежным компенсациям, когда она лишает кого-либо определенного социального преимущества и т. д.

Никогда, даже во времена тирании Капетингов, не велось открытых преследований - ни правительством, ни полицией, ни судами - против клеветников на частных лиц, кем бы эти лица ни были: министрами или лейтенантами полиции. Неужели сегодня мы захотим пойти ещё дальше? Конечно же, нет.

Будем же придерживаться принципа, что сочинение должно оцениваться только по его непосредственным результатам и что, если оно не является соучастием в материальном преступлении, то оно не является преступлением.

Поэтому мы скажем вместе с Шенье, пока он сам того желает: *«Естественным пределом права на письмо должен быть вред, нанесенный другому, и вред обществу в целом (хотя было бы точнее сказать: право другого, ибо писать можно и для того, чтобы причинить вред тому, кто находит свое благо лишь в совершении зла)»*.

Но мы добавим: право на письмо может иметь законным пределом лишь тот момент, когда текст становится непосредственным участием, прямым содействием материально вредному деянию, посягающему на права, которые закон обязан охранять, - то есть на свободу, собственность или, иными словами, на безопасность людей и имущества.

Остановимся на последствиях противоположной системы; покажем, к чему ведет принцип разграничения сочинений.

5.

...Я утверждал, что закон, предусматривающий депортацию за подстрекательство к унижению органов представительной власти, уничтожает свободу прессы. Я привел тому доказательство: именно такой эффект произвел подобный закон во времена децемвирата.

Мне возражают, что закон децемвиров предусматривал смертную казнь вместо депортации, и именно эта суровость парализовала писателей. Что ж, допустим, что депортация будет пугать меньше, чем смерть; но следует ли из этого, что она не напугает достаточно, чтобы уничтожить свободу прессы?

Если вы уверяете меня, что она не будет пугать, я спрошу вас: зачем же тогда её вводить?

Если же вы ответите, что она внушит ровно ту меру страха, которая необходима для предотвращения злоупотреблений прессой, не запрещая её использования, я попрошу вас показать мне расчеты или прибор - «фобоскоп» или «фобометр», - с помощью которого вы измеряете страх.

По правде говоря, я думаю, что закон не помешает появлению множества банальностей в разрешенных книгах, равно как не помешает и появлению множества анонимных сочинений в том самом жанре, который он стремится запретить. Более того, я полагаю, что он будет их провоцировать, так как придаст им ценность за счет атмосферы тайны и опасности их распространения. Заставляя продавать дорого и широкому кругу лиц вещи, которые мало чего стоят, он разожжет жадность и дерзость их создавать.

Но если закон будет провоцировать дерзость или жадность, значит ли это, что он не устрашит честных и мирных граждан?

Если он станет стимулом для человека страстного, останется ли к нему равнодушным человек мудрый и спокойный? Если он способен привести в ярость одного, стоит ли из этого делать вывод, что он не сможет запугать другого?

Если же мне скажут: «Пиша в данный момент против декрета о прессе, вы тем самым признаете, что он не уничтожает свободу», - я отвечу: я убежден, что этот декрет был навязан Конвенту, комитетам и Шенье путем корыстных преувеличений; что это оплошность, совершенная в момент смуты, подготовленной недоброжелателями, и что все принципы Ассамблеи требуют его скорейшей отмены. Кроме того, свобода прессы кажется мне настолько необходимой для сохранения всех остальных свобод, что, какой бы ни была моя природная робость, после её утраты, ради защиты любых других интересов, я бы защищал её ценой собственной жизни.

Но, возражают мне снова, закон, по крайней мере, не мешает писать на другие темы, кроме тех, что касаются правительства или по которым правительство уже высказалось!

Я отвечаю, что любое препятствие к написанию определенных вещей есть препятствие к написанию чего бы то ни было. Разве запрет писать против религии не был в свое время препятствием для физических и математических исследований? Разве не помнят больше о Галилее, который во имя религии был брошен в темницу за астрономическое сочинение? Любая власть, не ограниченная рамками закона, установленными на основе материальных фактов, в любой момент смещает границы, которые сама же произвольно проводит - будь то между

мыслями или даже между поступками. Изменчивость границ, за которыми власть устанавливает наказания, приводит к тому, что все благоразумные люди держатся от них как можно дальше, и большинство начинает рассматривать любое сочинение как опасность для автора.

Всякая свобода, существующая только для безумцев или для героев, наделенных исключительным мужеством, не является свободой. Всякая свобода, существование которой мудрый человек не ощущает внутри себя, не есть свобода. По словам Монтескье, чтобы быть свободным, недостаточно просто быть им - нужно еще и верить в свою свободу.

Итак, я возвращаюсь к своему утверждению и говорю, что закон уничтожает не писателей и не сочинения, которые он хочет запретить (поскольку он, наоборот, провоцирует их), а свободу прессы для всех и для любого вида литературы.

И это утверждение ведет меня к другому: закон является препятствием не только для свободы писать для публики, но и для свободы писать своим друзьям и для самого себя. Ведь письмо или рукопись, хранящиеся в портфеле, могут быть потеряны, украдены, тайно напечатаны и подвергнуть автора наказаниям, установленным законом.

И это наблюдение позволяет также сказать, что закон также наносит удар по свободе слова; ведь если за написанное слово, ставшее достоянием общественности, полагается наказание, то следует опасаться, что и за произнесенное слово человека постигнет кара.

И это еще не всё: закон также становится препятствием для свободы мысли, ибо человек не осмеливается собирать и взращивать в себе идеи, которые могли бы случайно вырваться наружу и подвергнуть его опасности.

Можно также добавить, что он мешает развитию, совершенствованию и сохранению самой способности мыслить, а кроме того - и способности чувствовать. Он препятствует реализации нашей потребности в радости и ограничивает средства достижения того, что приносит нам удовольствие; он разрушает самое ценное и неотъемлемое из наших прав.

И в самом деле, разве не благодаря общению людей между собой посредством слова и письма, разве не через обмен чувствами в свете знаний и знаний в свете чувств развиваются и сохраняются наши моральные и интеллектуальные способности?

Если рассматривать лишь интересы разума, известно, что он слабеет без подпитки, а полезную пищу ему могут дать только книги. Добавьте к этому, что их сила такова, что они способны воскресить в сознании одного человека великих мыслителей всех времен и собрать в нем самых выдающихся современников со всего мира. Ограничивать свободу книг - значит покушаться на великую привилегию человеческого рода: безграничную *способность к совершенствованию* своих талантов и бесконечное расширение средств достижения счастья.

Никто не замечал, что право писать, говорить, чувствовать, мыслить и улучшать свою участь путем совершенствования своих моральных и интеллектуальных способностей - это права неделимые, и что посягательство на одно из них наносит вред всем остальным. Настало время наконец объединить эти идеи в единое целое в сознании каждого.

И это еще не всё. Закон, мешающий прессе улучшать положение человеческого рода, неизбежно привел бы - если бы его удалось сохранить - к его упадку и унижению, чего многие даже не заметили.

Как только пресса перестает быть свободной, она неизбежно становится губительной; как только ее подавляют, она сама становится инструментом угнетения. Как только она лишается возможности распространять истину, она начинает распространять яд; лишившись способности просвещать, она вынуждена развращать. Разве в период правления децемвиров она не была отравляющей, убийственной и подстрекательской? Увы! Когда правительство посягает через нее на самые заветные права человека, разве оно не оказывается вынуждено само использовать ее для того, чтобы заставить людей забыть об этих правах? А как добиться этого забвения, если не путем развращения и деградации всех душ?

6.

Великий предлог, под которым всегда стесняли свободу печати, - это так называемые интересы правительства. Этот предлог ничтожен.

Важно, говорите вы, обеспечить стабильность правительства. Да, если оно хорошее; да, если оно не может быть лучше. Но как убедиться в том, что оно хорошее или не может быть лучше, если не окружить его светом знаний?..

А если оно является наилучшим из возможных, как предотвратить его ухудшение, если опять же не окружить его светом знаний?.. А если оно плохое, как это распознать, если не с помощью просвещения?.. И если в его устройстве необходимы изменения, существует ли более мягкий способ их осуществить, нежели побудить самих правителей к ним через деликатное давление общественного мнения?

Важно, говорите вы, облегчить работу правительства. Вы правы, когда этот путь прямой; но разве не лучший способ помочь ему устранять препятствия и избегать ухабов - это расставить светильники вдоль его пути? Мы согласимся даже с тем, что частные лица никогда не должны препятствовать действиям правительства, даже если его путь кривой.

Но разве лучший способ предотвратить любое насильственное сопротивление его курсу - это не предоставление права указывать на ошибки, требовать их исправления или объяснения, когда оно отклоняется от обычного пути? И если кривому пути нет оправдания, разве не будет очень полезным, чтобы правительство было предупреждено, чтобы самостоятельно вернуться на свой путь или избежать новых заблуждений?

Вы скажете: *«Но ведь столько дурных умов!»* - однако сколько и добрых! *«Безумцы и злодеи так дерзки!»* - Но честные и разумные люди имеют такой вес! *«Сколько дурных сочинений!»* - А сколько превосходных! *«За одно утро может появиться столько вздорных текстов!»* - У нас в запасе столько же разумных трудов! *«Так легко совершать несправедливые нападки!»* - Но правое дело так легко защищать, и оно так хорошо защищает себя само! *«Правительство могут атаковать сразу с очень многих сторон!»* - Одним словом правительство может ответить на столько вещей сразу! *«Гений зла так активен!»* - Гений добра так плодовит!..

...Не нужно искать далеко примеры того вреда, который наносит само себе правительство, ограничивающее свободу прессы. Посмотрите на то, что происходит в Конвенте в течение месяца с тех пор, как начали бросать в тюрьмы писателей, арестовывать типографские станки и отправлять в Комитет общественной безопасности журналистов, сообщивших дурные вести, и так далее.

Конвенту нужно организовать Конституцию, восстановить финансы; деликатные и суровые вопросы следуют один за другим, теснятся, переплетаются; их решение требует не просто усилий, а предельной срочности. Все под угрозой; большинство выдающихся умов Конвента погибло; оставшимся депутатам не хватает времени... Никогда помощь писателей не была столь необходима... И что же? За месяц не появилось ни одного поучительного труда, ни одна газета не сказала ни единого полезного слова по вопросам, которые нас душат. Конвент с каждым днем продвигался всё более крупными шагами, с величавым достоинством по пути справедливости и свободы. Но с тех пор, как писателям стали угрожать и они замолчали, Конвент совершил несколько движений, которые общественное мнение сочло регрессивными.

Его заставили ограничить въезд в Париж и выезд из него; передать в комитет петицию о новом «максимуме»; отобрать имущество у семьи, чье имя справедливо вызывает ненависть, но чья собственность (отличная от апанажей) от того не менее священна; проявить минутное колебание в вопросе возврата имущества осужденным; пообещать этот возврат лишь с исключениями, масштаб которых невозможно измерить; наконец, экспроприировать отцов и матерей эмигрантов... Я не разбираю сейчас, справедливы ли эти акты, выгодны ли они свободе или финансам; я лишь говорю, что народ удивлен и напуган ими. Я говорю, что они оттолкнули от Конвента множество семей, которые были привязаны к нему надеждой, и множество людей, которых он заставил уважать себя своей справедливостью, а также тех, кому он вернул

радость жизни, отменив все ненужные стеснения. Свобода слова либо уберегла бы Конвент от этих декретов, будь они плохи, либо избавила бы граждан от заблуждения, будь они хороши.

И какие выгоды были получены в качестве возмещения за то, что потеряно? Какой плод принесло стеснение прессы? Франция прежде всего узнала о существовании роялистской газеты, о которой она, возможно, никогда бы и не услышала. Теперь все любители знают название этого издания и имя его автора. Никогда еще даже самая широкая рассылка рекламных листков не привлекала такого внимания к периодическому изданию. Теперь правительству придется либо решиться держать Фортье в тюрьме целый век, либо смириться с тем, что он станет официальным журналистом роялизма (предполагая, впрочем, что он действительно роялист, чего я не знаю).

Судебный процесс против Делакруа привел к продаже трех изданий его книги; до этого процесса книготорговец изнемогал под тяжестью нераспроданного первого тиража. Арест выпусков Рише Серизи привел к продаже четырех тысяч экземпляров; без этого он не нашел бы сбыта и для половины, а читателей - и для четверти.

Преследования вызвали интерес к сочинениям, которые сами по себе не вызвали бы ничего, кроме тошноты. Преследования стали причиной того, что ни один порядочный человек не захотел опровергать то опасное, что могло содержаться в этих трудах: претит нападать на писателя, которого власть держит в цепях и который страдает перед ней.

Запрещая всё, что может не понравиться Конвенту, запретили не только то, что может его просветить, но и то, что могло бы выглядеть как похвала в его адрес: у кого хватит бесстыдства говорить о нем хорошо, не имея свободы говорить о нем плохо? И к чему послужили бы для его репутации бесстыдные льстецы? Когда цензура запрещена, похвала, как бы она ни старалась, не является истинной похвалой.

…Вы видите, Гражданин, Конвенту важно, Республике важно дать мысли свободный ход; самые ревностные патриоты могут служить и той, и другой только этой ценой. Пусть нам вернут возможность быть полезными; нам нужна свобода, чтобы поддерживать свободу. Кто другой, кроме вас, Гражданин, может лучше показать Конвенту истины, которые были скрыты от его взора?..

И снова о свободе прессы, пока она не будет восстановлена

В пользу закона, ставшего предметом наших претензий, ссылаются на авторитет Салля, Рабо-Сент-Этьена, Бюзо и Манюэля. Вот наш ответ:

Ни один из этих людей никогда не предлагал закона против *тех, кто подстрекает к унижению Конвента*. Бюзо предложил закон против подстрекателей к убийству, покушению или мятежу; но убийство, покушение и мятеж - это действия, которые подвластны человеческим чувствам и карающему мечу закона. Унижение же - вещь абстрактная, неосязаемая, безмерная. Манюэль предлагал лишь полицейские меры, чтобы помешать разносчикам выкрикивать в уши депутатам у дверей Конвента оскорбительные для них пасквили, возмутительные как по сути, так и по названию.

Бюзо предлагал смертную казнь только в том случае, если за подстрекательством последовало убийство; он предлагал лишь двенадцать лет каторги в кандалах в том случае, если преступление не было совершено. Манюэль не предлагал никакого наказания. Впрочем, Лепелетье выступал против Бюзо; Дюко выступал против Манюэля. Таким образом, можно противопоставить одни авторитеты другим.

Существует, говорил Лепелетье, два вида подстрекательства: прямое и косвенное. Если вы установите наказание за первое, закон будут обходить; если за второе - закон превратится в произвол. Все, говорил Дюко, твердят о презрении, которого заслуживают эти гнусные пасквили, но никто не умеет презирать по-настоящему. Хотите заставить пасквилян замолчать?

Заинтересуйте народ своими трудами так сильно, чтобы у него не оставалось времени читать их брошюры. Наконец, Конвент перешел к повестке дня по предложению Манюэля и отложил на неопределенный срок предложение Бюзо. Таким образом, мнение Конвента можно противопоставить мнению некоторых его членов.

Бюзо и Рабо были страстными сторонниками свободы, но их представления о ней не всегда были вполне верными. В то время как Бюзо предлагал наказание кандалами за слова, не имевшие последствий, Рабо имел несчастье утверждать, что государство имеет право забирать у БОГАТЫХ их излишки…

Преследование Рабо, Бюзо и Салля за то, что они писали и говорили свободно, доказывает пользу неограниченной свободы больше, чем все их речи могли бы доказать пользу ее ограничения. Речи Бюзо и Рабо о прессе напоминают о том, что Марат был причиной и предметом их предложений; и именно это их дискредитирует. Утром 26 февраля 1793 года Марат советовал грабить лавки бакалейщиков; вечером лавки были разграблены. Опираясь на это воспоминание, некоторые считают себя вправе требовать наказаний за злоупотребления прессой. Что ж! Ничто лучше не доказывает, напротив, бесполезность этих наказаний; ведь Марат должен был быть наказан уже по самому факту случившегося грабежа, ставшего следствием и результатом его подстрекательства. Статья 2 раздела III Уголовного кодекса гласит: «Если преступление было совершено, всякий, кто будет изобличен в прямом подстрекательстве к его совершению либо речами…, либо сочинениями, обнародованными путем печати, будет наказан тем же наказанием, что и исполнители преступления». Вы требуете наказания, чтобы устрашить подстрекателя к преступлению? Оно уже заложено в наказании за само преступление, и именно там оно и должно находиться.

Можно даже с уверенностью утверждать, что влияние всех сочинений Марата в течение года неопровержимо доказывает необходимость оставить свободу прессы безграничной. Ибо откуда его сочинения черпали бы свою силу? Из молчания всех остальных писателей. И какова была причина этого молчания? Без сомнения, дело было не во влиянии таланта Марата; это была его власть, его тирания, зародившаяся в Коммуне 10 августа и проявившая себя в течение того месяца и 2 сентября на множестве жертв, среди которых было немало писателей! Именно угнетение прессы и исключительное право на свободу слова, которое Марат зарезервировал только за собой, породили его преступления. Таким образом, эти преступления являются не злоупотреблением свободой печати, а злоупотреблением и крайним проявлением угнетения прессы.

Во времена Учредительного собрания Марата никто не читал. Конечно, тогда ему не удавалось, что бы он ни говорил, ни грабить лавки, ни резать граждан. Повторюсь: он грабил и убивал впоследствии не благодаря своему перу, а в силу своей власти и нашей покорности.

Вывод, который следовало бы извлечь из истории Марата, возможно, заключается в том, что свобода письма должна быть ограничена не для простых граждан, а, напротив, для людей, наделенных большой властью - если только естественное право человека вообще может быть приостановлено и если свобода мнений не является еще более необходимой при исполнении государственных функций, чем может быть опасно злоупотребление ею.

(Journal de Paris, 23 флореаля III года. - 12 мая 1795 г.)

Ещё раз о свободе печати и о Шенье

Возможно, будет нелишним доказать Конвенту, комитетам и Шенье, что свобода слова на национальной трибуне, неприкосновенность депутатов за их речи в стенах Собрания и неприкосновенность Шенье за его речь против прессы неотделимы от неограниченной свободы печати для писателей и журналистов. Вот мое доказательство.

Депутат может и должен говорить с трибуны все, что сочтет нужным. Все, что он говорит на трибуне, он должен иметь возможность напечатать. Если он может говорить все, что хочет, и печатать это, он должен иметь возможность напечатать и то, что не успел или не смог чисто физически произнести. То, что депутат может говорить и печатать, любой писатель, любой журналист, несомненно, должен иметь возможность повторить. А раз можно повторять все, что говорит и пишет человек, которому дозволено говорить и писать всё, то, кажется, вполне логично, что и самому можно говорить и писать всё; если только не принять за принцип, что депутат может говорить лишь вещи превосходные, и что непогрешимость, будучи привилегией его политического статуса, делает свободу слова и печати исключительным атрибутом его должности.

Таким образом, свобода письма неизбежно спускается с трибуны законодателя к печатным станкам журналиста; но на этом аргументация не заканчивается. Продолжим.

Если бы журналисту под предлогом общественных интересов можно было запретить говорить обо всем, то ясно, что вскоре ему пришлось бы запретить и повторять всё; именно это и произошло с газетой «Монитёр» во времена Робеспьера. А если бы журналисту можно было запретить повторять все сказанное депутатом, то неизбежно дошло бы до того, что и депутату запретили бы говорить обо всем; свидетельством тому - убийства депутатов, совершенные во время децемвирата за мнения, высказанные на трибуне.

Следовательно, подобно тому как свобода трибуны передается прессе журналистов, так и рабская зависимость последних возвращается на трибуну.

Стоит пожалеть писателей, которых не защищает национальное представительство; но горе тому представительству, которое не защищают писатели! Трибуна и пресса - взаимные гаранты друг друга.

Вот истина, которую важно наконец донести до Шенье.

...Но я слышу, как он восклицает: «Почему всегда обращаются ко мне? Я был лишь докладчиком закона; это комитеты его приняли; это Собрание утвердило его декретом!»

На это Шенье можно дать несколько ответов.

1. Если закон исходит от комитетов, то речь, обосновывающая его, принадлежит докладчику. А когда критикуют закон, обсуждают именно его мотивы; поэтому естественно обращаться к докладчику.
2. На Шенье возлагают ответственность за предложенный им закон по той же причине, по которой не возлагают ее на него или на его, заседающих сегодня в Конвенте, оригинальный закон Сен-Жюста, копией которого является данный проект.
3. Именно в силу самого закона Шенье критика должна сосредоточиться на нем и вступить с ним в прямое противостояние. В самом деле, цензоров можно было бы обвинить в провокации унижения Конвента, если бы они не старались показать, что именно как подобную провокацию и следует рассматривать предложение закона, подавляющего свободу прессы. Стремление отменить положения этого закона, которые, по-видимому, компрометируют Конвент, продиктовано желанием уберечь его от унижения. Пусть Шенье винит только себя в том направлении, которое придают своим протестам друзья свободы прессы - они не становятся от этого его врагами. Ему было бы очень легко положить конец этим протестам, если бы он добивался изменения своей 5-й статьи с тем же рвением, с каким он добивался её принятия.

(Journal de Paris, от 27 флореаля III года - 16 мая 1795 г.)

Право, наказание, собственность и политическая экономия

Трактат о преступлениях и наказаниях, сочинение Беккариа

Перевод с итальянского Андре Морелле. Новое исправленное издание, дополненное перепиской автора с переводчиком и снабженное примечаниями Дидро.

Нет книги более известной, чем та, новое издание которой мы предлагаем публике; и именно поэтому мы за него взялись. Это, пожалуй, уже двадцатое издание, но мы хотели бы, чтобы их были тысячи. Книги, освященные общественным признанием, являются истинным достоянием книгопечатания; чем больше они распространяются, тем больше публика желает их дальнейшего распространения. Общественное мнение обязывает молодых людей изучать их, а всех зрелых мужей - часто обращаться к их авторитету.

Впрочем, лишь гениальные или исключительно полезные труды удостаиваются чести многократных переизданий на протяжении долгих лет. Эта честь, таким образом, служит надежной гарантией для совести тех типографов, у которых есть совесть (что редкость) и которые лишены вкуса или знаний (что встречается сплошь и рядом). Немногие способны оценить новое сочинение; все судят о нем по тому, как судили о старых трудах. И заметим мимоходом, что количество изданий за определенный ряд лет, возможно, не является ложным мерилом уважения к книгам. Если бы мы увидели, к примеру, что за сорок лет вышло двести изданий книги «Об уме» (хотя она и не является безупречным и безошибочным трудом), в то время как изданное двадцать лет назад полное собрание сочинений Лагарпа в 5 томах, формата ин-8, на прекрасной бумаге - хоть и содержащее превосходную литературную критику, далеко превосходящую даже лучшие работы Фрерона, - до сих пор полностью не распродано и было объявлено в этом году книготорговцем Мореном по оскорбительно низкой цене, то было бы вполне естественно заключить из этого следующее: лучший литератор в мире, первый в своем роде, тем не менее ставится общественным мнением далеко позади философов второго порядка.

Но вернемся к «Трактату о преступлениях».

Поскольку это произведение известно, мы скажем о нем публике лишь несколько слов, и нынешние обстоятельства дают нам на это право. Напомним, что Беккариа с большим вниманием исследовал вопрос о том, является ли смертная казнь законной, полезной или пагубной, и после того, как он установил следующие положения: (1) что она не санкционирована никаким правом; (2) что она не является ни полезной, ни необходимой в нормальном состоянии общества, Беккариа делает из этого единственное исключение, для того случая, когда мы имеем дело с гражданином, который, будучи уличен в заговоре, *«все еще сохраняет такие связи и власть, которые способны нарушить спокойствие нации, когда само его существование может вызвать переворот в установленной форме правления»*.

Но автор добавляет - и это важно отметить сейчас, когда французская нация, проявив свою силу столь многими способами, имеет лишь один путь еще раз подтвердить идею о том, что весь мир ее ценит, путь милосердия и умеренности - автор, повторюсь, добавляет следующее: *«Этот случай может иметь место только тогда, когда нация теряет и вновь обретает свою свободу, или в периоды анархии, когда сами беспорядки заменяют законы. Но во время спокойного господства законодательства, при форме правления, одобренной общим волеизъявлением нации; в государстве, защищенном от внешних врагов и поддерживаемом изнутри; там, где власть полностью находится в руках суверена, а богатства не могут купить ничего, никакой власти, кроме удовольствий, - там не может быть никакой необходимости лишать гражданина жизни»*.

Мы оставляем нашим читателям право применить этот красноречивый отрывок на практике. То новое, что содержится в издании, которое мы анонсируем, заключается в следующем: во-первых, таблица уголовного законодательства, переведенная с английского языка **Джереми Бентама** - таблица, которая еще ни разу не печаталась даже на английском, и рукопись которой, написанная рукой автора, находится у нас. Это абсолютно новый анализ: (1) элементов наказаний, и обстоятельств, которые их характеризуют, отличают и классифицируют; (2) элементов преступлений, обстоятельств, которые их выделяют и как бы требуют для каждого из них соответствующего наказания. Эти таблицы представляют собой набросок самого совершенного уголовного законодательства, какое только можно себе представить, и в наибольшей степени соответствующего принципам, установленным Беккариа.

Во-вторых, заметки **Дидро** на различные пассажи «Трактата о преступлениях», заметки одобрительные или критические, в зависимости от случая. В-третьих, переписка объемом около ста страниц очень мелким шрифтом, имевшая место между аббатом **Морелле** и Беккариа в 1766 году по случаю издания «Трактата о преступлениях», первым переводчиком которого был Морелле. Эта переписка драгоценна для истории философии. Видно, с каким рвением самые знаменитые литераторы Франции встретили и прославили труд Беккариа; какой интерес они проявляли в целом к распространению полезных истин и, в частности, к мужественному и просвещенному усердию, которое проявлял аббат Морелле. Там же можно увидеть историю Беккариа, я имею в виду его ум, талант и принципы. В одном из своих писем к Морелле он связывает развитие и направленность своего таланта с философами, чью память нынешние парижские риторы оскорбляют, а труды - яростно критикуют. Признание Беккариа служит мощным опровержением и даже прекрасным возмездием за эти оскорбления.

Наконец, в упомянутой переписке видно, что сделал Беккариа для того, чтобы привить на своей родине, в Милане, среди всеобщего предубеждения и тирании, вкус к философии и разумной свободе. Там он основал общество образованных людей и издавал с ними газету в духе «Зрителя» Аддисона. Небезынтересно заметить, что оставшиеся в Милане его друзья и соратники - **Верри**, **Ламбертенги** и **Лонги** - занимают сегодня первые посты в новой республике. Это добрый знак для её будущего и объяснение того спокойствия, которым она наслаждалась в свои первые, самые трудные моменты.

(Журнал общественной экономии, 10 прериаля V года - 1 июня 1797 г.)

К дочери прославленного Беккариа

Мадам, я только что прочитал в газете, что на празднике в честь депутатов, министров и генералов, который состоялся позавчера в театре «Одеон», некая женщина, уже известная своей красотой, привлекла всеобщее внимание своим искренним волнением, когда прозвучал тост в честь освободителя Милана, непобедимого Бонапарта. «*Вскоре стало известно,* - пишет журналист, - *что это миланка, дочь знаменитого философа, гениального человека и друга человечества, Беккариа, и что она достойна своего отца благодаря своей любви к свободе. Тогда все взгляды обратились на неё; отовсюду ей преподносили букеты цветов. Она приняла эти заслуженные почести с такой скромностью и грацией, что стала ещё прекраснее*» (Clef du cabinet / Ключ кабинета).

Спешу, мадам, добавить к этим знакам почтения дар, который, надеюсь, будет иметь ценность в ваших глазах: я предлагаю вам новое издание труда вашего прославленного отца «О преступлениях и наказаниях» в переводе Андре Морелле с комментариями Дидро. Книге предшествует переписка переводчика, которая, как и письма Дидро, ранее никогда не публиковалась. Это произведение напечатано в типографии моих детей, и я счастлив возможности

преподнести вам первые экземпляры. Из письма Беккариа к Андре Морелле вы узнаете, каким трудам он обязан широтой, пылом и направленностью своего ума. Вы также увидите, что он сделал тридцать лет назад в Милане, для распространения любви к свободе и философии. Вероятно, мадам, эти подробности были вам неизвестны, и мне доставляет огромное удовольствие познакомить вас с ними. Если бы у вас не было портрета вашего отца, вы наверняка были бы благодарны незнакомцу, который предложил бы его вам. Я же предлагаю вам нечто большее, чем портрет Беккариа: я представляю вам важнейшую часть его истории.

Поскольку вы любите свободу и философию, мадам, публикация его переписки с Андре Морелле, его достойным другом, вызовет у вас особый интерес ещё и потому, что сейчас среди риторов, занявших место наших революционных ораторов, стало модным поносить и унижать французских философов. А ведь ваш отец в своём письме от 20 мая 1766 года (ровно тридцать один год назад) заявляет, что именно им он обязан развитием своих взглядов и своего ума. Вам будет приятно узнать, что мы обязаны появлением бессмертного трактата «О преступлениях и наказаниях» во многом книге **Гельвеция** «Об уме», и увидеть, как ваш отец отомстил за этого философа тем литераторам, которые позволяют себе оскорбления в его адрес. Хотя эти люди и принесли некоторую пользу изящному вкусу, они никогда не выдвинули ни одной идеи, полезной для отечества. Письма Андре Морелле покажут вам, мадам, какое впечатление произвёл трактат «О преступлениях и наказаниях» во Франции, когда он только появился, и какие почести были тогда оказаны его автору самыми знаменитыми людьми Франции - Д'Аламбером, Бюффоном, Вольтером и другими. Эта картина тронет ваше сердце так же сильно, как удовлетворит ваш разум.

Наконец, к заслуженным похвалам в адрес этих великих людей я добавлю факт, который подтверждает их правоту, и мог бы заменить их признание, если бы вашему отцу его недоставало. Дело в том, что трактат «О преступлениях» настолько изменил дух прежних уголовных судов во Франции, что за десять лет до Революции они стали уже совершенно неузнаваемы. Все молодые судьи - и я могу это засвидетельствовать, поскольку сам был одним из них - судили скорее на основе принципов этого труда, нежели на основе самих законов. Именно из трактата «О преступлениях» Серван и Дюпати черпали свои взгляды и, возможно, свое красноречие; им же вдохновлялось и Учредительное собрание при создании новых уголовных законов, которыми гордится республика, и, наконец, сам Конвент, провозгласивший отмену смертной казни, которая должна вступить в силу с наступлением мира.

Вы видите, сударыня, что задолго до объединения Ломбардской и Французской республик у вас уже были признанные права во Франции. От имени всех ценителей таланта, философии и гуманности я смею сказать, что благодаря вашему отцу вы принадлежите к той великой семье, которую друзья философии и свободы создали в Париже пятьдесят лет назад и чьи уцелевшие представители еще сильнее, чем прежде, укрепят узы, их объединяющие.

(1-е прериаля, или 20 мая 1797 года).

Размышления о смертной казни

О смертной казни написано очень много, но это вовсе не значит, что сказано всё. Чаще принято повторять, чем анализировать, и перемалывать старое, чем двигаться вперед. Мы так часто верим, будто обнаружили в самой сути вещей то, что видели лишь в книгах, и так легко принимаем свои воспоминания за личные наблюдения, что, возможно, и в наших словах не окажется ничего, кроме уже известных истин. Если это так, то читатель простит нас, принимая во внимание обстоятельства, в которых мы пишем - а именно те громкие уголовные процессы, что ведутся сейчас против множества обвиняемых, и положение подозреваемых в эмиграции, которые постоянно находятся под угрозой гибели. Заслуга журналиста состоит не столько в

том, чтобы говорить что-то новое и изящно выражаться, сколько в том, чтобы вовремя сказать или повторить всё, что полезно узнать или вспомнить. Его долг - ежедневно, каждую декаду, каждый месяц доносить до граждан те истины, которые необходимы именно в момент написания, независимо от даты их открытия или происхождения. Ради этой своевременности он должен жертвовать стремлением к совершенству. Нужно уметь рискнуть повтором, недочетом, и даже грамматической ошибкой, ради патриотического поступка. Для честного журналиста важно не казаться, а служить.

Всё, что было написано о смертной казни до сегодняшнего дня, можно свести к двум следующим вопросам: (1) Нарушает ли она неотъемлемые права человеческой природы? (2) Является ли она необходимой или хотя бы полезной для общества? Рассмотрим эти два вопроса по отдельности.

§ I.

Первый вопрос - ***«Противоречит ли смертная казнь неотъемлемым правам человека?»*** - можно сформулировать иначе. Имеет ли общество или, точнее, большинство членов государства право устанавливать смертную казнь? Примерно так этот вопрос ставили перед собой Беккариа, Дидро и Руссо. И на этот счет известны две общепринятые системы взглядов. У простых людей на устах лишь одна фраза: тот, кто убивает, сам достоин смерти; их главное правило гласит, что *закон талиона - самый справедливый из законов*. Беккариа и некоторые другие вслед за ним, напротив, утверждают, что общество не может применять смертную казнь, поскольку каждый человек согласился пожертвовать лишь самой малой частью своей свободы ради безопасности всего остального, *и в этих ничтожных долях свободы, которыми жертвует каждый, не может заключаться право на лишение жизни - величайшего из всех благ*.

Рассмотрим эти два мнения. Утверждение, что убийца достоин смерти, является общепринятым правилом; но столь же верно будет сказать, что тот, кто приносит людям добро, достоин того, чтобы люди делали ему добро. Тем не менее, поскольку общество в своих законах не предписывает обязательную благодарность за благодеяния, по этой же причине оно не должно предписывать, и тем более осуществлять справедливое возмездие за обиды. Внутренняя порочность поступков не является предметом законов. Законы учитывают лишь выгоду или вред, который эти действия приносят обществу; и необходимость вмешательства для поддержки одних и сдерживания других - причем настолько, что законам нет дела до самых отвратительных поступков, если те не наносят ущерба обществу, и даже до самых вредных, если существуют иные достаточные средства их предотвращения.

Эта система объясняется очень просто. Во-первых, закон талиона - это не что иное, как **право на месть**, а право на месть - это право войны. Следовательно, отказ от этого права используется для выхода из состояния войны, которое является естественным состоянием диких людей, и для избавления от наказаний и опасностей, которым оно их подвергает – ведь именно ради этой цели люди и создали общество. Общество, как говорит Руссо («Об общественном договоре», глава VI), является моральным и коллективным телом, общественным лицом, сформированным союзом всех остальных, обладающим своим «я», своей жизнью и волей.

Таким образом, прежде всего, в общественном состоянии индивид отказывается от права на личную месть и от закона талиона. Но, отказываясь от этого права, передает ли он его обществу? Нет. И почему? Потому что, заключая общественный союз, индивид также подвергается опасностям; ведь вполне возможно (и мир почти не видел ничего иного), что общественный союз будет служить лишь для того, чтобы дать большему числу людей более верное и постоянное средство для угнетения. Ясно, что если бы каждый предоставил этому обществу право и власть действовать через полицию и государственную силу - что было необходимо для удовлетворения по крайней мере всех законных интересов индивидов, - он тем самым дал бы обществу средство, чтобы уничтожить все индивидуальные права и пренебречь всеми их потребностями. Поэтому, чтобы общественное состояние не стало для индивида более губительным, чем естественное, он ограничил права и полномочия общества лишь той мерой, которая

необходима для защиты этого объединения. Интересы общего сохранения, а не право на частную месть и не внутренняя злонамеренность поступков, являются для общества основанием для наказания и мерой наказаний, которые оно может налагать. Следовательно, закон талиона вовсе не является социальным законом; а принцип «Тот, кто убивает, достоин смерти» - это лишь моральная оценка убийства, инструментом и исполнителем которой может быть только общественное мнение, а не государственная власть.

Станут ли утверждать, что если общество устанавливает смертную казнь за убийство не для того, чтобы осуществить месть частного лица, то оно делает это для осуществления собственной мести? Станут ли говорить, что оно карает убийцу смертью, потому что убийца несет смерть всему общественному телу? Я опровергну это как ложное предположение. Убийца, лишающий жизни человека, не убивает всё общество. Убить человека - это, несомненно, значит встревожить всё общество, но это не значит его уничтожить.

Посмотрим теперь на противоположное мнение. Здесь мы лишь процитируем знаменитых авторов, которых уже называли. *«Каким может быть*, - говорит Беккариа в трактате «О преступлениях и наказаниях», § XVI, - *это право, которое люди присваивают, чтобы убивать себе подобных? Это уж точно не то право, на котором основаны суверенитет и законы: законы - это лишь сумма малых долей личной свободы каждого, самых крошечных из тех, что каждый смог уступить. Они представляют общую волю, которая является совокупностью всех частных волей. Но кто когда-либо хотел предоставить другим людям право лишить его жизни? Как в мельчайшие жертвы свободы каждого может быть включена жертва жизни, величайшего из всех благ? А если бы это было так, то как согласовать этот принцип с другим правилом: человек не имеет права лишать жизни самого себя? А ведь он должен был бы обладать этим правом, чтобы иметь возможность передать его другим или обществу»*. И далее: *«Следовательно, смертная казнь не санкционирована никаким правом»*.

А вот примечание, которое **Дидро** сделал к этому отрывку и которое содержится в новом издании «Трактата о преступлениях и наказаниях», выпущенном нами: *«Именно потому, что жизнь - величайшее из всех благ, каждый согласился на то, чтобы общество имело право отнять её у того, кто отнимет её у других. Никто, без сомнения, не хотел наделять общество правом лишать человека жизни по любому поводу. Однако каждый человек, стремясь сохранить собственную жизнь, и не планируя посягать на чужую, видел в смертной казни лишь выгоду для общественной безопасности, защиты и возмездия. Легко представить человека, который говорит: «Я согласен быть лишенным жизни, если посягну на жизнь других», подразумевая при этом: «Я не стану совершать покушение, а значит, закон будет на моей стороне, а не против меня». Такой общественный договор настолько естественен, что часто встречается в закрытых сообществах - например, в тайных заговорах, где участники клянутся утопить в крови того, кто выдаст их секрет. Что касается справедливости этого наказания, то оно основывается на общественном соглашении и общей пользе. Если оно необходимо, то оно справедливо. Остается лишь выяснить, действительно ли оно необходимо»*.

Мнение **Руссо** совпадает с мнением Дидро. *«Мы соглашаемся на смерть в случае, если сами станем убийцами*, - пишет он в «Общественном договоре» (книга II, глава V), - *именно для того, чтобы не стать жертвой убийцы. В этом трактате человек вовсе не распоряжается собственной жизнью, он лишь думает о том, как её обезопасить; и нельзя предположить, чтобы кто-то из участников договора заранее планировал оказаться на виселице»*. И к этим убедительным опровержениям добавить нечего. Беккариа, как мы видим, опирается на принципы, однако он ошибочно полагает, будто согласие на введение смертной казни равносильно согласию пожертвовать своей жизнью. Это его предположение отвергается, и весь его аргумент рушится. Однако он мог бы привести более веское замечание. Он мог бы сказать, что поскольку юридические доказательства любого преступления могут быть ложными, а судьи всегда могут вынести приговор на основании слабых улик, или даже вопреки доказательствам невиновности, то само существование института смертной казни представляет для всех граждан такую опасность, что стремление к самосохранению не позволяет им подвергать себя подобному риску.

Тем не менее, и на это утверждение нашелся бы ответ. Если бы опасность быть осужденным невинно казалась меньшей, чем опасность подвергнуться нападению и быть убитым в условиях первобытного хаоса, и если бы смертная казнь была необходимой для предотвращения последнего, то принятие такого риска вполне соответствовало бы интересам самосохранения. К тому же и сам Беккариа - в силу противоречия, которое кажется крайне странным при присущей ему логической безупречности - признает, что *«смерть гражданина может быть необходима, когда, даже будучи лишен свободы, он сохраняет такие связи и влияние, которые могут нарушить спокойствие нации»*.

Вернемся, таким образом, к следующему положению: сама по себе смертная казнь ни в чем не противоречит праву каждого человека на сохранение своей жизни. Но сказать, что институт смертной казни не является безусловно незаконным, еще не значит признать его законным всегда, даже в случае тяжких преступлений. Чтобы быть законным, наказание должно быть либо необходимым, либо в высшей степени полезным. Перейдем ко второму вопросу.

§ II.

Является ли смертная казнь необходимой или хотя бы полезной? Я ни в коей мере так не считаю, и буду опираться на факты, которые может проверить каждый. На Гревской площади совершалось бесчисленное количество краж прямо под виселицей в тот момент, когда на ней вешали воров. Краж там было даже больше, чем у позорного столба, который собирал меньше народа. На протяжении последнего столетия смертная казнь за дезертирство неоднократно отменялась и вводилась вновь, но число дезертиров всегда оставалось неизменным - как в периоды отмены, так и в периоды её восстановления.

Франциск I издал жестокие законы против краж со взломом. Эти законы были отменены только Революцией. Однако в течение последних двадцати лет судьи ограничивали их применение лишь случаями ночных краж с внешним взломом. В прошлом веке и в начале нынешнего кражи с внутренним взломом, как и прочие, случались бесконечно чаще, чем в последующее время. В 1724 году смертная казнь была установлена за кражи, совершаемые слугами в домах хозяев; они были частым явлением, пока закон исполнялся. В последние тридцать лет такие случаи стали большой редкостью, хотя за этот период их почти всегда наказывали как обычную кражу.

Наконец, в периоды анархии люди продолжали плести заговоры прямо под эшафотом, на который падали головы заговорщиков или мятежников, и в периоды амнистии всё возвращалось к порядку и исполнению долга. Эти примеры, к которым можно добавить множество других, доказывают три вещи:

Во-первых, что смертная казнь не предотвращает преступление, когда к нему толкают нравы или обстоятельства; во-вторых, мягкость наказаний способствует скорее уменьшению, чем увеличению числа преступлений, если ничто иное не провоцирует их совершение; и в-третьих, излишне суровые законы скорее поощряют преступность, чем сдерживают её, когда из-за выдвинутого обвинения человек начинает бояться совершить преступление более тяжкое, чем то, в котором его хотят обвинить, или боится подорвать свою репутацию, добиваясь возмещения ущерба, который меньше, чем потеря чести.

Таким образом, безопасность и спокойствие граждан зависят гораздо больше от нравов и политических обстоятельств в государстве, чем от уголовного законодательства. Там, где нравы добры, там и жестокие законы не нужны; но там, где нравы порочны, жестокие законы бессильны против преступности, и в любом случае они опасны.

Великое искусство охранной полиции, которая должна служить дополнением к нравам, заключается вовсе не в (как бы ни утверждали обратное) точном подборе тяжести наказаний, а в совершенствовании способов предотвращения безнаказанности виновных. Страх перед тем или иным наказанием может возникнуть в душе лишь вместе со страхом быть пойманным и уличенным в преступлении. Суровость наказания, очевидно, не имеет значения, если

его применение маловероятно. Какое дело до этой суровости тому, кто надеется скрыться от правосудия? Что значат колесование или костер для убийцы или поджигателя, который в первую очередь рассчитывает на то, что его не арестуют? Но страх быть арестованным и уличенным, если он велик, достаточен для того, чтобы отвратить от преступления, даже если за ним не последует никакого иного наказания, кроме лишения ожидаемой выгоды.

Опыт показывает, что человек решается на трудное действие только из надежды получить от него выгоду. Если надежда отсутствует, тогда он не станет совершать это действие. Следовательно, если к отсутствию надежды добавляется хоть малейший повод опасаться какого-либо вреда, в душе возникает более чем достаточно мотивов, чтобы отказаться от этого поступка. Преступное деяние, как правило, является как минимум трудным, а порой и опасным. Следовательно, для совершения преступления необходимы надежда на наживу и отсутствие опасений получить ущерб. Таким образом, когда злоумышленник совершает преступление, совершенно очевидно, что он исходит из предположения, будто его не поймают. Значит, наказание, которое ему пришлось бы понести в случае разоблачения, никак не учитывается в его расчетах. Следовательно, бесполезно делать это наказание чрезмерным. Итак, если у вас есть полиция настолько эффективная, что надежда на наживу не находит места в душе преступника, а страх любого наказания всегда сопутствует мысли о преступлении, то, каким бы слабым ни было это наказание, его будет достаточно, чтобы удержать человека от преступного шага.

То, что смертной казни приписывают эффект, которого она на самом деле не производит, объясняется тем, что в момент их провозглашения государственные органы обычно проявляют чуть больше активности в поиске преступлений, на которые направлен этот закон, и в поимке виновных. Именно эта активность сбивает с толку и ставит в тупик злодеев.

Я не стану отвечать ни на одно из возражений против отмены смертной казни: все они уже были опровергнуты. Мне кажется более правильным и не менее полезным опровергнуть те плохие аргументы, которыми пытались обосновать пользу этой отмены. Вряд ли найдется много вопросов, в которых можно было бы лучше послужить своему делу, опровергая его сторонников, а не противников.

В Учредительном собрании говорили (кажется, это был Лепелетье де Сен-Фаржо), что общество не должно превращать в наказание событие, которое природа сделала общим условием человеческого существования; что нужно приучать людей смотреть на смерть хладнокровно и, следовательно, не причислять её к казням. Это плохой аргумент. Во-первых, его можно было бы применить к любому виду наказания. Можно было бы сказать: «Природа создала нас для труда; почему же тогда делать труд наказанием для преступника?». Во-вторых, природа предназначила нам умереть, но не умереть насильственной смертью. Смерть, которую приносит природа, мягкая, а та, что налагается законом - жестокая. Природа постепенно уводит нас из жизни через старость и болезни; она отрывает нас от всех привязанностей. Меч уголовного закона обрывает существование; он вырывает его из самой гущи его наслаждений. Природа усыпляет нас, а меч закона убивает, разрывая на части.

Лепелетье, как мне кажется, дошел до утверждения, что закон не должен внушать гражданину ужас перед смертью, поскольку отечеству нужно, чтобы он взирал на неё с презрением... Это стало бы великим несчастьем для государства, если бы граждане презирали жизнь. Тот, кто презирает жизнь, не имеет ни отечества, ни семьи. Это была бы печальная республика, республика святош, которые полагали бы всё своё счастье в созерцании иной жизни, и поддерживали бы в себе ненависть к жизни нынешней. На какие жертвы были бы они способны ради существования, не имеющего цены? Где нашелся бы тот рычаг, с помощью которого можно было бы управлять такими людьми или, вернее, такими машинами?

Обществу действительно необходимо, чтобы гражданин был готов пожертвовать своей жизнью, когда того требуют интересы государства. Но это означает, что он должен так любить государство, чтобы жизнь стала для него невыносимой, если он не сделал для него всего, что было в его силах. Это равносильно утверждению, что он должен жертвовать жизнью ради собственного счастья, предпочитая смерть прозябанию в унижении или несчастье. Он должен так

любить жизнь счастливую и благородную, чтобы суметь оставить её, когда она перестает быть таковой.

Поэтому я не стану причислять замечания Сен-Фаржо к тем мотивам, которые должны заставить отказаться от смертной казни. Впрочем, они избыточны. Достаточно и того, что сказал я сам, и прежде всего того, что было сказано до меня, чтобы обосновать её отмену. Я мог бы даже сделать вывод из своих слов, что любая карательная мера становится тем менее необходимой, чем совершеннее становятся средства раскрытия любых видов преступлений или их предупреждения. Руссо и Дидро согласны с Беккариа в том, что частота казней и их суровость всегда являются признаками слабости или небрежности правительства; так что, несмотря на право, которое есть у каждого человека - не соглашаться на смертную казнь, - благоустроенное общество не должно её устанавливать.

Мне известен лишь один случай, когда смертная казнь необходима. Именно его сам Беккариа исключил из принципа милосердия законов, и это случай, когда заговорщик или обвиняемый главарь фракции располагает связями и мощью, способными нарушить спокойствие и произвести переворот в установленной форме правления. Но этот случай крайне редок, и он не имеет ничего общего с обычными преступлениями, и даже с попытками мятежников второго разряда или рядовых сообщников заговора. Лишите их предводителя и обеспечьте хорошую работу полиции - и вам больше нечего будет опасаться.

(Journal d'Économie publique, 10 прериаля V года. - 29 мая 1797 г.)

О празденствах по случаю казней

Что бы вы сказали о суде, который не считал бы несчастьем необходимость отправить на смерть даже самого ужасного злодея? Что бы вы сказали о палаче, который приводил бы в исполнение смертный приговор со смехом? Что бы вы сказали о том чудовище, которое ударило по щеке обезглавленную Шарлотту Корде? Что бы вы сказали о судьях, которые после вынесения приговора и казни воскликнули бы: «Будем радоваться! Пусть все радуются! Виновный казнен!»?

Разве смерть виновного может когда-либо восприниматься иначе, как прискорбная необходимость? Разве казнь человека может когда-либо стать поводом для праздника? Разве закон убивает ради удовольствия? Или же он делает это с сожалением и только ради наказания? Если наказание - это страдание, то как вы можете праздновать это страдание как удовольствие?

Когда учреждаются праздники, претящие человеческой природе, можно ли быть уверенным в том, что их будут праздновать? Неужели кто-то верит, что многим захочется танцевать на могиле?

Смерть, которой карают преступника, как говорит Беккариа, для большинства людей является лишь объектом сострадания. Если это так, когда мысль о недавних преступлениях еще жива в умах зрителей, наблюдающих за наказанием, то что же это должно быть, когда преступления остались в прошлом и люди видят только саму казнь?

Насколько же прискорбно, что, когда речь заходит о казни короля, страх прослыть роялистом мешает даже самым честным людям напомнить о том, что он был человеком? Разве взывать к порядочности и человечности - значит призывать к восстановлению монархии?

(Journal de Paris, от 20 нивоза V года - 23 декабря 1797 г.)

О свободе работать, отдыхать и вступать в брак в любой желаемый день

Итак, граждане,[72] в будущем каждый будет волен работать столько, сколько сможет, и отдыхать, когда захочется, и жениться, когда найдется пара! Наконец-то мы дождались свободы и республики! Как же мы были несчастны! Десять лет назад отцу семейства, которому в воскресенье позарез нужна была монета, стоило только взяться за рубанок или напильник в своей мастерской, как ему тут же говорили: *«Ты оскверняешь этот святой день. Сложи руки или иди в кабак; иначе - штраф, а будешь упорствовать - тюрьма»*. Два года назад наступила иная тирания: учредили *декади*, сделав её наследником всех мнимых прав воскресенья. Трижды в месяц именем свободы и республики всем гражданам предписывалось безделье - то есть разврат для рабочих, у которых есть на что погулять, и нищета для тех, кому не на что накормить в этот день жену и детей. Пошли еще дальше: к тирании принудительного безделья в те дни, когда труд необходим, добавили тиранию принудительного труда в те дни, когда рабочий, изнуренный делами, нуждается в отдыхе. Только потому, что существовал гнет, запрещавший работать по воскресеньям, явился другой гнет, заставляющий работать в этот же день. В итоге при режиме, который называли «венцом свободы», мы получили семь дней угнетения в месяц вместо четырех, как было при старом порядке. Сегодня, слава небу, от нас не осталось и следа ни от клерикального господства, ни от революционного диктата.

Вероятно, на первых порах по старой привычке по воскресеньям всё еще не будут работать; но пример законных властей со временем возьмет верх над прежним обычаем. Кроме того, придут мир и созидание, и вы увидите, как личный интерес вскоре подстегнет промышленность, заставляя ее трудиться ежедневно, без различия дней. Люди предпочтут распределять отдых понемногу на каждый рабочий день, чем изнурять себя ежедневным каторжным трудом ради одного дня отдыха в декаду - дня скучного или ведущего к разорительному разврату.

Именно так живет народ в Китае. *«У китайцев,* - пишет лорд Макартни в 3-м томе описания своего путешествия (стр. 267), - *нет фиксированного дня для периодического отдыха. У них нет ни воскресенья, ни даже деления времени, которое имело бы хоть какое-то отношение к нашим неделям. Их храмы открыты ежедневно для верующих. Обычный труд народа почти никогда не прерывается»*. Следовательно, в Китае естественным состоянием человека является труд, а отдых - лишь исключение, которое должно быть скрытым, чтобы не вступать в противоречие с общим правилом.

И пусть не говорят, будто дни периодического отдыха служат единению граждан между собой и с государством. Как мы уже отмечали в «Философской декаде» (№ 32 за VI год республики), именно мастерские объединяют людей, а кабаки - разобщают. Именно труд и разделение труда заставляют народ чувствовать взаимную зависимость всех граждан, а вовсе не праздность - мать всех пороков, в которой разум теряется, а человек грубеет. Только достаток, плод упорного и хорошо оплачиваемого труда, а не принудительное безделье, учит народ ценить свою семью, родину, свободу и республику.

Труд! Труд! Вот великий регулятор нравов, возвышенное Провидение, удовлетворяющее наши нужды и обеспечивающее наши удовольствия.

Закончим замечанием: право работать и отдыхать по своему усмотрению было признано и закреплено Национальным конвентом, которому, при всех его многочисленных злоупотреблениях, в этом нельзя отказать. Обязанность же работать в воскресенье и запрет работать в декади - это изобретение прежней Директории.

(«Парижская газета» (Journal de Paris) от 11 термидора VIII года. - 30 июля 1800 г.)

---

[72] Виньоль де ла Ир, Потон де Сентрайль были вельможами, преданно служившими королю, но они составляли исключение, как и Дюнуа, и коннетабль. Именно Ла Ир так резко ответил Карлу VII, занятому подготовкой к празднику: «Нельзя потерять королевство более весело». Бово и Шабанн также были среди тех, кто посвятил себя изгнанию англичан: они были убиты, возглавляя свои войска в Гиени.

2

(Примечание редактора). Вот статья, упомянутая в предыдущем тексте; она была напечатана в «Философской декаде», № 32 за VI год.

На мой взгляд, большой бедой стала дискуссия в Совете пятисот о средствах насаждения празднований декади и предотвращения празднований воскресенья. Правительство и, прежде всего, система просвещения должны были способствовать отмене воскресного дня. Сделав декади днем отдыха для чиновников, уже начали многое для реформы. Запретив нотариусам составлять документы по иному календарю, кроме республиканского; запретив журналистам, типографам афиш и плакатов указывать иные деления месяцев, кроме принятых в новом стиле; обязав к этому все научные общества, центральные и начальные школы; договорившись с театрами, чтобы они не открывались по воскресеньям в течение некоторого времени, а в дни декади открывались раньше и по более доступным ценам; стимулируя труд по воскресеньям с помощью премий в общественных мастерских; привлекая к этому торговцев особыми милостями; устанавливая рыночные дни согласно новому календарю; облагая меньшим налогом в реестрах сборов тех купцов, которые открывали бы свои лавки ежедневно, по сравнению с теми, кто закрывал бы их четыре раза в месяц (поскольку последних только на этом основании следует считать богаче остальных); и, прежде всего, позволяя забыть о священниках и даже привлекая на свою сторону многих из них; наконец, прививая любовь к республике и её институтам, - я твердо верю, что менее чем за четыре года был бы достигнут весь желаемый эффект. Я полагаю, что, напротив, насилие и преследования приведут к краху системы декади и, возможно, к последствиям гораздо худшим.

Я утверждаю, что само обсуждение этого вопроса в народном собрании - уже несчастье. Ведь стоит только начать такую дискуссию, как из неё уже невозможно выйти простым переходом к повестке дня, и крайне трудно завершить её идеально мудрым декретом.

Если декрет будет жестоким и нетерпимым, он станет оружием в руках революционного фанатизма и подготовит почву для множества новых преступлений, а через эти преступления менее чем за два года вернет фанатизм религиозный, более жестокий и могущественный, чем когда-либо. Если же декрет будет умеренным и терпимым, священники воспользуются этим, сделают из этого предмет своей гордости, и их высокомерие, раздутое от безумной радости, подтолкнет их к ошибкам, которые вновь приведут к суровым мерам против них.

Я считаю, что в периоды партийной борьбы следует избегать споров и особенно партийных триумфов, ибо все партии склонны к злоупотреблениям. Я не называю партией тех людей, которые искренне желают, чтобы десятидневная система возобладала над недельной; но те, кто хочет этого любой ценой и без оглядки на обстоятельства, являются в моих глазах партией, причем партией, опасной для республики.

Если еще существует способ безболезненно выйти из начавшейся дискуссии, я полагаю, он заключается в следующем:

Следовало бы упразднить всякий периодический день отдыха и провозгласить: *«Поскольку труд людей различен по своей тяжести, а силы людей также весьма неодинаковы, каждый будет отдыхать тогда, когда устанет; никто не будет обязан отдыхать, если захочет работать»*.

«Торговец, являясь необходимым посредником для рабочего и потребителя и будучи занят делом малоутомительным, считается принявшим на себя обязательство перед рабочим и потребителем удовлетворять нужды и того, и другого - нужды, не терпящие отлагательств. Следовательно, торговцу не будет выдана лицензия на торговлю, если он не обязуется держать свою лавку постоянно открытой для публики под страхом лишения этой самой лицензии и обязательства выкупать новую при каждом нарушении, признанном неуважительным». Этот закон стал бы лишь расширением того, что уже касается мясников и пекарей.

Закон мог бы также гласить: *«Личный налог для любого торговца, который закрывает свою лавку более чем на один день в месяц, будет вдвое выше, чем для торговца, чья лавка открыта всегда; так как тот, кто отдыхает четыре дня из тридцати, считается более богатым, чем тот, кто трудится без отдыха»*.

Закон, составленный примерно на таких принципах, обладал бы, помимо преимущества не давать триумфа ни одной партии, еще и тем, что увеличил бы объем национального труда или, по крайней мере, не уменьшил бы его, как любая другая система. Ведь десятидневная система в этом отношении столь же порочна, как и прежняя: она запрещает труд в течение трех дней в месяц, а то и шести, поскольку допускает отдых в середине декады.

В Китае, то есть у самого трудолюбивого и нравственного народа в мире, нет фиксированного дня отдыха; нет ни воскресенья, ни декади. Верующие каждый день проводят по часу в храмах, но каждый день они трудятся. *(См. статью, следующую за этой).* Устанавливая празднование декади, мы навязываем себе трижды в месяц то же самое, что прежние епископы, лейтенанты полиции, священники, судьи и судебные приставы делали по воскресеньям. Если дом рушится, нужно разрешение, чтобы подпереть его или заплатить штраф; если наступает время сенокоса или жатвы в день декади - составляется протокол, накладывается штраф, грозят галеры или депортация! Боже правый! Пусть безделье в воскресенье запрещают сколько угодно, но пусть нам не навязывают его в декади. В прежние времена разумные люди говорили священникам и суеверным народам: *«Послушайте, друзья мои, разве трудиться - не значит святить воскресенье?»*. Лицемеры отвечали: *«Нет, мы хотим осквернить его»*, и отправлялись в кабак. Скажете ли вы отцу семейства, который в своей лавке в день декади зарабатывает на хлеб своим детям: «Ты оскверняешь декади»? Он ответит вам: *«Послушайте! Раньше вы говорили мне, что трудиться ради детей - значит святить воскресенье»*.

Знаете ли вы, как народ будет проводить дни декади? Так же, как он проводил воскресенья - за выпивкой. А дни примиди? Будет драться сам или бить свою семью, или устраивать беспорядки, как это бывало по понедельникам. Полиция подтвердит вам, что вечера воскресений и понедельников всегда были днями величайших общественных беспорядков и приносили столько же вреда, сколько вся остальная неделя. Вот для чего служат фиксированные и периодические дни отдыха. Впрочем, иногда говорили, что эти дни служат для единения граждан между собой и с государством. Нет ничего более ложного и абсурдного. Людей объединяют мастерские, а разделяют - кабаки; именно труд и разделение обязанностей заставляют множество людей чувствовать взаимную зависимость друг от друга, а вовсе не праздность - мать всех пороков, где разум теряется и человек дичает. Только достаток, плод упорного и хорошо оплачиваемого труда, учит народ дорожить своей семьей, родиной, свободой и республикой. Праздность длиною в месяц, в год или на всю жизнь всегда начиналась с праздности одного дня. Праздность одного дня не опасна, когда она продиктована усталостью и когда отдыхающего человека окружают работающие люди; но когда человек, ничего не делающий, полон сил, и его окружают такие же бездельники, не знающие усталости, - праздность одного дня, даже если она не породит множество пороков, вполне способна привести к совершению многих ошибок и несчастий.

Впрочем, пусть будет один национальный праздник в месяц. Чем реже они будут, тем торжественнее их будут праздновать. Один праздник в месяц и труд во все остальные дни - вот что позволит им дополнять друг друга, особенно если праздник, следующий за трудом, будет прославлять сам труд. Я бы хотел, чтобы в году было не более двенадцати праздников в честь искусств и ремесел, и еще несколько в дополнительные дни в честь свободы и великих эпох Революции. В остальном же - труд, труд и еще раз труд! Это великий регулятор нравов, это высшее Провидение, которое обеспечивает наши нужды и доставляет нам удовольствия. Запрещать труд! Считать труд преступлением! Наказывать за труд! Каким бы образом это ни делалось, это ущемляет все интересы, нарушает все права, смешивает все понятия о добре и зле, о полезном и вредном.

3.

Выдержка из путешествия Макартни в Китай, касающаяся дней отдыха[73]

«У китайцев нет установленного дня для регулярного отдыха. Обычный труд народа прерывается редко». (Том III, стр. 267.) «У китайцев нет ни воскресенья, ни даже деления времени, которое имело бы какое-либо отношение к неделям. Их храмы открыты каждый день, чтобы принимать приношения по обету». (Том III, стр. 268.)

Из этого следует, что в Китае рабочие отдыхают только тогда, когда устают; ничто не обязывает их отдыхать, пока они могут работать; а торговцы, чье ремесло не знает усталости, не требуют отдыха, их лавки открыты ежедневно без исключения. Китайцы - самый трудолюбивый народ на земле и именно поэтому самый нравственный. Если бы они выдавали патенты своим торговцам, то делали бы это только при условии, что те будут работать каждый день на благо потребителей; в случае невыхода на работу без веской причины патент аннулировался бы, что вынуждало бы их покупать новый. Они не стали бы запрещать работу другим рабочим, поскольку различные виды труда и разная степень нагрузки требуют разного времени для отдыха; но они сочли бы посягательством на свободу и нравственность запрет на труд даже на одно мгновение в году. Они не запрещали бы его ни на три дня, ни на четыре, ни на шесть дней в месяц; они не стали бы делить время так, чтобы одна часть принадлежала кабаку, а другая - мастерской, одна - разврату, а другая - активной жизни; они не разделяли бы дни, когда человек зарабатывает на жизнь себе и своей семье, и те, когда потребление утраивается без всякого заработка. В Китае естественное состояние людей - это труд, а отдых - лишь исключение, которое следует скрывать, чтобы оно не противоречило общему правилу.

(Journal de Paris, 10 термидора VI года. - 28 июля 1798 г.)

О собственности, и некоторых философах, которые её атаковали, а также о людях, обвиняющих в этих атаках всех философов и философию в целом

Некоторые видные писатели возложили на философов и на саму философию вину за то чудовищное нагромождение преступлений, которым 1793 год впервые в истории обременил человечество.

Они утверждали, что все преступления Революции стали неизбежным следствием принципов, провозглашенных философами; что люди вроде Эбера и Шометта, Марата и Робеспьера были лишь прямыми продолжателями идей Дидро, Мабли и Руссо.

Они заявляют, будто нашли в «Интерпретации природы» Дидро всё то, что привело к атеизму 1793 года, к разграблению церквей и преследованию священников. В нескольких строках «Рассуждения о неравенстве» Руссо, в «Кодексе природы», приписываемом Дидро, и во всех произведениях Мабли они видят систему **низвержения собственности** и установления абсолютного равенства. К несчастью, их утверждения были если не оправданы полностью, то, по крайней мере, во многом подкреплены привычными лозунгами главных злодеев 1793 года, у которых при совершении преступлений слово «философия» не сходило с уст. Еще свежее в памяти тайные документы заговора Бабёфа, где тексты Руссо, Дидро и Мабли подробно комментируются, и где из них с поразительной диалектикой выводится законность нового государственного переворота во Франции, еще более радикального, чем предыдущие!

[73] История Людовика XII.

Среди писателей, которые пользуются этими обстоятельствами для нападок на философию, встречаются люди недобросовестные и честолюбивые. Не имея законных прав на общественное признание, они добиваются его любой ценой и полагают, что для завоевания симпатий публики необходимо прежде всего ввести ее в заблуждение.

Этим людям мы отвечать не будем. Но есть и те, кто предубежден или обманут ложной видимостью; те, чьи поспешные суждения продиктованы стремлением к добру или ужасом перед преступлением. По отношению к ним философия советует проявлять деликатность и уважение. Она охотно являет им пример умеренности и мудрости, о которых они забывают применительно к ней самой. Опровергая их доводы, она ищет им оправдание и стремится смягчить их нравы, одновременно просвещая их ум.

Позволим себе высказать здесь несколько кратких замечаний для этих последних. Прежде всего скажем им, что Руссо, Дидро и Мабли - это еще не все философы, так же как аббат Кавейрак, написавший апологию Варфоломеевской ночи, не представлял собой все французское духовенство. Во-вторых, друзья Дидро отрицают, что отвратительная книга «Кодекс природы», где не просто проповедуется, но яростно навязывается уничтожение собственности, принадлежит перу Дидро. Этот вопрос нуждается в прояснении. В-третьих, можно доказать - и мы докажем это чуть позже - что Руссо был ревностным защитником собственности, а вовсе не её противником. Знаменитые две строки из его рассуждения о неравенстве условий вовсе не означают того, что пытаются в них найти как его мнимые последователи, так и ярые враги; они означают нечто прямо противоположное.

Что касается Мабли, то мы признаем его виновным. Мабли был лишь многословным подражателем и фанатичным последователем некоторых идей Руссо, которые он к тому же превратно понял. Все аргументы, собранные Руссо против институтов, необходимых для общественного состояния (с целью доказать, что это состояние менее благоприятно для человеческого счастья, чем состояние природы), Мабли, в силу нелепого заблуждения, растянул и переиначил, пытаясь доказать, что эти институты следует уничтожить внутри самого общества ради его совершенствования.

Относительно трудов Мабли мы присоединяемся к пожеланию, которое недавно с совершенной мудростью высказал Фонтан в открытой печати. Подобно ему, мы желаем, чтобы отважный критик наконец отделил в памятниках, воздвигнутых современной философией, заблуждения от истин, и выступил против неосторожных и разрушительных принципов, которые нередко встречаются в знаменитых книгах. Мы бы хотели, чтобы некий философ, сочетающий в себе просвещенность, подобающую этому званию, с высоким красноречием, взял на себя от имени самой философии труд по этому важному разграничению и последовательной критике. Никто не смог бы достойнее оправдать философию и благороднее отомстить за неё, чем такой человек. Философское движение больше выиграло бы от решительного отречения от некоторых дурных умов или ошибок, допущенных мудрецами, чем от того молчания, которое диктуется корпоративным или сектантским духом и которое выглядит как принятие одних и одобрение других.

Если же философия, лишившись поддержки после стольких потерь, не найдет среди своих учеников достойного защитника, мы вместе с Фонтаном обратимся к Лагарпу с просьбой выступить против ложных принципов, которые она отвергает. Пусть он нападает на них во имя философии, во имя религии или просто во имя общественного блага; необходимость немедленно обезопасить основы социальной организации, возможно, не оставляет нам выбора ни в людях, ни в средствах. Разрушительное действие ложной доктрины прекратилось, но породившее её заблуждение ещё не искоренено. Крупные литературные таланты могут на многое дерзнуть. Духовные силы растут, а возможности расширяются благодаря осознанию благородства цели. К тому же, мощный борец, который со славой одолел Маратов, Шометтов и Робеспьеров спустя максимум два года после их падения, несомненно, благодаря самим этим триумфам получил преимущество над их предшественниками.

Что же касается нас, кому не подобает примерять на себя роль мстителя за философию, и чей голос, слишком слабый для нашего рвения, не вправе ни отвергать от её имени приписываемые ей максимы, ни заставить замолчать тех, кто обвиняет её в их поддержке, - мы ограничимся лишь тем, что засвидетельствуем ей своё почтение. Мы заявляем: только философия вдохновила нас на те пожелания, которые мы только что высказали в защиту основополагающих принципов общественного порядка, и она вдохновила нас предложить талантливым писателям, и в особенности Лагарпу, несколько черновых страниц, которые мы написали о собственности против Мабли и его последователей. Эти страницы были зачитаны на двух заседаниях Республиканского лицея в то время, когда основы собственности начали сильно расшатываться, когда защищать её было крайне опасно, но когда это всё еще могло быть полезно. Мы читали их перед теми же слушателями, которых господин де Лагарп - носивший тогда тот самый колпак, цвет которого до тех пор никогда не был цветом профессоров - очаровывал тогда и продолжал очаровывать шесть месяцев спустя своими лекциями по литературе. Мы представляем ему эти идеи не как драгоценные материалы, а как собранные заготовки, объединение которых может избавить его от труда, мешающего полету его таланта и порывам его красноречия.

2.

Анализ вопроса: Является ли право собственности неотъемлемым свойством человеческой природы, предшествующим существованию общества, неотчуждаемым со стороны индивида и неприкосновенным для общественного организма?

(Фрагмент девятой лекции «Курса общественной организации», прочитанного в Лицее в 1793 году. Эта лекция была прочитана 13 апреля.)

Я без колебаний отвечаю: «Да» на все эти вопросы, напоминая, однако, о различии, которое я уже проводил между *правом* и *осуществлением права*. Я знаю, что осуществление права собственности может быть гарантировано только обществом; я знаю, что в естественном состоянии мои изгороди могут быть вырваны, мои жилища разрушены, и что только общественные гарантии могут защитить осуществление моего права. Но здесь речь идет о самом праве, а не о его гарантиях.

Я основываю свое утверждение на следующих понятиях, которые уже были изложены выше. Согласно естественному праву, человек может использовать свои возможности для удовлетворения своих потребностей. Согласно естественному праву, вещь, к которой человек первым **приложил свой труд** ради своей потребности, становится его собственностью. Его труд был свободным; никто не мог ему приказывать; следовательно, никто не может лишить его того вознаграждения, которое он обещал себе, приступая к делу. Посольку он первый занявший это место, то он не нарушил ничьих прав. Ограничиваясь своей потребностью, он не выходит за рамки интересов своего выживания - принципа своего права. Таким образом, плоды, которые человек собирает в естественном состоянии, и дичь, которую он убивает, являются его собственностью. Оспаривать это - значило бы оспаривать его право на жизнь, так как жить можно только за счет вещей, на которые приобретено право собственности. Таким образом, прежде всего нельзя оспаривать право на движимую собственность, или ***собственность на плоды***.

Но из того же самого принципа рождается и поземельная собственность. Когда я первым занимаю участок земли, расчищаю его и начинаю возделывать для своих нужд и нужд моей семьи, я приобретаю право на эту землю. Уже на том основании, что за мной признается право на свободу, я мог бы приобрести земельное владение; ведь в силу моей свободы никто не может приказывать мне трудиться. Следовательно, никто не может оспаривать у меня плоды труда, добровольно посвященного земле. На основании одного лишь признания моего права на движимую собственность я мог бы путем логического вывода доказать и право на поземельную собственность; ведь если я расчищаю и засеваю землю, я вкладываю в неё *авансы*

(предварительные затраты). Что такое авансы? Это плоды земли, которые я был свободен употребить в пищу, но которые я сберег. Если я, несомненно, имел право их съесть, то когда я помещаю их в землю, когда я привязываю их к почве так, что почва становится с ними неразделимой, эта почва, которую я занял первым, становится моей собственностью точно так же, как и эти плоды. Тот, кто хочет иметь ребенка от своей любви, берет в жены женщину; тот, кто хочет иметь плоды, берет в жены землю.

Здесь мне прежде всего возражают, что у меня нет *потребности* в земле. Мне говорят: «Вам нужны только плоды». Таким образом, моё право атакуют в самом его принципе. Я отвечаю, что потребность в плодах порождает у меня потребность в земле. Моя потребность заключается не только в том, чтобы иметь еду сегодня, но и в том, чтобы иметь её завтра; моя потребность живет не только в моем желудке, но и в моей предусмотрительности - способности ума, от которой мы получаем больше зла и благ, чем от самих наших ощущений. Мое право обеспечивать свои будущие потребности нельзя назвать метафизическим: его осуществляет трудолюбивый муравей, на которого мы наступаем каждый день.

То, что я ищу в собственности как в свободе - моя безопасность. То, чего я ищу в безопасности - это уверенность, которая является её внутренним ощущением. Таким образом, уверенность - это та из моих потребностей, которая заключает в себе все остальные. Следовательно, то, что для неё абсолютно необходимо, входит в число моих прав. Если я могу обрести уверенность лишь в той мере, в какой владею землёй, приносящей мне ежегодный урожай, и домом, где я могу хранить своё зерно, то право владеть полем и домом, то есть земельная собственность - является одним из моих естественных и основополагающих прав.

Но мне могут возразить, что если общество после своего формирования способно обеспечить ваше пропитание, вернув вашу собственность себе, и если оно пожелает её забрать, что вы сможете на это ответить? Я отвечаю:

1. Если моя земля была приобретена мною до того, как сформировалось общество, тогда оно не может меня её лишить, поскольку моё право возникло раньше него.
2. Когда я вступаю в общественный договор, я делаю это не для того, чтобы общество давало мне хлеб, а для того, чтобы оно гарантировало мне возможность добывать его своим трудом или своей предприимчивостью.
3. Я утверждаю, что общество не обладает физической силой, способной гарантировать мне средства к существованию, если оно не доверит землю частному интересу. Дело в том, что за общинным хозяйством всегда плохо ухаживают; там, где оно установлено, каждый стремится жить как можно более изобильно, вкладывая в общую работу как можно меньше труда. Кроме того, малейший сбой в общественной организации останавливает все земледельческие работы, или приводит к разграблению общих амбаров.
4. Я утверждаю, что поскольку общество не обладает и не может обладать физической силой, чтобы гарантировать мне пропитание, то оно не имеет права требовать, чтобы я доверил ему заботу о своём обеспечении и лишился своих личных средств, парализовав их в общем объединении. Я говорю, что раз общество не имеет права произвольно лишать гражданина жизни, то оно не может требовать от него полагаться на сомнительные меры ради своего сохранения.
5. Добавлю, что потребность в благах то расширяется, то сужается у одних и тех же людей, и разнится от человека к человеку. Эта потребность следует за развитием человеческого интеллекта и способна расширяться так же, как и он. Из этого следует, что человек должен иметь возможность применять больше или меньше своих способностей для удовлетворения своих нужд - то есть трудиться больше или меньше в зависимости от их масштаба. Следовательно, истина заключается в том, что человеку должно быть позволено трудиться сообразно интересу, который он находит в своём личном потреблении, и ему нельзя вменять в обязанность ничего сверх его потребностей - будь то потребности реальные, привычные или воображаемые. Между тем, если бы собственность была общей и не обрабатывалась, человек не мог бы соизмерять свой труд со своими потребностями. Если бы собственность была общей, но обрабатываемой, гражданин был бы принужден

к всегда одинаковой мере труда, и эта мера могла бы оказаться выше или ниже той, к которой его побуждало бы чувство собственной нужды. Таким образом, только земельная собственность может обеспечить ему пользование его правами.

6. Наконец, способность развивать и совершенствовать свои средства труда, свою предприимчивость, свои таланты и силы свойственна человеку ничуть не меньше и является частью его прав в той же степени, что и способность пользоваться благами. Однако это развитие и совершенствование были бы невозможны в стране, где земля принадлежала бы всем, а любая собственность - а вместе с ней и всякое разделение профессий - была бы под запретом. Ведь именно из разделения профессий происходит промышленность и рождаются почти «разумные» машины, которые в стократ увеличивают силу человека и облегчают тяготы всех его трудов.

Таковы мои размышления о праве земельной собственности. Я слышу, как после долгих споров со мной кто-то мог бы согласиться выделить работнику в качестве платы за его труд урожай плодов текущего года (Мирабо, *Речь о наследстве*); но это просто издевательство. Чтобы иметь бесспорное право на плоды года, мне достаточно вспахать и засеять уже расчищенную и удобренную землю. Но я приобретаю гораздо более широкое право, когда я сам расчищаю целину, когда сажаю растения, когда строю ферму, когда возвожу ограды. Я бы не стал делать всего этого ради одного урожая, и даже ради двадцати; ведь для всех этих работ мне потребовалось больше труда, чем для двадцати ежегодных циклов обработки. Кажется ли вам этот расчет преувеличенным? Он даже ниже истины. Недостаточно сравнивать время труда, затраченного на освоение земель, с тем временем, которое уходит на ежегодную эксплуатацию; необходимо также сопоставлять вложения, поскольку любое вложение - это накопленный результат предшествующего труда. Между тем, при закладке хозяйства требуется в двадцать раз больше усилий, чем при его ежегодной обработке.

Здесь меня снова прерывают и говорят: *«Но, по крайней мере, ваше право пользования не является наследственным по закону, и владение собственностью должно иметь свой предел. Этот предел наступает в тот момент, когда считается, что первому поселенцу возмещены его затраты. Оставим за ним право пользования на протяжении всей его жизни, но после его смерти имущество должно перейти государству»*.

Я оставлю в стороне те неудобства, которые возникли бы при подобном порядке: в другом месте я покажу, что это было бы губительно. Здесь же, повторюсь, я рассуждаю исключительно о праве, и с этой точки зрения продолжаю оспаривать мнение, отрицающее право наследования.

Прежде всего, я утверждаю, что принятие такого взгляда нанесло бы ущерб первому поселенцу; во-вторых, наследование не нарушает ничьих прав и даже полезно для интересов каждого. Мое первое положение о том, что было бы несправедливо не устанавливать право наследования, достаточно легко обосновать. Первые земледельцы, родоначальники богатства, подготовили землю к плодоношению исключительно своим трудом. На каком же основании кто-то посторонний может претендовать на получение собственности без труда? Неужели первые земледельцы должны были стать слугами последующих поколений? Когда первые фермеры обрабатывали землю, они, несомненно, делали это в расчете на количество своих детей; было вполне естественно, что они передавали по наследству то, что создали для них. Первые земледельцы также обустроили хозяйственные помещения, фермы, дома - всё это более долговечно, чем они сами. Естественно, что после их смерти это имущество не должно переходить государству или первому встречному.

Строго говоря, право наследования, конечно, могло бы существовать отдельно от права первичной собственности. Но в таком случае общество, прежде чем приступать к освоению земель, должно было бы предупредить первого земледельца о таком разделении, а он - смириться с тем, что его хозяйство будет несовершенным и малопродуктивным. И тогда земледелец сказал бы себе: *«Я не буду ничего сажать, потому что не смогу этим воспользоваться; я буду строить только для себя и ненадежно, поскольку никто из тех, кому важно сохранить память обо мне, не займет эти здания после меня. Я буду осваивать землю лишь для того,*

чтобы прокормить себя и своих малолетних детей, так как после смерти ничего не смогу им оставить. Я даже сокращу свои усилия или буду пренебрегать хозяйством на закате жизни; обработка участка, который я расчистил, пойдет на спад, ведь мои силы и потребности уменьшатся, и мне не останется ничего разумнее, как беречь свои силы и экономить на вложениях».

Если же, напротив, первый поселенец посадил деревья, прочно построился, расчистил и улучшил свой участок так, чтобы он приносил плоды долгое время после его смерти, он должен иметь право передать его своим детям. Иначе у него крадут плод того труда, который никто не имел права ему навязывать, и те вложения, которые никто не мог у него оспорить. В таком случае нарушается одновременно и право земельной собственности, и право собственности на движимое имущество.

Кроме того, я сказал, что наследование не ущемляет ничьих прав, а напротив, приносит пользу всем. Когда земля дает лишь дикорастущие плоды или дичь, бесспорно, для пропитания одного человека требуется гораздо больше площади, чем когда она возделана. Поэтому, когда охота или сбор диких плодов остаются единственным средством существования диких орд и земля находится в общем пользовании, каждый человек занимает гораздо больше акров, чем при земледелии. Человек, который пользуется десятью тысячами акров необработанной земли совместно с двадцатью другими людьми (что составляет пятьсот акров на каждого), безусловно, не наносит ущерба своим товарищам, когда ограничивается четырьмя акрами, которые он возделывает, и оставляет им остальные девять тысяч девятьсот девяносто шесть акров.

Но что, если некоторые поделят между собой всю землю и отвергнут остальных? В таком случае они совершают захват, превышают свои потребности и, следовательно, нарушают свое право. Но я говорю только о праве; по сути же, такое предположение абсурдно. Недостаточно просто сказать: «Это моё», чтобы стать владельцем - нужно иметь возможность вступить во владение. А вступить во владение землей можно **только через труд**, так как только труд делает её плодородной, и сила труда не распространяется на всё поместье, которое может охватить воображение. Во-вторых, даже если бы трудовые способности были безграничны, само желание трудиться ограничивалось бы потребностью в потреблении и наслаждении. Ведь человек не может наслаждаться сверх определенной меры, которая диктуется его физическими и ментальными возможностями.

«Но что если орда станет настолько многочисленной, что ей потребуется больше земли, чем есть в наличии, и придется отвергнуть "лишних" людей?» - это еще одно абсурдное предположение. Повторюсь: необработанная земля, которой достаточно, чтобы прокормить орду в ее нынешнем состоянии, будучи возделанной, сможет прокормить в сто раз больше людей. *«Но что если впоследствии, когда всё уже будет возделано, появятся новые люди, что вы будете делать с этими пришельцами?»* - я отвечу, что либо они пришли извне, либо родились в самом государстве.

В первом случае им следует ответить словами Вольтера («Философский словарь», статья «Равенство»): *«Ты приходишь, когда участки уже распределены, и говоришь нам: - "Я такой же человек, как вы; у меня две ноги, две руки, столько же гордости, если не больше, и разум такой же неупорядоченный, как ваш... Я пришел просить свою долю земли. В нашем полушарии известно около пятидесяти миллиардов арпанов, пригодных для обработки, не считая бесплодных земель. Нас на этом континенте всего около миллиарда двуногих животных без перьев. Это по пятьдесят арпанов на каждого. Восстановите справедливость, отдайте мне мои пятьдесят арпанов"». - «Ступай и возьми их у готтентотов, у кафров или у самоедов... Если хочешь здесь есть, одеваться и иметь жилье, работай на нас. Служи нам, развлекай нас»*. Действительно, земля, на которую каждый имеет право, это необработанная земля, заросшая терновником. Требовать долю в расчищенных и возделанных землях - значит требовать плоды труда и сбережений наших отцов и нас самих.

Если же просители родились в самом государстве, я отвечу, что в государстве никто не может родиться без собственности, если только его отец не распорядился своей долей иначе. И, например, любой человек, рождающийся сегодня без имущества, страдает от этого лишь

потому, что его отец или предок продали то, чем владели. Добавлю, что опоздавший, рожденный без всякой собственности, находится в точно таком же положении, как и первые поселенцы. Тем пришлось трудиться, чтобы обработать свою землю, трудиться, чтобы накопить капитал, необходимый для этого хозяйства. Что ж, опоздавшие будут работать, чтобы купить себе (если захотят) часть этой уже возделанной земли. Их положение даже более выгодно, чем положение первых колонистов, поскольку они находят землю уже облагороженную и гарантированную к приобретению. В то время как первым приходилось рисковать своими попытками - и этот риск должен учитываться в стоимости передачи прав собственности. Вот к чему сводится этот контраст, столь оскорбительный на первый взгляд: люди, рождающиеся с собственностью, и люди, рождающиеся неимущими; люди, наделенные благами общественными институтами, и те, кто рождается покинутым или отвергнутым ими.

«Но, - продолжают они, - *а если наша орда будет колонией?»*. Тогда колонисты проявили абсурдность, не соотнеся свою численность со средствами к существованию. В таком случае им придется прореживать свои ряды, как это делают на корабле, когда заканчиваются припасы. Но тогда - и это и есть настоящий ответ - возражение бьет не столько по частной собственности, сколько по коллективному пользованию, поскольку даже общность имущества не увеличила бы территорию.

«Но может наступить перенаселение! В таком случае, почему "прореживание" или депортация должны пасть на одних, а не на других? И почему найдутся бедняки, которых "глава" отправит в ссылку, в то время как богатые будут избавлены от этого?». Это опять ложное предположение. В государстве, где установлена частная собственность, никогда не будет перенаселения и не будет бедняков, так как количество браков там будет соответствовать средствам к существованию, которыми будут располагать люди.

Перенаселения стоит опасаться именно в случае общинной собственности, потому что там никто не обязан трудиться больше, имея жену и ребенка, чем когда он один. Поскольку общество гарантирует всем средства к существованию, каждый готов вступать в брак, не обращая внимания на ресурсы общества, которое в таких обстоятельствах вынуждено издавать законы, ограничивающие вступление в брак в пределах, признанных необходимыми. Тем самым оно нарушает свободу и вводит обременительный надзор за реализацией тех человеческих способностей, которые меньше всего склонны подчиняться и больше всего стремятся управлять нами.

Шесть строк из рассуждения Руссо о неравенстве условий стали лозунгом для глупцов и мошенников, которые сегодня угрожают собственности. Вот они: *«Первый, кто, огородив участок земли, додумался сказать: "Это моё", и нашёл людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы своим ближним: "Не слушайте этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля - никому!"»*.

Каким странным образом злоупотребляли этими словами! Из них пытались сделать вывод, будто, по мнению Руссо, земельная собственность противоречит правильно устроенному общественному состоянию. Напротив, Руссо хотел доказать, что она является его основой, и именно в этом качестве он противопоставлял её дикой жизни. Всем известно, что его рассуждение - это лишь апология естественного состояния в противовес цивилизации, и он сокрушается о собственности исключительно как о средстве достижения этой самой цивилизации. Таким образом, глупость и недобросовестность, нагло прикрываясь именем Руссо, представляют нам отмену собственности как высшее совершенство гражданского общества, хотя сам Руссо считал это вернейшим способом вернуться к первобытному состоянию, и сделать существование общества невозможным.

То, что я здесь утверждаю, доказывается не только общим смыслом рассуждения, но даже первыми строками того самого отрывка, на который опираются оппоненты: *«Первый, кто додумался сказать: "Это моё" и т. д., был истинным основателем гражданского общества»*. То, что следует сразу за процитированным текстом, также подтверждает мои слова. *«Но, по всей*

видимости, - говорит Руссо, - *тогда* (то есть, когда человек сказал: "Это моё") *обстоятельства уже сложились так, что они не могли долее оставаться прежними. Ведь эта идея собственности, зависящая от множества предшествующих представлений, которые могли возникнуть только последовательно, не сформировалась в человеческом сознании внезапно. Потребовалось достичь значительного прогресса, развить трудолюбие и знания, передавать и приумножать их из поколения в поколение, прежде чем дойти до этого последнего этапа естественного состояния»*. Из этих слов совершенно ясно, что Руссо рассматривал установление собственности как необходимое следствие уже созревших условий для общественного состояния и, если можно так выразиться, как завершение естественного состояния.

Другие труды, написанные Руссо уже не против общественного строя, а о его совершенствовании и истинных принципах, содержат множество доказательств его глубокого уважения к собственности. В его «Рассуждении о политической экономии», написанном позже работы о неравенстве условий, на странице 303 кельского издания мы читаем: *«Основой общественного договора является собственность; его первое условие - чтобы каждый был обеспечен мирным пользованием тем, что ему принадлежит»*. В том же рассуждении на странице 289 встречается ещё более примечательный отрывок: *«Несомненно,* - говорит он, - *что право собственности является самым священным из всех прав граждан и в некоторых отношениях даже более важным, чем сама свобода. Это объясняется либо тем, что оно теснее связано с сохранением жизни; либо тем, что имущество легче захватить и труднее защитить, чем личность, и потому следует с большим почтением относиться к тому, что проще отнять; либо, наконец, тем, что собственность - это истинный фундамент гражданского общества и подлинный гарант обязательств граждан. Ведь если бы имущество не служило залогом за людей, не было бы ничего проще, чем уклоняться от своих обязанностей и презирать законы»*.

По сути, даже если понимать слова Руссо в их абсолютном смысле и переносить в общественное состояние то, что он сказал о завершении естественного состояния - будто плоды принадлежат всем, а земля никому, - из этого следовал бы не новый передел земли, а совместное её использование и распределение плодов между всеми. При такой системе плоды принадлежали бы лишь труду. Что ж! В системе собственности они точно так же принадлежат труду и всем видам деятельности, поскольку любые работы равноценны друг другу. Таким образом, как я уже говорил, никто не остается в убытке. Более того, я утверждаю, что это выгодно всем, ведь земля дает больше благодаря разделению труда между людьми и постоянному приложению усилий к ее обработке, чем она приносила бы при общинном труде. Так, при нынешнем режиме не только гарантировано получение части плодов земли, как в естественном состоянии, но и обеспечивается получение бесконечно большей доли, так как самих продуктов становится больше.

Я закончу несколькими размышлениями о принципах, которые сегодня громко выступают против собственности: одни стремятся к ее **уничтожению**, другие - к **ограничению**. Все они идут к своей цели гнусными и насильственными средствами, все готовят гибель нации и толкают бедняка так же, как и богача, к конечному несчастью.

Когда заходит речь об установлении границ собственности и звучат угрозы в адрес богатства, мне кажется, будто человеку, имеющему малую собственность, говорят: *«Не смей приумножать то, чем владеешь»*. Тому же, кто начал создавать свое состояние собственным трудолюбием, говорят: *«Не смей совершенствоваться; останови развитие своего таланта, ведь он приведет тебя к такому росту благосостояния, за который закон накажет тебя, лишив всего имущества»*.

Когда предлагают отобрать у богатого излишки, чтобы обеспечить достаток бедному, это все равно что сказать бедняку: *«Не утруждай себя работой, ведь есть иные способы жить в достатке, кроме труда»*. А богатому: *«Не выставляй напоказ свое богатство, скрывай способности, сокращай расходы, не предлагай вознаграждение за труд, иначе лишь шум твоих денег привлечет к тебе внимание»*. Результатом подобных советов с обеих сторон становится то, что бедняк остается голодным, а грабеж превращается для него в необходимость, которую ему и так уже нашептывала лень. Таким образом, одновременно наносятся удары по собственности

богатого и по добродетели бедного; подрывается сам источник дохода для обоих. Ведь когда бедняк что-то приобретает путем грабежа, он должен принять за правило ничего не приобретать трудом, из страха самому оказаться ограбленным в свою очередь.

Когда проповеди против богатых не приводят к всеобщему перевороту, а оборачиваются лишь частичными грабежами, их жертвами становятся прежде всего люди умеренного достатка. Именно на них направлены покушения, так что обличения богачей обычно приводят к разграблению тех, кто вовсе не богат. Нападки на владельца ренты в сто тысяч экю в первую очередь приводят к тому, что грабят отца семейства, чей капитал составляет всего тысячу ливров. И почему так? Потому что у купца или ремесленника капитал - это повседневные товары, выставленные в лавке на виду у всех. У него обычно под рукой больше богатств, и они более соблазнительны, чем у рантье, который хранит лишь часть своего дохода в сейфе и может легко скрыть его от алчных взоров. Таким образом, именно купец становится приманкой для грабежа, спровоцированного против богатого рантье. И пока люди кричат против спекулянтов и банкиров, обманутый народ грабит сахар и мыло у лавочников. В частных домах можно много чего разбить, но мало что украсть. Именно в лавках находят всё, в чем нуждаются. Таким образом, никто не может безнаказанно разрушать общественную мораль, и дело собственности является общим для всех людей, которые чем-либо владеют, и даже для тех, кто ничего не имеет, но хочет приобрести.

2.
О собственности. Рассмотрение вопроса: полезно ли для общества установление права собственности в его социальном устройстве?

[Фрагмент второй речи «Курса социальной организации», произнесенной в Лицее в 1793 году. Эта речь была прочитана 3 февраля того же года. Мы сочли уместным, опубликовав в предыдущем номере ту часть Курса, которая касается права собственности, опубликовать сегодня ту часть, которая касается полезности этого института для социального устройства и выгод от его применения].

..... Три рода опасностей угрожают существованию людей в обществе: одни исходят от иностранных государств, другие - от внутренних врагов или недоброжелателей самого общества; третьи же исходят от природы, то есть от недостаточного плодородия или случайного разорения земель, кормящих общество. Ведь обществу необходимы хлеб, порядок и мир. Исходя из этого, разве не очевидно, что любая система социальной организации, любая её ветвь, которая не обеспечила общественную безопасность или поставила её под угрозу в одном из трёх указанных мною аспектов, не достигла цели существования общества? И я осмелюсь утверждать, что не существует ни одной политической системы, которая была бы безупречна в этом отношении.

Все известные системы можно свести к двум: системе **экономистов**, которые видели лишь опасности, исходящие от природы, и системе **уравнителей**, которые видели лишь опасности, исходящие от общественного устройства.

Первые, знающие только землю или принимавшие во внимание лишь её одну, создали общество исключительно ради неё. Они организовали его как крупное предприятие по эксплуатации сельских угодий, как некую огромную фермерскую мастерскую. Сельскохозяйственным трудам они посвятили класс граждан, рождённых без иного наследства, кроме собственных рук. Затем они разделили собственников на два класса: один должен оставаться на втором плане, другой же состоит из крупных землевладельцев и по сути своей, согласно законам природы, образует сословие знати, которому должны быть доверены все государственные должности и полномочия. Во главе сформированного таким образом общества они поставили совладельца всей собственности, который, следовательно, является собственником несравненно более крупным, чем все остальные. Из этого выдающегося собственника они создали короля - короля абсолютно деспотичного, чья воля и капризы не должны сдерживаться ничем,

кроме «деспотизма очевидности». И речь не об абсолютной очевидности его обязанностей, что было бы слишком абстрактно, а об ощутимой очевидности интересов земледелия, верховным главой которого этот король является. Это гарантия, без сомнения, малоутешительная даже для самого сельского хозяйства, поскольку деспотизм очевидности до сих пор не смог создать во Франции и двадцати ферм, подобных тем тысячам хозяйств, что существуют уже сотню лет в Англии и составляют процветание этой прекрасной страны. Гарантия, мало утешительная и для самих граждан, так как колонисты-рабовладельцы, прекрасно зная, что принудительный труд убивает негров, тем не менее обрекают их на него. Расчёт подсказал им, что доход от этого труда превышает стоимость самих негров; в конце концов, люди ежедневно рискуют жизнью ценнейшей лошади, чтобы выиграть пари, ставка в котором стоит больше, чем эта лошадь.

Уравнители же, напротив, рассматривали только людей; они ежедневно наблюдают их в деталях, изучают их в массе на примерах истории, находят истоки наших пороков и добродетелей и просчитывают силу наших страстей. Словом, они очень хорошо знают людей, но не знают землю. Они видели лишь одну опасность и один интерес: опасность тирании и интерес равенства. Они видят, что равенство нарушается собственностью, и потому отвергают собственность. Если вы укажете им, что они тем самым снизят производство, они ответят: *«Меньше богатства - больше нравственности; а с крепкой нравственностью приходит и сила»*. И если настаивать, говоря им: «Меньшее производство означает меньшую численность населения», они возразят: *«Это население будет более счастливым и добродетельным»*. А если спросить: «Но что вы намерены делать с уже существующими людьми?», то на вопросе о существующих людях они приходят в замешательство... *«Но,* - отвечают они затем, - *земля от этого не станет производить меньше»*; и здесь они выдают за доказанный факт то, что как раз и является предметом спора.

Система экономистов не должна занимать нас долго. Хотя её и украсили внушительным титулом «**физиократия**», называли «правлением природы» или *«принципами естественного и сущностного порядка политических обществ»*, уравнители воздадут ей по заслугам. Эта система падет под их ударами, ибо в их принципах равенства есть доля истины; ложны по своей сути лишь те выводы, которые они из них делают. Я намерен изложить систему уравнителей с некоторой подробностью. Я почерпнул её в основном из книги Мабли под названием «Принципы законодательства» - труда, который представляет собой лишь пространный комментарий к рассуждению Руссо о неравенстве условий.

Основанием этой системы служит **первое наблюдение**: оно заключается в том, что богатства не приносят счастья; они порождают в человеке множество искусственных потребностей, которые ставят его в самую рабскую зависимость. Тот философ, который, обходя дворец богача, воскликнул: *«Как много здесь вещей, которые мне не нужны!»*, был гораздо ближе к счастью, чем обладатель этих безвкусных безделушек.

Второе наблюдение заключается в том, что владение богатством ослабляет общественные связи. Оно замыкает богача в кругу его удовольствий и тех потребностей, которые они для него множат; оно делает его черствым к страданиям себе подобных. С другой стороны, бедняк, ожесточенный или униженный несчастьем, всегда взирает на богатого с завистью или постыдно пресмыкается перед ним; он опускается из ранга гражданина и свободного соратника до положения раба, склоняющегося перед господами. Богатый и бедный отделены друг от друга неприступными стенами.

Это еще не все: между богатыми и всем обществом в целом устанавливаются пагубные отношения. Потребность в богатстве и привычка к наслаждениям начинают с того, что внушают жажду стяжательства - то желание, из-за которого обществу отказывают в помощи, в которой оно нуждается и которую можно было бы ему предложить; желание, которое заставляет преследовать, воровать и вырывать то, чего у тебя нет; желание, из-за которого человек никогда не бывает достойным гражданином, а часто становится очень плохим; желание, которое является настоящей болезнью и называется алчностью.

Но эта болезнь порождает другую: властолюбие. Власть становится средством закрепить и расширить через господство определенные удовольствия, которые обладание богатством лишь подготавливает, обещает или дает несовершенным образом. Отсюда возникают дерзкие предприятия, которые подрывают или открыто атакуют свободу страны, распространяют коррупцию во всех слоях общества, впускают в сердца все пагубные страсти, унижающие человека и разлагающие общество.

Третье наблюдение, на котором «уравнители» строят свою систему, состоит в том, что богатства не обеспечивают безопасность государств, а наоборот, подвергают их реальной опасности со стороны иноземцев.

1. Они уменьшают силу из-за разделения, которое вносят в саму структуру общества, из-за обособленности богатых, из-за ослабления их физических сил и из-за того препятствия, которое они создают для формирования любого общественного духа, даже у бедняка, который не может горячо любить общество, где он является лишь изгоем.
2. Они возбуждают зависть или жадность; они навлекают на обладающие ими народы войны, которых бедность позволила бы избежать. Ибо какой интерес нападать или завоевывать страну, чье единственное достоинство в том, что в ней живут свободные люди, преданные исключительно своей свободе?
3. Богатство делает человека дерзким, несправедливым и агрессивным, тогда как скромная и добродетельная бедность уважает права каждого.
4. Бедному народу легче, чем богатому, найти надежных союзников для своей защиты: 1) потому что он никогда не вызывает их зависти; 2) потому что он верен принимаемым на себя обязательствам; 3) потому что он ничего не просит у них, когда они нуждаются в нем; 4) потому что он отдает им всю военную добычу, когда нуждается в них сам.
5. Силой, способной противостоять врагам, обладает не многочисленное население, а население счастливое и добродетельное. В этой истине можно убедиться, вспомнив о победе горстки афинян и лакедемонян над бесчисленными армиями Ксеркса, о победах кучки воинов, основавших Рим, над всеми народами мира, и, наконец, о победах горстки франков над римлянами, ставшими к тому времени хозяевами мира.

Таким образом, богатство не приносит счастья отдельному человеку, оно не приносит счастья государству и не обеспечивает его безопасность. Поэтому бедность и равенство являются, по мнению уравнителей, основами социальной организации; или, точнее, просто равенство. Ведь они проповедуют не абсолютную нищету и не нужду, а просто обладание тем достаточным необходимым минимумом, который, как считается, стал бы общим достоянием в результате справедливого перераспределения излишков богатых на нужды бедных.

От апологии равенства и бедности уравнители переходят к **критике собственности**; ведь именно собственность, накопление капиталов стало и следствием, и первопричиной того, что возникло неравенство состояний, то есть неравенство в земельной и движимой собственности; поэтому они в равной степени ополчаются на обе её формы. Они также нападают на **торговлю** и даже на любой иной труд, отличный от труда, направленного на общие нужды; и это - необходимое следствие их принципа, так как для выравнивания земельных владений не было бы большого смысла, если бы сохранялась собственность движимая, которая в нынешнем положении вещей составляет по меньшей мере половину ценности первой. Очевидно даже, что в случае полной отмены земельной собственности было бы бесполезно запрещать владение капиталом, так как тогда, поскольку каждый был бы ограничен лишь той долей плодов земли, которая необходима для его пропитания, не существовало бы никакой возможности обмена на изделия или даже на промышленный труд, который могли бы предложить капиталисты или рабочие.

Разумеется, нападая на собственность, уравнители начинают с того, что вычеркивают её из хартии прав человека. Они утверждают, что она является общественным институтом и, следовательно, подчинена интересам и нуждам общества. Весь мир знает, говорит Мабли, что до

возникновения общества собственности не существовало. В состоянии, предшествующем обществу, у людей слишком мало потребностей, чтобы посвящать себя обработке земли. Разве история не доказывает, что все народы начинали с бродячего образа жизни?

Системы уравнителей можно свести к четырем основным взглядам. **Первый** заключается в том, чтобы полностью уничтожать накопленные состояния после смерти владельцев, лишая их семьи наследства и делая наследником казну, которая расходовала бы выручку от продажи имущества или капитала, если наследство было движимым. **Второй** - ограничить состояния определенной суммой, сверх которой государство занимало бы место собственника либо абсолютным образом, забирая сам фонд или избыточный капитал, либо ежегодно требуя ренту с этого фонда или капитала; или же частично и периодически, забирая каждый год лишь долю дохода; или, наконец, не завладевая этим излишком ни полностью, ни частично, ни в виде капитала, ни в виде дохода, кроме как при чрезвычайной необходимости, характер которой был бы определен заранее. **Третий** взгляд состоял бы в том, чтобы разделить всё имущество между всеми гражданами поровну, с тем чтобы начинать этот раздел заново через определенные промежутки времени, как это практиковалось прежде у иудейского народа; либо по прихоти фракций, как у римлян; либо с условием, что каждый гражданин будет передавать, как у лакедемонян, полученную им долю своему старшему ребенку. Это могло бы на некоторое время установить своего рода равенство в семьях, но, несомненно, не обеспечило бы большего равенства между индивидами, чем писаное право или феодальные законы обеспечивали в Лангедоке между благородными первенцами и их младшими братьями.

Четвертый, наконец, заключается в том, чтобы упразднить собственность, вернуть земли в общинное владение, обрабатывать их сообща, складывать продукты в общественные амбары и распределять их между всеми гражданами решением государственной власти. Именно это было установлено иезуитами в Парагвае, квакерами в городе Евфрат; это же существует в нескольких частях Африки и Америки... Именно так долгое время владели землей монахи, прежде чем забросили её обработку. **Пятый** взгляд состоит в установлении нравов и законов против роскоши, которые, делая излишнее бесполезным, заставляют направлять его на нужды бедных или на общественно полезные заведения; такие законы, публично почитая скромность, обязывают магистрата соблюдать её, привнося простоту и даже суровость во всё, что относится к государственным учреждениям.

Рассмотрим доктрину уравнителей, начиная с их принципов и прослеживая их шаг за шагом до самых последних последствий. Прежде всего кажется, что они сводят счастье к слишком малому, исключая из его состава часть тех удовольствий, которые дает богатство. Счастье слагается из всех радостей, которые пробуждают чувства, не противоречат обязанностям и не уменьшают средств для их выполнения. Подобно тому как одной безопасности не всегда достаточно для обеспечения уверенности, так и одного лишь чувства существования недостаточно для обеспечения счастья; о счастье должны возвещать некие чувственные радости, некие удовольствия, чтобы оно существовало на самом деле. Когда человек находится точно на границе, отделяющей счастье от несчастья, он уже пребывает в несчастье. Неравномерное распределение богатств - я подчеркиваю, просто «неравномерное», и я далек от того, чтобы говорить о крайнем или даже значительном имущественном неравенстве - является источником радости не только для богатых, но даже и для бедных (под этим словом я не имею в виду нищих, ибо их не должно существовать), которым вид этого богатства внушает надежды и желания - два, пожалуй, самых ощутимых и реальных стимула для счастья.

Богатство, если рассматривать его в контексте общественного благополучия, гражданского единства и человеческого братства, предстает не в лучшем свете. Следует признать, что оно является источником эгоизма; что в сознании своего владельца оно всегда стоит выше общественных интересов.

Однако в связи с этим можно сделать следующие замечания.

1. Хотя богатство обычно отделено от бедности, оно все же не лишено связи с ней. Потребность получать удовольствие и разнообразить его заставляет идти навстречу стараниям

промышленности, которая является достоянием бедняка. Таким образом, богатство вынуждено платить бедности, если не давать ей даром; оно является ее данником, если не благодетелем.

2. Нельзя скрывать, что богатые проявляют меньше усердия к отечеству, чем граждане, рожденные в умеренном достатке, но они привязаны к нему мощным интересом. Меньший порыв влечет их к жертвам, однако расчет склоняет их к этому, и результаты оказываются почти одинаковыми.
3. Очень богатых граждан не так уж много; поскольку они встречаются на каждом шагу и во всех общественных местах, кажется, будто их бесчисленное множество, но это ошибка. Между богатством и бедностью располагается средний достаток, в котором сосредоточены все добродетели, желательные для государства. Причем добродетели среднего сословия являются следствием его положения между пороками крайней нищеты и пороками крайнего богатства.
4. Наконец, вполне возможно, не уравнивая состояния, сблизить их настолько, чтобы свобода и само равенство не испытывали от этого тревоги. Все сводится к тому, чтобы предотвращать образование новых чрезмерных состояний и разделять уже существующие, не уничтожая их.

Можно предотвратить формирование чрезмерных состояний, строго запретив любые виды государственных доходов, взимание которых требовало бы участия откупщиков; сократив государственные расходы, которые всегда становятся добычей интриг и жадности, особенно в военное время; избегая любых форм государственных займов, которые, давая почву для корыстолюбия и возбуждая неоправданные надежды, служат источником биржевых спекуляций; и, наконец, ограничивая торговлю.

Можно разделять владения, не уничтожая их, путем равного распределения наследства между детьми собственника; путем раздела, который закон устанавливал бы между его боковыми родственниками при отсутствии детей - раздела, при котором закон не допускал бы, чтобы один-единственный родственник получал все наследство целиком; путем более раннего наступления совершеннолетия, что приведет к более ранним бракам и, по этой причине, увеличит число детей; с помощью развода, который, предотвращая или исправляя неудачные союзы, сделает браки более многодетными; через продажу национальных и церковных имуществ; путем упразднения финансовых должностей и любых подобных способов сбора государственных доходов - способов, чей скандальный характер мог быть превзойден только нашими новыми методами осуществления расходов.

Законы, уже принятые для предотвращения создания огромных состояний за счет общества: упразднение финансовых корпораций, отмена права первородства, отмена феодальных владений, введение развода, ускорение наступления совершеннолетия - ко всем этим законам можно добавить усыновление; и более того, продажу крупных национальных и конфискованных владений, продажу церковных имуществ, отмену цивильного листа и придворных злоупотреблений, возвращение каждому гражданину свободы заниматься своим промыслом наиболее выгодным способом; повышение заработной платы - необходимое следствие народного правления, при котором богатый стыдится проявлять тиранию по отношению к бедному; прогресс во всех видах труда в еще молодой стране; и, наконец, любовь к труду, ведущую к бережливости, скромности и трудолюбию; все эти обстоятельства должны в скором времени привести к сближению состояний. Их неравенство будет также сильно смягчено властью, которую дает бедному над богатым право выбирать на все государственные должности, а также тем преимуществом, что бедный может сам их занимать. Это ставит состояние каждого под защиту бедных и в зависимость от них.

3.

Окончание статьи о собственности и рассмотрение вопроса: полезно ли для общества установление собственности в социальном порядке?

Нам остается рассмотреть собственность или, если угодно, неравенство богатств в связи с опасностями, исходящими от иностранных государств, и опасностями, порождаемыми самой природой. Легко доказать, что все системы, предложенные для уравнивания собственности - я имею в виду все, кроме тех, целью которых является их сближение путем разделения - представляют собой чистый грабеж. Они ведут к сокращению ежегодного воспроизводства средств к существованию и тем самым подвергают нас опасностям со стороны природы и внешних врагов, вместо того чтобы защищать от них.

Прежде всего мы отбросим четвертую систему, которая заключается в изъятии всей собственности и проведении нового раздела. Общепризнано, что такой раздел привел бы лишь к кратковременному равенству и стал бы источником вечных раздоров. Даже если предположить, что раздел произведен сегодня, уже завтра расточитель, лентяй или неспособный человек продадут свою долю, которая тут же увеличит состояние человека жадного, трудолюбивого и здорового. Единственный сын гражданина унаследует целую часть или даже несколько, в то время как многочисленные дети одного отца получат лишь крошечную долю.

Идея изъятия всей собственности ради превращения ее в общую массу не более убедительна. Ранее я уже разбирал, верно ли, что право собственности возникло позже общества и может быть отменено по его желанию; является ли возможность отмены следствием того, что оно возникло позже. Если предположить, что общество было полноправным хозяином в момент своего формирования и могло устанавливать или не устанавливать право собственности, могло ли оно отменить его после создания, когда гражданин уже вложил свой труд и сбережения? Не стало бы это посягательством на его свободу? Ведь лишить человека платы за его труд - значит признать в качестве принципа возможность принуждения к труду. Это означало бы превращение труда в барщину вместо присвоения его плодов. Здесь нам нужно рассмотреть лишь физический эффект от установления общей собственности, и мы ограничимся доказательством того, что предлагаемая идея приведет к полному уничтожению культуры земледелия.

Но предварительно заметим вслед за Руссо, что собственность является истинным гарантом обязательств граждан. Ведь если бы имущество не отвечало за человека, то из двух одно: либо было бы крайне легко уклоняться от своих обязанностей, либо пришлось бы вводить жестокие законы, направленные непосредственно против личности, за невозможностью обратить взыскание на имущество.

Заметим также мимоходом, что раздел плодов привел бы к постоянным спорам между трудолюбивым и ленивым, между сильным и слабым, между женатым и холостяком, между главой семейства и бездетным, между всеми гражданами и должностным лицом. Один претендовал бы на долю, пропорциональную не своим нуждам, а своему труду, то есть своим силам; другой желал бы долю, соразмерную его потребностям, независимо от того, каков был его труд.

Перейдем теперь к доказательству того, что предлагаемая идея приведет к уничтожению всякой культуры.

1. Человеку не свойственно по своей природе привязываться лично к тому, что является общей собственностью, и посвящать свой труд делу, за развитием которого он не может следить и плодами которого не может пользоваться единолично. Дороги, несомненно, принадлежат всем. И что же? Когда они строились с помощью барщины, как они строились? Перед нашими глазами огромное количество общинных земель, принадлежащих жителям одного и того же муниципалитета. Эти земли расположены среди отлично возделанных участков и принадлежат тем же самым земледельцам. У них есть всё для плодородия: и рабочие руки, и средства, и знания, и само качество

почв. Но при этом на них нет ничего, потому что собственность не пробуждает никакой воли и не побуждает ничьи руки к труду. Басня об «Оке хозяина» была придумана, чтобы доказать, насколько важен надзор владельца для сохранения вещей и, тем более, для их приумножения. Надзор со стороны чиновников был бы плохой гарантией качественного земледелия. В предлагаемой системе он был бы тем хуже, чем он многочисленнее; потребовалась бы как минимум треть нации, чтобы следить за всеми остальными. А кто будет следить за самими надзирателями?

2. Признано, что самым прибыльным видом сельского хозяйства является тот, что сочетается с содержанием большого количества скота. Тот же участок земли, засеянный пшеницей, прокормит меньше людей и прокормит их хуже, чем если бы две его трети были отведены под искусственные луга. Такие луга, давая корм множеству дойных стад, обеспечивают также обилие удобрений, благодаря которым оставшаяся треть земли дает столько же пшеницы, сколько дали бы две трети, засеянные зерном, при одной трети пастбищ. Кроме того, несомненно, что в интересах большой политики - увеличивать изобилие мяса и уменьшать потребность в хлебе. Ведь в свободных странах для спокойствия народа недостаточно одного лишь наличия пропитания; нужно еще, чтобы у торговцев и собственников не возникало никакого беспокойства по поводу его использования. Пшеницу можно захватить, вывезти или спрятать, чтобы избежать обвинений в спекуляции. Иногда ее также не хватает в некоторых департаментах, и приходится перевозить её с большими затратами. Скот же, напротив, нельзя ни спрятать, ни вывезти тайком; когда его нужно перегнать из одного места в другое, животные идут сами и служат транспортом для самих себя. Поэтому крайне важно увеличивать поголовье скота. Однако выращивание скота требует постоянного, стабильного и длительного ухода в течение нескольких лет; оно требует знаний - знаний общих, местных и практических. Сельское хозяйство стоит во главе как самых трудных, так и самых важных искусств. Закон вполне может сказать человеку: «Вонзи лемех своего плуга в эту землю и проводи борозды». Но он не может сказать ему: *«Приложи свой разум к этой земле, изучай её качества, заставь её плодоносить самыми надежными способами и стремись получить от неё лучшие продукты»*. Искусства совершенствуются благодаря разделению профессий; желать отменить его в самой полезной из них - сельском хозяйстве - значит желать её упадка.
3. Обработка земли требует трех видов знаний: знаний общих, знаний местных и знаний практических. Сельское хозяйство стоит во главе трудных искусств так же, как оно стоит во главе искусств важных. Закон вполне может сказать человеку: «Вставь лемех своего плуга в эту землю и проводи борозды»; но он не может сказать ему: *«Приложи свой разум к этой земле; изучай её качества; заставь её плодоносить самыми верными способами и старайся получить от неё продукты, которые могут принести наибольшую выгоду»*. Именно разделение профессий довело искусства до совершенства; отменить его в самой полезной из них - в сельском хозяйстве - значит желать её деградации.
4. Жилища существующих народов вовсе не приспособлены для общинного земледелия. Лишь деревни находятся в пределах досягаемости полей, которые их кормят. Городам пришлось бы обрабатывать землю далеко от своих стен. Если бы Париж был вынужден выращивать продукты, необходимые для своего существования, его жителям пришлось бы рассредоточиться на территории радиусом более тридцати миль. Чтобы каждый парижанин оказался на расстоянии вытянутой руки от своей работы, этот город должен был бы немедленно полностью распасться.

Система лишения семей наследства и призыва государственной казны к сбору всех преемств привела бы к двум пагубным последствиям. Во-первых, к распылению капиталов, а во-вторых, к невозможности многих сельскохозяйственных улучшений, и даже к пренебрежению нынешними хозяйствами. Человек на закате своей жизни не проявлял бы никакого интереса к своей собственности. Сколько деревьев было посажено, сколько домов построено, сколько

земель расчищено благодаря отеческой заботе, которая не менее сильна, чем сыновья почтительность, если только не называть её «постероманией» (страстью к потомству)! Разве не является для сердца человека нежным и драгоценным способом увековечить память о своем существовании посадка деревьев, которые будут жить после него, давать тень его детям, укрывать его семью и напоминать им о его жизни и его нежности?

Невозможно с первого взгляда увидеть всё то зло, которое принесет уничтожение капиталов. Этому вопросу нужно уделить некоторое внимание. Мы видели, что сельскохозяйственные, торговые и промышленные работы могли осуществляться только благодаря капиталу. Таким образом, капитал это один из основополагающих принципов богатства. Повсюду он подобен семени, без которого невозможно ожидать урожая, каким бы активным ни был труд и какой бы плодородной ни была земля. Исходя из этого, всё, что уничтожает капитал, наносит вред воспроизводству. Поэтому Адам Смит рассматривал расточительность как один из самых пагубных пороков общества, в то время как скупость - по крайней мере та, что накапливает капиталы и затем пускает их в дело, - обогащает государство. Чем же тогда была бы организация, которая ежедневно заставляла бы правительство тратить от имени закона на нужды огромного количества капиталов то, что разум осуждает даже в действиях немногих расточителей? Ведь эти растраты перекрываются сбережениями экономных людей и возмещаются усилиями бережливых.

Впрочем, закон, который сделал бы государство наследником вместо семей, был бы иллюзорным, поскольку каждый путем реальных или фиктивных сделок продавал бы или дарил бы свое имущество еще при жизни. Законы против роскоши сокращают объем труда, а привычка к роскоши его увеличивает. Последняя способствует формированию капиталов, умножая расходы на удобства и уменьшая траты на показное великолепие. Наконец, существует проект ограничения состояний - проект, для реализации которого предлагаются различные средства, более или менее эффективные, более или менее грабительские. Здесь анализ снова убедит нас в том, что всё, стремящееся ограничить состояния, неизбежно ведет к упадку культуры и уменьшению урожаев.

Во-первых, существует огромное количество людей, которые работают лишь для того, чтобы достичь огромного избытка: одни, обладая беспокойным умом, находят безопасность только в избытке средств к существованию; другие, имея подвижный характер, находят счастье лишь в крайнем разнообразии удовольствий. Есть также люди, чей интерес в делах заключается лишь в преследовании вечно ускользающей цели. Охотник находит удовольствие только в преследовании дичи; как только он ее убил, она перестает его интересовать. Наконец, есть умы, которые придают значение вещам лишь постольку, поскольку видят их отчетливо; те же, кто поместил цель далеко от себя, в тумане будущего, не узнают её слишком близко и не захотели бы сделать и шага вперед, если бы не имели свободы пройти весь путь целиком. Ограничить всех этих людей - значит остановить их деятельность и заставить их прекратить труд.

Во-вторых, поскольку максимум состояний фиксируется произвольно, он может постоянно уменьшаться. Таким образом, каждый частный собственник, оказавшись близко к установленному пределу, скорее сделает что-то, чтобы отдалиться от него, чем чтобы к нему приблизиться.

В-третьих, существуют сельскохозяйственные и промышленные предприятия, которые не могут приносить пользу и которые даже абсолютно невозможно создать иначе как в крупном масштабе. Установить максимум капитала сверх того, что строго необходимо для существования, - значит ничего не сделать для равенства; установите его ниже - и больше не будет ни крупных сельских хозяйств,[74] ни морских судов.

[74] Сословия 1484 года требовали среди прочего в своих наказах: «Чтобы командование воинами поручалось людям и капитана, от которых можно было бы добиться правоты и справедливости, если в указанных военных людях окажется какой-либо изъян».

В-четвертых, если о благосостоянии гражданина судят по его доходу, он постарается уменьшить этот доход так, чтобы не достичь установленного максимума; при этом он сохранит свой капитал или основные средства, чтобы иметь возможность продать их в подходящее время, или оставить своим детям. Это снова приведет к сокращению производства. Предположим, человек владеет землей стоимостью 300 000 ливров, приносящей 12 000 ливров дохода, и допустим, что 10 000 ливров - это максимально разрешенное состояние. В таком случае этот собственник, не желая возделывать свою землю ради государственной казны и стремясь сохранить свой капитал, чтобы разделить его между двумя или тремя детьми (в руках которых он будет далек от законодательного лимита), запустит обработку своего поместья так, чтобы получать с него лишь 10 000 ливров. Следовательно, при таком сценарии ежегодное воспроизводство на сумму 2 000 ливров будет потеряно для всех.

Таким образом, результатом любого проекта по уравниванию всегда становится упадок земледелия и сокращение объемов продукции. Сокращение производства у народа, которому едва хватает самого необходимого! У народа, который постоянно тревожится о своем пропитании! Сокращение производства в тот момент, когда свобода и равенство, купленные ценой стольких жертв, обещали процветание и изобилие! Кто мог бы поддержать подобную идею?

Мы, несомненно, хотим свободы и равенства, но **равенства в изобилии, а не в нищете**. Мы хотим равенства, мы полны решимости купить его ценой любых военных опасностей, но не путем добровольного голода. Мы хотим равенства, но ставим условием, чтобы при всех необходимых жертвах свобода, которая оплодотворяет, а не та, что стерилизует, не стоила нам ни единого колоса при следующем сборе урожая. Мы, бесспорно, хотим жить равными и свободными, но прежде всего мы хотим быть уверены, что выживем.

Довольно распространенным заблуждением среди грубых и невежественных умов является мнение, будто богатые *потребляют* бесконечно больше, чем бедные, лишь потому, что они больше тратят; они путают две совершенно разные вещи: расходы и потребление. Они верят, например, что человек, который тратит 1 000 ливров в день, потребляет в тысячу раз больше, чем рабочий, чьи расходы ограничиваются 20 су; что тот, кто тратит 30 ливров на свой обед, съедает в девять раз больше того, кто обедает на одно экю. Они скажут вам: *«Если бы этот богач потратил на свой обед только одно экю, то остальные двадцать семь человек, которые не обедали, могли бы устроить себе хороший пир на эти 27 ливров»*. Однако те 10 экю, которые этот человек тратит на свой обед, дают ему лишь возможность выбирать продукты, блюда, напитки, а вовсе не возможность потреблять их в большем количестве, чем позволяют его пищеварительные способности и вместимость желудка. Они не видят, что эти 30 ливров на самом деле оплачивают, помимо его собственного обеда, обед двадцати пяти или тридцати человек, которые прямо или косвенно работали над его приготовлением. Дом и кухня богача на самом деле являются лишь мастерской, где разные люди трудятся не для того, чтобы увеличить, а для того, чтобы изменить потребление одного человека; они работают прежде всего ради своего собственного потребления, которое учитывается в общих расходах этого дома, этой кухни. Таким образом, при упразднении кухни богача не экономится ни унции продовольствия; происходит лишь перемещение кухни и поваров.

Если доказано, что проекты уравнителей противоречат производству, то очевидно, что они наносят вред и внешней безопасности. **Меньше продукции - меньше населения; меньше населения - меньше сил**. Франция кормит одного человека на пять арпанов земли: в этом отношении она имеет преимущество перед Германией и Испанией; но Англия, Швейцария и

«Пусть они соблюдают ордонансы; и если они причиняют вред народу, пусть они будут наказаны обычными судьями. И, насколько это будет возможно, пусть туда назначают дворян, способных владеть оружием, отдавая предпочтение дворянам из приграничных земель и окраин королевства». Заметьте, что это сказано в главе, где речь идет о торговле, а сословия и, в частности, третье сословие, выражаются именно так. Эти слова - «насколько это возможно» - предполагают, что дворяне держались в стороне; что они питали отвращение к государственной службе; что они присваивали себе тогда привилегию не служить вовсе, так же как позже они притязали на исключительную привилегию служить лишь в офицерском чине.

Голландия в этом же отношении имеют преимущество перед Францией. Мы должны сравняться с ними в этом вопросе, не теряя нашего превосходства над другими. Если греки победили персов, если римляне покорили мир, если франки победили римлян, из этих примеров не следует делать никаких выводов против пользы численности населения. Во-первых, изобретение пушек, полностью изменив военное искусство, лишило личную доблесть значительной части её силы; таким образом, численность стала необходимым ресурсом. Во-вторых, поскольку все воюющие народы сейчас в равной степени изнежены, то преимущество, которое давали почти дикие нравы, и которая прежде была присуща некоторым молодым народам среди древних и развращенных наций, более не существует, и это еще одна причина искать преимущество в численности. В конце концов, наше население - избыточно оно или нет - существует; оно здесь, и не нам обсуждать его уничтожение. Горе тому, кто осмелится поставить под угрозу само его существование!

(Журнал политической экономии от 30 вантоза, 20 и 30 жерминаля V года - 20 марта, 9 и 19 апреля 1797 года).

О происхождении богатств

Рассмотрение вопроса: *откуда берутся различные виды доходов и как происходит их распределение в обществе?*

Все доходы берут свое начало в земле, но богатства земли извлекаются благодаря сочетанию трех видов труда, каждый из которых имеет неизменное право на долю в ее продуктах: это сельское хозяйство, промышленность и торговля. Эти положения требуют пояснения. Рассмотрим сначала, как создаются продукты земли. Они рождаются в результате воспроизводства и умножения семян, доверенных почве. Но как земля приумножает производимые ею блага? С помощью сил природы, подкрепленных трудом человека. А каким именно трудом человек может помочь природе? Расчисткой или улучшением земель, правильным ведением хозяйства, которое возобновляется ежегодно - одним словом, сельским хозяйством.

Но достаточно ли одного желания человека, чтобы начать сельскохозяйственное предприятие? Нет; необходимы авансовые средства, то есть капиталы - накопленные богатства, без которых предприниматель не мог бы обходиться в своей повседневной жизни. Эти средства нужны для оплаты расчистки земель, постройки фермерских зданий, для расходов на содержание тягловой силы и на семена, которые впервые бросают в землю.

Чтобы возобновлять обработку земли ежегодно, необходимо также, чтобы часть капитала, затраченная на семена, ежегодно восстанавливалась и увеличивалась. Это должно происходить так, чтобы возвращать и плату за труд, и прибыль от движимого и недвижимого имущества, задействованного в сельском хозяйстве.

На самом деле, капитал - это не что иное, как сбережения. Сбережения же могут возникнуть только за счет лишений или благодаря созданию значительного избытка потребления за счет труда, превышающего текущие потребности. Однако люди стремятся получить излишек - трудом или лишениями - лишь для того, чтобы расширить свои будущие удовольствия. Таким образом, без надежды на прибыль не будет ни сбережений, ни капиталов, ни обработки земли сверх потребностей самих владельцев и их слуг.

Но чтобы расширить свои удовольствия за счет прибыли от земли, необходимо, чтобы промышленность предоставила для этого возможности, ведь расширить удовольствия - значит сделать их разнообразными. Следовательно, без ремесел и искусств нет смысла желать прибыли, нет сбережений, нет капиталов и нет масштабного земледелия.

В Европе, где право собственности установилось в результате завоеваний, где народ был лишен земель и где сами земли были распределены между владельцами с крайним неравенством, три четверти почв остались бы необработанными без промышленного производства.

Первые капиталы в Европе неизбежно формировались в руках землевладельцев. Предвидение возможного голода заставило некоторых из них делать запасы из урожая или добиваться его увеличения за счет чрезвычайного труда. Поскольку плодородие земель ежегодно позволяло накапливать продукты в объеме, значительно превышающем их потребности, они становились обладателями огромных излишков продовольствия. Если предположить, что их окружали лишь слуги, занятые исключительно тем трудом, который позволил получить накопленные запасы, то я спрашиваю вас: что стало бы с этой массой лишних продуктов? У владельцев не было бы иного выбора, кроме как либо дать им сгнить, либо жить на этих запасах, прекратив всякую обработку земли, пока они не закончатся, либо, наконец, использовать их для расширения хозяйства через освоение новых земель. И из этих трех путей разве последний не был бы наименее разумным? Ведь чтобы на мгновение избавиться от бесполезного избытка они бы с трудом работали над его увеличением в дальнейшем.

Но представьте, что некоторые из их слуг, до того занятые лишь грубыми ремеслами, неотделимыми от земледелия, придумали и изготовили несколько предметов мебели для удобства и предложили их этим владельцам. Тогда у последних возникнет мысль о новых удовольствиях; они захотят испытать возможности зарождающейся промышленности своих работников и вскоре освободят их от грубого труда. Пропитание этих рабочих, добавленное к сырью, над которым они трудятся, позволит использовать ту часть продуктов, избыток которых был столь обременителен. Однако, создавая новый класс рабочих, необходимо было сохранить старый, а сберегательного фонда не хватило бы для содержания тех, кто стал жить по-новому. Следовательно, их существование нужно было обеспечить за счет ежегодного и постоянного воспроизводства. Тогда часть самого капитала была направлена на новое возделывание земли. Таким образом, обрабатывающая промышленность расширила сельскохозяйственное производство и прибавила к продуктам земли стоимость своих зарплат.

То, что она сделала в самом начале, она продолжает делать благодаря своему ежедневному влиянию. Предположите, что некая высшая сила навсегда свяжет владение рентой в 100 000 ливров с лишением всех удовольствий, не относящихся к первичным жизненным потребностям. Не кажется ли вам очевидным, что возделывание этой земли вскоре сократится до размеров, необходимых лишь для удовлетворения базовых нужд владельца? Таким образом, в Европе и везде, где существует большое неравенство во владениях, земледелие зависит от мануфактур.

Сказанное выше помогает нам понять, каким образом обрабатывающая промышленность получает свою долю в продуктах земли. Прежде всего, совершенно ясно, что именно она способствовала расчистке части земель Европы и поддерживает их возделывание. Следовательно, деятельность мануфактур нужно рассматривать если не полностью как сотрудничество с сельским хозяйством, то, по крайней мере, как непосредственную причину его трудов, как услугу, выполнение которой является обязательным условием этих трудов. Или же, если угодно, сельское хозяйство и мануфактуры следует рассматривать как разделение труда и равные затраты усилий в различных видах деятельности, продукты которых являются взаимной целью друг для друга. Здесь речь идет лишь о признании того, как доля обрабатывающей промышленности формируется в продуктах земли.

Мы видели, что промышленные работы предпринимались только при помощи капиталов, часть которых передавалась рабочим, а другая - земле, чтобы производить пропитание для этих самых рабочих. И действительно, для работы мануфактур недостаточно одного лишь желания и трудолюбия, как и в случае с землей. Необходимы также фонды или капиталы для создания мастерских, инструментов, сбора сырья и запасов продовольствия.

На начальном этапе развития общества, как мы видели, капиталы ремесел принадлежат владельцам земель, а рабочие являются лишь слугами на жалованье. Мы заметили, что эти капиталы после их формирования делятся на две части: одна идет на инструменты, сырье и

текущее содержание рабочих; другая - на ежегодное воспроизводство этого сырья и продовольствия. При таком порядке вещей рабочим полагалась только плата за их труд, и эта плата была именно воспроизводством той части капиталов, доверенных земле для обеспечения их ежегодного пропитания. Но должен был установиться новый порядок: рабочие стали делать сбережения из своих зарплат, и таким образом накопили капиталы, достаточные для свободного занятия своим ремеслом. С этого момента те, кто смог накопить средства, находившиеся в руках владельцев для оплаты промышленных работ, перестали делить их на две части (одну рабочему, другую - земле). Вместо этого они направили их целиком на землю для воспроизводства, чтобы обеспечить за счет расширения хозяйства пропитание для нового класса людей и поддержку новых работ. Следовательно, с того времени продукты земель увеличились именно в пропорции к капиталу промышленника. Таким образом, это выглядит так, будто он сам вложил его в сельское хозяйство; следовательно, он приобрел право на долю в приросте получаемого продукта, и у владельца нет никаких причин отказывать ему в участии в этом распределении.

Заметим попутно, что именно благодаря сбережениям мануфактур и трудам в области ремесел - значительная часть человечества освободилась от гнета другой его части. **Именно капиталы и труд в промышленности ограничили власть собственности**; без них эта власть до сих пор оставалась бы абсолютной. Ведь к чему послужила бы экономия на жалованье, если бы существовало одно лишь сельское хозяйство? Разве слуга, накопивший средства, приобрел бы тем самым какое-то право на собственность своего господина? Разве позволили бы ему расчистить участок земли для собственной выгоды? Нет. Следовательно, необходимо было, чтобы промышленность придала ценность и удобство движимому имуществу и чтобы таким образом сформировался новый вид собственности, отличный от земельной, хотя и созданный из того, что она производит.

Сегодня более чем когда-либо промышленность выступает на равных с собственностью и пользуется всеми своими правами. Мануфактурные предприятия множились и росли так же, как и сельскохозяйственные, и так же, как и они, требуют не только оплаты труда, но и прибыли на капитал, вложенный в дело. Одним словом, они требуют доли в продуктах земли, пропорциональной капиталам, которые они используют, и рукам, которые они задействуют. Разумеется, нет ничего более справедливого, чем равная доходность капиталов, созданных одними и теми же средствами, влияние которых на плодородие земли одинаково, и равная пропорциональность оплаты за труды, которые равноценны друг другу.

Чтобы общество после первых успехов, достигнутых благодаря сельскому хозяйству и зарождающимся мануфактурам, могло развиваться дальше и достичь своих естественных пределов, необходимо было, чтобы возможности для пользования плодами промышленности множились так же, как и средства к существованию. Для достижения этих преимуществ потребовалось установить максимально точное разделение не только различных изделий между разными производствами, но и различных операций, необходимых для изготовления одного и того же предмета, между разными руками или разными машинами - так, чтобы каждая часть одного изделия всегда выполнялась либо одним рабочим, либо одной машиной, не занятыми ничем иным. Но для постоянного использования машин или рабочих рук исключительно на частях одного изделия необходимо производить его в огромном количестве, а следовательно, вести работы в больших масштабах. Чтобы браться за масштабные работы, нужно рассчитывать на потребление товаров на больших расстояниях и на большое количество людей. Однако, расширяя рынок, необходимый для сбыта, к этому сбыту прилагается столько трудностей, помех и рисков, такая значительная потеря времени, что производственные и фабричные работы не могут сочетаться с самим этим сбытом. С другой стороны, ставя себя в зависимость от большого числа потребителей, производитель умножает неблагоприятные шансы. В обоих случаях возврат капитала задерживается, и возникает угроза приостановки работ, что чаще всего равносильно их полному прекращению. Сколько бы ни хотелось прода-

вать товары оптом, никто не хочет покупать их иначе как в розницу и именно для своего потребления; сколько бы ни хотелось продавать их у себя или поблизости, никто не хочет покупать их, не видя самого товара.

Что же должно было произойти, когда ремесла достигли совершенства и того уровня развития, на котором они находятся сейчас? Должно было появиться постороннее посредничество, и так зародилась торговля.

Из обстоятельств, сделавших торговлю необходимой, видно, что ей недостаточно было иметь только желание действовать, подобно сельскому хозяйству и мануфактурам, но ей также требовались капиталы. В самом деле, чтобы позволить предпринимателям в земледелии или на фабриках полностью посвятить себя своим трудам и избавить их от времени, потеря которого стала бы результатом их прямых контактов с множеством потребителей из разных мест, необходимо было, чтобы торговля изучала спрос издалека. С одной стороны, она должна была изучать нужды потребителей, а с другой - возможности, которые предоставляли фабрики и производства для их удовлетворения. Она должна была не только взять на себя обязанность закупать товары оптом для перепродажи в розницу; закупать их по мере того, как производит земля или выпускает мануфактура, чтобы дождаться ежедневного потребления; соответствующим образом организовывать перевозки; но, кроме того, нужно было позволить сельскохозяйственным предприятиям или мануфактурам все капиталы, необходимые для их деятельности; чтобы она взяла на себя расходы на склады и хранение, а также авансовые затраты на перевозку. И это ещё не всё: чтобы не подвергать риску замедления работы в земледелии или на мануфактурах из-за долгого отсутствия части их капиталов, состоящих из продовольствия и товаров, торговле пришлось замещать эту часть текущими платежами или, по крайней мере, выплатами, максимально близкими ко времени закупки. И это несмотря на неопределенность сбыта, который всегда зависит от капризов потребления, и несмотря на неустойчивость взыскания платежей, которое всегда дается труднее розничному торговцу, чем фабрике или сельскому хозяйству.

Когда торговля только начинала свою деятельность, она должна была получать вознаграждение от сельского хозяйства и мануфактур, подобно тому как последние в самом начале оплачивались первым. Следовательно, капиталы, без которых торговля не могла бы функционировать, должны были принадлежать предпринимателям в сфере земледелия или мануфактур, чьим агентом она являлась; и торговля не могла претендовать ни на что иное, кроме оплаты своих трудов. Когда эти предприниматели направили часть капитала на торговые операции, ставшие необходимыми для их собственного дела, сельскому хозяйству пришлось в тот же момент задействовать другой капитал для расширения посевных площадей, чтобы обеспечить пропитание новому классу людей, который должен был заняться этими работами. Отдавая продукты этого расширенного производства торговле, они, очевидно, давали ей всё, что были в состоянии дать.

Но когда в дальнейшем торговля также накопит некоторые сбережения и сможет действовать за счет собственных средств, капиталы, сформировавшиеся в руках мануфактуристов или земледельцев для нужд торговли, вместо того чтобы делиться на две части (одну - бесплодную, предназначенную для потребления, и другую - производительную, предназначенную для земли), смогут быть полностью направлены на воспроизводство. Тогда масштабы земледелия снова вырастут, но не напрямую за счет торгового капитала, а благодаря капиталу сельского хозяйства или мануфактур, который торговля «вернула» земле. Таким образом, торговля приобретет очевидное право на долю в продуктах земли не только пропорционально своим трудам, но и пропорционально своим трудам и своим капиталам; она получит право претендовать одновременно и на вознаграждение за свои усилия, и на прибыль от своих фондов, и у сельского хозяйства не будет повода ей в этом отказать.

Таким образом, представляется четко установленным, что сельское хозяйство, мануфактуры и торговля имеют равное, первоначальное и глубокое право на продукты земли, и что это право является источником их дохода.

Взаимное влияние сельского хозяйства, мануфактур и торговли, через которое происходит формирование доходов, охватывает огромные промежутки времени и пространства и не ограничивается рамками какой-либо страны или различиями между народами и нациями. В Европе нет ни одного государства, в пределах которого это влияние могло бы проявиться во всей полноте; тем более нет таких провинций внутри государства, где это было бы возможно. Ни одна из них не обеспечена одновременно всеми природными благами и всеми мануфактурами, необходимыми для жизненных удовольствий; тем более они не существуют там в нужной пропорции и не находятся в такой доступности для нужд или желаний, чтобы эта страна могла быть абсолютно самодостаточной. Таким образом, сосредоточив внимание на доходах конкретной страны, следует ставить целью лишь выяснение того, каким образом она, в силу обстоятельств, подчинена общему воздействию различных видов труда, которые мы разграничили, и как можно управлять этим воздействием применительно к ней.

Давайте на нескольких примерах составим представление об этой зависимости одной страны от другой в соответствии с различными обстоятельствами её экономики. В стране, богатой прекрасными землями, но где число мануфактур не соответствует доходам, которые эти земли могут приносить, земледелие будет превышать объемы потребления собственников, производителей и местных фабрик лишь в той мере, в какой иностранная промышленность предложит свои изделия и сформирует капиталы для их приобретения.

В стране, где много мануфактур, но нет земель, соразмерных потребностям людей, которых эти мануфактуры занимают, доход мануфактур будет частично формироваться из продукта иностранных земель. В стране, где наблюдается избыток продуктов одного вида, но не хватает продуктов другого, доход сельского хозяйства будет зависеть от иностранных мануфактур в той пропорции, в какой существует избыток товаров в стране; но, поскольку иностранное сельское хозяйство будет зависеть от местных мануфактур пропорционально их потребностям в продуктах, которые оно поставляет в большом избытке, возникнет взаимное влияние в пропорциях, определяемых разницей между излишками, от которых необходимо избавиться, и предметами первой необходимости, которые нужно приобрести.

Точно так же в промышленной стране, где наблюдается избыточное производство товаров определенного рода, но ощущается нехватка многих других, доход мануфактур извлекается из зарубежных земель пропорционально избытку выпускаемой продукции. Однако и иностранные производства за счет земель данной страны формируют доход, соразмерный потребностям этой страны в товарах, которые у них имеются в излишке. Здесь также наблюдается взаимное влияние, пропорции которого регулируются разницей между избытком и необходимостью.

Торговля, подстраивая свои операции под эти обстоятельства (которые не всегда являются неизбежными и непреодолимыми), приумножает возникающие в результате блага или беды. Помогая своими усилиями взаимодействию стран, торговля использует капиталы, которые она либо полностью оставляет в той стране, где работает, либо полностью выводит за ее пределы, либо распределяет между страной своей деятельности и заграницей.

Когда торговля направляет и труд, и капитал на обмен продукции местных мануфактур на продукты местного сельского хозяйства, она называется **внутренней торговлей**. Когда она использует их частично внутри страны, а частично за ее пределами для экспорта излишков или импорта необходимого, она называется **внешней торговлей** (импортной или экспортной) или, иначе говоря, **активной** или **пассивной** внешней торговлей. Когда торговля полностью задействует труд и капитал в иностранных государствах, чтобы покупать в одном месте и перепродавать в другом, она называется **транзитной** (складской) или **комиссионной** торговлей, а также «торговлей из экономии» - название, причину появления которого не так-то просто разгадать.

Когда в экономике народов мы наблюдаем зависимость сельскохозяйственных работ от промышленных, мы приходим к очень важной истине: несмотря на захват земель одними народами и изгнание других в болота или на скалы; несмотря на то, что у первых народов

лучшие и обширнейшие территории были захвачены горсткой людей, а все остальные остались в абсолютной нищете, человеческие институты не смогли заставить отступить великий закон природы. Этот закон гласит: земля, даже принадлежа немногим, отдает свои плоды всем. В действительности она принадлежит только человеческому труду. В руках того, кого называют собственником, она является лишь вознаграждением, которое она выплачивает ему за охрану и за его первые труды (или труды его предков) по ее освоению. Она допускает капиталиста к разделу своих ежегодных плодов только потому, что капиталы - созданные путем сбережения даров, полученных от нее благодаря прошлому труду - используются для обеспечения жизни тех, кто занят трудом нынешним. В конечном счете она принадлежит всякому труду, потому что произведения искусств и ремесел, как и плоды земли, суть не что иное, как взаимные услуги занятых в них людей; это лишь обмен их усилиями. Именно человеческое усилие дает право на блага земли.

(Журнал политической экономии (Journal d'Économie publique), от 30 вандемьера VI года. - 21 октября 1797 года. Том V, страница 351.)

О процентной ставке на деньги

Один из членов Законодательного корпуса недавно предложил обуздать ростовщичество и разразился громкими возгласами о ненасытности ростовщиков. Но если ростовщичество и существует, то не являются ли истинными виновниками сами законодатели? Ведь они, с одной стороны, обесценили земельные владения их безрассудно массовой продажей, а с другой - заставили деньги скрыться или исчезнуть из-за преследований и самого чудовищного злоупотребления бумажными деньгами. В результате сегодня, покупая дом или землю, человек получает вечную ренту в размере 15 или 20 процентов на 100 единиц своего капитала. Всё красноречие ораторов Совета Пятисот, все законы обоих советов, все преследования правительства и все проповеди священников не заставят владельца капитала, который может разместить его под 15 или 20 процентов в землю, одолжить его частному лицу, пусть даже самому платежеспособному, под 4 или 5 процентов! Поистине, очень легко кричать против зла, которое сами же и причинили, - как будто крики могут его исправить, и приказывать исцеление, не леча болезнь! Что я говорю - «не леча»? Скажем лучше: усугубляя её и добавляя новые проблемы; ведь законы, ограничивающие процентную ставку, лишь ещё больше её поднимут. А карательные законы, добавленные к первым для обеспечения их исполнения, лишь отвлекут новые средства от нужд торговли и голодающих мануфактур.

В сущности, что такое ростовщичество? Что следует понимать под этим словом? Является ли процент на деньги чем-то таким, во что должен вмешиваться законодатель? Шесть лет назад нам было бы стыдно возвращаться к этим вопросам, которые уже решили самые прославленные политики. Нельзя было сказать на эту тему ничего ложного, не выглядя абсурдным; нельзя было сказать ничего истинного, не впадая в занудство и банальность. И что же! Сегодня приходится начинать с азов; нужно унижаться до того, чтобы по буквам разбирать простейшие элементы; нужно снова надевать детские помочи и лепетать то, что уже было сказано и пересказано тысячу раз. Иначе вы увидите законодателей, которые вас совершенно не понимают и даже упрекают в излишней резкости, когда вы без колебаний повторяете самые тривиальные истины... Обратимся же снова к книгам, к специальным трактатам и займемся изучением.

Есть два сочинения, которые мы не можем не рекомендовать к прочтению: одно принадлежит **Тюрго**, другое - перевод с английского произведения **Джереми Бентама**. И вот краткая заметка об одном и о другом.

Тюрго исследует и развивает принципы естественного права применительно к проценту; он показывает необходимость возмездного займа для торговли, указывает различные причины, вызывающие колебания его ставки, и доказывает их справедливость. Он устанавливает, что законность процента не зависит от предположений о прекращающейся или возникающей прибыли; что процент является прямым следствием права собственности на капитал, которое подразумевает право продавать его и право извлекать из него доход. Наконец, он предпринимает опровержение схоластов и теологической доктрины, выступающей против ссуды под процент.

Джереми Бентам берет тему примерно на том месте, где её оставил Тюрго. Теологи - не единственные враги ссуды под процент; следом за ними идут ложные моралисты, льстецы народа, гонители собственности. Именно с ними Бентам борется и их опровергает. Сначала он сводит всё их учение к пяти очень ясным положениям, а именно: (1) что ограничительные законы о процентах препятствуют ростовщичеству; (2) что они сдерживают расточителя; (3) что они защищают человека, оказавшегося в стесненных обстоятельствах; (4) что они сдерживают безрассудные проекты; (5) что они оберегают невежество от неприятных сюрпризов.

Автор рассматривает эти пять положений и опровергает их в пяти письмах, в которых выказывает себя достойным учеником Смита благодаря точности и ясности своего анализа. Он доказывает, что интересы расточителей вовсе не должны занимать законодателя; что расточитель всегда находит способ разориться иначе, чем через займы; что трудность получения займа, вынуждающая его распродавать свои активы, лишь более эффективно ускорит его крах. Он показывает, что ограничение процентов вместо того, чтобы быть полезным частному лицу, находящемуся в нужде, может привести к его гибели, лишая его помощи, на которую он, в силу своего положения, не мог надеяться по законной ставке.

Он выступает против навязчивого и неосмотрительного законодателя, который встает между частным лицом, чей кредит пошатнулся, и полезным кредитором, который за определенную плату оказывает ему услугу, и говорит первому: *«Все ваши расчеты ведут к чистому убытку; вы не получите денег, которые хотите, потому что я решил, что вы причините себе вред, занимая на таких условиях!»*. Часто смеются, продолжает Бентам, над теми, кто беспричинно упорствует в отклонении чужих советов; но что думать о тех, кто беспричинно настаивает на навязывании своих собственных, и что сказать о решениях законодателя по делам, основные обстоятельства которых ему не известны?

Другие письма демонстрируют пагубные последствия, вытекающие из законов, ограничивающих процентную ставку: лишение огромного числа граждан необходимых им капиталов; удорожание стоимости кредита для других; склонность к развращению общественных нравов через поощрение предательства и неблагодарности; так как законы против ростовщичества могут соблюдаться лишь в той мере, в какой заемщик соглашается раздавить руку, которая ему помогла.

Наконец, автор показывает, что все законы против ростовщичества призрачны, так как существует огромное количество сделок, таких как оборот торговых векселей или покупка товаров в рассрочку, в которых маскируется самое вопиющее ростовщичество.

Переводчик Джереми Бентама должен быть доволен тем, что в настоящий момент познакомил Францию с таким прекрасным трудом. К сожалению, повторимся, это сочинение вновь стало необходимым; но раз уж оно стало необходимым, хорошо, что оно распространяется.

(Journal de Paris, от 22 нивоз V года. - 11 января 1797 г.)

О финансовых ухищрениях

1.

Говорят, государственная казна истощена. В это нетрудно поверить. Но какими средствами ей прийти на помощь? Именно это необходимо изучить. Чудовище уже у наших ворот, как говорил Мирабо. Но это чудовище - больше не банкротство, как в его времена: банкротство уже прошло через наши дома, оно опустошило их, выбросив всё в окна, и нам больше нечего его бояться. Чудовище, которое рычит сегодня, - это гидра старых финансов.

Францию хотят снова заселить чиновниками, утыкать её таможенными заставами; хотят, чтобы, как и в прежние времена, восемьдесят тысяч служащих вновь принялись угнетать народ и пожирать его достояние; чтобы расходы на взимание налогов вдвое увеличили размер податей и чтобы все свободы были скованы ради расхищения любой собственности! Неужели конституционный и республиканский грабёж был учреждён лишь для того, чтобы сменить грабёж монархический? Неужели нас заставляли клясться в «братстве или смерти» только для того, чтобы принести одну армию французов в жертву разорению остальных?

Никогда ещё время не было столь благоприятным для установления прямого налога: земли почти все перешли в новые руки; все они были куплены за бесценок; большинство приобретено зажиточными фермерами; сельское хозяйство процветает; поголовье скота значительно увеличилось: вот где сосредоточено богатство, и именно там государство должно изыскивать свои ресурсы. Система добровольных налогов, о которой нам твердят без умолку и которая так нелепо смотрится рядом с системой принудительных займов, - это абсурд, к которому даже стыдно возвращаться. Найдутся ли в деловых кругах люди настолько невежественные, чтобы возрождать её, когда не осталось ни одного просвещённого человека, который не считал бы излишне утомительным бороться с ней - настолько она уже изобличена и разгромлена?

Но, восклицают вновь, государственная казна пуста! - Что ж, неужели вы полагаете, что ваши косвенные налоги организуются в один день? Знаете ли вы, что налогу на табак потребовалось полвека, чтобы достичь дохода в 20 000 000? Что может быть доступнее для вас, чем прямой налог? И если учреждение, распределение и взимание разумного прямого налога всё ещё требуют слишком много времени, если помощь нужна немедленно, то вместо косвенных налогов, посягающих на свободу каждого и на собственность всех пропорционально, обратной их достатку, бросьте в эту алчущую пасть лотерею. Кто не знает, насколько лотерея аморальна и даже преступна? Но разве трудно доказать, что любой косвенный налог, за исключением регистрационных и гербовых сборов, не менее порочен? Лотерея, по крайней мере, обладает тем неоценимым преимуществом перед всеми остальными, что можно, не нанося ущерба её доходности, говорить о ней всё самое дурное и обличать все её пороки, тогда как косвенный налог нуждается в восхвалении, чтобы быть эффективным. Таким образом, учреждая лотерею, можно одновременно вынести ей смертный приговор, тогда как нельзя установить косвенный налог, не закрепив его существование похвалами, которые становятся залогом его долговечности.

(Journal de Paris, от 20 фримера V года. - 10 декабря 1796 г.)

2.

(Примечание издателя.) В газете *Journal de Paris* от 7 нивоза V года (27 декабря 1797 г.) господин Пьерро, первый клерк ведомства регистрации и государственных имуществ, опубликовал пространный ответ на предыдущую статью, в котором выступил в защиту косвенных налогов. Мой отец ответил ему в том же издании следующим образом:

«Мне нечего ответить ни Цицерону, ни гражданину Пьерро. Я отвечу тому писателю, который сумеет доказать, что косвенный налог не ложится всегда тяжким бременем на одного лишь земельного собственника - либо через увеличение его расходов, либо через уменьшение его доходов. Я отрекусь от своих принципов перед тем автором, который докажет этот тезис; и я буду сражаться с тем, кто попытается обосновать его с помощью софизмов. Но противопоставление одних авторитетов другим никого ничему не учит; а опровержение избитых истин лишь наводит скуку на публику».[75]

О заботе правительства в отношении орудий и инструментов, используемых в сельских работах

Я хотел бы сказать несколько слов об инструментах и машинах, которые повсеместно служат для выполнения необходимых работ: о лопате, кирке, пиле, топоре и других. Меня всегда поражало сходство форм этих различных инструментов в разных краях, несмотря на то что они используются для разных целей или на разных почвах. Но еще больше меня удивляет их различие, хотя они сделаны из одного и того же материала и предназначены для одних и тех же работ на схожих почвах. Я мог бы добавить: поражает и использование совершенно разных инструментов для одной и той же работы в разных местах.

В Виллер-Котре леса вырубают пилой, а в Вогезах для этого используют топор. Здесь мотыга, которой виноградарь очищает виноградник, имеет легкое железное лезвие и длинную рукоятку; в других же местах это очень тяжелое лезвие, прикрепленное к очень короткой рукоятке. Чтобы пользоваться первой, достаточно лишь слегка наклониться; работая же со второй, рабочий вынужден сгибаться до самой земли: его внутренние органы сдавлены, грудная клетка стеснена, а к голове обильно приливает кровь из-за неудобной позы и солнечного жара, отражающегося от почвы. Здесь лезвие лопаты широкое и короткое, хотя почва глубокая; в других местах оно узкое и длинное, хотя перекапывать приходится лишь тонкий слой плодородной земли.

Пила в одних департаментах тонкая и гибкая, с длинными зубьями и узким разводом; в других же это толстое полотно с очень короткими зубьями и очень широким разводом - то есть в одном кантоне она удобна, легка и производительна, а в другом представляет собой полную противоположность. Точно так же обстоит дело и со способом извлечения воды из колодцев, который крайне разнообразен. В большинстве департаментов используют блок и веревку, конец которой прикреплен к дугам, поддерживающим блок. Чуть дальше люди более сообразительны: на концах веревки висят два ведра; вес опускающегося ведра помогает поднимать то, что тянут вверх. В иных местах стоит большое колесо, которое может вращать даже ребенок; а где-то установлена система-журавль, которую приводит в движение легкое усилие, и так далее. Как мы видим, существуют способы крайне утомительные, а есть и весьма удоб-

[75] Противопоставляя предубеждениям определенной категории нынешних читателей столь веские авторитеты, как короли и законы, чтобы подкрепить утверждения, для которых они не хотели бы видеть иного основания, кроме революционных хроник, я не могу скрыть, что компрометирую величественную память этих государей. Я выставляю их, несмотря на всю их законность, под удары рвения, которое не склонно признавать монархию, ограниченную феодализмом. Но если для лучшего обоснования мне нужны менее значительные доказательства, я процитирую авторитетное мнение председателя Эно: «Это было великим преимуществом, - говорит он, - для суверенной власти вновь взять в свои руки узурпированное правосудие; но подданные оставались постоянно вооруженными... Было полезно положить конец связям дворян с солдатами... Изобретение косвенных налогов и подушной подати завершило этот великий труд... Подушная подать была введена на постоянной основе в 1445 году... Дворяне давали деньги королю, а король содержал армии независимо от них». (Ист. заметки о 3-й династии, в 4-ю долю листа, стр. 788).

ные. Почему же удобные методы не используются повсеместно? Добыча воды - это не та тягота, которая свойственна лишь определенной местности: воду добывают везде. И это не тот труд, который касается лишь немногих: нет ни одной семьи, которая была бы от него освобождена. Это немалое бремя для многих категорий сельских рабочих, так как существуют целые округа - а во всех округах бывают такие времена года - когда поить скот можно только колодезной водой, и когда у садовников почти нет иного ресурса для полива своих садов. Обычай поднимать воду с помощью веревки, перекинутой через блок, особенно пагубен для беременных женщин, так как вынуждает их поднимать руки с огромным усилием и так далее.

Эти различия, примеры которых я не стану множить, проистекают из рутины каждого округа, а рутина поддерживается лишь невежеством. Но существует и еще более прискорбное явление, которое встречается в каждой деревне, между жителями одного и того же селения: это разница между хорошим и плохим инструментом, между качественно изготовленным орудием и бракованным; между тем, что хорошо налажено и содержится в порядке, и тем, что запущено; наконец, между инструментом новым и изношенным. Главная причина этих различий - нищета части сельских жителей. Что может быть печальнее, чем видеть несчастного человека, вынужденного прикладывать вдвое больше усилий, чем его сосед, для выполнения той же работы только потому, что у первого нет средств на покупку инструмента, подобного тому, что есть у второго, который не так беден! Одним из проявлений величайшей жестокости англичан в их колониях, как и многих французских колонистов в наших, было то, что они выдавали своим чернокожим работникам только плохие инструменты, чтобы сэкономить на разнице в цене с хорошими. Работник, боясь сломать инструмент, который должен был заменить силу его рук, был вынужден удваивать собственные усилия, чтобы и работу выполнить, и сберечь орудие труда. И что же! Бедность довела многих свободных людей среди нас до той же необходимости.

Законодатели! Итак, в этом вопросе, которым до сих пор слишком пренебрегали, необходимо сделать две вещи: невежественным людям продемонстрировать лучшие образцы инструментов, а бедным обеспечить сами качественные инструменты. Самый прекрасный подарок, который можно сделать труженикам, - это искусство сберегать силы в повседневном труде. А самая лучшая милостыня, которую можно подать трудоспособному бедняку, - это хороший инструмент, который предотвратит его уныние и отвращение к труду, сделав его работу столь же легкой и плодотворной, какой она может быть для других, и позволив ему в полной мере использовать свою силу и усердие. Труд - это подлинное право человека на блага земли, основа его превосходства над всеми живыми существами; истинный источник его талантов, добродетелей, радостей, достоинства и величия. Помощь, способствующая поддержанию в человеке священной любви к труду, стоит гораздо больше, чем щедрые подачки, избавляющие его от необходимости трудиться.

Именно механикам и анатомам надлежит исследовать и предлагать законодателям лучшие образцы повседневных инструментов. Что же касается второго вопроса, то мудрости, управляющей распределением государственной благотворительности, будет достаточно для его решения.

(Журнал общественной экономии, 30 вандемьера VI года - 21 октября 1797 г.)

Французская революция и её деятели

Дух революции 1789 года

Нижеследующий труд был написан в конце 1815 года, после второго возвращения Бурбонов. В 1828 году господин герцог Орлеанский, ныне король, в беседе с господином де Жирарденом и мной упомянул о трудностях, с которыми он столкнулся при попытке собрать и упорядочить документы революции 89-го года, историю которой он намеревался преподать своим сыновьям. Тогда я вспомнил о работе, проделанной мною в 1815 году, и попросил у него разрешения представить её ему как верный и полный свод актов и фактов, которые он желал собрать. Он дал своё согласие. Я подготовил чистовую рукопись своего «Духа революции», и в январе 1829 года депутат господин де Шонен представил её Его Высочеству от моего имени.

Сегодня я представляю публике точную копию этой рукописи. Исправляя последние корректуры, я заметил, что включил в текст несколько рассуждений, которые сегодня показались бы избыточными, и что в некоторых других местах я проявил осторожность и предусмотрительность, которые теперь уже неуместны. По этому случаю я вспомнил мотивы, повлиявшие на мой стиль письма в 1815 году; все они сводятся к одному: я задумал опубликовать свой труд в эпоху Реставрации и защищать дело революции перед династией, которая угрожала не только всем авторам, но и всем тем, кто её поддерживал, и всем заинтересованным лицам. Мои друзья отговорили меня от публикации, которая могла бы стать для меня роковой, не принеся при этом никому никакой пользы. Отсюда и происходят некоторые суждения и формы, возможно, устаревшие на сегодняшний день, которые встречаются в отдельных частях работы.

Я мог бы их исправить, но совершенно не захотел изменять оригинал рукописи, переданной господину герцогу Орлеанскому. Мне приятно осознавать, что многие положения, которые кажутся мне применимыми к нынешним обстоятельствам и доктринам, были сформулированы в гораздо более раннее время. Это служит подтверждением того, что они были написаны без какой-либо иной цели и иного интереса, кроме стремления к справедливости, разуму и свободе.

Я виню себя перед господином герцогом Орлеанским за то, что дал этому небольшому труду слишком амбициозное название. Я также прошу публику принять мои извинения и рассматривать эту работу лишь как краткое изложение основных актов революции. Когда я позволил себе назвать её «Духом революции», я, несомненно, упустил из виду труды **Эммануэля Сийеса**, которые так глубоко и повсеместно пробудили этот дух в нации. Я говорю о: (1) «Эссе о привилегиях», (2) «Инструкциях, направленных господином герцогом Орлеанским лицам, уполномоченным представлять его на собраниях бальяжей, касающихся Генеральных штатов», (3) «Взглядах на средства, которыми представители Франции смогут распоряжаться в 1789 году», и сочинении под названием (4) «Что такое третье сословие?»

Эти превосходные труды, выдержавшие два, три и четыре издания менее чем за год, являются первыми и самыми яркими проявлениями духа революции, её первыми выражениями, первым дыханием той бессмертной жизни, которую нация получила от неё. Для потомков они станут бесценным памятником великого преобразования, совершившегося во Франции в ту эпоху. Они воскресят в глазах друзей человечества и почитателей гения образ того великого человека, который возвестил возвращение свободы и равенства и чьё само существование сегодня забыто в стенах этой столицы. Они представят на благодарный суд далеких веков имя, которое в наши дни не упоминается в кругу тех важных особ, что заявляют о себе столь шумными притязаниями на свою мимолетную славу.

В последнее время внимание читателей, желающих изучить первые движения революции 1789 года, разделилось между двумя историческими трудами: один принадлежит господину Лакретелю, другой - господину Минье. Господин Лакретель увидел в событиях 1789 года

лишь золото и амбиции герцога Орлеанского;[76] господин Минье разглядел в них гений Сийеса. Первый досконально знал антипатии французского двора, второй же предчувствовал суждение потомства: один рождён быть историографом, другой - историком.

ГЛАВА I.

О ложных представлениях, распространенных относительно происхождения революции, ее причин и ее творцов. - Очерк истинных причин и ее духа: ее главной целью было равенство прав. - Что такое равенство прав. - Революция свершилась в умах прежде, чем в законах, и в нравах среднего класса прежде, чем в жизни всей нации; она происходила медленно; она плод нескольких столетий.

Чтобы правильно понять революцию 89-го года, нужно сначала сказать, чем она не является, и освободить умы от ложных представлений, которые о ней сложились. Революция не свершилась в какой-то определенный день, в определенный час, в конкретном месте, благодаря определенным людям или какому-то событию прошлого века. Она произошла не в Версале, не в Бастилии, не в Пале-Рояле, не в Ратуше и не во Дворце правосудия. Она не является творением ни парламентов, ни собраний нотаблей, ни даже Учредительного собрания.

Красноречие д'Эпремениля в парламенте, ораторское искусство Мирабо в Учредительном собрании, шпага Лафайета, гений Сийеса - все они внесли в нее мощный вклад, но эти выдающиеся люди не являются ее авторами. Она ничем не обязана сокровищам принца, на котором королевский дом хотел выместить гнев из-за народа, на котором народ довершил свою месть королевскому дому и на которого еще недавно яростно нападал некий мнимый историк Учредительного собрания.

Революция проистекает из причин, возникших задолго до 4 августа, ознаменованного отменой привилегий; до 14 июля, когда пала Бастилия; до созыва Генеральных штатов, до собрания нотаблей, до дефицита финансов, до ссылок парламента в 1788 году, до создания в то же время Пленарного суда, до роспуска высших судов в 1771 году, до отмены придворного этикета, до знаменитого дела об ожерелье королевы, до скандалов, которыми была отмечена половина долгого правления Людовика XV и эпоха регентства. Все эти события приписываются революции в качестве причин теми писателями, которые не заглядывают в прошлое дальше вчерашнего дня, чтобы объяснить события дня сегодняшнего, и видят лишь смену двора или, в лучшем случае, смену династии там, где происходит перерождение великой нации.

Когда революция заявила о себе, нация не преследовала никаких частных амбиций; она действовала исключительно в своих интересах. Жалкая мысль - полагать, будто некая фракция трудилась над свержением монарха лишь для того, чтобы посадить на его место другого честолюбца! В шестнадцатом веке герцог Гиз и принц Конде были великими мятежниками, величайшими, каких только можно представить в старой французской монархии. Обратите внимание, как заявляли о себе их фракции. Это происходило посредством небольших армий, почти целиком состоявших из иностранцев, с помощью которых они побеждали в некоторых провинциях, и это заканчивалось междоусобными столкновениями, за которые расплачивались своей кровью рейтары, ландскнехты, швейцарцы и испанцы. Сопоставьте масштабы этих фракций и их деяний с Французской революцией - и вы увидите колоссальную разницу. Чья голова могла бы управлять столькими миллионами других голов? Каких баснословных сокровищ хватило бы, чтобы оплатить труд такого множества людей? Какой предводитель смог бы направлять и согласовывать те гигантские движения, что сотрясали Францию от Лилля до Байонны и от Бреста до Страсбурга? И как можно представить лидеров в этой революции, если вспомнить то глубокое унижение, в котором она их держала, ту бездну, в которую она без разбору и предпочтения низвергала как своих сторонников, так и противников? И какую цель могла преследовать нация из двадцати пяти миллионов человек - сколь прискорбная цель для такого развертывания сил и воли! - неужели лишь свергнуть короля и поставить на его место

[76] Мемуары, кн. III, гл. 1.

смутьяна? Нет, революция 1789 года началась вовсе не ради столь ничтожных интересов. Тогда не помышляли даже об отмене монархии; никто в ту пору не думал о республике. Франция не была абсолютно свободной, но она и не пребывала в рабстве; ни в один период своего существования она не знала этого позора. Попытки правительства расширить свою власть не были из тех неслыханных насилий, которые обрушиваются на народы, живущие в полной свободе, и прекращаются лишь в результате их восстания.

Революция совершилась во всех умах и нравах прежде, чем она закрепилась в законах; она уже существовала в отношениях светского общества еще до того, как реализовалась в материальных и общих интересах. Она утвердилась в том среднем классе, который примыкает к обоим полюсам общества, который чувствует, думает, читает, ведет беседы и размышляет; в том классе, где слышны все жалобы, где замечают все страдания низших сословий и остаются к ним далеко не безразличными. В том классе, который, с другой стороны, имеет возможность знать как великих мира сего, так и народ; который привлек к себе первых своим богатством, сблизился с ними через союзы, смягчил их гордость обаянием общества, где соединяются роскошь и острый ум - ум столь редкий и зажатый в тиски при дворе! - и который, тем не менее, никогда не переставал опасаться этой гордости, чье острое жало всегда ранило, часто задевало и позволяло лишь беспокойную близость без тени искренности. Именно мнение этого среднего класса дало сигнал низшим классам; именно возмущение умов вызвало восстание страждущих, и именно уязвленное самолюбие спровоцировало бунт реальных интересов. На всем своем протяжении революция сохраняла отпечаток своего происхождения; она неизменно следовала в том направлении, которое ей придал первоначальный импульс.

В чем же заключался ее дух, ее характер? Сказать, что это была любовь к свободе, собственности и равенству - значит смешивать несколько совершенно различных идей. Среди этих трех привязанностей есть одна, которая определила первую вспышку революции, вызвала ее самые яростные порывы, добилась самых значительных успехов и обеспечила триумф двух других - это любовь к равенству.

Хотя собственность, свобода и равенство неразделимы и взаимно гарантируют друг друга от насильственных посягательств, народы могут, тем не менее, питать к ним весьма неодинаковую привязанность; эти блага могут быть распределены крайне неравномерно и существовать в более или менее совершенном виде, допуская подобное неравенство. Между домашней и гражданской свободой и высшей степенью свободы политической; между обремененной обязательствами собственностью и той, что пользуется плодами безраздельно и безгранично; между равенством в правах и равенством на деле, а также реальным или статусным превосходством, на которое дает право претендовать равенство в правах,[77] лежат огромные дистанции. Нации, в зависимости от своих предпочтений - будь то равенство, свобода или собственность, - могут делать больше или меньше для каждой из этих ценностей, отдавать предпочтение двум из них за счет третьей или покровительствовать одной в ущерб двум остальным. Народы, по своей сути ревностно относящиеся к свободе, будут ограничивать равенство таким образом, чтобы не допустить появления институциональных преимуществ, а также морального или общественного превосходства; там остракизм сведет равенство в правах к фактическому равенству с простыми сословиями. Народы, которые более склонны к соревнованию в моральном и политическом превосходстве, чем к заботе о свободе и собственности, готовы рискнуть малым ради того и другого, лишь бы иметь великих людей и совершать великие дела. У других народов собственность может оберегаться в ущерб равенству прав и, возможно, даже во вред свободе, либо же приноситься в жертву великим целям.

Я не знаю, сочтут ли то, что я собираюсь сказать, данью уважения французской нации или принижением её характера; но истина - или то, что я считаю истиной - для меня важнее всего. Итак, я полагаю, что француз более ревниво относится к равенству, чем к свободе и собственности. Речь идет о равенстве прав, которое позволяет претендовать на любые знаки отличия, коими общество награждает за заслуги, а не о фактическом равенстве, которое не оставляло

[77] Собрание Генеральных штатов, т. IX, стр. 204.

бы ничего исключительного для выдающихся умов и характеров. Француз охотнее занимает себя шансами на возвышение, чем опасностями подчинения; его можно заставить верить в иллюзию свободы, компенсируя некоторую зависимость обилием знаков отличия. Любовь к отличиям - одна из характерных черт француза, она тесно связана с его главной страстью - любовью к женщинам, страстью, которая всегда успешна, когда ей сопутствует слава. Это прежде всего свойственно молодежи. Те из молодых французов, что призывают к демократии, заблуждаются в своих истинных мотивах и сокровенных амбициях: они полагают, будто им достаточно того, чтобы никто не стоял выше них, тогда как на самом деле они сами хотят иметь возможность возвыситься над другими. Они требуют не карьеры без препятствий, где заурядные добродетели приводят к заурядным целям, а поприща, открытого для соперничества всех талантов, чтобы достичь любых вершин превосходства.

Если дух свободы дает нации больше силы и обеспечивает ей более прочное счастье, то стремление к превосходству, внушаемое равенством прав, придает ей больше блеска и не является для неё лишь тщетным украшением: оно рождает великие характеры и великих гениев. Это соперничество развивает ростки величия, которыми природа наделила отдельных людей, и служит доказательством того, каких высот могут достичь человеческие способности и достоинство.

Первоначальным мотивом революции было не освобождение земель и людей от всякого рабства и не избавление промышленности от всех оков; это не был ни интерес собственности, ни интерес свободы. Это было нетерпение по отношению к существовавшему тогда правовому неравенству, это была страсть к равенству. Речь вовсе не шла о фактическом (имущественном) равенстве, которое стало бы крахом общества. Для людей, чувствовавших себя призванными к великим делам, для молодежи, движимой потребностью реализовать избыток сил и считавшей своим неотъемлемым правом и долгом в полной мере раскрыть дары природы, было необходимо равенство прав. Оно открывало путь к амбициям в любой сфере морального и политического превосходства: к высшим должностям в магистратуре, к самым высоким гражданским и военным чинам, ко всем отличиям, которые социальное устройство может предложить талантам, добродетелям и выдающимся заслугам. Страсть к равенству не ограничила свои притязания лишь проникновением в ряды, до того времени зарезервированные по праву рождения; она пожелала возможности оставить след и за их пределами. Она не ограничилась тем, чтобы сравняться с патрициями, она захотела, чтобы ничто не мешало их превзойти. Она не упразднила знать - она заменила наследственность привилегий древним и величественным благородством заслуг. Она пожелала, чтобы лишенные славы потомки прославленных предков шли в строю после тех людей, которые сами станут прославленными предками для своих потомков; и чтобы унаследованное величие осталось далеко позади величия заслуженного.

То, что нация сделала в 1789 году ради свободы и собственности, было лишь следствием и дополнением к тому, что она сделала ради обретения равенства прав. Она меньше смотрела на выгоды, поддающиеся расчету, и больше потакала тонкостям самолюбия. Революция была не столько улучшением материального положения и ростом личной безопасности, сколько триумфом национальной гордости. Сегодня, как и в самом начале, она дорога французам не столько своей полезностью, сколько тем, что она почетна. Даже представители низших сословий, для которых интересы собственности были важнее всего, не остались равнодушными к торжеству равенства. Народ сбросил оковы сельской зависимости и путы, сковывавшие городскую промышленность, не столько потому, что они были обременительны, сколько потому, что они были оскорбительными; и нет настолько грубого крестьянина, который не радовался бы прекращению своего унижения больше, чем полученной выгоде. Значимость, которую общественное мнение впоследствии придавало различным результатам революции, была обратно пропорциональна их практической пользе. Отмене ополчения, от которого дворяне были освобождены (хотя на смену ему пришел воинский призыв, не щадивший никого), придавали больше значения, чем отмене обременительных феодальных прав; а отмене исключительного права дворян на высокие государственные должности - больше, чем освобождению

от десятины. Энтузиазм, с которым нация позже приняла учреждение Почетного легиона, ясно показал, насколько любовь к знакам отличия присуща французскому характеру; и, заметим мимоходом, эта характерная страсть в сочетании с потребностью любить людей, которые служат своей стране или прославляют ее, делает наш народ самым несовместимым с демократией на земле. Именно страсть французов к равенству в правах и к отличиям, которые это равенство гарантирует за заслуги, в сочетании с ужасными воспоминаниями об анархии, заставила французов примириться в вопросе своей свободы с Наполеоном. Этот необыкновенный человек очень точно уловил их характер. На протяжении всего своего правления он не переставал возвышать таланты, добродетели и заслуги, проявившиеся в самых низших слоях общества, до высших государственных чинов; будучи придворным равенства, он сумел, не уничтожив, но значительно ослабить свободу, не встречая препятствий.

Моральная революция, предшествовавшая взрыву 1789 года, совершалась медленно. Несколько поколений, несколько столетий видели ее зарождение и развитие. Поэтому, когда она началась открыто, всё население королевства целиком способствовало ей;[78] люди и земля немедленно ощутили на себе ее последствия; она отождествила себя с почвой и жителем. Как я уже говорил в другом месте, сегодня она течет как жизненный сок во всем, что растет, и как кровь во всем, что дышит.

Ее путь с 1789 года не был лишен неровностей; у нее были свои вспышки гнева, порывы, заблуждения. Подвергаясь нападкам в своих принципах, она была вынуждена заявить о себе. Начатая, она должна была завершиться; встречая препятствия, она раздражалась; раздраженная, она ничего не щадила. Она компрометировала своих сторонников и защитников; она толкала одних к крайностям через энтузиазм, других - через угрозы; она извлекала из их добровольного или вынужденного насилия новую гарантию обязательств, которые они взяли перед ней; она превращала в соучастников даже тех, кому давала повод для преступления, связывая их интересы со своей защитой; она добавила к интересу, свойственному революции, особый интерес революционеров: собственность, жизнь, честь - всё оказалось связано с ее устойчивостью.

Революция стала неуничтожимым продуктом роста цивилизации, который сам по себе был результатом одновременного роста богатства и просвещения. Идея такого происхождения не нова; многие ее осознавали, я это знаю; но я хотел бы ясно раскрыть ее перед глазами всех.

ГЛАВА II.

Как революция совершилась в идеях и в нравах. - Она является результатом роста богатства и распространения просвещения. - Развитие.

Феодальное правительство отдало сеньорам территорию и навязало народу труд. Сеньоры стали внушать страх королям. Короли, всегда менее терпеливые, чем народы, противопоставили сеньорам коммуны. Когда коммуны утвердились, короли лишили сеньоров прерогатив, которые бросали тень на монархическую власть.

Поскольку власть сеньоров ослабла и тем самым смягчилась, коммуны обрели силу. Благодаря труду и промышленности они увеличили свои капиталы. Наряду с земельной собственностью возникла собственность на движимый капитал. Стоимость этих капиталов вскоре превысила стоимость земель. Увеличиваясь с каждым днем благодаря промышленности и труду - так же как промышленность и труд порождают капитал, - они вскоре хлынули из городов в сельскую местность, в художественные мастерские, в торговые и сельскохозяйственные предприятия, придав колоссальный импульс территориальному производству. Сеньориальная власть по своей природе не созидательна: сеньоры порой разоряли земли, но никогда их

[78] См. в приложении к данному мемуару план расположения зала архиепископства Тура для заседания Генеральных штатов 1467 года, № 1 в разделе «Оправдательные документы».

не возделывали. Труд, промышленность и капиталы, будучи достоянием буржуа и простолюдинов, позволили им приобретать земли, брать их в аренду или на условиях ценза. Таким образом, они взяли на себя задачу по превращению значительной части территории в плодородные угодья. Расчистка земель, осушение, орошение, мелиорация, крупное земледелие - они сделали всё, что могло дать полный простор производительным силам земли.

Так движимая собственность распространилась повсюду, проникла во все сферы, способствовала расцвету искусств, торговли и земельной собственности. Вскоре она сравнялась с последней; земельные владения стали продаваться наравне с промышленными фондами, подобно тому как их продукты обменивались на рынке. Капитал стал мерилом, которым оценивались все виды благ. То, что называли стоимостью земель, стало выражаться через капитал, который определял их продажную цену. Рента или доходность капиталов уравновесились во всех видах инвестиций.

В то время буржуа, ставшие первыми обладателями капиталов - подобно тому как сеньоры когда-то были первыми обладателями земель, - сосредоточили в своих руках большую часть национального богатства. Будучи единственными владельцами всех видов промышленности, они также заняли места в рядах земельных собственников. Тогда состояния плебеев распределились так же, как и владения сеньоров: на малые, средние, крупные и огромные богатства. Состояние, изобилие, роскошь, пышность, жизненные удобства стали привычными и для простонародья, и для знати; особняки, замки, мебель, экипажи, лошади, слуги, одежда - всё, что свидетельствует о богатстве, стало доступно частным лицам так же, как и высшим государственным чинам. Сеньоры становились вассалами и даже подданными разбогатевших плебеев. Именно так труд, освободив людей от рабства, в конечном итоге обеспечил классу бывших крепостных господство и власть над множеством прежних хозяев.

Открытие Америки и развитие мореплавания придали в шестнадцатом веке огромный импульс процветанию третьего сословия. Пока плебейские состояния множились, росли и начинали соперничать с феодальными богатствами, могущество сеньоров рушилось, а их доходы не увеличивались. Они утрачивали право набирать войска, право окончательного суда над своими вассалами, право не подлежать чужому суду. Привлеченные к особе государя, они превращались в придворных и лишались собственного двора.

Дворянская праздность, пришедшая на смену феодальным занятиям, презрение к труду, искусствам и экономии, оставшееся единственным признаком величия знати, в то время как деятельность третьего сословия приносила плоды во всех сельских, мануфактурных и коммерческих предприятиях, а их бережливость позволяла постоянно копить сбережения, - всё это привело к тому, что сеньориальное величие неизбежно угасало по мере того, как простонародье возвышалось, а их жизненный уровень сближался. Таково было в конце шестнадцатого века их взаимное положение. Это стало закономерным итогом роста богатства.

Обратимся теперь к пути просвещения, пройденному с одиннадцатого века. Самое ценное, что богатство дает человеку, - это время, это досуг. Если то, что мы называем жизнью, есть развитие и применение наших способностей, то человек, чей достаток избавляет от ежедневных забот о пропитании и физическом благополучии, имеет в сто раз больше времени для жизни, чем человек, лишенный всякой собственности.

Развитие интеллектуальных качеств происходило крайне неравномерно в привилегированных классах и в среде третьего сословия. Коммерческие операции и занятия искусством уже тогда требовали умственного напряжения; путешествия, которые они предполагают, открывают перед глазами множество полезных для сравнения предметов. Наконец, поскольку богатство является продуктом промышленности, то для его сохранения, приумножения, разумного использования и обеспечения всех наслаждений, потребность в которых оно породило; изобретать, совершенствовать, производить - всё это стало уделом предприимчивой части третьего сословия. Знатные господа, посвящавшие юность физическим упражнениям, не знавшие иного общества, кроме обитателей своих замков, а позже поглощенные придворной

зависимостью, праздностью или военным пылом, всегда находили причины презирать развитие своего ума и больше всего на свете боялись отягощать его знаниями. Таким образом, именно третье сословие первым и почти единственным обратилось к просвещению.

Достигнув высот патрициата благодаря росту своих состояний, оно вскоре превзошло его в интеллектуальном развитии. Развитие умов и накопление капиталов в среде третьего сословия обеспечили ему огромную значимость. Только оно оказалось способным удовлетворять все нужды общества, открывать ему благородные удовольствия и прививать вкус к ним. Лишь оно смогло укрепить общественные связи через интеллектуальное общение и благодаря моральной силе общественного мнения, которое распространилось на все поступки и на всех людей.

Религия, правосудие, управление, народное просвещение, ведение частных дел и защита домашних интересов, и, наконец, помощь, необходимая для сохранения жизни в случае болезней, немощей или в преклонном возрасте - словом, для выполнения всех государственных и частных задач третье сословие предоставляло исключительно способных людей.

Создание и распространение новых удовольствий стало заслугой третьего сословия в не меньшей степени, чем удовлетворение повседневных нужд. Среди наслаждений, к которым делает человека жадным праздность богатства, на первое место следует поставить радости ума и воображения. Нет удовольствий более разнообразных, приятных и благородных; они чаще других обновляются, оставляют меньше всего сожалений и приносят самые полезные и приятные плоды. Изящные искусства, живопись, скульптура, музыка, поэзия, все литературные жанры и в особенности театр очаровали и покорили все умы, способные к возвышенным чувствам и утонченности. Именно в третьем сословии нашлись люди, благодаря которым нация смогла познакомиться с этим миром; именно люди из третьего сословия завоевали права, которые изящные искусства дают на всеобщее восхищение и признание.

Книгопечатание, изобретенное в пятнадцатом веке, было частью наследия третьего сословия. В шестнадцатом веке оно извлекло из пыли старых архивов сокровища античной литературы и опубликовало новые произведения, которым суждено было составить современную литературу. Ни в одну эпоху, ни в одной стране не видели литературы столь полной, блестящей и привлекательной - добавим, столь внушительной и сильной, - какой была французская литература семнадцатого века. Ни в одно время ни один народ не сочетал наслаждения ума и воображения в такой степени, не видел их столь широко распространенными, столь тесно вплетенными во все общественные связи, неразрывно связанными, как у нас, с любым разговором и любым празднеством. Никогда еще благодарность и восхищение не подчиняли такое множество людей власти талантов.

Интеллектуальное развитие семнадцатого века привело к новым достижениям в следующем столетии. На смену господству литературы пришло - или, скорее, присоединилось к нему - господство философии и наук. В восемнадцатом веке наблюдение, рассуждение, воображение - все способности разума окрепли и обогатили друг друга. Точные науки, моральные и политические науки, искусство речи и письма объединились, переплелись и расширили свои границы благодаря этому союзу. Ученые, философы, поэты и великие писатели сформировали в обществе отдельный класс. Внезапно из третьего сословия, рядом со старым дворянством Франции, возникло новое дворянство, которое можно было бы назвать дворянством рода человеческого. Те, кто в него входил, держались с достоинством древнего патрициата; они словно были привиты к старинным и славным корням, имея своими предками длинную череду гениев, сменявших друг друга на протяжении веков в различных областях духа. Каждый из них усваивал то, что все его предшественники постоянно привносили свои знания и собственные ресурсы; каждый из них утверждался там словно по праву первородства, предъявляя в качестве прав на владение плоды собственного гения. Этот гений расширил и должен был еще больше расширить те владения, которыми он завладел.[79] Эти люди создали, если можно так выразиться, новый класс великих господ, вступить в отношения с которыми почитали за

[79] Собрание генеральных штатов, т. X, с. 212.

честь все остальные, включая даже коронованных особ.[80] Таким образом, прославленные ученые и великие писатели способствовали возвышению третьего сословия не только благодаря постоянному распространению знаний и идей, но и благодаря тому положению, которое они заняли в обществе, а также тому новому виду превосходства, который они привили придворным, вступавшим с ними в общение, и той поддержке, которую они оказывали низшим слоям общества в противостоянии произволу власти.

Словесность создала авторитет общественного мнения, собирая, сопоставляя и очищая частные суждения, освещая их собственным светом, подкрепляя и наделяя полномочиями - силой рассуждения, красотой оборотов и выражений - те из них, что пользовались наиболее всеобщим одобрением.

Как только общественное мнение утвердилось, оно стало отмечать людей и события печатью своего одобрения, либо порицания и презрения. Благодаря ему великие люди становились знаменитыми, а люди ничтожные - позорно известными. Оно сказало: «Пусть будет слава», и слава явилась; «пусть она сияет», и она воссияла. Оно сказало: «Пусть бесчестие наложит очевидное и вечное клеймо», и позор наступил. Обыденные же души и умы продолжали исчезать в небытии.

Как только слава отбросила свои первые лучи, короли попали в зависимость от мнения. Они оказались между теми возможностями, которые дает слава для управления, и теми препятствиями, которые общественное презрение воздвигает на пути к осуществлению власти. Слава государя, присутствующая повсюду и постоянно воздействующая на умы, избавляет его от необходимости быть суровым в своих приказах и обеспечивает ему повиновение без принуждения. В условиях же презрения, напротив, он добивается лишь угрожающего повиновения с помощью насилия - средства, которое всегда ведет к кризису.

В эпоху возрождения поэзии во Франции наши короли поспешили спровоцировать, выпросить и купить её восхваления. То, что сказал Феокрит[81] и что повторил Гораций[82] о власти поэтов, Карл IX соизволил сказать Ронсару,[83] а Людовику XIV было приятно слышать это от Буало.[84] Наши правители, полагая, что похвалу поэтов получить легче, чем уважение народов, допустили плачевное заблуждение. Поскольку в древние времена только поэтические песнопения обладали силой увековечивать память о героях, принцы сделали вывод, что стихи обладают свойством превращать в героев в глазах отдаленных потомков даже тех персонажей, которые недостойны их внимания. Они убедили себя, что пышной и ритмичной хвалы достаточно, чтобы обеспечить бессмертную славу тому, кому она адресована. Общественное мнение вскоре вывело их из этого заблуждения. Они узнали от него, что дифирамбы, которые оно отвергает, служат лишь тому, чтобы добавить бесчестие поэта к недостоинству героя. Сами поэты признали границы своей власти и верховный авторитет общественного мнения.

---

[80] Смотрите в приложении к этому мемуару наглядную и обоснованную таблицу расположения мест в зале архиепископства Тура для собрания Штатов 1467 года, созванных Людовиком XI.

[81] «Замечания по истории Франции», кн. VI, гл. IV.

[82] «История Людовика XI», кн. X, стр. 436. Я только что с большим удовольствием прочитал в труде господина Лемонте «Монархия Людовика XIV» отрывки, которые, как и многие другие места в этом сочинении, доказывают глубокое изучение наших памятников старины, ясный и опытный взгляд и, прежде всего, правдивость; они согласуются с тем, что думал Дюкло о состоянии общественной свободы в эпоху, рассматриваемую в данном мемуаре. Г-н Лемонте ссылается на Луврские ордонансы, где, по его словам, содержатся лучшие гарантии гражданской свободы со времен Людовика Молодого до Людовика XI. По его словам, невозможно представить, если не читать эти архивы нашего древнего права, насколько современные идеи отступили в этих тонких вопросах. Именно это я и взялся доказать, когда решил написать «Историю Людовика XII».

[83] Мы еще вернемся к этой цитате, которая была искажена Гарнье или его цензором, т. XIX, с. 339.

[84] «Я слышал, - говорит Брантом, - что поначалу она питала к господину Орлеанскому, ставшему впоследствии королем, привязанность и даже любовь; так что, если бы господин Орлеанский пожелал к ней прислушаться, он получил бы значительную долю (в управлении государством), о чем я знаю из достоверных источников».

Буало воспевал Людовика XIV в зените его славы, и голос народа вторил песням, которые он вдохновлял. Старость монарха затмила блеск его юности и величие зрелых лет; тогда нация умолкла, Буало перестал писать, и король по молчанию народа и поэта понял, что окончательно утратил и уважение, и любовь французов.

В благополучный период начала правления Людовика XV поэзия и красноречие приносили ему свою дань; однако зарождающаяся философия, невзирая на похвалы, сурово оценивала права государя. Вскоре критика смешалась с панегириком. Позже открыто заявлять о себе стало делом чести; еще позднее похвала стала постыдной, а цензура превратилась в повсеместную привычку. Духовенство, адвокатура, театр и парламенты отдались этому почти без удержу. Везде, где были страдания, слышались громкие крики: пресса разносила жалобы из одного конца Франции в другой и тут же сулила возмездие. Она собирала и фиксировала эти жалобы и обещания; она также напоминала о былых обидах, и через неё голос прошлых веков, казалось, призывал нынешнее время, и без того склонное к мести, покарать за старые несправедливости.

Правительство Людовика XV бременем налогов заставило задуматься о собственности, о привилегиях, о воспроизводстве богатств и о причинах, мешающих этому. Посредством займов и банкротств власть вынудила размышлять об общественном доверии и о гарантиях, которые народ требовал против произвола. Тогда философский дух проникся национальными интересами; это стало главным делом писателей; социальная экономика, государственное хозяйство, - словом, публицистика, если можно так выразиться, - превратились в общую страсть. Третье сословие начало с того, что стало откупаться от угнетения; вскоре оно добилось признания за свои заслуги; наконец, своими трудами оно заставило себя бояться и уважать.

Королевская власть и правительство с изумлением увидели, как мораль, правосудие и человечность, опираясь на красноречие, вторгаются в сферу власти с притязанием всё в ней упорядочить. Пришлось решиться на то, чтобы их выслушать.

Религия во все времена проповедовала, хотя и в общих чертах, против жестокосердия знатных и богатых, призывая их к милосердию. Общественная мораль пошла иным путем: она атаковала в лоб и в открытом строю врагов бедняков - фиск и привилегированных особ; она сошлась с ними лицом к лицу, карала их дерзость и алчность. Красноречие помогало морали и давало ей непреодолимую власть.

Мораль, подкрепленная красноречием, не ограничивалась защитой бедноты; она вызволяла её из униженного состояния, подчеркивала её добродетели, облагораживала её страдания, указывая на то, что первопричиной их существования являются привилегии; она пробуждала к ним интерес, показывая масштаб этих бедствий. Истины, которые были туманны, она распутала; неясные - прояснила; те же, что были очевидны, она сделала наглядными, убедительными и пугающими. Тогда каждый смог встать на защиту интересов народа; стало так же легко, как и почетно, посвятить себя этой защите талантам второго ряда. По всей Франции каждый смог защитить себя сам. Красноречие вложило в руки каждого оружие, предоставленное правосудием; оно закалило и отточило его, чтобы вооружить несчастье.

В том ораторском порыве, который охватил национальный дух к середине восемнадцатого века, в охватившем его патриотическом воодушевлении, все абстрактные понятия политики и морали ожили: с одной стороны - свобода, собственность, равенство; с другой - произвол, угнетение, деспотизм и тирания. Всё было персонифицировано, всё обрело плоть и характер, всё вооружилось, пришло в движение и начало действовать. Возникла новая мифология, явились новые божества: одни - зловредные, другие - покровительствующие. Народная партия признала новый культ, новую религию, за которой, как и за другими, последовали заблуждения, фанатизм и ярость.

Таково было состояние умов к концу восемнадцатого века, за несколько лет до 89-го года. Национальный энтузиазм проник даже в высшие ряды двора: одни вельможи считали честью разделять его, другие находили благоразумным притворяться. Равенство и простота в общении вошли в привычные социальные отношения между городом и значительной частью двора, между знатью, светскими людьми, магистратами и публицистами. Равенство перешло

из области мнений в сферу нравов и повседневных привычек. Знатные особы теперь искали расположения в Париже гораздо усерднее, чем в Версале. Они приходили в среду судей и политических писателей, в светские круги и даже к женщинам, чтобы сеять недовольство министрами, принцами и королевой; они собирали сплетни, эпиграммы, сатиры и протесты, чтобы затем распространять их в Версале. Можно сказать, что в то время революция в умах и нравах уже свершилась. Равенство настолько прочно укоренилось в обычаях, а чувство собственного достоинства настолько развито у французов, что тяготы государственных налогов, возможно, терпели бы еще долго, если бы их усиление не сделало столь вопиющими привилегии тех, кто был от них освобожден. Возможно, на отстранение простолюдинов от множества государственных должностей тоже закрывали бы глаза, если бы оскудение казны не вынудило двор созвать Генеральные штаты, где неравенство должно было вновь проявиться со всей торжественностью. До этого момента казалось, что высшие слои третьего сословия боялись, требуя равенства, подчеркнуть тот факт, что для них его не существует.

ГЛАВА III.

О политической революции. - Ее характер. - Ее ход.

Мы только что увидели, как революция совершилась в нравственном порядке. Давайте теперь вкратце проследим, как она проявилась в политической системе.

Революция началась в одиннадцатом веке, с первым ударом набата, прозвувавшим в городах и местечках, когда *свободные люди* восстали против притеснений сеньоров. Тогда они взялись за оружие, стихийно объединились в союзы, поклялись оказывать друг другу взаимную помощь против тирании, провозгласили свои вольности, права и обязанности в форме *обычаев*, избрали магистратов в качестве гарантов своих соглашений и обзавелись общим домом для собраний, колоколом для созыва граждан и колокольней для хранения этого колокола и своего оружия. Они возвели вокруг города стены, построили там укрепления и решили впредь защищать свои права силой оружия.[85] Таков был первый акт революции, вернувший в полноту своих прав самую значительную часть нации.

Эту революцию начали не рабы, покоренные в ходе завоеваний, и не крепостные, сбросившие феодальные цепи. Ее начали, я повторяю, *свободные люди* и *собственники*. Это были буржуа городов и местечек, уставшие от притеснений знати и сеньоров, но не скованные их цепями. Буленвилье и Монтескье одинаково ошибались, утверждая - один, что франки обратили в рабство всех жителей Галлии, другой - что феодальное правление подчинило себе и франков, и галлов, и победителей, и побежденных. Никогда, нет, никогда французская нация не разделялась полностью на два класса - господ и рабов. Всегда и везде, пока она существовала, класс совершенно свободных людей составлял её самую многочисленную и значительную часть. Этот класс существовал не только в совокупности различных народов, составляющих её сегодня, но и в каждом из этих народов по отдельности. Ни галлы - ни до, ни после вторжения римлян, ни после нашествия франков; ни сами франки - ни в Германии, ни после их прихода в Галлию; ни римляне - ни по эту, ни по ту сторону Альп; ни французы - с момента объединения галлов, франков и римлян в единую нацию, ни на миг не переставали быть сильными народами, состоящими из свободных людей и собственников. Революция началась не так давно, и не с таких низов, как это угодно было представлять некоторым писателям. Она стала возмездием за оскорбленную свободу, мерой предосторожности для свободы, оказавшейся под угрозой, распространением свободы на большее число людей, шагом к свободе более совершенной и гарантированной; это вовсе не был переход от рабства к свободе.

Долгое время оставаясь явной после этого первого проявления, революция распространилась на множество коммун в тринадцатом веке, в годы правления Людовика Толстого и его

[85] См. в приложении к данным мемуарам план зала Генеральных штатов, собравшихся в Туре в 1484 году.

ближайших преемников, которые признали объединения, утвердили обычаи, освободили городских крепостных, ставших менее покорными после восстания буржуазии, и, наконец, освободили - по крайней мере в королевских владениях - сельских крепостных.[86]

Тем не менее, этот период ознаменовался не столько признанием, которое королевская власть даровала революции, сколько тем рвением, которое сама революция приложила к освобождению монархии. Как только корона способствовала подъему свободных людей, эти свободные люди помогли ей избавиться от феодализма. Королевская власть и третье сословие заключили союз, и благодаря этому альянсу сюзеренная власть Капетингов начала приобретать характер монархической власти. Третье сословие предоставило Филиппу Длинному городское ополчение. Святой Людовик усадил рядом с собой в суде, вместе с пэрами и баронами, множество юристов из третьего сословия; выездные сессии суда верховного сюзерена приняли регулярную и стабильную форму; в его состав вошли образованные и постоянные судьи. Позже парламент стал оседлым.[87]

Революция пошла дальше: в период правления Святого Людовика и Филиппа IV она открыла депутатам третьего сословия доступ в национальные собрания. Таков был второй период революции, охватывающий тринадцатый век и начало четырнадцатого.

В следующий период, когда третье сословие подверглось новым притеснениям со стороны феодалов, оно столкнулось с неблагодарностью королевской власти: тогда революция вспыхнула с новой силой, ознаменовавшись великими крайностями. Четырнадцатый век увидел, как почти одновременно во Фландрии и в Англии народ восстал так же, как и во Франции; во всех трех странах зарождающаяся свобода вступила в схватку с феодализмом на его закате, когда тот защищался от неминуемого конца. «Жаки» во Франции, «тюильеры» в Англии, «торговцы рыбой» во Фландрии вели беспощадную войну против господ и их замков. Насилие утихло лишь благодаря институтам, гарантирующим права народа: в Лондоне - хартиям в пользу общин; во Фландрии - уступкам городам; во Франции - признанию права платить только те налоги, на которые было дано согласие.[88]

Пятнадцатый век являет нам четвертый период, когда достоинство третьего сословия проявляется во всей своей мощи. Королевская власть и нация примиряются и даже кажутся привязанными друг к другу. В третьем сословии, кажется, сосредоточена вся Франция: им осуществляются все виды власти - гражданская, судебная, административная и муниципальная; оно само по себе представляет общественную силу. После правления короля Иоанна только его депутаты составляют своего рода национальные собрания. При Людовике XI, Карле VIII и Людовике XII там снова видят духовенство и знать, однако они смешаны и слиты с представителями третьего сословия. Дворяне, священнослужители, простолюдины - все под титулом буржуа совместно избирают депутатов от общин. Все эти депутаты - духовные лица, дворяне, плебеи - занимают места на собраниях штатов вперемешку и приносят туда одинаковые полномочия; они высказываются индивидуально, без различия сословий, и образуют единую, полностью однородную палату, настоящую палату общин. В то же время, с другой стороны, единственная палата, состоящая из крупнейших сеньоров королевства, пэров и высших баронов, назначенных королем, образует верхнюю палату, которая выносит решение по предложениям, представленным ей депутатами общин. Таковыми были Штаты 1467 года при Людовике XI, 1484 года при Карле VIII и 1506 года при Людовике XII.

Этот период, завершившийся при Людовике XII, является последним этапом революции; тогда она была завершена; великодушный король взял на себя заботу о ее триумфе. Начало

---

[86] История Франции, т. XIX, стр. 167.

[87] См. в «Собрании документов Генеральных штатов», т. IX, стр. 259, распорядок, принятый на знаменитом собрании трех сословий, представлявших все королевство Франция, созванном в городе Тур королем Карлом VIII в 1483 году; извлечение из сборника Кисне.

См. тот же сборник, стр. 429, выдержку из протокола Генеральных штатов 1483 года, составленного господином Жаном Масслеком, депутатом от Нормандии.

См. Гарнье, «История Франции», т. XIX.

[88] Гарнье, «История Франции», т. XIX, стр. 169.

шестнадцатого века увидело счастье монарха и счастье народа, достигнутые усилиями друг друга и проявляющиеся с обеих сторон в выражении чувств и песнях, которые никогда не изгладятся из памяти французов. Революция, свершившаяся во Франции в эпоху правления Людовика XII, - это именно та революция, честь совершения которой приписывают 1789 году; это время, когда третье сословие лишь вернуло себе позиции, утраченные со смертью «Отца народа».[89] Людовик XII сделал всё возможное, чтобы укрепить королевскую власть, но он правил слишком недолго, чтобы упрочить плоды своих трудов, дать им пройти проверку опытом и войти в национальную привычку.

Франциск I пришел и всё перевернул. Порочный монарх, скорее даже распутный до бесстыдства, он окружил себя развращенным двором, который сам же и развращал. Благодаря этому он обеспечил падение нравов своих преемников и части нации. Он превратил невоздержанность и тщеславие в главные пороки французской молодежи. Он надеялся править с помощью этих самых пороков; он льстил себе надеждой управлять двором через удовольствия, а нацией - через двор. Система постепенного влияния позволяла порокам двора и духу покорности проникать сверху донизу, от центра к окраинам, передаваясь от знатных особ к низшим сословиям. Там, где соблазны не имели успеха, применялось неодолимое давление авторитета. Женщины распространяли влияние через любовные интриги; молодежь была этим заражена. Послушание предвосхищало приказы; подобострастное раболепие заставляло, если можно так выразиться, угадывать желания вышестоящего, чтобы им соответствовать; люди полностью отдавались этому, лишь бы получить суетные удовольствия или успех в амурных делах.

Однако трудолюбивая часть нации, остававшаяся чуждой этой низости и составлявшая большинство, смотрела на двор с негодованием. Она восставала против царившей там роскоши, против ненасытной жадности любовниц, фаворитов и обычных придворных. Нация содрогалась, видя, как государственная казна, смешанная с личными средствами принца, полностью расходуется по его прихоти. На жалобы, ропот и возмущения монарх отвечал деспотизмом и жестокой тиранией. Прялка в одной руке, железный скипетр в другой - таков был образ, в котором он представал. Он брал займы, вводил и продлевал налоги, не спрашивая согласия Генеральных штатов; он подавлял парламенты как политические и судебные органы.

Четыре правления, последовавшие за Франциском I - я имею в виду Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха III - были продолжением его собственного: те же нравы, те же принципы, те же традиции. Они привели даже к развитию его самых пагубных законов.

Придворные амбиции воспользовались возмущением умов против злоупотреблений и недовольством вечно преследуемых протестантов, чтобы вести войну против государя в течение сорока лет. Это не была ни гражданская, ни религиозная война, а лишь война придворных, чьи немногочисленные армии состояли из их ставленников и иностранцев. Нация, несомненно, страдала: маленькие армии, сражаясь, разоряли земли, через которые проходили. Но король и противостоявшие ему принцы наперебой заискивали перед городами, осыпая их милостями и привилегиями, чтобы привлечь на свою сторону. И это было не единственное преимущество, которое политические раздоры принесли городам: они дали возможность простому народу оценить истинный масштаб знатных особ; манифесты каждой стороны разоблачали низость противника. Ореол былого величия рассеялся; народ научился уважать себя. Свобода, собственность, труд, промышленность, торговля стали почитаемыми. Принципы социального порядка развивались и укоренялись в умах; это было время великих правоведов и эпоха самых прекрасных законов монархии.

Правление Генриха IV положило конец амбициям знати, причиной которых были слепые милости Франциска I, но не остановило заражение нравов, продолжавшее свои разрушения. Оно захватило двор Генриха Великого. Новое положение женщин в общественной жизни

[89] Извлечение из протокола сословий в Туре, составленного на латыни Жаном Масселеном. Дю Тийе, *Трактат о совершеннолетии королей*, стр. 133. *Собрание Генеральных штатов*, т. IX, стр. 431.

мощно способствовало его распространению; невоздержанность, тщеславие и интриги царили среди молодежи зажиточных слоев третьего сословия так же, как и среди дворянства.

Франциск I при формировании своего двора заманил третье сословие в ловушку, наделив второстепенные должности правом дарования дворянства. Затем он придумал называть «оруженосцами» всех буржуа, которых возводил в дворянское звание; он стремился приобщить новоиспеченных дворян к своему дому и рыцарству. При последних Валуа число таких дворян и оруженосцев резко возросло. Франция оказалась наводнена «новыми людьми», которые вышли из третьего сословия, чтобы издалека поклоняться двору, вблизи наблюдать за жизнью простых людей, возбуждать тщеславие и амбиции некоторых буржуа и приводить в отчаяние великое множество остальных.

Правление Людовика XIV и Людовика XV превзошло скандалы времен Валуа. Будучи потомками Франциска I и следуя его примеру, они утомили нацию своим блеском, расточительностью, своими фаворитами и любовницами. Подобно Франциску I, они злоупотребляли государственной казной, ставшей их личной собственностью; они разоряли народ займами, грабили его произвольными налогами и нарушали свободы магистратов, выступавших защитниками собственности. В то время как налоги удваивались, они безмерно увеличивали число случаев дарования дворянства, что облегчало ношу одной части дворян, но умножало число привилегированных лиц, отягощавших бремя третьего сословия. Было найдено искусство сочетать унижение со страданием и объединять средства для причинения вреда с поводами для раздражения.

Людовику XVI не было дано прекратить беспорядки, существовавшие к моменту его вступления на престол. Счастлив был бы он, если бы, несмотря на самые похвальные намерения, он не оказался неспособен остановить их развитие и размах! Но в течение этого царствования уступки двора дворянскому тщеславию еще более увеличились и приобрели новый характер. Неудачный указ [90] сообщил молодым французам из третьего сословия, что им запрещено поступать на военную службу в офицерском чине; что эта честь зарезервирована за дворянами в четвертом поколении. Тотчас же высшая магистратура сочла делом чести требовать таких же доказательств для вступления в свои ряды. Даже Церковь была затронута этим тщеславием: возникло множество капитулов, которые почти одновременно превратились в дворянские капитулы, и требовалось иметь четыре степени дворянства, чтобы занять место в соборе. Таким образом, внутри дворянства образовался третий класс - между придворной аристократией и недавно облагороженными семьями. И тем не менее, дарование дворянства продолжалось и множилось благодаря патентам и должностям, в большинстве случаев не имевшим никаких функций.

В то время как новое дворянство страдало от унизительных ограничений, а всё третье сословие - от новых привилегий, дарованных знати, и от многочисленности новоиспеченных дворян, расточительство двора продолжалось. Пропасть расходов расширялась; вскоре годовых доходов стало недостаточно. Наконец настал день, когда пришлось объявить о необходимости нового налога - день расплаты для двора и мести для нации. В мирное время пришлось требовать увеличения налогов на 60 миллионов у нации, чья элита была глубоко оскорблена отстранением от государственных должностей и бесконечными сословными барьерами, воздвигнутыми перед ней, чтобы лишить её почестей и званий, на которые она до тех пор имела право претендовать. Тогда снова вспыхнул народный гнев, спровоцированный высшими классами третьего сословия. Все интересы объединились для борьбы с привилегиями, и все откликнулись. Люди осознали, сколько свободы было утрачено за два столетия; им стало стыдно за то, что они позволили ей отступить, и они захотели вернуть её на непоколебимый фундамент, не оставляя более сомнений в её существовании. Такова революция 89-го года.

[90] 13 200 франков в пересчете на современный курс [на момент написания книги]. Марка серебра стоила 11 франков.

ГЛАВА IV.

По какому случаю революция, давно назревавшая в идеях и нравах, проявилась в 1789 году и утвердилась в гражданских и политических отношениях. - Дефицит финансов. - Связь этого дефицита с идеей равенства. - Созыв нотаблей. - Созыв Генеральных штатов. - Порядок представительства. - Равенство третьего сословия. - Наказы. - Общее желание Франции. - Декларация прав. - Английская конституция.

Дефицит финансов, то есть 56 миллионов, которых ежегодно не хватало в поступлениях государства для покрытия его расходов, или, если угодно, 56 миллионов, составлявших ежегодное превышение расходов над доходами, и стали поводом для этого взрыва. Что требовалось для устранения дефицита? Одно из трех: либо увеличить доходы государственной казны; либо сократить расходы пропорционально дефициту; либо одновременно увеличить доходы и сократить расходы на сумму, необходимую для их выравнивания.

Из этих трех путей самым подходящим и единственно справедливым был второй: сократить расходы на всю сумму дефицита. Это был также самый легкий и наименее опасный вариант. Требовалось лишь урезать некоторые бесполезные траты, отказаться от пустых удовольствий, устранить злоупотребления, связанные с устоявшимися методами расходования средств, и, прежде всего, навести порядок в отчетности о государственных доходах, что само по себе заметно увеличило бы чистую прибыль. Эти меры, несомненно, задели бы интересы некоторых финансистов и несколько урезали бы благополучие ряда придворных. Однако это была бы жертва, принесенная во имя порядка, исполнение долга, возложенного на правительство - долга экономии. К тому же недовольство отдельных лиц проходило бы тихо и без возражений. Нашлись бы те, кого стоило пожалеть, но, по крайней мере, некого было бы бояться; в дальнейшем же правительство могло бы вознаградить тех, кого оно вынуждено было лишить текущего дохода.

Самым несправедливым, самым трудноосуществимым и самым опасным для двора был путь повышения доходов до уровня расходов. Несправедливым он был потому, что возлагал на народ бремя новых поборов ради поддержания чрезмерных трат. Трудным - потому что вызывал противодействие парламентов и провинциальных штатов. Опасным же - потому что парламентские протесты превратились в набат, на который откликалась вся нация.

Двор предпочел несправедливый и опасный путь пути справедливому и верному. Он счел более удобным найти новые способы тратить деньги, чем принудить себя к экономии; обременить народ, чем хоть в чем-то урезать аппетиты придворных и финансистов; и вступить в противостояние с нацией, вместо того чтобы беспрепятственно провести реформы внутри королевского дома и администрации. Таким образом, было решено увеличить налоги на 60 миллионов.

Поскольку угроза дополнительного бремени нависла над всеми сословиями (так как привилегии не доходили до полного освобождения от всех видов налогов), все они пришли в волнение. Привилегированные сословия кричали о злоупотреблениях, вызвавших потребность в новых налогах. Третье сословие, по которому они ударяли сильнее, чем по привилегированным, возмущалось и налогом, и злоупотреблениями, и самими привилегированными.

Чем громче роптал народ против привилегированных сословий, тем сильнее те негодовали против злоупотреблений власти. Двору надоело их возмущение; он начал высылать и заключать в тюрьмы магистратов и дворян из штатов Бретани. Тогда у протестов появился еще один повод: они ополчились против ссылок и арестов, против произвола, против абсолютной власти и тирании.

Когда страдания и раздражение достигли такого предела, вся Франция объединилась в одном стремлении, которое вобрало в себя все остальные: привилегированные желали реформы злоупотреблений при сохранении своих прав; третье сословие - отмены привилегий и искоренения злоупотреблений; кредиторы государства - реформы злоупотреблений и безопасности своих рент. Все вместе они требовали гарантий собственности и свободы, высту-

пали против налогов, против банкротства и произвольных арестов. Все они, повторяю, единодушно потребовали созыва Генеральных штатов. Но под этими словами привилегированные сословия подразумевали такие Генеральные штаты, где они имели бы преимущество большинства над третьим сословием, а третье сословие требовало штатов, где привилегированные ордена не имели бы этого преимущества, служившего им залогом сохранения всех остальных прав.

Знать и парламенты выражали свою позицию тремя словами: три сословия, три палаты, три голоса. Это означало: для обеспечения безопасности наших привилегий нам необходимо иметь два голоса против одного. Третье сословие не стало атаковать эту систему в лоб, но начало подрывать ее основы, требуя, чтобы палата третьего сословия была равна по числу депутатов двум другим палатам вместе взятым; при этом оставался открытым вопрос о том, будут ли законы обсуждаться большинством голосов в трех объединенных палатах или большинством двух палат при раздельных заседаниях.

Это требование было передано на рассмотрение собранию нотаблей, разделенному на шесть комиссий; пять из них отвергли предложение предоставить третьему сословию представительство, равное двум другим сословиям. Шестая комиссия под председательством Месье (брата короля) состояла из двадцати пяти голосующих. Двенадцать высказались за равное представительство, двенадцать - против; решающее слово оставалось за Месье, возглавлявшим комиссию, и он высказался за равенство. Это голосование повлияло на судьбу третьего сословия и мощно способствовало решимости короля установить равное представительство для третьего сословия.

Именно благодаря этому решению Франция смогла впоследствии противопоставить аристократическому девизу: «Три сословия, три палаты, три голоса» - девизу, который в 89-м году стал боевым кличем, возгласом радости и единения: **НАЦИЯ, ЗАКОН, КОРОЛЬ.**

Когда в принципе было установлено, что третье сословие получит равное представительство, в Генеральных штатах увидели единственный способ обрести конституцию. Когда стало ясно, что конституция будет создана, общественное мнение пожелало видеть ее полной и совершенной. Обратились ко всем принципам, признанным публицистами и закрепленным в древних и современных конституциях. Были предложены декларации прав. На суд общественности вынесли все злоупотребления правительства и администрации, отметив их клеймом порицания; утверждалось, что конституция не должна щадить ни одно из них и не допускать появления новых. Особое внимание уделили предотвращению злоупотреблений властью; против власти были предложены все те меры предосторожности, которые в прежние времена принимались против анархии. В речах, встречаемых рукоплесканиями, рекомендовалось опасаться знати больше, чем пролетариев; священников - больше, чем людей без веры и закона; полиции - больше, чем мошенников; жандармерии - больше, чем убийц; судей - больше, чем преступников.

Перейдем к деталям прав, которые стремились гарантировать, и к учреждениям, предназначенным для этой цели. Начали с требования равенства; вскоре стало очевидно, что равенство неотделимо от собственности и свободы, и все права и интересы были распределены по этим трем категориям. Соотнеся с каждым из этих прав то, что логически вытекало из них или сопутствовало им, для каждого права стремились установить особые гарантии; затем потребовались гарантии, общие для всех интересов, или генеральные гарантии.

Вот как должны классифицироваться все эти положения:

I. Свобода.

Условиями свободы признали:

1. Освобождение от любой формы зависимости: личной, домашней, сельской, феодальной или военной;
2. Право селиться там, где угодно, менять место жительства и путешествовать без препятствий;
3. Право переписки за печатью тайны через почту или посредством прямой связи;

4. Право применять свои способности в любом виде труда или торговли, которые не нарушают права других лиц;
5. Право исповедовать свою религию;
6. Право публиковать свои мысли в печати.

В качестве гарантий, присущих самой свободе, рассматривались:

1. Установление суровых наказаний для виновных в произвольных арестах или ссылках;
2. Введение суда присяжных для предъявления обвинения и вынесения приговора по фактам в уголовных делах.
3.

II. Собственность.

Условиями собственности признали:

1. Освобождение от десятины и других церковных сборов;
2. Освобождение от феодальных и помещичьих прав. Эти первые два условия выражались одним понятием: *Свобода имущества*.
3. Пропорциональное распределение налогов между всеми собственниками государства.

В качестве специальных гарантий собственности рассматривались:

1. Создание органов магистратуры, ответственных за распределение налогов.
2. О судебных органах, обязанных рассматривать жалобы по вопросам налогообложения;
3. О судебном органе, уполномоченном проверять отчетность по государственным средствам.

III. Равенство.

В качестве условий равенства рассматривались:

1. Возможность доступа ко всем должностям и почетным званиям наравне со всеми гражданами, или отмена привилегии, которая резервировала исключительно за дворянами в четвертом поколении право поступления на военную службу в офицерском чине, вхождение в состав церковных капитулов и высших судебных органов;
2. Право приобретать и владеть любым видом имущества без различия между дворянскими владениями и владениями простолюдинов;
3. Отмена привилегии, освобождавшей всех дворян без исключения от жеребьевки в ополчение, то есть от принудительной солдатской службы; из-за этой привилегии все бремя воинской повинности перекладывалось на простонародье, в то время как преимущества службы были закреплены за дворянством;
4. Отмена привилегии, которой пользовались дворянство и духовенство, - не размещать у себя на постой военных; это усугубляло для простолюдинов обязанность обеспечивать их жильем;
5. Ликвидация сеньориальных судов;
6. Отмена привилегии дворянства и духовенства подлежать суду по уголовным делам со стороны таких же привилегированных судей;
7. Устранение различий в наказаниях за одни и те же преступления;
8. Упразднение «суда чести», рассматривавшего споры между дворянами, как если бы только они могли иметь конфликты, в которых затронута честь;
9. Право на ношение оружия для всех граждан;
10. Закрытие учреждений, основанных и содержавшихся за счет третьего сословия для обучения детей обедневшего дворянства и т. д.;

11. Отмена обычая лишать дворянства осужденного на позорное наказание и возвращать его в состав третьего сословия перед казнью, как если бы уголовные законы были вызваны необходимостью усмирять лишь третье сословие и создавались только против него.[91]

Многие другие обычаи нарушали права и оскорбляли гордость верхушки третьего сословия, хотя никакие законы их не санкционировали; это были крайние проявления общего беззакония. Люди были убеждены, что их сметет сама сила принципа равенства. Таковыми были притеснения со стороны полиции и даже правосудия в отношении простолюдина, лишь заподозренного в проступке, и в то же время их предупредительность к привилегированному лицу, пойманному на месте преступления; приостановка судебных преследований против дворян, нарушивших лишь права простолюдинов; передача гражданских и уголовных дел дворян в суды предвзятых судей; отсрочки исполнения приговоров, содержания которых они могли опасаться; помилования, которые следовали немедленно за приговорами, если их не удавалось избежать; приказы об отсрочке платежей в ущерб самым законным и нуждающимся кредиторам; фискальные гонения на плебея при полном почтении к дворянству и так далее.

В качестве особых гарантий равенства рассматривались: Отмена титулов, званий, знаков отличия и наград, имеющих дворянский или феодальный характер и призванных напоминать титулованным и награжденным лицам об их былом господстве, а их подчиненным - об их былом униженном положении. Общество желало иметь общие гарантии, единые для трех ключевых интересов - свободы, собственности и равенства.

С этой целью требовали, во-первых, четкого разделения трех ветвей власти: **законодательной**, **исполнительной** и **судебной**. Большое число искренних патриотов желало, чтобы законодательная власть была разделена между королем и двумя палатами. При этом хотя бы одна из палат должна была состоять из граждан, избранных без учета происхождения, а другая представляла бы собой, как в Англии, наследственный судебный орган. Английская конституция казалась тогда большинству образцом для Франции, а английская свобода считалась пределом политической свободы. Многие друзья французской революции желали, таким образом, создания двух палат, одна из которых состояла бы из пэров. Две палаты были нужны, чтобы предотвратить поспешные и опрометчивые решения, принятые под влиянием момента; палата пэров должна была стать наследственной, чтобы через интересы собственного потомства они были связаны с преемственностью монарха и тем самым создавали гарантию наследования короны. Однако в течение 1790 и 1791 годов общественное возбуждение и национальное недоверие к двору, дворянству и священникам возросли до такой степени, что в Национальном собрании стало невозможно не только выдвинуть предложение о двух палатах, даже равных по сроку полномочий и прерогативам, но даже когда некоторые патриоты выразили в печатном труде желание разделить законодательную палату на две секции или комитета для обсуждения и принятия решений по отдельности (при условии, что большинство будет определяться общим подсчетом индивидуальных голосов, как результат единого голосования), это сочинение вызвало своего рода народное восстание и заставило отказаться от любого разделения.

Во-вторых, требовали, чтобы уважение, подобающее государю, его неприкосновенность и наследственность его короны были согласованы с безопасностью частных лиц от указов, которые могли бы быть вырваны у него силой или хитростью, а также с ответственностью министров.

В-третьих, чтобы обеспечить беспристрастность гражданского правосудия и независимость судов, требовали несменяемости судей; для обеспечения же правосудия по уголовным делам - суда присяжных.

---

[91] 6 160 франков в пересчете на современный курс [на момент написания книги].

Таковы были мнения просвещенных и мудрых умов в эпоху 1789 года; таковой была суть значительного числа наказов от округов: всё, что было добавлено позже, стало результатом гнева и страха.

Как только Генеральные штаты собрались, мы увидели, как после некоторых усилий по сохранению привилегий все они были низвергнуты в одну-единственную ночь. Поскольку отмена привилегий встретила сопротивление в провинциях, народ начал войну против привилегированных сословий. Дворяне тогда бежали и вооружились за границей. Священники будоражили умы. Тогда упразднили дворянство и конфисковали имущество духовенства. Не желая больше видеть дворянство, не пожелали более и титулов, и имен, носящих признаки феодализма, и дворянских знаков отличия, и самой памяти о знатных людях. Когда имущество духовенства было отобрано, его захотели реформировать: сменили священников, изгнали первых, унизили их преемников. Парламенты, которые выставляли себя защитниками народа против двора, но при этом были защитниками привилегий против народа, были упразднены. Монархия, покровительница дворянства, была сначала лишена прав, затем унижена, затем уничтожена; и сам король... Наконец, когда крайности породили недовольство, дело дошло до последней, самой ужасной крайности - до резни недовольных!

Но я слишком ускорил ход событий и оставил позади всё то, что важно было заметить. Вернемся к нашим шагам.

ГЛАВА V.

Взрыв 14 июля 1789 года, вызванный упорством привилегированных сословий в стремлении создать две отдельные палаты при поддержке королевской воли. - Отказ от привилегий 4 августа.

Генеральные штаты собраны. Дворянство и духовенство, которые своими криками и сочинениями так сильно противились тому, чтобы третье сословие получило равное представительство - исключительно потому, что предчувствовали неизбежность объединения сословий для совместных обсуждений, - тем не менее пытались предотвратить это объединение, как будто они его не предвидели. Палата общин потребовала этого с самого первого своего заседания. Общественное мнение заранее высказалось в пользу того желания, которое проявила палата. Часть духовенства и дворянства была весьма склонна согласиться на это; некоторые члены этих двух сословий присоединились по собственному почину, не дожидаясь решения своей палаты. Сопротивление остальных утомило публику. Палата третьего сословия уже собиралась объявить себя Национальным собранием, когда вмешался король. После того как король приказал закрыть место проведения заседаний под предлогом приготовлений к королевскому заседанию, третье сословие собралось в зале для игры в мяч 20 июня 1789 года. Многие члены духовенства и дворянства направились туда, и была принесена клятва не расходиться до тех пор, пока конституция не будет составлена и утверждена. 23 июня король собрал три палаты и объявил, что разделение на три сословия является неотъемлемой частью государственного устройства.[92] Он устанавливает правила, согласно которым они смогут собираться. Из сферы совместного обсуждения он исключает дела, касающиеся феодальной и сеньориаль-

[92] То, о чем я говорю, основано на опыте и не ново. В «Диалоге об ораторах» Тацита можно прочесть, что одной из причин упадка, в который пришло ораторское красноречие в его время, и даже главной причиной, было спокойствие, которым наслаждались в правление Августа. «К чему, - говорит он, - долгие дискуссии в сенате, когда мудрые люди так быстро приходят к согласию? Что станется со всеми этими речами к народу, когда государственное управление... вверено мудрости одного человека? Что станется с обвинениями, на которые бросались с таким пылом, когда должностные преступления столь редки и незначительны? Что станется, наконец, с теми долгими защитительными речами, в которых использовалось столько искусства, чтобы вызвать сострадание, когда милосердие государя само идет навстречу несчастью и слабости?» *(Перевод Дюро де ла Малля).*

ной собственности, прав пользования и почетных прерогатив, связанных с землями и феодами или принадлежащих лицам первых двух сословий; он объявляет эти права и прерогативы неприкосновенной собственностью, так же как десятину, ценз, ренту, феодальные права и обязанности. Наконец, он запрещает публичность заседаний.

Таким образом, в глазах третьего сословия становится очевидным, что для удовлетворения интересов двора, дворянства и духовенства необходимо отбросить ту простоту в отношениях, которую оно приобрело в общении с дворянством; что оно должно в глазах всех занять место ниже него и признать себя неполноценным. Оно понимает, что обязано подчиняться его решениям, смириться с его нынешними привилегиями и отдаться на волю любым притязаниям, которые могут возродиться из старых воспоминаний. Так устанавливается порядок, при котором два сословия, составляющие в совокупности менее одной восьмидесятой части нации, будут иметь власть угнетать или продолжать угнетение класса, который в восемьдесят раз многочисленнее их; что доступ к высоким должностям по-прежнему будет закрыт для незнатных людей; что бременем всех государственных повинностей станет их доля, а почести достанутся дворянству; что одного лишь происхождения без заслуг достаточно для получения всего, а заслуги без знатного происхождения не имеют права ни на что.

Именно тогда вспыхнула революция - то есть тогда против налоговых привилегий, а вслед за этим и против феодальных и церковных повинностей, против десятины, ценза, ренты и прочего выступили все фермеры, все владельцы из числа простолюдинов, все сельские собственники и мелкие городские домовладельцы. Это значит, что тогда против освобождения от личных и общинных повинностей, против обязанности предоставлять жилье военным, против призыва в ополчение, против барщины восстало все простонародье, как сельское, так и городское. Это значит, что тогда против исключительного права занимать выдающиеся должности в армии, в высших судах и в церкви выступила вся просвещенная часть третьего сословия: судейское сословие, финансисты, коммерсанты, ученые, художники - все те, в ком образование развило чувство собственного достоинства и жажду мести.

В этой среде блестящая молодежь поднялась как один человек, заявляя о своем праве на любую работу, любые звания и любые почести. Женщины также включились в борьбу со всем пылом жен, матерей, сестер и возлюбленных, предчувствующих возвышение всего, что им дорого, и желающих поражения тех, кто так долго держал их близких в унижении. Это значит, наконец, что тогда во Франции, от Лилля до Перпиньяна, от Бреста до Страсбурга, проявилось единодушие граждан против двухсот тысяч привилегированных особ или их сторонников.

Как могло это выступление не быть яростным? Это был взрыв национальной воли, просвещенной долгими дискуссиями, уязвленной оскорбительными противоречиями, раздраженной безрассудным сопротивлением, - воли, которая, некоторое время сдерживаемая представителями народа, наконец получила от них сигнал к независимости! Как могло оно не быть яростным? Это была национальная воля, призванная отомстить за попранные права, противопоставив их неприкрытой гордыне; это была нация, вооруженная против привилегированных!

Самое широкое недовольство долгое время приводило во Франции лишь к череде разрозненных бунтов, потому что оно не вспыхивало везде в одинаковой степени и в один и тот же момент. Но когда национальное представительство обратило внимание на все ущемленные интересы и права, протест неизбежно стал всеобщим и принял форму восстания. Именно это и произошло.

Сегодня многие верят и часто повторяют, что если бы власть действовала более решительно, она могла бы всё спасти. Но сравнивать силу власти с силой народа - значит не понимать природы последней. Правительство может успешно бороться против бунта, но как оно может устоять против восстания - даже против такого, которое, не будучи еще всеобщим, по своей сути способно им стать?

Когда королевская власть сделала шаг к отступлению перед лицом национальной воли, она должна отказаться от попыток защищаться силой на том наклонном пути, на котором она оказалась: ее единственное спасение - выигрывать время, проявлять хитрость и ловкость. Она

должна направлять удары молнии через громоотводы, а не пытаться противостоять самим тучам. Ей не следует прислушиваться ни к упрекам уязвленной гордости, которую ошибочно принимают за мужество, ни к своему раздражению, толкающему на применение силы. Врага, обладающего преимуществом как в численности, так и в выборе позиции, удерживают лишь привычное почтение и неполное знание планов, которые против него строятся. Ему достаточно малейшего проявления недоброжелательства, чтобы найти в нем повод для решительных действий, и как только он сорвется с цепи, ничто не сможет ему противостоять: он сметает всё на своем пути, потому что он - это почти всё, а кроме него - почти ничего.

В 1789 году никто не сомневался, что всеобщность восстания служит его оправданием. Его называли «инсуррекцией», чтобы отличить от локальных бунтов, за которыми не стоит воля большинства. Для угнетенного народа восстание считалось священным долгом. Никто не сомневался, что суверенитет принадлежит народу; что он неотчуждаем; что всеобщее возмущение является осуществлением этого суверенитета; словом, что оно законно в тот момент, когда становится всеобщим.

Сегодня никто не сомневается,[93] что всё это учение подрывает основы монархии и даже любого общества; что во Франции слова «суверенитет народа» считаются кощунственными, а сама выражаемая ими идея - караемой смертной казнью. Однако можно утверждать, не впадая в святотатство и не проповедуя разрушительных для монархии идей, и при этом не одобряя в малейшей степени предание суду законного монарха, что суверенитет принадлежит нации и является неотчуждаемым - при условии, что мы добавим и будем подразумевать следующее:

1. Его осуществление может быть делегировано нацией с определенными оговорками и на определенных условиях привилегированной семье, с правом возврата в случае угасания этого рода.
2. Пока этот род существует, делегирование прав является безотзывным, а монарх - неприкосновенным. Это учение более консервативно для монархии, чем любое другое, и оно ничуть не менее уважительно к государю. При вышеупомянутом условии никто не нападает на королевскую власть, не оспаривает право владения ею и распоряжения ею. Мы лишь говорим, что суверенитет принадлежит нации так же, как право собственности принадлежит владельцу, а государю доверено пользование ею (на правах узуфруктуария). Мы говорим, что основной капитал принадлежит другому лицу. Тысячи раз было сказано, написано и напечатано, что короли Франции были лишь пользователями (узуфруктуариями) короны; это означало, что она принадлежит семье до тех пор, пока род продолжается, а в случае его исчезновения корона возвращается к нации.

Впрочем, опыт показал, насколько бесплодны любые споры о праве суверенитета. Суверенитет состоит из права и факта, иными словами - из права и власти, или из права и силы. Когда монарх имеет средства помешать нации, передавшей ему верховную власть, забрать эту власть обратно, нации бесполезно обладать этим правом. Когда же монарх лишен силы и веры (что одно и то же), а нация хочет вернуть себе осуществление суверенитета, чем поможет право монарха, чтобы помешать ей в этом?

Сильнейшим является принц, когда у него есть армия, когда у него есть агенты и чиновники, которые бдят ради него, когда он сам наблюдает за своими чиновниками и агентами, а главное - когда народ счастлив и пребывает в спокойствии. Тогда принц является сильнейшим; тогда он осуществляет суверенную власть по праву и на деле.

Когда же народ несчастен и недоволен или просто охвачен тревогой и недовольством, не будучи еще несчастным; когда чиновники коррумпированы, расточительны или небрежны;

---

[93] Господин Лакретель был убедительно опровергнут анонимным автором брошюры объёмом около ста страниц под названием «Об Учредительном собрании, в ответ господину Шарлю Лакретелю»; Париж, книжная лавка Корреара, 1822 год. Этот труд, по всей видимости, принадлежит Александру де Ламету, который был прекрасно знаком с фактами и действующими лицами.

когда волнение и недовольство охватили чиновничество и армию - тогда сильнейшим становится народ. Тогда народ возвращает себе осуществление суверенитета и снова становится сувереном по праву и на деле, если он того пожелает.

Когда говорят, что суверенитет принадлежит принцу, подразумевают, что хорошо вооруженное меньшинство может быть сильнее безоружного или плохо вооруженного большинства; что бдительное меньшинство сильнее дремлющего или разобщенного большинства; что лучше хорошо управляемое меньшинство, чем лишенное руководства большинство; меньшинство, верное неизменному желанию большинства, чем большинство, пребывающее в праздности уже исполненных желаний. Действительно, как понимать суверенитет правителя, чье правительство и сила не только не способны ни вести за собой, ни сдерживать большинство, но даже переходят на сторону этого большинства против самого правителя? Меньшинство плюс большинство - разве это не всё целое?

Но вернемся к фактам. Я уже говорил, что сила правительства больше не соответствовала той силе, с которой приходилось бороться, и что любая попытка могла лишь скомпрометировать королевскую власть. В самом деле, ссылка Парижского парламента в 1788 году, арест нескольких его членов, ссылка герцога Орлеанского, тюремное заключение дворян Бретани, рассылка множества королевских указов о заточении (lettres de cachet) в провинции, внезапный роспуск первого Собрания нотаблей, учреждение Пленарного суда, который должен был сосредоточить в руках, лишенных силы и добродетели, все те полномочия, которых король лишал энергичный парламент, - все эти мнимые проявления решительности послужили лишь тому, чтобы спровоцировать требование созвать Генеральные штаты. И это требование было выдвинуто столь решительно и повсеместно, что двор не смог отказать в их созыве.

Точно так же сосредоточение армии в Версале после созыва Генеральных штатов, декларация от 3 июня, которую эта армия должна была поддержать в случае необходимости, и отставка части министерства, пользовавшейся доверием народа, стали актами несвоевременной силы, которые предопределили события 14 июля - памятного дня, когда вспыхнула революция.

В этот день версальская армия дезертировала; народ атаковал и взял Бастилию; разъяренная толпа выискивала и приносила в жертву своих жертв. Принцы, вельможи, придворные, магистраты - все бегут или прячутся. Линейные войска, перешедшие на сторону народа, удалены от Версаля; недавно уволенные министры возвращены, а министры, назначенные на их места, - уволены. Дворянство и духовенство спешат примкнуть к третьему сословию, опасаясь теперь лишь одного - недостаточно слиться с его членами. Наконец король, сам король считает себя обязанным отправиться в Париж, скажу я так, чтобы предстать перед суверенным народом в ратуше и заключить с ним новый общественный договор под гарантией двадцати или тридцати депутатов народной партии, служащих ему эскортом, или же чтобы попытаться умерить посредством неслыханного доселе заступничества те бесчинства, которым предавалась необузданная толпа.

В то время как народ Парижа доказывал свое могущество, осуществляя его самим способом своих действий, сельские жители отказывались платить десятину и феодальные подати; крестьяне преследовали сеньоров и жгли замки. Нация, без сомнения, не одобряла ни этого насилия, ни того, что было совершено в Париже в пылу победы, но она и не останавливала его. Сосредоточенная на своих выгодах, занятая закреплением на отвоеванной территории, она лишь мельком взглянула на эти события. Однако три миллиона национальных гвардейцев поднимались; сорок четыре тысячи муниципалитетов формировались путем всенародных выборов: и эти силы, обеспечивавшие ей превосходство на поле боя, обещали также конец беспорядкам и крайностям.

По каким признакам можно будет узнать общую волю во Франции, если не признавать её в великих обстоятельствах той эпохи, если не признавать её в том, что происходило в течение двух месяцев в Париже и в провинциях, в городах и в деревнях, от одного края королевства до другого? По какому признаку можно будет узнать волю глубоко национальную, истинно французскую, если не признавать её в этом грандиозном восстании, очевидной причиной которого

была лишь уязвленная гордость? Гордость - яркая отличительная черта французского характера - была уязвлена торжественно возобновленным провозглашением сословных различий в гораздо большей степени, чем материальные интересы были задеты выгодными привилегиями. Прагматичный расчет терпеливо сносил обременительность этих привилегий с тех пор, как пользование ими стало скромным, с тех пор, как обладание ими почти перестало выставляться как прерогатива, и с тех пор, как само их существование скрывалось в общественном обиходе. Национальная гордость, казалось, была удовлетворена вежливостью знати, фамильярностью простолюдинов с мелким дворянством; возможно, даже сама эта гордость отдаляла падение привилегий, чтобы не ставить под угрозу это равенство во внешних отличиях, которым так завидовало простонародье. Но как только привилегированные сословия решили поновому подчеркнуть сословные различия, чтобы закрепить неравенство в реальном положении, как только привилегии превратились в личное оскорбление для третьего сословия, нация при первом же ощущении этого попрания утратила терпение, которое так долго помогало ей нести бремя своих повинностей.

4 августа дворянство и духовенство под давлением всего происходящего у них на глазах, под влиянием новостей, ежедневно приходивших из провинций, из-за опасений за поджигаемые замки и притесняемых господ, а также ведомые собственной совестью, объявили на Национальном собрании об отказе от всех своих привилегий - как от своего имени, так и от имени своих доверителей.

Были отменены крепостная зависимость и «право мертвой руки», исключительное право на охоту, содержание голубятни и кроличьих садков, а также сеньориальные суды. Сеньориальные права и церковная десятина были объявлены подлежащими выкупу. Были упразднены денежные привилегии и иммунитеты; установлено налоговое равенство; отменены привилегии городов и провинций; обещана реформа цеховых корпораций. Все граждане были признаны имеющими право занимать любые гражданские и военные должности. Так завершился этот первый период событий 1789 года.

ГЛАВА VI.

Средства убедиться в том, сохранило ли национальное большинство свою волю в борьбе против привилегий и придерживается ли её до сих пор. - И прежде всего: как отличить волю нации от воли правительства или фракций, направленной против священников, дворян, двора и иностранцев? - Есть два пути: 1. Анализ результатов голосований там, где они проводились; 2. Оценка масштаба жертв людьми и деньгами, которые нация принесла в противовес действиям революции.

С 14 июля 1789 года, времени народного восстания, до 9 июля 1815 года, даты последней реставрации дома Бурбонов, прошло двадцать шесть лет. За этот двадцатишестилетний период во Франции сменилось девять различных конституций, между которыми произошло семнадцать знаменательных дней, отмеченных столкновениями партий, три случая полной отмены прежних порядков и три волны масштабных проскрипций.

Вот таблица этих конституций:

1. Монархия (которую я назову парламентской) 1789 года, прекратившая существование в результате волнений 14 июля, а также 5 и 6 октября того же года;
2. Представительная монархия 1790 года, искаженная событиями 21 июня и 17 июля 1791 года; упраздненная событиями 20 июня, 10 августа, 2, 3, 4 сентября 1792 года и 21 января 1793 года;[94]

[94] Под равенством в правах следует понимать равенство не только перед гражданским законом, правосудием и судами, но и перед законом политическим, который устанавливает государственные должности, звания и почести и регулирует их распределение.

3. Демократическая республика 1793 года, начавшаяся с анархии, основанная на терроре и вновь скатившаяся от террора к анархии к 25 июня 1795 года (9 термидора III года республики);[95]
4. Менее демократичная республика 1795 года (III года), которая сосредоточила власть 18 фрюктидора V года (4 сентября 1797 г.),[96] пришла к анархии в 1799 году и вновь проявила тягу к террору;
5. Консульская республика 1799 года (28 фримера VIII года), возвращавшаяся к монархическому строю под республиканскими лозунгами;[97]
6. Имперская монархия от 20 мая и 7 сентября 1804 года (или 28 флореаля XII года и 13 брюмера XIII года) - сначала умеренная монархия, затем с примесью деспотизма;[98]
7. Королевская монархия апреля 1814 года - умеренная, республиканская, с аристократическим уклоном;
8. Новая имперская монархия 1815 года - умеренная, республиканская, имевшая ложную склонность к демократии.[99]
9. Королевская монархия 1815 года, измененная принципом несменяемости и наследственности пэрства.

Вот перечень событий, отмеченных проявлениями насилия против власти:

1. 20 июня 1789 года: заседание в зале для игры в мяч. Королевский двор приказал закрыть зал заседаний Генеральных штатов, надеясь положить конец настойчивости представителей третьего сословия, требовавших совместного собрания трех сословий;
2. 14 июля 1789 года: взятие Бастилии, роспуск армии;
3. 5 и 6 октября того же года: штурм Версальского дворца, короля силой перевозят в Париж;
4. 17 апреля 1791 года: народное собрание, помешавшее королю покинуть Париж, чтобы отправиться в Сен-Клу;
5. 21 июня: отъезд или бегство короля; его арест и возвращение;
6. 17 июля: обстрел на Марсовом поле толпы, требовавшей суда над королем и его низложения;
7. 20 июня 1792 года: захват дворца Тюильри, оскорбление короля;
8. 10 августа 1792 года: осада дворца Тюильри, король укрывается в Национальном собрании, королевская власть приостановлена, короля заключают в Тампль;
9. 2, 3 и 4 сентября: резня дворян и священников в тюрьмах;
10. 21 января 1793 года: казнь короля;

---

[95] Именно эта страсть к равенству после пятнадцати лет издевательств со стороны Реставрации Бурбонов вплоть до июля 1830 года вновь проявилась в последние годы в виде экзальтации безрассудных умов, атакующих не только наследственную королевскую власть и наследственность судебной власти, на которой основывается наследственность трона, но даже ту неизбежную аристократию знаний и опыта, которую молодежь с огорчением встречает повсюду, где видит людей пятидесяти лет и старше. Это возбуждение не будет долгим.

[96] Можно было бы составить генеалогию почти всех великих умов, обретших известность, подобно тому, как составляют родословную знатных особ. За последние два столетия нет ни одного выдающегося человека в науке или словесности, чьи труды не брали бы начало в таланте или знаниях предшественника и чью преемственность нельзя было бы проследить - либо по его собственным признаниям, либо путем сопоставления его работ с произведениями того же жанра, опубликованными ранее. Буало ведет свой род от Горация, Расин - от Вергилия, Мольер - с одной стороны от Плавта, с другой - от Теренция; Лафонтен с одной стороны от Ариосто и Боккаччо, с другой - от Федра, который происходит от Эзопа; Лагранж и Лаплас происходят от Эйлера и Ньютона; Кондильяк происходит от Локка, Локк - от Бэкона, Бэкон - от Аристотеля.

[97] Российская императрица и Фридрих Великий состояли в регулярной переписке с Вольтером, д'Аламбером, Дидро и другими.

[98] «Напрасно Антиох, в своей азиатской роскоши...» (*Шестнадцатая идиллия. Перевод Ф. Дидо.*)

[99] «Храбрые мужи жили и до Агамемнона». (*Ода 9, кн. IV.*)

11. 31 мая, 1 и 2 июня того же года: нападение Коммуны на Конвент, изгнание умеренной партии партией радикалов, именуемой «Горой»;
12. 25 июня 1795 года (10 термидора III года): раскол партии «Горы» и изгнание одной фракции другой;
13. 6 октября следующего года (13 вандемьера III года): нападение парижских секций на большинство Конвента по соглашению с меньшинством;
14. 4 сентября 1797 года (18 фрюктидора V года): арест меньшинства палаты представителей Директорией по соглашению с большинством;
15. 9 ноября 1799 года (18 брюмера VIII года): перенос заседаний большинства в Сен-Клу; генерал Бонапарт присоединяется к нему; его назначают консулом;
16. 31 марта 1814 года: отречение Бонапарта, ставшего императором с наследственным титулом; возвращение династии Бурбонов;
17. 20 марта 1815 года: возвращение Бонапарта и новый исход дома Бурбонов;
18. 19 июля того же года: второе отречение Бонапарта и вторая реставрация Бурбонов.

В этих восемнадцати событиях и девяти конституциях можно насчитать три великих упразднения и три великих преследования. **Упразднение**: дворянства, духовенства и королевской власти. **Преследование или изгнание**: священников, дворян-эмигрантов и королевской семьи. Я хочу отыскать в этих конституциях, в этих упразднениях, в этих преследованиях и даже в народных мятежах то, чего нация желала неизменно, чего она хочет и сегодня, и отличить это от того, что совершали или желали партии и фракции вопреки воле нации или против нее.

Национальная воля была ясно выражена, ясно услышана и ясно удовлетворена в эпоху 14 июля, которая включает в себя и ночь с 3 на 4 августа. В ту ночь с 3 на 4 августа привилегированные сословия отказались от всех оспариваемых привилегий; эта ночь была провозглашена эпохой французской свободы. Эта ночь положила бы конец всем распрям, если бы обязательства, принятые в ту пору, исполнялись с верностью. Зная теперь, в чем заключалась национальная воля 14 июля, остается лишь проследить, не изменилась ли она, не расширилась ли, не исказилась ли за те двадцать шесть лет, что прошли с того времени.

Чтобы не путать французскую нацию с тем, что не может быть ею самой, мы постараемся отличить ее от ее правительства, законодательного органа, административных и коммунальных органов, от ее ораторов, писателей и журналистов - словом, от ее мнимых органов выражения, которые не всегда правдивы и непогрешимы.

Легко представить себе эту нацию после 4 августа 1789 года, держа в одной руке признание своих прав, подписанное привилегированными сословиями, а в другой - оружие, которое помогло их завоевать; сияя радостью, гордостью и мужеством, она опиралась своей победой на осознание собственных сил, с которыми ничто не может сравниться. Перед ней стоят дворяне, священники и (нужно признать) королевский двор, который считает дворянство уничтоженным, так как вся Франция только что провозгласила собственное благородство. Двор оплакивает равенство, словно дворяне опустились до уровня простолюдинов, в то время как именно простонародье заставило скрепить государственной печатью свои грамоты о дворянстве; словно быть королем нескольких сотен привилегированных особ почетнее, чем главой благородной нации, самой знатной из всех наций. Перед ней эти привилегированные кажутся поверженными, но не безоружными; побежденными, но не потерявшими надежду. Они будут заявлять о себе; они призовут на помощь своих сообщников - эту слабую и бесполезную поддержку. Они призовут иностранцев: иностранец придет и попытается нанести несколько неуверенных ударов. Тем временем они будут стараться отвратить от общенационального дела мягкосердечные души и умеренные умы; они попытаются вызвать сочувствие к своей участи, рассказывая о несчастьях, жертвами которых они станут. Они воспользуются усталостью, вызванной долгими волнениями, и страхами, которые внушит анархия. В этих обстоятельствах будет легко распознать, что предпримет нация, проследить за её движениями, разглядеть её действия и её волю, убедиться в её переменах или в её настойчивости в первоначальных намерениях против привилегированных.

Её воля проявлялась четырьмя путями, которые ей свойственны и в которых нет ничего двусмысленного: первый - это подача голосов, когда к нации обращались; второй - это набор людей в армию, вооруженную ею против своих врагов; третий - это взносы, которые она направляла на борьбу; четвертый - это её стихийные и массовые наборы. Сила фракций и сила правительства никогда не могли примирить большинство национальных голосов с институтами или актами, не имевшими всеобщего одобрения. Свидетельством тому служит сам Террор, который принудил всех к повиновению, но не смог заставить проголосовать в пользу своих ставленников, когда те захотели продления полномочий двух третей членов Конвента в первом законодательном органе, назначенном в соответствии с конституцией III года (1795). Ни сила фракций, ни сила правительства никогда не могли заставить маршировать большие армии против врага, взимать взносы, соразмерные огромным потребностям, или поднять нацию массово, если только глубокое чувство общественного интереса не диктовало этого. Посмотрим же теперь, какие меры были приняты против священников, против дворян, против покровительства двора и против посягательств иностранца, который пожелал выставить себя мстителем за тех и за других.

ГЛАВА VII.

Акты революции с 1789 по 1793 год включительно: 1. касающиеся священников; 2. касающиеся дворян; 3. касающиеся короля.

Мы разделим акты, которые можно считать относящимися к революции в тот период, который мы собираемся рассмотреть, на три части. **Первая** будет включать в себя те, что касаются священников; **Вторая** - те, что касаются дворян-эмигрантов, а вместе с ними и армий коалиционных держав; И **третья** - те, что касаются короля.

Акты в каждой части совершались различными силами или властями, такими как народ Парижа, коммуна и секции, Директория, совет департамента, законодательный корпус или Конвент, или же частью этих двух собраний. Большинство этих актов получили одобрение нации, другие же его не имели; одни были продиктованы интересами равенства, другие - раздражением, ревностью и страхом.

Из этих самых актов одни до сих пор остаются в силе, другие же были лишь временными. Цель этой главы - выделить среди постоянных актов революции те, что соответствуют национальной воле, те, что могут ей противоречить, и те, что ей чужды.

Обратимся сначала к тому, что касается духовенства.

I.

В ночь на 4 августа духовенство согласилось на выкуп десятины.[100] Национальное собрание в ходе обсуждения способов выкупа сочло уместным отменить её вовсе без какой-либо компенсации.[101] Это стало дополнением к уже принятым ранее пожертвованиям. Тогда духовенство заявило о разграблении церкви: Национальное собрание передает земельную собственность сословия в распоряжение нации и объявляет содержание культа государственным расходом.

Духовенство заявило о ниспровержении религии: Национальное собрание выставляет церковное имущество на продажу не для того, чтобы уничтожить веру, а скорее для того, чтобы сокрушить само сословие священнослужителей. Эти земли немедленно раскупаются по всей Франции, а вырученные средства направляются на нужды государства.

Оказавшись лишенным имущества, духовенство, тем не менее, не выглядело окончательно поверженным. Его хотели лишить былого величия, прочного положения и того влияния, которым оно пользовалось и которое направляло против конституции. Стремились разом

[100] «Мы оба в равной мере носим венцы; но я, король, их получаю, а ты, поэт, их даруешь».

[101] «Без заботливой помощи верной музы ты напрасно пытаешься обессмертить себя...» (*Послание первое.*)

лишить его авторитета, связей с прошлым и даже надежд на возвращение в статус первого сословия государства. В каком-то смысле это была мера общественного порядка, продиктованная временем и обстоятельствами. Кроме того, в будущем хотели избежать влияния слишком многочисленного и богатого духовенства. Для достижения этой двойной цели было выбрано три пути:

1. Изменить границы епархий, чтобы привести крупные епископства к единообразию, поскольку они были несоразмерны друг другу.
2. Установить скромное и одинаковое жалованье для духовенства.
3. Упразднить все церковные должности (бенефиции), не связанные с непосредственным попечением о душах верующих.

На будущее намечалась и другая цель: лишить короля влияния на епископов, отобрав у него право их назначать. Для этого нужно было лишь восстановить систему выборов, следуя обычаям ранней Церкви и её исконным правилам.

Для достижения этих целей правоведы Ассамблеи создали то, что назвали «Гражданским устройством духовенства».[102]

Их отчет не содержал иных целей, кроме возвращения духовенства к нравам ранней Церкви и восстановления дисциплины, подорванной богатством прелатов, их знатным происхождением (у большинства из них) и их участием в государственных делах из-за стремления некоторых к управлению и даже к руководству королевством. Очевидно, что мирской образ жизни и развлечения всякого рода отвлекали их от обязанностей священнослужителей.

Королевские и сеньориальные назначения, отказы от должностей в пользу других лиц, обмены местами, особые привилегии (индульты) и право передачи вакантных мест - всё это также мало способствовало тому, чтобы паства получала достойных служителей. Наконец, несоразмерность епархий, где одни насчитывали не более двадцати, тридцати или сорока приходов, в то время как другие имели от тринадцати до четырнадцати сотен, создавала между епископами неравенство, противоречащее духу конституции, и мешало созданию единой иерархии во Франции. Таковы были мотивы, послужившие основанием для принятия нового гражданского устройства духовенства. Оно опиралось на четыре ключевых положения:

- единообразное распределение архиепископств, епископств и приходов;
- равное жалованье при условии обязательного проживания по месту службы;
- избрание архиепископов, епископов и священников народом;
- утверждение в сане (каноническое учреждение) епископами без подтверждения от Папы Римского, с которым назначаемый лишь должен был заявить о своем пребывании в духовном единстве и признать его главой Церкви и центром единства.

Епископы выразили протест против этого устройства 30 октября 1790 года. 27 ноября Ассамблея постановила, что те епископы, которые в установленный срок не принесут предписанную присягу, будут считаться отказавшимися от своей должности.[103] Многие отказались, и их заменили. Папа, лишенный права утверждать в сане, поддержал епископов. Те объявили, что происходит раскол (схизма), и стали сеять тревогу в умах; они отрывают от народного движения робкие души; они выставляют на первый план интересы религии, которой, по их словам, угрожает опасность, ставя их выше интересов свободы; они собирают под свои знамена всю ту аристократию, которую эмиграция еще не успела увести за границу. Национальное собрание осаждают противоречивыми требованиями: с одной стороны, его просят усмирить неприсягнувших священников как нарушителей общественного спокойствия; с другой - требуют законов, устраняющих препятствия для свободы совести. Одним словом, нация разобщена: она находится на грани раскола. Тогда Национальное собрание[104] возлагает на неприсягнувших священников ответственность за беспорядки, которые могут возникнуть в общинах по месту их жительства, и предписывает властям удалять их оттуда.

---

[102] Брекиньи, Предисловие к «Ордонансам Лувра».

[103] При Людовике X.

[104] В 1305 году, при Филиппе Красивом.

Но, с другой стороны, директория департамента Парижа выступает против декретов Собрания; она объявляет принятую меру нетерпимой и умоляет короля отказать в её утверждении.[105] Король отвечает отказом. Национальное собрание упраздняет церковные и монашеские облачения,[106] и священники превращают этот запрет в новый повод для гордости в глазах своих приверженцев. Народное раздражение преследует их: они скрываются, совершают божественные таинства под покровом тьмы; пыл верующих удваивается, что лишь усиливает народное негодование.

Национальное собрание разрешает административному органу того департамента, где возникнут религиозные волнения, депортировать неприсягнувших священников по предложению двадцати граждан.[107] Король снова отвергает этот декрет.[108] После свержения монархии декрет, у которого больше нет противников, предписывает неприсягнувшим священникам покинуть французскую территорию в течение двух недель. Наконец, в последние дни августа обыски, проведенные во всех домах Парижа, выявляют всех скрывающихся там неприсягнувших священников.[109] Их бросают в тюрьмы, где в первые дни сентября они становятся жертвами резни.[110]

Таковы события, касающиеся духовенства в рассматриваемый нами период.

II.

Пока с духовенством обходятся подобным образом, что делает дворянство и какова его участь? Оно эмигрирует, вооружается, призывает чужеземцев на помощь; оно идет вместе с пруссаками и австрийцами против Франции. Но на каждом шагу, при каждой заявленной надежде, оно получает удары, и всё более суровые, от Национального собрания. Вот какое зрелище оно представляет в период с 1790 по 1793 год.

Сначала Собрание отменяет сеньориальные права, которые уцелели после заседания 4 августа 1789 года.[111] Затем оно отменяет барщину, от которой дворяне были освобождены; оно заменяет её налогами, бремя которых они будут нести пропорционально своим доходам.[112]

В то время (это было в начале 1790 года) началась эмиграция: граф д'Артуа и принц Конде служат центром сплочения. Национальное собрание упраздняет дворянство, гербы, ливреи, титулы и приставки к именам, указывающие на владение благородным или сеньориальным поместьем; оно приказывает сжечь дворянские грамоты, хранящиеся в государственных архивах Парижа, у подножия статуи Людовика XIV.[113] Оно также велит сжечь те, что находятся в государственных архивах всех департаментов.[114]

---

[105] Бургундцы и арманьяки, по всей видимости, руководили всем, будучи движимы своим духом и страстно преданны своим интересам; они, несомненно, были активными, но зачастую и пассивными проводниками чужих интересов. Если бы не существовало народных интересов, герцоги Бургундские значили бы очень мало.

[106] Мемуары о Людовике XII. См. том II данного собрания, стр. 16, в конце первой колонки.

[107] При министерстве маршала де Сегюра.

[108] «Что бы вы сказали, - говорил по этому поводу г-н Сийес, - если бы законодатель, прежде чем наказать преступника из третьего сословия, позаботился об очищении его сословия, даровав ему дворянскую грамоту?»

[109] Декларация от 23 июня 1789 года

[110] Автор писал это в 1815 году.

[111] Она не выносилась на утверждение народа, но соответствовала наказам; первичные собрания присягнули ей на верность, проводя выборы в первый законодательный корпус.

[112] Нигде не указано точное количество проголосовавших. В отчете Госсена от 9 августа 1793 года говорится, что все окружные собрания приняли её. На последующих заседаниях поднимался вопрос: какими будут наказания за отказ от принятия?

[113] 914 853 голоса «за», 41 892 - «против». В первичных собраниях голосовали по вопросу: должны ли две трети членов Конвента перейти в новый законодательный корпус? Проголосовавших было немного: 167 758 «за» и 95 373 «против».

[114] За неё было отдано 3 011 007 голосов, против - 1 562.

В 1791 году дворяне-эмигранты организуются в армейские корпуса в Кобленце. К ним присоединяются офицеры, вышедшие в отставку или дезертировавшие из армии. Месье [брат короля] стоит во главе их: тогда Собрание упраздняет ордена, корпорации, награды и внешние знаки отличия, предполагающие сословное происхождение.[115]

Французские принцы просят у Австрии и Пруссии помощи против революции. Австрия и Пруссия обещают её по Пильницкому договору.[116] Как только это становится известно, Законодательное собрание объявляет эмигрантов подозреваемыми в заговоре; оно провозглашает, что если к 1 января 1792 года они все еще будут находиться в состоянии сбора, то будут официально признаны виновными в заговоре, подвергнуты преследованию как таковые и наказаны смертью. Также устанавливается, что доходы скрывающихся от правосудия лиц будут взыскиваться в пользу нации на протяжении всей их жизни; что французские принцы будут признаны виновными, если не вернутся до 1 января, а до тех пор их имущество, выплаты и доходы подлежат секвестру.[117] Собрание передает имущество эмигрантов под управление нации;[118] оно объявляет его предназначенным для выплаты компенсаций нации за военные расходы.[119]

Война объявлена. Войска коалиции выступают в поход; эмигранты, сформировав отряд в шесть тысяч человек, продвигаются вслед за вражеской армией: это войско вступает на французскую территорию. Национальное собрание немедленно объявляет, что жены и дети эмигрантов будут служить заложниками в начавшейся войне.[120] Оно прекращает выплату рент, причитающихся им из государственной казны;[121] оно распоряжается продать их движимое имущество.[122]

В 1792 году в Арденнах, в Бельгии и на Рейне появляются австрийские и прусские армии. В конце апреля 1792 года, в начале кампании, австрийцы получают преимущество при Монсе и Турне. В июле [123] герцог Брауншвейгский публикует яростный манифест против сторонников революции. В августе эмигранты, пруссаки и австрийцы вступают на французскую территорию: Лонгви и Верден переходят во власть врага; в конце сентября Тионвиль и Лилль блокированы; король Пруссии входит в Шампань. У Франции было не более восьмидесяти тысяч человек, рассредоточенных против двухсот тысяч... Вскоре армия укрепляется; солдаты сбегаются со всех сторон; отвага разгорается под крики «Да здравствует республика!», которые сменили возгласы «Да здравствует нация!». Резня 2, 3, 4 и 5 сентября распространяется на всех дворян, находящихся в тюрьмах.

Союзники, вступившие 22 августа на французскую территорию, покинули ее 23 октября.

Собрание, полагая тогда, что нации следует опасаться тайного возвращения эмигрантов во Францию с целью добиться там путем подрывной деятельности того, чего они не смогли достичь силой иностранного оружия, изгоняет их навечно и устанавливает смертную казнь для тех, кто нарушит этот запрет;[124] оно устанавливает формальности, которые необходимо

---

115 За неё было отдано 3 521 675 голосов, против - 2 579.

116 К 1 июня 1815 года поступили результаты голосования только из шестидесяти шести департаментов; результаты от двадцати запаздывали, а в нескольких округах не соблюдались правила. В этих шестидесяти шести департаментах было 1 302 562 проголосовавших, из них 1 298 356 проголосовали «за» и 4 206 - «против». Если добавить всего лишь 200 000 - то есть одну пятую или одну шестую часть проголосовавших от департаментов, приславших данные с опозданием, - то общее число голосующих за конституцию составит 1 600 000 человек.

117 Статья 5 постановления от 4 августа 1789 года.

118 Статья 5 постановления от 11 августа 1789 года, обнародованного 3 ноября того же года; см. по вопросу отмены десятины в «Монитёре» (Moniteur), заседание от 11 августа.

119 Гражданское устройство духовенства от 12 июля, утверждено 24 августа того же года.

120 Декрет от 27 ноября 1790 года, принят 26 декабря того же года.

121 29 ноября 1791 г.

122 5 сентября 1791 г.

123 6 апреля 1792 г.

124 25 мая 1792 г.

соблюдать при секвестре их движимого и недвижимого имущества,[125] и тем не менее приостанавливает продажу недвижимости до тех пор, пока не будет принят порядок её продажи.[126]

III.

Каким был образ действий двора? Каким был по отношению к нему ход революции с 14 июля 1789 года до конца января 1793 года?

Вскоре после 4 августа двор вызывает войска в Версаль. Военная свита короля выступает против народного духа. Она дает праздник линейному полку, прибывшему в Версаль, и теряет всякую сдержанность; она считает, что королю угрожают, и разражается угрозами. В Париже тогда предполагают, что согласие короля на решения 4 августа и на объединение сословий не было искренним. Народ Парижа устремляется в Версаль, берет замок штурмом и привозит короля в Париж почти как пленника[127].

После того как в июле 1790 года было принято гражданское устройство духовенства, король заставляет ждать своего одобрения; но, наконец, он принимает его и называет единственной причиной задержки свое желание привести духовенство к примирению, прежде чем навязать ему закон о повиновении. Но вскоре начинают циркулировать слухи, которые позволяют усомниться, по крайней мере, в искренности короля в мотивах его одобрения. В апреле 1791 года распространяется весть, что он расстался со своим духовником, который принес присягу, чтобы выбрать того, кто ранее отказался; он намеревается отправиться в Сен-Клу, чтобы избежать получения пасхального причастия в Париже из рук приходского священника, принесшего присягу. Этот последний слух вызывает сильную тревогу в Париже, где присутствие монарха считалось необходимым для завершения революции. 17 апреля 1790 года король действительно собирается выехать в Сен-Клу. Его ждет карета. Народ собирается у ворот дворца, останавливает экипаж и заставляет короля вернуться в свои покои. Это правда, это был народ Парижа. Но в ожидании того времени, когда мы сможем признать чувства всей Франции по поводу этого события, мы отметим лишь обращение директории департамента Парижа к королю, составленное двумя людьми, весьма мало склонными одобрять народное насилие и неуважение к монарху - господами де Талейраном-Перигором и Пасторе. Они заверяют короля, что восемьдесят три департамента королевства испытывают те же опасения и выражают те же пожелания, что и столица.[128]

21 июня король, утомленный и еще более обеспокоенный своим положением в Париже, тайно и ночью вместе с королевой и мадам Елизаветой отправляется в путь, чтобы, по его словам, прибыть в приграничное место рядом с точкой сбора эмигрантов. 22-го он был задержан в Варенне и возвращен в Париж.

Месье отправился в путь одновременно с королем. Но он выехал за пределы Франции, и его отъезду ничто не препятствовало.

Преамбула Пильницкого договора [129] начинается со следующей фразы: *«Его Величество император и Его Величество король Пруссии, выслушав пожелания и представления Месье, брата короля Франции, и господина графа д'Артуа, совместно заявляют, что они рассматривают положение, в котором в настоящее время находится Его Величество король Франции, как предмет общего интереса для всех суверенов Европы»*.

Жители Парижа и, следует признать, само Национальное собрание настолько привыкли считать присутствие короля в Париже необходимым для завершения конституции, а его отсутствие - сигналом к свержению свободы, и, кроме того, страх перед контрреволюцией был столь сильным и всеобщим, что, даже не имея намерения удерживать короля узником в

[125] 17 июня 1792 г.
[126] 30 августа 1792 г.
[127] 2, 3, 4, 5 сентября 1792 г.
[128] 26 февраля 1790 г.
[129] 3 марта 1790 г.

Тюильри (я бы даже сказал - с ужасом отвергая подобную мысль), фактически каждый хотел, чтобы так и было. В итоге любая идея о его отъезде воспринималась как преступная. Предполагалось, что король должен находиться там на свободе по той причине, что он должен считать своим долгом пребывание в городе, и что его отсутствие было бы катастрофическим.

Можно задаться вопросом: если бы король обладал менее нерешительным характером, нужно ли было бы ему находиться в Париже, чтобы внушить доверие к своим намерениям, или же, находясь в Париже, не смог бы он внушить к себе достаточно уважения, чтобы оставаться там свободным? Можно также спросить, мог ли он ожидать от заграницы помощи бескорыстной и достойной? Но нельзя скрывать, что для короля, исходя из его характера, было столь же естественно желать бежать из Парижа, как для жителей Парижа - желать, чтобы он там оставался.

Когда король вернулся из Варенна, жители Парижа потребовали, чтобы его судили как виновного в бегстве, измене, призыве армий врагов и эмигрантов на территорию Франции.

Национальное собрание, выступая в данном случае истинным органом правосудия и национальных интересов, объявило короля неприкосновенным.[130] Народ, подстрекаемый фракцией, которая была известна только по тому, кого считали ее главой, и которая стала ее жертвой,[131] на следующий день собирается на Марсовом поле, чтобы подписать петицию, направленную на лишение власти. Никакие переговоры не могут предотвратить это собрание, и никакое представительство не может его распустить. Пришлось объявить военное положение;[132] пришлось привести его в исполнение и принести в жертву пятьдесят или шестьдесят человек, чтобы остальные разошлись и удалились.

Собрание включало в себя людей из так называемой фракции Орлеана (которую правильнее было бы назвать кружком Лакло), республиканцев, признававших своим лидером Бриссо, конституционных патриотов и просто любопытствующих. Пушки не выбирали целей, и жертвами стали многие невинные люди.

Национальное собрание в то время работало над пересмотром конституционного акта: оно почувствовало необходимость вернуться к некоторым положениям, которые были скорее республиканскими, чем монархическими. Оно хотело вернуть силу королевской власти, которая до тех пор казалась чрезмерно ослабленной - настолько много препятствий пришлось устранить вокруг неё, чтобы достичь желаемого возрождения. Когда пересмотр был закончен, собрание представило акт королю [133] в форме, призванной восстановить к нему общественное уважение, и на этом завершило свои труды.

Законодательный корпус собирается [134] согласно воле конституции. Едва он приступает к своим обязанностям, как между ним и двором возникает недопонимание. Король отказывается утвердить декрет от 29 ноября 1791 года против неприсягнувших священников.[135] Эти священники, воодушевленные его отказом, ободренные коалицией в Пильнице и подстрекаемые перепиской с эмигрантами, из просто неприсягнувших превращаются в открыто непокорных, а вскоре и в мятежных.

Король, под давлением необходимости принять меры, чтобы вернуть своих братьев во Францию и разогнать скопления эмигрантов на границе, издает прокламации, приглашения и требования, которые не приносят никакого результата. Вся Франция обвиняет его в сговоре с принцами и предполагает, что тайное соглашение заранее аннулирует все публичные акты, адресованные им. Члены директории департамента Парижа - господин герцог де Ларошфуко, господин де Талейран-Перигор, господин Гарнье и другие - заявляют королю,[136] что его терпе-

[130] 19 июня 1790 г.
[131] 20 июня 1792 г.
[132] 30 июля 1791 г.
[133] 27 августа 1791 г.
[134] 8 ноября 1791 г.
[135] 9 февраля 1792 г.
[136] 30 марта 1792 г.

ние по отношению к эмигрантам позволяет обвинить его, по меньшей мере, в слабости. *«Слишком долго,* - гласит их обращение, *- они оскорбляли вашу доброту и ваше терпение; необходимо, КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО, чтобы твердым и решительным поведением вы оградили от всех опасностей общественное дело и себя самого, ставшего с ним неразрывным целым; чтобы вы, наконец, показали себя таким, каким вас обязывают быть долг и ваши интересы: непоколебимым другом свободы, защитником конституции и мстителем за оскорбляемый французский народ»*.

Эти слова, написанные мудрыми людьми, находившимися в положении, позволявшем знать о поведении двора, подтверждают обвинения, которые множатся против него. Недоверие волнует и терзает всех друзей свободы. Граждане, которые дольше всех сохраняли в сердце почтение к монархии и меньше всех позволяли себе сомневаться в правдивости короля, говорили, что «австрийский комитет»[137] действовал против его воли, но не совсем без его ведома; что он не одобрял этого, но и ничего не делал, чтобы этому помешать; что он считал свой долг исполненным, приведя свои личные действия в соответствие со своими обещаниями, и что, по сути, от него нельзя было справедливо требовать ничего большего; что его характер не позволял ему следить за внутренним противодействием и сдерживать его; что он опасался проявить неблагодарность, применив строгость к людям, преданным его делу; что новая система, несмотря на поправки, внесенные при пересмотре, по-прежнему оставляла прискорбную дистанцию между его прошлым и будущим положением; что затянувшееся движение революции, разногласия и ярость партий делали крайне сомнительной возможность сохранения им конституционной власти, даже если бы он был сильно привязан к конституции; что по этим причинам он должен был иногда поддаваться естественным колебаниям своего ума, следовать за переменами обстоятельств и без осуждения взирать на усилия преданных ему людей, которые, не требуя от него прямого согласия, способные его скомпрометировать, брали на себя задачу дать ему некоторые шансы на восстановление положения. Эти соображения, весьма справедливые, но слишком абстрактные, чтобы проникнуть во все умы, и слишком слабые, чтобы выгодно соседствовать с идеями свободы и равенства, захватившими все души, не могли предотвратить всеобщего недовольства.

Военная кампания открывается в апреле 1792 года. Фортуна поначалу не благоволит нашему оружию в Бельгии. Тотчас раздаются крики о предательстве: обвиняют двор, генералов, господина де Лафайета, которого называют сообщником двора. Обвинения множатся в клубах, в коммуне, в Законодательном собрании; не щадят и саму особу короля.

Как поступит Собрание в этих обстоятельствах? Оно распускает королевскую гвардию и приказывает сформировать лагерь из двадцати тысяч человек под Суассоном. Эти двадцать тысяч человек должны были быть предоставлены департаментами и отобраны из числа патриотов.[138] В утверждении этого декрета отказано: народ возмущен этим отказом. Недавно лишившись своей гвардии, король видел в проекте лагеря под Суассоном лишь план нападения на свою особу, в то время как народ видел в нем лишь защиту от врага.[139] Обе стороны видели лишь половину правды, но обе стороны были искренни: народ может быть свирепым, но он не может быть хитрым.

Отказ в королевском утверждении декрета о лагере под Суассоном был в глазах народа явным проявлением намерения сдать Париж иностранцам. 20 июня яростная толпа силой врывается в Тюильри; шестьдесят тысяч человек проникают в покои. Короля оскорбляют, подвергают унижениям; фанатики кричат ему в уши: «Долой вето!»; одни требуют от него утвердить декреты о двадцати тысячах человек, другие - декрет о неприсягнувших священниках. Королева также становится объектом самых жестоких поношений.

Несмотря на всеобщее недоверие к двору, события этого дня наполнили негодованием все сердца, в которых еще сохранилось чувство уважения к королю и монархии. Подозрения в

[137] 15 августа 1792 г.

[138] 12 сентября 1792 г.

[139] 28 октября 1792 г.

неискренности, возникшие против двора, казалось, ослабевали в умах умеренных людей под впечатлением от столь чудовищных посягательств. Если и вправду существовали связи между королем и заграницей, они казались оправданными этими бесчинствами 20 июня, напоминавшими о прежних событиях; если же такие связи еще не были установлены, предвидели, что они неизбежно возникнут.

Решение генерального совета департамента Сены, внезапный приезд господина де Лафайета в Париж, его речь в Законодательном корпусе против виновников событий 20 июня поддерживают и оправдывают негодование граждан против них. Совет департамента отстраняет от должности мэра Парижа Петиона, обвиненного в том, что он способствовал движению в тот день, и предписывает начать преследование других должностных лиц. Король в своем совете подтверждает решение генерального совета департамента. Господин де Лафайет предстает перед Законодательным корпусом и требует от имени своей армии преследования всех виновных.

Народ становится лишь более угрожающим и грозным; на улицах кричат, на шляпах пишут: «Петион или смерть!» - и Национальное собрание высказывается в пользу этого требования. Сначала оно восстанавливает мэра в его функциях; затем, в ответ господину де Лафайету, оно в течение нескольких дней обсуждает вопрос о привлечении его к суду. Незначительное большинство решает, что господин де Лафайет не будет обвинен; однако разъяренный народ по окончании заседания оскорбляет и избивает членов этого большинства.[140]

Нация, пребывая в изумлении, колеблется между двором и своими представителями; она не знает, свобода ли это защищается или торжествует вседозволенность. Манифест герцога Брауншвейгского от 26 июля 1792 года вносит ясность и определяет ее выбор.

Этот неосторожный документ нападает на революцию, на ее творцов и ее сторонников; он угрожает свободе: тогда не остается места ни сомнениям, ни колебаниям. Иноземец объявляет себя другом двора и врагом граждан: следовательно, - восклицают они, - двор это друг чужеземцев, друг наших врагов, и следовательно, он наш враг.

Конституция гласила в статье VI: *«Если король встанет во главе армии и направит её силы против нации или если он не воспротивится официальным актом подобному предприятию, осуществляемому от его имени, он будет считаться отрекшимся от королевской власти»*. По всей Франции пронёсся клич: «Низложение!». 3 августа депутация от сорока восьми парижских секций явилась к барьеру Национального собрания с этим требованием. В ночь с 9 на 10 августа жители двух предместий в сопровождении батальона марсельцев двинулись на дворец Тюильри и развернули батарею из двенадцати пушек на площади Карузель перед замком, чтобы принудить короля к отречению. Было пять часов утра: из сорока тысяч бойцов национальной гвардии, которые накануне в одиннадцать вечера стояли под ружьём в своих секциях и были готовы, как они говорили, отразить наступление предместий, в строю не осталось ни одной роты. К полуночи все разошлись по домам. В королевском дворе оставался лишь один батальон охраны вместе со швейцарским батальоном и несколькими артиллеристами национальной гвардии, которые оставили свои орудия, как только услышали приказ отвечать силой на силу.

Жители Парижа с ужасом наблюдали за движением предместий, но не решались взять на себя ответственность за его подавление. Они боялись, что им придётся держать ответ перед всей Францией не за судьбу нескольких смутьянов, а за судьбу революции: никто не смел сделать выбор между явным беспорядком с одной стороны и тем, что говорили о тайных интригах - с другой.

Король, лишённый защиты или, по крайней мере, достаточных средств обороны, отправился искать убежища в месте заседаний Законодательного корпуса. Он вошёл туда около семи часов утра. Его приняли как короля, и, вероятно, ему было бы достаточно нескольких согласованных с собранием мер по обеспечению государственной безопасности и новых про-

[140] 25 и 27 июля, декларация герцога Брауншвейгского.

явлений искренности, чтобы через несколько часов он смог вернуться как король в свой дворец, если бы не прискорбнейшая роковая случайность: батальон швейцарцев, размещённый в замке, ввязался в кровопролитный бой с народом, который уже готов был разойтись от усталости, и если бы пролитая в этот несчастный момент кровь не сделала короля и народ навсегда непримиримыми врагами. Погибло четыреста или пятьсот человек. Тогда народ хлынул в Национальное собрание, требуя мести.

Собрание ограничилось указом о приостановке королевской власти. Это было самое меньшее, что можно было предпринять. Но вскоре народная ярость, возраставшая по мере подсчёта и опознания жертв, и особенно из-за подстрекательств гнусной Коммуны, самочинно образовавшейся ночью, потребовала головы короля. Национальное собрание оказалось перед вынужденным выбором: либо заключить его в тюрьму Тампль, либо допустить его убийство прямо в стенах Собрания. Собрание отправило его в Тампль, приостановило его полномочия и созвало Национальный конвент на 1 октября следующего года.

Господин де Лафайет узнал в Седане о катастрофе 10 августа. Комиссары новой исполнительной власти прибыли, чтобы известить об этом армию и заручиться её согласием. Господин де Лафайет отказался их признать. Муниципалитет Седана и генеральный совет департамента Арденны заявили, что видят в этих комиссарах лишь агентов преступной фракции; их арестовали и заключили под стражу. Господин де Лафайет собирает армию и заставляет её принести новую присягу на верность конституции II года. Его явным намерением было двинуть войска на Париж, но не с теми же целями, что у эмигрантов и иностранцев, и не для того, чтобы освободить от конституции короля, который в ней клялся, а напротив - чтобы прочнее связать его с ней, освободив из недостойного заточения и доказав ему таким знаком преданности, чего конституционный монарх может ожидать от друзей конституции.

Судьба распорядилась иначе. Солдаты поверили в предательство двора: идти на помощь королю против законных властей Парижа, против людей революции, значило, по их словам, повернуться спиной к иностранцам, стоящим лагерем на границе, чтобы двигаться в том же направлении, что и они. Это означало стать авангардом вражеских армий; это означало способствовать гибели свободы и равенства - того равенства, столь нового в армии и столь дорогого для надежд на славу и удачу, которые оно породило.

Таким виделся ему путь, который он должен был пройти. Войскам объявили о декрете, согласно которому Лафайет привлекался к ответственности; солдаты отреклись от своего генерала. Им объявили о другом декрете, предписывающем арест Лафайета; они заявили, что обязаны подчиняться указам и хранить верность нации.

Господин де Лафайет был вынужден бежать вместе с господином де Латур-Мобуром, своим достойным и благородным другом. Преследуемые народной неблагодарностью, несправедливостью армии, пугающей ненавистью придворных кругов и вероломством чужеземцев, они нашли прибежище в тюремных камерах. Тюремщики стали их защитниками, а чтобы смягчить их общую беду, их разлучили.

Все армии, все законные органы власти, вслед за армией господина де Лафайета, выразили свою поддержку декретам от 10 августа. Новые подтверждения этой верности они дали и после 21 января.

Если бы события 10 августа не положили конец королевской власти, разве не облегчило бы это иностранцам путь в Париж? Разве не позволило бы им вмешаться в устройство конституции, диктовать законы законодательному корпусу или распустить его, восстановить старый режим или установить нечто равнозначное или даже худшее? Разве этот самый иностранец не стал бы полновластным хозяином, заставив нацию оплачивать расходы своего предприятия, возможно, расчленяя территорию, оставаясь здесь столько, сколько пожелает, взимая контрибуции и живя за счет ресурсов страны? Мог ли король, хотел ли он оказать вторжению достаточное сопротивление? Разве его бессилие или злая воля не подтверждались состоянием крепостей и положением дел в армии? С учетом состояния войск, разве не было очевидным и признанным фактом, что у короля было всего 90 000 человек, чтобы противостоять 200 000 австрийцев или пруссаков, наступавших на границу? Разве не было ясно, что новый набор

солдат был невозможен в условиях волнений и недоверия, охватившего все умы? Одним словом, разве враг, обладающий превосходящими силами и стоящий у наших ворот, враг, действующий в согласии с принцами, враг, выступающий от имени короля, не бросил бы вызов самому королю, даже если бы у этого государя возникло желание помешать ему войти во Францию победителем, разорить её или разделить?

Да. Можно без колебаний сказать: да, потому что самые преданные отечеству люди опасались предательства министров и генералов; да, потому что слабые были готовы использовать опасность этого предательства как предлог, чтобы служить вполсилы или поддаться дезертирству; да, потому что в середине 1792 года от короля уже не зависело, какой бы ни была его добрая воля, рассеять подозрения в недоброжелательности, которые копились против него почти три года. Он не мог заставить поверить в свою добрую волю, так как ранее выказал прямо противоположные чувства;[141] он не мог заставить поверить в свою искренность, так как прежде дал согласие, от которого впоследствии отрекся. Он не мог заставить поверить в свою сильную неприязнь ни к своим братьям, идущим в окружении чужеземцев вместе с французским дворянством, ни к этим самим чужеземцам, призванным его братьями, ни к тем вооруженным иностранцам, ради чьих интересов он постоянно хлопотал. Было вполне естественно, что он продолжал ими заниматься, ведь они были вооружены для защиты его интересов, о которых он сам заявил в декларации от 20 июня; этим интересам предшествовали манифесты и прокламации, составленные в духе, абсолютно враждебном духу актов подобного рода, поскольку в них выражалась поразительная преданность королю при одновременном объявлении войны нации.

Как можно было представить, чтобы эта нация доверила новые силы для своей обороны государю, чьи друзья объявляли себя врагами, с которыми нации предстояло сражаться? Государю, чьи интересы служили предлогом для их агрессии? Если и есть на земле нация, способная доверять до слепоты и проявлять великодушие до самоотречения, то это французская нация. Но это не относится к случаям, когда речь идет об интересе, столь тесно связанном с её честью и независимостью. Франция иногда ставила свое величие выше риска, но ради чести и по любви. Она могла бы и тогда, как это случалось позже, щедро расточать свои сокровища и кровь ради личного удовлетворения государя, чьи амбиции она бы не разделяла и чьи проекты осуждала; но мысль о том, чтобы предать жертв, предназначенных для триумфальной колесницы чужеземца, она должна была счесть невыносимой, и только поэтому она имела все основания опасаться, что, наделив короля новыми силами, она тем самым передаст их врагу; поэтому она должна была крайне скупо оказывать ему помощь.

Возможно, в этих народных опасениях и была доля несправедливости, но они были по меньшей мере извинительны. Потребовалось бы слишком много времени и объяснений, чтобы их развеять, а тем временем сам факт их существования мешал дать королю силы для отпора наступающему врагу. И даже если бы нация решилась доверить ему армию, то насколько же огромна пропасть между призывом, на который согласились с трудом и который еще труднее было осуществить, и армией, созданной благодаря самоотверженности тех, кто за нее голосует и кто в ней служит! Какая пропасть лежит между подозрительной покорностью и порывом энтузиазма!

Таким образом, нация оказалась перед выбором: погибнуть или низложить короля. Следовательно, свержение монарха было жертвой, необходимой для ее спасения, независимо от того, было ли оно актом справедливости или нет.

Лишь одно могло бы избавить от этой необходимости и даже сделать сохранение власти короля полезным для Франции: если бы он объявил врагам, что при их вступлении на территорию страны он добровольно сойдет с того самого трона, на котором они имели дерзость намереваться его укрепить и где они выставили его на позор в роли своего сообщника. С трона, защиты которого он стал бы недостоин, если бы она оказалась бессильной против француз-

[141] 23 октября 1792 г.

ского народа, и который стал бы недостоин его самого, если бы эта защита смогла восторжествовать. О, как была бы предана нация государю, который этой героической угрозой отождествил бы себя с ней! Но подобная слава не была суждена слабому и несчастному Людовику; он сам лишил себя ее, уступив настояниям своих братьев.

Если, останься король на троне, нации предстояло стать добычей иноземцев, можно ли возводить в принцип то, что она должна была предпочесть вторжение на свою территорию свержению короля, а опасность собственного уничтожения - низложению монарха? Имеет ли нация больше прав, чем отдельный человек, на позорный отказ от своего существования? И разве завоевание, способное уничтожить Францию, не означало бы также и гибель трона? Разве сдать Францию чужестранцу не значило бы отдать ему и корону? Было ли для короля большой выгодой лишиться ее по воле захватчика на руинах Франции, а не по воле самой Франции, которая, спасая корону от поругания завоевателями, могла бы со временем вернуть ее королю в целости и чести? И если бы он пожелал отдать свой трон, скипетр и корону на милость врага вместо того, чтобы вернуть их нации, когда ей это было необходимо для спасения, был бы он достоин оставаться их хранителем?

Мы уже упоминали о Коммуне, сформировавшейся в ночь на 10 августа. В тот же день она присвоила себе верховную власть. Какое-то время она диктовала законы законодательному корпусу и отвергала те из них, которые не соответствовали ее желаниям. Когда в конце августа в столице узнали о взятии Лонгви и о том, что Верден и Тионвиль находятся под угрозой, Коммуна приказала закрыть заставы, подняла под ружье всю национальную гвардию, распорядилась провести обыски в домах всех жителей и арестовать всех мужчин, объявленных врагами отечества. В ту ночь было схвачено шесть тысяч человек, которых бросили в тюрьмы; большую часть из них составляли священнослужители. 2 сентября в полдень на Новом мосту раздался выстрел сигнальной пушки - это был знак к началу резни в тюрьмах, переполненных три дня назад несчастными, арестованными без всяких оснований. Тюрьмы превратились в ужасные бойни. Весь Париж охватил ужас. Тем не менее - и это примечательный факт - те же три пушечных выстрела, что послужили сигналом к резне, одновременно стали сигналом к набору граждан на помощь отечеству. На перекрестках и общественных площадях были установлены помосты для приема добровольцев и записи их в армию. И, что поразительно, едва зазвучали пушки и на этих помостах расположились магистраты, как туда хлынули толпы граждан. Так за три дня на волне энтузиазма в защиту свободы была сформирована армия из сорока тысяч человек, в то время как в тюрьмах безнаказанно совершались самые беспощадные и жестокие убийства!

21 сентября 1792 года открылись заседания Национального конвента. Лонгви и Верден были взяты, Лилль находился в блокаде, под Тионвилем были начаты осадные работы, а король Пруссии во главе своей армии стоял в Шампани. Первым актом Конвента стала отмена королевской власти и провозглашение республики. Шестьсот тысяч человек, которые со всех концов республики направлялись в действующую армию, узнали, что равенство наконец закреплено конституцией, не признающей более ни двора, ни сановников, ни дворянства и открывающей путь к высшим почестям для всех достойных людей. Теперь каждый шел сражаться за себя - и в особенности за себя, - защищая в то же время и отечество. Клич «Да здравствует республика!» сменил прежнее «Да здравствует нация!» и отозвался в сердцах еще более мощным эхом. Марш защитников, и без того стремительный, ускорился еще сильнее; казалось, мощный порыв швыряет их на врага. 20 сентября они одержали победу при Вальми, и установление республики, как и национальная независимость, было обеспечено. 30 сентября враг, потерпев поражение, начал отступление. К 23 октября на земле Франции не осталось иных иностранных войск, кроме мертвых тел, устилавших поля сражений.

Такое рождение республики должно было расположить все сердца к великодушию и обеспечить безопасность Людовика XVI. Казалось, королю больше нечего бояться за свою жизнь с того момента, как королевская власть перестала внушать опасения; его друзья полагали, что никто не станет добиваться его гибели, раз у него не осталось никаких средств для мести. Многие тогда думали, и не без оснований, что провозглашение республики - этот внезапный шаг,

которого никто не ожидал, даже те, кто его предложил, - было подсказано господином де Монмореном еще 10 августа человеку из народной партии как способ спасти короля. И действительно, это был по меньшей мере один благоприятный шанс среди множества пагубных обстоятельств. Бесспорно, часть Конвента, твердо приверженная монархическим идеям, тем не менее проголосовала за республику в надежде отвести опасность, угрожавшую королю. Напрасные иллюзии!

До сих пор мы видели события революции, движимые двумя страстями: любовью к равенству и негодованием из-за препятствий, с которыми оно сталкивалось. Теперь же обнаруживаются два других принципа, которые будут взаимодействовать вплоть до 18 брюмера VIII года во всех государственных делах: это зависть и страх.

С самого открытия Конвента за власть борются две партии: жирондисты и партия Горы.[142] Ум, талант, знания, энергичный патриотизм в сочетании с известной мягкостью нравов отличали первых. Однако им не хватало опыта, а излишняя самонадеянность часто ослепляла их. Вторая партия состояла из яростных патриотов, невежественных, суровых, завистливых, дерзких, предприимчивых и беспощадных. Жирондисты стремились управлять, так как считали себя способными на это и полагали своих противников бездарными. Люди Горы, чувствуя свою неспособность управлять, не желали никакого правительства вовсе. Они не видели для себя иного места, кроме как в анархии.

Жирондисты, господствовавшие на трибуне, использовали там влияние строгой логики и силу высокого красноречия, но слишком часто злоупотребляли ими из-за какого-нибудь мелкого интереса, серьезно уязвленного противоположной партией. Люди Горы, не способные отвечать на изящные речи, повели войну против ораторов и обрекли их на изгнание. Они выставили людей Жиронды на поругание толпе под именем «фракции государственных мужей»; Жиронда же называла их «фракцией людей крови», или «людьми добычи».

Они и в самом деле были людьми добычи, эти главные вожди Горы; они вышли из той Коммуны, которая усугубила небывалыми проявлениями жестокости бедствия 10 августа; из той Коммуны, навеки проклятой за сентябрьские убийства, которая, преследуемая общественным негодованием, нуждалась в убежище под сенью власти Конвента. Она обеспечила себе это убежище, добившись избрания в Конвент своих самых энергичных, а точнее - самых яростных членов. Более того, она подчинила себе и сам Конвент. Когда эти чудовища предлагали свои зверства с трибуны, Коммуна заставляла своих слепых приспешников реветь вокруг места заседаний: нужно было, чтобы Собрание подчинилось. И когда мстительные крики поднимались в Конвенте против Коммуны, её сообщники выходили на трибуну, чтобы защитить её и призвать на помощь всех своих помощников и сторонников. Это совместное правление муниципалитета и Горы началось вместе с Конвентом и продлилось два года.

Национальное правосудие имело достойных представителей в лице депутатов Жиронды; общественное возмездие уже выражалось в красноречивых речах, взывавших к строгости законов. Страх, сопутствующий преступлению, подготовил гибель Жиронды; и этот страх - порождение и мать жестокости, страх, который выражался лишь через угрозы, подпитываемый той низкой завистью, что так часто сопутствует трусости, - заставил слабых содействовать его замыслам.

В конце 1792 года народное недовольство, вызванное нехваткой продовольствия, усилило ярость против короля. Эту нехватку приписывали интригам двора; говорили, что это новый способ истребления народа в дополнение к массовым убийствам 10 августа, за которые Гора всё еще требовала возмездия и которые, по её мнению, могли быть искуплены только смертью короля.

Жиронда, которая 10 августа хотела противостоять народному бешенству и спасти одновременно короля и монархию, заявила в самом Конвенте о недопустимости любых посягательств на личность короля.

[142] 30 октября 1792 г.

Жирондистов сочли сообщниками короля, потому что они были его защитниками: предать короля народной ярости означало предать и депутатов Жиронды; это значило вести их на эшафот, заставляя короля взойти на него первым. Поэтому Гора и Коммуна решили, что короля будут судить, то есть - осудят. С этого момента переписка клубов, муниципалитета и партийные газеты не переставали провоцировать обращения и петиции от других коммун, клубов и всех администраций Франции, требуя суда и осуждения короля. Потоком посыпались обращения. В то время в эти послания свято верили; они, как стало ясно впоследствии, превосходили друг друга, стараясь перещеголять предыдущие, словно желая оправдаться за то, что появились позже. Часто они - из страха или из корыстной покорности - опровергали прежние обращения, составленные в противоположном духе, и всегда выдавали последнюю версию за единственную, свободную и истинную. Тогда эти обращения принимались за выражение общей воли. И как можно было не ошибиться на третьем году революции? Ошибались и на двадцатом, и на двадцать пятом году![143]

3 декабря 1792 года декрет постановил, что король будет судим Конвентом. Дискуссия, открытая уже некоторое время, продолжалась до 7 января следующего года. В этот промежуток времени монтаньяры действовали сообща с Коммуной против Жиронды. Ораторы Горы - Мараты и Робеспьеры - были на передовой. Они без конца поднимались на трибуну, осыпая короля обвинениями и гнусными эпитетами. Они называли предателями и врагами народа тех депутатов, которые хотели спасти его через обращение к народу или через отсрочку исполнения приговора; и Жиронда стояла во главе этой партии. Общественные трибуны были полны фанатиков, которые наполняли зал аплодисментами при каждом оскорблении, брошенном Горой в адрес ораторов умеренной партии, среди которых Жиронда занимала первое место. Когда дискуссии накалялись, трибуны принимали чью-либо сторону и бунтовали в поддержку монтаньяров. Пока самые жестокие нападки вносили беспорядок в Собрание, толпа фанатиков осаждала зал заседаний; подставные лица на трибунах сообщали им о том, что происходит внутри, и толпа издавала яростный рык, когда получала на то приказ; она угрожала и оскорбляла выходивших депутатов, которые не проголосовали за смерть короля. За этой второй линией стояли якобинцы - своего рода резерв партии монтаньяров и центр переписки со всеми аффилированными обществами. Далее следовали сорок восемь парижских секций, которые за несколько дней до суда над королем объявили свои заседания непрерывными. Почти все они были воодушевлены тем же духом, что и Коммуна. Установив режим бессрочных заседаний, несовместимый с повседневными обязанностями и домашними делами, они вытеснили из своего круга мирных граждан и людей с умеренными взглядами. Секции обсуждали решения Конвента и действия разделявших его партий, сговариваясь объявлять предателями тех депутатов, которые медлили с вынесением смертного приговора. Наконец, Коммуна служила своего рода главным штабом, откуда координировались все внешние маневры; именно оттуда Марат и Робеспьер руководили секциями и группами, рассредоточенными по всем общественным местам.

Монтаньяры не считали нужным скрывать власть Коммуны; напротив, они любили преувеличивать ее, чтобы дерзко противопоставлять ее Конвенту. На заседании 15 декабря один из членов собрания пожаловался на то, что короля разлучили с семьей; в ответ собрание постановило восстановить их общение. Тогда один монтаньяр осмелился заявить Конвенту: *«Вы приказываете напрасно; если муниципальный корпус этого не захочет, декрет не будет исполнен»*. Монтаньяры скорее выступали помощниками Коммуны, нежели Коммуна - помощницей монтаньяров.

Желала ли умеренная партия прекратить бессрочные заседания секций, пресечь дерзость трибун и разогнать буйные сборища, окружавшие зал заседаний? В ответ монтаньяры приглашали к барьеру делегации от секций или от самой Коммуны, и те вдвое усиливали давление. Ораторы от этих депутаций обвиняли Конвент в общественных беспорядках, нехватке продовольствия и народных бедах; они сетовали на то, что собрание медлит с наказанием тирана и

[143] 11 ноября 1793 г.

его приспешников. Они требовали, чтобы коса равенства наконец прошлась по всем преступным головам. Они без обиняков требовали смерти короля. Свои силы они предлагали энергичной республиканской партии; другой же стороне угрожали мерами общественной безопасности. Они давали понять, что возможно новое «2 сентября», и при этой мысли мужество большинства ослабевало. Среди большинства жителей Парижа не находилось тех, кто мог бы противостоять такому угнетению; город предвидел события 10 августа, но не предотвратил их; он видел сентябрьские расправы, но не остановил их. Неужели эта столица стала самым презренным из городов, позором французской нации? Безусловно, это пришлось бы признать, если бы действия двора не внушали столько недоверия и если бы король не считался почти повсеместно виновным - причем его вина была признана даже теми депутатами, которые впоследствии наиболее мужественно выступали против смертной казни.

Парижане, как и остальные французы, вовсе не жаждали смерти короля; однако они не желали ни восстановления трона, ни возвращения священников, ни возвращения эмигрантов - словом, они не хотели контрреволюции.

Партия монтаньяров, организованная так, как мы уже упоминали, не знала удержу в своей враждебности к партии Жиронды. На заседании 3 декабря монтаньяры потребовали отвода всех талантливых людей, которые перешли из законодательного корпуса в Конвент, под тем предлогом, что в бумагах, найденных в Тюильри, эти деятели были представлены королю как одаренные люди, благосклонно к нему настроенные. Марат в своих кровожадных листках ежедневно натравливал народ на эту группу, и эта ярость подпитывалась единодушием мнений, признававших короля виновным. Считалось, что не покарать его смертью - значит оправдать; а оправдать - значит восстановить его во власти. Понятие неприкосновенности как политическая доктрина не укладывалось в головах простых людей; как религиозная заповедь оно исчезло еще после 14 июля 1789 года и событий 5–6 октября. Народная ярость против короля была настолько накалена, а предубеждение против умеренных взглядов так сильно, что в первых числах сентября 1792 года сорок восемь секций сформировали центральный комитет из девяноста шести членов для проведения арестов в Париже; и одна из секций, выдав секрет остальных, направила предложение закрыть заставы и сформировать жюри для суда над депутатами, которые проголосуют за обращение к народу. Добавим также, что для того, чтобы народ узнал предателей, находившихся в Собрании, Марат под бурные аплодисменты трибун добился декрета о том, что голосование по вопросу о смерти тирана будет поимённым и результаты этого голосования будут опубликованы.

Именно в таких обстоятельствах Конвент должен был вынести решение о судьбе короля.[144] Приговор был вынесен 16 января: это был смертный приговор. Некоторые депутаты проголосовали за него по убеждению, другие - из фанатизма, третьи - из страха. Еще одни, более просвещенные, но и более несчастные, сделали это из уверенности в том, что ужасная Коммуна займет место Конвента, если умеренность приговора даст ей для этого повод и средства, и зальет Францию кровью. Именно страх определил выбор большинства: ведь для многих, и особенно для тех, кого преследовали монтаньяры и Коммуна, вопрос заключался не в том, потеряет ли король жизнь или сохранит ее, а в том, проголосуют ли они за его смерть или за свою собственную. Единодушие первого решения, признавшего Людовика виновным, помогло совести тех, кто был встревожен близостью опасности, вынести смертный приговор - подобно тому, как оно способствовало поддержанию в народе жажды крови, которую тот считал необходимой для своего спокойствия.[145]

---

[144] 4 и 5 октября 1789 г.

[145] Вот подлинные выражения из этого обращения, касающиеся инцидента 17 апреля: «Государь, вы окружены врагами свободы. Вы покровительствуете священникам, отказавшимся от присяги; вам служат почти исключительно враги конституции, и есть опасения, что столь явные предпочтения указывают на истинные чувства вашего сердца. Государь, обстоятельства серьезны. Пусть нация узнает, что ее король выбрал в качестве своего окружения самых стойких защитников свободы; ибо сегодня нет иных истинных друзей короля... Совет, который дает вам департамент Парижа, был бы дан вам всеми восемьюдесятью тремя департаментами королевства, если бы они могли заявить о себе так же быстро, как мы».

21 января шестьсот тысяч человек безмолвно наблюдали за тем, как Людовика XVI вели на эшафот. А несколько дней спустя армия, административные, судебные и муниципальные органы направили Национальному собранию приветственные послания, поздравляя его с проявленным мужеством.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ.

Прежде всего, акты, касающиеся священнослужителей, таковы:

1° В период деятельности Учредительного собрания:

Отмена десятины, замененная простым выкупом, предписанным 4 августа;[146] Продажа церковного имущества в пользу нации и отнесение расходов на культ на счет государственных доходов;[147] Гражданское устройство духовенства, обязанность приносить присягу этой конституции.[148]

2° В период деятельности Законодательного корпуса:

Отмена церковных и религиозных облачений;[149] Декрет, разрешающий депортацию неприсягнувших священников по предложению двадцати граждан ;[150] Отказ короля утвердить этот декрет;[151] Декрет, предписывающий священникам, не принявшим присягу, покинуть территорию страны в течение пятнадцати дней ;[152] и наконец, массовые убийства 2 сентября и в последующие дни в тюрьмах.[153]

Посмотрим, желало ли общественное мнение этих различных актов или соглашалось ли оно с ними, и что из этого можно считать соответствующим национальному стремлению. То, что отмена десятины, как утверждали многие, не была инициирована народом, вполне возможно; однако она была им санкционирована, поскольку сегодня собственники платят поземельный налог в размере 220 миллионов частично за счет этой десятины, оценивавшейся в 70 миллионов. Таким образом, десятина фактически превратилась в увеличение налоговых взносов. Невозможно лучше закрепить отмену десятины, чем направляя её, согласно ежегодным решениям, на нужды государства.[154]

Допустим, что продажа церковного имущества также не была вызвана национальным стремлением; однако приобретение этого имущества во всех частях Франции, его раздел и дробление в течение двадцати пяти лет между разными владельцами, направление выручки от продажи на нужды нации - всё это больше, чем просто предположение о всеобщем согласии с этой операцией.

Перейдем к гражданскому устройству духовенства. Национальное стремление вовсе не требовало этого шага. Восстановить дисциплину в Церкви путем лучшего выбора пастырей и более равного распределения епархиальной юрисдикции; обеспечить умеренность и равенство в оплате их труда; лишить короля права назначения епископов, передав народу право церковных выборов; без промедления произвести роспуск прежней церковной корпорации и лишить её главных членов надежды на возрождение в качестве первого сословия государства - все эти идеи, несомненно, были весьма полезны, но при этом слишком сложны, чтобы массы народа могли их в полной мере осознать.

Среди просвещенных умов многие отвергали эти идеи реформ. Они хотели бы, чтобы была обеспечена свобода католического вероисповедания, и чтобы на этом остановились;

146 27 августа 1791 года.

147 15 июля 1791 года.

148 Герцог Орлеанский.

149 17 июля 1791 года.

150 3 сентября 1791 года, принята 13-го.

151 15 сентября 1791 года.

152 5 декабря 1791 года.

153 Обращение от 5 декабря 1791 года.

154 Этот комитет собирался у королевы.

чтобы государство защищало все культы, но не занималось ни одним из них специально. Однако это мнение, хоть оно и было справедливым, возможно, еще меньше соответствовало общим идеям, чем позиция Национального собрания или, вернее, его церковного комитета. Оно не казалось ни мудрым, ни осуществимым в обстоятельствах того времени. Считалось безумием предоставить самому себе духовенство господствующего культа, в то время как нация только что лишила его огромных владений.

Когда система выборов, необходимость обращения к Папе за каноническим утверждением и новое территориальное деление епархий без участия церковных властей восстановили епископов и Папу против этих новшеств, ведущие члены Национального собрания сами отступили перед сложностью возникших вопросов. В итоге Собрание приняло гражданское устройство духовенства, опираясь почти исключительно на доводы правоведов из своего состава и на веру в их патриотизм.

Значительная часть нации приняла его, потому что Национальное собрание, казалось, желало этого, а духовенство - нет; потому что в этом видели, по крайней мере, уничтожение *привилегированного сословия*; потому что, наконец, нация нуждалась в церковных землях, и, покупая их, люди с удовлетворением воспринимали борьбу, которая должна была довести до абсурда саму идею их возврата прежним владельцам.

Но всё же национальное единство было нарушено. Оппоненты были полны страсти. Когда раскол стал свершившимся фактом, он начал изматывать власть и вносить разлад в семьи. Десять лет спустя, когда старое духовенство перестало быть пугающим, общественное мнение пожелало, чтобы правительство вернулось к вопросам, решенным без его участия, и прекратило распри. Конкордат X года (1802) исполнил это общее желание, исключив из гражданского устройства духовенства всё, что было предметом спора между правительством и главой Церкви. Он подтвердил то, что было важным в этой конституции: принцип равного распределения епархий, возвращение ведения актов гражданского состояния гражданским властям, свободу всех вероисповеданий и забвение политических притязаний старого духовенства, замена церковных доходов ежегодными выплатами жалованья и, наконец, продажа церковного имущества и признание законности его приобретения. Сегодня эти преимущества кажутся признанными всей Францией, и сохранение их является её волей.

Преследования, направленные против неприсягнувших священников, запрет на ношение церковного платья, угроза депортации в случае беспорядков, их изгнание - всё это были акты войны, предпринятые встревоженными и обеспокоенными властями против недовольных и несчастных священнослужителей, которые распространяли вовне смятение своих душ и горечь своих обид. Сегодня следует полагать, что нация, разделенная в течение нескольких лет по их поводу, была разделена скорее ради них, нежели по их вине; это происходило из сочувствия, которое кроткие души питают к несчастью, а не из-за семян ненависти, заброшенных в сердца священнической местью. Как бы то ни было, конкордат положил конец этому разделению.

Я не буду говорить о сентябрьских убийствах, которые являются преступлением нескольких негодяев и вызывают ужас у всех партий. Перейдем к актам, которые касаются дворян и эмигрантов. Мы отмечаем:

В период Учредительного собрания:

— Отмена сеньориальных прав, которые не были включены в отмену феодальных прав, провозглашенную 4 августа;[155]

— Замена барщины единообразными налогами;[156]

— Отмена дворянства, гербов, титулов, ливрей, феодальных фамилий; сожжение грамот, хранившихся в государственных архивах;[157]

[155] 8 июня 1792.

[156] 18 июня 1792.

[157] 8 августа 1792.

— Отмена орденов, корпораций, наград и внешних знаков отличия, которые подразумевают сословные различия по рождению.[158]

В период Законодательного собрания:

— Объявление эмигрантов подозреваемыми в заговоре против государства; они признаются виновными, если останутся в составе вооруженных групп после 1 января 1792 года, и караются смертью; доходы лиц, не явившихся по вызову суда, переходят государству; принцы объявляются виновными и подлежащими смертной казни, если они не вернутся до 1 января; до тех пор их доходы изымаются, а выплата жалованья прекращается;[159]

— Секвестр (арест) имущества эмигрантов;[160]

— Направление этого имущества на возмещение расходов нации на ведение войны;[161]

— Исключение эмигрантов из списков на получение ренты, выплачиваемой из государственной казны;[162]

— Сожжение дворянских грамот, хранящихся в государственных архивах департаментов;[163]

— Назначение жен и детей эмигрантов в качестве заложников;[164]

— Убийства 2, 3, 4 и 5 сентября 1792 года.[165]

В период Конвента:

---

158 Декларация от 20 июня, перед отъездом в Варенн.

159 Первая, состоявшая из депутатов Бордо (департамент Жиронда), была по этой причине названа партией Жиронды; вторая, состоявшая из самых неистовых депутатов со всех концов королевства, была названа Горой, потому что они обычно занимали места на самых высоких скамьях зала. Умеренные держались внизу.

160 Жан-Бон Сент-Андре так закончил своё мнение о суде над королем: «Законодатели, неужели вы не слышите крик всей Франции, который доносится до вас через эти многочисленные обращения департаментов, где нас обвиняют в медлительности? Это сами ваши избиратели, это выборные собрания, администрации департаментов и округов, муниципалитеты, наконец, все граждане, которые единогласно возвышают свои голоса и говорят вам: „Мы долго были несчастны, потому что виновник наших бед в ваших руках; мы доверили вам заботу о нашей мести: почему же вы медлите с его наказанием?“»

161 Из статьи Шарля Вийетта, обращенной к его братьям-парижанам в «Хронике» (первые дни 1793 года), видно, какой ужас внушала Коммуна: «Уверяют, - говорит он, - что уже более восьми дней четырнадцать тысяч человек покинули Париж из-за списков проскрипций, возобновляемых против подписавших петицию в Лагерях, сторонников Гийома, членов Сент-Шапель и Клуба 1789 года. Сначала возникнет соблазн поверить, что эти четырнадцать тысяч обвиняемых всерьез разозлятся на эту горстку доносчиков-разбойников... Вовсе нет; добрые парижане предпочли покорно удалиться, в то время как большинство из них, вооружившись пиками или штыками, могли бы проучить составителей списков так же, как они бьют солдат Пруссии или Австрии. Разве стоит удивляться после столь полного и глубокого смирения мирным казням в сентябре? Объявляют о новых обысках под предлогом обнаружения эмигрантов. Мои дорогие соотечественники, без сомнения, подчинятся этому с таким же послушанием».

162 Боден из Арденн, чье мужество равнялось его прочим добродетелям, не верил, как Жан-Бон Сент-Андре, что большинство парижан желали смерти короля; но он описывает ситуацию, в которой народ, сбитый с толку Коммуной, ставил членов Конвента в безвыходное положение: «Существует ли свобода законодателей, - восклицает Боден, - когда топор 2 сентября все еще может быть занесен над ними, и когда каждый из них может опасаться за свою голову, если не провозгласит, что голова Людовика должна быть отрублена?»

- «Имеем ли мы право, - продолжает он, - требовать от обычных людей, я даже скажу - от людей просвещенных и добродетельных, того мужества, которое привычно противостоит и кинжалам, и ежедневным оскорблениям клеветы? Может ли воинская доблесть, которая устремляется в гущу сражений, чтобы искать там победу или славную смерть, сравниться с тем самоотверженным подвигом, которого требует перспектива быть убитым убийцами?» (*Последние размышления Бодена*, стр. 8).

163 12 августа 1790 г.

164 9 мая 1790 г.

165 2 июля 1790 г.

— Выставление на продажу движимого имущества эмигрантов;[166]

— Наконец, пожизненное изгнание эмигрантов и смертная казнь в случае нарушения ими указа об изгнании;[167]

— Декрет, регулирующий формальности, которые необходимо соблюдать при секвестре движимого и недвижимого имущества эмигрантов;[168]

— Декрет, приостанавливающий продажу недвижимости эмигрантов до тех пор, пока не будет законодательно утвержден порядок такой продажи.[169]

Два первых акта, касающиеся дворянства, а именно: отмена сеньориальных прав и отмена барщины, являются лишь дополнениями и следствиями отмен, провозглашенных 4 августа; и даже отмена барщины и её замена денежными выплатами - это лишь следствие равного распределения общественных повинностей, за которое проголосовали в наказах дворянства и которое было декретировано 4 августа. Таким образом, эти акты соответствовали национальным интересам и духу нации; они сохранятся и будут недосягаемы до тех пор, пока национальная воля будет иметь хоть какой-то вес.

20 июня 1790 года, когда Национальное собрание упразднило дворянство, гербы, титулы, ливреи и феодальные фамилии, политическое существование дворян уже было фактически прекращено отменой провинциальных штатов и слиянием сословий в Национальном собрании. Их привилегии исчезли еще в ночь на 4 августа, когда они согласились на равное распределение государственных повинностей. Все сферы деятельности, ранее закрепленные исключительно за знатью, открылись для третьего сословия; сеньориальные суды были ликвидированы. Одним словом, в гражданской и политической системе дворянство превратилось лишь в некое умозрительное различие, которое нигде не проявляло своего присутствия и никого не обязывало признавать себя. Если сила привычки еще сохраняла за ним некоторую значимость в моральном плане, то есть в частных общественных отношениях, то это преимущество сводилось лишь к возможности проявить изысканную вежливость и тон равенства, которого не замечали у других. Однако вскоре и эта привилегия должна была исчезнуть, поскольку она держалась исключительно на новизне перемен.

Для одной части дворян упразднение дворянства стало потерей, для другой - преимуществом. Оно стало потерей: во-первых, для древних, но не прославившихся родов; во-вторых, для новых семей, какой бы почтенный титул они ни носили; в-третьих, для тех, чье дворянство было куплено за деньги и, имея неблагородное происхождение, никогда не могло - в отличие от многих других - заслужить даже упрека в вырождении. Иными словами, для всех дворян, чье имя не вызывало никаких великих воспоминаний, отмена титулов, ливрей и всего того, что заявляло о благородстве, означала полное уничтожение их дворянского статуса.

Для имен прославленных, для исторических имен, напоминающих о какой-либо дорогой для отечества эпохе или о славном для нации событии; для имен, которые во всех странах заучивают с детства и никогда не забывают; которые укрепляют авторитет Франции за рубежом, не уменьшая ее сил внутри страны; для этих имен, стоящих выше любых титулов, отмена самих титулов стала лишь освобождением от атрибутов, обесцененных из-за того, что их разделяли с именами, лишенными славы.

Дворянство было матерью или, по крайней мере, спутницей привилегий; естественно, что его постигла та же участь. Оно также сформировало корпус, гарантировавший и охранявший привилегии в политических собраниях; следовало опасаться, как бы оно не возродилось и не проявило себя там снова.

Наконец, если рассматривать дворянский титул в 1789 году лишь как тщеславное различие в частном обществе, то можно сказать, что сохранение титула или дворянского звания в

[166] 6 апреля 1792 г.

[167] 27 мая 1792 г.

[168] 18 июня 1792 г.

[169] 26 августа 1792 года.

условиях, когда новая конституция отвергала процедуру возведения в дворянство, придало бы этому статусу новый блеск. Это возвысило бы существующую знать над плебеями гораздо сильнее, чем прежде, и отделило бы благородные семьи от простого сословия дистанцией, которая со временем лишь увеличивалась бы. В результате третье сословие оказалось бы в сравнительно более низком положении, чем в 89-м году, так как спустя столетие существовали бы только дворяне со столетней родословной и «вечные» буржуа. Тогда как в 89-м году новые дворяне в общественном мнении почти сливались с буржуазией, которая вела благородный образ жизни и могла при желании приобрести дворянство. Словом, отмена процедуры возведения в дворянство, очевидно, привела бы к возвышению существующей знати.

С 1792 года нация наглядно доказала, что ею руководило вовсе не абсолютное отвращение к любым дворянским отличиям, титулам, гербам или ливреям, а ненависть к привилегированному дворянству в том виде, в каком оно существовало. Причиной была его исключительность, оскорбительная для истинных заслуг, а также то, что простое сословие чувствовало себя униженным и нуждалось в отмщении. И если с тех пор нация приняла новое дворянство с теми же почетными атрибутами, но без права наследования, то в этом не было ни непоследовательности, ни раскаяния, ни возврата к старому порядку вещей. Напротив, это было сделано для того, чтобы заставить скорее забыть о прошлом, отомстить ему более верным способом и со всем возможным блеском вступить в права завоеванного равенства. Простой сельский житель был больше уверен в упразднении старого дворянства, когда видел, что выходец из его общины берет верх над бывшим сеньором прихода, когда тот просто держался в стороне. Он чувствовал себя увереннее, видя продвижение по службе благодаря заслугам, а не знатности, чем просто наблюдая уход в тень и безвестность знатности, не подкрепленной заслугами. Уничтожение привилегированного дворянства стало для него еще более очевидным с созданием дворянства без привилегий и наследственности. В конечном счете, аргумент против сословных отличий по рождению казался ему более полным, когда он мог сказать бывшему дворянину: «Вы больше им не являетесь, а я стану им в первый же день сражения», чем когда он ограничивался словами: «Вы больше им не являетесь».

Именно поэтому было благосклонно принято это новое дворянство, которое могло бы остаться просто сословием выдающихся людей, если бы по ошибке в него со временем не ввели зачатки наследственности. Но в том виде, в каком оно существовало изначально, оно доказало - судя по тому, как его приняло общественное мнение, - насколько упразднение прежнего дворянства соответствовало чаяниям нации.

Сословия, корпорации, награды, внешние знаки отличия, предполагавшие знатность происхождения, могли бы сохраниться при единственном условии - больше не требовать доказательств благородства и признавать личные заслуги. Однако всё, что принадлежало привилегированному дворянству, всё, что напоминало о его существовании, должно было разделить его участь. Такова была воля общественного мнения в период революционной подозрительности, заставлявшей опасаться возвращения прежней слабости в спокойные времена, когда действуют любые соблазны и никто не защищается. Добавлю, что самые выдающиеся представители самого дворянства признавали все эти реформы закономерным следствием принципов революции. Таково было, в частности, мнение того достойного меньшинства дворянства, которое первым нашло в себе силы присоединиться к палате общин в 1789 году и чей пример, будь он поддержан, избавил бы страну от многих бед во всех последующих случаях.

Все декреты, которые мы только что рассмотрели, исходили от Учредительного собрания. Насильственные меры начались именно при Законодательном собрании. Первое из этих собраний атаковало лишь привилегии дворянства и связанные с ними институты; второе же посягнуло на собственность дворян и на них самих.

Наложение ареста на их имущество, использование этого имущества для выплаты компенсаций нации за военные расходы, объявленное решение выставить его на продажу, как только будет утвержден порядок продажи, фактическая распродажа их движимого имущества и, наконец, их вечное изгнание - вот действия, характерные для рассматриваемого нами периода. Я оставлю в стороне декрет, объявляющий заложниками жен и детей эмигрантов: этот

несправедливый и жестокий указ так и не был приведен в исполнение. Остальные же меры стали предметом жарких дискуссий, и умеренные сторонники революции долгое время отказывались их одобрять. Эмигранты были людьми заблудшими, но всё же французами; их семьи остались во Франции - как можно было без сочувствия смотреть на разорение семей и преследование их глав? Юристы, со своей стороны, противопоставляли конфискации имущества и изгнанию принципы гражданского законодательства и те правила вечной справедливости, что запрещают наказывать невиновных за вину других. Они требовали для эмигрантов общего для всех граждан права уезжать из своей страны и даже покидать её навсегда. Они указывали на невозможность отличить тех, кто уехал без враждебных намерений, от тех, кто взял в руки оружие.

Однако народный здравый смысл отвергал любое применение гражданского права к массе людей, эмигрировавших одновременно, чтобы вооружиться против Франции и выступить против неё в составе воинских формирований вместе с иностранными армиями. Является ли эмиграция преступлением или нет? Возможно ли установить факт эмиграции, отличить враждебную эмиграцию от той, что не является таковой? На все эти вопросы народное чутье отвечало: *«Какое это имеет значение? Эмигранты ведут против нас войну, они встали против нас, руководствуясь законами войны; следовательно, и мы имеем право применять эти законы против них»*. Подобно тому, как на войне у противника забирают города, провинции, замки и земли, точно так же, говорили в народе, можно отобрать земли и дома у эмигранта, который стал чужаком и идет в одном строю с иностранцами. По какому праву после победы у Пруссии можно будет отторгнуть провинцию, если нельзя забрать дома у эмигрантов, марширующих в составе прусских войск? Любые сомнения рассеивались сами собой перед идеей о том, что руководствоваться следует исключительно законами войны. Это касалось тех эмигрантов, которые не пожелали брать в руки оружие, чтобы доказать своим возвращением, что они его и не поднимали, и не захотели оставаться среди тех, кто это оружие взял. Их предупредили о необходимости вернуться в строго определенный срок. Они сами были единственными виновниками разорения своих семей; именно они приносили их в жертву, и вовсе не Франция губила саму себя.

Таковы были настроения народа в ходе многочисленных и долгих заседаний, на которых принимались законы против эмигрантов. Собрание провозгласило конфискацию имущества и пожизненное изгнание этих лиц, основываясь на мнимых принципах гражданского права.

Народная система была более благосклонна к эмигрантам, чем система законодательного корпуса. Ведь конфискация и изгнание, утвержденные законом, по своей природе должны были быть окончательными, в то время как территории, захваченные в ходе завоеваний, могут быть возвращены при заключении мира, а запреты на въезд для любого участника вражеской армии, введенные во время войны, могут быть сняты, когда врага больше не существует. Более того, закон против эмиграции приговаривал к смерти всякого эмигранта, попавшего в плен, тогда как законы войны обязывают щадить жизнь врага, взятого в плен.

Однако дальнейшие события доказали, что изгнание эмигрантов, каким бы образом оно ни было оформлено, не могло длиться вечно: в период Консульства оно было отменено. Франция никогда не хранит верность обещаниям, данным в порыве гнева. Отмена изгнания произошла бы и раньше, если бы не опасения, что продажа конфискованного имущества будет прервана. Да и сама эта продажа никогда бы не была доведена до конца, если бы она не началась в период законного возмущения войной и если бы обстоятельства, на которые обратили слишком мало внимания и которые вынуждали правительство продавать, не вынуждали бы также и частных лиц покупать. Этими обстоятельствами были крах финансов и нехватка денег. Чтобы покрыть расходы, вызванные войной, у правительства не было иной валюты, кроме ассигнатов, и эти ассигнаты через некоторое время не имели иного обеспечения, кроме имущества зачинщиков войны. Поскольку ассигнаты стали единственной валютой Франции и обесценились, почти все должники фактически разорили своих кредиторов, расплачиваясь ими; а последние, чтобы спасти хотя бы часть своих капиталов, были вынуждены вкладывать их в приобретение конфискованных имений. Именно эмигранты развязали войну; именно

война вызвала необходимость в выпуске ассигнатов; именно ассигнаты разоряли капиталистов. Таким образом, последние считали справедливым искать возмещения части своих потерь в имуществе тех, кто поставил их на грань разорения. Позже к несчастным отцам семейств примкнули жадные спекулянты, но именно первые составили большинство покупателей. Впрочем, двойные и тройные перепродажи, наследования и обмены создали столько посредников между первоначальными спекулянтами и нынешними владельцами, а цены из-за смены собственников настолько выросли, что сегодня было бы невозможно вернуться к прежнему положению дел и разыскать всех участников цепочки.

Эта продажа конфискованного имущества, как и имущества духовенства, формирует сегодня новый интерес в рамках революции, который важно не игнорировать. В безопасности этих приобретений заинтересованы, возможно, пятнадцать миллионов человек, поскольку нужно учитывать всех, через чьи руки прошла эта собственность, наряду с теми, кто владеет ею сейчас. В случае посягательства на их права нынешние владельцы имели бы право требовать возмещения у предыдущих.

Далее следуют акты, касающиеся короля и двора.

В период Учредительного собрания:

1. Нападение на Версальский дворец и принудительный переезд короля в Париж 5 и 6 октября 1789 года;
2. Препятствование отъезду короля в Сен-Клу 17 апреля 1790 года;
3. Арест короля в Варенне 22 июня 1791 года;
4. Собрания на Марсовом поле с требованием низложения короля 17 июля 1791 года;
5. Конституция от 3 сентября 1791 года, принятая 13-го числа.

В период Законодательного корпуса:

6. Нападение на дворец Тюильри 20 июня 1792 года;
7. Осада дворца Тюильри, бегство короля в зал законодательного корпуса, приостановка королевской власти, заключение короля в Тампль в период 10 августа и в последующие дни.

В период Конвента:

8. Упразднение монархии, провозглашение республики 21 сентября 1792 года;
9. Предание короля суду, назначенное на 3 декабря 1792 года; приговор, вынесенный 17 января 1793 года; казнь 21-го числа.

Нападение на Версальский дворец 5 и 6 октября было делом рук парижского народа. Жители Парижа - это еще не вся нация. Однако нация уже одобрила свержение Бастилии 14 июля. Мятеж того дня, распространившись на всю Францию, получил название «восстание». Восстание считалось самым священным из долгов: взятие Бастилии называли инициативой восстания; именно нация освятила эти слова, доселе непривычные, и те идеи, которые они выражали. В событиях 5 и 6 октября нация желала видеть лишь результат: пребывание короля в Париже стало гарантией того, что его присутствие как бы придает легитимность революции; и нация приветствовала это и рукоплескала.

В течение всего октября коммуны и официальные органы власти направляли обращения, чтобы поздравить Национальное собрание, воздерживаясь, однако, с примечательной осторожностью от упоминания событий и дней 5 и 6 октября. В том же месяце армия также возобновляет клятвы верности декретам Собрания; различные корпуса страсбургского гарнизона протестуют против газеты,[170] утверждавшей, что недовольные найдут защиту в стопятидесятитысячной армии под командованием генерала де Брольи, который якобы был уверен в вер-

[170] 2, 3, 4 и 5 сентября 1792 года.

ности гарнизонов Меца и Страсбурга. Страсбургский гарнизон заявляет, что подобная уверенность оскорбительна для него. *«Он будет повиноваться королю,* - гласит заявление, - *чтобы исполнять законы и развертывать свои силы против врагов нации. Но мы будем считать предателями родины тех, кто окажется достаточно подлым, чтобы нарушить присягу, продиктованную вами»*.

Согласие, выраженное результатам 5 и 6 октября, было самым веским доказательством того, насколько нация дорожит декретом, уничтожившим привилегии. Каким бы ни было мнение внутренних врагов Франции, для иностранцев очевидно: именно французскому народу насилие обходится дороже всего, именно он менее всего к нему привык и обычно наиболее сдержан чувством уважения, которое лучше всего знает меру приличия. Его неистовство во время революции доказывает лишь ту важность, которую он неизменно придавал её успеху.

Исходя из этой истины, следует оценивать события 17 апреля и 22 июня 1790 года. Когда толпа помешала отъезду короля в Сен-Клу,[171] в ней было всего две или три тысячи человек. На следующий день директория департамента вынесла на голосование в сорока восьми секциях следующие вопросы: *«Желает ли Париж, чтобы король мог отправиться в Сен-Клу, или же Париж хочет не беспокоить короля своим отсутствием?»*. Большинство секций выразило опасение по поводу его отсутствия; и было замечено, как глава директории департамента дал понять королю, что разделяет общую тревогу.

Арест короля в Варенне[172] - это, по правде говоря, дело рук жителей Варенны, маленького городка в Шампани. Но что внушило им такую смелость? Или, скорее, как они сочли это своим долгом? Что заставило их побороть страх прослыть преступниками, задержав короля? Невозможно не признать в их поведении мощное влияние национального духа. Кем они были осуждены, обвинены или преследуемы? Чьи руки поднялись против них или обрушились на них? Миллион французов сбежался на пути следования короля при его возвращении; отряды национальной гвардии сопровождали его карету из Варенны в Париж. Было ли предпринято хоть малейшее движение, чтобы освободить его? Слышал ли он иной крик, кроме «Да здравствует нация!»? Более ста тысяч человек находились на Елисейских полях, когда он въезжал в Париж, и не было среди них ни одного, кто не выразил бы негодование молчанием, позой и взглядами. Именно так жители Варенна получили прощение за свою дерзость.

Вот что господин Барнав, один из комиссаров Национального собрания, отправленных навстречу королю и вернувшийся в его карете, сообщил в Якобинском клубе в день своего приезда: *«Если у вас и оставалось хоть малейшее сомнение в великом вопросе о том, будет ли Франция свободной, то теперь эта задача решена. Более шестисот тысяч французов выразили свою волю на этот счет с такой энергией, которая, казалось, глубоко поразила людей, находившихся в каретах»*.[173]

«При въезде в Париж граждане, несомненно, решили хранить глубочайшее молчание; во всех остальных местах нас прерывали только крики "Да здравствует нация!"»

Господин де Монтескью сообщает по этому поводу следующий факт в своем труде под названием «Взгляд на революцию»: *«По возвращении из Варенна король признался, что был крайне удивлен единодушием желаний Франции относительно новой конституции. Ему всегда говорили обратное; и тогда он не стал скрывать, что именно увиденное им и заставило его принять конституцию»*.[174]

Повторюсь: то, что нация одобряла в действиях против короля, было не насилием, а тем импульсом, который они придавали революции, и устранением препятствий, мешавших ее продвижению.

---

[171] На сегодняшний день прошло сорок два года с тех пор, как десятина была преобразована в налог.

[172] 26 февраля 1790.

[173] 23 марта 1790.

[174] 20 июня 1790.

По правде говоря, чем дальше заходили события, тем более раздражительным становился народ; чем меньше его сдерживало уважение, тем легче он шел на насилие - это были его «государственные перевороты». Королевское величие больше не внушало трепета. К моменту своего отъезда король уже девятнадцать месяцев был пленником: его личные качества казались деградировавшими из-за притворного простодушия, которое он проявлял все это время и которое было опровергнуто его бегством; арест в Варенне окончательно лишил его всякого уважения.

Народное собрание на Марсовом поле [175] с требованием суда и низложения короля в связи с декретом от 15-го числа, объявившим его неприкосновенным; упорство сопротивления народа муниципальным властям, провозгласившим военное положение; даже жертвы, к которым привело это сопротивление, - все эти факты были предвестниками событий 20 июня, 10 августа 1792 года и 21 января 1793 года. Все предвещало двойную катастрофу: падение трона и гибель монарха.[176]

Захват дворца Тюильри,[177] произошедший 10 августа, заключение короля в Тампле, приостановка, а затем и отмена королевской власти, провозглашение республики, предание Людовика суду, его осуждение и казнь - все эти события сводятся к двум основным, для которых остальные являются лишь сопутствующими обстоятельствами: смерть короля и падение трона. Суд над королем и его смертный приговор - это одно из тех деяний, которые в условиях монархии всегда вызывают изумление, и это изумление мешает здраво судить о них; потомки способны оценить это не больше, чем современники. Можно даже сказать, что чем дальше от нас это событие, тем более масштабным оно кажется. Воображение слишком сильно поражено величием катастрофы, чтобы разум мог взвесить ее мотивы. Жертва падает с такой высоты, что падение всегда кажется несоразмерным вине; культ, который столь естественно воздается власти, и вера в неприкосновенность способствуют тому, что в общественном мнении монарх ставится выше любого приговора в большей степени, чем это делает закон. Мысль о святотатстве всегда встает между правосудием и священным объектом. Величие, мощь, добродетели и слава королей, наследовавших жертве, всей своей тяжестью давят на разум и воображение. Авторитет правящего короля внушает почтение к нему самому; уважение и привязанность, которые питают к нему современники, среди которых мы живем, кажутся обвинением в дерзости судей и народа, погубивших его предшественника. Именно так в Англии умы все еще находятся под впечатлением от процесса над Карлом I, независимо от мотивов, которые могут заставить верить в невиновность или виновность этого принца.

Полезно на мгновение освободиться от этих иллюзий, чтобы осознать истинное состояние умов в ту эпоху, когда народ может без содрогания видеть, как голова его короля падает на эшафоте, и понять, какая цепь событий способна постепенно ослабить то уважение, которое служит главной опорой власти. Факты, из которых складывается история Людовика XVI с 14 июля 1789 года по январь 1793 года, показывают нам, как к этому последнему моменту народ пришел к тому, что видел в монархе лишь обычного человека. Я не ищу оправданий ни народу, ни судьям. Я лишь извлекаю урок, который открывается принцам всех времен и всех стран.

При открытии Генеральных штатов Людовика XVI любили и уважали; не потому, что его считали великим королем или, возможно, подходящим монархом для данных обстоятельств, а потому, что он был благонамеренным и честным человеком.

Однако обстоятельства требовали большего. В то время не было бы лишним обладать выдающимся умом и сильным характером.

[175] 30 июля 1791.

[176] 9 ноября 1791.

[177] 7 февраля 1792.

Людовик XVI был по натуре апатичен. Он обладал здравым умом, но ограниченным из-за неспособности к сосредоточенному труду, отсутствия активности и инициативы, из-за страсти и неумеренной привычки к охоте, а также из-за рабской приверженности предрассудкам своего сословия, власти и, прежде всего, религиозным предрассудкам.

Его сердце было открыто для нежных привязанностей. Он вел упорядоченный образ жизни и был добр. Но мягкость его чувств, размеренность нравов и доброта поставили его в зависимость от королевы. Он полагал, что был лишь верным и любящим супругом, но на деле был порабощенным королем.

Характер его был слаб. Страх легко овладевал им и начинал управлять им, как только достигал цели. Его спокойствие в моменты опасности было лишь терпением; его мужество в несчастье - лишь смирением. Он был робок, а это еще одна слабость, обычным следствием которой становятся обвинения в лицемерии. Он был скрытен и недоверчив, как и все слабые натуры; и, подобно им, он был одновременно подозрителен и обманут теми, кто помогал ему проявлять эту подозрительность.

Из-за нерадения к учебе он не усвоил того, что следовало бы знать для управления государством; из-за нерадения к делам опыт и наблюдение не восполнили недостаток знаний; из-за отсутствия движения и внутреннего порыва он не открывал для себя того, что обязан был выучить.

Воспитанный на пагубной идее, что он получил власть от Бога и от своих предков, что всё должно быть подчинено его воле, что народы не имеют над ним никаких прав и что он должен давать отчет в их судьбе только Богу, он видел в своих королевских обязательствах лишь заповеди религии, а в своих ошибках - лишь грехи. Не будучи в состоянии представить ни малейшей опасности для своей короны, он видел угрозу лишь для своей совести.

Священникам было легко завладеть умом принца, настроенного подобным образом. Их интересы, находившиеся тогда под угрозой, делали влияние на монарха важным как никогда. Поскольку духовенство могло надеяться на спасение только при абсолютной власти, священники превратили для короля сохранение этой власти в вопрос совести; сохранение духовенства - в вопрос совести; ненависть к конституции - снова в вопрос совести. Они действовали заодно с королевой, чья гордость навязывала королю те же обязательства, представляя их как долг чести, нарушение которого сделало бы его недостойным её нежности.

Эти предрассудки и влияния не только стесняли ум короля в еще более узких рамках, но и направляли его по ложному пути.

Его совесть была всецело поглощена сомнениями, которые в нее заронили корыстные интересы духовенства; его разум и рассудок истощали свои скудные силы, обсуждая эти сомнения с его совестью. Король не видел ничего за пределами круга своего духовенства, королевы и, возможно, своей семьи и двора. Он лишь смутно замечал тот великий народ, что находился вдали, за оградой, которую выстроил вокруг него двор. Он желал народу добра, но не знал, как его совершить, и не понимал, что может помешать тому, чтобы добро свершилось само собой. Он не мог вообразить себе ни угнетения, ни восстания, настолько он был убежден, что одних его намерений должно быть достаточно, чтобы их предотвратить. Его природная доброта заставляла его сочувствовать страданиям, которые бросались в глаза: физическим страданиям бедноты, нужде; но эта доброта так и не смогла внушить ему ничего, кроме благих намерений в отношении своего народа. Это была та чисто христианская добродетель, которой религия дала мягкое и почтенное имя милосердия. Именно к этой доброте следует относить многие деяния времен правления Людовика XVI, которые заслужили ему признательность: отмену пыток, оздоровление тюрем, улучшение управления больницами. Но этой суверенной доброты королей, которая охватывает права и интересы всех слоев великого народа - и тех, кто живет во дворцах, и тех, кто в хижинах; которая надзирает за всеми, сдерживает одних, ободряет других, защищает труд как достояние бедняка; правосудия, этого убежища слабых; доброты, которая заботится о настоящем и будущем и простирается на огромные расстояния во времени и пространстве - этой доброты, благодаря которой короли становятся подобием Провидения, кажется, и не хватало Людовику XVI. Никакой широты взглядов, никогда ни порыва,

ни действия, никакого движения вперед. Все его останавливало, всё мешало благому начинанию: природная тяжеловесность, недостаток просвещенности, беспокойная совесть. Все препятствовало принятию твердого решения: слабость характера, страх перед внутренними противоречиями, неодолимое отвращение к тому, чтобы удерживать доверием народа ту власть, о которой ему ежедневно твердили, что она - дар Божий. Всегда лишенный воли, ничего не приказывающий, он соглашался на все, что не противоречило его религиозным убеждениям; позволял многое, не смея ничего запретить; позволял еще меньше того, чего он не терпел; связывал себя обязательствами перед теми, кто обещал ему конституционную власть, и в то же время позволял действовать тем, кто обещал ему власть Людовика XIV.

После королевского заседания 21 июня 1789 года народ счел его враждебно настроенным к себе и решившим защищать привилегированных: его перестали любить. Любовь внезапно и полностью отвернулась от него, потому что это предпочтение, которое он, казалось, отдавал привилегированным слоям, в своем первом пылу противоречило зарождающейся страсти народа - любви к равенству и свободе.

К середине июля армия, собранная между Парижем и Версалем, перешла на сторону народа и побраталась с патриотами столицы: тогда все увидели слабость власти. 15 и 17 июля король прибыл в Париж, в Ратушу, и сделал всё, о чем его просили: тогда увидели слабость человека, и народ перестал его уважать.

Праздник телохранителей 2 октября укрепил мнение о недоброжелательности короля и выдал ложность той искренности, которую он демонстрировал. С этого момента презрение смешалось с обидой. Народное движение 5 и 6 октября окончательно рассеяло страх перед королевскими войсками и дало народу возможность осознать свои собственные силы. В эти дни народ понял, что может желать чего угодно и на всё дерзнуть. Он осмелился пожелать, чтобы король стал пленником в Париже, и он его увез.

Дерзость народа подогревалась страданиями, которые во все времена толкали его на крайности: это был голод или предчувствие голода, вызванное нехваткой продовольствия. К сожалению, эта обычная причина временных беспорядков, которая в то же время служила им оправданием, на этот раз соединилась с делом ниспровержения власти; она породила нечто иное, нежели просто бунт - это была революция.

Короля привезли в Париж одновременно как признанного аристократа и как подозрительного поставщика провизии.[178] В сознании подданных короля больше не осталось ничего от народного духа; народ стал суверенным властителем, недовольным своим чиновником.

Был ли король, привезенный в Париж и живущий там, под стражей, или он был пленником под честное слово, или же королем на свободе? В течение зимы вопрос оставался нерешенным; в начале апреля король захотел разрешить его по своему усмотрению. Он лишь смог прояснить, что решился на это в ущерб своей личности и достоинству. Он объявил о поездке в Сен-Клу; огромное скопление людей помешало ему покинуть дворец. Стало очевидно, что он пленник.

20 июня король совершает побег и бежит к границе, где были вооружены эмигранты. Его арестовывают в Варенне; его привозят обратно и снова поселяют в Тюильри. В апреле он был пленником, по крайней мере, фактически. После возвращения из Варенна в нем видят преступного пленника: говорили, что при нем был голод, а теперь он хотел добавить к нему еще и войну. К тому же, это был неловкий пленник, пойманный пленник, пленник, который стал объектом негодования и оскорблений миллиона французов на пути длиной в пятьдесят лье. У народа Парижа не осталось даже тени уважения или чувства почтения. Это больше не был король, в речах больше не упоминают Людовика XVI; говорят о «предателе Людовике», о «перебежчике Людовике», об «объявленном враге Франции» - иначе его больше не называют.

Требуют суда над ним, требуют низложения. 26 июля был обнародован и приведен в исполнение закон о военном положении на Марсовом поле против собрания, требовавшего низложения. *«Значит,* - говорят люди, - *граждан убивают ради того, чтобы предатель остался*

[178] Декрет от 30 марта 1792.

безнаказанным!». На мгновение наступает тишина, но мнимому предателю приписывают еще одно преступление. В следующем году иноземцы и объединившиеся с ними эмигранты выдвигаются к границам. Раздается крик: «Это предатель их призвал!». Война начинается с поражений: «Это предатель их подстроил!». Вновь звучат требования о низложении. Низложение затягивается; теперь требуют отречения.

20 июня народ врывается во дворец. Людовик позволяет себя увидеть, но не умеет себя поставить. Шестьдесят тысяч человек приближаются к нему, теснят его один за другим и обращаются к нему: кто с дерзкой фамильярностью, кто с презрением, кто с угрозой. Он остается совершенно невозмутимым. *«Тот, у кого чиста совесть,* - говорит он, *- ничего не боится; приложите руку к моему сердцу и посмотрите, бьется ли оно чаще обычного, есть ли в нем хоть капля страха»*. Безусловно, было бы прекрасно сохранять такое спокойствие, если бы к безразличию перед лицом опасности этот несчастный монарх добавил глубокое чувство оскорбленного величия; если бы он проявил его в гордой осанке и красноречии своих слов; если бы он умел, подобно Матьё Моле, обуздать, вразумить или взволновать эту толпу. Но народ увидел его стоящим на скамье, в красном колпаке, пьющим из бутылки и кричащим: *«Да здравствует нация!»*. Выдавать за достоинство спокойствие своей совести перед лицом восставшего народа - не значило ли это лишь усугубить то унижение, которое народ и так видел слишком отчетливо? Люди входили, желая отречения; но, увидев короля, они забыли, что считали его необходимым.

Когда враг вторгся во Францию, ярость, на миг утихшая, вспыхнула вновь; она привела к резне 10 августа, породившей еще большее ожесточение.

С этого момента в столице не умолкает крик: «Смерть тирану!». Враг приближается к столице. Предчувствуют все те бедствия, которые принесет его победа, и месть, которую обрушат на город король, священники и дворяне; дворяне, которых опасались в сто раз больше, чем самих победителей. Страх примешивается к негодованию и делает его еще более жестоким. Крики тревоги и ярости звучат всё громче. Трон свергнут, провозглашена республика. Уже давно в Людовике не видели короля Франции и даже просто значимую фигуру; теперь же в нем видят лишь угрозу для республики, с которой каждый отныне связывает безопасность собственного существования, и каждый желает смерти Людовика как гарантии собственной жизни. Коммуна и Гора перекладывают на несчастного принца различные обвинения и многочисленные подозрения, вызванные в народе нехваткой продовольствия.

Таков был ход народных настроений, которые с 14 июля 1789 года до конца 1792 года привели к обвинению и суду над Людовиком.

В каких обстоятельствах проходил этот суд! Едва республика возвысилась над поверженной монархией, как она, уже торжествующая, основывала осуждение королевской власти на ошибках и преступлениях нескольких королей; она влачит её в пыли за своей колесницей, а затем из осуждения монархии выводит приговор всем королям! Какие это были обстоятельства, когда за основу брался принцип, что не существует невиновных королей и что само пребывание королем уже преступно в глазах республики!

Между тем неприкосновенность короля в глазах закона всё еще оставалась в силе. И если было решено, вопреки его неприкосновенности, предать его суду, то, по крайней мере, за ним сохранялись средства защиты по существу дела. Известно, какова была судьба этой двойной гарантии. Здесь речь идет не о том, чтобы обсуждать сам приговор, а лишь о том, какое впечатление он произвел на общественное мнение страны.

Прежде всего, оно считало Людовика XVI виновным - не в деталях каждого из фактов, приведенных в обвинительном акте, а в развязывании войны и в двойном намерении уничтожить революцию и преследовать её деятелей. Когда над королем совершился суд, нация отвернулась от приговора, который сочла слишком суровым и который сама никогда бы не вынесла; но затем она свыклась мыслью о непоправимом событии, которое обрушилось не на абсолютно невинного человека и которое, в интересах революции, представлялось в свете смутных соображений общественной пользы. Именно с этим интересом революции соотносили тогда

во Франции всё. Люди не стали ни более жестокими, ни, возможно, менее склонными к справедливости, чем в прежние времена; но все свои чувства доброты и справедливости они направляли на обеспечение успеха этой революции. Ее рассматривали как высшую справедливость и благодеяние, распространяющееся на миллионы людей, в то время как правосудие, вершащееся в судах, касается лишь отдельных личностей, которые к нему взывают.

И на каком основании короля признавали виновным в развязывании войны? Разумеется, не на основе аналитических записок, диссертаций, речей или конкретных претензий ораторов Конвента; не на основе документов, найденных после 10 августа в «железном шкафу» во дворце Тюильри; и не на основе Пильницкого договора, который раскрывал настойчивые просьбы принцев и предполагал согласие на то короля; и не на основе ведомостей о выплатах жалованья лейб-гвардейцам в Кобленце. Вина основывалась на совокупности общеизвестных обстоятельств, на несомненной последовательности фактов, захвативших умы, на массиве моральных доказательств - из тех, что приносят убежденность сами по себе, без помощи рассуждений, и которые никакие рассуждения не в силах поколебать.

Эмигранты вооружились на границах в 1791 году против революции. Когда король отправился в Варенн, это было сделано для того, чтобы оказаться в пределах их досягаемости: следовательно, он хотел направить войну против революции. Месье [брат короля] уехал одновременно с ним: значит, их действия были согласованы. Вскоре Месье признали главой вооруженной эмиграции: значит, король был в согласии с армией эмигрантов. Вскоре заговорили об иностранных армиях, принявших ту же сторону, что и эмигранты: значит, их призвали предводители эмиграции, то есть Месье; следовательно, их действия были одобрены королем, который уехал вместе с Месье.

Иностранные армии наступают вместе с эмигрантами; таким образом, связь иностранцев с эмиграцией подтверждается на деле: значит, король, уехавший со своим братом, главой эмиграции, находится в сговоре с иностранцами. Император Австрии - брат королевы, а королева - объявленный враг революции: следовательно, император Австрии, подстрекаемый Месье, также подгоняем и королевой. Королева управляет разумом короля: значит, король действует заодно с императором Австрии. Король призывает своих братьев вернуться официальными манифестами, но они не возвращаются: это может быть только потому, что втайне он дезавуирует те тексты, которые публикует официально. Он отказывается утвердить закон об их изгнании и делает это, чтобы заявить о своей свободе и придать больше веса своему призыву к их возвращению: если они не слушают, то лишь потому, что он дал им понять, что его истинные намерения не изменились, как и их судьба.

Эмиграция и война навлекают народный гнев на его голову, а его братья при этом не проявляют никакой решительности: как же можно представить, чтобы братья хотели подвергнуть его опасностям мятежа, если бы Луи не решил бросить им вызов? Только он сам мог таким образом распоряжаться собственной безопасностью. Братская нежность не осмелилась бы взять на себя ответственность за грядущие события. Смерть короля, без сомнения, была преступлением, бесполезным для установления республики, поскольку у него был преемник; но этого соображения было недостаточно, чтобы успокоить нежность двух братьев перед лицом народа, доведенного до ярости и безумия.

Державы, вступившие в заговор с эмигрантами, предваряют движение своих войск декларациями и манифестами, в которых говорят на языке эмигрантов и объявляют о намерении освободить короля из зависимости, в которой его удерживают. В глубине души их манифесты говорят о том же, о чем говорила декларация, оставленная королем при его отъезде в Варенн в прошлом году: значит, иностранцы отвечают на чаяния короля, на его тайные просьбы, на просьбы его брата, признанные им самим.

Наконец, и это, бесспорно, было сильной презумпцией: нынешнее положение короля было заключением, а для него было естественным желать выйти из него. Таким образом, положение, которое обещала ему новая конституция в будущем, было далеко не столь ценным, как его прежнее состояние: значит, он должен был желать к нему вернуться. И вот армии ино-

странцев и эмигрантов заявляют, что хотят его туда вернуть: значит, это он призвал их на помощь, значит, это он призвал войну. Для народных масс убежденность - самое верное доказательство истинности обвинения. Это внутреннее чувство, что на месте подсудимого ты поступил бы так же, как и он. И примечательно здесь то, что это чувство, которое должно было бы склонять к снисхождению, как раз и становится решающим аргументом для самого сурового осуждения.

Народ не сомневался, что призыв иностранных войск был преступлением; конституция гласила, что командование армией, направленной против нации, означает отречение от королевской власти, и она даже не допускала возможности командования иностранной армией. Национальные интересы выражались гораздо громче и яснее, чем сама конституция. Адвокат Людовика XVI в своей защитительной речи в пользу короля заявил, что *«встать во главе армии и направить ее силы против нации - это тяжкое преступление. Безусловно, более тяжкого преступления быть не может; оно включает в себя все остальные. Оно предполагает в планах, которые его готовят, любое вероломство, любые махинации, любые козни, которых неизбежно требует подобное предприятие. Оно предполагает в своих последствиях все ужасы, все бедствия, все несчастья, которые влечет за собой кровопролитная гражданская война»*.

Таково было общественное мнение по правовому вопросу; господин Десез лишь выразил его. Что касается вопросов факта, то общее мнение, возможно, не было застраховано от ошибок, но оно и не содержало в себе достаточно явных заблуждений, чтобы оправдать всеобщее ослепление. Впрочем, повторим еще раз: речь здесь идет не о том, чтобы судить это мнение, а лишь о том, чтобы признать, какими были его решения.

Если бы сегодня пришлось высказываться о суде толпы, следовало бы прежде всего изучить, не изменились ли намерения короля с того времени - со времени отъезда Месье и ареста в Варенне до момента, когда он признал (как сам и говорил) волю нации, явленную ему на всем пути от Варенна до Парижа, а также поправки, внесенные комитетом по пересмотру в конституционный акт, чтобы придать королевской власти больше силы и достоинства, чем в первоначальных редакциях.

Затем следовало бы проверить всеми доступными способами, не сочли ли принцы и эмигранты для себя возможным служить делу короля вопреки его прямым запретам, изложенным в его официальных указах, даже если его тайная переписка подтверждала их или не опровергала; и не действовали ли они, исходя из принципа: сокровенная воля короля, каково бы ни было его положение, всегда должна считаться соответствующей тому, что признается правами и интересами короны, невзирая на его официальные и публичные заявления. Одним словом, нужно было бы выяснить, не была ли война затеяна ими самовольно, из преданности и верности, вместо того чтобы начаться по его приказу.

Меня спросят: на чем основывается утверждение, что общественное мнение (я не говорю, что оно одобрило смерть Людовика XVI), по крайней мере, не возмутилось, узнав о его осуждении? Оно основывается на том факте, что все судебные, административные и муниципальные органы подписали в период между 10 августа 1792 года и январем 1793 года либо петиции с требованием суда над королем, либо приветственные обращения по этому поводу. Оно основывается на том, что обсуждение процесса длилось несколько месяцев и не было прервано ни одной встречной петицией, и на том, что, наконец, 21 января шестьсот тысяч парижан без всякого сопротивления наблюдали за исполнением рокового приговора.

В качестве доказательства согласия или, по крайней мере, смирения национальной воли можно также привести формирование, энтузиазм и победы армий, которые после 2 сентября выступили против пруссаков и австрийцев в Шампани. Шестьсот тысяч человек, которые в то время, как король находится в Тампле и требуют его голову, бегут навстречу врагам, желающим его освобождения, и разбивают их, - это избиратели, которые выносят оправдательный приговор событиям 10 августа и тем последствиям, которые должны были за ними последовать. И наконец, поскольку армию во Франции нельзя не принимать в расчет, уместно напом-

нить здесь о сопротивлении 60 тысяч человек под командованием господина де Лафайета, которые отказались выступить против организаторов событий 10 августа и свержения трона. Это дезертирство было узаконено обращениями других существующих армий.

Об этом нельзя говорить здесь, не сделав одного замечания, которое, возможно, заслуживает некоторого рассмотрения. Этот уход армии от короля стал вторым случаем перехода на другую сторону с 1789 года, и ему не суждено было стать последним.[179]

Сторонники различных политических партий с июня 1815 года настойчиво пытались доказать, что французская армия покрыла себя позором в марте того же года, когда при возвращении императора она вновь встала под трехцветное знамя. Однако эти попытки не увенчались успехом.

Не стоит заблуждаться: понятие чести не позволяет ставить на одну доску оставление государя ради отечества и предательство и государя, и отечества в угоду иностранцам. Возможно, это несчастье, что военный человек проводит различие между правителем и родиной, но именно от правителя зависит сделать такое разделение невозможным через его тесный союз с народом, которым он правит.

Также следует убедиться в том, что армия всегда будет видеть разницу между государем и отечеством, когда отечество стремится к равенству, а действия двора заставляют опасаться, что государь желает вернуть привилегии. Армия - это та часть нации, которая более всего заинтересована в равенстве прав, поскольку количество военных чинов огромно, а высшие звания почетны и сулят большие выгоды. К тому же военная служба, бесспорно, является той профессией, где равенство прав наиболее законно, ведь опасность одинакова для всех, кто ей служит; эта опасность смертельна, а мужество, с которым ей противостоят, служит фундаментом воинской славы.

Наконец, когда общий интерес армии совпадает с благородной потребностью, такой как равенство прав, и когда этот интерес поддерживается честью, именно сама честь будто освобождает солдата от верности или, вернее, заставляет его стыдиться верности государю, чье правительство или двор оскорбляют или угрожают ему. Пора уже осознать, что в стране, где равенство стало делом общей чести, невозможно создать армию, преданную государю, если солдаты не будут полностью убеждены в верности самого государя правам каждого гражданина. Никогда не удастся создать армию, в которой солдат не знал бы, каких высот в наши дни мог достичь последний рекрут благодаря таланту и храбрости, и где его поощряли бы в большей степени взглядом генерала из придворных кругов, нежели надеждой самому стать генералом. Скорее российские войска заразятся честолюбием, которое так долго было законным правом французского солдата, чем французский солдат смирится с невыносимым ничтожеством положения российского солдата.

В завершение замечу, что подобные внутренние переходы на другую сторону тем успешнее отражают презрение, которое всегда сопутствует предательству в интересах иностранцев, что они, кажется, лишь прибавляют рвения в борьбе против внешнего врага. Никогда французские войска не сражались против врагов Франции более доблестно, чем после своих внутренних переворотов - то ли потому, что верили в необходимость защищать интересы, получившие лучшие гарантии внутри страны, то ли потому, что хотели своими заслугами заслужить прощение у самого государя.

Остается лишь показать ту роль, которую общественное мнение сыграло в создании конституции 1791 года и провозглашении республики в конце 1792 года.

Простой народ не в состоянии судить о конституции в целом, но он прекрасно понимает, защищены ли важные для него интересы положениями конституции или же они находятся под угрозой. Для большинства французов конституция заключалась прежде всего в отменах, провозглашенных в её вводных статьях. Я напомню их здесь:

«Больше не существует ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных отличий, ни сословных различий, ни феодального строя, ни вотчинного суда, ни любых титулов, наименований и

[179] 12 сентября 1792.

прерогатив, из них вытекавших, ни рыцарских орденов, ни корпораций или знаков отличия, для которых требовались доказательства благородного происхождения или которые предполагали сословные различия, ни любого иного превосходства, кроме превосходства государственных чиновников при исполнении ими своих обязанностей.

Больше не существует ни продажи, ни наследования каких-либо государственных должностей. Больше не существует ни для какой части нации, ни для какого-либо отдельного лица никаких привилегий или исключений из общего права, единого для всех французов. Больше не существует ни цеховых управ, ни профессиональных, художественных или ремесленных корпораций. Закон более не признает ни религиозных обетов, ни любых других обязательств, которые противоречили бы естественным правам или конституции».

После того как эти положения были четко изложены, народным массам оставалось лишь убедиться в том, что организация властей не будет содержать ничего препятствующего их сохранению. Сопротивление привилегированных сословий и двора первым актам революции заставило народ насторожиться против любых мер, которые могли бы быть направлены на восстановление власти духовенства и дворянства или на сохранение в руках короля средств для их защиты. Ничто так не помогает понимать общие вопросы, как наличие связанного с ними личного интереса. Даже самая необразованная часть народа проявляла удивительное внимание к самым абстрактным дискуссиям; и как только какое-либо предложение вызывало малейшую тревогу за национальное дело, народные массы тут же принимали чью-то сторону, страстно поддерживая ораторов, которые употребляли всё своё красноречие, чтобы добиться отклонения этого предложения, и вознаграждали их усилия самыми недвусмысленными проявлениями одобрения и благодарности. Этот общенациональный настрой, ежедневно подогреваемый оппозицией аристократической партии, с каждым днем развивался всё энергичнее. Сама эта враждебная партия собственными попытками навязать свои принципы предупреждала об их опасности; в большинстве своих дискуссий она настолько открыто выставляла напоказ личную заинтересованность, что заранее дискредитировала даже самое разумное из того, что могла бы сказать.

Конституция пострадала от неловкости одних и недоверия других. Она не стала такой, какой её изначально задумывали просвещенные умы по всей Франции; она не стала и такой, какой должна была быть, чтобы устоять против народных фракций. Общественное мнение, в пылу принятия мер предосторожности против врага, забыло или не осознало необходимость принять их против самого себя или против интриганов, способных сбить его с пути. И словно общественному благу могла угрожать только власть, люди думали лишь о том, как уберечься от её злоупотреблений. Убегая от деспотизма, они невольно работали на анархию. В наказах требовали разделения властей, чтобы законы были плодом труда беспристрастного органа, а исполнительная власть была независимой и энергичной. На деле же власти были четко разграничены лишь в названиях и некоторых формальностях, но, к сожалению, по сути своей они оказались смешаны. Исполнительная власть, ограниченная лишь правом отлагательного вето, лишенная возможности применять его во многих случаях, где её сохранение было под вопросом, сводилась лишь к утверждению или приостановке законов, инициатива которых принадлежала исключительно законодательному корпусу. Более того, агентами исполнения её воли были муниципальные и административные органы, члены которых избирались исключительно народом - то есть их полномочия исходили из источника, противоположного тому, откуда исходили приказы, подлежащие исполнению. Эти органы постоянно вели дискуссии даже в тех случаях, когда требовалось единство воли и быстрота действий. Король имел право наказывать их отступления от правил лишь временным отстранением от должности, а окончательное решение по ним оставалось за законодательным корпусом. С такими оковами исполнительная власть была почти ничтожной, а та её малая часть, что существовала, подчинялась законодательной власти и сливалась с ней. Таков был результат недоверия, которое привилегированные сословия ежедневно усиливали по отношению к двору и которое сам двор в себе вызывал.

Просвещенные люди желали создания законодательной власти, состоящей из верхней палаты и палаты депутатов; они хотели этого для того, чтобы законы никогда не могли стать результатом чьего-либо личного влияния или случайного стечения обстоятельств. Они желали этого, чтобы важнейшая прерогатива трона - наследственность - находилась под охраной столь же наследственной государственной должности, каждый обладатель которой был бы связан семейным интересом с сохранением королевской наследственности. Они желали этого, чтобы двор монарха не состоял исключительно из царедворцев и чтобы между государем и частными лицами существовали независимые посредники, обеспечивающие их взаимные отношения.

Хотя наследственный характер государственного звания, даруемого путем общенационального избрания максимум ста или двум сотням человек, лишенных каких-либо иных привилегий, кроме самой наследственности, не имел ничего общего с наследственностью дворянства, еще недавно рассеянного по всей Франции; хотя само существование верхней палаты, состоящей из граждан, отличающихся от остальных лишь благодаря их магистратуре, не имело ничего общего с палатой, состоящей из привилегированных сословий, и могло бы стать самым мощным препятствием, которое можно было бы противопоставить возвращению феодальной и дворянской палаты, народная тревога заставила людей отвергнуть любые предложения о создании верхней палаты или даже двух равноправных палат. Существовало опасение, что верхняя палата будет состоять из бывших пэров и тем самым восстановит прежнюю палату парламента; что она будет состоять из дворян и воссоздаст прежнюю палату дворянства Генеральных штатов; что она так или иначе станет гарантией и убежищем для аристократии. Идея второй палаты отвергалась как нечто кощунственное. Именно вопрос чести в деле равенства, доведенный до фанатизма противодействием партии привилегированных, заставил желать лишь одну-единственную палату - ошибка, печальные последствия которой в дальнейшем в полной мере дала почувствовать практика.

Конституция 1791 года, составленная в угоду национальному недоверию, обладала силой лишь против королевской власти. Поскольку она создавалась с целью закрепить отмену привилегий, необходимость основания подлинно монархического института ощущалась меньше, чем стремление помешать королю, защитнику привилегий, их восстановить. Учредители были больше озабочены тем, чтобы сделать конституцию способной свергнуть короля, нежели способной поддерживать саму себя. По сути, это была демократическая республика с призраком монархии. Когда короля отстранили от власти, республика уже существовала фактически. Когда её провозгласили, народ, который требовал от своей монархической конституции лишь защиты от возврата отмененных привилегий и от короля, внушавшего ему страх, принял республику как гарантию более надежную, чем монархия. Но народ не считал, что решает вопрос о превосходстве республики над монархией или монархии над республикой. Национальный инстинкт не переставал склоняться в пользу монархии: противоположные взгляды никогда не принимались просвещенными писателями, даже самыми крайними патриотами; якобинцы отвергали их до последнего момента, и всего за несколько недель до отстранения короля законодательный корпус предал всеобщему порицанию любую идею республики. На деле же республика, декретированная без обсуждения, без дискуссий, по предложению, лишенному какого-либо обоснования, обрела это неожиданное существование лишь благодаря пылким и глубоким страстям, разделявшим Конвент. Для одних это было надеждой спасти жизнь королю; для других - страхом перед его возвращением к власти и его местью; для третьих - ненавистью к герцогу Орлеанскому, которого считали претендентом на трон; для всех же - желанием свергнуть людей из враждебной партии и уничтожить их влияние в Конвенте. Между партиями этого собрания уже была объявлена война, причем война не на жизнь, а на смерть: каждый искал свою безопасность или выгоду в той политической системе, которая была наиболее враждебна позиции противника. Так, Жиронда полагала, что уничтожит Монтанью, сведя на нет возможность короновать герцога Орлеанского, а Гора верила, что уничтожит Жиронду и обезопасит себя от любых угроз, ниспровергнув трон Людовика XVI. Именно так общественные интересы приносились в жертву частным интересам.

Конституция 1791 года вовсе не выносилась на народное одобрение. Демократическая же конституция 1793 года прошла через эту процедуру. Нигде не указано, каково было число голосовавших и каким было большинство в её пользу. Но есть основания полагать, что оно было либо незначительным, либо число проголосовавших было невелико, поскольку на заседаниях Конвента, последовавших за отчетом по этому поводу, обсуждался вопрос о том, каким наказаниям подвергнуть граждан, которые не приняли конституцию.

Количество поданных голосов более убедительно, чем принято считать; оно выражает общее мнение лучше, чем кажется. Институты, которые были по-настоящему национальными, получали до четырех миллионов голосов или около того, в то время как другие не набирали и четверти от этого числа. Есть все основания полагать, что конституция 1793 года относилась к последнему случаю. Впрочем, эта конституция вышла за рамки той меры демократии, которую обычно считали разумным вводить в такой крупной республике, как Франция; таким образом, малочисленные голоса 1793 года почти не имеют отношения к простому провозглашению республики в 1792 году.

О терроре

Этот труд не является ни сатирой, ни пустой декламацией. Он представляет собой ряд общих наблюдений, основанных на памятном опыте 1793 года; это теория режима террора, который некоторые люди - и их слишком много - склонны считать полезным инструментом государственного управления в определенных обстоятельствах.

Основная часть этого сочинения была написана вскоре после смерти Робеспьера, в 1795 году, когда эпоха террора подошла к концу. Из убежища, в котором я тогда скрывался, я направил рукопись господину Шарлю Ису, редактору уважаемой в то время газеты «Республиканец». Господин Ис, прежде чем опубликовать текст в своей газете, пожелал, чтобы его прослушали некоторые члены Конвента. Чтение состоялось в доме мадам Тальен, где собирались противники Комитета общественного спасения. Сочинение было встречено с одобрением; мадам Тальен убедила мужа зачитать его на следующий день с трибуны Конвента в форме речи. Тальен добавил к тексту небольшое вступление и произнес его. Смею полагать, не слишком льстя себе, что этот труд способствовал свержению Комитета общественного спасения и возвращению к власти законов.

В 1815 году, когда партия роялистов предложила систему проскрипций и террора, я разыскал свою рукопись, добавил к ней соответствующее моменту предисловие и передал её Людовику XVIII. Здесь я публикую этот текст в том виде, в каком он был подготовлен в 1815 году.

Правители, призванные управлять цивилизованными странами и осмеливающиеся противостоять ненависти своих народов; те, кто пренебрегает наукой завоевания их любви, увидят в этом периоде, столь богатом на важные уроки, что представляет собой тот террор, в котором они надеются обрести свою безопасность. Никогда еще ни у одного народа это бедствие не заходило так далеко, не длилось так долго и не охватывало столько несчастных, как во Франции во времена Национального конвента. Никогда еще террор не подавлял до такой степени просвещенную часть великой нации, не унижал, не разлагал жителей больших городов, не преследовал их, не грабил и не угнетал так, как это было тогда. Нужно было познать свободу, чтобы так низко склониться в рабстве; никогда прежде из народа свободных людей не удавалось создать народ столь порабощенный. Султаны, цари, янычары и стрельцы никогда не совершали того, на что отважились некоторые монтаньяры при поддержке наших революционных армий, состоявших из пролетариев, как и всякие войска деспотов. И, словно сама судьба пожелала поглумиться над человеческим уважением к правосудию и свободе, она

явила в те времена внутреннего гнета армии, которые патриотизм сделал непобедимыми; они обеспечили национальную независимость и восстановили славу французского оружия.[180]

Но горе той власти, которая стала бы упиваться этим зрелищем; которая находила бы некое удовольствие в его созерцании; которая видела бы в нем лишь крупный успех тирании; которая надеялась бы выведать в нем некие тайны искусства управления; которая поддалась бы пагубному искушению применить это на практике или, по крайней мере, держать про запас на всякий случай; которая, наконец, не была бы до глубины души пронизана ужасом перед всеми его принципами и всеми его последствиями! Горе той власти, которая не будет ограничиваться лишь интересами, чувствами и мнением среднего класса общества как средоточия всех интересов, представительства всех прав и единственного принципа прочной силы! Если справедливость и человечность позволяют без содрогания взирать на ужасающее существование революционного правительства, на средства, с помощью которых оно распространяло террор, и на те крайности, которыми оно себя поддерживало, то политика должна, по крайней мере, обратить взор на опасности, угрожающие первым попыткам такого режима, на катастрофу, которая неизбежно становится его финалом, и на долгие бедствия, которые он влечет за собой. Пусть она увидит судьбу всех тех, кто его осуществлял, и всех институтов, которые ему принадлежали; и пусть она рассудит затем, действительно ли те результаты, которых, по мнению власти, она достигла, обусловлены террором; не были ли они куплены слишком дорогой ценой и не было ли бы проще и надежнее подготовить их с помощью разума и правосудия, которые поддерживают все мудрые начинания и препятствуют лишь варварству или безумию.

Сосредоточим сначала, если это возможно, наше внимание на самом этом состоянии террора, последствия которого мы хотим оценить. Это был глубокий и постоянно присутствующий страх смерти, казней и позора. Это была настоящая болезнь, при которой моральное и физическое состояния находились в непрерывном воздействии друг на друга; крайнее состояние, которое приостанавливало действие разума или почти приводило к помешательству. Террор заставлял каждого замкнуться в самом себе, отрывал от любого иного интереса, кроме интереса самосохранения, отстранял от важнейших дел, от самых сокровенных привязанностей, от самых святых обязанностей, парализуя разом и руки, и души. Он уничтожал всякое самоуважение; он низвергал любое величие, унижал любое достоинство, были ли они дарованы случаем или заслужены лично; он топтал любые виды уважения и втаптывал их в грязь у ног подлых злодеев. Он толкал некоторые слабые натуры к отречению, а иногда даже к предательству своих родителей и друзей, представляя это как способ спасения, и заставлял многих других не доверять всему миру: как будто это мучение могло быть средством безопасности!

Вся просвещенная и состоятельная часть нации была поражена этой болезнью, особенно богатые жители городов и, в еще большей степени, городов мануфактурных. Поскольку террор насаждался пролетариями и ради них, он задевал всё, что не было ими; и их власть тяготела тем сильнее, чем выгоднее для них было соотношение их численности с численностью собственников в одной коммуне.

Если бы террор не был всеобщим, смог бы он утвердиться? Если бы можно было уклониться от него, не становясь ни его инструментом, ни жертвой, ни агентом, неужели не возник бы мощный союз против него?

Террор затронул все сословия, все возрасты и оба пола. Лица всех людей несли на себе его мрачный отпечаток. Встречались лишь взгляды, которые передавали этот страх, если только сами не были им охвачены, что лишь удваивало его в тех, кому он давал хоть малейшую передышку. И если бы всё не предвещало, что он запрещает поддержку, утешение, помощь и прибежища дружбы, он не был бы террором.

[180] 20 июня 1792.

Какая же последовательность преступлений позволила ввести и поддерживать это бедствие? Прежде всего потребовалось, чтобы правительство торжественно порвало с правосудием; чтобы оно предоставило полную свободу произволу и чтобы произвол воцарился безраздельно. При господстве закона преступление, несомненно, трепещет, но трепещет лишь оно одно; террор же был подготовлен вовсе не против преступления. Он должен был в меньшей степени поражать врагов государства, нежели личных врагов правителей. Речь шла не о том, чтобы внушить спасительный страх перед законами, поскольку законы заставляют бояться самих себя: нужно было навязать всем гражданам бессмысленную боязнь личностей. Страх перед преступлением обеспечивает безопасность честных людей, и именно от этого блага пришлось защищаться: это само преступление нуждалось в том, чтобы нагнать ужас на тех, чья безопасность обеспечивалась правосудием. Одним словом, целью было не наказывать, а подвергать опале и преследованию.

То, на что осмелились тогда злодеи, понимается лучше, чем то, во что, казалось, верили некоторые порядочные люди. Когда первые из них учреждали свое революционное правительство, они говорили:

«Мы хотим произвола, чтобы сеять террор среди врагов отечества и обеспечить безопасность тем, кто его любит» - как будто может существовать безопасность для кого-то там, где нет правосудия для всех! Лицемерие, выражавшее это намерение, несомненно, скрывало его абсурдность. И этому поверили. Однако разве это прекрасное и благотворное распределение безопасности и террора между преступлением и добродетелью не было уже полностью обеспечено правосудием? И может ли оно осуществляться какой-либо иной властью, кроме его собственной? Разве произвол - это не способность смешивать невиновного с виновным? Разве произвол - это не возможность покровительствовать преступлению, совершать его и губить невинность? И для каких целей правительству может понадобиться произвол против злоумышленников, когда в его распоряжении есть законы и суды, если не для того, чтобы уничтожать людей безупречных? Не потому ли это происходит, что, обвиняя тех, кого оно хочет погубить, правительство считает правосудие более опасным для себя, чем для тех, кого оно обвиняет?

Повторю еще раз: первым условием террора был произвол. Но и этого было недостаточно; он должен был быть полным и всеобъемлющим, свободным от любых препятствий, независимым от любых обязательств, без узды и сдержанности. Более того, он должен был постоянно действовать - яростно, кровожадно, с каждым днем становясь все более жестоким. Если бы в свободной и цивилизованной стране произвол ограничивался лишь угрозами, как в тех государствах, где привычка к рабству сделала его применение излишним, то свобода мысли и независимость мнений вскоре заставили бы его свернуть свое презираемое знамя. Среди народа свободного и просвещенного произвол должен заявлять о себе ударами, ошеломляя ими с самого начала. Подобно всем великим преступлениям, ниспровержение законов и установление произвола не терпят половинчатости, медлительности в исполнении или предварительных приготовлений. Рука, которая долго занесена, но не наносит удара, внушая ужас лишь поначалу, вскоре становится просто смешной. Она - признак жестокой воли и позорного бессилия; она подталкивает тех, кому угрожает, к любым действиям, внушает им решимость на всё; она удваивает опасности, которых боится сам деспот, из-за тех самых угроз, которые он раздает, будучи не в силах внушить страх.

Когда произвол нанес удар однажды, он должен наносить его постоянно. Если он остановится хоть на миг, оцепенение проходит, мужество возрождается, жажда мести соединяется с заботой о собственной безопасности, и тирания может быть свергнута.

И недостаточно просто не прерывать череду бесчинств: нужно ежедневно их наращивать, либо увеличивая число жертв, либо изощряясь в казнях. И даже при такой прогрессии деспотизму будет трудно угнаться за ростом негодования, которое время накапливает против него.

Недостаточно поражать лишь тех, кого боишься; нужно наносить удары по супругам, отцам и детям жертв, наказывать тем же мучительным способом и просьбы о помиловании, и предоставление убежища, и протесты, и стоны, и слезы вдов и сирот. Было бы опасно позволить просьбам открыть дверь надежде, а тайным убежищам - дать шанс на спасение жизни:

тирания может опасаться, что стоны, услышанные мужественным состраданием, вернут несчастным обещания мести, которые дали бы террору некоторую передышку.

Произвол должен также поражать жертв любого звания, любой профессии, любого пола и любого возраста. Если бы нашелся хоть один класс граждан, хоть один единственный человек, который мог бы безнаказанно возвысить голос за других, он подверг бы опасности и сам произвол, и его приспешников.

Подобно тому как тирания не может допустить правосудия судов наряду с произволом, она не может согласиться и с властью общественного мнения. Если бы она не запретила свободу прессы и слова, эта свобода свергла бы её. Но, запрещая свободу прессы и слова гражданам, она должна запретить их и национальному представительству. Ведь если угнетение страшится, что строчка, слово или жалоба угнетенных призовут мужество на помощь несчастным, то как оно может быть спокойным, и как те, в ком оно хочет поселить ужас, останутся без уверенности, видя перед лицом произвола трибуну, с которой представители народа гремели бы против него всем авторитетом своего достоинства, всей силой своего таланта и всем влиянием своего положения? Разве эта трибуна не стала бы поощрением, надеждой и опорой для обездоленных? Долго ли оставались бы они тогда несчастными? Поэтому Конвент увидел, хоть и слишком поздно, что, наделив произволом правительства, он прекращал для самого себя любое осуществление законодательной власти, прерогативу неприкосновенности, свободу печати, слова и мысли. Так, через долгое пролитие собственной крови, они осознали, что когда неверные народные избранники отдают народ на волю произвола, то они сами подпадают под его власть; когда они отказываются от прав народа, то они слагают с себя и свои полномочия; когда они запрещают нам стоны и жалобы, то они лишают и себя права даже на самый тайный ропот; наконец, когда они выдают наши головы, то они подставляют под удар и свои собственные.

Произвол не обязан решать, какие действия преступны; как только человек становится для него подозрительным, он более не считается невиновным. Ему не нужно определять обстоятельства, которые служат поводом для подозрения: любое подозрение обосновано уже тем, что оно не было предотвращено заранее. Ему не требуется устанавливать меру доказательств, необходимых ни для обвинения, ни для осуждения: одного доноса достаточно, чтобы обвинить и приговорить.

Ничто не обязывает его соблюдать формальности ни при предъявлении обвинения, ни при следствии, ни при вынесении приговора: он судит без разбирательства. Ничто не ограничивает его в выборе судей, лишь бы он мог по своему усмотрению либо усаживать палачей на судейские скамьи, либо возлагать на магистратов обязанности палачей.

Впрочем, произвол лишь постепенно освобождался от назойливых формальностей и от всякой сдержанности в выборе и количестве жертв. Не то чтобы он не мог внезапно отбросить всякую щепетильность и стыд, но некий тайный инстинкт заставлял его бояться, что, достигнув крайних пределов свирепости, он тем самым приблизит и конец своего существования.

Так, начали с того, что определили, какие условия, действия и связи будут считаться подозрительными. Сначала это были дворяне и родственники эмигрантов; затем - богачи и торговцы; позже - авторы сочинений или речей против свободы; наконец, ими стали все те, кому наблюдательные комитеты сочли нужным не выдавать свидетельств о гражданской благонадежности, то есть все те, кого пролетариям было угодно объявить недостойными своего доверия. Это были, как тогда говорили, люди, *подозреваемые в том, что они подозрительны*.

Сперва было приказано разоружить подозреваемых, затем - указывать их имена и общественное положение на дверях их домов; вскоре после этого последовал их арест и содержание под стражей до заключения мира. Одновременно с тем, как произвол расширял круг подозреваемых и утяжелял их участь, он расширял и перечень действий, сочинений и речей, которые карались смертью. Сначала было установлено, что таковыми будут сопротивление законам республики, а также сочинения и речи, им противоречащие. Вскоре к этому добавили всё, что идет вразрез с постановлениями Комитета общественного спасения. Затем объявили проти-

воречащими законам республики и декретам Комитета не только роялистские или федералистские действия, сочинения и речи, но и всё то, что слишком соответствовало духу революционного правительства: преувеличения, ошибочное применение республиканских принципов в словах, делах или писаниях. Таким образом, опасные преграды были расставлены как по одну, так и по другую сторону дозволенного.

Поскольку эти законы не оставляли ничего невиновного ни в поступках, ни в мыслях и подчиняли сам Конвент проскрипциям Комитета, члены Конвента почувствовали необходимость покончить с произволом и террором. Тогда возникла новая фракция - фракция умеренных; появилось и новое преступление - «умеренность» (модерантизм). Это было, несомненно, тяжкое преступление, самое тяжкое из всех, ибо оно подрывало основы Комитета общественного спасения, в чьих руках была сосредоточена революционная власть. Именно тогда сострадание к несчастным, предоставление им убежища, ходатайства отцов, детей и супругов в их пользу, стоны и слезы вдов и сирот оказались в первом ряду государственных преступлений и были приравнены к махинациям самых гнусных заговоров.

Тогда всё стало преступлением, кроме самого преступления. Подозреваемых больше не осталось: виновны были все. Больше не шло речи о том, чтобы держать заключенных в тюрьме до заключения мира: до заключения мира! Этим несчастным не суждено было его увидеть! В то время как произвол подобным образом определял круг преступлений и виновных, он не оставлял без внимания и формы своего судопроизводства, равно как и состав его трибуналов. После 10 августа был учрежден чрезвычайный трибунал; затем назначили и сформировали Революционный трибунал под руководством Комитета общественного спасения. Он состоял из людей, выбранных и оплачиваемых Комитетом, и был обязан ежедневно отчитываться о проделанной работе и получать распоряжения на следующий день. Пока этот трибунал проливал кровь в Париже, революционные трибуналы и военные комиссии в провинциях, подстрекаемые комиссарами Конвента и поддерживаемые революционными армиями, сеяли террор и траур.

Процедурные правила никогда особо не стесняли Революционный трибунал столицы. Закон от 27 марта 1793 года, предложенный Дантоном и принятый Конвентом единогласно (в соответствии с которым Дантон впоследствии сам был осужден вместе с несколькими коллегами),[181] официально поставил аристократов и врагов революции вне закона. Однако другой декрет от 29 октября 1793 года (8 брюмера II года) разрешал рассматривать доказательства принадлежности к аристократии, разве что возникала необходимость сократить прения, если они казались слишком затянутыми. Но другой декрет от 4 апреля 1794 года (15 жерминаля II года), изданный по случаю суда над самим Дантоном, предписывал лишать права участия в дебатах (то есть объявлять вне закона) любого подсудимого, который оскорбит национальное правосудие - иными словами, попытается защищаться. Вскоре после этого любому человеку было разрешено арестовывать и доставлять к судьям заговорщиков и контрреволюционеров. Тогда само несчастье оказаться под подозрением или даже быть обвиненным без малейших оснований стало считаться преступлением, а донос заменил собой доказательство. Речь шла уже не о суде, а о приведении в исполнение приговора. Также 10 июня 1794 года (22 прериаля II года) допросы подсудимых были исключены из следствия; им было отказано в защитниках. Судьям вменили в вину не только требование доказательств для осуждения, но даже то, что они допускали их и тратили время на их выслушивание; их винили не только в оправдательных приговорах, но и в недостаточном ускорении казней. По сути, раз все были объявлены вне закона, требовались уже не судебные решения, а простые подтверждения личности осужденных.

Террор смог утвердиться лишь благодаря этому чудовищному проявлению самого безудержного произвола. Как долго длился этот режим? Как он закончился? Какую выгоду извлекли из него его создатели?

[181] 25 августа 1792.

Произвол - принцип террора - несомненно раздавил огромное количество намеченных им жертв, но он также погубил всех тех, кто его проповедовал, кто его осуществлял и кто был его инструментом. Он заставил тиранов погибать от рук тиранов; он уничтожил всех своих прислужников через реакционную анархию, последовавшую за террором. Наконец, он оставил пролетариат в нищете, унижении и раскаянии.

Жиронда во время сессии Законодательного собрания сделала первые шаги к произволу, учредив чрезвычайный трибунал и особые процедуры, а затем выдвигая обвинения против министров и провоцируя нападки на двор. В первое время работы Конвента она вместе с Горой способствовала развитию этой системы. Гора же воспользовалась ею, чтобы уничтожить Жиронду.

После уничтожения Жиронды Гора разделилась на две партии: партию Марата и Эбера с одной стороны, и сторонников Робеспьера и Дантона с другой; последние уничтожили эбертистов и маратистов точно так же, как все они вместе погубили Жиронду.

Робеспьер и Дантон, оставшись хозяевами положения, в свою очередь разделились. Робеспьер отправил Дантона на эшафот точно так же, как Дантон и Робеспьер сообща отправили туда жирондистов и маратистов. Когда же Робеспьер захотел найти новые жертвы среди своих сподвижников - Тальена, Бурдона, Камбона, Баррера, Бийо, Колло, - те заставили пасть его голову, подобно тому как они вместе с ним заставили пасть головы жирондистов, маратистов и дантонистов.

Все они, сперва обрекши своей властью врагов на народную ненависть, оклеветав и осыпав их оскорблениями, в свою очередь сами подверглись гонениям со стороны противника, ставшего сильнее. Все они, сперва обвинив своих жертв в воображаемых преступлениях, сами стали объектом клеветнических и нелепых обвинений. Все они, сперва выдвинув свои обвинения, не выслушав подсудимых, сами были обвинены без права на защиту. Все они, сперва содействовав заполнению тюрем безупречными людьми, сами были брошены туда как преступники, а многие - как сообщники тех обвиняемых, которых они сами же яростно туда отправляли. Все они, сперва призвав жестокими обвинениями к казням без соблюдения формальностей, сами были в свою очередь осуждены без суда. Все они, сперва отправив своих жертв к убийцам, которых по общему согласию назначили в революционный трибунал, сами были отправлены туда же как жертвы, обреченные на казнь. Наконец, все они, идя на эшафот, тешили себя надеждой, что народ возмутится их преследованием; но самые удачливые из них встретили лишь равнодушие, а большинство получили те же оскорбления, что и несчастные, предшествовавшие им. То ли народ не хотел сомневаться в правосудии того, кто в данный момент был сильнее, то ли чувство естественной справедливости приносило ему некое удовлетворение при виде преступления, караемого преступлением в те времена, когда суды были бессильны или, вернее, вовсе не существовали.

К тому времени произвол достиг крайних пределов, в которых еще мог проявляться его избыток. Он множил смертные приговоры настолько, насколько это было возможно, отменил формальности судопроизводства, заменил их судьями, превзошедшими всех в свирепости, распространил свои кровавые казни на все сословия, на все возрасты, на оба пола, на самих зачинщиков террора, на его министров, агентов и палачей. Наконец, число людей, затронутых террором, возросло за счет части тех, кто его сеял; а число его агентов более не соответствовало числу тех, кого приходилось держать в цепях. Стыд и ужас перед самими собой овладели этими агентами, уставшими от злодеяний. В этой ситуации было достаточно, чтобы один несчастный обратился к ресурсам отчаяния и издал крик мести, и террор бы исчез.

Члены Конвента, предвидевшие для себя участь многих своих коллег, были готовы подать сигнал к восстанию, когда на Робеспьера напал Бийо. И они ухватились за этот момент. Единодушие Конвента, вскоре слившееся с единодушием нации, провозгласило падение тирана и тирании, произвола и террора. Террор закончился вместе с Робеспьером. Напрасно Комитет общественного спасения хотел сохранить его, возвращаясь, по его словам, к своим первоначальным основам и ограничивая удары лишь роялистами и контрреволюционерами: эту систему отвергли как абсурдную.

Тогда стало ясно, что террор - это механизм, который ничто не поддерживает, когда он ослабевает, который ничто не заменяет, когда он ломается, и который неизбежно поддается при первом же ударе. Но этого было мало: обнаружилось, что жестокость, добавленная к несправедливости, порождает самую беспощадную месть и самую яростную реакцию. Тальен и старые друзья Дантона, объединившись с Баррером, Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенном для свержения Робеспьера и его сателлитов, расстались с этими тремя сообщниками и добились их осуждения на депортацию, так же как ранее они вместе осудили на смерть Робеспьера. Наконец, в тот же год в пучине произвола исчезли вожди и главные агенты террора, а также революционный трибунал - тот трибунал, который без оснований и без суда отправил на эшафот столько тысяч невинных жертв и почти всех тех, кто способствовал его же восхождению, и сам был отправлен туда целиком и полностью мстительной партией Дантона, которая в данном случае выступила мстителем за нацию и человечество.[182]

Смерть Робеспьера стала той катастрофой, что положила конец революционному правительству и Террору. Однако на смену Террору пришла анархия, а произвол сохранился. Месть завладела этим произволом и всем тем оружием, которое он ранее использовал. После того как внутри Конвента было приказано депортировать Колло, Бийо и Барера, а Революционный трибунал был отправлен на тот же эшафот, куда он сам посылал тысячи жертв, ярость мщения распространилась по провинциям. Повсюду, где революционное правительство сеяло разрушение, месть размахивала факелами и сверкала кинжалом; в Лионе, Марселе и Тулоне она проявила себя так же, как прежде это делал Террор. Она везде искала и шла по кровавым следам, оставленным жертвами, чтобы залить их кровью палачей. Те, кто избежал смерти или ссылки, не смогли избежать позора. Наконец, пролетарии - слепые орудия преступных страстей, - очнувшись и устыдившись тех гнусных надежд, что увлекли их, лишенные своих истинных средств к существованию, привычки к труду, усердия и мужества, разоренные грабежами, распутной жизнью и деградацией из-за преступлений, обратили свои взоры к мастерским, где они так долго находили пропитание для своих семей. Но их взоры не встретили там ничего, кроме руин.

Таково было царство произвола во времена Террора; таков он был в своей силе, таково было его падение, таковы его последствия и наказания для его вдохновителей и соучастников. Так погибнут вне закона все слуги правителей, презирающих законы; через произвол погибнут все пособники произвола; так падут под ударами силы правительства, поправшие справедливость, и через восстание - те, кто осуществлял тиранию. Так падут вместе с тиранией и тираны, и те приспешники, которых они пощадили; и если они ускользнут от первых ударов, то вскоре падут жертвами мести, которую обрушит на них анархия - неизбежное следствие Террора.

Портрет Робеспьера

Мерлен из Тионвиля, народный представитель, своим коллегам.

Люди, которым нравится находить сходство между чертами лица и моральными качествами, между человеческими лицами и обликом животных, замечали, что у Дантона была голова мастифа, у Марата - орла, у Мирабо - льва. У Робеспьера же была голова кошки. Но выражение этого лица менялось: сначала это был беспокойный, но довольно кроткий вид домашней кошки; затем - дикий взгляд лесного кота; и, наконец, свирепый оскал тигрового кота.

[182] Сентябрь 1792.

Темперамент Робеспьера поначалу был меланхоличным, но в итоге стал желчным. В Учредительном собрании у него был бледный и тусклый цвет лица; в Конвенте он стал желтым и мертвенно-бледным. Долгое время в Учредительном собрании он говорил лишь со стоном; в Конвенте же он говорил не иначе как с пеной на губах. История его темперамента составляет значительную часть истории его жизни.

Способности его ума всегда были ограниченными, но в основе своей они были довольно здравыми. У него всегда было мало идей, но это были навязчивые идеи; мало воображения, но цепкая память; мало движения, но всегда в одном и том же направлении. Эти черты присущи меланхолическому темпераменту, который делает ум медлительным и редким, а мозг - сухим и жестким. Впоследствии желчь превратила его идеи в вихрь ужасающих фантомов, а его воображение - в неистовство. Такова обычная судьба тиранов: ими всегда движет ярость, порожденная страхом, и страх, порожденный яростью; с каждым днем они становятся все более жестокими и несчастными...

У него никогда не было настоящих знаний: в нем не осталось ничего ни от бесплодной учебы в коллеже, ни от адвокатской практики. Работая над темами для премий, предлагаемых провинциальными академиями, он приобрел скорее филантропические, нежели философские понятия. Этим и ограничивалось его образование. У него никогда не было ни малейшего представления о государственном управлении, администрировании или ведении переговоров. Он не знал ничего промежуточного между войной и полным истреблением врагов, между анархией и угнетением, между разорительным надзором за частной собственностью и домашними хозяйствами и абсолютным отсутствием государственного управления. Более того, он умел воевать только числом людей, угнетать только силой тирании и править только силой денег.

Он никогда не испытывал тех мягких, но энергичных потребностей, тех физических, глубоко личных и настойчивых страстей, из которых рождаются те гордые моральные страсти, что часто кажутся столь превосходящими свое происхождение. Смутное и тягостное беспокойство, ставшее следствием его темперамента, было единственным внутренним двигателем его деятельности. Это беспокойство постоянно выталкивало его за пределы самого себя и непрестанно напоминало ему о себе: оно давило на него, и вынуждало постоянно искать спасения от самого себя, а не наслаждений; искать способы отвлечься, а не объекты для привязанности.

Неспособный к какой-либо привязанности, Робеспьер поначалу любил исключительно себя; но вскоре он стал врагом всему миру, и тогда утратил способность любить даже себя. Он стал нуждаться во всеобщем несчастье и больше не знал, где искать счастья.

Неправда, будто он удостоил женщин своей любви; напротив, он оказал им честь своей ненавистью. Если бы он любил их, разве был бы он столь жесток?

Неправда и то, что он любил славу. По правде говоря, по окончании коллежа, в пылу адвокатских словесных схваток, у него развилась потребность в зрителях и аплодисментах, к которой его подготовило внутреннее неблагополучие. Но эта потребность сильно отличается от любви к славе. Вечно жаждущий шумного одобрения, что сделал он для того, чтобы заслужить одобрение почетное? Он любил лишь шум, направленный на его персону, потому что находился в самом его центре, и не было ничего более подходящего, чтобы оглушить его самого.

Наконец, неправда, что Робеспьер любил верховную власть: он не был способен ни осуществлять её, ни наслаждаться ею. Предполагают, что он стремился к власти трибуна в то время, когда он помышлял лишь о том, чтобы просто появляться на трибуне. Предполагают, что он стремился к империи, тогда как он, стараясь подчеркнуть рост своего могущества - подобно Октавию, скрывавшему своё, - делал для его утраты столько же, сколько тот сделал для его укрепления. У него могло быть смутное представление, неясное желание привести французов к суеверному подчинению его мнениям, к своего рода скудоумному ханжеству, объектом которого он стал бы; но он не был достоин того, чтобы претендовать на послушание. Если он и желал казаться королем, то именно из-за неспособности быть им, и в лучшем случае лишь для того, чтобы кто-то другой им не стал. Если он и жаждал внешних атрибутов власти, то

делал это, не любя саму власть, подобно подлому евнуху, который не мог вынести её вида в чужих руках.

В конце концов, он, без сомнения, пожелал верховной тирании, но лишь потому, что она стала ему необходима для поддержания собственной дерзости. Он отважился на узурпацию лишь для того, чтобы не уступать ни капли в бесстыдстве своего видимого превосходства. Впрочем, я вовсе не хочу сказать, что он долгое время не ревновал к власти, необходимой для удовлетворения его мести или ненависти, и что эта власть не была тиранией. Однако он делил её с другими, и грустно думать, что, ограничившись лишь этим, он осуществлял бы её и по сей день.

Робеспьер никогда не испытывал иных страстей, кроме низменных, порожденных эгоизмом, то есть зависти, ненависти и мстительности; и даже в этих страстях ему недоставало такой движущей силы, как мужество.

Зависть была его господствующей страстью. Когда в Учредительном собрании он видел столько талантов, купающихся в лучах славы, он чувствовал себя уничтоженным. Когда ревизионисты опозорили себя, он вздохнул с облегчением, поверив, что сокрушил их. Но на сцене появились Кондорсе, ораторы Жиронды, Бриссо; новый кризис: они погибли, и Робеспьер снова вздохнул свободно. Из множества ораторов на трибуне оставался лишь Дантон; когда Дантона обвинили, завистливый Робеспьер на мгновение забылся и даже выступил в его защиту, но вскоре, придя в себя - то есть вернувшись к зависти, - он предал его. У него не было времени терзаться из-за власти Марата, который умер раньше жирондистов, но, будучи вынужденным председательствовать на его апофеозе, он имел скорее вид человека, тащащего труп на свалку, нежели возносящего его в Пантеон. Когда у него больше не осталось соперников на трибуне, он обрушился на тех, кому рукоплескали там до него и кто мог бы ещё туда вернуться. Он обрушился на достойных людей, которых скромность удерживала в безвестности и которых наш недостаток в талантах мог бы впоследствии вывести на свет. Он обрушился на женщин, знаменитых своим умом или красотой; на женщин добродетельных, потому что их уважали; на куртизанок, потому что они были объектом чьего-то внимания. Он ополчился на мертвецов, чьи имена всё еще поминали, чьи труды всё еще читали; он преследовал память тех, чьи головы он уже обрек на плаху. Он задыхался при известиях о наших победах, которые отнимали слишком много времени на заседаниях собраний и слишком много места в газетах. Сама мысль о Пантеоне, где заняли свои места столько героев и где выделили место Марату, раздражала его. Вплоть до того, что даже топор его проскрипций мучил бы его своей известностью, если бы он не ставил предел другим славным именам, более удобным и служившим опорой его собственной власти. Он воскресил Всевышнего лишь потому, что Тот невидим: заставляя всех возводить взоры к небу, он отвлекал их от земли, где желал, чтобы слышали только его голос. Никакое бешенство не сравнится с его ужасом перед всем, что привлекало внимание к другим. Зависть повинна в половине преступлений, которые его погубили; и если бы он не пал жертвой злодеяний, к которым его подталкивала зависть, он умер бы от самой этой зависти.

Таланты Робеспьера ограничивались лишь его пороками, да и те проявлялись лишь частично. Порой он демонстрировал *ораторские способности*, которых, однако, далеко не достаточно, чтобы стать истинным оратором, и никогда не выказывал ни малейшего *таланта к действию*. Его стиль всегда был вялым и расплывчатым, лишенным красок и движения. Причина проста: все его идеи были туманными и путаными; их было мало, и они с трудом воссоздавались в его сознании. Нашлись люди, поверившие, что он готов и способен рассуждать о чем угодно, лишь потому, что по любому поводу он говорил не о сути вещей, а о людях, выступавших до него, и об их дурных намерениях и так далее. В уме Робеспьера отчетливо проступали лишь замыслы, продиктованные ненавистью и завистью. Но как можно выражаться энергично, когда тобой движут лишь эти постыдные страсти, и как быть смелым, когда хочешь навредить, оставаясь при этом трусом? Можно быть коварным и ловким в языке презренных пороков, но красноречие рождается лишь в самозабвенном служении великим добродетелям или, в крайнем случае, порокам, в которых есть величие. Робеспьер в совершенстве

владел искусством вероломных намеков, но никогда - искусством искреннего убеждения и энергичной уверенности. Более того, его жажда причинять вред долгое время проявлялась лишь сквозь страх оскорбить; он нападал только со спины. Его стрелы были отравлены, но он пускал их издалека, и они были столь притуплены или завуалированы, что люди часто погибали, даже не почувствовав удара. В конце своего правления, в тот период, когда он набрался смелости в открытую нападать на несчастных, не смевших защищаться, он порой говорил как враг дерзкий и жестокий, но никогда - как враг, превосходящий противника своим величием.

После его смерти один писатель, составивший его портрет, утверждал, что Робеспьер обладал талантом опровержения - заслуга, которая была ему чужда более всего. Нельзя сказать, что ему не хватало логики; ее было достаточно, чтобы направлять его мысли, но ему недоставало проницательности и знаний, необходимых для того, чтобы проникнуть в чужую мысль, разложить ее на составляющие и оценить по достоинству. На деле он никогда не вступал в прямое противоборство с кем-либо; он всегда уклонялся от сути вопроса и нападал лишь на личность оппонента.

В 1790 и 1791 годах ему было крайне трудно добиться доступа к трибуне и еще труднее заставить себя слушать, когда ему все же удавалось заговорить - настолько он был неясным, туманным, занудным и вялым. Он никогда бы не привлек внимание Собрания, если бы не завладел вниманием трибун; и он никогда не добился бы этого без своего *пророческого шарлатанства*, к которому он прибег, когда пересмотр законов подтвердил его прежние разглагольствования, и особенно без того низкопоклонства, с которым он заискивал перед *публикой на трибунах*. Именно благодаря этому шарлатанству и этой низости ему удалось создать своего рода братство, из которого более ловкие люди сформировали ту самую фракцию, оратором которой он стал, не будучи ее вождем. Всегда невыразительный в своих речах, он едва мог расшевелить общественное мнение; ему не дано было ни волновать сердца, ни направлять волю. Да и к чему слова смутьяна, если к ним нельзя добавить язык и, главное, тон истинного мятежника? Одно лишь подготавливает успех другого.

Откуда у Робеспьера взялась бы энергия слова, если в моменты, когда нужно было действовать, он впадал в оцепенение? Кто из нас хоть раз видел его в деле? Я говорю не только о минутах опасности, когда он прятался, но и о самых спокойных обстоятельствах. Весьма примечательно, что этот человек, о котором так много говорят последние шесть лет и который, кажется, в одиночку нес на себе бремя миссии двух национальных собраний, не вписал ни единой строчки в сорок томов законов, изданных этими собраниями. Даже среди революционных мер, принятых за последние два года, нет ни одной, придуманной им самим, хотя многие он поспешил объявить своими. Бастилия и деспотизм пали в 1789 году. Конституция была составлена в 1790-м, Бельгия захвачена в 1792-м, затем монархия была отменена, республика установлена, фракция ревизионистов разогнана, Жиронда разгромлена, суеверия искоренены, революционное правительство создано, набрана грозная армия, оснащен многочисленный флот, Бельгия отвоевана во второй раз; Мирабо, Барнав, Лафайет, Кондорсе, Верньо, Бриссо, Шометт - все уничтожены; наконец, установлена, укреплена и действует тирания самого Робеспьера... Но Робеспьер не имел никакого отношения к тем событиям, которые были подлинно славными, и во всех остальных случаях играл лишь второстепенную роль.

Помимо того что он был неспособен созидать, он не умел пользоваться и тем, что уже было сделано; он был прирожденным врагом любого порядка. Не существовало ни одного учреждения, которое, по его мнению, не противоречило бы принципам уже одним фактом своего существования. В своем двойном бессилии он нуждался в том, чтобы вся общественная машина рухнула, чтобы любые ресурсы казались исчерпанными, а спасение общества - совершенно безнадежным. Только тогда он мог казаться необходимым, не будучи обязанным приносить хоть какую-то пользу, и править, не шевелясь, народом, одуревшим от несчастий и убежденным, что отныне ему остается лишь ловить на себе взгляды своего вождя.

Именно события, никак не связанные с замыслами Робеспьера, объясняют столь необычайную судьбу этого столь заурядного человека. Благодаря тому, что он ничего не делал, пока обстоятельства работали на него, он обрел ту власть длиной в один год, которая, по правде

говоря, стоит целого века преступлений. Если он кажется последовательным в своих взглядах, то лишь потому, что у него их не было вовсе; если он кажется долгое время могущественным смутьяном, то лишь потому, что долгое время был всего лишь краснобаем в своей фракции; если он кажется возвысившимся над столькими талантливыми людьми, то лишь потому, что они сами погубили друг друга, и он остался на арене один; и остался он на ногах лишь потому, что не двигался и не действовал. И если взгляды тогда устремились на него, то лишь потому, что он запретил соперничество всем остальным, а сам на протяжении пяти лет обладал правом говорить и твердил всегда одно и то же. А поскольку сказанное им было вдохновлено ненавистью, местью и завистью, эти слова, к несчастью, превратились в пророчества. Лишь один раз в жизни он захотел пойти вперед: он сделал шаг, всего один-единственный шаг, без опоры, без предшественников и без проводника, и этот шаг привел его... к смерти.

Создайте слабую и трусливую человеческую машину, вдохните в нее страсть зависти, поместите ее в те же обстоятельства, в которых оказался Робеспьер, и вы снова получите Робеспьера. Сначала его называли патриотом Робеспьером, затем - Неподкупным Робеспьером, потом - добродетельным Робеспьером, и, наконец, великим Робеспьером. Но настал день, когда великого Робеспьера назвали тираном, и в тот день один санкюлот, глядя на него, распростертого на жалкой подстилке в Комитете общественной безопасности, произнес: *«Так вот он, тиран! И это всё?»*.

Любой просвещенный человек возмущается общественным негодованием, слыша те титулы, которыми оно наделяет Робеспьера; ведь каждое из них - это почти почесть. Он не был ни Суллой, ни Катилиной, ни Октавием, ни Кромвелем. Все эти люди были воинами, многие из них - искусными узурпаторами. Робеспьер не был даже Нероном. Хотя Нерон и умер трусом, он был по крайней мере отважным гладиатором. Можно ли называть его Катилиной на том основании, что рядом с ним были Цетеги для интриг? Октавием - потому что у него был Антоний, которого нужно было принести в жертву? Суллой - потому что у него были Манлии для развращения армий? Кромвелем - потому что у него были Вейны для многословия? И, наконец, Нероном - потому что у него были Аникеты для убийств? Что ж, позвольте фанатикам называть его богом, раз уж и у него нашелся свой паралитик, чтобы ходить рядом с ним!

Мнения о том, какой политический титул ему присвоить, расходятся не меньше. Он не был ни диктатором, ни императором, ни королем, ни протектором, ни триумвиром, ни трибуном. Он был Аппием среди децемвиров, и нашлись свои Клодии, которые, желая ему угодить, бросили - не в его объятия, а на эшафот - еще одну Виргинию.

Некоторые полагают, что Робеспьер станет великой фигурой в истории. Но в нынешнюю эпоху Французской республики примечателен не Робеспьер, а сама республика перед лицом Робеспьера. История скажет об этом чудовище немного; она ограничится лишь такими словами:

В те времена унижение Франции внутри страны было столь велико, что кровавый паяц-революционер, лишенный таланта и мужества, по имени Робеспьер, заставил всех граждан дрожать под игом своей тирании; в то время как миллион двести тысяч воинов проливали кровь на границах за республику, он поставил её на колени своими проскрипциями. Она всё еще пребывала в этом положении, когда мстительные руки избавили её от тирана; и даже когда она рукоплескала его падению, она всё еще не осмеливалась подняться во всём своем величии.

Дантон

С лицом бульдога, сангвиник, вспыльчивый, но продажный; способный на жестокость, но не жестокий по натуре; открытый как для благородных, так и для дурных чувств; адвокат без принципов, ленивый, беспутный, любящий удовольствия; более пригодный для заговора, чем

для партийной борьбы; вначале не имевший иной цели, кроме как заставить двор купить себя, а затем - управлять республикой; влюбленный в свою популярность, но не заботящийся о ней; необразованный, лишенный как политических, так и моральных принципов; без логики и диалектики, но не без красноречия; он никогда не вступал в дискуссии и не прибегал к рассуждениям, но всё, что можно было взять штурмом, одним порывом, он брал. Он не обладал ни даром убеждения, ни авторитетом, но его безудержный натиск заставлял всех отступать. Он не побеждал противника на поле боя, он одолевал его на ином поприще.

Сравнение Дантона и Робеспьера

Дантон стал великим злодеем лишь для того, чтобы иметь возможность спокойно быть добрым малым. Робеспьер стал великим злодеем лишь для того, чтобы быть маленьким богом в величественном небытии.

Дантон был продажен при монархии и алчен при республике. Робеспьер всегда оставался безупречно чист, его никогда не соизволили купить. Он сам бы заплатил за то, чтобы ему предложили золото - лишь для того, чтобы иметь возможность сказать, что он от него отказался.

Дантон обладал красноречием мятежного трибуна; в этом он превзошел даже Мирабо. Робеспьер же обладал красноречием ритора-смутьяна. Дантон заставлял трепетать людей, чей талант превосходил его собственный: он подавлял их. Робеспьера же всегда презирали, и именно это обеспечило его величие. Дантон предлагал свирепые законы, чтобы, как говорят, получить право предлагать законы гуманные. Робеспьер, будучи хитрее, говорил только о гуманности, чтобы предлагать законы свирепые.

Как же ловко свобода переходила из рук в руки этих двух людей! Когда один выпускал её, она попадала в руки другого. Дантона считали человечным, потому что он любил удовольствия, а Робеспьера - добродетельным, потому что он их не любил!

Дантон любил лишь низменную среду, которая развращает саму способность наслаждаться. Робеспьер же был к этому просто бессилен. Дантон отдавался течению жизни, потому что у него был живой ум. Дантону была присуща дерзость, но вовсе не мужество: он смело взирал на опасности издалека, но не мог вынести ни одной из них.

Дантон обладал умом и идеями - преимущество, которого был лишён Робеспьер; Робеспьеру же были свойственны искусство и настойчивость, которых не хватало Дантону. Дантон знал механику народных восстаний, но Робеспьер лучше постиг силу подавления. Ни тот, ни другой не были способны править: один из-за своего легкомыслия, другой из-за своей тяжеловесности; оба - из-за своего невежества.

Дантон умел поражать народ, Робеспьер - тревожить его. Дантон появлялся на публике, чтобы возбуждать страсти, Робеспьер же вечно на что-то жаловался.

Баррер

Баррер своей притворной справедливостью и умеренностью (пока победа колебалась между Жирондой и Горой), решительностью своей свирепости (когда Гора восторжествовала), поиском подходящих моментов для её проявления, приукрашиванием мотивов, лицемерием своего языка, окраской результатов и безудержным преданием себя жестокости в моменты безопасности - заставляет считать менее отвратительной прямолинейную, постоянную и зачастую мужественную свирепость Марата. «Анакреон гильотины» - куда более страшное чудовище, чем убийца, который приводит её в действие.

Что за речи вёл Баррер на заседании .. плювиоза! У него хватает позорной наглости заявлять двумстам тысячам человек, стонущим в кандалах, и шестистам тысячам, сочувствующим первым: «*Несчастные, говорящие о мире, вы смеете на что-то надеяться; что ж, пусть надежда станет преступлением, и пусть это преступление будет наказано!*» Свирепые тираны превращали в преступление добродетель, несчастье и надежду в беде; но они никогда открыто не признавали подобных злодеяний. Они боялись выдать свои ужасные мысли. Даже свирепствуя, они совершали преступление, но не провозглашали его открыто. Мужество писателей разоблачало их тайну. Но именно Барреру было суждено бесстыдно раскрыть свой секрет и кичиться свирепостью, которую, казалось бы, невозможно описать иначе, как через вызываемое ею возмущение.

Этот прислужник Робеспьера - мелкий Сеян, который пожелал стать для самого себя Тацитом.[183]

Марат

Облик хищной птицы: желчный, бедный, с грубыми нравами; бывший врач, стоящий ниже всякого цинизма; никакого понятия о приличиях, об уважении к окружающим или к самому себе. Никаких политических или моральных принципов; ни малейшего уважения к собственности, к свободе или к жизни. Цель - (слова неразборчивы), средство - демагогия. Никакого красноречия, никаких рассуждений; никакого искусства, никакой сдержанности, никакого стыда. Всегда лишь одна-единственная идея, но пугающе бьющая точно в цель; одна-единственная идея, преследуемая неуклонно и с упрямством; одна-единственная идея, понятная толпе и обеспечивавшая ему её поддержку. Защищенный своей популярностью как броней, он был неуязвим.

Он никогда не краснел; ничего не смягчал, не подготавливал и не спасал; ни в чем не уступал; никогда не оправдывался и всегда обвинял; парировал любые обвинения; бросал вызов любой цензуре; презирал само презрение; изнурял чужое негодование; притуплял насмешки; смеялся над мастерством и силой ораторов, над громом разума и красноречия; сохранял наглость даже среди своих перепуганных и растерянных друзей; черпал силы в общественном мнении или, скорее, в преданности народа, к которому он возвращался, покидая собрание.

Было бы невозможно выносить вид такого человека, если бы глубокое и мрачное искусство людей вроде Робеспьера и Баррера, направленное на уничтожение своих жертв, не придавало наглой свирепости Марата вид искренности и честности.

Изнар

Обладал умом, но тот всегда был сбит с толку безумным воображением. Имел талант, но без культуры, без метода, без правил. Честен, но малообразован; ложные идеи; беспорядочный пыл. Жажда ораторского успеха при полном отсутствии характера.

Он пьянел от звука собственных слов, позволяя ходу своей речи увлекать себя. Горе итоговому выводу, если он начинал с фразы, способной завести его слишком далеко! Он был не в состоянии ни умерить её эффект, ни даже сдержать развитие собственной мысли. Он посто-

[183] 23 октября 1792.

янно угрожал, гремел и метал молнии; но в конце всего этого шума - ничего. Впрочем, я ошибаюсь: однажды, со своего президентского кресла, он заявил петиционерам, требовавшим обвинения жирондистов, что Париж будет стерт с лица земли; он думал ошеломить их этой угрозой, которая восстанавливала против него и его партии весь Париж. Они вернулись еще более дерзкими; все секции Парижа пришли в ярость и явились требовать объявления вне закона врагов столицы. Эта стычка стала одной из причин, способствовавших гибели Жиронды.

Дюмурье

Небольшое, крепко сбитое и жилистое тело; лицо заурядное, почти некрасивое, но с приятным выражением. Глаза маленькие, однако живые и смелые; рот большой, но мягкий и улыбчивый, иногда тонкий и насмешливый. Голос глухой и приглушенный, но тон ясный и твердый. Манеры резкие, но не грубые; порывистые и в то же время сдержанные, лишенные вспыльчивости.

Рожденный на стыке простонародья и знати, он, подгоняемый собственным честолюбием и обстоятельствами, метался между теми и другими. Он хорошо знал пороки и верхов, и низов - в те времена, когда во Франции еще существовали и те, и другие. Зная французов и немцев, он вообразил, что знает людей вообще. Он понимал, как величие подавляет ничтожность и как волнение низов тревожит верхи. Поэтому в общении с простыми людьми он напускал на себя вид доступного величия, а со знатью держался подчеркнуто независимо. С вельможами он проявлял ровно столько гибкости, сколько требовалось для продвижения, и достаточно достоинств, чтобы продвигаться без низости. С простыми людьми он был достаточно фамильярен, чтобы его любили, и достаточно высокомерен, чтобы им восхищались и его хвалили.

Довольно крепкое телосложение и живое воображение порождали в нем множество потребностей. Оказавшись то на грани нужды, заставлявшей его тревожиться о самом существовании, то в достатке, пробуждавшем в нем прихотливые желания, и понимая, что во Франции власть и богатство неразлучны, он стал честолюбив. Чтобы пробиться, ему приходилось выбираться из безвестности, стараясь не спугнуть подстерегавшую его зависть. Он вынуждал своих покровителей действовать тайно, добиваясь похвал от своих подопечных, и так стал интриганом. Полагаясь лишь на собственные ресурсы и черпая все средства в самом себе, он строил планы столь же неустойчивые, как и его положение, и столь же изменчивые, как обстоятельства. Его интриги были скорее интригами авантюриста, нежели политика.

Он презирал людей, потому что считал, что знает их, и считал, что знает их, потому что презирал. Он был самонадеян, предприимчив, безрассуден и дерзок. Человек удовольствий, кабинетный работник и воин, он одинаково хорошо освоил уловки галантных похождений, военного дела и политики. Успех своих талантов в интригах он ценил выше, чем достижения собственной доблести.

Его замыслы были живыми, смелыми и масштабными, но непостоянными и изменчивыми. Доверчивый по легкомыслию и нескромный из-за самолюбия, он редко извлекал пользу из своей проницательности и знания людей. Не зная верности в дружбе, не соблюдая обязательств и не помня благодарности, он, тем не менее, был щедр.

Ларошфуко

Герцог де Ларошфуко в своем поведении бывал резким и суровым, но никогда - вульгарным. В его высказываниях порой сквозила дерзость, но проявлялась она исключительно в моменты гнева. По правде говоря, он часто впадал в это состояние, однако это никогда не случалось во время споров о государственных интересах. И как можно не простить ему эту дерзость? В гневе человек старается казаться настолько плохим, насколько это возможно; поэтому в такие минуты Ларошфуко приходилось отбрасывать всё то, что составляло в нем достоинство герцога и пэра Франции.

Будучи преданным сторонником свободы и даже равенства, он прекрасно понимал и то, и другое; он обладал привычкой к ним и практическим опытом; я бы даже сказал - он соблюдал приличия, которые составляют их изтонченность и совершенство. Он не произносил ничего такого, что стоило бы запомнить, но зато удерживал в памяти всё, что говорили другие, и обращал это в пользу - не для того, чтобы блистать самому, а чтобы быть полезным.

Он был лишен предрассудков, обладал здравым и просвещенным умом. У него были определенные затруднения в речи; часто он запинался, не в силах выговорить слово, но зато компенсировал потраченное время точностью своих рассуждений. Слабый, но при этом ни разу не изменивший своим принципам; податливый перед теми, кто брал инициативу в свои руки, и упрямый перед теми, кто приходил к нему, когда решение уже было принято. После отмены титулов он всё еще страдал, когда его называли «господин герцог». В те времена, когда титулы еще существовали, он меньше других замечал, если его называли просто «месье».

Он постоянно перебивал собеседника, чтобы закончить фразу, начатую другим: для человека с дефектом речи это выглядело нелепо. Однако он делал это не из амбициозного желания выразиться лучше, а из стремления поскорее закончить мысль.

У меня должно быть его письмо, в котором, говоря об одном из своих старых друзей, одобрившем декрет против неприсягнувших священников, он жаловался на его нетерпимость, столь противоречащую его прежним убеждениям. В это письмо он вставил следующие стихи, которые со временем стали подходить ему самому больше, чем я мог предположить:

Познай же разницу богов, которым служим мы:
Твои велят тебе лишь месть и кровь губить,
А мой, когда твоей рукой я предан тьме,
Велит тебя жалеть и искренне простить.

Лишь одно обстоятельство вредило его репутации: он не довольствовался тем, что имел; он жаждал значимости, вмешивался во всё и стремился председательствовать везде.

За несколько дней до ухода из департамента он заявил, что считает отмену дворянства одним из условий французской свободы. Когда на Марсовом поле сжигали документы из архива монастыря августинцев, он сказал мне: *«Мне жаль, что у меня нет "моей генеалогии", я бы отдал ее сюда; но у меня ее никогда и не было»*. Его болезненная страсть к председательству, желание быть в центре любого действия превратили его дом в место встреч интриганов, а его имя - в прикрытие для интриг. Он был подобен тем позолоченным ступицам колес, которые сами остаются чистыми, но катят ободья по самой грязи.

Он любил свободу во всем; никто не требовал ее с такой полнотой и не умел лучше обосновать ее необходимость: свобода в налогах, в торговле, в конституции, свобода прессы, свобода вероисповедания.

История, нравы и сравнительное исследование обществ

Лекции по истории, прочитанные в Нормальной школе в III году, К.-Ф. Вольнеем, членом Института.

Аналитический обзор.

Среди удачных плодов, которые останутся после создания Нормальной школы - учреждения пока еще неоформленного и даже, можно сказать, причудливого, - можно выделить рассуждения Вольнея об истории. В Нормальной школе ставилась задача преподавать не саму историю, а искусство её изучения, которое неразрывно связано с искусством её написания и преподавания. Вольней рассмотрел свою задачу в этих различных аспектах и выполнил её если не во всех деталях, то, по крайней мере, в полном объеме; и следует поблагодарить его за то, что он только что опубликовал свои лекции.

Его представление об истории весьма удачно выражено в следующих словах: *«Это цикл экспериментов, которые человечество ставит над самим собой; упорядоченное собрание этих опытов дает в качестве результата принципы или правила поведения - моральные и политические, - способные обеспечить счастье отдельных людей и гражданских обществ».*

Но как собрать эти опыты и убедиться в их точности? Как извлечь из тьмы далеких времен истину, которая так часто ускользает от наших глаз и ушей? Таковы первые вопросы, встающие перед автором. Решить их призвано искусство критики. Это искусство включает в себя две основные части: оценку фактов и оценку свидетелей, дающих о них показания. Оценка фактов основывается на их отличии от уже известных фактов или аналогии с ними, на их соответствии или несоответствии естественному порядку вещей. Оценка свидетелей измеряется политическими обстоятельствами, которые могли повлиять на правдивость их речей или на их молчание, а также гражданскими, моральными или религиозными предрассудками, способными повлиять на их восприятие и превратить их разум в своего рода зеркало истины или фабрику заблуждений.

Но каков же естественный порядок человеческих дел? Какова, вне нас самих, мера невероятного и невероятного, правдоподобного и неправдоподобного? Разве границы того и другого не меняются в зависимости от состояния умов, рассматривающих эти факты? Если именно через историю мы должны познать природу человека, то как познание того что свойственно человеку, природный порядок человеческих дел поможет оценить достоверность исторических фактов?

Автор обходит эту трудность, не решая её, и, надо признать, из-за этого он оставляет читателя в сомнении: существуют ли вообще способы убедиться в истинности имеющихся у нас историй и, следовательно, может ли их изучение приносить реальную пользу.

Однако эта трудность не является неразрешимой. Если бы природу человека можно было познать только через историю, то, несомненно, было бы невозможно найти в самом человеке основания для того, чтобы принимать или отвергать факты, излагаемые историей. Но можно изучать общественного человека по некоторым разделам недавней истории, по нравам древних римлян, которые описаны достаточно точно, и, наконец, по законам. Можно изучать естественного человека на примере варварских или диких народов, которые всё ещё рассеяны по некоторым точкам земного шара. Не заходя так далеко, можно наблюдать за самим собой, за своими детьми, за зарождающимися семьями, которые всегда перед глазами; дети без принуждения являют собой по отношению друг к другу то же самое, чем являются люди между

собой в диком состоянии чистой природы; зарождающиеся семьи - это верное отражение первых сообществ. В их страстях не хватает лишь одного элемента - любви.

Было бы ошибочной или бесполезной мыслью утверждать, что история детства, как и история человека, его физическая и моральная история, являются необходимым предварительным условием для изучения и, прежде всего, для написания истории людей; что без этого вступления у нас нет никакого критерия, по которому можно было бы судить о достоверности фактов, и что, таким образом, мы всегда оказываемся во власти капризов недоверия или избыточной доверчивости.

Искусство критики распространяется на третий объект - *традиции*. Именно через одни лишь традиции исторические факты могли сохраняться до изобретения алфавитного письма; но как эти факты виделись крайне невежественным людям? Как они передавались другим людям, которые были ничуть не менее невежественны? Какие наблюдения не были неточными? Какие истины и какие ошибки не подверглись искажениям при их передаче? А с момента изобретения письменности и до появления книгопечатания - сколько ещё препятствий стояло на пути к точности исторических повествований? Рукописное письмо было слишком медленным и слишком трудоёмким, чтобы множить эти рассказы; поэтому они были редкими, и более того, они оставались погребёнными в семейных архивах; таким образом, они не могли ни исправляться путём сопоставления, ни дополняться или заменяться за счёт своих различий.

Как же тогда уберечься при чтении древней истории от того разумного скептицизма, который, как говорит автор, *внимательно изучает каждый факт, прежде чем его принять*? Но если привносить этот дух в изучение истории, что же останется от тех объёмистых компиляций, из которых она состоит? Несколько страниц, несколько строк, возможно! Неужели целые века социального состояния будут потеряны для нашего поучения? Это печальное размышление недавно привело философию к поиску новых источников истины для истории далёких времён.

Именно среди памятников, которые всё ещё сохраняются в краях, некогда населённых великими народами, Вольней предлагает искать их историю. Известно, какую пользу он сумел извлечь из руин, встреченных им в Сирии и Египте, чтобы восстановить в некотором роде древнейшее политическое устройство и вновь обрести нравы, наиболее далёкие от известных нам нравов. Его результаты в этой области являются хорошим подтверждением правильности его взглядов.

Но прежде всего в анализе древних языков он рассчитывает вновь обрести состояние знаний народов, которые на них говорили; и действительно, словари народов - разве это нечто иное, как знаки накопленных идей? И, следовательно, разве они не являются безупречными свидетельствами системы знаний и нравов, установившейся в сознании людей, которые ими пользуются?

Мы обязаны Куру де Жебелену этой важной идеей - искать историю в словарях; но Вольней представил её в новом свете и даже расширил в одной из своих лекций. Он указал на её обширное применение к народам, которые, по-видимому, были предками других. Проницательность и интеллектуальная мощь, которую он проявляет в этой части своего курса, в сочетании с мужеством и терпением, проявленными им при изучении части Азии, позволяют надеяться, что однажды он сможет представить идеальный образец того исторического жанра, набросок которого он только что сделал.

Изучив трудности, характерные для искусства установления фактов античности, автор задается вопросом: *какую общественную и практическую пользу следует преследовать при изучении или преподавании истории?*

Прежде всего, невозможно отрицать влияние истории на отдельных людей и на целые империи. Ее сила основана на свойстве - или, скорее, на слабости человеческого разума, который неизменно влечет нас к подражанию. Это происходит потому, что подражание, как кажется, избавляет нас от утомительной необходимости размышлять и воздвигает между нами и общественным осуждением некий авторитет или барьер, ограждающий наши поступки от упреков.

Эта власть истории ознаменовалась великими бедствиями и ужасными потрясениями. Именно Гомер, предложив Ахилла в качестве образца Александру, вместе с ним опустошил мир. Именно история Александра возродила честолюбие в душе Цезаря и погубила римскую свободу. Именно Квинт Курций подарил современной Европе другого Александра в лице Карла XII. Именно история иудейской нетерпимости спровоцировала наши крестовые походы. Именно подражая Самуилу, папы венчают на царство королей. Наконец, именно примеру греков и римлян мы должны отчасти приписать тот фанатизм, который недавно терзал Францию и заливал ее кровью; ведь, как говорит Вольней, столь прославляемые правительства Спарты и Рима по существу ничем не отличаются от правительств египетских мамлюков или алжирского дея. *«Этим превозносимым грекам и римлянам не хватает лишь имен гуннов и вандалов, чтобы мы узнали в них все те же черты. Вечные войны, истребление пленных, резня женщин и детей, вероломство, внутренние распри, домашняя тирания, иноземный гнет - вот картина Греции на протяжении пятисот лет, какой ее рисуют нам Фукидид, Полибий и Тит Ливий»*.

Эти наблюдения заставляют почувствовать, насколько важно определить предмет истории, чтобы, так сказать, обезоружить ее, лишив всякого опасного оружия, и обеспечить более свободное и надежное владение теми средствами, которые должны сделать ее полезной.

История, по мнению Вольнея, должна служить: 1) нравственности; 2) политике; 3) наукам и искусствам. Исторические книги, как ему кажется, можно распределить в порядке, соответствующем этому делению: одни содержат факты о личностях - такие как «Жизнеописания» Плутарха и «Исповедь» Руссо; другие содержат сведения о деятельности правительств - такие как общая история народа или государства, рассматриваемых как некий единый организм, который рождается, растет и увядает согласно законам, общим для всех живых и одушевленных существ; наконец, третьи содержат сведения о развитии разума, то есть историю открытий, наук, искусств и методов их изложения.

Мы позволим себе несколько размышлений по поводу этого деления. Точно ли оно? Являются ли нравственность и политика двумя отдельными науками? Нам кажется, что политика - это не абстрактное искусство организации правительств, но искусство организации обществ, основанное в гораздо большей степени на нравах, чем на способах правления. С другой стороны, нравственность и политика также являются науками и искусствами, для которых размышления или привычки разума предоставили не меньше важных фактов для объединения, сопоставления и систематизации, чем для других областей человеческого знания. Можно было бы также сказать, что уроки индивидуальной нравственности черпаются из национальной истории, где на сцене всегда действуют отдельные люди, не в меньшей степени, чем из историй частных жизней. Точно так же и политические знания извлекаются из биографий великих государственных деятелей не меньше, чем из общей истории, в которой они принимали участие. Но оставим это деление исторических книг, чтобы вернуться к вопросу о тех связях, на основе которых следует создавать новые классификации или изучать уже существующие.

Если история - это курс опытов, которые человечество провело над самим собой, то почему бы не разделить ее согласно трем способностям разума, к которым эти опыты относятся: физической чувствительности, воображению и рассудку? В этой системе они разделились бы на три класса, а именно: физический опыт, моральный опыт и интеллектуальный опыт; иными словами, опыт в области искусств и физических наук, опыт в области нравов и страстей, а также опыт в области идей, систем и методов мышления, которые последовательно сменяли друг друга.

Опыт в сфере искусств и физических наук включал бы в себя, помимо фактов, относящихся к каждому отдельному искусству или науке в отдельности, еще и те факты, чье взаимодействие и сочетание сформировали общественную экономику каждого народа в разные эпохи. Опыт в области нравов и страстей охватывал бы события, порожденные моральными, гражданскими и политическими институтами наций. Опыт в области идей, систем и методов мышления включал бы понятия и теории - как в политических, моральных и религиозных

науках, так и в науках физических или математических. Сами эти теории во многом и составляют историю человеческого разума.

Автор выделяет четыре способа изложения исторических фактов. Можно следовать хронологическому порядку, как это делал президент Эно; или выбрать драматическую форму, как Геродот и Бартелеми; или разделить темы и рассматривать их по отдельности, как Байи в **«Истории астрономии»**, Форбонне в своих **«Рассуждениях о финансах»** или Гоге в **«Трактате о происхождении законов»**; или, наконец, проанализировать всю систему - физическую, моральную и политическую - целого народа, что является трудом, для которого сложно найти образец или хотя бы сносный пример.

Хронологический порядок обладает тем недостатком, что он разделяет и изолирует факты, наиболее зависимые друг от друга; кажется, он лишает события их последствий. Драматическая форма, преимущество которой заключается в том, что она увлекает читателя, имеет, напротив, тот минус, что дает слишком много простора гипотезам и вольностям воображения; добавим также: она больше занимает воображение, чем разум, и дает больше ощущений, чем знаний. Изложение по темам обладает тем преимуществом, что позволяет проследить в каждой части причины и следствия и повсеместно показать их взаимосвязь.

Аналитический и философский метод отличается от предыдущего тем, что вместо того, чтобы представлять историю лишь одной или нескольких сторон жизни народа, он сначала рассматривает этот народ как единое целое, затем берет историю всех его составляющих, чтобы изучить их по отдельности, и, наконец, показывает связи, которые существуют между ними и целым.

Именно этот последний метод предпочитает автор; именно его должен предпочесть всякий человек, который, подобно ему, обладает достаточно широким кругозором, чтобы рассматривать великие объекты, и достаточно ясным умом, чтобы различать все их части. Он рассматривает историю как физиологическое исследование законов роста и упадка политического тела. Сначала описать физическое состояние страны, почву, климат; затем подсчитать население и выделить в нем все составляющие его виды; в-третьих, изложить структуру правительства и административный порядок; наконец, познакомить с нравами, характером, гражданскими и религиозными убеждениями и показать, что именно они заимствуют не только от температуры климата (в чем Монтескье ошибочно приписал климату исключительное влияние, которое тот оказывает лишь наряду с другими причинами), но также от качества почвы и, прежде всего, от природы и изобилия пищевых продуктов, к которым почва наиболее приспособлена - таков путь, указанный Вольнеем, и, повторимся, это путь просвещенного таланта.

Здесь сама суть идей на мгновение задержит наше внимание. Уже в своем **«Путешествии в Египет»** Вольней показал и фактами, и рассуждениями, что форма правления никоим образом не зависит от климата, как полагал Монтескье; он уже тогда выдвинул тезис о том, что плодородие территории и характер производимых ею продуктов, к которым она наиболее приспособлена, сами по себе влияют на их политическое состояние; однако он не обосновал это последнее положение, и в своем курсе истории он снова высказывает его, не доказывая.

Столь важно установить, существуют ли физические причины, определяющие формы правления, подходящие для жителей разных стран, и выявить эти причины, что философия вправе требовать развития и доказательства любого предложения, выдвинутое по этому вопросу образованным и вдумчивым писателем; поэтому мы зададим Вольнею несколько относящихся к делу вопросов.

Мы спрашиваем его, не зависит ли политическое состояние народов скорее от их привычного рациона, от достаточности или недостаточности продуктов их земель для собственного потребления и от типа сельского хозяйства, которым они занимаются, нежели от плодородия почвы и её особой пригодности для производства определённых видов продукции. Не предполагает ли мнение Вольнея, что именно *характер* и *масштаб* сельскохозяйственного труда нации определяют её форму правления? И какой факт, какое рассуждение может оправдать это предположение? Напротив, не заслуживает ли наше мнение, предлагаемое взамен версии

Вольнея и возникшее благодаря размышлениям, которые он сам в нас пробудил, достаточно веских доказательств?

Мы утверждаем, что привычная пища народа, избыток или нехватка продуктов собственного производства для потребления, а также характер земледелия влияют на систему государственного управления. И в самом деле, посмотрите на все народы Европы; разделите их на две группы: с одной стороны, поставьте тех, чьей территории достаточно для удовлетворения их потребностей; с другой - тех, у кого территории не хватает для обеспечения потребления, либо из-за её малой площади, либо из-за её бесплодности.

Попробуйте затем классифицировать эти же народы по их привычному рациону и способу ведения хозяйства: одни едят больше мяса и молочных продуктов, другие - больше хлеба. Разделив их таким образом, вы обнаружите, что они в точности соответствуют предыдущему делению. Народы, наиболее богатые землёй, одновременно являются крупнейшими производителями зерна и крупнейшими потребителями хлеба; те же, чьи земли ограничены, больше занимаются пастбищным хозяйством и потребляют больше мяса и молочных продуктов. Таким образом, эти два деления сводятся к одному.

Исходя из этого, изучите политическое состояние и устройство каждой из этих групп. Вы увидите, что народы первой группы живут при монархии или олигархии; вторые же, напротив, - все при республиканском строе. Свободные ганзейские города Германии, Женева, Швейцария, Голландия - все эти государства, чьих территорий недостаточно для пропитания жителей, относятся к последнему случаю. Германия, Польша, самые плодородные части Италии относятся к первой группе. Франция находилась в ней четырнадцать веков, и если она перестала в ней находиться, то лишь потому, что влияния не являются непреодолимыми силами; они управляют лишь теми, кто им поддается. Физические обстоятельства, которые ведут людей, пренебрегающих своим счастьем, по пути несчастий, уступают их просвещенной воле, которая также является силой природы. Но как естественный ход вещей привел к тому, что богатые народы, питающиеся хлебом, обрели господ, а бедные народы, питающиеся мясом, - свободу?

Опишем сначала влияние богатства. В любой стране с обширной и плодородной территорией непредусмотрительный народ считал выгодным расплачиваться с правителем землей; продукты этой земли вскоре позволили правителю требовать налогов. Кроме того, такая страна со временем неизбежно заполняется собственниками, причем богатыми собственниками - то есть множеством людей, которые могут жить и наслаждаться жизнью, не работая. Безделье становится для них предметом гордости, а затем порождает потребность в пустых или беспорядочных занятиях, таких как забота о суете или корыстные интриги. Это, в свою очередь, ввергает их в привычки властолюбия и рабства, поклонения и дерзости - привычки, которые поддерживают друг друга.

В бедных же странах, напротив, там, где никто ничего не имеет без труда, где даже капиталы приносят доход только благодаря работе, где труд является всеобщей потребностью и привычкой, где своего рода общность тягот, установленная между богатым и бедным, поддерживает дух равенства, где доход правителя не обеспечивается огромными земельными наделами, а может формироваться только из взносов, и где, наконец, эти взносы никогда не одобряются вслепую, потому что там нет ни одного экю, который не был бы добыт с трудом; в такой стране господство нации всегда было трудно внедрить.

Труд по своей природе республиканен, а праздность - роялистская. Это истина, прямо противоположная взглядам наших современных республиканцев. Под этим словом я подразумеваю не только наших диких приверженцев политических клубов, но и многих весьма почтенных в иных отношениях философов, в частности Руссо и Мабли. Наши доморощенные «скифы» заимствовали у них авторитетное мнение, чтобы утверждать, будто Французская республика не сможет процветать до тех пор, пока у нас существуют торговля и мануфактуры.

Разберем теперь влияние привычного рациона питания.

Факты подтверждают истину: привычка питаться преимущественно хлебом заставляет народ постоянно беспокоиться о своем пропитании. Зерно можно спрятать, перевезти, вывезти за границу и так далее; оно никогда не находится на виду у потребителя. При малейших трудностях с приобретением хлеба народ начинает бояться, что его не останется вовсе. Как только объявляется дефицит, любое перемещение продовольствия воспринимается как спекуляция, кража у народа или маневр с целью уморить его голодом! Вскоре любое движение товара начинает раздражать людей; они готовы препятствовать ему любыми крайними мерами. Таким образом, привычка использовать хлеб как основной продукт питания является закваской анархии. Признав эту очевидную истину, легко понять: чем более народным является правительство, тем сложнее ему контролировать снабжение продовольствием, тем мощнее и чаще возникают препятствия для свободного обращения товаров, и тем более жестокими и многочисленными становятся беспорядки.

Какова же естественная участь народа, который постоянно бунтует и, как следствие, постоянно страдает от нехватки продовольствия? Какова естественная судьба анархии и голода? Рабство. Народ сам ищет себе господ, чтобы получить хлеб и покой, после того как долгое время убеждался, что слабое правительство не способно обеспечить ни того, ни другого.

Напротив, народ, питающийся мясом, более склонен к чувству безопасности. С равной по площади территории можно получить больше питательных веществ в виде мяса, чем в виде хлеба. Любая почва с большей или меньшей легкостью подходит для выращивания скота, тогда как не всякая земля пригодна для возделывания пшеницы. Таким образом, первый тип пищи распределен более равномерно благодаря самому процессу производства. Скот всегда находится на глазах у потребителя; его нельзя ни спрятать, ни тайно вывезти. Наконец, когда возникает необходимость в его перемещении, это обходится дешевле, чем перевозка зерна, поскольку скот сам оплачивает часть расходов на свою транспортировку.

В стране, где питаются мясом или молочными продуктами, общественный порядок поддерживать легче, чем в других. Здесь нет такой острой необходимости в мощном центральном аппарате власти, способном в любой момент направить внушительные силы в отдельные точки, и так далее. Поэтому такие страны естественным образом склонялись к весьма народным формам правления.

Таковы, по-видимому, физические причины, которые способствовали определению характера правительств.

Однако повторим: они определяли политику народов лишь тогда, когда те отдавались на волю естественного хода событий. Не следует делать вывод, что незыблемые законы повсеместно диктуют политическое состояние людей. Очевидно даже, что упомянутые физические причины приводятся в действие самими людьми. Совершенно верно, что закон природы диктует: определенный рацион и определенная система земледелия в сочетании с тем или иным уровнем территориального богатства влекут за собой или благоприятствуют определенной форме правления. Но человек, особенно человек, просвещенный социальным состоянием, может выбирать между различными способами ведения хозяйства и видами пищи. Он может предпочесть сегодня то, что отвергал вчера. Таким образом, он является господином - не в том смысле, что побеждает природу, а в том, что по своему усмотрению и в соответствии со своими потребностями пользуется различными средствами, через которые она проявляет свою силу.

Очевидно, что замена французской системы земледелия английской - превращение части наших пашен в пастбища, наших амбаров в конюшни, а наших снопов в кормовой скот; превращение сельского хозяйства в приятное занятие, интересное для собственника; привлечение его к жизни на ферме видом многочисленного поголовья всякого рода животных; стимулирование его предприимчивости шансами на успех в животноводстве - всё это вещи, которые зависят от нас самих. И эта революция в нашем сельском хозяйстве, к которой всё готовится и которую всё ускоряет, станет, если можно так выразиться, предписанием самой природы, которая содействует успеху нашей политической революции. Это требование не будет

напрасным; всё дает основания надеяться на успех, и этот удовлетворительный результат позволит нам легко простить Вольнею его пристрастие к мнению, отличному от нашего, тем более что оно ему не противоречит.

Взгляды Вольнея на преподавание истории не менее здравы, чем его взгляды на её написание; они возвышенны и философски обоснованы. История некоторых искусств подошла бы только для начальных школ, но её пока не существует. История политических фактов недоступна пониманию детей: они не смогут удержать в памяти ничего, кроме слов, и у них может развиться болезненная привычка повторять их, словно попугаи. Однако хорошо составленные биографические очерки могли бы принести пользу, воздействуя на столь естественное для человека *желание подражать*. Именно на это желание так рассчитывали амбициозные шарлатаны, составившие «Жития святых», и именно им так умело воспользовался Плутарх, просвещая человеческий разум своими «Сравнительными жизнеописаниями».

На второй ступени обучения преподавать историю не так трудно, но не менее опасно. Ибо какую историю будут преподавать? На каких принципах она будет основана? Не стоит ли опасаться, что юношеский пыл проявит интерес лишь к передвижениям войск или революциям, что молодежь будет увлекаться только героями, а добродетели и радости мирной жизни покажутся им пресными, что бы ни делали, чтобы привить любовь к ним их уму и душе?

«В морали, - говорит автор, - *существует глубокая истина, на которую не обращают должного внимания: зрелище беспорядка и порока всегда оставляет опасные впечатления; оно не столько отвращает от них, сколько приучает к ним через созерцание и придает смелости, оправдывая их примером. Это тот же механический процесс, из-за которого непристойный рассказ вносит смуту даже в самую чистую душу; и лучший способ сохранить добродетель - это не представлять ей образов порока»*.

Автор, как мы видим, хотел бы, чтобы для введения человека в изучение истории его дух уже был сформирован, а разум просвещен. По тем же причинам он не считает, что история подходит для всех слоев населения или может стать предметом обычных школьных занятий. Тем не менее он намечает план, которому должны следовать учителя, чтобы преподавать её с наибольшей пользой и легкостью и с наименьшим риском.

Таково в общих чертах содержание курса истории, прочитанного Вольнеем в Нормальной школе. Мы несколько изменили порядок его идей в том верном отчете, который постарались представить, поскольку именно эти идеи, давно созревшие, имеют реальную ценность. Его же план, выполненный слишком поспешно, не показался нам наиболее подходящим для их компоновки и вывода. Мы более подробно представили те объекты, которые в большей степени отвечали интересам текущего момента, не принимая во внимание, были ли это самые блестящие фрагменты произведения. Мы полагали, что автор одобрит наш поступок, говоря о его труде то же, что сделал он сам, работая над своей темой: а именно, что мы думали об общественной пользе, а не о славе его таланта.

(Journal de Paris, № 27, 28, 29 и 30 прериаля III года. - 15, 16, 17 и 18 июня 1795 г.)

Очерк для новой истории правления Людовика XII, отца народа

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О ложных методах и ложных направлениях истории.

Если под словами «история Франции» понимать частную историю французских королей, историю королевской власти, войн и договоров, которые расширяли или уменьшали французскую территорию, то у нас есть несколько историй Франции.

Более того, если под этими словами понимать историю знати, высших государственных органов, объединенную с историей французских земель, королевской власти и личностей королей, и все это вперемешку с общими рассуждениями об искусствах, сельском хозяйстве, торговле, науках, литературе, изящных искусствах и даже о нравах, или, скорее, о большей или меньшей степени варварства или цивилизованности общества в целом, - то и в этом смысле у нас есть несколько историй Франции, или, по крайней мере, весьма разнообразные исторические наброски, написанные в разных тонах, в разном стиле и на основе разных принципов.

Но если под историей Франции понимать историю французов, французской нации, французского народа - того великого и процветающего общества, которое некоторые люди считают потомством стада рабов и кичатся тем, что всегда смотрят с презрением на это мнимое происхождение; если понимать историю общества, которое, несомненно, бывало угнетенным, но никогда не было в рабстве и, прежде всего, никогда не было холопским; которое освободилось собственной силой от высокомерного господства, а затем освободило и своих королей; которое само создало свои науки, искусства и торговлю; которое установило свои законы, назначило судей, создало армии, финансы и представительство; которое обеспечило себе независимость и заставило уважать свои права как внутренних, так и внешних врагов, как в поражениях, так и в триумфах; которое объединяет в себе все виды талантов, ума, знаний, силы и мужества; которое, обретя огромное превосходство над своими недоброжелателями, довольствовалось равенством; которое сияет таким богатством, что блага, отвоеванные у врагов, на его фоне едва заметны; которое во время их отсутствия доказало с удивительным блеском, что оно обязано всеми своими преимуществами только самому себе; которое, по сути, обеспечивает все свои интересы, самодостаточно во всем, даже в своей славе, - если, повторюсь, под историей Франции понимать историю этой нации в данном смысле, то я не стану лукавить и скажу, что у нас нет истории Франции.

Революция, обнажив существование французской нации и провозгласив её *великой нацией*, казалось, призывала историков посвятить ей, наконец, те таланты, которые до сих пор предназначались лишь великим домам. Но революция застала их в состоянии глубокой предубежденности. Привязанность Франции к интеллектуальным удовольствиям придала огромное значение литературным занятиям; они стали более распространенными и глубокими. Аналитический метод позволил глубже проникнуть в секреты великих писателей. Теории писательского мастерства, обогащенные новыми наблюдениями, развивались и расширялись. Множились литературные журналы, создавались лицеи. Движение, предварявшее революцию, волновало не только тех людей, которые видели перед собой великие дела, но и тех, кто видел прекрасные темы для обсуждения. Все чувствовали важность литературных талантов для развития и поддержки новых интересов, которые вот-вот должны были проявиться. Литературные дискуссии стали привычной темой разговоров в самых изысканных кругах; ими активно интересовались женщины. Никогда еще столько не говорили и не писали об искусстве слова.

Искусство написания истории также не было забыто. Заново переводились труды античных историков, и каждый переводчик снабжал свою работу замечаниями об отличительных достоинствах оригинала. Вольтер и Гайяр сравнивали латинских историков; Лагарп, признанный авторитет литературных обществ, в свою очередь давал им оценку. Мнения этих уважаемых судей разделялись между Титом Ливием, Тацитом и Саллюстием.[184] Молодые писатели, решившие посвятить себя истории, также выбирали себе кумиров, и каждый намечал образец для подражания. Почти исключительное восхищение риторов теми историческими фрагментами, что способны волновать душу и будоражить воображение, подготовило успех исторических романов и породило неудачное стремление к драматическим эффектам. Казалось, история должна отвечать лишь правилам писательского мастерства, а задача историка сводится лишь к искусству угождать публике.

[184] 28 октября 1792.

Пока одни готовились истязать то, что называли «историей Франции», чтобы втиснуть её в драматические рамки, приукрасив колоритом античной классики, другим было недосуг заметить, что элементы этой мнимой истории исчезали или меняли свое значение и место. Истинный предмет истории Франции - история нации - выделялся из массы фактов, в которых прежние историки видели лишь историю королей. Отныне следовало рассказывать о городах, а не о дворах, о людях, а не о вельможах; о новом времени, когда делами управляют обстоятельства и люди сообща, а не о временах древних, когда малая горстка людей властвовала одновременно и над людьми, и над вещами.

Из-за того, что историю королей писали, не заботясь об истории нации, она почти всегда излагалась недостоверно. Писатели возвеличивали никчемных правителей, превозносили мнимых королей,[185] вводили в заблуждение относительно пороков дурных монархов ради какой-нибудь их блестящей черты. И, что, пожалуй, еще более предосудительно, они игнорировали права самых мудрых и добродетельных государей на уважение потомков, лишая их заслуженной славы.

Оставляя в стороне историю народов, хотели ли они дать волю своей подобострастности, чтобы беспрепятственно описывать жизнь королей? Или же они писали историю королей столь рабски потому, что по неведению забыли об истории народов? Не знаю; но в целом, лишь немногие прокладывают путь, а толпа следует за ними. Немногие ставят перед собой постыдную цель, а толпа и вовсе не спрашивает, в чем заключается эта цель.

Вопрос, который необходимо прояснить в истории любого короля, заключается в том, как он осуществлял свою власть. Монархия - это отношения правителя с народом: следовательно, история должна поведать нам, как представленный в ней государь пользовался этой властью; как чувствовала себя нация в годы его правления или, по крайней мере, что сделал монарх для её благополучия. Ведь общественное благо не всегда зависит даже от самого лучшего короля. Интересы народов - это единственное мерило, с помощью которого разум, справедливость и человечность позволяют оценивать заслуги правителей; любое другое будет ложным.

Историк, который принимает иную версию, предает свой долг или вовсе его не понимает. Невежество - это самый распространенный порок. Многие писатели, берясь за перо, говорили себе: «Буду писать как честный человек»; однако они смогли писать лишь как простофили, следуя методу, который был выдуман трусами и утвержден мошенниками.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ошибочные установки историков, их ложные представления о морали и политике, порочность их метода - вот общие причины тех заблуждений, которые допускает история в отношении Людовика XII, Отца народа.

История Людовика XII служит примером того, как репутация превосходного короля может пострадать из-за неверных подходов и дурных методов историков. На протяжении трех столетий его памяти отдают лишь холодную и двусмысленную дань уважения. Те скудные похвалы, что ему воздают, - это лишь то, в чем невозможно отказать обычным добродетелям или добрым делам, не требующим особых заслуг и усилий. Кажется, их расточают с той снисходительностью, которую ум охотно проявляет к добродушию в знак собственного превосходства; возможно, из того интереса, который слабость находит в прославлении мягкости и умеренности власти; или же, наконец, из вынужденного почтения к его прозвищу «Отец народа».

Варийя заявил, что его ум *не был проницательным*; но этот недостаток, по его словам, искупался мягкостью нравов и вкрадчивой манерой, с помощью которой он умел завоевывать расположение народов.[186] Тома уверяет нас, что *ему недоставало достоинства талантов и великих свершений*.[187] Дюкло считает его *значительно уступающим Людовику XI в искусности*

[185] 3 октября 1791.

[186] 11 ноября 1792.

[187] 16 октября 1789.

управления.[188] Гарнье и вовсе не находит его равным великим королям.[189] Кондильяк не признает за ним *всех качеств великого государя*; он причисляет его к тем правителям, которые *из-за недостатка просвещенности так и не смогли совершить ничего полезного для общества*.[190] Мабли резко заявляет, что, *будучи рожденным с посредственными способностями, он не смог стать великим человеком даже благодаря опыту*.[191] Наконец, Вольтер и президент Эно упрекают его в пороке мелкой души и ограниченного ума - *скупости*;[192] а Вольтер утверждает, что *он не был ни героем, ни великим политиком*.[193]

В 1785 году Французская академия пожелала вернуть Людовика XII в тот ряд лучших монархов, который отвел ему народ. Она призвала на помощь все могущество красноречия и объявила конкурс на лучшее похвальное слово в его честь. Ораторское мастерство отозвалось на этот призыв, но подлинное вдохновение так и не явилось. Писатели оказались во власти творческого бесплодия; они не только не находили ничего великого в различных исторических трудах о Людовике XII, но и самые авторитетные литературные деятели удерживали их от любых изысканий в исторических памятниках: сомнение в справедливости суждений, якобы соответствующих истории, показалось бы им безрассудством. И в самом деле, как искать в кабинетном учении, которое лишь охлаждает пыл, некое согревающее начало? Как трудиться над приобретением новых знаний, когда хочешь казаться переполненным ими? Как признаться в нехватке идей, когда берешься утверждать, что слов недостаточно для выражения чувств, которыми переполнена душа? Ни «Отец народа», ни сам народ, давший ему это имя, не были отомщены.

Едва заметный, но всё же примечательный нюанс отличает суждения, которые выносились о Людовике XII. По мнению одних, этот государь обладал добродетелями короля, но не имел его талантов; по мнению других, у него не было талантов короля, но были его добродетели.

Последние полагают, что отсутствие таланта искупалось добродетелью; первые же считают, что добродетель обесценивалась нехваткой таланта.

Общая ошибка обоих мнений заключается в разделении в личности государя двух неразрывных качеств. В монархе не существует истинного таланта и истинной добродетели иначе, как в их тесном союзе. Возводить заурядную доброту в ранг добродетели - значит оказывать ей слишком много чести; и это значит унижать добродетель, полагая её совместимой с посредственностью.

Другое заблуждение - верить, будто мы возвеличиваем добродетель, лицемерно отдавая ей предпочтение перед талантом; на самом деле мы принижаем её, отделяя от него. Лишить титул «Отец народа» всякой славы - значит оторвать от него представления о таланте и силе характера. Как этот титул сохранит свое достоинство, если его можно присвоить посредственности? Мы уже почти готовы отказать в уважении государю, которому отказываем в славе.

Долой лицемерие и принуждение! Слишком много говорили о Людовике XII, если для того, чтобы заслужить титул «Отец народа», достаточно быть посредственным человеком. Но прочь и предрассудки, лень и слепую покорность авторитетам, вызывающим по меньшей мере сомнение, если этот титул подразумевает талант, характер и - что еще выше - великую душу!

Будем искать истину, изучим факты. Суждения, объектом которых стал Людовик XII, основывались на том, что история сообщает о его неудачах в Италии, и на мнимой легкости, которую благоприятные времена и обстоятельства предоставили ему для процветания его внутреннего правления. Разве невозможно доказать следующее:

---

[188] 17 апреля 1790.

[189] 22 июня 1791.

[190] 25 июня 1791 г.

[191] Конституция от 3 ноября 1791 г., принята 13-го числа.

[192] 17 июля 1791 г.

[193] См. печатную выписку из реестра постановлений муниципального корпуса от 17 июля 1791 г.

1. Что войны в Италии были неверно оценены со всех точек зрения; что они были хорошо задуманы, хорошо проведены и, более того, не остались бесплодными?
2. Что внутреннее управление (в котором историки времен Людовика XII видели лишь несколько мягких законов, не встретивших сопротивления, да уважение к правосудию) представляет собой мощно проработанную систему ради успеха самого масштабного, самого мудрого и самого благородного замысла, который когда-либо мог родиться в голове монарха? И самого трудного - завершить перемены, произошедшие во французской нации, закрепить их и утвердить с помощью конституции.

Но прежде чем обосновать эти истины, я укажу на еще одну принципиальную ошибку, которая всегда проистекает из одной и той же причины - забвения интересов народа. Речь идет о мнении, будто - как полагают наши писатели - для войны и переговоров требуется больше таланта, чем для внутреннего управления; будто общественное счастье может быть результатом обычной доброты, а политика и военное искусство доступны лишь выдающимся умам.

«Доброта, которую требуют от королей, - часто говорил Наполеон, - *это не нежность кормилицы»*. Это и не та доброта, которая, как полагает Вариллас, изливается в ласковых и вкрадчивых речах и истощается в пустых нежностях. Напротив, это та доброта, которая заявляет о себе деяниями, приносящими общую пользу, и проявляется перед всем народом через эффективную и долговечную защиту. Но как можно верить, что такая защита дается без труда? Разве не всегда есть слабые, которых нужно защищать от сильных, и общие права, которые нужно отстаивать против посягательств привилегированных сословий? Разве привилегированным (или тем, кто претендует ими стать) не хватает хитрости, упрямства и дерзости, чтобы добиться успеха в своих притязаниях или удержать их? Разве король, друг народа, освобожден от необходимости обладать проницательностью, предусмотрительностью, знаниями, усердием и мужеством в отношениях с ними? С другой стороны, разве королю нечего опасаться пороков своего преемника? Разве не должен он принимать меры предосторожности против опасности собственных ошибок? Не является ли кощунственным пренебрежением к таланту и знаниям, необходимым для того, чтобы заставить столько стремящихся к разрушению элементов служить общественному благу, назначение им места ниже тех требований, которые предъявляет военное искусство или то другое искусство внешней политики, где честность не всегда считается главным секретом и где общественное благо - не самый обычный результат?

Макиавелли составил обширный арсенал уловок и обманов для использования искушенным политиком. Фридрих Великий применил немало из них на практике; но, безусловно, он нашел больше чести и выгоды в том, чтобы опровергнуть книгу Макиавелли, чем в том, чтобы к ней обращаться.

Хитрость и обман не только всегда таят в себе некое низменное начало, но даже в самой утонченности, и особенно в той утонченности, лишенной всяких сомнений, которую называют элегантностью дипломатии, - даже в ней, осмелюсь ли сказать? - всегда есть нечто грубое. На мой взгляд, это грубое средство - обманывать там, где можно было бы убедить или увлечь; захватывать врасплох вместо того, чтобы добиться согласия; красть вместо того, чтобы приобретать. Быть хитрым - значит быть менее чем умелым. Утонченная хитрость - поскольку ее разгадывают, поскольку ее подозревают, поскольку ее всегда предполагают в тех, за кем она однажды была замечена, поскольку она изнашивается, поскольку ее презирают, когда она раскрыта, и поскольку, наконец, она компрометирует своего обладателя - выглядит грубой рядом с подлинным мастерством, которое играет открыто и побеждает благодаря точности своих расчетов. Что такое самый ловкий фокусник в сравнении с простым ремесленником, в совершенстве знающим свое дело? Что такое уловки мошенника рядом с честным трудом добропорядочного человека? Что такое хитрости полиции рядом с искусством мудрого государственного управления? Или даже военные хитрости по сравнению с великими маневрами? Если книга Макиавелли «Государь» не является сатирой, как утверждали некоторые, а представляет собой целую систему, во что верю я сам, то я не нахожу в ней ничего менее остроумного и менее достойного автора, которому мы обязаны частью рассуждений о Тите Ливии.

Что касается того превосходства, которое столько историков, порой невольно, приписывают королям-воинам перед королями-законодателями и правителями, я осмелюсь сказать, что в этом они стоят ниже простого народа.

Народ, по крайней мере, чувствует благотворность правления через то благополучие, которым он пользуется; возможно, он не умеет судить о нем или восхищаться им, но он сравнивает и привязывается к нему. Напротив, историкам, о которых я говорю, следовало бы изучать те вещи, которые чувствует народ, и изучать даже саму суть того, что есть народ. Однако изучение - это тяжкий труд, и кажется, будто историки, подобно поэтам, говорят правителям: «Не наше дело искать великого человека, это он сам должен заставить себя заметить; мы не спускаемся в темные глубины полезного правления; явитесь нам блистательно на вершинах власти и командования. Вы хотите нашей похвалы? Изучите и знайте, что именно мы любим восхвалять».

Государи слишком охотно внимали этим речам; они были придворными писателей и рабами похвалы, даже когда казалось, что они сами её навязывают. Каким количеством крови многие из них считали возможным купить страницу, стих или решающее слово для своей славы! Сколько высоких качеств они сковали в себе и не допустили к участию в своем прославлении! Сколько добродетелей они задушили в собственной груди, считая их врагами той безумной славы, к которой стремились! Они приносили несчастье своей нации и самим себе из-за мысли, что народ ценит свое уважение так же, как поэты - свои хвалебные оды! Они поставили себе целью поражать - поражать во всем и всегда; поражать своих врагов, чтобы победить их; побеждать врагов, чтобы поражать свои народы; поражать свои народы, возможно, для того, чтобы легче творить добро, но также и для того, чтобы не иметь противников в творимом зле! Уважение, любовь, признательность и само почтение казались им слишком слабыми гарантиями власти; им нужны были подданные, пребывающие в изумлении и оцепенении, чтобы считать их готовыми к повиновению. Отсюда притязания на чудеса; отсюда столько предприятий, дерзость которых была несоразмерна силам, призванным в них участвовать, и сопротивлению, с которым им предстояло столкнуться; отсюда столько вызовов, брошенных интересам человечества, силам и мщению всех человеческих обществ, стихиям и всей природе; отсюда столько дерзких попыток опровергнуть опыт веков и вечный разум. Они желали ни много ни мало покорить вечность через безмерность своих деяний, но натолкнулись на рифы, о которые все разбивается и на которых всё заканчивается.

Эти предприятия, несомненно, поначалу являли миру чудеса, но каков финал был дарован столь славному началу? Какие следы оставили они от своего первого взлета? Процветание, величие - всё было увлечено в пучину неудач; всё погибло, вплоть до той самой славы, ради которой было проявлено столько дерзости и совершено столько деяний. Став на закате своем угрозой для государства, ужасом для семей, ужасом для самой славы, она в момент своей гибели была отмечена печатью тщетности и порицания; и каждый упрекал её от имени отечества за ту цену, которую она стоила, и за пустоту оставленных ею воспоминаний.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Общее представление о революции, совершившейся во Франции в конце пятнадцатого века.

Да простят мне здесь некоторую затянутость. Я выступаю против авторов, пользующихся всеобщим доверием, и мне необходимы веские доказательства. Я готов скорее рискнуть оказаться чрезмерно подробным, чем недостаточно убедительным. Начну с того, что постараюсь как можно лучше объяснить, что я понимаю под словом «революция». Обычно под этим термином подразумевают успешное восстание, свержение верховной власти и замену её другой властью вследствие ужасного краха и чудовищного насилия. Это называют революцией, от латинского *revolvere* - возвращать назад, переворачивать всё вверх дном. Я же понимаю это иначе: я называю революцией естественное или принудительное возвращение политического общества к принципам его основания после более или менее долгого и более или менее па-

губного отклонения от них. Таким образом, в общепринятом смысле революция означает потрясение или, по крайней мере, переворот; в моем же понимании - это возврат к принципам вечной справедливости.[194]

Цель общественного состояния или интерес, объединяющий людей в общество, можно выразить двумя словами: жить и наслаждаться жизнью. «Жить» - значит обрести масштабное развитие бытия, высокую интенсивность жизни; «наслаждаться жизнью» - значит обладать великим изобилием вещей, способствующих жизненным удовольствиям. Иными словами: быть всем, чем только можно быть в плане силы, разума и знаний; и обладать всем, что можно собрать в своем владении из предметов, способных сделать существование приятным и безопасным. Или еще проще: мощь и достояние, или даже «быть» и «иметь»; ведь, на мой взгляд, не напрасно глаголы «быть» (*être*) и «иметь» (*avoir*) являются главными глаголами французского языка.

Под «масштабным развитием бытия» или «высокой интенсивностью жизни» я понимаю соединение физической силы с силой моральной, которая черпается в интеллекте, знаниях и характере: это, несомненно, элементы индивидуальной мощи.

Обладая мощью, человек уверен, что получит то, чего ему недостает; обладая достоянием, он уверен, что сможет через других получить то, чего не может достичь сам. Мощь и достояние, тем не менее, - две разные вещи, хотя человеческой природе свойственно стремление объединить их и владеть обоими как дополняющими и гарантирующими друг друга элементами, нежели владеть лишь одним в качестве восполнения отсутствующего.

Свобода, собственность и равноправие - это условия, без которых невозможны ни мощь, ни достояние. Точнее говоря, эти слова выражают обстоятельства, без которых человеческие способности остаются без развития и применения, нужды человечества - без надежды на помощь, а все его риски - без какой-либо защиты.

Следовательно, эти условия лежат в основе первых общественных соглашений: они стали *правами*, как только были признаны в процессе формирования общества. Именно поэтому *права* также считались целью существования общества.

Французский народ был стеснен в осуществлении своих прав, а часть их и вовсе утратил в период феодального правления - в конце второй династии и в начале третьей.

Во времена правления Людовика Толстого народ начал восстанавливать свои права через освобождение коммун.

Этот процесс значительно продвинулся при последних Капетингах благодаря освобождению королевской власти, в чем та нуждалась для противостояния знати. Народ вывел корону из состояния слабого сеньорства и тревог, сопутствующих владению узурпированной властью, чтобы возвысить её и торжественно превратить в монархическую королевскую власть.

При первых Валуа народ оберегал свое восстановление в правах от посягательств неблагодарной королевской власти.

К моменту восшествия на престол Людовика XII это восстановление завершилось: народ не только вернул себе возможность свободно пользоваться своими правами, но и занял главенствующее положение по отношению к сословиям, которые эти права у него когда-то отобрали. Таким образом, народ вернулся в то состояние, в котором его застал феодализм, когда тот одинаково посягал и на права короны, и на права народа. Это, полагаю, и можно назвать революцией.

Французская революция, о которой я хочу повести речь, революция пятнадцатого века стала, таким образом, возвращением всего французского народа к первоначальным условиям любого человеческого общества: к собственности, свободе и равноправию. Разве эта революция не является основой той, которую приписывают восемнадцатому веку, 1789 году? Сделала ли последняя что-то иное, кроме возвращения нации к тому состоянию, в котором она находилась в 1498 году? Это можно будет решить, когда мы более подробно изучим положение Франции в конце пятнадцатого века.

---

[194] 20 июня.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Развитие темы, или основные понятия о революции пятнадцатого века.

Чтобы правильно понять эту революцию, произошедшую в сфере прав, необходимо знать о тех переменах, которые случились в отношении предметов, на которые эти права распространяются; необходимо объяснить это себе и четко представить. Довольно ясное представление о связи, объединяющей общество в целом, можно получить, рассмотрев коммерческое товарищество. Общество в крупном масштабе - это то же самое, чем является частное объединение лиц, созданное для какого-либо сельскохозяйственного, промышленного или торгового предприятия. Эти частные общества - не что иное, как подражание, производные или подразделения общества в целом. Все они заключают договор с целью извлечения пользы из некоего фонда, именуемого *общественным достоянием*, и получения от его использования дохода, который бы удовлетворял потребности участников. Таким образом, и в том, и в другом обществе имеется *материальная база* для эксплуатации. Эта база формируется из вкладов одной части участников; эксплуатация же осуществляется при содействии физических сил другой части, а также ума и знаний третьей. Эти силы, интеллект и знания приравниваются к вложенному капиталу и дают право на долю в продуктах от используемого имущества.

Разница между обществом в целом и коммерческими товариществами заключается в том, что в первом каждый реализует свой вклад отдельно и сам обеспечивает себе долю в общем продукте; тогда как в коммерческом товариществе общая администрация получает и распределяет эти продукты пропорционально фактическим вкладам или услугам, которые были оговорены и приняты в качестве вкладов.

Другое отличие состоит в том, что в частных компаниях участие людей, обладающих физической силой, никогда не считается вкладом, а признается услугой, и оплата их труда входит в расходы по эксплуатации; в то время как в обществе в целом физических способностей достаточно для того, чтобы быть принятым в социальную систему и считаться её полноправным участником.

Третье отличие заключается в том, что частное товарищество заключается между отдельными лицами на определенный срок; в то время как общество в целом заключается между семьями, распространяется на всех их членов - женщин, стариков, детей, - и обязательства в нем длятся столько же, сколько существуют сами семьи.

В обществе в целом доля собственника называется рентой; доля промышленника, не имеющего капитала, - доходом; доля человека физического труда - заработной платой. В частных товариществах доля участников называется дивидендом.

Права на свободу и собственность одинаковы для всех людей, какова бы ни была природа и размер собственности, и независимо от того, владеют они ею или нет. Ведь право собственности - это не само владение, а возможность безопасно обладать тем, что приобретаешь, что получаешь в дар или наследуешь. Права свободы одинаковы для всех людей, есть ли у них собственность или нет. Именно это и называется равноправием.

Когда о правах говорят применительно к собственности и свободе в целом, используют просто термин «права».

Когда говорят о праве собственности применительно к передаче имущества или о свободе применительно к личным обязательствам, говорят о *гражданских правах*, так как эти права регулируются гражданскими соглашениями или законами.

Те же самые права, рассматриваемые в их связи с политическим устройством, называются *политическими правами*.

Посмотрим, что представляет собой политическое устройство.

Свобода и собственность прежде всего требуют средств взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами, а во-вторых, гарантии двух видов: первые - против посягательств одного участника на другого, отдельных участников на всё общество или даже всего

общества на его членов; вторые - против нападок со стороны другого общества. Средства сообщения включают в себя:

1. Дороги, мосты, рынки и т. д.; одним словом, общее имущество, которое необходимо выделить из общественного капитала, чтобы сделать его коллективной собственностью.
2. Услуги, предназначенные не только для перевозки людей и грузов, но также для ремонта и содержания путей и средств сообщения; это заставляет изымать людей или их труд из общей массы участников, чтобы сформировать из них общественную силу и общественную промышленность.
3. Ежегодные доходы, которые могут быть направлены на эти услуги; это требует изъятия части ежегодных продуктов общественного производства для формирования общего дохода.
4. Администрацию для управления распределением доходов, сил и труда при создании и содержании общественной собственности. Эта администрация может черпать ресурсы только в знаниях и интеллекте, имеющихся в общественном капитале, и может существовать лишь за счет части ежегодных доходов, сбор которых она обязана обеспечивать.

Здесь начинается новый способ властвования и обладания. Как только в обществе появляется власть, оплачиваемая самим обществом, права обретают новый интерес, к которому они могут быть привязаны, - источник выгод, на который они могут претендовать. Таким образом, человек начинает различать за пределами гражданских прав права нового рода, которые еще не являются политическими правами, но вскоре станут зависимыми от них.

Осуществление прав после получения средств сообщения, как мы уже говорили, требует гарантий против внутренних беспорядков и внешних нападений.

Против внутренних посягательств первой гарантией является правосудие, которое выносит решения на основании общественных соглашений по частным спорам и нарушениям частных прав. Вторая гарантия - это гражданская сила или вооруженная поддержка для обеспечения исполнения судебных решений. Против внешних врагов гарантиями служат военная сила и система дипломатических переговоров.

Правосудие и сила (или суды и армия), в свою очередь, нуждаются в гарантиях, обеспечиваемых установлением периодических доходов, соответствующих их неизбежным расходам: так появляется еще одна вспомогательная гарантия под названием «финансы».

По мере расширения общества связи множатся, интересы становятся разнообразнее, а трудности усложняются; первоначальных соглашений уже недостаточно для регулирования претензий и прав каждого. Институты гарантии, или политические институты, также требуют правил. Наконец, ежегодные отчисления из частных доходов для формирования государственного дохода, необходимого государственным учреждениям для покрытия их расходов, требуют согласия собственников: в противном случае собственности бы больше не существовало. Для изменения гражданских законов в соответствии со временем, для разработки и изменения военных и судебных законов, для голосования по налогам и составления финансовых законов необходимо национальное представительство.

И наконец, чтобы привести в действие все институты, одобренные национальным представительством, направить их к общей цели, обеспечить существование одних и контролировать все остальные, необходима высшая власть. Наши отцы справедливо хотели, чтобы во Франции эта власть была представлена наследственной монархией, поддерживаемой также наследственной магистратурой, которой могло бы быть изначальное пэрство или пэрство, объединенное в парламент, как мы видели ранее или как видим сейчас.

Все эти институты составляют то, что называется политической властью; их совокупность и взаимные отношения, регулирующие их взаимодействие, образуют так называемое внутреннее государственное право: эти отношения определяются важными соображениями.

Если три власти, под которые подпадают все остальные - судебная власть, королевская власть и та власть, которую нация оставила за собой и которую она осуществляет через представителей - были сосредоточены в одних руках или просто подчинены друг другу, возникла бы власть, которая, стоя выше остальных, не давала бы никаких гарантий против самой себя; она превратилась бы в господство, тем более грозное, чем выше оно стоит. Удалось предотвратить эту опасность благодаря удачному применению законов равновесия к взаимодействию этих трех властей; мудрое распределение весов уравновешивает их, не разобщая и даже не лишая ни одну из них достоинства, которое должно отличать её от других. И это дополнение к государственному праву Франции является плодом конституции.

Здесь отчетливо обнаруживаются новые средства владения и влияния: это доходы, или политическая собственность, и политические полномочия, которые образуют совокупность преимуществ, отличных от материальной базы общества.

Поскольку эти новые средства владения и влияния предназначены для защиты интересов тех, кто составляет основу объединения, и создаются за их счет, из этого следует, что они не могут быть привилегией какой-либо отдельной группы или сословия. Ведь первое условие, которому должны отвечать люди, наделенные властью для защиты интересов всех, - это общность их интересов с интересами всего общества. Им должно быть запрещено создавать интересы, противоречащие общественным, или преследовать выгоду для своей семьи в ущерб интересам всех остальных семей.

Возможность получить доступ к осуществлению политических полномочий называется **политическими правами**. Таким образом, в конституционном государстве или в упорядоченном обществе три вида прав являются общими для всех граждан, независимо от их происхождения: **исконные права, гражданские права, политические права**.

Исконные права: свобода, собственность, равенство.

Гражданские права: право заключать договоры, право преемства, наследования и т. д.

Политические права: возможность доступа к власти, почестям и политическим доходам при соблюдении условий, одобренных всеми.

Повторюсь: гражданские и политические права - это не что иное, как исконные права, рассматриваемые в трех различных аспектах. По сути, это одни и те же права. Исходя из этих понятий, можно более четко проследить и понять ход и цель революции, которая завершилась к пятнадцатому веку. Достаточно нескольких слов, чтобы дать об этом общее представление.

Её целью было возвращение французскому народу тех прав, которых его лишило феодальное правление. Её развитие можно разделить на три периода. В первом, который начинается с правления Людовика Толстого, народ вернул себе свободу и собственность благодаря освобождению коммун. Во втором периоде, который начинается при Людовике Младшем и продолжается до Людовика Святого, народ восстановил свои гражданские права через кодификацию обычаев (Кутюмов) или через «Установления» Людовика Святого. В третьем периоде, который начинается с Филиппа Красивого, народ вновь обрел политические права благодаря вхождению своих представителей в Генеральные штаты.

Как только политические права были возвращены, революция свершилась. И она достигла этой точки к концу пятнадцатого века. Именно это я намерен доказать, оставляя за собой право в ближайшее время опубликовать полную историю трех периодов революции, или историю французского народа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Продолжение изложения. Богатство и просвещение третьего сословия. Судебная система.

Я начну с того, что подчеркну следующую истину: подобно тому как историю королей невозможно отделить от истории остальных людей, так и историю людей, составляющих великое общество французской нации, нельзя отделить от истории материальных вещей, которые её образуют. В них заключены не только начало и цель всех действий, но и движущая сила, которая их определяет, а также средства, которые им способствуют. Невозможно объяснить

прогресс свободы, собственности и равенства, не зная истории накопления богатств. Точно так же нельзя понять и прогресс просвещения, не изучив историю роста богатства, ибо просвещение - это дитя богатства и его неразлучный спутник. Одним словом, без экономической истории Франции не существует истории Франции как таковой.

Хотите ли вы познать ход французской революции, измерить её силу, убедиться в её необратимости? Недостаточно сказать: «Её совершили энергичные люди»; «Её пожелали гордость, достоинство и гнев». Должна быть возможность также сказать, что сама земля продиктовала это; она отказалась кормить угнетателей и угнетенных, разбойников и безвольных жертв; она даровала свое плодородие лишь собственности, свободе и равенству. Земля уступила их первым усилиям и осыпала их своими дарами; ее щедрость по отношению к ним обеспечила им победу над всеми врагами, с которыми им приходилось сражаться повсюду и во все времена. Следует признать: принципы революции не только живут в каждой душе, но и питают всё, что растет на французской земле; они укоренились в наших бороздах. Эти принципы отныне неотделимы от самой территории: их невозможно вырвать оттуда так же, как и из сердец французов. Перейдем же к доказательству того, что нам надлежит подтвердить: установим, что еще в эпоху правления Людовика XII революция ждала лишь добродетельного и просвещенного короля, чтобы получить торжественное освящение.

Для начала, большая часть материальных ценностей общества и все государственные учреждения находились в руках третьего сословия. Оно владело аллодиальными землями, приобретало феоды и фактически завладело большей частью земель сеньоров на правах цензитариев и других условиях, выплачивая различные земельные ренты. На те земли, которыми оно не владело напрямую, оно оформило ипотечные ренты; уже тогда существовал тот порядок вещей, который мы наблюдаем сегодня, когда класс так называемых собственников на самом деле не владеет и четвертой частью тех полей, лесов и лугов, которые считаются их собственностью и записаны на их имена в налоговых реестрах и в документах о собственности, хранящихся у нотариусов.[195] Третьему сословию принадлежал почти весь капитал, задействованный в сельском хозяйстве, без которого невозможна никакая обработка земли; весь капитал ремесел и искусств, который требовал использования сельскохозяйственных накоплений и способствовал их росту, предлагая удобства и предметы роскоши богатым в обмен на хлеб для бедных и удовольствия для них самих; весь капитал внутренней и внешней торговли, который обеспечивал обмен продуктами ремесел между собой и с продуктами земли, а также способствовал развитию сельского хозяйства и искусств...

Но мало сказать, что оно было владельцем капиталов и земельных фондов; оно также - и исключительно - владело промышленностью, знаниями, опытом, навыками и моральными качествами, необходимыми для того, чтобы заставить эти капиталы работать. Только люди из третьего сословия обладали способностями, необходимыми для занятия сельским хозяйством, искусствами, навигацией и торговлей. Можно сказать, что вся Франция принадлежала им. В этом и заключается основа могущества французского народа. Он был богат, и частные состояния вельмож и дворян зависели от объединения его капиталов и его промышленности с их земельными владениями.

Это процветание третьего сословия стало результатом взаимного и непрерывного воздействия первых сбережений и первых накоплений на раннее развитие ума и зарождающуюся промышленность; а затем - взаимного и непрерывного влияния промышленности и богатства, с одной стороны, на свободу и собственность, с другой; и, наконец, объединенных свободы и собственности - на богатство и просвещение.

И это еще не всё: интеллектуальные способности, развиваясь в третьем сословии через занятия насущными ремеслами, вскоре распространились на профессии, охраняющие самые сокровенные и общие интересы - те, что можно назвать учеными профессиями. Это те, кто посвятил себя сохранению или восстановлению здоровья, управлению имуществом, защите

[195] Народ кричал: «Вот пекарь и пекарша!»

прав - как вещных, так и личных, передаче состояний, для образования ума, для руководства совестью: только третье сословие поставляло людей для всех этих нужд.

Основа социального строя - и до этого момента мы видим только это - заключалась в них, и только в них. Никто в обществе не мог обойтись без третьего сословия; и не было такой потребности внутри самого третьего сословия, которую оно не могло бы удовлетворить самостоятельно. Посмотрите на этот плуг, на этих быков, на этих лошадей, прокладывающих борозду: всё это принадлежит ему. Зеленеющая на соседнем поле пшеница - это его пшеница, это он её посеял. Эти лошади, эти быки - это он их выкормил и выучил; этот плуг - это он его сделал; этот лемех - это он его выковал. Кусок ткани, из которого будет скроено платье, что вы наденете завтра, - это его собственность; лавка, где она выставлена, дом, частью которого является эта лавка, - это его собственность. Это он построил дом; это он соткал ткань. Хлеб, за которым вы идете в эту пекарню, принадлежит ему, и это он его испек. Нужен ли вам врач, совет, учитель, наставник? Именно в третьем сословии их нужно искать, и только там вы их найдете.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Второе продолжение изложений. Муниципальное устройство. Основание монархического устройства. Апелляционные суды. Первая часть монархической системы.

Это изобилие, это трудолюбие, эти знания, о которых мы только что говорили, были первыми плодами свободы и собственности, отвоеванных третьим сословием у феодального правления. Признав это, невозможно представить себе формирование и осуществление политической власти во Франции кем-либо иным, кроме представителей третьего сословия. Если бы эти органы власти не были созданы ими, они были бы созданы против них. Если бы власть не находилась в их руках, она оказалась бы в руках их врагов; это означает, что охранительная власть была бы в руках грабителей, освободительная власть - в руках угнетателей, а отвоеванная власть - в руках врага, который только что был её лишен.

Мало того что третье сословие имело исключительное право на политическую власть, оно было в ней заинтересовано больше всех как владелец основной массы собственности и единственное обладало знаниями, необходимыми для управления. Более того, только оно требовало и желало организации государства; следовательно, оно желало этого для себя: любое учреждение, созданное без него, вызывало бы у него опасения; созданное без него и против него, оно встретило бы с его стороны препятствия. И оно, без сомнения, было бы достаточно сильным, чтобы помешать созданию против себя военной машины или даже просто подозрительного механизма, имея силу свергнуть тот, что уже существовал.

Добавим, что оно заранее приобщилось к политической власти и обеспечило себе возможность её осуществления ещё до того, как она возникла официально, создавая для себя и осуществляя в каждой коммуне власть, защищающую его интересы и права. Коммунальная или муниципальная власть была гарантией города, подобно тому как политическая власть должна была стать гарантией государства. Именно по образцу городов должно было произойти переустройство общественного порядка; он воссоздавался ими и для них. Муниципальная власть, учрежденная против существовавшей ранее политической власти и свергнувшая её, должна была стать фундаментом здания, призванного её заменить: её принципы, её основатели, её деятели - всё должно было быть задействовано в этом. Таким образом, осуществление коммунальной власти было заблаговременным вступлением во владение политическими полномочиями.

Жизнь коммуны заслуживает того, чтобы на ней остановиться как на принципе национального существования, а также как на источнике значительного расширения возможностей личной жизни для людей третьего сословия. Она опиралась на гарантии двух видов: одни были материальными, вытекающими из самого положения вещей; другие - личными, исходящими от самих людей.

Все города, преобразованные в коммуны, принадлежали третьему сословию. Они были окружены стенами, обеспечены оружием и продовольствием. У них были свои склады для общих запасов, свои ратуши для собраний, свои колокольни для созыва граждан, свои люди для защиты и принуждения к уважению своей независимости.

Из этих городов самые значительные и торговые входили в тевтонский или Ганзейский союз - чисто плебейская конфедерация, которая противостояла величайшим державам и унижала самых могущественных монархов. В конце XV века это объединение все еще находилось в расцвете своих сил.[196] Помимо собственных городов и союза шести из них с Ганзейской лигой (которая насчитывала от 72 до 80 членов), французская торговля располагала многочисленными судами, собрание которых образовывало настоящие плавучие города. Эти флотилии всегда были готовы доставить купцов на другой край света, если на родине они подвергались преследованиям, или же находились в постоянном движении ради преумножения богатств, если их единственной заботой было процветание. Перед их отвагой и предприимчивостью открывался новый мир. В 1492 году Христофор Колумб, сын чесальщика шерсти из деревни близ Генуи, удостоился славы открытия Америки; а в 1497 году флорентийский дворянин Америго Веспуччи удостоился чести дать ей свое имя. С другой стороны, Васко да Гама нашел путь в Великую Индию. Таким образом, торговле приходилось выбирать между четырьмя частями света.

Укрепленные города, вооруженные и обеспеченные провизией; корабли; морская конфедерация с семьюдесятью двумя крупнейшими городами Европы - вот что я называю реальными гарантиями коммун, или материальной базой коммунального устройства, каким оно было в пятнадцатом веке.

Помимо этой материальной базы, у коммун были законы, которые они сами себе дали, и обычаи, которые они зафиксировали письменно. Они создали сословия горожан (буржуазию), учредили должности муниципальных чиновников, которых выбирали из своей среды для управления делами общины и отправления правосудия. У них была вооруженная сила для охраны города и оказания помощи суду. У них были свои налоги и свои сборщики податей. Таким образом, в них присутствовали - пусть в малых масштабах, но в полном объеме - все институты, составляющие политическое устройство. Они были настоящими школами государственного управления и кадрами для формирования высших трибуналов, которые должны были стать первым связующим звеном между всеми частями государства и коммунами в рамках монархии.

Первой частью монархической конституции, которая должна была установиться, было правосудие, так как правосудие является первой потребностью общества.

Национальное правосудие сначала отправлялось духовенством: именно сословие общин дало церкви священнослужителей.

Затем оно стало отправляться от имени короля, потому что правосудию требовалась сила и содействие для исполнения его решений; и поскольку представители духовенства не могли выносить смертные приговоры или назначать мучительные наказания по уголовным делам, именно сословие общин предоставило светских судей и силу для исполнения правосудия.

Монархия, установив единое правосудие в государстве и для государства, привлекла французов из всех сеньорий под власть короны и положила конец суверенитету сеньориальных судов. Уже во времена Людовика XII решения судов всей Франции подлежали апелляции в королевском суде.

Я отмечаю, что в то время стали использовать выражения «королевский двор», «королевское правосудие», «королевские судьи» в противовес церковным и сеньориальным судам. Это делалось не для того, чтобы подчеркнуть зависимость правосудия от короля, так как правосудие может зависеть только от самого себя.

Далее у нас будет возможность более подробно проследить историю правосудия вплоть до правления Людовика XII, которое стало эпохальным в этой истории.

---

[196] Просьба к читателю не забывать, что это было написано в конце 1815 года.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Третье продолжение преобразований. Военная мощь. Её испытание в борьбе против англичан.

После установления национального правосудия нация пожелала предоставить в распоряжение короля силу, которая принадлежала бы также и самой Франции, а не ту, которой Франция принадлежала прежде. Это должна была быть государственная армия, пришедшая на смену сеньориальному рыцарству; армия, всегда готовая сражаться со знатью, а не служить для того, чтобы делать её всё более деспотичной и многочисленной, пополняя её ряды всякого рода бездельниками, почувствовавшими в себе склонность к грабежу. Это должна была быть дисциплинированная армия, способная освоить новую систему подготовки, вызванную недавним изобретением пороха и огнестрельного оружия. Одним словом, армия крепкая и долговечная, взамен войск, отягощенных железными доспехами и бесполезными копьями, лишенных связей, узды и не имеющих иной цели, кроме грабежа.

Так началось формирование постоянного ополчения. Эти отряды содержались за счет третьего сословия, которое и создало их, выделив из своей среды. Сначала они состояли из кавалерийских рот. *«Король (Карл VII),* - пишет автор того времени, - *назначил им доблестных и мудрых капитанов, опытных в военном деле, а не ЮНЫХ И ЗНАТНЫХ ВЕЛЬМОЖ»*.[197] Богатые простолюдины вступали в них добровольно. Дворяне также были очень рады туда попасть, но их не было ни в большом количестве, ни среди самых значимых фигур. Затем сформировалась пехота, которая составлялась из одного человека от каждого прихода, и этот человек принадлежал к третьему сословию.

Чтобы иметь дисциплинированную армию, требовалось регулярное жалованье: это снова легло на плечи третьего сословия, и только оно одно его обеспечивало.

Возможно, возникнет вопрос: какова была цена, какова была самоотверженность этих войск, учрежденных Карлом VII, сформированных и оплаченных третьим сословием? Вы сможете судить об этом сами. Именно они за сорок или пятьдесят лет до правления Людовика XII заставили английского короля сойти с французского трона, на который он воссел, и оттеснили на их остров несколько тысяч англичан - печальные остатки великой армии, которую они уничтожили. Я ошибаюсь: это были они, но вместе с ними - буржуа Парижа, Руана и крупных коммун.

---

[197] В другом месте я доказал, что террор не только не способствовал победам 1794 года, но и помешал бы им, если бы что-либо могло стать преградой для тех непреодолимых причин, что делали наше оружие непобедимым. Прежде всего, следует помнить, что первые армии революции и ее первые победы предшествовали террору; следовательно, террор не был необходим для объяснения создания новых армий и новых побед, за исключением того случая, если бы причины первых успехов сошли на нет.

Но эти причины вовсе не исчезли: 1) во-первых, это было неисчерпаемое производство ассигнаций; 2) нехватка продовольствия и отсутствие работы, которые толкали в армию огромное число солдат; 3) пыл, который вызывала в войсках возможность продвижения по службе и получения высших командных чинов; 4) гений, проявившийся у множества молодых генералов, в которых опьянение от нежданного повышения сочеталось с юношеским задором, привычкой к дерзости и небывалым доселе соревнованием в доблести.

Кто-то возразит, что именно террор, погубив множество старых генералов, поставил во главе армий молодых. Но на это можно ответить, что для политики было бы достаточно просто отставить первых от должностей.

Создание, набор армий и их успехи даже не были целью революционного правительства. Монтаньяры создали это правительство не для того, чтобы обеспечить государство армией, а для того, чтобы иметь свою собственную против жирондистов. Террор был делом одной фракции против другой. Тогда казалось, что на службе у Франции находятся две разные нации: одна составляла собственно армию, а другая - армию революционную. Первой руководил Карно, человек, прославленный своим талантом и характером; другой - Комитет общественного спасения. Одна была армией республики, другая - армией Горы. Одна была утешением и честью Франции, другая - ее позором и разорением.

Читая исторические памятники, невозможно без негодования видеть низкопоклонство историков, которые приписывают французскому дворянству честь изгнания англичан и восстановления монархии при Карле VII.

Безусловно, именно дворянство должно было освободить Францию от англичан, так как именно оно их туда и привлекло. Однако именно простой народ исполнил долг дворянства и исправил его преступление.

Несомненно, именно французское дворянство стояло во главе фракций Бургундии и Арманьяка, чьи распри открыли Францию для тридцати тысяч англичан. Несомненно, именно его недисциплинированность, его трусость и невежество его вождей в битве при Азенкуре позволили этой армии продвинуться до самого сердца Франции.[198] Безусловно, именно оно, будучи призвано на помощь Руану, отказалось помогать и содействовать королю в этом деле.[199] К дворянству принадлежал и этот Ги де Бутейлер, губернатор Руана, оставивший город без продовольствия, когда Генрих V пришел его осаждать; он сообщал этому принцу о решениях, принимавшихся в городе во время осады;[200] и он же был оставлен в должности губернатора английским королем после того, как город был взят, и его поведение в итоге выдало в нём предателя.

И не принадлежал к дворянскому сословию тот самый Бланшар, который вынудил короля Англии вести переговоры о капитуляции Руана, уже сданного его недостойным губернатором. Не был дворянином и тот великий гражданин, который провозгласил, что люди останутся непоколебимы, даже когда город будет взят; который, будучи исключённым из условий капитуляции и идя на казнь, ответил другу, убеждавшему его выкупить свою жизнь за деньги, как сделал он сам: «У меня нет богатств; но даже если бы они были, я не отдал бы ни гроша, чтобы помешать англичанину опозорить себя».

---

198 Вот декрет от 27 марта 1793 года, который лег в основу всех последующих законов о подозрительных и служил фундаментом правосудия более года: «Национальный конвент по предложению одного из своих членов заявляет о своей твердой решимости не заключать ни мира, ни перемирия с аристократами и всеми врагами революции: он постановляет, что они объявляются вне закона, что все граждане будут вооружены как минимум пиками и что чрезвычайный трибунал немедленно приступит к полноценной деятельности».

Фукье-Тенвиль во время суда над ним говорил: «Вы обвиняете нас в том, что мы осуждали без достаточных оснований или без надлежащего ведения процесса. Что ж! Если мы и осуждали кого-то, то только аристократов, а закон не допускает нюансов; для них он не предусматривает даже судебного процесса: нужно было лишь установить личность, и всё, что мы делали сверх того, было излишним. Вся наша вина состоит в том, что мы ставили во главу наших приговоров закон от 27 марта, а не закон от 22 прериаля; но, по сути, это одно и то же...»

Прюдом сделал по этому поводу следующее замечание: «То, что Фукье не осмелился сделать ни разу, постоянно практиковалось на глазах Тальена и Изабо в Бордо. Все приговоры народной комиссии основывались на этом декрете об объявлении вне закона».

199 17 жерминаля II года революционная комиссия Лиона приговорила к смерти исполнителя уголовных приговоров Лиона, пятидесятивосьмилетнего Жана Рипе, одного из самых неутомимых палачей революции. Он был казнен собственным братом, исполнителем уголовных приговоров департамента Изер, который ранее помогал ему во время военных казней в Лионе.

200 (*Примечание издателя.*) Прочитав этот ужасающий портрет, написанный со знанием дела, станет понятно, почему при перепечатке (на странице 251) статьи из «Journal de Paris» от 6 января 1792 года, в которой мой отец оспаривал речь, произнесённую накануне Баррером с трибуны Конвента (речь, оказавшую пагубное влияние на исход процесса над Людовиком XVI), он - я имею в виду отца - остановился перед последними словами этой статьи, где говорилось: «Я оспаривал мнения Баррера... потому что он принадлежит к числу добропорядочных и здравомыслящих людей, чьи ошибки заслуживают того, чтобы на них указали».

Он не стал воспроизводить эти слова: их удаление стало необходимым с тех пор, как этот человек проявил себя столь ужасным образом.

...И тот же Сенека, и тот же Бурр,
Чьи добродетели Рим тогда ещё ценил.
(«Британик»)

Зато именно из дворянства, без сомнения, состояли двор и совет Изабеллы Баварской, где был подписан позорный акт об отказе от французского престола в пользу узурпатора английской короны и где была принесена в жертву независимость королевства. И снова именно дворянство после смерти Карла VI и Изабеллы Баварской составляло двор Карла VII, удерживая его в состоянии самого постыдного безразличия к чести нации и его собственной, в то время как англичане занимали его провинции.

И не была дворянкой та крестьянка из Домреми, Жанна д'Арк, которая своим примером воодушевила павших духом солдат и внушила коннетаблю де Ришмону и Дюнуа надежду на спасение отечества.

Не принадлежал к дворянству и тот великий управленец, искусный делец и преданный гражданин, предоставивший Карлу VII средства, необходимые для возвращения Нормандии, - Жак Кёр, против которого граф де Даммартен (отнюдь не буржуа по происхождению) спустя несколько лет затеял позорный судебный процесс, конфисковав и присвоив его имущество.[201]

Не был дворянином и тот учёный изобретатель артиллерии, ставший её первым великим магистром, - Жан Бюро, сын парижского нотариуса, который заставлял английские батальоны отступать и сокрушал стены цитаделей, в которых они укрывались.

Наконец, не были дворянами и те парижские буржуа: Мишель де л'Айе, Жан де Лафонтен,[202] Пьер де Ланкрэ, Тома Пигаш, Николя де Лувье, Жак де Бержьер, которые, находясь под гнётом английского гарнизона в 2000 человек под командованием грозного генерала Уиллоби, воодушевились любовью к отечеству и самоотверженностью ради общего спасения. В пятницу, 13 апреля 1436 года, на рассвете они открыли потайную калитку ворот Сен-Жак для пехоты коннетабля де Ришмона![203]

Он был знатен, это правда, но той знатностью, что стоит выше происхождения. Он был дворянином, даже принцем суверенного дома и сам был правителем, но ещё больше он был врагом англичан, англо-французского дворянства и того развращённого дворянства, что окружало Карла VII. Этот Ришмон, гордый бретонец, очистив двор от недостойных фаворитов принца (все они были весьма родовиты и имели гербы),[204] пришёл на мост Нотр-Дам, чтобы обнять прославленных буржуа, которых я перечислил. Он сказал окружившей их толпе: *«Добрые мои друзья, добрый король Карл благодарит вас сто тысяч раз, и я от его имени, за то, что вы так мирно вернули ему его главный город; и если кто-то совершил проступок перед господином королём, присутствующий здесь или отсутствующий, - всё ему прощается»*. С моста Нотр-Дам он направился прямо в собор, куда вошёл в полном вооружении, и приказал объявить там

---

[201] **(Примечание издателя.)** Я знаю от своего отца, что во время этого обеда, когда он рассказывал императору, что проехал пятьсот льё внутри своей империи и это дало ему прекрасное представление о ее необъятности, Его Величество ответил: «Тем не менее, есть одна точка, где граница слишком сужена, и это меня душит!»

— Король Вестфалии, присутствовавший при разговоре, спросил его: «Какая именно?»

— «Страсбург!» - ответил император.

— «О! - со смехом сказал король, - от Парижа до Страсбурга сто двадцать льё. Помилуйте!».

— Император оживился и произнес: «А разве вы не видите, что от Страсбурга до Парижа всего двенадцать переходов?». Мой отец не записал этот анекдот (или же запись была утеряна), но я не раз слышал, как он его рассказывал.

[202] **(Примечание редактора).** Эта цифра, указанная в рукописи моего отца и в двух копиях, сделанных под его наблюдением, очевидно, ошибочна. Вот доказательство и исправление этой ошибки: Население Неаполя на квадратное лье составляет 1240 жителей. А население Франции составляет всего 915. Превышение на квадратное лье в пользу неаполитанского населения составляет 325, то есть немногим более 26 процентов.

[203] **(Примечание редактора).** То же замечание, что и в предыдущей сноске. В данном случае плотность населения Неаполя на квадратное лье составляет 1240 жителей. А население Франции доведено до 979. Превышение в пользу неаполитанского населения составляет 261. То есть примерно 21 на 100.

[204] Тем не менее, расчеты, недавно проведенные в Париже, оценивают в 20 миллионов стоимость хлопка, который Франция получила в этом году из Неаполитанского королевства. Эта оценка была сделана господином Ришаром; мне неизвестно, на каких данных она основывается.

о полной и безоговорочной амнистии, которую Карл VII свято соблюдал. Никто не подвергся преследованиям; все, кто занимал государственные должности, остались на своих местах. Парламент был заново сформирован из тех, кто оставался в Париже, и тех, кто последовал за королём. И король правил мирно и славно до конца своих дней.

Именно буржуа Руана также вернули этот город королю в 1449 году. Восемьсот человек из их числа, достойные последователи и мстители за Бланшара, подняли восстание и взяли в плен английский гарнизон, который удерживал их в плену; этот гарнизон состоял из элиты английской армии, для которой он служил штаб-квартирой. Этот гарнизон, а вместе с ним и герцог Сомерсет, генерал-лейтенант английского короля, и доблестный Тальбот, прозванный британским Ахиллом, впоследствии открыли свои ворота французским войскам под командованием Дюнуа.

В то самое время, когда Карл VII (или, если быть точнее, его великий коннетабль Ришмон) формировал свою армию, в которую набирали и где платили жалование простому люду, и в то время как горожане делали для этого столько же, сколько и войска, часть дворян вместе с командирами старых отрядов открыто бунтовала. Другие толпились вокруг Карла VII при дворе, столь печально известном своей коррупцией и трусостью. Большая же часть остальных превратилась в фермеров, поскольку они были освобождены от подушного налога и наживались за счет собственников. Были и те, кто становился трактирщиками или содержателями кабаков: будучи освобожденными от косвенных налогов, они могли продавать вино дешевле и зарабатывать больше денег, чем горожане, у которых они переманивали клиентов. Они также становились откупщиками налогов и мытниками, поскольку находили в этом выгоду от грабежа и удовольствие от притеснений. Я говорил, что у дворянства в те времена не было никакого занятия - я был неправ: у них было то, которое я только что описал.

Кто не помнит двор Карла VII в первой половине его правления? Кто не помнит ту толпу недостойных подданных, которые осаждали его - этих Джаков, Болье и прочих,[205] которых герцог Ришмон приказывал арестовывать и обезглавливать на глазах у короля, при этом монарх не смел даже пожаловаться? Восстание части знати и вельмож в ту пору, когда коннетабль Ришмон формировал для Карла VII его ордонансовые роты, подробно описано графом де Буленвилье, который, по словам Монтескье, «прекрасно знал нашу историю и законы». Вот сокращенное изложение того, что можно прочесть в его «Истории древнего правительства Франции»:

«*Когда штаты проголосовали за содержание новых ордонансовых рот, король сначала пожелал, чтобы старые войска отправились на границу для формирования гарнизонов. Он столкнулся с сопротивлением: в городе Бар-сюр-Об он был вынужден приказать утопить внебрачного сына герцога Бурбонского, чья жадность и бесчеловечность разорили город и все его окрестности. Но мысль об этой суровости, которую недовольные назвали „неблагодарностью и непризнанием заслуг“* (принц всегда неблагодарен по отношению к вельможам, когда защищает тех, кого они угнетают), *присоединившись к иным интересам капитанов, вскоре привела к крупным волнениям СРЕДИ ГЛАВНЫХ ПРИДВОРНЫХ ВЕЛЬМОЖ, которые начались в том же году. Однако было недостаточно просто избавить провинции от множества грабителей* (какое название для протеже вельмож, если предположить, что автор не говорит о самих вельможах!). *Требовалось привести войска в регулярный вид и подчинить дисциплине. Король приказал, чтобы вместо десяти или двенадцати лошадей, которых каждый латник обычно вел за собой, вся свита латника была сокращена до трех лошадей и двух лучников... В течение того же года (1440) король смог убедить народ в своих намерениях и добросовестности... что еще сильнее расположило к нему сердца и волю достойных людей. Тем не менее, военачальники были далеки от подобных чувств...*

Они открыто заявляли, что это не та награда, которая полагается за их „услуги“ (под услугами здесь всегда понимаются мнимые права, противопоставленные интересам принца

[205] В Неаполе по прибытии короля Жозефа насчитывалось 64 000 монахов и монахинь. Когда он вступил в Испанию, их там насчитывалось 110 000.

и народа); *что если и дальше оставлять управление государством королю, он „потеряет из-за своей неосторожности и слабости все преимущества, достигнутые до сего дня...“* (Язык мятежников во все времена одинаков: они всегда обвиняют в слабости сильного принца, действующего без них или против них). *Герцог Алансонский склонил дофина к неповиновению королю, его отцу... Он не упускал ни одной возможности привлечь на свою сторону других принцев крови и великих капитанов... Его интрига увенчалась успехом в отношении герцога Бурбонского, графов Вандомского и Дюнуа, сеньора де Ла Тремуйля, бастарда Бурбонского, ставшего впоследствии адмиралом, и сеньора де Шабанна; все одновременно нарушили королевский указ, возвращая отряды в сельскую местность и покидая границы... «Король прибег к переговорам, чтобы разобщить этот заговор... Заговорщики отказались договариваться... Король был вынужден выступить против них... Эта война получила название Прагерия»*.[206]

Известно, что дофин оставался в рядах восставших до конца жизни своего отца, и вместе с ним - часть двора. Причины этого восстания были не менее отвратительны, чем само оно было преступным. Введение общих и постоянных налогов (талей) для содержания королевской армии повлекло за собой отмену сеньориальных податей; иными словами, это лишало сеньоров средств для содержания собственных войск и возможности объединяться для ведения войны против короля. Таким образом, их сила исчезала перед лицом той мощи, которую нация дала монарху и которую она обязалась поддерживать путем постоянного обновления и пополнения армейских рядов.

С другой стороны, капитаны считали возмутительным посягательством на свое достояние запрет на грабеж народа, которым они занимались. Действительно, грабеж был единственным средством к существованию для рыцарей-бакалавров и безземельного дворянства, которое спустя некоторое время после учреждения первоначального рыцарства начало формировать отдельное сословие и приняло это имя. Таким образом, самые сильные интересы сеньоров, рыцарей и дворян того времени ополчились против королевской власти и самого короля; они неизбежно становились врагами его личности и проявляли непримиримость к его реформам.[207]

---

[206] (*Примечание редактора.*) Сказанное здесь и, в особенности, то, что будет сказано в ответе моего отца на одиннадцатый вопрос императора об экспорте масла, полностью подтверждает мои слова в III томе этого сборника (примечание 2 внизу страницы 528) о причинах, лишавших финансы огромных ресурсов, которые вряд ли можно оценить менее чем в 18–20 миллионов в год. Ведь недостаточно оценить вывозные пошлины на товары первой необходимости - к ним нужно добавить и те пошлины, которые приносили бы импортные промышленные изделия, купленные на выручку от продажи этих товаров. Эти предметы королевство не производило из-за отсутствия собственной промышленности и ввозило из-за границы. Но император, преследуя свои частные цели, предпочитал не учитывать эти факты и сложившуюся ситуацию, чтобы иметь повод выражать недовольство управлением финансами Неаполя.

[207] К середине VII года в двух законодательных советах Франции шла речь о том, чтобы установить налог на соль в местах ее производства и в устьях рек. Многие депутаты тогда кричали, что это восстановление габели (налога на соль). Вот что я напечатал по этому поводу в «Парижской газете» (Journal de Paris) от 16 плювиоза:

«Если частное мнение члена Учредительного собрания, по докладу которого было принято решение об упразднении системы генерального откупа, может иметь хоть какой-то вес в дискуссии о предлагаемом налоге на соль, я бы сказал, что не знаю ни одного другого косвенного налога, который в меньшей степени вел бы к возобновлению притеснений, связанных с габелью. Он не имеет ничего общего с нашими косвенными налогами, так как расходы на его сбор ничтожны, а меры по борьбе с мошенничеством ограничиваются надзором за соляными болотами, солеварнями и границами Франции. Таким образом, частным лицам не стоит опасаться ни проверок грузов в пути, ни обысков на дому; нет необходимости даже в одном-единственном сотруднике на всю Францию за пределами мест производства и границ. Это существенно отличается от налогов, которые повсюду расставляют часовых и ежечасно навязывают гражданину подчинение. Я не знаю более простого и мягкого налога, чем тот, аванс по которому вносит первый покупатель налогооблагаемого товара, получая затем возмещение от торговцев, которые, в свою очередь, возмещают свои расходы за счет потребителя. Сбор такого рода налога осуществляется небольшим числом людей, а его распределение происходит впоследствии полюбовно, благодаря естественному и плавному движению торговли и в соответствии с запросами потребителей.

Разве этих обстоятельств недостаточно, чтобы ясно доказать, что армия, изгнавшая англичан, не состояла и не могла состояла лишь из небольшого числа дворян?[208] Чтобы убедиться в этом, разве не достаточно заметить, что этой армией командовал коннетабль де Ришмон - принц, преданный делу восстановления трона и нации, ярый враг англичан, а также тех вельмож, которых он считал их союзниками: одних потому, что они разделяли и поддерживали разложение двора, других потому, что их разбойничьи набеги опустошали страну.

Я уже упоминал, что та часть феодального дворянства, которая не восстала против короля и не участвовала в заговоре против национального престола, посвятила себя низменным занятиям, а также темным и прибыльным притеснениям. В этих вопросах мои доказательства не менее подлинны, чем в предыдущих: мои свидетели - это короли, а их показания - это их законы.

Карл V в своих указах от 1382, 1383 и 1388 годов сначала запрещает дворянам брать налоги на откуп; затем он упрекает их в том, что они, вопреки его запретам, всё же брали их, и налагает наказания на нарушителей. Наконец, он винит их в том, что они обходили его указы, поручая сбор налогов своим слугам и челяди, которые при этом постоянно унижали, избивали, ранили и убивали тех, кто предлагал более высокую цену на торгах и не принадлежал к дворянству.

В 1392 году тот же государь упрекает их в том, что они становятся содержателями кабаков, заявляя им, что *«не дворянское это дело - быть трактирщиками»*.

На эти цитаты могут возразить, что, относясь к концу XIV века, они вовсе не доказывают утверждений, касающихся середины XV столетия. Я отвечу законом Франциска I от 1540 года, положения которого доказывают, что в этот промежуток времени практика или злоупотребление «дворянскими тавернами» не прекращалось. Фактически этот закон повторяет запрет Карла V в тех же самых выражениях: *«что не дворянское это дело - быть трактирщиками»*. Повторение того же осуждения в тех же словах является доказательством непрерывности злоупотреблений. Добавлю, что Клод де Сейссель, советник Людовика XII, говорил, что в его время *«все люди, за исключением дворян - из которых, впрочем, я исключаю не всех - занимаются торговлей»*.[209]

В ту же эпоху Франциск I, говоря о большом количестве дворян, вновь отмечал: «Они занимаются земледелием и пахотой, а также всеми другими механическими и простонародными делами, точно так же, как это делают плебеи и люди из третьего и низшего сословий, платящие наши подати и налоги, при этом сами они [дворяне] не платят нам ничего; это оборачивается великим притеснением и бременем для вышеупомянутых людей из третьего и низшего сословий».

Безусловно, это наносило значительный ущерб тем несчастным, на которых лежало бремя налогов и податей, ведь дворяне занимались своими профессиями, не выплачивая сборов, которыми те были обложены. Привилегированные лица, имея возможность производить или продавать товары дешевле, чем простолюдины, и при этом зарабатывать больше, неизменно пользовались предпочтением покупателей. Таким образом, они устанавливали монополию на продажи и исключительное право на откупа; иными словами, они увеличивали для народа тяжесть налогов и одновременно лишали его средств для их выплаты.

Налог на табак, который Мирабо называл лучшим из плохих налогов, далеко не обеспечивает такой же легкости сбора и, прежде всего, таких же доходов, как налог на соль в местах производства. Причина этого очевидна: табак имеет большую стоимость при меньшем объеме, чем соль, и поэтому его легче перевозить контрабандой, что не позволяет поднимать налог на производство выше определенного уровня. Кроме того, поскольку табак является предметом потребления лишь для удовольствия или по привычке, налог ведет к снижению его потребления. Иначе обстоит дело с налогом на соль - предметом первой необходимости, всеобщего потребления, имеющим малую стоимость при большом объеме».

[208] (*Примечание редактора*). У этого текста отсутствует начало; он упоминается в письме моего отца мадам Рёдерер от 20 июля 1806 года.

[209] (*Примечание редактора*). На набережной Сан-Леучо, у самого моря.

Добавлю сверх того, что статья из наказа, представленного объединенными тремя сословиями в 1484 году, призывала короля поручать дворянам наряду с горожанами, опытными в военном деле, командование ротами жандармов:[210] настолько верно то, что первые вовсе не желали служить в этом ополчении, которое имело тот недостаток, что принадлежало монархии, и дисциплина которого была в их глазах еще одним пороком.[211]

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

Четвертое продолжение изложения. Королевская власть.

Мы говорили, что для того, чтобы привести в действие и заставить работать слаженно все части политического устройства, требовалась центральная власть, королевская власть, монархический авторитет. Она существовала во Франции во времена Хлодвига и во времена Карла Великого, но она перестала существовать во времена Карла Лысого, Гуго Капета и его первых преемников. Кем же она была уничтожена? Карлом Лысым, Гуго Капетом и всеми теми вельможами, которые, подобно Гуго Капету, присвоили себе королевскую власть в провинциях, вверенных их заботам. Кто вернул ее к жизни? Городские общины, когда они освободились при Людовике Толстом. Кем же она была укреплена? Городскими общинами, разбогатевшими после своего освобождения. Кто вооружил короля постоянным войском и предоставил ему средства для его содержания? Общины при Карле VII. Чем же была королевская власть при Людовике XII? Это была высшая магистратура общин, верховное командование армией общин, высшее управление финансами, предоставляемыми общинами, надзор за судами, состоящими из выходцев из общин; и здесь следует добавить: это было руководство делами веры и общим образованием, обеспечиваемыми общинами.

Чего же еще не хватает третьему сословию, чтобы обладать и в полной мере пользоваться политическими правами и властью?

Двух вещей: права утверждать налоги и права инициировать полезные законы или реформу несправедливых законов, а также осуждать злоупотребления, которые нарушают общественный порядок или просто политическую систему. Что ж! Эти права существовали и в ту эпоху, на которой мы остановились; и это единственная истина, которую нам остается доказать.

В 1789 году много писали о том, в каком объеме эти права существовали в пятнадцатом веке, о том, каким образом они осуществлялись, и о формах, которые отнюдь не были их мерилом и являлись лишь ложной видимостью. Я не могу понять, что помешало тогда изложить факты так, как их представляют исторические памятники. Один из этих фактов заключается в

---

[210] (*Примечание редактора*). Эта острота не вызовет удивления, если знать, что в этом королевстве с пятимиллионным населением насчитывается 163 принца и 279 герцогов; итого 428. Я заимствую эти цифры из рукописи аббата д'Экспийи под названием «Географический, исторический, генеалогический, геральдический и хронологический трактат о Неаполитанском королевстве», 1 том в фолио, 1756 г.; я передам этот том в Императорскую библиотеку для обеспечения его сохранности.

При соблюдении пропорции населения во Франции должно было бы быть 3182 герцога! Следовательно, пришлось опуститься очень низко, чтобы набрать такое количество лиц для награждения этими титулами! Поэтому не стоит удивляться, что большинство из тех, кто их носит, ради пропитания нанимаются на самые низшие должности.

Сколько герцогов было во Франции, когда Мазарини, щедро раздававший патенты на этот титул, говорил: «Я создам их столько, что будет стыдно ими быть и стыдно ими не быть»? Мне не удалось это проверить, но, безусловно, их число и близко не подходило к неаполитанскому! В «Общем состоянии Франции» графа де Варокье мы видим, что в 1789 году во Франции было всего 39 герцогств-пэрств; 27 потомственных герцогов, не являющихся пэрами; 24 титулованных герцога. Итого: 90.

Титул принца здесь даже не упоминается, так как во Франции он принадлежал исключительно членам королевской семьи. Впрочем, его также носили в качестве иностранного титула некоторые французы, имевшие на то разрешение, но их число было крайне ограничено.

[211] Во Франции на одного пролетария приходится пять собственников, а в Неаполе на одного собственника приходится десять пролетариев.

том, что осуществление политических прав третьего сословия в пятнадцатом веке было абсолютным, полным и всецелым; дело в том, что представители общин осуществляли их если и не без ущерба для себя, то, по крайней мере, безраздельно и без противодействия. Третье сословие обладало фактической конституцией - устройством, в котором все права были гарантированы и которому не хватало лишь того, чтобы быть зафиксированным в едином своде законов и составлять цельный текст, поскольку все его положения были прямо или косвенно прописаны в подлинных актах; одним словом, революция уже совершилась и была закреплена. Это истина, которая не вызовет сомнений, когда мы подведем итог того, что происходило на собраниях Генеральных штатов, непосредственно предшествовавших правлению Людовика XII, и в особенности когда мы увидим, что сделал сам этот государь для завершения конституции, укрепления ее принципов и развития ее последствий.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Пятое продолжение изложения. Доказательства наличия политических прав. Третье сословие голосует за налоги, законы и прочее.

Мы уже говорили, что революция была завершена, поскольку третье сословие обладало всей полнотой политических прав. Прежде чем приводить доказательства, я замечу, что среди этих прав есть одно, которое заключает в себе и гарантирует все остальные: это право голосовать за налоги. С возможностью предоставлять или отказывать в денежных средствах неразрывно связана уверенность в осуществлении всех прочих прав.

Во-вторых, я замечу, что право голоса по вопросам налогообложения может принадлежать только тем, кто обязан их платить; это право неотъемлемо от налогооблагаемой собственности; это право самой собственности. Из этого следует, что даже в собрании, состоящем из трех сословий или штатов, если речь шла о налоге, уплачиваемом исключительно третьим сословием, то именно голосование только третьего сословия могло - и по закону, и на практике - санкционировать его. На практике - потому что без согласия собственников взимание налога стало бы поводом для восстаний и смут; по закону - потому что само понятие собственности потеряло бы смысл, если бы на нее могли посягать два сословия, освобожденные от ее обременений. Это наблюдение раскрывает тайную причину той силы, которую проявили общины в Генеральных штатах, как только они получили туда доступ; оно также объясняет то согласие, с которым нация впоследствии восприняла расширение власти парламента, и даже то предпочтение, которое она отдавала ему перед собраниями трех сословий. Парламент представлял собой орган из видных лиц плебейского происхождения, где третье сословие не видело оснований опасаться притязаний двух других сословий.

Следовательно, если и на деле, и по праву в пятнадцатом веке именно третье сословие единолично голосовало за налоги, то оно же было и единственным, кто мог реально ставить условия своего согласия, жаловаться, добиваться того, чтобы его выслушали, и получать возмещение своих обид. Таким образом, именно в нем на самом деле сосредоточилось участие в законодательной власти, а не в двух других сословиях.

Но не будем ограничиваться логическими рассуждениями, обратимся к фактам: у нас есть неоспоримые данные, которые не просто доказывают власть, которой пользовалось третье сословие. Эти факты доказывают именно торжественное признание его прав.

Подлинно доказано следующее:

1. Что в конце пятнадцатого и в начале шестнадцатого веков только «гранды» - а под грандами следует понимать владельцев обширных доменов или обладателей высших коронных должностей на правах феода; только они, скажем мы, а не дворяне вообще, составляли в политическом устройстве отдельный класс; что дворяне, не имевшие сеньорий, смешивались с третьим сословием; и что в Генеральных штатах, созывавшихся в этот период, гранды - сеньоры, признанные или назначенные королем - образовывали отдельную палату, подобно нынешней палате пэров.

2. Что тогда депутаты трех сословий - духовенства, дворян и недворян - избирались совместно, без определенной пропорции между членами каждого сословия, на общих собраниях, как и сегодня.
3. Что все депутаты, к какому бы сословию они ни принадлежали, считались представителями не частных интересов сословия или корпорации, а общих интересов, как и сегодня.
4. Что обсуждения должны были проводиться совместно всеми депутатами национального собрания, как и сегодня.
5. Что голоса должны были подсчитываться по головам, а не по сословиям, и без различия сословий, как и сегодня.
6. Что налоги, для их законного взимания, должны были, как и сегодня, приниматься теми, кто их платил.
7. Что необходимость согласия вытекала из права собственности, присущего каждому французу, как и сегодня.
8. Что собрание депутатов имело право знакомиться с нуждами государства, чтобы определять размер податей, как это делается сегодня.
9. Что талья не должна предоставляться навечно, а лишь на ограниченный срок, подобно современным налогам.
10. Что штаты должны если не собираться периодически, то, по крайней мере, созываться в строго установленные сроки, чтобы продлевать, приостанавливать, уменьшать или увеличивать налог в зависимости от обстоятельств, как это происходит в наши дни.

Если судить по сохранившимся свидетельствам о штатах 1467 и 1484 годов, эти принципы открыто провозглашались самими штатами и признавались двором. Отсюда следует, как мне кажется, неоспоримый вывод: права нации тогда были столь же вне всяких сомнений, как и сегодня. И если им не хватало столь же четкого закрепления в законах и столь же прочных гарантий, то, по крайней мере, они признавались столь же торжественно.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Шестая часть пояснений. Дополнение и гарантии политических прав третьего сословия, основанные на материалах Генеральных штатов 1467 года.

Обратимся прежде всего к штатам 1467 года. Целью их созыва было возвращение Нормандии в состав государственных владений. Людовик XI в трудный момент, наступивший после так называемой войны «Общественного блага», был вынужден уступить эту провинцию своему брату Карлу, герцогу Беррийскому, чтобы добиться необходимого мира. Однако он твердо намеревался пересмотреть это соглашение. Герцог Бретонский, действуя заодно с герцогом Беррийским, разместил гарнизоны в нескольких городах Нормандии и вел переговоры с Англией о присылке английских войск, которые высадились бы в случае, если Людовик XI попытается вернуть провинцию. Людовик XI, помня о различных обстоятельствах, в которых короли Франции находили поддержку в национальных собраниях - начиная с Филиппа Красивого, который с их согласия смог противостоять гневу Бонифация VIII и написать папе в ответ на его безумные притязания в тоне, дотоле неизвестном Ватикану, - счел целесообразным поставить волю штатов между своими обязательствами и своими интересами. Вследствие этого он созвал штаты, чтобы узнать их мнение о договоре, лишившем его Нормандии, о действиях герцога Бретонского, захватившего ряд городов, и, наконец, о его союзах и договоренностях с англичанами с целью привести их в это королевство - *«деле проклятом и имеющем пагубные последствия, которого нельзя допускать, терпеть или попускать каким бы то ни было образом»*.

Таким путем он привлекал нацию на свою сторону, разжигал ее рвение и увеличивал число своих сторонников. Он обеспечивал себе поддержку, грозную для его врагов, демонстрировал им внушительные ресурсы и, наконец, оправдывал свои действия в глазах всей Европы.

Филипп де Коммин говорит, что созыв штатов был одной из «хитростей» Людовика XI.[212] Но кажется, он видит эту хитрость лишь в одной мере предосторожности, о которой, по его словам, подумал этот государь: заранее заручиться голосами. Безусловно, мастерство здесь заключалось не в столь жалком приеме; оно состояло в своевременном использовании самого великого и самого благородного средства к успеху, какое только можно было применить. Но здесь важно отметить не Людовика XI, а саму нацию, те общины, в которых хитрость Людовика XI черпала столь внушительную силу. Кем же были тогда эти общины! Значит, они обладали способностью оказать королю великую услугу или не оказать ее, раз попытка склонить их на свою сторону считалась актом мастерства или, по крайней мере, тонкости! Следовательно, они могли принести на алтарь королевской власти огромные богатства, высокий авторитет, многочисленную армию, энергичное мужество - или же оставить ее в запустении из-за безразличия или неприязни!

Порядок, соблюдавшийся на собрании Генеральных штатов Франции, проходившем в Туре в 1467 году, был изложен Жаном ле Прево, секретарем короля и секретарем указанных штатов;[213] таким образом, нет ничего более подлинного.

В материалах этих штатов видны два четко разделенных класса. Но это вовсе не дворяне и недворяне; это, с одной стороны, класс знати, а с другой - класс людей трех сословий, то есть духовенства, дворянства и тех, кто не принадлежит к знати.

Это различие в точности соответствует тому, что сегодня существует между палатой пэров и палатой депутатов - палатами, в которых представители трех сословий заседают вместе, без какого-либо разделения.

Первый класс состоял из вельмож, графов, баронов и членов королевского совета. Они были назначены королем специально для этой сессии, подобно тому как наши пэры назначаются для всех заседаний своей палаты.

Второй класс состоял из делегатов, присланных от привилегированных городов: как священнослужителей, так и буржуа, дворян и прочих лиц, которые прибыли туда, обладая надлежащими полномочиями, представляя собой самую значительную и здоровую часть населения этих городов.[214]

Тот факт, что представители первого класса назначались королем, - истина доказанная. Во-первых, об этом свидетельствует то обстоятельство, что для ассамблеи 1467 года не производилось никаких созывов по бальяжам и сенешальствам, что было бы необходимо для избрания этих вельмож и баронов. Во-вторых, это подтверждается протоколом, где они указаны в одном списке с членами совета, присутствие которых зависело исключительно от воли монарха.

Таким образом, два моих первых утверждения находят подтверждение, а именно: 1) вельможи назначались королем; 2) духовенство, дворяне и буржуа избирались в общинах.

Теперь возникает вопрос: проводились ли в общинах раздельные выборы для каждого из трех сословий? Иными словами, были ли общины обязаны выбирать священнослужителей, дворян и лиц недворянского происхождения в какой-то определенной пропорции? Или же каждое сословие проводило свои собрания для выбора депутатов?

---

[212] *(Примечание редактора)*. На странице 339 третьего тома упоминалось, что мой отец выступал против намерения первого консула применить эту систему во Франции. Здесь же он считает ее необходимой для покоренного, нецивилизованного народа, ставшего неуправляемым из-за институтов эпохи Каролингов и укоренившейся привычки к разбою.

[213] Безусловно, следует избегать слишком исключительного национального духа, провинциального духа или чрезмерно замкнутого семейного духа; но не стоит забывать, что человеческое общество, чтобы быть организованным, должно представлять собой союз наций; нации - союз провинций; провинции - союз главных общин, имеющих в своем подчинении малые общины; и, наконец, общины - союз семей. Если упразднить эти деления и дух, который должен их признавать и поддерживать, и попытаться создать общество из отдельных индивидов, то возникнет анархия.

[214] Этот текст был напечатан в журнале «Veillées des Muses» в 1795 или 1796 году.

Сначала отвечу на второй вопрос: выборы проводились совместно всеми тремя сословиями.

В первом же вопросе я разделяю то, что касается дворянства, и то, что касается духовенства. Я не могу с уверенностью утверждать, что общины не установили для себя правило выбирать одного священника на двух мирян. Однако мне кажется очевидным, что никто не был и не считал себя обязанным выбирать дворян; по этой причине я полагаю, что такая же независимость существовала и в отношении духовенства.

Мое мнение основано на следующей фразе Прево: *«От каждого города было по одному человеку церкви и по два мирянина»*. Если бы три сословия проводили выборы раздельно или если бы община на общем собрании была обязана выбрать по одному человеку от каждого сословия, то в результатах значились бы один священнослужитель, один дворянин и один буржуа, а не один церковник и двое мирян без указания их сословной принадлежности. Следовательно, текст Прево означает, что среди депутатов был один человек церкви и двое мирян, выбранных без разбора как из дворянства, так и из простонародья.

Следовательно, если общины не были обязаны выбирать дворян в какой-то определенной пропорции к священникам и буржуа, то из этого одного уже можно предположить, что они обладали такой же самостоятельностью и в отношении духовенства.

Вполне логично объяснить, почему общины, будучи совершенно свободными в своем выборе, тем не менее по общему согласию отдали треть голосов представителям второго сословия (духовенству) при назначении депутатов. Эти священнослужители были выходцами из третьего сословия, получили образование и пользовались уважением. По этой причине они могли успешно противостоять высшему духовенству - тем придворным прелатам и в целом классу вельмож, к которому эти прелаты принадлежали как по рождению, так и по своему сану.

Таким образом, опираясь на свидетельство Прево, я прихожу к выводу, что выборы были общими и их результат зависел от воли голосующих, падавшей на простолюдинов, дворян или клириков. Следовательно, эти выборы по своей сути были аналогичны нашим нынешним выборам депутатов.

Впрочем, замечу: даже если бы выборы в общинах были принудительно распределены между тремя сословиями (чего на самом деле не было), они все равно дали бы только тех депутатов, которые действовали в интересах общин. Это все равно были бы депутаты от общин. Иными словами, представители каждого из трех сословий, избранные по воле сословия самого многочисленного, были исключительно депутатами третьего сословия.

Теперь необходимо доказать, что депутат, к какому бы сословию он ни принадлежал, считался уполномоченным от всех сословий, исполнителем общих поручений, обязанным действовать в интересах всего общества, а не отдельного сословия.

Мы увидим, что в материалах штатов 1484 года содержатся торжественные и категоричные заявления дворянина из Шампани, рыцаря по имени Филипп де Пуатье. Он резко возразил адвокату, который осмелился заявить, что дворяне прибыли на штаты лишь для того, чтобы требовать подтверждения своих привилегий. Он призвал собрание в свидетели: оно подтвердит, что он говорил исключительно в общих интересах. Он указывает своему оппоненту на полномочия, данные и тому, и другому, чтобы признать, что их мандат идентичен и исходит от одного и того же собрания.

Между тем заметим, что доказательство нашего утверждения заключается в том факте, что все депутаты избирались коммуной, следовательно, недворянским большинством, которое уж точно не наделяло их полномочиями защищать прерогативы дворянства.

Нам предстоит доказать, что обсуждения были общими и что голоса считались по головам. Протокол Прево не оставляет на этот счет никаких сомнений.

В нем видно, что вельможи, прелаты и члены совета сидели на трех отдельных скамьях - это была палата пэров, назначенная королем. Депутаты же городов, духовенства, дворянства и буржуазии сидели вперемешку, без различия сословий, на скамьях, предназначенных для депутатов.

Этого описания заседания достаточно, чтобы доказать общность и единство обсуждения - единство, на которое уже более чем явно указывало избрание, проведенное коммунами. Если бы депутаты от духовенства и дворянства смешались с недворянами, было бы невозможно, чтобы обсуждение не было общим и чтобы голоса подсчитывались иначе, чем по головам.

Протокол доказывает, что так оно и было. После торжественного открытия, на котором присутствовал король, «три сословия, - говорит Прево, - собрались в вышеупомянутом зале (где проходило открытие), чтобы составить единое собрание; ведь невозможно проводить в одно и то же время в одном и том же зале три разных заседания. Они собирались там (говорит Прево) в течение нескольких разных дней». Действительно, собрание длилось восемь дней. Следовательно, Прево говорит не об общем подготовительном собрании, целью которого было бы договориться о средствах связи на случай разделения на три палаты по различию сословий или штатов: он говорит именно о заседающем собрании, итогом которого должен был стать и стал ответ на вопрос, поставленный на обсуждение королем. И что не оставляет сомнений, так это то, что Прево немедленно добавляет следующие слова: «*и они так долго обсуждали вопросы и высказывали мнения, что пришли к СОГЛАСОВАННОМУ И ЕДИНОМУ мнению*».[215]

Здесь уместно заметить, что в этом собрании и в этом споре, породившем единое мнение, участвовали и голосовали не только депутаты трех сословий, сидевшие вперемешку и без различия на одних и тех же скамьях, но и вельможи, прелаты и члены совета, назначенные королем, которые в том же зале имели отдельные скамьи. Таким образом, в течение восьми дней сессии исчезло даже различие между вельможами, прелатами и советниками, выбранными королем, с одной стороны, и тремя сословиями депутатов - с другой, хотя последних было значительно больше. О происходившем тогда можно составить четкое представление, если вообразить, что нынешняя палата пэров собралась бы для совместного обсуждения с палатой депутатов, не сохраняя своих прерогатив, которые свелись бы к нулю из-за такого смешения, поскольку палата пэров менее многочисленна, чем палата депутатов.

Решение штатов гласило, что Нормандия не может быть отделена от Франции и что королям запрещено отчуждать домены короны. Действия герцога Бретонского были подвергнуты резкому осуждению; было постановлено, что король усмирит его силой оружия, если тот откажется вернуть крепости, которые он занимал в Нормандии. И если возникнет необходимость вести войну, дворянство и народ поддержат ее своими силами и своим имуществом, а представители духовенства - своим имуществом и своими молитвами.

Какое еще доказательство слияния двух привилегированных сословий с простым народом может быть лучше, чем это единодушие в стремлениях и предложение всех трех сословий внести вклад из своих средств, без различий и привилегий, на нужды войны?

Разве совместное предложение о выплате взноса, облагающего имущество трех сословий, не доказывает также, что никто не брался голосовать за налог, не обязавшись при этом его выплачивать? Это подтверждает выдвинутый выше принцип: каждый собственник, обязанный платить налог, имеет право голосовать за него лично или через своего представителя, и никто не имеет права голосовать за налог, если он его не платит.

Впрочем, обещая деньги, потребовали реформирования государства; депутаты назначили комиссии для занятия этим вопросом; король назначил знатных особ председательствовать в этих комиссиях, и результатом стали полезные реформы. Это подтверждает и другую истину: с правом давать или отказывать в средствах неразрывно связано право требовать и добиваться принятия законов.[216]

---

[215] «Элементы литературы», статья ТРАГЕДИЯ.

[216] В странах со строгими нравами, таких как республики или даже монархии в периоды смут, когда энергия духа является первейшей потребностью и главным интересом каждого человека, люди находят живое удовольствие в просмотре героических пьес без любовной линии. Но что это доказывает? Лишь то, что люди всегда и повсюду ищут зрелище таких чувств, из которых можно извлечь больше пользы и удовольствия. И это всегда происходит через великую личность; именно в величии мы любим их созерцать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Седьмое продолжение изложений. Дополнение и гарантия особых прав третьего сословия, взятые из материалов Штатов 1484 года.

Генеральные штаты 1484 года состоялись вскоре после вступления Карла VIII на престол. Они в полной мере демонстрируют политические права французов из третьего сословия. Наши историки высказывались об этом собрании очень по-разному. Одни обвиняли его в трусости и предательстве; другие опровергали это обвинение, но не смогли ясно доказать клеветнический характер подобных нападок.

Даниэль мало что говорит о Штатах 1484 года. По словам Мезере, *«оратор, многие представители духовенства, депутаты Парижа и другие поддались влиянию двора и предали общественное дело. Никогда еще,* - говорит он, - *не было столь благоприятной возможности исправить беспорядки и возвести преграды против угнетения»*.

По мнению Мабли, вельможи были продажны и преданы двору; дворянство находилось в подчинении у вельмож; а третье сословие вопреки своей воле поддалось духу рабства.[217] Дюкло думал иначе: *«Штаты,* - говорит он, имея в виду собрание 1484 года, - *в то время уже не действовали из страха или слабости»*.[218]

Гарнье называет наказы 1484 года «вечными памятниками мудрости наших предков» и приводит их подробный анализ. Однако неясно, по какой причине он оправдывается за объем проделанной им работы, за что, по правде говоря, один современный писатель поставил ему это в упрек; и по какой еще более предосудительной слабости он сократил или допустил, чтобы цензура сократила тот памятник, что остался нам от этого подлинно национального собрания.

Мийо, рассудительный историк, не поддался авторитету, который тогда незаслуженно присвоил себе Мабли - писатель скорее резкий, чем энергичный, скорее вспыльчивый, чем мужественный, искусный священник, но посредственный гражданин. *«Штаты 1484 года,* - пишет Мийо, - *заслуживают особого внимания как благодаря произнесенным там речам, так и по причине важности обсуждавшихся вопросов»*; и он приводит несколько смелых примеров, которые прямо противоречат обвинению в раболепии, клеветнически выдвинутому Мабли. Давайте изучим и проверим, что именно сделали Штаты 1484 года. Не будем бояться показаться многословными историкам монархии и читателям, привыкшим сводить все исторические события одним лишь правлением, личностью короля или жизнью двора. Здесь же им придется смириться с тем, что Генеральные штаты выходят на передний план и оказываются в самом центре событий, тогда как двор остается в тени. Эти штаты были, если можно так выразиться, полным собранием нации. Мало того что королевская власть представляет им запросы на налоги, необходимые для государственных нужд, и все документы, требуемые для подтверждения этой необходимости; мало того что она отдает на их суд вопрос о свободах Галликан-

---

[217] См. «Теория нравственных чувств», гл. V, разд. 1, часть I.

[218] *(Примечание редактора).* Консулы только что приняли постановление на основании доклада Государственного совета, выдержку из которого мы приводим. Мой отец в то время возглавлял секцию внутренних дел:

СТАТЬЯ 1. — Дни декади являются единственными праздничными днями, официально признанными и отмечаемыми государственной властью.

СТАТЬЯ 2. — Соблюдение праздничных дней обязательно только для органов власти, должностных лиц и государственных служащих.

СТАТЬЯ 3. — Рядовые граждане имеют право обеспечивать свои потребности и заниматься своими делами в любой день, отдыхая по своему усмотрению, в зависимости от своих желаний, характера и целей их труда и т. д.

Такова была цель, к которой стремился мой отец в серии небольших предшествующих статей, которые вошли в состав этой, и по этой причине я их не воспроизвожу.

ской церкви в ее противостоянии с римским двором и значительной частью французских епископов, - сюда же приходят отстаивать свою честь и наследственные права принцы суверенных домов, разоренные комиссарами Людовика XI. Арманьяки и герцог Лотарингский требуют справедливости в споре с вельможами, которые не постыдились обогатиться за счет конфискаций, ими же и назначенных, и которые, толпясь у трона, пользуются своим положением, чтобы защитить награбленное.

Этого мало: сама королевская семья предстает перед штатами, взывает к их решению и выбирает их арбитрами в своих самых высоких притязаниях и важнейших интересах. Здесь и Анна Французская, дочь Людовика XI, и господин де Божё, его зять, которым покойный государь поручил опеку над Карлом VIII, младшим братом Анны; они настаивают, что регентство неразрывно связано с этой опекой. Здесь и герцог Орлеанский, в котором мы уже видим будущего Людовика XII: он претендует на регентство, полагая его отличным от опеки. Здесь и герцог Бурбонский, старший брат господина де Божё, оспаривающий опеку у собственной невестки. Здесь и герцог Алансонский, желающий войти в совет регентства. Таковы были стороны, представшие перед этим великим трибуналом; таковы были дела, которые ему предстояло разобрать и по которым он вынес решение, отмеченное справедливостью, мудростью и достоинством.

Мы вынуждены оставить в стороне эту торжественную и драматическую часть собрания 1484 года и ограничиться лишь тем, что касается порядка его созыва, состава, обсуждения государственных нужд и согласия на введение налога. Именно в этом наиболее ярко проявляются права, обретенные третьим сословием нации.

Созыв и состав штатов 1484 года проходили иначе, чем в 1467 году.

В 1467 году король по своему усмотрению или доверяя собственному выбору, сам назначал вельмож, прелатов и членов совета, которые должны были составить часть собрания. Городам же он предоставил право выбирать депутатов от дворянства, буржуазии и духовенства по их желанию, но при условии, что на каждых двух мирян будет приходиться один представитель духовенства.

В 1484 году двор точно так же призвал вельмож для проведения штатов, но при этом постарался избежать упреков в произвольном выборе. Были созваны принцы, кардиналы, два высших сановника короны - а именно коннетабль и канцлер, - двенадцать старинных пэров Франции и те сеньоры, чьи владения были наиболее значительными. Назначение же остальных членов духовенства (архиепископов, епископов и священнослужителей низшего ранга), владельцев меньших поместий, оруженосцев и представителей третьего сословия было доверено выборщикам. Духовенство, дворянство и городская буржуазия созывались по бальяжам и сенешальствам; в каждом месте созыва они формировали общее собрание, где все три сословия были перемешаны. Каждое собрание назначало одного дворянина (знатного или нет), одного представителя духовенства (прелата или пастора) и одного незнатного человека. Но поскольку в этих общих собраниях третье сословие составляло подавляющее большинство, очевидно, что именно оно определяло результаты голосования в соответствии со своими предпочтениями. Таким образом, депутаты, выбранные от каждого сословия, на самом деле были депутатами от народа или, по крайней мере, общими депутатами от всех трех сословий.

Эта истина была предельно четко сформулирована рыцарем Филиппом де Пуатье, депутатом от Шампани, о котором я уже упоминал. Согласно подлинному протоколу штатов, во время очень бурной дискуссии он сослался на имевшиеся у него и его коллег полномочия доверенных лиц; он привел их в качестве доказательства того, *«что они не были избраны каким-то одним сословием граждан; что депутаты от дворянства, к примеру, избирались не только дворянами, но и духовенством, и третьим сословием; и что все они в равной степени уполномочены заботиться об интересах всей провинции целиком»*.[219] Мне нет нужды отмечать, что

[219] *(Примечание издателя). Хотя эта статья подписана инициалами А. Б., она определенно принадлежит моему отцу, который глубоко изучал нравы и систему управления Китаем, как это можно будет увидеть в продолжении данного собрания. Кроме того, в этой статье встречаются идеи, на которых он так настаивал в других своих работах на ту же тему; в ней узнается его стиль и характерные выражения. Наконец,*

допущение вельмож в ассамблею штатов исключительно в силу общих для трех сословий выборов является более народным (демократичным), чем практика Людовика XI, который смешивал назначенных им вельмож с народными депутатами.

Остановимся здесь на мгновение, чтобы отметить то мнение, которое Анна де Божё и герцог Орлеанский имели о народе, у которого они запрашивали депутатов для разрешения своих споров. Посмотрим, в качестве первого опровержения клеветы Мабли, насколько они были далеки от намерения или даже надежды подкупить созываемое собрание. Увидим также, какой значимости достигли общины и как сильно будущий Людовик XII и Анна де Божё, желавшая его любви,[220] наперебой стремились выказать благородное уважение к воле народа, которым они жаждали управлять.

Каждый из них, чтобы добиться благоприятных для своего дела результатов выборов, использовал одно и то же средство: давал народу заверения в том, что желает эффективно трудиться на общее благо.

Но эти заверения, одинаково искренние с обеих сторон (причем нет нужды сомневаться, что тайная любовь Анны де Божё к герцогу Орлеанскому была для нее мощным мотивом), могли проявиться с большей выгодой для регентши, назначенной Людовиком XI и уже обладавшей властью, нежели для герцога Орлеанского, который лишь стремился к ней. Герцог мог только раздавать искренние обещания; Анна же де Божё, находясь в более удачном положении, могла заранее обещать и реализовывать часть того, на что давала надежду. Вследствие этого она спешит облегчить участь народа и снизить налоги. И чтобы это облегчение не показалось призрачным, она сокращает расходы.

Людовик XI оставил после себя армию в шестьдесят тысяч человек; она распускает несколько воинских корпусов. Людовик XI держал на жалованье шесть тысяч швейцарцев; она отправляет их обратно на родину. Она открывает переполненные тюрьмы, возвращает изгнанников, возмещает ущерб пострадавшим от немилости, восстанавливает в правах неявившихся в суд и реабилитирует осужденных. Одним словом, в период созыва штатов в ход пускается всё - экономия, правосудие, доброта - чтобы сделать выборы благоприятными для правительства.

Почтение тем принцам, которые таким образом «подкупают» избирательные собрания! Честь тем избирателям, которых надеются привлечь лишь подобными средствами!

Депутаты собираются в Туре и образуют единое собрание, не смешиваясь со знатью, призванной двором. Открытие заседаний происходит в присутствии молодого короля. Порядок рассадки на заседании сначала наглядно и в целом продемонстрирует нам то, что мы подробно узнаем из преданий.[221] Здесь мы видим то же разделение и то же объединение (или смешение), что и в 1467 году; я имею в виду смешение или объединение депутатов всех сословий в одной палате, которая является палатой депутатов, и отделение этой палаты от верхней палаты, или палаты сеньоров, призванных двором.

Зал был разделен на две площадки, одна из которых была возвышена над другой на четыре фута. На верхней площадке был установлен трон. Справа от короля находился герцог Бурбонский, коннетабль, а за ним - два кардинала, шесть духовных пэров и герцог Вандомский. Слева от короля - канцлер, двадцать шесть принцев или сеньоров, среди которых были шесть светских пэров, расположенных согласно рангу их пэрства. Для многих этот ранг был противоположен тому, который принадлежал им как принцам крови; это обстоятельство доказывает, что они присутствовали на торжественном открытии именно в качестве пэров, поскольку, как говорит Гарнье, на больших собраниях пэры не имели иного ранга, кроме того, что давало их пэрство или их земли.

статья, включенная в журнал «Философская декада» (La Décade philosophique) и приведенная выше, также подписана А. Б.

[220] Без сомнения, назван так из-за своей обложки: это «Журнал общественной экономики» (Journal d'Économie publique).

[221] «Парижский журнал» (Le Journal de Paris).

Таким образом, перед нами совершенно отчетливо выраженное и отделенное от корпуса штатов собрание вельмож, весьма многочисленное; и я говорю "вельмож", потому что, помимо светских и духовных пэров, там находились, и притом в еще большем количестве, сеньоры, владеющие обширными землями, которые заняли свое место именно в силу обладания этими самыми владениями.

Эти знатные особы обладали политическим статусом, поскольку звание пэра, будучи официально установленным достоинством, наделяло их полномочиями и давало право первенства перед принцем крови.

Они заседали по праву собственного достоинства. В списках депутатов от бальяжей и сенешальств значатся имена лишь четверых из них. Таким образом, право на участие в заседаниях давали им не выборы.

Следовательно, собрание этой знати напоминало настоящую верхнюю палату, палату лордов или палату пэров, в которой одни имели законный статус, а другие были признаны по факту старыми пэрами и королем.

В нижней части зала, где скамьи располагались амфитеатром, разместились депутаты от трех сословий. Однако епископы, бароны, рыцари и королевские советники заняли места на первых рядах - если верить отрывку из перевода, сделанного Гарнье с рукописного отчета Масселена, участника Штатов.

Перекличка, проводившаяся для распределения депутатов, проходила в следующих выражениях: *«Милостивые государи, избранники и делегаты провинции и герцогства (такого-то), бальяжа (такого-то), сенешальства (такого-то)»*, - без упоминания сословий. Таким образом, при перекличке не подразумевалось, что они были назначены от разных сословий или для них, и даже не подчеркивалось, что каждый из них лично принадлежит к определенному сословию. Это также не предопределяло необходимости разделяться по сословиям для обсуждения дел.

Канцлер Гийом де Рошфор произносит вступительную речь и начинает её словами: *«Милостивые государи депутаты Штатов»*. Секретарь Штатов 1467 года тоже величал их «милостивыми государями», но он не был канцлером Франции. А в 1433 году, в правление Карла VI, канцлер Жювеналь дез Юрсен не проявил к ним подобного почтения. Он начал свое выступление так: *«Досточтимые отцы в Боге, архиепископы и епископы, высочайшие и могущественные принцы, герцоги и графы, и ВСЕ ПРОЧИЕ люди Церкви, дворяне и горожане славных городов»*. Успехи, которых достигла вежливость в канцелярии, наглядно показывают путь, пройденный со времен Карла VI до Карла VIII представителями третьего сословия, которые теперь входили в общее обращение «милостивые государи депутаты Штатов».

Речь канцлера одновременно сердечна, мудра и благородна. В ней соблюдены тончайшие правила приличия; приведены самые трогательные доводы в пользу юного монарха; в словах чувствуется та верная мера доверия и сдержанности, почтения и достоинства, которая свидетельствует о чистой совести. Описав все то доброе, что было сделано за несколько месяцев, прошедших со смерти Людовика XI, канцлер произнес:

«Король намерен сделать еще больше. Ради этого он требует, чтобы вы открыли ему злоупотребления, о которых он может не знать, и не скрывали от него ни одного из бедствий, терзающих народ. Не бойтесь, что ваши жалобы будут сочтены неуместными. Король примет ваши замечания во внимание. А вас, принцы, слушающие меня, я прошу и заклинаю именем родины, нашей общей матери: забудьте о всякой партийности ***И ПРЕДОСТАВЬТЕ ДЕПУТАТАМ ПОЛНУЮ И АБСОЛЮТНУЮ СВОБОДУ****»*. Безусловно, если такие речи были лишь придворной уловкой, чтобы взрастить дух рабства, в чем Мабли обвинял двор, то трудно представить, какими словами следовало бы выражаться, чтобы воздать должное свободе.

Штаты на предварительном собрании, прошедшем без лишней торжественности, выбрали мэтра Жана де Рели, чтобы тот ответил на речь канцлера от имени всех трех сословий. Этот Жан де Рели, выходец из парижской буржуазии, был всего лишь доктором теологии, впрочем, достопочтенным каноником собора Нотр-Дам. Свое выступление он начал с просьбы *«не корить его за дерзость, безрассудство или самонадеянность из-за того, что столь ничтожная*

особа, невежественная и неопытная в делах гражданских, юридических и политических, осмелилась взять на себя обязанность выступать... от лица этого благороднейшего собрания, в котором присутствует столько достойных прелатов, столько доблестных дворян и доблестных рыцарей, будучи младшим из шести депутатов Парижа».

Торжественное открытие состоялось 15 января. Следующий день был посвящен религиозным обрядам. Через день депутаты собрались сами, не допуская в свою среду никого постороннего[222] - то есть никого из тех, кто, не являясь депутатом, присутствовал на церемонии открытия. Таким образом, депутаты составляют отдельный орган, независимый от пэров и сеньоров.

Эти же депутаты проводят общие собрания без разделения по сословиям. Они начинают с совместного выдвижения председателя и двух секретарей, которые будут исполнять свои обязанности на протяжении всей сессии. Председатель, единый для всех депутатов, отвечает за переписку с канцлером и двором. Таким образом, депутаты, какое бы положение в обществе каждый из них ни занимал, не образуют три сословные группы; они составляют единый и общий орган.

Поскольку депутатов было много, для удобства обсуждений было решено разделиться на шесть комитетов. Правилом для этого разделения послужило географическое деление Франции, и шесть комитетов получили названия шести «наций»: парижская нация, шампанская, нормандская и так далее... Но в каждой нации или комитете представители духовенства, дворянства и третьего сословия объединены; они совещаются вместе, а голоса считаются по числу участников.[223] Депутаты каждого сословия считают себя представителями всех сословий и гордятся этим статусом; дворяне не считают зазорным выступать в качестве представителей не только своего сословия. Упомянутая выше речь Филиппа де Пуатье подтверждает эти факты.

«Каждое подразделение, - говорит Гарнье или, вернее, Масслен, - *имело отдельное помещение, чтобы работать обособленно над вопросами, которые предстояло представить на рассмотрение королю»*.

«Было решено, что затем все снова соберутся в общем зале, чтобы выслушать отчеты о работе каждого подразделения, выбрать самое важное и составить единый наказ, который содержал бы требования всей нации. Депутаты разошлись, и каждое подразделение работало за закрытыми дверями весь остаток января. В начале февраля шесть наций собрались и обменялись результатами своих трудов».[224]

Эта работа была началом подготовки наказа для представления королю жалоб и претензий нации. Я буду постоянно использовать слово «наказ» в единственном числе, а не «наказы», потому что, как и было условлено, фактически был составлен лишь один наказ, разделенный на пять глав: первая касалась Церкви, вторая - дворянства, третья - положения простого народа, четвертая - правосудия, пятая - торговли. Кроме того, штаты представили, но отдельно, свое мнение о совете регентства и совершеннолетии короля. Даниэль составил из всех этих глав того же наказа и из мнения относительно регентства шесть отдельных тетрадей, три из которых, по его словам, были представлены каждым из трех сословий по отдельности, а три - совместно. Эта ошибка опровергается самим документом, который представляет собой единый текст и напечатан под таким заголовком: *«Ниже следует НАКАЗ, который был представлен королю и его совету тремя сословиями и зачитан тем же Жаном де Рели, который отвечал на вступительную речь канцлера»*. Его можно найти в «Собрании документов Генеральных

---

[222] И в этом, безусловно, правы, ибо ум должен направляться удовольствием, чтобы приобщаться к чтениям, которые не являются для него насущной необходимостью или строгой обязанностью.

[223] Статья X закона от 3 брюмера IV года: «Назначения на вакантные места производятся Институтом по списку, содержащему как минимум три кандидатуры, представленному тем отделением, в котором открылась вакансия».

[224] Статья XI закона от 15 жерминаля IV года гласит, что, когда возникнет необходимость в проведении выборов, секция, в которой открыто вакантное место, представит отделению список как минимум из пяти кандидатов. Следующие статьи устанавливают, что отделение сокращает этот список до трех имен, после чего он представляется трем объединенным отделениям, которые и проводят выборы.

штатов», том IX. Впрочем, не следует забывать и о решении, принятом на первом заседании штатов, составить именно единый наказ.

Два случая на этом заседании подтверждают, что в подразделениях или нациях дискуссии велись между всеми депутатами без различий и что голосующие высказывались по отдельности (поименно); они также доказывают, что на общих собраниях, после совместного обсуждения, большинство наций сформировало решение; но что в каждой «нации» голосовали поголовно, так что это решение исходило от большинства индивидуальных голосов.

Первый из этих инцидентов возник между депутатами духовенства второго ранга, объединившимися с третьим сословием, с одной стороны, и епископами - с другой. Третье сословие и духовенство второго ранга требовали восстановления «Прагматической санкции», то есть выборов на церковные должности и бенефиции, взамен ультрамонтанских пожалований, которые возобладали при Людовике XI, без ущерба для тех полномочий, которые король сохранял за собой с согласия папы.

Заметим это первое обстоятельство: представители духовенства второго ранга, действуя совместно с третьим сословием, выносят из бюро или «наций» единое и общее пожелание вопреки мнению епископов. Большинство последних были живыми и говорящими доказательствами недостойности системы назначений, практиковавшейся римской или французской курией. Эти священнослужители и представители третьего сословия, таким образом, пришли к согласию; они обсуждали вопросы вместе в бюро и голосовали поголовно?

Епископы оскорблены вольностью, допущенной в отношении папы и особенно в отношении их самих; их вовсе не слушают. *«Духовенство второго ранга, - говорит Масселен, - и третье сословие энергично отстаивают свое требование; и собрание постановляет, вопреки мнению епископов, включить в проект наказа статью, требующую восстановления Прагматической санкции»*. Таким образом, обсуждение в генеральной ассамблее было общим; голоса в ней считались поголовно или по «нациям», что сводится к одному и тому же, поскольку в каждой «нации» голосовали и формировали свое мнение именно поголовно.

— Епископы протестуют; страсти накаляются. *«Едва не дошло до того,* - говорит Гарнье, - *что этих НЕСОГЛАСНЫХ епископов заставили бы покинуть собрание»*. Эти епископы были частью собрания; они участвовали в обсуждениях вместе с ним; следовательно, голоса считались без различия сословий.

Наказ трех сословий просит короля, покровителя и защитника свобод галликанской церкви, чтобы ему было угодно не оставлять их без защиты. В нем указывается, что если назначения со стороны римского двора и те, что делает французский двор по согласованию с Римом, продолжатся, то это королевство, и без того слишком обедневшее, увидит, как утекают те немногие деньги, что у него остались; что на бенефиции будут назначаться люди неграмотные, не духовного звания, *как это уже случалось*, и что церковная порядочность и дисциплина, которая нигде более не сохранилась, погибнут.

Епископы направляют королю свой протест и заявляют ему в пространном прошении, что, будучи главами галликанской церкви, только они имеют право предлагать правила, касающиеся дисциплины; что для любого изменения в этой материи должен быть созван весь корпус епископов; *«что их в собрании штатов лишь небольшое число»*. Впрочем, они одобряют и соглашаются со всеми статьями наказа штатов. Это недовольство и это одобрение в равной степени доказывают как факт общего обсуждения, так и участие епископов в составлении общего наказа.

«Это прошение, - говорит Гарнье или, скорее, Масселен, - *будучи передано штатам, вызвало всеобщее возмущение. Люди ополчились против поведения оппонентов, и их притязания сочли новыми и злоупотребляющими... Ответили, что нет никаких причин приглашать на политическое собрание, подобное Генеральным штатам, большее число депутатов от духовенства, чем от любого другого сословия...; что епископы могли бы воздержаться от выражения своего одобрения статьям, которые не касаются Церкви, так как согласие или ОППОЗИЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСТНЫХ ЛИЦ не может ни ослабить, ни подтвердить волю НАЦИИ*». Достаточно ли ясны эти слова? Прелаты здесь не рассматриваются как отдельное сословие; они даже

не признаются частью привилегированного сословия. Собрание видит в меньшинстве лишь частных лиц; только в большинстве оно видит нацию. Невозможно выразить более определенно обстоятельство, которое лучше всего характеризует собрание, где упразднено всякое различие сословий и где голоса считаются поголовно, косвенно или явно.

Когда совет получил наказ штатов, он сформировал три комиссии (бюро) для его изучения и подготовки ответов короля совместно с теми членами сословий, которые были туда приглашены. Церковные дела были переданы в комиссию, которая собиралась у кардинала де Бурбона. Вопрос о выборах был поднят там с тем же пылом с обеих сторон. Генеральный прокурор парламента, который был вызван или прислан на заседание, либо же вмешался по собственной инициативе, задействовал свой авторитет. Он заявил, что только Прагматическая санкция может дать Церкви просвещенных и бдительных пастырей, и поскольку отмена этого национального закона никогда не была официально подтверждена, он будет преследовать в суде любого, кто осмелится впредь препятствовать его исполнению.

Таким образом, генеральный прокурор решил, что требование о восстановлении Прагматической санкции и притязания на сохранение ее отмены были одинаково иллюзорными, поскольку Прагматическая санкция на самом деле вовсе не была отменена. Это решение удовлетворило все три сословия, объединившиеся против епископов. На этом дело и остановилось.

Вернемся к общему заседанию от 2 февраля. Я обещал рассказать там о другом инциденте, из которого следует, что голоса подсчитывались без разделения по сословиям.

После того как были обсуждены несколько вопросов, которые должны были войти в наказ, председатель предложил обсудить: 1-е - то, что касалось охраны и воспитания юного короля; 2-е - формирование совета, которому будет доверено управление делами в период его несовершеннолетия. Он заметил, что для принятия решений по таким вопросам не кажется уместным сводить голосование к шести голосам, каждый из которых выражал бы мнение целой «нации»; *«что ему кажется более целесообразным, чтобы голоса подавались по бальяжам или же чтобы каждый депутат подавал свой голос лично, не следуя в данном случае тому, что соблюдалось в других вопросах»*.[225] Мотив председателя заключался в том, что первая «нация», парижская, будучи более многочисленной, чем остальные, значительно потеряла бы в весе своих индивидуальных голосов по сравнению с голосами других «наций», если бы ее влияние ограничивалось всего одним коллективным голосом.

Похоже, сословия не стали задерживаться на этом замечании - то ли потому, что были поглощены сутью дел, то ли потому, что состав шести «наций», или комиссий, давал каждой из них примерно равное число голосующих; таким образом, большинство из шести комиссий, голосующих коллективно, представляло - без слишком заметной разницы - большинство лиц, составляющих сословия. Как бы то ни было, щепетильность председателя в вопросе метода, который мог уменьшить численное значение некоторых индивидуальных голосов, достаточно ясно показывает, насколько тогда были далеки от признания различий в их политической значимости.

Теперь, как мне кажется, твердо установлено, что депутаты всех сословий в 1484 году составляли единый и нераздельный орган, где право голоса было равным для каждого депутата.

Мне остается заметить, что численное преимущество было на стороне третьего сословия; прошение епископов служит тому доказательством: они жалуются в нем, что их «лишь очень малое число в собрании сословий»; и доказано, что представители духовенства второго ранга выступали заодно с третьим сословием. Факт в том, что было бы вполне разумно предположить это, даже если бы это не было прямо сказано в истории; ведь духовенство второго ранга всегда набиралось из состава третьего сословия. Таким образом, если бы собрание состояло из

---

[225] Мы очень рады возможности предложить нашим читателям это развитие Заметки, помещенной в нашем предыдущем номере в статье о Национальном институте. (См. в этом томе с. 348, 1-й столбец). Невозможно слишком тщательно собирать точные и четкие понятия, касающиеся первичных операций разума. Именно в них заключаются истинные элементы моральных и политических наук. (*Примечание г-на Редерера*)

трех классов депутатов, равных по численности, то депутаты незнатного происхождения - как миряне, так и духовные лица - составляли бы почти две трети от общего числа.

Перейдем к дискуссиям, которые имели место по поводу налогов. Именно здесь национальная мощь разворачивается и проявляет себя во всей своей энергии.

Вопрос сначала выносится на обсуждение в комиссиях. В конце царствования Карла VII сумма тальи не превышала 1 200 000 франков. Людовик XI увеличил ее до 3 400 000 франков. Анна де Божё сократила ее на две пятых, то есть довела до 1 500 000 франков - суммы, взимавшейся при Людовике XI. Налог всё еще казался на 300 000 франков превышающим сумму, собиравшуюся Карлом VII, но этот избыток был лишь кажущимся. Вследствие повышения номинальной стоимости монеты сумма в 1 500 000 франков при вступлении на престол Карла VIII не содержала в себе больше чистого серебра, чем 1 200 000 франков времен Карла VII, и, следовательно, эта сумма была необходима для покрытия тех же самых расходов. Таким образом, Анна де Божё запрашивала у Штатов 1 500 000 франков.

Штаты заявляют, что «народ Франции готов помогать королю всеми способами, которые будут предложены собравшимися тремя сословиями, но лишь после того, как они будут надлежащим образом проинформированы о делах вышеупомянутого господина короля. Они требуют, чтобы Штатам сообщили, какие именно средства необходимы для содержания военных, выплаты пенсий и так далее. В дальнейшем они просят, чтобы, в соответствии с естественной свободой Франции и учением святого Людовика, на них не налагались ни тальи, ни субсидии без предварительного созыва трех сословий, разъяснения причин и необходимости этого, и без согласия представителей трех сословий».

Двор попытался решить вопрос через шестнадцать депутатов, которых он сам назначил в Штаты. Штаты отвергли этот метод. Назначенные двором шестнадцать депутатов также отказались от сотрудничества.

Коннетабль Бурбон тогда решил представить Штатам детальную и обоснованную таблицу военных расходов. Он предложил предоставить более подробные объяснения через опытных капитанов, которые подготовили основу его доклада.

Штаты не удовлетворились одной лишь таблицей обоснования военных расходов; они потребовали полную таблицу доходов и расходов правительства, а именно: поступлений от королевских доменов, тальи, косвенных налогов и габели (налога на соль), а также расходов на королевский двор, жалованья судейским и финансовым чиновникам и, наконец, пенсий. Они заявили, что сами обеспечат нужды короны, если обнаружится нехватка доходов.

Финансовые чиновники приносят ведомости доходов и расходов. Едва депутаты взглянули на них, как со всех сторон посыпались возмущенные крики. Доходы были скрыты, а расходы преувеличены! Депутаты от Нормандии и обеих Бургундий заявляют, что доходы от королевского домена в их провинциях составляют сумму вдвое или втрое превышающую ту, что указана в ведомостях! Содержание двора Карла VII, увенчанного лаврами и поседевшего в трудах, не стоило и половины того, что стоит содержание двора принца, которому нет и четырнадцати лет! Гвардия этого принца в три раза многочисленнее, чем гвардия Карла VII! Финансовых чиновников не сосчитать, а многие совмещают сразу три или четыре должности! Число пенсионеров достигает девятисот! И так далее.

Еще один скандал. В ведомости расходов замечают статью в 1 200 ливров [226] на подготовку зала для собрания Штатов. Присутствующий на заседании подрядчик Гийом Пуссино, старик, громко возмущается и просит слова. Он заверяет, что его честь задета этим пунктом, и заявляет, что сначала он подготовил зал в Орлеане, а затем обустроил зал в Туре, и все это обошлось всего в 560 ливров,[227] часть из которых ему до сих пор не выплатили!..

---

[226] (Примечание редактора, т.е. сына Рёдерера.) На первой странице рукописи этого мемуара мой отец написал: «Видим ли мы объекты прямыми или перевернутыми? (Вопрос грамматики, а не оптики; он сводится к выяснению того, что означает слово "видеть")».

[227] *(Примечание издателя.)* Я не смог определить, о каком произведении здесь говорил мой отец.

Штаты совещаются. Они отказываются обсуждать заведомо недостоверные отчеты. Депутаты приходят к мнению, что следует проголосовать за ту же сумму для Карла VIII, которая была выделена восстановителю монархии Карлу VII, то есть за 1 200 000 ливров.

В ответ на это предложение королевский совет собирается в Плесси-ле-Тур. Предложение Штатов вызывает бурные споры между принцами и членами совета. Каждый видит злоупотребления в чужих пенсиях или их чрезмерность, объясняя этим крайнюю скромность своей собственной.

Тем не менее, решено настоять на своем перед Штатами. Канцлер дает им решительный ответ, выдержанный, однако, в умеренном тоне. Король, по его словам, запрашивая 1 500 000 ливров вместо 3 500 000 ливров, которые получал его предшественник, на самом деле требует лишь сумму, равную 1 200 000 ливров, взимавшимся при Карле VII. Карлу VIII предоставили бы на четверть меньше, чем его деду, если бы налог был ограничен 1 200 000 ливров; кажущееся увеличение связано исключительно с изменением номинальной стоимости монет.

По существу этого ответа возразить было нечего, и до этого момента ничто в его словах не мешало тому, чтобы его приняли благосклонно; к сожалению, канцлер добавил следующую фразу: *«Разве у короля не было бы повода и основания поддерживать налоги в том состоянии, в каком он их застал?»*.

Эти слова привели штаты в сильнейшее волнение. *«Как!* - восклицают они. - *Неужели у короля есть основания и повод ПОДДЕРЖИВАТЬ налоги, на которые не было дано согласия! Значит, он сможет наложить еще 300 000 ливров сверх тех 1 200 000 ливров, которые жалуют штаты! Значит, он сможет наложить налоги в двойном или даже в тройном размере!»*.

Нации собираются отдельно, чтобы каждая сформировала свое мнение: их взгляды на сумму, за которую следует проголосовать, расходятся. Лишь нация Парижа соглашается добавить 300 000 ливров к предложенным 1 200 000 ливров, но только на один год. Нация Нормандии упорно отказывается добавлять что-либо к 1 200 000 ливрам. Другие нации колеблются в ту или иную сторону; но все соглашаются в одном: когда решение штатов будет представлено королю, Масселен, оратор трех сословий, должен в своей речи выступить против опасных и ложных принципов, выдвинутых канцлером. Заметьте, что выступать от имени всех трех сословий поручено одному-единственному оратору, и этот оратор - человек из простого сословия.

Двор решает вступить в переговоры с наиболее влиятельными членами оппозиционных наций. Герцог Бурбонский и самые способные члены совета являются на собрание нации Нормандии. Депутаты этой провинции не сдаются; будучи скорее упрямыми, чем рассудительными, скорее настойчивыми, чем просвещенными, они не намерены превышать согласованную сумму в 1 200 000 ливров. Они добавляют (и в этом проявляется их мудрость), что предоставляют эти деньги лишь в качестве дара, поскольку не могут согласиться на продление тальи, не заслужив при этом народного проклятия. Они заявляют, что те, кто попытается взимать её без согласия штатов, будут виновны в незаконных поборах. Это заявление было весьма обоснованным.

Комиссары совета, задетые этой речью, противопоставляют справедливости в суждениях нормандцев самую ложную доктрину, излагая её в крайне оскорбительных выражениях. Один из советников принца восклицает: *«Вы хотите обрезать когти королю и считать за ним каждый кусок!»* - заурядная и банальная для тех времен грубость.

«Не смея признаться в этих преступных намерениях, вы выставляете вперед терзания совести, которые на самом деле вас мало беспокоят». - Дерзость продажных лакеев, не понимающих, что такое любовь к общественному благу.

«В каком государстве народ освобожден от обязанности обеспечивать нужды страны?» - Ни в одном из тех, где государство это народ; но во всех тех, где государство это двор.

«Вы что же, намереваетесь создать республику?» - А вы, неужели вы намерены игнорировать при монархии право собственности, из которого вытекает право голосовать за налоги?

«Ваш замысел в том, чтобы сделать народ скупым?» - Нет, в том, чтобы сделать двор менее расточительным. *«Непокорным?»* - Непокорным деспотизму, несомненно. *«Сварливым?»* -

Человека нельзя назвать сварливым лишь за то, что он не пребывает в рабском почтении. *«Безучастным к благу родины?»* - Родина это общая мать, чьими представителями являются депутаты, а вовсе не придворные.

«Вы клялись защищать народ, а не выводить его из повиновения». - Спасать его от рабства и грабежа не значит выводить из повиновения.

«Вы клялись содействовать благу родины, а не подрывать законную власть и основы управления». - Законная власть это не безграничная власть. Основами управления являются налоги, за которые проголосовали свободно, соразмерно нуждам государства, которые четко установлены и признаны законом.

«Мы очень хотим, чтобы вы знали: многие из нас считали, что королю следовало назначить налог в 1 500 000 ливров, не дожидаясь вашего согласия». - Как! Многие, но не все? Как! Несмотря на пагубное влияние двора, вы не были единодушны? Многие! И это было даже не большинство? О, высшая сила справедливости и разума!

«Мы не думаем, чтобы кто-то посмел оспаривать у короля право требовать от своих подданных помощи, абсолютно необходимой для защиты государства». - Никто не станет оспаривать у короля помощь, которую представители всех сословий сочтут необходимой, но этот её статус признают таковым лишь придворные.

«Бесполезно было бы наделять короля верховной властью, если бы он не обладал правом принуждать к исполнению долга тех, кто стремится от него уклониться». - Долг, несомненно, является повиновением закону. Следовательно, верховная власть стоит выше не законов, а тех, кто сопротивляется их исполнению.

«Единственным соображением, помешавшим нам согласиться с этим мнением, было благо народа, которое вы так плохо понимаете». - Похоже, не так уж и плохо, раз в этом вопросе вы понимаете его так же, как и мы. *«И желание предотвратить беспорядки, неотделимые от принудительного взимания налогов!»* - Что вы такое говорите? Неужели это произносите вы? Вы сами-то себя слышите? Разве вы не видите, что обрушиваете под собственной тяжестью всё здание, которое пытались воздвигнуть? Как же так! Вы признаете, что принудительное взимание неизбежно ведет к беспорядкам; что беспорядки неотделимы от сборов, не получивших согласия Штатов! Значит, само такое взимание и есть беспорядок. Следовательно, неверно, что королевская власть может считать это одной из своих прерогатив. Способность вводить налоги произвольно была бы для монархии лишь правом вредить самой себе. Таким образом, депутаты, выступая против притязаний на установление произвольного налога, посягают на права трона не более, чем вы сами демонстрируете абсурдность этих притязаний, признавая, что попытка их осуществить повлечет за собой неизбежные беспорядки.

Оратор заканчивает несколькими разумными фразами: *«Народ отрекся бы от вас,* - говорит он, - *если бы узнал о той постыдной ссоре, которую вы затеяли».* Без сомнения, народ не стал бы возражать против отказа от ста тысяч экю, необходимых для выкупа номинального повышения курса монеты, произошедшего со времен Карла VII; и в этом ораторы совета были правы.

«Возьмите наугад, - добавляют они, - *четырех налогоплательщиков; если среди них не найдется троих, чьи лица засияют от радости и благодарности, мы признаем вашу правоту»*. Это как раз и есть именно то, что следовало сказать; депутаты не должны быть строже своих доверителей. Они должны выражать общее мнение: их право и долг - просвещать его, когда оно колеблется; но они обязаны ждать его решения и не претендовать на то, чтобы им управлять. Они - голос нации, а не ее наставники; они ее представители, а не правители. Если бы члены совета ограничились спором о 300 000 ливров, которые оспаривали нормандские депутаты, нет сомнения, что упорный отказ последних был бы осужден другими провинциями; но гордыня и раболепие терзали добрых слуг совета еще сильнее, чем нужда в пополнении казны.

Нормандцы не отделались одними лишь попреками со стороны оратора совета; им пришлось выслушать и нападки коннетабля герцога Бурбонского, старшего брата сеньора де Божё, мужа регентши. Это был старик, гневливый по своей природе и оскорбленный тем, что

напрасно взял на себя труд обосновывать расходы на армию - что он сделал, надо признать, весьма любезно и убедительно. *«Я знаю,* - в запальчивости произнес он, - *я знаю характер и нравы простолюдинов. Если их не угнетать, они сами станут угнетателями. Снимите с них бремя тальи, и вы сделаете их дерзкими, мятежными и несносными. Только суровым обращением можно удержать их в повиновении»*.

Нормандцы иронично ответили, что поделятся этими победоносными аргументами с депутатами других провинций, чтобы склонить их к покорности. Депутаты других провинций уже уступили, в то время как они, нормандцы, всё еще спорили. Пришлось уступить и им.

Но если провинции уступили в вопросе денег (и справедливо), они оставили за собой право оспорить мнение канцлера и установить принципы, которые её осуждали. Вот их решение: *«Штаты заявляют, что для обеспечения великих дел государя короля и оплаты его воинов они предоставляют ему в качестве добровольного дара и субсидии - и никак иначе, и без того, чтобы это впредь называлось "тальей", а именно как дар и субсидию - такую же сумму, какая взималась и собиралась во времена покойного короля Карла VII, и притом только на ближайшие два года. Также... чтобы угодить ему... они жалуют ему 300 000 турских ливров единовременно, без каких-либо последствий от этого дара и субсидии, по случаю его нового и радостного вступления на престол и так далее»*.

Два последующих пункта *«просят и умоляют, чтобы вышеупомянутому государю было угодно провести и собрать эти Штаты в течение ближайших двух лет в том месте и в то время, когда ему будет угодно; и чтобы уже сейчас были названы, назначены и объявлены эти места и сроки. Ибо упомянутые Штаты не намерены допускать, чтобы впредь на них налагались какие-либо денежные сборы без их созыва, воли и согласия, при соблюдении и сохранении свобод и привилегий этого королевства»*.

Масселену было поручено, как мы уже говорили, сопроводить представление этого указа королю речью и заявить протест против доктрины канцлера. Поскольку норманны сообщили об оскорбительных речах, произнесенных в их адрес, никто не помышлял о том, чтобы умерить пыл, к которому Масселен был склонен от природы.

После того как было оформлено предоставление 1 500 000 ливров, господин де Божё объявил, что на следующий день король отправится в Тур и проведет там заседание. Гроза задержала короля в Плесси, но принцы прибыли на собрание Штатов. Масселен, ожидавший возможности обратиться к королю, не скупился в своей речи на нападки на *«ту пагубную породу советников, которые осаждают слух принцев и роют пропасть под их ногами; которые говорят им, что они могут всё; что они никогда не ошибаются; что их воля - это высшее правило правосудия. Истребляйте,* - говорил он юному монарху, - *немедленно истребляйте этих заразных людей, которые испортят ваше сердце и заразят ваш двор»*. Отсутствие короля ничего не изменило в этих словах; герцог Бурбонский и члены совета выслушали в лицо то, что предназначалось им.

Далее Масселен переходит к правам короны в вопросах налогообложения. *«Если принц,* - говорит он, - *узнает, что налог, даже умеренный, стал бесполезным, он должен немедленно избавить от него народ: это его долг; это обязанность, а не милость. Народ в монархии имеет права и ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННЫМ СОБСТВЕННИКОМ, так как он свободен, а не в рабстве»*.

Применив эти принципы к фактам, Масселен заканчивает следующей фразой: *«Если мы вложили силу и даже резкость в наши выражения, того требовало само дело: мы не можем в этом раскаяться»*.

Каков был результат этого порицания? Двор не только поспешил принять субсидию на условии созыва через два года, но канцлер даже счел нужным принести Штатам своего рода извинения от имени герцога Бурбонского и оратора совета, которые позволили себе лишнее. Он сделал это откровенно, вежливо и благородно, списав на чрезмерное раздражение, обычное для ораторов, слова, которые могли обидеть. *«Король,* - сказал он, - *доволен вашим поведением. Это новое доказательство верности навсегда обеспечит вам его благосклонность. Поскольку в возникших между нами спорах по поводу налога мы воздали должное вашим намере-*

ниям, с вашей стороны вы не должны обижаться, если у нас вырвались слишком резкие выражения и если мы, возможно, использовали некоторые ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. Вы знаете манеру ораторов; они используют все средства, которые считают подходящими для служения своему делу, не обязывая себя к скрупулезной точности. Сегодня, - добавляет канцлер, - *когда мы пришли к полному согласию, выберите определенное число депутатов, которые смогут присутствовать от вашего имени на заседаниях совета и при распределении сумм, которые вы только что предоставили королю, обещая добавить через два года всё, что, как покажется, будут требовать нужды государства»*.

Таким образом, Штаты были отложены на два года согласно их воле, и налог был установлен всего на два года.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Продолжение изложения. Продолжение истории Генеральных штатов 1484 года.

Во время собрания штатов 1484 года произошел примечательный случай, вызвавший дискуссию, в ходе которой были озвучены весьма важные факты и выдвинуты убедительные принципы в пользу - или, скорее, в подтверждение - значимого положения третьего сословия.

Речь шла о том, чтобы решить, на кого ляжет бремя выплаты компенсации, причитающейся депутатам за их двухмесячное пребывание в городе Туре.

Третье сословие утверждало, что каждое сословие должно оплачивать расходы депутатов, выбранных из своей среды. Духовенство и дворянство, напротив, настаивали на том, что компенсация всем депутатам должна выплачиваться исключительно третьим сословием.

Адвокат из Труа по имени Жан Эннекен выступал от лица третьего сословия. Филипп де Пуатье, рыцарь и депутат от Шампани, говорил от лица двух других сословий; я говорю «от лица двух других сословий», а не против третьего, поскольку его речь, из которой я уже цитировал несколько слов, была выражением полного уважения к правам третьего сословия, хотя он и пришел к выводу о необходимости возложить на него выплату компенсаций депутатам.

Жан Эннекен говорил: *«Духовенство и дворяне прибыли на собрание, чтобы просить о сохранении своих прав и восстановлении своих привилегий* (заметим мимоходом это слово «восстановление», которое доказывает если не исчезновение, то, по крайней мере, сокращение привилегий). *Было бы постыдно,* - добавлял Эннекен, - *если бы самые богатые люди нации находились на иждивении у самых бедных».*

Филипп де Пуатье привел два довода: один юридический, другой фактический. Во-первых: *«Когда третье сословие платит налог, оно лишь вносит свою долю в государственные расходы. Если оно оплатит расходы на собрание штатов, из этого не будет следовать, что другие сословия находятся у него на содержании. Каждое сословие оказывает государству равноценные услуги. Духовенство молится, наставляет, хранит истинное учение; дворянство защищает границы, обеспечивает спокойствие граждан, сражается с врагами; третье сословие поставляет продовольствие и платит налоги. Такова доля каждого из трех сословий; эти доли равны»*.

Во-вторых: *«На деле нас прислали сюда не ради наших прав и привилегий, и нам не в чем упрекнуть себя в том, что мы уделяли им больше внимания, чем того желало третье сословие: напротив, мы содействовали успеху всех его просьб и притязаний»*. Такова суть речи Филиппа де Пуатье.

Сегодня не требуется большого труда, чтобы признать: обе стороны ошибались по существу вопроса. Филипп де Пуатье был неправ с юридической точки зрения, потому что поддержание спокойствия - это миссия, которую дворянство никогда не получало и которую никогда на себя не возлагало. Он был неправ и фактически, так как в 1484 году уже не было правдой, что дворянство несет ответственность за оборону государства. Налог, утвержденный штатами на жалованье и содержание постоянного ополчения, доказывает, что служба феодального ополчения (бана и арьербана) прекратилась. Впрочем, она прекратилась на деле, но не была отменена официально, и именно это придает некую убедительность мнению дворянина из

Шампани. Наемные и постоянные войска укрепляли свои позиции, но еще не было объявлено, что только они должны использоваться на службе государству. Королевская власть не осмеливалась признаться, что не желает иных войск; вельможи были от них в ужасе. Простое сословие опасалось, что корона может злоупотребить ими, чтобы перейти от их освобождения к деспотизму. Ошибка Филиппа де Пуатье, таким образом, была извинительна, но она всё же оставалась ошибкой.

Адвокат был неправ фактически, так как Филипп де Пуатье справедливо утверждал, что духовенство и дворянство говорили и действовали заодно с третьим сословием и в его интересах. Он был неправ и юридически, так как, будучи назначенными сообща, совещаясь сообща, работая ради общего интереса и вместе проголосовав за налог на оплату ополчения, используемого для общей безопасности, компенсации депутатам должны были выплачиваться не через взносы, взимаемые по отдельности с собственности трех классов нации, а через налог, налагаемый на всю собственность без исключения и пропорционально доходу каждого.

Однако суть вопроса не в том, что должно занимать нас здесь: перед нами декларации, сделанные Филиппом де Пуатье; это провозглашение принципов, которое он делает от имени дворянства и духовенства, защитником коих он являлся. Это то чувство, которое им движет, и та страсть, с которой он выражается - все эти обстоятельства позволяют понять отношения, существовавшие в конце XV века между двумя привилегированными сословиями и третьим сословием. Я собираюсь дословно воспроизвести основные отрывки из этой речи, которая была сохранена для нас Масселеном и рукопись которой хранится в королевской библиотеке. Эта цитата покажет, насколько доктрина членов совета была далека от мнения, уже тогда укоренившегося в умах даже самого дворянства относительно прав третьего сословия; и что герцог Бурбонский был одним из тех людей, которые, устарев с самого рождения, имеют несчастье жить и умирать на добрую сотню лет позже своего века.

Речь начинается так: *«Я бы очень хотел, чтобы адвокат, который только что излил перед нами столько прекрасных слов, объяснил более ясно: неужели он считает, что депутаты от духовенства и дворянства меньше способствовали облегчению положения народа, чем депутаты от третьего сословия? Каким бы смелым он ни был, я не думаю, что он осмелился бы выдвинуть столь явно ложное и абсурдное мнение»*.

Филипп де Пуатье считает оскорблением простой намек на сомнение в рвении двух привилегированных сословий в пользу общего блага. Он настолько уверен, что они доказали свое рвение, что бросает вызов любому, кто попытается ясно выразить это сомнение. Это чувство собственного достоинства в Филиппе де Пуатье импонирует тем более, что в нем проявляется отношение обоих сословий, совпадающее с его собственным.

И здесь следует повторить, что адвокат Эннекен был несправедлив по отношению к ним: во-первых, тетрадь наказов штатов предлагалась, обсуждалась, утверждалась и редактировалась совместно. Во-вторых, две статьи из речи, произнесенной перед королем в момент ее представления мэтром Жаном де Рели, парижским каноником, выходцем из народа, избранным и назначенным депутатами трех сословий для этой цели, доказывают, что дворянство и духовенство выступили единым фронтом с третьим сословием не только против злоупотреблений, которых можно было опасаться со стороны королевской власти, но и против знати и прелатов. Они доказывают - и пришло время сказать об этом наконец, поскольку здесь это становится очевидным, - они доказывают, что в 1484 году дворянство, духовенство и третье сословие больше не были тремя обособленными сословиями в политической системе; что дворяне и священнослужители в массе своей считали себя людьми того же склада, что и представители третьего сословия; что они почувствовали потребность в его поддержке, чтобы защититься от притеснений, от которых оно само сумело уберечься; что с того момента нация, не будучи однородной, была едина и признавала, как и сегодня, лишь различие между великими и... сильными.

Жан де Рели заступался за это низшее дворянство, к которому принадлежал Филипп де Пуатье - рыцарь без владений и, возможно, недавно получивший титул, - выступая против СТАРЫХ СЕНЬОРОВ, которые отказывались исполнять обязательства по вкладам, сделанным в

пользу душ, пребывающих в чистилище, и в пользу неимущих, по отношению к которым они выступали едва ли не убийцами (как душегубы и разбойники); он выступал также против высоких и могущественных сеньоров, которые угнетали сеньоров низшего ранга, что, по его словам, было противоестественно и противно разуму; наконец, он выступал или, скорее, разражался обличениями против чрезмерных трат знати, которые становились причиной разорения малых сих; ибо, говорил оратор, за расточительностью следует грабеж - ее кормилица, сопровождающая ее повсюду. Вот что касалось знати в жалобах духовенства, дворянства и третьего сословия.

А вот что касалось высшего духовенства. Жан де Рели, каноник Парижа, говоря от имени этого сословия так же, как и от двух других, решительно выступал против проступков высшего духовенства и в особенности против аббатов-коммендатариев. *«Нет больше ни устава,* - говорил он, - *ни религиозной дисциплины в аббатствах, отданных в комменду. В этом сословии святой Церкви царят одни лишь беспорядки... Мы видим, что миряне лучше, чем люди Церкви, и так далее»*.

Не стоит, без сомнения, удивляться сближению трех сословий в этот период нашей истории. Разбою приходил конец: римская курия была ненавистна и презираема; дворянству и духовенству второго ранга не оставалось ничего другого, как вернуться в лоно третьего сословия, из которого они вышли. Занимая подчиненное положение в двух классах, которые хотели господствовать и были слишком гордыми, чтобы не презирать их, они были очень рады найти убежище у этого третьего сословия, которое, обладая силой поднять и поддержать на большой высоте королевскую власть, имело достаточно сил, чтобы поднять и поддержать права нации и укрыть своей эгидой этих маленьких перебежчиков, которые намеревались возвыситься над ней и угнетать каждого по-своему.

«Ответьте мне, - говорил Филипп де Пуатье, - *кто составил наказы сословий, кто защищал дело народа, если не депутаты от духовенства?»*. Это действительно был, как мы только что видели, магистр Жан де Рели.

«Кто снискал нации расположение принцев и привлек внимание правительства к целям ее требований, если не депутаты от дворянства?». Имея возможность приближаться к принцам, они, несомненно, воспользовались этим, чтобы содействовать общим интересам.

«Кто должен больше интересоваться счастьем или несчастьем народа, чем духовенство и дворянство, которые не могут получать свои доходы, если народ не живет в некотором достатке?». Мы видим, что истинные понятия об общественном благе начинают формироваться. *«В то время как адвокаты и законники не перестают обогащаться посреди народного бедствия»*. Это выпад, а не довод. Несомненно, частные несчастья - печальные последствия общественного бедствия - приносят пользу адвокатам так же, как болезни - врачам. Но почему? Потому что одни приходят на помощь в беде, а другие - при недуге. Разве было бы лучше, если бы самые дорогие интересы оставались в забросе, когда они находятся в страдании?

«На каком основании адвокаты осмеливаются присваивать себе одним защиту народа и выдавать себя за его единственных представителей, как если бы депутаты от духовенства и дворянства были наделены полномочиями лишь в интересах своего сословия? Пусть они вскроют свои верительные грамоты, и они убедятся, что ни один депутат не избран каким-то одним разрядом граждан и не уполномочен заботиться исключительно о выгоде этого разряда, но что все они в равной степени назначены следить за интересами всей провинции; что депутаты от дворянства, например, избраны не только дворянами, но также духовенством и третьим сословием».

Я не стану повторять замечание, которое уже сделал по поводу этого заявления, являющегося историческим памятником огромной важности. Но отметим еще раз это раздражение дворянства и духовенства против непризнания оказанных ими услуг, против невнимания оратора от третьего сословия к их желанию отчитаться в делах, против освобождения, которое им предоставляют от обязанности отчитываться, против права оставаться чужаками или проявлять себя противниками общих интересов, которое им хотят приписать.

«Пусть же адвокаты дадут нам знать, - продолжает Филипп де Пуатье, - *на каком основании они претендуют на большие права на признательность, чем мы? Мы обсуждали - и это правда - вопросы, которые касались непосредственно духовенства и дворянства, но облегчение участи народа было главной целью наших совещаний; и раз эта цель достигнута, мы больше не занимались остальным. По их мнению, в государстве должно быть три общественных дела, потому что в нем есть три разряда граждан! Далека от нас подобная мысль»*.

Остановимся на мгновение. Разве не правда, что если отбросить, как спровоцированное взаимное обвинение, оскорбительные слова в адрес адвокатов, то ответ Филиппа де Пуатье в целом заслуживает всяческой похвалы? Разве он не полон разума и справедливости, не блистает благородным гневом? Мы избраны так же, как и вы, вами, для вас; у нас те же интересы, что и у вас, и нет никаких противоположных; мы исполнили свой долг, общую миссию, так же как и вы, вместе с вами, не занимаясь ничем иным, кроме того, что было угодно вам самим. Вы проголосовали, духовенство написало, мы действовали ради успеха ваших желаний: это был наш долг, и мы не желаем от него освобождаться; это было наше право, и мы не хотим, чтобы нас его лишили.

Такова до настоящего момента суть этой речи.

Без сомнения, наши Клермон-Тоннеры, Монтескью, Ларошфуко, Лианкуры, Траси, Лафайеты, Латур-Мобурги - все члены этого прекрасного меньшинства дворянства, которые при открытии Генеральных штатов 1789 года высказались за равенство прав, - не стали бы ставить под сомнение вопрос о том, должна ли любая государственная должность быть доступна всем собственникам и соответствовать их способностям. Несомненно, они также не стали бы выступать с нападками на адвокатуру - одну из прекраснейших опор наших прав, на этот класс граждан, чья независимость и таланты являются самой надежной гарантией независимости судов. Но проповедовали бы они в тех же обстоятельствах принципы более чистые и проявляли бы чувства более патриотические, чем Филипп де Пуатье, и более достойные той доброй славы, которую история навсегда сохранит за ними?

Что за эпоха была тогда, когда дворянин возмущался малейшим сомнением в его преданности интересам третьего сословия, и когда даже его гнев был ярким признанием прав, которые дворянство так долго игнорировало!

Какое это было время, когда дворянство и духовенство сливались с третьим сословием; когда три сословия смешивались в политической системе так же, как сегодня; когда купцы, графы, адвокаты, бароны, врачи, виконты, рыцари, оруженосцы (о маркизах тогда и речи не шло) объединялись, чтобы сформировать вместо трех наций одну единую французскую нацию, какую мы видим сегодня, и не признавали исключений из общего закона ни для кого, кроме горстки вельмож - точно так же, как и мы сегодня делаем исключение для нескольких пэров, чья наследственная магистратура принята как гарантия преемственности трона!

Разве у нас нет веских оснований повторить здесь, что Французская революция началась на три столетия раньше 1789 года? Разве мы не могли бы добавить, что первый прообраз хартии, провозглашенной в 1814 году, содержится в публичном праве, признанном во Франции за триста тридцать лет до этой даты? И что, таким образом, она берет свое начало не в Англии, как принято говорить, а в наших собственных недрах, которые Англия сумела использовать для своей свободы, подобно тому как позже она использовала наши причуды на благо своего судоходства и своих мануфактур?

Что же это было такое, спросят меня, революция восемнадцатого века? Что она сделала? В чем была ее необходимость? Мы скажем об этом вкратце.

Когда королевская власть начала становиться деспотичной - то есть в царствование Франциска I; когда этот государь создал двор, где он смешал родовое дворянство и титулованную знать, чтобы господствовать над знатью, которую он принижал с помощью дворянства, которое он возвышал; когда этот двор стал собранием покровителей для столицы, а его клиентура сама стала выполнять роль покровителей в провинциях; когда, наконец, Франциск I задумал воссоздать для нужд монархии подобие древнего рыцарства, которое когда-то сформировалось против нее, и питал безумную надежду воскресить само явление, изменив его формы и

цели, - тогда захват абсолютной власти был, по меньшей мере, подготовлен. Преемники Франциска I пошли по его стопам: они задумали пагубную идею множить число дворян, чтобы превратить дворянство в многочисленную ливрею прислужников. Тогда придворные отличия и придворный этикет определили ранги для всех и установили степень почтения и почестей, на которые мог претендовать каждый ранг. Из-за этого было развращено гражданское общество, где все равны, и организовано светское общество, где каждый стремился выделиться. Когда вместо цивилизации, стремящейся к исполнению общественных обязанностей, возникла учтивость, которая лишь измеряет их и ищет в них оттенки; и когда по тем же причинам установилась длинная цепь покровителей и подопечных - от хранителя печати до таможенного охранника, - третье сословие нашло даже в этой системе поводы для терпения. Поскольку число дворян с каждым днем росло за счет элиты третьего сословия через определенные судейские должности и за счет его отбросов через покупку дворянства за деньги, взгляд уже не мог четко различить линию, очень колеблющуюся, согласно которой простонародье с одной стороны переходило в ряды дворянства, а дворянство с другой - погружалось в низы простолюдинов. К тому же выдающиеся люди из третьего сословия, обретая в обществе уважение, подобающее дворянству, даже не стремились туда попасть; а все рядовые представители знати, оказавшись на уровне мелкого мещанства без желания туда опускаться, ясно осознавали, что общественное мнение вернуло себе законную власть и потешалось над институтом, который вступил с ним в противоречие.

Но когда в конце восемнадцатого века это дворянство, отвергнутое общественным мнением, осмелилось потребовать самую оскорбительную из привилегий - исключительное право на военные должности, высшие магистратуры и богатые церковные бенефиции; когда по случаю созыва Генеральных штатов оно попыталось присвоить себе в осуществлении политической власти долю, сводившую на нет права третьего сословия - вот тогда-то и пришлось уничтожить эти двенадцать тысяч эквайров, рыцарей, графов, виконтов и маркизов. Именно это и сделала революция 1789 года, избавив Францию от спеси королевского дворянства, подобно тому как пятнадцатый век освободил её от гнета феодальной знати.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Должен ли был Людовик XII противостоять революции или лишить её королевской власти? О том, что он мудро решил её укрепить.

Мне кажется, мы признали, что в конце пятнадцатого века третье сословие пользовалось полнотой гражданских и политических прав; иными словами, оно обладало свободой, собственностью и, кроме того, участвовало в осуществлении власти, которая является их гарантией. Таким образом, каждый француз вновь обрел основу своего исконного состояния - свободного человека, галла, человека, облагороженного обстоятельствами цивилизации. Возвращение к основным правам человека в обществе, таким образом, свершилось: революция была завершена.

Какова бы ни была политическая организация народа, будь она свободной или деспотической, писаной или традиционной, достаточно того, чтобы она закрепилась в обычаях на определенное время, чтобы можно было назвать её конституцией этого народа.

Но слово «конституция» подразумевает под собой идею куда более позитивную, когда устройство государства, соответствующее правам и интересам всех его членов, является результатом последовательности общепризнанных фактов, зафиксированных в подлинных актах. В таком случае её можно рассматривать как договор, свободно заключенный между заинтересованными сторонами; она обладает всеми признаками соглашения. Не имеет значения, что она не составлена в форме хартии под заголовком «конституция», что она не изложена в едином тексте и что условия, принятые в разное время, разбросаны по различным актам - от этого она не перестает быть уважаемой конституцией, стоящей выше любого законного посягательства.

Исходя из этого, у Франции в протоколах штатов 1467 и 1484 годов - то есть в содержащихся в них актах и изложенных фактах - была настоящая конституция. Революция, следовательно, была не только завершена, но и закреплена.

Теперь спросим историков, что, по их мнению, должен был сделать Людовик XII, взойдя на престол в 1498 году, чтобы заслужить одобрение потомков, и в чем они упрекают его поступки.

Скажут ли они, что он доверился конституции по недостатку просвещенности и потому, что не разглядел угрозы, которую она представляла для его короны? Или же что он подчинился ей по слабости? Или, наконец, из-за отсутствия величия в характере? Скажут ли они, что ему следовало с гордостью отвергнуть её как преступную? Или уклониться от неё с помощью исключений или временных приостановок, вечно оправдываемых умело срежиссированными обстоятельствами? Или же направить её по ложному пути с помощью сомнительных законов? Или сделать её применение невозможным из-за отсутствия законов? Или, наконец, принять её с лицемерием и намерением задушить?

Оспаривая предположение, на котором зиждутся эти различные системы, мы заставляем их все исчезнуть: дело в том, что само королевское достоинство, даже будучи заинтересованным, должно было отвергнуть конституцию.

Препятствия, противопоставленные злоупотреблению властью в целом, вовсе не являются посягательством на королевскую власть.

Власть творить зло и власть творить добро - это две разные власти, которые, возможно, не исключают друг друга, но мудрость велит не объединять их в институте политической власти.

Королевская власть - это способность выполнять обязанности или, если угодно, осуществлять права монархии. Полагаю, никто не станет утверждать, что совершение зла является обязанностью или правом короны. Следовательно, ни у кого не будет оснований заявлять, что способность творить зло должна входить в полномочия короля.

Эта способность могла бы лишь препятствовать осуществлению прав или выполнению обязанностей монарха. Она подвергла бы его риску оказаться в сомнительном положении или скомпрометировать себя серьезными ошибками; она, как минимум, вызвала бы недоверие, которое мешает исполнению лучших замыслов, и дала бы повод порой сомневаться в самых чистых намерениях.

Таким образом, ограничения, препятствующие причинению вреда, не направлены против королевской власти; напротив, они служат её оплотом. Именно за этой преградой безопасность монарха становится абсолютной, его сила проявляется во всей полноте, а его достоинство достигает величайшей высоты.

Здесь выдвигается возражение. Говорят, что власть творить зло необходима монархии - не для того, чтобы действительно его совершать, а для того, чтобы подчеркнуть заслугу в совершении добра; заслугу, которую не всегда ценят должным образом.

Эта печальная власть, возможно, и нужна тому, кто хочет творить лишь немного, совсем чуть-чуть добра. Но, безусловно, это мало заботит государя, готового настолько расширить применение своей доброты и справедливости - то есть королевской власти, - что он оставляет далеко позади и ниже себя даже саму возможность несправедливых поступков и злонамеренных помыслов.

Честь совершать добро достаточно подчеркивается самой возможностью его не делать; и если добродетельному государю и нужно с кем-то сравнение, чтобы его почитали, ему достаточно сравнения с «ленивыми королями».

Что касается меня, я не могу представить себе никакой силы, равной власти народного короля в представительном правительстве. Вам угодно опасаться капризов оппозиции для самого мудрого из государей? Избавьте себя от такой заботы. Народы ценят энергичных представителей перед лицом бездеятельной или угнетающей монархии, но они видят в них лишь смутьянов, когда те выступают против отеческого правления. Каким был бы авторитет ораторов и писателей оппозиции, если бы правительство, творя добро, ежедневно доказывало, что

оно умеет делать это лучше, чем они могут предложить; если бы вместо того, чтобы подвергаться критике в их сочинениях, оно заставляло эти сочинения проигрывать в сравнении с его собственными деяниями; и если бы благодаря своего рода новой реакции - влиянию добрых дел на красивые слова - оно лишало любую петицию, любой вызов, любую речь, любое применение ораторского искусства чести быть в чем-то полезным?[228] Что сталось бы даже с воспоминаниями о прежних временах и сожалениями о прошлом, если бы правящий государь проявил себя большим гражданином, чем те, о ком сожалеют, и чем те, кто сожалеет?... Народный король в представительном государстве - самый могущественный из монархов перед лицом своих внутренних и внешних врагов. Это также тот, кто обладает наибольшим - скажем даже лучше: единственный, кто обладает и может обладать - глубоким чувством власти и той совершенной безопасностью, которая является её счастливым следствием.

Что такое король, ставший узником своего двора, до которого доносятся лишь голоса царедворцев, по сравнению с королем, с которым его народ ежедневно говорит через своих представителей и который ежедневно отвечает ему в полный голос через своих министров? По сравнению с королем, против которого нет тайного ропота, нет вынужденного молчания, нет причин для затаенной обиды? Ежедневно получая известия о том добре, которое он может совершить, о зле, которое может исправить, о злоупотреблении, которое может искоренить, он

---

[228] **(Мысли об анализе.)** 1. Чтобы успешно делать то, что задумано, нужно сначала хорошо понимать, что именно ты хочешь сделать, то есть знать это детально и точно.

2. Нужно также хорошо знать средства, которые используются для достижения цели, чтобы быть уверенным, что они соответствуют поставленной задаче и не уводят от неё; иными словами: 1) что средство не противоречит цели; 2) что его достаточно.

3. Я хочу изучить здесь человека, человека в целом, человека физического и человека морального.

4. Для изучения человека я хочу использовать метод анализа.

5. Но что такое анализ? *Анализ* - это разложение (растворение), подобно тому как *анатомия* - это рассечение.

6. Но недостаточно просто разложить тело, чтобы узнать все его элементы; нужно, когда они находятся в состоянии разложения, отделить их и наблюдать за каждым в отдельности.

7. Но недостаточно знать элементы тел, чтобы знать сами тела; нужно также знать соответствующие движения этих элементов, ибо все тела организованы. Те, что кажутся самыми инертными, тем не менее совершают непрерывное движение, которое ведет их от формирования к разрушению. Следовательно, анализ должен также разлагать, то есть различать эти движения и наблюдать за ними в отдельности.

8. Когда элементов много, когда они имеют трудноуловимые различия, когда они стремятся смешаться, нелегко, а иногда и невозможно наблюдать за ними или удерживать в памяти сделанные наблюдения. Порядок, в котором располагаются элементы для наблюдения, вовсе не безразличен.

9. Когда речь идет об анализе движений или органических действий, порядок, в котором их наблюдают, еще менее произволен, ибо во всем этом есть цепочка причин и следствий.

10. Правило о том, что нужно *идти от известного к неизвестному*, понимается по-разному. Признаюсь, я его не понимаю. Является ли это правилом для руководства чувствами или для руководства рассудком? Имеется ли в виду, что я не должен, когда осматриваю сад, рассматривать дерево, которое я уже знаю, прежде того, которое находится передо мной? Или же это значит, что я должен формировать абстрактные идеи только на основе познания материальных объектов? *Fiat lux!* (Да будет свет!)

Возьмите сравнение с вещью, которую вы знаете, чтобы заставить себя понять вещь, которую вы не понимаете. (Кондильяк, *Логика*, с. 52.)

Переходить путем последовательных анализов от знания к знанию (*Там же*, с. 33), ввиду того что каждое приобретенное мною знание подготавливает меня к новому знанию.

Находить то, чего не знаешь, в ощущениях, испытанных ранее. (*Там же.*)

11. Анализировать тело и анализировать действие - это две разные операции анализа одного и того же вопроса. Анализ вопроса - это анализ анализов, которые нужно провести для его решения, или, другими словами, предложений, которые нужно разобрать, чтобы оценить их.

12. Нельзя быть уверенным в том, что наблюдал все элементы тела, все элементарные движения органического процесса, все элементарные составляющие вопроса, если не удается восстановить это тело, движение или вопрос, подвергнутый анализу, из тех элементов, на которые они были разложены.

13. Без воссоединения (синтеза) объектов, подвергнутых анализу, он был бы не только ненадежным, но и бесполезным, ибо целью анализа является познание не только проанализированных частей предмета, но и всего предмета целиком.

так же ежедневно получает заверения в признательности и привязанности - перед лицом народа и через органы, не вызывающие подозрений; получает общенациональное признание за содеянное им добро; он осознает свою нынешнюю славу и видит, как его величие сияет в глазах потомков. Если чувство обладания великой властью и доброе свидетельство того, как эта власть использовалась на благо подданных, являются составляющими счастья, то народный король в системе представительного правления - это один из тех людей на земле, которых небо одарило щедрее всего.

Именно так считал Людовик XII. Когда вы увидите, с каким пылом и упорством он следовал по пути, открытому для его мудрости и любви к народу, вы сможете судить, насколько он был равнодушен к путям, ведущим к опасным склонностям и пагубным страстям. Когда вы увидите, что его способностей едва хватало на осуществление его стремления творить добро, вы сами скажете, было ли для него лишением отсутствие возможности причинять вред. Заметив глубину и искусность средств, которые он направил на укрепление конституции, вы сами решите, поддержал ли он её по слепоте или по слабости.

И разве не убедился он самым наглядным образом, что всё, что ослабляет или угрожает абсолютному государю, становится источником силы для народного монарха? Вельможи - те самые люди, чью любовь, как говорили, снискал Людовик XII, - пытались выставить его в смешном виде. Они изобразили его в сатирической пьесе и поставили её в публичном театре. Король отказался запрещать это представление. Вы можете назвать такую снисходительность великодушной; назовите её мстительной и сокрушительной. В глазах народа сама пьеса превращается в обвинение против тех, кто её вдохновил, кто её создал и кто ей рукоплещет. Оскорбление находит своё наказание в суровости общественного мнения, а оскорблённый получает свое отмщение. Поскольку вольность сцены была наказана самими зрителями, а её свобода защищена королем, театр становится союзником его политики, так как служит выражением народной воли. Юлий II отлучает Людовика XII от церкви; Людовик XII позволяет делать в отношении своего врага то же самое, что позволил делать в отношении себя. Юлий предан общественному осмеянию, и понтифик признаёт, что ему не на что надеяться, насылая анафему, на которую французский народ отвечает лишь презрением.

Но оставим в стороне теории власти и мнение, которое имел о них Людовик XII. Я лишь ограничусь вопросом: известны ли в истории королей примеры успешной дерзости против нации, чьё стремление к свободе было выражено её представителями? Можно ли назвать народ, который, начав движение за возвращение своих прав, остановился бы перед угрозами абсолютной власти? В то, что многие, казалось, позволяли соблазнить себя её милостями, можно поверить; но никто не отступил перед её посягательствами. Стоит ли говорить о бессилии хитрости, какой бы ловкостью ни обладали люди, окружающие государей? Как может двор, который является лишь возвышенной точкой, укрыться от взоров, неустанно наблюдающих за ним со всех сторон по всей окружности государства? Как он ускользнет от проницательности и настойчивого внимания представителей, у которых в качестве предостережения будут глаза и недоверие всех их избирателей?

Англия в период одного и того же царствования дает пример бесполезности силы, тонкости и хитрости против воли нации, занятой своей свободой. Сколько усилий было приложено, чтобы расширить королевскую прерогативу при Карле I, и сколько затем проявлено изворотливости, чтобы её спасти! Сначала двор исчерпал всё, на что могут вдохновить энергичные средства: упрямство старинных привилегий, гордыню верховного сана, дерзость воинственного духа, самонадеянность молодой и надменной знати. Всё было напрасно; пришлось уступить, отступить. Разгневанная нация воспользовалась своими преимуществами: король был вынужден подчиниться. Тогда были исчерпаны все ресурсы, которые может предложить искусство уклонения от унизительных условий, искусство обходить их окольными путями, готовить их неисполнение и забвение. Было испробовано всё, что позволяет искусство отводить неминуемую опасность с помощью видимых уступок, демонстрируя отказ от претензий при

сохранении хитрых оговорок. Было исчерпано всё самое тонкое, что только могло посоветовать это искусство, всё, что можно было добавить к нему в плане формальностей, знаков внимания и заботы. Вы знаете, каков был результат.

Во Франции... начиная с Жакерии, поднятой королем против вельмож, и вплоть до восстания 1789 года, поднятого против трона из ненависти к вельможам - или, скорее, к знати, павшей гораздо ниже истинного величия; скажем больше, со времен первого набата, прозвучавшего при Людовике и до настоящего времени власть не совершила ни одного важного шага против свободы, который не привел бы в итоге к её расширению.

Прочь ваши безумные мнения и самонадеянное невежество! Людовик XII выбирает самый справедливый, мудрый и благородный путь. Он принимает конституцию, укрепляет её и дополняет; он делает для общего блага больше, чем она от него требовала. В конце концов, он освящает её той исключительной верностью, с которой сам следует признанным ею принципам.

Вопросы императора о Неаполитанском королевстве и ответы Рёдерера

Вопросы, заданные в Фонтенбло 13 ноября 1809 года во время обеда,[229] и *развернутые пояснения и обоснования ответов, данных Его Величеству устно по мере того, как он задавал вопросы.*

1. Какова площадь территории Неаполитанского королевства?
2. Какова численность населения Неаполитанского королевства?
3. Каково соотношение численности населения Неаполитанского королевства и его территории?
4. Сравнение численности населения Неаполитанского королевства с населением Франции в три различных периода, а именно: 1) до Французской революции; 2) после присоединения Нидерландов, левого берега Рейна, Порантрюи и Авиньона; 3) после присоединения Лигурии, Пармы и Пьяченцы, Тосканы и Папской области.
5. Сравнение нынешней численности населения Неаполитанского королевства с прежней.
6. Каково соотношение трудовой деятельности в Неаполитанском королевстве и численности населения? Иными словами, каково среднее время, ежедневно затрачиваемое на работу жителями всех возрастов и обоего пола?
7. Каковы государственные доходы Неаполитанского королевства?
8. Каково в Неаполе соотношение налогов и численности населения?

---

[229] Вот что говорит Кондильяк о силлогизме на странице 317 своего труда «Искусство мыслить» из «Курса занятий»: «Силлогизм - это главный аргумент синтеза. Основываясь на принципе, что две вещи, равные третьей, равны между собой, логики придумали идеи, которые они называют средними; и, сравнивая по отдельности с одной и той же средней идеей две идеи, связь между которыми они хотят доказать, они составляют два суждения и выводят заключение, которое формулирует эту связь: в этом и заключается уловка силлогизма. Но это значит сводить рассуждение к форме речи, а не к развитию идей. Вот пример, который они приводят сами:

- Злодеи заслуживают наказания;
- Но воры - это злодеи;
- Следовательно, воры заслуживают наказания.

"Злодеи" здесь - средняя идея, которая в одном суждении соотносится с "заслуживать наказания", а в другом - с "ворами"; а "воры заслуживают наказания" - это заключение.

Нет ничего более поверхностного, чем этот метод, ибо достаточно разложить идею вора и идею человека, заслуживающего наказания, чтобы обнаружить тождественность между ними. С этого момента доказано, что вор заслуживает наказания. Форма, которую я придаю своему рассуждению, имеет мало значения; вся сила доказательства заключается в тождественности, которую делает наглядной разложение идей».

9. Каково в Неаполе соотношение налогов и площади территории?
10. Какую сумму составляет доход, получаемый государством в Неаполе от продажи соли?
11. Каков объем экспорта растительного масла из Неаполитанского королевства?
12. Какая сумма выделена на содержание мостов и дорог в Неаполитанском королевстве?
13. Какова численность населения города Неаполя?

№ 1.
КАКОВА ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА?

Площадь Неаполитанского королевства в пересчете на французские меры составляет 3992 и 92/144 квадратных льё (из расчета 25 льё на градус).

Наблюдения.

Общепринятой мерой в Неаполитанском королевстве является миля. 144 неаполитанские мили соответствуют 25 французским льё (25 льё на градус). Площадь Неаполитанского королевства составляет 23 000 неаполитанских миль (согласно Галанти); следовательно, она составляет, как и указано в ответе, 3992 льё (25 льё на градус). Темпельман оценивает территорию Неаполитанского королевства всего в 3500 квадратных льё, однако данные Галанти заслуживают большего доверия, так как у него было больше возможностей получить доступ к подлинным документам.

№ 2.
КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА?

Согласно ведомости, составленной в 1791 году, численность населения составляла 4 950 533 человека. Однако согласно сведениям 1807 года, подготовленным в период правления короля Жозефа для обязательного распределения соли между общинами, население превышает 5 миллионов - по моему мнению, примерно на 40 тысяч человек.

Наблюдения.

В Неаполитанском королевстве никогда не применялись надежные методы составления демографических отчетов. Все ограничивалось лишь списками и переписями, которые сами по себе весьма несовершенны и становятся еще более сомнительными, когда жители страны, включая лиц, ответственных за проведение переписей, заинтересованы в том, чтобы уменьшить или увеличить количество людей, составляющих население.

Во Франции префекты были заинтересованы в том, чтобы представлять население городов, где они проживали, более многочисленным, чем оно было на самом деле, поскольку их жалованье зависело от численности этого населения. Это служило причиной преувеличений; однако метод, которому они были или должны были быть подчинены - а именно составление отчетов на основе данных о рождениях, смертях и браках - гарантировал или должен был гарантировать достоверность результатов.

В Неаполитанском королевстве, где соль, принадлежащая королю, распределяется финансовым ведомством по общинам, а количество, выделяемое каждой из них, определяется числом жителей, официально признанных на её территории, жители и, как следствие, местные чиновники заинтересованы в том, чтобы скрыть часть своего населения. И так как метод подсчета допускает махинации, более чем вероятно, что общие сведения о населении, составленные в Неаполе на основе частных отчетов общин, ниже действительных цифр. Можно предположить, что они занижены на 5 процентов; таким образом, к числу, указанному в ведомостях, следовало бы добавить еще 250 000 человек. В таком случае население можно оценить в 5 300 000 человек.

№ 3.

В КАКОЙ ПРОПОРЦИИ НАХОДИТСЯ НАСЕЛЕНИЕ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ТЕРРИТОРИИ?

Поскольку площадь Неаполитанского королевства составляет 3 992 квадратных лье, а его население - 4 950 533 жителя, число жителей составляет примерно 1 240 и 1/9 на квадратное лье; что дает одного жителя на 3 и 1/6 арпана.

Наблюдения.

Эта пропорция рассчитана на основе данных, составленных в 1791 году - данных, которые я считаю заниженными примерно на 300 000 человек, как я уже говорил. Таким образом, если предположить, что население составляет около 5 300 000 человек, соотношение населения к территории составит примерно 1 327 и 2/3 жителя на квадратное лье вместо 1 240 и 1/9, и один житель на 2 и 19/20 арпана или около того вместо 3 и 1/6 арпана.

№ 4.

СРАВНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА С НАСЕЛЕНИЕМ ФРАНЦИИ В ТРИ РАЗНЫХ ПЕРИОДА, А ИМЕННО: 1° ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ; 2° С МОМЕНТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ НИДЕРЛАНДОВ, ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕЙНА, ПОРЕНТРЮИ И АВИНЬОНА; 3° С МОМЕНТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЛИГУРИИ, ПАРМЫ И ПЬЯЧЕНЦЫ, ТОСКАНЫ И РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.

До Французской революции население Франции составляло примерно 915 и 2/3 жителя на квадратное лье. Поскольку в Неаполитанском королевстве этот показатель составлял 1 240 и 1/9, население Неаполитанского королевства было, пропорционально территории, более многочисленным, чем население Франции, примерно на 1/19.[230]

Наблюдения.

Согласно господину Неккеру, территория Франции до революции составляла 26 951 квадратное лье, а население - 24 676 000 жителей. Таким образом, это составляло около 915 и 2/3 жителя на квадратное лье (из расчета 25 лье на градус). Поскольку квадратное лье равно 3 916 арпанам, на каждые 4 и 1/4 арпана приходился 1 житель. Неаполитанское королевство, как мы видели, занимает 3 992 квадратных лье, а его население составляет 4 950 533 жителя; следовательно, это около 1 240 и 1/9 жителя на квадратное лье, и 1 житель на 3 и 1/6 арпана.

ВТОРОЙ ПЕРИОД.

После присоединения Нидерландов, левого берега Рейна, Порентрюи и Авиньона население Франции выросло с 915 и 2/3 жителей на квадратное лье (или 1 житель на 4 и 1/4 арпана) до 979 жителей на квадратное лье (или 1 житель на 4 арпана). Население Неаполитанского королевства, составляющее 1 240 и 1/9 жителя на квадратное лье, или 1 житель на 3 арарпана,

[230] **(Вот это примечание.)** Рассуждают для того, чтобы знать или познавать. Следовательно, искусство рассуждения имеет своей целью: 1) зафиксировать объекты, на которые могут распространяться наши знания; 2) определить степень достоверности, которой они обладают.

Собственно говоря, существует только одна наука - это история природы. Она делится на науку о чувственных истинах - физику, и науку об абстрактных истинах - метафизику.

Тем не менее, эти две науки взаимосвязаны, так как абстрактные рассуждения необходимы для связывания чувственных идей, а чувственные идеи необходимы для формирования абстрактных идей; но абстрактные идеи являются средством в физических науках и объектом в науках абстрактных, и наоборот.

мы видим, что плотность населения Неаполя по отношению к его территории в рассматриваемый период всего на 1/29 выше, чем плотность населения Франции, тогда как в предшествующий период это соотношение составляло 1/19.[231]

Наблюдения.

Присоединения, о которых идет речь в этом втором периоде, увеличили площадь Франции. Сначала она составляла 26 951 лье. К этому прибавилось 3 692, что доводит её до 30 643. Эти присоединения увеличили её население, которое составляло сначала 24 676 000 жителей до 30 024 666. Территория, таким образом, увеличилась примерно на 1/7, а население - примерно на 1/5. Следовательно, при численности жителей (после упомянутых присоединений) в 30 024 666 человек и площади в 30 643 квадратных лье, составляющих 120 997 988 арпанов, на одно квадратное лье приходится около 979 4/5 жителей, или примерно 1 житель на 4 арпана. В предыдущий же период этот показатель составлял 915 2/3 жителей на квадратное лье, или примерно 1 житель на 4 1/4 арпана.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД.

С момента присоединения Лигурии, Пармы и Пьяченцы, Тосканы и Папской области пропорции между населением Франции и её территорией снова изменились, однако в настоящее время определить их невозможно. Известно, или считается известным, что население семи департаментов - Апеннин, Генуи, Монтенотте, Таро, Арно, Средиземноморья и Омброне - достигает 2 345 157 жителей. Однако до сих пор не представлено или, по крайней мере, не опубликовано никаких сведений о площади их территории. Что касается Папской области, то о ней имеются лишь общие и устаревшие сведения, касающиеся не только её территории, но и населения. Можно лишь предположить, что объединение различных провинций Италии несколько приближает плотность населения Франции к плотности населения Неаполя.

№ 5.

СРАВНЕНИЕ НЫНЕШНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА С ЕГО ПРЕЖНЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ.

Хотя население Неаполитанского королевства пропорционально как минимум на одну двадцать девятую больше населения Франции, всё же при сравнении с тем, каким оно было прежде, а следовательно, и с тем, каким оно могло бы быть, его находят крайне малочисленным.

Галанти, последний автор, опубликовавший подробные сведения о Неаполитанском королевстве, утверждает, что 1240 жителей на квадратное лье, или (пользуясь его мерами измерения) 216 жителей на неаполитанскую милю, - это состояние подлинного запустения. *«Для нас это состояние настоящего обезлюдения»* (Questo, per noi, è un stato di vera spopolazione). *«Плодородие нашей земли таково, -* добавляет он, *- что не было бы чудом увидеть, как население вырастет вдвое против нынешнего, то есть до 432 человек на квадратную милю»* (или 2480 на квадратное лье, из расчета 25 лье на градус). Из древних памятников видно, что при республиках, существовавших в стране до римского завоевания, население составляло 521 человек на квадратную милю, или около 3004 на квадратное лье, что доводило общую численность населения всего королевства до 12 миллионов человек. Даже сегодня в Терра-ди-Лаворо, древней Кампании (*Campania Felice*), плотность населения составляет 521 человек на милю (или 3400 на лье).

Эти два факта свидетельствуют в пользу дробления земельной собственности; ибо до завоевания владения были весьма ограниченными по площади, и Терра-ди-Лаворо по сей день остается провинцией королевства, где меньше всего крупных феодов и огромных поместий, в которых нерадивость владельца является лишь наименьшим из препятствий, мешающих земле приносить плоды.

[231] Я нахожу мало точности в выражениях этой части текста, а зачастую и неясность.

Упразднение монашества, раздел общинных земель, ограничение майоратов и фидеикомиссов лишь теми рамками, что необходимы для поддержания монархического строя, а также таможенная система, благоприятствующая торговле - одних этих мер достаточно, чтобы увеличить население королевства более чем на четверть менее чем за шесть лет.

№ 6.

КАКОВО СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В НЕАПОЛИТАНСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ? ИНЫМИ СЛОВАМИ: КАКОВО СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЕЖЕДНЕВНО ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА ТРУД ЖИТЕЛЯМИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ОБОИХ ПОЛОВ?

Здесь речь идет исключительно о ремеслах и промыслах, то есть о сельском хозяйстве и технических искусствах. Среди тех, кто активнее всего занимался статистикой, никто, насколько мне известно, не пытался выяснить совокупный объем труда целой нации.

Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что труд нации является мерилом ее нравственных качеств, ее благосостояния и, прежде всего, ее силы. Недостаточно просто твердить без конца, что привычка к труду - это лучшее средство от всех пороков и подготовка ко всем добрым качествам; нужно добавить, что труд, будучи первоосновой всех богатств, является на этом основании и правом на все жизненные блага. Следует особенно подчеркнуть, что труд увеличивает население и укрепляет его: он способствует росту населения, давая молодым людям обоих полов средства для вступления в брак, и укрепляет его, обеспечивая телу полезную физическую нагрузку. Таким образом, он способствует появлению *множества* солдат и *хороших* солдат, что и составляет силу нации.

Трудолюбивый народ находит в своей среде защитников для себя и своих союзников; а среди трудолюбивых народов наиболее плодовитыми на солдат являются народы земледельческие. Поскольку сельское хозяйство - это тот вид деятельности, который требует наибольшей стойкости к непогоде, дает телу больше всего движения, лучше всего приучает к ходьбе, ношению тяжестей, уходу за лошадьми и верховой езде, оно в силу этих причин лучше всего готовит человека к службе в пехоте или кавалерии. Швейцария поставляет войска всей Европе.

Ленивый народ не дает солдат - или, по крайней мере, не дает добровольцев и храбрецов. Ленивый народ боится не только опасностей войны, но также, и прежде всего, тягот войны и даже тягот мирной жизни. Первым шагом к обретению чувства воинской славы и гордости за военное сословие является то безразличие к усталости, которое может привить только привычка к труду.

Обе Кастилии, излюбленное место праздности в Испании, дадут солдат лишь тогда, когда у них появится множество земледельцев. Само Неаполитанское королевство, за исключением провинции Терра-ди-Лаворо, начнет давать их лишь тогда, когда продукты, которые сегодня являются почти сплошь спонтанными плодами щедрой земли (как я покажу чуть позже), будут приумножены благодаря усердному и постоянному возделыванию.

Перехожу к сути вопроса. Нелегко с уверенностью сказать, какова средняя продолжительность ежедневного труда всех жителей страны, если заранее не озаботиться сбором данных для подобного расчета. Они должны включать в себя следующие сведения: 1-е - сколько жителей в каждом городе и каждой деревне занято земледелием и техническими ремеслами; 2-е - сколько часов в день каждая сельскохозяйственная или производственная профессия занимает тех, кто ей посвятил себя. В анкетах, разосланных префектам во Франции, было много бесполезных вопросов - например, о том, *сколько яиц несли куры в каждой деревне*, но при этом вовсе не спрашивали о количестве рабочих и времени, которое они уделяли труду. В Неаполитанском королевстве дела обстоят еще хуже. Там до сих пор не задавали ни праздных, ни важных вопросов.

Однако не представляется невозможным оценить приблизительно объем труда в Неаполитанском королевстве, исходя из характера его продукции и характера его потребления.

Можно заключить, что населению для получения всех необходимых продуктов и средств к существованию требуется лишь малая часть того труда, который необходим жителям Франции для удовлетворения своих нужд. Действительно, вниманию любого наблюдателя представляются два обстоятельства: первое заключается в том, что потребности жителей Неаполитанского королевства менее обширны, чем у жителей Франции, и что они потребляют меньше, в пропорциональном отношении, чем французы. Вторая причина заключается в том, что неаполитанские предметы потребления - это по большей части естественные дары земли; и земля эта щедро, при минимальных трудозатратах, предоставляет всё необходимое, что требует производства.

Прежде всего, всё, что относится к одежде и обстановке дома, имеет крайне малое значение в жаркой стране, где любая одежда причиняет неудобство, а мягкие сиденья и постели вызывали бы ощущение удушья. Здесь довольствуются очень малым количеством пищи, так как климат угнетает пищеварение и делает сон первейшей потребностью. В этом крае не ведают нужды в отоплении.

Далее, каковы же природные богатства страны и в чем заключается потребление местных жителей? Основные продукты страны - это пшеница, вино, масло и соль. Затем следуют шелк, шерсть, конопля, хлопок, манна, солодка и воск. Выращивание пшеницы требует лишь самой легкой вспашки. Одна виноградная лоза раскидывает свои ветви, подвешенные к окружающим деревьям, на площади в 15 туазов. Весь уход за ней сводится к нескольким ударам заступа у корня.

Оливковое масло во многих провинциях дают целые леса оливковых деревьев. Посаженные оливы не требуют никаких трудов, кроме самой посадки, которая, будучи выполнена однажды, служит сто пятьдесят или сто шестьдесят лет.

В королевстве существует два вида соли: морская соль, получаемая путем выпаривания, и соль ископаемая. Шелк - это плод труда шелковичных червей; воск - работа пчел. Тутовые деревья, не требующие никакого ухода, кормят червей; леса и поля кормят пчел. Овцы дают шерсть, а пустынные земли, на которых растет лишь немного травы, служат пастбищем для овец. Манна и солодка - это два продукта, растущие совершенно сами по себе.

Только конопля и хлопок требуют труда и заботы; но выращивание хлопка получило развитие лишь в последние два года: оно, по-видимому, зависит от состояния морской войны и должно прекратиться вместе с ней; как бы то ни было, эти две культуры, по сравнению с остальными, занимают малые площади.[232] Вышеперечисленных продуктов достаточно для обеспечения всех нужд страны. Пшеница кормит всех жителей, шерсть их одевает, оливковое масло дает им свет, а вино - питье.

Чтобы удовлетворить те же потребности во Франции, приходится приобретать или заменять неаполитанскую продукцию за счет гораздо больших затрат труда и усилий. Выращивание пшеницы требует бесконечных трудов. Скот и удобрения, необходимые для зернового хозяйства, влекут за собой возделывание искусственных пастбищ. Шерсть - это продукт лугов, даже самые запущенные из которых требуют тщательных ограждений и ежегодного орошения. Освещение во Франции обеспечивается не оливковыми лесами, где труд человека практически не нужен, а обширными посевами различных видов масличных культур. Напитки - это либо вино, получаемое от бесконечного множества виноградных лоз, каждая из которых требует нескольких вспашек и прополок в год, либо пиво, которое является полностью искусственным напитком.

Что касается отопления, хотя оно и обеспечивается лесами, где человеку не нужно прилагать усилий для роста деревьев, одно только отопление во Франции требует больше труда на вырубку, разделку, перевозку по воде и по суше дров, сгорающих в наших каминах, чем производство всего оливкового масла, необходимого для употребления в пищу и освещения во всем Неаполитанском королевстве.

---

[232] Способность чувствовать, несомненно, присутствует во всех способностях разума и в движениях воли, но она не является единственной.

Если продукты земли в Неаполе свидетельствуют о малых затратах на сельское хозяйство, то способ распределения доходов между жителями говорит о почти полном отсутствии промышленного труда.

Духовенство, монахи и больницы владели, вплоть до правления короля Жозефа, четвертью чистого дохода; эту четверть они либо потребляли сами, либо раздавали в виде милостыни бездельникам. То же самое всегда происходило в Испании; именно отсюда, а не из религии, проистекает влияние монахов на народ. В стране, где 100 000 монахов ежедневно варят похлебку для 500 000 бездельников; у монахов в распоряжении находятся эти 500 000 защитников.[233]

Еще одна четверть дохода принадлежит крупным феодалам, которые тратят большую его часть на содержание паразитирующих администраций, бесчисленных секретарей, распорядителей, капелланов, камердинеров, лакеев и толпы чернорабочих (*факкини*), обслуживающих всех остальных. Лакеи - это класс бездельников, наполняющий знатные дома Неаполя, подобно тому как монахи наполняют монастыри. Содержание челяди - главная статья расходов крупных неаполитанских собственников.

Другая половина земельного дохода принадлежит буржуазии (*burgensatic*); из этой половины также значительная часть уходит на оплату бесполезных слуг, так как у богатых буржуа тоже есть мания - иметь при себе множество никчемных людей. Та доля доходов дворянства и буржуазии, которая тратится на предметы роскоши, почти целиком уходит за границу, поскольку только оттуда поставляются все изысканные товары: ткани, головные уборы, шелка, хлопчатобумажные материи и ювелирные изделия.

Само правительство всегда выделяло на содержание множества праздных людей сумму, равную трети той, что тратилась на оплату действующих служб. Государственные пенсионеры, почетные администраторы больниц, сверхштатные сотрудники, получатели пособий, отставники из всех государственных органов, их дети и вдовы - их число в Неаполе и во всем королевстве не поддается счету.

В результате доходы страны никогда не шли на оплату местного промышленного труда, кроме того минимума, который необходим, чтобы кое-как обставить дома и одеть жителей, треть из которых спит под открытым небом и ходит почти нагишом.

Главная язва Неаполитанского королевства, как и Испании, - это леность. Поэтому, когда король Жозеф, располагая примерно 30 миллионами из имущества монахов, выкупил государственный долг в размере около 250 миллионов, говорили (и справедливо), что он очистил государственное достояние от наследия праздности и избавил казну от бремени долга, освободив страну от бремени порока.

№ 7.
КАКОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ В НЕАПОЛИТАНСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ?

Твердые доходы государства в 1808 году, когда король Жозеф покинул Неаполитанское королевство, составляли 61 миллион франков.

Потребовалось бы не менее чем вторжение врага в несколько провинций, разорение из-за какой-нибудь высадки десанта или грубейшие административные ошибки, чтобы эти доходы упали ниже указанной суммы, при условии сохранения прежнего правительства. Улучшения, начатые или решенные после обсуждения - в частности, новая организация провинциальных таможен по образцу столичных, свобода мореплавания или хотя бы защита каботажной торговли с Францией - могли бы поднять этот доход с 61 до 71 миллиона франков уже в

[233] Здесь представлен анализ, основанный не на механическом принципе или описании явления. Автор более не говорит об основных и второстепенных объектах, что невозможно, когда речь идет о совокупности последовательных, а не одновременных явлений. Следовательно, необходимо различать столько же методов анализа, сколько существует видов анализируемых объектов. Добавлю, что для разложения способности чувствовать недостаточно, по мнению самого автора, наблюдать за тем, как душа познает; нужно также наблюдать за тем, как она проявляет волю.

том же 1808 году.[234] Но эти улучшения и даже простое сохранение того, что уже было сделано, стали почти невозможными из-за одновременной смены короля и министерства. Несколько недель междуцарствия дали старым злоупотреблениям, старым идеям и старым привычкам благоприятную возможность для атаки на французские принципы, на которых основывалась новая организация.

№ 8.
КАКОВО В НЕАПОЛЕ СООТНОШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ?

Гарантированные государственные доходы в 1808 году составили 64 миллиона. В эту сумму едва входил доход от экспортных пошлин в размере одного миллиона, учитывая обстоятельства, которые препятствовали любой внешней торговле. Однако этот миллион следует вычесть из общей суммы налогов, выплачиваемых королевством, поскольку экспортные пошлины на товары фактически оплачивают иностранцы, для которых эти товары предназначены.

Таким образом, налоговые сборы самого королевства составляют 60 миллионов, и при численности населения в 5 миллионов человек налоговая нагрузка на каждого жителя составляет 12 франков. Для сравнения, во Франции она составляет от 27 до 30 франков на человека.

№ 9.
КАКОВО В НЕАПОЛЕ СООТНОШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИИ?

При общем объеме налогов в 60 миллионов и территории площадью 3 992 квадратные лиги (из расчета 25 лиг на градус), каждая квадратная лига выплачивает 15 030 франков 06 сантимов. Во Франции квадратная лига выплачивает около 24 000 франков. При этом во Франции продукты земли добываются лишь ценой тяжелого труда и с помощью огромных капиталовложений. В Неаполе же многие продукты растут сами по себе, а возделывание других требует крайне малых затрат и усилий.

Неаполитанцы, очевидно, являются тем народом Европы, к которому государство проявляет наибольшее снисхождение в плане налогообложения, поскольку именно от них требуют меньше всего; именно они обладают наибольшим свободным чистым доходом, и именно их доход обходится им дешевле всего с точки зрения предварительных затрат и труда.

№ 10.
КАКУЮ СУММУ СОСТАВЛЯЕТ ДОХОД, КОТОРЫЙ ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧАЕТ ОТ ПРОДАЖИ СОЛИ В НЕАПОЛЕ?

В обзоре доходов за 1808 год поступления от соли были указаны в размере всего 5 280 000 франков, хотя введение в действие указа от 11 июня 1806 года обещало более значительный доход. Этот указ от 11 июня 1806 года, изданный в период министерства принца Бизиньяно, установил во всем королевстве, за исключением города Неаполя, единообразное принудительное распределение соли путем выделения квот сначала коммунам, а затем и самим жителям. До этого времени подобному виду подушного налога были подвержены только три провинции. Перепись населения и составление реестров удалось завершить лишь к 1 сентября 1808 года, и именно с этого времени началось взимание налога по новой системе.

[234] Однако автор сам заметил ранее, что внимание направляется. Следовательно, оно является актом воли и содержит в себе еще один элемент, помимо ощущения.

Закон предписывает выделять 10 фунтов и 10 унций соли на каждого жителя, не считая детей в возрасте до 3 лет. Поскольку потребление превышает эти 10 фунтов и 10 унций, распределяемых принудительно, государственные склады поставляют дополнительные объемы по запросу потребителей и по той же цене, что и принудительно распределяемую соль. Однако контрабанда сводит к минимуму свободную продажу соли, которую люди вольны покупать или не покупать; именно из-за того, что побережье охраняется очень плохо, принудительное распределение было распространено на все провинции. Цена за квинтал составляет 13 ливров 2 су 3 денье; таким образом, один фунт обходится в 2 су 7 денье 17/100.

Исполнение указа от 11 июня 1806 года обещает чистый доход в размере 6 500 000 франков. Именно в такую сумму его оценили господин Цурло, последний министр финансов короля Фердинанда, ныне министр внутренних дел, и маркиз де Туррис, администратор соляной монополии. Этот доход может показаться низким, особенно если принять во внимание: 1) издержки на сбор налога, которые составляют 30 на 100; 2) притеснения, связанные с самим способом его взимания; и 3) результат, получаемый во Франции благодаря методу настолько мягкому и экономичному, что ни торговля, ни потребитель почти не замечают введения этого налога.

В плане, который я имел честь представить на утверждение королю (за исключением вопроса о обсуждении в совете) для организации таможен, предполагалось, что соляной налог в 1809 году должен взиматься, как и во Франции, через таможенное управление. Я был не последним во Франции, кто утверждал, что налог на соль в том виде, в котором он установлен сегодня, будет одним из самых мягких и прибыльных.[235]

Вот расчеты, которые я провел относительно дохода, который казна Неаполя могла бы получать от продажи соли, если бы эта продажа была организована в королевстве так же, как в Париже:

Потребление 5 миллионов жителей, из расчета 16 фунтов соли на человека, составило бы 80 миллионов фунтов, или 800 000 квинталов. Поскольку квинтал продается, как в Париже, по 15 ливров 10 су, или примерно по 3 су 1 денье за фунт - что на 5 денье за фунт больше, чем сегодня, - валовая выручка от продажи составила бы... **12 400 000 ливров.**

Затраты на производство на солеварне в Барлетте составляют на один квинтал... **1 су.** Расходы на морскую транспортировку и хранение на складах... **1 су 3 денье.** Итого: **2 су 3 денье**, что составило бы 1/4 денье на фунт веса. Расходы на 800 000 квинталов составили бы, таким образом... **90 000.**

Следовательно, чистый доход составил бы... **12 310 000 ливров.** Вычитая 20 процентов из этой суммы на контрабанду, которую невозможно будет избежать, или... **2 462 000**, фактический доход составил бы... **9 848 000 ливров.** Таков был бы результат, которого можно достичь, передав сбор налога таможенному управлению, организованному достаточно эффективно, чтобы максимально препятствовать незаконным операциям.

№ 11.
КАКОВ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МАСЛА ИЗ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА?

Если отвечать на этот вопрос одним словом, то любой ответ будет неточным. Если Ваше Величество желает знать каков объем этого экспорта сегодня, то мой ответ: **вероятно, нулевой.** Если же речь идет о том, каков он был в годы правления короля Жозефа, мой ответ будет определенным: **нулевой.** И по этому поводу я скажу, что даже в самых сокровенных мыслях короля, в моменты острейшей нехватки денег и несмотря на соблазн очень выгодных предложений для его финансов, я ни на миг не замечал, чтобы Его Величество колебался в той верности, с которой он обещал следовать намерениям Вашего Императорского Величества. Эти

[235] Сравнивать и судить. Действительно ли это два последовательных акта, предполагающих наличие двух разных способностей?

намерения запрещали любую торговлю как с английскими судами, так и с нейтральными судами, подвергшимися английскому досмотру, а также с американскими судами, которые после объявления эмбарго Соединенными Штатами считались английскими. Король видел, как обогащаются Сицилия и Палермский двор благодаря постоянным закупкам Англией зерна и масла - товаров, в которых Неаполитанское королевство ей отказывало, несмотря на резкое падение цен на них из-за перепроизводства. Он гордился этой жертвой как знаком преданности и признательности, который имел честь засвидетельствовать Вашему Величеству.

Если рассматривать вопрос следующим образом: *«До какого уровня мог бы подняться экспорт масла в этом году, если бы морская торговля не встречала препятствий?»*, я бы ответил: вероятно, от 80 до 100 миллионов, поскольку в хранилищах королевства скопились излишки за несколько лет (за вычетом естественной убыли от времени).

Если же вопрос заключается лишь в том, чтобы узнать средний объем ежегодного экспорта масла, который может осуществлять Неаполитанское королевство, можно назвать цифру как минимум в 25–30 миллионов. Однако необходимо пояснить, на чем основан этот чисто предположительный расчет:

1. В администрации Неаполитанского королевства никогда не велось систематической работы по составлению торгового баланса. К тому же известно, насколько несовершенны методы, используемые даже во Франции для достоверного определения объемов французской торговли.
2. Экспорт масла в Неаполитанском королевстве никогда не был свободным. Чтобы вывезти его из любой точки страны, даже из самых отдаленных районов Калабрии, всегда требовалось получить разрешение в столице у трибунала, называемого Соммария (*la sommaria*), и уплатить вывозную пошлину, которая в среднем составляла четверть стоимости товара. Поскольку подобные ограничения постоянно лишали торговцев возможности выгодно воспользоваться обстоятельствами и случаями для продажи и погрузки, а побережье при этом крайне плохо охранялось таможенной полицией, в торговой среде вошло в привычку заниматься тайным экспортом. Каков был его объем? Таможенные и коммерческие сводки не дают на это ответа. Если общую сумму контрабандного экспорта или импорта трудно оценить даже в такой хорошо охраняемой стране, как Франция, то невозможно составить о ней разумное представление в стране, где надзор был столь же небрежным, как в Неаполитанском королевстве.
3. Как только в Неаполе возникало малейшее беспокойство по поводу внутреннего потребления масла, Соммария отказывала в любых разрешениях на вывоз до тех пор, пока длительное перепроизводство не успокаивало умы. Тогда начинался внеочередной и весьма значительный экспорт. Эти беспорядочные перерывы, результаты которых фиксировались плохо, крайне затрудняют выведение среднего показателя.

За неимением таможенных или коммерческих сведений приходится прибегать к общественному мнению о производстве и потреблении в королевстве. В Неаполе принято считать, что страна производит вдвое больше оливкового масла, чем потребляют жители (с учетом употребления в пищу, для освещения и в мыловарении). Какое же количество масла потребляет Неаполитанское королевство для этих трех нужд?

Согласно отчету за 1805 год - время, когда улицы Неаполя еще не освещались фонарями, как сегодня, - эта столица с населением в 400 000 человек потребляла 120 000 квинталов масла в год, или 30 фунтов на человека. Если оценивать потребление остальной части королевства по неаполитанским меркам, оно составило бы 1 380 000 квинталов. Таким образом, общее потребление королевства составило бы 1 500 000 квинталов. Если удвоить этот показатель, чтобы получить излишек, доступный для экспорта, он составит те же 1 500 000 квинталов, которые при цене 20 франков за квинтал дают 30 000 000 франков.

Но я повторяю, что эта оценка носит чисто предположительный характер и что только хорошая организация таможни с созданием специальной службы для составления достоверных отчетов импорта и экспорта, - единственное, что может покончить с прежней неосведомленностью администрации в вопросах, которые ей важнее всего знать. Организовав, и притом

весьма основательно, таможенную службу города Неаполя, я оставил в канцеляриях и передал специальной комиссии план, согласно которому считал нужным устроить всё остальное; я рад, что в этих обстоятельствах оказался одним из членов Учредительного собрания, которые более всего способствовали реформе прежних пошлин и созданию нынешней системы имперских таможен.

№ 12.
КАКОВА СУММА, ВЫДЕЛЕННАЯ НА ДОРОГИ И МОСТЫ В НЕАПОЛИТАНСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ?

В смете расходов, запланированных министром внутренних дел на 1808 год, на статью дорог и мостов выделено 1 188 000 франков. Эта сумма делится примерно поровну между содержанием существующих дорог и мостов и строительством новых. Вот статьи, из которых состоит этот раздел:

1. На жалованье сотрудникам - 35 200 ф.
2. Содержание и сохранение существующих дорог и мостов - 572 000
3. Дорога в Апулию - 88 000
4. От Иньяссы до Неаполя - 44 000
5. От Соры до Сен-Жермена - 26 400
6. От Венафро до Пополи - 35 200
7. От Казерты, включая две ветки от Секондильяно до Казории и от Казории до Лаволы - 52 800
8. Дорога в Калабрию - 176 000
9. От Секондильяно до площади Наполеона - 88 000
10. От Студи до площади Наполеона - 70 400

Итого: 1 188 000 ф.

№ 13.
КАКОВА ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НЕАПОЛЯ?

Население города Неаполя составляет 400 000 душ. Эта численность была установлена в ходе переписи, проведенной в 1805 году. Она также подтверждается двумя видами сборов, которые могут служить для проверки данных переписи и для взаимного контроля, а именно: сбором, установленным на продажу соли со складов, и сбором, установленным на ввоз зерна и муки. По этим сборам узнают объем потребления, а по объему потребления - численность населения.

Разрозненные заметки о Неаполитанском королевстве, его нравах, климате и т. д.

ФРАГМЕНТ О НЕАПОЛЕ.[236]

Острота.

.....Чесаться - это так же естественно, как иметь блох и вшей: принцессы и герцогини приходят и усаживаются там у маленького столика;[237] они едят устриц и морских ежей с куском

[236] Автор не приводит примера подобной последовательности суждений.

[237] Это определение крайне неточно; оно исключает потребности в голоде, жажде, любви, отдыхе после действия и действии после отдыха; потребности в секреции и так далее - словом, наши истинные потребности. Эта ошибка, как и замеченные выше неточности, проистекает из того, что автор провел неполный анализ ощущений и органов чувств. Он признал за человеком только пять чувств; а следовало добавить к

хлеба, а затем Его Светлость принц или герцог сначала торгуется о количестве устриц, которые ему засчитывают, а потом - о цене. Именно там находятся «открытые столы» этой страны. Устраивают такие пикники, которые обходятся до 48 или 50 французских су с человека. Это почти то же самое, как если бы парижские дамы отправились ужинать на набережную де ла Феррай не с вербовщиками, которые были людьми видными, а с торговцами старыми вертелами.

Вот оно, величие этой страны.

Впрочем, у них в избытке и остроумия, и образования. Не бойтесь услышать хоть когда-нибудь тонкое или колкое слово: здесь в ходу лишь слова презрения, которые распределяются, как и полагается, сверху вниз. Принцесса из «Золотой книги» вполне может бросить пренебрежительное словцо более современной принцессе, а герцогиня смотрит свысока на маркизу. В свою очередь, маркиза ни за что не станет учиться читать, лишь бы её не спутали с мещанкой.

Что в герцогинях и принцессах самое достойное уважения, так это их нравы: у каждого королевского адъютанта есть, была и будет... Любой военный, размещённый по постою у знатной дамы, обосновывается там во всех смыслах, со всем своим имуществом. Она не соизволит поздороваться с женой простого горожанина, но...

Таков Неаполь, или неаполитанский высший свет, каким его видят ежедневно и каким он является обычно.

В праздничный день всё иначе. В этот день из кладовых достают ливрейные одежды, богато расшитые, со шляпами, украшенными плюмажами; у швейцара - великолепная портупея и шпага длиной в сажень (лучше бы ему дали метлу, чтобы подметать вестибюль и двор!). Именно на этот парад эти люди тратят огромные доходы, которыми не умеют управлять и три четверти которых съедают их управляющие: у каждого герцога есть свой министр финансов и свои советники. Даже если бы он ходил босиком, он ни в чём не уступил бы в этом.

Я завершаю эту картину, говоря вам, что один герцог служит комиссаром полиции; другие герцоги - финансовые чиновники с орденскими звездами и лентами; герцог не гнушается ничем, кроме того, чтобы быть благородным в своей частной жизни и поведении.[238]

И тем не менее, все они выглядят вполне достойно: умеют носить шляпу и шпагу, приветствуют окружающих должным образом и своим видом заявляют о благородном происхождении, несмотря на плохое воспитание. Они вежливы, причем вежливы в рамках приличий, хотя и бывают высокомерны при случае и подобострастны, когда того требуют обстоятельства. Повторяю вам, я не понимаю, что такое знатный господин в этой стране.

Я бы сказал, что эти господа, несомненно, являются великими сеньорами в своих поместьях, а в Неаполе они становятся мелкими лишь для того, чтобы быть придворными; я бы сказал так, если бы не было известно, что они никогда не посещают свои земли. У них от десяти до двадцати тысяч вассалов, которых они никогда не видят. В этой стране нет загородных домов, никто не живет в замках. Калабрия всегда кишит разбойниками. В окрестностях же Неаполя боятся либо чрезмерной жары, либо зараженного воздуха; ведь должен вам сказать, что этот край полон очаровательных мест, воспеваемых как древними, так и современными авторами. Но когда вы видите их в мае или июне и говорите: «Какое прелестное место, я буду часто сюда приезжать», вам отвечают: *«Берегитесь! Через десять дней вы наверняка подхватите здесь лихорадку на целый год!..»*.

Г-н де Монтрон, брат того, кого вы знаете, - человек того же склада ума, - возвращается из Беневенто, куда он ездил, чтобы вступить во владение от имени г-на де Талейрана. Вчера его

ним внутренние чувства, через которые мы познаем свои потребности. Несомненно, даже «статуя» [имеется в виду философская модель Кондильяка] научилась бы чувствовать боль, даже если бы пять ее внешних чувств оставались неразвитыми или неиспользуемыми, если бы ее желудок терзался голодом, нёбо - жаждой, а семенные железы - раздражением от избытка семенной жидкости.

[238] Это суждение слишком категорично и противоречит самому автору, хоть он этого и не замечает. Похоже, он опасался признать за Бонне преимущество в том, что тот продвинулся в анализе дальше него, и стремился оправдаться перед упреком, который этот метафизик бросил ему, назвав его труд слишком поверхностным.

спросили, сколько людей Его Высочество мог бы поставить под ружье (буквально - «поставить на ноги»); он ответил: *«Более двадцати тысяч, но ни одного сидящего, потому что у него нет ни единого кресла»*.

Одна из причин, по которой здесь не работают, заключается в том, что дома до двух-трех часов ночи превращаются в настоящие печи. В них невозможно спать. Из-за этого люди гуляют и играют всю ночь. Летом улицы всегда полны народа: звуки гитар, песни, серенады, уединенная музыка у собственного окна - всё это продолжается до трех часов. Поэтому люди из приличного общества спят до десяти утра. Простой народ, по крайней мере городской, встает очень поздно. Работать начинают как раз тогда, когда жара возвращается. В полдень или в час дня необходимо ложиться и отдыхать. В это время дома начинают раскаляться.

Среди причин существования здесь банков есть та, что они служат для хранения денег частных лиц. Это огромное преимущество в стране, где из-за жары приходится постоянно держать двери открытыми, где не умеют делать замки и где все слуги - воры до такой степени, что это невозможно выразить словами.

В неаполитанском дворянстве нет ничего благородного. Во Франции нынешняя французская армия насчитывает огромное множество дворян без родословной; неаполитанское же дворянство предлагает родословные, титулы, но ни одного истинного дворянина. Все они - торговцы маслом и лакричным соком, и ни один из них не держал оружия, как не держали его ни их отцы, ни деды. А их сыновья плачут - буквально рыдают, - когда им предлагают отправиться в Фоджу во главе роты.

Обладают ли они хотя бы состоянием? Нет. У всего этого сословия дворян есть лишь титулы на несколько владений, доходы с которых принадлежат их кредиторам. Они остаются лишь формальными владельцами только благодаря длинной череде указов об отсрочке платежей в ущерб несчастным кредиторам. Всё это мнимое дворянство окажется нищим в тот же день, как только правосудию позволят действовать свободно.

В Неаполе никто и никогда не делает усилий: усилие здесь - это пытка. Никакого сверхнормативного труда.

Люди в этой стране низменны и коварны. Они низменны с нами, потому что нуждаются в нашей защите. Они коварны, потому что быть под защитой иностранца - всегда унизительно.

В этой стране консерваторий, великих театров и кастратов; на родине Гульельми, Чимарозы, Паизиелло; на этой классической земле музыки нельзя услышать в кабаках ни одного стройного пения; на одной колокольне не найдешь и двух колоколов, звучащих в лад. Люди, выкрикивающие «Ледяная вода!» на улице, кажутся людьми, кричащими «Пожар!». Ничто не сравнится с криками двух спорящих лаццарони; а когда к вашей карете запрягают почтовых лошадей, кажется, будто слышишь вопли разъяренных дикарей.

Большие апартаменты располагаются на втором этаже, или даже скорее на третьем, чем на первом. Почему? Потому что чем выше находишься, тем больше там воздуха. В деревню совсем не ездят, потому что боятся своих вассалов, берберских пиратов или врагов.

Дома, даже в городе, стоят почти без мебели, потому что врага опасаются повсюду. Мебель плохая, потому что в палящем климате она должна быть сухой.

У итальянцев самые просторные залы, и их так много, как только возможно, - для того чтобы, когда в одной комнате становится жарко, можно было перейти в другую.

Двор неаполитанского короля - это единственное место на земле, где над придворными смеются больше всего. Сам король тоже в этом участвует. Впрочем, это не мешает здесь быть великому множеству придворных.

В присутствии короля однажды спросили, кто находится в лучшем положении: придворный, который охотится вместе с монархом и сопровождает его на представления, или министр, обладающий большой властью. Я ответил: *«Придворный, потому что в развлечениях смеются над делами, а в делах над развлечениями не смеются».*

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА НРАВЫ.

Среди причин, по которым северные народы более трудолюбивы, чем южные, а народы умеренного климата (такие как север Франции и Англия) - более трудолюбивы, чем народы Севера и Юга, следует выделить следующие:

На Юге всегда слишком жарко, воздух удушающий, труд убивает.

На Севере всегда так холодно, что приходится постоянно греться.

В умеренном климате труд согревает; он необходим, чтобы согреваться восемь месяцев в году, и этого достаточно, чтобы, так сказать, греться, не перегреваясь.

Таким образом, в труде здесь всегда находят физическое удовольствие, в то время как в других местах труд - это всегда тягость, а иногда и мучение.

Король высвободил шесть миллионов дохода, изъяв имущество монахов; то есть он восстановил государственное достояние, пустив в дело то, что было достоянием праздности; он освободил казну от бремени долга, избавив страну от бремени порока.

КОРОЛЮ ИСПАНИИ.

Сир,

Почетная отставка, которую Ваше Величество дали мне от управления финансами Неаполя, кажется мне обстоятельством, налагающим на меня еще более насущный долг перед Вами. Я представил Вам, Сир, ежедневный отчет о доходах и расходах Вашей казны. Но я считаю своим долгом представить Вам отчет и о славе Ваших трудов - сокровище более драгоценном, чем первое, которое должно следовать за Вами в Ваши новые владения и сопровождать Ваше имя в будущем. Я не почувствую себя свободным от обязательств, которые взял на себя, когда Вы поручили мне управление финансами Неаполитанского королевства, пока не смогу представить Вашему Величеству картину того, что Вы сделали и что задумали для их улучшения; описать состояние, в котором Вы их нашли, состояние, в котором Вы их оставили, и уровень, до которого их могли бы поднять начатые или решенные начинания. Когда я размышляю о том удовлетворении, которое Ваше Величество должны испытывать при воспоминании о своем труде, и о той пользе, которую это воспоминание может принести стране, ныне подчиненной вашей благотворной власти, мне кажется, что честь, которой я был удостоен - участвовать в исполнении вашей воли, - а также чувство признательности обязывают меня собрать все элементы этой картины и представить их на рассмотрение Вашего Величества.

Император не может лучше узнать от кого-либо, кроме как от Вас, Государь, всё то, что ему важно знать об этой части его империи. Даже Ваш преемник не сможет найти более

надежного руководства в поиске недостатков и злоупотреблений в администрации, а также путей для её возможного улучшения.

Наконец, и сама страна не может быть лучше осведомлена о своих истинных интересах, чем от того, кто посвятил им столь глубокое изучение и вложил в этот труд самые надежные знания и самые искренние отеческие чувства. Ваши познания и взгляды на эту страну являются одним из счастливых плодов самой этой страны, которые должны к ней вернуться и которые составляют её собственное богатство, её достояние. Если бы Ваше Величество изложили их на бумаге, Ваш автограф был бы востребован во все времена и во всех странах тем королевством, которое их вдохновило. Зная, что Вы храните их в своем уме, кажется справедливым желать, чтобы Вы хотя бы их записали.

Завоевывая королевство, на престол которого Вам предстояло взойти, Вашей первой мыслью наверняка было то, что необходимо сделать сильной нацию, которая оказала Вам слабое сопротивление; и эта мысль, весьма далекая от романтизма, естественным образом привела к мысли сделать неаполитанский народ трудолюбивым; ведь именно труд придает нациям силы и приносит благополучие, и именно благополучие заставляет силу служить сохранению государства.

ЦЕЛЬ, КОТОРУЮ СТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ КОРОЛЬ; ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДОЛЖНА БЫЛА СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ФИНАНСОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.

О внимании к деталям; о теориях; о методичности.

Стало привычным считать заурядным того министра, который в своей работе придерживается метода, принципов и знания деталей. К сожалению, нет ничего менее заурядного, чем сочетание этих достоинств. Резкие в суждениях невежды называли людей, наделенных ими, либо теоретиками и метафизиками, либо мелочными практиками и кабинетными клерками. Подобное превознесение над министрами и парение столь высоко над министерствами стало обычным делом со времен революции, так как в революционные времена для ведения дел требовалось больше насилия, чем знаний, и не нашлось ни одного энергичного человека, который не возомнил бы себя способным стать отличным министром.

Горе тому, кто тонет в деталях! Но горе и тому, кто их игнорирует! Есть люди, которые говорят о методе в работе так же, как о симметрии во французских садах. И поскольку они хотят, чтобы в садах гуляли по извилистым аллеям и искали причудливых видов, они желают, чтобы и в делах поступали согласно капризам ума или лени; они называют это поступью гения.

Позор педантизму, который проповедует доктрины в делах! Но позор в тысячу раз больше тому министру, который действует без принципов, будь то по незнанию или из пренебрежения ими!

Да избавит нас Бог от министров, которые не владеют собой, для которых всё путается, если дела не сделаны в ту же минуту или если какой-то винтик в механизме выходит из строя! Но прочь от нас и тех, кто не владеет искусством беречь время, пространство и людей; кто не умеет придать делам регулярное движение, подчинить себе подчиненных и всегда знать, что происходит на самых дальних расстояниях и в самых отдаленных ведомствах!

Для меня речь шла не о том, чтобы просто управлять финансами, а о том, чтобы основать администрацию; чтобы основать её, нужно было знать людей и вещи. Вещи - потому что они составляют или предоставляют предмет налогообложения; людей - по двум причинам и в двух аспектах: во-первых, потому что именно у людей запрашивают вещи, и потому что именно через людей их требуют и взыскивают; и, наконец, потому что именно благодаря людям количество вещей приумножается.

МОТИВЫ

Управлять финансами государства - это не что иное, как обеспечивать сбор или получение государственных доходов и оплачивать государственные расходы, или, в двух словах, обеспечивать движение поступлений и трат в соответствии с установленными законами и правилами; обеспечивать этот процесс через определенных агентов, чья организация - то есть их функции и взаимоотношения - также установлена ранее принятыми законами.

Чтобы преуспеть в этом управлении, нужно лишь хорошо знать законы и следить за их исполнением: министру требуются знания и совсем немного искусства; твердость и совсем немного смелости. Идет ли речь о движении вещей? Именно в законе должен быть заложен талант их распределения. Идет ли речь о действиях людей? Именно в законе содержатся правила для них, наказания и награды, которые их ожидают; короче говоря, их обязанности и побудительные мотивы. Закон, отвечая на всё, отвечает за всё; администратору же остается лишь отвечать за исполнение закона, то есть быть неподкупным и строгим судьей по отношению к своим подчиненным и проницательным хозяином в делах.

Исправлять и улучшать существующие финансовые институты - это одно. Учреждать же или реформировать финансовую систему целиком - задача совершенно иного рода.

ПЛАН

1. Объект и мотивы труда

Познакомить императора, нынешнего короля Неаполя, неаполитанцев и Испанию: 1) с тем, что застал король Жозеф по прибытии в Неаполь; 2) с тем, что Его Величество сделал; 3) с тем, что он намеревался сделать.

2. Цель, которую поставил перед собой король в Неаполе

Сделать нацию лучше и счастливее.

Задачи, которые стояли перед финансовой администрацией для реализации замыслов короля: (1) Управлять; (2) учредить управление финансами; всё это - средствами, согласующимися с целью короля.

3. Предварительные исследования, которые необходимо было провести для достижения этой цели

Исследования физические, экономические, исторические, политические, нравственные.

4. Состояние финансов на 1 января 1806 года

Отчет о доходах + отчет о расходах = Общий отчет. Частные замечания по этим доходам и расходам. Недостатки тех и других в нравственном, политическом и экономическом аспектах. . . . . *(Не окончено.)*

МЕМУАР О РАЗДЕЛЕ ОБЩИННЫХ ЗЕМЕЛЬ И О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЕВСТВА (1808 г.)

Перед министром внутренних дел стояли две масштабные задачи: одна касалась вещей, другая - людей. Первая была направлена на облегчение налогообложения, на стимулирование труда и на поддержание общественного порядка, который почти всегда соразмерен заинтересованности страны в труде и привычке к нему; вторая - на обеспечение общественного порядка и немедленной общей безопасности.

Я имею в виду разделение и распределение общинных земель; я также имею в виду систему национальной полиции.

Ни то, ни другое не было выполнено; однако первая из этих задач была предписана законом Жозефа I; были даже разработаны некоторые положения для его исполнения.

Труд является подлинным регулятором общественных нравов, поскольку он связывает всех людей друг с другом добровольными узами; он же - первоисточник богатства, так как никакое благо не обретается без труда: то, что направлено на увеличение объема труда, а значит, приносит огромную пользу.

Земля - это то, что дает людям больше всего работы или требует ее в наибольшей степени. Однако для того, чтобы вкладывать в землю свой труд, люди должны обладать правом собственности на нее. Стремление к собственности - это самый мощный стимул к труду. Раздел земли между большим количеством людей способствует пробуждению этого стремления и возникновению самого института собственности. В Неаполе, как и в Испании, общинные земли занимают огромные территории.

Таким образом, раздел общинного имущества был самым благоприятным фактором для развития труда в Неаполе; следовательно, это было наиболее выгодно для процветания страны и развития цивилизации среди ее жителей. Затем последовала отмена феодализма, которая освободила поселенцев от позорной и угнетающей зависимости. После этого произошло сокращение майоратов. Майораты вредят богатству и труду, поскольку они препятствуют продаже земли; а продажа - это всегда возможность для приложения нового труда или часто необходимый результат труда предыдущего. Любой человек, который вынужден продавать, больше не имеет средств для улучшения земли, поэтому она приходит в упадок до тех пор, пока он нуждается в продаже, но не может ее совершить. Тот же, кто покупает, всегда делает это с намерением улучшить землю и почти всегда обладает для этого необходимыми средствами. Поэтому когда майораты, как в Неаполе и Испании, удерживают вне оборота огромные поместья, составляющие значительную часть земельных угодий страны, они наносят ей существенный ущерб, особенно если их владельцы явно разорены.

Король приказал провести раздел общинных земель, но это распоряжение не было исполнено. Я не знаю, что этому помешало, и даже не в курсе, какие именно шаги предпринимались для реализации этого решения.

Перехожу к вопросу о национальной полиции. В Неаполе было сделано то же самое, что и во Франции: учреждены муниципальная полиция, полиция безопасности и общая полиция. Первые две были оставлены в том слабом состоянии, до которого французские нравы позволили их довести во Франции. Там, в условиях развитой цивилизации, естественная охрана порядка, устанавливаемая благодаря труду деятельной и предприимчивой нации, а также благодаря высокой доле собственников, заинтересованных в порядке, по сравнению с пролетариями, склонными к беспорядкам, давно свела их значение к минимуму.[239] В Неаполе решили компенсировать отсутствие муниципальной организации, наделив огромной силой общую полицию, создав для этой цели целое министерство и предоставив ему широчайшие полномочия для произвола. Это ошибка.

Древние народы сдерживали своих пролетариев с помощью рабства; китайцы - с помощью патриархальной власти, которая подчиняет воле старейшины рода множество детей: несовершеннолетних, взрослых и даже тех, кто сам уже стал отцом семейства. Современные же народы использовали для этого феодальное правление. У нас нет и мы не желаем рабства. У нас нет и мы не желаем патриархальной власти, довольствуясь существующей системой отцовской власти. Мы больше не хотим феодальной системы.

Однако нам необходима организация иного рода - это организация пролетариев в виде ополчения под началом строгой дисциплины, осуществляемой собственниками. В некотором смысле это будет феодализм собственности, пришедший на смену феодализму господства.

[239] Я считаю это утверждение неточным и основываюсь на двух общеизвестных феноменах. Во-первых, во сне мы видим, слышим, осязаем и наслаждаемся всеми прелестями любви, на самом деле не видя, не слыша и не касаясь ничего в реальности. Во-вторых, человек с ампутированной рукой иногда верит, что чувствует руку, которой у него больше нет. Впрочем, всё, что предшествует трем последним строкам параграфа 49, кажется мне совершенно верным.

Именно такой была система Альфреда в Англии и даже Карла Великого во Франции. Десятники и сотники были частью этой системы.[240]

Пролетария можно подчинить такому порядку, не унижая его достоинства. Не нужно говорить ему: «*Я записываю тебя в полк, чтобы ты не стал разбойником*». Ему нужно сказать: *«Я записываю тебя в полк, чтобы ты вместе с нами помогал подавлять разбойников»*. Опыт учит одной очень важной для законодателей, но редко замечаемой истине: бандитизм практически неизбежен в любой стране, где разбойник находит убежище. В таких условиях даже самая активная, дорогостоящая и грозная полиция постоянно оказывается бессильной, как собаки, наиболее пригодные для охоты на лисиц в тех краях, где много нор. И напротив, разбой совершенно неизвестен в тех странах и в те времена, когда для бандитов нет убежища, даже если не существует ни шпионажа, ни засад, ни специальной службы на дорогах для преследования и поимки преступников.

В Неаполитанском королевстве во все времена водились разбойники, несмотря на господских вооруженных охранников (*armigeri*), конвои почтовых курьеров (*scorta des procaci*) и конную стражу (*cavallari*). Почему? Потому что существовало расхождение интересов между разными областями, разногласия между сеньорами, а повсюду - скрытое противостояние и вражда между господином и вассалом, между управляющими и крестьянами. Таким образом, крестьяне были естественным убежищем для людей, преследуемых солдатами господина, которые к тому же не отличались особым рвением и были совершенно безразличны к общественному порядку.

Во Франции спустя долгое время после революции 1789 года на Западе все еще действовали банды разбойников, несмотря на формальное подчинение края. Не проходило и года, чтобы вооруженные отряды не грабили дилижансы в Майене, Сарте или Орне. Почему? Потому что гражданские войны разделяют умы: враг порядка, правительственных агентов и похититель государственных средств становится другом; солдат и агент недовольных находит у них убежище, защиту, ложные показания в свою пользу и оправдания против свидетелей обвинения.

В Швейцарии нет жандармерии, и тем не менее по ней можно путешествовать в полной безопасности, не опасаясь встретить ни вора, ни убийцу.

У кантонов, несомненно, есть свои частные интересы; но эти интересы идентичны в том, что касается уважения к собственности, законам и правительству. Ведь там собственность разделена между всеми, она находится в равном положении, и никакая феодальная тирания не позорит одних и не дает привилегий другим. Различие местных интересов не превращается ни в оппозицию, ни в раскол, ни в распри; оно лишь служит укреплению муниципальной полиции, то есть бдительности по отношению ко всем бродягам и людям без определенных занятий, приходящим из одного кантона в другой. Нигде свобода путешественника не уважается больше, потому что в гостиницах на больших дорогах не оказываются преступники, когда у них нет иного пристанища в случае нужды. Там, где преступникам для спасения не остается ничего другого, кроме как кочевать из одной гостиницы в другую, их вскоре ловят. Но если какой-то кантон неохотно, без множества сведений и предварительных проверок принимает гражданина из другого кантона в круг своих жителей, то это происходит потому, что в целом считается: нигде человеку не может быть лучше, чем на родине. Если же ему там плохо, значит, он совершил какой-то дурной поступок, а покидать родину, когда там всё хорошо, - легкомыслие, достойное осуждения. Этот обычай сурово порицают сторонники «Всемирного общества», которые смешивают всех людей всех наций, всех городов и всех деревень и тем самым разрывают даже семейные узы ради объединения всего человечества - путаница, несовместимая с любой общественной организацией.[241] Именно противоположная система лежит в

[240] Это не является абсолютной истиной. Напротив, существуют знания, которые закрепляются только благодаря новым знаниям.

[241] Аналогия не воспринималась на слух, но существовала в основе. Просто её нужно было переводить, чтобы обнаружить, что, без сомнения, создавало немалые неудобства.

основе гарантии порядка и общественной безопасности в Швейцарии: каждый кантон рассматривает себя как семью, как однородное целое, где каждый защищен всеми и должен содействовать безопасности всех. Когда эти принципы становятся глубоким чувством и превращаются в привычку, разве можно представить, чтобы хоть один человек дал приют известному и объявленному преступнику?

Лучшим барометром политического и морального состояния страны является точная перепись различных классов ее жителей.

Мало ли в стране собственников (*possidenti*) и много ли пролетариев? Такую страну либо трудно удерживать в повиновении и цивилизовать, либо пролетарии в ней находятся в рабстве - или абсолютно, как древние рабы, или частично, как вассалы при феодальном строе, или как дети в патриархальном управлении. В любом случае народ при нем не обретает ни нравственности, ни счастья. Я мог бы добавить - и силы, так как сила исходит от граждан, а не от рабов.

Страна, где много собственников и мало пролетариев, может быть более или менее сильной в зависимости от того, является ли основная масса собственности земельной и сельскохозяйственной или же промышленной. Сельскохозяйственные страны дают больше солдат, чем страны с развитым производством, и притом лучшего качества. Я ограничусь лишь этими двумя примерами в подтверждение данного тезиса.

До настоящего времени вопросу классификации населения при переписи уделялось мало внимания, и попытки составить такие списки по сословиям не увенчались успехом.

Разделение на классы стало бы первоочередной темой для изучения и источником трудностей. На сколько групп следовало бы разделить население? Какие критерии определяли бы это деление?

АНГЛИЯ.

Классификация Грегори Кинга.

В Англии в начале XVIII века Грегори Кинг составил таблицу жителей страны, распределив их по рангам: духовные лорды, светские лорды, рыцари, баронеты и так далее. Всего насчитывалось двадцать шесть классов, последний из которых включал бедняков и обитателей лачуг. В этой работе много путаницы. Во-первых, подсчет в каждом классе ведется по семьям; в каждую семью включены слуги, и их число определяется в зависимости от класса. Таким образом, невозможно понять, какова общая численность слуг в королевстве.

Во-вторых, классы обычно обозначаются общественным положением, должностью или титулом; однако среди этих классов встречаются как крупные, так и мелкие собственники. При этом такое разделение может пересекаться с категориями лордов, баронетов, эсквайров, а также военных или морских офицеров, поскольку большинство из них являются владельцами собственности, причем многие - крупными.

Статистика Артура Юнга.

Артур Юнг в четвертом томе своего «Путешествия на Север» (английское издание, стр. 364) также предпринял попытку классификации нескольких сословий, однако его разделение кажется неполным. *(Требует проверки).*

Статистика господина Греллие.

Господин Греллие составил таблицу производительных и непроизводительных классов, опубликованную в 10-м томе журнала *Monthly Magazine* на странице 27.

Примечание. В Англии существуют самые разные мнения относительно численности населения страны. В том, что взгляды авторов, писавших с разрывом в целый век, расходятся, нет ничего удивительного - это объясняется как изменениями в численности населения за прошедшее время, так и различием в методах поиска истины. Однако наиболее вероятным и общепринятым можно считать мнение, высказанное господином Питтом (1) и поддержанное всеми ораторами парламента при обсуждении торгового договора 1783 года. Согласно этому мнению, население Великобритании составляет восемь миллионов человек. Если вычесть население Шотландии, которое оценивается в 1 500 000 человек, то на долю Англии и Уэльса останется 6 500 000 человек. *(Примечание: в Ирландии проживает от 4 до 5 миллионов жителей. Похоже, господин Десаэр не считает Ирландию частью Великобритании).*

Артур Юнг оценивает численность некоторых классов следующим образом:

- Люди, занятые на производстве: 1 600 000
- То же самое, на фермах: 2 800 000
- Нищие: 1 000 000
- Матросы и солдаты: 400 000
- Слуги (их число можно оценить в): 400 000
- **Итого: 6 200 000**

Если рассматривать всех этих людей как пролетариев, то при восьмимиллионном населении Англии (включая Шотландию) на одного собственника или владельца будет приходиться немногим более трех пролетариев.

ИСПАНИЯ.

В Испании также было предпринято несколько попыток переписи населения по сословиям. Однако число выделенных классов было весьма ограниченным. В таблице, составленной в 1788 году («Путешествие по Испании» Лаборда, том IV, стр. 23), преследовалась лишь одна цель: выяснить, в какой пропорции состояла численность сословий государства: духовенства, дворянства и народа. Впрочем, в этой статистике отдельно выделили домашних слуг. Подобное деление крайне малоинформативно.

В 1802 году в Мадриде был опубликован отчет, который приводится в «Литературном мемориале» за тот же год. Похоже, единственная цель, которую преследовали авторы этого документа, заключалась в том, чтобы определить долю населения, которая не участвует в воспроизводстве, то есть общую массу черного и белого духовенства в сравнении со всеми остальными жителями.

ФРАНЦИЯ

Во Франции господин Моро написал глубоко продуманный труд, в котором довольно точно представлен анализ общества. Ведь правильное разделение - это не что иное, как аналитическая таблица социума. Однако для полноценного воплощения этого замысла не хватило данных. Впрочем, я не вижу, чтобы он пытался разделить население на рабочие и праздные классы; на те классы, чей труд производит нечто новое, тех, чей труд сохраняет и преумножает созданное, и тех, чей труд оберегает и гарантирует безопасность. Он также не разделил жителей на собственников и несобственников, а самих собственников - на различные категории в зависимости от размера их состояния или характера имущества. Все эти деления необходимы, чтобы понять состояние страны как саму по себе, так и в сравнении с другими государствами.

НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Мне не известно ни одно статистическое описание Неаполитанского королевства, основанное на подобном делении. Известно лишь, что в столице проживает 400 000 человек; это составляет от одной двенадцатой до одной тринадцатой части населения всего королевства. Подобная диспропорция между столицей и остальной частью государства не имеет аналогов в Европе. В Неаполе это обусловлено масштабными историческими факторами и само по себе является одним из наиболее значимых и влиятельных обстоятельств в жизни страны. Министр финансов должен иметь сложившееся и, что важнее всего, верное мнение о преимуществах и недостатках столь огромной столицы, чтобы на основании этого регулировать множество операций и налогов, которые могут либо способствовать росту населения, либо поддерживать его численность, либо приводить к его сокращению.

Известно, что белое духовенство состояло из.....

Черное духовенство { Монахи..... Монахини.....

Это число относилось к общей массе нации как.....

Известно, что дворянство.....

Известно, что число юристов в Неаполе составляло.....

ТАБЛИЦЫ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ

Любое общество можно разделить на столько различных категорий, сколько существует точек зрения на его членов. Но суть любого деления в том, чтобы оно носило общий характер и охватывало всех людей без исключения. Таким образом, естественные признаки дают следующее деление:

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ.

1. На мужчин и женщин;
2. По возрасту: дети, взрослые, старики;
3. По семейному положению: состоящие в браке и холостые;
4. По типу поселения: горожане, сельские жители, люди, живущие уединенно;
5. По способности носить оружие или неспособности к этому и т. д.;
6. По проживанию в той или иной провинции, на севере, на юге и т. д.

Общественные отношения (труд): деление на работающих и праздных с подразделением видов деятельности.

Подразделение труда может быть проведено с различных точек зрения:

1. Труд:
    1. производительный;
    2. сохраняющий (ремесла и промыслы);
    3. сфера личного обслуживания и домашний персонал;
    4. обеспечивающий гарантии (государственное управление, администрация).
2. Труд физический и труд умственный.
3. Труд с применением сложных механических систем или физической силы, либо труд с помощью простого инструмента.

2. ДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПО УРОВНЮ ДОСТАТКА: ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ, СРЕДНИЕ, БЕДНЫЕ; ИЛИ ПО ХАРАКТЕРУ ИХ ИМУЩЕСТВА: ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ, КАПИТАЛИСТЫ-АРЕНДАТОРЫ ИЛИ КАПИТАЛИСТЫ-ПРОМЫШЛЕННИКИ.

Другие общественные отношения (средства к существованию).

5. Собственники:
    1. земельные;
    2. капиталов, вложенных в землю;
    3. капиталов, вложенных в производство (мануфактуры);

4. капиталов, вложенных в самих себя (профессиональные таланты).

6. Владельцы состояний различного уровня.
   Пролетарии:
   1. Слуги;
   2. Сельскохозяйственные поденщики;
   3. Поденщики в обрабатывающей промышленности;
   4. Нищие.

Другие отношения в гражданском обществе по рангам и отличиям.

- **Духовенство.**
- **Дворянство:** высшее, среднее, низшее.
- **Третье сословие:**
  - Живущие по-дворянски.
  - Буржуазия.
  - Плебс.
  - Чернь.

Другие гражданские отношения по религии.

- Католики,
- Протестанты,
- Иудеи и т. д. (Не окончено.)

Государь,

Главный недуг Неаполитанского королевства, от которого происходят все остальные, - это праздность. Чрезвычайное оживление в столице не должно вводить в заблуждение относительно этой истины: причиной этого движения является лишь огромное скопление людей, у которых мало занятий, а вовсе не их деятельность.

Праздность - это естественное следствие плодородия земли, которая дает урожай почти без труда, и климата, который в течение трех месяцев в году настолько лишает сил, что едва позволяет ощущать потребности, способные эти силы пробудить. Однако монастыри, открытые для праздности, удваивают этот порок и в течение всего года поощряют ту склонность к безделью, которую жара климата оправдывает лишь в течение трех месяцев.

Феодализм, который объединял земли страны и сосредоточивал богатства в руках немногих, заставлял расходовать огромные доходы на чисто показное великолепие и населял огромные дворцы толпой ленивых слуг, также добавлял своего влияния к природным причинам отвращения к труду.

«Земледелие, - говорит Монтескье («О духе законов», кн. XIV, гл. VI), - *это то, что дает людям больше всего работы; чем больше климат побуждает их избегать труда, тем больше религия и законы должны их к нему стимулировать. Таким образом, законы Индии, которые отдают земли князьям и лишают частных лиц духа собственности, усугубляют дурные последствия климата, то есть естественную лень».*

«Монашество, - добавляет он («О духе законов», кн. XIV, гл. VII), - *порождает то же зло... Чтобы победить лень, вызванную климатом, необходимо, чтобы законы стремились лишить людей любых средств к жизни без труда; однако в Южной Европе они поступают совершенно наоборот: они предоставляют тем, кто хочет быть праздным, места, подходящие для созерцательной жизни, и наделяют их огромными богатствами. Эти люди, живущие в избытке, который их тяготит, вполне обоснованно отдают свои излишки простому народу; народ же, потеряв право собственности на имущество, компенсирует это праздностью, которой ему дают возможность наслаждаться, и в итоге начинает любить даже саму нищету».*

Когда Ваше Величество объединили с государственными доходами как позорно отчужденные в пользу кредиторов взносы под названием «фискальных арент» (arrendamenti fiscali),

так и - для возмещения убытков этим кредиторам - земли монахов, вы нанесли удар по национальной болезни, чтобы исцелить рану королевства. Вы вернули короне ее достояние, изъяв его из владения праздности; вы оздоровили финансы, начав с оздоровления общественной морали; вы оказали неаполитанской нации сразу две услуги.

Когда Ваше Величество упразднили феодализм и налоговые привилегии, когда ограничили дворянство лишь прерогативами, необходимыми для сохранения интереса к королевской власти, и дали возможность добавить нечто к блеску короны, вы снова атаковали зло, терзающее королевство. Вы восстановили дух собственности в нации, освободив собственность от повинностей и неравенства, которые обременяли владения простолюдинов. Вы восстановили его в знатных семьях, разделив между братьями и сестрами имущество, которое раньше предназначалось исключительно старшим сыновьям. Сегодня, Государь, упраздняя монастыри, служившие прибежищем для дочерей, лишенных наследства феодальным строем, Ваше Величество лишь обеспечите исполнение своих законов и закрепите плоды своего труда.

Главный недуг Неаполитанского королевства (и, вероятно, Испании) - это леность. Доказательства этой лености: в ремесленной среде лавки и мастерские ежедневно закрыты с полудня до четырех часов. В сфере развлечений: неспособность выдержать зрелище, обладающее хоть какой-то серьезностью и требующее грамма внимания. Отсюда - постоянные разговоры во время представлений; отсюда - безразличие к великим и прекрасным композициям, к стройности и гармонии всех частей; отсюда же эта страсть к отдельным мелодическим отрывкам. Повсеместно наблюдается перепоручение работы другим и жизнь на жалованье; во Франции просят хлеба, здесь же просят покоя.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Продолжительность труда всей нации, то есть пяти миллионов жителей, в пересчете на каждого человека не составляет и получаса в день. Во Франции этот показатель равен тремчетырем часам (подобные расчеты еще не проводились составителями статистики, а между тем нет ничего более важного). В Неаполе трудится только земля; человек здесь лишь собирает плоды, потребляет и продает. Богатство страны заключается в пшенице, вине, масле, шерсти и шелке. Масло получают без всякого ухода за деревом: его посадка занимает всего десять минут, а плодоносит оно тридцать или сорок лет. Овцы дают шерсть: они кормятся на пастбищах, заросших травой без всякого возделывания. Шелк производят черви, воск - насекомые: тутовые деревья питают шелкопрядов, леса и поля кормят пчел. Виноградная лоза дает вино; ее подрезают, но землю под ней не пашут. Одна лоза покрывает пятнадцать туазов земли. Пшеница и хлопок требуют труда, но насколько же этот труд легок! Это забота всего на один сезон. Манна - продукт самопроизвольный. Солодка - еще один такой продукт; она не только растет сама по себе, но и служит свидетельством невозделанности земель.

Эти продукты, почти спонтанные дары земли, делятся на две части: одна оплачивает праздность внутри страны, другая - чужой труд за ее пределами.

Трехмесячная летняя жара навязывает лень в этот период и приучает к ней в остальные девять месяцев. Плодородие земли, которая без всякого труда позволяет прокормить одного человека на пяти арпанах и вдобавок оплатить труд другого человека на стороне, является еще одной естественной причиной лености.

В жарком климате у человека мало потребностей; нет нужды в капитальном жилье, отоплении, освещении и теплой одежде. Красота неба и тепло избавляют от всех этих забот: мало потребностей - мало причин трудиться.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

Институты, которые должны были бы исправлять или смягчать влияние климата, сами попали под его воздействие; а подпав под него, лишь усилили его. Все государственные доходы, все доходы частных лиц поощряют внутреннюю лень и оплачивают лишь тот труд, что совершается за границей.

Легкость рыбной ловли на побережье и охоты в горах приучают людей к азартному образу жизни. Монахи и священники поглощают треть всех доходов. Дворяне и их слуги - прочие бездельники, одни из которых носят ливреи, а другие - монашеские рясы, и в приемных, как и в монастырских стенах, ничего не делая, забирают еще одну треть доходов.

Государственные пенсионеры, «избыточные» (*exuberanti*), чиновники на жалованье (*pensionisti*), почетные отставники (*jubilati*), дети и вдовы отставников получают половину оставшейся части; «избыточный» в этой стране - это официальное звание.

В стране, где живут на пособия и жалованье, легко привыкают выпрашивать средства к существованию. Приходится просить на жизнь, когда не можешь ее заработать. Привычка выпрашивать должности (поскольку это единственный способ их получить) естественным образом ведет к привычке просить милостыню. Просить милостыню - это ремесло, которым занимаются все; и поскольку это делают все, в этом так мало постыдного, что тот, кто просит подаяние в городе, требует его и при дворе, у министров и у самого короля.

Г-НУ РИЧЧАРДИ

Неаполь, 20 июля 1808 г.

Прошу вас, сударь, поместить в вашу библиотеку полное собрание записок обо всех благотворительных учреждениях Европы. Оно находится в некотором беспорядке, не переплетено, а у меня больше нет времени, чтобы привести его в надлежащий вид; но я предлагаю его вам ради самой сути, а не как украшение для библиотеки. Если я когда-нибудь совершу глупость и решу написать о Неаполитанском королевстве, я скажу, что болезнь этой страны - праздность: климат и плодородие земли способствуют ей. Это должно было бы стать поводом для того, чтобы общественные институты боролись с ней, но они, напротив, лишь усугубляют это зло. Институты, враждебные труду в этой стране, таковы: 1) феодализм и старинные налоговые привилегии; 2) монашество; 3) ваша система общественной помощи, приютов, больниц и богоугодных заведений. И это именно то, что здесь было совершенно не понято даже новым правительством. На феодализм совершили нападки, привилегии отменили, монашество подорвано так, что скоро падет; но ваши национальные предрассудки в вопросах общественной благотворительности даже не подверглись рассмотрению.

Поскольку вы - единственный просвещенный человек, которого мне посчастливилось узнать в Неаполе, я призываю вас, если у вас будет время, заняться этой областью. Главы V, VI и VII четырнадцатой книги «О духе законов» Монтескье, а также глава XXIX двадцать третьей книги, на мой взгляд, говорят обо всем, что необходимо знать человеку мыслящему и сведущему. Но, безусловно, сравнение того, что делается во всей Европе для управления общественной помощью, мер, которые принимаются для того, чтобы она не служила пищей для безделья, и средств, используемых для того, чтобы она способствовала росту национального труда - единственной основы общественной собственности - всё это стоит изучить и распространить.

Вы увидите несколько томов разрозненными и перевязанными; дело в том, что они были плохо сброшюрованы, и я восстановил листы в их истинном порядке.

Примите вновь заверения в моей преданности и самом глубоком почтении.

Мужчины, женщины, все без исключения раздеваются и ложатся спать с трех часов дня до шести. За работой тележников, плотников и столяров любопытно наблюдать. Если они тешут кусок дерева, то держат его одной рукой на верстаке вместо того, чтобы закрепить верстачным зажимом, и работают только другой рукой. Часто двое юношей придерживают заготовку руками. Работа движется, но лишь ценой огромного времени и усилий.

Меня всегда поражает усердие местных слуг и кучеров. За два года я не припомню случая, чтобы лакей или кучер отлучился хотя бы на четверть часа. Они следуют за вами повсюду, оказываются везде, где вы находитесь, и остаются там, где остаетесь вы. Они могут проводить по тридцать часов подряд в прихожей; они проводят по пять часов у дверей вашей ложи в театре, в коридоре; им нужны лишь стул или деревянная скамья. Они приходят, усаживаются и засыпают. Попробуйте потребовать такой службы от француза! Зато француз перевернет весь ваш дом: он вычистит его, отмоет, обставит мебелью или освободит от неё за два часа. Здесь же слуга не берет в руки метлу и разу в год; для уборки нанимают поденщика, и как же он убирает! Мостовые повсюду грязные. По всем углам видны кучи мусора; под стульями подметают, не сдвигая их с места; лестницы в самых больших домах грязнее наших конюшен; на лестницах мочатся на каждом этаже. Повсюду царят лень и нечистоплотность.

Одна из причин существования здесь банков заключается в том, что они служат для хранения вкладов частных лиц; это огромное преимущество в стране, где жара заставляет всегда держать двери открытыми, где не умеют изготовить замок и где все слуги - воры до такой степени, которую невозможно описать.

Неаполитанское дворянство не имеет в себе ничего благородного. Франция и французская армия представляют сегодня огромное количество дворян без родословной; неаполитанская же знать имеет и происхождение, и титулы, но не имеет ни одного истинного дворянина.

Все они - торговцы маслом и лакричным соком, и никто из них не носил оружия, ни их отцы, ни деды; а их сыновья плачут, буквально плачут, когда им предлагают отправиться в Фоджу с ротой солдат.

Есть ли у них хотя бы состояние? Нет; у всего этого сословия дворянства нет ничего, кроме титулов некоторого имущества, доходы от которого принадлежат их кредиторам, и они остаются их призрачными владельцами лишь благодаря длинной череде указов об отсрочке платежей в отношении несчастных заимодавцев. Все это мнимое дворянство окажется нищим в тот день, когда правосудие сможет беспрепятственно вступить в свои права.

Одна из причин, по которой здесь не работают, заключается в том, что дома до двух-трех часов ночи раскалены как печи; спать в них невозможно, из-за чего люди постоянно в движении или проводят ночи за игрой. Летом улицы всегда полны народа; гитары, песни, серенады, уединенное музицирование у собственного окна занимают время до трех часов ночи. Поэтому люди из приличного общества спят до десяти часов утра; простой народ, по крайней мере в городах, встает очень поздно; он начинает работать как раз тогда, когда снова наступает жара; в полдень или в час дня нужно ложиться и отдыхать - в это время дома снова начинают накаляться.

Половина французов работает, чтобы добыть хлеб, другая половина - чтобы обеспечить себе удовольствия. В Неаполе цель любого труда - ничего не делать. Лень, или, если угодно, покой - это самый ходовой товар в стране. Ради *ничегонеделания* здесь отказывают себе в удовольствиях и даже в хлебе.

Человек получает должность: он отдает половину жалованья заместителю, который исполняет его функции; тот перепоручает половину обязанностей третьему лицу, выплачивая ему четверть жалованья; а этот третий передает дела еще четырем или пяти помощникам, которые почти ничего не стоят и почти ничего не делают.

Управляющий домом перекладывает половину своей работы на камердинера, тот - на лакея, а лакей - на трех поденщиков. У кучера есть конюх, которому платит хозяин; оплачиваемый конюх поручает чистку лошадей помощникам конюха, которым платит сам. У повара есть два поваренка, которым он платит; у тех есть другие, в распоряжении которых находятся поденщики.

Главное стремление при получении должности - найти способ делать на ней как можно меньше. В конторах числятся начальники, служащие, избыточные штаты, помощники, сверхштатные сотрудники, ветераны на покое; под всеми этими званиями люди получают деньги. Великий секрет экономики здесь заключается не в разделении труда, а в разделении покоя. Француз скажет вам: *«Дайте мне много дел и возможность много заработать»*; неаполитанец говорит: *«Дайте мне заработать столько, чтобы я мог оплатить труд тех, кому поручу свои дела»*.

Министру в Неаполе трудно избежать визитов назойливых просителей, у которых припасено несколько экю для тех, кто охраняет его двери. Им говорят: «Министр работает» - они и слушать не хотят. Им говорят: «Министр спешит на заседание совета...». Никакого толка! «Он идет на доклад к королю...». То же самое. Но стоит сказать в любой час дня: «*Dormi*, он спит», и при этих словах проситель удаляется, не находя что возразить.

НЕАПОЛИТАНСКАЯ ЛЕНЬ.

Когда я говорил, что служащие и даже домашние слуги любого ранга всегда перепоручали свои обязанности наемному работнику или слуге, которого брали на содержание или которому платили из своего жалованья, я, возможно, еще не доказал этим фактом лень всей нации, а лишь лень всех тех, кто живет в достатке. Мне могут возразить, что делегирование труда не доказывает, будто в Неаполе выполняется меньший объем работ, чем в других местах. Если мы видим, что все люди, облеченные обязанностями, перекладывают их на других, то одновременно видим и равную массу людей без определенного занятия, которые берут на себя труд тех, кто занимает официальные должности. Словом, работа выполняется, и неважно, кем именно она делается.

Я отвечаю: во-первых, сама привычка перепоручать работу, за которую ты отвечаешь, уже является признаком лени, так как она предполагает денежную жертву, определенное безразличие к выполнению долга и полный отказ от чести сделать дело хорошо. Во Франции служащий всегда стремится объединить несколько должностей, взять на себя выполнение того, что его предшественник поручал подчиненным, при условии получения их жалованья. Скажут, что это признак алчности; да, но также и активности. Если такой метод является доказательством активности, то противоположный метод служит доказательством лени.

Я отвечаю: во-вторых, работа не выполняется,

Из-за привычки делегировать полномочия работа выполняется лишь наполовину, делается плохо и никогда - вовремя.

Время, необходимое для физической передачи задания, для возврата выполненного труда, для отправки на правку и повторного получения исправленной работы, часто оказывается более продолжительным, чем время, требующееся на само выполнение задачи. В результате дела не заканчиваются никогда.

Интерес того, кто поручает работу, заключается в том, чтобы потратить как можно меньше; поэтому он максимально сокращает задачу, которую ставит перед подчиненным. Он урезает и калечит вопросы, отсекает необходимые детали, обходит важные трудности. Если работник плохо понимает, что от него требуется, он объясняет еще хуже; а если заместитель понимает плохо изложенное еще слабее, то работа выполняется совершенно вкривь и вкось, либо не делается вовсе, либо делается настолько туманно, что теряет всякий смысл.

Заместитель же, рассчитывая получить лишь скромное вознаграждение за свой труд и не имея надежды на признание, выполняет всё небрежно.

Повседневная практика во всех делах такова, что в Неаполе всё тянется бесконечно. Какому бы неаполитанцу вы ни приказали что-либо сделать, он десять раз ответит вам: *«Lesto, subito»* (Быстро, сейчас же), прежде чем вообще пошевелится.

СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА

Я полагаю, что все продукты Неаполитанского королевства могут быть получены менее чем за один час с четвертью ежедневного труда из расчета на каждого человека любого возраста и пола.

Природа этих продуктов подтверждает или, по крайней мере, допускает подобное мнение. Это вещи, созданные в гораздо большей степени трудом природы, нежели трудом человека.

Я уже подробно описывал это в другом месте.

Во Франции территориальные продукты аналогичного характера и той же стоимости требуют более трех часов труда на человека. Вино является ярким примером этой истины.

Возможно, кто-то спросит: какая польза в знании соотношения количества труда в стране и производимых ею продуктов? Небольшое размышление подскажет ответ: именно по труду нации можно судить о её добродетелях и счастье. Та (свободная) нация, которая трудится больше всех, несомненно, является самой мудрой и самой счастливой.

Среди качеств, которые вырабатываются привычкой к энергичному и упорному труду, правительства должны на первое место ставить военные качества. Ленивый народ не дает солдат.

В жизни солдата именно усталость, а не опасность, внушает наибольший страх. Праздный народ боится её из-за сопряженных с ней утомления и риска. Трудолюбивый же народ желает её как меньшего труда и своего рода отдыха.

Швейцария поставляет солдат всей Европе. Неаполь же даст солдат Неаполю только тогда, когда местному жителю придется трудиться больше, чем солдату.

Это наблюдение ново. Можно было бы опасаться, что оно ошибочно, но я считаю его верным.

Не лишения и не нищета заставляют предпочитать солдатскую жизнь независимости; именно привычка к труду, порождая презрение к солдатским тяготам, позволяет стремиться к славе. Из народа попрошаек вы не сделаете ни одного солдата; из 50 000 неаполитанских лаццарони не выйдет ни одного бойца, в то время как среди крестьян Терра-ди-Лаворо их найдутся тысячи. Работа на земле требует больше всего стойкости перед непогодой и дает больше всего движения телу, а потому имеет наибольшее сходство с солдатским состоянием.

Земледельческий народ более пригоден для поставки солдат, чем народ промышленный. Фермер - прирожденный всадник. Все крестьяне привычны к ношению тяжестей и к долгим переходам.

Невозможно постичь славу оружия и не удастся ощутить гордость за принадлежность к военному сословию, пока человека страшат тяготы службы.

Провинции Испании, которые поставляют больше всего солдат (и притом лучших), - это провинции трудолюбивые. Обе Кастилии, где так много бездельников и столько спеси, не дают их вовсе.

Я не говорю, что одной лишь привычки к труду в нации достаточно, чтобы пробудить вкус к военной жизни; я говорю, что этот вкус может родиться лишь там, где царит привычка трудиться. Привычка к труду является общим и необходимым условием; побочные условия и движущие силы - это сила примера, сила традиций страны, определенное обладание военной славой, некие семейные отличия, определенные надежды, пробуждающие воображение, и влияние лидера, чей гений покоряет всё и чья слава увлекает всех за собой.

НЕАПОЛЬ И ШВЕЙЦАРИЯ.

Под небом, которое всегда остается чистым и лазурным, окрашиваясь в розовые или пурпурные тона там, где восходит или заходит солнце; подернутым легкой дымкой; при температуре, почти неизменно мягкой в течение десяти месяцев в году; в атмосфере, которая в месяцы сильной жары наполняется негой и одновременно зноем; перед спокойным морем, усеянным очаровательными островами, которые в древности были местом отдыха для самых могущественных и великих людей, воспетыми всеми поэтами - любителями удовольствий, посещаемыми и прославляемыми всеми путешественниками; посреди богатейших равнин, самых живописных гор, разнообразнейших посевов, изящнейших плантаций, украшенных гирляндами и фестонами, подобно садам, наряженным к празднику; в долинах, где видно, как одновременно готовятся и созревают три урожая один за другим, сменяя друг друга в течение одного сезона; где даже пустоши и самые обделенные природой земли мощью своей дикой растительности показывают, как мало труда человеческих рук требовали плодородные почвы, дающие полезные плоды, и покрыты вечнозелеными кустарниками, дроком, лавром и миртом; где апельсиновые и лимонные рощи каждый день в году предлагают вам на одном и том же стебле, на одной и той же ветви цветок с нежнейшим ароматом и плод чистейшей формы и цвета, с самым благоуханным вкусом; среди изобилия всего необходимого для жизни, всех веществ, служащих пищей человеку - на мгновение мой взор очарован, но мое воображение никогда не привязывается к этому месту, а сердце никогда не чувствует себя удовлетворенным. Вот что я ощущаю в Неаполе.

Я приезжаю в Швейцарию: туманы, дожди, снега в течение двух месяцев в году; вечные льды над головой; постоянная сырость; разнообразные, живописные виды, но пугающие скалы, голые и неприступные горы; огромные деревья, но при этом хилые и слабые культурные растения; повсюду природа, которая, пусть и не сопротивляется человеческому труду, кажется, по меньшей мере, неохотно подчиняющейся и неблагодарной за заботу о ней. И тем не менее, я чувствую здесь благополучие, удовольствие, особое очарование.

Откуда берется этот контраст?

Дело в том, что в Неаполе я вижу роскошь растений и вижу лишь нищету людей и животных. Всё, что растет, полно жизненных сил, всё, что живет, - жалко и несчастно. В деревне не встретишь человека не в лохмотьях; нет ни одной лошади, которая не была бы истощена; ни одного мула, чья кожа не была бы содрана до мяса.

Неизвестно, ради кого земля здесь так щедра. Это природное богатство, не мешающее человеческой бедности, кажется, несет в себе нечто чуждое и суровое - то, что обычно сопровождает богатство.

В Швейцарии вам не нужно спрашивать, находитесь ли вы в католическом или протестантском кантоне. Осаждают ли вас нищие повсюду, где бы вы ни остановились? Толпятся ли они у дверей вашей кареты на каждом подъеме и спуске? Значит, вы в католическом кантоне. - Видите ли вы только хорошо одетых людей, чистых детей, ухоженных лошадей? Вы в протестантской стране.

Неужели католицизм делает страну беднее? Вопрос не в том; этот вопрос маловажен, потому что бедность страны - это не то же самое, что бедность жителей. Житель очень богатой страны может быть крайне беден; такова участь неаполитанцев. Житель бедной страны может быть богат; такова участь швейцарцев в целом. Бедность или богатство жителей зависят прежде всего от их труда; но объем труда в стране зависит от заинтересованности, которую люди могут иметь в этом труде. К труду проявляется большой интерес в той стране, где собственность распределена так, что огромная масса людей является собственниками. Поскольку земля является наиболее всеобщим и надежным источником производства, распределение земельной собственности между людьми, нуждающимися в работе, выступает также и самой общей причиной самого труда. В любой стране существует огромная заинтересованность в труде там, где работа приносит результат и где законы запрещают любой иной способ к существованию, кроме как за счет плодов труда или права собственности.

В католических кантонах Швейцарии собственность разделена так же, как и в протестантских; однако католицизм, который допускает существование нищенствующих монахов и делает попрошайничество почетным, внушая, что существуют иные способы прожить, помимо труда, может снижать трудовую активность и общее богатство; но он совершенно определенно способствует частному бродяжничеству и индивидуальной бедности.

Почему в Неаполе, а теперь и в Итальянском королевстве, всегда есть разбойники и воры, хотя там существует жандармерия? И почему в Швейцарии никогда нет ни воров, ни разбойников, хотя в Швейцарии жандармерии нет вовсе?

Дело в том, что в Швейцарии для разбойников нет ни убежищ, ни пристанищ, тогда как в Италии они есть.

Но если жандармерия умеет выслеживать, преследовать и настигать виновных, какое значение имеет их убежище?

Настичь виновных, когда повсюду есть убежища, невозможно.

Но почему разбойники находят себе пристанище в Неаполитанском королевстве и в Италии, но не находят его в Швейцарии?

Потому что в Швейцарии существует единство интересов, единство нравов, единство партий; в Неаполе же есть интересы старые и интересы новые; нравы страны и нравы французов; партия побежденных и партия победителей.

Пространство от Реджо до Парижа для французского военного - словно длинная улица его родного города, где он на каждом шагу непременно встретит знакомых.

Не будучи военным, когда я ехал из Неаполя в Париж, я встретил больше знакомых лиц, чем вижу в Париже за тот же промежуток времени. В Риме - принцессу д'Авелла; во Флоренции - господина Люсьена Бонапарта, господина Доши, господина де Жерандо; в Парме - маршала Периньона, моего коллегу; в Милане - генерала Пюлли; в Лозанне - мадам де Сталь, господ Матье де Монморанси, Б. Констана, Камиля Жордана; в Страсбурге - родственницу; в Сен-Киренском стекольном заводе - мою собственность.

В Неаполе господин истощает силы работающего на него крестьянина, чтобы оплачивать слуг, которые ничего не делают.

Что следует понимать под словами: *Короля или принца любят? Принца или короля совсем не любят?* Диалог между мадам де Сталь и мной в Лозанне, август 1806 года:

Мадам де Сталь. - Неужели короля в Неаполе очень любили?

Я. - Вы спрашиваете, любили ли короля многие или вообще все? Придворные или городские жители? Простой народ или нация? Женщины или мужчины, гражданские, военные, священники, порядочные люди или мошенники?

И вообще, что значит «любить»? Как именно любить? Не означает ли это - уважать и почитать?

Очерк нравов: почему нормандцы так любят судиться?

Когда у жителей какой-либо страны признается наличие определенного порока, долг политики велит искать его причину; в противном случае невозможно было бы найти лечение или же убедиться, что болезнь неизлечима, что также входит в обязанности правительства. Если в Нормандии спросить, почему нормандцы так склонны к сутяжничеству, вам ответят: *«Потому что они всегда такими были»*. Но почему они всегда такими были, как они ими стали и как приобрели эту привычку?

«Это в крови», - что равносильно словам «это в воздухе» или «в форме головы». Но почему, собственно, это в крови, в воздухе или в форме головы? Я расспрашивал судей всех трибуналов Нормандии. Большинство ответило мне так же, как и обыватели. Другие же говорили: *«Судебные тяжбы возникают из-за дробления собственности - дробления, вызванного равным разделом имущества между наследниками мужского пола. Поскольку земли сильно раздроблены, возникает множество соседских связей и пересечений. В тех коммунах, где земельные участки обширны, соседей-собственников мало, а значит, и поводов для споров почти нет»*.

Из этого следовало бы сделать вывод, что в каждой коммуне должен быть только один владелец, чтобы избежать тяжб между жителями одного места; чтобы избежать их в масштабах департамента, нужен лишь один владелец на весь департамент; а чтобы избежать споров между жителями разных департаментов, во всей империи должен быть один-единственный хозяин. И, наконец, чтобы избежать войн, которые суть не что иное, как тяжбы королей, всему миру потребовался бы один-единственный собственник.

Но я отвечу проще, оспорив сам принцип. В Лотарингии, в Трех епископствах, равный раздел имущества происходит не только между мужчинами, но и между всеми детьми - мальчиками и девочками - без различия. Следовательно, там должно было возникнуть вдвое больше разделов, чем в Нормандии. На деле собственность в этих провинциях крайне раздроблена, и все же дух сутяжничества там совершенно не прижился. Можно даже утверждать, что там равенство долей, несмотря на их многочисленность, породило такие привычки к равенству в семьях и настолько укрепило братские чувства, что местные нравы предотвращают любые тяжбы, которые могли бы возникнуть из-за неравного раздела. Таким образом, равенство долей - это истинное лекарство от неудобств, связанных с дроблением собственности. Во-первых, оно мешает отцам совершать неравные разделы, а во-вторых, сами дети одного отца отказываются от них, если такие разделы уже были сделаны. Неравенство порождает зависть, унижение, раздражение - следовательно, оно и есть причина судебных тяжб.

Господа, чтобы понять истоки так называемого нормандского сутяжничества, не стоит ли сначала спросить, какой тип судебных дел наиболее распространен в Нормандии? Ведь если

окажется, что большинство тяжб одного рода, можно будет предположить, что их порождают определенные обстоятельства, а не просто страсть к кляузничеству, которая проявлялась бы беспорядочно во всех сферах.

Каков же самый распространенный вид судебных дел? Сегодня это споры о наследстве. Гражданский кодекс признает за дочерями право на равный с братьями раздел имущества, а это никак не укладывается в головах нормандцев. Но это причина временная. А до введения Гражданского кодекса и помимо этого случая, что было самым обычным предметом спора? Город или деревня? - Деревня. Были ли это гражданские иски или жалобы по уголовным делам? - Гражданские. Личные или вещные иски? - Вещные. Речь идет о дорогах и водных ресурсах. Каждый хочет иметь дорогу, чтобы выезжать со своего луга, и воду, чтобы его орошать; и каждый отказывает соседу в воде для полива или оспаривает его право на дорогу через свой участок к соседнему лугу.

Вот что проясняет вопрос: дорога или ручей - это общая собственность, в которой каждый нуждается для своего частного владения. Таким образом, именно объекты общей собственности являются главным предметом тяжб. По правде говоря, виной тому частные владения, которые, будучи раздробленными, порождают великое множество претензий или возражений.

Здесь я сделаю одно замечание. Дело в том, что Нормандия - это та часть Франции, где должно быть больше всего сельских дорог, потому что там всё - пастбища или луга, и по этой причине все они огорожены. Чтобы выйти за пределы ограды, нужны дороги. В зерновых же краях люди просто проходят по земле соседа, чтобы собрать урожай со своей. Большее количество дорог влечет за собой большее количество тяжб.

Итак, мы пришли к истине, которая проясняет суть дела: в Нормандии существует физическая причина судебных тяжб, некая причина, вытекающая из характера сельского хозяйства страны, который, в свою очередь, определяется природой почвы и климатом; именно эти два обстоятельства создают пастбища. Именно этой причине следует приписывать обилие тяжб, а не «нормандскому духу». Источник кроется в характере хозяйствования, а не в складе ума; «нормандский дух» можно назвать сутяжническим лишь в том смысле, что ум нормандцев оттачивается в судебных процессах, которые порождает сама земля Нормандии, будь то для подачи исков или для защиты своих интересов. Точно так же дух жителей лесов - это дух охотника, а люди, выращивающие ворсянку, прекрасно умеют чесать шерсть. Здесь уместно одно наблюдение: Нормандия - это та часть Франции, где требуется меньше всего труда. Чтобы вырастить быка стоимостью 600 франков или лошадь за 3000 франков, нужно лишь выпустить их на пастбище. Чтобы получить мешок пшеницы стоимостью от 60 до 3000 франков, нужно пахать, сеять, жать, перевозить, складывать в амбар, молотить, везти в город; кроме того, нужно думать о пропитании и оплате труда людей и лошадей, участвующих в этих работах. Таким образом, у нормандца больше свободного времени, чтобы размышлять о своих интересах. Кроме того, торговля скотом обостряет его ум, и, наконец, изолированная жизнь делает его почти равнодушным к тому союзу, который объединение людей в деревнях или поселках делает столь необходимым и приятным.

Россия

Русский солдат всегда чувствует себя лучше за границей, чем дома. Вечные зимы, вечные снега ослепляют его; в этом его отличие от француза, который не может долго оставаться вдали от родины. По мнению Монтескье, именно это делает невозможным завоевание Европы Францией. Русский крепостной счастливее в роли солдата, чем в роли крестьянина. Став солдатом, он обретает свободу; он получает дворянство, если благодаря своим заслугам дослужится до чина офицера генерального штаба.

Цивилизация - настолько благая вещь, что правители России должны предпочитать ту, которую находят уже готовую у своих соседей, той, которую им пришлось бы создавать самим.

Цивилизовать русских - опасное предприятие для государя, так как цивилизовать нацию можно лишь через освобождение крепостных, а это значит нажить себе врагов в лице всей знати; к тому же известно, как подданные расправляются со своими господами.

Цивилизация заключается не в учтивости бояр, которых посылают во Францию учиться вежливости; она заключается в формировании социальных привычек во всех классах и между всеми индивидами. Но между господином и рабом не существует общественных отношений.

Покорять цивилизованные народы с помощью варваров - крепостных, ставших солдатами, для которых солдатское сословие является путем к свободе и к офицерскому чину, дающему дворянство, - гораздо проще и удобнее.

Нужно дождаться той цивилизации, которую создаешь сам; той же цивилизацией, которой обладают покоренные народы, пользуются незамедлительно.

Легко цивилизовать густонаселенную страну, где люди находятся в постоянном контакте, где варварство обусловлено всеобщим невежеством или подобными предрассудками. Стоит лишь пролить свет на некоторые истины, и всё проясняется; люди начинают присматриваться друг к другу, вступают в диалог, вспоминают прошлое и приходят к согласию.

Но на огромной территории, населенной племенами, которые различаются по происхождению, языку, нравам, характеру и, возможно, способностям, и при этом каждое из них несет на себе отпечаток самобытных, а порой и противоположных черт, - в таких условиях цивилизация не является простым делом, которое осуществляется везде одними и теми же средствами. Сколько различий в их варварстве, столько же и противоположных методов требуется для того, чтобы их из него вывести. Сколько варваров, столько и видов варварства. Сколько людей нужно цивилизовать, столько и разнообразных путей к цивилизации. В маленькой стране для проведения улучшений достаточно одного человека; но в каждой малой части такой великой страны, как Россия, нужен человек, который понимал бы не только цель, к которой следует стремиться, но и пути, по которым нужно идти в зависимости от местных условий.

Петр Великий цивилизовал Петербург, наполнив его цивилизованными людьми; он не цивилизовал даже Москву. От Петербурга до всей остальной России - огромное расстояние. Это предприятие рискованное, долгое, трудное, опасное, сомнительное; это плохой расчет или же действие, противоречащее интересам правителя России.

Цивилизация оставляет в распоряжении правителя меньше людей, чем рабство; она требует большего их участия в искусствах, торговле и на государственных должностях. Она делает людей менее суровыми и менее приспособленными к войне, особенно к войнам долгим и далеким. Она прививает любовь к дому, полю, семье.

Чтобы в короткий срок цивилизовать варварский народ, нужно сначала дать ему ясно понять, что он варварский; нужно открыть его разум для неведомых идей; нужно внушить ему тягу к собственности, свободе, труду и мирным удовольствиям, которые являются их плодами. Все это отдаляет от военного духа, вечного спутника варварского состояния; вновь возродиться в цивилизованном обществе этот дух может лишь через понятие чести - позднего плода самой цивилизации. Промежуток времени от исчезновения варварского духа до формирования чувства чести оставляет народ беззащитным перед врагами.

Почему государь хочет иметь цивилизованные народы? Чтобы в мирное время пользоваться теми благами, которые дают искусства и утонченность нравов; чтобы во время войны иметь деньги и людей. Но если, располагая 600 000 варваров, император России может приобретать столько цивилизованных народов, сколько пожелает, то сама его любовь к цивилизации заставляет его быть заинтересованным в сохранении варварства. Если с помощью 500 000 варваров он получает 20 миллионов цивилизованных подданных, то варварство является для него лучшим инструментом цивилизации, который он только может использовать.

Имея население в 20 миллионов варваров, гораздо проще и выгоднее завоевать и удержать 20 миллионов цивилизованных подданных, чем цивилизовать 20 миллионов варваров. Цивилизация 20 миллионов завоеванных подданных будет тем более совершенной, чем в

большей степени 20 миллионов варварских подданных смогут взять на себя тяготы войны. Для России было бы крайне удобно иметь в качестве передового корпуса, выдвинутого к Европе, 20 миллионов жителей в процветающих, торговых городах и селах, а за их спиной - самых свирепых солдат Европы для защиты торговых связей.

Было бы легче управлять Европой из Петербурга, чем из Рима. Единственная гарантия, которую Европа может иметь против России, - это цивилизация или расчленение России. Цивилизация не может быть гарантирована иначе как отменой рабства, а отмена рабства - только пребыванием в Париже в течение пяти лет двадцати заложников из числа старинных князей или бояр.

Заметки в поддержку того положения, что сокрушение российского могущества означает избавление Европы от огромного и всеобщего вторжения.

Иногда я слышу вопросы: почему мы находимся в России? По какой причине мы переносим войну в столь отдаленные края и нападаем на державу, которая не причиняла нам никакого зла? Какой интерес нам ее захватывать? Вести войну в России - значит оберегать Европу. Нападать - значит защищаться. Вторгаться, чтобы расчленить, а не чтобы противостоять неизбежному вторжению, которое уже задумано и начато. Вы спрашиваете, что мы собираемся делать в России! Лучше спросите, зачем Россия явилась к дверям Франции, что она делает в Европе при каждом пушечном выстреле, что она сделала в Польше, что она делает в Турции, в чем заключается ее неизменный и насущный интерес и что ей необходимо предпринять.

РАЗРОЗНЕННЫЕ ЗАМЕТКИ О РУССКИХ И РОССИИ.

I

Природная склонность северных народов к продвижению на Юг обусловлена не только изобилием благ, которые предлагает цивилизация южных стран, но также внутренним чувством и опытом развития способности получать удовольствие в мягком климате, благодаря расцвету нервных окончаний при высоких температурах. См. Монтескье, «О духе законов», кн. IV, гл. II.

II

Для варварского народа нет ничего удобнее завоеваний; он получает все плоды искусств, не дожидаясь их постепенного развития. Нет более надежного способа совершать завоевания, чем оставаться варваром: так народ становится сильнее, меньше рискует, он вторгается к другим и остается там. Если же другие приходят к вам, они могут вас покарать, но не задерживаются. Варвар находит, чем поживиться у цивилизованного народа, и не боится возмездия.

III

Монтескье не дает ясного объяснения причин скудости налогов в деспотических государствах; ему не хватает ясности, потому что ему не хватает точности. Препятствием для высоких налогов служит вовсе не невозможность усилить крайнее рабство и не невозможность создать влиятельные сословия. Все гораздо проще: деспот, вынужденный отдавать народ на растерзание своим чиновникам, лишает подданных возможности платить деньги государю, и при этом он рад, что всегда находит в народе поддержку против своих же офицеров. Деспотизм - это самая слабая форма правления. Кроме того, удерживая рабов в состоянии невозможности заработка, правители лишают их и возможности тратить. В Константинополе султан заискивает перед чернью из предместий, которую он позволяет угнетать своим янычарам, перед которыми он также заискивает и чьей жертвой часто становится.

Мемуары о правлении в Китае, о языке китайцев и, в частности, об их письменности

(Примечание редактора.) В начале первого из двух трактатов о правлении в Китае г-н Рёдерер написал следующие слова: «Прочитано в Институте, и печать коих была заказана. Я пренебрег тем, чтобы отдать в печать». А в начале третьего Мемуара, посвященного языку и письменности китайцев, он написал следующее: «Этот Мемуар не зачитывался в Академии».

1

ПЕРВЫЙ МЕМУАР,
содержащий общий обзор политического устройства Китая.
Прочитано во втором разряде Института 7 флореаля VI года (26 апреля 1798 года).

Мы не перестаем говорить о греческих республиках и о римской республике; именно у них мы черпаем уроки и примеры морали и политики. Однако какая пропасть времени отделяет нас от этих знаменитых народов! Какие тучи сгустились над их историей! Какая смесь величия и варварства встречается в том, что нам известно об их деяниях! Какая череда мира и смут, позора и славы, процветания и несчастий на протяжении их существования! Какой стремительный упадок, какое резкое падение, какая краткая длительность после огромного напряжения сил и невероятного изобилия жизни!

Пока мы рассуждаем, совершаем революции, создаем конституции, реформируем и переустраиваем под покровительством Римской республики, которая просуществовала едва ли четыреста лет, и Афинской республики, которая, будучи свободна от королей на протяжении десяти веков, все же не избежала двух столетий тирании, - Китай существует, могущественный, мирный, счастливый, неизменный уже более четырех тысяч лет, а мы о нем не говорим. Мы предпочитаем совершать кругосветное путешествие по векам, а не по земному шару; доверяться традициям, пересекающим время, а не тем, что пересекают моря; изучать то, что могло быть, вместо того, чтобы констатировать то, что может быть проверено изо дня в день; мы душим себя тщетной эрудицией вместо того, чтобы обогащаться полезным знанием.

Кажется также, что нам гораздо интереснее созерцать нечто суетливое, бурное и драматичное в эфемерном существовании народов, состоящих по большей части из горстки людей, чем рассматривать спокойствие и единство общества из более чем трехсот миллионов человек, существующего в одном и том же состоянии уже более сорока веков, как если бы мы не знали, что прочность общественных институтов является важным показателем их доброкачественности, или как если бы феномен политического долголетия не заслуживал внимания, и нам было бы неважно открыть, как можно придать устойчивость тому, что мы заинтересованы сохранить.

Естественно, я признаю, когда мы хотим обрести свободу, брать за образец народы, которые ею прославились, и отворачивать взоры от тех, кто, подобно китайцам, всегда считались порабощенными самым возмутительным деспотизмом. В первых порывах к свободе души больше нуждаются в энтузиазме, чем в точности идей; но когда впоследствии встает вопрос о том, чтобы закрепить эту свободу мудрыми законами, следует изучать в истории не только то, как начинаются свободные конституции, но и то, как они сохраняются или прекращаются.

Тогда необходимо исследовать, благодаря чему столь недолго просуществовали свободные народы древности и чем обусловлено вечное существование народа, который жил прежде них, одновременно с ними и живет до сих пор. Если государственное устройство Китая и не является образцом социальной справедливости, то оно, по крайней мере, представляет собой

образец стабильности; и если не предполагать (что кажется мне абсурдным), будто стабильность может быть только у угнетающих режимов, то для законодателя свободы изучение того искусства, которое использовалось для сохранения народа, являющего столь прекрасный пример долголетия, становится насущной необходимостью.

Но даже небольшое размышление о природе свободы и рабства должно было бы заставить хотя бы заподозрить, что краткость существования государств, считающихся свободными, вполне могла быть вызвана тем, что свобода там была не столь чиста, как принято говорить, а долголетие народов, слывущих рабами, - тем, что рабство там было не столь ужасным. Угнетение - это кризисное состояние, свобода - естественное состояние людей: одно по своей природе всегда стремится к своему концу, другое - всегда к своему сохранению. Таким образом, кажется, что длительность существования государства является если не доказательством, то, по крайней мере, признаком свободы, а его стремительное падение - признаком некоего рабства. Внимательно изучая устройство Спарты и Рима, с одной стороны, и Китая - с другой, я пришел к убеждению, что там существовала военная, патрицианская и даже королевская тирания в тех самых случаях, когда наши риторы демонстрируют нам лишь идеальную свободу. И я увидел не идеальную свободу, а множество элементов свободы там, где нам показывают лишь ужасающий деспотизм. Мне показалось, что Китайская империя сохранялась столь долгое время лишь благодаря множеству республиканских институтов, и что падение Рима можно приписать гордыне его сената и полководцев, а падение Греции, возможно, - чередованию яростной демагогии и жестокой аристократии. Я радовался этим наблюдениям, словно открытию законного права, которое позволяет республиканскому правительству оспаривать у произвольной власти заслугу и честь стабильности, присущей правлению Китая.

В 1767 году доктор Кенэ, человек выдающегося ума, но полностью поглощенный единственным гражданским проектом, который только можно было вообразить в его время - а именно, побудить французскую монархию творить всё то благо, что было в её власти, - измыслил систему *законного деспотизма*, которая была принята экономистами. С этой целью он написал мемуар под названием «О деспотизме Китая», в котором он предполагает, что император облечен властью, не имеющей иных пределов, кроме терпения народов, и опирается на весьма внушительное сословие дворянства. Кенэ представлял этого деспота и этих дворян столь могущественными лишь для того, чтобы предположить в них ещё большее совершенство; они были лишь служителями деспотизма, стоящего выше их собственного - *деспотизма очевидности естественного и необходимого порядка обществ*. Таким образом, китайскому народу, чтобы пребывать в вечном послушании, оставалось лишь самому признать этот деспотизм порядка. Всё это - чистая фантазия. Нет ничего лучше поучительных иносказаний для наставления королей, но их следует преподносить именно как иносказания, чтобы не вводить народы в заблуждение. Кенэ, не исправив французскую монархию, затуманил полезные для Республики истины, которые необходимо вернуть.

Впрочем, следует сказать в оправдание Кенэ, что «Мемуары миссионеров в Китае» могли ввести его в заблуждение; да и сами эти миссионеры с большим трудом прозревали истину и с ещё большим трудом выражали то, что видели лучше всего. Я не стану утверждать, что они могли вести наблюдения лишь сквозь призму своих убеждений и интересов или что они хотели подкрепить их авторитетом великого примера. Я скажу лишь, что они сосредоточивали внимание только на том, что могли объяснить, а объяснить они могли лишь ту часть китайского государственного устройства, которая имела некое сходство с французским, поскольку знали только его. Более того, я скажу, что даже если бы их взор мог выйти за рамки их представлений, они не смогли бы зафиксировать в своем уме свои политические наблюдения иначе как с помощью слов, имевшихся в их языке. Но эти слова, созданные во Франции для обозначения совсем иных вещей, могли применяться ими лишь как *аналоги*, но отнюдь не как *точные термины* для выражения того, что они видели в Китае. Таким образом, они могли передать во Францию лишь искаженные понятия и в конечном итоге сами смешали идеи французской политики с идеями политики китайской.

Язык политики непросто перевести с одного народа на другой, когда их государственное устройство различно. В Константинополе существуют слова, обозначающие глубокое рабство, эквивалентов которым у нас никогда не было, потому что мы никогда не были рабами до такой степени. В Греции существовали слова для обозначения свободы, к которым, как скажет вам переводчик Аристотеля, он нашел соответствия лишь в словах, введенных Французской революцией; так что до этой революции некоторые места из Аристотеля были бы скорее подражанием, чем переводом.

Истина заключается в том, что в «Мемуарах миссионеров в Китае» множество глубоко народных институтов представлены терминами, которые описывают лишь детали монархической организации. Глаза, приученные нынешними революциями в Европе и Америке точно видеть и рассчитывать во всех политических институтах то, какую власть они дают правителям и какую свободу гарантируют управляемым, не обманутся видимостью. Они увидят широкие основы республиканской системы там, где миссионеры французского короля видели лишь монархию, и где, возможно, сам китайский язык указывает лишь на монархический строй.

Публикация отчета о путешествии лорда Макартни, как мне кажется, должна вновь привлечь внимание к Китаю, и данное повествование поможет сделать этот интерес более осознанным. Помимо того, что накопленный опыт позволил нам с большей пользой изучить прежние «Мемуары о Китае» и обнаружить в них то, чего мы не замечали до сих пор, путешествие этого посла дополняет те знания, которыми мы руководствовались ранее. Он показал - не претендуя на это и, возможно, даже сам того не осознавая, а порой и желая доказать обратное, - китайские общественные институты в более истинном свете, нежели предшествующие авторы. Будучи подданным короля и имея поручение снискать расположение другого монарха, он, тем не менее, взглянул на народные институты Китая так, как смотрят на них в такой стране, как Англия, где власть народа не всегда незаметна и заставляет себя опасаться. Его труд не всегда содержит новые наблюдения в области морали и политики, но редко случается, чтобы он не представлял уже известные факты в новом аспекте. Его работа, возможно, не расширяет круг знаний о китайцах, но позволяет лучше понять то, о чем уже говорилось. В истории, как и в любой другой науке, важно очищать знания, чтобы обогащать их. Что касается меня, должен признаться: путешествие лорда Макартни развеяло мои сомнения относительно государственного устройства Китая, и я осмелюсь утверждать, что Китай - это не республика, но форма правления, в которой все важнейшие обстоятельства, характеризующие республиканское правление, преобладают над чертами, присущими деспотизму, и где чистейшие элементы представительной системы доминируют над тиранией. Именно в этом я нахожу секрет не только его мягкости и умеренности, но и стабильности.

Для стабильности республиканского правительства необходимы две вещи:

1. Домашние или гражданские институты, соответствующие законам природы;
2. Политические институты, тесно связанные с домашними институтами.

Общество - это договор между главами семей ради безопасности и счастья этих семей. Таким образом, семьи являются целью, а общество - гарантией. Вот о чем не должны забывать конституции.

Если домашние институты соответствуют законам природы, то любые политические меры, которые не будут согласованы с первыми, окажутся дурными уже потому, что они противоречат природе, и нестабильными в силу того, что сама природа будет против них. Напротив, все те меры, которые будут гармонировать с добрыми домашними устоями, получат постоянную поддержку.

Если же домашние институты противоречат зову природы, то и политические институты не будут ни хорошими, ни стабильными, вне зависимости от того, следуют им или нет. Если они соответствуют дурным домашним порядкам, то домашний беспорядок вскоре станет общим для обеих сфер. Никто не может быть на своем месте в государстве, если он не на своем

месте в семье. Конституция, которую попытаются противопоставить дурным домашним институтам, будет постоянно подвергаться потрясениям - как со стороны тех, кому эти институты позволят творить зло, так и со стороны тех, кто сочтет себя обязанным их защищать.

Я нахожу в управлении Китаем два главных условия республиканского правления.

Посмотрите на устройство семей, и вы увидите, что там всё соответствует законам природы, высшим интересам всех членов семьи и обычаям всех известных республик.

В китайских семьях вы увидите много детей и мало слуг, как в Северной Америке; никакого права первородства; детей, вступающих в брак в юном возрасте; дочерей, которым не дают приданого; равное наследство, как почти во всех республиках Европы; скромных и уединенных женщин; простых и бережливых мужчин, как в Швейцарии. Вся семья неразрывно объединена в одном тесном доме под властью старейшего предка, как у патриархов. Трехлетний траур после смерти главы семьи и неизменный интерес к нему, выражающийся в заботе о нем, поскольку отцы вознаграждаются общественными почестями - либо при жизни, либо после смерти - за великие деяния своих детей. Разве это основы республики или неограниченной монархии? Разве это то, чего требует человеческое счастье, или то, что должно превращать жизнь в муку? Я прошу остановить меня на этом первом пункте, если здесь можно обнаружить хоть какие-то признаки несчастья или рабства.

Я не знаю устройства, которое бы лучше способствовало любви к жизни, смягчало мысли о смерти и формировало подлинный общественный дух, чем обычай, закрепленный в государственном строе Китая. Согласно ему, постоянная и неизменная до последнего вздоха власть над всеми потомками, в какой бы степени родства они ни состояли, принадлежит не просто главе семейства, а старейшему предку в роду. Это позволяет старцу наслаждаться благодарностью близких, видя плоды своих забот, пользоваться их опытом и знаниями. Это гарантирует ему многочисленные знаки внимания, когда его уже не будет, со стороны множества детей, привыкших уважать его долгие годы. Это возвышает честь добрых поступков детей, проецируя её на самого отца даже после его смерти, если эти достоинства можно приписать его заботам и воспитанию. С одной стороны, это заставляет жизнь детей как бы продолжаться в жизни их отцов, а с другой - продлевает жизнь отцов в жизни их детей. Это создает для добродетельных родителей подлинную вторую жизнь в памяти их детей и друзей, а детям дарует зрелость ума, обретенную раньше срока в общении с отцами. Это помещает бессмертие в круг существ, дорогих сердцу и способных на любовь, позволяя детству плавно раствориться в привязанности к родителям. Наконец, это заменяет тревожные химеры иного мира и иного существования полезными и приятными иллюзиями.

Также нет устройства, более подходящего для того, чтобы побудить родителей заботиться о воспитании своих детей, об их добродетели и счастье: это устанавливает неразрывную связь интересов между отцом и его самыми дальними потомками. Отношения между гражданами должны быть проникнуты этой прекрасной социальной подготовкой, заложенной в семейном кругу. Поэтому в Китае вы увидите полное равенство между всеми. В семьях нет преимущества старших сыновей перед младшими; собственность делится максимально широко, и, следовательно, имущественное неравенство минимально. Эти преимущества - счастливый результат простого и священного закона о равном разделе наследства между многочисленными детьми одного отца.

Характерным примером духа равенства, царящего в Китае, служит случай, свидетельствующим о котором стал лорд Макартни. Он увидел, что мандарин просто не в состоянии осознать существование в Англии наследственных герцогов. Вот эта история:

«Среди подарков, предназначенных императору, был альбом с портретами высшей английской знати. Чтобы императору было интереснее рассматривать книгу, один мандарин вызвался подписать на полях китайскими иероглифами имена и титулы изображенных лиц. Когда мандарин дошел до гравюры с портретом английского герцога, выполненной по картине Джошуа Рейнольдса (на которой герцог был запечатлен еще ребенком), ему объяснили, что оригинал - это "та-чжэнь", то есть человек высокого ранга и даже очень высокого положения. Мандарин был настолько поражен тем, что ребенок может обладать подобным отличием по

праву рождения, что бросил взгляд, полный изумления, отложил кисть, которой выводил иероглифы, и воскликнул: "Я НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ ТАКУЮ ПОДПИСЬ ПОД ЭТИМ ПОРТРЕТОМ, ИБО ИМПЕРАТОР ПРЕКРАСНО УМЕЕТ ОТЛИЧАТЬ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО МУЖА ОТ РЕБЕНКА"».

Разве в нашем нынешнем неприятии наследственных чинов можно найти более яркое чувство равенства, чем то, что проявилось в недоверии этого мандарина и его порыве? При обычаях и мнениях, столь созвучных тем, которых требует республиканский строй, крайне трудно установить деспотическую власть. Давайте же посмотрим, что именно называют этим словом в Китае.

В отношениях частных лиц с государственной властью вы увидите всё то, что может оправдать в глазах свободы покорность первых и авторитет вторых. Здесь нужно внимательно наблюдать, взвешивать факты и освобождаться от магии слов.

С одной стороны, охрана безопасности в Китае осуществляется самими гражданами. Глава десяти домов отвечает за них перед вышестоящим начальником, который, в свою очередь, отвечает за сотню домов. Что может быть более народным и надежным, чем эта полиция соседства? После родственных связей внутри семьи разве есть связь более естественная, лучше напоминающая об изначальных общественных соглашениях и взаимных гарантиях? Разве не так же поступали бы мы сами у себя, если бы мы были менее развращены изнеженностью и менее опьянены тщеславием?

С другой стороны, абсолютно все функции правосудия, управления и руководства государством, все без исключения, находятся в руках людей, которые, как и у нас, происходят из самых разных частей империи; как и у нас, они выходят из самой массы граждан, без различия в происхождении. Однако, в отличие от нашей практики, эти люди специально обучены для исполнения своих обязанностей. Это люди, которые не могут достичь высших постов, не пройдя предварительно через самые низшие, и не могут занять даже низшие должности, не получив назначения в результате последовательных выборов - сначала в коллегии своего родного города, затем в коллегии провинции и, наконец, в великой коллегии Пекина. Именно из состава этой последней император имеет исключительное право выбирать всех своих военных чинов и государственных сановников. Таким образом, его власть заключается единственно в праве выбора среди кандидатов, которые представляются ему на каждую должность на основании их предыдущей службы. Сами же кандидаты достигли своего положения благодаря постепенному продвижению, переходя из коллегии в коллегию на основании торжественных и публичных экзаменов, в которых император не принимает никакого участия.

Разве это не та самая система, которую Руссо, а вслед за ним и Мирабо, предлагали под названием «постепенности государственных должностей» и которую сегодня требует Французская республика? Невозможно переоценить, насколько сильно это равенство условий, столь незыблемо установленное в Китае в сочетании с семейным духом (являющимся основой их государственного устройства), внушает мандаринам мужество перед лицом имперской власти, а также доброжелательность и справедливость при исполнении их собственных полномочий. Закон природы таков, что мы проявляем еще больше интереса к будущему, чем к прошлому, к своему потомству, чем к своему происхождению. И хотя в Китае бедность иногда вынуждает оставлять детей на улицах или у реки, это случается реже - бесконечно реже, чем у нас. Обычаи этой страны добавили тысячу новых причин к тем естественным мотивам, которые побуждают родителей любить и опекать детей, которым они позволили жить. В самом деле, эти обычаи усилили и домашнюю власть, и родительскую ответственность по мере старения отцов, что прямо противоположно нашим нравам, по крайней мере, во второй половине жизни. Традиция объединяет все ветви семьи в доме деда или прадеда под его началом.

Мне кажется очевидным, что по этой причине мандарин всегда должен держать в уме образ своих многочисленных потомков, которых он видит вокруг себя до последнего момента своей жизни, и представлять себе, в каком прискорбном положении они оказались бы, будь сами судьи тиранами или служителями тирании. Страх увидеть своих близких подвластными произволу коллеги или начальника должен привязывать его разум к справедливости гораздо сильнее, чем могли бы сделать все законы мира. Здесь гарантия находится в самом сердце,

она - у истока воли; именно там её и следует утверждать, именно там она всемогуща. А если её там нет, она всегда будет слабой и недостаточной.

Почему дух патриция в Европе столь высокомерен? Я не говорю о Франции, ибо там он теперь отличается лишь унижением и упадком. Но почему дух римского священника так суров? Почему и тот, и другой тираничны в своих общественных функциях? Да потому, что дворянин знает: его дети будут еще более знатными, чем он сам, и, следовательно, смогут проявлять ту же власть и ту же дерзость. А у римского священника детей нет вовсе. Человек привязывается к государю, когда у него нет детей, к которым он мог бы быть привязан.

Я не собираюсь подробно описывать судебную и административную систему Китая; эта организация и так известна. При написании этого труда у меня не было цели составлять компиляцию из мемуаров, которые и так у всех под рукой. Я лишь хотел направить взор читателя, чтобы он изучал эти сведения более внимательно, опираясь на те новые знания о природе государственного устройства, которые дала Революция, и призвать политических теоретиков давать вещам названия, которые точно отражали бы их суть. Я ограничусь лишь изложением двух фактических истин, которые раскрывают характер отношений между мандаринами и имперской властью.

1° «В империи нет ни одного суда, чьи решения имели бы силу закона без утверждения государем; однако и его собственные указы не являются окончательными законами и имеют силу в империи лишь постольку, поскольку они не нарушают обычаи и общественное благо, и только после официальной регистрации в верховных палатах». Подтверждение этому можно найти в XXV томе «Поучительных писем» (Lettres édifiantes), стр. 284: «Миссионеры не смогли извлечь никакой выгоды из указа императора, благоприятного христианской религии, поскольку этот указ не был зарегистрирован и не прошел надлежащие стандартные формальности». (Дипломатическая энциклопедия, т. V, Китай, стр. 559, колонка 1, ст. Гревеля).

2° В Китае существует палата цензоров. «Это, - говорит лорд Макартни, - самый сложный, самый трудный и самый суровый из судов. Он проверяет действие существующих законов, поведение других палат, принцев, высших государственных чиновников и даже самого императора». «Мемуары миссионеров» сообщают нам, что цензоры, именуемые «коли», постоянно направляют императору доклады о поведении магистратов и о своем собственном, а затем распространяют эти доклады в народе, чтобы подчинить их общественному мнению. Затем эти доклады поступают в ведомство в Пекине, первое по значимости, которое называется Липу (Lji-Pou). Это ведомство выносит решение по фактам. Являются ли эти институты императорскими или национальными, деспотическими или народными?

Происхождение магистратов, которые все выходцы из народа и чьи потомки должны вернуться к обычной жизни; их образование, полностью направленное на подготовку к должностям; способ их продвижения, зависящий от их добропорядочного поведения и знаний; их численность; общность их интересов, превращающая их во внушительную силу; древность их института, который обрекает их на общественное почитание; характер некоторых функций, составляющих силу и обеспечивающих правильность работы других - все эти обстоятельства достаточны, чтобы показать, что сословие мандаринов образует между государем и народом (а также между государем и каждым из них в отдельности) непреодолимый барьер. Очевидно, что эти магистраты, которых многие из-за внешних формальностей и церемоний считают занятыми исключительно тем, чтобы внушать народу величие власти императора, на самом деле должны часто внушать императору величие силы народа.

Мне кажется, что после той формы правления, в которой исполнительная власть передана в руки нескольких избранников народа, наиболее свободной конституцией является та, где исполнительная власть, находящаяся в руках наследственного главы, сдерживается или ограничивается представителями, выбранными нацией. Таково правительство Китая.

Добавлю к этим наблюдениям, что в Китае народная религия ни в коей мере не способствует тирании, поскольку бонзы получают содержание от народа и живут исключительно на добровольные пожертвования. Господствующая же религия, представляющая собой чистый

теизм и находящаяся в руках ученых мужей (литераторов) и, следовательно, мандаринов, служит опорой их авторитета, а не деспотизма. Вот что говорит по этому поводу Рейналь в первой книге «Философской истории»:

«Суеверие, которое повсюду в других местах подстрекает народы, укрепляет деспотизм или свергает троны, в Китае не имеет власти; законы терпят его, но оно никогда не диктует законы. Чтобы участвовать в управлении государством, нужно принадлежать к сословию "ученых", которое не приемлет никаких суеверий. Бонзам не дозволяется основывать на догмах своих сект моральные обязанности и, следовательно, освобождать от них». Следует добавить, что существует палата мандаринов - та, что следит за ритуалами и моралью, - которая осуществляет надзор за бонзами. Она следит за ними со всей тщательностью, продиктованной интересами сословия.

Наконец, в Китае не только религия не позволяет вступить в сговор с императорской властью, но и мода; там не знают этой странной и грозной силы. Ни женщины, ни священники не создали там «государства в государстве»: эти две силы, всегда соперничающие с абсолютной властью или пособничающие ей, там не имеют никакого значения.

Таким образом, рассматривая в главных чертах конституцию Китая, в ней видишь вовсе не деспотизм, а настоящую аристократию знатных лиц; скажем прямо - республику, глава которой менее могуществен, чем глава Польской республики или два царя в Спарте. Это республика, глава которой ничего не может сделать против сословия мандаринов, и которая без этого сословия, способного на всё через императора и для императора, была бы ничем. Это республика, опыт которой был бы крайне важен для Франции и Соединенных Штатов Америки, которые могли бы заимствовать две вещи, наиболее подходящие для обеспечения стабильности представительного правления: патриархальную власть и двойную постепенность обучения и исполнения общественных функций.

2.
ВТОРОЙ МЕМУАР

Касающийся политического устройства Китая и отношений императорской власти с властью мандаринов.

Зачитано на заседании второго класса Института 17 флореаля VI года (9 мая 1798 г.).

Все писатели, рассуждавшие об управлении Китаем, утверждают, что император является неоспоримым распорядителем жизни и смерти своих подданных; что он распоряжается их имуществом и собственностью; что выносимые им приговоры по гражданским и уголовным делам исполняются без промедления; что каждый указ, исходящий от трона, является для всей остальной империи священным оракулом; что их регистрируют и публикуют незамедлительно, без каких-либо возражений; что ни один смертный приговор не может быть приведен в исполнение без его согласия; что решения сугубо гражданского характера подлежат такому же пересмотру, и ни одно из них не имеет силы, пока император его не подтвердит; что император единолично распоряжается всеми государственными должностями; что он назначает губернаторов и вице-королей, меняет и смещает их по своему усмотрению; что он говорит о своих министрах как о своих ногах и руках, и в силу этого они подчинены его воле, которая является волей главы; что он исполняет функции верховного первосвященника; что в своих эдиктах он заявляет, что его власть исходит от Бога; наконец, что он имеет право сам выбирать себе преемника.

Эти утверждения, если перевести их в общие положения, сводятся к следующему:

Император Китая объединяет в себе законодательную власть, власть применять законы через свои судебные решения, обеспечивать их выполнение через свои повеления и поддерживать их с помощью религии. Иными словами, он сосредотачивает в своих руках все те полномочия, разделение которых необходимо для свободы. И поскольку ничто не мешает тому, кто наделен всеми этими полномочиями, издавать законы такими, какими ему угодно их ис-

полнять, или исполнять их так, как ему угодно было бы их издать - что в конечном счете равносильно тому, чтобы не быть связанным ни одним из них и иметь свободу следовать своим прихотям, - такое сосредоточение власти называется деспотизмом. Следовательно, правление Китая называют чистым деспотизмом.

Монтескье в «Духе законов» (в конце VIII книги) прямо заявляет, что Китай - это деспотическое государство, принципом которого является страх и где нет иного предела власти, кроме частых восстаний, вызванных голодом, которому подвержены жители, и из-за чего дурное правление наказывается там в первую очередь. Монтескье приводит в поддержку своего мнения фразу, которую он приписывает отцу Дюальду: «Китаем правит палка». Дюальд, впрочем, вполне определенно заверяет нас в том, что никогда не существовало монархии более абсолютной, чем китайская; что императора почитают как бога. Китайцы, добавляют авторы, рассматривают свою монархию как одну большую семью, отцом которой является монарх; власть императора подобна той, которую патриархи имели над своими семьями.

Именно сам масштаб этой власти якобы мешает злоупотреблять ею; она объединяет и смешивает интересы правителя с интересами нации. Странное утверждение, из которого следовало бы, что деспотизму, чтобы стать лучшим из правительств, всегда не хватало лишь того, чтобы быть настолько полным, насколько это вообще возможно.

Эти общие представления подкрепляются фактами, анекдотами и подробными описаниями обычаев и манер, которые, казалось бы, свидетельствуют о существовании самой угнетающей власти с одной стороны и самого глубокого рабства - с другой, в рамках Китайской империи. Приводятся горделивые титулы, которые император принимает в своих указах; почести, воздаваемые его трону так же, как и его личности; униженный вид, коленопреклонения и прострации всех, кто к нему приближается. Указывают на рабов, которые ему прислуживают, на евнухов, занимающих доверенные посты в его дворе; говорят о разрушенных состояниях, конфискованном имуществе, принесенных в жертву рабах и так далее. Таким образом, отделяя постоянные факты и случайные события, которые, по-видимому, доказывают деспотизм Китая, от тех фактов, которые могут быть им противопоставлены, легко внушить умам, гордящимся своей свободой, такое предубеждение против правительства этой страны, что они отказываются признавать малейшие признаки свободы в столь униженном состоянии и даже оскорбляются при мысли, что у народа, лишенного достоинства и, кажется, не имеющего о нем представления, могут быть хоть какие-то преимущества. Художники, поэты, ораторы и борцы за свободу готовы признавать её лишь там, где она проявляет себя открыто и блестяще; и это вполне естественно. Тот, кто посвящает себя борьбе за свободу, должен вдохновляться её обликом, воодушевляться её речами и обретать смелость в её гордости. Те, кто хочет изобразить её, должны видеть её такой, какой они обязаны её представить: прекрасной в действии, в движении, в осанке. Отсюда проистекает презрение к китайскому народу; отсюда же, возможно, и грядущие обвинения в адрес тех, кто когда-нибудь захочет его реабилитировать.

Но философ, которого заблуждение пугает всегда больше, чем преследование, - философ, любящий свободу ради того счастья, которое она одна может дать человеческому роду, - вовсе не отказывается предполагать её наличие везде, где о ней свидетельствует хотя бы малая доля общественного благополучия. Он всегда готов искать её, спешит уловить, страстно стремится изучить её суть, какой бы ограниченной она ни была и в какой бы форме ни проявлялась. В конечном счете, задача философа - исследование; предмет его изысканий - польза, а предмет его привязанностей - добро и честность. Именно поэтому он умеет одновременно оберегать себя от неприязни страстных натур, противостоять их нетерпимости и при этом относиться к ним со снисходительностью, которой заслуживает всё, что исходит из честных побуждений.

Таким образом, философ не поддастся предвзятым мнениям, распространенным против китайского правительства. И только потому, что он увидит в Китайской империи этот двойственный, поразительный феномен, перед которым меркнут все мелкие обстоятельства, приковывающие взоры толпы - феномен стабильности власти при огромной численности населения и обширности территории, - он не ограничится изучением лишь императорской прерогативы. Он задастся вопросом, не ограничивает ли её что-либо, он захочет увидеть картину в

целом и вникнет во все детали, составляющие власть мандаринов. Такова была наша надежда, когда мы излагали свои взгляды на китайское государственное устройство и решились представить их вам.

Предварительно я выделяю три аспекта в деталях, относящихся к императорской прерогативе:

1. Титулы, которые принимает император, провозглашение прав и полномочий, которые он включает в свои эдикты, и почести, которые ему воздают.
2. Временные акты, которые приводятся в доказательство его могущества.
3. Постоянные факты или институты, которые его составляют.

Титулы и полномочия, которые император приписывает себе в эдиктах, доказывают его власть не более, чем титулы короля Франции доказывали то, что он был королем Наварры, или титулы короля Англии - то, что он является королем Франции. Существуют сотни эдиктов французского короля, начинающихся словами: «Людовик, милостью Божьей, король Франции», и заканчивающихся фразой: «ибо такова наша воля», которые никогда не исполнялись во Франции и даже не удостоились чести быть зарегистрированными в национальном Кодексе, поскольку парламенты воспротивились им. Следовательно, они свидетельствуют не о силе, а о бессилии короля в определенные времена и в определенных случаях.

Почести, воздаваемые креслу императора, доказывают рабство Китая не более, чем запрет сидеть в Тронном зале в Версале или обязанность докладчиков (maîtres des requêtes) зачитывать свои отчеты стоя в Государственном совете короля, слева от королевского кресла, которое всегда пустовало - даже если постановление содержало избыточную фразу: «Составлено и рассуждено королем в его совете, в присутствии Его Величества». Евнухи и рабы, находящиеся во дворце правителя, были введены туда татарскими князьями, а не китайскими обычаями, и они оскорбляют взор китайцев так же, как и европейцев. Но будь они слугами или сановниками правителя, никто из них не является государственным чиновником.

Генуфлексии и прострации китайцев перед императором, подчинение нищих палочке и бамбуку (pautsée) еще не достаточны, чтобы утверждать, будто Китай - страна рабов. У народа, свободного во многих отношениях, могут существовать некоторые кривлянья и даже обычаи рабства, точно так же, как у народа порабощенного могут быть кривлянья и даже обычаи свободы. Еще говорили о достоинстве римских граждан при Тиберии и Нероне; а депутаты третьего сословия во Франции, стоя на коленях перед королем, отказывались платить налоги, которые он требовал. Впрочем, менее унизительно встать на колени, как это принято в Китае, перед судьей или ученым, чем подчиняться - как мы все долгое время делали во Франции - перед глупцом или самым знатным ничтожеством. Да, уважение, оказываемое национальным органам власти и просвещению (две вещи, которые в Китае всегда неразрывно связаны), гораздо менее унизительно, чем малейшие почести, воздаваемые лишь по праву рождения. Меньше опасности в том, чтобы чрезмерно уважать хорошо организованную власть, чем в пренебрежении к положенному ей почтению. Любой народ, который не уважает своих правителей, и даже тот народ, который не обязан церемониалом выражать им уважение при каждом удобном случае, всегда находится ближе к анархии и рабству, чем к подлинной свободе.

Несомненно, свободный человек должен сохранять достоинство в своих манерах и избегать как низости рабства, так и высокомерия демагогии. Однако недостатки его привычек в этом отношении не являются верными признаками его истинного положения. Государственное устройство следует оценивать по его составляющим частям, по их совокупности и по тем важным обстоятельствам, которые их характеризуют.

Рассказы о временных и случайных проявлениях деспотизма доказывают наличие абсолютной власти не более, чем:

1. Существование произвольных актов, совершенных правителями в самых умеренных монархиях и даже в республиках, что делает такие примеры неубедительными. Неприкосновенность короля Англии или короля Франции неявно подразумевала разрешение на некоторые убийства, но они были окружены обстоятельствами, которые препятствовали их совершению.

2. Следовало бы знать последствия, которые вызвали эти насильственные действия, ибо если за ними последовало наказание, то они, напротив, доказывают наличие свободы в стране. Например, если в Китае император был свергнут, когда захотел применить насилие к мандаринам, из этого следует сделать вывод, что именно их власть является наиболее сильной.
3. Преходящие факты всегда плохо воспринимаются и плохо известны. Например, когда император У-цзун (Hoeï-Tchang) объединил в своих владениях доходы примерно четырех тысяч шестисот монастырей (или пистолей), оценив доходы, причитающиеся 4 600 монастырям, которые он упраздняет, не стоит полагать, что он совершил, как утверждают, акт произвола против собственности. Напротив, он защищает её и изгоняет тех, кто её оскорблял.

Чем были эти монастыри? Пристанищами обманщиков, порочных нищих и мошенников, которые составляли отдельное сословие в государстве и империю внутри империи. *«Повсюду,* - говорит император в своем эдикте, - *одни лишь монахи; множество людей забывают своего государя и родителей, чтобы перейти в подчинение к настоятелю монастыря. Есть даже преступники, которые бросают жен и детей и ищут у монахов убежища от законов. Наши предки считали правилом, что если найдется хоть один человек, который не пашет, и хоть одна женщина, которая не занимается шелководством, то кто-то в государстве будет от этого страдать. Что же будет сегодня, когда бесчисленное множество монахов и монахинь живут и одеваются за счет чужого пота, и занимают бесконечное число рабочих, строя повсюду и украшая с большими затратами великолепные здания? Нужно ли искать другие причины истощения империи при четырех династиях - Тан, Сун, Ци, Лян - и того мошенничества, которое тогда царило?.. Пагубные ошибки наводняют империю...»*

Таким образом, император, как я уже говорил, упраздняет лишь то, что вело к подрыву его власти. Он не обкрадывает тех, кто сам является грабителем, а лишь забирает плоды их грабежа. Он лишь прекращает владение, не основанное ни на чем, кроме разбоя. Он не посягает на собственность.

Но, могут возразить, он единственный, кто утверждает, что монастыри были преступными учреждениями; и не утверждает ли он это вопреки истине, чтобы прикрыть несправедливость? Ответ содержится в самом тексте эдикта. Император заявляет, что принял решение лишь *«после того, как изучил и взвесил всё, что было представлено ему по этому вопросу, и после зрелого размышления с мудрыми людьми»*. И он добавляет: *«Все мои просвещенные чиновники в провинциях призывают меня приступить к этому делу. Как я могу от этого уклониться?»*. Вот пример инициативы, проявленной мандаринами, к которой закон должен возвращаться хотя бы для исполнения; это обстоятельство, важность которого мы оценим ниже.

Другой пример неверно истолкованного факта - это закон императора Канси (Can-hi), который запрещает приносить рабов в жертву после смерти принцев крови. Г-н По в своих исследованиях о египтянах и китайцах делает из этой защиты вывод, что жертвоприношение рабов ранее было общепринятым обычаем. В этом заключении кроется недобросовестность. Вот, согласно тем же рассказам, которыми пользовался г-н По, каков был повод для издания закона. *«Шуньчжи, первый из маньчжурских татар, занявших трон Китая, страстно любил одну из своих жен, которую смерть отняла у него в 1660 году. Горе, вызванное этой потерей, не знало границ, и он возродил ради этой царицы гнусный обычай, практиковавшийся татарами, - проливать человеческую кровь на похоронах знатных особ: было принесено в жертву более тридцати рабов. Эта варварская казнь возмутила всех китайцев, чьи нравы, более мягкие, вовсе не привыкли к столь кровавой церемонии. Ужас, который они высказали по этому случаю, был настолько публичным и всеобщим, что Канси, взойдя на трон спустя короткое время, издал закон, которым навсегда запретил подобные жертвоприношения»*. Этот факт, вместо того чтобы служить доказательством деспотизма Китая, доказывает силу китайского общественного мнения против татарского варварства. Народ, чье мнение не только свободно, но и влиятельно, вовсе не является рабским народом.

Эти примеры подтверждают то, что само по себе достаточно ясно: именно в политических и гражданских институтах, в их взаимоотношениях и сочетаниях, следует искать истинный характер правления. Эти институты - факты постоянные, видимые, признанные и контролируемые в разные эпохи различными наблюдателями, и они могут оставаться таковыми и впредь. Это великие факты, богатые последствиями, на основании которых можно легко предположить существование мелких фактов как необходимых или неизбежных. Из такой общественной организации, которую можно изложить одной строкой, можно без риска ошибиться вывести десять томов преступлений или великих деяний, совершенных либо правительством, либо народом в конкретной стране; и из десяти томов фактов, изложенных более или менее достоверно, нельзя не сделать вывод о существовании подобного института. В одном только слове «инквизиция» мы читаем о тысячах преступлений; в преступлениях Революции нельзя увидеть признака постоянного угнетения во Франции. Во всех порабощенных странах случались вещи, достойные самых свободных стран, а в самых свободных странах - вещи, достойные рабства.

Посмотрим же на политические институты, которые сочетаются в Китае с императорской прерогативой, общую картину которой мы уже представили. Сосредотачивает ли император Китая в своих руках, как говорят, всю полноту власти, или же полномочия разделены между ним и мандаринами? Вот вопрос, на котором следует сосредоточить обсуждение, чтобы в итоге выяснить, является ли император деспотом или нет; это ещё не даст нам ответа на вопрос о том, свободен ли народ, ибо народ может быть угнетен мандаринами, даже если не угнетен государем, и этот вопрос будет рассмотрен отдельно.

Чтобы ответить на рассматриваемый сейчас вопрос, я сначала спрошу, что следует понимать под совмещением и под разделением властей. Подразумевают ли под этими словами объединение в одних руках всей полноты каждой из трех властей целиком, таким образом, чтобы одна и та же рука охватывала их все, или же подразумевается, что каждая власть должна находиться в полном объеме в разных руках? Или же, напротив, под совмещением понимают лишь объединение в одной руке части каждой из трех властей, а под разделением - то, что рука, удерживающая некую долю полномочий, закрыта для любой другой доли? Мне кажется очевидным, что это последнее толкование слов «совмещение» и «разделение» было бы абсурдным, а первое - единственно верным. Часть власти - это еще не власть. Следовательно, объединение частей различных властей не является совмещением полномочий. И если бы было справедливо утверждать, что объединение части трех властей в одной руке образует совмещение властей, из этого следовало бы, что и другие руки, объединяющие иную часть этих же властей, также совмещали бы их, что привело бы к противоречию. И, к примеру, если бы в Китае император обладал частью трех властей, а мандарины - другой частью тех же трех властей (что мы сейчас и рассмотрим), было бы столь же справедливо сказать о мандаринах, что они совмещают три власти, как и сказать это об императоре.

Внимательного взгляда на природу вещей достаточно, чтобы понять: существует два способа разделения политической власти. Первый - европейский, который был принят в Соединенных Штатах Америки; он заключается в том, что каждая ветвь власти целиком передается в разные руки. Второй - китайский, элементы которого присутствуют в той части нашей конституции, что касается финансов; он заключается в разделении каждой ветви власти на две части и объединении половин каждой из них в руках разных лиц. Я не намерен проводить здесь параллель между этими двумя методами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Мне достаточно сказать, что оба они противоположны деспотизму. И это совершенно очевидно, ведь власть перестает быть абсолютной уже в силу того, что она разделена - неважно, каким именно образом; и она перестает быть произвольной, как только устанавливается противовес, в какой бы форме он ни существовал. Перейду к делу и замечу, что император Китая делит каждую из трех ветвей власти с мандаринами. Я бы даже добавил, что при распределении полномочий он оказывается далеко не в самом выгодном положении.

Начнем с *законодательной власти*. Было бы неверно утверждать, что каждый указ, исходящий от трона, является для всей империи священным оракулом, который регистрируют, публикуют и исполняют без промедления и без права на возражение.

1. В Китае существуют фундаментальные законы, которым мандарины - губернаторы каждого города - обучают народ по всей империи дважды в месяц. Эти законы представляют собой одновременно свод правил морали, политики и гражданского законодательства. Это своего рода декларация прав, внушаемая народу и магистратам, на основании которой каждый судит о воле императора. Закрепление этого «катехизиса» дает два важных результата для обеспечения свободы. Во-первых, в Китае издается мало законов. Во-вторых, те законы, которые принимаются, или указы, их заменяющие, должны встречать в умах людей опору на твердые критерии оценки. Поэтому они обычно составляются таким образом, чтобы соответствовать практике их применения. Они не являются и не становятся священными оракулами, если не соответствуют основополагающим принципам законодательства. Заметим мимоходом, в интересах свободы, что в любой стране, где семья хорошо организована, а естественные права семей в их отношениях друг с другом четко определены - иными словами, в любой стране, где мораль зиждется на истинных, широких и прочных основаниях, - требуется мало законов и мало судей. Там же, где законов издается немного, они неизменно хороши, ибо принимаются лишь необходимые законы, продиктованные общественным интересом. Этот интерес всегда заявляет о себе медленно, в отличие от страстей, которые склонны к поспешности. Общественный интерес, требуя принятия закона, одновременно приносит с собой и те знания, которые необходимы для обеспечения его качества.
2. На деле представляется не соответствующим истине утверждение, будто законы императора регистрируются *без возражений*. Обратное подтверждают многие путешественники. В 25-м томе «Назидательных писем» (Lettres édifiantes) на странице 284 сообщается, что французские миссионеры в Китае не смогли воспользоваться указом императора, благосклонным к христианской религии, поскольку этот указ не был зарегистрирован мандаринами. Если этот весьма вероятный факт правдив и соответствует обычаю, то из него следует, что император обладает, собственно, только правом законодательной инициативы, а это вовсе не означает полноту законодательной власти. Я припоминаю, как читал (правда, уже не помню где), что один император был лишен престола за то, что провел закон силой.
3. Существует совет цензоров, который, по словам лорда Макартни, является самым требовательным и строгим из трибуналов. *Он изучает действие существующих законов*, поведение других трибуналов, принцев и высших государственных чиновников. Известно, что цензоры контролируют даже поведение самого императора, составляют его историю и направляют ему свои жалобы. Очевидно, что даже если бы император имел власть публиковать и исполнять свои законы незамедлительно и без возражений, наличие корпуса цензоров, имеющих право жаловаться на принятые законы, на поспешность императора в их провозглашении или на его медлительность в их реформировании, делает неверным утверждение о том, что законодательная власть полностью и абсолютно сосредоточена в руках монарха. Право на резкую цензуру не было бы препятствием для деспотизма, если бы это право было лишь уступкой императора и может быть отозван по его прихоти. Цензура, опирающаяся лишь на долготерпение государя, всегда слаба или, скорее, ничтожна. Но китайская цензура, которая находит поддержку во всем сословии мандаринов, а то, в свою очередь, опирается на народ численностью в 300 000 000 человек, обладает большой силой, и всё свидетельствует о том, что она грозна и внушает страх. Таким образом, это орган, реформирующий законы, учрежденный рядом с тем, кто их создает, или даже стоящий выше него.

Из этого я прежде всего делаю вывод, что император Китая не обладает единоличной законодательной властью. Судебная власть включает в себя две части: гражданское судопроизводство и уголовное судопроизводство. Император не осуществляет над уголовным судопроизводством никакой иной власти, кроме права на помилование, когда суды выносят смертный приговор. Право на помилование, безусловно, не является атрибутом деспотизма; напротив, это великое доказательство независимости судов. Ведь государю нет нужды в праве отменять смертную казнь, если суды оправдывают или осуждают лишь по его желанию.

Что касается гражданских дел, то император осуществляет здесь не высшую власть над всеми решениями судов, как утверждали некоторые составители путевых заметок или плохо информированные путешественники; однако верно то, что в гражданских делах из любой части империи можно обратиться к императору по поводу любого должностного преступления, совершенного гражданским судом при рассмотрении дела. В этом случае император выносит решение о том, справедливо ли обвинение или нет. Но это его право не делает его в большей степени обладателем судебной власти, чем компетенция нашего кассационного суда или, скорее, компетенция законодательного органа в отношении обвинений в должностных преступлениях. Что же касается приказов о смертной казни, которые может отдавать император, то, как я уже говорил, они являются не почтенным проявлением его власти, а ненавистными актами его воли, злоупотреблением безнаказанностью и неприкосновенностью, связанными с его высоким достоинством, подобно достоинству королей в самых умеренных монархиях Европы.

Остается рассмотреть, как в Китае осуществляется исполнительная власть. Прежде всего очевидно, что она не может осуществляться непосредственно императором или даже его министрами в столь обширной стране с таким многочисленным населением. Таким образом, для того чтобы император был полностью и абсолютно наделен исполнительной властью, необходимо, чтобы его министры и все нижестоящие должностные лица восьми рангов, составляющих гражданскую иерархию, вплоть до десятников, ответственных за порядок, назначались им произвольно из числа людей, наиболее слепо преданных его власти. Однако не найдется и одного мандарина из ста, который был бы слепо предан императору; и, во-вторых, император не имеет права произвольно выбирать судей из числа мандаринов. Это я сейчас и докажу.

Но сначала я замечу, отвечая на замечание нашего коллеги де Салля, что когда император Китая говорит своим министрам: *«Вы - мои руки и мои ноги»*, он говорит им лишь то, что в точности означают слова «министры, обязанные творить добро и препятствовать злу». Ведь слово «министр» (ministre) происходит от *manus* (рука), а «препятствовать» (empêcher) - от *in pede ire* (вступать ногой), то есть вмешиваться в дела, топтать ногами то, что идет плохо и что необходимо подавить. Таким образом, он лишь перефразирует то, что в наших европейских республиках верховные правители также говорят своим министрам.

Прежде всего я утверждаю, что лишь немногие мандарины достигают своих должностей, будучи слепо преданными императору. Мое основание так думать заключается в том, что они могут быть призваны на службу только после окончания провинциального училища, где они получили общенациональное образование и куда попали лишь благодаря системе выборных продвижений. Эти выборы проводятся в присутствии народа мандаринами и местными знатными лицами, каждый из которых заинтересован в том, чтобы отдать предпочтение тому ученику, который выказывает наибольшую приверженность либо общественным интересам, либо интересам сословия мандаринов.

Далее я утверждаю, что император не может по своему произволу назначать на должности всех мандаринов, и эта истина заключена в великом принципе постепенного продвижения по службе. Этот принцип не позволяет назначить чиновника на должность, если он не занимал предварительно нижестоящую должность. Таким образом, именно выборы в училищах, к которым император не имеет никакого отношения, предоставляют ему всех кандидатов, из числа которых он может выбирать при распределении должностей нижестоящих, а затем и для распределения высших должностей.

Совершенно верно, что стремление к продвижению по службе и страх перед увольнением могут сделать чиновников покладистыми перед волей императора, особенно когда суровость первоначального воспитания или пыл школьных принципов со временем ослабнут. Но, с другой стороны, необходимо учитывать два обстоятельства: во-первых, мандарины сами создают себе прочную опору, а во-вторых, они обеспечивают себе верную поддержку в лице народа.

Свою внутреннюю силу они черпают в корпоративном духе, который естественным образом рождается из двух причин: единства и общности образования, с одной стороны, и исключительного права на государственные должности - с другой. Объединенные такими интересами, они вынуждены внимательно поддерживать друг друга против императорских прерогатив, используя все средства, которые дает им собственная власть. Так, трибунал цензоров будет осуждать любые увольнения, причиной которых стала проявленная чиновником твердость, равно как и любые повышения, заслуженные лишь раболепием. Таким образом, палата цензоров заставляет свою власть служить независимости всех членов сословия.

Чтобы укрепить поддержку со стороны народа, у них не хватает ни средств, ни возможностей, ни мотивов. Именно они отправляют обряды господствующего культа; именно они преподают мораль и право (что в Китае одно и то же); именно они поддерживают в семьях ту патриархальную - именно патриархальную, а не просто отцовскую - власть, о которой другие народы не имеют представления и которая, на мой взгляд, является фундаментом любого правильного общественного устройства. Именно они обеспечивают все нужды народа, вершат суд, надзирают за порядком, гарантируют соблюдение всех прав и благ. И сколько же у них причин быть справедливыми и добрыми! Они не только сами вышли из народа, но и их многочисленные дети и потомки, которых домашний закон собирает под одной крышей, под их властью и защитой, - это и есть сам народ. Таким образом, забота о собственных детях постоянно напоминает судье о правилах справедливости. Он должен всегда помнить о том печальном положении, в котором они могут оказаться, если судьи станут орудиями тирании или сами превратятся в тиранов. Страх увидеть свою семью во власти произвола вышестоящего начальника должен постоянно удерживать его от подобных действий. Почему дух римского патриция и жреца в Европе был столь высокомерен и всегда склонен либо соперничать с тиранией, либо вступать с ней в союз? Потому что у одного вовсе не было детей, а другой знал, что его дети, будучи еще более знатными, чем он сам, будут иметь еще больше прав на власть и высокомерие.[242]

В китайском правосудии принято не налагать никаких наказаний, за исключением денежных штрафов, которым не предшествовала бы и за которыми не следовала бы порка бамбуком. Можно сказать, что китайское правление держится почти исключительно на палочных ударах.

Нужно совсем немногое, чтобы подвергнуться такому наказанию: кража пустяковой вещи, вспышка гнева на словах, пара ударов кулаком - если дело доходит до мандарина, он тут же пускает в ход пань-цзы. Провинившиеся после наказания должны встать на колени перед судьей, трижды поклониться до земли и поблагодарить его за заботу об их воспитании.

Власть мандаринов, какой бы огромной она ни была, не кажется мне пугающей. Она может быть произвольной в том смысле, что во многих случаях осуществляется при отсутствии законов, но она не является таковой по сути, поскольку не может осуществляться без справед-

[242] Это не совсем точно, и автор сам это чувствовал, так как не решился быть определенным. Почему он говорит, что, когда он думает о «человеке», его идея «в некотором роде» ограничена этим именем, но все же заключает, что идея является лишь самим этим «именем»? Я отвечу ему: она является им лишь в некотором роде. Ведь помимо физического представления о звуке «человек» или знаках ч.е.л.о.в.е.к, существует идея всего того в индивиде, что свойственно всем остальным; не идея конкретного лица или конкретной статуи, а тех условий, которые создают человеческое лицо или статую. Это не идея конкретных глаз или конкретного носа, а глаз и носа вообще. Это не та идея, которая необходима художнику, чтобы нарисовать человека (ведь художник может изобразить только индивида), но та, что нужна анатому, желающему описать человека. Но вернемся к теме.

ливости. Лучшее правительство, несомненно, то, где нет иной воли, кроме выраженной в законе, и нет иных исполнителей этой воли, кроме назначенных законом магистратов. Но если бы мне пришлось выбирать между страной, где исполнение предельно точных законов поручено людям, выбранным без правил и принципов, и страной, где управление доверено должным образом учрежденным ведомствам и судьям, которых воспитывали, а не просто назначали на должности, - судьям, кровно заинтересованным в общественном благе естественными узами и обязанным править по совести, - я бы без колебаний отдал предпочтение последнему варианту. Я бы предпочел его даже правительству с фиксированными законами и верными судьями, если бы эти законы были приняты без мер предосторожности, обеспечивающих их соответствие общим интересам; ведь постоянный произвол законов кажется мне еще более невыносимым, чем произвол распоряжений и приказов, которые могут быть отменены в любой момент. Некоторые говорят: «Лучше законы Драконта, чем произвол Солона». Тем не менее, именно в произволе Солона заключается справедливость, а в законах Драконта - беззаконие. Приведенное нами высказывание можно было бы перевести так: «Лучше незыблемая несправедливость, чем преходящая доброта».

Постоянная деятельность мандаринов на государственной службе, их происхождение, порядок продвижения, их неизбежная приверженность правосудию - всё это естественным образом внушает народу доверие и уважение к ним.

1. Каждый должен видеть в мандарине человека просвещенного, поскольку все они выходят из элиты учебных заведений. В мандаринах разных рангов видна градация знаний и заслуг, соответствующая их должностям, так как перехода с одной ступени на другую можно добиться лишь после обретения опыта в своей должности и испытания личных качеств на низших постах. Таким образом, почтение, которое естественно испытывать к заслугам, растет у государственного служащего вместе с его властью над народом. Чем выше пост, тем больше ценят и почитают человека, и, следовательно, естественная склонность подданных к послушанию всегда следует за ростом авторитета правителей.
2. Привычка уважать мандарина подкрепляется или, скорее, гарантируется устоями домашней жизни. Там мы видим иерархию послушания, согласно которой не только младший член семьи подчиняется отцу, но и отец - деду, а дед - прадеду. Иерархичность уважения легко и неизбежно переносится из семьи в политическую жизнь. Это происходит не только в силу привычки, но и потому, что власть деда и прадеда является плодом столь совершенного разума и столь очищенной в социальном плане природы, что она сама нуждается в оформлении как своего рода государственная власть, нуждается в поддержке законов и собственно должностных лиц. В результате общественная власть словно спускается к вершине семьи, а вершина семьи поднимается до уровня общественной власти, что смешивает родовую систему с конституционной.

Таким образом, вся сила общественного мнения и привычек в Китае поддерживает авторитет государственного служащего. Более того, ничто этому не препятствует: здесь нет власти моды, которая бы мешала стабильности нравов; нет духовенства, заинтересованного в поддержке произвола власти, поскольку бонзы, получая плату от простонародья, стремятся угодить лишь ему. Господствующая же религия полностью выгодна чиновничеству, так как отправляется им самим и посвящена великому ученому - Конфуцию, чья слава отражается на его служителях.

Я, впрочем, не скрываю от себя того, что может показаться противоречащим свободе - права, приписываемого императору, по своему усмотрению предавать смерти как мандаринов, так и простых граждан. Однако это право сильно ограничено неспособностью императора посягнуть на само сословие мандаринов. Будучи всесильным против отдельного человека, он имеет все основания опасаться могущества этого сословия в случае злоупотребления властью. Более того, природа вещей такова, что мощь этого сословия настолько велика, что если бы император не обладал неограниченной властью над каждым мандарином в отдельности, то несколько честолюбцев вскоре свергли бы его и изменили Конституцию. В остальном право

жизни и смерти, предоставленное императору Китая, не хуже неприкосновенности конституционного короля 1791 года или короля Англии, которые также включают в себя возможность совершить несколько убийств, но окружают короля обстоятельствами, призванными отбить само желание этим правом воспользоваться. Я считаю эти наблюдения достаточными для того, чтобы обосновать мои возражения против суждений тех, кто до сих пор называл правительство Китая самым чудовищным деспотизмом.

Наконец, великим доказательством народной поддержки и, в то же время, силы государственного аппарата является его незыблемость в потрясениях гражданских войн и дворцовых переворотов. Либо этот аппарат сам был той силой, которая совершала эти перевороты, или же эта воля была сильнее фракций, которые их создали. Но какая воля может быть сильнее воли победившей фракции или двора монарха в условиях монархии, если не воля народа? Татарские принцы полагали, что покорили Китай, но они завоевали лишь императорский престол, в то время как Китай покорил их самих своими законами и нравами. Что же это за деспотизм, который так подстраивается под народную волю?

Наконец, ужасающим описаниям императорской власти в Китае я противопоставляю то, что одновременно сообщается о том трогательном образе действий, который выбирают императоры. Говорят, что император является непререкаемым судьей над жизнью и смертью своих подданных, и тут же добавляют: *«Однако обычно он пользуется этим правом лишь для того, чтобы заботиться о своей безопасности»*. Не успевают они написать строку, приписывающую ему власть деспота, как тут же прибавляют, что он обладает всей добротой отца.

Что же это за чудо? Выходит, император - деспот, но творит он только добро! Двести правителей сменяли друг друга при таком деспотизме, и среди них нельзя насчитать и десяти тиранов! Как могло случиться, что подобное явление никогда не встречалось ни в нашей Европе, ни в остальном мире? Во Франции было почти столько же монстров, сколько и королей-деспотов. На Востоке, где правят одни лишь деспоты, государь и подданные находятся в состоянии непрекращающейся войны; собственность отнимается, а головы летят по первой прихоти.

Словам о рабстве китайской нации я также противопоставляю то почтение, которое вызывают её нравы. Как же так! Неужели китаец может быть жалким подданным и при этом обладать добродетелями гражданина? Неужели он может быть рабом и обладать если не всеми, то хотя бы многими качествами свободного человека? Быть лишенным отечества и при этом иметь друзей и семью? Неужели он может быть постоянно беззащитным перед преступлениями правительства и при этом оставаться строгим исполнителем своих обязанностей? Неужели смерть и грабеж могут вечно угрожать его состоянию и жизни, а он при этом будет трудолюбивым, экономным, заботливым по отношению к своему дому, своим полям, своим родителям и детям? Почему же тогда во всех странах, где мы видим рабство, человек эгоистичен, деградирован, ленив, расточителен, труслив, вероломен, лишен друзей и близких?

Нет, обилие плодов, обычно присущих свободе, можно объяснить только наличием самой свободы. Тождественность следствий свидетельствует о тождественности причин. Императорские и народные нравы, которые нам пытаются представить как некое исправление рабства и угнетения, напротив, являются великим и неоспоримым памятником свободы. Именно им мы доверяем и нам приятно думать, что республиканские институты существуют в любой монархии, где мы видим блага и добродетели, составляющие славу и счастье республик.

В заключение я замечу, что видимое противоречие между некоторыми обычаями и церемониями Китая и самой сутью его устройства не более удивительно, чем несоответствие, существующее там в идеях и знаниях. С одной стороны, они кажутся нам близкими к упадку, а с другой - к совершенству. С одной стороны, они представляются сияющими цивилизацией и светом, а с другой - погруженными в варварство и невежество. Но факт остается фактом: и частные лица, и всё политическое устройство в целом обладают там бóльшими добродетелями и счастьем, чем те, что были у нас при королевской власти. И этот факт доказывает: даже если у них меньше знаний и свободы, чем у нас, они, по крайней мере, извлекают больше пользы из того, что имеют. Как объяснить это достоинство? Стабильностью их политической

организации. В то время как у нас мнения следуют за капризами страстей и моды, а каждый век и каждый год отвергает какую-то истину, которой восторгались в прошлом веке или году, в Китае ничто не отделяет настоящее от прошлого, а опыт - от размышления. Никакая национальная революция не ссорит один век с другим; все истины вечно перетекают от отцов к детям по каналам, которые не дают ничему пропасть и в которых они очищаются. Каждое семя производит свое растение, каждое растение - свой цветок, каждый цветок - свой плод. И если из того, что я сказал о Китае, не следует, что стабильность является плодом свободы, то придется признать, что свобода там является счастливым плодом стабильности.

(Примечание издателя). Два вышеприведенных Трактата были точно сверены с черновиками автора, но поскольку рукопись следующего за ними труда найти не удалось, я придерживался копии, сделанной секретарем моего отца.

3
ТРЕТИЙ МЕМУАР О КИТАЕ
О китайском языке и, в особенности, о его письменности.
(Этот трактат не зачитывался в Академии).

Я твердо убежден, что китайский язык, который принято считать столь сложным, запутанным, абсурдным и препятствующим развитию знаний, на самом деле вовсе не заслуживает тех упреков, которыми его осыпают. Я даже склонен полагать, что во многих отношениях он превосходит самые прекрасные европейские языки. Смею утверждать: он как минимум может выдержать сравнение с ними, предлагать им полезные идеи и способствовать их совершенствованию. И если ему не хватает некоторых преимуществ, присущих нашим языкам, он может предоставить им все те средства, в которых они нуждаются, чтобы должным образом выполнять свою социальную функцию - служить для самого тесного общения между людьми с помощью жестов, слова и письма. Одним словом, даже если он в чем-то уступает нашему языку, он может помочь нам поднять наш собственный язык значительно выше его нынешнего уровня.

Здесь, как и в моих предыдущих заметках о Китае, я, к своему сожалению, обнаруживаю, что несколько отклонился от общепринятых мнений; но это не моя вина. Существует два способа изучать историю: один заключается в прочтении всех слов, содержащихся в книгах; другой - в изучении самой сути вещей, которая заключена лишь в нескольких ключевых словах. Я не знаю ни как, ни почему я предпочел последний метод; ведь он неизбежно ведет к прискорбной ситуации, когда видишь, что факты восстают против книг, и поддаешься искушению принять сторону фактов против книг. Это, несомненно, большая беда, поскольку авторы древних событий уже не могут сами о себе заявить, а авторы книг, которые их искажают или представляют в беспорядке, защищены бесчисленным легионом тех, кто, как говорил Шамфор, делает книги из книг.

Под словами «китайский язык» я подразумеваю совокупность всех физических средств, используемых в Китае для передачи мысли, а именно: жест или язык действий, письменность и речь. Чтобы судить о языке китайцев, необходимо сначала признать общие условия искусства передачи мысли.

Мыслью называют ощущение связи или суждение. Передавать простые суждения о формах вполне возможно с помощью языка действий, который одновременно задействует наши руки, глаза, голову, ноги и все движения нашего тела; однако таким способом невозможно выразить суждения о сложных идеях или об идеях звуков. Отсюда возникает потребность в речи, которая разделяет и различает сравниваемые объекты, имитирует звуки и по аналогии оформляет их, чтобы представлять их последовательно вместе с суждением, выражающим их отношения.

Из использования жестов возникла символическая письменность, а из использования речи - письменность слоговая, звуковая или алфавитная. Благодаря и тому, и другому появилось книгопечатание, которое позволяет общаться людям разных веков и разных миров; почта и телеграф, которые ускоряют связь между регионами и обеспечивают доставку писем, распространяя и рассылая повсюду важные сочинения.

Поскольку у нас есть простые и сложные идеи, в языке должны быть простые и сложные слова. И так как простые идеи - это те, которые не могут быть разделены на две или несколько идей, простые слова, по-видимому, должны быть сами по себе неделимыми и, следовательно, состоять из одного гласного или артикулированного звука.

И так как сложные или абстрактные идеи всегда образованы из простых идей, естественно сделать вывод, что сложные слова должны состоять из слов или элементарных звуков, являющихся простыми словами, таким образом, чтобы всегда нести в себе свое определение или анализ.

И поскольку слова необходимы не для формирования идей, как предполагалось ранее, а для того, чтобы фиксировать, различать, сравнивать и при необходимости вновь находить абстрактные идеи, которые рождаются одни из других и составляют большую часть наших представлений, и поскольку нет ни одного закрепленного слова, которое не было бы создано по необходимости, из этого следует, что богатство словарного запаса народов является не только самым великим доказательством богатства их идей, а также самым надежным способом их сохранения, развития и дальнейшего приумножения.

Такова ситуация с речью. Перейдем теперь к письму. Подобно тому как с помощью голоса можно передать любые идеи, их точно так же можно выразить и с помощью письменных знаков. Подобно тому как звуками, которые воспринимаются только слухом, мы выражаем, помимо шумов, еще и формы (воздействующие лишь на зрение или осязание), и достигаем этого благодаря аналогии, - точно так же и с помощью изображений, которые воздействуют только на глаза, можно, следуя аналогии, выразить звуки и шумы, воспринимаемые только ушами. Сама природа указывает на два вида письма: иероглифическое, или символическое, которое изображает вещи либо непосредственно, либо по аналогии; и алфавитное, которое запечатлевает звуки и артикуляцию голоса. К произвольным и условным символическим знакам следует отнести и узелковое письмо. Алгебра также является символическим письмом того же рода.

Алфавитное письмо само по себе может состоять из двух типов знаков: одни изображают органы речи в процессе их работы, другие же являются чисто произвольными и условными. Символическое письмо может быть либо изобразительным (отражающим объекты), либо произвольным и условным. Председатель де Бросс и Кур де Жебелен предложили разделять буквы на дентальные, назальные и гуттуральные; при этом первый из них закрепил за каждой буквой форму, изображающую орган, который она задействует. Так, основной чертой носовых букв должен был стать профиль носа и так далее. Арабские буквы - пример произвольного алфавита. Древние иероглифы Египта и Китая изображают природные объекты. Пазиграфические знаки являются произвольными и условными.

Какая же из этих четырех систем письма предпочтительнее? Та система, которая при прочих равных условиях наиболее четко и живо передавала бы мысль, несомненно имела бы преимущество перед той, что лишь наиболее четко и живо передает речь. Поскольку сама речь - лишь средство передачи мысли, очевидно, что письмо, которое лишь отображает речь, является «средством для средства». В то же время письмо, которое непосредственно запечатлевает мысль, выполняет функцию, равную функции речи; оно действует заодно с ней, дополняя и исправляя её при необходимости. Очевидно, что если мой глаз видит в начертании слова образ представленного объекта, и в то же время мой слух поражается его имитирующим или аналогичным звуком, мой разум получает более живой отпечаток идеи, чем если бы он был ограничен лишь одним из этих ощущений. Если идея воспринимается неполно через слух, она корректируется зрением. Именно это смутное ощущение преимущества заставило наших мудрейших грамматиков решить, что не следует заменять букву «у» в нашей орфографии,

хотя на слух значение обеих букв одинаково. Буква «у», говорили они нам, - это показатель происхождения слова; она указывает на этимологию и заставляет обращаться к корням, то есть к первоосновам слова. Ведь латынь и греческий учат не только для того, чтобы хорошо знать французский; хорошо знать французский - значит хорошо понимать вещи, которые выражают слова. Лавуазье заявляет нам, что, намереваясь лишь создать новую химическую номенклатуру, он обнаружил, что создал новую химию, которая сегодня является основой физических знаний. Следовательно, форма букв важна для разума как средство сохранения памяти и точности идей. И когда Институт развил эту тему, задав вопрос о влиянии знаков на идеи, следовало бы дать понять, что этот вопрос распространяется и на графические образы, необходимые для письма. Самым совершенным письмом - при прочих равных условиях - было бы то, которое могло бы одновременно напоминать об идее и выражающем её слове, изображать объект и в то же время работу органа, который артикулирует это выражение в речи.

Но достижимо ли в полной мере то, что наиболее желательно в этом отношении, и возможно ли это без побочных трудностей? Здесь не место исследовать этот вопрос. Ограничимся сравнением двух методов по их существенным характеристикам. Можно полагать, что, имея менее тридцати знаков или букв, можно в любой из этих систем записать все человеческие мысли. Наш алфавит и пазиграфический алфавит являются тому неопровержимым доказательством. Всё можно выразить как одним способом, так и другим. Всю природу распределяют по двенадцати знакам, а все звуки, интонации и артикуляции голоса - по шестнадцати.

В этой связи мы замечаем, что при сравнении двух конкретных систем письма возникает почти неизбежная иллюзия, приводящая к серьезному заблуждению. Мы не видим и половины трудностей в той системе, которую знаем, но удваиваем их в той, которая нам незнакома. Если бы китайские ученые проанализировали наше письмо, они, возможно, увидели бы в нашем алфавите гораздо больше знаков, чем мы видим в их письме.

В самом деле - и я прошу вас обратить внимание на эту истину, - за исключением пяти наших гласных *a, e, i, o, u*, которые производят всего пять простых звуков или пять слов, не существует ни одной буквы, которая сама по себе имела бы сколько-нибудь значимую ценность. Наши согласные звучат так, как заявляет их название, только вместе с гласными (*cum sonnant*), и каждая звучит по-разному в зависимости от того, предшествует ли им та же гласная или следует за ними. *E* перед *t* дает *et*, а *t* перед *e* дает *te*; таким образом, выражение любого членораздельного звука обязательно требует как минимум двух букв. Следовательно, наши буквы, за исключением пяти гласных, на самом деле не являются подлинно слоговыми знаками; это лишь половины, трети или четверти знака, которые ждут своего соединения или слияния с другими буквами, чтобы создать членораздельный слог. Две, три, четыре или пять букв, составляющих каждый членораздельный слог наших слов, представляют собой лишь один-единственный знак, составленный из всех букв, входящих в его структуру. Письменный знак, выражающий слог *cœur* (сердце), не является сочетанием различных знаков; это единый знак, состоящий из очертаний пяти букв, которые сами по себе знаками не являются. Слово *Dieu* (Бог) - это одна фигура, составленная из штрихов, ни один из которых не сохраняет своего собственного звучания в звучании самого слова. В результате ребенка приходится учить переводить эти пять букв в слово *Dieu* точно так же, как он учился изучать каждую букву по её собственному звуку. Знать наши двадцать четыре буквы - еще не значит знать наш алфавит; ведь ребенок, умеющий лишь называть эти двадцать четыре буквы, не в состоянии правильно произнести слог, состоящий из двух, трех или четырех букв. И это настолько верно, что в дополнение ко всем нашим алфавитам идет слоговая таблица, которую дети должны заучивать наизусть точно так же, как названия самих букв: *ba, be, bi, bo, bu; bra, bre, bri, bro, bru* и так далее; *ca, ce, ci, co, cu; cra, cre, cri, cro, cru* и так далее; *eua, eué, eui* и так далее.

Таким образом, *cra* или *eua* - это составные знаки из букв, чьи согласные сами по себе ничего бы не представляли. Это знаки, значение которых нужно изучать сверх значения самих букв или, говоря точнее, только через которые и можно познать значение букв. Поскольку согласные являются лишь модификациями гласных, их невозможно сделать воспринимаемыми на слух, не объединив с этими самыми гласными; ведь модификация, отделенная от

модифицируемого объекта, может быть лишь умозрительной абстракцией. Поэтому, когда вы заставляете ребенка читать алфавит по буквам и просите его называть: *B, C, D, E, F, G, H, K*, это всё равно как если бы вы выхватывали из слогового ряда (*Ba, Bé, Bi, Bo, Bu; Ca, Cé, Ci, Co, Cu* и т. д.) вторую формулу или второй знак *Bé* и *Cé*, который является сочетанием двух букв.

И теперь, когда эти две или три буквы, составляющие один и тот же слог и образующие при слиянии единый знак, оказываются связанными друг с другом - будь то по горизонтальной линии или по вертикальной, - совершенно очевидно, что это одно и то же. Слово *Dieu*, написанное пятью фигурами, соединенными в ряд, как в нашем письме, или вертикально, как в китайском письме, или переплетенными в виде монограммы, как это делают наши граверы, всё равно остается лишь одним знаком. Повторю еще раз: знак существует только там, где есть репрезентация. Наши согласные, сами по себе не представляющие ничего отдельного от гласных, модификацией которых они являются, не являются знаками, а лишь частями знака. Таким образом, только изображения наших членораздельных слогов являются настоящими знаками. Исходя из этого, сколько возможных комбинаций из букв нашего алфавита мы имеем для формирования одного членораздельного звука? Не знаю, подсчитывал ли кто-нибудь их количество, но, не прибегая к цифрам, можно сказать, что оно огромно. И китаец, который подошел бы к изучению нашего языка путем анализа и расчета, имел бы все основания сказать, что мы подчинены чудовищному множеству знаков; это поразило бы воображение даже тех, кто наиболее знаком с теорией и механизмом китайского языка. Стоит добавить, что это огромное разнообразие знаков, свойственное данному языку, имеет тот недостаток, что они не представляют ничего в природе и не выражают никакой идеи - они, в сущности, являются лишь знаками речи, знаками знаков. В результате для понимания идеи, выраженной написанным в Европе словом, всегда требуются три последовательных перехода: 1-й - от сочетания четырех или пяти букв к произносимому звуку; 2-й - от звука к представляемому им слову; 3-й - от слова к идее, которую оно выражает.

Преимуществом символической письменности была бы ее способность одинаково подходить всем языкам и восприниматься зрительно как универсальный язык среди всего многообразия наречий, распространенных по земному шару. Она могла бы установить единство письменного языка при всем различии языков разговорных. Кажется даже, что любая всеобщая письменность (пазиграфия) сама легко превратилась бы в разговорный язык. Но это еще предстоит увидеть.

Еще одним свойством символической письменности был бы полный анализ природы, способность служить инструментом обучения и, в свою очередь, совершенствоваться благодаря ему. В ней, несомненно, сочетались бы как серьезные недостатки существующих методов, так и их преимущества: способность в определенной степени ограничивать круг уже накопленных знаний, облегчая при этом их распространение. Методы препятствуют расширению кругозора, но делают процесс познания более приятным. Символическая письменность обладала бы тем великим и неоценимым преимуществом, что предотвращала бы множество ошибочных рассуждений, возникающих лишь из-за расплывчатости слов, и не позволяла бы человеку рассуждать, не понимая сути вещей. Она заставила бы каждого отдавать себе отчет в том, что он говорит, и останавливаться там, где понимание заканчивается. Трудно оценить, насколько выиграла бы нравственность народа от хорошо продуманного языка, и невозможно измерить, какие препятствия чинит человеческому разуму несовершенное устройство наших языков.

Еще одним достоинством была бы краткость слов, так как не нашлось бы такой идеи, которую нельзя было бы представить пятью буквами. Доказательство этого утверждения кроется в той неоспоримой истине, что в переходе от общего рода к отдельному индивиду существует лишь интервал вида, который можно подразделить еще на два класса, постепенно приближающихся к индивиду. Это преимущество сделало бы телеграфную связь более оперативной, надежной и универсальной.

Из этого общего обзора я делаю вывод, что символическое письмо само по себе и по своей природе не обязательно противоречит целям письменности и прогрессу человеческих знаний; напротив, если не считать некоторых его особенностей и второстепенных свойств, оно даже более благоприятно для них, чем алфавитное письмо.

Установив это, давайте рассмотрим, что представляет собой язык китайцев и какую функцию выполняет их письменность в этом языке.

Согласно различным мемуарам о Китае, которыми мы располагаем, представляется, что наиболее употребительными средствами передачи мысли являются те, которые мы подробно опишем далее, придерживаясь нашего разделения на устное общение и общение посредством письма.

О СРЕДСТВАХ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ.

Словарный запас.

В китайском языке насчитывается едва ли полторы тысячи отчетливых звуков или артикуляций. Китайцы совершенно не используют наши четыре согласные: B, D, R, X; они даже не могут их произнести. Однако с помощью акцентов и тонов, представляющих собой тончайшие модуляции голоса, они варьируют эти звуки до бесконечности для натренированного и внимательного уха.

Каждый артикулированный звук образует слог, который может быть передан одной европейской согласной, предшествующей гласной, за которой иногда следует другая, мягкая согласная. Этот язык неизбежно столь же мягок и гармоничен, как итальянский.[243]

Каждый слог является словом и выражает какую-либо идею, простую или сложную. Все путешественники единогласно утверждают, что этот язык является моносиллабическим (односложным).[244]

Похоже, все согласны с тем, что китайский язык содержит около 80 000 слов. Отец де Премар в «Поучительных письмах» (*Lettres édifiantes*), том XIX, стр. 468, сообщает, что он владеет словарем, составленным по велению предыдущего императора, и он насчитывает девяносто пять томов, однако он всё же не полон, так как к нему, по имеющимся сведениям, добавили дополнение в двадцати четырех томах. Этот словарь находится в национальной библиотеке. Я изучил несколько его томов; в нем не содержится и десятой части того объема сведений, что представлен во французском Вокабулярии.

Часть китайских слов является подражанием шумам или звукам, которые производят предметы, обозначаемые этими словами. Например, название кошки, согласно IV тому (стр. 150) «Путешествия Маккартни», в китайском языке весьма напоминает крик этого животного. Каждое слово разговорного языка имеет либо собственное,[245] либо первоначальное и естественное значение; значение синекдохи (когда целое принимается за часть или часть за целое); значение метонимии или указания на связь одного предмета с другим; значение метафоры или фигуральное значение. *«Фраза,* - согласно «Путешествию Маккартни», - *часто представляет собой цепь метафор; различные отношения, существующие в жизни, в Китае вовсе не обозначаются произвольными звуками, которые лишь просто указывают на идею этих отношений; напротив, качества, которые естественно от них ожидаются, часто становятся*

[243] Думая о ч*еловеке,* я думаю о том, что в каждом человеке является общим для всех людей. Я не впадаю в нелепость художника, который может рисовать только с частными чертами, но подражаю анатому, который описывает части, общие для всех людей.

[244] Этот вывод лучше следует из моей версии текста, чем из версии автора; ведь если бы у человека, как он утверждает, не было никакой иной идеи, кроме идеи имени, было бы трудно относить вещи к родам и видам.

[245] Является ли это название вполне ясным? Не лучше ли было бы сказать: *очевидность тождества*?

именами, под которыми они соответственно известны. Например, родство во всех его степенях различается в китайском языке с точностью, неведомой другим языкам».[246]

Китайцы образуют множество слов путем удвоения одних и тех же основ. *Мои* означает «дерево»; *тои-тои* - «роща»; *тои-тои-тои* - «лес».

Части речи и изменение слов.

Нет различия между существительными, прилагательными и глаголами, нет родов, чисел и падежей. Нет ни изменяемых окончаний для обозначения наклонений или времен глагола, ни родов, ни чисел, ни падежей у существительных. Очень небольшое количество частиц указывает на настоящее, прошедшее и будущее время. Китаец, желающий заявить о своем намерении уехать завтра, не говорит, что он «уедет завтра», потому что самого слова «завтра» достаточно, чтобы указать, что время его отъезда относится к будущему. Множественное число обозначается добавлением слова, без которого количество людей и вещей всегда считается единственным.[247]

Синтаксис.

Построение китайской фразы - самое простое и лишенное всяких изысков, какое только возможно. Хотя она и заключает в себе несколько идей, которые должны передаваться множеством слов, эти идеи кажутся высказанными всеми вместе и одновременно.

Расположение слов способствует закреплению их смысла. Когда остается какая-либо неопределенность в смысле слова, говорящий чертит в воздухе или на коленях пальцем или веером очертания иероглифа и таким образом мгновенно определяет то, что хочет выразить.

В Китае существует обиходный язык, благородный язык и язык ученых. Вот какое представление о них дает отец де Премар в «Поучительных письмах» (т. XIX, стр. 468 и далее): «У китайцев можно выделить три рода языков: язык народа, язык порядочных людей и язык книг. Хотя первый из них не так украшен, как два других, я не вижу, в чем он уступает нашим европейским языкам... Некоторые не слишком умелые миссионеры находят двусмысленности там, где их нет и в помине; не потрудившись сначала научиться правильно произносить китайские слова с их придыханиями и акцентами, они понимают лишь половину того, что говорят китайцы, и сами с трудом могут объясниться. Это их собственная ошибка, и это вовсе не изъян языка, который им следовало бы изучать лучше. Отец Триго... вероятно, нашел в каких-то мемуарах, что ученые часто чертят иероглифы пальцем или веером на коленях или в воздухе; они делают это скорее из тщеславия или по привычке: и вот представился случай заявить об этом факте.

Над этим низким и грубым языком, произношение которого варьируется в сотни манерах, которые почти никогда не используются на письме, существует и другой стиль - более благородный и изысканный. Он употребляется в бесконечном множестве историй, как подлинных, так и вымышленных, написанных с очень тонким и деликатным вкусом. Остроумие, нравы, вежливость, яркие описания, характеры, контрасты - здесь есть всё. Эти небольшие произведения читаются и понимаются без особого труда. У меня их довольно много, и я до сих пор не заметил в них ни одного двусмысленного выражения. Напротив, везде я чувствовал такую ясность и изысканность, которые едва ли уступят нашим лучшим книгам.[248]

Помимо этих двух способов изъясняться - одного для простого народа, который мало заботится о порядке своих слов, и другого, который должен быть присущ мандаринам и ученым мужам, - существует язык книг, написанных отнюдь не разговорным стилем. В этом жанре

---

[246] *Примечание переводчика: «Сумасбродка в доме» (la folle de la maison) - классическое французское обозначение воображения.*

[247] **(Примечание редактора.)** Этот фрагмент является развитием идеи, вкратце изложенной в докладе моего отца, представленном Институту, касательно «Всеобщего катехизиса» Сен-Ламбера.

[248] 10 фримера V года (30 ноября 1796 г.). Т. II, с. 14.

есть множество ступеней, ведущих к величественной и возвышенной краткости древних книг, называемых "Кинг" [Цзин]. Это уже не разговорный язык, а исключительно письменный; его было бы непросто понять на слух без помощи иероглифов, которые находятся перед глазами и которые читаешь с удовольствием. Ведь здесь находишь стиль четкий и плавный; в нем нет ничего, что оскорбило бы тонкий слух, а искусное разнообразие акцентов неизменно придает речи гармоничное и мягкое звучание».

Размышления

Прежде чем перейти к изучению китайской письменности, давайте немного поразмышляем о их разговорном языке. Прежде всего отмечу, что исключительное использование односложных слов является неоспоримым преимуществом языка. И я говорю здесь о языке лишь как о средстве передачи мыслей, а вовсе не как об источнике удовольствия. Односложный язык неизбежно энергичен, быстр и особенно благоприятен для сопоставления идей, что способствует здравым суждениям и красноречивым выражениям. В Китае каждый звук - это слово. Не нужно трудиться, чтобы отделить то, что воспринимает ухо, от того, что осознает разум; невозможно сделать два слова из того, что является одним, или одно из того, что является двумя. Каждое слово, вызывающее ощущение, несет в себе идею; звук и ощущение, слово и идея - это одно и то же. Ухо и разум поражаются одновременно.

Чтобы оценить это достоинство, вспомним, как удобно нам использовать односложные слова в нашей музыкальной гамме и при счете. Подумайте, какая бы возникла трудность, точнее, невозможность для нас считать вслух или разбирать музыку, если бы вместо односложных названий для цифр и музыкальных элементов у нас были слова из трех или четырех слогов. Каждый может убедиться в этом сам. Таким образом, Китай во всех частях своего языка обладает тем преимуществом, которое у нас есть лишь в двух видах искусства. В односложном языке слова неизменны: в них невозможны ни приставки, ни изменения окончаний. Поэтому слова всегда остаются такими, какими их создала потребность; они всегда несут на себе свой первоначальный отпечаток, а значит, они всегда ближе к идее и точнее соответствуют ее масштабу. В Китае ономатопеи [звукоподражания] сохраняются в полном и первозданном виде - то, что мы с таким трудом ищем и так редко находим в наших языках.

Односложный язык, если его слоги построены правильно, как в Китае - то есть состоят из гласной, которой предшествует и за которой лишь иногда следует согласная, - неизменно мягок, звучен и гармоничен. Поэтому все путешественники единодушно признают эти качества за китайским языком, а многие предпочитают его итальянскому. Кто когда-либо говорил подобное об английском, французском или немецком? Я отмечаю это достоинство, потому что если краткость знаков способствует точности суждений, а сближение идей - красноречию слога, то благодаря их тесной связи мягкость речи словно еще сильнее укрепляет это единство и, так сказать, сплавляет все части воедино.

Может ли обилие слов, составляющих китайские словари, быть поводом для упрека в адрес языка? Разве кто-нибудь из людей, хоть немного знакомых с литературой, не знает, что во всех языках богатство слов и развитие речи является следствием развития идей, оно не может происходить из иного источника и всегда строго ему пропорционально. Именно на этой истине основывалось мнение, поначалу поразившее ученый мир: по словарному запасу народа можно определить степень достигнутой им цивилизации, объем знаний, которыми он владел, и нравы, которых он придерживался. Более того, считалось возможным составить точную историю его прогресса и переворотов, сравнивая его словари разных эпох. Слова могут быть лишь порождением потребности, и их никогда не может быть слишком много, так как они принимаются обществом лишь в силу необходимости, а капризов неологизмов никогда не достаточно для того, чтобы слово закрепилось. Публика признает лишь те слова, которые, рождаясь в результате работы мысли, отвечают потребностям мышления каждого человека. Эти слова, облегчающие процесс мышления, никогда не могут его затруднять; одним словом, самим фактом своего существования они признаются полезными и даже необходимыми.

Если восемьдесят тысяч китайских слов кажутся нам пугающим числом, то из этого следует лишь один вывод: китайцы способны обладать таким богатством знаний, которое нас бы просто раздавило, и в этом нет ничего, чем мы могли бы гордиться. Но прежде чем удивляться и пугаться словаря в восемьдесят тысяч слов, уверены ли мы, что наш собственный запас намного меньше, и подсчитывали ли мы свои слова? Чтобы провести подсчет, пригодный для сравнения с китайским словарем, в котором слова имеют лишь одно значение, необходимо учитывать не только разные наши слова, но и различные значения одного и того же слова. Ведь сходство слов, выполняющих совершенно разные функции, не мешает им быть разными словами, подобно тому как братья и сестры с одной фамилией остаются совершенно разными личностями.

Исходя из этого, я заявляю, что обнаружил в словаре Академии приблизительно более шестидесяти тысяч слов, к которым нужно добавить еще пятнадцать тысяч слов, относящихся к искусствам и ремеслам, которые Академия не приняла во внимание. То же самое можно сказать и об английском языке, где встречаются слова, имеющие, согласно словарю Джонсона, более ста различных значений. А немецкий язык, богатейший из европейских языков, особенно в области физики и философии, несомненно, еще более обилен.

Больше всего в языке должен пугать не избыток слов, а, напротив, их слишком малое количество, из-за чего возникает необходимость умножать их значения. Именно это вносит огромную путаницу в идеи и заставляет память работать бесконечно. Было бы несравненно легче запомнить семь разных слов, выражающих те семь значений, которые во французском языке имеет слово «честь» (*honneur*), чем всегда различать и помнить эти семь смыслов под одним знаком, который их смешивает.

Девяносто пять томов китайского словаря и двадцать четыре тома дополнений перестанут пугать, если сравнить устройство китайских книг с нашими. Во-первых, китайцы печатают только на одной стороне бумаги; таким образом, количество томов сразу сокращается наполовину. Во-вторых, их письмо гораздо более размашистое, чем наше, их знаки занимают больше места и они объемнее. Достоверное сопоставление количества наших и их слов позволяет полагать, что их словарь, напечатанный как наш, или наш, напечатанный как их, заняли бы одинаковый объем.

Фурмон в своих «Критическх размышлениях» (т. II, стр. 438) говорит, что язык китайцев - это «язык искусственный и чисто философский». И в самом деле, во многих древних записках и в «Путешествии Макартни» (т. IV, стр. 156) говорится, *«что элементы, из которых, по мнению китайцев, состоят тела, образуют своего рода роды, каждый из которых включает в себя большое число видов... Случаи родов помещаются в начале словаря в неизменном порядке, подобном алфавитному, который быстро становится привычным для того, кто его изучает. Виды каждого рода следуют один за другим»*. Таким образом, китайский язык сформирован так же, как у нас ботаническая терминология, и Фурмон прав, называя его философским языком.

О письменном общении

Так как в Китае каждый отдельный или членораздельный звук образует слово и выражает определенную идею, то каждая буква или иероглиф представляет собой отдельный или членораздельный звук. Таким образом, каждая буква - это звук, каждый звук - слово, а каждое слово - идея. Общепризнано, что в Китае письменные знаки передают идеи напрямую, а не через устную речь. *«Китайские иероглифы,* - говорит ученый Фрере (*Мемуары Академии, т. VI, стр. 618*), *- являются непосредственными знаками выражаемых ими идей; можно сказать, что эта письменность как будто была изобретена для немых, не знающих, как пользоваться речью»*.

В Китае, подобно тому как слова по возможности подражают шуму вещей, буквы так же стараются передать форму предметов. Так же как слово «кошка» имитирует кошачий крик, письменный знак, её обозначающий, представляет собой её упрощенное изображение. Фрере

в своем «Эссе об иероглифах» (*Мемуары Академии, т. II, стр. 539*) утверждал, что китайские иероглифы, хотя и предназначены для передачи идей, никогда не состояли из произвольных фигур, которые, по его словам, имели лишь условную связь с обозначаемыми предметами. Он полагал, что они изображали лишь узлы на веревках, которыми китайцы пользовались долгое время. Однако мнение Уорбертона возобладало над мнением Фрере. Согласно Уорбертону, письменность сначала была рисунком, рисунок превратился в иероглиф, а иероглиф со временем оброс произвольными знаками; таким образом, существует основа из изобразительного письма и вспомогательные условные элементы.

Этого мнения придерживается и автор «Путешествия Макартни», который исследовал вопрос китайского языка как внимательный и просвещенный наблюдатель. *«Большинство китайских иероглифов,* - пишет он, - *изначально создавались для того, чтобы представлять реальные или аллегорические образы идей... Но из-за сложности и утомительности подражания вскоре предпочтение стали отдавать более простым чертам... Тем не менее в современных иероглифах, которыми пользуются китайцы, сохраняется слабое сходство с их первоначальной формой. Этапы их изменений зафиксированы в книгах. Сегодня число китайских иероглифов, состоящих всего из одной линии, не превышает шести. Но большинство состоит из множества штрихов, а некоторые насчитывают их до семидесяти...»*. Автор «Письма из Пекина», будучи более точным, чем ранее упомянутые писатели, разделяет китайские иероглифы на шесть видов:

Первый вид, называемый **изображением (фигурой)**, представляет собой подлинное изображение материальных предметов: грубо нарисованные деревья, птицы, вазы.

Второй вид, называемый **указанием на предмет**, создается путем добавления элемента к фигуре или символу... Например: иероглиф «малый», помещенный над иероглифом «большой», означает «пирамидальный», «заостряющийся кверху».

Третий вид, называемый **соединением идей**, заключается в объединении двух иероглифов для выражения понятия, которое они не означают по отдельности. Например: изображение рта, помещенное рядом с изображением собаки, означает «лаять».

Четвертый вид, **разъяснение звука**, обязан своим происхождением сложности достаточно четкого изображения всех видов рыб, животных, ваз и деревьев. Чтобы восполнить этот недостаток, придумали ставить рядом с изображением простой иероглиф, обозначающий звук. Например: иероглиф звука «я» рядом с изображением птицы для обозначения утки, и иероглиф «нго» для гуся.[249]

Пятый вид, называемый **заимствованным** или **метафорой**: в силу этого обычая иероглиф иногда принимается за другой, выбирается для обозначения имени собственного, приобретает аллегорический, метафорический или ироничный смысл, доходя даже до антифразиса, когда ему придается значение, прямо противоположное тому, в котором он употребляется обычно.

Следует признать, что этот пятый класс придает китайскому языку такую силу и яркость красок, которой не может достичь ни один другой язык. Но он также является одной из главных причин его неясности: переносный смысл иероглифа не всегда имеет логическую связь с его прямым значением.

Шестой вид, называемый **развитием (толкованием)**, состоит лишь в расширении первоначального смысла иероглифа, или для его подробного объяснения. Таким образом, один и

---

[249] (Примечание издателя). В начале рукописи этого труда можно прочитать следующие три заметки, написанные рукой моего отца:

«1834. - Начато в Париже в апреле. Окончено в Малиньоне в июле 1834 года».

«Составлено в мае 1834 года».

«Прочитано в Академии моральных и политических наук 10 мая 1834 года».

Чтобы примирить эти различные даты, нужно предположить, что окончательная редакция этого труда, который был прочитан в Академии 10 мая 1834 года, еще не была завершена окончательно, так как она была закончена только в июле следующего года в Малиньоне.

Моему отцу, родившемуся 15 февраля 1754 года, шел тогда восемьдесят первый год.

тот же иероглиф может быть то глаголом, то наречием, то прилагательным или существительным.

«Согласно „Путешествию Макартни“, - говорится в тексте, - в расположении китайских иероглифов заметен определенный порядок, указывающий на то, что система, по которой они создавались, изначально была завершенной и полной». Поскольку китайское письмо передает идеи, а не звуки, и каждый иероглиф должен соответствовать слову, их должно быть столько же, сколько и слов - то есть восемьдесят тысяч. Однако это число не более пугающее, чем количество наших слогов или слов, которые также являются четко отличимыми друг от друга знаками. Вот что говорит по этому поводу «Путешествие Макартни»:

«...Более двухсот иероглифов, состоящих из совсем небольшого числа линий или штрихов, обозначают основные природные объекты - примерно так же, как это сделано в хитроумной книге епископа Уилкинса о всеобщем языке. Эти иероглифы можно рассматривать как зачатки или корни языка, к которым систематически относится любое другое слово или вид, принадлежащий к соответствующему роду. Сердце - это род, представленный кривой линией, которая примерно повторяет его форму; а виды, относящиеся к нему, включают в себя все чувства, страсти и переживания, волнующие человека. Иероглиф каждого из этих видов сопровождается знаком, указывающим на его род, то есть на сердце».

«...Состав многих китайских иероглифов свидетельствует о высоком интеллекте и одновременно позволяет узнать взгляды и нравы нации. Иероглиф, выражающий счастье, содержит несколько сокращенных обозначений земель и детей: первые указывают на источник физических радостей, вторые - на источник радостей моральных».

Вот как высказывается по этому поводу президент де Бросс в своем замечательном труде «Механика языка» (том I, стр. 430): *«Не следует полагать, будто это бесконечное количество ключей, число которых, как говорят, достигает 80 000, являются первичными и независимыми друг от друга. Поскольку это слова, а не буквы, в наших языках их, по правде говоря, ничуть не меньше. Большинство этих ключей состоят из нескольких других, более простых, и, соединяясь, служат для изображения сложной идеи, составленной из нескольких простых. Таким образом, в этих комбинациях существует аналогия, позволяющая легко угадать результат, зная значение простых штрихов, из которых состоит каждый из них. Подобно тому как в большинстве наших слов, почти всегда сложных и пространных, существует производная связь, облегчающая понимание, как только становится известен корень, от которого они произошли. Между тем у нас коренные слова, а у китайцев простые штрихи представлены в небольшом количестве, соответствующем тому малому числу наших простых идей, которые послужили для формирования корней или первых знаков, породивших бесчисленное семейство производных слов во всех языках. Отец Леконт привел таблицу выражений, число которых не превышает 328, но чьи разнообразные сочетания порождают огромное множество знаков. То же самое относится и к простым штрихам, состоящим из прямой линии, кривой линии и точки, расположенных и варьирующихся 214 способами. Столько же существует и иероглифов-радикалов, соответствующих общим понятиям, которые люди могут пожелать выразить»*.

«...Это огромное количество иероглифов, - говорит отец де Премар (стр. 466, т. XIX „Поучительных писем“), - *не должно так сильно пугать. Предлагать людям поглотить 80 000 знаков, если они хотят выучить китайский, - значит просто намеренно их отпугивать. При моих скромных способностях я за три или четыре года подготовил себя к тому, чтобы читать и понимать китайские книги. Когда знаешь 5 или 6 тысяч знаков, больше не остается книг, которые могли бы остановить читателя»*.

Президент де Бросс делает еще одно замечание вслед за только что прочитанным отрывком. Оно заключается в том, что *«поскольку китайские иероглифы привязаны к идеям, а не к звукам, каждый из народов, использующих эти знаки, произносит их звуками своего собственного языка, вкладывая в них тот же смысл, с которым они были написаны; таким образом, все прекрасно понимают написанное, совершенно не понимая того, что кто-то другой мог бы сказать, читая это вслух»*.

Это же подтверждали и многие миссионеры («Поучительные письма», т. XXI, стр. 38): *«Иероглифы китайцев,* - говорится там, - *являются иероглифами лишь в переносном смысле и были созданы не для священных целей, а скорее для светских. Это ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЗНАКИ (в этом автор ошибается), которые дают нам представление о предмете* ***не через какую-либо связь с самим обозначаемым предметом*** *(следовало бы сказать: не все через связь и т. д.), а потому, что тем или иным знаком решили обозначать конкретный предмет, не обращая внимания на звуки, которыми они произносятся. Таким образом, различные народы, использующие китайские иероглифы - такие как японцы, корейцы, тонкинцы и другие - читают их, используя звуки своего собственного языка, но вкладывают в них тот же смысл, что и китайцы»*.

Это также подтверждается в «Путешествии Макартни» (том IV, стр. 154), где сказано, что *«в большинстве стран Востока понимают китайский письменный язык, но не разговорный. Эту письменность понимают так же, как арабские цифры и нотную грамоту у всех европейских народов, на каких бы языках они ни говорили».* Сэр Стонтон также отмечает, что в Кохинхине китайские переводчики посольства, не имея возможности объясниться устно, записывали то, что хотели сказать, и были прекрасно поняты. Мы дополним эти сведения о китайской письменности отрывком из «Путешествия Макартни», в котором раскрываются её преимущества:

«Слова алфавитного языка (стр. 164, т. IV) состоят из различных комбинаций букв или элементарных частей, каждая из которых имеет свое название и определенный звук. Любой, кто знает их и умеет сочетать, может читать слова, не имея ни малейшего представления о их значении. Но иначе обстоит дело с иероглифическим языком, где каждому знаку соответствует звук, который не имеет прямой связи с безмолвными чертами, из которых он состоит. Такой знак изучается и усваивается лучше при понимании связанной с ним идеи. Словарь иероглифов - это не столько словник терминов одного языка с соответствующими терминами другого, сколько энциклопедия, содержащая объяснение идей, которые эти иероглифы представляют. Именно в этом смысле можно справедливо сказать, что изучение китайских слов занимает большую часть времени образованного человека. Чтобы овладеть несовершенными науками китайцев и их огромной литературой, требуется вся человеческая жизнь. Тем не менее, все китайцы в достаточной мере осваивают свой язык для ведения обычных дел; и при должном усердии иностранцы могут разделить это преимущество с китайцами; дальнейшее же совершенствование зависит от способностей и обстоятельств».

Наконец, на основании одного отрывка из «Путешествия Макартни» можно было бы предположить, что существует способ изображать целые фразы одним составным иероглифом, так чтобы глаз мог мгновенно охватить и целое, и смысл. Вот этот отрывок со страницы 151 четвертого тома, и это было бы вершиной всех достоинств, которые можно приписать китайскому языку:

«В китайском языке существует определенный порядок или синтаксис, определяющий последовательность слов в предложении. Эта последовательность по-разному закреплена обычаем в разных языках, но она не основана на каком-либо естественном порядке идей - по крайней мере, так иногда предполагали. Хотя в китайском языке фраза содержит несколько идей, которые должны передаваться несколькими словами, эти идеи связываются воедино В ОДНО МГНОВЕНИЕ, потому что создается картина или образ, все части которого воспринимаются одновременно».

Если справедливо утверждение, что совершенство искусства выражения мысли - будь то письменно или устно - заключается, как говорит **Кондильяк**, в том, чтобы *запечатлеть её как можно более сжато и тесно*, в том виде, в каком она существует в уме говорящего, где у неё нет ни начала, ни конца, то китайская письменность, бесспорно, является самым замечательным из человеческих изобретений. Она обладает двойным преимуществом: она аналитична, как наш условный язык, и при этом стремительна и одновременна, как «язык действия» (язык жестов), который наиболее совершенен для выражения простейшей идеи. Поскольку китайское письмо приучает изображать предметы на бумаге и вспоминать их хотя бы в процессе рисования, оно естественным образом облегчает использование «языка действия». Именно по

этой причине образованные люди, как говорят, очерчивают свои мысли в воздухе веером или жестикулируют руками, когда они опасаются, что их не поймут достаточно легко. И это, несомненно, является огромным преимуществом, так как если бы, помимо речи, которая представляет мысль для слуха, и письма, которое представляет её для зрения с помощью неподвижных знаков, у нас была бы еще и система жестикуляции, представляющая мысль для зрения через движения - подобно методу, используемому для обучения глухонемых, - то мне кажется очевидным, что мысли лишь лучше закреплялись бы и отчетливее различались в уме. Было бы гораздо легче их сравнивать, и, в конечном счете, появилась бы большая уверенность в суждениях об их взаимосвязях. Эти три средства коммуникации помогали бы друг другу, дополняли, контролировали и исправляли бы друг друга; впечатление, которое не смогло бы произвести одно, произвело бы другое; впечатление, оставленное одним несовершенно, было бы завершено другим. То, что первые средства передали бы неточно, другие привели бы в соответствие с самой идеей.

Судя по этой заметке, в которой, как мне кажется, я проявил талант компилятора (поскольку здесь нет ничего моего, кроме расположения цитат), для формирования четкого представления о китайской письменности достаточно лишь изучить существующую критику в её адрес. Все упреки, которым она подвергалась, были недавно собраны в статье, опубликованной в газете *«Монитёр»* от 3 прериаля VI года (22 мая 1798 г.) и касающейся «Путешествия лорда Макартни». После краткого изложения основных наблюдений из этого путешествия автор переходит к китайскому языку с помощью следующего перехода:

«Мало того что иго суеверия, политическая тирания, домашний деспотизм (ещё более невыносимый) и культ предков, доведенный до самого абсурдного предела, объединились у этого несчастного народа, чтобы сломить пружину человеческого духа (мы уже видели и еще увидим, насколько все эти утверждения ложны), - нужно было еще, чтобы случай ДАЛ ЕМУ ТАКОЙ СПОСОБ ЗАПИСЫВАТЬ СВОИ МЫСЛИ, КОТОРЫЙ СТАЛ БЫ НЕПРЕОДОЛИМЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ; или, скорее, все эти причины в совокупности заставили его сохранить без улучшений тот вид письменности, которым, вероятно, все народы начинали пользоваться в период своего младенчества.

Китайское письмо состоит не из букв, представляющих звуки и артикуляцию, а из знаков, которые изображают идеи: это искаженные иероглифы, ставшие чисто условными... Вот что происходит с китайским письмом и что произошло бы с любой пазиграфией.

Человеческие идеи бесчисленны; их оттенки чрезвычайно тонки и требуют полного выражения, иначе есть риск не понять друг друга. Следовательно, в такой системе необходимо иметь почти бесконечное количество знаков или, по крайней мере, иметь их столько же, сколько у нас слов и изменений окончаний в этих словах; отсюда вытекает абсолютная невозможность удержать все эти знаки в памяти. Если же, чтобы помочь памяти, попытаться вывести их все из небольшого числа первоначальных фигур, то невозможность достаточно разнообразить различные черты делает их чрезвычайно сложными, очень трудными для различения, а проследить этимологию и происхождение становится невозможно: таким образом, человек снова оказывается подавлен их количеством».

Остановимся сначала на этом. Приписывать иероглифическое письмо младенчеству народов - это первая ошибка. Самым первым письмом является живопись; иероглифы же представляют собой её сокращение, систематическую классификацию и композицию. К тому же, это первое утверждение автора плохо согласуется с последующим, а именно: что китайские иероглифы - это искаженные иероглифы, ставшие чисто условными. Условные соглашения по изменению письменности великого народа предполагают наличие системы, а система письма из всех человеческих изобретений меньше всего вяжется с идеей варварства. Однако не в этом суть вопроса, и я к ней перехожу. Вопрос заключается в том, является ли *китайский способ записи мыслей непреодолимым препятствием для их совершенствования.*

Итак, не рассматривая подробно, каков именно способ письма у китайцев, я начну с утверждения, что не существует ни одного вообразимого способа письма, который был бы непреодолимым препятствием для совершенствования мыслей; и я основываюсь на той очевидной истине, что, строго говоря, нация могла бы обойтись без письменности для сохранения и приумножения своих знаний. Безусловно, как утверждает автор письма, людям необходимо иметь возможность выражать все свои мысли, чтобы понимать друг друга; однако для выражения всех вообразимых идей достаточно и устной речи. Хорошо сохранившихся устных традиций, регулярных и частых встреч между избранными людьми, курсов обучения и занятий наукой было бы, в крайнем случае, достаточно для сохранения и пополнения запаса человеческих знаний. Во Франции на протяжении последних девяти лет масса политических идей - как ложных, так и истинных - распространилась вовсе не через книги, а через клубы. Все новые идеи либо рождаются в процессе размышления, либо возникают в ходе бесед и споров. То, что выходит из-под пера, ценится невысоко. Следовательно, если письменность, строго говоря, не является обязательной для совершенствования мысли, то любая письменность, какой бы несовершенной мы её ни считали, никогда не сможет стать для этого помехой. А значит, китайская письменность, какова бы она ни была, не заслуживает тех упрёков, которые ей адресуют.

Если устного обсуждения достаточно для совершенствования мыслей, или если оно, по крайней мере, этому не препятствует, то очевидно, что первым улучшением, которое оно должно было бы вызвать у народа с письменностью, мешающей такому прогрессу, стало бы изменение и реформирование этой самой письменности. Ведь свободная мысль ни о чем не заботится так сильно, как о средствах обеспечения свободы, прогресса и плодов своих трудов. Тот факт, что китайцы, за которыми никто не отрицает преимуществ разговорного языка, не использовали его для реформы своего письма, служит еще одним доказательством в пользу их системы письма.

И если разговорный язык китайцев не только не вредит мышлению, но и провоцирует, возбуждает, направляет и, прежде всего, корректирует его (как мы покажем далее), то как же этот разговорный язык не помог бы распознать недостатки языка письменного?

И в чем была бы сложность для китайцев перенять использование алфавитных знаков? Разве это изобретение выше их понимания, как полагал Уорбертон и все те, кто ему вторит? Отнюдь нет, и доказательством тому служит то, что в их собственных иероглифах есть чисто алфавитные знаки, которые лишь отображают звуки речи; но они используют их для вещей, которые не смогли обозначить иным способом, поместив в какой-либо класс природных объектов.

Но давайте рассмотрим само по себе возражение, основанное на множестве китайских иероглифов - множестве, которое якобы подавляет разум. Я не собираюсь утверждать, что у китайцев меньше знаков, чем у нас, или что их знаки менее обременительны, чем наши.

Выше я уже пытался развеять заблуждение, заставляющее нас верить, будто наши европейские знаки состоят лишь из двадцати четырех букв алфавита. Я показал, что наши согласные и для слуха, и для зрения, и для мысли являются лишь частями знака; что знание алфавита - это еще не умение читать; что для чтения к знанию алфавита нужно добавить знание слогов. Таким образом, только наши слоги являются знаками простого или артикулированного звука, и, наконец, количество наших слогов - число мне неизвестное, но легко определяемое - огромно.

Теперь я добавлю еще одно наблюдение: наши слоги, как правило, не являются знаками слов, поскольку подавляющее большинство наших слов многосложны. Следовательно, для слов они являются лишь тем же, чем буквы являются для них самих - элементами знаков. Знак, состоящий из пяти букв и выражающий слово *trape*, отличается от знака, изображающего *pater*, хотя эти два слова состоят из одних и тех же букв: одно из них латинское, другое французское; одно обозначает физическое и моральное отношение, другое - механизм.

Исходя из этого, я приведу первое, очень простое рассуждение: если в нашем языке есть четверть китайских слов и если мы выражаем каждое наше слово отдельным символом, то у нас уже получается четверть от того количества знаков, которые используют китайцы.

Но поскольку наши основные слова изменяются по временам, наклонениям, лицам, падежам, числам и родам, и каждое из этих слов претерпевает в среднем не менее пяти изменений окончаний, которые письменность обязана отображать с помощью такого же числа специфических знаков, нам пришлось бы умножить наши 20 000 знаков на 5, что дало бы 100 000 - то есть на 20 000 больше, чем у китайцев. А так как наши слова почти все многосложные из-за необходимости в окончаниях, в то время как китайские слова состоят из одного слога, наши знаки не только более многочисленны, но и более сложны, чем их собственные.

Если теперь мы примем во внимание, что среди восьмидесяти тысяч китайских иероглифов огромное количество служит для выражения не только отдельных слов или идей, но и целых фраз и суждений, состоящих из трех терминов, содержащихся в любом суждении, а также вводных и придаточных предложений, которые их уточняют, и что мы можем передать это лишь с помощью множества знаков, то мы увидим следующее: добавив к нашим двадцати четырем буквам сто тысяч различных знаков, которые из них составляются, нужно еще вычесть из китайских знаков те, что, представляя целые фразы, являются лишь очень сокращенным использованием их знаков. Таким образом, у китайцев знаков меньше, чем мы им приписываем, а у нас их в сто раз больше, чем мы думаем.

Поскольку их способ записи фраз и заключения их в один знак обеспечивает большую экономию знаков для слов или идей и представляет собой совершенную стенографию, из этого вытекает еще одно следствие, полностью в их пользу: нуждаясь в три раза меньшем количестве знаков, чем мы, для выражения в три раза большего количества идей (так как их слова неизменяемы), они к тому же могут обходиться без того избытка слов, который нужен нам для выражения своих мыслей.

Поэтому мы и говорим, что наши слоги и слова состоят всего из двадцати четырех комбинированных букв. Китайцы могут ответить, что их иероглифы образованы всего из трех фигур: прямой линии, кривой линии и точки. Скажем ли мы, что обычные слоги нашего алфавита исчисляются лишь несколькими сотнями, возможно, тысячей? Они ответят, что все их знаки составлены из небольшого числа примитивных знаков.

Отец Ле Конт признает лишь двести четырнадцать простых черт, состоящих из прямой линии, кривой линии и точки, которые служат коренными знаками, соответствующими общим понятиям, которые люди могут пожелать выразить. И когда они сами скажут: *«Одним-единственным знаком, составленным наподобие одного из ваших слогов, мы создаем целое слово, а вы - лишь половину, треть или четверть слова»*, что мы им ответим? И когда они добавят: *«Одним-единственным знаком, менее сложным, чем многие из ваших многосложных слов, мы записываем целую фразу, которую вы можете написать лишь в несколько строк»*, что мы им ответим?

Наконец, можно ли всерьез сравнивать, как трудность для памяти, использование иероглифических знаков с использованием европейских знаков? Разве знак, который изображает - пусть даже грубо - предмет, который видели наши глаза, которого касались наши руки, запах которого почувствовало наше обоняние, вкус которого ощутило наше небо, не несет в себе больше памятной силы об этой вещи, чем знак совершенно произвольный, не передающий ни звука, ни соответствующей ему артикуляции, ни органа речи, который производит то или другое?

Вернемся к наблюдениям анонимного автора.

«Однако это лишь неудобство, связанное с материальной стороной знаков, но есть и гораздо более серьезные, зависящие от самих идей. Ведь нужно сделать для идей то же самое, что было сделано для знаков: необходимо выбрать небольшое число первичных идей, к которым привязываются простые знаки и из которых выводятся все последующие идеи, представляемые различными сложными знаками. Но: 1° такое полное разделение идей по классам нелегко осуществить, и оно неизбежно становится произвольным; 2° невозможно распознать значение тех

иероглифов, которые еще не встречались, и тем более угадать значение тех, чья система идей еще неизвестна - то есть вся совокупность истинных или ложных знаний страны; 3° если чье-то мнение по какому-либо вопросу меняется, приходится менять и все знаки, которые имеют к нему отношение или связаны с ним, как в методической номенклатуре; нужно менять все термины. Например, если бы китайцы пришли к мысли, что императорская власть вместо того, чтобы походить на власть отца над детьми имеет больше сходства с властью господина над рабами, им пришлось бы изменить и сам знак, и все связанные с ним понятия. Огромная сложность такой перемены - не просто алфавита, а всего письменного языка - становится непреодолимым препятствием для изменения идей и, как следствие, для их совершенствования».

Остановимся здесь и взвесим эти серьезные упреки. Прежде всего, мы согласны с тем, что символическая система требует классификации человеческих идей, что их все необходимо свести к небольшому числу *первичных* идей, выражаемых простым знаком, под которыми будут располагаться последующие идеи, представленные различными составными знаками. Однако мы не можем согласиться с выводами, которые делает из этого автор.

«Классификацию, - говорит он, - *провести нелегко»*. Какое значение имеет эта трудность, если она уже преодолена? *«В итоге,* - добавляет он, - *всё скатывается к произволу»*. Опять же, какая разница, если простое соглашение устраняет этот произвол? «*Невозможно,* - продолжает автор, - *понять значение этих знаков и тем более угадать смысл тех, что еще не встречались, не зная всей системы идей, то есть всей совокупности истинных или ложных знаний страны»*. Я не могу убедить себя в том, что правильно понимаю смысл этого утверждения, настолько оно кажется мне лишенным оснований.

Во-первых, можно ответить фактом: китайский народ умеет читать все книги, идеи которых ему доступны, и не умеет читать те, чьи идеи выходят за рамки его образования и знакомы только ученым мужам. Не рассматривая сейчас вопрос о том, есть ли польза в умении произносить слова, смысла которых не понимаешь, мы просто констатируем факт, чтобы сделать вывод: не обязательно обладать всеми знаниями, выраженными всеми знаками символической письменности, чтобы понимать их часть; нет нужды знать бесполезное, чтобы найти необходимое.

И почему в Китае должно быть иначе, чем у нас? У нас кто-то может понимать китайские символические знаки, но не смыслить в ботанических обозначениях, и наоборот. Почему в Китае народ не может писать о том, что касается его нужд, и не знать того, что к ним не относится?

Если китайские иероглифы состоят из весьма ограниченного числа элементарных и иероглифических черт, и если эти первичные черты представляют самые обыденные понятия, то в чем может заключаться необходимость знать сложные и сверхсложные знаки, чтобы понимать простые? И в чем может состоять трудность познания смысла примитивных знаков, которые являются сокращенными изображениями ощутимых и привычных предметов?

Предполагать, что нельзя читать и писать часть языка, не умея читать или писать его целиком, что нельзя подписать свое имя, не изучив энциклопедию всей страны, - значит предполагать следующее:

1. Что знаки или символы строятся вопреки логике слов и здравому смыслу, будто самый употребительный знак происходит от самого необычного, а простейший - от самого сложного;
2. Что искусство чтения или письма постигается только путем логических рассуждений и ни в коей мере не с помощью памяти.

Оба этих предположения одинаково ложны и опровергаются опытом. Но как же *узнать* (я возвращаюсь к возражению автора) смысл китайских иероглифов, которые мы еще не видели? Так же, как мы узнаем новые слова, когда читаем их, разбирая по буквам и слогам, из которых они состоят. Разбирать «по буквам» знаки идей ничуть не сложнее, а возможно, и проще, чем знаки звуков. Разбирать - значит разлагать слово, чтобы собрать его заново, это и есть анализ. И, повторюсь, разложение идей дается легче, чем разложение звуков. Обратите внимание на

преимущество такого разбора образов идей по сравнению с разбором слов: разбирая по буквам знаки слова, вы узнаете лишь пустое изменение одного или нескольких звуков, и если вы хотите понять суть вещи, вам придется затем просить объяснения или объяснять слово самому себе. Напротив, разбирая черты иероглифа, вы идете прямиком к самой идее.

Разве понимать смысл слова, представляющего простую идею, - это не то же самое, что видеть ее образ или чувствовать ее запах и так далее, когда знак представляет ее вам? Так какой же знак более пригоден для создания этого эффекта, чем символический?

Понять смысл абстрактного слова, которое вы слышите - разве это не значит разложить его на составляющие и собрать заново, что и называется анализом и определением? Но если один или несколько звуков, простых или членораздельных, требуют для понимания анализа идей, которые они представляют, и если устная речь не обходится без этой операции, то почему письменная речь не должна требовать того же? И какое препятствие мешает проделывать ту же операцию, чтобы «услышать» её глазами? И если слово, подражающее звукам, считается самым удачным из слов, то почему письмо, изображающее формы, не должно считаться самым удачным из всех видов письма?

В сущности, если обучение речи одновременно учит точно и детально узнавать вещи, о которых идет речь, то разве знаки, состоящие из элементарных символов этих вещей, не являются одновременно и знаками речи, и знаками самих идей?

Если вы не понимаете значения слов, которыми пользуетесь в речи, то совершенно бесполезно учиться их читать или слышать. Если же вы знаете их смысл и понимаете элементарные знаки всех сложных символов, вы ни на мгновение не усомнитесь в их значении. Если ваша речь выражает ваши идеи, то ключ к знакам, представляющим эти идеи, находится в ваших словах.

Когда письмо создано не для слов, а, подобно словам, для идей, тогда не только слова помогают узнавать и распознавать письмо, но и письмо не дает забывать ни слова, ни идеи.

Перейдем к третьему возражению. *«Если мнение по какому-то вопросу меняется, приходится менять и все знаки, имеющие к нему отношение или связанные с ним... Огромная трудность смены не просто алфавита, а целого письменного языка - непреодолимое препятствие для изменения идей и, следовательно, для их совершенствования»*.

Изменить мнение по какому-то вопросу - то есть относительно истинных составляющих идеи, слова, которое её выражает, и знака, который её представляет - требует изменений только в самой этой идее, её составных частях или производных. Это подобно переезду одной семьи на новое место жительства, а вовсе не изменению всего языка целиком.

Я согласен, что символическое письмо укрепляет и поддерживает определенные ассоциации идей. Когда они ложны, это прискорбно; но когда они верны - разве это не великое благо? Языки не должны быть препятствием для совершенствования ума; но разве плохо, что они служат защитой от регресса и упадка? Разве цивилизованный народ не заинтересован в сохранении достигнутого так же сильно, как и в приобретении нового? И даже когда ассоциации идей ложны, разве влияние письма не подчинено в огромной степени влиянию устной речи? Разве оно не ограничивается поддержкой того зла, первопричиной которого является исключительно речь? И если бы речь не оказывала этой поддержки, разве она сама по себе не была бы достаточно сильна, чтобы сопротивляться реформам? А если бы она не была достаточно сильна, разве письмо неизбежно не изменилось бы вслед за ней?

Разве вся абстрактная часть терминологии, присущая французскому языку, не состоит из корней, которые представляют материальные объекты? Разве это не огромная галерея образов, заимствованных у всей природы? Можно ли полагать, что письмо, которое наглядно выделяло бы все изображенные объекты, имело бы иной эффект, кроме облегчения и обеспечения их понимания? И если бы ассоциация идей, выраженных словами, была признана ошибочной, разве форма наших букв помешала бы исправлению и разве она сама не изменилась бы в свою очередь?

Я возвращаюсь к замечаниям критика. *«Китайское письмо,* - говорит он, - *обладает еще одним побочным свойством, крайне вредным для прогресса человеческого разума, и одного его*

достаточно, чтобы сковать его цепями: оно делает бесполезным изобретение книгопечатания подвижными литерами. Ведь как печатать, имея 80 000 знаков?».

Чтобы китайские иероглифы стали препятствием для прогресса человеческого разума, недостаточно, как кажется, того, что их нельзя печатать подвижными литерами; нужно было бы, чтобы их вообще нельзя было печатать. Признаю, что большая или меньшая легкость размножения книг является более или менее активной причиной развития ума; но из этого не следует, что абсолютный запрет прессы или даже письменности может препятствовать полету человеческого разума. Если бы для развития цивилизации были абсолютно необходимы подвижные литеры, то почему же греки и римляне, которые не знали ни печати подвижными литерами, ни печати с гравированных досок, были столь просвещенными и утонченными? Если отсутствие книгопечатания не стало препятствием для просвещения в древности, то как система печати, какой бы несовершенной ее ни считали, может стать непреодолимой преградой? Спросите у книготорговцев, сколько экземпляров великих фундаментальных трудов всех жанров существует во Франции. Вольтер где-то упоминает, что никогда не осмеливались печатать более 1500 экземпляров его произведений. Однако для тиража в 1500, 15 000 или даже 130 000 экземпляров любого сочинения гравюра на деревянных досках может быть столь же быстрой и дешевой, как и производство с помощью подвижных литер; она уступает печати литерами лишь в изяществе. Следовательно, она не может быть препятствием для прогресса китайцев в науках.

Я утверждаю, что гравировать можно так же быстро и даже быстрее, и столь же выгодно, как и набирать текст подвижными литерами. Всем известно, как до Революции создавались рукописные газеты, которые рассылались в виде писем по всей Франции: человек гравировал их на оловянных досках резцом, которым он владел почти так же легко, как писатель владеет пером. В Китае принято наклеивать рукопись, которую хотят размножить, на доску из орехового дерева; затем острыми инструментами удаляют дерево вокруг линий, которые таким образом сохраняются на доске в том виде, в каком их начертал автор. Благодаря этому каждый экземпляр является точным изображением не только самого произведения, но даже почерка автора. Таким образом, можно с очень небольшими затратами бесконечно множить книги. Большая или меньшая степень совершенства типографского дела имеет мало значения для просвещения; желать следует именно легкого размножения рукописей. В Китае же достаточно куска доски, ножа и пресса, чтобы создать книгу; это может сделать каждый, в любом месте и в любое время.

Впрочем, факты сами отвечают на это возражение: нигде в мире нет такого количества книг, как в Китае. Ознакомьтесь с перечнем их основных собраний сочинений всех жанров в предисловии к «Китайским размышлениям» (Meditationes Sinicæ) Фурмона (стр. ix и x). И чтобы убедить вас в том, что все эти книги издаются во множестве, обратите внимание на следующий отрывок (стр. x): *«Поверите ли вы, что в большинстве их городов существуют огромные библиотеки? В королевских дворцах насчитывается не 50 000, не 100 000, не 150 000 томов, что для Европы является пределом; но - в это едва может поверить разум - там находится более десяти, двенадцати, четырнадцати миллионов томов. Об этом я узнал из уст и собственными ушами, не без изумления, услышал от святейшего мужа и очевидца К. Д. Фуке, епископа Элевтеропольского, ныне пребывающего в Риме и являющегося префектом библиотеки коллегии Пропаганды Веры. И в этом нет ничего удивительного, поскольку доподлинно известно и сохранено в памяти, что все чиновники столь великой империи должны быть учеными и никогда не могут подняться ни на одну государственную ступень, не представив доказательства своей доктрины и эрудиции».*

Подведем итоги и сделаем выводы.

Результат всего вышесказанного, как мне кажется, таков:

1. Китайское письмо не более перегружено знаками, чем наше, и не требует от памяти людей, желающих научиться читать, больших усилий.
2. Эти знаки соответствуют идеям и, будучи по большей части их изображениями, легче усваиваются и запоминаются, чем наши, которые отвечают лишь звукам.

3. Эти знаки служат одновременно для напоминания и об идее, и о звуке, который выражает ее в речи; в то время как наши знаки иногда напоминают только о звуках.
4. Эти знаки не только напоминают об идеях, но и дают те, которых ранее не было, неся в себе, помимо памяти, еще и поучение; они являются настоящими ключами ко всем наукам страны и аналитическими отпечатками.
5. Они служат общим связующим звеном для всех знаний страны и объединяют их все в регулярную и полную систему.
6. Эти знаки не дают знаниям приходить в упадок, добавляя свою власть к власти слова, содействуя ему, дополняя его и становясь своего рода вечными записями мыслей, вместо того чтобы, подобно нашим знакам, ограничиваться обслуживанием лишь членораздельной речи.
7. Они не препятствуют развитию знаний, поскольку позволяют создавать новые знаки, когда старые перестают соответствовать идее; при этом старые знаки выходят из употребления из-за своей бесполезности, что и является главным способом их упразднения. С помощью этих знаков невозможно писать о том, чего не понимаешь, так же как гораздо проще писать и легче договориться о том, что уже известно; это неоценимое преимущество для сохранения знаний.
8. Они представляют собой подлинную пазиграфию и по этой причине отвечают первому условию создания универсального языка.
9. Они являются крайне сжатым выражением идей и суждений, и потому способствуют живости речи, краткости письма и облегчают телеграфную переписку.
10. Наконец, они точно так же, как и наши знаки, подходят для массового тиражирования в печати, что окончательно делает китайский язык наиболее приспособленным для передачи мыслей - как между людьми, собравшимися вместе, так и между представителями разных времен и мест.

Впрочем, я не претендую на то, чтобы судить, хвалить или даже знать все тонкости китайского языка. Я ничего не могу сказать о правильности классификаций или о составе используемых в нем букв и так далее; в этом мемуаре я хотел говорить лишь о самой основе системы, по которой он, по-видимому, упорядочен - то есть о символической системе или системе репрезентации звуков. И я закончу это рассуждение наблюдением, которое, как мне кажется, оправдывает мое уважение к этой первичной системе письма:

Она не помешала прогрессу наук и искусств у китайцев. Верно, что во многих отношениях они продвинулись меньше нас, но в других они нас превосходят; и если они менее просвещены, то пребывают в этом состоянии гораздо дольше. На протяжении тысяч лет у них есть язык, книгопечатание, книги и мораль. У нас же всё это появилось только вчера. Мы уже не можем читать наши рукописи трехсотлетней давности и не понимаем язык наших отцов. Китайцы практикуют прививки уже восемьсот лет, тогда как у нас тридцать лет назад о них еще не знали, а те же тридцать лет назад наши парламенты их запрещали. У них есть компас, навигация, огромные каналы по всей протяженности империи; всего лишь век прошел с тех пор, как у нас появился Лангедокский канал, который не выдерживает никакого сравнения с их каналами. Их сельскохозяйственные орудия, керамика, лаки - всё это лучше нашего. Я не понимаю, как языковая система, с которой они двигались быстрее нас, не могла бы послужить им для того, чтобы пойти еще дальше; почему, сделав важнейшие открытия, они были бы обречены оставаться на месте? Разве первые шаги в науке не самые трудные? Имеем ли мы больше права утверждать, что китайцы не пойдут дальше, чем имел бы китаец, который четыреста лет назад счел бы нас неспособными сделать и шага вперед?

Я счел эту параллель полезной в то время, когда все умы обращены к совершенствованию средств общения между людьми; когда стенография, пазиграфия и телеграф разделяют внимание грамматиков, логиков и физиков; когда все наперебой трудятся над созданием языка или, по крайней мере, универсальной письменности; когда «язык действий», изобретенный для глухонемых, стал не только дополнением к двум другим языкам, которыми уже пользо-

валось общество, но и превратился в важнейший инструмент анализа. В момент, наконец, когда Институт пожелал узнать о влиянии знаков на идеи и когда само письмо вследствие этого стало предметом его особого усердия в интересах науки.

.

.

Литература, театр и воображение

Предисловие к комедии Церковный староста церкви Сент-Эсташ

Перед вами комедия без вымысла и без предвзятого умысла. Она была найдена в уже готовом виде в истории Франции. Событие, или, вернее, приключение, составляющее основу сюжета, его главные обстоятельства, имена и характеры персонажей - всё это в точности соответствует действительности. В этом можно убедиться, прочитав двенадцатый том «Истории Франции» авторства Велли и Вилларе. В этом труде данное приключение, которое можно назвать фарсовым, вписано в контекст самых ужасающих бедствий монархии и тесно связано с катастрофой, в результате которой Франция получила в правители английского короля.

Трагедия «Франциск II», написанная президентом Эно, и предваряющее её предисловие натолкнули меня на мысль написать эту комедию. В своём предисловии автор сетует на холодность истории. Он предлагает создать новый «Французский театр», который бы представлял в действии все великие события, о которых история лишь кратко повествует. Он намечает несколько остроумных правил для этого нового литературного жанра и сопровождает их весьма примечательным примером - собственной трагедией. Те, кто знает президента Эно только по его «Хронологическому обзору истории Франции» - труду в высшей степени ученому, точному и рассудительному в нашей исторической библиотеке, но при этом чрезвычайно сухому и схематичному, - вряд ли ожидают встретить такое предисловие и такую трагедию о Франциске II.

Вот как автор пришел к идеям, которые столь мало вяжутся с его привычной манерой изложения истории. Он испытывал большие трудности с тем, чтобы уложить в голове и запомнить историю Генриха VI, даже после того, как неоднократно перечитывал её в трудах по истории Англии. *«Король,* - пишет он, - *свергнутый с престола и четырежды на него возвращавшийся в течение нескольких лет; принцы, терпящие поражения один за другим и поочередно становящиеся хозяевами королевства; корона, меняющая владельца каждые полгода, - всё это не просматривается отчетливо в обычном повествовании и лишь с огромным трудом упорядочивается в памяти. Признаюсь, я сотни раз заучивал эти факты и сотни раз их забывал. Я обратился к Шекспиру, желая наглядно представить их себе... Я увидел главных персонажей того времени в действии; они играли передо мной; я узнал их нравы, интересы и страсти, о которых они сами мне поведали. И вдруг, забыв, что читаю трагедию... я вообразил себя рядом с историком и спросил себя: "Почему наша история не написана так же, и как эта мысль никому не пришла в голову?"».*

Автор так отвечает на этот последний вопрос: *«Поэт,* - говорит он, - *стремится создать хорошую трагедию, историк стремится создать хороший исторический труд, а рассматриваемое произведение не было бы ни тем, ни другим... Автор не встал бы в один ряд ни с Корнелем и Расином, ни с Титом Ливием и господином де Ту... История, по правде говоря, поучает нас, но делает это холодно, так как она ограничивается лишь рассказом. И часто она делает это путано, какой бы порядок ни пытался внести в неё историк, потому что она не задерживается достаточно долго на событиях: один факт вытесняет другой, а персонаж исчезает почти сразу после того, как показался. У трагедии же есть противоположный недостаток, столь же значительный для того, кто хочет учиться, и из-за которого, с полным на то основанием, она делает своим первым правилом следующее: изображать лишь одно главное действие и, подобно живописи, запечатлевать лишь один миг. Ведь именно благодаря этому секрету она удерживает всё наше внимание, которое неизбежно остывает, когда воображение рассеивается на несколько различных действий. Таким образом, история, по сравнению с трагедией, беспристрастно рисует длинную и точную последовательность событий; трагедия же, скупая на*

факты в сопоставлении с историей, с огромной силой представляет нам то единственное событие, которое она взялась изобразить. Не может ли из их союза родиться нечто полезное и приятное?».

Именно этого и стремился достичь автор, собрав в прозаической трагедии в пяти актах всё, что характеризует притязания дома Гизов против принцев крови, а также вражду последних к дому Гизов, захватившему государственное управление в годы правления Франциска II - правления, которое, как известно, продлилось всего семнадцать месяцев. Это произведение **написано в духе Шекспира**; оно бросает вызов закону трёх единств; оно смело представляет разнообразие времени, мест и действий. И всё же в нём чувствуется глубокий и неослабевающий интерес, который, возможно, следует приписать искренней любви к общему благу и патриотическому чувству, объединяющему все события вокруг интересов государства. Заканчивая чтение «Франциска II», человек не испытывает того впечатления, которое оставляет классическая трагедия; однако он перестает верить в то, что невозможно (как утверждает автор в своем предисловии) создать достойную историческую трагедию. Читатель испытывает удовлетворение от того, что в его памяти навсегда запечатлелась, а в мыслях ожила великая историческая сцена, оставившая до этого лишь слабые следы.

То, что президент Эно попытался сделать для трагических событий, почему бы не попробовать применить к фактам комическим? Разве история не является смесью одних и других, и разве комическое не встречается в ней так же часто, как ужасное и гнусное? Разве не одинаково полезно извлекать и подчеркивать и то, и другое? Пусть преступления дворов станут уделом трагедии, а их пороки - уделом комедии: тогда театр будет атаковать одновременно и принципы, и последствия. Это возвращает меня к моей теме.

Среди кровавых распрей бургиньонов и арманьяков, которые при Карле VI, лишенном рассудка, оспаривали друг у друга право распоряжаться королевской властью, на мгновение возникла третья сторона: это была партия дофина, предполагаемого наследника короны. Достигнув девятнадцатилетнего возраста, он чувствовал себя оскорблённым тем, что соперничающие фракции отстранили его от государственных дел. Этот юный принц, лишенный талантов и твердости характера, был, согласно хронике, напыщенным, ленивым, малодушным, бесполезным и трусливым.

Напротив, лидеры двух противоборствующих сторон были людьми выдающимися. Герцог Бургундский, Иоанн Бесстрашный, тесть дофина, могущественный благодаря обширности своих владений, своим союзам, а прежде всего своим талантам и воле, был принцем-воином и государственным деятелем. Глава партии Орлеанов, граф д'Арманьяк, тесть герцога Орлеанского и зять герцога Беррийского, происходивший от предков, чьи корни уходили к истокам монархии, был одержим всем тем честолюбием, которое в то время еще могло быть естественным для потомка Хлодвига. Он также был человеком талантливым и волевым. Он искусно вел дела и был человеком военным.

Главное различие, отличавшее двух соперников, состояло в том, что герцог Бургундский сделал себя защитником народа, а граф д'Арманьяк - защитником вельмож и знати. Известно, что оба они пали от рук противоборствующей стороны: граф д'Арманьяк был растерзан народом в тюрьме; а герцог Бургундский был убит в присутствии дофина одним из его офицеров в результате засады. Однако этот финал произошел позже событий, о которых здесь идет речь. Оба принца и их сторонники в равной степени презирали дофина. В критические моменты каждый из них считал полезным воспользоваться против соперника тем влиянием, которое статус наследника престола мог дать молодому принцу в глазах людей благоразумных и преданных монархическим принципам. Однако его ни во что не ставили и отодвигали на задний план, как только получали ту выгоду, которую рассчитывали извлечь из его поддержки. Устав, наконец, видеть, как королевская власть целиком переходит из рук одной группировки в руки другой, дофин решил, что настала его очередь взять её в свои руки. С помощью нескольких друзей того же склада характера, что и он сам, пользуясь поддержкой народа - скорее как зять герцога Бургундского, нежели как наследник трона, - он приступил к реализации плана, о котором Вилларе сообщает следующее:

«Исполнение было запланировано на канун Сретения в этом году (1414)... По звону колокола церкви Святого Евстафия квартал Ле-Аль должен был подняться: заговорщики намеревались отправиться в Лувр, поставить дофина во главе, захватить важнейшие посты, изгнать сторонников Орлеана и перебить тех, кто окажет сопротивление. Герцоги Орлеанский и Бурбонский узнали об этом вовремя, чтобы принять меры. Старосте церкви Святого Евстафия приказали запереть колокольню и не допустить подачи сигнала; они захватили Лувр, где был заперт дофин, и расставили караулы во всех подозрительных местах. Главари заговора, среди которых было несколько придворных дофина, были арестованы в своих постелях; и едва наступил рассвет, как всё было подавлено.[250]

Через несколько дней после этой операции дофин уехал в сопровождении всего восьми человек и отправился в Бурж, откуда прибыл в Мен-сюр-Йевр, который ему отдал герцог Беррийский. Граф де Вертю и граф де Ришмон,[251] *догнав его, убедили вернуться. Королева, герцоги Беррийский и Орлеанский написали ему письма. Молодой принц, по-прежнему твердый в своем намерении сбросить иго, прибег к хитрости, чтобы добиться своего. Он объявил день, когда прибудет в Корбей, пригласив свою мать-королеву и принцев приехать туда; и пока весь двор его ждал, он форсированным маршем двинулся на Париж, приказав по пути поднять мост Шарантон, прибыл в Лувр в пять часов вечера и немедленно велел закрыть все городские ворота. Став хозяином столицы, он отправил принцам приказ удалиться в свои земли; одному лишь герцогу Беррийскому было позволено вернуться.*[252]

Дофин, благодаря этому властному шагу став хозяином столицы, получил возможность проявить свой надменный характер, нерешительность, склонность к легкомыслию, расточительности и беспорядочному образу жизни. Окруженный придворными - подлыми развратителями его юности, - он расточал на них сокровища королевства, которых всё равно не хватало на их жадность. В конце концов он вызвал всеобщее осуждение, удалив в Сен-Жермен молодую

---

250 *Трактат о милосердии и самолюбии.*

251 Воображение - это способность воспроизводить живой и четкий образ. Подражание - это способность приводить образ в действие. Образ снова в действии (лат. Imago iterum in actu).

252 Камберленд в своем «Трактате о естественных законах», гл. II, «О природе человека и здравом смысле», высказывается следующим образом: «Полезно, однако, обратить внимание на две части человеческого тела, весьма значительные, которые делают человека более приспособленным к мирному и доброму обществу. Эти части - лицо и руки».

«Что касается лица, Цицерон заметил, что его невозможно найти в подобном виде ни у какого другого животного, потому что нет ни одного из них, на чьей морде можно было бы заметить когда-либо столько признаков мыслей и страстей (1), что чрезвычайно полезно для формирования и поддержания человеческого общества, и они не приносили бы никакой пользы, живи каждый человек сам по себе. Мы все понимаем, что это за знаки, хотя едва ли можем детально их описать. Вот те, что легче всего заметить: это когда краснеют от стыда за что-либо или, наоборот, бледнеют от страха или гнева. Эти два признака становятся явно заметны благодаря тому, что кожа на нашем лице прозрачна, и сквозь неё легко увидеть избыток или недостаток крови, а также её различные движения. Именно этой прозрачности кожных покровов, которой нет ни у одного другого животного, в значительной степени обязана своим происхождением необычайная красота, сияющая на человеческом лице; она во многом способствует возникновению доброжелательности между людьми. По этой причине нельзя было забывать о включении сюда столь важного преимущества. Действительно, в этом проявляется гармоничное сочетание яркого цвета крови с цветом кожи, и в этом можно наблюдать все те разнообразные движения, которыми кровь волнуется в зависимости от разнообразия страстей - зрелище, доставляющее немало удовольствия. Также именно на лице отражаются смех и слезы - два других признака страстей, которые весьма полезны: одни - чтобы придать вкус радостям жизни в обществе, другие - чтобы обезоружить ярость разгневанного человека. Существует бесконечное множество и других признаков, которые проявляются на лице, и т. д.»

(1) Это из его «Трактата о законах»: «И то, что называют лицом (vultus), чего нет ни у одного живого существа, кроме человека...» (Цицерон, Книга 1, глава 9). - Можно также посмотреть Комментарий Тюрнеба и Заметку господина Дэвиса. Добавим то, что говорит Плиний: «Только у человека лицо (у остальных - морды или клювы). Лоб и глаза, а также... у остальных, но только у человека лицо является показателем печали, радости, милосердия, суровости и т. д.». (Естественная история, Книга XI, глава 37, примечание Ардуэна).

дофину, принцессу столь же любезную, сколь и добродетельную, чтобы с меньшим стеснением предаться новым увлечениям»[253]. И он был вынужден терпеливо выслушивать на открытой аудиенции депутатов от герцога Бургундского, своего тестя, которые явились потребовать от имени герцога, чтобы он жил со своей женой и удалил из своего окружения некую подругу, которую он держал вместо своей законной супруги.

Таковы подробности, которые сообщает Вилларе по поводу этого события, которое на мгновение отвлекло от войны бургиньонов и арманьяков. Дофин умер вскоре после этого, 15 декабря 1415 года; о нем мало кто жалел, и, как замечает Вилларе, он едва ли заслуживал сожаления.[254] Какая же это анархия, когда нация, мечущаяся между партиями и в равной степени страдающая от каждой из них, становится безразличной ко всем; когда верховная власть, переходя из рук в руки, словно челнок в ткацком станке, может быть так же легко украдена или получена с помощью ловкого трюка фокусника!

Хитрость дофина, направленная на захват власти и отстранение тех, кто отказывался в этом участвовать, составляет сюжет пьесы. Её героем является церковный староста храма Сент-Эсташ, который накануне Сретения пообещал забить в набат в полночь в поддержку господина дофина, но так и не сделал этого, а на следующий день в полдень, вероятно, велел звонить в колокола и петь «Te Deum» в благодарность за разоблачение, совершенное герцогом Орлеанским.

В исторические факты я внес лишь одно незначительное изменение: вместо того чтобы отправить дофина в Мён-сюр-Йевр и затем вернуть его в Париж, я предположил - ради сохранения единства места, - что он лишь притворился, будто уезжает в Берри. По моей версии, он отправил вместо себя доверенное лицо, а сам заперся в Лувре, в отдаленных покоях, велев распространить слух о своем отъезде; оттуда же, из Лувра, он написал письмо о созыве собрания в Корбее, пометив его самим Корбеем.

---

[253] Бюффон не признает подражания у животных, он не допускает его даже у обезьяны. Человек, - говорит он, - может подражать обезьяне, но обезьяна не может подражать человеку, потому что подражание предполагает намерение подражать, а подражание существует только благодаря разуму, и обезьяна неспособна постичь намерение подражать. Обезьяна может двигаться так же, как человек, потому что она обладает очень похожим телосложением; в конечном счете, - говорит Бюффон, - между ними существует равенство, а не подражание. Верно ли, что животные, и обезьяна в частности, не могут постичь намерение подражать?

«Господа де Ла Кондамин и Бугер видели, как прирученные обезьяны подражали их действиям, когда те проводили наблюдения для измерения земли. Подобно этим академикам, обезьяны ставили сигнальные знаки, смотрели на светила через телескоп, бегали к маятнику, брали перо для письма и повторяли все жесты этих ученых астрономов». (V. ОБЕЗЬЯНА, Dictionnaire d'Histoire naturelle, 1809). На первый взгляд этот рассказ, казалось бы, подтверждает мнение Бюффона; без сомнения, когда эти обезьяны имитировали или копировали внешние действия астрономов, они были лишены их намерений и их средств рассуждения; они воспроизводили их физические движения и не имитировали их операцию.

Но можно ли из этого заключить, что они были неспособны подражать и что они делали это совершенно без намерения, просто «обезьянничая» с астрономов? Они подражали из любопытства, желая узнать, какие преимущества или удовольствия были связаны с внешними действиями академиков.

Многие попытки подражания, предпринимаемые ребенком, имеют неопределенный, неизвестный результат; тем не менее они являются разумными актами. Первый удар клювом, который птица, вылетевшая из гнезда, нанесла в землю, был сделан по примеру её матери; этот первый удар клювом позволил подобрать лишь гравий; второй раз она подобрала зерно, и с этого момента птица научилась добывать себе пищу. Маленькая девочка, которая видит, как её мать шьет, хочет тоже шить по примеру матери: мать дает ей иголку и нитку; ребенок продевает её туда и обратно в какую-нибудь ткань. Она не подражает матери в способе изготовления рубашки, но она подражает акту шитья, который позже применится к работам, намерение которых у неё появится. Инстинкт подсказывает ей всегда подражать, ожидая возникновения потребности. Потребность - это инстинкт, который возбуждает любопытство, еще одну потребность.

[254] Подражание - это образ или идея действия, само претворенное в действие; это повторение того, что совершил другой.

Я ввел в пьесу знаменитую Изабеллу Баварскую, жену Карла VI и мать дофина, королеву, преступную жену и еще более преступную мать,[255] которая приводила в постель несчастного Карла VI блудниц, из-за чего его рассудок и здоровье окончательно и безвозвратно угасли.[256] Она открыто жила с герцогом Орлеанским, своим деверем, и вместе с ним участвовала в угнении и разорении народа.[257] После того как этот принц был убит по приказу Жана Бесстрашного, герцога Бургундского, она предалась самому беспорядочному образу жизни: подыскивала любовниц для своих сыновей, любовников для дам своего двора и сама выбирала фаворитов почти без разбора среди тех, кого привлекала распущенность её двора. В 1414 году, в возрасте сорока пяти лет, её фаворитом был сеньор де Буа-Бурдон (или Бурдон), её главный распорядитель, которому не исполнилось и двадцати пяти. Наконец, именно она предала Францию англичанам - в том же 1414 году, по мнению одних, или в 1416 году, по мнению других; торжественный договор, заключенный в Труа, датируется 1419 годом.

Известно, что именно любовь королевы к Буа-Бурдону толкнула её на это тяжкое преступление. Примерно через два года после 1414 года коннетабль д'Арманьяк, ставший всемогущим, но опасавшийся влияния Изабеллы, открыл королю её связь с Буа-Бурдоном. Разгневанный Карл велел бросить фаворита в Сену, зашив его в кожаный мешок, на котором было написано: «Да свершится правосудие короля». Королеву сослали в Бурж и фактически посадили под замок. К тому времени дофина, действовавшего в 1414 году, уже не было в живых; его младший брат, будущий Карл VII, поддержал суровость отца или, вернее, графа д'Арманьяка. Изабелла прониклась к обоим непримиримой ненавистью. Решив любой ценой отомстить, она обратилась за помощью к герцогу Бургундскому - убийце её первого любовника, и тот освободил её. В то время король Англии продвигался вглубь Нижней Нормандии; Байё, Аржантан, Л'Эгль и Алансон уже принадлежали ему.

Вся Франция, разоренная бандитами, была лишь сплошной раной. Герцог Бургундский внезапно захватывает Париж; его войска, поддерживаемые чернью, вытаскивают из постелей канцлера, министров, высших чиновников и лидеров партии Арманьяков; арестовывают даже самого коннетабля. *«Спустя несколько дней,* - пишет автор, - *народ, впавший в ярость и подстрекаемый королевой, берется за оружие, бежит к тюрьмам, где содержалось множество высокопоставленных узников, берет их штурмом, убивает тюремщиков и стражу, заставляет заключенных выходить по одному и расправляется с ними прямо на выходе»* (Не кажется ли, что

---

[255] Вещь должна быть либо *полезной*, либо *бесполезной*, либо хуже, чем бесполезной - то есть пустяковой или противоположной пользе. Какое из этих трех качеств вы припишете правосудию, справедливости, уместности или приличию? Вы можете приписать им только первое; следовательно, вы не можете противопоставлять их пользе.

[256] *(Примечание г-на Редерера.)* Фраза «Мне больно в вашей груди» означает ли: «Моя грудь страдает от плохого состояния вашей»? Или же: «Моя душа затронута страданием, которое я предполагаю в вашей груди»? - Ответ: Она хочет сказать и то, и другое. Сказать «Мне больно» - значит сказать что-то реальное, иначе это не было бы болью. Чтобы боль была реальной, нужно, чтобы идея воздействовала на грудь или вызывала общее недомогание, которое является результатом сильной локальной боли. Она может воздействовать на грудь точно так же, как мысль или вид удара, который вот-вот обрушится на руку другого человека, заставляет нас отдернуть свою руку, как если бы она сама могла получить подобный удар. Она может действовать как плохая новость, вызывающая конвульсивное волнение. - Таким образом, я заключаю, что выражение «мне больно в вашей груди» не метафорическое, а истинное. Оно означает: «Моя грудь страдает от мысли, которую я составляю о состоянии вашей груди, но из-за живого и глубокого представления об остром и серьезном страдании». Ваше страдание не представляется мне как страдание незнакомки, безразличного человека или того, кого я любил бы меньше (как, например, зубная боль, не имеющая последствий, даже если ее испытывает подруга или даже вы сами); это боль, которая поражает орган, необходимый для жизни, и которая редко остается без последствий; это боль моей дорогой дочери, такой красивой, такой остроумной, такой любезной, к которой я чувствую столько нежной дружбы!

[257] **(Примечание редактора.)** Здесь заканчивается четвертая глава «Аналитического резюме», над переводом которой работал мой отец, основываясь на переводе мадам де Кондорсе, как я уже объяснял, чтобы составить тот «Отрывок», который я здесь представляю. В этом «Отрывке» указание номеров страниц относится к изданию, опубликованному в VI году республики (1798), в формате in-8°.

события 2 и 3 сентября были лишь повторением этой бойни?). *«Арманьяки, бургундцы, преступники, должники - всех приносили в жертву без различия возраста и пола. Коннетабль, канцлер, семь епископов, вельможи, члены парламента и множество простых граждан, запертых в этих мрачных стенах, были лишены жизни и выставлены на обозрение обезумевшей толпе. Тела коннетабля, канцлера и его сына, епископа Кутанса, три дня таскали по улицам, превратив их в забаву для черни»*. Мы видели подобные ужасы и раньше, но вот обстоятельство, которого нет в тех бедах, о которых мы сокрушаемся сегодня. *«Становится стыдно,* - продолжает Вилларе, *- называться человеком вместе с подобными монстрами. Не менее позорно для нашей знати то, что Люксембург, Фоссёз, Лиль-Адам, де Бар, Шеврёз, Шателен и другие бургундские вожди во главе с двумя тысячами воинов присутствовали при этих кровавых расправах и, казалось, даже поощряли их, говоря: „Дети мои, вы всё делаете правильно". ВСЕ ОНИ ОБОГАТИЛИСЬ, и современники-историки утверждают,*[258] *что не было ни одного предводителя, которому этот переворот не принес бы более ста тысяч экю»*.

Через несколько дней Изабелла торжественно вступила в Париж. На следующий год дофин предлагает герцогу Бургундскому примирение; оба принца встречаются в Монтеро. Во время их переговоров Танги Дюшатель на глазах у дофина убивает герцога Бургундского. Тогда Изабелла вступает в переговоры с Генрихом V в Аррасе; в 1419 году в Труа она заключает окончательный мирный договор; она лишает сына наследства, объявляет его изгнанником, и Франция оказывается в руках англичан.

Нужно ли говорить, что после договора в Труа все отворачиваются от Изабеллы и у нее не остается ни одного сторонника? Чужеземцы, которым от нее больше нечего ждать, вскоре сменяют пренебрежение на презрение, а презрение - на открытые оскорбления; каждый день приносит новые унижения. В течение пятнадцати лет она влачит жалкое существование в одиночестве и нищете. Аррасский мир, объединивший в 1435 году Бургундский и Французский дома, заставляет ее предчувствовать возвращение к власти сына, которого она изгнала; она умирает от страха через десять дней после подписания договора в Аррасе. Англичане, неблагодарные и дерзкие, велели положить ее гроб в маленькую лодку, которая доставила ее в Сен-Дени в сопровождении всего четырех человек. Чтобы оправдать столь неподобающую церемонию, они сослались на небезопасность сухопутных дорог. Таков был конец Изабеллы. *«Обремененная презрением и ненавистью своих современников, она и в могиле не нашла спасения от негодования потомков. Прошло почти четыреста лет с ее смерти, но до сих пор нет ни одного француза, который мог бы без содрогания слышать роковое имя Изабеллы Баварской»*.[259]

Особа, к которой дофин питал дружеские чувства и чьего изгнания герцог Бургундский потребовал в 1414 году, была одной из фрейлин королевы.[260] Жювеналь дез Урсен пишет о ней так: *«Была в доме королевы одна очень красивая девица, дочь мессира Гийома Кассинеля, которую в просторечии называли Кассинель. Если она и была красива, то также была очень добра и*

---

[258] Во введении ко II разделу Смит говорит, по существу, следующее:
«Степень посредственности (или, говоря современным языком, интенсивность страстей), которую мы считаем уместной, варьируется в зависимости от характера страстей. Есть такие страсти, которые неприлично выражать бурно; и есть такие, самое сильное выражение которых не вызывает неприязни. Это зависит от того, насколько мы им сочувствуем; а сочувствовать им больше или меньше для нас естественно в силу нашей склонности к сопереживанию».
Наблюдение. Не более ли вероятно, что мы сочувствуем им в большей или меньшей степени в зависимости от того, являются ли они благотворными или вредными?

[259] Наблюдение. Нельзя ли выразиться предельно точно, сказав, что наше сочувствие передается не от тела к телу, а от мозга к мозгу, или же это не ощущения, подобные телесным, а впечатления мозга, передаваемые мозгу? Возможно, соответствие или антипатия мозгов еще не были достаточно изучены. Мозг - это орган, имеющий свои боли и свои радости. Я объяснял это в другом месте.

[260] Примечание. Наше сочувствие страданию получило название «сострадание»; это слово очень употребительно. Слово «сопричастность к радости» (*congratulation*), выражающее симпатию к чужому счастью, не используется вовсе или используется крайне редко; слово «соучастие» (*complaisance*) в смысле разделенного удовольствия - тем более.

славилась этим; о ней говорили, что вышеупомянутый господин дофин был в нее страстно влюблен».

Тот же Жювеналь дез Юрсен сообщает, что во время похода, предпринятого в начале 1414 года против герцога Бургундского - похода, в котором король и дофин участвовали лично,[261] - *«господин дофин выглядел весьма изящно и имел прекрасное знамя, полностью расшитое золотом, на котором были изображены буква K, лебедь и буква L, чтобы выразить имя Кассинель»*.

Девица де Кассинель показалась мне персонажем, необходимым для того, чтобы придать пьесе ту долю нежного интереса, без которого наш театр не может обойтись. И она, безусловно, не была чужда ни придворной политике, ни хитрости дофина. Вилларе, говоря о знамени, описанном Жювеналем дез Юрсеном, замечает: *«Возможно, дофин, столь открыто выставляя напоказ охлаждение к прелестям дофины, вызванное этой страстью на стороне, имел намерение уязвить герцога Бургундского»*.[262] Можно также предположить, что королева поощряла эту связь, чтобы поддерживать разлад своего сына с герцогом Бургундским, который приказал убить Людовика Орлеанского, ее первого любовника, и которого она ненавидела.

Похоже, граф д'Арманьяк вовсе не находился в Париже в то время, когда дофин так легко и с таким полным успехом распоряжался при дворе. Достоверно известно, что управление финансами, должность коннетабля, руководство всеми цитаделями и крепостями были переданы ему лишь спустя несколько месяцев и после битвы при Азенкуре.[263] Но поскольку он возглавлял фракцию Орлеанов с 1410 года - времени, когда он выдал свою дочь за герцога Орлеанского; поскольку он дал свое имя этой группировке; поскольку его влияние или, скорее, авторитет были таковы в 1414 году, что в начале этого года, когда король лично выступил во главе стотысячного войска против герцога Бургундского, принцы, сеньоры, офицеры и солдаты - все надели шарфы цветов Арманьяков;[264] мне показалось уместным вывести на сцену эту великую личность и на несколько месяцев опередить то время, когда его титулы и полномочия официально подтвердили его личную власть.

История так и не пожелала раскрыть истинный замысел, которым руководствовался граф д'Арманьяк; кажется, он скрывал свои намерения из опасения обнаружить права, которые, впрочем, уже тогда были почти того же рода, какими обладал бы потомок Цезаря на Галлию.

«Короля и герцога Гиеньского (дофина) убедили, - пишет Вилларе, - *что целью Арманьяков была передача скипетра герцогу Орлеанскому; утверждали даже, что этот принц отправился в Сен-Дени, чтобы там короноваться»*.[265] Вилларе относит это мнение к 1411 году - периоду, когда король, объединившись с герцогом Бургундским против Арманьяков, вел с ними беспощадная войну. Тем не менее, герцогу Орлеанскому тогда было всего шестнадцать лет; по своему характеру он не был склонен к амбициям и выказывал рвение лишь в стремлении отомстить за своего отца герцогу Бургундскому, его убийце.

Граф д'Арманьяк, напротив, был в самом расцвете сил, ему было от тридцати семи до тридцати восьми лет. Могущественный благодаря своим владениям, потомок Хлодвига, он кичился большей гордостью, чем принцы правящего дома. Когда его тесть и зять объявляли себя вассалами Англии, чтобы получить от нее помощь против герцога Бургундского (в 1412 году), он подписывал свои договоры под именем Бернара, милостью Божьей графа д'Арманьяка.[266] С чего бы он захотел видеть королем своего зятя, который объявил себя вассалом английского короля, если сам не желал признавать над собой такую власть даже в своем графстве Арманьяк? Он захватил власть скорее как завоеватель, чем как узурпатор. В 1416 году он был скорее

---

[261] Примечание. Первые из этих качеств проистекают из их соответствия своим причинам или объектам; их заслуга или порочность проистекают из их последствий.

[262] Примечание. Инстинкта недостаточно, чтобы создать необходимый и священный закон. Социальные законы созданы для того, чтобы регулировать инстинкты.

[263] Примечание. Причина этого явления заключается в том, что люди боятся отмены похвал, полученных хитростью и незаслуженно.

[264] *Примечание.* Этот отрывок сводит совесть к знанию нашего интереса.

[265] *Примечание.* Но откуда берется эта любовь вне системы симпатий, которая до сих пор все объясняла?

[266] *Примечание.* Разум, интерес и симпатия - всё это может привести к подобному выводу.

королем, чем первым министром и коннетаблем. Какую гордость и силу должен был иметь человек в звании коннетабля, генерал-губернатора крепостей и суперинтенданта финансов, который, будучи еще лишь вторым по старшинству командиром французской армии, заставил её носить свои цвета!

Если в этих обстоятельствах, и в сотне других, о которых сообщает история, не просматриваются отчетливо амбиции потомка Хлодвига, то достаточно будет взглянуть на унижение всего двора, некомпетентность и дурное поведение трех дофинов, сменивших друг друга менее чем за год, разврат и коварство королевы, состояние короля, чье безумие перерастало в слабоумие, и покорность всей знати перед лицом английского господства, которое наступало стремительными шагами и внушало ужас французскому народу. Достаточно, повторюсь, обратить взор на это зрелище, чтобы более не сомневаться в существовании плана, исполнение которого было бы столь легким, а успех - столь вероятным, если бы коннетабль не совершил ошибку, позволив застать Париж врасплох и дав себя там арестовать.

Шарль, герцог Орлеанский, зять графа д'Арманьяка, приходился дофину двоюродным братом; они были сверстниками - обоим по девятнадцать лет. Он был сыном Людовика Орлеанского, убитого 24 ноября 1407 года по приказу герцога Бургундского, его двоюродного брата. Шарль стал отцом Людовика XII. В 1415 году англичане взяли его в плен в битве при Азенкуре. Он провел в Англии двадцать пять лет. Он умер в Париже в 1465 году в возрасте семидесяти четырех лет. Он любил литературу и занимался ею. Его называли восстановителем французской поэзии. Сохранилось несколько его стихотворений, не лишенных нежности и изящества.

Герцог Бурбонский, фигурирующий в пьесе, - это Жан, сын Людовика, прозванного Добрым; именно он ответил одному доносчику: *«Вы отметили в своей памяти все проступки, которые они совершили, но вели ли вы учет услугам, которые они мне оказали?»*. Жан был дядей дофина; в 1414 году ему было от сорока пяти до пятидесяти лет.

О герцоге Беррийском, двоюродном деде дофина, можно сказать немногое. В 1414 году он был уже очень стар, имел мало влияния и никогда не играл значительной роли. *«Амбиции,* - говорит Вилларе, - *лень, расточительность и жадность поочередно владели этим непостоянным принцем»*. Ле Лабурёр отзывается о нем еще менее почтенно: *«Жестокий и притворно набожный,* - говорит он, - *он выжимал все соки из множества провинций, чтобы украшать дворцы, строить церкви, покупать реликвии, создавать благотворительные фонды»*. Он разорил государство и умер в нищете. Он передал дофину поместье Мен-сюр-Йевр в провинции Берри, и юный принц, по-видимому, очень его полюбил.

Вот то, что я хотел сказать о сути и главных героях этой пьесы. Ни её события, ни выдающиеся личности не имеют отношения к кому-либо из наших современников. Я тщательно избегал всего, что могло бы дать повод для предосудительных аллюзий или досадных сопоставлений.

Один лишь персонаж церковного старосты святого Евстафия наделен чертами, которые могут показаться заимствованными из современности и заставить вспомнить о некоторых нынешних интриганах. Однако прежде всего я отмечу, что эти черты подтверждены историей. Действительно, в самом повествовании, послужившем основой для сюжета пьесы, староста показан готовым бить в набат в полночь в поддержку дофина, а затем герцог Орлеанский отговаривает его от этой затеи. Разве мы не читаем там же, что в церквях, и особенно в церкви Святого Евстафия, святых поочередно облачали то в цвета Бургундии, то в цвета Арманьяка? Разве мы не находим свидетельств, что в 1411 году священники у алтарей носили красный шарф и Андреевский крест - символ бургундской фракции, и что ими же были украшены изображения святых?[267] А затем, в 1414 году, на смену бургундскому кресту пришел арманьякский шарф (который был белым), и святые стали «носить» его? Известно также, что одного человека

[267] Начиная с этого места автор поочередно цитирует перевод Блаве и перевод мадам де Кондорсе.

изгнали и отрубили ему руку за то, что он снял этот шарф со статуи святого Евстафия.[268] Очевидно, что староста этой церкви руководил всеми подобными сменами декораций и облачений.

Я мог бы добавить, что во все времена раздоров и анархии существовали люди, которые, как говорится, «служат и вашим и нашим» или «лавируют между двумя течениями». В этом отношении настоящее время - лишь повторение прошлого; возможно, именно поэтому картина прошлого, если она правдива, кажется копией настоящего.

Но, не утруждая себя оправданием этого персонажа, скажу лишь, что комизм, в который он облечен, можно применить к такому множеству людей, что не найдется ни одного человека, который узнал бы в нем себя, зато каждый узнает в нем десятка два своих знакомых. Таким образом, никто не обидится, а многие, надеюсь, посмеются. Впрочем, все церковные старосты мира и всех времен были мишенью для забавы почтенных людей, которые любят иронизировать над излишней серьезностью, проявляемой в простых и малозначимых делах, и над важностью, придаваемой приходским почестям. Подобная серьезность и важность - признанные признаки педантизма.

Господин Кокле, приняв Менехма за его брата, кавалера Менехма, требует от него оплаты долга по счету. Менехм отвечает ему:

Вы старый дурак.

Господин Кокле гордо возражает:

Я торговец подержанным платьем. Мое имя - Кокле, я синдик и ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА.

Спор продолжается. Менехм хочет отрезать господину Кокле нос. Однако Валентин, его слуга, останавливает его, говоря:

Оставьте его; что вам проку, сударь, в носу ЦЕРКОВНОГО СТАРОСТЫ?

Эти четыре строки довольно точно показывают, какого мнения церковный староста о самом себе и какого мнения о нем окружающие. В остальном, касательно характера, которым я наделил мэтра Лабюра, я сделаю два замечания, на которые прошу обратить внимание.

Во-первых, у него нет ничего общего с теми мягкими, слабыми и робкими натурами, которых власть в дурном расположении духа, как это всегда бывает во времена революции, заставляют трепетать; и которые, подобно летучей мыши Лафонтена, говорят ласке, *враждебной мышам*:

«Я - мышь!..
Я птица; взгляните на мои крылья:
Да здравствует племя, парящее в небесах!»

а затем другой ласке, *враждебной птицам*:

«Я мышь; да здравствуют крысы!
Пусть Юпитер погубит котов».

Эти перемены, безобидные для власти, являются невинным и законным средством защиты от её злоупотреблений, и Лафонтен ничуть не колеблется называть мудрым того, кто к ним прибегает.

Мудрец говорит, смотря по людям:
«Да здравствует король! Да здравствует Лига!»

Слово «мудрый» понимается здесь не в абсолютном смысле: оно означает «осторожный». Но осторожность и есть мудрость слабого.

Во-вторых, я заявляю, что характер господина Лаюра не имеет ничего общего и с характером тех добрых и мирных жителей монархических стран, которые, держась в стороне и

[268] Блаве.

ограничиваясь кругом своей семьи во время политических бурь, всегда покорны власти, стоящей во главе правительства, не осведомляясь о том, на чём основаны её права; которые считают себя обязанными лично и частью своих доходов тому, кто, кем бы он ни был, защищает людей и собственность; которые с непоколебимой верой принимают легитимность того, кто правит сейчас, и говорят со всей искренностью и простотой Церкви, что нужно отдавать кесарю кесарево, не требуя предъявить его родословную.[269]

Эти люди, к счастью, составляют основу монархических наций, без чего смена правителей могла бы стать, и неизбежно стала бы, причиной потрясений и уничтожения народов.

Разумеется, я вовсе не хотел в лице господина Лаюра высмеять те нравы, что сохраняют общественный порядок среди придворных переворотов; я имел в виду тех людей, которые выходят на передний план в смутные времена; которые всегда спешат на помощь сильнейшему; которые первыми приветствуют победившую партию и домогаются её милостей; которые, пользуясь её благодеяниями, уже помышляют о том, как подготовить себе оправдания перед противником, и являются к нему с этими доказательствами в руках в тот самый день, когда тот берет реванш; которые, таким образом, оказываются первыми и наиболее устроенными при самых противоположных режимах, неизменно оставаясь в фаворе после политических потрясений, повлекших за собой величайшие бедствия и руины.

Я спрашиваю: есть ли в морали хоть одно наставление, в политике - закон, в правилах приличия - норма, которые запрещали бы хоть на мгновение посмеяться над подобного рода подлым делячеством, которое, несмотря на свои успехи, никогда не может вызвать столько же зависти, сколько презрения?

Впрочем, я изобразил господина Лаюра лишь глупцом, движимым скорее инстинктом тщеславия, нежели корыстным расчётом. Если бы я захотел и смог наделить его чуть большим умом и соединить это с наглостью, глубокой испорченностью и эгоизмом, свободным от всяких привязанностей и ограничений, я бы сделал из него персонажа одиозного, который, в конечном счете и вопреки всем своим талантам, был бы лишь ослом Лафонтена. Этот осел одинаково ненавидит хозяина, которому служит, того, кому служил прежде, и того, кому будет служить впредь. Он подставляет спину под вьючное седло новоприбывшего господина лишь для того, чтобы всегда иметь доступ к кормушке. А уходящий хозяин, покидающий конюшню, дождется от него только удара копытом. Если он на лугу, полном сочной травы и цветов, его не беспокоит ни приближающийся враг, ни хозяин, который убегает и зовет его за собой.

— Бежим! - говорит тогда старик.
— Зачем? - отвечает гуляка.
.....
— Спасайтесь сами, а мне дайте пастись.
Наш враг - это наш хозяин».

Этот осел - дурной субъект, чьи слова могли бы стать уроком доброты для жестоких господ, если бы его пример не был уроком неблагодарности для слуг, с которыми обращаются лучше всего. Небеса уберегли меня от искушения представить мою пьесу театральной дирекции; и все же, если бы когда-нибудь случилось так, что французский театр пережил бы период творческого бесплодия и однажды оказался бы лишен новинок, я не был бы против увидеть её постановку. Я не терял бы надежды удостоиться столь высокой чести, если бы актеры и актрисы, которым могли достаться роли, имели четкое представление о костюмах того времени.

Доктор Бурдуа владеет в своей прекрасной коллекции картиной, на которой собраны все персонажи моей пьесы, кроме старосты прихода святого Евстафия. Там можно увидеть придворные наряды времен Карла VI в точности такими, какими их описывают историки той

[269] Блаве, т. III, с. 72.

эпохи, и даже с одной дополнительной деталью, о которой они умалчивают.[270] Лежандр и Вилларе говорят нам, что знатные господа, так же как и дамы, имели обыкновение носить изображения своих гербов на одежде.[271]

Что касается женских головных уборов, вот как их описывает Жювеналь дез Юрсен: *«Какие бы ни шли войны,* - говорит он, - *какие бы ни случались бури и невзгоды, дамы и девицы вели пышный и расточительный образ жизни, нося удивительные рога, высокие и длинные; по обе стороны головы, вместо валиков, у них были два огромных уха, настолько широких, что, когда они хотели пройти в дверь комнаты, им приходилось поворачиваться боком и пригибаться, иначе они не смогли бы войти»*.

Нет, я не был бы раздосадован тем, чтобы в это благословенное время всеобщего возрождения,[272] когда вкус возрождается наряду со многими другими отличительными качествами французской нации, увидеть на французской сцене старинную элегантность наших отцов и матерей и, прежде всего, эти выставленные напоказ «большие уши», в ожидании чего-то лучшего.

Возможно, за этим кроется и другой мотив. Я убежден, что комедия, в основу которой положено событие времен правления Карла VI, могла бы побудить людей, имеющих хотя бы начальные знания по истории, перечитать летописи той несчастной эпохи. Нет периода более богатого важными уроками, которые распределены поровну между самыми противоборствующими сторонами внутри страны, между французами и иностранцами, между победителем и побежденным.

Истинно французские души увидят в ней с болью, но, возможно, не без пользы, ошибки и преступления, которые привели к господству англичан во Франции. Английская мудрость также увидит в этом, как это господство исчезло, и сравнит количество солдат, вошедших на нашу территорию как завоеватели, с числом тех солдат, которые вернулись к себе на родину беглецами или в силу условий капитуляции.

Предисловие к пьесе Бич наших отцов, или Воспитание Людовика XII

Изучая в истории королей Франции историю самого народа, я обнаружил, что в конце пятнадцатого и начале шестнадцатого веков то, что мы называем *французской революцией*, уже свершилось; что свобода опиралась на свободную конституцию и что Людовик XII, «Отец народа», утвердил эту конституцию. Титул «Отец народа» предстал тогда перед моим внутренним взором в новом свете и, если можно так выразиться, внезапно засиял ослепительным блеском. Я был вовлечен в глубокое исследование правления, которое, как мне показалось, было либо недопонято историками, либо намеренно представлено в ложном свете. В ходе своих изысканий я вскоре узнал, что вельможи называли между собой «королем-плебеем» и

---

[270] Мадам де Кондорсе, страницы 359-362.

[271] Блаве, т. II, с. 80.

[272] **Неожиданном**. Это слово Смита раскрывает принцип действия, о котором он не упоминает: это сила удивления, сила первого мгновения и, если можно так выразиться, того удара, который получает душа при первом ощущении или первом впечатлении от поступка, достойного уважения. Каждый испытывал, что в первый миг этого впечатления душа способна на действия, которых она не пожелала бы или не совершила бы позже; что впечатление в первый момент гораздо живее, чем потом, и оно неизменно ослабевает, так что человек холодно возвращается к воспоминанию о факте, который вызвал живой восторг, когда он только узнал о нем. Если существует сила первого мгновения, то существует и сила последнего; есть вещи, которые человек никогда бы не сделал, если бы не наступил последний момент для их совершения.

«королем-простолюдином» того самого принца, которого народ называл своим отцом;[273] и когда я увидел, что ненависть знати обрушилась на правителя, бывшего предметом народной любви, мне стало очевидно: титул «Отец народа» означал «Мужественный и просвещенный защитник революции», которая восстановила нацию в ее правах вопреки воле класса могущественных людей, угнетавших ее. Тогда у меня возникло честолюбивое желание написать историю правления Людовика XII. Однако вскоре, опасаясь не справиться с масштабом его имени и памяти о нем, я ограничился лишь сбором некоторых наставлений для тех писателей, которые почувствуют в себе силы исполнить столь благородную задачу. Такова была цель «Мемуара», который я опубликовал в качестве основы для новой «Истории Людовика XII». Я полагаю, что доказал в этом труде, что холодное почтение историков к Людовику XII проистекает из их подобострастия, потакавшего неприязни преемников этого государя и вельмож всех времен к тем принципам, которые он признал и освятил. Я считаю доказанным, что это постыдное раболепие заставило их оклеветать не только его правление, но и весь период жизни, предшествовавший его восшествию на престол. Они фактически утвердили мнение, будто Людовик XII, будучи честным человеком и посредственным королем в зрелые годы, в пору своего расцвета был смутьяном, в юности - распутником, а в детстве - мятежным и необузданным ребенком. Им хотелось, чтобы в его существовании всё было последовательно и чтобы принц, которому они отказывали в большом уме в зрелости, проявлял лишь дурные наклонности и в прежние времена. Разыскивая и изучая упреки, которыми они осыпали его детство, я обнаружил в одном весьма странном обстоятельстве его воспитания если не сюжет, то, по крайней мере, зачаток комедии. Вот как история повествует об этом событии:

«Людовик Орлеанский, - говорит Гарнье, - потеряв отца (Карла Орлеанского) едва выйдя из колыбели, остался под опекой своей матери, Марии Клевской, которая ничего не жалела для его образования. Однако строптивость сына сделала все ее заботы бесполезными. Он не терпел со стороны своих наставников ни исправлений, ни выговоров; если мать приказывала наказать его, тот из ее приближенных, кому поручалось это опасное поручение, был вынужден надевать маску и переодеваться, так что его нельзя было заподозрить».[274]

Несомненно, сопротивление ребенка всем заботам, которые мать и воспитатели вкладывают в его обучение - это пример поразительного упрямства. Но наказание, которому его подвергают, не менее странно: оно телесное и унизительное. Одним словом, порка - это кара для рабов и вьючных животных.[275] Способ, которым приводится в исполнение это наказание, и предосторожности офицера, обязанного его исполнить, выглядят еще более странно.

---

[273] *Трактат о страстях.*

[274] Реакция происходит не всегда. Часто впечатления, получаемые внешними чувствами, определяют действие напрямую, без реакции. Когда приятные звуки заставляют меня внимательно прислушиваться или когда я приближаюсь к цветку, запах которого мне приятен, - это реакция. Но когда впечатление одного чувства побуждает меня к действию других органов и всей моей мышечной системы - это действие, вызванное высвобождением пружины, а не упругостью или реакцией.

[275] «Во времена Кольбера, - говорит Вольтер, - люди не осознавали всего, что этот министр сделал для королевства; он трудился для неблагодарных. В Париже на него злились за отмену некоторых рент при ратуше, приобретенных по дешевке с 1656 года, и за обесценивание казначейских обязательств, щедро раздаваемых при предыдущем министерстве, гораздо сильнее, чем ценили то общее благо, которое он приносил. Обывателей было больше, чем сознательных граждан. Немногие заботились об общественной пользе. Известно, как частный интерес ослепляет взор и сужает кругозор; я говорю не только об интересе отдельного купца, но и целой компании или города. Грубый ответ торговца по имени Азон, который на вопрос министра заявил: "Вы нашли повозку опрокинутой на один бок, а опрокинули ее на другой", - все еще с удовольствием цитировали в годы моей юности; этот анекдот встречается и у Морери. Потребовалось, чтобы философский дух, проникший во Францию очень поздно, исправил народные предрассудки, чтобы памяти этого великого человека наконец воздали должное в полной мере. Он обладал той же исполнительностью, что и герцог Сюлли, но имел гораздо более широкие взгляды. Один умел только экономить; другой умел создавать великие учреждения. Сюлли после Вервенского мира не имел иных забот, кроме поддержания строгой и суровой экономии, в то время как Кольберу пришлось изыскивать немедленные и колоссальные ресурсы для войны 1667 года и для войны 1672 года. Генрих IV поддерживал экономию Сюлли; расточительная роскошь Людовика XIV всегда шла вразрез с системой Кольбера».

Безусловно, странно, что наказание, выбранное как одно из самых унизительных и наиболее подходящее для подавления гордыни - этого корня непокорности, - сопровождается мерой предосторожности. Эта мера, давая ученику понять, насколько опасаются его гнева, может лишь усилить саму непокорность и укрепить ее в его душе.

Но еще более примечателен характер офицера, дворянина, который надевает маску, чтобы исполнить по отношению к юному принцу приказ его родителей. В этом проявляется и его низость, ведь он соглашается на поступок, за который сам же краснеет от стыда; и его лицемерие - он хочет скрыть от чужих глаз действие, которое его гордость не может оправдать. Это дух корысти, расчета и лжи, который разрывается между настоящим и будущим, подстраивается под волю родителей, чтобы сохранить свое место при ученике, и в то же время заискивает перед чувствами воспитанника, стремясь обеспечить себе его благосклонность, на которой строятся надежды на будущее богатство. Этот дух заслуживает тем большего внимания, что он слишком часто движет людьми, приставленными к воспитанию принцев.

Сам факт наказания, нанесенного под маской, этот дворянин-исполнитель с его двуличием (одна сторона которого улыбается суровости карающего, в то время как другая сочувствует унижению наказуемого), эта маска, служащая одновременно и гордости, и низости, показались мне достойными занять место в комической сцене. Я захотел, чтобы история предоставила некоторые детали, способные их подчеркнуть.

Когда я пытался понять, какой причиной можно объяснить ту неукротимую непокорность, память о которой серьезно сохранила история, мне представилось несколько обстоятельств, окружавших колыбель Людовика XII. Они натолкнули меня на мысль о проступке, который необходимо было приписать ребенку, чтобы появился повод наложить на него взыскание.

У Людовика XI не было сына, когда родился Людовик Орлеанский; последний был предполагаемым наследником короны и оставался им до восьми лет, то есть до рождения Карла, дофина, который позже царствовал под именем Карла VIII. В возрасте двадцати месяцев он был обручен с Жанной Французской, старшей дочерью Людовика XI, которой не было и года. Таким образом, он был предназначен для преждевременного брака. Действительно, ему едва исполнилось десять лет, когда этот брак был отпразднован. Так, с того момента, как он стал способен связать воедино две мысли, он увидел себя взрослым мужчиной, зятем короля, наследником королевства и почти самим королем.

Вот и веские поводы для гордости, и отличная почва для мятежа против педантизма его наставников. Давайте остановимся на этом на мгновение.

В любых сословиях встречаются не по годам развитые дети, которые раньше других предчувствуют то, кем они станут однажды.

Но все принцы рождаются достаточно развитыми, чтобы с самого нежного детства предчувствовать власть и величие. Всё с первого взгляда предвещает детям королей их будущую судьбу: вокруг своего отца они видят только усердие, почтение и обожание; вокруг себя они обнаруживают лишь великолепие, желание угодить и страх перечить.

По сути, любовь к власти - это чувство, которое легче всего проникает в сердца всех людей: оно начинается вместе с жизнью. Желание властвовать самому, властвовать через других - это уже амбиция младенца, который тянется к груди и колотит свою кормилицу.

И если бы обстоятельства и сама природа не ставили детство в интеллектуальную зависимость от будущего, у молодых принцев всегда нашлись бы придворные, готовые раскрыть им это будущее!

В течение одного периода нашей истории, который, хотя и был очень коротким, занял значительное место благодаря великим деяниям, его наполняющим, все были удивлены, увидев, с какой легкостью принцы, рожденные вдали от трона, вдали даже от двора, которые

«Век Людовика XIV», том XXIV, стр. 140, из «Полного собрания сочинений Вольтера». (Кельское издание, формат в 12-ю долю листа).

больше не имели привычки чаще выказывать почтение, чем принимать его, они усвоили кодекс этикета, достигнув верховной власти. Они сразу постигли дух его законов, одновременно тонких и глубоких, и установили в своем дворе строгий порядок. Вызывало удивление, что они были так хорошо осведомлены о правилах подчинения, принятых в дворах с самыми давними традициями, и обо всех мелких уловках величия, обо всех секретах власти; что они с совершенной точностью различали даже в домашней обстановке тончайшие нюансы между вольностью, которую она допускает, и сдержанностью, которую внушает уважение. Те, кто удивлялся этой внезапной осведомленности, те, кто восхищался ею как неожиданным озарением гения (который, впрочем, давал и другие высокие доказательства своего величия), и те, для кого этот этикет стал мучением - эти старые генералы, давние боевые товарищи, которым изо дня в день запрещали ту или иную привычную сердечность ради соблюдения ледяного этикета, - все они не знали, что у этих монархов были тайные наставники. Эти наставники благодаря некоторому соревнованию в изящном и вежливом подобострастии ежедневно обучали их всем тонкостям старинного протокола. И кто же были эти наставники? Это были люди старого двора, гордившиеся тем, что они более сведущи в науке почтения и искуснее в его выражении, чем воины, отяжелевшие от долгой службы. Последние всегда были заняты лишь тем, какую пользу они еще могут принести; они привыкли бросаться в опасности или стойко встречать препятствия и не знали нюансов в своей преданности, а потому были мало способны привить своим подданным подобное раболепие. Удивитесь ли вы после таких примеров, видя принца, призванного на трон, каким был Людовик XII, который уже в семь лет проникся мыслями о своем будущем могуществе и выражал их весьма преувеличенно!

Известен ответ Людовика XIV, еще ребенка, Людовику XIII, который спросил его по возвращении с церемонии крещения, какое имя ему дали. «Людовик XIV», - ответил он, хотя ему еще не было и пяти лет. Каким бы «Людовиком XIV» ни суждено было стать этому ребенку, он не сам дал себе это имя.

Герцогу Бургундскому, его внуку, не было и восьми лет, когда он сказал Фенелону, своему воспитателю: *«Я не позволяю собой командовать; я знаю, кто я такой и кто вы такой»*.

— «*Вы воображаете, сударь, что вы выше меня,* - ответил ему на следующий день Фенелон, *- какие-нибудь лакеи, без сомнения, вам это нашептали. А я не побоюсь сказать вам, что я выше вас... Вы не знаете и доли того, чему я вас научил, а то, что я уже вам передал - ничто по сравнению с тем, что мне еще предстоит вам преподать. Что же касается власти, то вы не имеете надо мной никакой власти, в то время как я обладаю над вами властью полной и абсолютной»*.

Фенелон приписывает дерзкие речи своего ученика влиянию каких-то лакеев. Слово «лакеи» здесь употреблено очень метко, но в переносном смысле. Настоящим лакеям, в собственном смысле слова, не позволяют вступать в беседы с юными принцами; однако у многих людей души и умы лакеев, и именно такие люди обычно окружают вас.

Человек, который внушил юному принцу, что он иного рода, нежели Фенелон, был, без сомнения, каким-то помощником воспитателя, подчиненным самому Фенелону. Но справедливости ради, в оправдание этого подчиненного чиновника, следует сказать, что его речи соответствовали доктрине, изложенной в труде, написанном для воспитания Дофина (отца герцога Бургундского) соперником, врагом и преследователем Фенелона - Боссюэ. Вызывает изумление, что имя Боссюэ упоминается как источник, из которого могли исходить эти презренные слова, названные Фенелоном «языком лакеев»; оскорбительно слышать, как столь великое имя связывают с таким унизительным обвинением. В этом нет моей вины. Почему до сих пор никто не осмелился прямо сказать, что высокая, возвышенная безупречность в искусстве внушать юному принцу самые гнусные принципы правления принадлежит Боссюэ? Кто может отрицать, прочитав труд «Политика, извлеченная из Священного Писания», что Боссюэ выводит идею абсолютной власти из ложных сопоставлений, неверного применения и превратно истолкованных цитат из наших священных книг? На авторитете религии он основывает учения царедворца и заносчивого священника, заразив ими одновременно и отца, и сына - Людовика XIV и великого дофина, отца герцога Бургундского. Господин Лемонте в своем

труде о монархии Людовика XIV собрал на нескольких страницах мнения, высказанные монархом о королевской власти; эти высказывания позорят его память. Как господин Лемонте не заметил, что слова, которыми пользовался этот принц, буквально скопированы из «Политики, извлеченной из Священного Писания» - произведения, адресованного дофину? В нем Боссюэ применяет к монархиям, созданным и управляемым людьми, предписания царства Израилева, созданного и управляемого самим Богом. Невозможно представить себе столь прискорбное злоупотребление выдающимся умом, красноречием, не имеющим равных, и авторитетом, которому нет равных в Галликанской церкви. Но вот доказательство:

Людовик XIV говорит в своих наставлениях для дофина: *«Тот, кто дал людям королей, пожелал, чтобы их почитали как его наместников... Его воля такова, чтобы всякий рожденный подданным повиновался беспрекословно»*.[276] Между тем, Боссюэ говорил дофину и королю: *«Государи действуют как служители Бога и Его наместники на земле. Королевский престол - это не престол человека, но престол самого Бога...*[277] *Принцы - это боги, и в некотором роде они причастны к божественной независимости. Только Бог может судить об их решениях и о них самих»*.[278]

Известно, что Людовик XIV, выслушивая возражения парламента, прервал их словами: «Интересы короля и государства». *«Государство,* - сказал он, - *это я».* Господин Лемонте называет эти четыре слога «Кораном Людовика XIV» и цитирует по этому случаю несколько строк из курса публичного права, составленного им для герцога Бургундского: *«Король,* - говорится там, - *представляет во Франции всю нацию, и каждый частный человек является лишь отдельным лицом перед королем. Нация во Франции не образует единого целого; она целиком пребывает в личности короля»*.

---

[276] (Примечание издателя.) Данный труд представляет собой собрание восьми статей, первоначально опубликованных в Journal de Paris 29 нивоза, 2, 4, 7, 26, 28 плювиоза и 4 вантоза XII года (20, 23, 25 и 28 января, 16, 17, 18 и 24 февраля 1804 года). При переиздании их в III томе своих «Мелких сочинений» мой отец внес в них существенные изменения и добавил несколько примечаний, призванных связать их между собой.

[277] Еще 2 нивоза, через несколько дней после того, как газета *Journal des Débats* опубликовала статью некоего господина Феле против Атенея, «Парижский журнал» напечатал следующую шутку:

ВЫСАДКА в Атенее.

Пока вы обсуждаете с публикой подготовку к высадке в Англии и приковываете все взоры к берегам Великобритании, вы не замечаете, что прямо в центре Парижа только что высадились некие варвары и в данный момент они осаждают все литературные труды на передовых постах литературной республики; они штурмуют Атенеум в непосредственной близости от Пале-Рояля, прямо под стенами Трибуната! Они прибыли на флотилии плоскодонных судов - весьма и весьма плоских. Несколько лет назад много говорили о картонных кораблях, которые хотел построить бывший маркиз Дюкре, брат мадам де Жанлис; так вот, суда, на которых приплыли эти пройдохи, сделаны из бумаги. Бумага эта особого сорта, известная как «раздорная» или «дебатная». Это не первый их визит в Париж, но в прежние годы они побаивались полиции. Война придала им смелости. Был обнаружен их маршрут и путь, по которому они проникли в город: они запаслись снаряжением на «королевской верфи» (Пор-Рояль) и вошли в Париж через клоаку, решетку которой по неосторожности оставили открытой. Говорят, тем же путем они и вернутся. Желаю вам, господа, иметь более внимательных корреспондентов; я же постараюсь поближе присмотреться к этим господам из «флотилии» и еще напишу вам о них». *Чистильщик.*

[278] Редактор Journal des Débats в номере от 21 фримера утверждает, что автора следует судить еще строже, чем его произведение, и что если бы Корнель и Расин были философами, он бы освистал их трагедии. Господин Фьевэ в номерах от 18 и 23 фримера рекомендует не скупиться на оскорбления; он нашел это правило в логике Пор-Рояля, которую объясняет и развивает совершенно невразумительным образом.

А вот что писал Боссюэ: *«Все государство сосредоточено в личности государя; в нем - сила, в нем - воля всего народа.*[279] *Государству нужно служить так, как того желает государь. В нем пребывает разум, направляющий государство»*.[280]

Таким образом, Боссюэ был «евангелистом» Людовика XIV. Я доказал, что именно он развратил душу монарха.

Впрочем, будем справедливы: Боссюэ проповедовал абсолютную власть вовсе не из рабской угодливости; напротив, им двигала гордыня, ибо он желал рабства для народа, власти для короля и верховного господства для священника. Говоря королю: «У вас власть АБСОЛЮТНАЯ», он добавлял: «Но у вас нет власти ПРОИЗВОЛЬНОЙ».

Но кто же, по его мнению, был регулятором? Бог. А кто был проводником божественной воли? Стоит ли спрашивать? Это были Церковь и священник. Боссюэ добавлял для большей уверенности: *«Есть одно исключение из повиновения государю: это когда он отдает приказы, идущие против Бога»*. Не следует, по его словам, повиноваться правительству вопреки приказам короля, но еще меньше следует повиноваться королю против Божьих повелений.[281] Но где же органы этих божественных повелений? Разве вы не видите всегда перед собой священника и Церковь?

Таким образом, монархия, по мнению Боссюэ, - это форма правления, при которой народ отдан на милость прихотям правителя, над которым стоит лишь духовенство, и только рядом с духовенством этот правитель чувствует себя в безопасности и пользуется уважением. Прошу простить мне это невольное отступление.[282] Я возвращаюсь к причинам непокорности Луи Орлеанского: история обнаруживает одну вполне определенную причину, которая избавляет от необходимости искать любые другие.

Людовик Орлеанский потерял отца почти сразу после рождения, и тогда Людовик XI сам занялся его воспитанием - не для того, чтобы сделать его достойным своего сана, а напротив, чтобы помешать духу молодого принца подняться до высоты своего предназначения.

Сейссель, Мезере и Гарнье ясно высказываются по поводу этого намерения, которое является одной из поразительных черт характера Людовика XI. Он хотел, как говорит Сейссель, чтобы Людовик Орлеанский был «скудоумным», лишенным рассудка, авторитета, последовательности и влияния.[283] Мезере добавляет, что король не допускал, чтобы его ум развивали

---

[279] Когда господин Фонтан на публичном заседании Института 5 нивоза прошлого года прочитал патриотическую и республиканскую оду, Journal des Débats на следующий день напечатал, будто господин Шенье продекламировал стихотворение собственного сочинения. При этом господин Фонтан прекрасно знаком всем сотрудникам Journal des Débats.

[280] Прим. перев.: Автор книги – реакционный историк Антуан Франсуа Клод Ферран. Главного героя этой книги зовут Монк, это литературная фикция.

[281] Тысячу раз было сказано, что, если бросить наугад типографские литеры, «Илиады» не получится; в этом никто не сомневается. Однако вполне вероятно, что если собрать наугад двенадцать или пятнадцать человек, каждый из которых имел бы повод жаловаться на одну часть революции и хвалить другую, и поручить им составить газету, где они говорили бы только о том, что их задело, - эти двенадцать или пятнадцать авторов создали бы самую совершенную контрреволюционную газету.

[282] Говорили, что все великие люди принадлежат к одной семье. Это верно в глазах отечества, человечества и потомства. Однако это ложно в глазах выродившихся и лишенных наследства членов древних родов и их сторонников.

[283] Если бы наша политическая система могла допустить существование некоего промежуточного сословия - мера, которая сегодня не принесла бы той пользы, какую могла иметь в иные времена, - то всё равно было бы необходимо, чтобы оно было немногочисленным и состояло из людей, чьё возвышение датировалось бы той же эпохой, что и само правительство. Нужно было бы, чтобы оно, так сказать, родилось из тех же обстоятельств, что и власть, и было бы столь же кровно заинтересовано в судьбе тех принципов и лиц, что способствовали её развитию. Требовалось бы, чтобы через столетие или два знатные семьи спорили о первенстве заслуг, оказанных ими Бонапарту и его преемникам, подобно тому как во времена монархии они спорили о блеске услуг, оказанных Бурбонам теми людьми, чьи имена сопровождают Бурбонов на страницах истории.

каким-либо образованием.[284] Хотя он и заменял ему отца, - говорит Гарнье, - на деле он трудился лишь над тем, чтобы унизить и погубить его».[285]

Известно, что в дальнейшем Людовик XI распространил свою подозрительность на собственного сына и даже на жену: как говорит Мезере, он всегда держал королеву вдали от себя и воспитывал своего сына (Карла VIII) как пленника в Амбуазе среди слуг, опасаясь, как бы тот «не почувствовал своего сердца» (не осознал своего достоинства).

Филипп де Коммин приводит факты в подтверждение этой же истины. Клод де Сейссель говорит, что даже в отношении собственного сына Людовик XI опасался, как бы его сердце не оказалось «слишком великим».

Когда видишь ужасного Людовика XI в противовес тому доброму воспитанию, которое Мария Клевская старалась дать своему сыну, непокорность ребенка должна казаться весьма естественной, и было бы удивительно увидеть у него гибкий и мягкий характер.

Среди предполагаемых причин характера, приписываемого историками юному Людовику XII, я нашел материал для вымысла, способного подчеркнуть характер благоразумного дворянина, которому нужна была маска, чтобы наставлять молодого принца.

Я предполагаю, что в день, когда Людовику Орлеанскому пошел седьмой год и он перешел в руки мужчин, воодушевленный радостью этой перемены, он пишет своей невесте, чтобы объявить о ночном визите, намереваясь принести ей какой-нибудь подарок; по этому же случаю он говорит ей о троне, который они тогда были призваны разделить. Письмо перехвачено и доставлено королю, которому эта надежда на трон неприятна, и Его Величество приказывает наказать юного принца. Вот и всё вымышленное в этой небольшой пьесе, сюжет которой едва ли был бы достоин школьного театра, если бы его не возвышали детали и, в особенности, исторические персонажи, выведенные в этой фантазии на сцену.

Сначала история представляет двух сестер, которые контрастируют друг с другом, а также молодого герцога и его мать, герцогиню Орлеанскую, и все они прекрасно подходят для того, чтобы быть запечатленными в одной раме. Это две родные сестры самого Людовика, родившиеся примерно за пятьдесят лет до него от первого брака его отца, Карла Орлеанского, с Изабеллой Французской. Эти две сестры могли бы быть прабабушками Людовика Орлеанского и матерями его мачехи, герцогини Орлеанской. Старшая была настоятельницей Фонтевро - она была одновременно и аббатисой, и аббатом, так как под её посохом объединялись женский и мужской монастыри. По мере своего продвижения по пути спасения эта обитель со временем превратилась в капитул канонисс. Другая сестра была замужем за герцогом Алансонским, принцем, который вечно либо бунтовал, либо сидел в тюрьме, и вся её жизнь прошла между мятежными затеями и эшафотом.

---

[284] Вопрос о преимуществах крупного земледелия перед мелким до сих пор не прояснен до конца. Лучшее из того, что мне известно по этому поводу, содержится в «Экономическом анализе» аббата Бодо (L'Analyse économique, de l'abbé BAUDEAU), 1 том, формат in-8.

«Если бы на одного хозяина не приходилось тридцать рабочих, - говорит Вольтер, - земля не возделывалась бы. Тот, кто владеет плугом, нуждается в двух батраках и нескольких подёнщиках. Чем больше будет людей, у которых нет ничего, кроме их рабочих рук, тем ценнее будут земли. Но чтобы с пользой применять эти руки, нужно, чтобы господа находились на местах». (Извлечение из статьи «УДОБРЕНИЕ» (FERTILISATION) в «Философском словаре».)

Однако Кондорсе сделал к этой статье следующее примечание: «Вопрос о том, дает ли большой участок земли, возделываемый одним владельцем, валовой или чистый продукт больше или меньше, чем тот же участок, разделенный на мелкие владения, возделываемые каждым владельцем отдельно, еще не решен окончательно. Верно, что в целом в любом производстве чем больше разделен труд между рабочими, занятыми одним и тем же делом, тем больше достигается совершенства и экономии. Но до какой степени этот принцип применим к сельскому хозяйству или, более широко, к искусству, последовательные процессы которого подчинены определенным периодам и порядку смены времен года?».

[285] В нескольких предыдущих статьях мы видели, что мой отец допускал умеренный регистрационный сбор, гербовый сбор и налог на соль, поскольку их взимание не носит инквизиционного характера и обходится не дороже, чем сбор прямого налога.

Мне показалось естественным предположить, что Людовик XI доверил воспитание своей дочери, мадам Жанны, аббатисе Фонтевро, а начальное воспитание герцога Орлеанского - герцогине Алансонской. Известно, что начальное воспитание принцев длится до семи лет, после чего они переходят из женских рук в мужские.

История сохранила имена трех наставников или помощников наставника Людовика Орлеанского.

Главным наставником был мэтр Морнак, а помощниками - господа де Брессий и де Монтенак;[286] однако ряд свидетельств заставляет меня полагать, что над наставниками Людовик XI поставил надзирателя, знатного вельможу в чине губернатора, к которому для приличия добавили еще и духовного помощника губернатора. Пяти придворных учителей было отнюдь не много, чтобы способствовать обучению принца, которого король хотел тщательно оградить от любых знаний и даже от всякой добродетели.

Мезере сообщает нам,[287] что среди ученых мужей, которых Людовик XI принимал весьма благосклонно и которым покровительствовал, когда они бежали из Греции после падения Константинополя, был знаменитый мэтр Галеотто Марцио, уроженец Нарни в Папской области.

Знаменитый Галеотто Марцио сочетал в себе все качества, которые Людовик XI мог желать от наставника для принца своей крови; и я убежден, что именно его король назначил помощником губернатора Людовика Орлеанского: если я и ошибаюсь, то, по крайней мере, мне нельзя поставить в упрек плохой выбор. Прежде всего, мэтр Галеотто написал трактат «De Homine interiore et de corpore ejus» («О внутреннем человеке и его теле»),[288] то есть о человеке с точки зрения морали и физиологии. В те времена он был своего рода **Кондильяком и Бюффоном в одном лице**. Во-вторых, мэтр Галеотто посвятил себя преимущественно обучению молодежи. Свою деятельность он начал профессором изящной словесности в Падуанском университете. Кроме того, он был секретарем Матиаша Корвина, короля Венгрии, и наставником его сына, Яноша Корвина.

И это еще не все: будучи секретарем Матиаша Корвина, мэтр Галеотто записывал его остроты и составил из них сборник. Этот труд напечатан в собрании венгерских историков.[289] Людовик XI был человеком язвительным и насмешливым; он говаривал остроумные высказывания; по этой причине он должен был любить умного человека, умеющего их собирать, способного их упорядочивать, иногда - давать их ему взаймы, и при этом достаточно благоразумного, чтобы никогда не произносить их самому.[290]

Очевидно, что если знаменитый Галеотус был еще жив в то время, когда Людовик XI занимался образованием герцога Орлеанского - что весьма вероятно, - монарх не мог не назначить его как минимум помощником воспитателя принца: именно это я и предположил.

---

[286] Этот ответ состоит из четырех статей, опубликованных в Journal de Paris 18, 19, 20 и 21 флореаля III года - 7, 8, 9 и 10 мая 1795 года.

[287] Полагаю, я достаточно обосновал это различие в своем очерке о природе общественного мнения, способах его формирования и признаках, по которым его можно распознать; этот фрагмент Адриен Лезе любезно включил в свой труд «О слабости зарождающегося правительства», где он составляет вторую главу.

[288] (Примечание издателя). Это вымысел, мотив которого мне непонятен. Данный текст совершенно точно написан моим отцом; у меня есть его рукопись, а также печатный экземпляр, на котором он собственноручно написал: «Этот текст принадлежит мне».

[289] Ораторское искусство и уважение к красноречию возникли не только из трудности воздействия на противоположные или иные страсти, но и из сложности удержания и пробуждения внимания. Поэтому язык ораторский в корне отличается от языка философского. Первый, цель которого - превратить мысль в своего рода картину и действие, полностью состоит из фигур и движений. Второй, цель которого - глубокое познание истины, желающий всегда представить её такой, какая она есть, то есть в обнаженном виде, прежде всего точен, конкретен, спокоен и холоден. Первого слушают с интересом. Второго воспринимают только при чтении.

[290] Отрывок из анонимной брошюры, напечатанной в 1789 году под заглавием: «Изучение вопроса: следует ли говорить о Боге и религии в декларации прав и т. д.?»

Основываясь на надежном документе, я считаю себя вправе утверждать, что главным воспитателем, назначенным Людовиком XI для Людовика Орлеанского, был Антуан де Шабанн, граф Даммартен. Вот некоторые подробности, которые помогут узнать этого персонажа и понять, что делало его подходящим для этой должности:

«Это был, - говорит Дюкло, - *человек властный и тяжелый;*[291] *при этом один из самых храбрых людей своего времени; искренний, верный, вспыльчивый по натуре, горячий друг и беспощадный враг»*.

Он начинал пажом отважного Ла Гира. При Карле VII он возглавил банды разбойников, известных под именем «живодеров». Знатные и могущественные вельможи того времени не знали иного ремесла. Он отличился в 1433 и 1437 годах блестящими подвигами.[292] Он втянул дофина (Людовика XI) в Прагерию и вместе с ним выступил против Карла VII. Но вскоре, осознав, что в восстании принцев нет заботы об общественном благе, и будучи посвящен в заговор против короля, он вернулся к нему и открыл грозившую опасность. Дофин, вернувшись ко двору, назвал Шабанна лжецом. Шабанн прямо в лицо заявил ему, что готов с оружием в руках подтвердить свои показания против тех, кто выступал в защиту принца.

Он возглавлял комиссию, судившую Жака Кёра в 1454 и 1455 годах; он вынес решение о конфискации его имущества, часть которого присвоил себе, в частности сеньорию Сен-Фаржо, баронии Тоне, Перез и другие.[293] Король назначил его великим распорядителем своего двора.

В 1461 году, когда дофин снова поднял мятеж, Шабанн получил приказ выступить против него. Он рьяно преследовал его и был готов вот-вот взять в плен. В самый разгар этой войны умирает Карл VII, за которого сражался Шабанн; на трон восходит дофин, с которым он боролся, - и вот он становится Людовиком XI!

После этого Шабанна удаляют от двора; должность великого распорядителя передают де Круа. Он уезжает за границу, но почти сразу возвращается, требуя суда по всей строгости закона, без всякого милосердия. Король приказывает ему покинуть королевство. Он уезжает в Германию. Тем временем идет следствие по его делу; он возвращается и сдается властям. Его судят и признают виновным в оскорблении величества. Людовик XI, предпочтя милосердие справедливости, приказывает заключить его в Бастилию, а его имущество делит между придворными фаворитами.

В 1465 году Шабанн совершает побег и присоединяется к принцам, по-прежнему бунтующим против Людовика XI. Согласно Конфланскому договору, он восстанавливается в своих правах. Он мирится с королем; приговор о его осуждении отменяют, а имущество возвращают. Он вновь занимает пост великого распорядителя. Шабанн убеждает короля начать войну против герцога Бургундского, получает командование войсками и спасает государство. Он становится одним из первых кавалеров ордена Святого Михаила в момент его учреждения. В конце концов он становится близким доверенным лицом Людовика XI.

Вскоре ему поручают командовать экспедицией против Жака д'Арманьяка, герцога де Немура, против господина д'Альбре, графа де Фуа и Жана, графа д'Арманьяка - принцев, постоянно пребывавших в состоянии мятежа.

---

[291] Автор, вероятно, имеет в виду *Journal de Paris* от вантоза IV года, где Адриен Лезе напечатал эту фразу.

[292] См. *Послание Директории Совету пятисот* от 9 вантоза IV года. - *Доклад Майля от имени Комиссии*, заседание 3 жерминаля IV года. - И *Мнение Порталиса в Совете старейшин* от 7 термидора V года.

«...20 ноября 1794 года я опубликовал в *Républicain* статью о клубах, не называя своего имени. Статья заставила прислушаться Тальена, Мерлена и других участников переворота 9 термидора к тому, что пришло время атаковать демократическую организацию, если есть желание создать мудрое и умеренное правительство. Этот труд был переделан, расширен и переиздан в VII году (1799) в виде брошюры в то время, когда клубы угрожали новым вторжением и когда Бонапарт вернулся из Египта». *(«Заметки о моей жизни для моих детей», т. III, с. 289.)*

[293] Дюальд, *Описание тюрем, в которых содержатся преступники, и наказаний, коим они подвергаются*, т. II, стр. 132.

Первые из них покорились. Граф Жан д'Арманьяк пустился в бегство. Парижский парламент начал процесс против беглеца: в 1469 году его осудили заочно, признали виновным в преступлении против величества и распорядились конфисковать его имущество.

Эти владения были разделены между высшими офицерами, участвовавшими в походе.[294] Графу де Даммартена досталась значительная часть. Когда несчастный осужденный спустя короткое время вернулся в Лектур, его там схватили и убили на глазах у беременной жены, которую через несколько дней отравили.

В 1478 году Жак д'Арманьяк, герцог де Немур, вновь представ перед судом за упорство в мятеже, скомпрометировал графа де Даммартена, который попал под подозрение короля. Это, однако, не помешало ни осуждению, ни казни несчастного Немура, чьей кровью заставили облиться головы его детей. Даммартен оставался в опале до самой смерти Людовика XI.

На Генеральных штатах, собранных в 1483 и 1484 годах по случаю вступления на престол Карла VIII и регентства Анны де Божё, граф де Даммартен присутствовал в составе королевского суда, или суда пэров, на торжественном заседании открытия.

Сыновья герцога де Немура, окропленные кровью своего отца, и Шарль д'Арманьяк, младший брат Жана, убитого в Лектуре, предстали перед собранием в сопровождении адвокатов, призванных изложить их претензии. Адвокат Шарля д'Арманьяка открыто обвинил графа де Даммартена в совершении всех мыслимых ужасов во время похода 1469 года: в грабеже частных лиц, разорении церквей и в том, что он отмечал каждый свой шаг пожарами; в убийстве графа Жана в Лектуре, в отравлении его жены и их нерожденного ребенка - и всё это вопреки условиям капитуляции, на основании которой он вошел в город. Он жаловался на ужасные мучения, которые его доверитель сам претерпел после убийства брата. Тот несколько раз подвергался допросам под пыткой... После подробного описания жестокостей, заставляющих содрогнуться, адвокат воскликнул: «*И злодеи, которых я обвиняю, всё еще дышат! И у них хватает дерзости появляться в этом собрании! Я вижу их, вижу, как они, облеченные в трофеи, отобранные у несчастных, оскорбляют своими насмешками мою речь и их слезы... Смейтесь, негодяи,* - продолжал он, - *смейтесь, ведь скоро вы будете плакать... Государь, большинство виновных находится здесь; предайте их в руки вашего парламента*».

Даммартен, охваченный яростным гневом, заявил, что всё совершалось по приказу короля, а сам граф был мятежником и предателем. «Вы нагло лжете!» - вскричали господа д'Альбре и Лескен. При этих словах старый воин схватился за шпагу и бросился на своих обвинителей. Присутствие короля не смогло бы предотвратить кровавую сцену, если бы множество людей не бросилось между сражающимися.[295] Этот последний штрих в полной мере раскрывает неистовство характера Даммартена и нравы времен, к которым принадлежал этот человек.

В 1469 году, когда Людовику XII исполнилось семь лет - именно в этом возрасте он предстает в комедии, которую вам предстоит прочитать, - граф де Даммартен пользовался при Людовике XI расположением, которое заслужил походом на Лектур против Жана д'Арманьяка. Совершенно естественно, что Людовик XI, выбирая наставника для воспитания герцога Орлеанского, обратил взор на вельможу, столь же решительно, как Даммартен, выступавшего против дома д'Арманьяка, который так долго возглавлял партию Орлеанов; к тому же он был истинным рыцарем и в силу этого не мог допустить никакого сомнительного влияния на юного принца. Кроме того, он был настолько ярым врагом просвещения, что не позволил бы омрачить детство мальчика даже малейшим обучением.

Как я уже говорил, на деле выходит, что граф де Даммартен приложил руку к воспитанию или, если угодно, к «не-воспитанию» Людовика XII. Невозможно иначе объяснить письмо, которое Людовик XI написал ему во времена брака Людовика XII с Мадам. Это письмо, представленное как юридическое доказательство в последующем процессе о разводе, гласит следующее: *«Господин великий магистр, я решил устроить брак моей внучки Жанны и юного герцога Орлеанского (Людовика XII), извещая вас, что намереваюсь этот брак заключить; в противном*

294 См. Макартни, т. IV, стр. 149.

295 Премар, указ. изд., т. XIX, стр. 468 и далее.

случае те, кто пойдет наперекор, никогда не будут спокойны за свою жизнь в моем королевстве; посему мне кажется, что я исполню всё по своему намерению».

Здесь следует заметить, что брачный контракт герцога Орлеанского с Мадам датирован 28 октября 1473 года;[296] в ту пору юному принцу было всего десять-одиннадцать лет, и, следовательно, его образование еще не было завершено. Какая еще причина могла побудить короля написать такое письмо, если не желание довести до сведения всех наставников и других слуг юного принца свои намерения, которым каждый из них должен был содействовать?

Говорили, будто это письмо было поддельным, созданным для того, чтобы обосновать утверждение о принуждении, на котором Людовик XII строил свое прошение о разводе. Потребовались бы очень веские доказательства, чтобы заставить поверить, будто Людовик XII был способен представить ложные документы в этом процессе. Но подлинные они или ложные - здесь не имеет значения; фальсификатор, чтобы придать своей выдумке вид правды и, прежде всего, чтобы подложный документ произвел ожидаемый эффект, мог адресовать его только человеку, обладавшему властью над людьми, окружавшими Людовика Орлеанского, которому тогда было девять лет. А кто были эти люди, если не его воспитатели и учителя?

Собрав воедино, словно в семейном портрете, различных персонажей, о которых я только что упомянул, мне показалось, что если я покажу их всех в действии, согласно их характерам, в одной из тех ситуаций, где дворянин, наставник юного Людовика, пользовался своей маской, то это сочинение станет своего рода занимательной и даже поучительной драмой. К этому легкому сочинительству меня также подтолкнула естественная для старости симпатия к детству; преданность, естественная для гражданина по отношению к Людовику XII; мысль о том, что было бы нелишним вновь обратить, по возможности, взоры на саму личность самого совершенного из наших королей; и надежда, что не без интереса будут встречены первые шаги одной из тех славных и почтенных жизней, в которых читатели обычно не хотят упускать ни единой детали. Наконец, я осмелился на это, подумав, что раз уж в моем возрасте мне не пристало браться за столь значительный труд, как полная история Людовика XII, я, возможно, не слишком уступлю своей теме, если опишу один эпизод из его детства.

Театры

Вопрос ставится неверно, когда спрашивают, какими способами можно было бы вернуть во Францию вкус к театру. Никогда еще этот вкус не был столь живым. Во времена Империи количество зрелищных заведений было сокращено до 7. Сейчас их 26. Если выражаться промышленным языком, который сегодня применяется ко всему, мы скажем так: поскольку общая сумма, выделяемая любителями на театральные удовольствия, остается неизменной, то при конкуренции 26 театров неизбежно либо каждый получит меньшую долю прибыли, чем когда их было всего 7, либо некоторые соберут огромную кассу, оставив другим лишь крохи, а кому-то и вовсе ничего.

Актуальный вопрос заключается в том, почему два главных национальных театра заброшены; мы говорим о «Комеди Франсез» и об Опере. Это две разные проблемы, которые решаются по-разному. Ограничимся сегодня тем, что касается «Комеди Франсез». Почему им пренебрегают? Причина общая и для комедии, и для трагедии: нравы, а точнее манеры и тон наших старинных пьес, больше не соответствуют манерам, нравам и тону современного общества. И именно в трагедии это несоответствие ощущается острее всего. За последние тридцать лет мы утратили значительную часть нашей привычки к почтению.

Исчезли три великие иллюзии; а если присмотреться, станет ясно, что именно они составляли очарование наших лучших театральных произведений.

---

[296] Курт де Жебелен, «Происхождение языка», стр. 382.

Авторам газеты Парижский журнал о принципах драматического искусства

Граждане, на первом представлении пьесы «Сверхъестественное усилие», о которой вы дали весьма здравый отчет, мне пришла в голову мысль, которой вы, если пожелаете, можете поделиться со своими читателями. Дело в том, что когда мы идем в театр, нам всегда хочется разделить с кем-то чувство привязанности: будь то любовь в собственном смысле слова, или любовь сыновняя, или отеческая, или любовь к родине, или, наконец, дружба - словом, всегда некое чувство нежности. Удовольствие от театра целиком проистекает из нашей склонности (так верно подмеченной Смитом) сопереживать нежным чувствам.

Эта склонность делает честь человеческой природе; вот почему мне кажется полезным обратить на это внимание драматургов, чья забота должна заключаться в том, чтобы обращать добрые наклонности человеческого сердца на пользу общественной морали. Эта склонность является также насущной потребностью, и именно поэтому драматурги не могут игнорировать её, не рискуя потерпеть неудачу. Все трагические пьесы, в которых показывали лишь злодеев и ненависть, внушали ужас, а не тот священный трепет, которого требуют мастера искусства и который никогда не отделим от сострадания, ибо он попеременно является и его причиной, и его следствием. Все комедийные пьесы, интрига которых строилась на том, чтобы избегать любви или скрывать своё чувство, имели лишь слабый успех, а зачастую и вовсе никакого. Какой интерес может вызвать персонаж, который не хочет никого заинтересовать? Как он сможет увлечь зрителя, если не пренебрегает ничем, чтобы охладить атмосферу на сцене? Автору «Сверхъестественного усилия» следовало бы задаться этими вопросами, прежде чем браться за сюжет; он бы увидел, что невозможно создать пьесу с интригой, используя настроения и происшествия, которые могут привести лишь к разрыву отношений.

Чтобы женщина, которая прилагает усилия, чтобы не нравиться своему возлюбленному, не стала неприятна и зрителю, нужно было бы, чтобы любовь была сильнее её намерения; чтобы она добивалась лишь того, что её любят всё больше, по мере того как она стремится к обратному, и чтобы её страсть проявлялась все больше обнаруживая свое притворство, это притворство лишь делало его страсть более трогательной и живой.

Любовь - это закон природы. Стремление к тому, чтобы люди любили друг друга, и особенно чтобы представители обоих полов были связаны чистой и неизменной любовью, является великим законом любого общества. Укреплять узы природных и общественных привязанностей, представляя их в многообразных картинах, - таков основополагающий закон театра.

Скука, неумолимая скука овладевает партером и вызывает свист или зевки, как только ненависть, безразличие или их сочетания захватывают сцену безраздельно, не ограничиваясь лишь тем, чтобы возвышать чувства любви через преодоление препятствий или подчеркивать их с помощью контраста.

(Journal de Paris, 28 вантоза VI года. - 10 марта 1798 г.)

О драме

Письмо Лашабосьера к Арно, опубликованное в журнале «Вечера Муз» (*Les Veillées des Muses*), осуждает жанр драмы - жанр, в защиту которого выступил Арно. *«Я не вижу,* - говорит Лашабосьер, - *в пьесах, называемых драмами, ничего, что отличало бы их по цели и средствам от трагедии или комедии». «Какова,* - продолжает он, - *цель первой? Изображать неистовые страсти, пугать или умилять их последствиями. Какова цель второй? Исправлять смешное и показывать опасности пороков, дурных наклонностей или даже заблуждений, рисуя их последствия. Есть ли у драмы иная цель? Страх и жалость - это пружины трагедии; смешное, шутка и истина - пружины комедии. Задействует ли драма иные средства?».*

Мы позволим себе несколько размышлений по поводу этого отрывка: Изображение страстей - это не *цель*, а одно из *средств* трагедии. Вызывать страх или сострадание их результатами - это также не цель, а ее предмет. Исправлять смешное, показывать опасности пороков, наклонностей или заблуждений через изображение их последствий - это также не цель комедии. Исправлять смешное значило бы мало что делать против порока; возможно, это даже послужило бы ему на пользу, ведь освобождение от смешного лишь сделало бы его более опасным. Демонстрация опасностей пороков через изображение их последствий скорее относится к трагедии, нежели к комедии.

Страх и жалость - это пружины трагедии, это неоспоримо. Но можно ли сказать, что смешное, шутка и истина являются пружинами комедии? Во-первых, *истина* вовсе не является пружиной; она - необходимое условие как речи, так и действия, как в трагедии, так и в комедии. Далее, *шутка* также не является пружиной комедии: это в лучшем случае пружина разговора и диалога. По этой причине она иногда может быть вспомогательным средством для комического; но чаще всего она служит лишь к тому, чтобы охладить и даже разрушить его. С помощью шуток можно создавать забавные пьесы о смешных манерах; но создать комические пьесы можно, лишь нападая на смешные стороны порока и выявляя их с помощью искусства выражения и, прежде всего, искусства создания ситуаций. Мы видим в театре множество пьес, полных шуток и весьма забавных, которые при этом ничуть не комичны, и множество комических пьес, где нет ни одной шутки. Поэт-шутник вкладывает шутку в уста своих собеседников; комический поэт внушает ее всем своим зрителям, не заставляя смеяться своих персонажей. Один дает публике несколько острот, которые можно повторить; другой внушает ей чувство, которое порождает одновременно и удачные шутки, и добрые принципы.

Таким образом, смешное в пороке - или, говоря точнее, чувство смешного в пороке - остается для нас единственной пружиной комедии. Мне кажется, принципы драматического искусства были бы представлены более четко, если бы было сказано, что у трагедии и комедии общая *цель*: сделать людей лучше. Их *предмет* различен. Предмет трагедии - внушать ужас перед преступлением, восхищение и энтузиазм перед добродетелью. Предмет комедии - показывать смешную сторону пороков, запечатлеть на них печать смешного и показать любому человеку с порочными наклонностями не просто абстрактные опасности порока, а ту конкретную угрозу, которую несет в себе его нелепость - риск стать объектом всеобщего презрения.

Движущими силами трагедии являются ужас и сострадание; движущая сила комедии - чувство смешного. Исходя из этих принципов, на два вопроса гражданина Лашабосьера следует ответить иначе: отличается ли цель драмы от целей трагедии и комедии? Использует ли драма иные механизмы воздействия?

Другая цель? Нет. Но иной предмет и иной механизм? Да.

Между ужасом перед преступлением и восторгом перед героическими добродетелями, с одной стороны, и презрением к пороку - с другой, существует третье чувство, способствующее совершенствованию человека: это ненависть к пороку и заблуждению, а также любовь к общественным добродетелям и истине. Таким образом, между комедией, высмеивающей порок, и трагедией, делающей преступление ужасающим, мы видим драму, которая делает порок и ложные предубеждения отвратительными. Между трагедией, возвышающей до великих добродетелей, и комедией, показывающей добродетель лишь как нечто рассудочное и лишенное

смешных сторон порока, мы видим драму, которая делает добродетель привлекательной, интересной, легкой, а истину - осязаемой и поразительной.

Это что касается предмета; теперь о механизмах: между ужасом и состраданием с одной стороны и чувством смешного с другой, лежат приятное беспокойство и нежная тревога. Существует интерес, рождающийся из приятных симпатий и антипатий, который понятен скорее тонким, просвещенным душам, нежели продиктован сиюминутными и универсальными потребностями человеческой природы. Наконец, существуют эмоции слишком слабые и мимолетные, чтобы стать частью трагедии, и те восхитительные слезы, что часто смешиваются с простодушным смехом над чем-то забавным, но не имеют ничего общего с горьким и мстительным смехом истинно комического. Итак, между комедией, вызывающей смех за счет ярко выраженного порока, и трагедией, исторгающей слезы страха перед преступлением и восхищения перед героизмом, мы представляем драму, которая заставляет и смеяться, и плакать, надеяться и опасаться за добродетель - простую, милую, трогательную, поддерживая спасительное отвращение к тем причудам, заблуждениям и бесхарактерным изъянам, которые порождают проступки, не становясь преступлениями, и часто приносят несчастье обществу, не имея при этом позорного названия.

Мне кажется, драма относится к трагедии и комедии так же, как сентиментальный роман относится ко всем прочим романам.

«Философ, сам того не зная», «Эжени», «Отец семейства», «Преступная мать» - это ни трагедии, ни комедии. Эти пьесы отличаются и предметом, и движущей силой; это драмы, то есть драматические произведения самого широкого жанра, охватывающего почти всё многообразие человеческих нравов, где трагические страсти и комические нелепости являются лишь крайностями. Поэтому я полагаю, что если драму и следовало бы запретить, то по иным причинам, нежели те, что приводит гражданин Лашабосьер. Но пока я не вижу веских доводов и придерживаюсь максимы: «Все жанры хороши, кроме скучного».

Как скрыть тот факт, что ни одна пьеса Лашоссе, Мерсье, Седена или Дидро, ни одна драма Бомарше (которые не следует путать с его комедиями), ни даже драмы Коцебу, несмотря на их невероятный успех в свое время, не удержались в театре, хотя и значатся в репертуаре? Всё созданное в «оссиановском» стиле обречено на забвение. Напротив, веселые комедии Пирона, Бомарше, Этьена, Колена д'Арлевиля и даже Пикара выплывают в море забвения среди обломков множества «романтических» драм, на которые отваживались в течение последнего столетия. Несколько пьес Данкура, множество пьес Реньяра, еще большее число творений Мольера, кое-что из Бурсо и, наконец, «Адвокат Патлен» - словом, все пьесы, высмеивающие пороки, с которых поэт срывает маску, до сих пор пользуются театральной славой и продолжают развлекать просвещенные умы и порядочных людей. Настолько верно то, что веселость является одной из основных черт национального характера. В Риме сатирический и комический поэты единолично обладали властью «едкого смеха» (*ridiculum acri*). Во Франции же женщины пользуются этой властью ежедневно и во всём; они проявляют её в своём кругу, по любому поводу и самыми разными способами. Чтобы вершить своё высшее правосудие, им необходимо весёлое расположение духа тех, над кем они судят; и они не упустят средство, столь необходимое для поддержания их влияния.

О принципе трагедии

(Примечание издателя). Эта статья написана моим отцом. Она включена в первый том его малых сочинений, страница 346 и последующие.[297]

В чём кроется притягательность трагической сцены? Каково основное условие трагедии? В чём заключается её принцип? Эти вопросы активно обсуждались, но, по сути, все они сводятся к одному. Были ли они достаточно прояснены? Мне кажется, что нет, и именно в этом мы сейчас убедимся.

Но имеют ли эти вопросы какое-то значение? Полагаю, что да. Определить род чувств, которые зритель ищет и которые ему больше всего нравятся в трагедии, - значит указать поэту его цель и источники; это значит дать его таланту мудрое и удачное направление и обеспечить ему успех. Литераторы до настоящего времени больше занимались искусством разработки сюжета, нежели искусством его выбора; в своих трудах они скорее излагали приёмы великих мастеров, чем постигали секрет их вдохновения. Они учат молодого писателя владеть пером, а не умом; учат подражать какому-то образцу, а вовсе не становиться им. Не умея раскрыть ему истинные черты, отличающие великое и прекрасное от странного и нелепого, они оставляют его перед выбором: либо вечно подражать, либо заблуждаться в своей дерзости. Наконец, необходимо вернуться к основам. Их источник находится в той науке, которую до сих пор считали столь чуждой и даже противоположной вкусу и практике изящных искусств, - в науке о человеческом разуме. Сведённая сегодня к теории двух великих феноменов человеческой природы - чувства и мысли, она, кажется, сама собой объединяется с талантами, предназначенными для услаждения как одного, так и другого. Она требует от них лишь поддержки, обогащения и уверенности в их пути, и в ней нет ничего, что могло бы отпугнуть. Она уже соотнесла мораль с законами физики, столь очевидными и ощутимыми; она должна сделать то же самое и в изящных искусствах. Вскоре, я полагаю, будет доказано, что в так называемой области интеллекта нет ничего произвольного; что эта область является частью природы и что существует лишь одна общая наука - наука о её законах.

Посмотрим же, чему нас учат относительно принципа трагедии. Сначала полагали, что нашли его в этих прекрасных стихах Лукреция:

Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С берега суши на труд чужой, застигнутый бурей, взирать,
Не потому, что страдание чьё-то нам радость приносит,
А потому, что приятно видеть, от каких ты избавлен несчастий.

Мармонтель противопоставляет этому мнению пример детей, которым нравятся ужасные или трогательные рассказы, хотя они и не подозревают, что опасности или несчастья, составляющие их сюжет, могут коснуться их самих. Он также указывает на наше отвращение к любому слишком ужасному зрелищу, хотя чувство нашей безопасности должно было бы быть тем приятнее, чем значительнее изображаемое несчастье. Наконец, он добавляет, что наш интерес и наше удовольствие всегда соразмерны нашей близости с несчастным страдальцем, хотя чувство нашей безопасности должно быть тем острее, чем сильнее наше положение отличается от положения этого несчастного.

По крайней мере одно из этих возражений справедливо - второе; и его достаточно, чтобы отрицать, что причиной интереса к трагедии является чувство нашей безопасности при виде чужого несчастья.

Согласно Мармонтелю,[298] принципом трагедии является удовольствие, которое испытывает душа от самого факта сопереживания, *«от сильного волнения, не сопряжённого с опасностью, о которой нас предупреждает боль. Таким образом, личная безопасность действительно является условием без которого трагическое зрелище не было бы удовольствием, но это не*

[297] «Путешествие Маккартни», т. IV, стр. 163 и 164.

[298] Маккартни, стр. 148.

причина того удовольствия, которое мы при этом испытываем: оно рождается из естественного влечения, побуждающего нас задействовать все наши способности - как телесные, так и духовные, - то есть ощущать себя живыми, разумными, деятельными и чувствующими».

Эта точка зрения не кажется мне более верной, чем предыдущая, и она более опасна для интересов искусства. Чтобы обсудить её как можно яснее, необходимо сначала внести ясность в саму формулировку. Мы переложим это утверждение в более точных выражениях: *Удовольствие, испытываемое от трагического зрелища, рождается из естественного влечения, которое побуждает нас ощущать себя живыми* и так далее. Сложно составить верное представление об *удовольствии, рождающемся из влечения*, и о *влечении, которое побуждает нас, и побуждает ощущать себя живыми*. Автор, как мне кажется, хотел сказать следующее: *Удовольствие, которое мы получаем от трагического зрелища, возникает из нашей потребности задействовать все свои способности и чувствовать себя живыми, разумными, деятельными и восприимчивыми.* Именно на это мнение я и попробую ответить.

Мы все стремимся к упражнению наших способностей не как к самому удовольствию, а как к средству получения радости, связанной с определёнными ощущениями, и потому, что нас влечёт к удовольствию, которое возникает в результате определённого применения наших способностей. Не существует безразличных ощущений: безразличие и ощущение - это два слова, заключающие в себе противоречие; любое ощущение - это либо страдание, либо удовольствие. Таким образом, когда мы желаем некоего ощущения, мы желаем ощущения приятного, а не просто удовольствия от самого факта ощущения. Если бы удовольствие было сопряжено с любым ощущением, то удовольствие присутствовало бы в любой боли; следовательно, можно было бы желать боли, что абсурдно даже вообразить. Таким образом, предположение о некой неопределённой потребности проявлять свои способности ошибочно. Если этой потребности не существует, то удовольствие чувствовать себя живым, разумным, деятельным и восприимчивым может быть лишь удовольствием от рефлексии. Оно может возникнуть только в результате обращения к самому себе, благодаря осознанию или уверенности в наличии тех способностей, которым мы обязаны своими наслаждениями и объектами, дающими для них повод. Однако впечатления, которые производит на нас трагедия, и эмоции, которые она вызывает, - словом, то удовольствие, которое она нам дарит, - слишком внезапны, слишком быстры и слишком независимы от всякого обращения к самому себе, чтобы их можно было приписать рефлексии. Они также слишком разнообразны, чтобы сводиться лишь к удовлетворению от осознания собственной чувствительности. Кроме того, именно люди, наименее склонные к рефлексии, наиболее живо испытывают театральные эмоции: таковы женщины и молодёжь. Наконец, чтобы испытать удовольствие от осознания собственной *чувствительности*, нужно сначала что-то *почувствовать*. Было ли то, что человек почувствовал, страданием или удовольствием? Если это страдание, то как объяснить удовольствие от ощущения, противоположного удовольствию? Если же это удовольствие, то именно этот восторг, связанный с *конкретным* ощущением, и нужно исследовать, чтобы понять его источник и природу, вместо того чтобы мучительно искать причины другого - неведомого, безымянного и неопределённого удовольствия, которое вы приписываете любому ощущению.

Доказательством того, что удовольствие ощущать себя живым и чувствующим не является основной составляющей того наслаждения, которое мы находим в трагедии, служит факт, который Мармонтель противопоставил первому из упомянутых нами мнений. *«Случается,* - говорит он, - *что если ситуация слишком ужасна, образ слишком правдоподобен, а зрелище слишком кошмарно, душа противится этому и не может его вынести»*. Разве не очевидно, что если бы всё наше удовольствие от трагического зрелища заключалось в том, чтобы почувствовать себя глубоко восприимчивыми, то чем сильнее были бы впечатления, какого бы рода они ни были, тем больше они должны были бы нам нравиться?

Другие явления, описанные Смитом в его «Теории нравственных чувств», подтверждают то же доказательство. Основные из них изложены во второй главе первой части его труда, над которой драматическому поэту не мешало бы поразмышлять подольше. В этой главе Смит,

как моралист, исследует различия, которые мы все проводим между чувствами и привязанностями, замечаемыми в других. Он не только показывает, что одним мы сочувствуем, а к другим испытываем антипатию, но, кроме того, отмечает степень симпатии и антипатии по отношению к каждому чувству в отдельности. Среди прочего он замечает, что *«мы мало сопереживаем физическим страданиям и удовольствиям, хотя они и являются более реальными, и по этой причине мы находим нечто изнеженное и неуместное в том, чтобы громко кричать от физической боли, какой бы невыносимой она ни была. Совсем иначе обстоит дело,* - продолжает автор, - *со страданиями, которые берут своё начало в воображении... Наше воображение, в некотором роде, подстраивается под воображение человека, испытывающего душевные муки; в то время как при физических недугах наше тело не может подстроиться под его тело... Как правило, потеря ноги считается несчастьем бесконечно более тяжким, чем потеря возлюбленной; однако первое было бы крайне нелепым сюжетом для трагедии, в то время как второе становилось темой для прекраснейших театральных произведений... Филоктет кричит и впадает в беспамятство от невыносимости своих страданий... Но в этот момент нас захватывает не его физическая боль и не его рана интересует нас: нас волнует его одиночество, его покинутость, сама причина его несчастья»*.

Смит причисляет к страстям, к которым мы испытываем лишь антипатию и которые по этой причине он называет асоциальными или необщительными, *«ненависть, проявления которой в чистом виде, по его словам, не заставляют ненавидеть никого, кроме того, кто их выражает... ибо кажется, что намерение природы состояло в том, чтобы сделать максимально трудным и редким проявление этих одиозных и неистовых страстей, которые заставляют людей избегать друг друга»*. Он рассматривает месть как чувство, которому мы сопереживаем лишь при определенных условиях. *«Хотя люди остро чувствуют обиды, нанесенные другим, и презирают того, кто спокойно принимает оскорбление, неверно, что наше негодование растет пропорционально негодованию самого пострадавшего. Напротив, чем больше он сочетает сдержанность с мужеством, тем сильнее мы возмущены агрессором»*.

Из этих наблюдений и тысячи других, к которым я отсылаю читателя, следует, что наш интерес к различным ситуациям, в которых мы можем рассматривать людей, соразмерен не тяжести их беды или интенсивности их переживаний, а природе этих переживаний и тем скрытым предрасположенностям, которые заставляют нас разделять их по-разному. Следовательно, существуют естественные причины, присущие каждому сюжету, которые определяют эффект, производимый им в театре, так же как и в общественной жизни. Когда мы идем в театр за впечатлениями, нам нужны определенные впечатления, соответствующие нашей натуре, а не любые чувства вообще; это удовольствие от того, что на нас воздействуют определенным образом, а не невообразимое удовольствие от любого воздействия в принципе. Вопрос, следовательно, заключается в том, чтобы понять, что же это за способ воздействия, который может составлять удовольствие от трагедии, и этот вопрос остается открытым.

Мне кажется, Мармонтель в поисках принципа трагедии столкнулся с трудностью согласования двух следующих идей: 1-й - того, что трагедия доставляет удовольствие, поскольку она обладает притягательностью; 2-й - того, что трагическое зрелище, представляя лишь сюжеты, полные страданий, не может давать нам удовольствие непосредственно от самого этого зрелища. Несомненно, именно для того, чтобы выйти из этого затруднительного положения, он сказал себе: «Поэт-трагик вливает в душу зрителя лишь скорбь; следовательно, зритель находит удовольствие в самом себе». Ошибка здесь в том, что трагедия якобы предлагает только болезненные картины, как мы вскоре увидим.

Мнение Мармонтеля, как я уже сказал, не только ошибочно, но даже идет вразрез с интересами искусства. Я основываю это последнее обвинение на тех выводах, которые он сделал сам: *«Именно это умеренное упражнение естественной чувствительности,* - говорит он, - *делает детей столь жадными до чудесного, которое их пугает; именно это заставляет грубую чернь бежать к месту казни преступников... Таким образом, в самой сути трагедии заложено, 1-е - представлять нам себе подобных в опасности и несчастье; 2-е - представлять их в опасно-*

сти, которая нас пугает, и в несчастье, которое нас трогает; 3-е - придавать этому подражанию видимость истины, которая убеждает нас достаточно, чтобы мы были тронуты так, как нам нравится быть тронутыми - вплоть до самой черты страдания, но не переходя её. Отсюда проистекают все правила выбора сюжета, нравов, характеров и так далее».

Из этих трех рецептов второй является расплывчатым, потому что вопрос заключается в том, чтобы понять, что именно характеризует несчастье *трогательное* и театральное; именно в этом вопросе кроется множество заблуждений, и именно его следовало прояснить. Мармонтель не только допускает произвол в выборе сюжетов, но и выдвигает принцип, согласно которому трагедия черпает доставляемое ею удовольствие в упражнении чувствительности. Этим же принципом он объясняет стремление простонародья созерцать смертные казни и любовь детей ко всему чудесному, что лишь задает ложное направление этому произволу и множит и без того слишком распространенные ошибки.

Если бы было верно, что один и тот же мотив заставляет грубый народ бежать на Гревскую площадь, а человека утонченного - на трагедию, из этого следовало бы, что оба зрелища имеют одинаковую природу и должны различаться лишь интенсивностью силы и степенью воздействия на чувствительность зрителей. В таком случае трагедия могла бы заимствовать свои картины с Гревской площади, лишь смягчая их, а утонченные люди, закалившись, с удовольствием смотрели бы на кровавые казни, так же как грубые натуры, становясь более чувствительными, смотрели бы на них с болью. Таким образом, не было бы ничего более разумного, чем испытывать на трагической сцене самые ужасающие зрелища, как это уже и делалось. В самом деле, кто может утверждать, особенно в революционные времена, что человек, бывший чувствительным вчера, не стал сурово закаленным сегодня? Кто может сказать, что привычка к жестоким зрелищам не заменит ему той крепости органов, которая необходима, чтобы их выносить? Так исчезают границы для новшеств, исчезают гарантии вкуса и даже приличия; ужас смешивается с террором, а террор отделяется от сострадания.

На самом деле нет ничего более ложного, чем рассматриваемое мнение. Гревская площадь вовсе не является, как говорят, трагедией для простого народа; народом и светскими людьми, спешащими на эти два столь разных зрелища, движут совершенно различные мотивы. Зрителей на Гревскую площадь ведет тягостное чувство сострадания; на трагедию же влечет очарование сопереживания благородным чувствам. Глядя на несчастного осужденного, человек уступает потребности; он же ищет наслаждения в созерцании несчастий на трагической сцене. Казни, налагаемые законом, - это бедствия реальные и крайние, в то время как страдания, представляемые на сцене, обычно являются лишь лишением удовольствия; несчастья в театре чаще всего - лишь потеря избыточного счастья. На Гревскую площадь приходят сострадать несчастью непоправимому; туда не приносят ни страха, ни надежды. В театр же приходят, чтобы насладиться чередованием надежды и страха, которые предшествуют развязке. При казни преступников идея жизни - единственное, что противостоит идее смерти; в театре же идее крайнего несчастья всегда противопоставлена идея высшего блаженства. Таким образом, поле, где могут играть страх и надежда, в театре огромно, а на зрелище кровавой казни оно крайне ограничено. Следовательно, нет ничего общего между притягательностью театра и притягательностью публичной площади; и не следует полагать, будто можно безнаказанно переносить в одно место, даже в самом смягченном виде, то, что принадлежит другому.

В предшествующих рассуждениях уже можно предвидеть секрет того удовольствия, которое мы испытываем от трагедии и которое составляет её привлекательность.

В чем же заключается этот секрет? Это тот самый образ высшего блаженства, который трагедия всегда противопоставляет крайнему несчастью и на котором играют страх и надежда.

Сначала я приведу физическое доказательство, и его одного могло бы быть достаточно.

Разве не правда, что та трагедия, которая достигает успеха наиболее верно и лучше всего противостоит времени, - это не та, что угнетает, душит и сдавливает, а та, что заставляет лучше всего плакать? Так что можно было бы определить удовольствие от трагедии как *удовольствие*

от слез после пережитого страха. Что ж, спросите физиолога, откуда берется удовольствие от слез? Он ответит вам: это результат легкой конвульсии, вызванной противоборством радостных идей и мучительных чувств, одни из которых сжимают, в то время как другие расширяют; подобно тому как смех - это конвульсия, вызванная контрастом серьезного и нелепого, соединенных в одном действии или в одном человеке. Именно в этом двойном наблюдении и кроется секрет трагедии и комедии. То, что физическое и непосредственно данное вызывает слезы, наглядно объясняет, почему любые слезы, даже самые горькие, приносят некую сладость и служат облегчением при великих горестях. Это также объясняет, почему великие радости сопровождаются слезами, и в этих слезах есть немного горечи. Таким образом, из этого феномена я могу сделать вывод, что трагедия интересует нас именно теми идеями удовольствия и счастья, которые она примешивает к чувствам боли и несчастья, передаваемым нам. Мне кажется, здесь рождается принцип, способный направить поэта в выборе сюжета и заставить его исключить из трагических постановок множество ситуаций и действий, которые туда пытались внедрить. Но давайте еще раз убедимся в истинности этого принципа, прежде чем делать из него выводы.

Я утверждаю, что на трагической сцене нас занимает не удовольствие от сопереживания несчастью главных героев, а именно сопричастность тем нежным и счастливым чувствам, крушение которых и составляет их беду. Обаяние «Заиры» заключается в чистоте и живости ее любви, а вовсе не в осознании препятствий, с которыми она сталкивается, или опасностей, которым подвергается. Мы предпочитаем трагедию, темой которой является любовь, не потому, что любовь заставляет нас предчувствовать или опасаться катастрофы; а потому, что это предчувствие или страх катастрофы заставляют нас острее чувствовать и разделять любовь - самую всеобщую, самую глубокую и самую сладостную из страстей. Словом, принцип трагедии состоит не в том, чтобы просто заставить сильнее чувствовать само существование, а в том, чтобы заставить чувствовать его *лучшим образом*, то есть дать ощутить всё самое прекрасное, нежное, сокровенное и неведомое нам самим. Ведь удивление, вызванное в нас новым чувством, также входит в состав удовольствия, которое доставляет нам трагедия, пусть и в качестве дополнения.

Как иначе объяснить национальные предпочтения в выборе определенных сюжетов? Как объяснить почти исключительный интерес, который мы проявляем к любовным трагедиям? Наши нравы неизменно склоняют нас к нежным чувствам. С другой стороны, греки, чьи нравы были менее изнеженными, чем наши, а умы - более суеверными, отдавали предпочтение сюжетам героическим, политическим и религиозным.[299] Если бы нас трогала только значительность катастроф, то почему на протяжении веков целые народы отдавали предпочтение одним страстям, приводящим к ним, а не другим? Разве амбиции не порождают столь же кровавые сцены и столь же мучительные ситуации, как материнская любовь? И разве материнская любовь менее мучительна, чем любовь романтическая?

Еще одно доказательство того, что именно образы счастья составляют очарование трагедии, а противопоставление несчастья или страха - лишь средство сделать эти образы более ощутимыми, заключается во всеобщей неприязни к «мещанской трагедии», даже к той, основным предметом которой является любовь. Мы требуем любви в театре не только потому, что это самая дорогая нам страсть, но, кроме того, мы хотим видеть любовь и несчастья, объединенные в людях высокого положения. В трагедии мы требуем принцев и принцесс; мы даже хотим, чтобы их выбирали преимущественно из античности или, по крайней мере, из времен, не похожих на наши. Чем они знаменитее, тем больше интереса они у нас вызывают. И пусть не говорят, будто это наше тщеславие тешится видом людей, вознесенных своим рангом высоко над нашими головами, когда их унижает несчастье до нашего уровня. Это мнение явно ошибочно, ведь наше тщеславие, будучи отмщенным и удовлетворенным, заставило бы нас находить удовольствие в их беде. Напротив, чем они выше стоят, тем больше нас огорчают, потому что их падение более ощутимо, а их привычное состояние сильнее контрастирует с

[299] Один свидетель, который утверждает, весит больше, чем сто свидетелей, которые отрицают.

той злой судьбой, которая их постигла. Почему же в театре мы сопереживаем могущественным несчастливцам охотнее, чем другим людям? Разве они более чувствительны? Разве их страдания более живы, а их качества более благородны? Отнюдь. Но их несчастья заставляют острее чувствовать идеи власти и величия, которые всё вокруг них подчеркивает; идеи, которые тогда тем более приятны воображению, что сострадание заняло место той тайной зависти, от которой нелегко защититься, когда видишь столько преимуществ, лишенных малейшей примеси несчастья. В мещанской трагедии, напротив, видишь только беды своего собственного сословия; страх и надежда не касаются ни одного из тех великих обстоятельств высокого счастья, которые придают столько интереса трагедии в собственном смысле слова. Впрочем, мне достаточно было бы и одного этого разграничения между *трагедией в собственном смысле слова* и *мещанской трагедией*, чтобы получить право на вывод: идеи возвышенного счастья и величия обязательно входят в первую из них. Раз трагедии, где эти идеи отсутствуют, дают особое название, значит, они существенны для трагедии в собственном смысле слова.

Не стоит пытаться объяснить нашей привычкой к раболепию наше предпочтение последней перед мещанской трагедией. Афиняне в условиях полной демократии представляли на сцене только персонажей героических времен. Им было недостаточно даже вождей и царей; они часто заставляли богов сходить на свои подмостки, и всегда именно боги проявляли свои собственные страсти на людях и через людей; интерес возрастал благодаря вымыслу, который таким образом возвеличивал персонажей, - настолько верно то, что в трагедии мы ищем образы счастья.

Наконец, я мог бы привести в подтверждение этой истины и то предпочтение, которое мы отдаем трагедии в стихах перед трагедией в прозе, хотя последняя более естественна, и то одобрение, которое мы выказываем пышности стиля, декламации актеров, как обычным атрибутам возвышенных чувств, которые мы склонны приписывать выдающимся личностям.

Я изложил принцип. Посмотрим теперь на следствия, которые он дает для искусства.

Все эти следствия можно свести к более ясному и точному толкованию правила о том, что *движущими силами трагедии являются страх и сострадание*. В теориях, а еще больше на практике, всегда казалось, будто эти две движущие силы можно разделить и будто достаточно использовать одну из двух; как если бы правило давало выбор между состраданием и страхом, вместо того чтобы предписывать их объединение и сочетание. Начнем же с восстановления его истинного смысла и скажем, что движущая сила трагедии заключается в союзе страха и сострадания; страха и сострадания, рождающихся друг из друга и взаимно укрепляющих друг друга; страха разделенного, сочувственного, вызванного опасностями, которые угрожают героям, вызывающим интерес, и которые по своей природе способны заинтересовать нас сами по себе.

Страх в собственном смысле слова - тот, что не рождается из сострадания, - есть результат ужаса, который заставляет душу полностью замкнуться в себе и дезорганизует ее. Это физическое страдание, бурное, общая судорога, начало разложения. Такой страх не допускает ни привязанностей, ни умиления по отношению к другому; это самая эгоистичная из всех страстей.

Сострадательный страх - это крайнее опасение за любимый объект и за чувство, которое нам нравится; но это опасение, которое допускает надежду и даже предполагает ее как свою пищу. Страх же в собственном смысле слова - это *избыток боязни всего для самого себя*, той боязни, которая не оставляет ни места, ни времени для надежды.

Представьте каких-нибудь революционных чудовищ, замышляющих, готовящих и совершающих какое-либо из тех великих злодеяний, которыми они себя прославили; покажите убийц больше, чем жертв, и вы на мгновение восстановите в театре *террор 93-го года*. От такого страха до удовольствия будет очень далеко. Напротив, покажите жертву этого террора, а ее убийц оставьте почти в тени; пусть эта жертва будет интересна своими добродетелями, и пусть ее страдания рождаются из трогательной страсти, а не просто из чувства личной опасности, - и вы вызовете сострадательный страх, тот страх, которого требует трагическая сцена.

Но если сострадание необходимо для страха, то и страх не менее необходим для сострадания. Испытывать сострадание - значит страдать в другом. Сострадание - это удивительный феномен воображения, который переносит нас в подобное нам существо и заставляет разделять его горе; но этот феномен приводит к границам, которые необходимо знать. Сострадание не обладает свойством заставлять нас полностью отождествлять себя со страдающим существом или долго разделять его муки. Мы больше сочувствуем радости, чем горю; мы разделяем мелкие радости, но принимаем участие лишь в больших бедах. Наше удовольствие при виде счастливых людей часто равно их собственному, но наше сострадание никогда не заставляет нас испытывать боль, которая была бы близка к той, что выпала на долю другого. К тому же повседневный опыт подтверждает, что душа отступает при виде того, что может стать причиной личного огорчения. Поэтому естественно, что воображение не слишком живо воспринимает образ чужой боли и не привязывается к нему настойчиво.

Однако эта слабость нашего сочувствия боли искупается в нас нашей исключительной способностью сопереживать страху и надежде. Не разделяя остро и длительно боль себе подобных, мы можем полностью и надолго отождествить себя с ними, пока они лишь боятся ее или надеются ее избежать. Мы полностью присоединяемся к их опасениям, как и к их надеждам; мы годами следуем за несчастными по пути их злоключений и остаемся на нем до тех пор, пока есть хоть какая-то надежда, хотя и готовы отдалиться, когда беда станет непоправимой.

Это восхитительный закон природы: она пожелала, чтобы сострадание делало нас полезными, но при этом не заставляло каждого из нас вечно нести бремя страданий всех остальных. Она связывает нас со всеми несчастьями, пока они не стали безнадежными, и освобождает нас в тот момент, когда она не предлагает даже тем, кто ими поражен, иного средства, кроме забвения! Именно в этом законе природы заключено и то правило, которое в театре делает ужас необходимым для сострадания. И если обратиться к истокам симпатии, заставляющей нас так живо разделять великие опасения, станет ясно, почему она обладает такой силой на сцене.

Две основные причины побуждают нас разделять великий страх или ужас: первая заключается в том, что всякий страх всегда смешан с надеждой, а надеяться - значит получать удовольствие; вторая же состоит в том, что сильный страх направляет нас к важнейшему изучению опасностей, которым подвержена наша природа, и учит разум способам их избежать или готовит душу, давая ей силы их вынести. Какими же ресурсами обладает трагическая сцена, чтобы поддержать эти два начала! Искусство поэта может объединить в трехчасовом представлении все чувства и все ситуации, которые обычный ход вещей распределяет на долгую череду лет.

Сказать, что сострадание в театре не может обойтись без ужаса - значит сказать, что оно не может обойтись без надежды, так как она всегда примешана к страху. Это значит объяснить, откуда трагическая сцена черпает то удовольствие, которое она нам доставляет; это значит, наконец, указать, к каким именно страданиям она должна пробуждать наш интерес.

Все те страдания, что не противопоставлены великому счастью и не пробуждают мысли о нем, не принадлежат к трагедии, так как они не оставляют места для порывов страха и надежды, и в их созерцании нет никакого удовольствия. Поэт, следовательно, должен выбирать сюжеты среди тех противоречий, что ранят самые дорогие чувства и самые нежные привязанности сердца, предпочитая из них самые сильные и яркие.

Среди этих чувств и привязанностей любовь стоит на первом месте; за ней следуют любовь отцовская и материнская, любовь сыновняя, дружба, любовь к отечеству...

Я ставлю любовь на первое место, потому что она является источником первейших из наших физических удовольствий; потому что в наших нравах она также служит началом самых нежных нравственных наслаждений, а зачастую и величайших гражданских и политических преимуществ. Потому что это чувство - самое общее, самое универсальное, то, которое дольше всего занимает воображение, которое первым поражает юность и глубже всего сохраняется в воспоминаниях старости; оно в равной степени разделяемо разными полами, как и разными возрастами и разными сословиями.

Иначе обстоит дело с любовью к отечеству: не все ощущают ее в равной степени. Целый пол чувствует ее слабо, старость ее более не чувствует, а юность - еще не чувствует. Любовь к отечеству - это чувство, приобретенное опытом и размышлением, то есть мыслью и привычкой; это не творение природы, как любовь, а плод деятельности самого отечества; и, как всё, что выходит из рук людей, оно распределено менее равномерно, чем блага природы.

Я уже отмечал это ранее: достаточно того, чтобы любовь к отечеству была менее всеобщим чувством, чем любовь личная, чтобы она вызывала меньше интереса в театре. Здесь уместно заметить, что драматург и актер выполняют лишь половину работы: завершает же её то воздействие, которое зрители оказывают друг на друга. В пустом зале или там, где запрещены аплодисменты, зрителей очень трудно растрогать, и искусство не всегда достигает цели. В спектакле, где половина зрителей равнодушна, интерес другой половины сильно остывает. Если женщины, как мы уже говорили, малочувствительны к общественным интересам и по этой причине остаются холодными зрительницами патриотической пьесы, то и мужчинам будет трудно ею увлечься. В театре женщины препятствуют общему эффекту, если сами не способствуют ему. Подобно тому как их присутствие на спектакле о любви усиливает впечатление, оно также может отвлекать от зрелища иного рода. К тому же, из-за потребности самих вдохновлять любовь, они хотят видеть мужчин, собравшихся вокруг них, занятыми только этим чувством.

Да и какой вред в том, чтобы сделать любовь господствующей страстью трагедии? Любить - это закон природы. Сделать так, чтобы люди любили друг друга, чтобы полы были связаны чистой и неизменной привязанностью, - это великий закон любого общества. Почему бы не стать фундаментальным законом трагической сцены укрепление уз естественных и социальных чувств через их живое изображение?

Таким образом, любовь является необходимым условием для возникновения интереса, но её не всегда достаточно, или, по крайней мере, её всегда можно усилить. Сострадание возбуждается в разной степени не только различными видами и тяжестью страданий, но и в зависимости от качеств людей, которые их испытывают. При равных страданиях душа больше сочувствует тем, кто ей приятен. Если трагический поэт хочет довести сострадание до высшей точки, нужно прежде всего, чтобы интерес к его герою рождался из приятных чувств и чтобы сам герой был интересен как личность. Хотя первого из этих условий обычно достаточно для поддержания интереса, если оно выполнено успешно, объединение обоих дает огромное преимущество. Федра сама по себе не внушает большого сочувствия, но её любовь захватывает невероятно. Танкред, Баярд, Гюстав, граф Эссекс, интересные своей любовью, привлекают еще и своими характерами, и обстоятельствами; и, даже не будучи представленными зрителю с таким же искусством и талантом, как Федра, они также обладают силой очарования.

Когда драматург делает своего героя очень привлекательным, ему не нужно мучить его так сильно, как обычного человека, чтобы вызвать сочувствие зрителей. Самые легкие страдания тех, кто нам интересен, волнуют нас так же сильно, как муки тех, к кому мы безразличны. Самых патетических эффектов можно достичь, лишь показывая тонкие движения возвышенной и благородной души.

Разве вы никогда не замечали, как актер, который нравится публике, одним своим присутствием добавляет обаяния симпатичной роли? Какое замешательство он вызывает у вас, когда играет отвратительную роль? Как вы сопротивляетесь интересу, который должен был бы внушить обычно плохой актер или актер, привыкший к неприятным ролям, когда он случайно очень хорошо играет очень интересную роль? Откуда берутся эти склонности вашей души? Из влияния побочных идей, которые пробуждает вид актера. Но если идеи, пробуждаемые актером, имеют такое влияние на ваши чувства во время представления трагедии, то какое же влияние должен иметь сам характер главного персонажа?

Другой феномен трагической сцены заключается в том, что при равных достоинствах двух пьес преимущество имеет та, в которой герой появляется только в третьем акте по сравнению с той, где он виден с первой сцены. Почему? Потому что герой, о котором много говорят, которого представляют с многочисленными похвалами или достойными поступками и

которым заняты все персонажи, вызывает больше интереса, чем тот, чьи заслуги еще не очевидны. Что бы он ни делал и ни говорил, он не смог бы сам дать зрителю столь выгодное представление о себе и не заставил бы так сильно почувствовать свою значимость, как это могут сделать собеседники, говорящие о нем.

Каковы же качества, способные внушить больше интереса к герою трагедии и лучше расположить зрителя к сочувствию, которое герой вызывает своими чувствами? Их можно, я полагаю, свести к двум основным видам: к тем, что внушают уважение и восхищение (которое есть не что иное, как уважение, смешанное с изумлением), и к тем, что вызывают привязанность; или, пользуясь выражениями Смита, их можно разделить на добродетели мягкие, изящные, любезные - такие как нежная снисходительность, терпимость, доброта, человеколюбие; и на добродетели величественные и почтенные - такие как самоотречение и та власть над нашими страстями, которая подчиняет их порывы требованиям нашей чести и достоинства.[300] К этим условиям я бы, однако, добавил высокий социальный статус. Высокое положение - это то, что больше всего трогает нас в человеческой судьбе, так же как доброта - это то, что больше всего очаровывает нас в качествах сердца, а благородство в сочетании с силой - в чертах характера. Высокий ранг словно подразумевает богатство и власть - эти два великих источника удовольствия; доброта же предполагает всеобщую любовь, которая является лучшим дополнением к богатству и власти; благородство и сила характера возносят нас над этими преимуществами и утешают в их утрате, или же обещают нам славу - что служит подготовкой и гарантией всех наслаждений, а для живого воображения часто становится их предвкушением и кратким воплощением. Объединяя все эти качества в герое, вы множите поводы, по которым он может столкнуться с превратностями судьбы, а для зрителя - моменты, вызывающие сопереживание.

Лагарп совершенно справедливо отказывается признавать восхищение самостоятельным двигателем трагедии и ставить его в один ряд с ужасом или состраданием. Жанр, ошибочно названный «восхитительным», никогда не вызывал слез у зрителей. Восхищение - это лишь вспомогательное средство сострадания и ужаса; оно должно входить в трагедию лишь как их опора или подспорье. Но заметим здесь, что этой функции достаточно, чтобы успешно ввести на сцену - в качестве дополнения к сюжету - все патриотические интересы и гражданские чувства, которые сами по себе с трудом могут дать темы для трагедии. Поэт может наделить своего героя пламенным рвением и великодушной преданностью родине, извлекая, тем не менее, основной интерес пьесы из более нежной страсти. Именно в любви Танкреда к Аменаиде заключается интерес пьесы Вольтера; но когда Танкред, несправедливо изгнанный из отечества, возвращается и произносит: *«Всем благородным сердцам родина дорога!»*, эта любовь к отчизне волнует сильнее, чем его любовь к Аменаиде.

Все принципы, которые я только что вывел из теории познания, я мог бы подтвердить всей историей трагической сцены. Я бы показал, что успех произведений, занимавших её, всегда был пропорционален их большему или меньшему соответствию этим принципам; я бы даже показал, что лучшие критические работы по литературе почти всегда сводятся к этому положению теории искусства. Но если система верна, то это небольшое дополнение к труду само собой возникнет в умах тех, кто меня прочитает; и я не хочу ради удовольствия писать обременять кого-либо чтением того, о чем каждый может догадаться сам.

Разве принцип удовольствия, которое мы находим в трагедии, не заключается в том, чтобы черпать в ней то чувство силы и смирения, в которых человек так нуждается на жизненном пути?

«Трагедия, - говорит г-н де Рошфор в предисловии к „Театру Софокла“, - *имела цель гораздо более важную и реальную (чем наказание порока и награждение добродетели), которую следовало поддерживать в умах зрителей, особенно у народа легкомысленного и беспечного, легко убеждавшегося в своем благополучии, как только он видел себя счастливым. Нужно было на торжественных собраниях, куда религия и удовольствие заставляли сбегаться всех граждан,*

[300] Это, несомненно, чисто алфавитные знаки, которые сочетаются со знаками идей.

представить им картину великих переворотов человеческой жизни и научить их предвидеть их и стойко переносить».

Письмо об одном способе использования романов

Благодарю вас, мой дорогой друг, за то, что вы устроили мне визит и знакомство с мадам... Если есть люди, которые ни из чего не извлекают пользы, то другие, напротив, умеют извлечь выгоду из всего, и мадам... принадлежит к их числу. Едва мы успели познакомиться - а это произошло быстро благодаря тому доброму слову, которое ваша снисходительная дружба замолвила обо мне, и той доброй репутации, что я уже знал о ней, - как разговор сразу же зашел об Учредительном собрании. Мы говорили о главных деятелях, имевших печальную честь в нем заседать: о Барнаве, Мирабо, Лафайете, Ларошфуко и других. Она описывала их всех столь точными штрихами, в столь верных красках и с такими тонкими нюансами, настолько последовательно и выразительно, что я не мог не прервать ее, чтобы спросить, где она обучилась этому искусству портрета, которого одним лишь талантом не достичь.

— В романах, - ответила она. - Чтение романов это мое любимое занятие; в них я нахожу и пищу для сердца, и пищу для ума. Редко случается, чтобы даже в самых посредственных, не говоря уже о дурных книгах, не встретилось несколько самобытных характеров, будь то добрых или злых. Я наблюдаю за ними, изучаю их, собираю те образы, которые создают авторы; я сама рисую их, основываясь на тех поступках и поведении, которыми их наделяют писатели. Иногда я добавляю какую-то черту, иногда убираю, если того требует целостность образа или мои собственные наблюдения за реальными прототипами в обществе. Что касается порядка, которого я придерживаюсь, когда не нахожу готовых портретов, то он таков: сначала главные черты, затем второстепенные детали, потом колорит и, наконец, взаимодействие всех этих качеств в определенных ситуациях, позволяющих им полностью проявиться. Вот и весь секрет того искусства, которое вы изволили мне приписать и похвалить.

— О! - ответил я. - Это и значит уметь извлекать пользу из всего - так использовать романы! Но что бы вы тогда сделали с трагедией или комедией?

— С трагедией или современной комедией? Немногое. С комедией Мольера? Нет ничего лучше, чем знать ее наизусть, ведь какой смысл заносить в альбом характеры, которые он уже так блестяще вывел на сцену? Но из трагедий Корнеля я извлекла несколько великих, сильных и внушительных образов. Расин также дает мне подобные примеры, но они охвачены и раскрыты нежной страстью, которая еще ярче подчеркивает их черты и делает их интереснее; я собрала их и дала им те имена, которые сочла подходящими.

— Если вы занимаетесь этим давно, то ваш альбом, должно быть, уже укомплектован почти всеми характерами, какие только можно встретить в свете.

— Альбом! Скажите лучше - галерея портретов, которые радуют своим разнообразием и забавляют тем, как их неизменно примеряешь к знакомым людям (ведь почти каждому в итоге даешь имя реального человека). Кроме того, они оживляют воспоминания о самом приятном чтении, являются результатом полезнейших наблюдений и, наконец, составляют небольшой литературно-нравственный труд, авторство которого в какой-то мере приписываешь и себе.

— Эта галерея, должно быть, уже почти завершена?

— Что вы! Вот уже два года я пополняю ее ежедневно; я собрала от двух до трех сотен портретов, но едва ли охватила основные типажи. Разнообразие бесконечно: один и тот же порок или одна и та же добродетель имеют совершенно разные оттенки в зависимости от того, с какими другими качествами они сочетаются в человеке, каковы его страсти, вкусы, темперамент и возраст. К тому же у каждого порока и каждой добродетели есть две стороны: у каж-

дого порока есть сторона отвратительная и сторона смешная; у каждой добродетели — сторона любезная и сторона трогательная. Вы видите, сколько вариантов рождается из этих обстоятельств.

— Должно быть, это занятие столь же полезно, сколь и приятно - рассматривать эту галерею, сопоставлять различные фрагменты, прослеживать градации, ведущие от одного типа к другому. Можно ли там познать человеческую природу?

— Несомненно; но еще полезнее, чем просто созерцать эту галерею, - создавать ее самому, составлять портреты, собирая воедино черты, разбросанные по всей книге; приводить их в порядок, классифицировать, так сказать, по семействам; расставлять тех, кто принадлежит к одному и тому же виду, в соответствии с их родством, а затем распределять различные семейства согласно их близости и степени значимости. Так мы учимся ставить всё на свои места и оценивать всё по достоинству в мире морали. Подобно тому как художники хранят в своих мастерских фигуры или этюды, представляющие четыре главные страсти души, чтобы при необходимости заимствовать из них нужные черты, так и моралист может извлечь пользу из объединения характеров, представляющих основные сочетания качеств ума и сердца. Изучая элементы, составляющие каждый порок и каждую добродетель, какова бы ни была их природа, человек вступает на путь, ведущий к их истокам, а следовательно, и к средствам исцеления одних и распространения других.

— Это, безусловно, стало бы неоценимым подспорьем для познания человека: иметь под каждым словом, применимым к нравственному характеру, своего рода отпечаток или образ, который объединял бы в сознании все черты, сокращенным выражением которых является это слово! Это был бы словарь нового типа, стоящий гораздо больше тех, где нагромождены холодные, неполные, а зачастую даже ложные и нелепые определения! Публикация полного собрания мастерски выполненных портретов могла бы также пойти на пользу нравам. Описывая красками - так сказать, живописно - смысл слов, служащих для обозначения человеческих качеств, и предотвращая тем самым злоупотребление этими словами в обществе, такая коллекция могла бы помешать незаслуженному присвоению почетных званий и помочь избежать гнусных определений, которых человек вполне заслуживает. Не извлекут ли и сами искусства огромную пользу из этой сокровищницы наблюдений? Не даст ли она нашим драматургам множество новых сюжетов и богатейший выбор средств для их воплощения? Не предложит ли она историческому живописцу черты, которые поспособствуют достоверности его выражения? Разве наши актеры не нашли бы там точных указаний, которые уберегли бы их от тех отклонений или той неопределенности, в которую они так часто впадают, играя в характерных пьесах? Я давно считаю, что если бы наши актеры изучали «Характеры» Лабрюйера, мы бы не видели в театре столь частого смешения всех нюансов: они бы не играли Непостоянного как Ветреного, Мизантропа как Грубияна, Тартюфа попеременно то как Фанатика, то как Патлена и так далее.

— В том, что вы говорите, нет ничего более поразительного. Для художников хорошая коллекция портретов имела бы величайшую литературную пользу; именно через них она достигла бы и своей величайшей моральной пользы. Портреты не могут лучше влиять на нравы, чем когда они выставлены на всеобщее обозрение и приведены в действие на сцене. Нужно было, чтобы лицемерие, гордыня и даже скупость были показаны так, чтобы презрение к этим порокам стало общим чувством, а удовольствие посмеяться над ними - народным удовольствием.

— Значит, «Характеры» Лабрюйера составили бы первый том полной коллекции в этом жанре?

— Несомненно, и это была бы, вероятно, самая совершенная ее часть. Но Лабрюйер описал много недостатков, мало пороков и совсем не описал любезных качеств. Кроме того, он изображал пороки только с их смешной стороны: однако их омерзительная сторона - это именно то, что проявляется естественнее всего и что нужнее всего знать.

— Мне было бы очень любопытно взглянуть на вашу коллекцию... если бы моя просьба не была нескромной...

— С большой охотой. В этом нет никакой тайны. Если в портрете глупца вы узнаете Б..., в портрете безумца - А..., в портрете интригана - Д..., в портрете злодея - С..., то это будет не моя вина, не ваша и не вина портрета; это будет их вина.

— Таким образом, когда вы встречаете в обществе какую-то оригинальную личность, достойную наблюдения, вы сразу знаете, где найти ее портрет или что-то близкое к нему?

— Да.

— И вы можете сразу проникнуть в его характер, определить его, изобразить?

— Иногда мне это удается.

— Благодаря тому, что этот персонаж позволяет увидеть, вы понимаете то, что он хотел бы скрыть?

— Очень часто.

— Несколько случайно вырвавшихся слов открывают вам длинную цепь его мысли?

— Без сомнения.

— И вас трудно обмануть теми усилиями, что прикладываются, дабы ввести вас в заблуждение?

— Льщу себя этой надеждой.

— Что ж, я попробую последовать вашему примеру; он куда лучше метода Лафатера. С сегодняшнего дня я заведу небольшую тетрадь с чистыми листами, которая не будет покидать меня, пока я читаю романы, и всегда будет под рукой, чтобы запечатлеть те «портреты», которые я захочу в неё внести. Я даже стану читать романы специально: возможно, это первый случай, когда их будут читать с намерением извлечь пользу. Но разве это занятие не таит в себе больше трудностей, чем кажется на первый взгляд?

— Вовсе нет. Сборник портретов хорош еще и тем, что этот труд под силу каждому: его можно вести без лишних хлопот, урывками и почти не задумываясь.

Вот, мой дорогой друг, краткое содержание моей беседы с мадам... Не сочтете ли вы уместным опубликовать его сейчас, когда чтение романов так вошло в моду? Не было бы забавно заставить стольких праздных людей извлечь хоть какую-то пользу из их суетного времяпрепровождения?

Я забыл упомянуть, что среди новых романов, из которых мадам... черпала портреты (она читала их мне в качестве примеров своей работы), я встретил роман «Камилла» мисс Бёрни. Там выведен *поживший*, но *добрый и человечный* мужчина, в противовес трем девушкам, которые переживают первые впечатления любви: одна - с *веселым нравом и нежным сердцем*, другая - с *пустой головой и холодным сердцем*, и третья - с *чувствительной душой и серьезным умом*. То, что я увидел в этих трех характерах, вызывает у меня желание проследить в книге все испытания, через которые они прошли. Прошу вас мне её прислать.

(Journal de Paris, 11 плювиоза VI года. - 30 января 1798 г.)

О романных страданиях

Когда я размышляю об этом огромном количестве романов, которые сами по себе составляют целую библиотеку, я говорю себе: «Вот архивы страданий, наиболее понятных людям». И в самом деле, разве любой роман - это не история какой-нибудь сердечной боли? Найдется ли среди этих томов хоть один, где не был бы представлен хотя бы один несчастный? Эта мысль меня печалит.

Но стоит мне выглянуть в окно, как я вижу, что за час мимо проходят тысячи людей, которым все эти беды будут вечно чужды. Эти извозчики, эти грузчики, эти кучера фиакров, эти торговцы, эти дельцы, что сменяют друг друга, встречаются и сталкиваются на улицах, - они

никогда не почувствуют даже малейшего дуновения таких страданий. Все те люди, кому перевалило за тридцать или сорок, более не будут ими томиться. Что же это за муки? Недуги юности, томление досуга, занятие для деятельных умов, которым нечего делать. Подобные горести - лишь досадные помехи, случающиеся при привычке к счастью. Какой человек настолько обласкан обстоятельствами, чтобы не испытывать к ним скорее зависть, чем сострадание?

(Journal de Paris, 21 жерминаля VIII года. - 10 апреля 1800 г.)

Вымысел. - Панорама Алжира

Я долго жил в Алжире; я часто бывал на том самом месте, где сейчас установлена галерея Панорамы. С этой точки я часто созерцал все, что окружает её вблизи и вдали. Можно сказать, что я вернулся из Алжира с головой, наполненной панорамой Алжира.

Приехав в Париж, я вижу повсюду объявления: «Панорама Алжира». Я записываю улицу и номер дома. Спешу туда, и вот я снова на платформе, с которой столько раз созерцал и наблюдал эту страну.

Что же происходит тогда в моем сознании?

Моя внутренняя панорама воспроизводится, пробуждается, оживает (я не совсем уверен, каким словом воспользоваться, чтобы не предвосхищать то, чего не знаю). Я чувствую, что есть соответствие или различие между моей внутренней панорамой и той, которую искусство представляет моему взору. Я чувствую, повторюсь, соответствие или различие между моим воспоминанием и моим ощущением, или между моим ощущением, ставшим идеей, и моим текущим ощущением, которое, в свою очередь, тоже станет идеей.

Это чувство моего воспоминания (или само мое воспоминание) дает мне право говорить «Я»; это чувство моего интеллектуального существования. Произнося эти слова, я понимаю или, по крайней мере, полагаю, что понимаю их смысл. Мне кажется, я понимаю, что обладаю чувством самого себя, отличным от того ощущения, которое я получаю от контакта с внешними объектами, поскольку это два состояния моего существа, которые различаются посредством сравнения.

Но если вы скажете мне: *«У вас было чувство или сознание внутренней панорамы»*, я отвечу: «Внутренняя панорама и была чувством или сознанием панорамы внешней». Я отвечу: «**Любое *чувство* есть *сознание*** (чувствовать - значит нести в самом себе свидетельство о самом себе)». Но я не постигаю и не вижу, для чего мне нужно постигать - или что я выиграю для самопознания, - если буду постигать чувство этого самого чувства, некое «послечувствие» моего чувства; чувство созерцающее, наблюдающее, сравнивающее то же самое чувство, которое я вынес из Алжира. Я не могу без бессмыслицы утверждать, что я *знал*, что чувство от видов Алжира было не тем же самым, что от видов Неаполя. Слово «знал» предполагало бы, что вопрос уже решен; я бы сказал так: мое чувство Алжира было не таким, как чувство Неаполя, - и это всё, что я могу с уверенностью утверждать.

Если бы, отбросив за неизвестностью способность внутреннего чувства, я смог удовлетворительно объяснить себе феномены мысли через простое ощущение, существование которого несомненно, то, полагаю, стало бы совершенно ясно, что это «внутреннее чувство» - химера. Стало бы ясно, что атрибуты, приписываемые этому призрачному внутреннему чувству, на самом деле являются свойствами ***ощущения*** или *чистой чувствительности*; что любое ощущение есть сознание, то есть оно несет в себе свидетельство нашего интеллекта, тайна которого не может быть объяснена добавлением новой тайны. Последнее лишь множит тьму там, где только искреннее, настойчивое и упорное наблюдение сможет пролить яркий свет - так

же, как и на природу жизни, столь же загадочную, как и природа мысли, которая является лишь одним из обстоятельств жизни.

(Из 5-го тома собрания сочинений. Май 1833 г).

О необходимости расширения французской литературы

Сен-Ламбер в своем труде «Основы морали» предлагает четыре способа утверждения нравственности в сознании народа: Во-первых, катехизис морали; во-вторых, словарь морали; в-третьих, хороший альманах; в-четвертых, надписи с важнейшими советами мудрости на стенах жилищ или, одним словом, *нравственные гобелены*.

Я бы не пожелал для всей своей литературной судьбы ничего иного, кроме как объединить эти четыре идеи, и для своего полного удовлетворения как гражданина - кроме как увидеть их претворение в жизнь. Однако я бы добавил к ним еще три, а именно: популярную газету; народные песни; популярные гравюры.

С помощью этих средств за двадцать лет можно было бы превратить самый варварский народ в народ разумный и добрый - при условии, однако, что законы будут беспристрастными, судьи - справедливыми, а общественные институты не будут нести в себе ничего развращающего и унизительного.

Но как осуществить это и заставить столь разные виды сочинений содействовать одной и той же цели? Где правила для их составления? Сен-Ламбер взял на себя составление катехизиса; но какой образец у нас есть для других трудов? Какая литературная книга предлагает нам предписания, которым нужно следовать, чтобы преуспеть в их написании? На каких признанных и общеизвестных принципах мы будем защищать и совершенствовать сам катехизис Сен-Ламбера, в котором так много людей ищут те достоинства, коими подобный труд обладать не может, и не замечают того, что действительно и в высшей степени его отличает? В курсах литературы мы находим в избытке теорию эпических, драматических, лирических и дидактических поэм; теорию сатиры, эпиграммы, послания, сонета и так далее; теорию ораторского, исторического и эпистолярного жанров; разграничение жанров торжественного, совещательного и судебного; деление речи на части: вступление, изложение, обсуждение, заключение. Мы читаем прекраснейшие в мире наставления об искусстве доказывать, искусстве нравиться или трогать через вымысел, расположение материала, слог и произношение; и всё это применительно к красивым речам, проповедям или судебным выступлениям. Всё это очень хорошо. Но просвещение народа - где же искусство его осуществлять? Где та теория различных видов произведений, способных внедрить важнейшие истины морали в простые умы, внушить их сквозь повседневные заботы трудовой жизни и постоянно давящее чувство нужды. Наконец, как привить их при помощи продуманной последовательности, длительного воздействия, через умелое и почти незаметное влияние? Как! Не написано ничего об искусстве создания словаря, нравственного катехизиса, альманаха!

Альманах! Это столь важное издание для морали - неужели оно ничего не значит для литературы? Ведь именно на вере в Льежские или Базельские альманахи целых три четверти французской нации сеют, собирают урожай и следят за своим здоровьем. Эти альманахи составляют всю историю, всю политику, всё естествознание и, наконец, всю мораль сельских жителей. А наставники литературного искусства пренебрегли этим рычагом народного духа! Значит, их литература не включает в сферу слова то, что служит лишь мирному наставлению множества людей! Получается, она больше заботится о славе ораторов или поэтов, чем об интересах народов, и больше о ментальных удовольствиях, чем о пользе для нравов! Мы призываем эту тщеславную литературу предстать перед судом философии и республики; пусть она расширится за счет поистине народных взглядов и трудов; пусть она учит создавать книги,

которые народ сможет читать, чтобы распространять истины, которые ему необходимо слышать.

Говорят, что Мерсье согласился прочитать в этом году курс литературы в Лицее; если он хочет преподать в этом жанре нечто иное, чем то, чему учил Кондильяк в своем «Искусстве писать» и Мармонтель в «Элементах литературы» - труде, значительно превосходящем курс Лагарпа, то мы призываем его заняться именно *народной литературой*. Его опыты в этом жанре не могут быть совсем неудачными, ведь будучи проницательным и зачастую мудрым наблюдателем народных нравов, он должен также знать дух народа и понимать, как свет проникает в него и там укореняется. Мы осмелимся сделать нечто большее, чем просто побуждать литераторов к различным трудам, о которых мы упоминали. Мы хотим попробовать свои силы сами, и подать если не пример успеха, то по крайней мере пример рвения и мужества.

(Парижская газета, 21 нивоза VII года - 10 января 1799 г.)